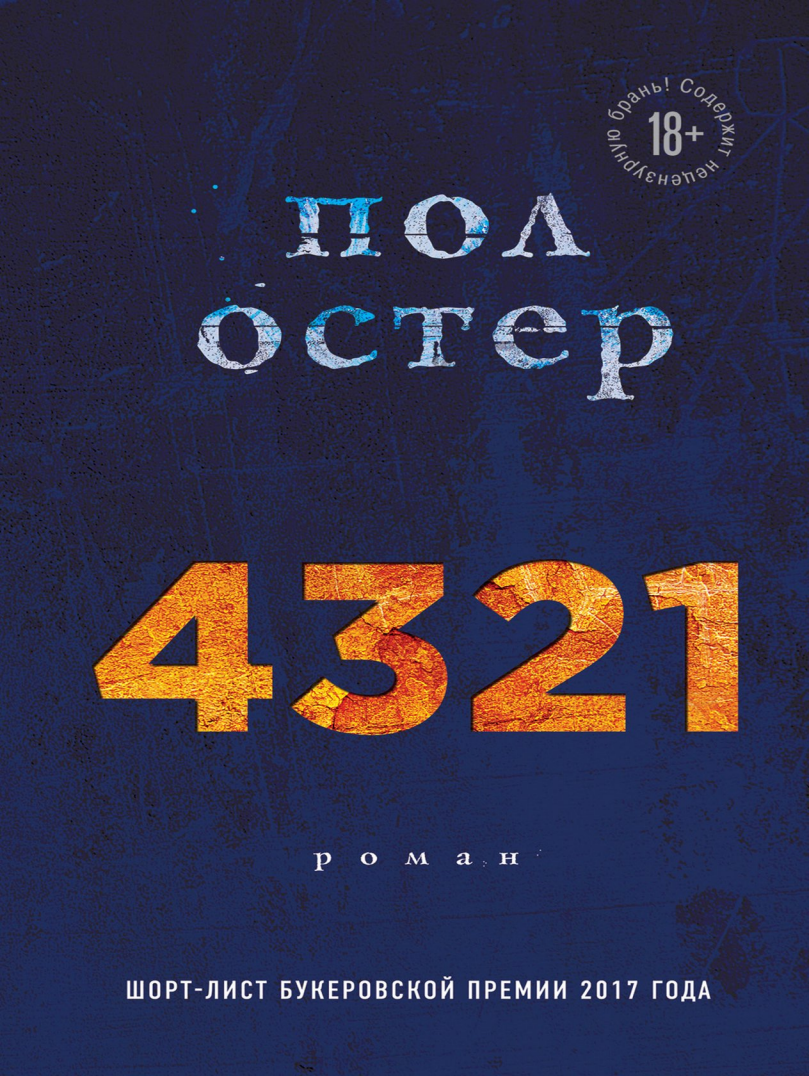
брань! Содержит нецензурную
18+
ПОЛ
ОСТЕР
4321
роман
ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2017 ГОДА

4321

Пол Бенджамин Остер

Аннотация
Пол Остер. 4321

Аннотация

Один человек.

Четыре параллельные жизни.

Арчи Фергусон будет рожден однажды. Из единого начала выйдут четыре реальные по своему вымыслу жизни – параллельные и независимые друг от друга. Четыре Фергусона, сделанные из одной ДНК, проживут совершенно по-разному. Семейные судьбы будут варьироваться. Дружбы, влюбленности, интеллектуальные и физические способности будут контрастировать. При каждом повороте судьбы читатель испытает радость или боль вместе с героем.

В книге присутствует нецензурная брань.

Пол Остер
4321

Paul Auster
4321

Copyright © 2017 by Paul Auster

© Немцов М., перевод на русский язык, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

посвящается Сири Хустведт

1.0

По семейному преданию, дедушка Фергусона пешком ушел из своего родного Минска с сотней рублей, зашитыми в подкладку пиджака, двинулся на запад к Гамбургу через Варшаву и Берлин, а затем взял билет на пароход под названием «Императрица Китая», который пересек Атлантику по суровым зимним штормам и вошел в гавань Нью-Йорка в первый день двадцатого века. Дожидаясь собеседования с иммиграционным чиновником на острове Эллис, он разговорился с собратом, тоже русским евреем. Тот ему сказал: *Забудь ты эту фамилию — Резников. Проку тут от нее никакого. Для новой жизни в Америке тебе американская фамилия нужна, чтоб славно по-американски звучала*. Поскольку английский для Исаака Резникова в 1900 году все еще был чужим языком, он попросил совета у своего земляка постарше и поопытней. *Скажи им, что ты Рокфеллер*, ответил тот. *Уж с этим-то не промахнешься*. Прошел час, за ним еще час, и когда девятнадцатилетний Резников сел перед иммиграционным чиновником, он уже забыл, какое

имя ему посоветовали. *Фамилия?* — спросил чиновник. Разочарованно хлопнув себя по лбу, усталый иммигрант выпалил на идише: *Ikh hob fargessen (Я забыл)!* Так и получилось, что Исаак Резников начал свою новую жизнь в Америке как Ихабод Фергусон.

Было трудно, особенно поначалу, но даже потом, когда оно уже перестало быть началом, ничего не получалось так, как он воображал себе о жизни в приютившей его стране. Правда, жену-то ему найти удалось, после двадцать шестого дня рождения, как правда и то, что его жена Фанни, урожденная Гроссман, родила ему троих крепких и здоровых сыновей, но жизнь в Америке оставалась для дедушки Фергусона борьбой с того самого дня, когда он сошел с парохода, до ночи 7 марта 1923 года, когда его настигла ранняя, безвременная кончина в возрасте сорока двух лет: его подстрелили при ограблении склада кожаных изделий в Чикаго, где он работал ночным сторожем.

Фотографий его не сохранилось, но по всем воспоминаниям, был он мужчиной крепким, с сильной спиной и громадными ручищами, необразованный, неквалифицированный, классический новичок-неумеха. В первый свой день

в Нью-Йорке он наткнулся на уличного торговца, толкавшего самые красные, самые круглые, самые совершенные яблоки, какие он в жизни видел. Не в силах противостоять, он купил одно и жадно впился в него зубами. Но вместо ожидаемой сладости вкус оказался горьким и незнакомым. Хуже того, яблоко было тошнотворно мягким, и, как только зубы его пронзили кожицу, все внутренности фрукта выплеснулись ему на пиджак ливнем бледно-красной жидкости, полной десятков дробинок-семян. Таков был его первый вкус Нового Света — его первое достопамятное знакомство с джерсейским помидором.

Не Рокфеллер, стало быть, а широкоплечий работяга, еврейский исполин с нелепым именем и парой беспокойных ног — он пытал счастья в Манхаттане и Бруклине, в Балтиморе и Чарльстоне, в Дулуте и Чикаго, нанимался то портовым грузчиком, то младшим матросом на танкер в Великих озерах, то убирал за зверями в бродячем цирке, то работал на конвейере консервной фабрики, то водил грузовик, то копал канавы, то сторожил по ночам. За все свои потуги он получал считаные гроши да мелочь, а стало быть, жене и троим сыновьям бедный Айк Фергусон завещал лишь истории, какие рассказывал им о

своих скитаниях юности. Если брать по крупному счету, истории, наверное, так же ценны, как деньги, а вот если по мелкому — имеются у них бесспорные ограничения.

Кожевенная компания выплатила Фанни маленькую компенсацию по утере кормильца, после чего она с мальчиками уехала из Чикаго — в Ньюарк, Нью-Джерси, по приглашению мужниной родни, которая выделила ей квартиру на верхнем этаже своего дома в Центральном районе за номинальную месячную плату. Сыновьям ее исполнилось четырнадцать, двенадцать и девять. Луис, самый старший, давно уже стал Лью. Аарон, средний, из-за переизбытка драк на школьном дворе в Чикаго приспособился называть себя Арнольдом, а девятилетнего Станли все звали Сынок. Чтобы сводить концы с концами, их мать взялась за стирку и починку одежды, но совсем скоро мальчики тоже стали вносить свою лепту в семейные финансы: каждый после уроков работал, каждый все вырученные пенни отдавал матери. Времена стояли тяжелые, и угроза нищеты наполняла комнаты их квартиры густым, слепящим туманом. От страха было не спастись, и постепенно мальчики впитали мрачные онтологические выводы своей матери о смысле

жизни. Работай — или голодай. Работай — или потеряешь кров над головой. Работай — или умрешь. Для Фергусонов малодушного понятия Все-За-Одного-И-Один-За-Всех не существовало. В их мирке Все-За-Всех — или ничего.

Фергусону и двух лет еще не исполнилось, когда бабушка умерла, а потому сознательных воспоминаний о ней он не сохранил, но, по семейному преданию, Фанни женщиной была трудной и непредсказуемой — ни с того ни с сего принималась орать или одержимо и безудержно рыдать, мальчишек своих лупила шваброй, когда те себя плохо вели, а в кое-какие местные лавки хода ей не было потому, что она громогласно торговалась. Никто не знал, где она родилась, поговаривали, что в Нью-Йорке она очутилась четырнадцатилетней сиротой и несколько лет после схода на берег провела на чердаке без окон в Нижнем Ист-Сайде, где шила шляпки. О своих родителях отец Фергусона Станли заговаривал с сыном редко, а на вопросы мальчика отвечал кратче и невнятнее некуда, очень осторожно, и все данные, какие юному Фергусону удавалось почерпнуть о прародителях по отцовой линии, почти целиком поступали от его матери Розы, которая была на много лет младше двух остальных

невесток Фергусонов из второго поколения, а сама получила почти все сведения от Милли, жены Лью, — женщины, склонной посплетничать: та вышла замуж за человека гораздо менее скрытного и гораздо более разговорчивого, нежели Станли или Арнольд. Когда Фергусону исполнилось восемнадцать, мать пересказала ему одну историю Милли, представив ее не более чем слухом, ничем не подтвержденным домыслом, который мог оказаться правдой — а мог, опять же, и нет. Если верить тому, что Лью рассказывал Милли — или же Милли утверждала, будто он ей рассказывал, — имелся еще и четвертый ребенок Фергусон, девочка, родившаяся через три или четыре года после Станли, в то время, когда семья поселилась в Дулуте и Айк искал работу младшего матроса на судне с Великих озер: семья в тот период крайне бедствовала, и потому, что Айка не было дома, когда Фанни родила девочку, и потому, что дело происходило в Миннесоте, вдобавок еще и зимой, особенно суровой зимой в особенно холодном месте, а дом, где они жили, отапливался лишь одной дровяной печуркой, а денег тогда было так мало, что Фанни и мальчикам есть доводилось всего раз в день, — от мысли о том, что придется заботиться еще об одном

ребенке, ей стало до того жутко, что она утопила свою новорожденную дочурку в ванне.

Пусть Станли и рассказывал сыну о своих родителях мало, о себе он тоже не слишком распространялся. Оттого у Фергусона плохо получалось ясно и наглядно представлять себе, каким его отец был в детстве — или в ранней юности, или в молодости, или еще когда бы то ни было, пока тот через два месяца после того, как ему исполнилось тридцать, не женился на Розе. Из мимолетных замечаний, какие иногда слетали с отцовых уст, Фергусону, однако, удалось выяснить вот что: Станли частенько дразнили его старшие братья, помыкали им, а сам он, поскольку был младше всех, а потому меньше всех в детстве прожил с живым отцом, сильнее всех привязался к Фанни, учился он прилежно и, спору нет, был из всех братьев лучшим спортсменом, в футбольной команде играл крайним, а в легкоатлетической, в Центральной средней школе, бегал четверть мили, дар к электронике привел его к тому, что летом после окончания школы в 1932-м он открыл лавочку по ремонту радиоприемников (*дыра в стене на Академия-стрит в Ньюарке*, как сам он выражался, *чуть больше кабинки для чистки обуви*), правый глаз

ему в одиннадцать лет повредило ручкой швабры, когда мать как-то раз принялась неистово ею размахивать (он чуть не потерял зрение совсем, отчего в армию во время Второй мировой его не взяли по форме 4-Ф), кличку «Сынок» он терпеть не мог и отказался от нее, как только убрался из школы, любил танцевать и играть в теннис, никогда слова дурного не говорил о своих братьях, как бы глупо или отвратительно те к нему ни относились, в детстве после уроков разносил газеты, всерьез подумывал изучать право, но отказался от этого замысла из-за недостатка средств, после двадцати лет слыл дамским угодником и ухаживал за ордами молодых евреек, ни на одной не намереваясь жениться, в тридцатые годы несколько раз наезжал на Кубу, когда Гавана была столицей греха всего Западного полушария, а величайшим честолюбивым его замыслом в жизни было стать миллионером, человеком богатым, как Рокфеллер.

И Лью, и Арнольд женились, когда обоим едва перевалило за двадцать, оба стремились вырваться из полоумного дома Фанни как можно скорее, сбежать от вопящей самодержицы, правившей всеми Фергусонами после отцовой смерти в 1923 году, но у Станли, еще совсем юнца, когда братья

сбежали, выбора не было, и он остался. В конце концов, он едва-едва закончил среднюю школу, но затем годы шли, один за другим, и так — одиннадцать лет, а он никуда не девался, необъяснимо так жил и дальше в той же квартире на верхнем этаже вместе с Фанни, всю Депрессию и первую половину войны, вероятно — застрял по инерции или из лени, быть может, из чувства долга или виноватости перед матерью, а то и из-за всего сразу, отчего ему совсем не удавалось вообразить, как он станет жить где-то еще. И Лью, и Арнольд завели собственных детей, а Станли, судя по всему, вполне довольствовался вольной охотой, почти всю свою энергию тратил на то, чтобы из мелкого своего предприятия сделать предприятие побольше, поскольку же он не выказывал ни малейшей наклонности жениться, даже сильно перевалив за двадцать и уже порхая к тридцатнику, возникало как-то мало сомнений, что холостяком он останется на всю жизнь. И тут, в октябре 1943 года, не прошло и недели после того, как американская Пятая армия отбила у немцев Неаполь, посреди того периода надежд на то, что война склоняется, наконец, в пользу союзников, Станли на свидании вслепую в Нью-Йорке познакомился с Розой Адлер двадцати одного

года, и очарование пожизненного холостячества постигла быстрая и необратимая кончина.

Так прелестна была она, мать Фергусона, так пригожа своими серо-зелеными глазами и длинными каштановыми волосами, так порывиста и чутка, так скора на улыбку, так восхитительно сложена во всех своих пяти футах шести дюймах роста, какие достались ее персоне, что Станли, впервые пожав ей руку, отрешенный и обычно такой обособленный Станли, Станли двадцати девяти лет, кого прежде никогда еще не сжигало пламя любви, ощутил, как перед Розой он распадается на части, словно из легких его высосали весь воздух и он никогда уже не сможет дышать.

Она тоже была ребенком иммигрантов — отца, уроженца Варшавы, и матери-одесситки, оба приехали в Америку, не исполнилось им и трех лет. Адлеры, стало быть, больше ассимилировались, чем Фергусоны, и в голосах родителей Розы никогда не слышалось ни малейшего следа иностранного акцента. Выросли они в Детройте и Гудзоне, штат Нью-Йорк, а идиш, польский и русский их родителей уступили место беглому, богатому английскому; отец же Станли до самой смерти своей старался овладеть вторым языком, а мать даже теперь, в 1943-м, почти через

полвека после отрыва от восточноевропейских корней, читала «Джуиш Дейли Форвард», а не американские газеты и изъяснялась на странном разномастном языке, какой сыновья ее называли «англишем», — едва ли вразумительном патуа, в котором идиш и английский сочетались почти в каждой фразе, вылетавшей у нее из уст. То была единственная существенная разница между предками Розы и Станли, но гораздо важнее того, насколько хорошо или плохо их родители приспособились к жизни в Америке, был вопрос удачи. Родителям и прародителям Розы удалось избежать тех жестоких поворотов судьбы, какие выпали на долю Фергусонов, и в их истории не было никаких убийств при ограблении складов, никакой нищеты на грани голода и отчаяния, никаких утопленных в ваннах младенцев. Детройтский дедушка был портным, гудзонский дедушка — цирюльником, и хотя резать ткань или волосы — не те занятия, что могли бы вывести на путь богатства и мирского успеха, они предоставляли достаточно постоянный доход, чтобы на столе всегда имелась еда, а на детях — одежда.

Отец Розы Бенджамин, также известный как Бен или Бенджи, уехал из Детройта на следующий

день после того, как в 1911 году закончил школу, и направился в Нью-Йорк, где дальний родственник нашел ему работу продавца в центральном магазине одежды, но юный Адлер через две недели бросил эту работу, зная, что судьбе его не угодно, чтобы он тратил свою краткую жизнь на земле на продажу мужских носков и исподнего, и тридцать два года спустя, побыв разъездным торговцем бытовых чистящих средств, распространителем граммофонных пластинок, солдатом в Первой мировой, поторговав автомобилями, повладев на паях стоянкой подержанных машин в Бруклине, на жизнь он зарабатывал как один из трех миноритарных партнеров манхаттанской фирмы недвижимости — дохода хватило, чтобы в 1941 году перевезти семью с Краун-Хайтс в Бруклине в дом на Западной Пятьдесят восьмой улице, за полгода до того, как Америка вступила в войну.

Согласно тому, что рассказывали Розе, родители ее познакомились на воскресном пикнике на севере штата Нью-Йорк, неподалеку от материна дома в Гудзоне, и, не прошло и полгода (в ноябре 1919-го), эти двое поженились. Как Роза впоследствии признавалась сыну, брак этот ее всегда озадачивал, поскольку никогда не доводилось

ей видеть двух менее совместимых друг с другом людей, чем ее родители, и то, что союз этот выдержал более четырех десятков лет, несомненно, было одной из величайших загадок в истории человеческого супружества. Бенджи Адлер был треплом и всезнайкой, прожженным авантюристом с сотней планов по карманам, хохмачом, никогда не упускал своего и всегда перетягивал одеяло на себя — и вот он на воскресном пикнике где-то в глуши штата Нью-Йорк запал на робкую и застенчивую Эмму Бромовиц, кругленькую, грудастую девушку двадцати трех лет, кожа бледнее не бывает, копна пышных рыжих волос, такую девственную, такую неопытную, такую викторианскую по манерам, что стоило лишь взглянуть на нее, как сам собой напрашивался вывод, что уст ее ни разу в жизни не касались мужские губы. Непостижимо было, что они поженятся, — все знаки предсказывали, что они будут обречены на жизнь, полную распрей и непонимания, — но они поженились, и хотя хранить супружескую верность Эмме после рождения их дочерей (Мильдред в 1920-м, Роза в 1922-м) Бенджи было трудновато, в сердце своем он за нее держался, а она, вновь и вновь им обманутая, так и не сумела заставить себя обратиться против него.

Роза обожала старшую сестру, но нельзя сказать, что верно было и обратное: перворожденная Мильдред естественно приняла свое богоданное право принцессы этого дома, и мелкую соперницу, вдруг явившуюся на сцену, следовало учить — если необходимо, снова и снова, — что есть лишь один трон в квартире Адлеров на Франклин-авеню, один трон и одна принцесса, и любые попытки этот трон узурпировать будут встречены объявлением войны. Не то чтоб Мильдред держалась в открытую враждебно с Розой, но милости ее отмерялись чайными ложками — не больше такого-то количества доброты в минуту, час или месяц, — и неизменно предоставлялись с оттенком высокомерного снисхождения, как и подобает персоне ее царственного чина. Холодная и осмотрительная Мильдред; душевная и слащавая Роза. Когда девочкам исполнилось двенадцать и десять, уже стало ясно, что ум у Мильдред исключительный, ее успехи в учебе — результат не только прилежания, но и превосходной интеллектуальной одаренности, и, хотя Роза тоже была вполне сообразительна и зарабатывала вполне достойные отметки, в сравнении с сестрой она всегда была посредственностью. Не понимая толком своих мотивов, ни разу сознательно об этом

не задумавшись и не составив никакого плана, Роза постепенно перестала тягаться с сестрой на условиях Мильдред, поскольку инстинктивно понимала: если подражать сестре, у нее ничего не выйдет, а потому, если хочется какого-то счастья в жизни, ей придется пойти другим путем.

Решение она обрела в работе — в попытках обрести свое место тем, что сама будет себя кормить, и как только ей исполнилось четырнадцать и стало можно официально трудиться, она устроилась на свою первую службу, которая быстро привела к череде других, и уже к шестнадцати годам Роза днем трудилась на полной ставке, а по вечерам училась в старших классах. Пускай Мильдред запирается в келье своего уставленного книгами ума, пусть плывет себе в колледж и читает все, что написали за последние две тысячи лет, а Роза желает настоящего мира, Роза этому миру принадлежит — суете и гаму нью-йоркских улиц, ощущенью того, что стоишь за себя и сама всего в жизни добиваешься. Как отважные, сметливые героини в фильмах, которые она ходила смотреть и два, и три раза в неделю: нескончаемый отряд студийных картин, где в главных ролях снимались Клодетта Кольбер, Барбара Станвик, Джинджер Роджерс, Джоанна Блонделл, Роза-

линда Рассел и Джина Артур, — она примеряла на себя роль юной, решительной девушки-карьеристки и сраталась с нею так, словно жила в собственной кинокартине, «Истории Розы Адлер», в этом длинном, бесконечно запутанном кино, у какого еще и первая катушка не закончилась, а в грядущем оно обещало нечто великое.

Когда в октябре 1943-го Роза познакомилась со Станли, она уже два года проработала у фотографа-портретиста Эмануэля Шнейдермана, чье ателье располагалось на Западной Двадцать седьмой улице около Шестой авеню. Начала Роза как администратор-секретарь-бухгалтер, но, когда в июне 1942-го фотоассистент Шнейдермана ушел в армию, Роза его заменила. Старику Шнейдерману уже было далеко за шестьдесят — немецкий еврей, иммигрировавший в Нью-Йорк с женой и двумя сыновьями после Первой мировой войны, угрюмый человек, подверженный приступам сварливости и попросту оскорбительного сквернословия, — но к красотке Розе в нем постепенно развилась ворчливая нежность, и, поскольку он осознал, до чего внимательно наблюдала она, как он работает, в свои первые дни у него в ателье, то решил сделать ее своим подмастерьем-ассистенткой и научить всему, что сам знал

о фотоаппаратах, освещении и проявке — всему искусству и ремеслу своего дела. У Розы, которая прежде никогда толком не понимала, к чему стремится, и работала в разных конторах только за плату и мало еще почему, иными словами — без какой-либо надежды или внутреннего удовлетворения, — ощущение возникло такое, словно она вдруг наткнулась на призвание — не просто на очередную работу, а на новый способ быть на белом свете: вглядываться в чужие лица, каждый день все новые, каждое утро и вечер иные, каждое отлично от всех прочих лиц, — и, не успела Роза оглянуться, как поняла, что любит эту работу: смотреть на других, — и что она никогда от этого не устанет, просто не сможет.

Станли теперь работал совместно с братьями: обоих не взяли на военную службу (плоскостопие и плохое зрение), и после нескольких перестроек и расширений лавочка по ремонту радиоприемников, основанная в 1932 году, выросла в солидный магазин мебели и бытовой техники на Спрингфильд-авеню, со всеми приманками и ухищрениями современной американской розничной торговли: долговременными рассрочками, предложениями купить две вещи, одну получить в подарок, полугодовыми всеобщими

распродажами, консультационными услугами новобрачным и особыми предложениями на День флага. Первым к нему присоединился Арнольд — неумелый, не слишком сообразительный средний брат, профукавший несколько работ в торговле, теперь ему трудно было обеспечивать жену Джоан и их троих детишек, — а еще через пару лет в лоно семьи вернулся и Лью: не потому, что его как-то интересовали мебель или бытовые приборы, а из-за того, что Станли только что — уже вторично за последние пять лет — покрыл его игорные долги и вынудил его в знак доброй воли и покаяния вступить в дело, учитывая, что любое нежелание со стороны Лью приведет только к тому, что тот не получит от брата больше ни единого пенни весь остаток своих дней. Так и родилось предприятие, известное как «Домашний мир 3 братьев», под управлением, по сути, всего одного брата, Станли, самого младшего и целеустремленного из всех сыновей Фанни, кто по некоему извращенному, но неоспоримому убеждению, что верность семье побивает все остальные человеческие свойства, добровольно взял на себя бремя тащить двух своих сородичей-неудачников, которые благодарность ему выражали тем, что постоянно опаздывали

на работу, тибрили из кассы десятки и двадцатки, когда их собственные карманы пустели, а в теплые месяцы года после обеда отправлялись играть в гольф. Если Станли их поведение и расстраивало, он никогда не жаловался, ибо законы Вселенной запрещают человеку жаловаться на братьев его, и даже если прибыль «Домашнего мира» была бы несколько выше без нагрузки в виде жалований Лью и Арнольда, предприятие все равно оставалось «в плюсах», а когда война через год-другой закончится, картинка станет еще ярче — тогда появится телевидение, и братья окажутся первыми в тех местах, кто начнет торговать этими приемниками. Нет, Станли еще не разбогател, но уже некоторое время доходы его неуклонно росли, и когда он познакомился с Розой тем октябрьским вечером в 1943-м, то был уверен, что лучшее у него еще впереди.

В отличие от Станли, Розу уже опалило пламенем страстной любви. Если б не война, отнявшая у нее любимого, эти двое никогда бы не встретились, поскольку она бы уже была замужем за кем-то другим задолго до того октябрьского вечера, однако молодой человек, с которым она была помолвлена, Давид Раскин, уроженец Бруклина и будущий врач, вошедший в ее жизнь, когда

ей было семнадцать, был убит случайным взрывом на учениях в учебной части Форт-Беннинга в Джорджии. Известие это пришло в августе 1942-го, и много месяцев после Роза носила траур, поочередно злилась и вся немела, ее словно выпотрошило, без всякой надежды, она почти обезумела от горя, проклинала войну, визжа по ночам в подушку, ей не удавалось смириться с тем, что Давид никогда ее больше не коснется. Удерживало ее все эти месяцы лишь одно — работа у Шнейдермана, которая приносила хоть какое-то утешение, какое-то удовольствие, давала хоть какую-то причину вставать по утрам с кровати, но вот аппетита выходить куда-то и с кем-то общаться у нее уже не было, как неинтересно было знакомиться с другими мужчинами, а потому ее жизнь сократилась до самомалейшей рутины: работа, дом и выходы в кино с подругой Ненси Файн. Потихоньку-помаленьку, однако, особенно в последние два или три месяца, Роза начала напоминать себя прежнюю — обнаружила, что у еды, оказывается, есть вкус, когда кладешь ее в рот, например, а когда в городе дождь, он льет не только на нее: всем мужчинам, женщинам и детям приходится прыгать через те же лужи, что и ей. Нет, она никогда не оправится от смерти

Давида, тот навеки останется тайным призраком и будет идти с нею рядом, пока она ковыляет в будущее, но двадцать один — это слишком рано, чтобы поворачиваться к миру спиной, и если она не постарается снова вступить в этот мир, то просто развалится и умрет, Роза это понимала.

Свидание вслепую со Станли ей устроила Ненси Файн — язвительная, остроумная Ненси с большими зубами и костлявыми руками, она была лучшей подругой Розы еще с детства, которое они вместе проводили в Краун-Хайтс. Сама Ненси познакомилась со Станли на танцах, какие происходили по выходным в Катскиллах — там, в гостинице «Браун», собирались на гулянки толпы свободных-но-деятельно-ищущих молодых евреев из города, *рынок кошерного мяса*, как выражалась Ненси, и хотя сама Ненси никого деятельно не искала (она была помолвлена с солдатом, расквартированным где-то на Тихом океане, который, судя по последним известиям, еще числился среди живых), но отправилась туда просто повеселиться с какой-то подругой — и в итоге пару раз потанцевала с *парнем из Ньюарка по имени Станли*. Ему захотелось повидаться с нею еще раз, сказала Ненси, но стоило ей сообщить ему, что она девственность свою пообещала

другому, как он улыбнулся, отвесил маленький комический поклон и уже собирался отойти прочь, но тут она пустилась рассказывать ему о своей подруге Розе, Розе Адлер, *прелестнейшей девушке по эту сторону от Дуная и прекраснейшем человечке по эту сторону от чего угодно*. Таковы были подлинные чувства Ненси к Розе, и когда Станли осознал, что она не шутит, дал ей понять, что был бы не прочь познакомиться с этой ее подругой. Ненси извинилась перед Розой за то, что эдак выпалила ее имя, но та лишь пожала плечами, зная, что ничего плохого Ненси в виду не имела, а потом спросила: Ну и каков он? По словам Ненси, Станли Фергусон был около шести футов ростом, смазлив, староват: почти тридцать — а это старость на ее двадцатиоднолетний взгляд, — занимается собственным делом и явно преуспевает, чарующ, учтив и очень хорошо танцует. Как только Роза усвоила эти сведения — на несколько мгновений задумалась, готова ли принять вызов свидания вслепую, а затем посреди всех этих размышлений ей пришло в голову, что Давид уже больше года как погиб. Нравится ей это или нет, но пришло время вновь попробовать воду. Она взглянула на Ненси и сказала: Наверное, мне стоит увидеться с этим Станли Фергусоном,

как ты считаешь?

Много лет спустя, когда Роза рассказывала сыну о событиях того вечера, название ресторана, где они со Станли встретились поужинать, она не упомянула. Тем не менее, если память его не подводила, Фергусон полагал, что находился тот где-то в средней части Манхаттана, в Ист-Сайде или Вест-Сайде — неизвестно, но местечко элегантное, с белыми скатертями и официантами при галстуках-бабочках и коротких черных куртках, то есть Станли сознательно старался произвести на нее впечатление, доказать, что может позволить себе такие траты, как эта, когда б ему ни захотелось, и да, она сочла его физически привлекательным, ее поразило, как легок его шаг, как изящно и текуче его тело в движении, но также и руки его, размер и сила его рук, все это она заметила сразу, а еще безмятежный, не нахрапистый взгляд, который он с нее не спускал, карие глаза, не большие и не маленькие, и густые черные брови. Не сознавая того монументального впечатления, какое произвела она на своего ошеломленного сотрапезника, того рукопожатия, что привело к полнейшему распаду внутренней сущности Станли, она несколько опешила от того, насколько немногословен был он в самом

начале их трапезы, а потому приняла его за необычайно робкую личность, что, говоря строго, было не так. Из-за того, что сама она нервничала, а Станли продолжал сидеть преимущественно молча, она завелась и болтала за двоих, то есть говорила слишком много, минуты тикали, и она все больше приходила в ужас от самой себя за то, что трещит, как безмозглая балаболка, хвалится своей сестрой, к примеру, и рассказывает ему, как блестяще Мильдред учится, диплом с отличием в Хантере прошлым июнем, теперь поступила на дипломную программу в Колумбию, единственная женщина на факультете английского, лишь одна из трех евреев, вообразите, как ею гордятся в семье, а стоило упомянуть семью, как она перескочила на дядю Арчи, младшего брата ее отца, Арчи Адлера, пианиста в «Городском квинтете», который играет теперь в «Пристанище Мо» на Пятьдесят второй улице, и как это вдохновляет, если среди родни есть музыкант, художник, такой ренегат, кто думает не о зарабатывании денег, а о чем-то другом, да, своего дядю Арчи она любит, он, спору нет, самый любимый у нее родственник, а затем, неизбежно, она заговорила о своей работе у Шнейдермана, перечисляя все, чему тот ее научил за последние полтора года,

о сварливом сквернослове Шнейдермане, который водил ее по воскресеньям в Бауэри искать старых пьянчуг и бродяг, сломленных существ с седыми бородами и нестриженными седыми же патлами, с великолепными головами, головами древних пророков и царей, и Шнейдерман этим людям давал деньги, чтобы приходили к нему в ателье позировать, преимущественно в костюмах, старики, разодетые в тюрбаны и халаты, в бархатных мантиях, так же Рембрандт одевал всякое отребье Амстердама в семнадцатом веке, и они этих людей освещали так же, Рембрандтовым светом, где вместе свет и тьма, глубокая тень, сплошь тень с легчайшим мазком света, а Шнейдерман теперь уже достаточно в нее верит и дает ей самой ставить свет, она лично уже несколько десятков таких портретов сделала, и когда она употребила слово *кьяроскуро* и поняла, что Станли понятия не имеет, о чем она толкует, что она с таким же успехом все это время могла говорить по-японски, он бы все равно не понял, но продолжал на нее смотреть, слушать ее, зачарованный и безмолвный, ошарашенный.

То было отвратительное поведение, подумалось ей, стыдобища. К счастью, монолог прервало явление главного блюда, отчего ей выпало

несколько мгновений для того, чтобы привести в порядок мысли, и когда они принялись за еду (кушанья неизвестны), она уже достаточно успокоилась, чтобы осознать: вся эта несвойственная ей болтовня — ширма, лишь бы защитить себя от разговора о Давиде, ибо то было единственное, о чем ей не хотелось говорить, говорить о чем она отказывалась, а потому пустилась во все эти нелепые тяжкие — только б исхитриться и не показывать свою рану. Станли Фергусон к этому никакого отношения не имел. Он, казалось, человек приличный, он же не виноват, что его не взяли в армию, что он теперь сидит в этом ресторане, одетый в гражданское от хорошего портного, а не месит грязь на каком-нибудь далеком поле боя или его не разрывает на куски на учениях. Нет, в этом он вовсе не виноват, и она была бы бессердечной личностью, если б упрекнула его за то, что он не погиб, однако же как тут не сравнивать, как не задаваться вопросом, отчего этому человеку быть живым, а Давиду — мертвым?

Несмотря на все это, ужин прошел умеренно неплохо. Едва Станли оправился от начального потрясения и вновь сумел дышать, оказалось, что он тип обаятельный, не слишком о себе мнит, как

столь многие другие мужчины, а внимателен и учтив, остроумием, быть может, и не блещет, но юмор ценит, он смеялся, когда она произносила что-нибудь даже отдаленно смешное, а когда заговорил о своей работе и планах на будущее, Розе стало ясно, что в нем есть что-то крепкое, на что можно опереться. Жаль, что он человек деловой и не интересуется Рембрандтом или фотографией, но он хотя бы за ФДР[1] (это важно) и, похоже, достаточно честен, чтобы признавать, что знает мало — или вообще ничего — о многом, включая живопись семнадцатого века и искусство фотоснимка. Он ей понравился. Она сочла, что быть с ним приятно, но хоть он и располагал всеми или большинством свойств так называемой «завидной партии», она понимала, что нипочем не увлечется им так, как на то рассчитывала Ненси. После ужина в ресторане они с полчаса побродили по тротуарам среднего Манхаттана, зашли выпить в «Пристанище Мо», где помахали дяде Арчи, трудившемуся за клавишами рояля (он щедро им ухмыльнулся и помахал), а затем Станли проводил ее до родительской квартиры на Западной Пятьдесят восьмой улице. Поднялся

---

[1] Сноски: 1

Фрэнклин Делано Рузевелт. — *Зд. и далее примеч. перев.*

с нею на лифте наверх, но в дом она его не пригласила. Протянув руку на прощание (и умело увернувшись от любой попытки упредительного поцелуя), она поблагодарила его за прелестный вечер, после чего отвернулась, отперла дверь и зашла в квартиру, почти уверенная, что никогда больше его не увидит.

Со Станли дело, конечно, обстояло иначе — иначе оно обстояло с первого же мгновения того первого свиданья, — и поскольку он ничего не знал про Давида Раскина и скорбящее сердце Розы, то прикинул, что действовать ему придется быстро, ибо такая девушка, как Роза, — не из тех, кто надолго засидится в одиночестве, мужчины, вне всяких сомнений, так и вьются вокруг нее, она неотразима, каждая частица ее вопиет о своей милости, красоте и доброте, и впервые в жизни Станли вознамерился совершить невозможное: посрамить всевозрастающую орду ухажеров Розы и завоевать ее самому, поскольку то была женщина, на которой он решил жениться, а если Роза женой его не станет, то ею не станет больше никто.

Следующие четыре месяца он являлся к ней часто — не настолько, чтобы надоесть, но регулярно, настойчиво, с неослабным вниманием

и решимостью, обходя с флангов своих воображаемых соперников с тем, что ему самому представлялось стратегической хитростью, однако истина заключалась в том, что никаких серьезных соперников вокруг не было, лишь двое-трое других мужчин, с которыми Ненси ее познакомила уже после того, как Роза встретилась со Станли в октябре, но одного за другим этих мужчин она забраковала, отвергла их дальнейшие приглашения и продолжала выжидать, а это означало, что рыцарь Станли идет в атаку по безлюдному полю, хоть и видит повсюду вокруг призрачных врагов. Чувства Розы к нему не изменились, но она предпочитала его общество одиночеству своей комнаты, уж лучше так, чем после ужина слушать радио с родителями, и потому она редко отказывалась, когда он приглашал ее где-нибудь провести вечер, ходила с ним кататься на коньках, играть в кегли, танцевать (да, танцором он был замечательным), слушать Бетховена в «Карнеги-Холле», смотреть две бродвейские оперетты и несколько фильмов. Она быстро поняла, что драмы на Станли не действуют (он задремал на «Песни Бернадетты» и на «По ком звонит колокол»), однако на комедиях глаза его неизменно оставались открытыми, напри-

мер, на «Чем больше, тем веселей» — со вкусом снятой безделке о военной нехватке жилья в Вашингтоне, развеселившей их обоих, в главных ролях Джоэль Маккри (такой красавец) и Джина Артур (одна из любимых актрис Розы), однако самое сильное впечатление на нее произвела фраза, сказанная другим артистом, реплика, произнесенная Чарльзом Кобурном, который играл нечто вроде купидона в обличье старого американского жирдяя, и повторенная им на протяжении фильма не раз и не два: *высший класс, опрятный, приятный молодой человек*, — как будто она была заклинанием, превозносившим достоинства мужа такого типа, какого следует желать любой женщине. Станли Фергусон был опрятен, приятен и все еще относительно молод, а если *высший класс* означал добропорядочность, любезность и послушание закону, то и все это в нем имелось, да только Роза далеко не была уверена, что ищет именно таких достоинств — уж точно после той любви, что была у них с пылким и мятущимся Давидом Раскиным, любви, что временами бывала утомительна, но ярка и всегда неожиданна в своих постоянно переменчивых обличьях, в то время как Станли казался таким мягким и предсказуемым, таким надежным, и

она задавалась вопросом, достоинство или же недостаток — такое постоянство характера.

С другой стороны, он грубо ей не навязывался, не требовал у нее поцелуев, которые, знал он, Роза не желала ему выделять, хоть теперь уже и было очевидно, что он в нее влюблен до беспамятства, и всякий раз, когда они были вместе, ему приходилось бороться с собой, чтобы не коснуться ее, не поцеловать, не навязаться.

С другой стороны, когда она ему сказала, какая красавица, на ее взгляд, Ингрид Бергман, он на это ответил пренебрежительным смешком, посмотрел ей в глаза и ответил со спокойнейшей из спокойных уверенностей, что ей Ингрид Бергман и в подметки не годится.

С другой стороны, в конце ноября случился холодный день, когда он без предупреждения заявился в ателье Шнейдермана и попросил сделать его портрет — чтобы снимал не Шнейдерман, а она.

С другой стороны, ее родители его одобряли, одобрял его Шнейдерман и даже Мильдред, Герцогиня Сноб-Холла, выразила о нем свое благосклонное мнение, провозгласив, что Розе все могло удаться гораздо хуже.

С другой стороны, случались у него и моменты

вдохновенья, необъяснимые припадки буйства, когда что-то в нем временно вылетало на волю, и он превращался в сорвиголову и бесшабашного проказника — например, тем вечером, когда выкаблучивался перед нею в кухне у родителей: жонглировал тремя сырыми яйцами, добрые две минуты поддерживал их на лету с головокружительной скоростью и точностью, после чего одно шмякнулось на пол, и тут он намеренно выпустил из рук два других, а за беспорядок извинился, пожав плечами, как немой комедиант, односложно объявив: Ой.

Все эти четыре месяца они виделись раз или два в неделю, и даже если Роза не могла отдать свое сердце Станли так же, как он отдал ей свое, она была ему благодарна за то, что поднял ее с земли и вновь поставил на ноги. При равенстве всего прочего она была б довольна, если бы все продолжалось точно так же еще сколько-то, но едва ей начало быть с ним удобно, едва она стала наслаждаться той игрой, в какую они играли вместе, Станли вдруг резко изменил правила.

Подходил к концу январь 1944-го. В России только что завершилась девятисотдневная блокада Ленинграда; в Италии немцы прижали союзников под Монте-Кассино; на Тихом океане

американские войска были готовы начать наступление на Маршалловы острова; а на внутреннем фронте, на краю Центрального парка в городе Нью-Йорке, Станли предлагал Розе выйти за него замуж. Над головой горело яркое зимнее солнце, безоблачное небо было глубокого и сверкающего оттенка синевы — той хрустальной синевы, что окутывает Нью-Йорк лишь определенными днями в январе, — и в тот солнечный воскресный день в тысячах миль от кровопролития и бойни Станли говорил ей, что свадьба — или ничто, он перед нею преклоняется, он никогда ни к кому так не относился, весь очерк его будущего от нее зависит, и если она его отвергнет, он ее больше никогда не увидит, мысль о том, чтобы увидеть ее опять, будет для него тогда попросту чересчур, а потому он исчезнет из ее жизни навеки.

Она попросила у него неделю. Все это так внезапно, сказала она, так неожиданно, что ей нужно немножко подумать. Конечно, ответил Станли, возьми недельку на обдумывание, я перезвоню в следующее воскресенье, ровно через неделю, а потом, когда они расставались у входа в парк с Пятьдесят девятой улицы, — впервые поцеловались, и впервые с тех пор, как они познакомились, Роза увидела, как в глазах Станли блестят слезы.

Исход, разумеется, был давно написан. Он не только возникает в виде статьи во всеобъемлющем авторизованном издании «Книги земной жизни», но и обнаруживается в Манхаттанском архивном бюро, где книга записей гражданского состояния извещает нас, что Роза Адлер и Станли Фергусон сочетались браком 6 апреля 1944 года, ровно за два месяца до высадки союзников в Нормандии. Мы знаем, что́ решила Роза, стало быть, но почему она пришла к своему решению — вопрос сложный. Много в нем было различных составляющих, каждая — в согласии и противопоставлении с другими, а поскольку о них всех Роза не была единого мнения, для будущей матери Фергусона неделя оказалась трудной и мучительной. Первое: зная, что Станли — человек слова, она содрогалась от мысли, что никогда больше его не увидит. К добру ли, к худу ли, но после Ненси он теперь стал ее лучшим другом. Второе: ей уже исполнился двадцать один год, она еще была достаточно молода, чтобы считаться молодой, но — не такой молодой, как большинство невест в ту пору, поскольку для девушек было не редкостью надевать свадебное платье в восемнадцать или девятнадцать, а последнее, чего Розе хотелось, — остаться незамужней. Третье: нет, Станли

она не любила, но это доказанный факт — не все браки по любви оказывались успешными союзами, а она где-то читала, что браки по расчету, господствующие в традиционных иностранных культурах, были не более и не менее счастливыми, чем браки на Западе. Четвертое: нет, она не любила Станли, но правда была в том, что любить кого-нибудь она и не могла — после своей Великой Любви к Давиду, поскольку Великая Любовь случается лишь раз в жизни человека, а следовательно, Розе придется согласиться на нечто не столь идеальное, если не хочется провести весь остаток своих дней в одиночестве. Пятое: в Станли не было ничего такого, что ее бы раздражало или отвращало. Мысль заниматься с ним сексом противна ей не была. Шестое: он ее любил до безумия и обращался с нею по-доброму и уважительно. Седьмое: в гипотетической дискуссии о браке всего двумя неделями раньше он ей сказал, что женщины должны быть свободны и блюсти собственные интересы, их жизнь не должна вращаться исключительно вокруг мужей. Это он о работе? — спросила она. Да, о работе, ответил он, — среди прочего. Это значило, что замужество за Станли не повлечет за собой отказа от Шнейдермана, она сможет продолжить

свой труд — учебу на фотографа. Восьмое: нет, она все-таки не любит Станли. Девятое: многим в нем она восхищалась, спору нет — хорошее в нем сильно перевешивало не столь хорошее, но почему он все время засыпает в кино? Устает от долгой работы у себя в магазине — или эти опускающиеся веки намекают на некое отсутствие связи с миром чувств? Десятое: Ньюарк! Можно ли вообще там жить? Одиннадцатое: Ньюарк — вот действительно загвоздка. Двенадцатое: ей пора съехать от родителей. Она уже слишком стара жить в той квартире, и как бы дороги ни были ей мать с отцом, обоих она презирала за двуличность — отца за то, что по-прежнему гоняется за юбками и не кается, мать за то, что делает вид, будто этого не замечает. Вот буквально на днях, вполне случайно, когда шла обедать в закусочную-автомат недалеко от ателье Шнейдермана, — заметила отца, тот шел под ручку с совершенно не знакомой ей женщиной, лет на пятнадцать-двадцать моложе него, и Розе стало так тошно, она так разозлилась, что захотелось подбежать к отцу и надавать ему по физиономии. Тринадцатое: если она выйдет за Станли, то, наконец, хоть в чем-то обскачет Мильдред, пусть и неясно, интересует ли брак Мильдред вообще.

Покамест сестра ее, похоже, вполне счастлива перескакивать от одного краткого романчика к другому. Молодец Мильдред, но Розе было совершенно неинтересно так жить. Четырнадцатое: Станли зарабатывал деньги, и, судя по тому, как дела обстояли сейчас, со временем он будет их зарабатывать еще больше. Такая мысль утешала, но и тревожила. Чтобы зарабатывать деньги, нужно все время о них думать. Получится ли жить с человеком, чья единственная забота — его банковский счет? Пятнадцатое: Станли считает ее самой красивой женщиной Нью-Йорка. Она знала, что это не так, но у нее не было сомнений в том, что Станли честно в это верит. Шестнадцатое: на горизонте больше никого нет. Даже если Станли никогда не станет другим Давидом, он намного превосходит эту шайку сопливых нытиков, которых ей подсылала Ненси. Станли хотя бы взрослый. Станли хотя бы никогда не жалуется. Семнадцатое: Станли — такой же еврей, как она сама еврейка, верный соплеменник, но его не интересует религия, он не клялся в верности Богу, а это будет означать жизнь, не отягощенную ритуалами и суевериями, всего лишь подарки на Ханукку, маца да четыре вопроса раз в год весной, обрезание для мальчика, если у них вообще

родится мальчик, но никаких молитв, никаких синагог, никакого притворства, что она верит в то, во что не верит, во что они не верят. Восемнадцатое: нет, она не любит Станли, но Станли любит ее. Вероятно, для начала этого довольно, первый шаг. А потом — кто знает?

Медовый месяц они провели на озерном курорте в Адирондаках, недельное посвящение в таинства супружеской жизни, краткое, но нескончаемое, поскольку каждому мигу, казалось, придана тяжесть часа или дня просто от новизны всего, что они переживали, период нервозности и кокетливых уступок, крохотных побед и интимных откровений, за который Станли преподал Розе первые для нее уроки вождения машины и научил ее начаткам тенниса, а потом они вернулись в Ньюарк и обосновались в квартире, где проживут все первые годы их брака, — трехкомнатной, на Ван-Велсор-плейс в районе Виквоик. Шнейдерман подарил ей на свадьбу оплаченный месячный отпуск, и за три недели, что оставались ей до возвращения на работу, Роза лихорадочно выучилась готовить, исключительно полагаясь на крепкое старое руководство по американской стряпне, которое мать подарила ей на день рождения, «Поваренную книгу поселения», несшую

подзаголовок «Путь к сердцу мужчины», — шестисотдвадцатитрехстраничный том, собранный миссис Саймон Кандер, включавший в себя «Проверенные рецепты кухонь бесплатных средних школ и профессионально-технических училищ для девочек штата Мильвоки, авторитетных диетологов и опытных домохозяек». Поначалу случались многочисленные бедствия, но Роза всегда училась быстро, и уж если решала чего-нибудь добиться, то обычно и добивалась этого сравнительно успешно, но даже в те первые дни проб и ошибок, пережаренного мяса и разваренных овощей, клейких пирогов и комковатого пюре Станли не сказал ей ни единого дурного слова. Как ни испорчена была еда, которую она ему подавала, он спокойно клал в рот все до единого кусочка, с явным наслаждением жевал, а потом, каждый вечер, каждый до единого вечер поднимал на нее взгляд и говорил, как вкусно это было. Иногда Роза спрашивала себя, не дразнит ли ее Станли — или же он слишком рассеян и не замечает, чем она его кормит, но так же, как с ее стряпней, было и со всем остальным, касавшимся их совместной жизни, и стоило Розе обратить внимание, то есть подбить итог всем случаям возможного раздора между ними, как она при-

шла к поразительному, вообще невообразимому заключению, что *Станли ее никогда не критиковал*. Для него она была совершенным существом, безупречной женщиной, безупречной женой и, следовательно, в теологической пропозиции, утверждавшей неизбежное существование Бога, все, что бы ни делала она, ни говорила и ни думала, было непременно совершенным, обязательно должно было быть совершенным. После того как она почти всю свою прежнюю жизнь делила спальню с Мильдред — той самой Мильдред, кто врезала замки в ящики своего комода, чтобы ее младшая сестра не брала у нее ничего поносить, той самой Мильдред, кто звала ее *пустоголовой* за то, что так часто ходит в кино, — теперь ей довелось делить спальню с мужчиной, считавшим ее совершенством, больше того: этот мужчина в той же самой спальне быстро научался тому, как обращаться с нею так, как ей больше всего нравилось.

Ньюарк был тосклив, но квартира — просторнее и ярче, чем у ее родителей за рекой, а вся обстановка в ней была новой (лучшее из того, что мог предложить «Домашний мир 3 братьев», — не лучшее вообще, быть может, но пока сгодится), а как только она вновь начала работать на Шней-

дермана, большой город оставался основной частью ее жизни — ее заветный, задрипанный, загребистый Нью-Йорк, столица человеческих лиц, горизонтальная Вавилонская башня человечьих языков. Ежедневная поездка на работу для нее состояла из медленного автобуса до поезда, двенадцати минут поездом от одного Пенсильванского вокзала до другого, а затем короткой прогулки пешком до ателье Шнейдермана, но она была не прочь ездить — вокруг же столько людей, на которых можно смотреть, а особенно любила она тот миг, когда поезд втягивался в Нью-Йорк и останавливался, за чем всегда следовала краткая пауза, как будто мир затаивал дыхание в безмолвном предвкушении, и тут двери открывались, и все выскакивали наружу, вагон за вагоном изрыгал пассажиров на внезапно становившийся тесным перрон, и она упивалась скоростью и целеустремленностью этой толпы, все неслись в одну сторону, а она — частичка этого, посреди всего, в пути на работу вместе со всеми. От такого она себя чувствовала независимой: привязана к Станли, но в то же время сама по себе, а это было для нее новое чувство, хорошее, и пока она шла вверх по пандусу и вливалась в другую толпу на открытом воздухе, и направлялась к Западной

Двадцать седьмой улице — воображала разных людей, кто будет в тот день заходить в ателье, матерей и отцов с новорожденными детишками, маленьких мальчиков в бейсбольных формах, древние парочки, усаживающиеся рядком сняться на портрет к сороковой или пятидесятой своей годовщине, ухмыляющихся девушек в мантиях и академических шапочках, женщин из женских клубов, мужчин из мужских, новичков-полицейских в парадных синих мундирах и, конечно, солдат — всегда новых и новых солдат, иногда с женами или невестами, или с родителями, но по большей части в одиночку, одиноких солдат в увольнительной в Нью-Йорке, или вернувшихся домой с фронта, или готовых отправиться куда-то убивать или быть убитыми, и она молилась за них всех, молилась, чтобы все вернулись со всеми конечностями при все еще дышащих телах, молилась каждое утро, пока шла с Пенсильванского вокзала до Западной Двадцать седьмой улицы, чтобы война поскорее закончилась.

В общем, не имелось у нее никаких серьезных сожалений, никаких мучительных соображений задним числом о том, что она приняла предложение Станли, но брак их, вместе с тем, не был лишен определенных изъянов — ни в одном из

них нельзя было напрямую упрекнуть Станли, но все же, выйдя за него, она вышла еще и за его родню, и всякий раз, стоило ей столкнуться с этой бессмысленной троицей неудачников, ей становилось интересно, как Станли удалось пережить детство и не спятить так же, как они. В первую очередь — с его матерью, по-прежнему энергичной Фанни Фергусон, которой уже было к семидесяти, росточком всего лишь пять футов два — два с половиной, седовласой брюзгой, вечно насупленной и суетливо-настороженной, она всегда бормотала что-то себе под нос, сидя в одиночестве на кушетке на семейных сборищах, одна — потому, что никто не осмеливался к ней и близко подойти, особенно пятеро ее внуков, возрастом от шести до одиннадцати, которых она не на шутку пугала до смерти, ибо, не задумываясь, лупила их по головам, если они вели себя неподобающе (если неподобающим можно было считать хохот, визг, прыжки, столкновения с мебелью и громкая отрыжка), а когда не могла дотянуться, чтобы треснуть, — орала на них так громко, что дребезжали абажуры. Когда Роза впервые с ней встретилась, Фанни ущипнула ее за щеку (довольно сильно, у нее заболело) и объявила Розу ладной девушкой. А потом весь

остаток того визита не обращала на нее ни малейшего внимания, как бывало и во все остальные визиты, и не происходило меж ними никакого общения, кроме обмена пустыми формальностями, здрасьте-до-свиданья, но, поскольку Фанни являла то же безразличие и к двум другим своим снохам, Милли и Джоан, как личное оскорбление Роза это не расценивала. Фанни заботили только ее собственные сыновья, они ее поддерживали и появлялись исправно у нее в доме каждую пятницу вечером на ужин, а вот женщины, на которых эти сыновья женились, оставались для нее просто-напросто тенями, и почти никогда она не могла вспомнить, как кого зовут. Все это Розу не очень-то беспокоило — ее общение с Фанни было редким и от случая к случаю, — а вот братья Станли — совсем другое дело, поскольку они на него работали, и она видела их каждый день, а как только до нее дошел потрясающий факт: эти двое — самые красивые мужчины, кого она в жизни видела, просто боги, а не мужчины, похожие на Эррола Флинна (Лью) и Кери Гранта (Арнольд), — у нее развилась сильная неприязнь к обоим. Они были мелки и нечестны, как ей казалось, тот, что постарше, Лью, не тупой, но изувеченный своей страстью к азартным

ставкам на футбольные и бейсбольные матчи, а тот, что помладше, Арнольд, чуть ли вообще не идиот, похабник с остекленевшим взглядом, он слишком много пил и никогда не упускал случая дотронуться до рук ее и плеч, пожать ей руки и плечи, он звал ее *Куколка*, *Детка* и *Красотка*, и ее отвращение к нему все больше углублялось. Ей страшно не нравилось, что Станли предоставил им работу в магазине, она терпеть не могла, что у него за спиной они над ним насмехаются, а то и прямо в лицо, доброму Станли, кто стократ больше мужчина, чем они, однако же Станли делал вид, будто этого не замечает, мирился с их подлостью, леностью и насмешками без единого слова поперек, выказывал столько терпимости, что Роза недоумевала, не вышла ли она ненароком замуж за святого, за одну из тех редких душ, кто никогда ни о ком дурно не думает, хотя опять-таки, рассуждала она, может, он всего-навсего рохля, который так никогда и не научился стоять за себя и давать сдачи. Почти безо всякой помощи братьев он превратил «Домашний мир» в выгодное предприятие, крупный, залитый светом дневных ламп торговый центр кресел и радиоприемников, обеденных столов и ле́дников, спальных гарнитуров и блендеров «Уэ-

ринг», в торговлю предметами среднего качества с большим объемом сбыта, нацеленную на клиентуру со средними или невысокими доходами, по-своему чудесный рынок двадцатого века, но, зайдя в магазин несколько раз в первые после медового месяца недели, Роза перестала туда заглядывать — не только потому, что сама вернулась на работу, но из-за того, что среди братьев Станли ей было тягостно, несчастно, совершенно неуместно.

И все равно ее разочарование в свойственниках несколько смягчалось женами и детьми братьев — теми Фергусонами, кто и Фергусонами-то не были, теми, кто не переживали всех бедствий, выпавших на долю Айка, Фанни и их потомства, — и в Милли и Джоан Роза быстро нашла себе новых подруг. Обе женщины были намного старше нее (тридцать четыре и тридцать два), но обе приняли ее в свое племя как равную, даровав ей полный статус в день ее свадьбы, что, среди прочего, означало, что ей дадено право знать все невесткины секреты. Самое большое впечатление на Розу произвела тараторка Милли, курившая без продыху, женщина до того худая, что, казалось, у нее под кожей не кости, а проволока, сообразительная, самоуверенная,

понимавшая, за какого человека в лице Лью она вышла замуж, но сколь верна ни была бы она своему прожженному распутному супругу, это не мешало ей нескончаемо язвить и острить по его поводу, подпускать такие умные ядовитые реплики, что Розе иногда приходилось выскакивать из комнаты, чтобы не лопнуть от хохота. Рядом с Милли Джоан выглядела чуть ли не дурочкой, но была такой душевной и щедрой, что ей до сих пор не приходило в голову, что она вышла за остолопа, и все же, чувствовала Роза, до чего хорошая она мать, такая нежная, терпеливая и заботливая, а вот острый язычок Милли часто ввергал ее в свары с детьми, которые не были так послушны, как у Джоан. У Милли их было двое — одиннадцатилетний Эндрю и девятилетняя Алиса, у Джоан трое — десятилетний Джек, восьмилетняя Франси и шестилетняя Руфь. Все они нравились Розе по-своему, не считая, может, Эндрю, в котором чувствовалось что-то грубое и воинственное, а оттого Милли часто его бранила за то, что он бьет сестренку, но больше всех Роза любила Франси, вне всяких сомнений, Франси была у нее любимицей, она просто не могла с собой ничего поделать, до чего прекрасным было это дитя, до чего исключительно живым, и когда

они познакомились — как будто влюбились друг в дружку с первого взгляда, высокая темно-рыжая Франси сразу бросилась к Розе в объятья, твердя: Тетя Роза, моя новая тетя Роза, ты такая красивенькая, такая красивенькая, теперь мы всегда будем дружить. Так оно и началось, и так продолжалось потом, обе были друг дружкой заворожены, и на свете мало что могло сравниться, ощущала Роза, с тем, как Франси забиралась ей на колени, когда все они усаживались вокруг стола, и начинала ей рассказывать о своей школе, о последней прочитанной книжке, о подружке, сказавшей о ней какую-нибудь гадость, о платье, какое мать купит ей ко дню рождения. Девочка устраивалась поудобнее на мягкой, как подушка, Розе, и, пока что-нибудь рассказывала, та гладила ее по голове, по щеке или спине, а совсем немного погодя ей уже начинало казаться, что она плывет, что они вдвоем покинули и комнату, и дом, и улицу и вместе летят по небу. Да, те семейные сборища могли быть жуткими, но и что-то хорошее в них бывало, нежданные маленькие чудеса, случавшиеся в самые неожиданные моменты, ведь боги безрассудны, решила для себя Роза, и дарят нам свои подарки, когда и где пожелают.

Розе самой хотелось быть матерью, родить

ребенка, выносить ребенка, чтобы у нее внутри билось второе сердце. Ничто с этим сравниться не могло, даже ее работа у Шнейдермана, даже дальний и пока еще плохо определенный умысел когда-нибудь отколоться и стать самостоятельным фотографом, открыть ателье со своей фамилией на вывеске над дверью. Те честолюбивые замыслы не значили ничего, когда она сопоставляла их с простым желанием вывести на свет новую личность, своего сына или дочь, ее собственное чадо, и быть этой личности матерью всю свою оставшуюся жизнь. Станли старался как мог — занимался с нею любовью, не предохраняясь, и оплодотворил ее трижды за первые полтора года их семейной жизни, но все три раза у Розы случался выкидыш, трижды на третьем месяце беременности, и когда они в апреле 1946-го отпраздновали вторую годовщину их супружеской жизни, детей у них по-прежнему не было.

Врачи уверяли, что с ней все в порядке, она здорова и со временем доносит ребенка до нужного срока, но все эти утраты тяжко сказывались на Розе, и по мере того, как один нерожденный ребенок сменял другого, одна неудача вела к следующей, Роза постепенно стала ощущать, что у

нее крадут саму ее женскость. Целыми днями после каждого фиаско она плакала, рыдала так, как не рыдала с месяцев после гибели Давида, и обычная оптимистка Роза, вечно крепкая и ясноглазая Роза проваливалась в уныние мрачнейшей жалости к себе и скорби. Если б не Станли, трудно сказать, насколько глубоко падала бы она духом, но он оставался стоек и собран, его не колебали ее слезы, и после каждого утраченного младенца он уверял ее, что это лишь временная загвоздка, а в конце концов все выйдет отлично. Когда он так с нею разговаривал, она ощущала с ним такую близость, так благодарна бывала ему за эту доброту, чувствовала себя такой неимоверно любимой. Она не верила ни единому его слову, конечно, — как она могла ему поверить, когда все доводы подтверждали, что он неправ? — но ее эта утешительная ложь успокаивала. И все равно озадачивало, до чего спокойно воспринимал он известие о каждом следующем выкидыше, до чего не мучили его жестокие, кровавые исторженья из ее тела его нерожденных детей. Возможно ли, недоумевала она, что Станли не разделяет ее желанья завести детей? Возможно, он и не знает, что именно так к этому и относится, но вдруг втайне он хочет, чтобы все продолжалось, как раньше,

чтобы она принадлежала только ему — жена, только ему одному верная, которая не делит свою любовь между ребенком и отцом? Она никогда не осмеливалась делиться подобными мыслями со Станли, ей и помститься бы не могло оскорбить его столь необоснованными подозрениями, но сомнение ее не покидало, и она спрашивала себя, не слишком ли хорош был Станли в ролях сына, брата и мужа, и, если так, то для отцовства, быть может, места в нем и не осталось.

5 мая 1945 года, за три дня до того, как в Европе закончилась война, от сердечного приступа замертво упал дядя Арчи. Ему исполнилось сорок девять — до нелепого юный возраст, чтоб падать замертво, а чтоб обстоятельства его кончины оказались еще нелепее, похороны устроили на День победы, и это значило, что, когда онемевшее от горя семейство Адлеров уехало с кладбища и вернулось в квартиру Арчи на Флетбуш-авеню в Бруклине, на улицах всего района танцевали люди, давили на клаксоны машин и разражались буйными криками веселья — праздновали окончание одной половины войны. Шум не стихал много часов, пока вдова Арчи Перл, их девятнадцатилетние дочери-близняшки Бетти и Шарлотта, родители и сестра Розы, сама Роза

и Станли, а также четверо еще остававшихся в живых членов «Городского квинтета» и десяток или около того знакомых, родственников и соседей сидели и стояли в безмолвной квартире с задернутыми шторами. Хорошие вести, которых все они так долго ждали, словно бы насмехались над ужасом смерти Арчи, и торжествующие, поющие голоса снаружи казались бессердечным святотатством, как будто весь боро Бруклин танцевал на могиле Арчи. Того дня Роза никогда не забудет. Не из-за собственного горя, которое и само по себе было достаточно памятно, а потому, что Мильдред до того расстроилась, что выхлестала семь скотчей и отключилась на диване, и еще потому, что никогда в жизни не видела она, чтобы ее собственный отец не выдержал и разрыдался. Кроме того, именно в тот день Роза дала себе слово, что если ей когда-нибудь повезет и она родит сына, то назовет его в честь Арчи.

В августе на Хиросиму и Нагасаки упали большие бомбы, к концу подошла вторая половина войны, и в середине 1946 года, за два месяца до второй годовщины брака Розы, Шнейдерман объявил ей, что намерен вскоре уйти на покой и ищет, кто бы купил у него дело. С учетом успехов, каких она добилась за те годы, что они прове-

ли вместе, сказал он, имея в виду, что она уже превратилась в умелого и опытного фотографа, он желает знать, не интересно ли ей взять его дело в свои руки. То был высочайший комплимент, какого он ее когда-либо удостаивал. Как бы польщена Роза ни была, однако она знала, что время для такой покупки неподходящее — они со Станли все свои лишние деньги как раз откладывали на приобретение дома в предместье, на одну семью, с задним двориком, деревьями на нем и гаражом на две машины, а покупать и дом, и ателье сразу им было не по карману. Шнейдерману она сказала, что нужно посоветоваться с мужем, и это она, не откладывая, тем же вечером после ужина и сделала, уверенно ожидая, что Станли ответит ей: об этом не может быть и речи, — но он ее огорошил, сказав, что выбор за ней, что, если она готова отказаться от мысли о доме, может покупать себе ателье, если только цена будет для них посильной. Роза прямо-таки опешила. Она знала, что Станли всею душой хотел купить дом, как вдруг он говорит ей, что его и квартира полностью устраивает, что он не прочь жить в ней еще несколько лет, и все это — неправда, а из-за того, что он вот так ей *лжет*, *лжет* потому, что обожает ее и хочет, чтобы у нее было все,

чего она желает, в Розе тем вечером что-то изменилось, и она поняла, что начинает любить Станли, поистине любить его, и если жизнь так и дальше будет продолжаться, даже возможно, что она в него влюбится безумно, что ее сразит невозможная вторая Великая Любовь.

Давай не станем торопиться, сказала она. Я об этом доме тоже мечтала, а прыжок от ассистентки до босса — это крупный шаг. Не уверена, что справлюсь. Мы можем об этом немного подумать?

Станли согласился об этом немного подумать. Когда наутро она встретилась на работе со Шнейдерманом, тот тоже согласился, чтоб они об этом немного подумали, а через десять дней после того, как думать она начала, обнаружила, что снова беременна.

Последние несколько месяцев она ходила к новому врачу, к человеку, которому доверяла, по имени Сеймур Джекобс, хорошему и интеллигентному, как ей казалось, врачу, который внимательно ее выслушивал и не спешил с выводами, а из-за трех ее предыдущих самопроизвольных выкидышей этот Джекобс настоятельно посоветовал ей перестать ездить каждый день в Нью-Йорк, бросить работу на весь период бе-

ременности и не выходить из дому вообще, как можно больше времени проводить в постели. Он понимал, что такие меры выглядят слишком уж радикальными и слегка старомодными, но он за нее беспокоится и, может, это ее последняя крепкая возможность родить. *Мой последний шанс*, сказала себе Роза, продолжая слушать сорокадвухлетнего врача с крупным носом и полными сочувствия карими глазами, а тот меж тем рассказывал ей, как успешно стать матерью. Больше никакого курения и питья, сказал он. Строгая белковая диета, ежедневные витаминные добавки и режим особых упражнений. Раз в две недели он будет ее навещать, а едва она почувствует хоть малейший намек на боль — пусть тут же снимает трубку и набирает его номер. Ей все ясно?

Да, все было ясно. Так и разрешилась дилемма, что покупать, дом или ателье, а это, в свою очередь, положило конец и ее дням у Шнейдермана, не говоря уже о том, что прервалась ее работа фотографом и с ног на голову перевернулась вся жизнь.

Розу охватили одновременно восторг и смятение. Она воодушевилась от того, что у нее по-прежнему был шанс; а смущало то, что придется как-то справиться, по сути, с семью месяцами

домашнего ареста. Придется бесконечно приспосабливаться — и не только ей, но и Станли, поскольку это ему придется ходить в магазин и почти все готовить самому, бедняжке, он и без того так много работает, допоздна, а потом еще возникнут дополнительные расходы на женщину, которая станет приходить и убираться в квартире и стирать раз или два в неделю, изменятся почти все грани повседневной жизни, все часы ее бодрствования отныне станут управляться множеством запретов и ограничений, никакого поднятия тяжестей, никаких перестановок мебели, никаких потуг справиться с залипшей оконной рамой в летнюю жару, ей придется бдительно за собой следить, тщательно осознавать тысячи мелких и крупных дел, за которые она всегда бралась неосознанно, и, разумеется, никакого больше тенниса (который она уже полюбила) и никакого плавания (которое она любила с раннего детства). Иными словами, энергичной, спортивной, без устали движущейся Розе, которая лучше всего ощущала себя, отдаваясь порыву какой-нибудь скоростной, всепоглощающей деятельности, теперь придется научиться сидеть смирно.

А спасла ее от перспективы смертельной скуки

не кто-нибудь, а Мильдред — вмешалась и преобразовала эти месяцы бездвижности в то, что Роза впоследствии описывала своему сыну как *великое приключение*.

Ты ж не можешь сидеть весь день в квартире, слушать радио да смотреть эту белиберду по телевидению, сказала Мильдред. Давай-ка у тебя мозги в кои-то веки поработают, авось наверстаешь?

Наверстаю? — переспросила Роза, не понимая, что Мильдред имеет в виду.

Возможно, ты этого не сознаешь, сказала сестра, но твой врач преподнес тебе необычайный подарок. Он заключил тебя в тюрьму, а у заключенных есть то, чего нет у других, — время, нескончаемое количество времени. Читай книги, Роза. Начни самообразование. Это твой шанс, и если хочешь, чтобы я тебе помогала, я буду счастлива помочь.

Помощь Мильдред явилась в виде списка чтения — первого из нескольких списков чтения за последующие месяцы, и, поскольку кинотеатры теперь оказались недосягаемы, впервые в жизни Роза удовлетворяла свой голод на истории романами, хорошими романами, не детективами или бестселлерами, к которым ее могло бы притянуть самостоятельно, а книгами, которые

рекомендовала Мильдред, уж точно классикой, но неизменно подобранной с учетом вкусов Розы, книгами, которые, по мысли Мильдред, понравятся Розе, а это значило, что ни «Моби-Дика», ни «Улисса», ни «Волшебной горы» в этих списках никогда не бывало, поскольку такие книги были бы слишком пугающими для скупо обученной Розы, но зато из какого количества других можно выбирать, и пока шли месяцы, а ребенок у нее внутри подрастал, Роза целыми днями купалась в книгах, и хотя среди тех десятков прочитанных попадались разочарования («И восходит солнце», к примеру, которая показалась ей фальшивой и мелкой), почти все остальные заманивали ее в себя и не отпускали своим очарованием от первой страницы до последней, среди них «Ночь нежна», «Гордость и гордыня», «Обитель радости», «Молль Флендерс», «Ярмарка тщеславия», «Грозовой перевал», «Мадам Бовари», «Пармская обитель», «Первая любовь», «Дублинцы», «Свет в августе», «Давид Копперфильд», «Миддльмарч», «Площадь Вашингтона», «Алая буква», «Главная улица», «Джен Эйр» и многие другие, но из всех писателей, кого она для себя открыла в заточении, больше всего сообщил ей именно Толстой, этот бес Толстой, понимавший, как ей казалось,

всю жизнь, все, что можно было знать о сердце человеческом и человеческом уме, не важно, мужские это сердце и ум или женские, и как это возможно, недоумевала она, чтобы мужчина знал о женщинах то, что знал Толстой, непостижимо, чтобы один человек мог быть всеми мужчинами и всеми женщинами, а поэтому прошагала она через почти все написанное Толстым, не только большие романы, вроде «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Воскресения», но и произведения покороче, повести и рассказы, и ни одно не оказалось для нее мощнее «Семейного счастия», истории о юной невесте и ее постепенном разочаровании, работы, так точно попавшей в цель, что в конце она расплакалась, и когда Станли вернулся вечером в квартиру — с тревогой увидел, в каком она состоянии, ибо хоть она и дочитала рассказ еще в три пополудни, глаза у нее по-прежнему были мокры от слез.

Ребенок должен был родиться 16 марта 1947 года, но в десять утра второго марта, через пару часов после того, как Станли ушел на работу, Роза, еще в ночной сорочке расположившаяся, подпершись подушками, в постели с «Повестью о двух городах», прислоненной к северному склону ее громадного живота, ощутила внезапное дав-

ление в мочевом пузыре. Предположив, что ей нужно помочиться, она медленно выпуталась из укрывавших ее простыни и одеяла, переместила свою исполинскую тушу к краю кровати, спустила ноги на пол и встала. Но не успела сделать и шага к ванной, как ощутила, что по внутренним сторонам бедер у нее течет теплая жидкость. Роза не шевельнулась. Стояла она лицом к окну и, выглянув наружу, увидела, что с неба сеется легкий, туманный снежок. Как неподвижно все в тот миг, сказала она себе, словно ничто на свете не движется, кроме снега. Она снова села на кровать и набрала номер «Домашнего мира 3 братьев», но тот, кто снял трубку, сообщил ей, что Станли вышел по делу и вернется только после обеда. Затем она позвонила доктору Джекобсу, чья секретарша поставила ее в известность, что тот только что отправился к больному на дом. Уже ощущая некоторую панику, Роза попросила секретаршу передать доктору, что она едет в больницу, а потом набрала номер Милли. Ее невестка сняла трубку после третьего гудка, и потому в больницу ее повезла Милли. За короткую поездку до родильного отделения Бет-Израэл Роза поведала ей, что они со Станли уже выбрали имена для ребенка, который вот-вот родится.

Если будет девочка, они назовут ее Эсфирь Анн Фергусон. А если мальчик, ему предстоит идти по жизни с именем Арчибальд Исаак Фергусон.

Милли поглядела в зеркальце заднего вида и присмотрелась к Розе, распростершейся на заднем сиденье. Арчибальд, сказала она. Ты уверена?

Да, мы уверены, ответила Роза. Из-за моего дяди Арчи. А Исаак — из-за отца Станли.

Ну, давай будем надеяться, что он станет крепким пацаном, сказала Милли. Она собиралась сказать что-то еще, но изо рта у нее не успело больше вылететь ни единого слова — они подъехали ко входу в больницу.

Милли сыграла полный сбор, и когда Роза на следующую ночь в 2:07 родила сына, там были все: Станли и ее родители, Мильдред и Джоан, даже мать Станли. Так Фергусон и родился, и несколько секунд после того, как исторгся из материна тела, он был самым молодым человеческим существом на всем белом свете.

1.1

Мать его звали Розой, и когда он достаточно подрос, чтобы самостоятельно завязывать шнурки и не мочиться в постель, — намеревался на

ней жениться. Фергусон знал, что Роза уже замужем за его отцом, но отец его — старик, совсем скоро умрет. Как только это произойдет, Фергусон женится на своей матери, и после этого ее мужа будут звать Арчи, а не Станли. Он будет грустить, когда умрет его отец, но не слишком — не настолько, чтобы лить слезы. Слезы льют младенцы, а он уже не младенец. Бывало, слезы все равно из него выжимались, конечно, но только если он падал и было больно, а когда больно — не считается.

Лучшее на свете — это ванильное мороженое и скакать по родительской кровати. Худшее на свете — когда болит живот и лихорадки.

Он теперь знал, что кислые леденцы опасны. Как бы он их ни любил — понимал, что совать их в рот ему уже нельзя. Они слишком скользкие, и он не мог их не глотать, а поскольку они слишком большие, то до самого низу не проваливались, застревали у него в дыхательном горле, а от этого трудно дышать. Никогда не забудет он, как ему было плохо в тот день, когда он начал давиться, но тут в комнату вбежала мать, подхватила его с пола, перевернула вверх ногами и, одной рукой держа его за ноги, другой колотила по спине, пока леденец не выскочил изо рта и не заскакал

с треском по полу. Мать сказала: *Больше никаких леденцов, Арчи. Они слишком опасны.* А потом попросила его помочь ей отнести вазочку леденцов на кухню, и они по очереди выбрасывали красные, желтые и зеленые конфеты по одной в мусорку. Затем его мать сказала: *Adios, леденцы.* Такое смешное слово, *adios*.

Случилось это в Ньюарке, в те давние дни, когда они жили в квартире на третьем этаже. Теперь же они жили в доме — в каком-то месте под названием Монклер. Дом был больше квартиры — правда, квартиру он вообще припоминал с трудом. Если не считать леденцов. Если не считать жалюзи у него в комнате — они трещали, когда окно было открыто. Если не считать того дня, когда мать сложила его колыбельку, он впервые спал один на кровати.

Отец уходил из дома рано поутру, часто — когда Фергусон даже еще не проснулся. Иногда отец приходил домой на ужин, а иногда возвращался, когда Фергусона уже уложили спать. Отец его работал. Этим занимаются взрослые дяди. Уходят каждый день из дома и работают, а от того, что работают, — зарабатывают деньги, а от того, что зарабатывают деньги, — могут покупать всякое своим женам и детям. Так однажды утром объ-

яснила ему мать, пока он смотрел, как от дома отъезжает синяя отцова машина. Устроено вроде неплохо, подумал Фергусон, вот только про деньги не очень понятно. Деньги — такие маленькие и грязные, и как только могут эти мелкие, грязные клочки бумаги добыть тебе что-нибудь большое, вроде дома или машины?

Машин у родителей было две, синий отцов «де-сото» и зеленый материн «шевроле», а вот у самого Фергусона было тридцать шесть машин, и непогожими днями, когда на улице бывало слишком мокро, он вытаскивал их из коробки и выстраивал весь свой миниатюрный автопарк на полу в гостиной. Были там и двухдверные машины, и четырехдверные, с откидным верхом и мусоровозы, машины полицейские и «неотложки», такси и автобусы, пожарные и бетономешалки, фургоны и универсалы, «форды» и «крайслеры», «понтиаки» и «студебекеры», «бьюики» и «нэш-рэмблеры», каждая не похожа на другую, двух одинаковых и близко нет, и стоило Фергусону начать катать по полу одну, как он нагибался и заглядывал на пустое место за рулем, а поскольку каждой машине обязательно нужен водитель, чтобы ехала, он и воображал, что за рулем сидит он сам, крохотная фигурка,

человечек такой малюсенький, что не больше верхнего сустава Фергусонова мизинца.

Мать курила сигареты, а отец не курил ничего — даже трубку или сигары. «Старое золото». Такое приятное название, думал Фергусон, и как же он хохотал, когда мать выдувала ему кольца из дыма. Иногда отец говорил ей: *Роза, ты слишком много куришь*, — и мать кивала и соглашалась с ним, но все равно продолжала курить столько же, сколько и раньше. Всякий раз, когда они с матерью забирались в зеленую машину и катались по делам, пообедать она заезжала в ресторанчик под названием «Столовка Ала», и как только Фергусон допивал свое шоколадное молоко и дожевывал сандвич с жареным сыром, мать вручала ему четвертачок и просила купить ей пачку «Старого золота» из сигаретного автомата. Когда ему давали эту монетку, он чувствовал себя взрослым, а это едва ли не лучшее чувство на свете, — и топал в глубину столовки, где у стены между двух уборных стоял этот автомат. Дойдя, он привставал на цыпочки, чтобы сунуть монетку в щель, дергал за рукоятку под столбиком сложенных пачек «Старого золота», а потом слушал, как одна вываливается из громоздкого аппарата и падает в серебристый лоток под рукоятками.

Сигареты в те дни стоили не двадцать пять центов, а двадцать три, поэтому к каждой пачке прилагались две новенькие медные монетки по пенни, заткнутые под целлофановую обертку. Мать всегда оставляла Фергусону эти монетки, и тот, пока она курила свою послеобеденную сигарету и допивала кофе, держал их на раскрытой ладошке и рассматривал вытисненный профиль человека на одной стороне. Авраам Линкольн. Или, как мать иногда выражалась, *Честный Ав.*

Помимо маленькой семьи — самого Фергусона и его родителей, — еще можно было думать о двух других семьях: отца и матери, нью-джерсейских Фергусонах и нью-йоркских Адлерах, о большой семье с двумя тетушками, двумя дядюшками и пятью двоюродными — и о маленькой с его дедушкой и бабушкой, а еще с тетей Мильдред, куда иногда включались его двоюродная бабушка Перл и взрослые двоюродные сестры-близняшки Бетти и Шарлотта. У дяди Лью были тоненькие усики, и он носил очки в проволочной оправе, дядя Арнольд курил «Камелы», и у него были рыжеватые волосы, тетя Джоан была низенькой и кругленькой, тетя Милли — чуть повыше, только очень худая, а двоюродные почти никогда не обращали на него внимания, потому что он

был гораздо младше их, если не считать Франси, которая иногда с ним нянчилась, если его родители уходили в кино или к кому-нибудь в гости на вечеринку. В нью-джерсейской семье Франси была самой-пресамой любимой его личностью. Она умела рисовать ему очень красивые и сложные замки и рыцарей на конях, разрешала поесть ванильного мороженого, сколько влезет, рассказывала смешные анекдоты и была такой хорошенькой, просто загляденье: длинные волосы у нее казались одновременно каштановыми и рыжими. Тетя Мильдред тоже была хорошенькой, но у нее волосы светлые, не как у его матери — те у нее были темно-коричневые, и хотя мать все время говорила ему, что Мильдред — ее сестра, иногда он это забывал, потому что они друг на друга так не похожи. Дедушку своего он звал Папа, а бабушку — Нана. Папа курил «Честерфильды», а волос у него на голове почти не осталось. Нана была толстенькой и очень интересно смеялась — как будто в горле у нее застряли птички. К Адлерам в гости в нью-йоркскую квартиру ходить было интересней, чем навещать дома Фергусонов в Юнионе и Мапльвуде, — не в последнюю очередь потому, что он упивался ездой по Тоннелю Голланд: причудливое это

ощущение — путешествовать в подводной трубе, отделанной миллионами одинаковых квадратных кафельных плиток, и всякий раз, когда он отправлялся в это путешествие под водой — не уставал поражаться, до чего аккуратно эти плитки подогнаны друг к дружке и сколько людей понадобилось, чтобы проделать такую колоссальную работу. Квартира была меньше домов в Нью-Джерси, но у нее имелось преимущество — высота, на шестом этаже здания, и Фергусону никогда не надоедало смотреть в окно гостиной и наблюдать, как вокруг Колумбус-Сёркла ездят машины, ну и потом на День благодарения у нее было и еще одно преимущество: смотреть, как под этим окном проходит ежегодный парад, а исполинский надувной Микки-Маус чуть ли не шмякал его по лицу. Еще хорошего в поездках в Нью-Йорк было то, что, когда он приезжал, его всегда ждали подарки — конфеты в коробках от бабушки, книжки и пластинки от тети Мильдред и всякие особенные штуки от дедушки: самолетики из бальсового дерева, игра под названием «Парчизи» (еще одно отличное слово), колоды игральных карт, комплекты фокусов, красная ковбойская шляпа и пара шестизарядников в настоящих кожаных кобурах. Дома в Нью-Джер-

си никаких таких сокровищ не предлагали, и потому Фергусон решил, что в Нью-Йорке ему самое место. Когда он спросил у матери, почему им нельзя жить там все время, она широко улыбнулась и ответила: *Спроси своего отца*. А когда он спросил у отца, тот сказал: *Спроси у матери*. Явно, что на какие-то вопросы ответов просто не существовало.

Ему хотелось братика, лучше всего — старшего, но поскольку это уже было невозможно, он согласился бы и на младшего, а если брата нельзя, сойдет и сестра, даже младшая. Часто ему бывало одиноко, не с кем поиграть или поговорить, а жизненный опыт его научил, что у каждого ребенка есть брат или сестра — или даже несколько братьев и сестер, он же, насколько можно было судить, был единственным исключением из этого правила вообще где бы то ни было на свете. У Франси были Джек и Руфь, Эндрю и Алиса располагали друг дружкой, у его друга Бобби, жившего дальше по улице, были брат и две сестры, и даже его собственные родители детство свое провели в обществе других детей: двух братьев у отца и одной сестры у матери, — поэтому просто как-то нечестно, что он — единственный из миллиардов людей на земле, кому приходится проводить

свою жизнь в одиночестве. Он нечетко представлял себе, как получаются дети, но понимал уже достаточно, что начинаются они где-то в теле у своих матерей, поэтому матери для такого дела очень важны, а значит, следует поговорить с матерью для того, чтобы его положение сменилось с единственного ребенка на чьего-нибудь брата. Наутро он поднял этот вопрос, в лоб попросив мать, не могла бы она заняться наконец делом и изготовить ему нового младенца. Мать пару секунд постояла молча, затем опустилась на колени, посмотрела ему в глаза и взялась гладить его по голове. Странное дело, решил Фергусон, рассчитывал он совершенно не на это, и мигдругой его матери, похоже, было грустно — так грустно, что Фергусон тут же пожалел, что задал этот вопрос. Ох, Арчи, сказала она. Конечно же, тебе хочется братишку или сестренку, и я б очень хотела, чтобы они у тебя были, но я, кажется, больше не смогу иметь деток, и больше их у меня не будет. Мне было тебя очень жалко, когда мне так доктор сказал, но потом я подумала: может, это и не так плохо, в конце-то концов. И знаешь почему? (*Фергусон покачал головой.*) Потому что я так сильно люблю моего маленького Арчи, а как бы я могла любить другого ребеночка, если вся

любовь, что во мне есть, — только для тебя?

Это не просто временная незадача, осознал теперь он, это навеки. Никогда никаких братьев или сестер — и, поскольку для Фергусона такое состояние дел было совершенно непереносимым, он выбрался из этого тупика, изобретя себе воображаемого брата. От отчаяния, возможно, но ведь правда же: хоть что-то — лучше, чем ничего, и пусть он даже не может это что-то видеть, трогать или нюхать, какой еще у него выбор? Своего новорожденного братика он назвал Джоном. Поскольку законы действительности тут уже не применялись, Джон был старше его — на четыре года, а это значило, что он выше, сильнее и умнее Фергусона, и, в отличие от Бобби Джорджа, жившего на той же улице, коренастого, ширококостного Бобби, который дышал ртом, потому что нос у него вечно бывал забит мокрыми зелеными соплями, Джон умел читать и писать, а еще был чемпионом по бейсболу и футболу. Фергусон старался никогда не разговаривать с ним вслух на людях, поскольку Джон был его тайной, и Фергусон не хотел, чтобы кто-нибудь про него знал — даже отец с матерью. Проболтался он всего разок, но это сошло ему с рук, потому что в тот миг рядом была только Франси. Тем вечером

она сидела с ним и, когда вышла на задний двор и случайно услышала, как он рассказывает Джону про лошадку, какую хочет себе на следующий день рождения, — спросила, с кем это он разговаривает. Фергусону Франси так нравилась, что он сказал ей правду. Думал, она станет над ним смеяться, но Франси только кивнула, как бы выражая свое одобрение мысли о воображаемых братьях, и поэтому Фергусон ей разрешил тоже поговорить с Джоном. Много месяцев потом, когда он встречался с Франси, она сперва здоровалась с ним обычным голосом, а потом нагибалась ему к уху и шептала: Привет, Джон. Фергусону еще и пяти лет не исполнилось, а он уже понимал, что мир состоит из двух царств, видимого и невидимого, и то, чего не увидишь, часто больше настоящее, чем то, что увидеть можно.

Два лучших места, куда можно было ходить в гости, — это дедова контора в Нью-Йорке и отцов магазин в Ньюарке. Контора располагалась на Западной Пятьдесят седьмой улице, всего в квартале от того дома, где жили дед с бабушкой, а в ней самым хорошим было то, что она помещалась на одиннадцатом этаже, еще выше квартиры, а оттого глядеть из окна там было еще интересней, чем на Западной Пятьдесят восьмой

улице, потому что взгляд мог проникать еще глубже в окружающую даль и охватывать еще больше зданий, не говоря уж про почти весь Центральный парк, а на улице внизу машины и такси казались такими маленькими, что напоминали автомобильчики, какими он играл дома. К тому же в конторе хорошим еще были большие письменные столы с печатными машинками и арифмометрами на них. От щелканья пишущих машинок он иногда задумывался о музыке, особенно если в конце строки лязгал колокольчик, но еще он думал и о сильном дожде, который лил на крышу дома в Монклере, и о том, как в оконное стекло бросают мелкий гравий. Секретаршей у его деда была костлявая женщина по имени Дорис, у которой на руках росли черные волосы, и пахло от нее мятными пастилками, но ему нравилось, как она звала его «мастер Фергусон» и давала печатать на своей машинке, которую называла «Сэр Ундервуд», и теперь, когда он уже начинал учить буквы алфавита, утешительно было уметь положить пальцы на клавиши этого тяжелого инструмента и выстукать строчку *a* и *y*, например, или, если Дорис бывала не очень занята, попросить ее помочь ему написать его имя. Магазин в Ньюарке был гораздо больше конторы

в Нью-Йорке, а в нем — больше всяких штук, не только печатная машинка и три арифмометра в кладовке, а ряды за рядами мелких приборов и крупных устройств, а на втором этаже — целый участок для кроватей, столов и стульев, без счета кроватей, столов и стульев. Трогать их Фергусону не разрешали, но, если отца и дядьев рядом не было или они отворачивались, он временами приоткрывал дверцу холодильника понюхать, как странно там пахнет внутри, или же взбирался на кровать попробовать упругость матраса, и даже когда его время от времени за этим занятием застукивали, никто чересчур не злился, только дядя Арнольд порой, который рявкал на него и ворчал: Руки прочь от товара, сынок. Ему не нравилось, что с ним так разговаривают, а особо не пришлось ему по нраву, когда однажды в субботу дядя отвесил ему подзатыльник, потому что саднило потом так сильно, что он даже плакал, зато теперь, раз он подслушал, как мать его сказала отцу, что дядя Арнольд балбес, Фергусону стало почти безразлично. Как бы то ни было, кровати и холодильники никогда не занимали его надолго — теперь смотреть можно было еще и на телевизоры, на только что изготовленные «Филко» и «Эмерсоны», царившие в витрине над

всеми остальными товарами: двенадцать или пятнадцать моделей стояли рядком у стены слева от входа, все включены, но без звука, и ничто так не нравилось Фергусону, как переключать на этих приемниках каналы так, чтобы на всех одновременно показывали семь разных передач, — что за бредовый вихрь кавардака это вызывало, на первом экране мультик, а на втором вестерн, на третьем «мыльная опера», а на четвертом церковная служба, и реклама на пятом, а диктор с новостями на шестом, и на седьмом футбол. Фергусон перебегал от одного экрана к другому, потом крутился на месте, пока у него едва в глазах не темнело, постепенно отступая в кружении своем от экранов, чтобы, когда замрет, ему стало видно все семь сразу, а если он видел, как в одно и то же время происходит столько всего, его это неизменно смешило. Смешно, так смешно это было, и отец ему это разрешал, потому что отца это смешило тоже.

Однако отец его почти никогда не смеялся. Он работал долгие шесть дней в неделю, самыми долгими были среда и пятница, когда магазин закрывался только в девять часов, а по воскресеньям он спал до десяти или половины одиннадцатого, а днем играл в теннис. Любимой

командой у него было: *Слушайся мать*. Любимым вопросом: *Ты себя хорошо вел?* Фергусон старался вести себя, как хороший мальчик, и слушаться мать, но иногда это ему не удавалось, и он забывал быть хорошим или слушаться, но самым удачным в таких промахах бывало то, что отец их, похоже, никогда не замечал. Вероятно, бывал слишком занят, и Фергусон за это был благодарен, поскольку мать наказывала его редко, даже если он забывал слушаться или быть хорошим, а поскольку отец никогда не орал на него так, как на своих детей орала тетя Милли, и никогда его не лупил, как дядя Арнольд иногда лупил его двоюродного, Джека, Фергусон пришел к выводу, что его семейная ветвь Фергусонов — лучшая, пусть и слишком маленькая. Но все равно, случалось, отец его смешил, а поскольку случаев таких бывало мало и были они редки, Фергусон смеялся еще сильней, чем мог бы смеяться, случайся такие разы чаще. Одна смешная штука вот какая: подбросить его в воздух, и от того, что отец его был таким сильным, а мышцы у него — такие твердые и большие, Фергусон взлетал чуть ли не к самому потолку, если дома, и даже еще выше потолка, если на заднем дворе, и ни разу не приходило ему в голову, что отец его уронит, а это значило,

что ему бывало при этом до того надежно, что он распахивал пошире рот и оглашал воздух вокруг хохотом из самого своего нутра. Еще смешное: смотреть, как отец жонглирует апельсинами в кухне, — а третья смешная штука — слышать, как он пукает, не просто потому, что пукать само по себе смешно, а потому, что всякий раз, когда отец так делал в его присутствии, обычно говорил: Ой, вот Скакун пробежал, — имея в виду Поскакуна Кассиди, ковбоя по телевизору, который так нравился Фергусону. Почему отец так говорил, пукнув, было одной из величайших загадок на всем белом свете, но Фергусону все это очень нравилось, и он всегда хохотал, когда отец произносил эти слова. Такая вот странная, интересная мысль: превратить пук в ковбоя по имени Поскакун Кассиди.

Вскоре после пятого дня рождения Фергусона его тетя Мильдред вышла замуж за Генри Росса, высокого лысеющего человека, который преподавал в колледже, как и Мильдред — та четырьмя годами ранее закончила изучать английскую литературу и тоже преподавала в колледже, который назывался Вассар. Новый дядя Фергусона курил «Пелл-Меллы» (*Прославленные — и к тому же мягкие*) и казался ужасно нервным, поскольку

после обеда обычно выкуривал столько сигарет, сколько его мать — за весь день, но в муже Мильдред Фергусона больше всего интриговало то, что говорил он так быстро и произносил такие длинные, сложные слова, что понимать его целиком было невозможно — лишь небольшую часть того, что говорил. И все равно Фергусон считал его малым добродушным, хохоток у него громыхал весело, а глаза ярко посверкивали, и Фергусону было ясно, что мать довольна выбором Мильдред, поскольку о дяде Генри она никогда не упоминала без определения *блестящий* и постоянно говорила, что он ей напоминает кого-то по имени Рекс Гаррисон. Фергусон надеялся, что тетя и дядя начнут пошевеливаться в смысле младенцев и быстро выдадут для него на-гора маленького кузена. У воображаемых братьев имеются свои ограничения, в конце концов, и, быть может, двоюродный Адлер превратится во что-нибудь вроде почти-брата или, так уж и быть, почти-сестру. Несколько месяцев ждал он объявления, каждое утро рассчитывая, что мать войдет к нему в комнату и скажет, что у тети Мильдред будет ребенок, но затем что-то произошло — какое-то непредвиденное бедствие, перевернувшее все тщательно разработанные планы Фергусонов. Те-

тя и дядя переезжали в Беркли, Калифорния. Они собирались там преподавать и жить там, и никогда больше не вернутся, а это означало, что если ему когда-нибудь и предоставят кузена, то кузена этого никогда не превратить в почти-брата, поскольку братьям и почти-братьям полагается жить рядом, лучше всего вообще в одном доме с тобой. Когда мать вытащила карту Соединенных Штатов и показала ему, где находится Калифорния, он так упал духом, что застучал кулаком по Огайо, Канзасу, Юте и всем прочим штатам между Нью-Джерси и Тихим океаном. Три тысячи миль. Невозможная даль, так неблизко, все равно что другая страна, другой мир.

То было одним из крепчайших воспоминаний, какие он вынес из своего детства: поездка в аэропорт в зеленом «шевроле» с матерью и тетей Мильдред в тот день, когда тетя уезжала в Калифорнию. Дядя Генри улетел туда двумя неделями раньше, поэтому в тот жаркий, душный день в середине августа с ними была одна тетя Мильдред, Фергусон ехал сзади в коротких штанишках, вся голова мокрая от пота, а голые ноги прилипают к сиденью из кожзаменителя, и хотя в аэропорту он был впервые, впервые видел самолеты так близко и мог насладиться

громадностью и красотой этих машин, то утро засело в нем из-за двух женщин, его матери и ее сестры, одна темная, другая светлая, у одной длинные волосы, у другой короткие, обе такие разные, что нужно сколько-то присматриваться к лицам, чтобы понять, что они — от одних и тех же родителей, его мать, такая нежная и теплая, вечно тебя трогает и обнимает, и Мильдред, такая сдержанная и отстраненная, почти никогда никого не трогает, однако же вот они вместе, у выхода на рейс «Пан-Ама» в Сан-Франциско, и когда громкоговоритель объявил номер рейса и настал момент прощаться, вдруг, словно по какому-то тайному, предопределенному сигналу, обе разрыдались, слезы полились у них из глаз в три ручья и закапали на пол, и тут руками обе обхватили друг дружку — и вот уже обнимались, рыдали и обнимались одновременно. Мать при нем никогда раньше не плакала, и пока он этого не увидел собственными глазами — даже не знал, что Мильдред умеет плакать, но вот они рыдали у него перед самым носом, прощаясь друг с дружкой, и обе понимали, что увидят они друг дружку лишь через много месяцев, а то и лет, и Фергусон тоже это видел, стоя под ними в своем пятилетнем теле, глядя снизу вверх на мать и

тетю, поражаясь тому, сколько чувств из них льется, и образ этот так глубоко в него забрался, что он его никогда не забывал.

В ноябре следующего года, через два месяца после того, как Фергусон пошел в первый класс, его мать открыла свое фотоателье в центре Монклера. Вывеска над входом гласила «Ателье Страны Роз», и жизнь среди Фергусонов вдруг обрела новый, ускоренный ритм, начинаясь с ежедневной утренней суеты: одного вовремя отправить в школу, а двух других усадить в их отдельные машины, чтобы ехать на работу, и раз матери теперь не бывало дома пять дней в неделю (со вторника по субботу), появилась женщина по имени Касси — она работала по дому, прибиралась и заправляла постели и покупала еду, а иногда и готовила Фергусону ужин, если родители работали допоздна. Теперь он гораздо реже видел мать, но правда была в том, что она и нужна была ему уже меньше. Теперь он сам умел завязывать шнурки, в конце концов, а стоило подумать, на ком ему хочется жениться, он колебался между двумя возможными кандидатками: Кати Гольд, низенькой девочкой с голубыми глазами и длинным светлым хвостом волос, и Марджи Фицпатрик, рыжей дылде, которая была

так сильна и бесстрашна, что могла оторвать от земли двух мальчиков зараз.

Первым, кто сел сниматься на портрет в «Ателье Страны Роз», стал сын владелицы. Мать Фергусона наводила на него фотоаппарат столько, сколько он себя помнил, но те первые снимки щелкались ручной камерой — маленькой, легкой и переносной, аппарат же в студии был гораздо больше и помещался на трехногой подставке, называвшейся «штатив». Ему нравилось слово *штатив*, рассыпчатое, как горошек, его любимый овощ, как в выражении *похожи, как две горошины*, а еще на него большое впечатление производило то, до чего тщательно мать ставит свет, прежде чем начать фотографировать: казалось, это подчеркивает, что она полностью понимает, чем занимается, и от того, как она работала при Фергусоне с таким умением и такой уверенностью, ему становилось хорошо — получалось, что мать уже не просто его мать, а человек, который делает на свете что-то важное. Для съемки она заставила его переодеться в приличное, а это значило — надеть твидовый спортивный пиджак и белую рубашку с большим воротничком и без верхней пуговицы, и, поскольку Фергусону так нравилось там сидеть, пока

его мать хлопотала вокруг, добиваясь от него нужной позы, ему не доставляло никаких хлопот улыбаться, когда его об этом просила. В тот день с ними была материна подруга из Бруклина, Ненси Соломон, она некогда называлась Ненси Файн, а теперь жила в Вест-Оранже, смешная Ненси с лошадиными зубами и двумя маленькими мальчиками, задушевная материна подруга и, стало быть, человек, кого он знал всю свою жизнь. Мать пояснила, что, когда снимки проявят, один будет увеличен до очень большого размера и отпечатан на полотне, а Ненси потом покрасит его краской, и фотография превратится в портрет маслом. Такова была одна из услуг, какие «Ателье Страны Роз» намеревалось предлагать клиентам: не просто черно-белые фотопортреты, но и картины маслом. Фергусону трудно было представить, как такое возможно, но он предположил, что Ненси, видать, до ужаса хорошая художница, коли способна провернуть эдакое сложное превращение. Через две субботы Фергусон с матерью ушли из дому в восемь часов утра и поехали в центр Монклера. На улице почти никого не было, а это значило, что прямо перед «Ателье Страны Роз» будет свободное место для парковки, но, не доезжая до фотостудии двадцати или тридцати

ярдов, они остановились, и мать велела Фергусону зажмуриться. Он хотел спросить зачем, но, едва открыл рот задать этот вопрос, она сказала: Никаких вопросов, Арчи. Поэтому он послушно зажмурился, а когда они подъехали к фотостудии, мать помогла ему выйти из машины и за руку подвела туда, где ей хотелось, чтобы он оказался. Ладно, сказала она, теперь можно открыть. Фергусон открыл глаза и понял, что смотрит в витрину нового материного заведения — и видит в ней два крупных изображения самого себя, каждое размерами где-то двадцать четыре дюйма на тридцать шесть, первое — черно-белая фотография, а второе — точная копия первого, только в цвете, а его песочного цвета волосы, и серо-зеленые глаза, и коричневый пиджак в красную крапину выглядят так же, как в жизни. Художественное мастерство Ненси было таким точным, таким совершенным в исполнении, что он не мог сказать, на фотоснимок смотрит или же на картину. Прошло несколько недель, изображения с витрины не снимали, и его уже начали узнавать посторонние люди — останавливали на улице и спрашивали, не он ли тот парнишка из витрины «Ателье Страны Роз». Он стал самым знаменитым шестилеткой в Монклере — мальчиком с афиши

ателье его матери, легендой.

29 сентября 1959 года Фергусон не пошел в школу. У него был жар, 101,6 градусов[2], и всю ночь накануне его рвало в алюминиевую кастрюльку для рагу, которую мать поставила на пол у его кровати. Уходя утром на работу, она велела ему не снимать пижаму и спать, сколько сможет. Если спать уже не получается, все равно нужно лежать в постели с книжками комиксов, а если надо сходить в уборную, пусть не забывает надеть тапочки. К часу дня температура, однако, упала до 99[3], и ему сделалось лучше настолько, что он спустился и спросил у Касси, нет ли чего поесть. Та приготовила ему омлет и дала с тостом без масла, отчего желудок у него совсем не расстроился, поэтому наверх возвращаться и снова ложиться в постель он не стал, а дошаркал до соседней с кухней комнатки, которую его родители называли то «кабинетом», то «маленькой гостиной», и включил телевизор. Касси вошла следом, села рядом на диван и объявила, что через несколько минут начинается первый матч Чемпионата США. Чемпионат США. Фергусон

---

[2] Сноски: 2
По Фаренгейту. ≈ 38,7°C.

[3] Сноски: 3
37,2°C.

знал, что это, но никогда ни одного матча не видел — лишь разок-другой смотрел обычные игры сезона, не потому, что ему не нравился бейсбол, играть в который он вообще-то сам очень любил, а просто потому, что, когда передавали дневные матчи, он обычно гулял на улице с друзьями, а когда начинались вечерние трансляции, его уже укладывали спать. Имена некоторых важных игроков он узнавал — Вильямс, Музиэль, Феллер, Робинзон, Берра, — но ни за какую отдельную команду не болел, не читал спортивных страниц «Ньюарк Стар-Леджера» или «Ньюарк Ивнинг Ньюс» и понятия не имел, что значит быть болельщиком. Напротив, тридцативосьмилетняя Касси Буртон пылко следила за «Бруклинскими Хитрецами», главным образом — потому, что за них играл Джеки Робинзон, номер 42, второй бейсмен, кого она всегда называла «наш человек Джеки», первый темнокожий человек, надевший бейсбольную форму высшей лиги, — этот факт Фергусон почерпнул и от матери, и от Касси, только вот Касси было больше чего сказать на эту тему, поскольку и сама она была темнокожим человеком, первые восемнадцать лет своей жизни эта женщина провела в Джорджии и говорила с сильным южным выговором, который

Фергусон считал и странным, и дивным, таким текучим в своей музыкальности, что никогда не уставал слушать, как Касси разговаривает. «Хитрецы» в этом году не играют, сказала ему она, их побили «Гиганты», но «Гиганты» — тоже местная команда, а поэтому она болеет за них, чтоб выиграли Чемпионат. У них есть хорошие цветные игроки, сказала она (такое слово она употребила, *цветные*, хоть мать Фергусона и велела ему говорить о людях с черной или коричневой кожей слово *негр*, и как это странно, подумал он, что негру следует говорить не *негр*, а *цветной*, а это доказывало — еще раз, — до чего в мире все путано), однако, несмотря на присутствие в составе «Гигантов» Вилли Мейса, Ханка Томпсона и Монти Ирвина, никто не давал им ни шанса в игре против «Кливлендских Индейцев», которые поставили рекорд по числу побед для команды Американской лиги. Ну это мы еще поглядим, сказала Касси, не желая уступать знатокам-букмекерам нисколечко, а затем они с Фергусоном устроились поудобней смотреть передачу со стадиона «Поло-Граундс», которая началась скверно, когда Кливленд в конце первого иннинга заработал два очка, но «Гиганты» эти пробежки себе вернули в начале третьего, и когда игра превра-

тилась в эдакую напряженную борьбу с хорошим тонусом (Магли против Лемона), где никто ничего толком не делает, а все может зависеть от того, как кто-нибудь один выйдет на биту, что, по мере того, как игра движется к концу, усиливает важность и драматизм каждой подачи. Четыре иннинга подряд никто ни из какой команды не пересекал пластину, а затем вдруг под конец восьмого «Индейцы» заслали двух бегунов на базу, и тут вперед выступил Вик Верц, могучий отбивающий-левша, который накинулся на фастбол от сменившего стартующего подающего «Гигантов» Дона Лиддла так, что тот у него полетел в глубину центрального поля — до того глубоко, что Фергусон решил, это уж точно круговая пробежка, но он пока что был еще новичком и не знал, что «Поло-Граундс» — площадка странной формы, там центральное поле самое глубокое во всем бейсболе, 483 фута от домашней пластины до ограды, а это значит, что монументальный флайбол Верца, который где угодно превратился бы в круговую пробежку, до трибун тут не долетит, но все равно то был громоносный удар, и все шансы были на то, что он проплывет над головой центрфилдера «Гигантов» и отскочит до самой стены, сгодится для тройного, а то и для круговой пробежки по

парку, что даст «Индейцам» по крайней мере еще две, если не три пробежки, однако тут Фергусон заметил такое, что опровергало любую вероятность, такой подвиг атлетизма, рядом с каким меркло любое другое человеческое достижение из всех, какие он наблюдал за свою покамест короткую жизнь: молодой Вилли Мейс бежал за мячом, спиной к инфилду, так бежал, как Фергусон у людей никогда не видал, рвал вперед с той секунды, как мяч оторвался от биты Верца, словно стук мяча, столкнувшегося с деревом, сообщил ему, где именно этот мяч приземлится, Вилли Мейс не смотрел ни вверх, ни назад, покуда несся к мячу, зная, где мяч находится в любой точке своей траектории, даже когда его не видел, словно глаза у него были на затылке, и вот мяч взмыл в самую высокую точку дуги и начал спуск в точку где-то в 440 футах от домашней пластины — и Вилли Мейс протягивает перед ним руки, и вот мяч снижается из-за его левого плеча и опускается в лузу его раскрытой перчатки. В тот миг, когда Мейс поймал мяч, Касси подскочила с дивана и принялась визжать: *Е-дрить! Е-дрить! Е-дрить!* — но на этой поимке игра не закончилась, ибо в тот же миг, когда игроки на базе увидели, как мяч отлетает от биты Верца, они

побежали, побежали с убеждением, что забьют, что неизбежно забивают, потому что никакому центрфилдеру не поймать такого мяча, и потому, как только Мейс мяч поймал, он развернулся и швырнул его на инфилд, невозможно длинным броском, осуществленным так жестко, что с игрока слетела кепка, и сам он упал наземь, не успел мяч у него от руки оторваться, и не только Верц вылетел, но и ведущему бегуну не дали забить флайбол. Счет по-прежнему ничейный. Казалось неизбежным, что «Гиганты» выиграют в начале восьмого или девятого, но не выиграли. Игра продлилась на дополнительные иннинги. Марв Гриссом, новый сменный подающий «Гигантов», не дал «Индейцам» заработать очки в конце десятого, а потом «Гиганты» вывели двух человек в начале иннинга, вынудив управляющего Лео Дарошера выслать пинчхиттером Дасти Родса[4]. Какое прекрасное это имя, сказал себе Фергусон, это как звать себя Мокрыми Тротуарами или Снежными Улицами, но стоило Касси увидеть, как бровастый алабамец разминается на замахах, она сказала: *Погляди-ка на этого босяка*

[4] Сноски: 4

Джеймз Ламар Роудз по кличке «Пыльный» (1927–2009) — американский бейсболист, игравший в 1952–1959 гг. Его фамилия (Rhodes) омонимична англ. «дороги» (roads).

небритого. Если он не пьян, Арчи, то я королева Англии. Пьяный или нет, но со зрением у Родса в тот день было все отлично, и через долю секунды после того, как уже утомившийся бросать Боб Лемон подал над серединой пластины не такой уж быстрый фастбол, Родс накинулся на него и перетащил через стенку правого поля. Игра окончилась. «Гиганты» 5, «Индейцы» 2. Касси заулюлюкала. Заулюлюкал Фергусон. Они обнялись, они попрыгали, они вместе поплясали по комнате, и с тех пор Фергусон запал на бейсбол.

Дальше «Гиганты» размазали «Индейцев», выиграв также второй, третий и четвертый матчи, — чудесный поворот событий, принесший много радости семилетнему Фергусону, но никто не был доволен результатами Чемпионата США 1954 года больше дяди Лью. Самый старший брат его отца в бытность свою азартным игроком за многие годы переживал как взлеты, так и падения, неизменно проигрывая больше, чем выигрывая, но и выигрывая довольно, чтоб самому не пойти на дно, и вот теперь, с деньгами, выгодно поставленными полностью на Кливленд, ему был бы смысл следовать за толпой, однако его командой были «Гиганты», он с начала двадцатых болел за них и все удачные сезоны, и неудачные,

и в кои-то веки решил не обращать внимания на шансы и ставить, как подсказывает сердце, а не мозги. Он не только выложил деньги на слабаков, но и делал ставки на то, что они выиграют четыре раза подряд: интуитивный шаг настолько несообразный и бредовый, что его букмекер дал ему шансы 300 к 1, а это значило, что за скромную сумму в двести долларов щеголь Лью Фергусон получил в итоге горшок золота, *шестьдесят кусков*, неимоверное количество в те дни, целое состояние. Добыча была настолько эффектной, такой поразительной в своих последствиях, что дядя Лью и тетя Милли пригласили всех к себе домой ее отмечать, устроили праздничный кутеж с шампанским, омарами и толстыми стейками из филейной вырезки, на котором устроили показ новой норковой шубы Милли и прокатили всех по району в новом белом «кадиллаке» Лью. Фергусону в тот день не моглось (Франси не было, у него болел живот, а другие его кузены с ним почти не разговаривали), но он заключил, что всем остальным там было неплохо. После окончания празднеств, однако, когда они с родителями ехали на синей машине домой, его удивило, что мать принялась поносить дядю Лью перед отцом. Фергусон понимал не все, что она говорила, но

злость у нее в голосе была необычайно жесткой, ее озлобленная речь, казалось, как-то относится к тому, что его дядя должен его отцу денег, и как это Лью смеет транжирить средства на «кадиллаки» и норковые шубы, не успев вернуть долг отцу. Тот поначалу выслушивал ее спокойно, но затем возвысил голос, а такого почти никогда не происходило, — и вот уже рявкал на мать Фергусона, чтобы прекратила, говорил ей, что Лью ему ничего не должен, что это деньги его брата, и он с ними волен поступать, как ему, к черту, заблагорассудится. Фергусон знал, что его родители иногда спорят (их голоса слышались за стеной их спальни), но тут они впервые сцепились в ссоре при нем, и, поскольку то был первый раз, он не мог не ощутить, что в мире поменялось что-то фундаментальное.

Сразу после Благодарения на следующий год отцовский склад ночью ограбили. Склад представлял собой одноэтажное здание из шлакоблоков, стоявшее за «Домашним миром 3 братьев», и Фергусон за годы несколько раз там бывал: громадное затхлое помещение со множеством рядов картонных коробок, содержавших в себе телевизоры, холодильники, стиральные машинки и все остальное, что братья продавали у себя в

магазине. На все выставлявшее в торговых залах покупателям можно было только смотреть, но, если кому-то хотелось что-то купить, это вытаскивал со склада человек по имени Эд, здоровенный парняга с русалкой, вытатуированной на правом предплечье: он в войну служил на авианосце. Если штука была небольшой, вроде тостера, лампы или кофейника, Эд просто отдавал ее покупателю или покупательнице, и те везли ее домой на своей машине, а вот если что-то большое, стиральная машинка, например, или холодильник, Эд и еще один мускулистый ветеран, которого звали Фил, грузили ее в кузов доставочного фургона и сами везли домой к покупателю. Так вот велись дела в «Домашнем мире 3 братьев», и Фергусон был знаком с этой системой, он достаточно взрослый, чтобы понимать: сердце всего предприятия — склад, — поэтому, когда воскресным утром после Благодарения мать разбудила его и сказала, что склад ограбили, он тут же осознал всю жуть этого преступления. Пустой склад означает, что нет торговли; нет торговли означает, что нет денег; нет денег означает неприятности — богадельня! голод! смерть! Мать заметила, что положение не настолько уж плохо, поскольку все украденные товары застрахованы, но да, удар это жестокий,

особенно потому, что вот-вот начнется рождественский сезон покупок, а поскольку страховая компания выплатит все, вероятно, через несколько недель или даже месяцев, магазину трудно будет продержаться без экстренного займа в банке. Меж тем отец в Ньюарке беседует с полицией, сказала она, а поскольку у всех товаров имеются серийные номера, есть вероятность — небольшая, но есть, — что грабителей выследят и поймают.

Шло время, никаких грабителей не отыскали, но отцу удалось взять в банке заем, а это означало, что Фергусону и его семье больше не грозит бесчестье переезда в богадельню. Жизнь дальше продолжалась более-менее так же, как и последние несколько лет, но Фергусон ощущал у них в хозяйстве какую-то новую атмосферу, в воздухе вокруг него витало что-то мрачное, угрюмое и таинственное. Не сразу сумел он определить источник такого барометрического сдвига, но, наблюдая за матерью и отцом, когда б ни оказался с ними, как поодиночке, так и вместе, он заключил, что мать-то его осталась практически той же, по-прежнему бурлит историями о своей работе в ателье, все так же выдает ежедневную долю улыбок и смеха, по-прежнему смотрит

ему прямо в глаза, когда с ним разговаривает, еще готова неистово сражаться в пинг-понг на утепленной задней веранде, еще внимательно слушает его, стоит ему прийти к ней с какой-нибудь загвоздкой. А вот отец — тот изменился, его обычно разговорчивый отец, кто теперь почти не разговаривал за завтраком по утрам, казался рассеянным и почти совсем отсутствующим, поскольку ум его сосредоточен на чем-то темном и горестном, чем он не хочет ни с кем делиться. Где-то после начала нового года, когда 1955-й стал 1956-м, Фергусон собрался с духом подойти к матери и спросить у нее, что не так, попросить ее объяснить, почему его отец такой грустный и отрешенный. Все дело в грабеже, ответила она, тот грабеж *съедает его поедом*, и чем больше он о нем думает, тем меньше способен думать о чем-то другом. Фергусон не понял. Склад взломали шесть или семь недель назад, страховая компания оплатит утраченные товары, банк согласился выдать заем, и магазин устоял. Чего ж его отец беспокоится, если беспокоиться не о чем? Он заметил, как мать помедлила, словно бы с трудом решая, стоит ли довериться ему, не убежденная, что он достаточно взрослый, чтобы осознать все факты истории, сомнение мелькало

у нее во взгляде не дольше мига, но, хоть и так, было оно весьма ощутимым, и затем, поглаживая его по голове и всматриваясь ему в еще не вполне девятилетнее лицо, она рискнула — открылась ему так, как никогда прежде, и поверила ему тот секрет, который разрывал изнутри его отца. Полиция и страховая компания по-прежнему разбираются с этим делом, сказала она, и все они пришли к выводу, что грабеж совершил *кто-то из своих*, а значит — никакие не чужие люди, а те, кто работает в магазине. Фергусон, знавший всех работников «Домашнего мира 3 братьев», от складских рабочих Эда и Фила до счетовода Адели Розен, ремонтного мастера Чарли Сайкса и уборщика Боба Докинса, ощутил, как мышцы у него в животе стиснуло кулаком боли. Не может быть, чтобы кто-то из этих хороших людей причинил такое зло его отцу, ни один из них не был способен на такое коварство, а значит, полиция и страховая компания наверняка ошибаются. Нет, Арчи, сказала мать, я не думаю, что они ошибаются. Но человека, совершивший такое, ты сейчас не назвал.

О чем это она? — задумался Фергусон. Два оставшихся человека, связанные с магазином, — дядя Лью и дядя Арнольд, братья его отца, а братья же

друг друга не грабят, правда? Такого попросту не бывает.

Твоему отцу пришлось принять жуткое решение, сказала мать. Либо отозвать обвинения и отказаться от страховки, либо отправить Арнольда в тюрьму. Как, по-твоему, он поступил?

Он отозвал обвинения и не отправил Арнольда в тюрьму.

Нет, конечно. Такое бы ему и присниться не могло. Но теперь ты понимаешь, почему он так расстроен.

Через неделю после того, как Фергусон побеседовал с матерью, она сообщила ему, что дядя Арнольд и тетя Джоан переезжают в Лос-Анджелес. Ей будет не хватать Джоан, сказала мать, но так, вероятно, лучше, поскольку нанесенного урона ничем не залатать. Через два месяца после того, как Арнольд и Джоан уехали в Калифорнию, дядя Лью разбился в своем белом «кадиллаке» на парковой автостраде Садового штата и умер в «скорой» по пути в больницу, и не успел еще никто осознать толком, как быстро боги решают свои задачи, если им больше нечем заняться, клан Фергусонов разнесло вдребезги.

1.2

Когда Фергусону исполнилось шесть, мать рассказала ему историю о том, как она его едва не потеряла. Потеряла не в том смысле, что не знала, где он, а в том смысле потеряла, что он умер, покинул этот мир и вознесся к небесам бестелесным духом. Ему не было еще и полутора годиков, сказала она, и однажды ночью у него поднялся жар, сперва несильный, но быстро перешел в сильный, чуть за 106[5], температура тревожная даже для маленького ребенка, и поэтому они с отцом укутали его хорошенько и повезли в больницу, где у него начались судороги, что могло бы его запросто прикончить, поскольку даже врач, удалявший ему в тот вечер гланды, сказал, что это дело рискованное — в том смысле, что он не может быть уверен, выживет Фергусон или умрет, что все это теперь в руце Божьей, а мать его так перепугалась, рассказала она ему, так ужасно перепугалась, что потеряет своего малыша, что чуть было *рассудка не лишилась*.

Это был худший миг, сказала она, тот единственный раз, когда она поверила, будто мир

---

[5] Сноски: 5
Ок. 41°C.

и впрямь может закончиться, но были и другие передряги, целый список непредвиденных встрясок и неприятностей, и тут она принялась перечислять различные несчастные случаи, какие происходили с ним в раннем детстве, несколько могли бы его убить или изувечить, он мог бы подавиться непрожеванным куском стейка, например, или осколок разбитого стекла пробил ему стопу, и понадобилось накладывать четырнадцать швов, или тот раз, когда он споткнулся и упал на камень, которым раскроил себе левую щеку, и понадобилось семь швов, или пчела ужалила его так, что у него все глаза заплыли, или тот день прошлым летом, когда он учился плавать и чуть было не утонул, когда его двоюродный брат Эндрю притопил его, и всякий раз, когда мать перечисляла такие случаи, на миг она приостанавливалась и спрашивала Фергусона, помнит ли он, а штука была в том, что всё он помнил — помнил почти все их, как вчера.

Беседа эта у них состоялась в середине июня, через три дня после того, как Фергусон свалился с дуба у них на заднем дворе и сломал себе левую ногу, и мать его, перечисляя все эти мелкие катастрофы, пыталась тем самым подчеркнуть, что, когда б он ни ранился в прошлом, ему всегда

потом становилось лучше, тело у него какое-то время болело, а потом переставало болеть, и вот именно это произойдет сейчас с его ногой. Очень жаль, конечно, что придется полежать в гипсе, но со временем гипс снимут, и Фергусон будет совсем как новенький. Ему же хотелось знать, долго ли еще ждать, когда это произойдет, и мать сказала, что месяц или около того, — а это ответ крайне неопределенный и неудовлетворительный, как ему казалось: месяц — это один лунный цикл, что, может, и терпимо, если будет не слишком жарко, но вот это *или около того* означало еще дольше, неопределенную и, следовательно, невыносимую длительность времени. Не успел он, однако, хорошенько из-за такой несправедливости всего этого разволноваться, как мать задала ему вопрос — странный вопрос, быть может, самый странный, какой ему когда-либо задавали.

Ты на себя сердишься, Арчи, или ты сердишься на дерево?

Ну и трудный же вопросец — подкидывать такое ребенку, который еще в детский садик ходит. Сердишься? Чего это ради он должен на что-то сердиться? Почему не может быть просто грустно?

Мать улыбнулась. Она счастлива, что он не

винит в этом дерево, сказала мать, потому что это дерево она любит, они с отцом вместе любят это дерево, они и сам дом в Вест-Оранже купили главным образом из-за большого заднего двора, а лучшее и самое прекрасное на этом дворе — громадный дуб, росший в самой его середине. Три с половиной года назад, когда они с отцом решили отказаться от квартиры в Ньюарке и купить себе дом в предместье, они искали в нескольких окрестных городках, в Монклере и Мапльвуде, в Милльбурне и Саут-Оранже, но ни в едином из тех мест не находилось для них правильного дома, они уже устали и расстроились из-за того, что пришлось смотреть столько неправильных домов, а потом приехали в этот и сразу поняли, что это дом как раз для них. Она рада, что он не сердится на дерево, сказала она, потому что, если б он сердился, ей бы пришлось дуб срубить. Зачем его рубить? — спросил Фергусон, уже посмеиваясь от мысли о том, что его мать рубит такое большое дерево, его красивая мать, одетая по-рабочему, накидывается на дуб с громадным блестящим топором. Потому что я — за тебя, Арчи, сказала она, а любой твой враг — мой враг.

Назавтра отец вернулся из «Домашнего мира 3 братьев» с кондиционером воздуха для комнаты

Фергусона. Там становится жарко, сказал отец, имея в виду, что он хочет, чтобы сыну его было удобно, пока он томится в гипсе в постели, а кроме того, ему это поможет от сенной лихорадки, продолжал отец, не даст пыльце проникать в комнату, раз нос у Фергусона так чувствителен к раздражителям, переносимым по воздуху, от травы, пыли и цветов, и чем меньше он будет чихать, пока выздоравливает, тем меньше у него будет болеть сломанная кость, ведь чих — могучая сила, а крепкий чих отзовется во всем твоем теле, от макушки твоей травмированной головы до самых кончиков пальцев на ногах. Шестилетний Фергусон смотрел, как его отец занимается установкой кондиционера в окне справа от письменного стола — операция гораздо более сложная, нежели он воображал, которая началась с того, что из окна вынули раму с сеткой, и потребовалось много всякого: рулетка, карандаш, дрель, шприц для заделки швов, две некрашеные дощечки, отвертка и несколько шурупов, и Фергусона поразило, насколько быстро и тщательно работал его отец, как будто руки у него понимали, что нужно делать, безо всяких распоряжений от ума, самостоятельные руки, так сказать, наделенные собственным особым знанием, а затем

настал миг оторвать крупный металлический куб от пола и установить его в окне, жуть какой тяжелый предмет нужно поднять, подумал Фергусон, но отцу это удалось без всякого видимого напряжения, и, доделывая работу отверткой и шприцем для швов, отец мурлыкал песенку, какую всегда мурлыкал, когда что-нибудь чинил в доме, старый номер Ала Джолсона под названием «Сынок»: *Никак не узнать / Никак не показать / Что ты значишь для меня, Сынок*. Отец нагнулся подобрать лишний шуруп, упавший на пол, а когда снова выпрямился — вдруг схватился правой рукой за поясницу. *Ох ун вай*, сказал он, кажется, я мышцу потянул. Средством от растянутых мышц было несколько минут полежать навзничь, сказал отец, желательно — на жестком, а поскольку самым жестким в комнате был пол, отец быстренько улегся на пол рядом с кроватью Фергусона. Что за необычайный вид ему тогда открылся — смотреть сверху на отца, растянувшегося на полу под ним, и когда Фергусон перегнулся через край кровати и всмотрелся в искаженное гримасой отцово лицо — решил задать вопрос, такой, о котором он за прошлый месяц уже несколько раз думал, но так и не улучил подходящего времени задать: А чем занимался его отец до того, как

стал начальником «Домашнего мира 3 братьев»? Он видел, как взгляд отца блуждает по потолку, словно бы тот искал там ответа на этот вопрос, а затем Фергусон заметил, как мышцы в углах отцова рта оттянулись вниз — то было уже знакомое ему выражение, знак того, что отец старается не улыбнуться, а это, в свою очередь, означало, что сейчас произойдет что-то неожиданное. *Я охотился на крупную дичь*, сказал отец спокойно и ровно, не выдавая ни единого признака того, что он сейчас пустится нести самую отъявленную белиберду, какую только вываливал на голову сына, и следующие двадцать минут или даже полчаса он вспоминал львов, тигров и слонов, *знойный жар Африки*, как он прорубал себе путь сквозь густые джунгли, переходил пешком Сахару, взбирался на Килиманджаро, тот раз, когда его чуть целиком не заглотила исполинская змея, и другой раз, когда его изловили людоеды и уже собирались бросить в котел с кипящей водой, но в последнюю минуту ему удалось выпутаться из лиан, которыми ему связали запястья и лодыжки, убежать от своих смертоубийственных поимщиков и исчезнуть в гуще зарослей, а еще был раз, когда он поехал на свое последнее сафари перед тем, как вернуться домой и жениться на

матери Фергусона, и заблудился в чернейшей сердцевине Африки, которая тогда была известна как *темный континент*, и он выбрел в широкую, бескрайнюю саванну, где увидел стадо пасшихся динозавров — последних оставшихся на земле. Фергусон был уже достаточно большой и знал, что динозавры вымерли миллионы лет назад, но вот другие истории казались ему вполне достоверными — не обязательно правда, быть может, но, возможно, и правда, а потому им стоило бы верить — наверное. Тут в комнату зашла мать, а когда увидела, что отец Фергусона лежит на полу, спросила, не случилось ли у него что-нибудь нехорошее со спиной. Нет-нет, сказал он, я просто отдыхаю, а затем встал, как будто со спиной у него все и впрямь было прекрасно, подошел к окну и включил кондиционер.

Да, кондиционер воздуха остужал комнату, и чиханье прекратилось, а поскольку теперь стало прохладнее, нога под гипсом у него не так чесалась, но в проживании в охлаждаемом помещении имелись и свои недостатки, в первую очередь — шум, который был странным и непонятным, поскольку Фергусон, бывало, его слышал, а бывало — и нет, но когда слышал, тот оказывался монотонным и неприятным, однако

хуже того: возникало неудобство с окнами, которые теперь следовало всегда держать закрытыми, чтобы не улетучивался прохладный воздух, а из-за того, что они все время были закрыты, а мотор постоянно работал, он уже не слышал, как на улице поют птицы, а хорошим в том, чтобы сидеть взаперти у себя в комнате с гипсом на ноге, было лишь то, что можно слушать птиц на деревьях у него под самым окном, как они чирикают, поют, заливаются трелями, и Фергусон считал, что это самые красивые звуки на свете. У кондиционирования воздуха, стало быть, имелись свои плюсы и минусы, свои выгоды и трудности, и, как и такое множество всякого другого, что мироздание ссужало ему по ходу его жизни, это, как выразилась его мать, была *палка о двух концах*.

Больше всего в падении с дерева его беспокоило то, что этого можно было избежать. Фергусон мог принять боль и страдание, когда те, по его мнению, были необходимы, например, если тошнит, когда он болеет, или если доктор Гастон тыкает ему в руку иголкой, чтобы ввести пенициллин, но вот необязательная боль нарушала принципы здравого смысла, а оттого становилась дурацкой и невыносимой. Отчасти его подмывало обвинить в этом несчастном случае Чаки Бравера, но

в итоге Фергусон осознал, что это всего-навсего жалкое оправдание, поскольку какая разница, что Чаки взял его на слабо — что Фергусон не залезет на дерево? Фергусон принял вызов, а это означало, что он хотел на дерево забраться, предпочел на него влезть, а значит — сам и отвечает за то, что произошло. Ну и пусть Чаки обещал, что полезет следом за Фергусоном, если тот заберется первым, а потом нарушил слово, утверждая, будто забоялся, что ветки слишком далеко друг от дружки, а ему не хватает роста, чтобы до них дотянуться, но то, что Чаки за ним не полез, не имеет значения, ибо если б он туда и залез, то как бы он не дал Фергусону упасть? И вот Фергусон упал, разжал хватку, дотягиваясь до ветки, что была как минимум на четверть дюйма дальше, чем он бы смог надежно достать, не удержался и упал, а теперь вот лежит в постели, левая нога у него в гипсе, который будет частью его тела *месяц или около того*, и это значит — больше месяца, и никто в этом его несчастье не виноват, кроме него самого.

Вину он принимал, понимал, что в нынешнем своем состоянии виноват только он, но это далеко не одно и то же, что сказать, будто несчастного случая нельзя было избежать. Глупо, но уж

как есть, просто дурь, что он упорствовал и лез дальше, хотя не мог достать следующую ветку, но вот если б ветка была хоть на долю дюйма ближе к нему, получилось бы не так глупо. Если б Чаки не позвонил ему в дверь тем утром и не позвал гулять, глупо бы ничего не было. Если б его родители переехали в какой-нибудь другой из тех городков, где искали правильный дом, он бы вообще не познакомился с Чаки Бравером, даже не знал бы, что такой Чаки Бравер существует, и ничего глупо бы не было, поскольку у него на заднем дворе не росло бы дерево, на которое он взбирался. Какая интересная мысль, сказал себе Фергусон: воображать, как у него все было бы иначе, хотя он бы оставался тем же самым. Тот же мальчик в другом доме с другим деревом. Тот же мальчик с другими родителями. Тот же мальчик с теми же родителями, которые занимаются не тем же, чем сейчас. Вот бы его отец по-прежнему, например, охотился на крупную дичь, а они бы все жили в Африке? Вот бы его мать была знаменитой киноактрисой, и они все бы жили в Голливуде? Вот бы у него были брат или сестра? Вот бы его двоюродный дедушка Арчи не умер, а самого его бы не звали Арчи? Вот бы он упал с того же дерева, но сломал себе не одну ногу, а обе?

Вот бы он сломал себе обе руки и обе ноги? Вот бы он убился насмерть? Да, все было возможно, и только потому, что все произошло так, а не иначе, вовсе не значит, что иначе ничто не могло произойти. Все могло быть по-другому. Мир мог бы оставаться тем же миром, однако если б он не упал с дерева, мир для него был бы иным, а если б он упал с дерева и не сломал себе только ногу, а вообще бы убился, мир для него не только был бы иным, а и вообще бы мира, чтоб жить в нем, не было, и как бы грустили его отец и мать, когда несли б его на кладбище и хоронили его тело в земле, так бы они грустили, что рыдали бы сорок дней и сорок ночей, не переставая, сорок месяцев, четыреста сорок лет.

До конца садика оставалось полторы недели, а потом — летние каникулы, что означало: он пропустит немного и не провалит детсадовский выпуск из-за слишком многих прогулов. Хоть за это можно спасибо сказать, как его мать выразилась, и она уж точно была права, но у Фергусона в те первые дни после несчастного случая не было настроения никого благодарить, даже разговаривать ему было не с кем из друзей, кроме как ближе к вечеру, когда к нему заглядывал Чаки Бравер со своим младшим братишкой — погля-

деть на гипс, отца дома не было с утра до ночи, потому что он ходил на работу, а мать на несколько часов в день уезжала искать пустую лавку, где можно было б разместить фотоателье, которое она намеревалась открыть осенью, а домработница Ванда почти всегда занималась стиркой и уборкой, кроме того, что в полдень приносила Фергусону обед и помогала ему опорожнять мочевой пузырь, держа молочную бутылку, куда ему полагалось писать, а не делать свои дела в ванной, вот какие унижения приходилось ему претерпевать, и все — из-за дурацкой ошибки, падения с дерева, и досаду его упрочивало то, что он еще не выучился читать, вот был бы хороший способ коротать время, и поскольку телевизор стоял внизу в гостиной, недостижимый, временно за пределами его досягаемости, Фергусон целыми днями размышлял над невообразимыми вопросами Вселенной, рисовал самолеты и ковбоев и упражнялся в письме, копируя листочек с буквами, который ему сделала мать.

Потом все помаленьку стало налаживаться. Его двоюродная сестра Франси закончила младший год старших классов и несколько дней перед тем, как уехать вожатой в летний лагерь в Беркширах, заходила к ним, чтоб ему не было скучно, иногда

лишь на часок, иногда на три-четыре, то время, что он проводил с нею, всегда было самой приятной частью дня, несомненно — единственной приятной его частью, потому что Франси из всех его двоюродных нравилась ему больше прочих, она ему нравилась больше всех остальных что в одной семье, что в другой, и до чего же она теперь взрослая, думал Фергусон, с грудями и изгибами, а тело у нее уже похоже на материно, и, совсем как мать его, она умела с ним разговаривать так, отчего ему становилось спокойно и уютно, как будто ничего, пока он был с нею, не могло пойти вкривь, а иногда с Франси бывать оказывалось даже лучше, чем с матерью, поскольку, что бы он ни сделал или ни сказал, она на него никогда не сердилась, даже если он забывался и становился *егозой*. Это умная Франси придумала украсить его гипс — работа заняла три с половиной часа, такие аккуратные мазки, которыми она покрывала белый гипс, разрисовывая его яркими синими, красными и желтыми полосами, абстракция, вихрящийся узор, который наводил его на мысли о неимоверно быстрой карусели, и пока она мазала акриловыми красками его новую и презираемую часть тела — рассказывала о своем дружке Гари, большом Гари, кто раньше играл фулбэком в

футбольной команде средней школы, а теперь учится в колледже, в Вильямсе в Беркширах, неподалеку от того лагеря, где они летом вместе будут работать, она этого с таким нетерпением ждет, сказала Франси, а потом объявила, что ее *пришпилили* — понятие, в то время для Фергусона незнакомое, поэтому Франси пояснила, что Гари приколол ей значок своего братства, но слово *братство* понимания Фергусона тоже бежало, поэтому Франси объяснила еще разок, а потом расплылась широкой улыбкой и сказала, да это ладно, самое главное — когда тебя пришпилят, это первый шаг к тому, чтобы обручиться, а у них план такой, что они с Гари объявят о своей помолвке осенью, и на следующее лето, когда ей уже исполнится восемнадцать, она закончит среднюю школу и они с Гари поженятся. А рассказывает она ему все это потому, сказала Франси, что у нее для Фергусона есть важное задание, и теперь ей нужно знать, согласен ли он его выполнить. Что выполнить? — спросил Фергусон. Нести кольцо на свадьбе, сказала она. Опять Фергусон понятия не имел, о чем она толкует, поэтому Франси опять объяснила, и когда он выслушал, как она ему рассказывает, что ему нужно пройти по проходу с обручальным кольцом на синей

бархатной подушечке, а потом Гари возьмет у него это кольцо и в завершение свадебной церемонии наденет его на четвертый палец ее левой руки, Фергусон согласился, что это действительно важное задание, возможно — самое важное из всех, что ему когда-либо поручали. Серьезно кивнув, он пообещал, что все сделает. Вероятно, ему будет нервно идти по проходу, когда на него смотрит столько людей, разумеется, и всегда есть шанс, что у него затрясутся руки и кольцо упадет наземь, но ему придется это сделать, потому что Франси его попросила, потому что Франси — единственный человек на всем белом свете, кого он бы ни за что не смог подвести.

Когда Франси пришла к ним домой назавтра, Фергусон тут же понял, что она плакала. Покрасневший нос, туманные розоватые следы вокруг обеих радужек у нее в глазах, и левой, и правой, носовой платок комком в кулаке — даже шестилетка мог вычислить правду по таким уликам. Фергусону стало интересно, не поссорилась ли Франси с Гари, не перестала ли внезапно и неожиданно быть пришпиленной, что бы означало, что свадьбу отменят, а его не позовут нести кольцо на бархатной подушечке. Он у нее спросил, что ее расстроило, но она отнюдь не произнесла имя

Гари, как он себе это представлял, а заговорила о мужчине и женщине по фамилии Розенберг, которых вчера умертвили, *изжарили на электрическом стуле*, сказала она, произнося эти слова с чем-то вроде ужаса и отвращения сразу, а это неправильно, неправильно, неправильно, продолжала она, потому что они, вероятно, невиновны, они всегда говорили, что невиновны, и зачем только они позволили себя казнить, когда могли бы спасти свою жизнь, сказав, что виновны? Двое сыновей, сказала Франси, два маленьких мальчика, и какие родители станут добровольно превращать своих детей в сирот, отказываясь объявить о своей вине, если они виновны, а это означает, что они наверняка были невиновны и погибли ни за что. Фергусон никогда не слыхал столько негодования в голосе Франси, никогда не знал, что можно так огорчаться из-за несправедливости, причиненной людям, которых можно считать посторонними, ибо ему было ясно, что Франси никогда не встречалась с этими Розенбергами лично, а значит, она говорит сейчас о чем-то смертельно серьезном и важном, серьезном до того, что людей из-за этого *изжарили*, что это за кошмарная мысль, изжариться, будто кусок курятины, погруженный в

сковородку, залитую горячим, бурлящим маслом. Он спросил у кузины, что такого эти Розенберги якобы сделали, чтобы заслужить такое наказание, и Франси объяснила, что их обвинили в том, что они передавали секреты русским, важнейшие секреты, касающиеся создания атомных бомб, а поскольку русские — коммунисты, а потому — наши смертельные враги, Розенбергов обвинили в измене, это отвратительное преступление, которое значит, что ты предал свою страну, и тебя нужно умертвить, только в данном случае преступление совершается Америкой, это американское правительство уничтожило двух невинных людей, а затем, цитируя своего дружочка и будущего мужа, Франси сказала: *Гари считает, что Америка обезумела.*

Разговор этот Фергусон воспринял, как удар под дых, и стало ему так же потерянно и страшно, как было, когда пальцы его соскользнули с ветки, и он начал падать с дерева, это отвратительное ощущение беспомощности, вокруг него только воздух, а под ним — ни матери, ни отца, ни Бога, ничего, лишь пустота чистого ничто, а тело его летит к земле, и в голове у него ничего нет, кроме страха перед тем, что с ним случится, когда он до земли долетит. Родители никогда не

разговаривали с ним о таких вещах, как казнь Розенбергов, они его оберегали от атомных бомб и смертельных врагов, ложных приговоров и осиротевших детей, от изжаренных взрослых, и теперь, слыша, как Франси все это ему излагает одним громадным потоком чувств и негодования, Фергусон оказался пойман врасплох, не совсем как ударом под дых, конечно, а скорее как в мультфильмах, какие он смотрел по телевизору: чугунный сейф падает из окна десятого этажа прямо ему на голову. Хлобысть. Пятиминутный разговор с двоюродной сестрой Франси, и всему — хлобысть. Снаружи — широкий мир, мир бомб, войн и электрических стульев, а он о нем знает мало — или совсем ничего. Он неуч, настолько совершенно дремучий и безнадежный, что ему неловко было быть собой, ребенок-идиот, присутствует, но не считается, тело, занимающее пространство так же, как пространство занимают стул или кровать, не более безмозглого ноля, и, если он желает это как-то изменить, начинать нужно уже сейчас. Мисс Лундквист сказала его группе в детском садике, что писать и читать они научатся в первом классе, поэтому нет смысла торопить события, а умственно готовы начинать они станут на будущий год, но Фергусон уже не

мог ждать будущего года, начинать следовало сейчас, или же он обречет себя на еще одно лето невежества, поскольку читать и писать — это первый шаг, пришел к выводу он, единственный шаг, на какой он нынче способен как личность не считающаяся, и если на свете есть какая-то справедливость, в чем он уже всерьез начинал сомневаться, то придет кто-то и предложит ему помощь.

К концу той недели помощь возникла в лице его бабушки, которая в воскресенье вместе с дедом приехала в Вест-Оранж и поселилась в спальне рядом с его комнатой — погостить, что затянулось аж до июля. Накануне ее приезда он обзавелся парой костылей, какие позволили ему свободно перемещаться по второму этажу и отменяли унижение молочной бутылки, но вот самостоятельный спуск на первый этаж по-прежнему даже не обсуждался, путешествие вниз по лестнице чересчур опасно, поэтому кто-то должен был его носить, а это еще одно оскорбление, претерпевать которое следовало молча и с тлеющим презрением, а поскольку бабушка его была слишком немощна, а Ванда — слишком невелика, переноску осуществляли либо его отец, либо мать, отчего спускаться необходимо было

рано поутру, поскольку отец уезжал на работу в самом начале восьмого, а мать еще искала себе подходящее место для ателье, но это и неважно, плевать, можно и не спать долго, и уж гораздо лучше утра и дни проводить на застекленной веранде, чем маяться в холодной гробнице наверху, и хотя погода часто бывала жаркой и душной, теперь снова возникли птички, а они более чем воздавали за какие бы то ни было неудобства. На веранде он наконец и покорил таинства букв, слов и знаков препинания — там под опекой бабушки овладел он такими странностями, как *везти* и *вести*, *лезть* и *лесть*, *шок* и *шёлк*, *возчик* и *ящик*, а также мучительной загадкой — *порог*, *порок* и *парок*. Прежде он никогда не ощущал особой близости с женщиной, кому судьбой было назначено служить ему бабушкой, с туманной Наной из среднего Манхаттана, личностью милостивой и нежной, как он предполагал, но такой тихой и сдержанной, что трудно было установить с нею связь, и когда бы он ни оказывался со своими прародителями, его бурливый, одуреть какой забавный дед, казалось, занимал собою всю комнату, а бабушка оставалась в тенях, почти совсем безликая. Своим коренастым, округлым телом и пухлыми ногами, неряшливой, старомод-

ной одеждой и скучными туфлями с толстыми, низкими каблуками она всегда поражала Фергусона — как будто человек из другого мира, насельница иного времени и пространства, а следовательно, в этом мире ей всегда неуютно, она могла жить в настоящем, лишь как некий турист, словно была здесь проездом, сама же стремилась вернуться туда, откуда явилась. Тем не менее про чтение и письмо она знала все, что следовало знать, и когда Фергусон спросил ее, не согласится ли она ему помочь, она потрепала его по плечу и сказала, что, конечно, поможет, для нее это будет честь. Эмма Адлер, жена Бенджи, мать Мильдред и Розы, учительницей оказалась терпеливой до занудства и наставляла своего внука с систематическим тщанием, начав в первый же день с экзаменовки знаний Фергусона: перед тем как разработать соответствующий план действий, ей необходимо было выяснить, сколько чего он успел выучить. Ее воодушевило, что он уже распознавал буквы алфавита, все двадцать шесть, большинство строчных букв и все прописные, и из-за того, что он так продвинулся в учении, сказала она, работа ей предстоит совсем не такая сложная, как ей вначале казалось. Уроки, которые она ему затем стала преподавать,

делились на три части: полтора часа по утрам писать, затем перерыв на обед, днем полтора часа чтения, а затем, после еще одного перерыва (на лимонад, сливы и печенье), — сорок пять минут чтения ему вслух, пока они сидели бок о бок на диване на веранде, и она показывала ему слова, какие, по ее мысли, ему было бы трудно понять, ее толстенький указательный палец постукивал по странице под такими коварными словами, как *здравствуйте, бесчувственный* и *брандспойт*, и пока Фергусон с нею сидел, нюхая бабушкины запахи лосьона для рук и розовой воды, которой она душилась, — воображал тот день, когда все это станет для него машинальным, когда он сумеет читать и писать не хуже кого угодно из когда-либо живших на свете. Фергусон не был сообразительным ребенком, как это доказало его падение с дуба, не говоря уже о прочих проливах и промашках, что преследовали его все начало его жизни, и письмо вызывало у него больше трудностей, чем чтение. Бабушка говорила: Смотри, как я это делаю, Арчи, — и затем медленно выводила букву шесть или семь раз подряд, заглавную *Б*, к примеру, или строчную *ф*, после чего Фергусон пытался ей подражать — иногда ему все удавалось с первого захода, частенько совсем

так же не получалось, и когда б он ни проваливался после пятой или шестой попытки, бабушка неизменно накрывала его руку своею, сплетала свои пальцы с его, а потом направляла карандаш по странице, и две их руки выписывали букву как надо. Такой подход рука-об-руку помогал ускорять его успехи, ибо выводил упражнение из области отвлеченных форм и делал его тактильным и конкретным — словно мышцы его руки тренировались выполнить именно ту задачу, какая требовалась очертанием каждой буквы, а повторяя упражнение вновь и вновь, каждый день проверяя буквы, которые он уже выучил, и добавляя по четыре-пять новых, Фергусон со временем овладел положением и перестал делать ошибки. С чтением уроки проходили гладко, поскольку в них не задействовались карандаши, и ему удавалось продвигаться вперед споро, натыкаясь лишь на редкие препоны при переходе за две недели от трех- и четырехсловных фраз к предложениям из десяти и пятнадцати слов, и такова была его решимость стать полноценным читателем, пока от них не уехала бабушка, что он как будто бы силой своего желания заставлял себя понимать, загоняя ум в состояние такой восприимчивости, что едва заучивался новый

факт, он в этом уме оседал и больше не забывался. Одну за другой бабушка выписывала ему фразы, и одну за другой он их ей читал, начиная с *Мое имя Арчи* и дальше, к *Смотри, Тед бежит*, к *Сегодня утром так жарко*, к *Когда тебе снимут гипс?*, к *Я думаю, завтра пойдет дождь*, к *Как интересно, что маленькие птички поют красивее, чем большие*, до *Я старая женщина и не помню, как училась читать, но сомневаюсь, что мне это удавалось быстрее, чем тебе*, и потом он сдал экзамен — добрался до своей первой книжки, «Сказки о двух вредных мышках» — истории о парочке домашних грызунов по имени Мальчик-с-пальчик и Ханка-Манка, которые разбивают кукольный домик одной маленькой девочки, потому что еда, которая в нем стоит, не настоящая, а из гипса, и как же самозабвенно Фергусон наслаждался неистовством их разрушительной ярости, бойней, что последовала за их разочарованным, неудовлетворенным голодом, и, читая книжку вслух своей бабушке, он запнулся всего на нескольких понятиях, трудных, чьи значения его бежали, вроде *люльки, клеенки, кочерги* и *сыровара*. Хорошая сказка, сказал он бабушке, дочитав, и очень смешная к тому же. Да, согласилась она, весьма потешная история, а потом,

целуя его в макушку, добавила: Мне б и самой ее не прочесть лучше, чем ты.

Назавтра бабушка помогла ему написать письмо тете Мильдред, которую он не видел уже почти год. Та теперь жила в Чикаго, где работала профессором и учила студентов большого колледжа, вроде Гари, хотя Гари учился в другом колледже, не ее, в Колледже Вильямса в Массачусетсе, а ее колледж назывался Университет Чего-то. Подумав про Гари, он, само собой, начал думать и про Франси, и ему показалось странным: двоюродная сестра в семнадцать лет уже говорит о замужестве, а тетя Мильдред, которая на два года старше его матери, а значит, на много лет старше Франси, до сих пор ни за кем не замужем. Он спросил у бабушки, почему у тети Мильдред нет мужа, но на этот вопрос ответа, очевидно, не было, потому что бабушка лишь покачала головой и призналась, что этого не знает, но предположила: это, возможно, из-за того, что Мильдред очень занята работой или же просто потому, что до сих пор не нашла подходящего мужчину. Потом бабушка дала ему карандаш и небольшой листок линованной бумаги, пояснив, что это лучшая бумага, чтобы писать на ней письма, но, прежде чем начать, ему нужно хорошенько подумать,

что именно он хочет сказать своей тете, мало того — ему не следует забывать писать фразу покороче, не потому, что он не способен читать длинные предложения, но письмо — это совсем другая история, и поскольку писать печатными буквами — процесс медленный, ей бы не хотелось, чтобы он выдохся и бросил, не доведя дело до конца.

Дорогая тетя Мильдред, писал Фергусон, а бабушка диктовала ему слова по буквам, высоким качким голосом, тянула звук каждой буквы, словно песенку, мелодия взмывала и опадала, пока рука его постепенно ползла по странице. *Я упал с дерева и сломал ногу. Здесь Нана. Она меня учит читать и писать. Франси раскрасила мне гипс синим, красным и желтым. Она злится из-за тех людей, которых изжарили на стуле. Во дворе поют птицы. Сегодня я сосчитал одиннадцать разных птичек. У меня любимые желтые овсянки. Я читал «Сказку о двух вредных мышках» и «Цирковую собачку Махотку». Что тебе нравится больше, ванильное или шоколадное мороженое? Надеюсь, ты скоро приедешь в гости. Целую, Арчи.*

Они немного поспорили из-за употребления слова «изжарили», которое бабушка сочла чрез-

мерно вульгарным, если говорить о трагическом событии, но Фергусон настоял на том, что выбора нет — язык нельзя менять, поскольку именно так Франси и представила ему все это дело, и он считает, что это хорошее слово именно потому, что оно такое яркое и отвратительное. Да и вообще это его письмо, правде же, и он может в нем писать все, что захочет. И вновь бабушка покачала головой. *Ты никогда не отступаешь, Арчи, правда?* На что ее внук ответил: *А с чего бы мне отступать, я же прав?*

Вскоре после того, как они запечатали письмо, домой неожиданно вернулась мать Фергусона, пропыхтев вдоль по улице в красном двухдверном «понтиаке», на котором она ездила с тех пор, как семья тремя годами раньше переселилась в Вест-Оранж, машину эту Фергусон и его родители звали *джерсейской помидоркой*, и когда мать закончила ставить ее в гараж — прошагала по газону к веранде, двигаясь быстрее обычного, ускоренным темпом где-то посередине между шагом и трусцой, и едва оказалась на таком расстоянии, чтобы Фергусон различил ее черты, он увидел, что мать улыбается, от уха до уха — необычайно широкая и яркая улыбка, — а потом она подняла руку и помахала своим матери и

сыну, тепло их поприветствовала, признак того, что у нее отличное настроение, и не успела еще подняться по лесенке к ним на веранду, Фергусон понял, что именно она сейчас скажет, поскольку по ее раннему возвращению и бодрости на лице было ясно, что ее долгие поиски наконец-то завершились, что место для ее фотоателье найдено.

Оно в Монклере, сказала мать, это совсем недалеко от Вест-Оранжа, и место это не только достаточно просторное, чтобы туда влезло все, что понадобится, но и располагается прямо на главной улице. Там, конечно, придется потрудиться, но аренда начнется только с первого сентября, а потому ей хватит времени разработать планы и начать ремонт с первого же дня. Какое облегчение, сказала она, наконец-то хорошая новость, но все равно еще есть загвоздка. Ей нужно придумать название для ателье, а все ее замыслы ей пока не нравятся. «Фото Фергусон» на слух не годится из-за двойного *ф*. «Фото Монклер» слишком пресно. «Портреты от Розы» чересчур претенциозно. «Фото Розы» на слух неудачно из-за тройного *о*. «Пригородные портреты» наводят ее на мысли об учебнике по социологии. «Современный образ» неплохо, но с таким названием она скорее думает о журнале по фотографии, а

не об ателье и плоти и крови. «Портретная Фергусон». «Камера-центральная». «Фото Ф-Стоп». «Проявочная деревня». «Площадь Светлого Маяка». «Фото Рембрандт». «Фото Вермеер». «Фото Рубенс». «Фото Эссекс». Не годится, сказала она, все они дрянь, а мозги у нее уже онемели.

Фергусон встрял с вопросом. Как называлось то место, куда его отец водил ее на танцы, спросил он, там было где-то слово *роза*, куда они ходили, когда еще не были женаты? Он помнил, как она ему разок про это рассказывала, потому что им там было так здорово, что они *танцевали, себя не помня*.

«Страна Роз», сказала его мать.

Тогда мать Фергусона повернулась к своей матери и спросила, что она думает насчет «Ателье Страны Роз».

Мне нравится, ответила ее мать.

А тебе, Арчи? — спросила его мать. Ты как считаешь?

Мне тоже нравится, ответил он.

Ну вот и мне, сказала его мать. Может, придумывали названия и получше, но это звучит приятно. Утро вечера мудренее. Если наутро нам оно по-прежнему будет нравиться, может, задачка и решена.

Той ночью, пока Фергусон, его родители и бабушка спали у себя в постелях на втором этаже дома, «Домашний мир 3 братьев» сгорел дотла. Телефон зазвонил в четверть шестого утра, и через несколько минут отец Фергусона уже ехал в своем бутылочно-зеленом «плимуте» в Ньюарк оценивать ущерб. Поскольку в комнате Фергусона кондиционер воздуха работал во всю мощь, телефонный звонок и суету торопливого отцова отъезда перед рассветом он проспал, а узнал о том, что произошло, лишь когда проснулся в семь. Мать выглядела возбужденной, смущенной и расстроенной, как никогда прежде, счел Фергусон, она больше не служила оплотом равновесия и мудрости, каким он ее всегда считал, а походила скорее на него самого — была хрупким существом, уязвимым для печали, слез и безнадежности, и когда она обняла его, ему стало страшно — не просто потому, что сгорел магазин его отца, и у них больше не останется денег, на которые можно жить, а это означало, что им придется переселиться в богадельню и весь остаток своих дней питаться тюрей и черствыми кусками хлеба, нет, это само по себе скверно, но по-настоящему его испугало, когда он понял, что мать — не крепче него самого, что от ударов мироздания ей

так же больно, как больно ему, и, если не считать того, что она просто старше, разницы между ними никакой нет.

Бедный твой отец, сказала мать. Всю свою жизнь положил на то, чтобы развить этот магазин, трудился, трудился и трудился, а все вот кончилось ничем. Кто-то чиркает спичкой, электрический провод в стенке коротит — и двадцать лет тяжелой работы превращаются в груду золы. Бог жесток, Арчи. Он должен оберегать хороших людей на свете, но не оберегает. Заставляет их страдать так же, как и скверных людей. Убивает Давида Раскина, сжигает магазин твоего отца, позволяет невинным людям умирать в концентрационных лагерях, а все говорят, что он — Бог добрый и милосердный. Какая чушь.

Мать примолкла. У нее в глазах поблескивали мелкие слезы, заметил Фергусон, и она кусала нижнюю губу, словно пыталась не выпустить изо рта какие-то еще слова, как будто понимала, что и без того уже далеко зашла, что у нее нет права выражать столько злости при шестилетнем ребенке.

Не волнуйся, сказала она. Я просто расстроилась, только и всего. У отца есть страховка от пожара, и с нами ничего не случится. Просто гад-

кое невезенье, вот и все, но это лишь временно, а в конце все опять станет хорошо. Ты же сам это понимаешь, Арчи, правда?

Фергусон кивнул — но лишь потому, что не хотел, чтобы мать расстраивалась сильнее. Да, может, у них и будет все прекрасно, подумал он, но, опять же, если Бог такой жестокий, как она сказала, может, и не будет. Никакой уверенности. Впервые с тех пор, как он появился на этом свете две тысячи триста двадцать пять дней назад, все ставки оказались отменены.

Но мало того — кто еще такой этот самый Давид Раскин?

1.3

Его двоюродный брат Эндрю умер. *Погиб на боевом задании*, вот как отец Фергусона объяснил ему, а боевым заданием был ночной патруль в ледяных горах, стоявших между Северной и Южной Кореей, от единственной пули, выпущенной китайским солдатом-коммунистом, сказал отец, которая пробила сердце двоюродного брата Эндрю и убила его в возрасте девятнадцати лет. Стоял 1952 год, и пятилетний Фергусон предполагал, что ему должно быть так же уныло, как и всем остальным в комнате, начиная с тети Милли и

кузины Алисы, которые дольше десяти минут не могли усидеть, чтобы опять не разрыдаться, и грустного дяди Лью, курившего одну сигарету за другой и смотревшего в пол, да только Фергусон никак не мог собраться со скорбью, какая от него требовалась, чувствовалось нечто ложное и неестественное в том, чтобы стараться грустить, когда ему не грустно, из-за того, что кузен Эндрю ему никогда не нравился, он его обзывал *козявкой, малявкой* и *маленьким говнюком*, постоянно помыкал им на семейных сборищах, а однажды запер его в чулане *посмотреть, выдюжит ли*, а даже если и не трогал Фергусона — говорил всякое своей сестре Алисе, обидные слова вроде *свиная харя, собачьи мозги* и *ножки-спички*, отчего Фергусон в отвращении морщился, не говоря уже о том удовольствии, какое Эндрю, судя по всему, получал, ставя подножки и лупя кузена Джека, который был младше Эндрю всего на год, но на полголовы ниже. Даже родители Фергусона признавали, что Эндрю *мальчик неблагополучный*, и, насколько Фергусон мог припомнить, он постоянно подслушивал истории о выходках его двоюродного брата в школе, тот грубил учителям, поджигал мусорные урны, бил окна, прогуливал уроки, столько проступков за ним числилось, что

директор наконец вышиб его с середины предпоследнего класса, а потом, когда его поймали на угоне машины, судья предложил ему выбор: тюрьма или армия, поэтому Эндрю пошел в армию, а через полтора месяца после того, как его отправили в Корею, — погиб.

Много лет пройдет, прежде чем Фергусон до конца осознает, какой удар нанесла всей семье его смерть, ибо тогда он был слишком юн, чтобы хоть что-то ухватить, но в итоге воздействие, какое она на него оказала, ставшее явным, лишь когда ему исполнилось семь с половиной, а значит, и два года между похоронами Эндрю и тем событием, что разнесло вдребезги их мирок, миновало сплошным мазком детства в настоящем времени, обыденных школьных дел, игр и спорта, дружб, телевизионных программ, книжек комиксов, книжек с картинками, болезней, содранных коленок и синяков на конечностях, время от времени кулачных потасовок, нравственных выборов и бессчетных вопросов о природе действительности, и, проживая все это, он продолжал любить своих родителей и ощущать их взаимную любовь к нему, больше всего — от своей неунывающей, нежной матери, Розы Фергусон, которая владела и заправляла «Ателье Страны Роз» на главной

улице в Милльбурне, городке, где они жили, а в меньшей, более сомнительной степени — от отца, загадочного Станли Фергусона, кто разговаривал мало, и часто казалось, он лишь смутно осознает существование своего сына, однако Фергусон понимал, что его отцу и без того есть о чем подумать, что управлять «Домашним миром 3 братьев» — работа, которая требует его целиком, круглосуточная, а это неизбежно значит, что он рассеян, но в те редкие мгновения, когда он не бывал рассеян и мог сосредоточить взгляд на сыне, Фергусон был уверен, что отец знает, кто Фергусон такой, что ни с кем другим его не перепутал. Иными словами, Фергусон жил на крепкой почве, о его материальных нуждах заботились последовательно и прилежно, над головой имелась крыша, ел он три раза в день, одежда всегда свежевыглаженная, не нужно терпеть никаких физических тягот, никакие муки чувств не останавливали его развития, а в те годы между пятью с половиной и семью с половиной он развился в ребенка, какого педагоги бы сочли здоровым и нормальным, с умственными способностями выше средних, прекрасным образчиком американского ребенка середины века. Но сам он чересчур увяз в суматохе собственной жизни,

чтобы обращать внимание на то, что творится за кругом его непосредственных забот, а из-за того, что родители его были не из тех, кто делится своими заботами с маленькими детьми, ему никак и не удалось подготовиться к тому бедствию, что обрушилось 3 ноября 1954 года, изгнало его из детского Рая и превратило его жизнь в совершенно иную жизнь.

Среди многого прочего, о чем Фергусон ничего не знал до того рокового мгновения, было следующее:

1) Сила скорби Лью и Милли из-за смерти их сына в сочетании с тем, что себя они считали скверными родителями, раз вырастили, по их мнению, *ущербную личность*, ребенка-правонарушителя без совести или нравственного фундамента, кто смеялся над правилами и авторитетами, больше всего на свете любил бедокурить, когда б ни выпадал случай, вруна, мазурика до мозга костей, человека непутевого, и Лью с Милли мучали себя этой неудачей, не понимая, то ли они на него слишком давили, то ли недостаточно закручивали гайки, спрашивая себя, что можно было бы сделать иначе, чтоб он не стал угонять ту машину, которая и оказалась ему смертным приговором, и как не на месте у

них была душа, когда они поддержали его в решении идти в армию, что, по их мысли, помогло бы наставить его на путь истинный, но в итоге запихнуло в деревянном ящике на шесть футов под землю, а стало быть — они ответственны и за его смерть, не только за его неугомонную, сердитую, растраченную впустую жизнь, но и смерть на той обледенелой вершине горы в богом забытой Корее.

2) У Лью и Милли имелся вкус к алкоголю. Они были из тех семейных пар, что пьют для потехи и из побуждения, парочка эта выпить любила и пила беззаботно — эдакие театральные чаровники, когда уровень смазки не превышает их возможностей, а те были значительны, но, как ни странно, из них двоих, казалось, лучше держит выпивку худая как щепка Милли, она вообще едва ли когда-нибудь покачивалась или говорила невнятно, а вот ее супруг, кто был гораздо крупнее, иногда вываливался за борт, и еще до смерти Эндрю Фергусон мог припомнить те разы, когда видел, как его дядя отключался на кушетке и храпел посреди громкой семейной вечеринки, все считали очень смешным, когда такое случалось, но вот теперь, уже после этой смерти, пьянство Лью усилилось, пил он теперь не только

на вечеринках, коктейлях и после ужина на сон грядущий, а надирался в обед средь бела дня и втайне потягивал из фляжки, которую носил во внутреннем кармане пиджака, что, без сомнений, помогало ему притупить боль, что грызла его измученное совестью, истерзанное сердце, да вот только пьянство начало влиять на его работу в магазине — иногда он нес бессвязную околесицу, разговаривая с покупателями о сравнительных достоинствах стиральных машинок «Вирпул» и «Майтаг», и даже если не бывал он невнятен, то случалось ему бывать раздражительным, а когда он раздражался, ему часто доставляло удовольствие оскорблять людей, что, конечно, никак не годилось для работы в «Домашнем мире 3 братьев», и потому приходилось вмешиваться отцу Фергусона, отволакивать Лью от оскорбленного покупателя и велеть ему идти домой проспаться.

3) Известный факт — склонность Лью к азартной игре. Если б не работа Милли — она была закупщицей в универсальном магазине «Бамбергерс» в центре Ньюарка, — семья бы давно уже обанкротилась, поскольку почти все, что Лью зарабатывал в «Домашнем мире 3 братьев», скорее оказывалось в кармане его букмекера. Теперь же, когда его пьянство начало выходить

из берегов, то же стало случаться и с его ставками на неравные шансы — это мечта спекулянта, добыча, какая попадается раз в жизнь, из тех, о каких легендарные игроки потом разговаривают десятки лет, — и чем сумасброднее становились его догадки, тем стремительнее росли проигрыши. К августу 1954-го он уже был на тридцать шесть тысяч долларов в долгу, и Айра Бернштейн, человек, управлявший его ставками последний десяток лет, уже начинал терять терпение. Лью требовалась наличка, десять-двенадцать тысяч, никак не меньше, солидный кус в доказательство его добрых намерений, иначе в гости к нему зайдут мальчики с бейсбольными битами и латунными кастетами, а поскольку денег у Станли попросить он не мог, зная, что его младший братишка не шутил, когда поклялся больше никогда из каких бы то ни было передряг Лью не вытаскивать, и он у Станли украл: приостановил платеж по чеку от «Дж. Э.»[6], поставщика «Домашнего мира 3 братьев», и перевел сумму себе. Он знал, что рано или поздно его уличат, но расхождение вылезет далеко не сразу, поскольку перевод средств за товары между магазином и его постав-

[6] Сноски: 6
«Дженерал Электрик».

щиками осуществлялся на взаимном доверии, и бухгалтерия отставала на много месяцев от действительных сделок, а месяцы эти как раз и дадут ему время, необходимое для того, чтобы он все исправил. В конце сентября дяде Фергусона представилась возможность. Это означало приостановить еще один платеж, но, если все выйдет удачно, растраченные девять тысяч долларов превратятся в добычу в десять раз больше этой суммы, а этого больше чем хватит на покрытие двух остановленных платежей, выплату полного долга Бернштейну, да и ему самому перепадет недурная кучка. Скоро начинался Чемпионат США, и в нем на «Индейцев» смотрели намного благосклоннее, чем на «Гигантов», — настолько, что ставить на Кливленд едва ли вообще стоило, но тут Лью подумал: если «Индейцы» — такой сильный клуб, что́ им не даст выиграть четыре раза подряд? Шансы в такой ставке были гораздо привлекательней. Десять к одному на все матчи, в то время как ставить деньги на Кливленд по матчу за раз принесет ему сущие гроши. И Лью нашел себе другого букмекера, то есть того, чья фамилия не была Бернштейн, и поставил девять тысяч двести долларов, которые украл у своего брата, на «Индейцев» — на то, что они закроют

всю таблицу без единого проигрыша «Гигантам». Никто не знал, где дядя Фергусона смотрел первую игру, но когда Станли, Арнольд и остальной персонал «Домашнего мира 3 братьев» сгрудились вокруг телеприемников в торговом зале следить за ходом игры вместе с пятью или шестью десятками зашедших покупателей, которые и покупателями-то настоящими не были, просто болельщики «Гигантов», у кого не имелось своих телевизоров, Лью выскользнул смотреть игру в одиночестве, вероятно — в местный бар или еще какое место, в неведомую точку, где никто не видел, как он пережил тот ужас, когда Мейс сбил флайбол Верца в конце восьмого иннинга, а затем, что еще ужаснее, тот душераздирающий разгром, что последовал несколько минут спустя, когда он увидел, как Родс обернулся на подачу Лемона и отправил мяч на трибуны правого поля. Один замах битой — и чья-то чужая жизнь погублена.

4) В середине октября поставщик «Дж. Э.» уведомил Станли, что у них не зафиксирован платеж за фуру морозилок, кондиционеров, вентиляторов и холодильников, поставленных еще в начале августа. Недоумевая, Станли отправился к бухгалтеру «3 братьев» Адели Розен, пухлой вдове пятиде-

сяти шести лет, державшей в прическе желтый карандаш и верившей в добродетельность аккуратного почерка и строго выровненных столбцов, и как только Станли объяснил ей загвоздку, миссис Розен вынула из ящика своего письменного стола чековую книжку компании и нашла корешок от десятого августа, который доказывал, что платеж был произведен в полном объеме за сумму их задолженности, $14 237,16. Станли пожал плечами. Должно быть, чек затерялся в почте, сказал он, а затем попросил миссис Розен остановить платеж по августовскому чеку и выписать новый на поставщика «Дж. Э.». На следующий день глубоко озадаченная миссис Розен сообщила Станли, что тот платеж уже был остановлен еще одиннадцатого августа. Что это может значить? На кратчайшее из кратких мгновений Станли задумался, не предала ли его миссис Розен, не виновна ли эта верная доселе сотрудница, которая, как было широко известно, втайне влюблена в него последние одиннадцать лет, в подделке бухгалтерских книг, но затем он взглянул в обеспокоенные, обожающие глаза миссис Розен и выбросил такую чепуху из головы. Он вызвал Арнольда в задний кабинет и спросил у него, что ему известно о пропавших четырна-

дцати тысячах долларов, но Арнольд, на вид не менее потрясенный и смущенный, чем миссис Розен перед той же загадкой, ответил, что даже вообразить себе не может, что тут происходит, и Станли ему поверил. Затем он вызвал Лью. Самый старший член клана поначалу все отрицал, но Станли не понравилось, как его брат отводит взгляд в стену у него за плечом, пока они разговаривают, поэтому он давил дальше, допрашивал Лью об остановке платежа по августовскому чеку, утверждал, что сделать это мог только он, единственный возможный кандидат, поскольку миссис Розен вне подозрений, равно как Арнольд и он сам, поэтому наверняка это мог быть только Лью, а потом Станли принялся углубляться в вопросы недавней игроцкой деятельности брата, сколько именно он ставил, общий объем его потерь, какие бейсбольные матчи, какие футбольные матчи, какие боксерские поединки, и чем сильней Станли давил, тем больше тело Лью, казалось, слабло, как если бы они вдвоем молотили друг друга на ринге, и каждое слово было следующим ударом, кулаком под дых, в голову — и мало-помалу Лью начал пошатываться, словно у него сейчас подогнутся колени, как вдруг он уже сидел на стуле, спрятав лицо в ладони, рыдая

и выдавливая из себя отрывистое, еле слышное признание. Станли ужаснулся тому, что услышал, ибо, вообще говоря, Лью нимало не сожалел о том, что натворил, а если и сожалел о чем-либо, то лишь о том, что план его не сработал, его прекрасный, безупречный план: «Индейцы» подвели его и проиграли первый матч Чемпионата, и ебать Вилли Мейса, сказал он, ебать Дасти Родса, и тут Станли наконец-то понял, что брат его совсем безнадежен, что взрослому человеку тыкать пальцем в двух игроков с мячом и считать, будто они виноваты в его неприятностях, — это значит, что ум у него не сложней, чем у ребенка, ребенка притом недоразвитого, кого-то, кто так же убог и неполноценен, как собственный сын Лью, покойный и похороненный рядовой Эндрю Фергусон. Станли подмывало велеть брату убираться из его магазина и больше сюда не возвращаться, но так поступить он не мог, это было бы слишком внезапно, чересчур сурово, и пока он размышлял, что ему делать дальше, зная, что не может ничего сказать, пока гнев его несколько не уляжется, хотя бы, до того уровня, на каком он не пожалеет о сказанных словах, — Лью заговорил снова, а сообщал он Станли, что они все в этом по самую шею и что магазину конец. Отец Фергусона понятия не

имел, о чем толкует Лью, поэтому он еще немного придержал язык, начиная уже ощущать, что брат его вообще-то лишился рассудка, и тут Лью заговорил о Бернштейне и о том, сколько он ему должен денег, уже больше двадцати пяти тысяч, но это лишь верхушка айсберга, ибо Бернштейн уже начал считать ему проценты, и каждый день сумма растет, выше, выше и выше, и за последние две недели уже раздалось с полдюжины телефонных звонков, голос на том конце провода угрожал ему, что, если он не заплатит, что должен, будут мучительные последствия, которые поочередно означали, что бригада людей накинется на него в темноте и переломает все кости в его теле, или же ослепит его кислотой, или же Милли порежут лицо, или же похитят Алису, или же убьют как Милли, так и Алису, и ему страшно, сказал брату Лью, так страшно, что он больше не может спать, и как ему собрать столько средств, когда дом его уже дважды заложен, а сам он занял у магазина двадцать три тысячи долларов? Теперь у Станли колени начали подкашиваться, закружилась голова, и он потерялся, стал сам не свой, его больше не облекала его собственная кожа, поэтому он сел в кресло по другую сторону стола напротив Лью, не понимая, как четырнадцать тысяч дол-

ларов вдруг превратились в двадцать три тысячи долларов, и пока два брата глядели друг на друга через серый металлический стол, Лью сообщил Станли, что Бернштейн выдвинул предложение, и, с его точки зрения, это единственный выход из всего этого, единственное возможное решение, и нравится оно Станли или нет, это нужно сделать. Ты это о чем? — спросил Станли, открыв рот впервые за последние семь минут. Они сожгут нам магазин, сказал Лью, и как только мы получим страховку, все заберут свою долю. Станли ничего не ответил. Ничего не ответил он потому, что вынужден был ничего не говорить, поскольку единственная мысль у него в голове в тот миг — до чего сильно ему хочется убить своего брата, а если бы он когда-либо осмелился произнести слова эти вслух, сообщить Лью, как ему хочется стиснуть ему руками горло и придушить до смерти, мать проклянет его из могилы и будет мучить его всю оставшуюся жизнь. Наконец Станли встал с кресла и пошел к двери, а как только открыл дверь — остановился на пороге и сказал: Я тебе не верю. После чего вышел из кабинета, а за спиной услышал голос брата, Лью сказал: Поверь мне, Станли. Это нужно сделать.

5) Первым порывом Станли было поговорить с

Розой, облегчить душу перед женой и попросить ее помощи в том, чтобы остановить Лью, но вновь и вновь он мучительно пытался вытолкнуть слова изо рта — и вновь и вновь ему это не удавалось, всякий раз он в последнюю минуту отступал, не мог вынести мысли о том, что придется выслушать все, что она ему скажет, все, что, знал он, она ему скажет. Он не мог обратиться в полицию. Пока никакого преступления не совершено, а что за человек станет обвинять своего брата в том, что тот замышляет возможное преступление, когда у него нет веских улик, какими можно подтвердить доказательство сговора? С другой стороны, даже если Бернштейн и его брат в итоге все равно это совершат, достанет ли ему присутствия духа все же пойти в полицию, чтобы его брата арестовали? Лью грозит опасность. Его могли ослепить, убить его жену и дочь, и если Станли сейчас выступит, он будет нести ответственность за такое увечье, за те смерти, а это означает, что и он тоже в этом участвует, невольным пособником заговора, вопреки себе, и если что-то пойдет не так, и Бернштейна и Лью поймают, он не сомневался, что брат его, не задумываясь, назовет его сообщником. Да, он презирал Лью, его тошнило от одной мысли о брате, однако до чего

же глубоко презирал он и себя за то, что ощущает эту ненависть — она греховна и уродлива и лишь еще больше увеличивает его неспособность действовать, ибо, оказавшись не в силах поговорить с Розой, он понимал, что выбрал не настоящее, а прошлое, отрекся от своего места мужа и отца, чтобы вернуться в темный мир сына и брата, то место, где ему больше не хотелось находиться, но сбежать оттуда он не мог, его снова всасывало туда, и следующие две недели он ходил в одержимом состоянии ужаса и ярости, отгородившись от всех стеной нерушимого безмолвия, кипя от раздражения, не понимая, когда же наконец бомба у него в голове взорвется.

6) Насколько он понимал, другого выхода не было, только подыграть — или сделать вид, будто подыгрываешь. Ему нужно было знать, что планируют Бернштейн и компания, быть в курсе деталей, а чтобы все это узнать, требовалось облапошить Лью так, чтобы тот думал, будто они заодно, поэтому наутро, всего через сутки после их последней беседы, того жуткого диалога, что завершился на словах *Это нужно сделать*, Станли сообщил Лью, что он передумал, что вопреки его здравому смыслу и с бесконечным отвращением на душе он понимает, что другого

выхода действительно нет. Ложь эта произвела желаемое действие. Считая, будто Станли теперь в игре, благодарный, дрожащий, почти совсем расклеившийся Лью начал относиться к брату как драгоценному своему союзнику и самому надежному наперснику — и ни разу не заподозрил, что Станли выступает как двойной агент, чье единственное намерение — погубить все дело и не дать пожару случиться.

7) Задействованы будут двое, сообщил ему Лью, — матерый поджигатель без судимостей в паре с караульщиком, а дело назначено на следующий вторник, ночь со второго ноября на третье, если та по прогнозам погоды будет сухой и без дождя. Задачей Лью будет отключить сигнализацию и выдать этим людям ключи от магазина. Ночь он проведет дома — и Станли он рекомендовал сделать то же самое, но у Станли на эту ночь были другие планы — или единственный план, а именно: засесть в неосвещенном магазине и прогнать поджигателя, пока тот не успел сделать свое дело. Станли желал знать, будет ли у людей оружие, но тут Лью был не уверен, Бернштейн пренебрег обсуждать с ним этот вопрос, но какая разница, спросил он, чего волноваться из-за того, что их не касается? Потому что кто-то может

выбрать неудачный момент и пройти мимо магазина, сказал Станли, полицейский, мужчина, выгуливающий собачку, женщина, возвращающаяся домой с вечеринки, а ему не хочется, чтобы кто-то пострадал. Сжигать предприятие из-за трехсот тысяч долларов страховки само по себе скверно, но если в процессе случайно подстрелят и убьют какого-нибудь невинного прохожего, они могут отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Об этом Лью не подумал. Может, следует обсудить это с Бернштейном, сказал он, но Станли ответил, что не стоит беспокоиться, поскольку люди Бернштейна все равно поступят, как им заблагорассудится, вне зависимости от того, чего захочет Лью. На том их дебаты и завершились, и когда Станли отходил от своего брата прочь и спускался в торговый зал, он осознал, что вопрос, будет оружие или нет, — великая неизвестная переменная, единственный фактор, который способен разрушить его план. Ему есть смысл купить до вторника пистолет, сказал себе он, но что-то в нем противилось этому замыслу, всю жизнь он терпеть не мог оружие — настолько, что и не стрелял-то никогда, даже не прикасался. Отца его убили из оружия, и что толку ему было иметь при себе револьвер в том чикагском складе тридцать

один год назад, его все равно подстрелили, убили, хоть в правой руке он держал тридцать восьмой калибр, из которого так и не выстрелил, и кто знает, не убили ли его как раз из-за того, что он первым потянулся к револьверу, и у его убийцы не осталось другого выбора, только выстрелить в него, чтобы спасти собственную жизнь? Нет, оружие — дело сложное, и как только направишь его на кого-нибудь, особенно — на кого-нибудь со своим собственным оружием, как раз та защита, на какую рассчитываешь для себя, может запросто превратить в труп тебя самого. А кроме того, человек, которого Бернштейн откопал, чтобы тот спалил «Домашний мир 3 братьев», был не наемным убийцей, а поджигателем, бывшим пожарником, по словам Лью, и притом хорошим, человек этот некогда зарабатывал себе на жизнь тем, что тушил пожары, а теперь вот сам их устраивает для удовольствия и к собственной выгоде, а зачем такому человеку для этого оружие? Караульщик — другое дело, несомненно, это будет какой-нибудь ражий громила, который явится в магазин вооруженным до зубов, но Станли прикидывал, что он-то скорее будет ждать снаружи, пока бывший пожарник занимается своим делом, а поскольку сам Станли уже будет внут-

ри к тому времени, как эта парочка возникнет, он и заключил, что оружие будет лишним. Это не означало, что он туда отправится с пустыми руками, бейсбольная бита послужит ему так же неплохо, думал он, тридцатишестидюймовая «луисвилльская дубина» отпугнет поджигателя так же действенно, как пистолет тридцать второго калибра, а с учетом умонастроений Станли за две недели до второго ноября, с учетом демонического, полубезумного, выходившего из-под контроля рева мыслей, что неистовствовал у него в голове с того самого утра, когда Лью ему во всем признался, мысль о бейсбольной бите он считал глубоко и извращенно потешной, такой смешной, что он даже хохотнул вслух, когда мысль эта пришла ему в голову, кратко тявкнул хохотком, который поднялся со дна легких и вырвался вон, словно залп картечи, отскочившей от стены, ибо вся эта отвратительная комедия с бейсбольной биты и началась — с той, что была у Дасти Родса на стадионе «Поло-Граундс» двадцать девятого сентября, а как еще лучше завершить этот фарс — только раздобыть другую биту и пригрозить раскокать голову тому, кто захочет сжечь его магазин?

8) Днем второго Станли позвонил Розе и сказал, что ужинать домой вечером не вернется.

Будет допоздна работать с Аделью, сказал он, проверять бухгалтерские книги перед аудитом, назначенным на пятницу, и есть все шансы, что засидятся они за полночь, поэтому пускай Роза его не ждет. По вторникам магазин закрывался в пять, и к половине шестого все, кроме Станли, уже ушли: Арнольд, миссис Розен, Эд и Фил, Чарли Сайкс, Боб Докинс, а Лью не было совсем — в то утро он слишком испугался идти на работу и просидел весь день дома с придуманной лихорадкой. Люди Бернштейна явятся только в час-два ночи, и в те несколько предстоящих пустых часов Станли решил сходить поужинать, побаловать себя визитом в любимый ньюаркский ресторан «У Мойше», который специализировался на восточноевропейской еврейской кухне — той же еде, которую в старину Станли готовила мать: отварная говядина с хреном, картофельные пирожки, гефильте-фиш и суп с кнедликами, крестьянские лакомства иной эпохи, иного мира, и стоило Станли только войти в обеденную залу у Мойше, как он оказывался отброшенным в свое исчезнувшее детство, ибо сам этот ресторан был отбросом, обветшалое, неизящное место с дешевыми, закатанными в целлофан скатертями и пыльными светильни-

ками, свисавшими с потолка, но каждый столик там был украшен синеватой или зеленоватой бутылкой сельтерской, от вида которых в нем почему-то всегда неизменно возникал маленький прилив счастья, а когда он слышал сварливых, невоспитанных официантов, говоривших так, что в их голосах слышался идиш, ему становилось еще и утешительно, хоть он с большим трудом был бы способен объяснить почему. И вот Станли ужинал в тот вечер кушаньями своей юности, начав с борща с плюхой сметаны, за ним тарелка маринованной селедки, а потом главное блюдо — стейк из пашины (прожаренный) с огурцами и картофельными оладьями на гарнир, и, прыская струйки сельтерской себе в прозрачный граненый стакан и уминая трапезу, он думал о своих покойных родителях и двух невозможных братьях, которые за эти годы причинили ему столько душевной боли, а еще о своей прекрасной Розе, человеке, которого любил он больше всех, но все же недостаточно, никогда не бывало этой любви достаточно — факт этот он осознавал теперь уже какое-то время, и мучительно ему было признавать, что есть в нем некая преграда, что-то подавленное, какой-то недостаток во всей его натуре, что не позволял ему давать ей столько

себя, сколько она заслуживала, а потом еще есть маленький мальчик, Арчи, это уж совсем загадка, несомненно, парнишка живой и смышленый, мальчишка развитее прочих мальчишек, но с самого начала он-то видел в нем маминого ребенка, так к ней привязанного, что Станли никогда не удавалось вклиниться, и после семи с половиной лет его по-прежнему ставила в тупик собственная неспособность прочитывать, о чем думает этот мальчик, хотя Роза, похоже, понимала это всегда, словно бы неким врожденным знанием, какой-то необъяснимой силой, что горела в женщинах, а мужчинам доставалась редко. Необычно было Станли задумываться о таком, вгонять свои мысли в себя самого и выискивать промахи и горести, драные нити залатанной жизни, но то был для него и миг необычный, и после двух долгих недель молчания и внутренних мытарств он выдохся, уже едва держался на ногах, а если и мог встать, то еле-еле получалось пройти по прямой, не теряя равновесия, и вот, расплатившись за ужин, пока ехал обратно в «Домашний мир 3 братьев», он раздумывал, имеет ли его план вообще какой-то смысл, не обманывает ли он сам себя, думая, будто тот осуществится просто потому, что сам он прав, а Лью и прочие — нет, и если это так,

то, может, ему просто следует сейчас ехать дальше домой, а магазин пускай себе сгорает дотла.

9) В магазин он вернулся в самом начале девятого. Все темно, все тихо — ночное ничто немых телевизоров и дремлющих «Фригидаров», кладбище теней. Он почти не сомневался, что потом пожалеет о том, что делает сейчас, что все его расчеты непременно окажутся неверными, но других соображений у него не было, и уже слишком поздно придумывать что-то еще. Дело это он начал в восемнадцать лет, и за последний двадцать один год оно стало всей его жизнью, одной-единственной, поэтому он не мог позволить Лью и его банде жуликов просто взять его и уничтожить, потому что место это — не только дело, это жизнь человеческая, и жизнь этого человека — магазин, магазин и человек едины, и если они подожгут магазин, то подожгут они при этом и человека. Начало девятого. Сколько еще часов? По крайней мере, четыре — а то и все пять-шесть, ему долго тут сидеть и ничего не делать, ждать в непроглядно-черном помещении, когда появится человек с канистрами бензина и книжкой убийственных спичек, но выбора нет — только ждать тут, молча и надеясь, что бейсбольная бита крепка так же, какой выгля-

дит. Он устроился в кресле в задней комнатке, в кресле миссис Розен, стоявшем в дальнем углу за письменным столом, откуда лучше всего был обзор через узкое прямоугольное окно, встроенное в стену между кабинетом и торговым залом, и оттуда, где сидел он, открывался вид на главный вход — ну, или он мог бы его видеть, если бы весь магазин не был погружен в совершенную тьму, но у человека с бензином наверняка при себе будет фонарик в кармане, и едва Станли заслышит, как открывается главная дверь, тут же зажжется свет, пусть всего на секунду-две, и он тогда поймет, где именно стоит этот человек. Сразу же вслед за этим: включить верхний свет, выскочить из заднего кабинета, стискивая биту в поднятой руке, закричать во весь голос и приказать человеку выметаться вон. Таков был план. Скрести пальцы, Станли, сказал он самому себе, а если удача от тебя отвернется — перекрестись и чтоб тебе провалиться. Меж тем он и дальше сидел в кресле миссис Розен, установленном на колесики, оно могло вертеться из стороны в сторону и наклоняться взад и вперед, обычное конторское кресло, в таком удобно сидеть недолго, но едва ли это хорошее место на подольше, а дольше — это четыре или пять часов, какие ему еще предстоят,

однако же чем неудобнее, тем лучше, рассудил Станли, поскольку ощущение легкого неудобства поможет ему не терять бдительности. Ну или он так считал, но, пока сидел там за серым металлическим столом, покачиваясь взад и вперед в кресле миссис Розен, убеждая себя, что это худшее время всей его жизни, что никогда не бывал он несчастнее или никогда не было ему более одиноко, чем сейчас, что даже если и удастся ему пережить эту ночь в целости и сохранности, все прочее в этой жизни будет разбито, размолото в прах предательством Лью, и после этой ночи ничего уже не останется прежним, ибо теперь, раз сам он Лью предает, Бернштейн прибегнет к прежним своим угрозам, а это снова подвергнет опасности Лью и Милли, и если с ними что-то случится, виноват в этом будет Станли, ему придется с этим жить и умереть, однако ну как же может он не делать того, что делает, как может позволить себе впутаться в мошенничество со страховкой и подвергнуться риску сесть в тюрьму, нет, он не может дать им сжечь магазин, их нужно остановить, и вот пока Станли обо всем этом думал — о том же, о чем он все думал и думал две последние недели, — он понял, что больше уже нет у него сил, он подступил к пределу того, что для него

возможно, он вымотан, устал выше всякой меры, так устал, что больше не в силах оставаться в этом мире, и веки его помаленьку начали смыкаться, а совсем скоро он перестал даже стараться держать глаза открытыми и уронил голову на скрещенные руки, лежавшие перед ним на столе, и две или три минуты спустя уже спал.

10) Он проспал взлом и последовавшее за ним обливание магазина двенадцатью галлонами бензина, а поскольку человек, пришедший на это дело, понятия не имел, что Станли спит в заднем кабинете, то и чиркнул спичкой, поджегшей «Домашний мир 3 братьев», без всякого зазрения совести, зная, что он всего-навсего совершает поджог, и не ведая, что впоследствии обвинят его еще и в непредумышленном убийстве. Что же касается отца Фергусона, то с ним все пропало, безвозвратно. Когда открыл глаза, он уже был полубессознателен, не в силах шевельнуться из-за огромных клубов дыма, которыми уже надышался, и пока он пытался с трудом приподнять голову и вдохнуть хоть немного воздуха обожженными легкими, пламя прожгло насквозь дверь заднего кабинета, и как только оказалось в комнате — тут же кинулось к столу, за которым сидел Станли, и пожрало его живьем.

Всего этого Фергусон не знал, знать этого он и не мог в то двухлетие, что отделяло гибель его двоюродного брата в Корейской войне от гибели отца в ньюаркском пожаре. К весне следующего года его дядя Лью уже сидел в тюрьме вместе с бензиновым человеком Эдди Шульцем, его подельником-караульщиком Джорджем Ионелло и руководителем всей операции Айрой Бернштейном, но к тому времени Фергусон и его мать уже уехали из предместий Нью-Джерси и жили в Нью-Йорке — занимали четырехкомнатную квартиру на Западной Центрального парка между Восемьдесят третьей и Восемьдесят четвертой улицами. Фотографическое ателье в Миллбурне продали, а поскольку отцов полис страхования жизни предоставил его матери двести тысяч не облагаемых налогом долларов, никаких финансовых тягот не было, а это означало, что даже после смерти преданный, практичный, неизменно ответственный Станли Фергусон продолжал их поддерживать.

Поначалу шок третьего ноября с его зрелищем материных слез, натиск напряженных, удушливых объятий, ее задышливо рыдавшее, содрогавшееся тело, что прижималось к Фергусону, а затем, несколько часов спустя — приезд деда

с бабушкой из Нью-Йорка, а еще через день — появление тети Мильдред и ее мужа Пола Сандлера, и все это время — приходы и уходы бессчетных Фергусонов, две плачущие тетки, Милли и Джоан, дядя Арнольд с каменным лицом и даже вероломный, еще не разоблаченный дядя Лью, столько шума и кутерьмы, дом, в котором слишком много людей, а Фергусон сидел в уголке и наблюдал, не зная, что говорить или думать, все еще слишком ошеломленный, чтобы плакать. Непредставимо, что отец его умер. Лишь накануне утром он был жив, сидел за завтраком с номером «Ньюарк Стар-Леджер» в руках, говоря Фергусону, что день предстоит холодный, поэтому пускай не забудет надеть в школу шарф, и не было никакого смысла в том, что эти слова стали последними, какие его отец ему когда-либо скажет. Шли дни. Он стоял под дождем рядом с матерью, когда его отца опускали в землю, а ребе нараспев тянул на непонятном иврите что-то погребальное, такие ужасные на слух слова, что Фергусону хотелось заткнуть уши, а еще через два дня он вернулся в школу, к жирной миссис Костелло и своему второму классу, но все, казалось, его чурались, им теперь чересчур неловко было с ним заговаривать, как будто лоб ему проштамповали косым

крестом, чтоб никто не подходил, и хотя миссис Костелло любезно предложила ему пропускать групповые занятия, а просто сидеть за партой и читать книжки, какие захочется, от этого почему-то было только хуже, поскольку оказалось трудным не отвлекаться от книжек, которые обычно приносили столько удовольствия, ведь мысли его неизменно отплывали от слов на странице к его отцу, не тому отцу, которого похоронили в земле, а тому, кто отправился на небеса, если такое место, как небеса, вообще существует, и если отец его действительно там, то может ли так случиться, что он сейчас смотрит сверху вниз на него, наблюдает, как он сидит у себя за партой и делает вид, будто читает? Славно было б так думать, говорил себе Фергусон, но в то же время какой в этом толк? Отец был бы рад его видеть, да, от чего, вероятно, сам факт его смерти стал бы чуточку не таким невыносимым, но как оно могло бы помочь Фергусону стать видимым, если ему самому не видно того, кто на него смотрит? Больше всего хотелось ему услышать, как его отец говорит. Вот чего не хватало ему больше всего прочего, и хотя его отец человеком был немногословным, умелым в искусстве давать краткие ответы на длинные вопросы, Фергусону всегда

нравился звук его голоса, голоса мелодичного, мягкого, и мысль о том, что он его никогда больше не услышит, наполняла Фергусона громадной печалью, скорбью до того глубокой и настолько широкой, что в ней бы поместился Тихий океан — крупнейший океан на свете. *Сегодня будет холодно, Арчи. Не забудь надеть в школу шарф.*

Мир больше не был настоящим. Все в нем стало подложной копией того, чем ему следовало быть, и все, что в нем случилось, происходить было не должно. Еще долго потом Фергусон жил под чарами этой иллюзии, сомнамбулой перемещался днем и с трудом засыпал по ночам, его тошнило от мира, в который он перестал верить, он сомневался во всем, что представало его глазам. Миссис Костелло просила его не отвлекаться, но теперь ему уже не требовалось ее слушать, поскольку была она всего-навсего актрисой, изображавшей его учительницу, и когда его друг Джефф Бальсони принес необычайную, непрошеную жертву — подарил Фергусону свою карточку с бейсболистом Тедом Вильямсом, редчайшую во всей коллекции «Топпс», — Фергусон сказал ему спасибо за подарок, сунул карточку в карман, а дома ее порвал. Теперь такое можно было делать. До третьего ноября это было бы для него непред-

ставимо, но мир ненастоящий гораздо больше настоящего, и в нем больше чем достаточно места для того, чтоб быть там собой и не собой в одно и то же время.

Если верить тому, что потом рассказала ему мать, она не собиралась так быстро уезжать из Нью-Джерси, но тут разразился скандал, и вдруг не осталось другого выхода — только убраться оттуда. За одиннадцать дней до Рождества ньюаркская полиция объявила, что они распутали дело «Домашнего мира 3 братьев», и на следующее утро некрасивые подробности уже выплеснулись на первые полосы газет по всему Эссексу и Союзным округам. Братоубийство. Арестован Игровой Авторитет. Бывший Пожарный Оказался Поджигателем, Задержан Без Возможности Поручительства. Луису Фергусону Предъявлены Множественные Обвинения. В тот день мать не пустила его в школу, а потом и на следующий день, и на следующий, и все дни, пока школа не закрылась на рождественские каникулы, он просидел дома. Это ради твоего же блага, Арчи, сказала она, а поскольку ему было глубоко безразлично, что он не ходит в школу, он и не побеспокоился уточнять у нее, почему именно. Гораздо позже, когда он достаточно подрос,

чтобы ухватить весь ужас слова *братоубийство*, понял он, что она пыталась его уберечь от дурных слухов, ходивших по городку, ибо фамилия его теперь пользовалась дурной славой, и быть Фергусоном означало, что ты принадлежишь к семье, которая проклята. Поэтому вскоростивосьмилетний Фергусон сидел дома с бабушкой, пока его мать занималась делами — выставляла семейное гнездо на продажу и искала фотографа, который мог бы купить у нее ателье, а поскольку газетчики не переставали звонить, просить, умолять и давить на нее, чтобы она открылась и дала им *историю со своей стороны*, якобитскую драму, ныне известную как «Дело Фергусонов», мать его решила, что с нее хватит, и через два дня после Рождества сложила несколько чемоданов, погрузила их в багажник своего синего «шеви», и они втроем поехали в Нью-Йорк.

Следующие два месяца они с матерью жили в квартире деда с бабушкой, на Западной Пятьдесят восьмой улице, мать — в своей прежней спальне, которую некогда делила с сестрой Мильдред, а Фергусон расположился по-походному, на маленькой раскладушке в гостиной. Самым интересным в таком временном обустройстве было то, что ему не нужно было ходить в школу — нежда-

ное освобождение, вызванное отсутствием у них постоянного адреса, и, пока они не найдут себе своего жилья, он будет свободным человеком. Тетя Мильдред возражала против того, что он не ходит в школу, но мать Фергусона спокойно от нее отмахнулась. Не беспокойся, сказала она. Арчи мальчик смышленый, и немного отдохнуть ему не повредит. Как только поймем, где мы живем, начнем подыскивать ему школу. Не все сразу, Мильдред.

Странное, в общем, то было время, не связанное ни с чем, что он знал в прошлом, совершенно отдельное от того, каким все станет для него после того, как они въедут в свою квартиру, *занятное междуцарствие*, как выразился его дед, краткий промежуток полого времени, в который всякий момент бодрствования он проводил с матерью, два битых жизнью товарища, что носились взад и вперед по всему Вест-Сайду, вместе смотря разные квартиры, совещаясь о плюсах и минусах каждого места, взаимно решив, что та, которая на Западной Центрального парка, для них была бы в самый раз, и тут — удивительное объявление его матери, что дом в Миллбурне продается вместе с мебелью, со всей мебелью, и они начнут заново с нуля, они вдвоем, и больше никого, поэтому

после того, как нашли себе квартиру, целыми днями они покупали мебель, рассматривали кровати, столы, торшеры и коврики, не покупали ничего, если оба на этом не соглашались, а однажды днем, когда они приценивались к стульям и диванам в «Мейси», продавец в галстуке-бабочке перевел взгляд вниз на Фергусона и сказал его матери: Почему этот маленький мальчик не в школе? — на что мать его ответила, жестко глядя в лицо этому любопытному человеку: *Не ваше дело*. То был лучший миг тех странных двух месяцев, или один из лучших, незабываем из-за того внезапного счастья, какое забурлило в нем, когда его мать произнесла эти слова, ему стало счастливей, чем когда бы то ни было за много недель, из-за того ощущенья единства, какое подразумевали эти слова, они вдвоем против всего остального мира, с трудом заново собирают себя воедино, и *не ваше дело* стало для них девизом этих совместных усилий, знаком того, насколько они теперь друг на друга полагались. После поисков мебели они шли в кино, на пару часов сбегая от холодных зимних улиц в темноту, смотрели все, что бы ни показывали, всегда на балконе, потому что мать могла там курить «Честерфильды», один «Честерфильд» за другим, пока они

высиживали фильмы с Аланом Ладдом, Мерилин Монро, Кирком Дугласом, Гари Купером, Грейс Келли и Вильямом Хольденом, вестерны, мюзиклы, научную фантастику, неважно, что в тот день показывали, они шли туда вслепую и надеялись на лучшее с «Боем барабанов», «Вера-Крусом», «Лучший бизнес — шоу-бизнес», «20 000 лье под водой», «Скверный день в Черной скале», «Мосты в Токо-Ри» и «Юных сердцем», а однажды, сразу перед тем, как эти странные два месяца подошли к концу, женщина в стеклянной будке, продававшая им билеты, спросила у его матери, почему маленький мальчик не в школе, и его мать ответила: *Не суйте нос, дама. Отдайте мне сдачу, и все*.

1.4

Сперва была квартира в Ньюарке, о которой он ничего не помнил, а потом — дом в Мапльвуде, который родители купили, когда ему исполнилось три, теперь же, шесть лет спустя, они переезжали снова, в дом гораздо больше, на другом краю города. Фергусон не мог этого понять. Дом, в котором они жили, был совершенно годным домом, более чем подходящим домом для семьи всего из трех человек, и чего это ради его родителям понадо-

билось столько хлопот, собирать все их вещи, чтобы переехать на такое небольшое расстояние — особенно если этого вовсе не требовалось? Смысл имело бы, переезжай они в другой город или другой штат, как это сделали дядя Лью и тетя Милли четыре года назад, или дядя Арнольд и тетя Джоан через год после них, когда тоже переселились в Калифорнию, но с чего бы им менять дома, когда они не переезжают в другой город?

Потому что им это по карману, сказала его мать. Дела у отца идут хорошо, и они теперь могут себе позволить жить на более широкую ногу. Слова *на широкую ногу* навели Фергусона на мысли о европейском дворце восемнадцатого века, мраморном зале, полном герцогов и герцогинь в белых напудренных париках, два десятка дам и господ, разодетых в пышные костюмы из шелка, стоят кучками с кружевными платочками в руках и посмеиваются шуточкам друг дружки. Затем он немного приукрасил сцену — попробовал вообразить в этой толпе своих родителей, но из-за костюмов они смотрелись нелепо, смехотворно, абсурдно. Он сказал: Только потому, что нам это по карману, вовсе не обязательно это покупать. Мне наш дом нравится, и я думаю, мы должны в нем остаться. Если у нас больше денег, чем нам

нужно, мы должны отдать их тому, кому они нужны больше, чем нам. Кому-нибудь голодающему, старому калеке, тому, у кого денег нет совсем. Тратить их все на себя неправильно. Это эгоизм.

Не будь таким трудным, Арчи, ответила мать. Твой отец работает больше прочих в этом городке. Он заслужил все пенни до единого, какие заработал, и если ему хочется немного похвастаться новым домом, это его дело.

Мне хвастуны не нравятся, сказал Фергусон. Так некрасиво себя вести.

Ну, нравится тебе это или нет, молодой человек, мы переезжаем, и я уверена, ты будешь доволен, когда мы обустроимся. Побольше комната, побольше задний двор и отделанный полуподвал. Туда мы поставим стол для пинг-понга, и тогда поглядим, сумеешь ты меня разбить или нет.

Но мы же и так играем в настольный теннис на заднем дворе.

Когда на улице не слишком холодно. И только подумай, Арчи, в новом доме нам не будет мешать ветер.

Он знал, что часть семейных денег его мать заработала фотографом-портретистом, но гораздо большая их доля, вообще-то почти все, появилась от предприятия его отца — сети из

трех магазинов бытовой техники под названием «Фергусонс» — один в Юнионе, другой в Вестфильде, а третий в Ливингстоне. Давным-давно был еще магазин в Ньюарке, который назывался «Домашним миром 3 братьев», но его больше не существовало, его продали, когда Фергусону было года три с половиной или четыре, и если бы не черно-белая фотография в рамке, висевшая на стенке в кабинете, моментальный снимок 1941 года, на котором его улыбающийся отец стоял между двух его улыбающихся дядьев перед «Домашним миром 3 братьев» в тот день, когда магазин открылся, все воспоминания о нем навсегда стерлись бы у Фергусона из памяти. Ему было непонятно, почему отец больше не работает со своими братьями, а превыше прочего еще была загадка похитрее: почему дядя Лью и дядя Арнольд оба уехали из Нью-Джерси *начать новую жизнь в Калифорнии* (по словам его отца). Шесть или семь месяцев назад, в приступе тоски по своей отсутствующей кузине Франси, он попросил мать объяснить ему, по какой причине они уехали так далеко, но та просто ответила: *Твой отец от них откупился* — так себе ответ, понять его Фергусон не смог. Теперь же, с этим неприятным развитием событий — новым домом

побольше, — Фергусон начал соображать в том, на что раньше не обращал особого внимания. Его отец был богат. У него имелось больше денег, чем он знал, как потратить, и судя по виду того, к чему все, казалось, шло, это могло означать, что с каждым днем он становится все богаче и богаче.

Это и хорошо, и плохо, рассудил Фергусон. Хорошо потому, что деньги — необходимое зло, как ему некогда сказала бабушка, а поскольку деньги нужны всем для того, чтобы жить, уж точно лучше иметь их в избытке, а не в недостатке. Вместе с тем, чтобы зарабатывать их в избытке, человек должен посвящать гонке за деньгами чрезмерное количество времени — гораздо больше, чем необходимо или разумно, как в случае с его отцом, который так прилежно работал, управляя своей империей магазинов бытовых приборов, что количество часов, которые он проводил дома, с каждым годом все уменьшалось, до того, что теперь Фергусон его почти не видел, поскольку отец завел привычку уезжать из дома в половине седьмого утра, в такую рань, что его неизбежно уже не оказывалось дома, когда Фергусон просыпался, а из-за того, что каждый магазин два дня в неделю работал допоздна, в понедельник и четверг в Юнионе, вторник и пятницу в Вест-

фильде, среду и субботу в Ливингстоне, бывало много вечеров, когда отцу не удавалось вернуться домой к ужину, а приезжал он в десять или половине одиннадцатого, когда Фергусон уже целый час как был уже в постели. Единственный день, когда он мог рассчитывать на встречу с отцом, значит, был воскресенье, но и по воскресеньям все бывало непросто: несколько часов поздним утром и ранним днем посвящались теннису, а это означало, что нужно тащиться следом за родителями на городские корты и ждать там, покуда мать и отец не сыграют вместе сет, и только после ему выпадала возможность погонять мячик с матерью, пока его отец играл свой еженедельный матч с Сэмом Бронштейном, своим приятелем по теннису еще с детства. Теннис Фергусон не презирал, он просто считал его скучным по сравнению с бейсболом и футболом — вот это были, с его точки зрения, лучшие игры, и даже пинг-понг побивал теннис, если речь о спорте, в котором есть сетки и прыгающие мячики, поэтому весной, летом и осенью плелся он на открытые корты всегда в смешанных чувствах, а каждую субботу, когда забирался вечером в постель, надеялся, что утром пойдет дождь.

Когда же дождя не было, следом за теннисом

совершались поездка в Саут-Оранж-Виллидж и обед у «Грунинга», где Фергусон поглощал недожаренный гамбургер и вазочку мятного мороженого с крошкой — долгожданное воскресное угощение, но не потому, что в «Грунинге» делали лучше гамбургеры на много миль окрест и готовили свое мороженое, а из-за того, что там так хорошо пахло, смесью теплого кофе и жарящегося мяса, а также сахаристым душком множества разнообразных десертов, такие хорошие запахи, что Фергусон растворялся в чем-то вроде исступленного наслаждения, вдыхая эти запахи в легкие, а затем, вернувшись в отцов двухцветный «ольдсмобиль»-седан (серый и белый), они ехали домой в Мапльвуд, освежиться и переодеться. В обычное воскресенье после такого случалась одна из четырех вещей. Они оставались дома и *возились*, как это называла его мать, а это обычно значило, что Фергусон ходил за отцом из комнаты в комнату, пока тот чинил то, что нуждалось в починке: сломанные смывы в туалетах, отошедшие электрические контакты, скрипучие двери, а мать сидела на диване и читала журнал «Лайф» либо спускалась к себе в подвальную лабораторию и проявляла снимки. Вторым вариантом был поход в кино — этим Фер-

гусон с матерью наслаждались больше прочих воскресных времяпрепровождений, но вот отец его часто с неохотой потакал их зрительскому рвению, поскольку кино его интересовало мало, как и прочие виды, как он их называл, *сидячих развлечений* (пьес, концертов, оперетт), как будто капкан кресла на пару часов и пассивное внимание ко *всякому глупому притворству* были для него одной из худших пыток в жизни, однако неизбежно побеждала в их споре мать, грозясь пойти туда без него, и потому трое Фергусонов снова забирались в машину и ехали смотреть последний вестерн с Джимми Стюартом или комедию с Мартином-и-Льюисом (уроженцем Ньюарка Джерри Льюисом!), и Фергусон никогда не уставал поражаться, до чего быстро отец его засыпал во тьме кинотеатра, забвенья окутывали его, еще когда по экрану катились начальные титры, голова откидывалась, губы размыкались, он тонул в глубочайшей дреме, пока грохотали пушки, вздымалась музыка, а на полу бились сотни тарелок. Поскольку Фергусон всегда сидел между родителями, он постукивал мать по руке всякий раз, когда отец так вот отплывал, и как только привлекал ее внимание — показывал на отца, дернув в его сторону большим

пальцем, словно бы говоря: Смотри, он опять за свое, — и тогда, в зависимости от настроения матери, она либо кивала и улыбалась, либо качала головой и хмурилась, иногда издавая краткий приглушенный хохоток, а иногда выдыхая бессловесное *ммммм*. К тому времени, как Фергусону исполнилось восемь, отцовы обмороки во тьме кинотеатра стали таким обычным явлением, что мать называла их воскресные выходы в кино *двухчасовым лечением отдыхом*. Больше не спрашивала она своего мужа, не хочет ли он сходить в кино. Вместо этого она ему говорила: *Как насчет пилюли снотворного, Станли, чтоб ты наконец выспался?* Фергусон обычно смеялся, когда она произносила эту реплику. Иногда отец смеялся с ним вместе, но по большей части — нет.

Если они не возились по дому и не ходили в кино, воскресные дни тратились на визиты к другим людям, или же другие люди приходили в гости к ним. Поскольку теперь остальные Фергусоны жили на другом краю страны, семейные сборища в Нью-Джерси больше не устраивались, но поблизости жили несколько друзей, то есть друзей родителей Фергусона, в особенности — детская подруга матери по Бруклину Ненси Соломон, она жила в Вест-Оранже и писа-

ла картины маслом для «Ателье Страны Роз», и отцов друг детства по Ньюарку Сэм Бронштейн, который жил в Мапльвуде и каждое воскресное утро играл с отцом в теннис, а днем по воскресеньям Фергусон и его родители иногда навещали Бронштейна и его жену Пегги, у которых было трое детей, девочка и два мальчика, все — старше Фергусона по крайней мере на четыре года, а иногда Бронштейны приходили к ним в дом, который скоро уже не будет их домом, а если не Бронштейны, то в гости приходили Соломоны, Ненси и ее муж Макс, у кого было два сына, Стиви и Ральф, оба младше Фергусона по крайней мере на три года, отчего все эти нью-джерсейские визиты туда-сюда с Бронштейнами и Соломонами были чем-то вроде испытания для Фергусона, кто был слишком взрослым, чтобы радоваться играм с детьми Соломонов, и слишком маленьким, чтобы радоваться играм с детьми Бронштейнов, которые вообще-то были уже такими взрослыми, что их и детьми не назовешь, поэтому Фергусон часто оказывался на мели посреди этих сборищ, не вполне понимая, куда ему пойти или чем заняться, поскольку быстро терял терпение от выходок трех- и шестилетних Стиви и Ральфа, а в беседах, происходивших между пятнадцати- и

семнадцатилетними мальчишками Бронштейнов, чувствовал себя не в своей тарелке, и от этого не оставалось другого выхода — только проводить визиты Бронштейнов в обществе тринадцатилетней Анны Бронштейн, которая научила его играть в кункен и настольную игру под названием «Карьеры», но девочка эта уже была наделена грудями, а к ее зубам были приделаны металлургические изделия, отчего ему бывало трудно на нее смотреть, потому что в серебристой сети ее скобок часто застревали кусочки пищи, крохотные частички непрожеванных помидоров, размокшие хлебные корочки, разлагающиеся кусочки рубленого мяса, и стоило ей только улыбнуться, что бывало часто, Фергусона стискивал внезапный, непроизвольный нахлыв тошноты, и ему приходилось отворачиваться.

Но все равно, раз они теперь оказались на грани переезда, что привело к новым важным данным об отце (беда с переизбытком денег, слишком много времени тратится на зарабатывание этих денег, времени столько, что на шесть дней в неделю отец стал для него почти совсем невидимкой, а Фергусон теперь понимал, что он этого терпеть не может, или, во всяком случае, ему это не нравится, или же оно его раздражает, или

злит, или еще какое-нибудь слово, которого он пока не придумал), и раз вопрос об отце теперь не шел у него из ума, Фергусон осознал, что это познавательно — вспоминать те скучные встречи с Бронштейнами и Соломонами как способ изучать мужское начало в действии, сравнивать отцово поведение с поведениями Сэма Бронштейна и Макса Соломона. Если о том, сколько денег те зарабатывают, можно было судить по размерам их домов, то его отец был богаче их обоих, ибо даже их дом, дом Фергусонов, тот, что якобы теперь слишком мал, и его нужно заменить на что-то получше, был крупнее и привлекательнее домов Бронштейна и Соломона. Его отец ездил на «ольдсмобиле» 1955 года и поговаривал о том, чтобы сменить его в сентябре на новый «кадиллак», Сэм же Бронштейн ездил на «рамблере» 1952 года, а Макс Соломон — на «шевроле» 1950-го. Соломон работал оценщиком убытков в страховой компании (что бы это ни значило, поскольку Фергусон понятия не имел, чем занимается оценщик убытков), а Бронштейн владел магазином спортивных товаров в центре Ньюарка, не тремя магазинами, как отец Фергусона, а одним, что тем не менее все равно приносило ему достаточно денег на то, чтобы содержать жену и троих детей, меж

тем как три магазина отца Фергусона содержали только одного ребенка и жену, которая, так уж вышло, тоже работала, чем Пегги Бронштейн не занималась. Как и отец Фергусона, Бронштейн и Соломон каждый день отправлялись на работу, чтобы добывать деньги, но никто из них не выходил из дому в половине седьмого утра и не зарабатывался настолько допоздна, что дети уже спали, когда они возвращались домой. Тихий, флегматичный Макс Соломон, которого солдатом ранило на Тихом океане, и он теперь прихрамывал на ходу, и громогласный, несдержанный Сэм Бронштейн, весь бурливший анекдотами и панибратством, столь различные между собой по манере себя вести, и все же, в сути своей, оба они отличались от отца Фергусона весьма похоже, поскольку оба работали, чтобы жить, а вот его отец, похоже, жил, чтобы работать, и это означало, что друзей его родителей больше определяли их радости, а не тяготы и обязанности, Соломона — его страсть к классической музыке (огромная коллекция грампластинок, вручную собранная высококачественная система воспроизведения), Бронштейна — любовь к спорту во всем множестве его проявлений, от баскетбола до конных скачек, от легкой атлетики до бокса,

но вот отца Фергусона, помимо работы, увлекал только теннис, а это жалкое, узкое увлечение, думал Фергусон, и стоило только Бронштейну включить телевизор, по которому показывали бейсбол или футбол, когда в воскресенье у них бывали гости, как все мальчики и мужчины обеих семей собирались в гостиной посмотреть, и в девяти случаях из одиннадцати, совсем как это бывало с ним в кино, его отец с трудом разлеплял глаза, боролся со сном минут десять-пятнадцать, но все же борьбу эту проигрывал и засыпал.

В другие воскресенья случались визиты к родственникам — Адлерам, как в Нью-Йорке, так в Мапльвуде, которые предоставляли Фергусону дополнительные материалы для изучения в его лаборатории мужского поведения, в особенности — его дедушка и муж тети Мильдред Дональд Маркс, хотя, возможно, дедушка и не считался, поскольку был из поколения постарше и так не походил на отца Фергусона, что странно было даже упоминать их имена в одной фразе. Шестьдесят три года, по-прежнему крепок, по-прежнему работал в своей конторе недвижимости и все так же зарабатывал деньги, хоть и не столько, сколько его отец, считал Фергусон, потому что квартира на Западной Пятьдесят восьмой улице

была тесновата, махонькая кухня и гостиная всего с половину той, что в Мапльвуде, а машина, на которой ездил дед, старый лиловый «плимут» с кнопочным управлением, походила на цирковую машинку рядом с отцовым обтекаемым седаном «ольдсмобиль». Да, в Бенджи Адлере есть что-то клоунское, полагал Фергусон, с этими его карточными фокусами и жужжалками в ладонях при рукопожатиях, с его высоким сиплым хохотом, но внук любил его все равно, любил за то, как тот любил, похоже, просто быть живым, и стоило ему впасть в рассказчицкое настроение, повествования излагались так проворно и пикантно, что весь мир, казалось, рушился под натиском языка, в основном смешных историй, баек про Адлеров былого и разнообразных близких и дальних родственников, двоюродную сестру матери его деда, к примеру, женщину с восхитительным именем Фагела Флегельман, которая, очевидно, была до того блистательна, что овладела девятью иностранными языками, не исполнилось ей еще и двадцати лет, и, когда ее семья покинула Польшу и приехала в Нью-Йорк в 1891 году, ее лингвистические способности произвели такое впечатление на чиновников острова Эллис, что ее наняли на работу, не сходя с места, и следую-

щие тридцать с лишним лет Фагела Флегельман работала переводчицей в Министерстве иммиграции, проводила собеседования с тысячами и тысячами будущих американцев, только что сошедших на берег, пока заведение не закрылось в 1924 году. Долгая пауза, а за ней — обычная дедова загадочная ухмылка и еще одна история про четырех мужей Фагелы Флегельман и про то, как она их всех пережила, а дни свои закончила богатой вдовой в Париже, в квартире на Елисейских Полях. Могло ли это все быть правдой? Есть ли разница, правда это или нет?

Нет, дедушка не считался, поскольку был вне конкуренции, *дисквалифицирован по причине пустозвонства*, как сам старик мог бы сказать о себе в какой-нибудь своей кошмарной шуточке, а вот дядя Дон был всего на пару лет младше отца Фергусона, а поэтому выступал годным кандидатом для рассмотрения, возможно, подходил даже лучше Сэма Бронштейна или Макса Соломона, поскольку эти двое, как и его отец, жили в предместьях Нью-Джерси и входили в старательный средний класс — торговец и «белый воротничок», а вот Дон Маркс — существо городское, родился и вырос в Нью-Йорке, учился в Колумбии и каким-то чудом не имел работы, по крайней мере — той,

где у него было бы начальство и регулярная зарплата, все дни свои проводил дома за пишущей машинкой, которая производила книги и журнальные статьи, был человеком для себя — первым, какого знал Фергусон. С тетей Мильдред они съехались три года назад, он оставил жену и сына в своей старой квартире в Верхнем Вест-Сайде, что Фергусону тоже было впервой, разведенный мужчина, человек, с прошлого года пустившийся в свой второй брак, *проведя во грехе* с тетей Фергусона первые два года их сожительства (на что его отец, прародители и двоюродная бабушка Перл смотрели неодобрительно, а мать его это веселило), и маленькая квартира, которую Дон Маркс делил с тетей Мильдред на Перри-стрит в Гринвич-Виллидж, вся была забита столькими книгами, сколько Фергусон и не видал нигде, разве что в книжном магазине или библиотеке, книги там были повсюду: на полках, закрывавших стены трех комнат, на столах и стульях, на полу, на комодах, и Фергусона не только околдовывал такой фантастический беспорядок, но и сам факт того, что подобная квартира где-то существует, служил доказательством того, что есть и другие образы жизни на этом свете, не только те, какие знал он сам, что образ жизни его

родителей — не единственный. Тетя Мильдред работала адъюнкт-профессором английского языка в Бруклинском колледже, дядя Дон был писателем, и хотя на этих работах они, должно быть, зарабатывали деньги, и на жизнь им, во всяком случае, хватало, Фергусону было ясно, что живут они ради чего-то другого, не только чтобы делать деньги.

К сожалению, ему нечасто выпадало бывать в той квартире, за те три года пока лишь три раза: один раз — на ужине с родителями, а дважды — только с матерью, заскакивали среди дня. Фергусон тепло относился к своей тете и новому дяде, но его мать и материна сестра отчего-то не были близки, а прискорбной, но еще более очевидной правдой было то, что его отцу и Дону Марксу было совершенно не о чем друг с другом говорить. Фергусон всегда чуял, что его отец и тетя друг с другом ладят, а теперь, когда тетя больше не была одна, он был убежден, что ровно это же самое можно сказать и о его матери и дяде. Незадача была со связью женщина-женщина и мужчина-мужчина, ибо его мать как младшая из двух сестер всегда смотрела на Мильдред снизу вверх, Мильдред же — как из двух сестер старшая — на его мать всегда смотрела сверху вниз,

а у мужчин имелось это совершенное безразличие, какое каждый выказывал работе и взглядам на жизнь другого, с одной стороны, доллары, с другой — слова, что, вероятно, еще более отягощалось тем, что дядя Дон во время войны сражался в Европе, а его отец сидел дома, но такое предположение, быть может, беспочвенно, поскольку Макс Соломон вот тоже был солдатом, а им с отцом всегда удавалось поговорить, во всяком случае, в той мере, в какой его отец вообще с кем бы то ни было разговаривал.

Но все равно по-прежнему оставались взаимные визиты в квартиру деда с бабушкой на Благодарение, Песах и время от времени воскресные сборища, а случались и такие воскресенья, когда тетя Мильдред и дядя Дон забирались на заднее сиденье лилового «плимута» и сопровождали его прародителей в их дневном путешествии в Нью-Джерси. Фергусону, значит, выпадали щедрые возможности понаблюдать за дядей Доном, и поразительный вывод, к какому он пришел, заключался в том, что, несмотря на огромную разницу между его отцом и его дядей в смысле их происхождений, образований, работы и манеры жить, они больше были одинаковы, нежели неодинаковы, больше походили друг на

друга, чем его отец и Сэм Бронштейн или Макс Соломон, потому что, чем бы ни занимались они — ковали доллары или ковали слова, и того и другого подхлестывала работа, вплоть до того, что исключалось все остальное, а они от этого, когда не работали, держались напряженно и рассеянно, были бестолковы, погружены в себя, полуслепы. Спору нет, дядя Дон мог быть красноречивей его отца, забавней отца, интереснее отца, *но только если сам этого хотел*, и теперь, когда Фергусон узнал его, как уж сумел, близко — увидел, до чего часто бывало, как дядя Дон словно бы смотрит сквозь тетю Мильдред, когда та с ним разговаривает, будто ищет чего-то у нее за спиной, точно не способен услышать ее, поскольку думает о чем-то совсем другом, что довольно-таки походило на то, как его отец частенько смотрел теперь на его мать, все чаще и чаще, остекленевшим взглядом человека, не способного видеть ничего, кроме мыслей в собственной голове, человека, который здесь, но не здесь, пропал.

В этом и заключалась подлинная разница, решил Фергусон. Не избыток или недостаток денег, не то, что человек совершил или упустил, не покупка дома побольше или машины подороже, а честолюбие. Это и объясняло, почему

Бронштейну и Соломону удавалось плыть по жизни в относительном покое: их не терзало проклятье честолюбия. Напротив, его отца и дядю Дона их амбиции поглощали, от чего, как это ни странно, миры их становились меньше и менее удобными, чем у тех, на кого такое проклятье не действовало, ибо честолюбие означало, что ты никогда не бываешь удовлетворен, всегда жаждешь чего-то большего, постоянно проталкиваешься вперед, потому что никакой успех тут не будет велик в той мере, чтобы утолить нужду в новых, еще больших успехах, погасить стремление превратить один магазин в два, затем два магазина в три, говорить уже о строительстве четвертого магазина и даже пятого, ровно так же, как одна книга — попросту ступенька на пути к другой книге, к жизни, где все больше и больше книг, что требовало той же сосредоточенности и единственности цели, какие нужны предпринимателю, чтобы разбогатеть. Александр Великий завоевывает мир, а дальше что? Строит ракету и высаживается на Марс.

У Фергусона шло первое десятилетие его жизни, а это значило, что книги, которые он читал, все еще ограничивались царством детской литературы, детективами про Мальчишек Гарди,

романами о футболистах-старшеклассниках и межгалактических путешественниках, сборниками приключенческих рассказов, упрощенными биографиями знаменитых мужчин и женщин, вроде Авраама Линкольна и Жанны Д'Арк, но теперь, раз уж он начал расследование того, что происходит в душе у дяди Дона, ему показалось, что недурной мыслью будет прочесть и что-нибудь из им написанного, ну, или попробовать это прочесть, поэтому однажды он спросил у матери, есть ли у них дома какие-нибудь дядины книжки. Да, ответила она, есть обе.

Ф: Обе? В смысле, он написал только две?

Мать Ф: Это толстые книги, Арчи. На каждую ушло много лет.

Ф: А про что они?

Мать Ф: Это биографии.

Ф: Хорошо. Мне нравятся биографии. А что за люди?

Мать Ф: Они давно жили. Один немецкий писатель начала девятнадцатого века, его звали Клейст. И французский философ и ученый семнадцатого века по фамилии Паскаль.

Ф: Никогда о них не слыхал.

Мать Ф: Сказать тебе правду, я тоже.

Ф: А это хорошие книжки?

Мать Ф: Думаю, да. Говорят, очень хорошие.

Ф: В смысле, ты сама их не читала?

Мать Ф: По несколько страниц там и сям, но не целиком. Боюсь, это не мое.

Ф: Но другие считают их хорошими. Это должно значить, что дядя Дон зарабатывает много денег.

Мать Ф: Вообще-то нет. Это книги для ученых, и у них нет широкого читателя. Именно поэтому дядя Дон пишет столько статей и рецензий. Чем-то поддержать свой доход, пока занимается исследованиями для своих книг.

Ф: Мне кажется, я должен какую-то прочесть.

Мать Ф (*с улыбкой*): Только если хочешь, Арчи. Но не огорчайся, если поймешь, что идет трудно.

И вот мать Фергусона дала ему обе книги, каждая длиной больше четырехсот страниц, два тяжелых тома с мелким шрифтом и без картинок, опубликованных «Издательством Оксфордского университета», и поскольку Фергусону больше понравилась обложка книги о Паскале, чем обложка книги о Клейсте, с ее суровой фотографией белой посмертной маски француза, зависшей на сплошь черном фоне, он решил первой попробовать ее. Углубившись в первый абзац, он понял, что чтение не просто идет трудно — оно вообще никуда не идет. Я к этому не готов, сказал он себе.

Надо подождать, когда стану старше.

Если Фергусон и не сумел прочесть дядиных книг, то он мог хотя бы изучать, как дядя ведет себя со своим сыном: эта тема весьма интересовала Фергусона, вне всяких сомнений, тема очень важная — она и побудила его систематически изучать современное американское мужское начало, ибо его возраставшая неудовлетворенность собственным отцом вызвала его более пристальное внимание к тому, как другие отцы относятся к своим сыновьям, и ему приходилось собирать сведения для того, чтобы судить, только ли его это беда или же беда повсеместна и обща для всех мальчиков. С Бронштейном и Соломоном ему представились два разных выражения родительского поведения. Бронштейн со своим потомством вел себя шутливо и запросто, Соломон был суров и нежен; Бронштейн болтал и хвалил, Соломон выслушивал и утирал слезы; Бронштейн мог выйти из себя и выбранить прилюдно, Соломон мысли свои держал при себе, и сыновей у него наказывала Ненси. Два метода, две философии, две личности, одна совершенно не похожа на отца Фергусона, другая несколько его напоминала, однако вот с каким фундаментальным исключением: Соломон никогда не

засыпал.

Дядя Дон не мог засыпать, потому что больше не жил со своим сыном и виделся с ним редко, одни выходные в месяц, две недели летом, лишь тридцать восемь дней в год, но когда Фергусон все подсчитал в уме — понял, что хоть сам он видел своего отца и чаще, для начала — пятьдесят два воскресенья в год, а также семейные ужины по вечерам, когда отец возвращался домой с работы не поздно, более-менее — половину всех вечеров недели, что доходило бы примерно до ста пятидесяти двух ужинов с понедельника по субботу в год, а это гораздо больше общения, чем у сына дяди Дона с его отцом, — тут вместе с тем крылась закавыка, поскольку новый сводный двоюродный брат Фергусона всегда виделся со своим отцом на этих тридцативосьмидневных сходках наедине, а вот Фергусон один на один со своим отцом уже никогда не оставался, и, копаясь в памяти и пытаясь вспомнить, когда они в последний раз были вместе, а в комнате или в машине с ними больше никто бы не сидел, ему приходилось углубляться больше чем на полтора года, в то дождливое воскресное утро, что смыло их еженедельный ритуал тенниса и «Грунинга», когда они с отцом забрались в старый «бьюик»

и поехали покупать заготовки для позднего завтрака, стояли в очереди у «Табачника» со своим пронумерованным билетиком, дожидаясь, когда в этом набитом людьми и хорошо пахнувшем магазине подойдет их черед запасаться белой рыбой, селедкой, копченой лососиной, бубликами и банкой сливочного сыра. Отчетливое, светящееся воспоминание — но то был последний раз, октябрь 1954-го, одну шестую жизни назад, а если вычесть первые три года его жизни, которые он уже не мог толком вспомнить, почти и четверть жизни назад, что равняется десяти годам для сорокатрехлетнего мужчины, ибо в тот момент истории Фергусону исполнилось девять.

Мальчика звали Ноем, и он был на три с половиной месяца младше Фергусона. К огромному сожалению Фергусона, их с этим мальчиком не подпускали друг к другу все годы греховного сожительства, поскольку бывшая жена дяди Дона, оправданно сердитая за то, что ее бросили ради тети Мильдред, отказывалась позволять своему сыну мараться общеньем с разрушительницей семей и ее родней, что распространялось не только на Адлеров, но и на Фергусонов. Тем не менее, когда дядя Дон и тетя Мильдред решили сочетаться браком, запрет отменился, раз теперь

все стало по закону, и бывшая жена уже не могла такого требовать от своего бывшего мужа. Стало быть, Фергусон и Ной Маркс познакомились на свадьбе, которая имела место в декабре 1954-го, скромное событие, проводившееся в квартире прародителей Фергусона, где гостей было не больше двадцати человек с обеих сторон, в том числе родственников и нескольких близких друзей. Из детей присутствовали только Фергусон и Ной, и двое мальчишек поладили друг с другом с самого начала: каждый был в семье единственным ребенком, которому всегда хотелось себе братишку или сестренку, и то, что были они ровесниками, а отныне станут двоюродными братьями, пусть и сводными, но тем не менее объединенными одной семьей, превратило ту их первую встречу на свадьбе в некое дополнительное бракосочетание, либо церемониальный альянс, либо инициацию кровного братства, ибо оба они знали, что будут в связке друг с другом всю оставшуюся жизнь.

Виделись они, конечно, нечасто: один жил в Нью-Йорке, а другой в Нью-Джерси, и, поскольку Ной бывал потенциально доступен лишь тридцать восемь дней в году, вместе за полтора года после свадьбы они оказались всего раз шесть-семь. Фергусону хотелось бы чаще, но и

этого хватило, чтобы прийти к каким-то выводам относительно отцовства дяди Дона, которое разительно отличалось от поведения его собственного отца, однако отличалось и от того же у Бронштейна и Соломона. Но, опять же, Ной был особым случаем: тщедушный негодник с кривыми зубами, кто не имел никакого сходства с детьми этих других мужчин, и обращаться с ним требовалось по-особенному. Ной вообще был первым циником, с кем познакомился Фергусон, озорным проказником и болтливым умником, смышленым, сообразительным дальше ехать некуда, и умным, и потешным одновременно, мыслителем гораздо более шустрым и искушенным, чем Фергусон на том рубеже, а следовательно, общаться с ним было наслаждением, если ты ему друг, кем Фергусон к этому моменту наверняка уже и был, вот только Ной жил со своей матерью, а с отцом виделся лишь тридцать восемь дней в году и в то время, что они с ним проводили вместе, вечно испытывал отцово терпение, однако с чего бы ему и не быть настроенным против своего отца, размышлял Фергусон, раз дядя Дон его, по сути, бросил, когда ему было пять с половиной лет. У Фергусона развилась к Ною великая нежность, но он также знал, что его кузен может быть

невозможным, возмутительным, раздражающим паразитом, и потому его добрые чувства несколько делились между отцом и сыном, солидарность с брошенным мальчиком, но еще и некоторое сочувствие к отцу-бесхребетнику, и совсем немного погодя Фергусон понял, что дядя Дон хочет от него, чтобы он тоже ходил на их отцовско-сыновние встречи с Ноем, чтобы служить им буфером, умеряющим присутствием, отвлечением. И вот они втроем отправлялись на стадион «Эббетс-Фильд» смотреть, как «Хитрецы» играют с «Филями», ходили в Музей естественной истории глядеть на кости динозавров, были на спаренном сеансе фильмов с братьями Маркс в кинотеатре повторного проката возле «Карнеги-Холла», и Ной всегда начинал день с череды озлобленных острот, дразня своего отца за то, что тащит его в Бруклин, потому что отцам так полагается делать, разве нет, запихивать своих мальчишек в жаркие вагоны подземки и возить их на бейсбольные матчи, хотя отцу на бейсбол наплевать с высокой колокольни, или же: Видишь в диораме пещерного человека, пап? Сначала я подумал, что смотрю на тебя, — или же: Братья Маркс! Думаешь, они нам родственники? Может, надо написать Брюзге и спросить у него,

не он ли мой настоящий отец. Правда же была в том, что Ной обожал бейсбол и, хоть сам играть в него был прискорбно неспособен, знал средние очки всех до единого «Хитрецов» и таскал в нагрудном кармане автограф Джеки Робинзона (который ему добыл отец). Правда заключалась в том, что Ноя завораживала каждая выставка в Музее естественной истории, и ему не хотелось уходить из здания, когда отец говорил, что им пора. Правда в том, что Ной ухохатывался до умопомрачения на «Утином супе» и «Мартышкиных проделках», а из кинотеатра выходил с воплями: Ну и семейка! Карл Маркс! Брюзга Маркс! Ной Маркс! Миром правят Марксы!

Все эти бури и стычки, эти внезапные затишья и всплески одержимой веселости, эти чередующиеся припадки хохота и агрессии отец Ноя терпел со странным и неколебимым спокойствием, никогда не отвечая на оскорбления сына, отказываясь поддаваться провокациям, снося все нападки молча, покуда ветер снова не принимался дуть в другую сторону. Таинственная, ни на какие другие не похожая разновидность родительского поведения, казалось Фергусону, и дело не столько в том, что мужчина сдерживается, а в том, что позволяет своему мальчишке наказы-

вать его за совершенные проступки, подвергая себя этим поркам как каре. Ну и причудливая же они парочка: раненый мальчишка, каждым своим актом враждебности к отцу вопящий о любви, и раненый отец, весь исходящий любовью в том, что никогда его не лупит, позволяет быть избитым себе. Впрочем, когда воды успокаивались, когда военные действия временно прекращались, и отец и сын плыли в своей лодочке вместе, Фергусон отмечал одну крайне любопытную штуку: дядя Дон разговаривает с Ноем так, будто тот взрослый. Никакой снисходительности, никаких отцовских поглаживаний по голове, никакого установления правил. Когда говорил мальчишка, отец его слушал. Когда мальчишка задавал вопрос, отец на него отвечал так, словно сын — его коллега, и когда Фергусон слышал их беседу, он не мог немного не завидовать, ибо ни в какой раз его собственный отец с ним так не разговаривал — ни с таким уважением, ни с таким любопытством, ни с таким удовольствием, читавшимся по глазам. В общем и целом, заключил он, дядя Дон — хороший отец, не без недостатков, быть может, а то и вообще пропащий, но тем не менее отец хороший. И кузен Ной — превосходный друг, хоть иногда и бывает чокнутый.

Утром в понедельник в середине июня мать Фергусона за завтраком поставила его в известность, что к концу лета они переезжают в новый дом. Они с отцом на следующей неделе *закрывают сделку*, а когда Фергусон спросил у нее, что это значит, мать объяснила, что закрытие — это такой жаргон недвижимости, значит покупку дома, и как только они отдадут деньги и подпишут бумаги, новый дом будет их. Это само по себе было мрачно, но затем она сказала еще и такое, что Фергусона поразило своей возмутительностью и неправильностью. *К счастью*, продолжала его мать, *мы также нашли покупателя на старый дом*. Старый дом! О чем она говорит? Они завтракают сейчас в этом доме, они сейчас в этом доме живут, и, пока не соберут вещи и не переедут на другой край города, у нее нет права говорить о нем в прошедшем времени.

Чего такой угрюмый, Арчи? — спросила его мать. Это же хорошие новости, а не плохие. А у тебя такой вид, точно кто-то на войну уходит.

Он не мог ей сказать, что надеялся на то, что их дом никто никогда не купит, никто не захочет в нем поселиться, потому что все будут видеть, как Фергусонам он подходил больше, чем кому бы то ни было еще, а если его мать и отец не смогут

продать дом, им не по карману будет новый, а оттого они вынуждены будут оставаться там же, где живут. Он не мог сказать ей этого, потому что мать была такой счастливой с виду, счастливее он уже давно ее не видел, а видеть мать счастливой — с этим мало что сравнится, и все же, и все же — теперь пропала его последняя надежда, и *все это совершалось у него за спиной*. Покупатель! Кто эта неведомая личность и откуда он такой взялся? Никто никогда ничем с Фергусоном не делился до того, как что-то происходило, вечно все обустраивалось у него за спиной, а он сам тут ни слова сказать не мог. Ему нужно право голоса! Ему осточертело быть ребенком, его тошнит от того, что им вечно все помыкают да распоряжаются. Америка — якобы демократия, а он живет при диктатуре, и он ею сыт по горло, сыт по горло, сыт по горло.

Когда это случилось? — спросил он.

Только вчера, сказала мать. Когда ты был в Нью-Йорке с дядей Доном и Ноем. История тут вполне поразительная.

Это как?

Помнишь мистера Шнейдермана, того фотографа, у которого я работала, когда была молодой?

Фергусон кивнул. Еще б он не помнил мистера

Шнейдермана, сварливого старого сморчка, кто раз в год приходил к ним ужинать, с белой козлиной бородкой, который сербал суп, а однажды пукнул за столом, а сам этого даже не заметил.

Так вот, сказала мать, у мистера Шнейдермана два взрослых сына, Даниэль и Гильберт, оба примерно ровесники твоему отцу, и вчера Даниэль с женой приходили к нам обедать — и знаешь что?

Все понятно.

Поразительно, правда же?

Наверное.

У них двое детей, мальчику тринадцать, девочке девять, и девочка эта, Эми, такая хорошенькая, что я таких даже и не видела никогда. Мальчишки по ней будут сохнуть, Арчи.

Вот и молодец.

Ладно, зануда, а вдруг так окажется, что она будет жить в твоей комнате? Что ты на это скажешь?

Тогда это будет ее комната, а не моя, поэтому мне-то какое дело?

Школьный год закончился, и на следующие выходные Фергусона отправили с ночевками в лагерь где-то в штате Нью-Йорк. Из дома он уезжал впервые, но ехал без ужаса или принуж-

дения, потому что с ним туда отправлялся Ной, а на самом деле как раз тогда дом ему надоел, он устал от всех этих разговоров о старых домах, что вовсе не были старыми, и о хорошеньких девочках, которые присвоят его комнату, и два месяца в деревне наверняка отвлекут его от всех этих отягчающих раздражений. Лагерь «Парадиз» располагался в северо-восточном углу округа Колумбия, неподалеку от границы с Массачусетсом и предгорий Беркширов, и родители его предпочли отправить его туда потому, что Ненси Соломон знала кого-то, кто знал кого-то, чьи дети много лет ездили в этот лагерь и ничего, кроме хорошего, сказать о нем не могли, и как только Фергусона туда записали, его мать поговорила со своей сестрой, которая затем поговорила со своим мужем, и Ноя туда записали тоже. Фергусон с двоюродным братом уезжали с вокзала «Гранд-Централ» с большим отрядом своих солагерников, почти двести других мальчишек и девчонок в возрасте между семью и пятнадцатью, и через пару минут после того, как они сели в поезд, дядя Дон отвел Фергусона в сторонку и попросил его присматривать за Ноем, чтобы тот не попал ни в какие переделки и к нему не приставали другие мальчишки, а поскольку дядя

Дон так на него рассчитывал, что означало: он в Фергусоне видит что-то крепкое и надежное, — Фергусон пообещал дяде Дону, что сделает все возможное, чтобы у Ноя была защита.

К счастью, лагерь «Парадиз» местом был вовсе не суровым, и совсем скоро Фергусон сообразил, что можно и расслабиться. Дисциплина была нестрогая, и, в отличие от бойскаутских или религиозных лагерей, в чьи цели входило *укреплять в молодежи характер*, руководство лагеря «Парадиз» придерживалось менее возвышенной цели сделать жизнь там как можно более приятной. В первые дни, проведенные в лагере, пока Фергусон начинал приспосабливаться к новой среде, он сделал несколько интересных открытий, среди них — тот факт, что он единственный из всех мальчишек у него в отряде, кто живет в предместье. Все остальные были из Нью-Йорка, и его окружало множество городских пацанов, выросших в таких районах, как Флетбуш, Мидвуд, Боро-парк, Вашингтон-Хайтс, Форест-Хиллс и Гран-Конкурс, бруклинские мальчишки, манхаттанские мальчишки, мальчишки из Квинса, из Бронкса, сыновья среднего класса и ниже-среднего класса — школьных учителей, бухгалтеров, госслужащих, барменов и коммивояжеров. До то-

го времени Фергусон предполагал, будто частные летние лагеря предназначены исключительно для детей богатых банкиров и адвокатов, но тут он, очевидно, ошибался, а затем дни шли, он выучил, как звать десятки мальчишек и девчонок, и по именам, и по фамилиям, — и тогда понял, что все в этом лагере евреи, от его хозяев, мужа и жены (Ирвинга и Эдны Кац), до старшего вожатого (Джека Фельдмана), вожатого и младшего вожатого в его собственном отряде (Гарви Рабиновича и Боба Гринберга), вплоть до последнего из двухсот двадцати четырех отдыхающих, приехавших сюда на все лето. Средняя школа, куда он ходил в Мапльвуде, населена была мешаниной протестантов, католиков и евреев, а здесь теперь были одни евреи, и только евреи, и впервые за свою жизнь Фергусон оказался засунут в этнический анклав, в своеобразное гетто, только в данном случае гетто на свежем воздухе, с деревьями и травой, а в синем небе над головой порхали птички, и как только он освоился с новизной ситуации, она перестала иметь для него какую бы то ни было важность.

Больше всего же засчитывалось то, что все дни свои он проводил за нескончаемыми приятными занятиями — не только теми, с какими уже был

знаком, вроде бейсбола, плавания и настольного тенниса, но и разнообразными новинками, куда входили стрельба из лука, волейбол, перетягивание каната, гребля, прыжки в длину и, что было всего лучше, чудесное ощущение плавания на каноэ. Мальчиком он был крепким и спортивным, его естественно привлекали такие физические занятия, но хорошо в лагере «Парадиз» было то, что занятия можно было выбирать, и для тех, кто не был расположен к спорту, имелись живопись, гончарное дело, музыка и театр, а не грубые состязания с битами и мячами. Единственным обязательным занятием было плавание, два получасовых заплыва в день, один до обеда и один до ужина, но всем нравилось прохлаждаться в воде, и если ты не был опытным пловцом, можно было просто плескаться на озерном мелководье. Стало быть, когда Фергусон отбивал навесные на одном краю лагеря, Ной рисовал в павильоне искусств на другом его краю, и пока Фергусон скользил по воде в своем любимом каноэ, Ной деловито репетировал пьесу. Малорослый, странный с виду Ной лип к Фергусону лишь первую неделю, пока нервничал и не был уверен в себе, без сомнения ожидая, что кто-то начнет ставить ему подножки или обзываться, но эта угроза

так и не осуществилась, и вскоре он уже начал приживаться, подружился с какими-то другими мальчишками, и его соседи по отряду покатывались со смеху, когда он изображал Альфреда Э. Ноймана, и он даже (Фергусона это поразило до глубины души) за это время сумел загореть.

Разумеется, случались разногласия, стычки и, время от времени, драки, ибо этот лагерь «Парадиз» был отнюдь не настоящим парадизом, а, насколько это виделось Фергусону, не представлял собой ничего необычного, однажды, когда он чуть не подрался с другим мальчишкой, причина их размолвки была настолько смехотворна, что он так и не собрался с духом ударить того по-настоящему. Стоял 1956 год — один из той череды многих годов, когда Нью-Йорк располагался в самом центре бейсбольной вселенной, со своими тремя командами, что господствовали в спорте целое десятилетие, «Янки», «Хитрецами» и «Гигантами», и, если не считать 1948 года, по крайней мере одна из этих команд, а бывало, и две каждый год играли в Чемпионате США, начиная с первого года жизни Фергусона. Нейтралитет не сохранял никто. Все до единого мужчины, женщины и дети в Нью-Йорке и окружающих его предместьях болели за какую-нибудь команду, по большей

части — с пылкой преданностью, и все болельщики «Янки», «Хитрецов» и «Гигантов» презирали друг дружку, что приводило ко множеству бессмысленных ссор, время от времени кому-нибудь давали по лицу, а однажды произошел печально известный случай гибели при перестрелке в баре. Для мальчишек и девчонок поколения Фергусона самое длительное разногласие восходило к вопросу, у какой команды лучший центрфилдер, ибо все трое были превосходными игроками, лучшими на этой позиции где бы то ни было в бейсболе, среди превосходнейших во всей истории этой игры, и молодые люди профукивали многие часы на выяснения сравнительных достоинств Дюка Снайдера («Хитрецы»), Микки Мантла («Янки») и Вилли Мейса («Гиганты») — и до того горячи были поклонники каждой команды, что по большинству они слепо защищали центрфилдера своего клуба из чистой, несгибаемой верности. Фергусон болел за «Хитрецов», потому что его мать выросла в Бруклине болельщицей «Хитрецов» и привила ему с детства любовь к неудачникам и безнадежным случаям, поскольку «Хитрецы» в детстве его матери были командой неуклюжей, часто даже жалкой, теперь же превратились в мощный локомотив, в царствующих чемпионов

мира, сопоставимых со всемогущими «Янки», и из восьми мальчишек, живших с Фергусоном в то лето в одной спальне, трое болели за «Янки», двое за «Гигантов», а остальные трое — за «Хитрецов», и среди них Фергусон, Ной и мальчик по имени Марк Дубинский. Однажды днем во время тихого часа длиной сорок пять минут, который следовал за обедом и обычно тратился на чтение комиксов о Супермене, писание писем и изучение счета боксерских поединков двухдневной давности в газете «Нью-Йорк пост», Дубинский, чья койка стояла слева от Фергусоновой (Ной располагался справа), снова поднял вековечный вопрос, сообщив Фергусону, насколько стойко он доказывал превосходство Снайдера над Мантлом в утренней дискуссии с двумя болельщиками «Янки», полностью рассчитывая на то, что тоже болевший за «Хитрецов» Фергусон примет его сторону, но Фергусон этого не сделал, поскольку, как бы ни преклонялся он перед Дюком, сказал он, Мантл играет лучше, а помимо всего прочего, Мейс еще лучше Мантла, хоть и на волосок, быть может, но явно лучше, и чего это ради Дубинский упорствует в заблуждении, когда перед ним факты? Ответ Фергусона был настолько неожиданным, настолько невозмутимым в утверждениях,

настолько дотошным в сокрушении веры Дубинского в силу самой веры, побеждающей разум, что Дубинский обиделся, свирепо оскорбился и миг спустя уже стоял над койкой Фергусона и орал на него во весь голос, обзывая его изменником, атеистом, коммунистом и двуличной липой, а также что ему, возможно, следует заехать Фергусону под дых, чтобы его хорошенько проучить. Когда Дубинский уже сжал кулаки, готовясь наскочить на Фергусона, тот сел и сказал ему: Давай-ка полегче. Можешь думать, что хочешь, Марк, сказал он, но я тоже имею право на собственное мнение. Нет, не имеешь, ответил Дубинский, по-прежнему вне себя, если ты настоящий сторонник «Хитрецов» — не имеешь. Фергусону было неинтересно драться с Дубинским, который обычно не бывал склонен к такому вспыльчивому поведению, но в тот день, казалось, сам нарывается на драку, что-то в Фергусоне его раздражало, и он хотел разломать их дружбу на куски, и покуда Фергусон сидел на своей койке, размышляя, удастся ему заболтать противника и выпутаться из создавшегося положения или все же он будет вынужден встать и подраться, неожиданно вмешался Ной. Мальчики, мальчики, произнес он эдаким низким, мрачно смешным голосом

папы-которому-виднее, сейчас же прекратите эти бессмысленные ссоры. Нам же всем известно, кто на самом деле лучший центрфилдер, правда же? И Фергусон, и Дубинский обернулись и посмотрели на Ноя, который лежал у себя на койке, подперев рукой голову. Дубинский сказал: Ладно, Арфо, выкладывай — но лучше, если ответ у тебя будет правильный. Привлекши их внимание, Ной теперь на миг умолк и улыбнулся — дурацки, однако необычайно восхитительно, и улыбка эта засела в памяти Фергусона и больше так и не покинула ее, не потерялась, а вспоминалась снова и снова, когда он вырастал из детства к отрочеству, а затем и ко взрослости, молниеносный проблеск чистейшей, дикоглазой причуди, что явила истинную душу девятилетнего Ноя Маркса на ту секунду или две, что длилась, и тут Ной завершил стычку одним коротким словом: Я.

В первый месяц Фергусон даже не задумывался о том, как он счастлив в этом месте. Слишком увлекали его занятия, чтобы помедлить и задуматься о своих чувствах, он слишком погрузился в настоящее, чтобы глядеть мимо или за него, *жил мгновеньем*, как выразился его вожатый Гарви о хороших спортивных выступлениях, а это, возможно, и было подлинным определением

счастья — не знать, что ты счастлив, не заботиться ни о чем, кроме того, что ты жив и жив сейчас, но вот неизбежно замаячил родительский день — воскресенье, отмечавшее середину их восьминедельной лагерной смены, и за те дни, что этому воскресенью предшествовали, Фергусон с испугом осознал, что он вовсе не ждет новой встречи с родителями, даже с матерью, по которой, как он думал, будет ужасно скучать, но не скучал, разве что какими-то разрозненными и мучительными вспышками, а особенно с отцом, который за последний месяц начисто стерся у него из памяти и уже, казалось, для него не считается. В лагере лучше, чем дома, понял он. Жизнь с друзьями богаче и удовлетворительней жизни с родителями, а это означало, что родители для него не так важны, как он считал раньше, мысль еретическая, даже революционная, которая заставила Фергусона крепко задумываться, когда он по ночам лежал на своей койке, — и тут настал день приезда, и когда он увидел, как его мать выходит из машины и направляется к нему, — неожиданно поймал себя на том, что старается не расплакаться. Какая нелепость. Как ужасно стыдно так себя вести, подумал он, и все же что он мог поделать — только кинуться к ней

в объятия и подставиться ее поцелуям?

Однако что-то было не так. С родителями Фергусона в лагерь должен был приехать и дядя Дон, однако его с ними не было, и когда Фергусон спросил у матери, почему тут нет отца Ноя, та натянуто на него посмотрела и ответила, что объяснит позже. Позже случилось примерно через час, когда родители перевезли его через границу Массачусетса пообедать в ресторане «Дружеский» в Грейт-Баррингтоне. Разговаривала, как обычно, только мать, но и отец в кои-то веки выглядел внимательным и в беседе участвовал — ловил каждое ее слово так же, как Фергусон, а с учетом того, что ей было что сказать, что сказать, от нее требовали обстоятельства, Фергусона ничуть не удивило, что мать его выглядит в большем замешательстве, чем он помнил в последнее время, голос у нее подрагивал, пока она говорила, желая оберечь сына от худшего, но в то же время не в силах смягчить удар, не искажая правды, ибо теперь важна была только правда, и пусть Фергусону всего девять лет, ему крайне настоятельно нужно услышать историю целиком, без всяких пропусков.

Ну все, Арчи, сказала она, прикуривая «Честерфильд» без фильтра и выдувая облачко

синевато-серого дыма по столику, отделанному формайкой. Дон и Мильдред расстались. Их брак окончен. Я бы хотела объяснить тебе, из-за чего, но Мильдред даже мне этого не говорит. Она так раздавлена, что плачет последние десять дней без передышки. Не знаю, влюбился ли Дон в кого-то другого или же у них все само собой развалилось, но Дона в кадре больше нет, и крайне маловероятно, что они опять сойдутся. Я с ним пару раз разговаривала, но и он мне ничего не рассказывает. Только то, что у них с Мильдред всё, что ему на ней вообще не стоило жениться, что у них все пошло не так с самого начала. Нет, он не возвращается к матери Ноя. Он собирается вообще переехать в Париж. Из квартиры на Перри-стрит он уже вывез все свои вещи и намерен отбыть до конца месяца. Что подводит нас к вопросу о Ное. Дон хочет провести с ним какое-то время перед своим отъездом, поэтому его бывшая жена, я говорю о его первой бывшей жене, о бывшей жене Гвендолине, приехала сегодня в лагерь забрать Ноя и отвезти его обратно в Нью-Йорк. Все верно, Арчи, Ной уезжает. Я знаю, как близко вы с ним сошлись, какие вы с ним теперь хорошие друзья, но ничего с этим не могу поделать. Я позвонила этой женщине, Гвендолине Маркс, и сказала так:

что бы ни произошло между Доном и Мильдред, я бы хотела, чтобы наши мальчики не прекращали дружить, жалко будет, если их дружба из-за этого пострадает, но она человек жесткий, Арчи, она озлоблена и сердита, у нее ледяное сердце, и она сказала, что не станет принимать это в расчет. А после того, как его отец уедет в Париж, спросила я, Ной вернется в лагерь? Об этом не может быть и речи, сказала она. Ну дайте хотя бы мальчикам возможность друг с другом попрощаться в воскресенье, сказала я, а она ответила, ты только представь, она сказала: Зачем? Я к тому моменту уже вся пылала, никогда, наверное, так в жизни не сердилась, и закричала на нее: Как же можно задавать такой вопрос? А она спокойно ответила: Мне нужно оберечь Ноя от эмоциональных сцен; жизнь у него трудна и без того. Даже не знаю, что сказать тебе, Арчи. Эта женщина лишилась рассудка. А моя сестра наелась успокоительных, плачет в постели так, что душа вон. А Дон от нее ушел, а у тебя забрали Ноя, и вот честно, малыш, чертовски великолепная вышла катавасия, а?

Второй месяц в лагере «Парадиз» был месяцем пустой койки. Голый матрас на металлической сетке справа от того места, где продолжал спать Фергусон, койка ныне отсутствующего Ноя, и что

ни день, Фергусон спрашивал себя, увидятся ли они с ним когда-нибудь еще. Собратья на полтора года, а теперь уже больше не собратья. Тетя, которая вышла за дядю, а теперь уже опять ни за кем не замужем, и дядя живет по другую сторону Атлантического океана, где он больше не может встречаться со своим мальчиком. Все какое-то время крепко, а потом однажды утром восходит солнце — и весь мир начинает таять.

В конце августа Фергусон вернулся домой в Мапльвуд, попрощался со своей комнатой, попрощался со столом для пинг-понга на заднем дворе, попрощался со сломанной сетчатой дверью в кухню, и на следующей неделе они с родителями въехали в свой новый дом на другом краю города. Началась эпоха жизни на широкую ногу.

2.1

Сколько Фергусон себя помнил, он всегда смотрел на рисунок девушки на бутылке «Белой скалы». То была марка сельтерской, которую его мать покупала в поездках в «А-и-Т»[7] два раза в неделю, а поскольку отец его твердо верил в достоинства сельтерской, на столе во время обеда

---

[7] Сноски: 7
«Большая Атлантическая и Тихоокеанская чайная компания».

бутылка этой воды стояла всегда. Стало быть, Фергусон изучал девушку сотни раз, придвигая бутылку поближе, чтобы смотреть на черно-белое изображение полуобнаженного тела на этикетке — эту манящую, безмятежно изящную девушку с маленькими голыми грудками и в белой набедренной повязке, обернутой вокруг ее бедер, которая распахивалась, обнажая по всей длине ее правую ногу на переднем плане, подвернутую, пока она подавалась вперед на коленях, опираясь на руки, и глядела в омут с водой со своего насеста на выступающем камне, на котором уместно значились слова «Белая скала», а примечательного, хоть и совершенно невероятного, в девушке были два полупрозрачных крылышка, торчавших из спины, и это означало, что она — больше, чем человек, она богиня или какое-то зачарованное существо, и все члены ее из-за этого были настолько тонки, и она вообще производила впечатление такой маленькой, что ее по-прежнему можно было считать девочкой, а не взрослой женщиной, невзирая на груди, которые были крохотными бутонами двенадцати- или тринадцатилетней, а подобранные наверх и заколотые волосы являли голую, светящуюся кожу у нее на шее и плечах, она как раз была той са-

мой девочкой, о какой мог всерьез задумываться любой мальчик, и когда мальчик этот становился чуть постарше, скажем, лет в двенадцать или тринадцать, девочка «Белой скалы» могла легко обратиться в полноправную эротическую чаровницу, в призыв к миру плотской страсти и полностью пробужденных желаний, а как только это произошло с Фергусоном, он присматривал, чтобы, когда он глядит на бутылку, родители не глядели на него.

Кроме того, еще была коленопреклоненная индеанка на коробке масла «Земля озер» — красотка-подросток с длинными черными косами и двумя разноцветными перышками, торчавшими у нее из головной повязки с бусинами, но беда с этой возможной соперницей нимфы с «Белой скалы» была в том, что она полностью одета, а это значительно ослабляло ее притягательность, не говоря уже о том, что беда усугублялась ее локтями, негибко торчавшими в стороны, поскольку она протягивала коробку масла «Земля озер», идентичную той, что стояла перед Фергусоном, — ту же самою коробку, только меньше, с той же самой картинкой девушки-индеанки, протягивающей другую коробку масла «Земля озер», еще меньше, и было это маняще, хоть и оза-

дачивало, как ощущал Фергусон: нескончаемое удаление все более уменьшающихся индейских девушек, держащих коробки масла все мельче и мельче, что походило на то, какое впечатление производила коробка «Квакерских овсов» с улыбающимся квакером в черной шляпе, он уходил куда-то до полного исчезновения, пока человеческое зрение переставало его различать, мир внутри мира, который располагался внутри другого мира, который располагался внутри другого мира, который располагался внутри другого мира, покуда мир не сводился к размерам единственного атома, и все же ему как-то удавалось делаться еще меньше. По-своему интересно, но едва ли такое способно вдохновлять сны, поэтому индейская девушка с маслом и дальше с большим отрывом занимала второе место после принцессы «Белой скалы». Вскоре после того, как ему исполнилось двенадцать, однако, Фергусона посвятили в тайну. Он пошел дальше по кварталу навестить своего друга Бобби Джорджа, и двое мальчишек сидели на кухне и ели сандвичи с тунцом, как вдруг на кухню зашел четырнадцатилетний брат Бобби Карл — высокий нескладный парнишка, склонный к математике, с лицом, усеянным прыщами: он иногда шпынял своего младшего брата,

а иногда разговаривал с ним как с почти ровней, но в тот дождливый субботний день в середине марта у непредсказуемого Карла настроение было щедрое, и пока мальчишки сидели за столом, жевали свои сандвичи и пили молоко, он сообщил им, что совершил потрясающее открытие. Не поясняя, что именно открыл, он распахнул дверцу холодильника и вытащил коробку масла «Земля озер», достал из выдвижного ящика у мойки ножницы и катушку клейкой ленты и перенес три эти предмета на кухонный стол. Глядите-ка, сказал он, и двое мальчишек стали глядеть, как он разрезал коробку на шесть сторон и отложил две крупные картинки с индейской девушкой на них. После чего вонзился ножницами в одну картинку, отрезал колени девушки и полоску голой кожи над ними, видневшейся у нее под краем юбочки, а затем наклеил колени на коробку с маслом на другой картинке, и — вы только гляньте — колени превратились в груди, пару крупных, голых грудей, каждая с красной точкой посередке, и весь мир мог бы признать в этих точках идеально нарисованный сосок. Чопорная скво из племени лакота превратилась в соблазнительную зажигательную красотку, и, покуда Карл щерился, а Бобби визжал от хохота, Фергусон

смотрел на результат, не издавая ни звука. Какая умная штуковина, думал он. Несколько взмахов ножниц, одна-единственная полоска прозрачной ленты — и девушку с маслом раздели.

Фотографии голых женщин печатали в «Нэшнл Джиографике» — журнале, который родители Бобби выписывали и отчего-то никогда не выбрасывали, поэтому то и дело весной 1959 года Фергусон и Бобби возвращались домой из школы и тут же направлялись прямиком в гараж Джорджей, где рылись в стопках желтых журналов, выискивая изображения гологрудых женщин — антропологических образцов из первобытных племен Африки и Южной Америки, чернокожих и бурокожих женщин из всяких мест с теплым климатом, где разгуливали вообще без всякой одежды либо с очень малым ее количеством и вовсе не стыдились, что их такими видят, они выставляли напоказ свои груди с тем же безразличием, с каким американская женщина станет обнажать кисти рук или уши. Фотографии эти были отчетливо неэротичны, и, за исключением редкой красавицы, попадавшейся им в одном номере из семи или десяти, большинство женщин, на взгляд Фергусона, были непривлекательны, но все равно смотреть на такие картинки было

поучительно и возбуждало: уж что, что, а нескончаемое разнообразие женских форм они являли, в особенности изобилие различий в размерах и очертаниях грудей, от крупных до мелких, и все, что между, от пышных, выпирающих грудей, до сплющенных, обвисших, от грудей гордых до грудей побежденных, от симметричных до странно сопоставленных, от смеющихся грудей до плачущих, от истончавших титек древних старух до громоздких непомерностей кормящих матерей. В таких фуражировках по страницам «Нэшнл Джиографика» Бобби частенько хихикал — он смеялся, чтобы скрыть неловкость от того, что ему хотелось поглядеть *грязные картинки*, как он их называл, а вот Фергусон никогда не считал эти снимки грязными, и ему никогда не бывало стыдно от своего желания их разглядывать. Груди были важны, поскольку они — самая выдающаяся и зримая черта, отличающая женщин от мужчин, а женщины теперь служили для него предметом великого интереса, ибо хоть он пока еще и был неполовозрелым мальчишкой двенадцати лет, внутри у Фергусона шевелилось уже довольно всякого, чтобы он понимал: дни его детства сочтены.

Обстоятельства изменились. С ограблением

склада в ноябре 1955-го, за которым в феврале 1956-го последовала автокатастрофа, дядья Фергусона оказались вычеркнуты из круга семьи. Опозоренный дядя Арнольд теперь жил в далекой Калифорнии, покойный дядя Лью покинул этот свет навсегда, и «Домашнего мира 3 братьев» больше не существовало. Почти весь следующий год отец Фергусона пытался удержать свое дело на плаву, но полиции так и не удалось отыскать украденные бытовые приборы, а поскольку он отозвал свою заявку на страховую выплату, отказавшись выдвигать обвинения против своего брата, потери, вызванные таким актом великодушия, были слишком велики, такие ничем не покрыть. Решив не залезать еще глубже в долги, он при помощи деда Фергусона вернул банку экстренный заем и все распродал, освободив себя от бремени здания, склада и всего оставшегося товара, тем самым сбежав от призраков своих братьев и загубленного предприятия, которое больше двадцати лет было всей его жизнью. Здание, конечно, осталось стоять как и прежде — на своем старом месте на Спрингфильд-авеню, но теперь оно называлось «Ньюманова мебель со скидкой».

Отец Фергусона вернул тестю занятое из денег,

вырученных за продажу, а затем открыл новый магазин в Монклере, поменьше — «ТВ и радио Станли». С точки зрения Фергусона, такое положение дел было гораздо лучше прежнего, ибо новое заведение отца, так уж вышло, располагалось в том же квартале, что и «Ателье Страны Роз», и теперь он имел возможность заглядывать к любому из своих родителей, когда бы только этого ни пожелал. «ТВ и радио Станли» было тесным, да, но в нем чувствовался приятный уют, и Фергусону нравилось навещать там отца после школы, садиться с ним рядом за верстак в задней комнате, пока отец его чинил телевизоры, радиоприемники, а также всякие другие штуки: разбирал, после чего собирал обратно неработающие тостеры, вентиляторы, кондиционеры воздуха, лампы, проигрыватели грампластинок, блендеры, электрические соковыжималки и пылесосы, поскольку молва о том, что отец Фергусона — человек, способный починить что угодно, разошлась быстро, а раз в передней комнате магазина стоял продавец Майк Антонелли и продавал жителям Монклера радио и телевизоры, то Станли Фергусон почти все время проводил в глубине заведения, возился себе в тиши, терпеливо разбирал сломанные устройства, чтобы те снова

заработали. Фергусон понимал, что в отце его что-то сокрушилось предательством Арнольда, что это вот сокращенное воплощение былого дела представляло собой для него глубокий личный разгром, однако же нечто в нем изменилось и к лучшему, а главными выгодоприобретателями такой перемены оказались его жена и сын. Теперь родители Фергусона спорили гораздо реже, чем раньше. Напряженность дома развеялась — вообще-то казалось, что она исчезла совсем, и Фергусона успокаивало, что его мать и отец теперь обедали каждый день вместе, вдвоем и больше никого в угловой кабинке «Столовки Ала», и вновь и вновь, самыми разнообразными способами, однако, по сути, одинаково мать Фергусона отпускала в беседах с ним замечания, которые, в сухом остатке, означали вот что: *Твой отец хороший человек, Арчи, лучший человек где бы то ни было*. Человек хороший и по-прежнему в основном неразговорчивый, но теперь, раз он отказался от прежней своей мечты стать следующим Рокфеллером, Фергусону в его присутствии было поуютнее. Теперь они могли немного разговаривать, и почти все время Фергусон бывал вполне уверен, что отец его слушает. И даже когда они не разговаривали, Фергусону очень

нравилось сидеть рядом с отцом за верстаком после школы, делать домашнее задание на одном его конце, а за другим своими делами занимался отец — медленно разбирал еще одну поврежденную машинку и собирал ее опять воедино.

Денег теперь было меньше, чем в дни «Домашнего мира 3 братьев». Вместо двух машин родители Фергусона теперь владели одной — зеленовато-голубым «понтиаком» 1954 года — и еще красным доставочным фургоном «шевроле» с названием отцова предприятия на обеих боковых дверцах. В прошлом его родители иногда уезжали вместе по выходным, обычно куда-нибудь в Катскиллы на пару дней — поиграть в теннис и потанцевать у «Гроссингера» или в «Конкорде», но после того, как в 1957 году открылся «ТВ и радио Станли», они это дело забросили. В 1958-м, когда Фергусону понадобилась новая бейсбольная перчатка, отец отвез его аж в магазин Сэма Бронштейна в центре Ньюарка, чтобы купить *по себестоимости*, а не стал давать ему денег, чтобы он купил точно такую же перчатку в «Галлахере», местном спортивном магазине Монклера. Разница составляла двенадцать с половиной долларов — ровно двадцатка в сравнении с тридцатью двумя пятьюдесятью, разница неве-

ликая в общемировом устройстве, но все равно существенная экономия, какой хватило, чтобы открыть Фергусону глаза на то, что жизнь изменилась, и ему отныне придется хорошенько думать, прежде чем просить у родителей чего-то помимо того, что строго необходимо. Вскоре после этого на них перестала работать Касси Буртон, и почти точно так же, как в 1952-м в аэропорту в объятьях друг дружки плакали его мать и тетя Мильдред, так и утром, когда Касси сообщили, что семье держать ее больше не по карману, плакали его мать и Касси. Вчера отбивные, сегодня гамбургеры. Семья опустилась на риску-другую, но кто же в здравом уме станет ночей не спать из-за того, что нужно затянуть чуть потуже ремень? Книжка из публички — та же самая, какую раньше б ты купил в магазине, теннис по-прежнему теннис, играешь ли ты в него на муниципальных кортах или же в частном клубе, а отбивные и гамбургеры делают из той же коровы, и хотя отбивным полагалось представлять собой вершину хорошего житья, правда была в том, что Фергусону всегда больше нравились гамбургеры, особенно с кетчупом — а кетчуп был тот же самый, каким он когда-то сверху намазывал пухлые вырезки средней прожарки, которые так нравились его отцу.

Воскресенье по-прежнему оставалось лучшим днем недели, особенно если в такое воскресенье не требовалось идти ни к кому в гости и никто не приходил к ним, этот день Фергусон мог проводить наедине с родителями, и теперь, когда стал крупнее и крепче и превратился в проворного спортивного двенадцатилетку, он наслаждался утренними теннисными матчами с родителями, два против одного между матерью-сыном и мужем/отцом, спаренными матчами, в которых они в паре с отцом играли против Сэма Бронштейна и его младшего сына, а после тенниса обычно обедали в «Столовке Ала» — с неизменным шоколадным молочным коктейлем, а после обеда — кино, а после кино — китайская еда в «Зеленом драконе» в Глен-Ридже, или жареная курица в «Маленьком домике» в Милльбурне, или горячие открытые сандвичи с индейкой в «Хижине приятеля» в Вест-Оранже, или же тушеное мясо и блины с сыром в «Клермонтской столовой» в Монклере: людные, недорогие места для еды в предместьях Нью-Джерси, шумные и неутонченные, быть может, но кормили там хорошо, стоял воскресный вечер, они втроем были вместе, и даже если Фергусон к тому времени уже начал отстраняться от родителей, тот един-

ственный день недели помогал поддерживать иллюзию того, что боги, если пожелают, могут быть милостивы.

Тете Мильдред и дяде Генри не удалось произвести на свет двоюродного Адлера, какого Фергусону так хотелось в раннем детстве. Причины были ему неизвестны — стерильность, бесплодие или же сознательный отказ увеличивать народонаселение мира, но, несмотря на разочарование Фергусона, пустота без кузена на Западном побережье в итоге сыграла ему на руку. У тети Мильдред могло и не быть близости с собственной сестрой, но отсутствие своих детей, да и без каких-либо других племянников или племянниц где-либо в зоне видимости, какие бы то ни было материнские порывы, что у нее имелись, выливались на ее единственного и неповторимого Арчи. После ее отъезда в Калифорнию, когда Фергусону было пять, они с дядей Генри несколько раз возвращались в Нью-Йорк на продолжительные летние визиты, и даже когда она жила в Беркли весь остальной год, связь ее с племянником не прерывалась — она писала ему письма и время от времени звонила по телефону. Фергусон понимал, что в его тете чувствуется какой-то лед, что она может быть жестка и пред-

взята, а то и груба с другими людьми, но вот с ним, ее единственным и неповторимым Арчи, она была совершенно другим человеком: щедрым на похвалы, добродушным, ее всегда интересовало, чем занимается ее мальчик, о чем думает и что читает. С его самого раннего детства была у нее привычка покупать ему подарки, изобилие подарков, какие обычно являлись в виде книг и пластинок, а теперь, когда он стал постарше и его умственные способности возросли, количество книг и пластинок, что она пересылала ему из Калифорнии, тоже увеличилось. Вероятно, она не доверяла его матери и отцу в том, что они будут способны осуществлять должное интеллектуальное руководство им, быть может, она считала его родителей парочкой необразованных никчемных буржуа, наверное, полагала, будто долг ее — спасти Фергусона из этой пустыни невежества, в которой он жил, — считая, что лишь она и только она способна предложить ему помощь, необходимую для преодоления крутых склонов просвещения. Несомненно, вероятно было и то, что была она (как, однажды подслушал он, его отец сказал его матери) *интеллектуальным снобом*, но не поспоришь с тем фактом, что, сноб она или не сноб, интеллектуальная она была на

самом деле — личность с громадной эрудицией, зарабатывала себе на жизнь преподаванием в университете, и те произведения, с какими она знакомила своего племянника, и впрямь были для него великим благословением.

Ни один другой мальчик в его круге знакомых не читал того, что читал он, а поскольку тетя Мильдред тщательно отбирала для него книги, как делала это для своей сестры в период ее заключения тринадцатью годами ранее, Фергусон читал присылаемое ею с жадностью, напоминавшей физический голод, ибо тетя его понимала, какие книги способны удовлетворить аппетиты быстро развивающегося мальчика по мере того, как он вырастал с шести лет до восьми, с восьми до десяти, с десяти до двенадцати — и далее, до самого окончания средней школы. Для начала сказки, братья Гримм и многоцветные книжки, составленные шотландцем Лангом, за ними чудесные, фантастичные романы Льюиса Кэрролла, Джорджа Макдональда и Э. Несбит, за ними Бульфинчевы пересказы греческих и римских мифов, детский вариант «Одиссеи», «Паутина Шарлотты», книжка, составленная из сказок «Тысячи и одной ночи» и пересобранная под названием «Семь странствий Синдбада-Морехода», а за ними

через несколько месяцев — и шестисотстраничное избранное из «Тысячи и одной ночи» уже целиком, а на следующий год — «Доктор Джекилл и мистер Хайд», жуткие и таинственные рассказы По, «Принц и нищий», «Похищенный», «Рождественская песнь», «Том Сойер» и «Этюд в багровых тонах», и так силен был отклик Фергусона на книжку Конан-Дойля, что подарок, полученный им от тети Мильдред на свой одиннадцатый день рождения, был очень толстым изданием «Полного Шерлока Холмса» со множеством картинок. Таковы были лишь некоторые книжки, но ведь появлялись еще и пластинки, которые оказывались не менее важны для Фергусона, чем книги, и особенно теперь, в последние два-три года, начиная с его девяти или десяти лет, они поступали к нему с регулярными трех-четырехмесячными интервалами. Джаз, классическая музыка, народная музыка, ритм-энд-блюз и даже кое-что из рок-н-ролла. Опять же, как и с книгами, подход тети Мильдред был строго педагогическим, и Фергусона вела она поэтапно, зная, что Луи Армстронг должен предварять Чарли Паркера, который должен идти прежде Майлса Девиса, что Чайковский, Равель и Гершвин должны быть раньше Бетховена, Моцарта и Баха, что «Ткачей»

нужно слушать раньше Ледбелли, а Элла Фицджеральд, поющая Кола Портера, — необходимый первый шаг перед сдачей экзамена на Билли Холидей, поющую «Чудны́е плоды». К большому своему огорчению, Фергусон обнаружил, что к самостоятельному исполнению музыки у него нет ни йоты таланта. В семь лет пробовал играть на пианино — и, отчаявшись, бросил год спустя; в девять взялся за корнет и бросил; в десять сел за барабаны и тоже бросил. Отчего-то трудно было ему читать музыку с листа, он не умел полностью усвоить символы на странице, эти пустые и зачерненные кружочки, сидящие на линейках или угнездившиеся между ними, бемоли и диезы, ключевые знаки, скрипичные ключи и басовые, ноты отказывались входить в него и машинально распознаваться, как это некогда удалось буквам и цифрам, а потому ему приходилось думать про каждую ноту, прежде чем ее сыграть, а это замедляло его продвижение через такты и размеры любой данной пьесы и, по сути, не давало ему вообще сыграть что бы то ни было. Прискорбный провал. Его обычно быстрый и действенный ум становился инвалидом, когда дело доходило до расшифровки тех непокорных отметок, и вместо того, чтобы дальше упорно биться

головой в стену, он бросил эту борьбу. Печальный проигрыш, поскольку его любовь к музыке оказалась так сильна, и он умел так хорошо ее слышать, когда ее исполняли другие, ибо ухо у него было чувствительным и тонко настроенным на нюансы композиции и исполнения, а вот сам он как музыкант, выяснилось, — безнадежен, совершенный неудачник, что означало только то, что теперь пришлось смириться и остаться лишь слушателем — пылким, преданным слушателем, и его тетя Мильдред была достаточно умна, чтобы знать, как подкармливать эту преданность, которая наверняка считалась одной из существенно важных причин жить.

Тем летом во время одного из ее приездов обратно на восток с дядей Генри тетя Мильдред помогла Фергусону просветиться и еще в одном деле крайней для него важности, кое-чем совершенно не связанном с книгами или музыкой, но равно, если не более, значимом для его ума. Она приехала в Монклер провести несколько дней со своим единственным и неповторимым и его родителями, и когда они вдвоем сели обедать в первый же день (мать и отец были на работе, а это значило, что Фергусон и его тетя оставались в доме одни), он показал на бутылку сельтерской

«Белая скала», стоявшую на столе, и спросил, почему у девушки на этикетке из спины растут крылышки. Я не понимаю, сказал он. Это не ангельские крылья и не птичьи — именно такие ведь можно рассчитывать увидеть у мифического существа, — а хрупкие крылышки насекомого, крылышки стрекозы или бабочки, и его это ставило в непроходимый тупик.

Ты разве не знаешь, кто это, Арчи? — спросила его тетя.

Нет, ответил он. Конечно, не знаю. Если б знал, разве я стал бы спрашивать.

Я думала, ты прочел Бульфинча, которого я тебе присылала пару лет назад.

Прочел.

Полностью?

Кажется, да. Мог пропустить главу-другую. Не помню.

Ничего. Потом посмотришь. (*Взяв бутылку со стола, постукивая пальцами по рисунку девушки.*) Это не очень хорошая картинка, но предполагается, что это Психея. Теперь ее помнишь?

Купидон и Психея. Я правда читал эту главу, но там нигде ничего не говорилось, что у Психеи есть крылышки. У Купидона крылья были, крылья и колчан стрел, но Купидон — бог, а Психея — про-

сто смертная. Красивая девушка, но все равно человек, такая же, как мы. Нет, погоди-ка. Теперь я вспомнил. Выйдя замуж за Купидона, она тоже становится бессмертной. Верно, правда? Но я все равно не понимаю, зачем ей эти крылышки.

Слово *психе* по-гречески значит две вещи, сказала его тетя. Две очень разные, но интересные вещи. *Бабочка* и *душа*. Но если не торопясь и тщательно про это подумаешь, *бабочка* и *душа* не так уж и различны, в конце-то концов, верно? Бабочка начинается с гусеницы, такого некрасивого ничто, привязанного к земле червячка, а потом однажды гусеница свивает себе кокон, и некоторое время спустя кокон раскрывается, и наружу выпархивает бабочка, самое красивое существо на свете. Так же происходит и с душами, Арчи. Они борются в глубинах тьмы и невежества, страдают от своих испытаний и несчастий и мало-помалу этими страданиями очищаются, укрепляются трудностями, какие им достаются, — и вот однажды, если душа, о какой мы говорим, — душа достойная, она вырвется из кокона и воспарит ввысь, как великолепная бабочка.

Никакого, стало быть, таланта к музыке, к рисованию или живописи и убогая неспособ-

ность петь, танцевать и играть на сцене, но вот к играм у него талант имелся, к физическим играм, к спорту во всех его сезонных разновидностям — к бейсболу в теплые времена года, футболу в промозглые, баскетболу в холода, и к своим двенадцати годам Фергусон уже входил в команды по всем этим видам спорта и играл круглый год без перерывов. С того самого дня в конце сентября 1954-го, того незабвенного дня, что он провел с Касси, смотря, как Мейс и Родс разгромили «Индейцев», самым важным его увлеченьем стал бейсбол, и как только на следующий год он начал играть всерьез, оказалось, что удается это ему на удивление хорошо, так же хорошо, как лучшим игрокам вокруг: на поле он был крепок, крепко держал биту, инстинктивно ощущал нюансы любой ситуации, складывавшейся по ходу игры, а когда кто-то обнаруживает, что может что-то делать хорошо, он скорее станет делать то же самое и дальше — и как можно чаще. Бессчетными утрами по рабочим дням, бессчетными днями среди недели, бессчетными ранними вечерами играл он в мяч с друзьями в общественных парках, не говоря о множестве дворовых разновидностей: стикбол, виффлбол, ступбол, панчбол, воллбол, кикбол и руфбол,

затем же, в девять — Малая лига, и с нею возможность принадлежать к организованной команде и носить форму с номером на спине, номер 9, он всегда в той команде был номером 9, да и во всех остальных, что были следом, 9 по количеству игроков и количеству иннингов, 9 как чистое численное выражение самой игры, а на голове у него темно-синяя кепка с белой *Г*, вышитой на тулье, *Г* значит «Спортивные товары Галлахера», спонсора команды, которая была командой с тренером-добровольцем на полном рабочем дне, мистером Бальдассари — на еженедельных тренировках он муштровал игроков основами, хлопал в ладоши и выкрикивал оскорбления, приказы и похвалы на играх дважды в неделю, одна в субботу утром или днем, а другая вечером во вторник или четверг, и Фергусон стоял на позиции в поле, за четыре года, что провел в этой команде, вырастая от тщедушного прутика до мальчика-крепыша, в девять — второй базовый игрок и хиттер номер восемь, шортстоп и хиттер номер два в десять, шортстоп и зачищающий хиттер в одиннадцать и двенадцать, плюс дополнительное наслаждение от того, что играешь перед толпой, в среднем от пятидесяти до ста человек — родители и братья-сестры игроков,

разнообразные друзья, двоюродные родичи, прародители и случайные зеваки, вопли и свист, крики, хлопки и топот с трибун, что начинались с первой же брошенной подачи и длились до самого завершенья, и за те четыре года мать его редко пропускала игру, он искал ее глазами, разогреваясь вместе с товарищами по команде, как вдруг — вот она, махала ему со своего места на трибунах, и он всегда слышал ее голос, доносившийся до него сквозь другие голоса, когда он выходил на удар: *Давай, Арчи, Полегоньку, Арчи, Завали его отсюда, Арчи*, — а потом, после кончины «Домашнего мира 3 братьев» и рождения «ТВ и радио Станли» на матчи начал ходить и отец, и хоть он не кричал так, как кричала мать Фергусона, по крайней мере не так напористо, чтоб его можно было расслышать в толпе, именно он вел подсчет средних очков Фергусона, которые неуклонно росли по ходу лет, завершившись на несусветно высоком показателе .532 за последний сезон, последний матч которого был отыгран за две недели до того, как Фергусон и тетя Мильдред побеседовали о Психее, но он тогда уже был лучшим игроком в команде, одним из двух-трех лучших в лиге, и от лучшего игрока-двенадцатилетки такой средний балл можно было ожидать.

В пятидесятых дети не играли в баскетбол, поскольку были слишком малы, слишком слабы, куда им бить мячом по корзинам на высоте десять футов, поэтому образование Фергусона в науке корзин началось лишь после того, как ему исполнилось двенадцать, а вот в футбол он играл непрерывно с шести лет, контактный футбол со шлемами и наплечниками, по большей части — полузащитником, поскольку был он решительным, хоть и не очень быстрым бегуном, но как только руки у него отросли достаточно, чтобы крепко хватать ими мяч, позиция его поменялась, ибо Фергусон к тому времени, как ему исполнилось четырнадцать, и его друзья обнаружили, что у него есть безумный талант передавать пасы, что крученые, какие запускал он правой своей рукой, летят быстрее, точнее и гораздо дальше, чем у кого бы то ни было, на пятьдесят — пятьдесят пять ярдов через все поле, и хотя Фергусон эту игру любил не с теми же тщанием и пылом, с какими любил он бейсбол, распасовщиком играть ему очень нравилось, поскольку мало что может сравниться с ощущением концовки длинного паса приемщику, несущемуся сломя голову к конечной зоне в тридцати-сорока ярдах от линии схватки, то жутковатое ощущение незри-

мой связи через пустое пространство походило на переживание удара, попадающего в корзину в прыжке с двадцати футов, но отчего-то удовлетворяло больше, поскольку связь эта была с другим человеком, а не с неодушевленным предметом, сделанным из бечевки и стали, и потому он терпел менее привлекательные грани этого спорта (грубые подсечки, убийственные блокировки, столкновения, от которых оставались синяки), чтобы повторить никогда не переставшее волновать ощущение — швырнуть мяч своим товарищам по команде. Затем, в ноябре 1961-го, его, девятиклассника четырнадцати с половиной лет, двинул двухсотпятидесятифунтовый защитник на линии по имени Деннис Мэрфи, и он оказался в больнице со сломанной левой рукой. Он намеревался следующей осенью попробоваться в команду старших классов, но загвоздка с футболом состояла в том, что на игру там требовалось разрешение родителей, а когда он вернулся домой после первого дня в старших классах и предъявил матери бланк, та отказалась его подписывать. Он ее умолял, он ей грозил, он проклинал ее за то, что она себя ведет, как истеричная мать-наседка, но Роза не уступала, и так настал конец карьере Фергусона в футболе.

Я знаю, ты меня считаешь идиоткой, сказала его мать, но однажды, Арчи, ты мне за это спасибо скажешь. Ты крепкий мальчик, но никогда не будешь сильным или крупным настолько, чтобы превратиться в дубину, а чтобы играть в футбол, нужно быть именно таким — толстокожим дубиной, обормотом, которому нравится врезаться в других, животным, а не человеком. Мы с твоим отцом расстроились, когда ты в прошлом году сломал себе руку, но теперь я понимаю, что нет худа без добра, это нам было предупреждение, и теперь я не намерена позволять своему сыну портить себе тело в старших классах, чтобы дальше он ковылял на разбитых коленях весь остаток своей жизни. Занимайся и дальше бейсболом, Арчи. Это красивый вид спорта, и у тебя он хорошо получается, его так волнующе смотреть, чего же ради рисковать потерей бейсбола, если изувечишься в бессмысленном футболе? Хочешь и дальше кидать эти свои пасы — играй в бесконтактный футбол. Ну вот погляди на Кеннеди. Они же этим и занимаются, верно? Вся семья там у себя в Кейп-Коде скачет по лужайке, пинает мячики налево и направо, хохочет-заливается. По мне, так это очень весело.

Кеннеди. Даже теперь, независимым, свободо-

мыслящим, временами бунтарски настроенным пятнадцатилеткой, он изумлялся тому, насколько хорошо мать продолжает его понимать, до чего умело может она достучаться до его сердца, если этого требует ситуация, до его вечно спотыкливого и раздираемого противоречиями сердца, ибо, хоть Фергусон и не желал признавать этого ни перед ней, ни перед кем-либо еще, он знал: насчет футбола мать права, по самому своему темпераменту он для протоколов кровавых стычек не годится, и лучше ему послужит сосредоточенность на любимом его бейсболе, но тут она довернула рукоятку еще на одно деление и упомянула Кеннеди, которые, знала она, для него — предмет чрезвычайной важности, гораздо более значимый, нежели какой-то эфемерный футбол или его отсутствие, и, отойдя от школьного спорта к американскому президенту, беседа их стала совсем другой беседой, и вдруг сказать по этому поводу больше было нечего.

Фергусон следил за Кеннеди уже больше двух с половиной лет, начав с объявления, что тот выдвигается кандидатом в президенты от Демократической партии 3 января 1960 года, ровно за два месяца до тринадцатого дня рождения Фергусона и через три дня после начала нового

десятилетия, которого Фергусон почему-то очень ждал как знака восторженного обновления, раз вся его сознательная жизнь прошла в пятидесятых, когда президентом был старик, сердце его подвержено приступам, бывший генерал, играющий в гольф, и Кеннеди его поразил как нечто совершенно новое и все из себя замечательное, полный сил молодой человек, желающий изменить мир — несправедливый мир расового угнетения, идиотский мир Холодной войны, опасный мир гонки ядерных вооружений, самодовольный мир бессмысленного американского материализма, и, поскольку ни один другой кандидат на все эти напасти не обращал внимания так, чтобы удовлетворять Фергусона, он и решил, что Кеннеди — человек будущего. На том рубеже он был еще слишком мал и не понимал, что политика — это всегда политика, но в то же время был уже достаточно взросл, чтобы осознавать: что-то должно подвинуться, ибо те первые дни 1960-го полнились известиями о сидячей забастовке четырех черных студентов в Северной Каролине, за стойкой кафетерия, в знак протеста против сегрегации, о конференции по разоружению в Женеве, о сбитом над советской территорией шпионском самолете «У-2» и аресте летчика Гари Пауэрса, что

заставило Хрущева уйти с Парижской встречи в верхах и прекратило Женевские переговоры по разоружению без всякого успеха относительно остановки распространения ядерного оружия, вслед за чем последовал рост враждебности между Кастро и Соединенными Штатами, что подрезало импорт кубинского сахара на девяносто пять процентов, а потом, через семь дней после этого, вечером тринадцатого июня Кеннеди выиграл номинацию по первому туру на съезде Демократической партии в Лос-Анджелесе. То было первое лето из трех подряд, которые Фергусон проводил дома в Нью-Джерси — играл в бейсбол в турнире Американского легиона с «Монклерскими лысухами», четыре матча в неделю, начинающим хиттером и вторым базовым в тот первый год, поскольку был он теперь самым младшим игроком в команде и вновь начинал с самого низу, одинокий тринадцатилетка в команде четырнадцати- и пятнадцатилетних, и те жаркие месяцы, июль и август, пока Фергусон читал газеты и такие книжки, как «Скотный двор», «1984» и «Кандид», впервые внимательно слушал Третью, Пятую и Седьмую симфонии Бетховена, преданно листал каждый новый номер журнала «Мад» и вновь и вновь крутил альбом Майлса

Девиса «Порги и Бесс», он все так же неожиданно заскакивал в ателье матери и лавку отца, а после тех кратких приветствий шел в местную штаб-квартиру Демократической партии в полутора кварталах дальше по улице, где помогал взрослым добровольцам лизать марки и конверты в обмен на неистощимые запасы значков кампании, наклеек на бамперы и плакатов, которые он прозрачной клейкой лентой приделывал ко всем незанятым участкам четырех стен у себя в спальне — так, что к концу лета комната его превратилась в капище Кеннеди.

Много лет спустя, когда Фергусон повзрослел уже до того, чтобы во всем разбираться, он оглядывался на тот период юношеского своего поклонения герою, и его передергивало, но в 1960-м все для него так и было, и с чего ему понимать тогда что-то иначе, если жил он на этой земле всего тринадцать лет? Стало быть, Фергусон болел за Кеннеди и хотел, чтобы тот выиграл, точно так же, как поддерживал некогда «Гигантов», чтобы те победили в Чемпионате США, ибо политическая кампания ничем не отличалась от спортивного события, осознал он, только тут не удары, а слова, быть может, но и они не менее грубы, чем в кровавейшем боксер-

ском поединке, а когда дело доходило до поста президента, борьба уже велась в таких масштабах и до того зрелищно, что во всей Америке не было спектакля лучше. Блистательный Кеннеди против сурового Никсона, Король Артур против Кислой Морды, шарм против возмущения, надежда против озлобленности, день против ночи. Четырежды эти двое сходились по телевидению, четыре раза Фергусон и его родители смотрели дебаты в маленькой своей гостиной, и четырежды становились убеждены, что Кеннеди одолел Никсона, хоть люди и поговаривали, будто Никсон громил его в радиопередачах, да только значение теперь имело телевидение, оно было повсюду и вскорости станет уже всем, как отец Фергусона и предсказывал еще во время войны, и вот первый телевизионный президент явно выигрывал бой на домашнем экране.

Победа восьмого ноября, узкий перевес в сотню тысяч голосов избирателей, один из самых маленьких перевесов в истории — и более существенная победа по коллегии выборщиков, на восемьдесят четыре голоса, а когда наутро Фергусон отправился в школу и отпраздновал вместе с друзьями, кто был за Кеннеди, некоторые цифры еще не были известны, и уже ходили

слухи, что чикагский мэр Дейли украл избирательные урны из республиканских районов и выкинул их в озеро Мичиган, а когда обвинение это достигло ушей Фергусона, он с трудом такому поверил, слишком уж предосудительна была эта мысль, слишком тошнотворна, ибо такой финт превратил бы все выборы в скверный анекдот, в пародию, состоящую из хитроумных манипуляций и лжи, но тогда, едва Фергусон совсем уже собрался дать выход ярости, он вдруг изменил течение своих мыслей, осознав, что с бойскаутской чепухой пора кончать и признать, что возможно все. Растленные люди есть везде, и чем могущественней человек, тем больше возможностей для коррупции, но даже если эта история — правда, ничего в ней не указывает на то, что к этому имел какое-то отношение сам Кеннеди. Дейли и его банда жуликов из округа Кук — возможно. Но не Кеннеди, Кеннеди — ни за что.

И все же, невзирая на его нерушимую уверенность в человеке будущего, весь остаток дня Фергусон провел с картинкой в голове: эти затонувшие избирательные урны лежат на дне озера Мичиган, и даже после того, как окончательные цифры доказали, что Кеннеди бы все равно выиграл выборы, с Иллинойсом или без Иллинойса,

Фергусон не переставал думать об этих урнах, продолжал думать о них еще много лет.

Наутро 20 января 1961 года он сказал родителям, что ему как-то неможется, и спросил, нельзя ли сегодня не ходить в школу. Поскольку Фергусон мальчиком был сознательным и отнюдь не знаменитым тем, что измышлял для себя воображаемые болезни, желание его удовлетворили. Так вот и посмотрел он инаугурационную речь Кеннеди, сидя перед телевизором, пока его мать и отец были в центре города на работе, один в маленькой гостиной за кухней, церемонию, проходившую в холодном и ветреном Вашингтоне, таком морозном и открытом ветрам, что, когда древний Роберт Фрост со слезящимися глазами встал читать стихотворение, которое его попросили написать по этому случаю, тот самый Роберт Фрост, кто нес ответственность за единственную поэтическую строку, которую Фергусон знал наизусть, *В желтом лесу разошлись два пути*[8], ветер взбрыкнул неистово и внезапно, стоило ему только встать за кафедру, и вырвал у него из рук одну страницу рукописи, отчего хрупкому седовласому барду стало нечего читать, однако с

---

[8] Сноски: 8
Из стихотворения «The Road Not Taken», опубликованного в 1916 г.

восхитительным достоинством и проворством, как почувствовал Фергусон, тот взял себя в руки, и пока его новое стихотворение летало над толпой, он по памяти прочел старое, превратив то, что могло бы стать бедствием, в нечто вроде победы, это произвело впечатление, но в то же время было и как-то комично — или, как Фергусон вечером сказал родителям, и смешно, и не смешно разом.

Затем вышел только что давший присягу президент, и, едва начал он произносить свою речь, ноты, издаваемые этим туго натянутым инструментом риторики, показались Фергусону до того естественными, так удобно соединенными с его собственными внутренними ожиданиями, что поймал он себя на том, что слушает его так же, как слушал бы музыкальное произведение. Человек держит в своих смертных руках. Пусть слово полетит. Заплатим любую цену, выдержим любое бремя. Сила уничтожить все виды человеческой нищеты и все виды человеческой жизни. Пусть знают все нации. Факел передан. Справимся с любыми трудностями, поддержим любого друга, встанем против любого врага. Новое поколение американцев. То шаткое равновесие страха, что останавливает стрелку последней войны чело-

вечества. Нынче труба зовет нас снова. Призыв вынести бремя долгой сумеречной борьбы. Но давайте начнем. Родившись в этом веке, закаленные войной, дисциплинированные трудным и горьким миром. Давайте исследовать звезды. Спросите. Не спрашивайте. Борьба против общих врагов человечества — тирании, нищеты, болезней и само́й войны. Новое поколение. Спросите. Не спрашивайте. Но давайте же начнем.

Следующие двадцать месяцев Фергусон пристально наблюдал, как человек будущего спотыкается, идя вперед, начавши правление своей администрации с учреждения Корпуса мира, а затем едва не уничтожив его бойней в заливе Свиней семнадцатого апреля. Через три недели после футбольный мяч размером с человека по имени Алан Шепард был выпнут Национальным агентством космических исследований в открытое пространство, и Кеннеди объявил, что еще до окончания этого десятилетия американец пройдет по Луне, во что Фергусону поверить было трудно, но он все равно надеялся, что это произойдет, потому что хотел, чтобы человек этот оказался прав, а затем Джек и Джеки отправились в Париж встречаться с Де Голлем, за этим последовали два дня переговоров в Вене с Хрущевым,

а Фергусон и глазом не успел моргнуть, как уже прочел свою первую книгу о современной американской политике, «Сотворение президента, 1960», возвели Берлинскую стену и начался процесс Эйхмана в Иерусалиме, это унылое зрелище почти полностью облысевшего, подергивающегося убийцы, сидящего одного в стеклянном ящике, которое Фергусон смотрел по телевизору каждый день после школы, весь объятый ужасом этого зрелища и все же не в силах оторвать глаз от экрана, прекратить смотреть, и когда процесс завершился, он продрался через все 1245 страниц «Взлета и падения Третьего рейха», громадной книжищи, написанной бывшим журналистом из «черного списка» Вильямом Ширером, которая в 1961-м получила Национальную книжную премию и была самым протяженным текстом, что Фергусон когда-либо читал. Следующий год начался с другого внеземного подвига: в феврале Джон Гленн вырвался за пределы тропосферы и три раза облетел вокруг земли, а весной то же самое повторил Скотт Карпентер, и затем, всего через два дня после того, как Джемс Мередит стал первым черным студентом, допущенным учиться в Университет Миссисипи (еще одно зрелище, которое Фергусон наблюдал по телевизору, мо-

лясь, чтобы этого беднягу не закидали до смерти камнями), Волли Ширра в начале октября превзошел Гленна и Карпентера — облетел земной шар шесть раз. Фергусон тогда уже учился в десятом классе — первый год в Монклерской средней школе, а из-за того, что его мать отказалась подписать в сентябре бланк согласия, футбольный сезон начался без него. Однако к тому времени, как Ширра совершил свое путешествие, Фергусон почти справился уже с разочарованием, обретя новый интерес в лице Анн-Мари Дюмартен, своей однокашницы, приехавшей в Америку из Бельгии двумя годами ранее: они с ней встречались на занятиях по истории и геометрии, и он до того увлекся этим предметом своих всевозраставших знаков внимания, что как раз тогда думать о человеке будущего ему было, в общем, некогда, и потому вечером двадцать второго октября, когда Кеннеди обратился к американскому народу и рассказал ему о русских ракетных базах на Кубе и морской блокаде, которую он намерен ввести, Фергусона не оказалось дома, и он не смотрел эту передачу с родителями. Вместо этого он сидел на скамейке в общественном парке с Анн-Мари Дюмартен, обхвативши руками ее тело и впервые целуя ее. В кои-то веки обычно внимательный

Фергусон не обращал внимания, и величайшего международного кризиса после окончания Второй мировой войны, угрозы ядерного конфликта и возможного конца человеческой расы не осознал до следующего утра, после чего вновь стал обращать внимание, однако через неделю его Кеннеди перехитрил русских, и кризис миновал. Все выглядело так, что сейчас мир закончится, — а он взял и не закончился.

Ко Дню благодарения он уже не задавался вопросом, любовь ли это. В прошлом он уже переживал увлечения, начиная с детсадовских влюбленностей в Кати Гольд и Марджи Фицпатрик, когда ему было шесть, за чем последовал неистовый вихрь флиртов с Кароль, Джейн, Ненси, Сюзан, Мими, Линдой и Конни в двенадцать и тринадцать, танцевальные вечера по выходным, сеансы поцелуев на задних дворах под луной и в альковах цоколей, первые робкие заходы на половое знание, таинства кожи и слюнявых языков, вкус помады, запах духов, шелест нейлоновых чулок друг об друга, а затем, в четырнадцать — прорыв, внезапный скачок из детства в отрочество, и с ним — новая жизнь в чужом, вечно мутирующем теле, непрошеные эрекции, поллюции, мастурбация, эротические томленья,

еженощные драмы похоти, исполняемые тенями в театре секса, ныне засевшем у него в черепе, соматические катаклизмы юности, но не брать в учет все те физические перемены и возмущения, фундаментальным как до, так и после начала его новой жизни оставался поиск духовный, греза о прочной связи, о взаимной любви между совместимыми душами — душами, наделенными телами, разумеется, к счастью, наделенными телами, но сперва все-таки душа, она всегда будет первой, и, несмотря на все его заигрывания с Кароль, Джейн, Ненси, Сюзан, Мими, Линдой и Конни, вскоре он понял, что ни одна из этих девочек не обладает такой душой, какую он ищет, и он терял к ним интерес, к одной за другой, и позволял им исчезнуть из своего сердца.

С Анн-Мари Дюмартен же история разворачивалась ровно наоборот. Все прочие начинались как пылкие физические притяжения, но чем лучше он их узнавал, тем сильнее разочаровывался, а вот Анн-Мари поначалу он едва замечал, весь месяц сентябрь даже не перекинулся с нею ни единым словом, но потом их учитель истории Европы произвольно назначил их вместе делать работу, и как только Фергусон начал ее немного узнавать, как тут же обнаружил, что хочет узна-

вать ее все больше и больше, а чем больше ее узнавал, тем выше поднималась она в его глазах, и после трех недель ежедневных встреч по поводу взлета и падения Наполеона (такова была тема их совместной работы), некогда обычная с виду бельгийка с легким французским акцентом преобразилась в экзотическую красавицу, и сердце Фергусона заполнилось ею целиком, надрывалось ею, и он намеревался держать ее в этом сердце как можно дольше. Неожиданное, непредвиденное завоевание. Пятнадцатилетнего мальчика застали врасплох, а затем Купидон заблудился и случайно очутился в Монклере, Нью-Джерси, и не успел еще муж Психеи купить новый билет и отправиться обратно в Нью-Йорк или Афины, или куда еще он там мог отправиться, — как выпустил свою стрелу просто так, тем самым начав мучительное приключение первой большой любви Фергусона.

Маленькая, но не слишком, чуть-чуть не дотягивая до пяти-пяти без обуви, темные волосы средней длины, круглое лицо с симметричными чертами и упрямым, неробким носиком, полные губы, гибкая шея, темные брови, а под ними серо-голубые живые глаза, светящиеся глаза, тонкие руки и пальцы, груди полнее, чем можно было

ожидать, узкие бедра, худые ноги и изящные лодыжки, красота, не являющая себя с первого взгляда или даже со второго, но проступающая с растущим знакомством, такая, что постепенно ввинчивается в глаз, а потому становится нестираемой, лицо, от которого трудно отвернуться, лицо, о котором только грезить. Смышленая и серьезная девочка, девочка часто задумчивая, не подверженная выплескам смеха, скупая на улыбки, но когда же все-таки улыбалась, все тело ее превращалось в клинок сиянья, сверкающий меч. Новенькая, а потому — без подружек, она не очень охотно подлизывалась, чтобы ее стали считать своей, с упрямым самообладанием, какое нравилось Фергусону и делало ее непохожей на остальных его знакомых девочек — смеющихся девчонок-подростков северного Нью-Джерси во всей их великолепной фривольности, — ибо Анн-Мари и намеревалась оставаться изгоем, девочкой, оторванной от корней своего дома в Брюсселе и вынужденной жить в вульгарной, одержимой деньгами Америке: она упорно цеплялась за свою европейскую манеру одеваться, свой неизменный черный берет, макинтош с поясом, джемперы в клетку, белые блузки с мужскими галстуками, и пусть даже иногда она признавала,

что Бельгия — страна унылая, серый и тусклый клочок земли, втиснутый между Лягушатниками и Фрицами, также она защищала ее, если ей бросали вызов, утверждая, что в маленькой, почти невидимой Бельгии лучшее пиво, лучший шоколад и лучшие *frites*[9], чем где бы то ни было на свете. В самом начале, при одной из их первых встреч, еще до того, как муж Психеи случайно забрел в Монклер и выпустил стрелу в ничего не подозревавшую жертву, Фергусон поднял вопрос о Конго и ответственности Бельгии за бойню, в которой погибли тысячи угнетенных черных людей, и Анн-Мари твердо встретила его взгляд и кивнула. Ты умный мальчик, Арчи, сказала она. Ты знаешь в десять раз больше, чем любой десяток этих идиотов-американцев, вместе взятых. Когда месяц назад пришла в эту школу, я решила, что буду держаться сама по себе и не заводить друзей. Теперь я думаю, что была неправа. Всем нужен друг, и ты можешь стать таким другом, если захочешь.

К вечеру их первого поцелуя двадцать второго октября Фергусон узнал лишь несколько скудных фактов о семье Анн-Мари. Теперь ему стало

---

[9] Сноски: 9
Жареная картошка (*фр.*).

известно, что ее отец работал экономистом в бельгийской делегации в ООН, мать у нее умерла, когда Анн-Мари было одиннадцать лет, а ее отец женился повторно, когда ей исполнилось двенадцать, и что два ее старших брата, Жорж и Патрис, учатся в Брюсселе в университете, но на этом примерно и всё — вместе с микроскопической деталькой: между семью и девятью годами она жила в Лондоне, отчего так бегло теперь и говорила по-английски. Однако до того вечера ни единого слова не было сказано о ее мачехе, ни слова о причине смерти матери, ни слова об отце, кроме того, что в Америку Дюмартенов привела его работа, и, поскольку Фергусон понимал, что Анн-Мари не хочется обо всем этом рассказывать, он и не давил на нее, чтоб она ему открылась, но понемногу, за последовавшие недели и месяцы, поступало все больше сведений: для начала жуткая история о раке матери — раке шейки матки, давшем метастазы и вызывавшем такие боли и такую безнадежность, что мать ее в конце концов просто убила себя передозировкой таблеток, что было официальной версией, во всяком случае, хотя Анн-Мари подозревала, что отец закрутил роман с ее будущей мачехой за много месяцев до смерти матери, и, как знать, может, овдовевшая

Фабьенн Кордэ, так называемый давний друг дома, уже три года как вторая жена слепого в своем обожании отца Анн-Мари, та жалкая женщина, что стала теперь ее мачехой, и пропихнула те смертельные таблетки в горло ее матери, чтобы ускорить переход от тайного романа к браку, освященному католической церковью? Возмутительная клевета, несомненно — совершенная неправда, но Анн-Мари ничего не могла с собой поделать: возможность этого продолжала пожирать ее мысли, и даже хотя Фабьенн была невиновна, это ничуть не делало ее менее жалкой, менее достойной ненависти и презрения, какие Анн-Мари к ней испытывала. Фергусон слушал все эти откровения со всевозраставшим сочувствием к своей возлюбленной. Судьба ранила ее, и теперь она застряла в неблагополучной семье, воюя с ненавистной мачехой, разочарованная себялюбивым, невнимательным отцом, по-прежнему скорбя по своей покойной матери, горюя от того, что сослана в жесткую, неприветливую Америку, сердитая, злая на все, но театрально-драматический масштаб трудностей Анн-Мари не отпугивал Фергусона — напротив, притягивал его к ней все ближе, ибо теперь она в его глазах стала фигурой трагической, благо-

родной, страдающей героиней, затравленной ударами фортуны, и со всем пылом неопытного пятнадцатилетнего мальчугана он взял на себя новую миссию в жизни — спасти ее из когтей несчастья.

Ему никогда не приходило в голову, что она может преувеличивать, что скорбь ее по утрате матери исказила ее зрение, что мачеху она отталкивала, не давая ей ни единой возможности, превратила ее во врага лишь по той причине, что она — не мать ей и никогда ею не станет, что ее урабатывавшийся отец делал все от себя зависящее для своей разъяренной и упрямой дочери, что и здесь — как всегда бывает — у истории есть и другая сторона. Подростки питаются драмой, они счастливее всего, если живут *in extremis*[10], и Фергусон был не менее подвержен манящему зову накаленной эмоции и чрезмерного нездравого смысла, нежели любой другой мальчишка его возраста, а это означало, что притягательность такой девочки, как Анн-Мари, подпитывается именно ее несчастьем, и чем сильней бури, в какие она его втягивала, тем яростнее он ее желал.

Устроить так, чтобы остаться с нею наедине,

---

[10] Сноски: 10
В экстремальной ситуации (*лат.*).

было сложно: оба они были слишком молоды, чтобы водить машину, и потому в перемещениях зависели от собственных ног, а это, по необходимости, ограничивало их дальность, но одним надежным решением был пустой дом Фергусона после окончания уроков в школе — те два часа, пока родители не возвращались с работы, когда Фергусон и Анн-Мари могли подняться к нему в комнату и захлопнуть за собой дверь. Фергусон бы с радостью нырнул прямо в нее, но он знал, что Анн-Мари к такому не готова, поэтому тема утраты их девственности никогда открыто не обсуждалась, а так с подобными вещами и обращались в 1962 году, по крайней мере — прилично воспитанные пятнадцатилетки из среднего и чуть выше среднего класса в Монклере и Брюсселе, но если ни одному из них не доставало храбрости бросить вызов условностям эпохи, это не означало, будто они пренебрегали пользоваться кроватью, которая, к счастью, была двуспальной, на ее поверхности достаточно места для них обоих, чтобы можно было растянуться бок о бок и приобщиться к сексу, какой не был совсем уж сексом, но тем не менее на вкус ощущался как любовь.

До тех пор все сводилось к поцелуям, продолжи-

тельным экскурсиям языками по внутренностям ртов, мокрым губам, затылкам и заушьям, к рукам, хватавшимся за лица, странствующим в шевелюрах, к рукам, охватывающим торсы, плечи, талии, руки сплетались с другими руками, а потом с Конни предыдущей весной — первое неуверенное движение положить ладони на груди, груди уж точно хорошо защищенные, надежно укрытые как блузкой, так и лифчиком, но руку его тогда не смахнули, что представляло дальнейший прогресс в его образовании, и вот теперь, с Анн-Мари, блузка спала, а через месяц спал и лифчик, что совпало с устранением его рубашки, и даже такая частичная нагота была наслаждением, о котором нельзя и мечтать, превосходившим все прочие удовольствия, и пока недели тянулись дальше, одной лишь своей силой воли Фергусон удерживался от того, чтобы не схватить ее за руку и не подтолкнуть ее к выпирающему бугру у себя в штанах. Отчетливо вспоминаемые дни — не только из-за того, что все происходило при свете дня и было видимо, в отличие от слепой возни в темноте с Конни, Линдой и остальными, солнце было с ними в комнате, и он мог видеть ее тело, оба их тела, а это означало, что каждый акт касания также был

образом этого касания, и поверх всего прочего в комнате витал еще и постоянный подспудный страх, ужас того, что они потеряют счет времени, и кто-нибудь из его родителей постучится в дверь, пока они обнимаются, или же, что еще хуже, ворвется в комнату, забыв постучать, и, хотя ничего подобного покамест не произошло, все равно была такая возможность, а это наполняло те дневные часы ощущеньем безотлагательности, угрозы и преступной отваги.

Она стала первым человеком, допущенным во внутренние покои его тайного музыкального дворца, и если они не валялись на кровати или не разговаривали о своих жизнях (преимущественно жизни Анн-Мари) — слушали пластинки на маленьком проигрывателе с двумя динамиками, стоявшем на столе в южном углу комнаты, подарке родителей Фергусона на его двенадцатилетие. Теперь, три года спустя, 1962-й стал годом Баха, тем годом, когда Фергусон слушал Баха больше какого-либо другого композитора, в особенности Баха Гленна Гульда с упором на «Прелюдии и фуги» и «Гольдберг-вариации», а также Баха Пабло Казальса, куда входили бесчисленные воспроизведения шести пьес для виолончели без аккомпанемента, и Германа Шерхена, дирижиро-

вавшего «Оркестровыми сюитами» и «Страстями по Матфею», которые, как заключил Фергусон, были вообще прекраснейшим произведением из сочиненных Бахом, а стало быть — и прекраснейшим произведением, написанным вообще кем бы то ни было, но также они с Анн-Мари слушали Моцарта («Мессу в до-миноре»), Шуберта (фортепианные произведения в исполнении Святослава Рихтера), Бетховена (симфонии, квартеты, сонаты) и также многих других, почти все — подарки Фергусоновой тети Мильдред, не говоря уж о Мадди Вотерсе, Фэтсе Воллере, Бесси Смит и Джоне Колтрейне, то есть — не говоря о всяких других душах двадцатого века, как живых, так и мертвых, и лучше всего в слушании музыки с Анн-Мари было наблюдать за ее лицом, всматриваться в ее глаза и глядеть на ее рот, пока собирались у нее слезы или же лепилась улыбка, как же глубоко чувствовала она эмоциональные созвучия любой данной пьесы, ибо, в отличие от Фергусона, с самого раннего детства ее дрессировали, и она хорошо умела играть на фортепиано, и у нее было отличное сопрано, до того прекрасное, что она нарушила свой обет не участвовать ни в каких мероприятиях старших классов и посреди первого семестра записалась в хор, вот

тут-то и залегала, возможно, самая великая их связь, нужда в музыке, пропитывавшая насквозь их тела, которая на том рубеже их жизни ничем не отличалась от нужды обрести способ существовать в мире.

Восхищаться в ней можно стольким, чувствовал он, столько в ней можно любить, однако Фергусон никогда не обманывался и не считал, что сумеет за нее удержаться, по меньшей мере — дольше следующих нескольких месяцев, или недель, или дней. Прямо с самого начала, с первых же мгновений его зарождавшейся влюбленности ощущал он, что у нее чувства не так сильны, как у него, и сколь бы, казалось, он ей ни нравился, как ни наслаждалась она, похоже, его телом и его пластинками и тем, как он с нею разговаривает, ему суждено было любить больше, чем быть любимым в ответ, и не прошло и месяца после их первого поцелуя, он понял, что ему придется играть по ее правилам — а иначе рисковать тем, что вообще с нею не будет. Больше всего бесила его ее непоследовательность, то, насколько часто нарушала она обещания, как часто забывала то, что он ей говорил, до чего часто отказывалась в последнюю минуту от свиданий, говоря ему, что неважно себя чувствует, или что неприятности

дома, или что она думала, будто они встречаются в субботу, а не в пятницу. Иногда ему становилось интересно, есть ли там другой мальчик, или несколько мальчиков, или мальчик в Бельгии, но по наблюдениям ничего этого понять не было возможно, поскольку первым правилом, какого она потребовала придерживаться, был запрет на любые прилюдные проявления нежности, а это значило, что средняя школа Монклера находилась под запретом, даже если тропки их пересекались в классах, коридорах и столовой, им следовало делать вид, будто они вовсе не вместе: они могли только кивнуть, сказать друг дружке привет и беседовать, как будто они шапочные знакомые, но ни при каких условиях не разрешалось им целоваться или браться за руки, что было нормальным поведением для любых других постоянных парочек в школе, и если то была игра, в которую ей хотелось с ним играть, кто знает, возможно, она в нее играет и с кем-нибудь другим? Фергусон чувствовал себя глупо от того, что согласился на такую нелепую сделку, но жил он тогда в некоей одержимой завороженности, и мысль о том, что Анн-Мари можно потерять, была гораздо хуже унижения от того, что он притворяется не тем, кто он есть на самом деле. И

все же они продолжали видеться, и то время, что они проводили вместе, казалось, течет гладко, он, бывая с нею, чувствовал себя счастливее всего и самым что ни есть живым, а какие стычки или размолвки бы у них ни случались, все они, такое ощущение, неизменно происходили по телефону — в этом странном инструменте бестелесных голосов, каждый незрим для другого, когда разговаривают по проводам, бегущим от его дома к ее, и когда и если он заставал ее в неудачный миг, то часто ловил себя на том, что слушает капризную, упрямую, невозможную персону, кого-то совершенно не похожего на ту Анн-Мари, которую, как Фергусон считал, он знает. Самый печальный, самый обескураживающий из таких разговоров случился у них в середине марта. После месяца проб в бейсбольную команду средней школы, вытерпев еженедельные вывески фамилий на доске объявлений в раздевалке, тревожного поиска своего имени в медленно сокращавшемся списке игроков, переживших последнюю отсечку, он позвонил сказать ей, что вывесили последний список и он — один из всего двух десятиклассников, попавших в команду старших классов. Долгое молчание на другом конце провода, которое Фергусон нарушил, сказав: Я просто хотел

поделиться с тобой хорошей новостью. Еще одна пауза. А затем — ее отклик, произнесенный ровным, холодным голосом: Хорошая новость? С чего ты взял, будто я считаю это хорошей новостью? Я терпеть не могу спорт. Особенно бейсбол — он самая тупая игра, которую когда-либо изобрели. Пустая, детская и скучная, и с чего бы такому умному человеку, как ты, хотелось тратить свое время на то, чтоб бегать по полю со стадом кретинов? Пора взрослеть, Арчи. Ты уже больше не ребенок.

Фергусон не знал вот чего: когда Анн-Мари произносила эти слова, она была пьяна, как случалось и еще несколько других раз при их недавних беседах по телефону, уже несколько месяцев она украдкой проносила к себе в комнату бутылки с водкой и пила, пока родителей не было дома, устраивала долгие сольные запои, высвобождавшие в ней бесов и превращавшие ее язык в орудие жестокости. Трезвая, благонравная, разумная при свете дня девочка исчезала, когда оставалась ночью одна у себя в комнате, а поскольку Фергусон и в глаза эту другую личность не видывал, только разговаривал с нею и слушал ее сердитые, полупропеченные заявления, то и понятия не имел, что происходит, даже близко не

знал, что первая любовь всей его жизни устремляется к надлому.

Тот последний разговор состоялся у них в четверг, и Фергусона так раздосадовали и ошеломили ее враждебные обвинения, что он почти обрадовался, когда наутро она не пришла в школу. Ему требовалось время все обдумать, сказал он себе, и, если не видеть ее в тот день, ему будет не так трудно оправиться от той боли, какую она ему причинила. Подавляя в себе порыв позвонить ей после школы в пятницу, он вышел из дому, едва бросив учебники, и отправился дальше по кварталу навестить Бобби Джорджа — второго десятиклассника, который попал в команду, дородного, толстошеего Бобби, ныне — перворазрядного принимающего и чемпиона дуракавалянья, одного из тех кретинов в стаде, с которыми Фергусону вскоре предстояло играть. В итоге они с Бобби весь вечер провели с другими бейсбольными кретинами, своими однокашниками, попавшими в команду старших классов, и когда Фергусон вошел к себе домой за несколько минут до полуночи, звонить Анн-Мари было уже поздно. В субботу и воскресенье он тоже сдерживался, отбиваясь от соблазна набрать ее номер тем, что держался от телефонов

подальше, решившись не сдаваться, мучительно желая сдаться, отчаянно стремясь услышать ее голос вновь. В понедельник утром он проснулся полностью излечившимся, злоба изгнана у него из сердца, он был готов простить ее за необъяснимый выплеск в четверг, но потом пришел в школу — и Анн-Мари не было снова. Он прикинул, что у нее, должно быть, простуда или грипп, ничего серьезного, но теперь, раз он даровал себе право с нею поговорить, в обеденную перемену он набрал номер ее дома из платного телефона у входа в школьную столовую. Никто не ответил. Десять звонков — и никто не отвечает. Надеясь, что просто набрал не тот номер, он повесил трубку и попробовал еще разок. Двадцать звонков — и нет ответа.

Он упорно звонил ей два дня, с каждой неудачной попыткой ее застать паника его возрастала, а еще больше сбивал его с толку необъяснимо пустой, судя по всему, дом, телефон, который все звонил и звонил, но никто не снимал трубку, что же такое тут происходит, спрашивал он себя, куда все подевались, и потому в четверг спозаранку, до первого звонка на уроки добрых полтора часа, он дошел до дома Дюмартенов на другом краю городка — большого дома со щипцами, с громад-

ной лужайкой, на одной из самых элегантных улиц Монклера, Улице Особняков, как ее называл Фергусон, когда был маленький, и, хотя Анн-Мари упорно не подпускала его сюда, потому что не хотела, чтобы он знакомился с ее родителями, у него теперь не было выбора — только прийти сюда, чтобы решить загадку молчащего телефона, что, в свою очередь, может помочь ему решить загадку того, что с нею произошло.

Он позвонил в дверь и стал ждать — и ждал довольно долго, пока не пришел к выводу, что никого нет дома, затем позвонил еще раз, и едва собрался повернуться и уже уйти, как дверь открылась. Перед ним стоял человек, мужчина, который явно был отцом Анн-Мари — то же круглое лицо, тот же подбородок, те же серо-голубые глаза, — и хотя сейчас было всего двадцать минут восьмого утра, он уже был полностью одет, на нем ловко сидел темно-синий дипломатический костюм, накрахмаленная белая рубашка и красный галстук в полоску, щеки гладкие после раннеутреннего бритья, у головы витает аромат одеколона, а голова вполне симпатичная, решил Фергусон, хоть и несколько усталые глаза, быть может, или же в глазах этих взгляд какой-то хлопотливый, рассеянный, меланхоличный взгляд,

какой Фергусон счел отчего-то трогательным, нет — не вполне трогательным, *неотразимым*, вне всяких сомнений, поскольку то было лицо, принадлежавшее отцу Анн-Мари.

Да?

Извините, сказал Фергусон, я понимаю, что сейчас довольно рано, но я друг Анн-Мари из школы и последние несколько дней звонил сюда, хотел узнать, все ли с ней в порядке, но тут никто никогда не снимает трубку, поэтому я встревожился и пришел вот выяснить.

А вы будете?

Арчи. Арчи Фергусон.

Объяснение простое, мистер Фергусон. Телефон сломался. Ужасное неудобство для всех нас, но меня заверили, что сегодня придет мастер и все починит.

А Анн-Мари?

Ей нездоровится.

Ничего серьезного, надеюсь.

Нет, я уверен, что все будет хорошо, но теперь ей нужно отдохнуть.

Мне можно будет ее навестить?

Извините. Если вы дадите мне свой номер, я передам ей, и она вам позвонит, как только ей станет немного лучше.

Спасибо. У нее уже есть мой номер.

Хорошо. Я скажу ей, чтобы вам позвонила. (*Краткая пауза.*) Напомните мне только, как вас зовут. У меня, кажется, выскочило из головы.

Фергусон. Арчи Фергусон.

Фергусон.

Да-да. И пожалуйста, передайте Анн-Мари, что я о ней думаю.

На том и завершилась одна-единственная встреча Фергусона с отцом Анн-Мари, и, едва дверь закрылась и сам он двинулся к улице, ему стало интересно, не забудет ли мистер Дюмартен его имя снова, либо он попросту забудет передать Анн-Мари, чтобы ему перезвонила, или не скажет ей, чтобы позвонила, намеренно, пусть и не забудет его имени, поскольку такова работа отцов повсюду на свете — оберегать своих дочерей от мальчиков, *которые о них думают*.

После этого — молчание и четыре долгих дня пустоты. У Фергусона было такое чувство, точно кто-то связал его и спихнул с лодки, и, пойдя ко дну озерца, которое обязательно было большим озером, никак не у́же и не мельче озера Мичиган, он задерживает под водой дыхание, четыре долгих дня среди мертвых тел и ржавых избирательных урн, не дыша, и к вечеру воскресенья

легкие его уже готовы были лопнуть, лопнуть была готова и голова — и он наконец нашел в себе мужество снять трубку, и мгновенье спустя после того, как набрал номер Дюмартенов, — вот она. Какое счастье, сказала она, так рада его слышать, судя по голосу — не шутит, объяснив, что три раза звонила ему с утра (что могло быть правдой, поскольку он с родителями ходил играть в теннис), а потом начала рассказывать ему о водке, о месяцах тайного пьянства у себя в комнате, что достигли высшей точки в последнем запое вечером в четверг, в тот последний вечер, когда они разговаривали, и закончился он тем, что она отключилась прямо на полу, а когда ее отец и мачеха вернулись домой после своего званого ужина в Нью-Йорке в половине двенадцатого, они увидели, что дверь в ее спальню открыта и внутри горит свет, поэтому они вошли и обнаружили ее, а раз не смогли ее разбудить, а бутылка была пуста, они вызвали «скорую», чтобы отвезла ее в больницу, где ей промыли желудок, и она пришла в себя, но домой наутро ее отпускать не стали, а перевели в психиатрическое отделение, где ей три дня врачи устраивали проверки и допрашивали ее, а теперь, раз ей поставили диагноз «маниакальная депрессия», для лечения

которой требуется длительная психотерапия, отец ее решил, что ей следует вернуться в Бельгию как можно скорее, чего ей на самом деле и надо, сбежать от ее кошмарной мачехи, положить конец ее ссылке в кошмарной Америке, которая на самом деле, несомненно, и вынудила ее начать пить, и вот теперь она станет жить с сестрой своей матери в Брюсселе, с ее любимой тетей Кристиной, а это значит, что она снова будет со своими братьями и кузенами и старыми друзьями, она так счастлива, такой счастливой она уже давно не бывала.

После он видел ее всего только раз, прощальное свидание в среду, событие исключительное среди учебной недели, какое позволила его мать, ибо знала, до чего это для него важно, даже дала ему лишних денег на такси (первый и единственный раз, когда такое случилось), чтобы ему и его *бельгийской девочке* не пришлось терпеть унижение того, что их станет возить кто-либо из его родителей, что лишь подчеркнуло бы, насколько он еще мал, а с каких это пор кто-либо в таких юных годах бывал серьезно влюблен? Да, мать продолжала понимать его, по крайней мере — многое важное в нем, и он был ей благодарен за это, но все равно тот последний вечер с Анн-Мари оказался для

Фергусона делом жалким и неуклюжим, тщетным упражненьем в поддержании собственного достоинства, в обуздывании своего горя, чтобы не умолять и не плакать, чтоб не сказать ей ничего жесткого из озлобленности или разочарования, но как же не помнить всю встречу напролет, что это конец, что больше он ее никогда не увидит, а еще хуже то, что в тот вечер она была лучше некуда, такой теплой, такой неумеренной во всем, что говорила о нем, *мой чудесный Арчи, мой прекрасный Арчи, мой блистательный Арчи*, каждое доброе слово, казалось, описывает кого-то, кого здесь нет, мертвую личность, то были слова, уместные в прощальной речи на похоронах, а еще хуже была ее непривычная бодрость, та радость, какую он видел у нее во взгляде, когда заговаривала она о том, что уезжает, ни разу не остановившись задуматься, что уезжать — это оставлять его позади *уже послезавтра*, как вдруг она уже смеялась и велела ему не беспокоиться, скоро они увидятся вновь, он приедет в Брюссель и проведет с нею лето, как будто его родителям по карману отправить его на самолете в Европу, им, кто ни разу даже в Калифорнию не съездил навестить тетю Мильдред и дядю Генри за все те годы, что они там живут, а затем она прини-

малась говорить что-то еще менее постижимое и ранившее его, сидя на скамейке в парке, где они впервые поцеловались в октябре и теперь целовались снова в свой последний вечер вместе в марте, говорила, что, может, ему еще и повезло, что она уезжает, что у нее в голове такой кавардак, а он такой нормальный и заслуживает быть со здоровой нормальной девчонкой, а не с больной и чокнутой, как она, и с того мига до момента, когда он высадил ее у ее дома двадцать минут спустя, ему было так грустно, как больше никогда и не бывало во всей его отвратительно нормальной жизни.

Через неделю он написал ей письмо на девяти страницах и послал на теткин адрес в Брюссель. Еще через неделю — на шести страницах. Через три недели после него — письмо на двух страницах. Через месяц — открытку. Ни на одно послание она не ответила, и к тому времени, как школу распустили на лето, он понял, что никогда больше писать ей не будет.

Правда была в том, что здоровые, нормальные девчонки его не интересовали. Жизнь в предместьях и без того была скучна, а беда со здоровыми, нормальными девчонками в том, что они напоминали ему о предместьях, что, на его вкус,

стало чересчур уж предсказуемым, последнее же, чего ему хотелось, — это быть с предсказуемой девчонкой. Каковы б ни были недостатки Анн-Мари, сколько б мук она ему ни причинила, она была хотя бы полна сюрпризов, от нее, по крайней мере, сердце его билось от затянувшейся неопределенности, а теперь, раз ее больше не было, все опять стало скучным и предсказуемым, угнетало еще больше, чем до того, как она вошла в его жизнь. Он знал, что в этом она не виновата, но не мог не ощущать себя преданным. Она его бросила, и отныне либо придется довольствоваться кретинами, либо следующие два года жить в одиночном заключении, а потом он сможет сбежать из этого места и никогда больше сюда не возвращаться.

Теперь ему было шестнадцать, и все лето он проработал на своего отца, а по вечерам играл в бейсбол, всегда только в бейсбол, по-прежнему и вечно в бейсбол, что, вне всяких сомнений, занятием было бессмысленным, но продолжало приносить ему слишком много наслаждения — о том, чтоб его бросить, и мыслей даже не было, теперь играл он в лиге старшеклассников и студентов колледжей со всего округа, лига эта была жесткая и конкурентная, но в первом году

игры в команде старшеклассников он проявил себя неплохо — начал третьим игроком на базе и хиттером номер пять, со средним баллом .312 для хорошей команды, лучшей в Конференции Большой десятки, и бил он теперь с большей силой, поскольку продолжал расти, пять-одиннадцать при последнем замере, 174 фунта в последний раз, когда вставал на весы, и потому играл он в то лето, чтобы не утратить хватки, а утра и дни работал на отца, главным образом — ездил по городку в фургоне, доставляя и устанавливая кондиционеры воздуха вместе с парнем по имени Эд, а если доставлять было нечего, он помогал Майку Антонелли торговать в лавке, или же подменял Майка, когда тот уходил на свои частые перерывы попить кофе в «Столовку Ала», а если в лавке не было посетителей, он скрывался в задней комнате и сидел там с отцом, пока кто-нибудь не объявлялся, его почти пятидесятилетний отец, по-прежнему поджарый и сухощавый, все так же не отлипал от своего верстака и чинил сломанные машины, его отгороженный и молчаливый отец, теперь уже почти безмятежный, проведя шесть лет в спокойствии этой задней комнаты, и пока Фергусон неизменно предлагал ему помочь с ремонтом, хоть и был неуклюж и

неумел во всем, что касалось машин, отец его всегда от него отмахивался, утверждая, что его сын не должен тратить свое время на сломанные тостеры, он движется по пути, что приведет его к гораздо более великим делам, а если ему хочется принести какую-то пользу, то пускай притащит что-нибудь из тех книжек со стихами, которые у него дома лежат, да почитает вслух, пока старик его разбирается со сломанными тостерами, и вот так и вышло, что Фергусон, поглотивший за последние полтора года громадные количества поэзии, часть того лета провел за чтением своему отцу вслух в задней комнате «ТВ и радио Стэнли» — Дикинсон, Гопкинса, По, Уитмена, Фроста, Элиота, Каммингса, Паунда, Стивенса, Вильямса и других, но стихотворение, которое, похоже, нравилось его отцу больше всего, то, которое, казалось, произвело на него самое сильное впечатление, было «Любовной песнью Дж. Альфреда Пруфрока», что Фергусона напугало, а поскольку к такой реакции он был неподготовлен, понял, что упустил что-то, он что-то упускал уже давно, а это значило, что ему придется заново обдумать все, что он прежде подразумевал про своего отца, ибо, как только дочитал он последнюю строку:

И к жизни пробуждаемся, и тонем[11], — отец повернулся к нему и заглянул ему в глаза, и посмотрел с такой силой, какой Фергусон никогда не видел за все годы их с отцом знакомства, а после долгой паузы произнес: Ох, Арчи. Какая великолепная штука. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. И затем отец его три раза качнул головой взад и вперед и вновь повторил последние слова: *И к жизни пробуждаемся, и тонем.*

Последняя неделя лета. Двадцать восьмое августа и Марш на Вашингтон, речи на Аллее, огромные толпы, десятки тысяч, сотни тысяч, а потом — речь, которую школьникам потом придется учить наизусть, речь всех речей, в тот день такая же важная, каким было Геттисбергское обращение в свой день, великое американское мгновенье, публичный миг, какой видят и слышат все, даже еще важней слов, произнесенных Кеннеди на своей инаугурации тридцатью двумя месяцами раньше, и в «ТВ и радио Станли» все встали в торговом зале и смотрели передачу, Фергусон и его отец, толстопузый Майк и тщедушный Эд, а потом вошла и мать Фергусона вместе с пятью-шестью прохожими, которым

---

[11] Сноски: 11
Пер. А. Сергеева.

случилось идти мимо, но перед главной речью было несколько других, и среди них — обращение местного нью-джерсейца, ребе Иоахима Принца, еврея, вызывавшего наибольшее восхищение в Фергусоновой части света, героя его родителей, хоть они и не практиковали свою религию и не принадлежали ни к какой синагоге, но все трое Фергусонов видели его и слышали, как он выступает на свадьбах, похоронах и бар-мицвах в храме, которым управлял в Ньюарке, знаменитый Иоахим Принц, который молодым ребе в Берлине осуждал Гитлера, когда нацисты еще не успели прийти к власти в 1933-м, который видел будущее отчетливее, чем кто бы то ни было еще, и побуждал евреев уезжать из Германии, что снова и снова приводило к его арестам гестапо и закончилось его собственным изгнанием в 1937-м, и он, разумеется, стал активистом американского движения за гражданские права, и, конечно же, его выбрали в тот день представлять евреев — из-за его красноречия и подробно увековеченного мужества, и родители Фергусона, само собой, им гордились, они, жавшие ему руку и разговаривавшие с ним, человеком, который стоял теперь перед камерой и обращался к нации, ко всему миру, и тут на помост вышел Кинг, и

через тридцать или сорок секунд после того, как началась его речь, Фергусон посмотрел на мать и увидел, что глаза у нее блестят от слез, и это сильно его развлекло — не потому, что он считал, будто ей неуместно так на эту речь реагировать, а именно из-за того, что он так не считал, потому что перед ним был еще один пример того, как она взаимодействовала с миром, ее чрезмерного, зачастую сентиментального прочтения событий, тех порывов чувств, какие делали ее столь плаксивой на скверных голливудских фильмах, того добродушного оптимизма, что иногда приводил к затуманенному мышлению и сокрушительным разочарованиям, а потом он перевел взгляд на своего отца, человека почти полностью безразличного к политике, кто, казалось, от жизни требовал гораздо меньшего, нежели требовала мать, и заметил в глазах отца сочетание неотчетливого любопытства и скуки, а ведь этого же человека так тронула унылая обреченность стихотворения Элиота, но вот полный надежд идеализм Мартина Лютера Кинга ему проглотить было трудно, и пока Фергусон слушал, как в голосе проповедника нарастает эмоциональность, как барабанной дробью повторяется слово *мечта*, — недоумевал, как две такие несовместимые

души могли жениться друг на дружке и остаться женатыми столько лет, как сам он мог родиться у такой пары, как Роза Адлер и Станли Фергусон, и до чего странно, до чего глубоко странно вообще быть живым.

На День труда к ним домой пришло человек двадцать — на барбекю в честь конца лета. Родители его редко устраивали такие крупные сборища, но двумя неделями раньше его мать выиграла конкурс фотографии, который финансировал новый совет губернатора по искусству в Трентоне. К награде прилагался заказ на альбом фотографий сотни *выдающихся граждан Нью-Джерси* — для этого проекта ей придется ездить по всему штату и снимать градоначальников, президентов колледжей, ученых, предпринимателей, художников, писателей, музыкантов и спортсменов, а поскольку работа эта будет хорошо оплачиваться, и родители Фергусона чувствовали себя зажиточными впервые за много лет, они и решили отпраздновать это кутежом с жареным мясом на заднем дворе. Собралась обычная публика: Соломоны, Бронштейны, Джорджи из дома дальше по кварталу, прародители Фергусона и его двоюродная бабушка Перл — но пришел и кое-кто другой, среди них — семейство из Нью-Йорка по фамилии

Шнейдерманы, состоявшее из сорокапятилетнего коммерческого художника по имени Даниэль, младшего сына бывшего начальника Фергусоновой матери Эмануэля Шнейдермана, который жил теперь в доме престарелых в Бронксе, жены Даниэля Лиз и их шестнадцатилетней дочери Эми. Утром этого праздника в честь Дня труда, пока Фергусон и его родители рубили в кухне овощи и готовили соус к барбекю, мать сказала ему, что они с Эми были знакомы совсем маленькими детьми и несколько раз играли вместе, но она как-то перестала общаться со Шнейдерманами, с календаря спорхнуло двенадцать лет, а затем, пару недель назад, навещая своих родителей в Нью-Йорке, она столкнулась с Даном и Лиз на Южной Центрального парка. Оттого и пригласила их. Оттого Шнейдерманы впервые в жизни приедут в Монклер.

Мать его продолжала: Судя по выражению твоих глаз, Арчи, я понимаю, что Эми ты забыл, но, когда вам было по три и четыре года, ты в нее был довольно сильно влюблен. Однажды мы все поехали домой к Шнейдерманам на воскресный ужин, и вы с Эми ушли к ней в комнату у них в квартире, закрыли дверь и сняли с себя всю одежду. Ты этого даже не помнишь, правда? Вз-

рослые по-прежнему сидели за столом, как вдруг слышим — вы там хихикаете, визжите от хохота просто, издаете эти дикие, необузданные звуки, на какие способны только маленькие дети, и вот мы все встали и пошли посмотреть, в чем там дело. Дан открывает дверь — а там вы, вдвоем, всего три с половиной или четыре годика вам, скачете по кровати совершенно голые и визжите так, что уши закладывает, — как пара чокнутых личностей. Лиз окаменела от ужаса, а мне показалось, что это очень смешно. У тебя был такой восторг на лице написан, Арчи, да и вообще вид двух маленьких тел, скачущих вверх-вниз, вся комната полна дикарской радостью, полоумные человечьи детеныши ведут себя, как шимпанзе, — невозможно же было не расхохотаться. Твой отец и Даниэль тоже рассмеялись оба, насколько мне помнится, а вот Лиз ворвалась в комнату и приказала вам с Эми одеться. Сейчас же. Знаешь же это голос разгневанной матери. *Сейчас же!* Но не успели вы еще надеть ничего на себя, как Эми произнесла такое, смешнее чего я никогда не слышала. Мамочка, сказала она, вся уже серьезная и очень задумчивая, показывая пальчиком прямо на твои причиндалы, а затем на свои, мамочка, а почему Арчи такой шикарный тут, а я такая

обычная?

Мать Фергусона рассмеялась, и смеялась она сильно и долго от воспоминания о тех словах, а вот Фергусон лишь улыбнулся — слабое подобие улыбки, быстро исчезнувшее у него с лица, ибо мало что приносило ему меньше удовольствия, чем выслушивать об идиотских проказах его раннего детства. Своей все еще смеявшейся матери он сказал: Тебе нравится меня дразнить, правда?

Ну, изредка, ответила она. Не так часто, Арчи, но порой мне просто бывает трудно устоять.

Через час Фергусон вышел во двор с книгой, которую тогда читал — «Путешествие на край ночи», — и сел в адирондакское кресло из тех, какие они с отцом перекрасили в начале лета в темно-зеленый, темный темно-зеленый, но книгу открывать не стал и, вместо того чтобы узнавать что-нибудь еще о похождениях Фердинанда на заводе «Форд-Мотор» в Детройте, просто сидел и думал, дожидаясь приезда первых гостей, удивляясь, что некогда куролесил на кровати с голой девочкой, что сам некогда был гол, пока куролесил с голой девочкой, и до чего это комично, что у него не осталось об этом совершенно никаких воспоминаний, хотя вот нынче он бы отдал чуть ли не все на свете, чтоб только оказаться с голой

девочкой, оказаться голым в постели с голой девочкой было единственным по-настоящему важным стремлением в его одинокой жизни без любви, ни единого поцелуя или объятья больше чем за пять месяцев, сказал он себе, вся весна и почти все лето тоски по отсутствующей, полуобнаженной Анн-Мари Дюмартен, и вот сейчас он встретится с забытой голой девочкой из своего далекого прошлого, Эми Шнейдерман, а она, несомненно, выросла и стала нормальной, здоровой девочкой, скучной и предсказуемой, как большинство девчонок, как большинство мальчишек, как большинство мужчин и женщин, но что уж тут поделать, и, учитывая, что с нею он еще даже не повстречался, ему просто придется увидеть то, что он увидит.

А увидел он в тот день личность, которая стала его *следующей*, правопреемницей короны его желаний, девушку ни нормальную, ни ненормальную, которая вся пылала, ничего не боясь, сознавая исключительность того, с чем родилась, а через несколько недель после их первой встречи, когда лето уже растворилось в осени и мир вокруг них вдруг потемнел, она стала еще и *первой*, а это означало, что голая Эми Шнейдерман и голый Арчи Фергусон уже не прыгали по

кровати, а лежали на ней, катались под одеялом, и многие годы после она продолжала дарить ему величайшие радости и величайшие муки его юной жизни, быть той необходимой другой, которая поселилась у него под кожей.

Но вернемся в тот понедельник в сентябре 1963-го, на барбекю в честь Дня труда на заднем дворе Фергусонов и к тому первому взгляду, какой он бросил на нее, когда она вышла из синего «шевроле» своих родителей: из задней дверцы появилась голова со светло-каштановыми волосами, а затем — удивительный факт, до чего высокого она роста, по меньшей мере пять-восемь, может, и пять-девять, крупная девушка со впечатляюще симпатичным лицом, не хорошенькая или красивая, а именно ладная, крепкий нос, упрямый подбородок, большие глаза по-прежнему неопределенного цвета, телосложения ни крупного, ни щуплого, мелковатые груди под синей блузкой с короткими рукавами, длинные ноги, круглая попа, обтянутая узкими рыжеватыми брючками, — и странноватая походка вприскочку: тело слегка подается вперед, словно ему не терпится вперед покатиться, походка сорванца, предположил он, но приятная и необычная, дает понять, что с нею нужно считаться, что она — девушка,

отличная от прочих шестнадцатилетних девушек, поскольку держится без малейшего следа робости. Мать его взяла на себя представления, пожать руку ее матери (слегка напряженно, краткая улыбка), пожать руку отцу (расслабленно, дружелюбно), а не успел он пожать руку Эми, как ощутил, что Лиз Шнейдерман к его матери не расположена, потому что Лиз подозревает, будто ее муж наполовину в нее влюблен, что могло бы оказаться правдой, учитывая затянувшееся приветственное объятие, каким Шнейдерман наделил все еще красивую сорокаоднолетнюю Розу, и вот Фергусон пожимает руку Эми, длинную и примечательно изящную руку, сознавая, что глаза у нее темно-зеленые, с крапинками карего внутри, наблюдая, когда она улыбается, что зубы великоваты для такого рта, чуть больше, чем нужно, а потому привлекают взгляд, — и следом он впервые услышал ее голос: *Привет, Арчи,* — и в тот же миг понял, узнал вне всяких сомнений, что им суждено стать друзьями, а это допущение нелепое, конечно, ибо как он вообще мог что-то знать в тот миг, но вот поди ж ты, чувство, чутье, уверенность в том, что сейчас происходит нечто важное и что они с Эми Шнейдерман вот-вот вместе отправятся в долгое путешествие.

В тот день там был Бобби Джордж вместе со своим братом Карлом, который готовился начать предвыпускной год в Дартмуте, но Фергусон не испытывал желания разговаривать ни с тем, ни с другим — ни со смышленым Карлом, ни с безмозглым шутником Бобби. Хотелось ему быть только с Эми, единственным другим молодым существом на вечеринке, и потому через сорок пять секунд после их рукопожатия, лишь бы исхитриться и не делить ее с кем бы то ни было еще, он стратегически пригласил ее к себе в комнату. То было несколько порывистое действие, быть может, но она приняла приглашение согласным кивком, сказав: *Хорошая мысль, пошли,* — и они поднялись в убежище Фергусона на втором этаже, которое не было уже святилищем Кеннеди, а его целиком забивали книги и пластинки, столько книг и пластинок, что переполненные полки больше не выдерживали всего их собрания, которое продолжало расти стопками у стены, ближней к кровати, и ему пришлось по нраву, как Эми опять кивнула, войдя в комнату, словно бы говоря ему, что одобряет увиденное, десятки освященных имен и почитаемых произведений, которые она затем взялась изучать пристальнее, показывая на одно и говоря: *Чертовски хорошая*

книга, — показывая на другое и говоря: *Эту я еще не читала,* — показывая на что-то третье и говоря: *Никогда про него не слыхала,* — но совсем вскоре она уселась на пол у кровати, отчего Фергусону тоже пришлось сесть на пол, лицом к лицу с нею на расстоянии в три фута, откинувшись спиной на ящики письменного стола, и следующие полтора часа они разговаривали, а прекратили, только когда кто-то постучал в дверь и объявил, что еда на заднем дворе готова, отчего им ненадолго пришлось спуститься ко всем остальным, пока ели гамбургеры и пили запретное пиво на виду у родителей, которые, все четверо, даже глазом не моргнули от такого попрания закона, а затем Эми сунула руку к себе в сумочку, вытащила пачку «Лаки» и закурила перед родителями — которые снова даже не моргнули, — пояснив, что много она не курит, но после еды вкус табака ей нравится, а как только с едой и сигаретой покончили, Фергусон и Эми откланялись и подались на медленную прогулку по окрестному району, пока садилось солнце, и в итоге очутились на скамейке в том же самом парке, где он в последний раз поцеловал Анн-Мари перед тем, как она исчезла, и вскоре после того, как Фергусон и Эми условились увидеться

опять в Нью-Йорке в субботу того же месяца, они тоже начали целоваться, незапланированный, спонтанный рывок, когда один рот присосался ко второму, восхитительные слюни трепетавших языков и стукавшихся зубов, мгновенное возбуждение в неугомонных нижних областях их уже половозрелых тел, целоваться с таким самозабвением, что могли б и сожрать друг дружку, если б Эми вдруг не отстранилась от него и не расхохоталась, выплеском бездыханного, изумленного хохота, от которого Фергусон вскоре захохотал и сам. Ну и ну, Арчи, сказала она. Если мы сейчас же не остановимся, через две минуты мы сорвем друг с дружки одежду. Она встала и протянула ему правую руку. Пойдем, полоумный, вернемся к дому.

Они были ровесники или почти ровесники, двести месяцев против ста девяноста восьми месяцев, но, поскольку Эми родилась в конце 1946-го (29 декабря), а Фергусон в начале 1947-го (3 марта), она его на целый год опережала в школе, а это значило, что у нее начинался выпускной класс в Хантере, он же еще застрял в окопах презренного предвыпускного. Колледж на том рубеже был для него не более чем туманным где-то, далекой точкой назначения, которой еще только пред-

стояло дать имя, а вот Эми уже бóльшую часть года изучала карты и чуть ли не собирала вещи. Она подается в несколько школ, сказала Эми. Все утверждали, что ей понадобятся запасные варианты, вторые и третьи, но первым ее выбором был Барнард, вообще-то был он ее единственным выбором, поскольку то был лучший колледж в Нью-Йорке, полностью-девический близнец полностью-мальчишеской Колумбии, и целью номер один было остаться в Нью-Йорке.

Но ты же прожила в Нью-Йорке всю свою жизнь, сказал Фергусон. Разве тебе не хотелось бы попробовать какое-нибудь другое место?

Я бывала в других местах, сказала она, во множестве других мест, и все они называются Скуксити. Ты когда-нибудь бывал в Бостоне или Чикаго?

Нет.

Скуксити Один и Скуксити Два. Л.-А.?

Нет.

Скуксити Три.

Ладно. Ну а школы где-нибудь в деревне? Корнелл, Смит, где-нибудь там. Зеленые лужайки и гулкие плацы, постижение знаний в сельской обстановке.

Джозеф Корнелл гений, а братья Смит произво-

дят отличные карамельки от кашля, но морозить жопу четыре года в Глухоманском универе — не мой вариант веселья. Нет, Арчи, Нью-Йорк — *самое то*. Другого места нет.

Когда они обменялись этими словами, он знал ее от силы десять минут, и, покуда Фергусон слушал, как Эми защищает Нью-Йорк, объявляет о своей любви к Нью-Йорку, ему пришло в голову, что и сама она — некое воплощение своего города, не только в этой своей уверенности и быстроте ума, но и — и особенно — в голосе, голосе башковитых еврейских девочек из Бруклина, Квинса и Верхнего Вест-Сайда, голосе нью-йоркских евреев в третьем поколении, в смысле — второго поколения евреев, родившихся в Америке, у которого музыка была слегка отличной от голоса нью-йоркских ирландцев, к примеру, или нью-йоркских итальянцев, одновременно приземленного, изощренного и наглого, с тем же отвращением к жестким *р*, но более точного и выразительного в артикуляции, и чем больше он сам привыкал к такой артикуляции, тем больше хотелось ему и дальше ее слышать, поскольку голос Шнейдерман выражал для него все, что не было предместьями, не было его жизнью в том виде, в каком она сейчас существовала, а зна-

чит — обещал побег в возможное будущее, ну или хотя бы в настоящее, населенное этим возможным будущим, и пока он сидел в комнате с Эми, а потом шел с нею по улицам, беседовали они о чем угодно, главным образом — об американских горках того лета, что началось с убийства Медгара Эверса и закончилось речью Мартина Лютера Кинга, о нескончаемой путанице ужаса и надежды, что, казалось, определяет весь американский ландшафт, а также о книгах и пластинках на полках и полу Фергусоновой комнаты и, ясное дело, о школе, тестах на проверку академических способностей и даже о бейсболе, но вот одного вопроса он ей не задал, был полон решимости во что бы то ни стало воздержаться от него: есть ли у нее парень, ибо он уже решил сделать все, что будет в его силах и власти, чтобы она стала его *следующей*, и у него не было никакого интереса знать, сколько соперников стоит у него на пути.

Пятнадцатого сентября, менее чем через две недели после барбекю в честь Дня труда, а значит — ровно за шесть дней до того, как они собирались снова встретиться в Нью-Йорке, она позвонила ему, а поскольку позвонила она ему и никому другому, он понял, что никакого парня в кадре нет, не нужно опасаться никакого сопер-

ника и что она теперь с ним точно так же, как и он — с ней. Знал он это потому, что она выбрала позвонить именно ему, услышав известие о взрыве черной церкви в Бирмингеме, Алабама, и убийстве четырех маленьких девочек в ней, еще один американский ужас, еще одна битва в расовой войне, охватившей весь Юг, как будто за Марш на Вашингтон, случившийся всего двумя с половиной неделями раньше, следовало отомстить бомбами и убийством, и Эми плакала в трубку, стараясь не плакать, пока пересказывала ему эту новость, и мало-помалу, пока она брала себя в руки, заговорила о том, что тут можно сделать, о том, что нужно делать, по ее мысли, не только о законах, принимаемых политиками, но об армии людей, которая пойдет сражаться с фанатиками, и в армию эту она запишется первой, на следующий же день после того, как закончит школу, она поедет на попутках в Алабаму и станет работать за правое дело, отдавать свою кровь за правое дело, превратит это дело в главный смысл всей своей жизни. Это наша страна, сказала она, и мы не можем позволить всякой сволочи ее у нас украсть.

Они увиделись в следующую субботу и встречались через субботу всю осень: Фергусон ездил

на автобусе из Нью-Джерси на терминал Портоуправления, а потом ехал экспрессом МСП[12] на Западную Семьдесят вторую улицу, где выходил и шагал три квартала на север и два на запад до квартиры Шнейдерманов на углу Риверсайд-драйва и Семьдесят пятой улицы, Квартира 4Б — это был теперь самый важный адрес во всем городе Нью-Йорке. Разнообразные походы, почти всегда — только они вдвоем, порой с какими-нибудь подругами Эми, зарубежные фильмы в «Талии» на углу Бродвея и Девяносто пятой улицы, Годар, Куросава, Феллини, походы в «Мет», «Фрик», «Музей современного искусства», на «Ников» в «Гарден», на Баха в «Карнеги-Холл», на Беккета, Пинтера, Ионеско в маленькие театры в Виллидж, все так близко и доступно, и Эми всегда знала, куда пойти и что делать, принцесса-воительница Манхаттана учила его, как не заблудиться в ее городе, который быстро становился и его городом. Тем не менее, чем бы ни занимались они, что бы ни видели, лучше всего в те субботы было сидеть в кофейнях и разговаривать, первые раунды нескончаемого диалога, который будет длиться годами, беседы,

---

[12] Сноски: 12
Межрайонная скоростная система перевозок Нью-Йорка.

что иногда превращались в ожесточенные перебранки, если различались их мнения, хорошо или плохо кино, которое только что посмотрели, хороша или плоха политическая мысль, какую кто-то из них только что высказал, но Фергусон был не против спорить с нею, легкая добыча его не интересовала — всякие дующиеся девочки-простофили, кому хотелось только того, что они воображали формальностями любви, — это была любовь настоящая, сложная, глубокая и достаточно гибкая, чтобы в ней находилось место страстным разногласиям, и как мог не любить он эту девушку с ее непреклонным, испытующим взглядом и невообразимым, громогласным хохотом, натянутую, как струна, и бесстрашную Эми Шнейдерман, которая однажды намеревалась стать военным корреспондентом, или революционером, или врачом, который работает с бедняками. Ей было шестнадцать лет, близилось семнадцатилетие. Чистый лист уже не вполне чист, но она еще была молода и потому понимала, что может стереть те слова, какие уже написаны на нем, стереть их и начать сызнова, когда б ни подвигнул ее к этому дух.

Поцелуи, разумеется. Само собой, объятья. Вместе с тем раздражающим фактом, что роди-

тели Эми днем и вечером по субботам имели привычку сидеть дома, что ограничивало им возможности оставаться наедине в квартире и приводило к обильным тисканиям на скамейках Риверсайд-парка в промозглую погоду, кое-какие выплески обжиманий украдкой случались в задних спальнях на вечеринках, которые устраивали подружки Эми, а дважды, всего дважды, в те два раза, когда ее родители-домоседы вечером куда-то ушли, представилась возможность заняться честным полуголым барахтаньем на кровати в комнате Эми, помеченной старым страхом, что вот-вот в худший из возможных моментов распахнется дверь. Досада от того, что они не полностью хозяева своей жизни, гормональные неистовства вновь и вновь расстраиваются из-за обстоятельств, — они двое по прошествии недель все больше и больше отчаивались. Затем, во вторник вечером в середине ноября, Эми позвонила с хорошим известием. Ее родители уедут через выходные из города на три дня в далекий Чикаго, навестить недужную мать ее матери, а поскольку ее старший брат Джим прилетит из Бостона только за день до Благодарения, квартира окажется в ее распоряжении, пока родителей не будет. Целые выходные, сказала она. Подумай

только, Арчи. Целые выходные, и дома никого, кроме нас.

Он сказал родителям, что их с парочкой друзей пригласили домой к еще одному другу на побережье Джерси, ложь до того причудливая и бессмысленная, что ни один из них ничего не заподозрил, и когда в нужную пятницу он отправился в школу, казалось совершенно уместным, что у него с собой небольшая сумка с нужным для ночевки. План был отправиться в Нью-Йорк в ту же секунду, как в школе закончатся уроки, и если ему повезет успеть на первый автобус, в квартире у Эми он окажется к половине пятого или без четверти пять, а если на первый автобус он опоздает и придется ехать вторым, то — к половине шестого или без четверти шесть. Еще один скучный день в коридорах и классах Монклерской средней школы, взгляд не отлипает от часов, как будто Фергусон мог сдвинуть время одной лишь силою своих мыслей, считая минуты, считая часы, и тут, посреди дня — объявление по громкой связи, что в Далласе стреляли в президента, а чуть погодя — еще одно объявление, что президент Кеннеди скончался.

В считаные минуты вся школьная деятельность прекратилась. В тысяче пар рук возникли

носовые платки и салфетки, по щекам всхлипывавших девчонок струйками побежала тушь, мальчишки ходили, качая головами или колотя воздух кулаками, девчонки обнимались, мальчишки обнимались с девчонками, учителя всхлипывали и обнимались, а прочие вокруг тупо смотрели в стены и на дверные ручки, и совсем немного погодя учащиеся уже собрались в спортзале и столовой, никто не знал толком, что делать, никто никем не руководил, все вражды и свары прекратились, никаких недругов больше не осталось, и тут в динамиках снова раздался голос директора и объявил, что школа распускается, все могут идти домой.

Человек будущего был мертв.

Призрачный город.

Все пошли по домам, а Фергусон нес свою сумку для ночевки и шел на автобусную остановку Монклера ждать автобуса на Нью-Йорк. Родителям он позвонит потом, а теперь домой он не пошел. Ему нужно было побыть немного одному, а потом ему следовало быть с Эми, и он останется с ней, как и планировал, на все выходные.

Два пути разошлись в призрачном городе, и будущее умерло.

Дожидаясь автобуса, затем поднимаясь в него

по ступенькам и ища себе место, усевшись в пятом ряду, а потом — слушая, как переключается передача, когда автобус отходил и направлялся в Нью-Йорк, затем катясь через тоннель, а женщина на сиденье за ним всхлипывала, а водитель разговаривал с пассажиром в первом ряду: *В голове не умещается, у меня, блядь, просто в голове не умещается*, — но уж у Фергусона-то умещалось, хоть и чувствовал себя он совершенно от себя отрешенным, парил где-то вне собственного тела, но в то же время ясно присутствовал в своей голове, полностью отчетливо, без всякой склонности разрыдаться, нет, для такого все это слишком уж велико, пусть женщина у него за спиной душераздирающе всхлипывает, вероятно, ей так лучше, а ему никогда лучше не будет, и потому у него нет права плакать, у него есть лишь право думать, пытаться понять, что происходит, вот это большое, не похожее ни на что, с ним когда-либо происходившее. Человек, беседовавший с водителем, сказал: *Мне это напоминает Перл-Харбор. Знаете, все спокойно и тихо, ленивое воскресное утро, люди по дому в пижамах бродят, и тут БАХ, мир взрывается, и мы вдруг на войне*. Неплохое сравнение, подумал Фергусон. Крупное событие, разодравшее сердцевину всего, изменившее

жизнь всем, тот незабываемый миг, когда что-то заканчивается, а что-то другое начинается. Оно ли это и есть, спросил он себя, — мгновение, похожее на начало войны? Нет, не вполне. Война объявляет о начале новой действительности, а сегодня ничего не началось, действительность закончилась, вот и всё, у мира что-то отняли, и теперь в нем дыра, ничто в том месте, где раньше было нечто, как будто на свете пропали все деревья, как будто само понятие дерева — или горы, или луны — стерлось из человеческого ума.

Небо без луны.

Мир без деревьев.

Автобус заехал в терминал на углу Сороковой улицы и Восьмой авеню. Вместо того чтобы пройти подземными переходами на Седьмую авеню, как Фергусон делал обычно, когда приезжал в Нью-Йорк, он поднялся по лестнице и вышел в сумерки позднего ноября, прошагал на восток по Сорок второй улице, направляясь к своей станции подземки на Таймс-сквер, еще одно тело в толпе в самом начале часа пик, мертвые лица людей, спешащих по своим делам, всё то же самое, всё другое, и когда он поймал себя на том, что проталкивается сквозь стайки неподвижных прохожих, собравшиеся на

мостовой, все смотрят вверх, на поток высвеченных букв, опоясывающих высокое здание перед собой: ДЖ-Ф-К ЗАСТРЕЛЕН НАСМЕРТЬ В ДАЛЛАСЕ — ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРИСЯГУ ПРИНЯЛ ДЖОНСОН, — и не успел он дойти до ступенек, что приведут его на подземный перрон МСП, как услышал, что одна женщина говорит другой: *Поверить не могу, Дороти, я просто не могу поверить в то, что видят мои глаза.*

Призрачно.

Город без деревьев. Мир без деревьев.

Он не звонил Эми выяснить, вернулась ли она домой из школы. Возможно, она еще со своими подругами, охваченная смятеньем момента, взвинчена, слишком потрясена и не помнит, что он должен приехать, и потому, когда он нажал звонок Квартиры 4Б, ему еще было неясно, ответил ли ему кто-нибудь. Пять секунд сомненья, десять секунд сомненья, и тут он услышал голос, говорящий с ним из домофона: *Арчи, это ты, Арчи?* — и мгновенье спустя она его с жужжаньем впустила.

Несколько часов они смотрели съемки покушения по телевизору, а затем, заключив друг дружку в тугие объятия, спотыкаясь, ввалились в спальню к Эми, опустились на кровать и впервые

занялись любовью.

2.2

Первый номер «Покорителя мостовой» вышел 13 января 1958 года. А. Фергусон, основатель и издатель новорожденной газеты, в редакционной статье на первой полосе объявлял, что «Покоритель» намерен «сообщать факты со всей доступной нам точностью и рассказывать правду, чего бы это ни стоило». Печать новоявленного издания осуществлялась под руководством завпроизводством Розы Фергусон, которая отнесла оригинальный макет, написанный от руки, в «Типографию Маерсона» в Вест-Оранже, чтобы там выполнили задачу — воспроизвели обе стороны листа двадцать четыре на тридцать шесть дюймов и оттиснули их на бумаге достаточно тонкой для того, чтобы складывать лист пополам, и вот из-за этой складки «Покоритель» родился на свет скорее похожим на подлинное новостийное издание (почти), нежели на отпечатанный на машинке и размноженный на мимеографе бюллетень домашнего изготовления. Пять центов за экземпляр. Никаких фотографий или рисунков, сверху какие-то поля для трафарета шапки, а помимо этого — лишь два крупных пря-

моугольника, заполненных восемью колонками убористых печатных букв, выписанных от руки почти одиннадцатилетним мальчиком, который всегда с трудом выравнивал буквы на строке, но, несмотря на некоторые колебания и кривизну их, результат оказался достаточно разборчивым, а общее производимое впечатление напоминало искренний, хоть и чуточку полоумный вариант листовки восемнадцатого века.

Статьи в количестве двадцати одной варьировались от подверсток в четыре строки до двух очерков на три колонки, и первой из них был гвоздь номера на первой полосе, с заголовком, гласившим: «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. “ХИТРЕЦЫ” И “ГИГАНТЫ” УЕЗЖАЮТ ИЗ Н.-Й. НА ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ», — и включавшим в себя выдержки из интервью, взятых Фергусоном у различных членов семьи и друзей, причем самый яркий отклик поступил от его соученика, пятиклассника Томми Фукса: «Мне хочется покончить с собой. Осталась одна команда — “Янки”, а я ненавижу “Янки”. Что же мне теперь делать?» В очерке на задней странице рассматривался развивавшийся скандал в начальной школе Фергусона. Четырежды за последние полтора месяца учащиеся врезались в одну из двух кирпичных

стен спортзала во время матчей в вышибалы, отчего происходили всплески количества подбитых глаз, сотрясений, а также разбитых черепов и лбов, и Фергусон ратовал за то, чтобы стены отделали матами, дабы предотвратить дальнейшие увечья. Собрав комментарии недавних жертв («Я гнался за мячом, — говорила одна жертва, — и не успел ничего сообразить, как уже отлетал от стены с пробитой головой»), Фергусон обратился к директору мистеру Джемсону, который согласился с тем, что ситуация вышла из-под контроля. «Я разговаривал с Советом по вопросам образования, — сказал он, — и они пообещали закрыть стены матами к концу месяца. А до тех пор — никаких вышибал».

Исчезнувшие бейсбольные команды и предотвратимые травмы головы, но еще и публикации о пропавших домашних питомцах, телеграфных столбах, поврежденных бурей, дорожных происшествиях, состязаниях по плевкам жеваной бумагой, «Спутнике» и состоянии здоровья президента, а также краткие извещения о текущих делах кланов Фергусонов и Адлеров, как то — «АИСТ ОПЕРЕЖАЕТ ГРАФИК!»: «Впервые в истории человечества младенец родился в назначенный день. В 11:53 вечера 29 декабря,

всего за семь минут до того, как ее обгонят часы, миссис Франсис Голландер, 22 лет, из города Нью-Йорка разродилась своим первым ребенком, мальчиком 7 фунтов 3 унций по имени Стивен. Поздравляем, кузина Франси!» Или — «КРУПНЫЙ ШАГ ВВЕРХ»: «Мильдред Адлер недавно повысили с адъюнкт-профессора до полного профессора на Факультете английского языка Университета Чикаго. Она — один из ведущих мировых специалистов по викторианскому роману и опубликовала книги о Джордж Элиот и Чарльзе Диккенсе». А еще не забыть о врезке в рамочке в правом нижнем углу задней страницы, несшей название «Угол шуток Адлера», которую Фергусон намеревался публиковать на постоянной основе во всех выпусках «Покорителя», поскольку как же мог он пренебречь таким ценным ресурсом, как его дедушка, царь дурной шутки, который за годы рассказал Фергусону столько скверных анекдотов, что юный главный редактор счел бы себя недобросовестным, если бы хоть какими-то не воспользовался. Первый пример выглядел так: «Мистер и миссис Гупер ехали на Гавайи. Перед тем как самолет приземлился, мистер Гупер спросил у супруги, как правильно произносить слово *Гавайи — Гавайи* с *г* и *в* или *Хауайи* с *х* и *у*. “Не

знаю, — ответила миссис Гупер. — Давай спросим у кого-нибудь, когда прилетим". В аэропорту они заметили маленького старичка в гавайской рубашке. "Простите, сэр, — обратился к нему мистер Гупер. — Не могли бы вы подсказать нам, как правильно говорить, *Гавайи* или *Хауайи?*" Не моргнув глазом, старичок ответил: "Хауайи". "Спасибо", — сказали мистер и миссис Гупер. На что старичок ответил: "Усихда пжалста"».

Последующие номера вышли из печати в апреле и сентябре того же года, каждый лучше прежнего — ну, или так Фергусона уверяли его родители и родственники, а вот со школьными друзьями все было иначе, ибо после успеха первого номера, вызвавшего бурю в классе, на поверхность начало проступать сколько-то недовольства и враждебности. Закрытым мирком жизни в пятом и шестом классах управлял строгий набор правил и общественных иерархий, и, взяв на себя инициативу запустить «Покорителя мостовой», то есть осмелившись создать из ничего что-то, Фергусон, сам того не ведая, эти рамки переступил. Внутри этих границ мальчишки могли добиваться положения одним из двух способов: достигая успехов в спорте или самоутверждаясь как мастера проказ. Хорошие

школьные оценки мало что значили, и даже какой-нибудь исключительный талант в искусстве или музыке почти не считался, поскольку таланты эти рассматривались как врожденные дары, биологические черты вроде цвета волос или размера ноги, а потому не вполне связывались с личностью, ими обладавшей, просто факты природы, независимые от человеческой воли. Фергусон всегда довольно-таки преуспевал в спорте, что позволяло ему не откалываться от других мальчишек и избегать ужасающей судьбы изгоя. Проказы ему наскучивали, но его анархическое чувство юмора помогало крепить репутацию парняги пристойного, пусть он и держался на расстоянии от необузданных выпендрежников, которые все выходные напролет засовывали бомбочки с краской в почтовые ящики, били уличные фонари и звонили с непристойными предложениями красивым девчонкам из класса постарше. Иными словами, Фергусон покамест лавировал успешно, не сталкиваясь ни с какими чрезмерными трудностями, его хорошие отметки не считались ни плюсом, ни минусом, его тактичный, неагрессивный подход к межличностным отношениям предохранял его от злости других мальчишек, а это означало, что в драках он по-

чти не участвовал и постоянных врагов себе, похоже, не нажил, но тут, за несколько месяцев перед тем, как ему стукнуло одиннадцать лет, он решил, что хочет произвести какой-то всплеск, и выразилось это в самостоятельной публикации одностраничной газеты — и вдруг одноклассники его осознали, что в Фергусоне таится больше, чем они подозревали, что он на самом деле довольно умный молодой человек, не просто мальчишка, а мастер своего дела, и силы ума его хватает, чтобы выкинуть такой причудливый финт, как «Покоритель», а потому все двадцать два его соученика по пятому классу выложили свои никели на экземпляр первого номера, поздравили его с отличной работой, посмеялись над смешными оборотами, какими пестрели его статьи, а потом настали выходные, и к утру понедельника все уже перестали об этом говорить. Если бы «Покоритель» после того первого номера и закончился, Фергусона обошла бы стороной напасть, что, в итоге, обрушилась ему на голову, но откуда же он мог знать, что между просто умным и слишком умным есть разница, что от второго номера по весне часть класса начнет обращаться против него, поскольку номер этот докажет, что Фергусон слишком старается, старается чересчур

сильно, а вот они стараются недостаточно, и значит это, что Фергусон — прилежный шустрик, а они всего-навсего ленивые, никчемные обалдуи? Девчонки по-прежнему были с ним, все до единой, но девчонки с ним и не состязались, это мальчишки начали ощущать напор Фергусонова прилежания, во всяком случае, трое или четверо, но Фергусон был слишком полон собственным счастьем и ничего не замечал — его чересчур захватило ощущение триумфа от того, что он закончил еще один номер, и он не задавался вопросом, отчего это Ронни Кролик и его банда хулиганья отказались покупать новое издание «Покорителя», когда он в апреле принес его в школу, думая — если он задумывался об этом вообще, — что им просто не хватает денег.

По мнению Фергусона, газеты были одним из величайших изобретений человечества, и он их любил с тех самых пор, как выучился читать. Рано поутру семь дней в неделю на парадных ступеньках дома возникал номер «Ньюарк Стар-Леджер» — приземлялся с приятным стуком как раз в тот миг, когда Фергусон выбирался из постели, швыряла его какая-то безымянная, незримая личность, которая никогда не промахивалась мимо цели, и к тому времени, как Фергусону

исполнилось шесть с половиной, он уже начал принимать участие в утреннем ритуале чтения газеты за завтраком — он, кто силой воли заставил себя читать летом перелома ноги, кто с боем вырвался из тюрьмы собственной детской глупости и превратился в юного гражданина мира, теперь уже развитого настолько, чтобы все понимать, ну или почти все, кроме невразумительных вопросов экономической политики и представления о том, что создание большего количества ядерного оружия обеспечит длительный мир, и всякое утро он садился за стол завтракать с родителями, и каждый из них брался за свой раздел газеты, читали молча, потому что разговаривать в такую утреннюю рань очень трудно, а затем прочитанные тетрадки передавали друг дружке на кухне, полнившейся ароматами кофе и омлета, разогретого хлеба, жарящегося в тостере, масла, тающего на горячих ломтях этого хлеба. Для Фергусона началом всегда служили комиксы и спорт, странно привлекательная Ненси и ее друг Слагго, Джигс и его жена Магги, Блонди и Дагвуд, Битл Бейли, за которыми следовали последние известия от Мантла и Форда, от Конерли и Гиффорда, а затем уже — к местным известиям, национальным и международным новостям, статьям о

кинофильмах и пьесах, так называемые жизненные очерки, — о семнадцати студентах колледжа, набившихся в телефонную будку, или тридцати шести «хот-догов», употребленных в пищу победителем поедательного состязания округа Эссекс, а когда истощались и эти, а до выхода в школу оставалось еще несколько минут, — рекламные и частные объявления. *Дорогая, я тебя люблю. Вернись, пожалуйста, домой.*

Притягательность газет совершенно отличалась от привлекательности книг. Книги были солидны и постоянны, а газеты — эфемерные, хлипкие мимолетности, выбрасываемые, как только их прочли, назавтра они заменялись другими, каждое утро — свежая газета для нового дня. Книги двигались вперед по прямой, от начала к концу, а вот газеты всегда были в нескольких местах одновременно, мешаниной единомоментности и противоречий со множеством историй, сосуществующих в пределах страницы, и каждая разоблачала иную грань мира, каждая утверждала мысль или факт, которые не имели ничего общего с теми, что размещались рядом, война справа, гонки с ложкой и яйцом слева, горящее здание сверху, встреча гёрлскаутов снизу, крупное и мелкое смешивалось воедино, что-то

трагическое на странице 1, а фривольное — на странице 4, зимние паводки и полицейские расследования, научные открытия и рецепты десертов, смерти и рожденья, советы безнадежно влюбленным и кроссворды, пасы с тачдаунами и дебаты в Конгрессе, циклоны и симфонии, забастовки и трансатлантические полеты на воздушных шарах, утренняя газета обязательно должна была касаться каждого из этих событий на своих колонках черной, пачкающей типографской краски, и каждое утро Фергусон ликовал от всей этой пачкотни, ибо ею и был мир сей, чувствовал он, большая бурливая неразбериха с миллионом различного всякого, что происходит в нем каждый миг.

Вот что для него представлял собой «Покоритель»: возможность создать собственную мешанину мира в чем-то, похожем на полноценную газету. Не совсем, конечно, полноценную, всего-навсего грубое приближение в лучшем случае, но его любительский, детский вариант настоящего был по духу своему достаточно близок, чтобы произвести впечатление на друзей. Фергусон надеялся на подобный отклик, хотел, чтобы поворачивались головы и его в классе замечали, а теперь, когда желание исполнилось,

он нырнул во второй номер со всевозрастающей уверенностью, с новой верой в силу собственного гения, и до того слепа стала та вера, что даже частичный бойкот Кроликом и его приятелями не сумел показать ему, что происходит. Лишь на следующее утро глаза его несколько приоткрылись. Одним из его ближайших друзей был Майкл Тиммерман — смышленый и популярный мальчишка, чьи оценки были даже лучше, чем у Фергусона, квазигероическая фигура на голову выше злых карликов вроде Ронни Кролика — так дуб высился над зарослями ядовитого плюща, поэтому, если Майкл Тиммерман отводит тебя в сторонку на игровой площадке перед началом уроков и говорит, что хочет с тобой поговорить, ты более чем счастлив его выслушать. В первых же словах он заявил, насколько хорошим считает «Покорителя», что Фергусону понравилось чрезвычайно, поскольку мнение лучшего спортсмена и ученого их класса весило больше чьего бы то ни было мнения, но затем Тиммерман продолжил: ему бы хотелось работать вместе с Фергусоном, он желает войти в состав редакции «Покорителя» и лично писать статьи, отчего хорошее издание станет еще лучше, как он чувствует, ибо слыханное ли дело — газета, состоящая из

одного человека, в этом есть что-то странное и низкопробное, если все статьи пишет один-единственный репортер, и если Фергусон даст ему возможность и все сложится хорошо, как знать, в газете может оказаться со временем и три, четыре или пять журналистов, а если все немного скинутся, чтобы покрывать расходы на печать, возможно, «Покоритель» расширится до четырех или восьми страниц, и все в нем будет напечатано, и перестанет зависеть от жуткого почерка Фергусона, а оттого и начнет уже выглядеть как настоящая газета.

Ни к чему подобному Фергусон оказался не готов. «Покоритель» всегда планировался как концерт одного артиста, его персональное выступление, хорошо это или плохо, и больше ничье, и от мысли о том, чтобы делить сцену с другим мальчишкой, а с несколькими другими мальчишками и подавно, он заболевал несчастностью. Тиммерман удушал его своими замечаниями и предложениями, пытаясь выкрутить ему руки, чтобы он уступил власть над своей низкопробной портянкой с ее жуткими печатными буквами от руки, но как же Тиммерман не понимал, что он уже обо всем этом подумал, что даже умей он печатать, но не стал бы поль-

зоваться печатной машинкой, потому что тогда все это бы выглядело не так и потому что ему не по карману было платить типографу — ведь ему всего одиннадцать лет, и он вместо этого выбрал писать от руки, а Тиммерман не знал об уговоре его матери с Маерсоном: она сделала ему скидку на портреты его троих детей в обмен на пользование его типографским оборудованием для воспроизведения факсимиле, так оно все и получилось, хотел он сказать Тиммерману, обмениваешься по бартеру, чтобы скостить расходы, и стараешься как можно лучше использовать то, что у тебя есть, и тут совсем не стоит складываться, чтобы выпускать так называемую настоящую газету, никакие пятеро мальчишек нипочем не соберут столько денег, чтобы на такое хватило, и будь Тиммерман не самым его большим другом, которым он восхищался, а кем-то другим, Фергусон бы сказал ему, чтоб не лез не в свое дело и основал бы собственную газету, раз у него столько блестящих идей, но Тиммермана он слишком уважал, чтоб высказать ему все, что у него на уме, не хотелось рисковать и оскорблять своего друга, и потому он предпочел выход труса и поднырнул, сказав: *Давай я про это подумаю*, а не дал ему ясный ответ «да» или «нет», надеясь, что со вре-

менем у Тиммермана эта новоявленная страсть к журналистике поугаснет и дело это через пару дней будет забыто.

Как большинство преуспевающих мальчишек, однако, Тиммерман не так легко сдавался или забывал. Весь остаток недели каждое утро он подходил к Фергусону на игровой площадке и спрашивал, принял ли тот решение, и каждое утро Фергусон старался дать ему отставку. Возможно, говорил он, может, это и хорошая мысль, но теперь весна, и у них не будет времени подготовить еще один номер до конца учебного года. Нынче мы оба заняты в Малой лиге, а ты себе не представляешь, сколько для этого нужно работать. Недели труда, месяцы труда. Столько работы, что я даже не знаю, хочу я этим заниматься дальше или нет. Оставь пока эту тему в покое, может, мы к ней вернемся где-нибудь летом.

Но Тиммерман на лето уезжал в лагерь, и вопрос ему хотелось решить прямо сейчас. Даже если следующий номер появится только осенью, ему нужно было знать, можно ли на это рассчитывать или же нет, и с какой это стати Фергусону так трудно решить, что делать? В чем тут загвоздка?

Фергусон понял, что его загнали в угол. Уже четыре дня подряд они торговались, и он понимал,

что это не прекратится, пока он не даст ответа. Но какой ответ правильный? Если он скажет Тиммерману, что не хочет его, то, вероятно, потеряет друга. Если согласится на то, чтобы Тиммерман участвовал в газете, — будет презирать себя, что поддался. Чему-то в нем льстил этот энтузиазм Тиммермана к «Покорителю», а чему-то его друг начинал не нравиться: он теперь уже вел себя не как друг, а как сладкоречивый задира. Ну нет, не вполне задира, конечно, а вымогатель, а поскольку вымогатель у них в классе был самым могущественным и влиятельным человеком, Фергусону до ужаса не хотелось делать что-нибудь такое, что его бы обидело, поскольку если бы Тиммерман почувствовал, что Фергусон с ним обошелся как-то не так, он мог бы натравить на него весь класс, и жизнь Фергусона превратилась бы в неумолимое страданье на весь остаток учебного года. И все же не мог он позволить уничтожить «Покоритель» только ради поддержания мира. Что бы ни случилось, он все равно не выпрыгнет из собственной шкуры, и уж лучше ему превратиться в изгоя, чем утратить самоуважение. С другой стороны, гораздо лучше в изгоя не превращаться, если этого можно избежать.

Вопрос, стало быть, не стоял ни о «да», ни о

«нет». Фергусону требовалось такое «может быть», какое даст хоть какую-то надежду, но при этом не пришпилит его ни к каким железным обязательствам, некая обманная тактика, закамуфлированная под шаг навстречу, который на деле будет шагом назад и возможностью выторговать себе еще немного времени. Он предложил Тиммерману выполнить проверочное задание — посмотреть, нравится ли ему такая работа, а как только он напишет свой материал, они поглядят на него вместе и решат, место ли ему в «Покорителе». Тиммерман поначалу вроде бы взъерепенился — ему не очень понравилась мысль, что его станет судить Фергусон, но чего еще можно было ожидать от круглого отличника, совершенно уверенного в своих умственных способностях, и потому Фергусону пришлось объяснить, что пробные задания необходимы: «Покоритель» — его штука, а не Тиммермана, и если Тиммерману хочется в ней участвовать, ему придется доказать, что его работа соответствует духу всего предприятия, четкого, смешного и бойкого. Неважно, насколько сам он смышлен, сказал Фергусон, ему еще только предстоит написать единственную газетную статью, у него нет в этом совершенно никакого опыта, а как

им объединять свои усилия, если они пока не понимают, как его сочинение будет звучать? Справедливо, заметил Тиммерман. Он напишет пробный материал и докажет, насколько он хорош, и на этом всё.

Я вот о чем думаю, сказал Фергусон. *Кто твоя любимая киноактриса — и почему?* Поговори со всеми в классе, с каждой девчонкой и каждым мальчишкой, и задай им всем этот единственный вопрос: Кто твоя любимая киноактриса — и почему? Точно запиши все слова до единого, какие они скажут, дословно все ответы, какие они тебе дадут, а потом иди домой и преврати результаты в материал на одну колонку, который развеселит людей, когда они станут его читать, а если не сумеешь их развеселить, то пусть хотя бы улыбнутся. Договорились?

Договорились, ответил Тиммерман. А почему еще и про любимого актера не спросить?

Потому что соревнования с одним победителем лучше соревнований с двумя. Актеры могут обождать до следующего номера.

Так Фергусон и выторговал себе немного времени — отправил Тиммермана на это бессмысленное, высосанное из пальца задание, и следующие десять дней все было спокойно: новичок-репор-

тер собрал свои данные и засел писать статью. Как Фергусон и подозревал, от мальчишек больше всего голосов получила Мерилин Монро, шесть из одиннадцати, а остальные пять достались Элизабет Тейлор (два), Грейс Келли (два) и Одри Хепберн (один), а вот девчонки дали Монро лишь два голоса из своих двенадцати, остальные же десять распределились среди Хепберн (три), Тейлор (три) и по одному Келли, Леслей Карон, Сид Шерисс и Деборе Керр. Сам Фергусон не сумел выбрать между Тейлор и Келли, поэтому подбросил монетку и в итоге отдал свой голос за Тейлор, а Тиммерман, столкнувшись с такой же дилеммой между Келли и Хепберн, подбросил ту же монетку и в итоге проголосовал за Келли. Полная чепуха, конечно, но было в этом и что-то забавное, и Фергусон отметил, до чего сознательно Тиммерман подошел к делу опроса детей и записи их ответов в своем репортерском блокнотике на пружине. Высшие оценки за хождение ногами и прилежание, стало быть, но это лишь начало, фундамент дома, так сказать, но по-прежнему неясно, что за конструкцию Тиммерман сумеет на нем возвести. Сомнений не было — у мальчишки этого неплохие мозги, но это не значит, что он умеет хорошо писать.

За эти десять дней, пока наблюдал и ожидал, Фергусон провалился в странное состояние двусмысленности — он все меньше и меньше становился уверен в том, как относится к Тиммерману, не очень понимал, и дальше ли ему отталкивать его или же начать выказывать какую-то благодарность за его старательную работу: он то рассчитывал, что Тиммерману статья не удастся, то в следующий миг уже надеялся, что у того все получится, и задавался вопросом, не хорошей ли мыслью будет все же взять еще одного репортера, чтобы тот, в конце концов, разделил с ним бремя, и Фергусон осознавал уже, что в выдаче заданий другим людям имеется некоторое удовлетворение, что быть начальником — не без своих удовольствий, ибо Тиммерман выполнял его распоряжения, не жалуясь, и то было новое чувство — ощущение того, что ты главный, и если со статьей Тиммермана все будет хорошо, возможно, Фергусону и стоит задуматься о том, чтобы его впустить, не партнером, конечно, нет, вовсе нет, никогда и ни за что, а сотрудником, первым из, быть может, нескольких, что в итоге, наверное, позволит «Покорителю» увеличиться от двух страниц до четырех. Может быть. А может, опять же, и нет, ибо Тиммерману еще только

предстоит сдать свою статью, хоть интервью все свои он взял за пять дней, а теперь прошло еще пять дней, и Фергусон мог заключить лишь, что с нею тот все еще сражается, а если Тиммерману писать статью трудно, это, вероятно, означает, что материал никуда не годится, а все, что окажется не очень хорошо, будет неприемлемо. Ему придется сказать это Тиммерману в лицо. Вообрази, смотришь в глаза доке Майклу Тиммерману, говорил он себе, единственному человеку, кто никогда и ни в чем не проваливался, и сообщаешь ему, что он провалился. Наутро десятого дня надежды Фергусона на будущее рухнули в единственное желанье: чтобы Тиммерман написал шедевр.

Как выяснилось, статья была вовсе не плоха. Не до ужаса плоха, во всяком случае, но ей недоставало той прыгучести, на какую надеялся Фергусон, чуточки юмора, какой превратил бы тривиальную ее тему в нечто, достойное чтения. Если в такой неудаче и было некое утешение, то состояло оно в том, что и сам Тиммерман, похоже, считал статью скверной — ну, или так предположил Фергусон по самоуничижительному пожатью плеч автора, когда тот вручал ему завершенную рукопись в то утро на игровой

площадке, сопровождая сдачу материала извинением за то, что это заняло столько времени, но работа оказалась не так легка, как он рассчитывал, сказал Тиммерман, он переписал статью четыре раза, и если из этого чему-то научился, то лишь одному: писать — *дело довольно лихое*.

Это хорошо, сказал сам себе Фергусон. Немножко смирения от мистера Совершенство. Признание сомнений, быть может, даже признание неудачи, а значит, противостояния, которого он страшился, скорее всего не произойдет, а это хорошо, это просто отлично и очень успокаивает, потому что несколько последних дней Фергусон уже воображал, как ему в живот врезаются кулаки, а сам он немедля оказывается сослан в самые дальние пределы для презираемых. И все же, сообразил он, если ему хочется сохранить их дружбу в целости, вокруг Тиммермана ему придется вышагивать осторожно и удостоверяться, что при этом не наступает ему на ноги. А ноги были крупны, и личность, которой они принадлежали, тоже не мала, и сколь дружелюбен бы ни был этот мальчишка, у него еще имелся и характер, чьи проявления Фергусон несколько раз за много лет наблюдал, совсем недавно — когда Тиммерман двинул Томми Фукса за то, что тот

его обозвал *надутым говнюком*, того же Томми Фукса, кто своим клеветникам был известен под именем Томми Хуюкса, и у Фергусона не было ни малейшего желания огребать от Тиммермана так же, как огреб Томми Хуюкс.

Он попросил Тиммермана дать ему несколько минут, после чего удалился в угол игровой площадки прочесть статью в одиночестве:

«Вопрос был: Кто твоя любимая киноактриса — и почему? Опрос двадцати трех учащихся пятого класса мисс Ван Горн дал нам ответ — Мерилин Монро, которая набрала восемь голосов, победив Элизабет Тейлор, пришедшую к финишу второй с пятью голосами…»

Тиммерман похвально изложил факты, но язык у него был плоский, негибкий до полной безжизненности, и сосредоточился он на самой неинтересной части сюжета — на цифрах, что было глубоко скучно по сравнению с тем, что ученики говорили о своем выборе, те комментарии, которыми Тиммерман поделился с Фергусоном, а затем по большей части пренебрег включить в материал, и пока Фергусон сейчас припоминал некоторые утверждения — поймал себя на том, что уже начал в уме переписывать статью.

«“Ба ба бум”, — сказал Кевин Ласситер, кому

потребовалось лишь три коротких слова, чтобы объяснить, почему Мерилин Монро — его любимая киноактриса.

“Она кажется такой доброй и разумной личностью, мне бы хотелось с нею познакомиться и стать ее подружкой”, — сказала Пегги Гольдштейн, защищая свой выбор — Дебору Керр.

“Такая элегантная, такая красивая — я от нее просто глаз не могу оторвать”, — сказала Глория Долан о своем первом номере — Грейс Келли.

“Ну и ягодка, — сказал Алекс Ботелло о своей лучшей звезде — Элизабет Тейлор. — В смысле, поглядите только на это тело. От такого мальчишкам хочется вырасти побыстрее”».

Невозможно попросить Тиммермана вернуться к самому началу и переписать статью в пятый раз. Бесполезно объяснять ему, что работа его не вызовет ни смеха, ни улыбки, и что ему было бы лучше сосредоточиться на «почему», а не на «кто». Теперь уже слишком поздно во все это вдаваться, и Фергусону меньше всего на свете хотелось бы навязывать Тиммерману свое мнение и читать ему нотацию о том, что ему следовало и чего не следовало писать. Он вернулся туда, где стоял мистер Большие Ноги, и вернул ему статью.

Ну? — спросил Тиммерман.

Неплохо, ответил Фергусон.

Хочешь сказать — нехорошо.

Нет, не *нехорошо*. Неплохо. А это значит — довольно хорошо.

А что насчет следующего номера?

Пока не знаю. Я об этом еще не думал.

Но ты же собираешься его делать, правда?

Может быть. А может, и нет. Пока что рано говорить.

Не бросай. Ты начал кое-что хорошее, Арчи, и теперь надо продолжать.

Если не захочется, так и не буду. Да и вообще, какое тебе дело? Я по-прежнему не понимаю, почему «Покоритель» для тебя вдруг стал так важен.

Потому что это здорово, вот почему, а я хочу участвовать в том, что здорово. Мне кажется, это будет очень весело.

Ладно. Я тебе так скажу. Если я решу выпускать еще один номер — дам тебе знать.

И дашь мне возможность что-нибудь написать?

Конечно, а чего ж нет?

Честно?

Дать тебе возможность? Да, честно.

Даже произнося эти слова, Фергусон знал, что

обещание его ничего не значит, поскольку он уже решил закрыть «Покоритель» насовсем. Четырнадцатидневная битва с Тиммерманом его вымотала, он себя чувствовал выпотрошенным и лишившимся вдохновенья, из-за своих слабоумных метаний ему было от себя противно, он был деморализован собственным нежеланием постоять за себя и защитить свою позицию: либо его газета одного человека, либо ничего, и теперь, когда он поднял волну и сделал то, что намеревался сделать, возможно, лучше всего было бы, если б тут не осталось ничего, лучше выбраться из бассейна, вытереться насухо и всё бросить. Кроме того, уже начался бейсбольный сезон, и ему стало некогда — он играл в команде «Пираты» Торговой палаты Вест-Оранжа, а если не играл в бейсбол, то читал «Графа Монте-Кристо», громадную книжищу, которую тетя Мильдред прислала ему в прошлом месяце на одиннадцатилетие, и вот он ее наконец-то начал после того, как сдал в печать второй номер «Покорителя», а теперь, раз он в нее погрузился, то погрузился он в нее с головой, ибо то был, несомненно, самый захватывающий роман, какой когда-либо попадался ему в руки, и до чего же приятно было каждый вечер после ужина следить за приключениями

Эдмона Дантеса, а не считать слова в своих статьях, чтоб те поместились в узкие колонки его листовки, столько труда, столько прищуриваний допоздна под настольной лампой в один патрон, продвигаясь вперед в почти полной темноте, пока родители его думали, что он спит, столько фальстартов и исправлений, столько безмолвных благодарностей человеку, изобретшему ластики, зная уже, что труд этот, письмо, — такое же удаление слов, как и их добавление, а затем — скучная задача обвести все до единой карандашные буквы чернилами, чтобы удостовериться, что слова достаточно черны и окажутся разборчивыми при факсимильном воспроизведении, изматывает, да, вот как это называется, и после затянувшегося и мучительного противостояния с Тиммерманом он был вымотан, а как ему бы сказал любой врач, единственное лекарство от вымотанности — это отдых.

Отдыхал он месяц: с тяжелым сердцем дочитал Дюма, опасаясь, что может пройти много лет, прежде чем ему попадется роман настолько же хороший, а затем, за три дня, последовавшие за дочитыванием книги, произошло три вещи, которые изменили ход мыслей Фергусона и вывели его из добровольной отставки. Он просто ничего

не мог с собой поделать. На ум ему взбрели слова нового заголовка, и такими восхитительными слова эти были для него, так живописно трямкали и рифмовались их лязгающие согласные, так причудливо оказывалось, что их явная бессмыслица фактически никакая не бессмыслица, а очень даже смысл, что ему не терпелось увидеть эти слова в печати, и потому, отступившись от своего обета оставить газетное дело, он принялся планировать третий номер «Покорителя», который крупными буквами нес на своей первой странице двойной удар заголовка: «ФУГАСЫ В КАРАКАСЕ».

Все началось тринадцатого мая, когда на Ричарда Никсона при его последней остановке в турне доброй воли по трем странам Южной Америки напала толпа венесуэльских демонстрантов. Вице-президент только приземлился в аэропорту, и пока его колесная кавалькада ехала по улицам в центре Каракаса, толпы, выстроившиеся на тротуарах, скандировали: *Смерть Никсону! Никсон, иди домой!* — и совсем немного погодя машину Никсона окружили десятки людей, главным образом молодежь, которые стали плевать на машину и бить в ней стекла, а через несколько мгновений принялись раскачивать ее из стороны

в сторону, мотать взад-вперед с такой яростью, что машина того и гляди перевернется, и если б не внезапное появление венесуэльских солдат, которые разогнали толпу и расчистили машине Никсона путь, все бы завершилось скверно, совсем плохо для всех участников, особенно для чуть не убитого Никсона и его супруги.

Фергусон прочел об этом в газете на следующее утро, увидел съемки инцидента в новостях по телевизору, а под конец следующего дня к ним в гости заехали его двоюродная сестра Франси, ее муж Гари и их пятимесячный младенец. Жили они теперь в Нью-Йорке, где Гари собирался доучиваться последний год на юридическом факультете Колумбии, и с тех пор, как Фергусон выступил четырьмя годами ранее кольценосцем на их свадебной церемонии, Гари относился к юному кузену своей жены как к некоему протеже, подрастающему попутчику в мире идей и мужских занятий, что приводило к некоторым длительным беседам о книгах и спорте, но еще и о политике, которая для Гари была своего рода одержимостью (он подписывался на «Диссент», «И. Ф. Стоунс Викли» и «Партизан Ревю»), а оттого, что муж Франси был разумным молодым человеком, уж точно лучшим мыслителем из всех, кого

Фергусон знал, если не считать тети Мильдред, поэтому, само собой, он и спросил у Гари, что тот думает о стычке Никсона с толпой в Венесуэле. Они вместе были на заднем дворе — гуляли под дубом, с которого Фергусон упал, когда ему было шесть лет, высокий, мясистый Гари пыхтел «Парламентом», а мать Фергусона и Франси сидели на веранде с младенцем Стивеном, этим пухлым маленьким новичком среди людей, таким же юным по отношению к Фергусону, каким сам Фергусон некогда был по отношению к Франси, и пока две женщины вместе смеялись и по очереди держали младенца, вечно серьезный морализатор Гари Голландер беседовал с ним о Холодной войне, черном списке, Красной угрозе и полоумном антикоммунизме, какой подхлестывал американскую внешнюю политику, что вынуждало Государственный департамент поддерживать злобные правые диктатуры по всему миру, особенно в Центральной и Южной Америках, и вот поэтому на Никсона и напали, сказал он, не из-за того, что он Никсон, а потому, что он представляет правительство Соединенных Штатов, а правительство это в тех странах презирают огромные массы людей, и презирают обоснованно — за поддержку тиранов, которые

их угнетают.

Гари умолк, прикуривая еще один «Парламент». Потом сказал: Ты улавливаешь, что я говорю, Арчи?

Фергусон кивнул. Улавливаю, сказал он. Мы так боимся коммунизма, что пойдем на что угодно, лишь бы его остановить. Даже если это означает помощь тем людям, которые хуже коммунистов.

На следующее утро, читая за завтраком спортивную страницу, Фергусон впервые запнулся о слово *фугас*. Детройтский подающий швырнул мяч в голову чикагскому отбивающему, отбивающий выронил свою биту, подбежал к горке и двинул подающему, после чего игроки обеих команд ринулись на поле и следующие двенадцать минут колотили друг друга. *Как только осколки от взрыва этого фугаса улеглись*, писал репортер, *шестерых игроков удалили из игры*.

Фергусон перевел взгляд на мать и спросил: Что значит слово *фугас?*

Большая бомба, ответила мать. Сильно взрывается.

Я так и думал, сказал он. Просто нужно было убедиться.

Шли месяцы. Учебный год закончился без дальнейших хлопот с Кроликом, Тиммерма-

ном или кем бы то ни было другим, и двадцать три бывших ученика мисс Ван Горн расстались друг с дружкой на летние каникулы. Фергусон отправился в лагерь «Парадиз» на второй свой двухмесячный срок, и хотя бóльшую часть времени он там бегал по полю с мячом и плескался в озере, после обеда на отдыхе, в часы затишья, ему хватало свободного времени на то, чтобы писать статьи и продумывать макет для третьего номера «Покорителя». Работу эту он завершил уже дома, за две недели, что остались между приездом из лагеря и началом учебы: возился каждое утро, весь день и почти весь вечер, лишь бы успеть к назначенному самому себе сроку, первое сентября, чтобы матери его хватило времени оттиснуть факсимильные копии у Маерсона и номер был готов к первому дню школы. Хороший способ начать учебный год, считал он, небольшая встряска, чтобы все побыстрей зашевелилось, а уж после он поймет, чтó ему делать дальше, решит, будут ли «Покорители» выходить и впредь, или же это действительно последний номер.

Он дал Тиммерману слово, что сообщит ему, выйдет ли следующий номер, но все статьи уже были написаны до того, как ему выпала возможность с ним поговорить. Он звонил Тиммерману

домой через день после приезда из лагеря, но домоправительница сказала ему, что Майкл с родителями и двумя братьями на рыбалке в Адирондаках и вернутся лишь за день до начала школьных занятий. Раньше тем же летом Фергусон подумывал написать смешную версию материала про киноактрис с ба-ба-бумами и вставить в номер, но отказался от этой мысли из почтения к чувствам Тиммермана, понимая, насколько жестоко будет теперь опубликовать его, как ранит Тиммермана такое остроумное разрушение его собственной скучной попытки. Если б он оставил вариант Тиммермана, то мог бы расценивать эту публикацию как дань вежливости, но он вернул ему статью еще в апреле на игровой площадке, а потому это оказалось невозможно. Новый номер «Покорителя мостовой» был готов разлететься по джунглям спортзалов и классов начальной школы Фергусона, а Майкл Тиммерман об этом ничего не знал.

Это была его первая ошибка.

Вторая ошибка заключалась в том, что он слишком много чего запомнил из своей беседы с Гари на заднем дворе.

Фугас в Каракасе к тому времени уже был старой новостью, но Фергусон не мог отделаться

от фразы, она блямкала у него в голове не один месяц, поэтому вместо того, чтобы прицепить этот заголовок к отчету о том, что произошло с Никсоном, он превратил свой материал в редакционную статью в рамочке посреди первой полосы, и «ФУГАС В КАРАКАСЕ» читался над самым сгибом страницы, а остальная статья располагалась под ним. Вдохновившись своей беседой с Гари, он доказывал, что Америке следует прекратить так беспокоиться из-за коммунизма и послушать, что есть сказать людям в других странах. «Неправильно было стараться перевернуть машину вице-президента, — писал он, — но люди, которые это делали, были сердиты, а сердиты они были не просто так. Им не нравится Америка, потому что они чувствуют: Америка против них. И это не означает, что они коммунисты. Это значит лишь то, что они хотят быть свободными».

Сначала прилетел удар — злобный удар в живот, когда Тиммерман заорал ему *врун* и сшиб его наземь. Последние двадцать один экземпляр «Покорителя» выпорхнули из рук Фергусона и разлетелись по всему школьному двору от жестких порывов утреннего ветра, мелькнув мимо других детей, как армия воздушных змеев без бечевок. Фергусон поднялся и попробовал

нанести ответный удар, но Тиммерман, похоже подросший за лето еще на три или четыре дюйма, отмахнулся от него и парировал еще одним ударом под дых, прилетевшим с гораздо большей силой, чем первый, и Фергусон не только опять оказался на земле, но из него еще и вышибло весь дух. К тому времени вокруг Фергусона уже стояли Кролик, Томми Хуюкс и несколько других мальчишек и смеялись над ним, дразня его словами, звучавшими как *гнойный прыщ, пидор* и *пиздоголовый*, а когда Фергусону удалось встать снова, Тиммерман в третий раз толкнул его наземь, толкнул жестко, отчего Фергусон рухнул на левый локоть, и за считаные секунды жуткая боль в «смешной косточке» локтя едва не обездвижила его, а Кролику и Хуюксу поэтому хватило времени пинками запорошить ему грязью все лицо. Он закрыл глаза. Где-то вдали кричала девчонка.

Затем последовали выговоры и наказания и оставление после уроков, идиотское задание писать слова *Я не буду драться в школе* двести раз, церемониальное рукопожатие, знаменующее собой погребение топора войны с Тиммерманом, который отказывался смотреть Фергусону в глаза, который больше уже никогда не посмотрит ему в глаза, который будет ненавидеть Фергусона

всю оставшуюся жизнь, а затем, когда мистер Блази, их классный руководитель в этом году, уже собирался отпустить их домой, в кабинет вошла секретарша директора и сказала Фергусону, что его внизу у себя ждет мистер Джемсон. А Майкла? — спросил мистер Блази. Нет, Майкла не ждет, ответила мисс О'Хара. Только Арчи.

Фергусон застал мистера Джемсона за столом с экземпляром «Покорителя мостовой» в руках. Школой он руководил последние пять лет и с каждым годом казался все меньше ростом и круглее, а волосы у него на голове, похоже, редели все сильнее. Сначала они были темно-русыми, припоминал Фергусон, но теперь оставшиеся жидкие пряди поседели. Директор не пригласил Фергусона садиться, поэтому Фергусон остался стоять.

Ты понимаешь, что у тебя серьезные неприятности, не так ли? — сказал мистер Джемсон.

Неприятности? — переспросил Фергусон. Меня только что наказали. Какие у меня могут быть еще неприятности?

Вас с Тиммерманом наказали за драку. Я же говорю вот об этом.

Мистер Джемсон бросил на стол экземпляр «Покорителя».

Скажи мне, Фергусон, продолжал директор,

ты несешь ответственность за все статьи в этом выпуске?

Да, сэр. За каждое слово в каждой статье.

Тебе никто не помогал тут ничего писать?

Никто.

А твои мать с отцом. Они это предварительно читали?

Мать читала. Она помогает мне с печатью, поэтому видит это прежде всех остальных. А мой отец прочел это только вчера.

И что они тебе на этот счет сказали?

Ничего особенного. Хорошо постарался, Арчи. Продолжай в том же духе. Что-то такое.

Значит, ты говоришь мне, что редакционную статью на первой странице ты сам придумал.

Фугас в Каракасе. Да, сам.

Говори правду, Фергусон. Кто отравлял тебе ум коммунистической пропагандой?

Что?

Скажи мне, или мне придется отстранить тебя от занятий за публикацию этой лжи.

Я не лгал.

Ты только что начал учебу в шестом классе. Это значит, тебе одиннадцать лет, так?

Одиннадцать с половиной.

И ты рассчитываешь, будто я поверю, что

мальчик в твоем возрасте способен выступить с такими политическими доводами? Ты слишком юн, чтоб быть изменником, Фергусон. Это просто невозможно. Тебе, должно быть, скармливал весь этот мусор кто-то постарше, и я подозреваю, что это твои мать или отец.

Они не изменники, мистер Джемсон. Они любят свою страну.

Тогда кто разговаривал с тобой?

Никто.

Когда в прошлом году ты начал издавать свою газету, я согласился на это, верно? Я даже дал тебе интервью для одной из статей. Я счел это обаятельным — как раз таким и должен заниматься сообразительный мальчик. Никаких противоречий, никакой политики, а потом ты уезжаешь на летние каникулы, а возвращаешься красным. Что мне с тобой делать?

Если вся беда в «Покорителе», мистер Джемсон, то вам из-за него волноваться больше не стоит. Напечатано только пятьдесят экземпляров к началу учебного года, половину из них унесло ветром, когда началась драка. Я сам толком не знал, что мне с ним делать дальше, но после драки сегодня утром решил твердо. «Покоритель мостовой» умер.

Даешь слово, Фергусон?

И да поможет мне бог.

Тогда держи свое слово, и я, возможно, сумею забыть, что ты заслуживаешь отстранения от занятий.

Нет, не забывайте. Я хочу быть отстраненным. Теперь все мальчишки в шестом классе против меня, и школа — последнее место, где мне хочется быть. Отстраните меня надолго, мистер Джемсон.

Не шути с этим, Фергусон.

Я не шучу. Я теперь белая ворона, и чем дольше меня тут не будет, тем лучше.

Его отец занимался нынче другой работой. «Домашнего мира 3 братьев» больше не было, зато на границе Вест-Оранжа и Саут-Оранжа размещался громадный, защищенный от непогоды пузырь, который назывался «Теннисный центр Южной горы»: шесть закрытых кортов, позволявших всем окрестным любителям тенниса предаваться своей страсти к этому спорту круглый год, играть и в грозы, и в метели, играть ночью, играть до восхода солнца зимними утрами, полдюжины зеленых кортов с твердым покрытием, пара раздевалок, оборудованных умывальниками, туалетами и душевыми, а также профессиональный магазин,

торговавший ракетками, мячами, тапочками и белой теннисной формой для мужчин и женщин. Пожар 1953 года сочли несчастным случаем, страховая компания все выплатила полностью, и отец Фергусона не стал перестраивать или открывать старый магазин на новом месте, а щедро поделился с братьями-подчиненными долей денег (по шестьдесят тысяч на брата), а на оставшиеся сто восемьдесят тысяч запустил свой теннисный проект. Лью и Милли отчалили в южную Флориду, где Лью сделался покровителем собачьих бегов и матчей по хай-алаю, а Арнольд открыл в Морристауне лавку, которая специализировалась на устроении детских дней рождения: полки ее были набиты мешками воздушных шариков, лентами из креповой бумаги, свечами, хлопушками, дурацкими колпаками и плакатами пришпиль-хвостик-ослику, однако Нью-Джерси оказался не готов к подобной новинке, и, когда лавка через два с половиной года прогорела, Арнольд обратился к Станли за помощью, и ему дали работу в спортивном магазине при «Теннисном центре». Что же касается отца Фергусона, то каждый день те два с половиной года, что у Арнольда заняло угробить свой магазинчик, он потратил на накопление капитала,

который дополнил бы те средства, какие вложил он сам, на поиски и, в итоге, покупку участка, на консультации с архитекторами и подрядчиками и, наконец, на возведение «Теннисного центра Южная гора», который открыл двери в марте 1956-го, через неделю после девятого дня рождения его сына.

Фергусону нравился этот защищенный от непогоды пузырь и жутковатое эхо от летающих по его каверне мячей, попурри чпок-чпок-чпоков ракеток, сталкивающихся с мячами, когда задействовалось сразу несколько кортов, неумолчный скрип резиновых подошв по твердому покрытию, кряки и ахи, долгие промежутки времени, когда никто не издавал ни слова, притихшая серьезность облаченных в белое людей, подающих белые мячи через белые сетки, маленький, замкнутый мирок, не похожий ни на одно другое место в большом мире за пределами купола. Он ощущал, что отец его поступил правильно, поменяв работу, что телевизоры, холодильники и пружинные матрасы могут манить не вечно, а затем настает миг, когда нужно сбежать с корабля и попробовать что-то другое, а поскольку отец так любил теннис, так чего ж не зарабатывать себе на жизнь игрой, которую любишь? Еще в

1953-м, в жутковатые дни после того, как «Домашний мир 3 братьев» сгорел дотла, когда отец его только начинал разрабатывать план на центр «Южная гора», мать предупреждала его насчет рисков, связанных с подобным предприятием, о том, что отец вступает в большую азартную игру, и впрямь — по пути там было много взлетов и падений, и даже после того, как центр построили, прошло некоторое время, пока ряды членов выросли настолько, что взносы их превысили ежемесячную эксплуатационную стоимость такой крупной компании, а это значило, что почти все три с лишним года между концом 1953-го и серединой 1957-го семейство Фергусонов зависело от зарабатываемого в «Ателье Страны Роз», чтобы не пойти ко дну. С тех пор положение укрепилось, и центр, и студия работали с неплохой прибылью, принося столько дохода, что хватало на такие роскошества, как новый «бьюик» отцу, свежая перекраска всего дома, норковый палантин для матери и два лета подряд в лагере для самого Фергусона, но хоть обстоятельства для них теперь и улучшились, Фергусон понимал, насколько трудно дается его родителям поддерживать этот уровень удобства, насколько обоих поглощают их работы и до чего мало времени остается у них

на что бы то ни было еще, особенно отцу, чей теннисный центр работал семь дней в неделю, с шести утра до десяти вечера, и хотя у него был штат работников, Чак О'Ши и Билл Абрамавиц, к примеру, которые могли более-менее со всем управляться самостоятельно, и Джон Робинзон, бывший проводник пульмановских вагонов, кто присматривал за кортами и раздевалками, и бездельник дядя Арнольд, коротавший часы в спортивном магазине, куря «Камелы» и листая газеты и беговые формуляры, и трое молодых ассистентов Роджер Найлс, Нед Фортунато и Ричи Зигель, чередовавшие свои шести- и семичасовые смены, да еще полдюжины старшеклассников на полставки, отец Фергусона редко брал себе отгулы в холодные месяцы, а когда устанавливалось тепло, тоже с выходными не частил.

Поскольку родители его были так озабочены, Фергусон был склонен свои беды держать при себе. В случае суровой нужды, знал он, на мать рассчитывать можно — она его поддержит, — но штука была в том, что за последнюю пару лет никаких суровых нужд не возникало, по крайней мере — таких, что заставили бы его броситься к матери за помощью, — и теперь, когда ему исполнилось одиннадцать с половиной, большинство

обстоятельств, что некогда казались ему обстоятельствами суровой нужды, теперь сокращались до набора мелких неурядиц, которые он мог бы решить и сам. Пострадать в драке на игровой площадке перед первым днем школьных занятий было, вне всяких сомнений, передрягой крупной. Получить обвинение в распространении коммунистической пропаганды от директора школы — также, без вопросов, крупная передряга. Но можно ли считать ту и другую серьезные передряги обстоятельствами суровой нужды? И ладно еще, что он чуть не расплакался после выговора в кабинете мистера Джемсона, не стоит и о том, что со слезами этими он боролся всю дорогу из школы домой. Ужасный ему выпал день, вероятно — худший в жизни после того дня, когда он упал с дерева и сломал ногу, и у него имелись теперь все причины на свете для того, чтобы не выдержать и расплакаться. Его избил друг, оскорбили другие приятели, ждать ему можно лишь новых побоев и насмешек, а последнее унижение — его назвал изменником этот тупой трус, директор, у которого кишка тонка даже отстранить его от занятий. Да, Фергусону было тоскливо, Фергусон изо всех сил старался не заплакать, Фергусон оказался в трудном положении, но что хорошего расска-

зывать об этом родителям? Мать вся изойдет на сочувствие, конечно, ей захочется его обнять и взять на ручки, она с радостью превратит его снова в маленького мальчика и будет держать на коленях, чтобы проревелся и изложил все свои плаксивые жалобы, а потом от его имени рассердится, будет грозиться, что позвонит мистеру Джемсону, чтобы высказать ему все, что она о нем думает, они условятся о встрече, взрослые станут из-за него ругаться, все примутся орать о розовом подрывном элементе и его розовых родителях, и что в этом будет хорошего, какие такие действия или слова его матери смогут помешать тому, чтобы ему не прилетело в следующий раз? Отец же будет по всему этому поводу более практичен. Он вытащит боксерские перчатки и преподаст Фергусону еще один урок в искусстве кулачной драки, *сладкой науке*, как отцу нравилось это называть, а это явно худшая ошибка названия в человеческой истории, и двадцать минут станет показывать ему, как обороняться и защищаться от противника, который выше него ростом, но что толку в боксерских перчатках на игровой площадке, где люди дерутся голыми руками и не следуют никаким правилам, где не всегда сражаются один на один, а часто бывает двое на одного

или трое на одного — и даже четверо на одного? Сурово. Да, вероятно, это оно, однако ни Отец не знает, как лучше, ни Мать не знает, как лучше, а следовательно, ему придется держать все это при себе. Не звать на помощь. Ни слова никому из них. Надо терпеть, держаться подальше от игровой площадки и надеяться не сдохнуть до Рождества.

В аду он прожил весь учебный год, но природа этого ада и законы, им управлявшие, менялись от месяца к месяцу. Он предполагал, что все сведется в основном к колотушкам, к тому, что его будут бить, а он — по возможности давать сдачи, но крупные битвы на открытом воздухе на повестке дня не стояли, и хотя в первые недели занятий его частенько поколачивали, ему никогда не выпадало случая дать сдачи, потому что все, что ему прилетало, прилетало без предупреждения: откуда ни возьмись на него пер какой-нибудь мальчишка, лупил по руке, или по спине, или по плечу и тут же убегал, не успевал Фергусон отреагировать. Удары болезненные, нападения исподтишка — на один укус, пока никто не смотрит, мальчишка всегда какой-нибудь новый, девять разных мальчишек из одиннадцати прочих его одноклассников, словно

все они сговорились и выработали стратегию заблаговременно, а как только Фергусон получил свои девять ударов от девяти разных мальчишек, бить его прекратили. После этого оставался ноль внимания, фунт презрения, те же девятеро отказывались с ним разговаривать, делая вид, будто не слышат Фергусона, если он открывал рот и что-то произносил, смотрели на него с тупыми безразличными лицами, прикидываясь, будто он невидимка, капля ничто, растворяющаяся в пустом воздухе. Затем настал период сбивания его наземь — старый трюк, когда один мальчишка становится у тебя за спиной на четвереньки, а другой сильно пихает спереди, резким движением, от которого теряешь равновесие, — и вот Фергусон кувыркался назад через спину присевшего мальчишки и далеко не раз ударялся оземь головой, а в этом же не только бесчестье того, что тебя снова застали врасплох, — это и больно. Столько веселья, столько смеха за его счет, а мальчишки были так коварны и ловки, что мистер Блази, похоже, ни разу ничего так и не заметил. Изуродованные рисунки, исчирканные домашки по математике, пропадающие школьные обеды, мусор у него в шкафчике, отрезанный рукав школьного пиджака, снег в галошах, со-

бачья какашка в парте. Зима была временем розыгрышей, горькая пора гадостей под крышей и всеуглубляющегося отчаяния, а затем, через пару недель после его двенадцатого дня рождения, лед растаял и начался новый раунд колотушек.

Если б не девчонки, Фергусон бы точно развалился на куски, но ни одна из двенадцати девчонок в классе не ополчилась на него, а кроме них были и двое мальчишек, которые отказались участвовать в травле: жирный и слегка придурковатый Энтони Делукка, известный под разнообразными кличками Щекастый, Жирик и Жмяк, — он всегда смотрел на Фергусона снизу вверх, и его в прошлом частенько доставали Кролик и компания, — и новенький, Говард Мелк, тихий, интеллигентный пацан, летом переехавший в Вест-Оранж из Манхаттана, — этот пока лишь на ощупь разбирался в том, как все устроено в предместном захолустье. По сути, большинство учеников осталось в лагере Фергусона, и, поскольку он был не один, хотя бы не совсем уж одинок, ему удавалось выстоять, поскольку держался он трех своих главных принципов: никто не должен видеть, как он плачет, никогда не давать сдачи в раздражении или гневе и никогда ни словом не обмолвливаться

обо всем этом никому из взрослых, в особенности родителям. Дело это было, конечно, жестокое и деморализующее, бессчетные слезы проливались по ночам в подушку, он яростно, все более изощренно грезил о возмездии, надолго проваливался в скалистые пропасти меланхолии, впадал в нелепое умственное неистовство, где видел, как прыгает с вершины «Эмпайр-Стейт-Билдинга», произносил безмолвные филиппики против несправедливости того, что с ним происходит, под судорожный, отчаянный барабанный бой презрения к себе, в тайной убежденности, что он заслуживает наказания, поскольку сам на себя навлек весь этот ужас. Но то происходило наедине с собой. На людях же он вынуждал себя быть жестким, сносил удары, даже не пикнув от боли, не обращая на них внимания так, как не обращают внимания на муравьев на земле или погоду в Китае, от всякого нового унижения уходил так, словно победил в какой-то космической борьбе добра со злом, сдерживал в себе любое выражение горечи или расстройства, ибо знал, что за ним наблюдают девчонки, и чем храбрее противостоял он своим обидчикам, тем мощнее девчонки принимали его сторону.

Все это было так сложно. Теперь им было по две-

надцать лет — ну или, того и гляди, исполнится двенадцать, и некоторые мальчишки и девчонки уже начинали разбиваться на парочки, старая пропасть между полами сузилась до того, что мужское и женское оказалось чуть ли не на общей почве, вдруг пошли разговоры о постоянных дружочках и подружках, о том, что кто-то с кем-то «ходит», почти каждые выходные устраивались вечеринки с танцами и игрой «в бутылочку», и те же мальчишки, кто еще год назад мучили девчонок тем, что дергали их за волосы и щипали за руки, теперь предпочитали с ними целоваться. Но все равно мальчишка номер один, Тиммерман, выковал романтический союз с девчонкой номер один, Сюзи Краусс, и они вдвоем правили всем классом как эдакая королевская чета, мистер и мисс Популярность-1959. Фергусону на руку было то, что они с Сюзи дружили с детского сада, и она руководила силами анти-травли. Когда они с Тиммерманом стали к концу марта ходить вместе, атмосфера начала несколько меняться, и совсем немного погодя Фергусон заметил, что на него нападают гораздо реже — и делает это гораздо меньше мальчишек. Вслух ничего не произносилось. Фергусон подозревал, что Сюзи предъявила своему возлюбленному ультиматум:

хватит мучить Арчи, или я уйду, — а поскольку Тиммерману было интереснее ухлестывать за Сюзи, чем ненавидеть Фергусона, он и сдал назад. К Фергусону он по-прежнему относился с презрением, но прекратил пускать против него в ход кулаки и больше не портил его имущество, а раз Тиммерман вышел из Банды Девятерых, несколько других мальчишек ее тоже бросили, поскольку Тиммерман был их вожаком, и они во всем следовали ему, поэтому на два с половиной последних месяца занятий у Фергусона осталось всего четверо мучителей, Кролик и его банда имбецилов, и хотя получать от этой четверки приятным не казалось, было это гораздо лучше, чем огребать от девятерых. Сюзи не признавалась ему, разговаривала она с Тиммерманом или нет (протокол требовал, чтобы по этому поводу она из верности своей любви хранила молчание), но Фергусон был почти уверен, что разговаривала, и так благодарен был он Сюзи Краусс и ее благородному бойцовскому сердцу, что начал томиться по тому дню, когда она бросит наконец Тиммермана и ему откроется простор для того, чтобы самому попытать с нею счастья. Об этом думал он непрерывно все первые недели весны, решив, что, вероятно, лучше всего будет начать с пригла-

шения провести с ним субботний день в отцовом теннисном центре, где он мог бы ей все показать и заодно продемонстрировать, насколько хорошо он знает, как там все устроено изнутри, что, несомненно, произведет на нее впечатление и создаст у нее нужный настрой для поцелуя, а то и нескольких поцелуев, а если и не для поцелуя, то хотя бы для того, чтобы им подержаться за руки. С учетом летучести таких подростковых романов в том углу нью-джерсейских предместий, где средний союз длился всего две-три недели, а два месяца парности считались эквивалентом десяти лет брака, со стороны Фергусона вовсе не было неразумно надеяться, что такая возможность представится ему еще до окончания учебного года и роспуска всех школьников на лето.

А тем временем он положил глаз на Глорию Долан — красивее Сюзи Краусс, но быть с нею оказалось не так восхитительно, мягкая, усидчивая душа по сравнению со стремительной, искрометной Сюзи, и все же Фергусон положил на нее глаз, поскольку обнаружил, что Глория положила глаз на него, вполне буквально — смотрела на него, когда думала, что он на нее не смотрит, и сколько же раз за последний месяц замечал он, как в классе из-за своей парты она пялится

на него, когда мистер Блази отворачивался от учеников, чтобы решить на доске очередную задачку по математике, и уже не обращает внимания на белые меловые цифры, а вместо этого разглядывает Фергусона так, словно Фергусон вдруг стал предметом ее живейшего интереса, и теперь, раз сам он этот интерес осознавал, то и Фергусон начал отворачивать голову от доски, чтобы посмотреть на нее, и все чаще и чаще взгляды их встречались, а всякий раз, когда такое происходило, они друг дружке улыбались. На том рубеже своего путешествия по жизни Фергусон еще дожидался своего первого поцелуя, первого поцелуя от девчонки, поцелуя истинного, в отличие от подложных поцелуев матерей, бабушек и двоюродных сородичей женского пола, поцелуя пылкого, эротичного поцелуя, такого, что зайдет гораздо дальше простого прижатия губ к губам и отправит его в полет по доселе неизведанным местностям. К такому поцелую он был готов, думал о нем еще с поры до своего дня рождения, в последние несколько месяцев они с Говардом Мелком не раз и подолгу обсуждали этот вопрос, а теперь, когда они с Глорией Долан обменивались на уроках тайными улыбками, Фергусон решил, что Глория станет первой, ибо все до единого

признаки указывали на неизбежность того, что она станет первой, и так оно и вышло, вечером в пятницу в конце апреля, покуда происходило сборище дома у Пегги Гольдштейн на Мерривуд-драйве, когда Фергусон вывел Глорию на задний двор и поцеловал ее, а поскольку она поцеловала его в ответ, целовались они довольно долго, гораздо дольше того, что он себе воображал: быть может, целых десять или двенадцать минут, — и когда Глория скользнула языком ему в рот на четвертой или пятой минуте, всё вдруг изменилось, и Фергусон понял, что живет он отныне в новом мире, а в старый мир — больше ни ногой.

Помимо изменивших жизнь поцелуев с Глорией Долан, другой хорошей штукой в том унылом году была углублявшаяся дружба с новеньким — Говардом Мелком. Способствовало то, что Говард приехал из другого места, что вышел на сцену в то первое злополучное утро нового учебного года без предвзятости или предрассудков касаемо того, кто тут кто или кто кем должен быть, что он купил третий номер «Покорителя мостовой» в первые же несколько минут после того, как оказался на игровой площадке, и с удовольствием просматривал его содержимое, когда увидел, как на мальчишку, который только что продал ему

газету, напали Тиммерман и прочие, а поскольку отличить хорошее от плохого он умел, то немедленно взял сторону Фергусона и затем держался за Фергусона с первого же дня, а потому часто подвергался нападениям и сам — за то, что он друг Фергусона, и двое мальчишек очень сблизились: каждый оказался бы в полном одиночестве, если б не другой. Отщепенцы шестого класса — и потому друзья, а не прошло и месяца — лучшие друзья.

Говард, не Гови — подчеркнуто не Гови. Мелк по фамилии, но отнюдь не мелкий по размерам, лишь на крохотную долю дюйма ниже Фергусона и уже начинал округляться, уже не тщедушная детка, но неуклонно крепнущий подросток, плотный и сильный, физически бесстрашный, спортсмен-камикадзе, который свои посредственные способности компенсировал несгибаемым воодушевлением и усилиями. Остроумный и добрый, учился он быстро и обладал талантом хорошо справляться под нажимом, превосходя даже Тиммермана по результатам стопроцентных контрольных, читал книги, как и Фергусон, начинал интересоваться политикой, как и Фергусон, а еще у этого мальчишки был чудесный дар к рисованию. Из-под карандаша,

который он всегда носил в кармане, выходили пейзажи, портреты и натюрморты почти фотографической точности, а еще — карикатуры и комиксы, чей юмор коренился в неожиданных шуточках, основывался на словах, вырванных из своих привычных ролей, поскольку звучали они, как другие, не связанные с этими слова, например, рисунок, озаглавленный «Он по воздуху мчит, паря в простоте»[13]: изображался на ней мальчик, летящий по небу в заглавной букве Т, а позади него барахтались прочие мальчишки в других буквах алфавита, — или же Фергусонова любимая картинка, где Говард превратил тошноту в новый вид растительности, рисунок нес заголовок «Сад мистера Пинского»: сверху ряд вишневых деревьев, аккуратно подписанный «Вишни», ниже ряд черешен, аккуратно подписанный «Черешни», а внизу — ряд фонтанчиков рвоты, аккуратно подписанный «Тошни». Какой тонкий и забавный замысел, считал Фергусон, и какой тонкий слух — уловить в слове нечто иное, но еще больше уха тут засчитывался глаз, глаз, соединенный с рукой, поскольку результат и

[13] Сноски: 13

Парафраз первой строки популярной песни «The Flying Trapeze» (1867) английских композитора Гэстона Лайла и певца Джорджа Лейбурна, вдохновленной акробатом Жюлем Леотаром.

вполовину не был бы так действен, если бы рвота, бившая из земли, не была так здорово нарисована, ибо у Говарда она была просто божественна, изображена так точно и аккуратно, как Фергусон не видел ни разу в жизни.

Отец Говарда преподавал математику и перевез Мелков в Нью-Джерси, поскольку ему предложили новую должность заведующего отделом студентов в Монклерском педагогическом институте штата. Мать Говарда работала редактором в женском журнале «Очаг и дом», а это значило, что на работу она ездила в Нью-Йорк пять дней в неделю и редко возвращалась в Вест-Оранж до темна, а поскольку у Говарда еще имелись двадцатилетний брат и восемнадцатилетняя сестра (оба они учились в колледже), обстоятельства его были примечательно похожи на Фергусоновы — по факту единственный ребенок, возвращавшийся после школы в пустой дом. Очень немногие женщины в предместьях в 1959 году работали, но и у Фергусона, и у его друга матери были отнюдь не только домохозяйками, а следовательно, обоим пришлось стать независимее и увереннее в себе, чем большинству их соучеников, и теперь, когда им исполнилось по двенадцать лет и они во весь опор неслись к своим подростковым воротам,

то, что им обоим предоставлялись широкие просеки безнадзорного времени, оказывалось преимуществом, поскольку в этот период жизни родители — уж точно самые неинтересные люди на свете, и чем меньше иметь с ними дела, тем лучше. Стало быть, они могли после школы ходить к Фергусону домой и включать телевизор, чтобы посмотреть «Американскую эстраду» или «Кино за миллион долларов», не опасаясь, что их отчитают за пустую трату последних драгоценных часов дневного света на то, чтобы сидеть взаперти *в такой прекрасный денек*. Дважды в ту весну им даже удавалось уговорить Глорию Долан и Пегги Гольдштейн пойти домой вместе с ними и устроить там в гостиной танцевальную вечеринку на четверых, а раз Фергусон и Глория к тому времени уже стали матерыми целовальщиками, их пример вдохновил Говарда и Пегги на попытку их собственного посвящения в сложное искусство стыковки языками. В иные дни они ходили домой к Мелку, твердо зная, что им не помешают и не станут за ними шпионить, когда они открывают нижний ящик письменного стола Говардова брата и вытаскивают пачку журналов с девчонками, которую тот держал там под невинным прикрытием учебника по

химии для старших классов. За этим следовали долгие беседы о том, у какой голой женщины там самое прелестное личико или самое привлекательное тело, производились сравнения натурщиц в «Плейбое» и их же в «Дженте» и «Свонке», глянцевые, хорошо освещенные цветные фотоснимки квазиневозможных на вид женщин «Плейбоя» в отличие от более грубых, зернистых изображений в журналах подешевле, вылизанные всеамериканские молодые красотки и распутницы постарше, более похотливые, с жесткими лицами и отбеленными волосами, а цель дискуссии всегда была выяснить, кто из них больше тебя возбуждает и с какой из женщин ты бы скорее занялся любовью, как только тело твое станет способно на настоящий секс, а это в данный момент оставалось несбыточным ни для одного, ни для другого, но теперь уже оставалось недолго, может, еще полгодика, может, год, и они наконец заснут однажды вечером, а наутро проснутся и обнаружат, что стали мужчинами.

Фергусон отслеживал изменения в собственном теле с тех самых пор, когда на нем появился первый признак неотвратимой мужественности — в виде единственного волоска, выросшего у него в левой подмышке, когда ему было еще

десять с половиной лет. Он знал, что это означает, и удивился, поскольку казалось, что появился этот волосок слишком рано, и он в тот миг еще не был готов попрощаться с собой-мальчиком, принадлежавшим ему с самого рождения. Волосок он счел уродским и нелепым — незваный гость, присланный некой чуждой силой, чтобы испортить ему доселе незапятнанную личность, — а потому выдернул его. Однако через несколько дней тот вернулся — вместе со своим братом-близнецом, который возник там на следующей неделе, а затем оживилась и правая подмышка, и прошло совсем немного времени, как отдельные прядки уже стали неразличимы, волоски превратились в гнезда волос, и к его двенадцати годам они уже были постоянным фактом его жизни. Фергусон с ужасом и зачарованностью наблюдал, как преображаются и другие участки его тела, почти что невидимый светловатый пушок на ногах и руках потемнел, погустел и стал изобильнее, в некогда гладком низу живота возникла лобковая поросль, а затем, едва ему сравнялось тринадцать, между носом и верхней губой у него начал зарождаться гадостный черный пух, настолько отвратительный и уродующий, что однажды утром он его сбрил отцовой электробритвой, а когда две неде-

ли спустя он снова отрос, сбрил его опять. Ужас заключался в том, что происходившее с ним не было в его власти, что тело его превратилось в площадку для эксперимента, проводимого каким-то сбрендившим шутником-ученым, и пока волосы продолжали размножаться по все большим участкам его кожи, он не мог не думать о Человеке-волке, герое того жуткого фильма, который они посмотрели с Говардом однажды вечером еще осенью по телевизору, о превращении обычного человека в чудовище с мохнатой мордой: как Фергусон теперь это понимал, то была притча о беспомощности, какую человек испытывает при своем половом созревании, ибо тогда ты просто обречен стать тем, кем стать за тебя решили твои гены, и пока процесс этот не завершится, ты понятия иметь не будешь, что именно принесет тебе каждый следующий день. В том-то и был весь ужас. Но вместе с ужасом присутствовала и завороженность, знание, что сколь долго бы это ни заняло, каким бы длительным ни было это путешествие, оно в итоге приведет тебя в царство эротического блаженства.

Беда была лишь в том, что Фергусон по-прежнему ничего не знал о самой природе этого блаженства, и как бы ни старался он вообразить,

что станет чувствовать его тело в корчах оргазма, воображение неизменно подводило Фергусона. Его первые двузначные годы заполнены были слухами и пересудами, а отнюдь не крепкими фактами, таинственными, неподтвержденными историями мальчишек, у кого были братья-подростки постарше, кто ссылался на немыслимые судороги, связанные с достижением эротического блаженства, пульсирующие потоки мутно-белой жидкости, фонтаном бьющие у тебя из пениса, к примеру, которым как-то удавалось покрывать по воздуху расстояния в несколько футов или даже ярдов, — так называемое семяизвержение, каковое всегда сопровождалось тем желанным ощущением блаженства, которое брат Говарда Том описывал как лучшее чувство на свете, но когда Фергусон нажал на него, требуя больше подробностей и точного описания того, каково это чувство, Том ответил, что он даже не знает, с чего начать, это слишком трудно облечь в слова, и Фергусону просто придется дождаться, когда оно придет к нему самому, а такой ответ раздражал — он никак не развеял невежества Фергусона, и хотя некоторые технические понятия были теперь ему знакомы, к примеру, слово *семя*, это такое липкое вещество, что выстрелива-

ет из тебя и несет в себе сперматозоиды, которые нужны для производства младенцев, если кто-то это слово употреблял при нем, Фергусон неизменно думал о судне, полном матросов, торговых моряков, одетых во млечные, белые формы, как они сходят на берег с какого-нибудь сейнера и направляются прямиком в сомнительные бары, выстроившиеся возле порта, чтобы заигрывать в них с полуголыми женщинами и вместе с другими просоленными морскими волками горланить пьяные матросские песни, пока одноногий дядька в полосатой рубахе выжимает мелодию из своей древней концертины. Бедный Фергусон. Ум его был не в ладу с собой, а поскольку он до сих пор не мог себе представить, что все эти слова на самом деле значат, мысли его обычно метались в несколько сторон сразу. Сейнер вскоре превращался в семь я, а мгновенье спустя он уже воображал, как они, вслепую держась друг за друга, заходят в шумный бар.

Ясно было, что главным участником этой драмы была его промежность. Либо, если прислушаться к терминологии древних иудеев, его чресла. Иными словами — его причинные места, которые в медицинской литературе, как правило, звались гениталиями. Ибо сколько он самого

себя помнил, ему всегда было приятно трогать себя там, возиться со своим пенисом, пока никто не смотрит, по ночам в постели или рано утром, например, играть этим плотским отростком, пока тот не вздымался жестко в воздух, увеличиваясь в размерах в два, три, а то и четыре раза, и вот с этой поразительной мутацией по всему его телу начинало растекаться некое зарождавшееся наслаждение, особенно в нижней части тела, какой-то бесформенный нахлыв чувства, какое еще не было блаженством, но уже намекало, что настанет такой день, когда этого блаженства можно будет достичь подобным видом трения. Теперь уже Фергусон рос неуклонно, с каждым утром тело его казалось немного крупнее, чем накануне, а рост его пениса не отставал от всего остального в нем, это больше не была птичка-кочерыжка, как в детстве-до-волос, а все более внушительный отросток, у которого ныне, казалось, появился собственный мозг — отросток этот удлинялся и отвердевал при малейшей провокации, особенно в те дни, когда они с Говардом изучали журналы Тома с голыми девушками. Учились они теперь уже в средней школе, и однажды Говард пересказал анекдот своего брата.

Учитель естествознания спрашивает у своих

учеников: Какая часть тела может вырастать до своего шестикратного размера? И показывает на мисс Макгилликадди, а та вместо ответа на вопрос заливается румянцем и закрывает лицо руками. Учитель после этого вызывает мистера Макдональда, и тот быстро отвечает: Зрачок в глазу. Правильно, говорит учитель, затем поворачивается к покрасневшей мисс Макгилликадди и обращается к ней с раздражением, граничащим с презрением. Должен сказать вам три вещи, барышня, говорит он. Первое: вы не выполнили домашнее задание. Второе: у вас очень грязный и нездоровый ум. И третье: в жизни вас ждет множество жестоких разочарований.

Стало быть — не в шесть раз, даже после того, как он полностью вырастет. Есть пределы у того, чего можно ждать от будущего, но каковы бы ни были точные размеры, каков бы ни был зазор между мягким расслабленным состоянием и жесткой готовностью, увеличения этого будет довольно для каждого дня[14], и для ночи того дня, и для всех ночей и дней, что воспоследуют.

Старшие классы несомненно превосходили среднюю школу, в которой он пробыл пленником

---

[14] Сноски: 14
Мф. 6:34.

последние семь лет, и, поскольку в конце каждого пятидесятиминутного урока по коридорам носилась тысяча с лишним учащихся, ему уже не приходилось терпеть удушающую сокровенность в узилище класса из двадцати трех или двадцати четырех одних и тех же людей с понедельника по пятницу и с начала сентября до конца июня. Банда Девятерых теперь отступила в прошлое, и даже Кролик и трое его прихлебателей, в общем и целом, скрылись с глаз, поскольку дорожки Фергусона теперь редко пересекались с их тропами. Тиммерман еще присутствовал — был одноклассником Фергусона по четырем предметам, но двое мальчишек сосуществовали мирно лишь благодаря тому, что оба из кожи вон лезли, лишь бы не обращать друг на друга внимания: такой тупик в отношениях был отнюдь не счастливым, но и невыносимым он не был. Что еще лучше, Тиммерман и Сюзи Краусс расстались, как Фергусон и надеялся, а поскольку сам Фергусон за лето утратил связь с Глорией Долан, его первая подружка по поцелуям ныне положила глаз на смазливого Марка Коннелли, что Фергусона разочаровало, но целиком и полностью не раздавило, раз теперь ему открылся путь броситься за Сюзи Краусс, девчонкой, о которой он мечтал в шестом

классе, и он взял быка за рога — однажды вечером на первой неделе занятий позвонил ей, что привело к визиту в теннисный центр его отца в субботу днем, что, в свою очередь, привело к их первому поцелую в следующую субботу и множеству других поцелуев в последующие пятницы и субботы на протяжении нескольких месяцев, а затем расстались и они, ибо Сюзи пала в объятия вышеупомянутого Марка Коннелли, который проиграл Глорию Долан мальчику по имени Рик Бассини, а Фергусон стал сохнуть по все более привлекательной Пегги Гольдштейн, которая сколько-то времени назад порвала с Говардом, но лучший друг Фергусона оправился от этого с сердцем своим в целости и сохранности, и теперь это самое сердце предлагал веселой и кипучей Эди Кантор.

Так оно все и продолжалось весь год эфемерных влюбленностей и карусельных романчиков, который также стал годом, когда все больше и больше его друзей являлось в школу со скобками на зубах, и годом, когда все начали тревожиться из-за своей скверной кожи. Фергусон ощущал, что ему повезло. Пока что на лицо его напало всего три или четыре умеренных вулкана, которые он выдавил при первой же возможности, а роди-

тели его решили, что зубы у него и так ровные, и подвергать его испытаниям ортодонтии не стали. Мало того, они настояли на том, чтобы он поехал в лагерь «Парадиз» еще на одно лето. Сам он предполагал, что в тринадцать лет для лагеря, возможно, он слишком взросл, а потому на рождественских каникулах спросил у отца, нельзя ли ему июль и август поработать в теннисном центре, но отец рассмеялся на это и сказал, что на работу времени у него будет достаточно и потом. Тебе нужно больше быть на свежем воздухе, Арчи, сказал ему отец, бегать с мальчишками твоего возраста. А кроме того, документы, разрешающие тебе работать, ты получишь только в четырнадцать лет. Раньше в Нью-Джерси нельзя, а ты же не хочешь, чтобы у меня были неприятности из-за того, что я нарушил закон, правда?

В лагере Фергусон был счастлив. Он там всегда бывал счастлив, и приятно было воссоединиться со своими летними друзьями из Нью-Йорка — с полудюжиной городских мальчишек, которые ездили в лагерь из года в год, как и он сам. Он получал удовольствие от вечного сарказма и юмора их, тараторящих и жизнерадостных, — это часто напоминало ему о том, как в кино о Второй мировой войне друг с другом разговаривают

американские солдаты, — от их комического, остроумного трепа, от настоятельной потребности никогда ничего не принимать всерьез, любую ситуацию превращать в повод для следующей шутки или брошенной в сторону насмешки. Несомненно, было что-то восхитительное в том, чтобы нападать на саму жизнь с таким остроумием и непочтительностью, но также временами это могло становиться и утомительным, и когда бы Фергусон ни осознавал, что с него хватит словесных кунштюков своих товарищей по жилью, он начинал скучать по Говарду, который был далеко, на молочной ферме своих тети и дяди в Вермонте, где проводил каждое лето, и потому принимался писать ему письма на тихом часе после обеда, множество коротких и длинных писем, в которых излагал все, что приходило ему в этот миг в голову, поскольку Говард был единственным человеком на свете, на кого он мог все это вывалить, единственным, кому не боялся доверять и поверяться, особенным, безупречным другом, с кем он мог делиться всем, от критики других людей и замечаний о прочитанных книгах до размышлений о том, как трудно не пукать на людях, и мыслей о боге.

Всего таких писем получилось шестнадцать,

и Говард хранил их в квадратной деревянной коробке — не выбрасывал даже после того, как вырос и начал взрослую жизнь, потому что тринадцатилетний Фергусон, его друг с ровными зубами и сияющей физиономией, основатель давно уже не существующего, но не позабытого «Покорителя мостовой», мальчик, в шесть лет сломавший себе ногу, пропоровший стопу в три и чуть было не утонувший в пять, кто вытерпел поношенья Банды Девяти и Банды Четырех, кто целовал Глорию Долан, Сюзи Краусс и Пегги Гольдштейн, кто считал дни до того, как ему будет можно вступить в царство эротического блаженства, кто предполагал, рассчитывал и принимал совершенно как должное, что перед ним еще много лет жизни, до конца лета не дожил. Именно поэтому Говард Мелк сохранил эти шестнадцать писем — они были последними следами присутствия Фергусона на этой земле.

«Я больше не верю в Бога, — писал тот в одном. — По крайней мере — в Бога иудеев, христиан и любой другой религии. Библия утверждает, что Бог создал человека по образу своему. Но Библию написали люди, правда же? А это значит, что человек создал Бога по *своему* образу. Что, в свою очередь, означает, что Бог за нами не при-

сматривает, и уж точно ему плевать, о чем люди думают, чем занимаются или что чувствуют. Если б ему вообще было до нас какое-то дело, он бы не сотворил мир с таким количеством ужасных вещей в нем. Люди б не сражались в войнах, не убивали друг друга и не строили концентрационные лагеря. Они б не врали, не жульничали и не воровали. Я не утверждаю, что Бог мира не создавал (это ни одному человеку не под силу!), но как только работа закончилась, он распался на атомы и молекулы Вселенной и бросил нас разбираться друг с дружкой».

«Я рад, что Кеннеди выиграл выдвижение, — написал он в другом письме. — Мне он нравился больше, чем другие кандидаты, и я уверен, что осенью он одолеет Никсона. Не знаю, почему я так уверен, но трудно себе представить, что американцы захотят себе в президенты человека с кличкой Хитрый Дик».

«У меня в хижине шесть других мальчишек, — писал он в еще одном письме, — и трое из них уже такие взрослые, что могут “делать это”. Они дрочат в постелях по ночам и рассказывают всем нам, как им от этого хорошо. Два дня назад устроили, как они это назвали, круговую дрочку и пустили нас посмотреть, поэтому я наконец уви-

дел, как выглядит эта штука и как далеко пуляет. Она не молочно-белая, а как бы сливочно-белая такая, вроде майонеза или тоника для волос. Потом у одного из трех царей дрочки, здорового парня по имени Энди, встал снова, и он сделал такое, что поразило и меня, и всех остальных. Он нагнулся и стал сосать собственный хер! Я вообще не думал, что человек на такое способен. Ну то есть как можно быть таким гибким, чтобы изогнуть собственное тело в такую позу? Сам я попробовал так вчера утром в умывальне, но ртом даже близко до своего хера не дотянулся. Тем лучше, наверное. Не хотелось бы ходить и считать себя хуесосом, правда? Но все равно, до чего странно было на это смотреть!»

«Здесь, с тех пор как приехал, я прочел три книги, — писал он в последнем письме, датированном девятым августа, — и считаю, что все они обалденные. Две из них мне прислала тетя Мильдред: маленькую Франца Кафки, называется “Превращение”, и одну побольше — Дж. Д. Сэлинджера, называется “Ловец во ржи”. А третью мне дал Гари, муж моей двоюродной сестры Франси, — “Кандид” Вольтера. Книжка Кафки — самая из них дикая, и читать ее было труднее всего, но мне очень понравилось. Человек однажды утром

просыпается и обнаруживает, что превратился в громадное насекомое! Похоже на научную фантастику или рассказ про ужасы, но нет. Это про человеческую душу. “Ловец во ржи” — про парнишку-старшеклассника, который бродит по Нью-Йорку. В ней ничего особенного не происходит, но то, как Холден (это главный герой) разговаривает, — очень как в жизни и правда, и он просто не может не нравиться, хочется с ним подружиться. “Кандид” — это старая книжка, XVIII века, но она дикая и смешная, и я хохотал вслух почти на каждой странице. Гари ее называл политической сатирой. Мое тебе слово, это здоровское чтиво! Ты ее обязательно должен прочесть — и другие книжки тоже. Я уже их все дочитал — и тут поразился, какие они все три разные. Каждая написана по-своему, и все очень хорошие, а это означает, что написать хорошую книгу можно не всего одним способом. В прошлом году мистер Демпси постоянно твердил нам, что все можно делать или правильно, или неправильно, помнишь? Может, с математикой и точными науками оно так и есть, а вот с книжками — нет. Их делаешь по-своему, и если нашел хороший подход, напишешь хорошую книжку. Самое интересное, что я так и не решил, какая мне

понравилась больше всех. Можно бы подумать, что это и так понятно, но мне — нет. Мне они все очень понравились. А это значит, наверное, что любой хороший подход — он правильный. Мне очень радостно, когда я думаю о книжках, каких еще не читал, — их же сотни, тысячи. Столького еще можно ждать!»

Последний день жизни Фергусона, 10 августа 1960 года, начался кратким ливнем сразу после восхода, но когда в половине восьмого прозвучала побудка, тучи уже сдуло к востоку и небо стало голубым. Фергусон и шестеро его сожителей по хижине направились в столовую со своим вожатым Биллом Кауфманом, в июне закончившим второй курс в Бруклинском колледже, и за те тридцать или сорок минут, какие у них заняли овсянка и омлет, тучи вернулись, и пока мальчишки шли обратно в хижину, на уборку и проверку, дождик начался опять, такой мелкий и незначительный, что едва ли имело значение, что ни на ком из них не было накидок или с собой зонтиков. Футболки их все покрылись темными крапинами влаги, но на этом и всё — легчайшая из легких морось, вода в столь мелких количествах, что они даже не вымокли. Но вот стоило им начать утренний ритуал заправки постелей

и подметания пола, небо потемнело сильнее, и скоро уже дождь полил всерьез, все быстрее заколотил по крыше хижины все бóльшими каплями. Минуту или две в этом стуке звучали прелестные негармоничные синкопы, как показалось Фергусону, но затем дождь усилился, и такое впечатление исчезло. Дождь не играл больше музыку. Он превратился в массу плотного неразборчивого звука, в сплошной барабанный мазок. Билл сообщил им, что с юга подступает новая метеосистема, а с севера одновременно надвигается холодный фронт, и можно рассчитывать на продолжительную, сильную мокрядь. Устраивайтесь поудобнее, мальчики, сказал он. Буря будет долгой, и почти весь день мы с вами просидим в этой хижине.

Темное небо потемнело еще больше, и в хижине становилось трудно что-то разглядеть. Билл зажег верхний свет, но даже когда тот загорелся, внутри все равно оставалось темно, потому что семидесятипятиваттная лампочка висела слишком высоко под стропилами и мало освещала то, что внизу. Фергусон лежал у себя на кровати, листал старый номер журнала «Мад», который у них в хижине передавали из рук в руки, читал, подсвечивая себе фонариком, и задавался

вопросом, случалось ли у них когда-нибудь такое темное утро. Дождь уже бил в крышу во всю мощь, колотил по кровельной дранке, как будто жидкие капли его обратились камнями, миллионы камней валились с неба и стучали по ней, а потом где-то в дальней дали Фергусон расслышал тупой басовый рокот, густой, слипшийся звук, отчего вдруг подумал, что так кто-то прочищает горло, гром, звучавший, должно быть, за много миль от них, где-то в горах, наверное, и Фергусону это вдруг показалось странным, поскольку по его опыту гром и молния в грозах случаются вместе с дождем, а тут дождь уже идет, льет так, что сильнее некуда, а вот грома еще нет и близко, что подвело Фергусона к рассуждениям, что, быть может, сейчас происходят две отдельные грозы — одна прямо над ними, а другая подкатывается с севера, и если первая гроза не выдохнется до прибытия второй, обе они столкнутся друг с дружкой и сольются вместе, а от этого получится чертовски могучая буря, сказал себе Фергусон, гроза просто эпохальная, такая, что конец всем громам.

Кровать справа от Фергусона занимал мальчишка по имени Гал Краснер. С самого начала лета у них двоих была фирменная шутка: они

изображали смышленого Джорджа и недалекого Ленни, бродяг из «О мышах и людях» — эту книжку они прочли в начале того года и сочли, что в ней полно возможностей для комикования. Фергусон был Джорджем, а Краснер — Ленни, и почти всякий день они по нескольку минут импровизировали полоумные диалоги своих избранных персонажей, выдавали уверенный раунд чепухи, который обычно начинался с того, что Ленни просил Джорджа рассказать ему, каково оно будет, когда они попадут на небо, к примеру, а Джордж напоминал Ленни, чтобы не ковырялся в носу на людях, идиотские разговоры, что, вероятно, бóльшим были обязаны Лорелу и Гарди, чем Стейнбеку, но мальчишек подобные выходки развлекали, и теперь, раз их лагерь заливало дождем и все застряли в четырех стенах, Краснер был в настроении затеять это еще разок.

Прошу тебя, Джордж, начал он. Пожалуйста, прекрати. Я больше не вынесу.

Что прекратить, Ленни? — отозвался Фергусон.

Дождь, Джордж. Шум дождя. Слишком громко, я уже начинаю сходить с ума.

Ты всегда был сумасшедшим, Ленни. Сам же знаешь.

Не сумасшедшим, Джордж. Просто глупым.

Глупым, да. Но еще и сумасшедшим.

Я тут ничего сделать не могу, Джордж. Я таким родился.

Тебя никто в этом и не винит, Ленни.

Ну так и что?

Что — что?

Ты мне дождь прекратишь?

Это только начальство может.

Но ты же начальство, Джордж. Ты всегда был начальство.

Я имел в виду главное начальство. Одно-единственное.

Не знаю я никакого одноединого. Я только тебя знаю, Джордж.

Чтоб эдакое отмочить, тут чудо потребуется.

Так и ладно. Ты же все можешь.

Правда?

Меня уже тошнит от шума, Джордж. Я, наверное, умру, если ты ничего не сделаешь.

Краснер зажал руками уши и застонал. Он теперь был Ленни, который сообщает Джорджу, что сил у него больше не осталось, а Фергусон-Джордж кивал, печально ему сочувствуя и зная, что не может ни один человек прекратить падение дождя с неба, что чудеса не под силу человечеству, а вот Фергусону-Фергусону было непросто про-

должать игру со своего конца, Краснеровы стоны больной коровы просто-напросто были очень смешны, и, послушав их еще несколько секунд, Фергусон расхохотался, что нарушило для него все очарование игры, а вот для Краснера — нет: он решил, что Фергусон хохочет, как Джордж, и потому, по-прежнему изображая Ленни, Краснер отнял руки от ушей и сказал:

Некрасиво так смеяться над человеком, Джордж. Может, я и не самый смышленый парень в округе, но у меня есть душа, ровно как у тебя и всех прочих, и если ты не сотрешь ухмылку у себя с лица, я тебе шею сверну напополам, как это делаю кроликам.

Теперь, раз Краснер-Ленни произнес такую искреннюю и действенную речь, Фергусон почувствовал себя обязанным вернуться в роль, снова стать Джорджем ради Краснера и ради других мальчишек, их слушавших, но едва он уже собрался набрать в легкие побольше воздуху и заорать приказ дождю остановиться — *А ну хватит поливать нас, начальство!* — как небо рявкнуло таким пронзительным ударом грома, шум грянул такой громкий и такой взрывной, что сотрясся даже пол хижины и задребезжали оконные рамы — и продолжали гудеть и вибри-

ровать, покуда следующий удар грома не сотряс их снова. Половина мальчишек подскочили от неожиданности, дернулись вперед, невольно вздрогнули от этих звуков, а другие чисто рефлекторно вскрикнули, воздух выстреливал у них из легких короткими, испуганными восклицаниями, которые казались словами, а на самом деле были инстинктивными выкриками в форме слов: *ух, эй, ай*. Дождь все еще лил сильно, хлестал в окна, и в них было трудно что-либо разглядеть — лишь волнистую водянистую тьму, освещаемую внезапными копьями молний, все черно на десять-двадцать ударов сердца, а затем миг-другой слепящего белого света. Буря, какую Фергусон себе воображал, та громадная двойная гроза, что сплавится в одну, когда столкнутся воздух с севера и воздух с юга, уже навалилась на них и даже была еще больше и лучше, чем он надеялся. Роскошная буря. Топор ярости раскалывал небеса на части. Восторг.

Не волнуйся, Ленни, сказал он Краснеру. Не нужно бояться. Я сейчас же положу конец этому шуму.

И, даже не помедлив, чтобы пояснить кому бы то ни было, что он намерен сделать, Фергусон соскочил с кровати и побежал к двери, которую

отрывисто дернул на себя обеими руками, и хоть и слышал у себя за спиной Билла, кричавшего: *Да что ж такое, Арчи! Ты с ума сошел!* — не остановился. Он понимал, что это и впрямь сумасбродство — то, что он делает, — но штука заключалась в том, что ему в тот миг и хотелось быть сумасбродом, он желал выскочить наружу в бурю, испробовать грозу, влиться в грозу, оказаться внутри грозы настолько, насколько грозе захочется остаться в нем.

Ливень был великолепен. Едва Фергусон пересек порог и шагнул на землю, он понял, что ни один дождь на свете никогда не лил сильнее, капли дождя были гуще и летели быстрее, чем любые другие капли, какие он знал, что неслись они с небес с силою свинцовых катышков и были так тяжелы, что на коже возникали синяки, а то и на черепе вмятину могли оставить. Внушительный дождь, всемогущий дождь, но, чтобы насладиться им в полнейшей мере, прикинул он, стоит добежать до рощицы дубов, стоявшей ярдах в двадцати впереди, где листва и ветви защитят его тело от этих падающих пуль, и вот Фергусон рванул туда, опрометью по насквозь промокшей, скользкой земле к деревьям, расплескивая лужи по щиколотку, а над головой у него и вокруг гро-

хотал гром, и молнии били всего в нескольких ярдах от его ног. Добравшись до рощицы, он был уже весь насквозь мокрый, но ощущалось это хорошо, лучше всего на свете — вот так промокнуть, и Фергусон был счастлив, счастливее он не был никогда ни тем летом, ни каким-либо другим летом, ни в какое другое время своей жизни, потому что ничего лучше он уж точно никогда не вытворял.

Ветра почти не было. Буря не была ураганом или тайфуном, то был просто ревущий ливень с громом, от которого сотрясались его кости, и молнией, что слепила глаза, и Фергусон ничуть не боялся той молнии, поскольку был в теннисных тапках, а при себе не имел ни одного металлического предмета, даже наручных часов или ремня с серебряной пряжкой, и потому под укрытием деревьев ему ощущалось безопасно и восторженно — он смотрел оттуда в серую стену воды, стоявшую между ним и хижиной, наблюдал за смутной, почти невидимой фигурой своего вожатого Билла, замершего в дверном проеме: казалось, тот что-то кричит ему или же кричит на него и жестами показывает, чтобы Фергусон вернулся в хижину, но Фергусон не слышал ни слова из того, что Билл кричал, с таким-то шумом

дождя и грома, а особенно когда сам Фергусон завыл, уже не Джордж, взявшийся спасти Ленни, а просто сам Фергусон, тринадцатилетний мальчишка, вопящий от восторга при мысли, что жив в таком мире, какой дан был ему в то утро, и даже когда молния ударила в верхние ветви одного дуба, Фергусон не обратил на нее внимания, ибо знал, что в безопасности, а когда увидел, что Билл выскочил из хижины и бежит к нему, чего это он так, спросил себя Фергусон, но ответить на этот вопрос не успел — ветвь отломилась от дерева и падала к его голове. Он ощутил удар, почувствовал, как дерево треснуло его, словно ему кто-то заехал по башке сзади, а потом уже ничего не чувствовал, вообще ничего и никогда больше, и пока его бездвижное тело лежало на залитой водой земле, сверху на него продолжал лить дождь, а гром грохотал и дальше, и боги — с одного края света до другого — молчали.

2.3

Его дедушка называл это *занятным междуцарствием*, имея в виду время, застрявшее между двумя другими временами, время без времени, когда все правила того, как тебе полагается жить, вышвырнуты в окошко, и хотя мальчик-безотцов-

щина понимал, что вечно длиться это не может, ему хотелось, чтобы затянулось оно подольше, чем на два отпущенных ему месяца, еще на два поверх тех первых двух, быть может, или еще на полгода, а то и на год. Хорошо было жить в том времени без школы, в причудливом зазоре между одной жизнью и следующей, когда мать находилась с ним с той секунды, как он утром открывал глаза, до той секунды, когда закрывал их вечером, ибо она единственный человек на свете, кто теперь казался ему настоящим, и до чего же хорошо было делить с нею те дни и недели, те странные два месяца питания в ресторанах и хождения по пустым квартирам, и в кино почти каждый день, столько фильмов посмотрено вместе во тьме балкона, где им позволялось плакать, когда хочется, и при этом ни с кем не объясняться. Мать его называла это *барахтаньем в трясине*, и под этим Фергусон понимал трясину их несчастья, но погружаться в такое несчастье отчего-то было до странности удовлетворительно, как он обнаружил, если только погружаться как можно глубже и не бояться утонуть, а поскольку слезы все время выпихивали их в прошлое, это защищало их от нужды думать о будущем, но потом однажды мать сказала, что пора уже начать о нем думать,

и слезам настал конец.

Школа, к несчастью, оставалась неизбежной. Как бы ни хотелось Фергусону продлить свою свободу, не в его власти было такое контролировать, и как только они с матерью решили снимать квартиру на Западной Центрального парка, следующим пунктом в повестке дня стало поместить его в хорошую частную школу. Бесплатная даже не обсуждалась. На этом твердо стояла тетя Мильдред, и в том редком случае согласия между сестрами мать Фергусона последовала ее совету, зная, что Мильдред лучше нее осведомлена в вопросах образования, и зачем швырять Арчи на грубый асфальт игровой площадки бесплатной школы, если ей по карману расходы на подготовку в частной? Ей для мальчика хотелось только лучшего, а Нью-Йорк превратился в город мрачнее и опаснее того, который она покинула в 1944 году — по улицам Верхнего Вест-Сайда бродили шайки молодежи, вооруженной выкидными ножами и смертоносными самострелами, всего в двадцати пяти кварталах от того места, где жили ее родители, и все же — в иной вселенной: тот район за последние несколько лет преобразился притоком пуэрториканских иммигрантов и стал грязнее, беднее и колоритнее, чем в войну,

воздух теперь был заряжен незнакомыми запахами и звуками, иная энергия уже оживляла тротуары на авеню Колумбус и Амстердам, стоило лишь выйти за порог — и ощутишь подводное течение угрозы и смятенья, и мать Фергусона, которой ребенком и юной женщиной всегда было в Нью-Йорке так уютно, тревожилась за безопасность сына. Вторая половина занятного междуцарствия, следовательно, посвящена была не только покупке мебели и хождению в кино — в списке Мильдред присутствовало с полдюжины частных школ, которые следовало посмотреть и обсудить, провести экскурсии по классам и удобствам, побеседовать с директорами и приемными комиссиями, пройти тесты на умственные способности и сдать вступительные экзамены, и когда Фергусона приняли в первый номер по списку Мильдред — школу для мальчиков Гиллиард, в семье так радовались, его омыло такой волной теплоты и восторга от прародителей, матери, тети и дяди, а также двоюродной бабушки Перл, что почти восьмилетний сирота прикинул: должно быть, школа — не такой уж скверный способ коротать время, в конце-то концов. Влиться туда, конечно, было непросто — в конце февраля, когда от учебного года осталась

всего-то почти треть, да и ничего хорошего в том, чтобы каждый день носить пиджак с галстуком, но, возможно, и не будет в этом большой беды, кто знает, он как-то привыкнет к форме, но даже если это бедой и окажется, и к форме он так и не привыкнет, разницы никакой, потому что нравится ему это или нет, но в школу для мальчиков Гиллиард ходить ему придется.

А пошел он туда потому, что тетя Мильдред убедила его мать: Гиллиард — одна из лучших школ в городе, с *давней репутацией высокой академической успеваемости*, но никто не сказал Фергусону, что учиться он будет вместе с некоторыми богатейшими детьми в Америке, отпрысками привилегированного Нью-Йорка старых денег, или что он окажется в своем классе единственным мальчишкой, живущим в Вест-Сайде и одним из лишь одиннадцати нехристиан во всей школе с приемом на полное среднее образование в почти шесть сотен человек. Поначалу никто не подозревал, что он чем-то отличается от шотландского пресвитерианина — ошибка, объяснимая в свете фамилии его деда, которую тот получил в 1900 году после ошибки с Рокфеллером, но затем один учитель заметил, что у Фергусона не шевелятся губы, когда ему полага-

лось произносить *Иисус Христос, Господь наш* в утренней часовне, и со временем разнеслась весть, что он — из одиннадцати, а не из пятисот семидесяти шести. Добавьте сюда то, что в школу он поступил поздно, мальчиком был преимущественно молчаливым, в классе ни с кем связан не был — и становится понятно, что пребывание Фергусона в Гиллиарде было обречено с самого начала, обречено еще до того, как он успел войти в здание в свой первый учебный день.

Дело не в том, что кто-то был к нему недобр или кто-то его допекал или что ему давали понять, что он здесь нежеланен. Как и в любой другой школе, тут были дружелюбные мальчики и мальчики нейтральные, а также всякие гады, но даже самые мерзкие из последних никогда не дразнили Фергусона за то, что он еврей. Гиллиард, конечно, мог быть местом чопорным, где все ходят в костюмах и при галстуках, но еще там проповедовались терпимость и добродетели джентльменского владения собой, и с любым актом неприкрытой предвзятости начальство разобралось бы жестко. Неуловимее и сильнее Фергусона сбивало с толку то, с чем ему приходилось мириться: некое бесхитростное невежество, которое его одноклассникам, похоже, впрыснули при рождении.

Даже Дуг Гейс, вечно дружелюбный и добродушный Дуги Гейс, который подчеркнуто подружился с Фергусоном с того момента, как тот появился в Гиллиарде, который первым пригласил его к себе на день рожденья и после неоднократно приглашал в городской особняк своих родителей на Восточной Семьдесят восьмой улице, не меньше дюжины раз, все равно мог спросить, уже девять месяцев зная Фергусона, что тот намерен делать на День благодарения.

Есть индюшку, ответил Фергусон. Так мы поступаем каждый год. Мы с матерью идем в гости к ее родителям и едим там индюшку с начинкой и подливой.

А, сказал Дуги. Я не знал.

А что такое? — ответил Фергусон. Вы разве не так же поступаете?

Мы-то да. Я просто не думал, что у вас принято отмечать Благодарение.

У нас?

Ну, знаешь. У евреев.

А чего б нам не отмечать Благодарение?

Потому что это американская такая штука, наверно. Переселенцы. Плимутский камень. Всякие английские парни в потешных шляпах, что приплыли на «Майском цветке».

Фергусон так обалдел от замечания Дуги, что не знал, как ему ответить. До того мига ему ни разу не приходило в голову, что он может оказаться не-американцем, или, точнее, что его способ быть американцем — какой-то менее настоящий, нежели американцем был Дуги или другие мальчишки, — но, похоже, именно это и утверждал его друг: что между ними есть разница, некое неуловимое, неопределимое свойство, имевшее какое-то отношение к предкам-англичанам в черных шляпах и длительности срока, проведенного на этой стороне океана, и к деньгам, на которые можно жить в четырехэтажных городских особняках Верхнего Вест-Сайда, свойство, делавшее одни семьи более американскими, чем другие, и в итоге разница эта оказывалась так велика, что менее американские семьи едва ли вообще можно было считать американцами.

Несомненно, мать выбрала для него не ту школу, но, несмотря на тот озадачивший его разговор о еврейских застольных привычках по национальным праздникам, не говоря уже о каких-то иных сбивавших с толку эпизодах как до, так и после его беседы с Дуги Г., у Фергусона никогда не возникало желания покинуть Гиллиард. Даже если ему не удавалось ухватить причудливые

обычаи и верования того мира, в который он вступил, он изо всех сил старался им подчиняться и ни разу не винил свою мать или тетю Мильдред за то, что его туда отправили. В конце концов, надо же где-то быть. Закон утверждал, что любой ребенок в возрасте до шестнадцати лет обязан ходить в школу, и, с его личной точки зрения, Гиллиард был ничем не лучше и не хуже любого другого исправительного заведения для молодежи. Школа ж не виновата, что ему в ней так скверно. В те унылые первые дни после смерти Станли Фергусона юный Фергусон пришел к заключению, что он живет во вселенной вверх тормашками, где царят бесконечно обратимые суждения (день = ночь, надежда = отчаяние, сила = слабость), а это означало, что когда дело доходит до школы, ему теперь полагается в ней скорее не успевать, чем преуспевать, и если учесть, насколько хорошо сейчас ему было от того, что все уже безразлично, что, неудача для него — дело принципа и он добровольно бросается в утешительные объятия унижения и разгрома, почти совершенно вероятным представлялось то, что не успевал бы он также доблестно и где угодно.

Учителя считали его *ленивым и безынициативным, безразличным к авторитетам, рассеянным,*

упрямым, потрясающе недисциплинированным, человеческой головоломкой. Мальчик верно ответил на все вопросы вступительного экзамена, покорил директора по приему своей милой натурой и не по годам глубокими соображениями, поступил в школу по дополнительному набору поздно, под конец учебного года, а потому вроде бы должен носить домой отличные оценки по всем предметам — но в первой же ведомости успеваемости, выданной в апреле его второго класса, у него стояла лишь одна оценка «отлично». Предмет — физкультура. «Хорошо» поставили за чтение, письмо и чистописание (он старался напортачить, но в сокрытии собственных талантов был пока новичком), «удовлетворительно» — по музыке (ему не удалось устоять и не вопить во всю глотку негритянские спиричуэлы и ирландские народные песни, которым их учил мистер Боулс, хоть он и пытался не мазать мимо нот), и «плохо» по всему остальному, куда включались математика, естественные науки, искусства, обществознание, дисциплина, гражданственность и поведение. Следующий — последний — табель, выданный в июне, был почти полностью идентичен первому, с единственной разницей — его оценкой по математике, которая опустилась с

«плохо» до «неуда» (он к тому времени уже довел до совершенства искусство давать неверные ответы на арифметические задачи, три из каждых пяти в среднем, но все равно не мог заставить себя писать с ошибками больше одной десятой всех слов). В обычных обстоятельствах Фергусона бы не позвали обратно на следующий год. Успеваемость его была настолько отвратительна, что заставляла думать о глубоких психологических заболеваниях, а такая школа, как Гиллиард, не привыкла влачить на себе мертвый груз, по крайней мере — если неуспевающий не происходил из наследственной семьи: *родословная* тут означала мальчика из третьего, четвертого или даже пятого поколения, чей отец каждый год выписывал чек или сидел в совете попечителей. Они, однако, были согласны предоставить Фергусону еще один шанс, ибо понимали, что обстоятельства его далеки от обычных. Мистер Фергусон погиб посреди учебного года, кончина его была внезапной и насильственной, и мальчика от нее зашвырнуло в нижние пределы скорби и распада: разумеется, он заслужил немножко больше времени, чтобы снова взять себя в руки. В нем им виделся слишком большой потенциал, чтобы задирать лапки всего после трех с половиной

месяцев, а потому они поставили мать Фергусона в известность, что ее сыну предоставляется еще один год на то, чтобы оправдаться. Если он к тому времени придет в себя, испытательный срок его завершится. Если нет — что ж, тогда на этом будет всё, и удачи ему, где бы он потом ни оказался.

Фергусон ненавидел себя за то, что разочаровал мать, у кого жизнь была трудна и без тревог из-за его паршивой успеваемости в школе, но на кону стояли более важные вопросы, нежели попытки ублажить мать или встать на мостик, чтобы произвести впечатление на родню своим табелем, полным «отл.» и «оч. хор.». Он понимал, что жить ему и всем остальным стало бы проще, если б он подтянулся и делал то, что от него ожидается. Как легко и совершенно не запутанно было бы перестать давать заведомо неправильные ответы, вновь начать быть внимательным — тогда все опять будут гордиться таким прилежным мальчиком, но Фергусон пустился на великий эксперимент, затеял тайное расследование самых фундаментальных вопросов жизни и смерти и теперь не мог повернуть назад, он путешествовал по ухабистой и опасной дороге, один среди скал и извилистых горных троп, ему в любой миг грозила опасность свалиться с утеса, но пока не

будет собрано достаточно данных, чтобы он мог прийти к убедительным выводам, ему и дальше предстоит подвергать себя риску — даже если это означает, что его отчислят из школы для мальчиков Гиллиард, даже если он по-крупному опозорится.

Вопрос стоял так: Почему Бог перестал с ним разговаривать? А если Бог сейчас молчит, значит ли это, что молчать Он будет вечно — или же когда-нибудь все же начнет опять с ним разговаривать? А если Он больше никогда не заговорит, может ли это значить, что Фергусон обманывал себя и Бога там вообще никогда не было?

Сколько он себя помнил, голос звучал у него в голове — беседовал с ним всякий раз, когда Фергусон оставался один, спокойно, размеренно, голос этот одновременно успокаивал и распоряжался, бормотал баритоном, расточал слова великого незримого духа, правившего миром, и Фергусона он всегда утешал, защищал, говорил ему, что, если только он будет держаться своих обязательств по сделке, все у него будет хорошо, а его обязательства — это вечное обещание вести себя хорошо, относиться к другим по-доброму и щедро и соблюдать святые заповеди, что означало никогда не лгать, не красть, не поддаваться

зависти, что означало любить своих родителей и прилежно учиться в школе, не впутываться ни в какие передряги, и Фергусон верил в этот голос и как мог старался все время следовать его наставленьям, а раз Бог, похоже, своих обязательств по сделке тоже держался — у Фергусона все было хорошо: он себя чувствовал любимым и счастливым, надежно знал, что Бог в него верит так же, как он верит в Него. Так все и длилось, пока ему не исполнилось семь с половиной, и тут однажды утром в начале ноября, утром, которое для него вроде бы ничем не отличалось от любого другого утра, мать вошла к нему в комнату и сообщила, что отец умер, — и все вдруг изменилось. Бог ему солгал. Великому незримому духу больше нельзя было верить, и хоть Он продолжал разговаривать с Фергусоном еще несколько дней, просил еще одной возможности оправдаться, умолять мальчика, лишившегося отца, не отрекаться от Него *в темное время смерти и скорби*, Фергусон так на Него разозлился, что отказывался слушать. Затем, через четыре дня после похорон, голос вдруг смолк и тех пор больше с ним не беседовал.

Вот в чем теперь была загвоздка: вычислить, по-прежнему ли Бог с ним в молчании или же навсегда пропал из его жизни. Фергусону не хватало

смелости сознательно совершить какую-нибудь жестокость, он не мог заставить себя соврать, обмануть или украсть, у него не было наклонности вредить матери или обижать ее, но в том узком диапазоне проступков, на какие был способен, он понимал, что ответить на такой вопрос можно единственным способом: нарушать сделку со своего конца как можно чаще, бросать вызов запрету не подчиняться священным заповедям, а затем ждать, чтобы Бог с ним сделал что-нибудь плохое, что-нибудь гадкое и личное, такое, что могло бы служить явным знаком намеренного воздаяния — сломанная рука, прыщи на лице, бешеная собака откусила бы у него кусок ноги. Если же Бог его не накажет, это станет доказательством того, что Он и впрямь исчез из его жизни, когда голос Его перестал с ним разговаривать, а поскольку Бог якобы везде, в каждом дереве и каждой травинке, в каждом порыве ветра и человеческом чувстве, выйдет несуразно, если Он из одного какого-то места исчезнет, а во всех остальных останется. Он обязательно должен быть с Фергусоном, потому что Он повсюду одновременно, и если в том месте, где случилось быть Фергусону, отсутствует, это может значить, что Его нет нигде — и никогда нигде не было вообще,

что Его на самом деле никогда и не существовало, а тот голос, который Фергусон принимал за голос Бога, был не чем иным, а только лишь его собственным голосом, он попросту внутренне разговаривал сам с собой.

Первым своим бунтовским деяньем он разорвал бейсбольную карточку с Тедом Вильямсом, ту драгоценную карточку, какую в руку ему сунул Джефф Бальсони через пару дней после того, как он вернулся в школу, как жест вечной дружбы и сочувствия. До чего отвратительно было уничтожать тот подарок и как стыдно ему было отводить взгляд от миссис Костелло и делать вид, что ее там нет, и теперь, уже в Гиллиарде, до чего бессовестно он чувствовал себя, пустившись в кампанию намеренного саботажа, наращивая усилия первого года, чтобы выработать новую схему сводящих с ума непоследовательных результатов, гораздо более действенную стратегию, нежели просто провал за провалом, как решил он, по сто процентов в двух контрольных по математике подряд, к примеру, а затем в следующей — двадцать пять процентов, сорок процентов — в той, что шла за ней, а потом девяносто процентов и — мертвый ноль, как же он всех их озадачивал, и учителей, и одноклассников, не говоря уже о его бедной

матери и остальной родне, и хотя Фергусон продолжал плевать на правила ответственного человеческого поведения, никакая собака на него не прыгнула и не укусила за ногу, никакой валун не свалился ему на пальцы, захлопнувшаяся дверь не двинула по носу, и казалось, что Бог вовсе не заинтересован его наказывать, ибо Фергусон вел преступную жизнь уже почти год, а на нем по-прежнему не было ни царапины.

На том все и должно было завершиться раз и навсегда, но оно не завершилось. Если Бог не желает его наказывать, это означает, что Он не может его наказать, а следовательно — Его не существует. Ну или так Фергусон допустил, но теперь, когда Бог оказался на грани окончательного исчезновения для него, он спросил себя: а если его и без того уже достаточно наказали? Что, если убийство его отца было наказанием таких грандиозных масштабов, трагедией с такими чудовищными, долговечными последствиями, что Бог решил его пощадить и никак больше не наказывать в будущем? Вроде бы такое возможно, показалось ему, не точно, конечно, однако, возможно, и все-таки прошло уже столько месяцев, а голос у него внутри молчал, и Фергусон никак не мог подтвердить свое интуитивное понимание. Бог навредил ему,

а теперь всеми силами старается загладить Свою вину перед Фергусоном, обращаясь с ним с божественной мягкостью и милосердием. Если голос больше не мог ему говорить то, что ему нужно было знать, вероятно, Бог способен выходить с ним на связь каким-то иным способом, подавать некие неслышимые сигналы, что докажут: Он его мысли по-прежнему слушает, — и так началась последняя стадия долгого теологического изыскания Фергусона, месяцы безмолвной молитвы, когда он умолял Бога открыться ему — либо же утратить право носить имя Бога. Фергусон не просил никакого роскошного библейского откровения, могучего удара грома или внезапного расступленья вод, нет, его бы вполне удовлетворило что-нибудь мелкое, микроскопическое чудо, которое осознал бы лишь он один: ветер подул бы сильней — ровно так, чтобы сдуть случайный обрывок бумаги через дорогу до того, как сменится сигнал светофора, на десять секунд прекратили бы тикать часы, а потом пошли бы вновь, упала бы с безоблачного неба ему на палец единственная капля дождя, мать произнесла бы слово *таинственно* в следующие тридцать секунд, само бы включилось радио, за следующие полторы минуты у него перед окном прошло

бы семнадцать человек, малиновка на траве в Центральном парке вытащила бы из земли червячка прежде, чем над головой пролетит самолет, бибикнули бы три машины одновременно, открылась бы у него в руке книжка на странице 97, на первой полосе утренней газеты напечатали бы не ту дату, лежал бы четвертачок на тротуаре у его ноги, когда он опустит голову, выиграли бы «Хитрецы» три пробежки в самом начале девятого иннинга и победили б в игре, подмигнула бы ему кошка двоюродной бабушки Перл, вот бы все в комнате зевнули разом, вот бы все в комнате разом расхохотались, вот бы никто в комнате не издал ни звука в следующие тридцать три и одну треть секунды. Одно за другим Фергусон желал всего этого — и множества другого, а когда за следующие полгода бессловесных молений ничего подобного не произошло, он перестал желать чего бы то ни было и отвратил мысли свои от Бога.

Много лет спустя мать призналась ему, что для нее начало было не таким трудным, как то, что происходило потом. Занятное междуцарствие было почти сносным, сказала она, требовалось принять столько неотложных, практических решений: продать дом и дело в Нью-Джерси, найти, где жить в Нью-Йорке, обставить это место

и в то же время найти Фергусону приличную школу, — внезапный натиск обязательств, какие пали на нее в первые дни вдовства, не был для нее бременем — скорее желанным отвлечением, поводом не думать о пожаре в Ньюарке каждую минуту бодрствования, и спасибо Господу за все эти фильмы, добавила она, и за тьму кинотеатров в те холодные зимние дни, и за возможность исчезнуть в притворстве этих дурацких сюжетов, и за тебя, Арчи, тоже спасибо Господу, сказала ему она, мой маленький храбрец, моя скала, мой якорь, дольше некуда был ты единственным настоящим человеком, кто оставался для меня на свете, и что б я без тебя делала, Арчи, зачем мне было бы жить, и как вообще смогла бы я жить дальше?

Сомнений нет, она в те месяцы была полусумасшедшей, сказала она, безумицей, жила на одних сигаретах, кофе и нескончаемых выплесках адреналина, но как только на вопросы с жильем и школой возникли ответы, вихрь улегся, а затем и вовсе стих, и она впала в долгий период задумчивости и размышлений, жуткие дни, кошмарные ночи, пора онемения и нерешительности, когда она взвешивала одну возможность против другой и всеми силами пыталась представить,

куда ей хочется, чтобы ее занесло будущее. Ей в этом смысле повезло, сказала она, повезло в том, что она могла выбирать варианты, но то, что у нее теперь были деньги, денег больше, чем она когда-либо мечтала иметь, двести тысяч долларов только по страховке жизни, не говоря уже о деньгах, полученных от продажи дома в Миллбурне и «Ателье Страны Роз», куда также входили дополнительные суммы, которые она заработала от продажи мебели в доме и оборудования в ателье, и даже после того, как она вычла тысячи, потраченные на новую мебель, и стоимость отправки Фергусона каждый год в частную школу, и ежемесячную стоимость съема квартиры, у нее оставалось больше чем достаточно, чтобы ничего не делать следующие двенадцать или пятнадцать лет, и дальше жить за счет своего покойного мужа, покуда сын ее не окончит колледж — и гораздо дольше, если найдет себе умного специалиста по акциям и облигациям и инвестирует средства в рынок. Ей было тридцать три года. В жизни уже не новичок, но и бывшей ее не назовешь, и хотя ее утешало размышлять о благах ее удачи, знать, что в ее силах — жить праздно до самой старости, если ее потянет так решить, а месяцы шли, и она продолжала эдак размышлять

и ничего не делать, время в основном посвящала путешествиям сквозь Центральный парк четыре раза в день на автобусе, идущем через весь город: утром отвозила Фергусона в школу, после чего возвращалась домой, в конце дня забирала Фергусона и снова возвращалась домой, а по тем утрам, когда не могла заставить себя снова заскочить в автобус и вернуться в Вест-Сайд, те шесть с половиной часов, что Фергусон проводил в школе, она тратила, бродя по Ист-Сайду, забредала одна в магазины, обедала одна в ресторанах, одна ходила к кино, одна ходила в музеи, и после трех с половиной месяцев такой привычки, за которыми последовало странное, пустое лето, когда они с сыном забились в снятый домик на джерсейском побережье и почти все время сидели взаперти, вместе смотрели телевизор, и тогда-то она обнаружила, что ей неймется, ей снова не терпится работать. Почти весь год заняло у нее достижение этого рубежа, но как только она на нем очутилась, из чулана наконец появились «Лейка» и «Роллейфлекс», и уже совсем скоро мать Фергусона плыла на корабле курсом назад, в страну фотографии.

На сей раз она принялась за дело иначе — сама бросилась в мир, а не приглашала мир к себе,

ей больше не было интересно держать ателье с постоянным адресом: теперь ей казалось, что это устарелый способ заниматься фотографией, без нужды громоздкий во время быстрых превращений, новые скоростные пленки и еще более действенные легкие фотоаппараты переворачивали эту сферу, а оттого становилось возможным пересмотреть ее прежние представления о свете и композиции, изобрести себя заново и выйти за пределы классической портретной съемки, и к тому времени, как Фергусон начал второй год учебы в Гиллиарде, мать его уже подыскивала себе работу — на первое место наткнулась в конце сентября, когда человек, нанятый снимать на свадьбе ее двоюродной сестры Шарлотты, свалился с лестницы и сломал ногу, а поскольку до свадьбы оставалась всего неделя, она вызвалась его заменить бесплатно. Синагога располагалась где-то в бруклинском Флетбуше — в прежнем районе первого Арчи и двоюродной бабушки Перл, — и между самой церемонией и перемещением всей компании гостей в зал приемов в двух кварталах к югу мать Фергусона установила штатив и сделала парадные черно-белые портреты присутствовавших членов семьи, начиная с самих жениха и невесты, двадцатидевятилетней Шарлотты,

которой, казалось, на роду написано ни за кого не выйти замуж после того, как ее нареченного убили на Корейской войне, и тридцатишестилетнего овдовевшего стоматолога Натана Бирнбаума, а за ними — двоюродной бабушки Перл, Наны и Папы Фергусон, сестры-близняшки Шарлотты Бетти и ее мужа-счетовода Сеймура Графа, тети Мильдред (которая нынче преподавала в Саре Лоренс) и ее мужа Пола Сандлера (работавшего редактором в издательстве «Рэндом-Хаус»), и наконец самого Фергусона с двумя своими троюродными сородичами (детьми Бетти и Сеймура) — пятилетним Эриком и трехлетней Джуди. Как только в зале начался свадебный прием, мать Фергусона отставила штатив и следующие три с половиной часа бродила среди гостей, делала сотни снимков тех девяноста шести человек, что там собрались: непостановочные, спонтанные фотографии стариков, что тихонько беседуют друг с другом, молодых женщин, что, смеясь, пьют вино и суют еду себе в рот, детишек, танцующих со взрослыми, и взрослых, танцующих друг с дружкой после завершения трапезы, лица всех тех людей схвачены в естественном свете этого голого, нешикарного помещения, музыканты взгромоздились на крошечную эстраду и блям-

кали свои осточертевшие слюнявые песенки, двоюродная бабушка Перл улыбалась, целуя внучку в щеку, Бенджи Адлер откидывал коленца на танцполе вместе с двадцатилетней дальней родственницей из Канады, девятилетняя девочка хмуро сидела одна за столом с недоеденным куском торта перед собой, а в какой-то момент празднества дядя Пол подошел к свояченице и заметил, что она, похоже, хорошо здесь проводит время, он не видел ее такой счастливой и оживленной с тех пор, как она переехала в Нью-Йорк, и мать Фергусона просто ответила: Я должна это делать, Пол, я просто сойду с ума, если не начну вновь работать, на что муж Мильдред ответил: Кажется, я могу тебе помочь, Роза.

Помощь пришла в виде заказа: съездить в Новый Орлеан и сфотографировать Генри Вильмота для суперобложки его выходящего романа — произведения, которого ждали от лауреата Пулитцеровской премии, — и когда шестидесятидвухлетний Вильмот сообщил своему редактору, насколько он доволен результатами, то есть позвонил Полу Сандлеру и сказал, что отныне никому, кроме этой *прекрасной женщины*, не разрешается его фотографировать, от «Рэндом-Хауса» стали поступать новые заказы, что привело к ра-

боте и на других нью-йоркских издателей, а это, в свою очередь, повлекло за собой журнальные задания для очерков о писателях, кинорежиссерах, бродвейских актерах, музыкантах и художниках в «Таун энд Кантри», «Вог», «Лук», «Ледис Хоум Джорнал» и «Нью-Йорк Таймс Магазин», а также других еженедельных и ежемесячных изданиях в последующие годы. Мать Фергусона всегда фотографировала своих героев в их собственной среде, ездила в те места, где они жили и работали, со своими переносными софитами, складными ширмами и зонтиками, снимала писателей в их набитых книгами кабинетах или за столами, художников — в вихре и беспорядке их мастерских, пианистов — сидящими за их сверкающими черными «Стейнвеями» или стоящими возле них, актеров — глядящими в зеркала у себя в гримуборных или сидящими в одиночестве на голой сцене, и отчего-то ее черно-белые портреты, казалось, отражают больше внутренней жизни этих людей, чем было способно извлечь из таких сеансов с теми же хорошо известными фигурами большинство фотографов: качество, имевшее меньше отношения, быть может, к техническому мастерству, нежели к чему-то в самой матери Фергусона, которая всегда готовилась к каждому

новому заданию, читая книги и слушая пластинки, глядя на картины своих героев, а оттого могла о чем-то с ними разговаривать наедине во время их долгих сеансов, и, поскольку говорила она легко и всегда была чарующа и привлекательна, вовсе не из тех, кто говорит о себе, все эти тщеславные и непростые художники ловили себя на том, что в ее присутствии расслабляются, чувствовали, что ее действительно интересует, кто они и что они, и на самом деле так оно и было — или же по большей части было так, бóльшую часть времени, и как только подобное соблазнение производило свое действие и эти люди поднимали забрала, маски, что они носили на лицах, постепенно сползали, и из глаз у них начинал исходить какой-то другой свет.

Помимо такой коммерческой работы на журналы и книгоиздателей, мать Фергусона много занималась и собственными проектами, которые она звала *исследованиями блуждающим глазом:* неусыпная бдительность, нужная для создания первоклассных портретов, отставлялась в сторону ради *открытости навстречу случайным встречам с неожиданным, будь что будет.* Она обнаружила в себе этот порыв противоречия на свадьбе у Шарлотты — на том неоплаченном

задании в 1955-м, что превратилось в буйный трех-с-половиной-часовой загул неистового фотографирования, когда она петляла в толпе, освобожденная от уз кропотливой подготовки, и ныряла в вихрь пулеметных композиций, один снимок следовал за другим, мимолетные мгновенья, которые следовало ловить точно или не ловить вообще, промедли полсекунды — и картинка исчезнет, и неистовство сосредоточения, какое требовалось в таких условиях, швырнуло ее в некую эмоциональную лихорадку так, словно все лица и тела в том помещении наскакивали на нее сразу скопом, как будто каждый там дышал у нее в глазах, был уже не просто по ту сторону объектива, а в ней самой, был неотделимой частью того, кто есть она.

Довольно предсказуемо, что Шарлотта и ее муж снимки эти возненавидели. Не те, говорили они, не другие портреты, что она сделала в синагоге после свадебной церемонии, те-то были поистине великолепны, этими фотографиями они будут дорожить многие годы, а барахло со свадебного банкета непонятно, все такое мрачное и грубое, такое нелестное, все выглядят такими зловещими и несчастными, даже смеющиеся люди смотрятся смутно демонически, и почему все кад-

ры такие несбалансированные, почему все так жутко недоосвещены? Разозлившись на этот выговор, мать Фергусона отправила новобрачным оттиски портретов с краткой сопроводительной запиской, гласившей: *Рада, что хоть эти вам понравились*, другую пачку отправила тете Перл, третью — родителям, а последнюю — Мильдред и Полу. Получив пакет, ее зять позвонил и спросил, почему она не включила сюда снимки с банкета. Потому что эти картинки дрянь, ответила она. Всех художников тошнит от собственных произведений, сказал ее новый сторонник и защитник, и мать Фергусона в итоге это убедило напечатать тридцать оттисков из более чем пятисот изображений, которые она сняла в тот день, отправить их в контору Пола в «Рэндом-Хаусе». Три дня спустя он перезвонил сказать, что они не только не дрянь, а он вообще считает их замечательными. С ее позволения он намерен переслать их Майнору Вайту в журнал «Аперчер». Они заслуживают публикации, сказал он, их должны увидеть те, кому небезразлична фотография, а поскольку они с Вайтом немного знакомы, то чего б не начать с самого верха? Мать Фергусона не была уверена, всерьез ли это ей говорит Пол или же просто ее жалеет. Она подумала: Добрый человек

делает шаг навстречу, помочь запутавшейся и скорбящей родственнице в пору ее нужды, человек со связями стремится склеить расклеенную вдову-фотографа с новой жизнью. Затем подумала: Жалость это или не жалость, но именно Пол отправил ее в Новый Орлеан, и хоть и мог действовать под влиянием момента или слепой интуиции или же из какого-то чутья наобум, теперь, когда сварливый алкоголик Вильмот ее превозносит за *чертовски прекрасную работу*, быть может, зять ее и верит, что поставил на правильную лошадь.

Повлиял на их решение Пол или нет, но редакция «Аперчер» приняла ее снимки к публикации: подборку из двадцати одной фотографии, которые появились через полгода с заголовком «Еврейская свадьба, Бруклин». Эта победа и всплеск воодушевления, сотрясший всю ее, когда у нее в почте объявилось письмо из «Аперчер», вскоре, однако, пригасились раздражением, а затем едва не уничтожились гневом, поскольку опубликовать эти снимки она не могла, не обеспечив разрешений тех людей, что были на них запечатлены, и мать Фергусона совершила ошибку, сперва связавшись с Шарлоттой, которая упрямо отказалась позволять этим *нелепым фотошар-*

жам на нее и Натана публиковаться в «Аперчер» или любом другом *гнусном журнальчике*. За следующие три дня мать Фергусона поговорила со всеми остальными участниками, среди них — с матерью Шарлотты и ее сестрой-близняшкой Бетти, — и когда больше никто не высказал никаких возражений, она опять перезвонила Шарлотте и попросила ее пересмотреть свое решение. *Даже речи быть не может. Ступай к черту. Ты это кем себя вообще возомнила?* Тетя Перл попыталась ее урезонить, дед Фергусона бранил ее за, как он это называл, *эгоистичное наплевательство на других*, Бетти обозвала ее тупицей и ханжой, но новоиспеченная миссис Бирнбаум не уступала. Стало быть, три снимка с Шарлоттой и Натаном пришлось выбросить, выбрали три других им на замену, и фотоочерк о свадьбе опубликовали без каких-либо изображений невесты или жениха.

Тем не менее то было начало, первый шаг к тому, чтобы жить в единственном будущем, какое для нее имело смысл, и мать Фергусона неуклонно продвигалась вперед, осмелев от публикации тех фотографий настолько, чтобы заниматься и другими незаказными проектами, *ее собственной работой*, как она ее называла, которую и дальше можно было отыскивать на страницах

«Аперчер», а иногда и под обложками книг или на стенах галерей, и самой важной частью этого преображения, наверное, было решение, которое она приняла в последнюю минуту перед публикацией «Еврейской свадьбы», еще весной 1956 года, когда встала на колени у своей кровати и попросила Станли простить ее за то, что она намерена сделать, но так нужно, сказала ему она, любой другой способ вынудит ее и дальше жить в золе ньюаркского пожара, пока и сама она не сгорит дотла, поэтому так оно и получилось, так и продолжалось все годы ее будущей жизни, что все работы свои она подписывала: *Роза Адлер*.

Поначалу восьмилетний Фергусон лишь смутно осознавал, что замыслила его мать. Он понимал, что она теперь занята сильнее, чем раньше: почти каждый день мать уходила куда-нибудь что-нибудь снимать либо запиралась в комнате, что раньше была лишней спальней, которую теперь она превратила в мастерскую, где проявляла снимки, и эта комната бывала нынче постоянно заперта из-за паров от химикатов, хотя приятно было видеть, что теперь мать улыбается и смеется больше, чем весной и летом, все остальное происходившее было неприятно, совсем не хорошо, с его точки зрения. Больше восьми

месяцев свободная спальня была его комнатой, его собственным личным убежищем, где он мог перебирать бейсбольные карточки и сбивать пластмассовые кегли пластмассовым шаром, бросать мешочки с бобами в дырки в деревянной мишени и целиться дротиками в маленькое красное яблочко, а теперь комнаты не стало, и едва ли можно считать, что это хорошо, а потом, где-то под конец октября, вскоре после того, как его светлая комната преобразилась в темную лабораторию, куда хода ему больше не было, случилось и еще одно нехорошее, когда мать сказала ему, что у нее больше не получится забирать его из школы. По утрам она, как и раньше, будет его туда отвозить, а вот днем она уже не может считать себя свободной, и потому теперь на школьном крыльце встречать его и сопровождать обратно в квартиру станет бабушка. Фергусону это совсем не понравилось, поскольку он был против любых перемен вообще — из соображений строгих нравственных установок, но протестовать ему не по чину, следует выполнять, что говорят, и то, что некогда было лучшей частью дня — увидеться с матерью после шести с половиной часов скуки, выговоров и ожесточенных борений со Всемогущим, — превратилось в скучный поход на запад

с толстой ковыляющей Наной, старухой такой робкой и сдержанной, что она даже не знала, о чем с ним разговаривать, а это значило, что чаще всего они ехали домой молча.

Он ничего не мог с этим поделать. Мать — единственный человек, кто ему небезразличен, с кем ему удобно, а все прочие действовали ему на нервы. У родни его, предполагал он, есть свои достоинства — хотя бы в том, что им всем он вроде бы нравится, но дед слишком громогласен, бабушка слишком тиха, тетя Мильдред слишком им помыкает, дяде Полу слишком нравится слушать самого себя, двоюродная бабушка Перл слишком удушает его своими нежностями, кузина Бетти слишком наглая, кузина Шарлотта — слишком глупая, маленький кузен Эрик — слишком буйный, маленькая кузина Джуди — слишком плакса, а единственная родственница, за то, чтобы повидаться с которой он бы отдал все на свете, его кузина Франси, учится в колледже в далекой Калифорнии. Что же касается однокашников в Гиллиарде, то настоящих друзей у него там не было, одни знакомые, и даже Дуги Гейс, тот мальчик, с кем он виделся чаще всего, смеялся над тем, что было совсем не смешно, и никогда не понимал анекдотов, когда ему их рассказы-

вали. За исключением матери, Фергусону было трудно прикипеть душой к кому-то из знакомых, поскольку с ними он всегда ощущал себя в одиночестве, хотя одному с другими, вероятно, немножко не так ужасно, как одному наедине с собой, а это, казалось, неизменно толкает его ум обратно к тем же навязчивым мыслям, как в случае с непрестанными моленьями Богу показать ему чудо, от чего он наконец успокоился бы, или же, еще более навязчиво, с фотографией в «Ньюарк Стар-Леджере», на которую ему смотреть не полагалось, но он все равно смотрел, рассматривал ее по три-четыре минуты, когда мать выходила из комнаты за пачкой сигарет, картинку с подписью «Обугленные останки Стэнли Фергусона» — и на ней был его мертвый отец в сгоревшем здании, что некогда было «Домашним миром 3 братьев», тело жесткое и черное, и уже не человеческое, как будто огонь превратил его в мумию, человек без лица и без глаз, а рот открыт широко, словно бы в крике, и вот этот обугленный мумифицированный труп положили в гроб и закопали в землю, а Фергусон, когда бы теперь ни думал об отце, в уме видел в первую очередь вот эти опаленные останки черного, полусгоревшего тела с открытым ртом, все еще кричащего

из самых недр земли.

Сегодня будет холодно, Арчи. Не забудь надеть в школу шарф.

Такие нездоровые мрачные размышления относились к вещам нехорошим, какие случались в тот нелегкий год, когда ему было восемь и близилось к девяти, но случалось тогда и хорошее, и даже происходило оно каждый день, вроде телевизионной программы после школы, ее показывали с четырех до половины шестого по 11-му каналу, целых полтора часа (с перебивками на рекламу) старых фильмов Лорела и Гарди, а это, как выяснилось, прекраснейшие, наисмешнейшие, приятнейшие фильмы из всех, что когда-либо снимали. То была новая программа, ее запустили лишь осенью, и пока Фергусон однажды в октябре случайно не наткнулся на нее, включив телевизор, он и не знал ничего об этом древнем дуэте комиков, поскольку к 1955 году Лорела и Гарди почти совсем забыли, их фильмы двадцатых и тридцатых годов больше не показывали в кинотеатрах, и только из-за телевидения они вернулись к маленьким людям, живущим в огромной метрополии. Как же Фергусон начал обожать двух этих болванов, этих взрослых людей с мозгами шестилеток, энергия и добродушие

так и били из них фонтаном, однако они вечно ссорились и мучили друг друга, вечно попадали в самые невероятные и опасные передряги, едва не тонули, их едва не разрывало в клочья, им едва не вышибало насмерть мозги, и все ж они всегда умудрялись выжить, горемычные мужья, неуклюжие интриганы, неудачники до самого конца, и все ж, несмотря на любые их взаимные тумаки, щипки и пинки, до чего же добрыми друзьями они оставались, были связаны воедино туже, нежели любая другая пара в «Книге земной жизни», каждый — неотделимая половина единого, двухчастного человеческого организма. Мистер Лорел и мистер Гарди. Фергусону неимоверно нравилось, что это имена настоящих людей, которые играют выдуманных персонажей Лорела и Гарди в фильмах, ибо Лорел и Гарди всегда были Лорелом и Гарди, в каких бы обстоятельствах ни оказывались, где б ни жили, в Америке или какой другой стране, в прошлом или же в настоящем, перевозили они мебель или же торговали рыбой, продавали новогодние елки, были солдатами или матросами, заключенными или плотниками, уличными музыкантами или конюхами, или золотоискателями на Диком Западе, и то, что они вечно оставались неизменно одними и теми же,

даже когда были разными, казалось, делало их гораздо реальнее, чем любых других героев кино, потому что, если Лорел и Гарди — всегда Лорел и Гарди, рассуждал Фергусон, это должно означать, что они вечны.

Они и были его самыми верными, самыми надежными компаньонами весь тот год и добрую часть следующего, Станли и Оливер, они же Стан и Олли, тощий и толстый, слабоумный невинный младенец и напыщенный дурак, который в конце оказывался не менее слабоумным, чем первый, и хотя для Фергусона что-то значило, что имя у Лорела такое же, как и у его отца, значило оно не слишком уж много, да и наверняка мало имело общего, а то и вообще ничего, с его растущим расположением к новым друзьям, которые практически сразу же стали его лучшими друзьями — кабы вообще друзьями не единственными. Больше всего любил он в них эти краеугольные черты, что никогда не менялись от фильма к фильму, начиная с темы «Кукушек» на начальных титрах, которая объявляла, что парни вернулись с еще одним приключением и: *Что же они придумают дальше?* — знакомые повороты, которые никогда ему не надоедали, Олли крутит галстук и раздраженно поглядывает

в объектив камеры, Стан обалдело моргает и внезапно разражается слезами, шутки, вращавшиеся вокруг их котелков, у Лорела на голове — слишком большой, у Гарди — слишком маленький, шляп, продавленных ударами и горящих, шляп, рывком надвинутых на уши, и шляп, растоптанных ногами, их склонность падать в открытые люки и проламываться сквозь треснувшие половицы, шагать прямо в грязные болота и лужи глубиной по шею, их невезенье с автомобилями, лестницами, газовыми плитами и электрическими розетками, хвастливая учтивость Олли, когда он разговаривает с незнакомыми людьми: *Это мой друг мистер Лорел,* — нелепый дар Стана поджигать себе большой палец и пыхтеть несуществующими, но действующими трубками, их неконтролируемые приступы хохота, их умение пускаться в спонтанные танцевальные номера (оба так легки на ногу), их единодушие, если приходится сталкиваться с неприятелем, все свары и разногласия забыты, когда они объединяются, чтобы разнести кому-нибудь дом или раскурочить машину, — но еще и вариации того, кто они и как личные особенности их иногда накладываются друг на дружку и даже сливаются воедино, как, например, когда Олли чешет Стану

ногу, думая, что это нога его самого, и вздыхает от удовольствия и облегчения, или же изобретательность, с какой они иногда себя удваивают, как бывало, когда большой Станли и большой Оливер нянчат своих младенцев-сыновей, маленького Стана и маленького Олли, которые представляют собой миниатюрные копии своих отцов, поскольку Лорел и Гарди играли оба комплекта ролей, или когда Стан женится на женщине-Олли, а Олли — на женщине-Стане, или когда они встречаются со своими давно потерянными братьями-близнецами, близкими друзьями между собой, кого тоже, разумеется, зовут Лорел и Гарди, или — лучше всего — когда в конце одного фильма не удалось переливание крови, и Стан оказался с усами и голосом Олли, а гладколицый Гарди вдруг расплакался, как Лорел.

Да, они были неизменно смешны и изобретательны, и да, у Фергусона иногда живот болел от хохота над их дурачествами, но вот почему он считал их потешными и почему любовь его к ним расцвела до совершенно неразумных пределов, имело меньше отношения к их клоунским выходкам, нежели к их стойкости, к тому, что они напоминали Фергусону его самого. Вычесть все комические преувеличения и балаганное

насилие — и боренья Лорела и Гарди перестанут отличаться от его собственных. Они тоже наобум перебирались от одного дурно задуманного плана к другому, они тоже маялись от нескончаемых неудач и тупиков, и всякий раз, когда несчастье доводило их до слома, злость Гарди становилась его собственной злостью, обалдение Лорела отражало его обалдение, а лучшее во всех промахах, что они совершали, заключалось в том, что Стан и Олли были еще недотепистее его, глупее, бестолковее, беспомощней, и вот это было смешно, так смешно, что он никак не мог перестать над ними смеяться, пусть даже и жалел их, и относился к ним как к братьям, сотоварищам по духу, кому вечно достается от мироздания, но они всегда поднимаются на ноги, чтобы попробовать снова — замышляя очередной свой безмозглый план, который неизбежно вновь повергнет их наземь.

По большей части фильмы эти он смотрел один, сидя на полу в гостиной где-то в ярде от телевизора, что мать и бабушка считали слишком близко, поскольку лучи, испускаемые катодной трубкой, *испортят ему глаза*, и всякий раз, когда кто-то из них заставал его в таком положении, ему приходилось отодвигаться на диван, стоявший подальше. В те дни, пока мать еще была на

работе, когда он возвращался из школы, с ним в квартире оставалась бабушка — до материна прихода с ее *ежедневных обязанностей* (как выразилась няня в «Ящике с музыкой», жалуясь полицейскому после того, как Стан двинул ей башмаком под зад: *Он пнул меня прямо посреди моих ежедневных обязанностей*), но бабушку Фергусона Лорел и Гарди не интересовали, страсть у нее имелась лишь к чистоте и порядку в доме, и как только она давала внуку перекусить после школы, обычно — две печеньки с шоколадной крошкой и стакан молока, а иногда сливу или апельсин, или стопку соленых крекеров, которые Фергусон обмазывал виноградным джемом, — он уходил в гостиную и включал свою программу, а бабушка принималась драить кухонные поверхности, или оттирать горелки на плите, или мыть раковины и унитазы в двух ванных, преданный уничтожитель грязи и микробов, она никогда не ворчала на недостатки своей дочери как хозяйки дома, но тем не менее часто вздыхала, выполняя эту работу, вне всяких сомнений, досадуя на то, что плоть и кровь ее не придерживается ее собственных стандартов гигиеничного проживания. По тем же дням, когда мать Фергусона уже была дома к его возвращению из школы, бабушка

просто оставляла его и уходила, обменявшись с дочерью поцелуем и несколькими словами, но редко задерживалась так, чтобы имело смысл снять пальто, а если мать не проявляла у себя в лаборатории фотографии или не готовила на кухне ужин, она временами подсаживалась к сыну на диван и смотрела Лорела и Гарди с ним вместе, то и дело хохоча так же заливисто, как и он (над фразой про *ежедневные обязанности* в «Ящике с музыкой», к примеру, которая стала у них личной шуткой, понятие это со временем заменило те старые слова, какими они раньше обозначали человеческий зад, длинный список, включавший в себя такие надежные идиомы, как низ спины, *тухес*, курдюк, корма, пятая точка, попа и седалище, как бывало с вопросом, который иногда задавала мать, если они оказывались в разных комнатах, окликая его: *Ты чего там делаешь, Арчи?* — и если он не стоял, не ходил и не лежал где-нибудь в квартире, то отвечал: *Сижу на своих ежедневных обязанностях, ма*), но чаще всего она просто хмыкала над кунштюками и оплошностями Стана и Олли либо же слабо улыбалась, и когда все начинало идти вразнос, они принимались шлепать, колотить и больно лупцевать друг друга, она морщилась, а то, бы-

вало, и качала головой и говорила: *Ох, Арчи, это же просто ужас,* — имея в виду, что не фильм ужасен, а потасовка героев для нее чересчур. Фергусон с этим, конечно, не соглашался, но был уже достаточно взрослый и понимал: кто-то может запросто не любить Лорела и Гарди так же сильно, как любит их он, и был ей благодарен за то, что сидит с ним, пусть Стан и Олли слишком дебильны и детски для нее, и даже смотри она эти фильмы целый год без перерыва, поклонницей их она нипочем не станет.

Единственным, кто из всей родни разделял его восторги, всего один взрослый, кому хватало тонкости распознать гениальность в его любимых имбецилах, был его дед, непостижимый Бенджи Адлер, кто для Фергусона всегда оставался чем-то вроде загадки: человек этот, казалось, наделен двумя или тремя разными личностями, порой — бурливый и щедрый, в иные дни — замкнутый и рассеянный, временами нервный, даже дерганный и раздражительный, по временам спокойный и экспансивный, поочередно тепло внимательный к внуку и чуть ли не безразличный к нему, но в хорошие дни, когда ему случалось быть в приподнятом настроении и анекдоты из него так и сыпались, он был вели-

колепным компаньоном, сообщником в том, что Фергусон считал Дурской войной (так искаженно переродилась у него недослышанная и недопонятая Бурская война), которую он принимал за военное наступление на дурость жизни. В конце ноября дядя Пол отправил мать Фергусона аж в Нью-Мексико, снимать Миллисенту Каннингем, восьмидесятиоднолетнюю поэтессу, которая выпускала в «Рэндом-Хаусе» собрание своей публицистики, и Фергусон обосновался в квартире своих деда с бабушкой возле Колумбус-Сёркл. В Стране Лорела и Гарди он жил уже больше месяца, полностью обосновался там со своей в них влюбленностью и теперь едва ли не скорбел, когда наступали выходные, ибо по субботам и воскресеньям программа эта в эфир не выходила, но первый же вечер, какой ему суждено было провести на Западной Пятьдесят восьмой улице, выпал на понедельник, что подарило ему пять дней без всякого перерыва с мистером Толстым и мистером Тощим, и когда дед его под конец первого дня вернулся домой с работы пораньше, пояснив, что *в конторе медленный день*, он плюхнулся рядом с Фергусоном на диван тоже смотреть программу, которая, судя по всему, на его шестидесятидвухлетний рассудок воздейство-

вала так же, как и на восьмилетний Фергусона, и уже совсем немного погодя он весь содрогался от хохота, в какой-то миг — до того чрезмерно, что закашлялся, и лицо у него побагровело, и до того полным был восторг его, что дед на той неделе каждый день возвращался домой пораньше, чтобы посмотреть вместе с внуком кино.

Затем случился сюрприз, воскресный визит в начале декабря, когда прародители Фергусона вошли в квартиру на Западной Центрального парка, нагруженные пакетами, некоторые — до того тяжелые, что Артуру, домоуправу, пришлось вкатывать их на ручной тележке, чем он заработал у Фергусонова деда пять долларов на чай (пять долларов!), а еще там была чрезвычайно длинная картонная коробка, которую прародители его внесли вдвоем, каждый держал свой конец обеими руками, и такой длины была эта коробка, что чуть-чуть — и не поместилась бы в квартиру, и когда он увидел, как его бабушка улыбается (а она улыбалась так редко), и услышал, как дед его смеется, и ощутил, как на правое плечо ему опустилась рука матери, он понял, что сейчас произойдет нечто необычайное, но понятия не имел, что это будет, пока все пакеты не развернули и он не обнаружил, что теперь

владеет шестнадцатимиллиметровым кинопроектором, скатывающимся в рулон киноэкраном на складном штативе и копиями десяти короткометражек Лорела и Гарди: «Завершающий штрих», «Два матроса», «Опять неправ», «Крупное дело», «Идеальный день», «Вдрабадан», «Ниже нуля», «Еще одна неразбериха», «Помощники» и «На буксире в яму».

Подумаешь, что проектор купили уже пользованный — он же работал. Подумаешь, что копии были исцарапанными, а звук порой, казалось, доносился как со дна ванны — эти фильмы можно было смотреть. И с фильмами этими у него появился целый новый набор слов, какими следовало овладеть: *обтюратор*, к примеру, думать про который оказалось гораздо лучше, чем о слове *обугленный*.

По выходным, если мать его не уезжала из города на задание, а погода была не слишком холодная, не слишком мокрая или не слишком ветреная, почти каждое субботнее утро и день они тратили на блуждания по улицам в поисках хорошего снимка, Фергусон трусил рядом с матерью, а та шагала по тротуарам Манхаттана или вверх по ступеням муниципальных зданий, или залезала на валуны, или пересекала мосты в Цен-

тральном парке, а потом, по причине, никогда для него не очевидной, вдруг останавливалась, направляла на что-нибудь фотоаппарат, спускала затвор и — щелк, щелк-щелк, щелк-щелк-щелк, действие, не самое захватывающее на свете, быть может, но и в нем заключалась часть наслаждения тем, что он с матерью, что она вся — снова его, да и как не наслаждаться обедами, которые они вместе съедали в кофейнях вдоль Бродвея и на Шестой авеню в Виллидж, где десять раз из десяти он заказывал себе гамбургер и шоколадный молочный коктейль, всегда одно и то же посреди тех субботних экскурсий, гамбургер, пожалуйста, да, гамбургер, пожалуйста, будто это входило в священный ритуал, что означало: этому никогда нельзя меняться, никак, вплоть до мельчайшей детали, а потом наставали субботние вечера и/или воскресные дни, когда они вместе ходили в кино, усаживались на балконе, где мать могла курить свои «Честерфильды», на кинокартины, что никогда не бывали фильмами Лорела и Гарди, а только новые голливудские постановки, вроде «Всегда хорошая погода», «Высокие мужчины», «Пикник», «Парни и куколки», «Художники и натурщицы», «Придворный шут», «Вторжение похитителей тел», «Искатели», «За-

претная планета», «Человек в сером фланелевом костюме», «Наша мисс Брукс», «Разъезд Бховани», «Трапеция», «Моби-Дик», «“Кадиллак” из чистого золота», «Десять заповедей», «Вокруг света за восемьдесят дней», «Забавная мордашка», «Невероятный уменьшающийся человек», «Удар страха» и «12 разгневанных мужчин», хорошие и плохие фильмы 1955, 1956 и 1957 годов, что пронесли их через весь его срок в Гиллиарде и в первый год в следующей школе, куда он ходил, — в Риверсайдской академии на Вест-Энд-авеню между Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой улицами, заведение с совместным обучением и так называемыми прогрессивными тенденциями, основанное двадцатью девятью годами ранее, ровно через сто лет после учреждения Гиллиарда.

Никаких больше блейзеров с галстуками, никакой утренней часовни, никаких поездок автобусом через Центральный парк, больше не нужно проводить целые дни взаперти в здании без девчонок — все это было, спору нет, лучше, но главную разницу между третьим и четвертым классами составлял не столько прыжок в другую школу, сколько окончание дуэли Фергусона с Богом. Бог был побежден — разоблачен как бес-

сильное ничтожество, более не способное наказывать или внушать страх, а раз теперь небесный надсмотрщик из кадра удалился, Фергусон мог и прекратить свою старую игру «Намеренный провал», или, как он стал иногда называть ее впоследствии, «Онтологический трусишка». Он так преуспел в неудачах, что устал от своего дара уловок и самобичевания. Никто в Гиллиарде ни разу не заподозрил его ни в чем, он одурачил всех, не только учителей и одноклассников, но и мать свою, и тетю Мильдред, ни та ни другая так и не вычислили, что он все это делал намеренно, что его бешено непредсказуемая успеваемость в третьем классе была всего лишь притворным, хитроумно разработанным предприятием, чтобы доказать: если за ним не приглядывает никакая божественная сила, что бы он ни делал, это не имело значения. Он выиграл спор с самим собой тем, что его выгнали из Гиллиарда — не исключили, вообще-то, поскольку ему разрешили доучиться до конца года, но Фергусон встал им поперек горла настолько, что видеть его там больше не захотели. Директор сказал его матери, что Арчи — самая обескураживающая загадка, с какой он сталкивался за все свои годы работы в школе. Одновременно он и лучший, и

худший ученик в классе, сказал он, временами блистателен, а иной раз совершенный остолоп, и они уже не знают, что с ним делать. Перед ними латентный шизофреник, спросил он, или же Арчи — просто еще один потерянный мальчик, который со временем обретет себя? Поскольку мать Фергусона знала, что сын ее — не остолоп и не будущий умалишенный, она поблагодарила директора за уделенное время и взялась подыскивать другую школу.

Первый табель Риверсайдской академии он получил в пятницу, в середине ноября. После целого года «плохо» и «неудов» от Гиллиарда мать ожидала от новой школы результатов получше, но ничего и близко не похожего на семь «отлично» и два «оч. хор.», которые Фергусон в тот день принес домой. Ошеломленная размахом преображения, она вошла в гостиную в половине шестого, как раз когда заканчивалось «Шоу Лорела и Гарди», и села рядом с сыном на пол.

Ты хорошо потрудился, Арчи, сказала она, держа конверт с оценками в правой руке и постукивая по нему левой. Я тобой очень горжусь.

Спасибо, ма, ответил Фергусон.

Должно быть, новая школа тебе нравится.

Ничего так. С учетом всего.

Это что значит?

Школа есть школа, а это значит, что нравиться в ней нечему. Туда ходишь, потому что надо.

Но некоторые школы лучше других, разве нет?

Наверное.

Например, Риверсайд лучше Гиллиарда.

В Гиллиарде было неплохо. Для школы, в смысле.

Но тебе же лучше не ездить каждый день в такую даль, а? И форму носить не нужно. И там мальчики и девочки учатся вместе, а не только мальчики. Такая жизнь немного лучше, правда?

Гораздо лучше. Но сама школа не слишком-то и отличается. Чтение, письмо, арифметика, обществоведение, физкультура, рисование, музыка и науки. В Риверсайде я делаю то же самое, что и в Гиллиарде.

А учителя?

Примерно такие же.

Я думала, в Риверсайде они не такие строгие.

Да нет вообще-то. Мисс Донн, музыкантша, иногда на нас орет. А вот мистер Боулс, учитель музыки в Гиллиарде, на нас никогда голос не повышал. Это был у меня вообще лучший учитель и самый приятный.

Но у тебя в Риверсайде больше друзей. Томми

Снайдер, Питер Баскин, Майк Гольдман и Алан Льюис — все такие прекрасные мальчики, и еще эта милашка Изабелла Крафт, и ее двоюродная сестра Алиса Абрамс, прекрасные дети, настоящие победители. Всего за два месяца ты себе завел столько друзей, сколько у тебя было в Нью-Джерси.

С ними весело. С какими-то другими детьми — не очень. Билли Натансон — самая гадкая жаба, что мне только попадалась, гораздо хуже кого бы то ни было в Гиллиарде.

Но в Гиллиарде у тебя же вообще не было друзей, Арчи. Только этот славный Дуг Гейс, наверное, а больше я никого и припомнить не могу.

Это я сам был виноват. Я не хотел себе там никаких друзей.

Вот как? И почему это?

Трудно объяснить. Просто не хотел, и все.

В одной школе — без друзей и плохие оценки. В другой — много друзей и хорошие оценки. У этого должна быть какая-то причина. Ты можешь мне сказать какая?

Да.

Ну?

Я не могу тебе сказать.

Не глупи, Арчи.

Ты разозлишься, если скажу.

Чего ради мне на тебя злиться? Гиллиард уже в прошлом. Теперь никакой разницы.

Может, и нет. Но ты на меня все равно разозлишься.

А если я тебе дам слово не злиться?

Ничего хорошего не получится.

Фергусон уже не отрывал взгляда от пола, делая вид, будто рассматривает выбившуюся из ковра нитку, чтобы только не встречаться с матерью глазами, поскольку он знал, что ему настанет конец, если он теперь в них заглянет, глаза ее всегда были для него слишком сильными, они были заряжены такой мощью, что мать могла расшифровать его мысли и вытащить из него признания и повергнуть его ничтожную волю, пусть он и сопротивлялся, и вот теперь, ужасно и неизбежно, она протягивала руку и дотрагивалась кончиками пальцев до его подбородка, мягко вынуждая его поднять голову и снова посмотреть ей в глаза, и в тот миг, когда он ощутил, как ее рука соприкоснулась с его кожей, Фергусон понял, что все пропало, надежды больше нет, в глазах у него собирались слезы — первые слезы, возникшие там впервые за много месяцев, и до чего унизительно

было ощущать, как вновь, без предупреждения, поворачивается незримый кран, ничем не лучше глупого плаксы Стана, сказал он себе, девятилетняя детка с прохудившимися трубами в мозгу, и к тому времени, когда он нашел в себе мужество впереть взор свой в материны глаза, два водопада уже текли по его щекам, а губы его шевелились, с них кубарем скатывались слова, рассказывалась история Гиллиарда, борьба с Богом и причина плохих отметок, смолкший голос и убийство его отца, нарушение правил только ради того, чтобы его наказали, а затем — ненависть к Богу за то, что не наказал, ненависть к Богу за то, что тот не Бог, и у Фергусона не было ни малейшего понятия, пронимала ли мать, о чем он ей толкует, в глазах у нее читались мука и смятение, она чуть не плакала, а после того, как он говорил две, три или четыре минуты, она склонилась к нему, обняла и велела прекратить. Хватит, Арчи, сказала она, отпусти все это, а затем они оба плакали вместе, марафон всхлипов, длившийся почти десять минут, и то был последний раз, когда они разнюнились в присутствии друг дружки, почти ровно через два года после того, как тело Станли Фергусона предали земле, и как только плач их медленно подошел к концу, они оба умылись,

надели пальто и пошли в кино, где на балконе, вместо того чтобы нормально поужинать, до отвала наелись хот-догов, а потом слопали и большую коробку воздушной кукурузы, которую запивали выдохшимися, водянистыми «колами». Фильм, который они смотрели в тот вечер, назывался «Человек, который слишком много знал».

Прошли годы. Фергусону исполнилось десять, одиннадцать и двенадцать, ему было тринадцать и четырнадцать, и среди семейных событий, произошедших за эти пять лет, самым важным, несомненно, оказалось то, что мать его вышла замуж за человека по имени Гильберт Шнейдерман, это случилось, когда Фергусону было двенадцать с половиной. За год до того клан Адлеров пережил первый развод, необъяснимый разрыв между тетей Мильдред и дядей Полом — парой, которая всегда казалась такой правильной друг для дружки, два болтливых книжных червя, женатых девять лет без каких-либо явных конфликтов или измен, а тут оно вдруг все взяло и закончилось, тетя Мильдред переезжала в Калифорнию работать на факультете английского в Станфорде, а дядя Пол перестал быть для Фергусона дядей Полом. Затем сгинул его дедушка — сердечный приступ в 1960-м, — а

вскоре после ушла и бабушка — инсульт в 1961-м, и не прошло и нескольких месяцев после этих вторых похорон, как двоюродной бабушке Перл поставили диагноз: неизлечимый рак. Адлеров становилось меньше. Они начали походить на одну из тех семей, где никто не доживает до глубокой старости.

Шнейдерман был первенцем бывшего материна начальника, человека с немецким акцентом, кто учил ее фотографировать в первые дни войны, и поскольку Фергусон понимал, что мать его в какой-то момент неизбежно выйдет замуж вторично, он не возражал против ее выбора, который счел лучшим из нескольких, ей представившихся. Шнейдерману было сорок пять, на восемь лет старше матери Фергусона, и дорожки этих двоих впервые пересеклись тем утром, когда она вышла на работу в ателье его отца в ноябре 1941 года, это несколько утешало Фергусона знанием, что мать познакомилась с его отчимом еще до того, как встретила его отца, в 1941-м против 1943-го — даты, которая прежде отмечала начало его собственного мира, а вот теперь мир этот сделался еще старше, и обнадеживало, что между ними двумя уже накопилось какое-то прошлое, что она не бросается в новый

брак очертя голову, а это всегда пугало Фергусона больше всего: наблюдать, как его мать охмуряет какой-нибудь сладкоречивый паяц, а потом она утром просыпается и понимает, что совершила ошибку всей свой жизни. Нет, Шнейдерман казался человеком солидным, такому можно было доверять. Семнадцать лет был женат на одной женщине, отец двоих детей, а потом вдруг — звонок от дорожного полицейского, вызвавший его в морг округа Датчесс опознавать женский труп, труп его жены, погибшей в дорожном происшествии, следом — четыре года в одиночестве, почти столько же, сколько провела в одиночку мать Фергусона после смерти его отца. В сентябре 1959-го его прародители еще были живы, и свадьбу устроили у них в квартире на Западной Пятьдесят восьмой улице, где Фергусон — ростом пять футов и два дюйма — выступал дружкой. Среди гостей присутствовали его новые сводные сестры: Маргарет, двадцати одного года, и девятнадцатилетняя Элла, обе студентки колледжа, ветхий Эмануэль Шнейдерман, козел-сквернослов, которого Фергусон уже встречал три-четыре раза и нипочем не считал своим дедушкой, даже после того, как умер его собственный дед, брат Гила Даниэль, его невестка Лиз, его шестнадца-

тилетний племянник Джим и двенадцатилетняя племянница Эми (сплошь руки и ноги эта девочка, со скобками на зубах и рядком угрей на лбу) и Пол Сандлер, бывший дядя Фергусона, оставшийся рыцарем его матери, невзирая на свой развод с Мильдред, редактор двух ее первых книг — полноформатной «Еврейской свадьбы» и недавно опубликованного «Хулиганья»: девяносто черно-белых портретов членов пуэрториканских уличных банд и их подружек, — а вот тети Мильдред не было, она написала, что слишком занята своими курсами в Станфорде, и когда Фергусон замечал, как его бывший дядя смотрит на его мать, задавался вопросом — не был ли тот соискателем материной руки и не проиграл ли Гилу Шнейдерману, а это могло означать, что его разрыв с тетей Мильдред имел какое-то отношение к запоздалому осознанию, что Пол выбрал не ту сестру. Наверняка знать это было невозможно, но, вероятно, объясняло, почему Мильдред была в тот день в Калифорнии, а не в Нью-Йорке, что также могло быть причиной того, почему она прервала все связи с матерью Фергусона, ибо о ее отсутствии на свадьбе никто и слова не сказал, по крайней мере — в пределах слышимости Фергусона, а поскольку он никак не мог заставить себя

спросить у своего бывшего дяди Пола или прародителей, почему об этом никто не упоминает, вопросы, лепившиеся в тот день у него в голове, остались без ответа. Еще одна история, которую никогда не расскажут, постановил он про себя, а потом вытащил из кармана кольцо и отдал его дородному дядьке с высоким лбом и крупными ушами, который вот-вот станет его отчимом.

Мать назвала это «новым началом», и в начале того начала ко многому приходилось приспосабливаться — ко множеству всякого крупного и мелкого, что вдруг и навсегда изменилось, начиная с того важного факта, что жить теперь приходилось в хозяйстве, состоящем из трех человек, а не из двух, и с новизны того, что этот третий человек каждую ночь проводит в постели его матери — мужчина пяти футов десяти дюймов ростом, с волосами на груди, который по утрам расхаживает в старомодных боксерских трусах и громко писает в туалете, обнимает и целует его мать всякий раз, как та на него посмотрит, для Фергусона — новая порода мужчины, с какой приходится мириться, широкоплечий, но не спортивный, элегантный как-то старомодно, рассеянно, с его толстыми твидовыми костюмами и жилетами, крепкими ботинками

и волосами длиннее обычного, в обществе он слегка неуклюж, не склонен к шуткам или легковесной болтовне, по утрам пьет чай, а не кофе, по вечерам шнапс, коньяк и сигара, уравновешенный, флегматичный, германский подход к делу — к жизни, лишь время от времени впадает в сварливость или приступы хандры (это у него генетический дар от отца, несомненно), но по большей части он добрый, часто чересчур добрый отчим, кто ни разу не проявлял ни малейшего рвения стать заменой отцу и был доволен, если его называли Гилом, а не папой. Первые полгода они втроем жили вместе в квартире на Западной Центрального парка, но потом переехали в место попросторнее — на Риверсайд-драйве между Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой улицами, с четвертой спальней, которую переоборудовали в кабинет для Гила, и такой перемене Фергусон обрадовался, поскольку теперь он жил ближе к школе и мог спать по утрам чуточку дольше, и хотя ему не хватало вида на Центральный парк с третьего этажа на прежней квартире, теперь перед ним расстилался вид на реку Гудзон с седьмого, а это возбуждало больше — из-за нескончаемой череды лодок и кораблей, что двигались взад-вперед по воде, а за водой была суша

другой стороны, Нью-Джерси, и всякий раз, когда Фергусон туда смотрел, он думал о своей прежней жизни там и пытался вспомнить себя маленьким мальчиком, но то время становилось уже таким далеким, оно почти совсем прошло.

Шнейдерман был главным музыкальным критиком в «Нью-Йорк Геральд Трибюн» — ответственная должность, требовавшая от него почти каждый вечер посещать концерты, сборные и сольные, и оперы, а затем — гонка к сроку напечатать рецензию и сдать ее редактору отдела искусств в тот же вечер, что Фергусону казалось почти невозможной задачей, всего два или два с половиной часа на то, чтобы собраться с мыслями о представлении, которое только что посмотрел и услышал, и написать об этом что-нибудь связное, но Шнейдерман был мастером своего дела и привык работать в жестких условиях, почти каждый вечер он заканчивал свои статьи, даже не отрывая рук от клавиш машинки, и когда Фергусон у него спросил, как ему удается так быстро печатать слова, тот ответил пасынку: На самом деле я довольно ленивый человек, Арчи, и если бы мне не задавали сроки, к которым нужно сдать статью, я б ничего и не делал, — и на Фергусона отчим произвел большое впечатление тем, что

так над собою подтрунивает, поскольку было ясно, что человек этот — уж кто-кто, но не лентяй.

Шнейдерману было что рассказывать, в отличие от отца Фергусона, который редко делился какими-либо историями, если не считать совсем уж завиральных о добыче золота в Андах или охоте на слонов в Африке, но у Шнейдермана истории были правдивые, и пока период приспособления постепенно превращался в нечто напоминающее повседневную жизнь, Фергусону стало достаточно удобно расспрашивать материна мужа, чтобы тот поговорил с ним о своем прошлом, ибо ум у Фергусона перестал уже быть просто детским, и ему нравилось слушать, каково было расти в Берлине, выслушивать человека, проведшего первые семь лет своей жизни в том далеком городе, который в воображении Фергусона был в первую очередь столицей гитлеровской преисподней, городом самого большого зла на земле, но тогда еще нет, объяснил ему Шнейдерман, не для тех, по крайней мере, кто уехал оттуда в 1921 году, и даже хотя жизнь его началась вместе с Первой мировой войной, которую люди некогда называли Великой войной, он почти ничего о ней не помнил, весь этот катаклизм был для него сплошным пробелом, а первым

событием в жизни, что он мог припомнить хоть с какой-то отчетливостью, было вот что: он сидит за кухонным столом в квартире его семьи в Шарлоттенсбурге с куском хлеба перед собой и намазывает его черносмородиновым джемом, целыми ложками, а меж тем приглядывает за своим младшим братом Даниэлем, тот — в своем детском стульчике, брату было тогда всего месяцев шесть или восемь, и это значило, что война вот-вот закончится или закончилась уже, а причина, почему сцена эта так отчетливо ему запомнилась, заключалась, быть может, в том, что Даниэль изрыгал массу свернувшегося молока себе на слюнявчик, сам этого не замечая, весь этот припадок улыбаясь и колотя руками по столу, и Шнейдерман изумлялся, как можно быть таким безмозглым и неумелым, чтобы тошнить на самого себя и даже не сознавать, что ты это делаешь. Никакого Гитлера, стало быть, но время так или иначе судьбоносное, зерна будущего бедствия уже засевались в Версале, вооруженная борьба в Берлине и спартакистское восстание кратко вспыхнули, и их подавили, далее последовали аресты Розы Люксембург и Карла Либкнехта, чьи трупы впоследствии выловили из Ландвер-канала, не говоря уже о начале Гражданской войны в

России, красные против белых, большевики против всего мира, а поскольку Россия так близко от Германии — внезапный приток беженцев и эмигрантов, хлынувших в Берлин, в нестабильный, шаткий Берлин, сердце истрепанной Веймарской республики, где буханка хлеба в итоге стала стоить двадцать миллионов марок. Было крайне важно, чтобы Шнейдерман преподал мальчику этот рудиментарный урок истории, чтобы тот понимал, почему семья переехала в Америку, из-за чего отец Шнейдермана пришел к заключению, что Германия — место тупиковое, и вывез их оттуда как можно быстрее, что оказалось как раз вовремя, поскольку Америка положила конец иммиграции в 1924 году, после чего и заперла ворота, но покамест стоял 1921-й, конец лета, Шнейдерману вот-вот стукнет семь, а брату его три года и месяц, и они отплыли со своими родителями и сундуком немецких книг из Гамбурга на пароходе под названием «Рейс в Индию», курсом на гористую территорию Вашингтон-Хайтс, ну или так Шнейдерман предполагал, но английский у него тогда был хуже сносного, он на нем почти и не говорил, считай, да и что вообще семилетний мальчик знает о чем бы то ни было, кроме того, что ему рассказали родители? Язык был

самым суровым препятствием, рассказывал отчим Фергусона, трудность в том, чтобы говорить по-английски без немецкого акцента, который выдавал в нем иностранца, а это приводило к насмешкам и частым тумакам от мальчишек в его школе, потому что был он не просто иностранец, а немец, нижайшая, самая презираемая форма человечества в те послевоенные годы, никчемный краут, ганс, бош или фриц, выбирай наименование, какое захочешь, и хотя даже его понимание английского потом выросло до рубежа глубочайшего знакомства, хотя словарный запас его расширился и он овладел нюансами английского синтаксиса и грамматики, — все равно ему доставались колотушки из-за этого неподобающего акцента. *Ми пайэттем леттом куппатса, йа, Артши?* — сказал Шнейдерман, чтобы показать, как это, а поскольку Шнейдерман редко пытался быть смешным, Фергусон оценил эту его попытку юмора, которая вообще-то оказалась довольно смешной, и он расхохотался, а мгновенье спустя хохотали они уже оба.

Штука тут в том, сказал Шнейдерман, что знание немецкого, вероятно, спасло мне жизнь.

Когда Фергусон попросил его объяснить, отчим заговорил о войне, о том, как пошел в армию сра-

зу после Перл-Харбора, поскольку ему хотелось вернуться в Европу убивать нацистов, но из-за того, что был чуточку старше большинства парней, потому что учился в колледже и бегло говорил и по-французски, и по-немецки, не в бой его отправили, а засунули в разведку. Следовательно, никакой тебе передовой. А потому никакие пули и бомбы не свели его в могилу до срока. Фергусона, разумеется, разбирало любопытство, чем это отчим занимался в разведке, но тому, как и большинству мужчин, вернувшихся домой с войны, разговаривать об этом не хотелось. Он просто ответил: Допрашивал немецких военнопленных, беседовал с нацистскими чинушами, хорошенько применял свое знание немецкого. Когда же Фергусон попросил у него подробностей, Шнейдерман улыбнулся, потрепал пасынка по плечу и сказал: Как-нибудь в другой раз, Арчи.

Если и был в новом укладе какой-то недостаток, то лишь один: Шнейдермана совершенно не интересовал спорт — ни бейсбол или футбол, ни баскетбол или теннис, ни даже гольф, боулинг или бадминтон. Он не просто сам не играл ни в одну из этих игр, но даже взгляда не бросал на спортивные страницы, а это значило, что он не обращает внимания на взлеты и паденья мест-

ных профессиональных команд, не говоря уже о командах колледжей и средних школ, и пренебрегает подвигами всякого спринтера, толкателя ядра, прыгуна в высоту, прыгуна в длину, бегуна на длинную дистанцию, гольфиста, лыжника, игрока в шары и теннисиста на свете. Одной из причин, почему Фергусону не претила мысль о материном повторном замужестве, — расчет на то, что ее второй муж обязательно окажется спортсменом, поскольку ей самой так нравятся плавание и теннис, настольный теннис и даже кегли, — и он с нетерпением ждал, что в доме у них поселится взрослый человек, с которым можно будет заниматься всяким спортом, кидать ли бейсбольный мяч или пинать футбольный, метать мяч в корзину или играть в теннис (не важно, какой), а если вдруг окажется, что этот гипотетический отчим сам не спортсмен, останется прекрасная возможность того, что он будет болельщиком хотя бы одного вида спорта, поскольку большинство мужчин именно таковы, например, таким был его дедушка, чьим любимым видом спорта был бейсбол, и когда они вдвоем не болтали о Лореле и Гарди и не задавались вопросом, не лучше ли их короткометражки полнометражных фильмов или же наоборот,

большинство их бесед было посвящено анализу сравнительных достоинств Мантла, Снайдера и Мейса, разбору таланта Альвина Дарка лупить по мячу правее от центра, когда происходит быстрая смена позиции игрока, спорам, у кого рука сильнее, у Фурилло или Клементе, или есть ли какая-то правда в истории о том, что Йоги Берра у себя в наголенном щитке держит бритву, чтобы чиркать ею по мячу перед тем, как швырнет его обратно Вайти Форду. Каждый год со своих шести до десяти лет Фергусон ходил с дедом по меньшей мере на три матча, их ежегодное турне по стадионам Нью-Йорка: «Поло Граундс» в Манхаттане, «Стадион Янки» в Бронксе и «Эббетс-Фильд» в Бруклине, где они вместе видели одну игру Чемпионата США в 1955-м, но три похода были минимумом, и после того, как у Фергусона погиб отец, а «Хитрецы» и «Гиганты» уехали из города, общая сумма в сезон обычно составляла шесть или семь поездок на «Стадион Янки», в *дом, который построил Рут*, и как же Фергусон дорожил этими походами в жаркие, солнечные дни июля и августа, глаза прикованы к полю с его безупречной зеленой травой и гладкой бурой почвой, регулярный парк, угнездившийся посреди огромного каменного города, пасторальные

наслаждения в хриплом гаме и свисте толпы, тридцать тысяч голосов улюлюкают в унисон, вот это шум стоял, и во всем этом вот его дед терпеливо вел счет огрызком карандаша, предсказывая, попадет ли отбивающий в базу или нет, согласно тому, что он звал *законом средних чисел*, а это значило, что проседающий отбивающий обязан попасть, потому что *ему пора*, и сколько бы раз дед ни промахивался с догадкой, он никогда не отрекался от веры в свой закон, несовершенный закон чепуховой угадайки. Все эти игры с его непостижимым чудаком-Папой, кто в самые теплые дни защищал себя от солнца, накрывая лысую голову белым носовым платком, потому что *в шляпе слишком жарко*, а теперь, когда его больше не было, Фергусон понимал, что никто и никогда его не заменит, и уж точно не Шнейдерман, который, вероятно, был единственным нью-йоркцем во всех пяти боро, чье сердце не надломилось, когда после сезона 1957 года «Хитрецы» и «Гиганты» удрали в Калифорнию.

Стало быть, недостаток, а то и разочарование: оказаться в связке с человеком, в котором не было ни малейшего чувства к драмам и восторгам физического состязания, но если уж по всей справедливости к Шнейдерману, обратное тоже было

несомненно верно, ибо неспособность Фергусона играть ни на одном музыкальном инструменте, должно быть, служила источником разочарования и для его отчима, владевшего и фортепиано, и скрипкой не на высочайшем профессиональном уровне, быть может, но на нетренированный слух Фергусона его исполнения Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта были бесспорными чудесами красоты и точности, не хуже чего угодно, что можно было услышать на сотнях альбомов грампластинок, которые Шнейдерман перевез с собой на Западную Центрального парка. Не то чтоб Фергусон не пытался, но его борьба хотя бы за начатки овладения игрой на клавишных закончилась провалом, по крайней мере — если верить его преподавательнице, старой курчавой мисс Маггеридж, которая, вероятно, подрабатывала ведьмой, когда не сокрушала дух маленьких детей, принуждаемых изучать игру на фортепиано. После девяти месяцев занятий, пока он учился в первом классе, его матери сообщили, что он *не мальчик, а неуклюжий пентюх*, а это подвело мать к умозаключению, что она заставила его заниматься слишком рано (какой там Моцарт, сочинявший симфонии в шесть и семь лет, — он не считается!), и когда она предложила своему

пианисту-неудачнику, чтобы он годик отдохнул, а потом начал все сызнова с новым преподавателем, у Фергусона от сердца отлегло: больше никогда не увидит он мисс Маггеридж. Годом отдыха, конечно, стал год нью-аркского пожара, а когда они переехали в Нью-Йорк и преодолели занятное междуцарствие, младший уже был в Гиллиарде, взрослая — в смятенных чувствах, и фортепиано оказалось забыто.

Итак, Шнейдерман разочаровал Фергусона, а Фергусон разочаровал Шнейдермана, но поскольку ни тот ни другой об этом друг с другом никогда не заговаривали, всякий оставался в неведении относительно разочарований второго. Со временем, когда Фергусон стал добиваться успехов в баскетбольной команде первого курса, Шнейдерман начал выказывать кое-какой интерес к спорту, по крайней мере достаточный, чтобы сходить с матерью Фергусона на несколько матчей, где отчим подбадривал пасынка с трибун, а вот Фергусон ни на каком музыкальном инструменте играть так и не выучился. И все же, все же можно с уверенностью сказать, что Фергусон больше получил от занятий отчима музыкой, чем Шнейдерман — от таланта пасынка закидывать мячи в корзину и блокировать противника на отскоке.

В двенадцать с половиной лет Фергусон не знал ничего ни о какой музыке, кроме рок-энд-ролла, который он и все его друзья единодушно обожали. Голова его полнилась текстами и мелодиями Чака Берри, Бадди Холли, Фэтса Домино и десятков прочих популярных певцов, но когда дело доходило до классической музыки, он был совершенным девственником, не говоря уже о джазе, блюзе и зачаточном возрождении фолка, о чем также пребывал в полном неведении, если не считать разве что нескольких комических баллад «Кингстонского трио», которые тогда переживали краткий успех. Знакомство со Шнейдерманом все это изменило. Для мальчика, побывавшего за всю жизнь всего на двух концертах (исполнение «Мессии» Генделя в «Карнеги-Холле» с тетей Мильдред и дядей Полом; утренник с «Петей и волком», куда он пошел со своим начальным классом в первый месяц учебы в Гиллиарде), мальчика, у которого не было ни единой пластинки классической музыки, чья мать не владела вообще ни единой пластинкой и слушала только древние музыкальные номера и всякую дрянь больших оркестров по радио, для такого мальчика, кто не обладал ни малейшим проблеском знания о струнных квартетах, симфониях или

кантатах, просто слушать своего отчима, когда тот играл на фортепиано или скрипке, стало откровением, и мало того — за этим последовало и дальнейшее откровение: слушать коллекцию пластинок отчима и открывать для себя, что музыка на самом деле умеет перестраивать атомы в мозгу человека, а помимо того, что происходило в квартирах на Западной Центрального парка и Риверсайд-драйве, еще были и выходы с матерью и Шнейдерманом в «Карнеги-Холл» и Городскую ратушу, в «Метрополитан-Оперу», какие начались в первые же несколько недель после того, как они втроем устроились вместе. Шнейдерман отнюдь не выполнял никакой педагогической миссии, у него не было плана предоставлять формальное музыкальное образование мальчику и его матери, он просто желал показывать им те произведения, на какие, по его мнению, они бы откликнулись, а это означало начинать не с Малера, или Шёнберга, или Веберна, а с громыхающих, радостных произведений, таких, как «Увертюра 1812 года» (Фергусон ахнул, услышав пушку в первый раз), или напыщенных пьес, вроде «Фантастической симфонии», или же энергичной программной музыки «Картинок с выставки», но постепенно, мало-помалу он их

завлек, и уже вскоре они ходили с ним на оперы Моцарта и виолончельные концерты Баха, и для двенадцати-тринадцатилетнего Фергусона, продолжавшего обожать рок-энд-ролл, который он обожал всегда, те вечерние вылазки в концертные залы служили никак не менее чем откровениями о том, как работает его собственное сердце, ибо сердцем была музыка, осознал он, полнейшим выражением человеческого сердца, и теперь, когда слышал то, что слышал, он начинал слушать лучше, а чем лучше слышал, тем глубже чувствовал — иногда настолько глубоко, что все тело его сотрясалось.

Адлеры сокращались. Один за другим они умирали до срока и исчезали из мира, а с отъездом тети Мильдред в Калифорнию и изгнанием бывшего дяди Пола из семьи, вкупе с перемещением в южную Флориду кузины Бетти и ее мужа Сеймура (вместе с парой троюродных Фергусона, Эрика и Джуди) и учитывая, что сестра Бетти Шарлотта по-прежнему не разговаривала со своей двоюродной сестрой Розой из-за Войны 1955 Года По Поводу Свадебных Фотографий, Фергусон и его мать остались в Нью-Йорке единственными Адлерами, только они еще жили на поверхности земли и не сбежали, не разорвали своих связей

с кланом. Несмотря на все эти потери, однако, в их жизни влилась новая кровь в виде разнообразных Шнейдерманов — сборище сводных сестер и сводных двоюродных сородичей, а также сводная тетя, сводный дядя и сводный дедушка для Фергусона, что для матери его переводилось в двух падчериц, сводную племянницу и сводного племянника, золовку, деверя и свекра, и вот эти Шнейдерманы теперь составляли основную массу семьи, к которой они принадлежали, поскольку секретарь мэрии подписал и проштамповал свидетельство о браке, где объявлялось, что Гил и его мать отныне по закону муж и жена. То был *дом вверх дном*, как об этом выразился дед Фергусона в одной из их последних совместных бесед, и впрямь это было странно — из-за свадьбы заиметь двух сестер, двух незнакомых женщин, которые вдруг стали его ближайшими родственницами, потому что человек, равно ему незнакомый, расписался на листке бумаги. Все это не имело бы значения, если бы Фергусону Маргарет и Элла Шнейдерманы нравились, но после нескольких встреч со своими новыми сводными родственницами он пришел к заключению, что эти жирные, уродливые, надутые девчонки не заслуживают того, чтобы нравиться, ибо вскоре

стало ясно, что они презирают его мать за то, что та вышла замуж за их отца, а их отец вызывает у них отвращение, потому что предал память об их матери, которая после своей ужасной смерти в той катастрофе на Таконикской автотрассе стала существом освященным. Ну, отец Фергусона тоже погиб кошмарной смертью, что теоретически должно было бы поместить их всех в одну лодку, но сестер Шнейдерман не интересовал их новый сводный брат, они едва соблаговоляли разговаривать с двенадцатилетним ничтожеством, взрослым студенткам из Бостонского университета ни к чему был сынок какого-то отребья, укравшего у них отца, и хотя Фергусона озадачило их поведение на свадьбе — они вдвоем стояли в сторонке и беседовали только друг с дружкой, больше ни с кем, да и то в основном шепотом, главным образом повернувшись спиной к жениху и невесте, — лишь две недели спустя, когда их пригласили на ужин в нью-йоркскую квартиру, Фергусон осознал, до чего они мерзки и не щедры, в особенности Маргарет, та, что постарше, хоть и та, что была помоложе и не так несносна, Элла, во всем следовала за сестрой, что, вероятно, еще хуже, и вот они впятером сидели за тем незабываемым ужином, который потре-

бовал от его матери многих часов подготовки, ибо она хотела доказать свою солидарность с Гилом, расстаравшись ради его дочерей, этих злобных, наглых девчонок, которые делали вид, будто не слышат его мать, когда она задавала им вопросы об их жизни в Бостоне и о том, что они собираются делать, закончив колледж, кто подло экзаменовал ее знание музыки, которое, разумеется, было чуть выше нуля, словно бы стремясь доказать своему отцу, что он женился на некультурной имбецилке, а когда Маргарет спросила у своей мачехи, предпочитает ли она слушать произведения Баха для клавишных на клавесине в исполнении Ванды Ландовской, к примеру, или же на фортепиано в исполнении кого-нибудь вроде Гленна Гульда (не пианино, фортепиано), Гил наконец взорвался и велел ей заткнуться. Раскрытая ладонь треснула по обеденному столу, приборы звякнули, перевернулся стакан, а затем наступила тишина — молчание не только Маргарет, но и всех за столом.

Хватит уже этих твоих едких, коварных замечаний, сказал дочери Шнейдерман. Я не думал, что ты способна на такие подлости, Маргарет, на такую злобную жестокость. Стыд и позор. Стыд и позор. Стыд и позор. Роза — замечательный и

великолепный художник, и если тебе удастся за всю свою жизнь свершить одну десятую того, что сделала она, ты превзойдешь мои самые смелые ожидания. Но для того, чтобы совершить даже самую малость на свете, дорогая моя, нужна душа, а по тому, как ты себя сегодня ведешь, я начинаю сомневаться в том, что она у тебя имеется.

То был первый раз, когда Фергусон стал свидетелем гнева своего отчима — ревущей, апоплексической разновидности, ярости такой необъятности и разрушительной силы, что можно было лишь надеяться на то, что гнев этот никогда не обратится на него самого, но до чего же приятно было видеть, как тем вечером он обрушился на Маргарет, столь полно заслужившую подобного жесткого выговора от своего отца, и как же радовался он, когда понял, что Шнейдерман готов был защищать свою новую жену от нападок собственной дочери — *замечательный и великолепный художник*, это внушало надежду на будущее их брака, чувствовал Фергусон, и когда Маргарет неизбежно ударилась в слезы, а Элла, тоже готовая разрыдаться, возмутилась, что он не имеет права так разговаривать с ее сестрой, Фергусон услышал, как мать его произнесла фразу, впервые произнесла то, чем станет пользоваться всякий

раз, когда Шнейдерман выходил из себя в месяцы и годы, что расстилались впереди: *Полегче давай, Гил,* — чему как-то удалось донести двойной груз и предупреждения, и ласки, и как только он впервые услышал эти слова своей матери, она встала со своего места и подошла к мужу, человеку, за которым была замужем всего шестнадцать дней, встала у него за спиной, пока он продолжал сидеть во главе стола, положила руки ему на плечи, а затем нагнулась и поцеловала его в затылок. На Фергусона произвели впечатление ее храбрость и самообладание, отчего он вдруг подумал о том, как кто-нибудь входит в клетку льва, но мать его, очевидно, знала, что делает, поскольку Шнейдерман отнюдь не оттолкнул ее, а поднял правую руку и сплел ее с ее рукой, а как только взялся за нее покрепче — поднес ее руку к губам и поцеловал ее. Они даже не взглянули друг на дружку, но скандал был погашен, ну или почти погашен, поскольку еще предстояло договориться об извинении, каковое Шнейдерман строгим голосом все-таки вытянул из упрямой, плачущей Маргарет, та едва сумела заставить себя поднять взгляд на мачеху, но все же слово произнесла, сказала: *Извините,* — и поскольку размолвка случилась уже за десертом (клубника со сливками!),

с трапезой, по сути, было покончено, а потому сестры смогли проворно ретироваться, чтобы сохранить лицо, под предлогом того, что у них на девять назначена встреча со старыми школьными подругами, что, как Фергусон знал, было враками, поскольку изначально предполагалось, что девчонки проведут ночь у них в квартире, спать будут в его комнате, а он сам расположится на диване в гостиной — на особом раскладном диване, который мать его купила специально для этой цели, но случай так и не выпал, ни в ту ночь, ни в какую другую, потому что во все свои дальнейшие визиты в Нью-Йорк сестры останавливались у брата их матери и его жены в Ривердейле, а если Шнейдерман хотел их видеть, ему следовало приходить в ту, другую квартиру или встречаться с ними в общественных местах, и прошло много лет, прежде чем нога их ступила в новую квартиру, выходящую окнами на реку.

Фергусону было все равно. Не желал он иметь ничего общего ни с одной из тех девчонок, как не желал иметь ничего общего с отцом Шнейдермана, который, к сожалению, заявлялся к ним на ужин примерно раз в месяц и сыпал всевозможными банальностями об американской политике, Холодной войне, санитарно-гигиенических ра-

ботниках Нью-Йорка, квантовой физике и даже о самом Фергусоне: *Ты поосторожней с этим своим мальчонкой, либхен, — у него один секс на уме, а он сам этого еще не соображает*, — но Фергусон из кожи вон лез, чтобы избегать его, всегда тщательно заглатывал основное блюдо в рекордные сроки, а затем утверждал, что для десерта слишком наелся, и на этом рубеже обычно скрывался у себя в комнате, готовиться к завтрашней контрольной по истории, которую на самом деле уже провели сегодня. Его новый не-дедушка был чуть менее ужасен, чем Маргарет и Элла, быть может, но ненамного, недостаточно для того, чтобы Фергусону хотелось засиживаться за столом и слушать его чокнутые рассужденья о тайных концентрационных лагерях Дж. Эдгара Гувера в Аризоне или сговоре Общества Джона Бэрча и Коммунистической партии в целью отравить все водохранилища Нью-Йорка, что, возможно, и было бы забавно на некий странный манер, если бы старик так сильно не орал при этом, но двадцать минут или полчаса в его компании — вот все, что Фергусон был способен вытерпеть. Итого — трое новых родственников, кого он терпеть не мог, трое Шнейдерманов, без которых радостно можно было бы обойтись, но ведь были

же еще и другие Шнейдерманы, жившие всего в тринадцати с половиной кварталах от них, на Западной Семьдесят пятой улице, и хоть ему трудно было питать расположение к своей сводной тете Лиз, которая ему казалась личностью раздражительной и нервной, слишком уж суетилась из-за мелочей повседневной жизни и явно не понимала, что жизнь может вдруг кончиться, а ты так и не начнешь жить, он немедленно проникся добрыми чувствами к брату Шнейдермана Даниэлю и двум Шнейдермановым потомкам, его сводным двоюродным Джиму и Эми, которые сразу же приветили Фергусона и считали своего дядю Гила *везучим сукиным сыном* (по словам Джима), раз он женился на такой женщине, как мать Фергусона, кто (по словам Эми) была, *считай, само совершенство*.

Даниэль работал коммерческим художником и, бывало, иллюстрировал детские книжки, работал не по найму на разных заказах и от восьми до десяти часов в день проводил у себя в комнатушке в самой глубине их семейной квартиры, которую превратил в мастерскую, загроможденную, темную мини-студию, где творил рисунки и картины маслом для поздравительных открыток, рекламы, календарей, буклетов разных корпораций и

акварели про Медведя Томми для его совместного творчества с писателем Филом Костанцей, что приносило ему достаточно денег, чтобы кормить и одевать свою семью из четырех человек, чтобы у них была крыша над головой, а вот на роскошества вроде долгих летних отпусков или частных школ для детей уже ничего не оставалось. Работы его были мастеровиты и профессиональны, с признаками умелой руки и причудливого воображения, и хотя в том, что он делал, не было ничего ужасно оригинального, все произведения его уж что-что, а очаровывали — и это же слово часто использовалось для описания самого Даниэля Шнейдермана, который оказался одним из самым непритязательных и жизнерадостных людей, какие только попадались Фергусону в жизни, человек этот любил посмеяться и, следовательно, много смеялся, был совершенно иным существом, нежели его старший брат, ему, малышу, никогда не приходилось сражаться с немецким акцентом, он был из них двоих ладным, несерьезным, *тем, кому нравится спорт*, как и сводному двоюродному брату Фергусона Джиму, длинному, тощему Джиму, игравшему в баскетбол, который, когда Гил и мать Фергусона поженились, только начал свой предпоследний

класс в Бронксской средней школе с углубленным изучением естественных наук, и едва мужской контингент прочих Шнейдерманов прознал, что их новый племянник/кузен в таком же восторге от баскетбола, что и они сами, тандем превратился в трио, и всякий раз, когда Дан и Джим шли смотреть игру в «Гарден», Фергусона приглашали пойти с ними. То был старый «Гарден», ныне снесенный «Мадисон Сквер Гарден», что некогда стоял на Восьмой авеню между Сорок девятой и Пятидесятой улицами, и так оно и вышло, что Фергусона взяли смотреть первые для него настоящие баскетбольные матчи сезона 1959-1960 года, студенческие тройные в субботу днем, товарищеские встречи «Гарлемских скитальцев» и низкопробных, посредственных «Ников» с Ричи Герином, Вилли Ноллсом и Джампин Джонни Грином, но в НБА в ту пору еще было всего восемь команд, а это значило, что «Бостонские кельты» играли в «Гардене» по меньшей мере полдюжины раз за сезон, и вот такие игры троица особенно старалась посещать, поскольку в эту игру никто не играл лучше команды из Каузи, Гайнсона, Рассела и мальчишек Джонсов, они были единым пятичастным мозгом в непрестанном движении, единым сознанием, совершенно беззаветными

игроками, которые думали только о команде, а не о себе, *только в такой баскетбол и надо играть*, как все время повторял дядя Дан, глядя на них, и да, поразительно было наблюдать, насколько лучше «Ников» были они: те рядом с ними казались вялыми и неуклюжими, но сколько б ни восхищался Фергусон командой как целым, имелся в ней единственный игрок, для него выделявшийся, и вот он захватывал почти все его внимание, жилистый, худосочный Билл Рассел, кто, казалось, всегда находится в самой сердцевине того, что делали «Кельты», это его мозг, похоже, как-то удерживал четыре остальных мозга у себя в голове, или же человек этот как-то умудрялся распределять свой мозг по головам членов своей команды, ибо Рассел перемещался странно и вовсе не похож бывал на спортсмена, игрок он был ограниченный, редко бил по мячу или забивал его, он даже редко проводил дриблинг, однако же вот он перехватывал еще один важный подбор, проводил еще один невозможный пас с отскоком, блокировал еще один удар, и именно из-за него «Кельты» выигрывали матч за матчем сезон за сезоном, каждый год становились чемпионами или шли на чемпионский титул, и когда Фергусон спросил у Джима, отчего

это Рассел такой великий, когда по многим показателям он даже не может считаться игроком хорошим, Джим на миг призадумался, покачал головой и ответил: Не знаю, Арчи. Может, он просто поумней всех остальных, а может — потому, что видит больше других людей и всегда знает, что случится дальше.

Дылда Джим стал ответом на давние молитвы Фергусона, его желание иметь старшего брата или хотя бы старшего двоюродного брата-друга, у кого можно было бы учиться и набираться сил, и Фергусон ликовал от их связи, от того, как шестнадцатилетний Джим, судя по всему, не моргнув глазом принял своего младшего сводного кузена к себе в товарищи, не очень понимая, что сам Джим, с двумя его родными сестрами и двумя двоюродными, несомненно, тоже жаждал себе брата, ровно так же, как он сам. За два года, пока Джим не выпустился из средней школы и не отправился учиться в МТИ[15], он оказался жизненно важной фигурой для часто сбитого с толку и бунтующего Фергусона, кто неплохо успевал у себя в классе Риверсайдской академии, но у него продолжались *трудности с*

[15] Сноски: 15
Массачусетский технологический институт.

поведением (он пререкался с учителями, быстро вспыхивал, если его провоцировали громилы вроде Билли Натансона), а рядом был Джим, весь сплошное любопытство и хорошее настроение, великодушный парнишка-дока в математике и естественных науках, которому очень нравилось разговаривать об иррациональных числах, черных дырах, искусственном интеллекте и Пифагоровых дилеммах, не было в нем гнева, ни к кому ни одного грубого слова или воинственного жеста, и уж точно пример его несколько способствовал укрощению чрезмерных выплесков в поведении Фергусона, а кроме того, Джим вчерне знакомил Фергусона с женской анатомией и с тем, что делать со все более настоятельными вопросами *секса на уме* (холодный душ, кубики льда на хрен, трехмильные пробежки вокруг стадиона), а лучше всего — Джим на баскетбольной площадке с ним: младший — пяти футов одиннадцати дюймов, старший — шести футов одного дюйма, он встречал Фергусона по субботам утром на полпути между двумя их квартирами и шел с ним в Риверсайд-парк, где они отыскивали незанятую площадку и три часа вместе разминались, ровно в семь каждую субботу, если только на них благосклонно смотрели боги погоды, морось

приемлема, а ливень нет, легкая метель — да, но не слякоть или снегопад, и уж точно глухо, если температура опускалась ниже двадцати пяти (отмороженные пальцы) или поднималась выше девяноста пяти (тепловой удар)[16], а это означало, что они туда выходили почти каждую субботу, пока Джим не собрал сумки и не уехал в колледж. Никакой больше трусцы рядом с матерью по выходным в их фото-вылазках для юного Фергусона, с теми днями покончено навсегда, отныне лишь баскетбол, который он открыл для себя в двенадцать, когда мяч перестал быть для него слишком большим и тяжелым, теперь его удавалось удержать, и к двенадцати с половиной годам Фергусона баскетбол превратился в новую страсть всей его жизни, в списке лучшего — сразу следом за кино и поцелуями с девчонками, и до чего же удачно все сложилось, что именно тогда на сцену выступил Джим и с готовностью еженедельно жертвовал тремя часами, чтобы учить Фергусона играть, что за чудесный это поворот, нужный человек в нужное время — как часто такое бывает? — а потому, что Джим был игроком хорошим и прилежным, более чем достаточно для

[16] Сноски: 16
≈ −4°C и 35°C.

того, чтобы войти в школьную команду старшеклассников, пожелай он этого, был он и хорошим учителем основ и потихоньку провел Фергусона через все начальные приемы: как выполнять правильный бросок одной рукой, как работать ногами в защите, как заграждать сопернику путь к кольцу, чтобы выиграть подбор, как делать пас с отскоком, как проводить три броска, как делать бросок с отскоком от щита, как отпускать мяч на максимальной высоте, если производишь бросок в прыжке, столькому нужно было учиться, как вести мяч левой рукой, как ставить заслоны, не опускать руки при защите, а потом еще игры в АУТ и ЛОШАДКУ в конце каждой тренировки, которые на второй год превратились в поединки один на один, когда Фергусон уже вымахал до пяти-четырех, пяти-шести и пяти-семи, но все равно неизменно проигрывал Джиму, повыше и поопытней, однако после своего четырнадцатого дня рождения начал выдерживать, а временами играл до того пристойно, что вбивал пять или шесть бросков в прыжке в кольца Риверсайд-парка без сеток, те же оголенные корзины, какие можно было отыскать в любом общественном парке по всему городу, а поскольку играли они по нью-йоркскому правилу «победитель вылетает»,

стоило Фергусону пуститься в очередную свою серию бросков, как он опасно приближался к выигрышу. Как выразился Джим после одной из их последних игр вместе: Еще годик, Арчи, подрастешь еще на два-три дюйма, и ты мне жопу на площадке намылишь. Слова эти он произнес с гордым довольством учителя, который хорошо натаскал своего подопечного. А затем настал Бостон и прощанье, и в сердце Фергусона выкопали еще одну яму.

За те полтора года, что мать его уже была замужем за Гилом, Фергусон собрал достаточно данных о Шнейдерманах, чтобы вывести кое-какие определенные заключения о своей новой семье. В левой колонке своей умственной бухгалтерской книги он разместил имена трех никудышников и одного полунекудышника: невыразимые уродины (2), маразматический патриарх (1) и благонамеренная, но непостоянная и затурканная тетя Лиз (½). В правой колонке значились имена четверых остальных: превосходного Гила, приветливого Дана, пылкого Джима и все более привлекательной Эми. В сумме он насчитал три с половиной отрицательных черты против четырех положительных, что математически доказывало: ему больше есть за что

благодарить, чем на что ворчать, а поскольку почти все Адлеры уже покинули края живых, а Фергусоны полностью отсутствовали (дядя Лью сидел в тюрьме, тетя Милли где-то во Флориде, дядя Арнольд и тетя Джоан в Лос-Анджелесе, кузина Франси в Санта-Барбаре — замужем, мать двоих детей, — а прочие двоюродные сородичи разметаны по стране и на связь больше не выходят), четверо хороших Шнейдерманов — по сути, все, кто остался Фергусону, и поскольку один из этих Шнейдерманов был теперь женат на его матери, а трое остальных жили всего в нескольких минутах ходьбы на том же Риверсайд-драйве, где жил и он сам, Фергусон все больше к ним привязывался, ибо положительные стороны семейного гроссбуха были гораздо более положительными, чем отрицательные — отрицательными, и хотя жизнь его в некотором смысле сократилась, в других смыслах она, напротив, расширилась.

Эми была премией Шнейдерманов, подарком на день рождения, запрятанным под кучей скомканной оберточной бумаги, который находят лишь после того, как вечеринка закончится и все гости разойдутся по домам. Фергусон сам был виноват в том, что не обратил на нее внимания раньше, но ему следовало к столькому приспо-

собиться в самом начале, и он не понимал, как ему относиться к нескладному, ухмыльчивому существу, которое покачивалось и размахивало руками, когда разговаривало, которое, похоже, не могло усидеть на месте, на такую странного вида девчонку со скобками на зубах и этой ее головой со спутанными светло-каштановыми волосами, но потом скобки сняли, волосы постригли коротким бобом, и когда Фергусону исполнилось тринадцать, он заметил, что в прежде бесполезном спортивном лифчике Эми начинают отрастать груди и что его уже тринадцатилетняя сводная двоюродная сестра больше не напоминает ту девчонку, какой была в двенадцать лет. Через неделю после переезда с Западной Центрального парка на Риверсайд-драйв она однажды позвонила ему днем и дерзко объявила, что сейчас придет в гости. Когда он спросил зачем, она ответила, что просто захотела его увидеть, — сказала: Потому что мы с тобой знакомы уже полгода, а за все это время ты сказал мне не больше трех слов. Мы теперь вроде как двоюродные родственники, Арчи, и я хочу выяснить, стоит ли вообще с тобой дружить или нет.

Его матери и отчима в тот день не было дома, а материалов для угощения в буфете, помимо

недоеденной упаковки зачерствевших «Фиг-Ньютонов», не нашлось, и Фергусон как-то потерялся, недоумевая, как ему следует поступить с таким внезапным вторжением. После того как Эми повесила трубку у себя в квартире, у нее заняло всего восемнадцать минут, прежде чем она уже жала на звонок его квартиры внизу, но за этот период Фергусон обдумал и отбросил по меньшей мере полдюжины замыслов того, что он может сделать, чтобы ее развлечь (смотреть телевизор? листать семейные фотоальбомы? показать ей полное тридцатисемитомное собрание пьес и стихов Шекспира, которое Гил подарил ему на день рождения?), а затем решил выволочь из чулана кинопроектор и раскладной экран и устроить им двоим просмотр какого-нибудь из его фильмов Лорела и Гарди, что, вероятно, было жуткой ошибкой, осознал он, поскольку девчонкам не нравятся Лорел и Гарди, по крайней мере — всем тем девчонкам, кого он знал, начиная с красавицы Изабеллы Крафт двумя или тремя годами раньше, которая состроила гримасу, когда он у нее спросил, что она о них думает, и чувства эти повторились совсем недавно у его нынешнего номера один, Рашель Минетты, она назвала их *детскими и идиотскими*, но вот тем прохлад-

ным днем в марте 1960-го в квартиру вошла Эми, одетая в белый свитер, серую складчатую юбку, двуцветные туфли и белых хлопчатые носочки — вездесущие короткие носочки школьниц того периода, — и стоило Фергусону объявить о своем намерении показать ей «Вдрабадан», двухчастную ленту Лорела и Гарди 1930 года, как она улыбнулась и сказала: Здорово. Люблю Лорела и Гарди. После Братьев Маркс это вообще лучшая команда. О «Трех придурках» не стоит, об Абботте и Костелло тоже — Стан и Олли самое то.

Нет, Эми не походила на прочих его знакомых девчонок, и, наблюдая за тем, как она смеется над фильмом, слыша ее смех в течение добрых четырнадцати из тех двадцати шести минут, что он длился, Фергусон пришел к заключению, что и в самом деле оно того стоит — подружиться с ней, потому что смех у нее был не визгливым, необузданным шумом ребенка, отметил он, а чередой глубоких, нутряных, звучных хохотков — веселого гавканья, что есть то есть, но в то же время звучал он вдумчиво, словно бы она понимала, зачем смеется, что превращало ее смех в смех разумный, такой смех, что сам над собой смеется, пусть даже смеялся он над тем, над чем смеялся. Жаль, что ходила она в бесплатную школу, а не

в Риверсайдскую академию, что исключало возможность их ежедневного контакта, но, несмотря на все их общение с отдельными собственными друзьями и вопреки их разнообразным занятиям после школы (уроки фортепиано и танцев у Эми, спорт у Фергусона), после неожиданного визита Эми в марте они ухитрялись встречаться раз в каждые десять дней или около того, что составляло три-четыре раза в месяц, не считая тех дополнительных разов, когда они виделись на совместных семейных сходах, праздничных ужинах, походах в «Карнеги-Холл» с Гилом, и особых событий (выпускной вечер Джима, загул в честь восьмидесятилетия старого хрена), но в основном они виделись наедине — гуляли по Риверсайд-парку, если погода стояла хорошая, сидели в той или другой квартире, если она была плоха, временами ходили вместе в кино или делали за одним столом домашние работы, или в пятницу вечером просто торчали дома у кого-нибудь из них, чтобы посмотреть новую телевизионную программу, которая им обоим очень нравилась («Сумеречная зона»), но преимущественно, когда бывали вместе, они разговаривали — вернее, разговаривала Эми, а Фергусон слушал, ибо никому из всех его знакомых не было столько всего сказать о мире,

как Эми Шнейдерман, у которой, казалось, есть собственное мнение на любую тему, и она гораздо больше него знала чуть ли не обо всем на свете. Блестящая, строптивая Эми, дразнившая своего отца и шутившая со своим братом, сдерживавшая нескончаемую материнскую суету едкими отповедями всезнайки, которые отчего-то всегда сходили ей с рук, и ее не отчитывали и не наказывали, вероятнее всего — потому что она была девочкой, которая выражалась без всяких околичностей и выдрессировала всех в своей семье уважать ее за это, и даже Фергусон, который быстро стал ее *лихим копэном*[17], не был полностью защищен от ее оскорблений и критики. Сколь бы горласто ни уверяла она, что он ей нравится и она им восхищается, частенько она считала Фергусона обалдуем, и ее неизменно приводил в ужас его недостаток интереса к политике, насколько мало мыслей уделяет он президентской кампании Кеннеди и движению за гражданские права, но Фергусону это до лампочки, говорил он, он надеется, конечно, что выборы Кеннеди выиграет, но если и станет президентом, лучше, чем есть сейчас, все равно ничего не будет, оно

[17] Сноски: 17
От *фр*. товарищ, кореш.

просто окажется ненамного хуже, а что касается движения за гражданские права, то он, Фергусон, конечно, за, как тут можно быть против справедливости и равенства для всех, но ему всего тринадцать лет, небеси, он всего лишь незначительная пылинка, не больше, а как пылинка может, к черту, изменить мир?

Отговорки не принимаются, сказала Эми. Тринадцать тебе будет не всегда — и тогда что с тобою станет? Ты же не можешь всю жизнь провести, думая только о себе, Арчи? Нужно что-то в себя впустить, иначе ты превратишься в одного из тех полых людей, каких ты так ненавидишь, — ну этих, знаешь, ходячих мертвецов из Зомбивилля, США.

Мы превозможем[18], сказал Фергусон.

Нет, моя смешная пылинка. Ты превозможешь.

Странно это — быть так близко с девчонкой, обнаружил Фергусон, особенно с такой девчонкой, целовать которую у него не было никакого желания, что стало беспрецедентной разновидностью дружбы по его опыту, крепкой, как любая дружба, что прежде завязывалась у него с мальчишками,

---

[18] Сноски: 18

Отсылка к популярной народной песне протеста «We Shall Overcome» (1945–1947), восходящей к госпелу «I'll Overcome Some Day» (1900) преподобного Чарлза Альберта Тиндли.

и все же в том, что Эми была девчонкой, имелась разница, в их взаимоотношениях звучала иная тональность, дребезг «мальчик-девочка» где-то в глубине, что тем не менее отличалось от того, какой он улавливал с Рашель Минеттой или Алисой Абрамс или любой другой девчонкой, в которую втюривался и с кем целовался в свои тринадцать лет, там дребезжало громко, в отличие от тихого дребезга, какой ощущал он с Эми, поскольку предполагалось, что она его кузина, член семьи, а значит, у него нет права целоваться с ней и даже думать о том, чтобы с нею целоваться, и до того строг был тот запрет, что на ум Фергусону ни разу не приходило его нарушить, поскольку он знал, что подобное деяние стало бы *в высшей степени неприличным*, если не *глубоко шокирующим*, и хотя Эми становилась для него все более и более привлекательной, пока он наблюдал, как тело ее развертывается и расцветает ранней подростковой женственностью, не хорошенькая она становилась в том смысле, как хорошенькой, быть может, была Изабелла Крафт, но взгляд на ней задерживался, глаза живые, как ни у одной другой девчонки, что когда-либо смотрела на него, Фергусон продолжал сопротивляться позыву нарушить кодекс семейной чести. Когда им

исполнилось по четырнадцать, сначала Эми в декабре, следом Фергусону в марте, он вдруг обнаружил, что обитает в новом теле, которое больше ему не подчиняется, в теле, производящем непрошенные эрекции и много перебоев дыхания, настала ранняя фаза мастурбаций, когда в череп ему не помещалось ни единой мысли, какая б не была мыслью эротической, бред, как бы ему не стать мужчиной без мужских привилегий, буря, оцепененье, неумолимый хаос внутри, и теперь всякий раз, когда он бросал на Эми взгляд, первой и единственной возникала у него мысль, до чего хочется ему ее поцеловать, что, как ощущал он, уже понемногу делалось правдой и для нее, когда бы она сама на него ни взглянула. Однажды в апреле, в пятницу вечером, когда Гил и его мать уехали в центр города на какой-то званый ужин, они с Эми сидели в одиночестве в квартире на седьмом этаже и обсуждали понятие *поцелуйные кузены*, каковое, как признал Фергусон, он не вполне понимает, поскольку оно, похоже, вызывает перед глазами образ двоюродных сородичей, вежливо чмокающих друг дружку в щечку, а это как-то неправильно отчего-то, поскольку такие поцелуи не считаются настоящими, и, следовательно, почему *поцелуйные кузены*, когда люди у

него в голове — просто нормальные двоюродные родственники, и в этот миг Эми рассмеялась и сказала: Нет, дурачок, вот что значит *поцелуйные кузены*, — и, не произнеся больше ни единого слова, нагнулась к Фергусону на диване, обхватила его руками и запечатлела у него на губах поцелуй, который вскоре стал таким поцелуем, что проник к нему в рот, и с того мига Фергусон решил, что никакие они на самом деле не кузены.

2.4

Эми Шнейдерман спала в его прежней комнате последние четыре года, Ной Маркс на время пропал, а потом опять возник, а тринадцатилетнему Фергусону, который только начал учиться в восьмом классе, хотелось удрать. Поскольку сбежать из дома он не мог (куда бы он пошел и как бы жил без денег?), то попросил у родителей ну почти то же самое: не будут ли они так любезны сплавить его в пансион в следующем сентябре и позволить ему провести следующие четыре года старшей школы где-нибудь подальше от городка Мапльвуд, Нью-Джерси?

Он бы не спрашивал, если б не знал, что такие расходы им по карману, но жизнь на широкую ногу процветала и дальше и достигла новых высот

после того, как семья в 1956-м переехала в новый дом. К росшей отцовой империи добавилось еще два магазина (один в Шорт-Хиллс, другой в Парсиппани), а поскольку местные потребители теперь раскошеливались на два и три телевизора в хозяйство, поскольку посудомоечные и стиральные машинки и сушилки теперь считались стандартным оборудованием в любом доме среднего класса, поскольку население тратило деньги на приемистые морозильники, чтобы хранить замороженную еду, которой теперь предпочитали питаться, отец Фергусона стал зажиточным человеком — пока не Рокфеллером, быть может, но царем предместной розницы, знаменитым *пророком прибылей*, чьи низкие цены поубивали конкуренцию в семи округах.

Добыча от такого выросшего дохода теперь включала в себя фисташково-зеленый четырехдверный «эльдорадо» для отца Фергусона, шикарный красный «понтиак» с откидной крышей для его матери, членство в загородном клубе «Синяя долина» и кончину «Ателье Страны Роз», которая означала конец материной краткой карьеры кормильца и художника (мода на закрашенные маслом фотографии постепенно истощилась, ателье едва окупало само себя, так

чего ради продолжать, если выручка пяти магазинов больше прежнего?), и со всеми этими барышами и тратами, всем этим разбитным изобилием Фергусону не удавалось представить, как его пансион окажется для них непосильным бременем. А если им случится возразить против его плана (в смысле, если возражать станет отец, поскольку последнее слово во всем, что касалось денег, оставалось за ним), Фергусон парирует предложением отказаться от лагеря «Парадиз» и вместо этого устраиваться летом на работу, что поможет сократить их долю расходов.

Изучал он этот вопрос несколько месяцев, сообщил он им, и лучшие школы тут, похоже, — в Новой Англии, главным образом — в Массачусетсе и Нью-Гемпшире, но есть и в Вермонте и Коннектикуте, а также несколько хороших в глубинке штата Нью-Йорк и Пенсильвании, есть даже парочка неплохих в Нью-Джерси. Сейчас всего лишь сентябрь, сообразил он, целых двенадцать месяцев до начала следующего учебного года, но заявки нужно слать не позднее середины января, и если они не начнут отбирать по списку возможные школы сейчас, им не хватит времени на принятие обоснованного решения.

Фергусон слышал, как дрожит его голос, когда

разговаривал с ними: он — и его самодовольные, непостижимые родители за обеденным столом вечером во вторник, посреди осенней кампании Никсона-Кеннеди, в кои-то веки за семейным ужином, такое теперь случалось все реже и реже из-за позднего закрытия магазинов и новообретенной страсти его матери к бриджу, который выманивал ее из дому два-три вечера в неделю, и вот они сидели в столовой, а Анджи Блай челноком перемещалась между кухней и столом, вносила блюда к каждой перемене и убирала использованные тарелки — сначала от овощного супа, за которым следовали толстые ломти ростбифа с толченой картошкой и горкой волокнистой фасоли в масле, такая превосходная еда, которую готовила бесцеремонная и умелая Анджи Блай, убиравшая у них в доме и готовившая им пищу пять дней в неделю последние четыре года, и вот Фергусон проглотил последний кусочек ростбифа — и наконец заговорил, наконец нашел в себе мужество потолковать о том, что в нем тлело многие месяцы.

Пока слова покидали его уста, он пристально наблюдал за родителями, присматривался к их лицам, не возникнут ли на них какие-то знаки того, как они отнесутся к его плану, но лица их,

в общем, ничего не выражали, решил он, как будто родителям не вполне удавалось впитать то, что он им говорит, ибо чего ради ему покидать совершенный мир, в каком живет, у него же в школе все так хорошо, ему так нравится играть в командах по бейсболу и баскетболу, у него столько друзей, и его приглашают на все вечеринки по выходным, чего еще желать тринадцатилетнему мальчику, а поскольку Фергусону очень не хотелось оскорблять родителей признанием, что причина его желания сбежать — они сами, что жить под одной крышей с ними ему стало почти невыносимо, то он солгал и сказал, что изголодался по переменам, что ему как-то беспокойно, его удушает мелкость их маленького городишки, и он томится по новым задачам, какие ему предстоит решать, испытывать себя в таком месте, которое не дом.

Он понимал, насколько нелепым, должно быть, казался им, пытаясь донести смысл того, что говорил, и представить им убедительные, изощренные доводы своим неуправляемым, непредсказуемым голосом, его дыхалка в поисках своего окончательного регистра уже-не-мальчика-но-еще-и-не-мужчины по-прежнему выдавала то высокие тона, то низкие, вокальный

инструмент, лишенный всякой властности и самообладания, и до чего же нелепо Фергусон, должно быть, выглядит в их глазах — обгрызенные ногти и новорожденный пупырышек гноя, пробившийся чуть левее его левой ноздри, маленькое ничтожество, благословенное всеми материальными преимуществами в жизни, столом и кровом, и тысячей удобств, и Фергусон уже был вполне взрослым, чтобы понимать, как повезло ему жить в верхних слоях достатка, вполне взрослым, чтобы знать, что девять десятых человечества мерзнет и голодает, им угрожают нужда и нескончаемый страх, да и кто он такой, чтобы жаловаться на судьбу, как смеет он издавать малейший звук недовольства, а поскольку он знал, где располагается в общей картине человеческих борений, ему было стыдно своего несчастья, его тошнило от собственной неспособности принять щедроты, ему доставшиеся, но чувства есть чувства, и он не мог пресечь в себе эти злость и разочарование, ибо никаким усилием воли не изменить того, что человек чувствует.

Неурядицы были теми же самыми, их он определил много лет назад, только теперь все стало гораздо хуже, настолько хуже, что Фергусон заключил: исправить здесь ничего невозмож-

но. Нелепый фисташково-зеленый «кадиллак», безжизненные, безупречно ухоженные участки загородного клуба «Синяя долина», разговоры о голосовании за Никсона в ноябре — все это были симптомы болезни, какой уже давно заразился его отец, но отец с самого начала был безнадежен, и Фергусон наблюдал за его восхожденьем в ряды вульгарных нуворишей с некой тупой отрешенностью. Затем случилась кончина «Ателье Страны Роз», от которой Фергусон впал в оцепенение на много месяцев, ибо знал, что дело тут не просто в долларах и центах. Закрытие ателье стало капитуляцией, провозглашением того, что его мать махнула на себя рукой, и теперь, раз она сдалась и перешла в другой лагерь, до чего же мрачно стало наблюдать, как она превращается в одну из *тех женщин*, в еще одну жену из загородного клуба, кто играет в гольф и карты, а в час коктейлей выхлестывает слишком много. Он ощущал, что она несчастна так же, как и он сам, но поговорить с нею об этом не мог, он был слишком мал, чтобы встревать в ее личные дела, однако ему было ясно, что брак его родителей, который ему всегда напоминал ванну тепловатой водички, теперь остыл совсем, выродился в скучное и безлюбое сожительство двоих людей,

которые занимались собственными делами, а встречались, лишь когда им приходилось или же хотелось, а это значило — почти никогда.

Больше никаких теннисных матчей воскресными утрами на общественных кортах, никаких воскресных обедов в «Грунинге», никакого кино по воскресным дням. День общенационального отдыха теперь проводился в загородном клубе, в Валгалле безмолвных лужаек для гольфа, шипящих поливальных устройств и визжащей детворы, что куролесила во всепогодном бассейне, но Фергусон редко сопровождал родителей в тех сорокапятиминутных поездах в «Синюю долину», поскольку воскресенье было тем днем, когда он тренировался со своими бейсбольной, футбольной или баскетбольной командами — даже по тем воскресеньям, когда тренировки у них не было. Если смотреть издали, в гольфе ничего дурного нет, предполагал он, да и, несомненно, можно защищать достоинства обедов креветочными коктейлями и трехслойными сандвичами, но Фергусону не хватало гамбургеров и вазочек мятного мороженого с шоколадной крошкой, а чем ближе подходил он к тому миру, какой представлял гольф, тем больше научался он гольф презирать — не столько сам по себе вид спорта,

быть может, но тех людей, что в него играли.

Самодовольный лицемер Фергусон. Фергусон — враг обычаев и манер верхушки среднего класса, всезнающий обличитель, поглядывающий свысока на новую американскую породу честолюбцев и нарочитых потребителей, — мальчик, которому хочется выйти из ряда вон.

Единственной его надеждой было то, что отец его вдруг решит, будто его отправка в какой-нибудь известный пансион увеличит его собственный престиж в клубе. *Да, наш мальчик теперь в Андовере. Гораздо лучше бесплатной школы, верно же? И к черту расходы. Нет большего родительского дара, чем хорошее образование для ребенка.*

Ставка рискованная, что уж тут, тщетная надежда, вылупившаяся из оптимистичного самообмана тринадцатилетнего ума, ибо суть здесь была в том, что причин надеяться у него не имелось. Сидя напротив за столом тем теплым сентябрьским вечером, отец его отложил вилку и сказал: Ты говоришь, как человек наивный, Арчи. Ты, по сути, просишь меня платить двойную цену за то же самое, а ни один человек в своем уме не поддастся на такую аферу. Подумай хорошенько. Мы платим за этот дом налоги, так?

Очень высокие налоги, в нашем штате они среди высочайших налогов на недвижимость. Мне это не нравится, но я согласен отслюнивать за это деньги, потому что получаю кое-что взамен. Хорошие школы, они среди лучших бесплатных школ в стране. Потому-то мы вообще и переехали в этот городок. Потому что твоя мать знала, что ты здесь получишь хорошее образование, не хуже всякого, какое тебе могут предложить в твоих шикарных частных школах. Поэтому ничего не выйдет, пацан. Я не намерен платить вдвое дороже за то, что у меня и так есть. *Farshtaist?*[19]

Школы-пансионы явно не присутствовали в отцовом списке того, расходами на что можно хвастаться, а поскольку тут же встряла его мать и сказала, что *ей разобьет сердце*, если он покинет дом в таком раннем возрасте, Фергусон даже не стал заикаться о том, что летом он может работать, чтобы помочь с платой за учебу. Теперь он застрял. Не только на весь оставшийся год, но и на четыре дополнительных, какие уйдут на окончание средней школы, — итого пять лет, а это срок дольше, чем многие сидят за вооруженное ограбление или непредумышленное убийство.

---

[19] Сноски: 19
Ясно? (*идиш*)

В столовую с десертом вошла Анджи, и Фергусон, глядя в свою вазочку с шоколадным пудингом, задался вопросом, почему нет такого закона, согласно которому детям было бы позволено разводиться со своими родителями.

Из-за того, что ничего не поменялось, да и не изменится никогда, поскольку старая система семейной власти все равно осталась нетронутой после того, как попытки Фергусона усовершенствовать конституцию отклонили голосованием, устоявший *ancien régime*[20] и дальше правил посредством рефлекса и вросших в него прихотей, а потому было постановлено, что побежденного недовольного следует вознаградить еще одним летом в его любимом лагере «Парадиз»: шестое лето подряд в этом раю без родителей, где лишь футбольные поля, байдарочные походы и буйное товарищество его нью-йоркских друзей. Фергусон не только сам покидал своих мать и отца на два долгих месяца передышки и свободы — рядом с ним на перроне вокзала «Гранд-Централ» утром отъезда стоял Ной Маркс, который теперь тоже ехал на север проводить еще одно лето, поскольку Ной теперь вернулся и, пропустив вторую поло-

[20] Сноски: 20
Дореволюционный режим, отжившая система (*фр.*).

вину сезона 1956 года и все восемь недель 1957-го, восстановил связь с лагерем «Парадиз» и теперь намеревался отправиться туда в свой четвертый раз в обществе племянника своей мачехи, также известного как его сводный двоюродный брат и друг, ныне уже четырнадцатилетний Фергусон, который при росте в пять футов семь дюймов был на полголовы выше Ноя, кого в лагере по-прежнему звали Арфо.

То была занятная история. Фергусонова тетя Мильдред осталась мачехой Ноя, поскольку они с дядей Доном так и не обеспокоились развестись, и когда отец Ноя вернулся после полутора лет в Париже, где начал писать биографию Монтеня, он снова поселился по своему прежнему адресу на Перри-стрит. Но не в квартире на третьем этаже, которую раньше делил с Мильдред, а в студии поменьше на втором, которую за время его отсутствия освободили прежние жильцы, а Мильдред сняла для него перед его приездом. Таков был их новый договор. После полутора лет смятений и нерешительности, перемежаемых тремя поездками в Париж, когда у Мильдред случались преподавательские отпуска в Бруклинском колледже, они заключили, что жить раздельно не могут. Вместе с тем они также понимали, что

неспособны жить и вместе — по крайней мере, все время, по крайней мере, как обычно женатая пара, и если им время от времени не будут предоставляться перерывы в домашнем повседневном укладе, они в итоге попросту пожрут друг дружку в кровопролитной людоедской ярости. Отсюда и компромисс двух квартир, так называемое Примирение с Аварийным Люком, ибо любовь у них была из невозможных, рискованная смесь страсти и несовместимости, бурное электрическое поле равнозаряженных положительных и отрицательных ионов, и поскольку Дон и Мильдред были оба себялюбивы, изменчивы и совершенно преданы друг дружке, войны, что они вели, никогда не заканчивались — разве что в те мгновения, когда Дон перемещался вниз к себе в квартиру на втором этаже и наставала новая эпоха мира.

По мнению Фергусона, это была вполне себе каша, но о ней он сколько-нибудь продолжительно не задумывался, поскольку по его опыту все браки были так или иначе ущербны, яростные конфликты Дона и Мильдред против усталого безразличия его собственных родителей, но оба брака ущербны все равно, не говоря уже о его прародителях, кто за последние десять лет едва ли пятьюдесятью словами друг с дружкой обменя-

лись, а насколько он мог судить, единственным человеком, которому, казалось, доставляет удовольствие сам факт того, что он жив, была его двоюродная бабушка Перл, у которой больше не имелось мужа и муж никогда больше не появится. И тем не менее Фергусона радовало, что Дон и Мильдред снова вместе — если не ради самих себя, то хотя бы ради него, поскольку возвращение Дона вернуло в его жизнь и Ноя, и после полуторагодового перерыва, в котором едва ли не безумная мамаша Ноя запрещала им видеться, Фергусон поразился, до чего быстро они вновь стали друзьями, как будто долгая разлука длилась не более нескольких дней.

Ной по-прежнему был весь треп и ярость, пулеметный остряк былых дней, только теперь, в свои одиннадцать, гораздо меньше заводился, чем это с ним бывало в девять, и пока мальчишки преодолевали, спотыкаясь, конец детства и вступали в раннее отрочество, и тот и другой обретали поддержку в том, что каждый считал сильными сторонами друг друга. Для Ноя Фергусон был прекрасным принцем, которому удавалось все, к чему бы он ни прикасался, хозяином любого положения — он целил в высочайшие средние очки, когда замахивался для удара, и зарабатывал

лучшие оценки в школе, нравился девчонкам, другие мальчишки брали с него пример, и быть двоюродным братом, другом и наперсником такой личности стало облагораживающей силой в его жизни, которая иначе была бы жизнью мучительной, переходной жизнью четырнадцатилетки, кто каждый день беспокоился из-за своей курчавой, неуклюжей наружности, из-за уродующей металлической проволоки, что была прикручена к его зубам весь последний год, из-за отвратительной нехватки у себя физического изящества. Фергусон знал, насколько Ной им восхищается, но знал также, и что восхищение это необоснованно и непрошено, что Ной превратил его в героическое идеализированное существо, какого на самом деле не существовало, а вот он, Фергусон, в том темном внутреннем пространстве, где обитал на самом деле, понимал, что Ной обладает первоклассным умом и, зайди речь о чем-то по-настоящему значимом, юный мистер Маркс его опережал, по крайней мере на шаг в любое мгновение, часто на два шага, а порой и на четыре и даже на десять. Ной был его землепроходцем, проворным разведчиком, который исследовал Фергусону леса и рассказывал, где там лучшая охота: книги, какие стоит читать,

музыку, какую стоит слушать, шутки, которым стоит смеяться, какие фильмы смотреть, какие идеи обдумывать, — и теперь, раз Фергусон переварил «Кандида» и «Бартльби», Й. С. Баха и Мадди Вотерса, «Новые времена» и «Великую иллюзию», полуночные монологи Джина Шеферда и двухтысячелетнего человека Мела Брукса, «Записки сына Америки» и «Коммунистический манифест» (нет, Карл Маркс — не родственник, да и, увы, Брюзга — тоже), он не мог не представлять себе, насколько более нищей была б его жизнь без Ноя. Злость и разочарование способны вести тебя лишь до определенного предела, осознал он, а вот без любопытства ты пропал.

И вот в июле 1961-го, в начале того лета, полного событий, когда они собирались отправиться в лагерь «Парадиз», все вести из окружающего мира казались новостями скверными: в Берлине возводилась стена, Эрнест Хемингуэй в горах Айдахо загнал себе пулю в череп, толпы белых расистов нападали на Всадников Свободы, пока те ездили на своих автобусах по Югу. Угроза, уныние и ненависть, обильные доказательства того, что Вселенной правят отнюдь не здравомыслящие люди, и пока Фергусон вновь привыкал к приятной и знакомой суете лагеря, ведя бас-

кетбольные мячи и перехватывая базы утром и днем, слушая подколки и трепотню мальчишек у себя в хижине, радуясь возможности снова быть с Ноем, что превыше всего прочего означало участие в непрерывной беседе с ним длительностью в два месяца, танцуя по вечерам с девчонками из Нью-Йорка, которые ему так нравились, с энергичной и пышногрудой Кароль Тальберг, стройной и вдумчивой Анн Бродской и со временем чрезвычайно угреватой, но исключительно красивой Денизы Левинсон, которая была его единомышленницей в том, чтобы линять с послеужинных «общений» ради напряженных упражнений ртами-с-языком на дальнем лугу, за столько всего хорошо можно быть благодарным, однако же теперь, когда ему исполнилось четырнадцать и голова его полнилась мыслями, какие всего полгода назад даже не взбрели бы ему на ум, Фергусон вечно рассматривал себя в отношении к дальним, неведомым другим, задаваясь, например, вопросом, не целовал ли он Дениз как раз в тот миг, когда в Айдахо себе вышибал мозги Хемингуэй, или же, когда бил двойной в матче между лагерем «Парадиз» и лагерем «Грейлок» в прошлый четверг, не вгонял ли свой кулак миссисипский куклускланновец в челюсть худо-

сочного, коротко стриженного Всадника Свободы из Бостона. Один целуется, другой бьет, либо один присутствует на похоронах своей матери в одиннадцать утра 10 июня 1857 года, а в тот же миг в том же квартале того же города другая впервые берет на руки своего новорожденного младенца, грусть одного происходит одновременно с радостью другой, и если ты не Бог, который якобы должен быть везде и способен видеть все, что творится во всякий момент, никому не под силу знать, что два эти события происходят в одно и то же время, а меньше всего — скорбящий сын и смеющаяся мать. Именно поэтому человек изобрел Бога? — спрашивал себя Фергусон. Дабы преодолеть рамки человеческого восприятия, введя существование всеобъемлющего, всемогущего божественного разума?

Ты прикинь так, сказал он однажды днем Ною по пути в столовую. Тебе нужно куда-то поехать в машине. Это важное дело, и опаздывать нельзя. Добраться туда можно двумя путями — по шоссе или по проселку. А у нас час пик, и в такое время на шоссе обычно все битком, но, если не случается аварии или кто-то не поломался, движение там обычно медленнее и постояннее, и у тебя есть все шансы добраться до нужного места минут за

двадцать, и ты аккурат успеешь к сроку, ровно, ни секунды лишней не останется. По проселку немного дальше в смысле расстояния, но там меньше машин, от которых одно беспокойство, и если все пойдет нормально, можно рассчитывать, что времени у тебя там уйдет минут пятнадцать. В принципе, ехать проселком лучше, чем по шоссе, но есть закавыка: там — по одной полосе движения в каждую сторону, и если тебе попадется авария или чья-нибудь поломка, предстоит застрять надолго, а из-за этого опоздаешь на свою встречу.

Постой, сказал Ной. Мне нужно больше знать об этой встрече. Куда я еду и почему для меня это так важно?

Не имеет значения, ответил Фергусон. Такая автомобильная поездка — просто пример, допущение, способ поговорить о том, что мне хочется с тобой обсудить, — это не имеет ничего общего с дорогами или назначенными встречами.

Но оно имеет значение, Арчи. Все имеет значение.

Фергусон испустил протяжный вздох и сказал: Ладно. Ты едешь на собеседование, устраиваться на работу. Ты о ней мечтал всю жизнь — парижским корреспондентом «Ежедневной планеты».

Если тебе эта работа достанется, ты станешь самым счастливым человеком на свете. Если же нет, ты вернешься домой и повесишься.

Если для меня это столько значит, почему же я выезжаю в последнюю минуту? Чего не выехать на час раньше и сделать все, чтобы не опоздать?

Потому что… потому что не можешь. У тебя умерла бабушка, и тебе нужно было на похороны.

Допустим. Судьбоносный, можно сказать, день, значит. Я только что шесть часов прорыдал по бабушке, а теперь я в машине, еду наниматься на работу. По какой дороге ты мне советуешь ехать?

Опять — не имеет значения. Вариантов только два: шоссе и проселок, и у каждого свои плюсы и минусы. Скажем, выберешь ты шоссе и успеешь на встречу. Ты же не станешь думать о своем выборе, верно? А если поедешь по проселку и успеешь, опять — страху нет, ты и не задумаешься об этом больше ни разу за всю свою жизнь. Но вот здесь начинается самое интересное. Ты едешь по шоссе, а перед тобой — авария на три машины, все движение перекрыто больше чем на час, и вот ты сидишь в машине, а в уме у тебя только одно: проселок и почему ты вместо шоссе не поехал по нему. Ты будешь себя проклинать

за то, что сделал неправильный выбор, однако откуда тебе в самом деле знать, что выбор был неправильным? Тебе отсюда проселок видно? Ты знаешь, что там сейчас происходит? Тебе разве сказали, что на него рухнула громадная секвойя и раздавила проезжавшую машину, водитель погиб на месте, а все движение там задержалось на три с половиной часа? Кто-то разве посмотрел на часы и сказал тебе, что, если б ты поехал по проселку, раздавило бы твою машину и погиб бы ты сам? Или: Не падало там никакого дерева, и ехать по шоссе было неправильным выбором. Или: Ты поехал по проселку, и дерево упало на водителя машины перед тобой, и ты сидишь у себя в автомобиле и жалеешь, что не поехал по шоссе, а про аварию на три машины ничего не знаешь, от которой все равно бы опоздал на свою встречу. Или: Никакой аварии на три машины не случилось, и ехать по проселку было неверным выбором.

Смысл-то тут во всем этом какой, Арчи?

Я к тому, что никогда не знаешь, правильный ты выбор сделал или нет. Тебе до принятия решения нужно было бы собрать все факты, а единственный способ собрать все факты — это быть в двух местах одновременно, а это невоз-

можно.

Ну?

Ну и вот поэтому люди верят в Бога.

Вы, знать, шутите, месье Вольтер.

Лишь Бог может видеть одновременно шоссе и проселок — а это значит, что лишь Бог может знать, правильный ты выбор сделал или нет.

А откуда ты знаешь, что он знает?

Я и не знаю. Но такое допущение делают люди. К сожалению, Бог никогда не сообщает нам, о чем думает.

Ему всегда письмо написать можно.

Тоже правда. Но смысла никакого нет.

А в чем загвоздка? Почтовые марки не по карману?

У меня нет его адреса.

В том году у них в хижине появился новый мальчик, единственный новичок среди всех старых товарищей Фергусона по прежним летним сменам, мальчик не городской, жил он в Вестчестерском местечке Нью-Рошель, а потому был единственным другим обитателем предместий во всем круге знакомых Фергусона, не такой буйный и словесно агрессивный, как мальчишки из Нью-Йорка, тихий, как тих был сам Фергусон, только еще тише, мальчик, не говоривший почти

ничего, и все же если открывал рот, люди, оказывавшиеся поблизости, ловили себя на том, что внимательно прислушиваются к его словам. Звали его Федерман, Арт Федерман, все знали его как Арти, а поскольку *Арти Федерман* по звучанию так походило на *Арчи Фергусон*, мальчишки в хижине часто шутили, что они братья, потерявшие друг друга в детстве, полные близнецы, разлученные при рождении. Шутка была смешной оттого, что шуткой на самом деле не была, скорее анти-шуткой, она имела смысл, только если понималась как шутка о самой шутке, поскольку хотя Фергусон и Федерман имели какие-то общие физические характеристики — походили друг на друга размерами и телосложением, у обоих крупные руки и поджарые, мускулистые тела молодых игроков в мяч, — они мало чем напоминали друг друга, помимо одних и тех же инициалов. Фергусон был темноволос, а Федерман — блондин, у Фергусона глаза серо-зеленые, а у Федермана карие, носы, уши и рты у них были разных очертаний, и никто, видя их впервые вместе, нипочем бы не принял их за братьев — да и вообще даже за дальних родственников. С другой стороны, мальчишки в хижине уже не видели их вместе впервые, и шли дни, а они продолжали

наблюдать двух А. Ф. в действии — и, быть может, понимали, что шутка, которая шуткой не была, оказывалась уже не просто шуткой, поскольку даже если не вставал вопрос об их кровном родстве, возникал вопрос о дружбе — о кровной дружбе двух людей, что быстро становились близки, как настоящие братья.

Одной из странностей того, что он — это он, как обнаружил Фергусон, было то, что их, казалось, несколько, что он не просто одна личность, а собрание противоречивых «я», и всякий раз, когда он оказывался рядом с кем-то другим, он и сам становился иным. С открытым экстравертом вроде Ноя он себя чувствовал тихим и замкнутым. С личностью робкой и настороженной, вроде Анн Бродской, он ощущал себя громким и грубым, а чтобы преодолеть неловкость ее долгих молчаний, всегда слишком много разговаривал. Люди без чувства юмора превращали его в остряка. Сообразительные шуты — в тупого тугодума. А еще были такие, кто, казалось, обладает властью вовлекать его в свое поле тяготения и заставлять его вести себя так же, как и они. Драчливый Марк Дубинский с его неистощимыми мнениями о политике и спорте проявлял в Фергусоне словесного бойца. Мечтательный Боб Крамер заставлял

его чувствовать себя хрупким и неуверенным в себе. А вот от Арти Федермана, напротив, он успокаивался, таким спокойным его не делал никто другой, поскольку, оказываясь рядом с новеньким, он ощущал в себе ту же самость, какую чувствовал, когда оставался один.

Если бы любой из двух А. Ф. оказался слегка иным человеком, они легко бы могли стать врагами. У Фергусона в особенности имелись все основания не любить новоприбывшего, поскольку выяснилось, что Федерман в спорте преуспевает больше него, а лучшим последние пять лет был Фергусон, особенно в бейсболе, и это означало, что он всегда играет шортстопом и выбивает четвертым для выездной команды, но когда в первый день на тренировке объявился Федерман, быстро стало очевидным, что у него больше диапазон и рука сильней, чем у Фергусона, что бита у него проворней и мощнее, и к следующему дню, когда он забил две круговые пробежки и двойной во внутрилагерном матче, сокрушив все сомнения в том, что его результативность в первый день была случайной, Билл Раппапорт, двадцатичетырехлетний тренер команды, отвел Фергусона в сторонку и объявил свое решение: новым шортстопом и зачищающим хиттером

будет Федерман, а Фергусона переводят на третью базу, и он будет подавать на риску выше в порядке. Ты же понимаешь, почему я вынужден так поступить, правда? — сказал Билл. Фергусон кивнул. С такими сильными доводами что еще мог он сделать, как не кивнуть? Ничего личного против тебя, Арчи, продолжал Билл, но этот новый пацан феноменален.

Как на это ни посмотри, а новый состав Билла означал для Фергусона понижение, небольшой провал в рядах, и Фергусона уело, что он потерял положение верховного командующего бейсбольной армии лагеря «Парадиз», но так же, как чувства всегда есть чувства, они субъективно верны все сто процентов времени, и факты оставались фактами, а в данном случае объективным, неоспоримым фактом было то, что Билл принял верное решение. Фергусон теперь оказался игроком номер два. Старая детская мечта о том, что настанет день и он доберется до высшей лиги, медленно растворилась до липкого осадка на донышке его желудка. Какое-то время еще оставался горький вкус, но затем Фергусон его преодолел. Федерман просто был слишком хорош, чтобы хотелось с ним состязаться. Перед лицом такого таланта единственным пристой-

ным ответом была благодарность, что он с тобой на одной стороне.

А необычайным талант его, как это ощущал Фергусон, делало то, что Федерман почти никак его не сознавал. Как бы прилежно ни играл он, сколько бы матчей ни выигрывал своими ударами в последнем иннинге или пикирующими остановками на поле, казалось, он не сознает, насколько лучше всех остальных играет. Превосходно играть в бейсбол — попросту то, что он умеет, и он принимал такое умение точно так же, как принимал цвет неба или шарообразность Земли. Страсть преуспевать — да, но в то же время — равнодушие, даже какой-то оттенок скуки, и стоило кому-нибудь в команде заметить, что ему следует подумать, не податься ли в профессионалы по окончании старших классов, Федерман качал головой и посмеивался. Бейсбол — просто приятное занятие, отвечал он, но оно, по сути, бессмысленно, просто *детская забава*, и когда он закончит среднюю школу, план у него — поступить в колледж и выучиться на ученого: либо на физика, либо на математика, он пока еще не решил, на кого именно.

В таком отклике было нечто и дурацкое, и обезоруживающее, считал Фергусон, — и поражало

его как типичный пример того, что определяло его почти-тезку и отличало его от всех прочих, поскольку это ж предрешенный вывод: все мальчишки рано или поздно поступят в колледж, в таком мире они живут — в мире американских евреев третьего поколения, где от всех, кроме совсем уж слабоумных, ожидается, что они получат университетскую степень, если не профессиональную, то ученую, а вот Федерман не понимал тонкостей того, что ему говорили другие, ему не удавалось осознать, что ему говорят не про то, что ему *не следует* поступать в колледж, а про то, что ему не *обязательно* туда идти, если не захочет, а это означало, что они считают, будто у него положение крепче, чем у них, он больше хозяин собственной судьбы, и поскольку он и впрямь был отличником по математике и естественным наукам и полностью намеревался поступать в колледж (тем летом он сам изучал математический анализ, ради всего святого, а сколько четырнадцатилеток способны ухватить принципы математического анализа?), то и не обращал внимания на комплимент и давал окружающим прямой, искренний ответ от всей души, который был так очевиден и не по делу (все знали, что он изучает матанализ и неизбежно

поступит в колледж), что ему этого и вообще не стоило произносить.

Но это — среди многого прочего, что Фергусону больше всего нравилось в другом А. Ф., — его невинность, его возвышенная оторванность от ироний и противоречий общества, к которому принадлежал. Все остальные, казалось, бьются в судорогах вечной взвинченности, в хаосе сталкивающихся друг с другом порывов и бурных несообразностей, а вот Федерман был спокоен, раздумчив и явно пребывал в мире с самим собой, так замкнут в собственных мыслях и образах действия, что мало внимания обращал на окружавший его шум. Существо ничем не замутненное, частенько думал Фергусон, до того чистая и строго равная себе самость, что часто трудно в нем что-нибудь понять, и вот именно поэтому, несомненно, у них с Ноем и вылепились такие разные впечатления об их новом сожителе по хижине. Ной готов был признать, что Федерман одновременно и крайне разумен, и отличный игрок в мяч, но, на его вкус, слишком уж искренен, чересчур уж недоставало ему по части юмора, чтобы считаться хорошей компанией, да и излучаемое Федерманом спокойствие это, что оказывало такое успокоительное воздействие

на Фергусона, Ноя целиком и полностью нервировало: он ощущал, что Федерман — несколько недочеловек, *зловещий фантомальчик*, как он однажды выразился, привидение, родившееся без некоторых частей головного мозга. Фергусон понимал, что именно Ной пытается выразить подобными замечаниями, но был с ним не согласен. Федерман не похож на них, только и всего, человек этот живет на отдельной плоскости, нежели все остальные, и то, что Ной считал слабостью его характера — робость Федермана с девчонками, его неумение рассказывать анекдоты, нежелание с кем бы то ни было спорить, — Фергусон был склонен воспринимать как сильные стороны, ибо он проводил с Федерманом больше времени, чем Ной, и понимал: то, что Ной считает мелкостью или даже пустотой, на самом деле — глубина, такое величие души, какого нет ни у кого другого из его знакомых. Беда была в том, что Федерман не очень встраивался в компании, а вот наедине с кем-то представлял собой совершенно другого человека, и теперь, по прошествии трех недель, два А. Ф. уже сходили вместе на бейсбольное поле десятки раз, и Фергусон узнал этого другого человека — ну, или, по крайней мере, начал его узнавать, и самое большое впечатление на него

произвело то, насколько Федерман наблюдателен, как удивительно настроены все чувства его на мир вокруг, и когда б ни показывал он на проплывавшее у них над головами облачко или на пчелу, опустившуюся на тычинку цветка, или ни определял по голосу незримую птицу, прокричавшую из леса, Фергусон ощущал, будто видит или слышит все это впервые, что без друга, который обратил его внимание на присутствие подобного, он бы нипочем не узнал, что оно — там, ибо прогулки с Федерманом были в первую очередь упражнением в искусстве внимательности, а быть внимательным, как это обнаружил Фергусон, есть первый шаг в том, чтобы научиться быть живым.

Затем настал исключительно теплый четверг, ближе к концу месяца, более-менее вершина лета, всего за два дня до начала родительских выходных, на субботнее утро и день назначили спаренный матч по баскетболу-бейсболу с пугающим и ненавистным противником, лагерем «Скатико», чьи команды приедут на весь день в лагерь «Парадиз», и игры эти будут смотреть матери и отцы мальчишек из «Парадиза», пухлые женщины в хлопчатобумажных платьях без рукавов, приземистые мужчины в шортах-бер-

мудах, холеные и некогда холеные женщины в брючках чуть ниже колена и на шпильках, лысеющие мужчины в белых деловых рубашках с рукавами, закатанными до локтей, то был главнейший спортивный день всего лета, за которым последует вечерний показ старой пьесы братьев Маркс «Какаосы», в 1929 году превращенной в их первый фильм, а причудливей всего и, однако, уместнее всего было то, что Ной, широко известный всему лагерю как Арфо, поручили роль Брюзги — именно к ней лучше всего были приспособлены его таланты, и Фергусон не только с нетерпением ждал матчей, в которых он будет играть всего через два дня, но и дождаться не мог того, чтобы увидеть, как его двоюродный брат пройдется походочкой Брюзги, гарцуя по сцене с сигарой, зажатой между указательным и безымянным пальцами правой руки, и в нагримированных усах, размазанных по коже между носом и верхней губой. Множество ожиданий громоздились одно на другое перед событиями того дня, а поскольку лагерь «Парадиз» почти наверняка проиграет по баскетболу (десятью днями раньше при визите в лагерь «Скатико» их разгромили), Билл Раппапорт был полон решимости повторить их победу по бейсболу, и для этого в по-

следние дни он гонял мальчишек на нескольких крайне утомительных тренировках, устраивал им нескончаемые отработки точности в основных комбинациях (удары, подрезка отсекающего, удерживание бегунов на базе) и активные гимнастические разминки, *чтобы не потеряли формы* (отжимания, приседания, бег с ускорениям, круги по стадиону), и вот в тот конкретный четверг в конце июля, который оказался самым теплым, самым удушливым днем, свалившимся на лагерь за все лето, тело Фергусона обливалось по́том всю тренировку, и теперь, когда закончилась эта их двухчасовая накачка и они с Федерманом возвращались к себе в хижину, где переоденутся в купальные костюмы для обязательного заплыва перед ужином, после усилий на поле он был изможден, *энергия высосана*, как выразился он Федерману, как будто каждая его нога весила по двести фунтов, и даже обыкновенно неутомимый умник матанализа из Нью-Рошели признался, что и он тоже себя чувствует *довольно вымотанным*. Где-то на полпути к хижине Фергусон заговорил о книжке, которую дочитал на тихом послеобеденном часе, «Подруга скорбящих»[21],

[21] Сноски: 21
Пер. В. Голышева.

крошечный роман Натанаэла Веста, который тетя Мильдред включила в ежегодную посылку ему книг на лето, и едва начал он объяснять, что на самом деле Подруга Скорбящих — мужчина, журналист, пишущий от лица женщины колонку советов неудачникам в любви, как услышал, что Федерман испустил короткий приглушенный вздох, что-то похожее на *ох*, и, когда повернул голову направо и взглянул на своего друга, увидел, что Федерман покачивается, как будто его охватила дурнота, и не успел Фергусон спросить, что случилось, как колени у Федермана подломились, и он медленно осел наземь.

Фергусон решил, что это шутка, что после всех разговоров о том, как они оба устали, Федерману взбрело в голову комически продемонстрировать, что происходит с телом после чрезмерных тренировок жаркими и душными летними днями, но смех, который Фергусон рассчитывал услышать, так и не раздался, ибо правда заключалась в том, что Арти не относился к числу тех, кто вообще шутит, и когда Фергусон склонился присмотреться к лицу своего друга, он поразился — глаза у того не были ни открыты, ни закрыты, а полуоткрыты-полузакрыты, виднелись только белки, как будто глаза у него

закатились под лоб, что, казалось, намекает на то, что он лишился чувств, поэтому Фергусон принялся постукивать пальцами Федерману по щекам, сначала постукивать, затем щипать и все это время говорил, чтобы тот просыпался, как будто нескольких похлопываний и нескольких щипков окажется довольно, чтобы тот пришел в себя, но когда Федерман не отреагировал, когда голова его замоталась из стороны в сторону, стоило Фергусону тряхнуть его за плечи, а недвижные веки и дальше отказывались открываться или закрываться и даже трепетать от малейшего признака жизни, Фергусон уже начал бояться и потому прижал ухо к груди Федермана, чтобы услышать биение сердца, чтобы нащупать, как подымается и опускается у него грудная клетка, когда воздух входит ему в легкие и выходит из них, но никакого биения сердца там не было, не было дыхания, и мгновенье спустя Фергусон встал на ноги и завыл: Помогите! Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста — кто-нибудь — помогите мне!

Аневризма сосудов головного мозга. Такова официальная причина смерти, сказал кто-то, а поскольку судебно-медицинский эксперт округа Колумбия проводил вскрытие сам, слова эти он

и написал на свидетельстве о смерти Федермана: *аневризма сосудов головного мозга*.

Фергусон знал, что такое головной мозг, но впервые столкнулся со словом *аневризма*, поэтому пришел в кабинет к старшему вожатому лагеря и отыскал его в «Студенческом словаре Вебстера», стоявшем на верхней полке книжного шкафа: *местное аномальное расширение кровеносного сосуда или постоянное выпячивание истонченной стенки сосуда ввиду заболевания*.

Матчи с лагерем «Скатико» отменили до особого распоряжения. Комедию братьев Маркс отложили до следующего месяца. Семейную спевку, назначенную на воскресное утро, вычеркнули из календаря.

На общелагерном собрании, созванном в Большом сарае после ужина в четверг, половина детей плакала, хотя многие до этого даже не знали Федермана. Джек Фельдман, старший вожатый, сказал мальчикам и девочкам, что пути Господни неисповедимы, человек их понять не в состоянии.

За кончину Федермана себя винил Билл Раппапорт. Он слишком гнал команду, сказал он Фергусону, этими суровыми разминками в той

невыносимой жаре и духоте он всех подверг опасности. Какого хера он вообще себе думал? Фергусон припомнил слова из словаря: *постоянное, аномальное, кровеносного… заболевания*. Нет, Билл, сказал он, это бы рано или поздно неизбежно случилось. Арти носил бомбу с часовым механизмом у себя в голове. Просто о ней никто не знал — ни он сам, ни родители, ни один врач, кто когда-либо его осматривал. Ему выпало умереть до того, как кто-либо обнаружил, что эта бомба с часовым механизмом была там всю его жизнь.

На тихом часе в пятницу по громкой связи вызвали его фамилию. *Арчи Фергусон*, произнес голос лагерной секретарши. *Арчи Фергусон, пройди, пожалуйста, в административный корпус. Тебе звонят*.

То была его мать. Какой ужас, Арчи, сказала она. Мне так жаль этого мальчика — и тебя… и всех.

Это не просто ужас, ответил Фергусон. Это худшее, хуже вообще не бывает.

На другом конце провода повисла долгая пауза, а потом его мать сказала, что ей только что звонила мать Арти. Неожиданный, конечно, звонок, разумеется, звонок мучительный, но исключительно ради того, чтобы пригласить Фергусона в

воскресенье на похороны в Нью-Рошель — при условии, конечно, что ему разрешат отлучиться из лагеря, и при условии, что он сам будет не против поехать.

Не понимаю, сказал Фергусон. Больше никого не зовут. Почему я?

Мать его объяснила, что миссис Федерман читала и перечитывала письма, которые сын присылал домой из лагеря, и почти во всех них упоминался Фергусон, часто — по нескольку раз в трех-четырех абзацах. *Арчи мой лучший друг*, сказала его мать, цитируя абзац, который ей прочли по телефону, *лучший друг, таких у меня никогда не было*. И еще: *Арчи такой хороший человек, я счастлив уже только от того, что с ним рядом*. И опять: *Арчи как никто другой годится мне в братья*.

Еще одна долгая пауза, и затем Фергусон сказал — так тихо, что сам едва расслышал собственные слова: Вот и мне так с Арти было.

Стало быть, порешили. Родители на выходные к нему не приедут. Вместо этого утром Фергусон поездом доберется до Нью-Йорка, мать встретит его на вокзале «Гранд-Централ», они переночуют в городе в квартире ее родителей, а на следующее утро вдвоем поедут в Нью-Рошель. Поскольку

мать никогда не игнорировала предписания светских выходов, она пообещала, что прихватит с собой для него одежду на похороны — белую рубашку, пиджак и галстук, черные ботинки, черные носки и угольно-серые брюки.

Она сказала: Ты там не слишком вырос за это время, Арчи?

Сам не знаю, ответил Фергусон. Может, немного.

Интересно, подойдут ли тебе все эти вещи.

А это важно?

Может, да, а может, и нет. Если с рубашки поотлетают пуговицы, завтра всегда можно будет купить тебе новую одежду.

Пуговицы не поотлетали, но рубашка уже была ему слишком тесна, как и все остальное, за исключением галстука. Вот же маета — ходить по магазинам в девяносточетырехградусную жару[22], подумал он, таскаться по улицам пропеченного города из-за того, что он с весны подрос на два с половиной дюйма, но нельзя же ехать в Нью-Рошель в своих лагерных джинсах и теннисках, и потому он отправился вместе с матерью в «Мейси», больше часа бродил по отделу мужской

---

[22] Сноски: 22
≈ 34,5°C.

одежды в поисках чего-нибудь приличного, несомненно — самое скучное занятие на свете даже в лучшие времена, а таковыми нынешние совершенно определенно не были, и настолько мало души вкладывал он в то, чем они занимались, что позволил матери принимать все решения, выбирать ему вот эту рубашку, вот этот пиджак и вот эту пару брюк, и все же, как вскоре ему предстояло выяснить, насколько предпочтительнее была скука покупок по сравнению с жалкой безнадегой сиденья в синагоге на следующий день, в жарком этом святилище, забитом двумя с лишним сотнями человек. Мать и отец Арти, его двенадцатилетняя сестра, четверо его прародителей, его тети и дяди, двоюродные братья и сестры, школьные друзья, разнообразные учителя вплоть до воспитательниц из детского сада, друзья и тренеры по спортивным командам, в которых он играл, друзья семьи, друзья друзей семьи, толпа людей, спекавшаяся в том душном зале, а слезы брызгали из плотно сжатых глаз, мужчины и женщины всхлипывали, всхлипывали мальчишки и девчонки, а за кафедрой стоял ребе и читал молитвы на иврите и английском, никакой тебе христианской белиберды про лучшее место, куда он отправился, никакой сказочной послежизни

для Фергусона и его народа, все это были евреи, одержимые, непокорные евреи, а у них только одна жизнь и одно место — эта жизнь и эта земля, и единственный способ смотреть на смерть — это славить Бога, славить власть Бога, даже если смерть принадлежала четырнадцатилетнему мальчишке, славить их блядского Бога, покуда глаза из голов не вытекут, пока яйца не оторвутся от тел, а внутри не сморщатся сердца.

На кладбище, когда гроб опускали в землю, отец Арти попробовал было прыгнуть вслед за ним в могилу сына. Оттащить его смогли четыре человека, а когда он попытался вырваться от них и проделать это же еще раз, самый крупный из четверки, кто оказался его младшим братом, зажал ему голову в замок и повалил наземь.

В доме после похорон мать Арти, высокая женщина с толстыми ногами и широкими бедрами, обняла Фергусона и сказала ему, что он всегда теперь будет членом их семьи.

Следующие два часа он просидел на диване в гостиной, беседуя с младшей сестренкой Арти, которую звали Селия. Он хотел ей сказать, что теперь он ей брат, что и дальше будет ей братом, пока жив, но ему не хватило мужества вытолк-

нуть слова изо рта.

Лето завершилось, начался еще один учебный год, и в середине сентября Фергусон взялся писать рассказ, который к тому времени, как он его закончил перед самым Днем Благодарения, постепенно перерос в историю более протяженную. Он подозревал, вдохновила его шутка о двух А. Ф., которая шуткой не была, но он в этом сомневался, поскольку рассказ явился ему ниоткуда полностью вылепившимся замыслом, однако так или иначе и Федерман в нем, надо полагать, присутствовал — с учетом того, что Федерман сейчас находился с ним все время, всегда отныне с ним будет. Не Арчи и Арти, как его сперва подмывало написать, а Ханк и Франк, вот как звали главных героев, рифмующаяся парочка, а не созвучная, но все равно пара на всю жизнь, в данном случае — пара ботинок, так рассказ и получил свое название: «Душевные шнурки».

Ханк и Франк, левый ботинок и правый ботинок, впервые встречаются на обувной фабрике, где их сделали: их сводит вместе случайно, когда последний человек на конвейере кладет их в одну обувную коробку. Они — крепкая, хорошо сработанная пара бурых кожаных ботинок на шнуровке, такие обычно еще называют «баш-

маками», и хотя личности их слегка отличаются (Ханк скорее тревожен и погружен в себя, а Франк прям и бесстрашен), друг от друга они не отличаются так, как отличаются друг от друга Лорел и Гарди, или же Гекл и Джекл, или Абботт и Костелло, но отличаются, быть может, так, как различались между собой Фергусон и Федерман — две горошины из одного стручка, однако ни в коей мере не тождественные.

Ни тот ни другой не счастливы в коробке. На этом рубеже они еще чужие друг другу, и в коробке не только темно и душно — они прижаты друг к другу сокровенно и компрометирующе, что приводит поначалу к недружелюбным сварам, но затем Франк говорит Ханку, чтобы взял себя в руки и успокоился, их свело друг с другом, нравится им это или нет, и Ханк, понимая, что у него нет выбора, лишь наилучшим образом воспользоваться сложившимся скверным положением, извиняется за то, что встал в их отношениях *не с той ноги*, на что Франк отвечает: *Это что, шутка у тебя такая?* — имея в виду, что не счел его замечание смешным ни в малейшей мере, и потому Ханк замечает в ответ, понизив голос, с протяжным юным выговором: *Ах, очень на то надеваюсь, братец башмак. Нельзя в жизни без*

хохмочек, верно же?

Коробку с Ханком и Франком внутри кладут в фургон и везут в Нью-Йорк, где она оказывается на складе обувного магазина Флоршайма на Мадисон-авеню, еще одна коробка добавилась к сотням, сложенным на полках в ожидании продажи. Такова их судьба — быть проданными, вытащенными из коробки мужчиной с одиннадцатым размером ноги[23] и унесенными с того склада навсегда, — и Ханку и Франку не терпится начать жить, оказаться на вольном воздухе и гулять со своим хозяином. Франк уверен: их продадут быстро. Они — пара повседневной обуви, говорит он Ханку, а не какая-то финтифлюшка вроде парадных ботинок из лакированной кожи, или тапок Санта-Клауса, или валенок, а поскольку повседневная обувь всегда очень востребована, пройдет совсем немного времени, и они смогут распрощаться с этой их унылой, противной коробкой. Может, оно и так, отвечает Ханк, но если Франку хочется поговорить о шансах и статистике, ему следует подумать о размере одиннадцать. Размер одиннадцать лично его тревожит. Это гораздо больше среднего, и кто знает,

---

[23] Сноски: 23

В Европе соответствует 44-45-му размеру.

сколько им придется ждать, пока не зайдет мистер Большеног и не попросит их примерить? Он был бы гораздо счастливее с размером восемь или девять[24], говорит он. Вот что носит большинство мужчин, а большинство означает — быстрее. Чем больше ботинок, тем дольше займет продажа, а номер одиннадцать — это чертовски здоровенный башмак.

Лучше б радовался, что мы не двенадцать или тринадцать[25], говорит Франк.

Я и радуюсь, отвечает Ханк. А еще я рад, что не шестой номер[26]. Но вот тому, что я одиннадцатый, — не рад.

После трех дней и трех ночей на полке, унылого времени, что лишь затягивает их сомнения и лихорадочные подсчеты того, когда и как их спасут — если их вообще когда-нибудь спасут, наутро в конце концов заходит продавец, из башни коробок вытаскивает их узилище, в которое они заточены, и уносит их в торговый зал магазина. Ими заинтересовался покупатель! Продавец

---

[24] Сноски: 24
Размер 41–42-й.

[25] Сноски: 25
Размеры 45–47-й.

[26] Сноски: 26
Размер 39-й.

снимает с коробки крышку, и в тот первый миг, когда их озаряет светом мира, у Ханка и Франка все начинает зудеть от радости — радости такой обширной и пьянящей, что она разливается аж до кончиков их шнурков. Они снова могут видеть — видеть впервые с тех пор, как фабричный рабочий положил их в коробку, и вот теперь, когда продавец достает их из коробки и ставит на пол перед сидящим покупателем, Франк говорит Ханку: *Кажется, мы в деле, приятель*, — на что Ханк отвечает: *Очень на это надеваюсь*.

(Примечание: Ни в каком месте рассказа Фергусон не ставит вопрос о том, как ботинкам удается разговаривать, несмотря на то, что все ботинки на шнуровке снабжены языками. Если это узкое место, то он разбирается с ним, отказываясь его учитывать. Тем не менее язык, на котором говорят между собой Ханк и Франк, очевидно, не слышим для людей, поскольку они вдвоем ведут разговоры где угодно и когда угодно, без страха, что их могут подслушать — по крайней мере, живые люди. В присутствии другой обуви, однако, они вынуждены идти на большие околичности, ибо вся обувь в магазине говорит по-обувному. Вообще-то никто из первых читателей Фергусона не воспротивился этому нелепому, выдуманному

языку. Все, казалось, согласились с тем, что это допустимая *поэтическая вольность*, но несколько читателей решили, что автор зашел слишком далеко в том, что подарил Ханку и Франку способность видеть. Обувь слепа, сказал один, это все знают. Как вообще ботинки способны видеть? Четырнадцатилетний автор на миг задумался, пожал плечами и ответил: *Глазками для шнурков, конечно. Как еще?*)

Покупатель — крупный мужчина, здоровенная туша с большим пузом и распухшими лодыжками, кожа у него влажная и бледная, как у человека, возможно, страдающего диабетом или чем-то сердечно-сосудистым. Не идеальный, возможно, хозяин, но, как Ханк и Франк говорили друг другу бессчетно раз за последние трое суток, *кто в тебя обулся — тот и приглянулся*. Они обязаны покориться воле того, кто их купит, кем бы человек этот случайно ни оказался, ибо их работа — защищать ноги, все и всякие ноги при любых обстоятельствах, и принадлежат ли ноги эти безумцу или святому, обувь должна свою задачу выполнять в полном соответствии с пожеланиями любого хозяина. И все же это важный миг для только что изготовленных башмаков, таких новых и сверкающих в жесткости своего

верха из воловьей шкуры и ничем не стесненной подошвы, ибо это миг, когда они наконец начнут собственную жизнь как полностью дееспособная обувь, и пока продавец натягивает Ханка на левую ногу покупателя, а затем — и Франка на правую, оба они постанывают от удовольствия, пораженные, до чего хорошо ощущать в себе ногу, а затем, что поразительно, наслаждение их только увеличивается, когда на них затягивают шнурки и два их конца связываются хрустким, тугим бантиком.

Похоже, неплохо сели, говорит продавец покупателю. Хотите в зеркало посмотреть?

Так оно и вышло, что Ханку и Франку удалось впервые увидеть себя вместе — глядя в зеркало, пока толстяк тоже в него смотрится. До чего же мы симпатичная пара, говорит Франк, и в кои-то веки Ханк с ним согласен. Лучшие башмаки на свете, говорит он. Или, как мог бы выразиться бард, *сами цари Тачалии*.

Однако, пока Ханк и Франк любуются собой в зеркале, толстяк начинает качать головой. Что-то я не уверен, говорит он продавцу, они какие-то неуклюжие.

Человеку с вашим телосложением нужна прочная обувь, отвечает продавец, излагая это

обыденным тоном, чтобы не обидеть клиента.

Конечно, бормочет толстяк, это уж само собой, нет? Но это же не значит, что я должен расхаживать в этих галошах.

Это классика, сэр, сухо отвечает ему продавец.

У легавых такие башмаки. Вот на что они, по-моему, похожи, говорит толстяк. Это ботинки для филера.

После значительной паузы продавец прочищает горло и говорит: Могу я вам предложить взглянуть на что-нибудь еще? На пару полуботинок с перфорированным носком, быть может?

Ага, полуботинки, говорит покупатель, согласно кивая. Вот я чего хотел. Не башмаки — полуботинки.

Ханка и Франка опять кладут в коробку, и чуть погодя пара незримых рук поднимает их с пола и уносит обратно на склад, где они вновь вливаются в ряды непроданных. Ханка сжигает негодованием. Его распалили замечания толстяка, и он буквально выплевывает слова *неуклюжие* и *галоши* в сорок четвертый раз за последний час, когда Франк наконец открывает рот и умоляет его прекратить. Разве ты не понимаешь, до чего нам повезло? — говорит он. Этот тип не только обалдуй, он — жирный обалдуй, а

носить на себе такую тяжесть — последнее, чего бы нам хотелось. Если старый мистер Жирштейн не весит триста фунтов, весит он по крайней мере добрых двести шестьдесят — двести семьдесят, а ты только представь, какой будет ежедневный износ, если ходить с такой горой на себе. Нас бы потихоньку расплющило, нас бы сносили до срока и выбросили, не успели б мы толком и пожить. Наверное, мало на свете мужчин в цыплячьем весе, кто носит размер одиннадцать, но мы хотя бы можем надеяться на человека подтянутого и стройного, на человека с легким и ровным шагом. Не нужны нам те, кто ковыляет или переваливается, Ханк. Мы заслуживаем лучшего, потому что мы *классика*.

За следующие три дня случилось еще две осечки, одна из них — почти попадание (человек влюбился в них с первого взгляда, но обнаружил, что ему нужен размер десять с половиной[27]), а другая — в молоко с самого начала (хмурый подросток-великан, который принялся насмехаться над матерью за то, что она пыталась примерить ему эдакие *уродские канонерки*), и ожидание тянется дальше, столь унылое своим сонным

[27] Сноски: 27
Размер 43–44,5-й.

однообразием, что Ханк и Франк уже начинают задаваться вопросом, не обречены ли они оставаться на полке до скончания дней, нежеланные, вышедшие из моды, всеми забытые. Затем, ровно через трое суток после оскорбления канонерками, когда вся надежда уже улетучилась из их сердец, в магазин входит покупатель — тридцатилетний мужчина по имени Абнер Квайн, шести футов ростом и весом умеренные сто семьдесят фунтов, размер ноги одиннадцать — он не только ищет себе пару башмаков, но и не согласится ни на что иное, кроме таких башмаков, и вот так Ханка и Франка снимают с полки в четвертый раз, каковой и оказывается последним, концом их нервной недели в черном чистилище обувной коробки, поскольку едва Абнер Квайн сует в них свои ноги и прохаживается по магазину на пробу — тут же говорит продавцу: *Отлично, как раз то, что я хотел*, — и двое задушевных шнурков наконец обретают хозяина.

Какая, в самом деле, разница, что Квайн оказывается легавым? Да никакой вообще-то, по крупному-то счету, но после того, как толстый покупатель отвергает Ханка и Франка под предлогом того, что они похожи на пару *башмаков легавого*, для них это нечто вроде больной мозоли,

и они отнюдь не смеются такому совпадению, а обижены и ошеломлены, ибо если грубые башмаки, по сути, обувь легавых, то им, похоже, на роду было написано, что носить их станет топтун, фигура, над которой в народе немало потешаются, и быть излюбленной обувью топтунов этого мира, то есть, самим воплощением топтунства, — означает, что и в них самих есть нечто несуразное.

Давай признаем, говорит Ханк. Мы не были созданы для смокингов и городских загулов.

Может, и нет, отвечает Франк, но мы крепки и надежны.

Как два танка.

Ну а кому вообще охота быть спортивным авто?

Башмаки легавого, Франк. Вот что мы такое. Ниже падать просто некуда.

Но ты посмотри на нашего легавого, Ханк. Что за прекрасная у него фигура. И он нас хочет. Ниже или нет, но он нас хочет, и меня это вполне устраивает.

Крутого скорохода Абнера Квайна недавно повысили до детектива. Свою дубинку и обмундирование патрульного он сменил на пару деловых костюмов, шерстяной на зиму и легкий, быстросохнущий — для лета, а также раскошелился на

дорогую пару ботинок во «Флоршайме» (на Ханка и Франка!), которые намерен носить на детективную службу каждый день круглый год, какая б ни стояла погода. Квайн живет один в маленькой двухкомнатной квартирке в Хеллс-Китчен, в 1961-м это не лучший район, но квартплата низкая, а участок его всего в четырех кварталах от жилья, и хотя квартира у него часто бывает отнюдь не чиста (у детектива мало тяги к уборке дома), Ханка и Франка поражает, насколько хорошо заботится он о них самих. Хоть хозяин их и молод, но он — человек старой школы и к своей обуви относится с уважением, по вечерам методично развязывает шнурки и оставляет ботинки на полу у своей кровати, а не скидывает их пинками и не запирает в чулане, поскольку обуви нравится быть подле своего хозяина все время, даже когда она не на службе, а стаскивать с ног ботинки, не развязав шнурков, может привести в конечном итоге к серьезным структурным повреждениям. Ведя расследования (главным образом — грабежей), Квайн бывает очень занят и рассеян, но стоит чему-нибудь упасть ему на ботинок, будь то белая плюха голубиного помета или красная клякса кетчупа, как он быстро стирает оскорбительную субстанцию платочком «Клинекс», какие носит

у себя в правом нагрудном кармане. А лучше всего — его частые заходы на вокзал Пенн, посовещаться с главным своим доносчиком, старым черным дядькой по имени Мосс, который, так уж вышло, заправляет стойкой для чистки обуви в главном зале, и когда Квайн плюхается в кресло получить свежие наколки от Мосса, он нередко просит старика заодно уж навести ему глянец, чтобы скрыть истинную причину своего визита, тем самым убивая сразу двух, так сказать, зайцев — выполняя свою работу и проявляя заботу о башмаках, и Ханк с Франком тут — счастливые выгодоприобретатели такой уловки, потому что Мосс — мастер своего дела, у него быстрейшие, проворнейшие руки в этом занятии, и натираться его бархатками, массироваться его щетками — ни с чем не сравнимое наслаждение для такой повседневной обуви, как Ханк и Франк, головокружительное погружение в глубины обувной чувственности, и как только уверенные руки Мосса их отшворят да надрают, они оказываются сияюще чисты и заодно водонепроницаемы, победители на всех фронтах.

Хорошая, стало быть, жизнь, примерно лучшая из всех возможных, на какие можно было надеяться, но *хорошая* отнюдь не означает *легкая*,

поскольку такова уж судьба ботинок — много работать, даже в самых положительных обстоятельствах, особенно в таком месте, как Нью-Йорк, где подошве выпадает ходить месяцами и не наступать ни на единый клочок травы или малейший участочек мягкой почвы, где перепады жары и холода способны вредить долговременному здоровью вещей из натуральной кожи, не говоря уже о губительности ливней и снегопадов, непреднамеренных попаданий в лужи и сугробы, беспрестанных промоканий и орошений, обо всех унижениях, что выпадают на их долю, когда погода поочередно сменяется на мокрядь и ненастье, множества чего можно избежать, если их сознательный хозяин будет еще сознательней, да только Квайн не из тех, кто верит в галоши или резиновые сапоги, и даже в сильнейшую метель избегает он теплых бот, все время предпочитая общество многострадальных своих башмаков, для которых одновременно и честь — такое его доверие к ним, — и источник раздражения — его непредусмотрительность.

Топчет мостовые: изо дня в день вот чем занимается Квайн, и вот именно поэтому Ханк и Франк делают то же. Если и есть какое-то утешение в том, что их каблуки и подметки снашиваются от

постоянных абразивных взаимодействий кожи и асфальта, оно таково: они в этом участвуют вместе — братья, у которых одна судьба на двоих. Как и у большинства братьев, однако, бывают у них и свои мгновения разногласий и вздорности, свои вражды и выплески вспыльчивости, ибо пусть даже они присоединены к телу одного человека, самих их двое, и отношения каждого к этому телу слегка различаются, поскольку у Квайна левая нога и правая нога не всегда делают одно и то же одновременно. Взять, к примеру, сиденье на стуле. Как левша, он склонен закидывать левую ногу на правую гораздо чаще, чем правую на левую, а мало какое ощущение сравнится в приятности с тем, какое возникает, когда тебя поднимают в воздух, когда отрываешься на некоторое время от земли и подошва открывается целому миру, и Ханк, левый ботинок, стало быть, имеет возможность наслаждаться таким переживанием чаще Франка, а Франк тем самым таит на Ханка некую обиду, которую он, по большей части, старательно подавляет, но иногда взлет вводит Ханка в такое бурливое настроение, что он никак не может сдержаться и не насыпать соли на рану, когда хохочет со своего высокого насеста, болтаясь вправо с правого колена своего хозяина и задирая

Франка: *Как там внизу погодка, Франки, мальчик мой?* — и Франк при этом неизбежно теряет самообладание и велит Ханку заткнуться и не лезть не в свое дело. В то же время Франк часто жалеет Ханка за то, что тот — левый ботинок левши, поскольку Квайн, как правило, делает первый шаг левой ногой, и когда б ни остановились они под светофором в дождливый или снежный день, первый шаг через дорогу потом — всегда самый опасный, часто катастрофическое форсирование канавы вброд, и сколько уж раз Ханка окунали в лужи и макали в промокшие горки слякоти, а Франк оставался сухим? Слишком много раз, всех и не сочтешь. Франк редко смеется над унижениями и почти-утоплениями своего брата, но все же иногда, если настроение у него особенно кислое, просто не может сдержаться.

И все же, как ни крути, несмотря на все их нечастые размолвки и недопонимания, они — лучшие друзья, и, стоит им взглянуть на башмаки, какие носит напарник их хозяина, пару матерых стариканов по имени Эд и Фред (у всех пар обуви в рассказе Фергусона имена рифмовались), Ханк и Франк понимают, до чего они везучие — достались такому приличному человеку, как Абнер Квайн, а не громиле-неряхе Вальтеру Бентону, с

которым тот работал: он, казалось, работой своей доволен больше всего, лишь когда лупит подозреваемых в комнате для допросов или пинает их под зад своими башмаками. Эд и Фред делали за него подобную грязную работу за все эти годы так часто, что она их ожесточила, и они превратились в парочку злобных подонков, таких циничных и ненавидящих весь мир, что даже друг с другом почти год не разговаривают — не потому, что уже не ладят между собой, а просто оттого, что им не сдалось. Мало того, Эд и Фред уже начинают разваливаться, ибо Бентон — хозяин небрежный, а также глупый, и он позволил каблукам своих башмаков сноситься без замены, ничего не делает с дырой, что появилась у Эда в пятке внизу, или с треснувшей кожей на сгибе большого пальца у Фреда в носке, и не раз за все то время, что Ханк и Франк знакомы с этим *захезанным отребьем* (как их называет Ханк), их ни разу не чистили. Напротив, Ханка и Франка чистят дважды в неделю, и за те два года, что они служат своему хозяину, каждому из них дали по четыре новых каблука и по две новые подметки. Они себя чувствуют молодо, а вот Эд и Фред, хотя на службу поступили всего на полгода раньше, стары, уж так стары, что им, можно сказать, и

конец, хоть сейчас на свалку.

Поскольку ботинки они рабочие, редко им доводится сопровождать хозяина, когда он выходит куда-то с дамами. Любовные утехи требуют чего-то не столь непритязательного и приземленного, как башмаки, поэтому Ханка и Франка отставляют в сторону в пользу парадных полуботинок Абнера К. с тремя глазками или черных мокасинов из крокодильей кожи, отчего Ханк и Франк неизменно преисполняются разочарованием — не только потому, что боятся остаться в одиночестве в темноте, но потому, что в нескольких амурных выходах им все же довелось сопровождать Квайна (когда тому не хватало времени вернуться после работы домой и переодеться), и им известно, до чего веселыми могут быть подобные выходы, особенно если хозяин проводит ночь в женской постели, а это означает, что Ханку и Франку выпадает провести ночь на полу у кровати, и, поскольку квартира это женская, туфли женщины тоже там, чаще всего — прямо рядом с ними, и до чего буйно и весело было им в первый раз, когда они болтали, хохотали и пели песни с Флорой и Норой, милейшей парочкой красных атласных туфелек на высоком каблуке, да и все остальные случаи

после, в квартире совсем другой женщины, крупной блондинки, которую хозяин называет либо Алиса, либо Дорогая, когда они куролесили у нее дома на Гринвич-стрит с парочкой черных лодочек по имени Лия и Мия и парой мокасинок Молли и Долли, и как же девчонки эти выпендривались и хихикали, когда увидели, как их хозяин снял с себя всю одежду и оголился совершенно, и как пялились, увидев, как обильные груди на их хозяйке подскакивают в судорогах любви. Роскошные то были времена, блистательные — по сравнению с тусклым миром преступников и судей в черных мантиях, и тем драгоценней для Ханка и Франка, что случалось оно так редко.

Проходят месяцы, и все более очевидно им становится, что Алиса для их хозяина — Та Самая. Хозяин не только перестал встречаться с другими женщинами, но почти все свое свободное время теперь проводит с нею, своей возлюбленной Дорогой, которая быстро заимела себе и еще несколько других имен, среди них: Ангелочек, Голубушка, Красотка и Мартышка, — признаки все более растущей близости, что подводит к неизбежному мигу в конце мая, когда, сидя с Алисой на скамейке в Центральном парке, Квайн наконец-то выпаливает главный вопрос. Поскольку

день рабочий, Ханк и Франк тоже тут, свидетели его предложения, и их более чем обнадеживает нежный ответ Алисы: *Я сделаю все, чтобы ты был счастлив, любимый,* — и это, похоже, предполагает, что и они будут счастливы, так же счастливы с новым устройством дел, как были и со старым.

А вот чего, однако, Ханк и Франк не поняли — так того, что брак меняет все. Тут же дело не просто в том, что два человека решают жить вместе, тут начало долгой борьбы, в которой воля одного партнера сталкивается с волей другого, и, хотя муж часто вроде бы одерживает верх, владеет положением именно жена. Новобрачные выезжают из своих квартир в Хеллс-Китчен и Гринвич-Виллидж и размещаются попросторнее и поудобнее, на Западной Двадцать третьей улице. Поскольку Алиса оставляет свое место секретарши в конторе районного прокурора, всеми домашними делами занимается она, и, как правило, если спрашивает мнение мужа о новых занавесках, какие хочет купить, новом ковре, что она планирует постелить в гостиной, новых стульях, о которых мечтает для мебельного гарнитура в столовой, отклик Квайна всегда бывает один и тот же: *Что захочешь, детка, решать тебе,* — а это, по сути, значит, что все решения

принимает Алиса. Но не важно, думают Ханк и Франк. Может, в курятнике теперь заправляет и Алиса, им все равно выпадает проводить целые дни со своим хозяином, топтать мостовые в поисках жулья, греть подозреваемых в комнате для допросов, являться в суд, чтобы давать показания на процессах, проверять телефонные наводки, печатать рапорты, бегать по переулкам всякий раз, когда негодяю хватает глупости броситься наутек, ходить на вокзал Пенн два раза в неделю на полировку Мосса, а теперь, когда Бентон сдал стариков Эда и Фреда в утиль, у них появилась новая пара коллег по работе, Нед и Тед, типчики хмурые, спору нет, но и вполовину не такие скверные, как недавно почившее захезанное отребье, а это вроде бы предполагает, что хоть многое сейчас и иначе, суть остается ровно той же самой, а то и стала чуточку лучше прежнего. Ну или так Ханк и Франк себя убеждают, но не знают они вот чего, самодовольство их вот что не дает ухватить: у сладкогласой Алисы есть миссия, и в своих попытках улучшить жизнь их хозяина она не остановится на занавесках и коврах. Не прошло и трех месяцев после свадебной церемонии, как она вторгается в царство мужниной одежды, в частности — той, какую тот носит на

работу: Алиса утверждает, что одежда эта скучна и неопрятна для человека, которому суждено однажды стать капитаном, и хотя Квайн отвечает ей поначалу, несколько оправдываясь, говорит, что костюмы у него вполне годятся, они более чем приличны для той работы, какой он занимается, Алиса изматывает его сопротивление, говоря ему, какой он красавец и до чего блистательную фигуру будет представлять собой в одежде от лучших портных. Комплименты ее и льстят их хозяину, и раздражают его, и хозяин отпускает безмозглую шуточку о том, что деньги не растут на деревьях, но он знает, что уже проиграл этот бой, и на следующий день покорно отправляется вслед за женой в магазин мужской одежды на Мадисон-авеню, где гардероб его снабжается парой новых костюмов, четырьмя белыми рубашками и шестью тощими галстуками, которые сейчас вошли в моду. Три утра спустя, когда хозяин обряжается в один из тех новых костюмов, чтобы идти на работу, Алиса расплывается широкой улыбкой и говорит ему, до чего внушительно он выглядит, но вслед за этим, не успевает он и слова молвить, она бросает взгляд на его ноги и говорит: *Боюсь, нам придется что-то сделать с этими ботинками.*

А что с ними не так? — спрашивает Квайн, уже начиная проявлять больше раздражения.

Да все, в общем, так, говорит она. Они просто старые, вот и все — и не подходят к костюму.

Чушь какая. Лучшая пара ботинок, что у меня когда-либо была. Я их купил во «Флоршайме» через день после того, как меня повысили, и с тех пор ношу, не снимая. Это мои счастливые ботинки, Ангелок. Три года на работе, и за все это время в меня ни разу не выстрелили, ни разу не заехали по лицу, на теле у меня ни единого синяка.

Ну так и всё, Абнер. Три года — долгий срок.

Для пары таких башмаков — нет. Они еще даже толком не разносились.

Алиса поджимает губы, вскидывает голову и игриво поглаживает подбородок, словно бы стараясь оценить ботинки с суровой беспристрастностью философа. Наконец произносит:

Слишком неуклюжие. В костюме этом ты выглядишь важным человеком, а вот ботинки выдают в тебе легавого.

Но я же он и есть. Я легавый. Клятый топтун.

Лишь из-за того, что ты легавый, вовсе не обязательно при этом выглядеть легавым. Тебя выдают ботинки, Абнер. Входишь в комнату, и все думают: Вот легавый. А с правильной парой

обуви нипочем не догадаются.

Ханк и Франк ждут, что хозяин за них заступится, скажет еще несколько слов в их защиту, но Квайн ничего не говорит, ответив на последнее замечание Алисы лишь неопределенным хмычком, а в следующую минуту они уже сопровождают его на пути к двери квартиры, он уходит на работу. День ничем не отличается от любого другого дня, да и следующий тоже ничем не отличается от того дня, что ему предшествовал, и Ханк с Франком уже начинают надеяться, что беседа с Алисой оказалась всего-навсего ложной тревогой, что ее суровые суждения об их ценности для хозяина сам Квайн не разделяет, что всю эту муть сдует прочь, как жидкое, мимолетное облачко. Затем настает суббота, еще один выходной в полицейской работе — и Квайн выходит на улицу с их новым врагом, бесцеремонной, самоуверенной Алисой, в мокасинах выходного дня, а они остаются у кровати, ждут, когда пара вернется, ни на миг не подозревая, что человек, кому они так верно служили последние три года, скоро их предаст, и когда хозяин позже в тот день возвращается и примеряет свою новую пару «оксфордов», Ханк и Франк внезапно понимают, что их выпнули вон и уволили, они пали жерт-

вой чистки новомодного режима, захватившего власть в хозяйстве, а поскольку никакой помощи им ниоткуда не дождаться, нет такого трибунала, куда они могли бы подать жалобу или где можно представить их версию событий, с жизнью их, считай, покончено, они растоптаны дворцовым переворотом, который иначе известен под названием *брак*.

Что скажешь? — спрашивает Квайн у Алисы, дошнуровав «оксфорды» и встав с кровати.

Прекрасно, говорит она. Лучшее из лучшего, Абнер.

Пока Квайн ходит по комнате, знакомя свои ноги с упругостью и текстурой своих новых рабочих компаньонов, Алиса показывает на Ханка и Франка и спрашивает: А что мне делать с этим старьем?

Не знаю. Поставь в чулан.

А может, лучше выбросить?

Нет, поставь в чулан. Нипочем не знаешь, когда они могут пригодиться.

И вот Алиса ставит Ханка и Франка в чулан, и хотя прощальные слова хозяина вроде бы оставляют некоторую надежду на то, что однажды их вновь призовут на службу, месяцы проходят без всяких изменений, и помаленьку они

смиряются с тем, что хозяин больше никогда не сунет в них ноги. Два башмака огорчает их вынужденная отставка, и все первые недели в чулане они беседуют о том, как жестоко с ними обошлись, стенают и жалуются в долгих диатрибах, при этом понося хозяина и его жену. Не то чтоб все эти стоны и вой, конечно, принесли им какую-то пользу, и по мере того, как они покрываются пылью и начинают осознавать, что чулан теперь и есть весь их мир, что никогда они его больше не покинут до того самого дня, как их отнесут на свалку, жаловаться они перестают и принимаются разговаривать о прошлом, предпочитая заново переживать прежние деньки, а не пережевывать мытарства настоящего, и до чего ж хорошо вспоминать их приключения с хозяином, когда были они молоды и полны сил, и у них было собственное место под солнцем, до чего приятно припоминать погоду, в которой ходили они, мириады ощущений от того, что они снаружи, на вольных ветрах планеты Земля, ощущение предназначения, которое выпало им, раз принадлежали они величию человеческой жизни. Проходят еще месяцы, и воспоминания их постепенно исчерпываются, потому что им уже трудно разговаривать, нелегко даже вспоми-

нать — не потому, что Ханк и Франк состарились, а оттого, что их отставили, ведь ботинки, о которых больше не заботятся, быстро катятся под уклон, их верх высыхает и трескается, если их не чистить и не драить, нутро застывает и коробится, если в него больше не проникают человечьи ноги и не смазывают его своим жиром и пóтом, а это необходимо для того, чтоб были они мягкими и гибкими, и медленно, но верно уже ненужные ботинки начинают напоминать деревянные чурочки, а дерево — такое вещество, какое не способно думать, говорить или вспоминать, и вот теперь Ханк и Франк тоже стали напоминать две чурочки, они почти что впали в кому, живут в мире теней, где лишь черная пустота и едва мерцают огоньки свечей, и до того бесчувственны стали тела их за долгий срок заключения, что они ничего не ощущают, и тут однажды днем трехлетний сын Квайнов Тимоти сует в них ноги и топает в них по квартире, смеясь, а когда мать его видит крохотные ножки сына в этих громадных, коматозных башмаках, она и сама начинает смеяться. Ты что творишь, Тимми? — спрашивает она. Я играю в Папку, отвечает он, и тогда мать качает головой и хмурится, и говорит мальчонке, что она ему даст поиграть пару больших ботинок

получше, а эти башмаки такие грязные и сношенные, что сейчас самое время от них избавиться. До чего кстати, что Ханк и Франк не способны больше ничего ни чувствовать, ни слышать, ибо как только Алиса дает сыну нынешнюю отцову пару парадных полуботинок, Ханка и Франка она поднимает левой рукой, правую руку кладет Тимми на макушку и ведет его в вестибюль к дверце мусоросжигателя, которая располагается в крохотном закутке за незапертой дверью. Я и забыла об этом старом захезанном отребье, говорит она, надавливая на ручку дверцы мусоросжигателя и позволяя сыну *отдать последние почести*, что означает: он сам может избавиться от башмаков, и поэтому малютка Тимоти Квайн хватается за Ханка и сбрасывает его вниз на семь этажей прямо в подвальную печь, говоря при этом: *До свиданья, ботинок*, — а потом берется за Франка и повторяет то же действие, сказав: *До свиданья, ботинок*, — и Франк следует за братом в пламя внизу, и не успевает новый день расцвести над островом Манхаттан, два душевных шнурка уже превращаются в неразличимую массу красных тлеющих углей.

Фергусон теперь учился в девятом классе — говоря строго, это был его первый год старших

классов, но в данном случае — последний средней школы, и среди предметов, какие он изучал в первом семестре, была машинопись, факультативный курс, оказавшийся для него ценнее всего остального, что он себе в том году взял. Поскольку он так хотел овладеть этим новым навыком, что пошел к отцу и попросил у него денег купить себе собственную печатную машинку — и ему удалось убедить пророка прибылей раскошелиться, приведя довод, что машинка ему со временем понадобится, а цены никогда не опустятся ниже, чем сейчас, и тем самым Фергусон обеспечил себе новую игрушку — крепкую, изящно сработанную портативную «Смит-Корону», которая немедленно получила статус его *самой драгоценной собственности*. Как же полюбил он эту писательскую машинку, и до чего хорошо было прижимать пальцы к ее округлым, вдавленным клавишам и смотреть, как на стальных штырьках в ней вылетают буквы и бьют по бумаге, буквы двигались вправо, каретка перемещалась влево, а потом — звяк звоночка и скрежет зубцов, занятых тем, что опускали его на следующую строку, а одно черное слово ползло меж тем за другим до самого низа страницы. То был такой взрослый инструмент, такой серьезный, и Фер-

гусон радовался ответственности, какой тот от него требовал, ибо жизнь теперь была серьезна, а раз Арти Федерман никогда не удалялся от него больше чем на полдюйма, Фергусон знал, что настала пора начинать расти.

Когда Фергусон в начале ноября дописал от руки первый черновик «Душевных шнурков», на курсе по машинописи он уже так преуспел, что второй черновик стал писать уже на «Смит-Короне». Выправив этот вариант и снова перепечатав рассказ, он увидел, что окончательная рукопись — пятьдесят две страницы через два интервала. Ему казалось непостижимым, что он написал так много, что так или иначе он выдал больше пятнадцати тысяч слов о *безмозглой паре ботинок*, но после того, как этот замысел пришел ему в голову, одно все время вело к чему-то другому, голова его продолжала полниться новыми ситуациями, о которых можно было бы написать, новыми гранями характеров, которые можно исследовать и развивать, и к тому времени, как он закончил, проекту уже оказалось посвящено больше двух месяцев его жизни. От того, что сделал это, он испытывал некоторое удовлетворение, конечно, любой четырнадцатилетка мог бы гордиться собой лишь потому, что сочинил такое

крупное произведение, но когда перечел рассказ уже в пятый раз и внес последнюю окончательную правку, он по-прежнему не знал, хорошо у него получилось или нет. Поскольку ни тот, ни другой его родитель не был способен оценить его рассказ, что там говорить о любом рассказе, когда-либо написанном за всю историю человечества, и поскольку тетя Мильдред и дядя Дон уехали в Лондон на весь осенний семестр (Мильдред дали полугодовой творческий отпуск) — это означало, что Ной теперь круглосуточно жил со своей матерью и потому был недоступен до января, — и поскольку он слишком боялся поделиться своим произведением с единственным своим одноклассником, чьему мнению он бы доверился, Фергусон неохотно отдал рассказ своей учительнице английского миссис Бальдвин, которая стояла у доски перед девятым классом с 1920-х годов, и до пенсии ей оставался всего год или два. Фергусон знал, что рискует. Миссис Бальдвин превосходно задавала им викторины на словарный запас и контрольные по правописанию, мастерски объясняла, как составлять схему предложения, и была до ужаса хороша в прояснении закавык грамматики и стиля, но ее вкус в литературе склонялся к отсталой школе

устаревших сокровищ, что ясно проявлялось в ее восторгах от Брайанта, Виттьера и Лонгфелло, этих напыщенных отставных, кто господствовал в программе, когда она вела класс по *чудесам американского стиха девятнадцатого века*, и хотя смурнобровый Э. А. По Фергусона там присутствовал со своей непременной черной птицей, Уолта Уитмена не было — *слишком нечестив!* — как не было и Эмилии Дикинсон — *слишком непонятна!* К ее чести, однако, миссис Бальдвин также задавала им «Повесть о двух городах», что стало для него первым знакомством с Диккенсом на печатной странице (однажды он смотрел по телевизору экранизацию «Рождественской песни»), и хоть Фергусон радостно присоединился к своим друзьям в вековой традиции называть этот роман «Новость о двух бородах», на книжку он запал сильно — обнаружил, что обороты в ней неистово энергичны и удивительны, в ней неистощимая изобретательность, где ужас и юмор смешиваются так, как ему ни разу в жизни раньше не попадалось ни в какой другой книге, и он был благодарен миссис Бальдвин за свое знакомство с тем, что он нынче считал *лучшим романом из всех им прочитанных*. Потому-то и решил он показать ей свой рассказ — из-за Дик-

кенса. Очень жаль, что он не умел писать так же хорошо, как старина Чарльз, но он всего-навсего начинающий, автор-любитель, у которого на счету покамест всего одно произведение, и он надеялся, что она это примет в расчет.

Все прошло не так уж плохо, как могло бы, но в иных отношениях все было гораздо хуже. Миссис Бальдвин исправила ему опечатки, орфографические ошибки и грамматические ляпы, а это не только помогло ему, но и показало, что рассказ она прочла с некоторым тщанием, и когда они сели обсуждать произведение после уроков через шесть дней после того, как он отдал ей рукопись, она похвалила его за настойчивость и богатство воображения, и, если быть совсем уж откровенной, добавила она, ее поразило, что у такого очевидно нормального, уравновешенного мальчика могут быть такие темные, тревожащие мысли о мире. Что же касается самого рассказа, ну, он, конечно, нелеп — отъявленный пример жалкого заблуждения, зашедшего не туда, но даже если допустить, что пара ботинок способна думать, чувствовать и вести беседы, что именно Фергусон пытался свершить, изобретая этот свой мир комиксов? Там, несомненно, есть кое-какие трогательные и забавные моменты, некоторые

проблески подлинного литературного таланта, но по большей части рассказ ее покоробил, и ей непонятно, почему Фергусон выбрал именно ее своим первым читателем, поскольку он, должно быть, знал, что ей не понравится его использование слов на известные буквы (голубиный *помет* на стр. 17, *срань* господня на стр. 30 — их она отметила ему, тыкая пальцем в те строки, где эти слова были напечатаны), не говоря уже о сквозной насмешке над полицией, начиная с уничижительных понятий *топтун* и *легавые башмаки*, а после чего оскорбление лишь ужесточилось изображением капитана Бентона вечно пьяным, свирепым садистом — разве Фергусону неизвестно, что ее собственный отец служил начальником полиции Мапльвуда, когда она была маленькой девочкой, неужели она рассказывала классу недостаточно историй о нем, чтобы это стало окончательно ясно? — но хуже всего, сказала она, хуже прочего — это скабрезный тон всего рассказа, не только то, что Квайн скачет из постели в постель разных безнравственных женщин прежде, чем делает предложение Алисе, но и то, что сама Алиса желает с ним переспать до брака — общественного института, кстати, который сам Фергусон, судя по всему, совершенно

презирает, — и затем, что куда хуже даже худшего, тот факт, что сексуальные двусмысленности не ограничиваются человеческими персонажами, но распространяются и на саму обувь, что это за несообразная мысль, эротическая жизнь обуви, ради всего святого, и как Фергусон вообще может на себя в зеркало смотреть после того, как написал о том, какое наслаждение испытывает ботинок, когда в него вступает нога, или об экстазе, возникающем, когда ботинок чистят и наводят на него глянец, и как вообще ему в голову могла прийти мысль об *обувной оргии* с Флорой и Норой, вот это поистине предел всему, неужели Фергусону ничуть не стыдно за себя, что он раздумывал о подобной мерзости?

Он не знал, как ей ответить. Пока миссис Бальдвин не принялась бомбардировать его своей критикой, он предполагал, что они станут говорить о механике сочинения художественной литературы, о вопросах технических, вроде структуры, ритма и диалога, о важности использования одного слова, а не трех или четырех, о том, как избегать ненужных отступлений и двигать сюжет вперед, о мелких, но важных вещах, какие он еще пытался освоить самостоятельно, но ему и в голову не могло прийти, что миссис Баль-

двин накинется на него, похоже, с нравственных позиций, поставит под сомнение саму суть того, что он написал, и осудит это как *непристойность*. Одобряет она рассказ или нет, но это его работа, и он волен писать, что пожелает, применять слово *срань*, если сочтет его необходимым, к примеру, поскольку люди в настоящем мире говорят это слово по сто раз на дню, и даже если он до сих пор девственник, о сексе он уже узнал достаточно, чтобы понимать: для этих занятий вовсе не нужно быть женатым, человеческая похоть обращает мало внимания на матримониальные законы или не обращает никакого вообще, а что касается половой жизни обуви, как же не видит она, насколько это смешно — смешно до того нелепо и невинно, что любой, читающий эти пассажи, должен быть полумертвым, чтобы не улыбнуться, и да ну ее нахуй, сказал себе Фергусон, у нее нет права упрекать его таким вот манером, однако же, несмотря на его сопротивление, ее слова производили ту работу, на какую она рассчитывала — опаляли ему нутро и сдирали с него кожу, и он так ошалел от ее нападок, что у него не осталось сил защищаться, и когда наконец сумел заговорить — выдавил из себя всего два слова, два слова, что наверняка могли бы числиться среди

самых жалких, какие он когда-либо произносил:

Мне жаль.

Мне тоже жаль, сказала миссис Бальдвин. Знаю, тебе кажется, будто я к тебе строга, но это ради твоего же блага, Арчи. Я не утверждаю, что твой рассказ непристоен — особенно если сравнить его с некоторыми книгами, что печатают у нас в последние годы, — но он вульгарен и безвкусен, и я просто хочу знать, о чем ты думал, когда писал его. Ты что-то имел в виду или просто стараешься шокировать людей набором стертых шуточек?

Фергусону больше не хотелось там сидеть. Ему хотелось встать и выйти из класса и никогда больше не видеть морщинистого лица миссис Бальдвин и ее водянистых голубых глаз. Он хотел бросить школу и сбежать из дому и ездить по железке, как сезонник в Депрессию, выпрашивая себе пропитания у дверей кухонь и в свободное время сочиняя грязные книжонки, быть человеком, никому и ничем не обязанным, смеяться, плюя в рожу этому миру.

Я жду, Арчи, сказала миссис Бальдвин. Тебе что, нечего сказать в свое оправдание?

Вы хотите знать, что было у меня на уме, так?

Да, о чем ты думал.

Я думал о рабстве, сказал Фергусон. О том, как

некоторые люди на самом деле были собственностью других людей и им приходилось делать то, что им велят, с той минуты, как родились, до той минуты, как умрут. Ханк и Франк — рабы, миссис Бальдвин. Они из Африки — с обувной фабрики, — а потом их заковали в цепи и отправили в Америку на судне — в обувной коробке, в фургоне на Мадисон-авеню, — и потом их продали хозяину на аукционе рабов.

Но ботинкам у тебя в рассказе нравится быть ботинками. Ты же не хочешь мне сказать, что рабам нравится быть рабами, верно?

Нет, конечно, нет. Но рабство длилось сотни лет, и сколько раз рабы восставали и бунтовали, сколько раз рабы убивали своих хозяев? Да почти никогда. Рабы устраивались, как умели, в скверных условиях. Они даже рассказывали анекдоты и пели песни, когда могли. Это и есть история Ханка и Франка. Им приходится подчиняться воле хозяина, но это не значит, что они не пытаются извлечь как можно больше из того, что у них есть.

Но ничего этого не чувствуется из написанного, Арчи.

Я не хотел, чтобы это было слишком уж очевидно. Может, в этом вся беда, а может, вы этого

просто не уловили, не знаю. Как бы то ни было, именно это я и имел в виду.

Я рада, что ты мне это рассказал. Это не меняет моего мнения о рассказе, но теперь я хотя бы знаю, что ты старался создать что-то серьезное. Мне рассказ не нравится от всего сердца, понимаешь, а еще больше — от того, что в нем есть кое-что хорошее, и поскольку я женщина уже старая, мне, наверное, никогда не будет нравиться то, что ты делаешь, — но продолжай писать дальше, Арчи, и не слушай меня. Тебе не нужны советы, тебе просто нужно не бросать. Как твой дорогой друг Эдгар Аллан По написал как-то раз одному человеку, желавшему стать писателем: *Будьте дерзки — много читайте — много пишите — мало печатайте — держитесь подальше от мелких остроумцев — и ничего не бойтесь*[28].

Он не стал ей рассказывать о последних страницах рассказа или о том, что думал, когда Алиса ставит Ханка и Франка в чулан. Если миссис Бальдвин не уловила тайных отсылок к рабству, как могла она понять, что чулан — это концентрационный лагерь, а Ханк и Франк тут уже больше не черные американцы, а европейские евреи во

---

[28] Сноски: 28

Из письма Э. А. Поу американскому фермеру, редактору, прозаику и поэту Абидже Меткафу Айде-мл. (1825–1873) от 19 октября 1843 г.

Второй мировой войне, чахнут в заключении, покуда их наконец не сожгут насмерть в мусоросжигателе-крематории? Ничего хорошего бы не вышло, если б он ей это сказал, да и о дружбе незачем было говорить, которая, с его точки зрения, была тем главным, о чем весь рассказ, потому что это бы означало говорить об Арти Федермане, а у него не было желания делиться своей скорбью с миссис Бальдвин. Она могла оказаться права в том, что он не сделал все это более зримым для читателя, и тот ничего не засек, но, опять же, она могла оказаться и слепа, поэтому он не засунул рассказ в ящик и не перестал о нем думать, а исправил ошибки, обведенные миссис Бальдвин в рукописи, и перепечатал текст еще раз, только теперь уже — под копирку, чтобы у него получился второй экземпляр, который на следующий день он отправил авиапочтой тете Мильдред и дяде Дону. Через двенадцать дней после этого он получил письмо из Лондона, которое на деле оказалось двумя письмами в одном конверте, отдельными откликами от каждого, оба — благоприятные и восторженные, ни один не слеп к тому, что не удалось заметить его учительнице. Вот так штука, сказал он себе, когда его захлестнуло великой волной счастья, ибо

даже хотя его тетя и дядя объявили «Душевные шнурки» хорошим рассказом, приговор их никак не менял того, что миссис Бальдвин по-прежнему считала его плохим. Одна и та же рукопись воспринималась иначе разными парами глаз, разными сердцами, разными мозгами. Вопрос уже не стоял о том, что одного человека лупят, а другого голубят, это один человек, которого лупят и голубят одновременно, ибо так в этой игре все и устроено, сообразил Фергусон, и если он намерен в будущем показывать свой рассказ и другим людям, ему придется быть готовым принимать тычки не реже поцелуев — или лупить его будут десять раз на один поцелуй или сотню раз, а поцелуев вообще не достанется.

Рассказ возвращать почтой прямо Фергусону дядя Дон не стал — он отправил его Ною с наставленьем сперва прочесть, а потом отдать. Однажды ранним субботним утром, где-то через неделю после того, как из Лондона прибыли те письма, на кухне, пока Фергусон уминал завтрак из омлета с тостами, зазвонил телефон, и на другом конце провода был Ной — слова он выплевывал пулеметными очередями, говорил, что вынужден тараторить быстро, пока мать вышла за покупками и, вероятно, убьет его, ес-

ли вдруг войдет и застанет за междугородним разговором, в особенности — с Фергусоном, с кем ему из *святилища ее квартиры* ни при каких обстоятельствах разговаривать нельзя, не только потому, что он не настоящий двоюродный брат Ноя, а еще и потому, что по крови связан с *сучкой-бесовкой* (да, сказал Ной, она рехнулась окончательно, это всем известно, а жить с нею тем не менее ему), и все же, когда Ной завершил этот свой задышливый и спотыкливый пролог, он немедленно сбавил темп подачи и совсем скоро говорил уже с нормальной скоростью, что было быстро, но не чрезмерно быстро, и звучал он при этом как человек, располагающий всем временем на свете, решивший поболтать, не торопясь и в свое удовольствие.

Ну, алкашня, начал он. На сей раз ты своего добился, нет?

Чего добился? — ответил Фергусон, делая вид, что не понял, поскольку более-менее был уверен, что Ной имеет в виду его рассказ.

Причудливой штуковины под названием «Душевные шнурки».

Ты прочел?

Все слова до единого. Три раза.

Ну?

Фантастика, Арчи. Просто охуительная, абсолютная фантастика. Сказать тебе правду, я и не думал, что в тебе это есть.

Сказать тебе правду, я и сам этого не знал.

Думаю, нам следует снять по нему кино.

Очень смешно. И как мы это сделаем без камеры?

Несущественная мелочь. С этой задачей мы справимся по ходу дела. Как бы там ни было, сейчас этим заниматься у нас нет времени. По крайней мере из-за школы, из-за дальности между Нью-Йорком и Нью-Джерси и из-за разнообразных материальных препон, в которые сегодня я вдаваться не стану. Но у нас всегда есть лето. В смысле, с лагерем же у нас уже всё, нет? Мы для него слишком старые, и после того, что случилось с Арти, ну, мне кажется, я туда больше поехать не смогу.

Согласен. С лагерем всё.

Поэтому летом будем снимать кино. Теперь, раз ты у нас стал писателем, всю эту чепуху со спортом ты, видимо, бросишь.

Только бейсбол. А в баскетбол все равно играть буду. Я же в команде, знаешь, девятого класса, ее

поддерживает АМХ[29] Вест-Оранжа. Мы играем с другими командами АМХ по всему округу Эссекс дважды в неделю: вечером в среду и утром в субботу.

Не понял. Если ты и дальше хочешь быть качком, зачем бросать бейсбол? У тебя же он лучше всего.

Из-за Арти.

А Арти-то тут при чем?

Он был лучшим игроком из всех, каких мы вообще видали, верно? И еще он был мой друг. Не столько твой друг, сколько мой, мой хороший друг. Теперь Арти умер, а я хочу и дальше о нем думать, мне важно держать его у себя в мыслях как можно крепче, а для этого лучше всего, как я понял, что-нибудь бросить в его честь, что-то мне небезразличное, для меня важное, и вот я выбрал бейсбол — бейсбол потому, что это был лучший вид спорта и для Арти, и отныне, когда б я ни видел, как другие люди играют в бейсбол, или когда б ни думал о том, почему в него не играю я, я буду думать об Арти.

Странный ты человек, тебе известно?

Наверное. Но если даже и так, что ж с этим

---

[29] Сноски: 29
Ассоциация молодых христиан.

поделать?

Ничего.

Вот именно. Ничего.

Ну и играй себе в баскетбол. Вступи в летнюю лигу, если хочешь, но если будешь заниматься только одним спортом, у тебя останется масса времени делать кино.

Договорились. При условии, что мы раздобудем камеру.

Достанем, не переживай. Самое главное — ты написал свой первый шедевр. Дверь открылась, Арчи, и теперь они повалят — целая жизнь сплошных шедевров.

Давай не будем увлекаться. Я написал один рассказ, вот и все, и кто знает, придет ли мне в голову что-нибудь еще. А кроме того, у меня по-прежнему остается план.

Только не *это*. Я думал, ты от него отказался сто лет назад.

Да нет, вообще-то.

Слушай меня, алкашня. Ты никогда не станешь врачом — а я никогда не стану силачом в цирке. У тебя мозги не для матемы и не для науки, а у меня во всем теле ни единой мышцы. *Эрго*[30],

---

[30] Сноски: 30

От *лат.* следовательно.

никакого доктора Фергусона — и никакого Ноя Великолепного.

Откуда такая уверенность?

Потому что мысль эта пришла тебе в голову из книжки, вот откуда. Из дурацкого романа, который ты прочел в двенадцать лет, а я имел несчастье прочесть и сам, потому что ты мне твердил, до чего он хороший, хотя он — нет, и загляни ты в него сейчас, ты б наконец, я уверен, сам убедился, что он совсем не тот, каким ты его считал, что он вовсе, к черту, ничем не хорош. Молодой врач-идеалист взрывает зараженную канализацию, чтобы избавить город от болезни, молодой врач-идеалист меняет свои идеалы на деньги и шикарный адрес, уже не очень молодой врач, некогда идеалист, возвращает себе идеалы и тем самым спасает душу. Херня это, Арчи. Как раз такая белиберда, что способна тронуть мальчонку-идеалиста, вроде тебя, то ты уже не мальчонка, ты крепкий парень, а между ног у тебя скулит мужской хрен, а в голове рождаются шедевры литературы и бог знает что еще, и ты мне после этого рассказываешь, что тебя по-прежнему манит эта убогая книженция, чье название сейчас выпало у меня из памяти, потому что я сделал все от себя зависящее, чтобы его забыть?

«Цитадель».

Вот-вот. И раз уж ты мне теперь напомнил, больше не повторяй его при мне никогда. Нет, Арчи, человек не становится врачом лишь потому, что прочел книжку. Он становится врачом, потому что ему нужно стать врачом, а тебе врачом становиться не нужно, тебе нужно стать писателем.

Я думал, это будет короткий звонок. Ты о матери своей не забыл, нет?

Черт. Забыл, конечно. Я пошел, Арч.

Твой отец возвращается через пару недель. Тогда и встретимся, ладно?

А то. Будем разговаривать друг с другом по-обувному, с этим густым башмачным шамканьем — и прикинем, как нам стащить где-нибудь камеру.

Девятнадцатого декабря, через три дня после разговора Фергусона с Ноем, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что американские солдаты вступили в зону конфликта в Южном Вьетнаме и теперь принимают участие в тактических операциях с приказом *отвечать огнем на огонь*. Вместе с поставкой сорока вертолетов в Южный Вьетнам неделей раньше прибыли четыреста подготовленных к боевым действиям американских военнослужащих. Туда перемещались допол-

нительные летательные аппараты, наземные транспортные средства и десантные суда. Итого в Южном Вьетнаме теперь присутствовало две тысячи американцев в военных мундирах *вместо официально заявленных 685 членов группы военных советников*.

Через четыре дня после этого, двадцать третьего декабря, отец Фергусона отправился в двухнедельную поездку на юг Калифорнии — навестить братьев и их семьи. То был первый отпуск, какой он взял себе за много лет работы: последний датировался еще декабрем 1954-го, когда они с матерью Фергусона ездили в Майами-Бич на десять дней зимних каникул. На сей раз мать Фергусона с ним не поехала. И провожать в аэропорт его не стала в тот день, когда он улетал. Фергусон достаточно часто слышал, как его мать поносит своих деверей, чтобы понимать: видеться с ними ей незачем, — но все равно в этом, несомненно, было что-то еще, ибо как только отец уехал, она вдруг больше обычного взбудоражилась, насупилась, стала угрюмой и впервые на его памяти с трудом следила за тем, что он ей говорит, и так велика была ее рассеянность, что Фергусон задался вопросом, не размышляет ли она о состоянии своего брака, который, казалось,

с сольным отъездом его отца в Лос-Анджелес совершил некий решительный поворот. Вероятно, ванна уже не просто остыла. Быть может, она уже замерзла и вот-вот превратится в глыбу льда.

Копию рассказа Ной отправил ему почтой, как и обещал, а поскольку в Мапльвуде она оказалась до отцова отъезда в Калифорнию, Фергусон вручил ему ее — вдруг захочет прочесть в самолете. Мать прочла ее несколькими неделями раньше, конечно, в субботу после Дня Благодарения, свернувшись на тахте в гостиной и скинув туфли, и пока справлялась с пятьюдесятью двумя машинописными страницами, выкурила полпачки «Честерфильда», а потом сказала, что это *просто чудо, вряд ли я вообще читала что-то лучше этого*, чего и следовало ожидать, предполагал он, поскольку тот же самый вердикт она бы вынесла, если б он перепечатал список покупок за прошлый месяц и отдал ей как *экспериментальное стихотворение*, но все равно гораздо лучше, если мать на твоей стороне, чем если нет, тем паче что отец, похоже, ничью сторону вообще не занимал. Теперь, когда «Душевные шнурки» прошли через руки тети Мильдред, дяди Дона и Ноя, он прикидывал, что пора *собрать волю в кулак* (эту фразу он любил за ее противоречи-

вую двусмысленность) и показать рассказ Эми Шнейдерман, единственному человеку во всем Мапльвуде, чьему мнению он мог доверять, — а значит, и человеку, подступаться к которому он больше всего боялся, поскольку Эми была слишком честна, чтобы гасить удары, а один ее удар его бы расплющил.

В каком-то смысле, если не во многих, Фергусон считал Эми Шнейдерман женским вариантом Ноя Маркса. Вариантом попривлекательнее, что уж там, в том, что она была девочкой, а не пучеглазым мальчишкой без мускулатуры, но она была умна так же, как умен был Ной, светилась так же, как он, вся сияла и искрилась духом, и за многие годы Фергусон постепенно стал осознавать, насколько он от них обоих зависит, как будто эти двое были крылышками бабочки, какие он носил у себя на спине, чтобы не опускаться на землю, — он, кто иногда бывал настолько тяжел, так привязан к земле, и все же в случае с более привлекательной Эми физическое влечение было не столь уж велико, чтобы посеять в голове Фергусона какие-либо амурные мысли, а потому Эми по-прежнему оставалась *просто другом*, хоть и жизненно важным, самым главным его товарищем в вечно расширявшейся войне

с предместной тупостью и посредственностью, и до чего же это крупная удача, что не кто-нибудь на свете, а именно она занимает сейчас его прежнюю комнату, эдакий повествовательный каприз в истории их жизней, быть может, но он вылепил между ними связь, некую причудливую близость, которую оба они уже принимали как должное, ибо Эми не только дышала теперь тем же воздухом в том доме, каким дышал когда-то он, она проводила ночи на той же кровати, на которой он спал, когда там жил, на той кровати, которую мать его сочла слишком маленькой для его комнаты в новом доме и, следовательно, уступила менее чем зажиточным родителям Эми перед тем, как те туда въехали. Случилось это уже больше пяти лет назад, в конце лета 1956-го, и хотя Эми должна была пойти в пятый класс в сентябре, за два дня до начала учебного года она упала с лошади в конном походе по резервации Южной Горы и сломала бедро, а к тому времени, как травма ее срослась, уже подошла середина октября, и потому родители решили, что ее лучше оставить на второй год в четвертом классе, а не совать в новую школу с отставанием в полтора месяца от других ее одноклассников. Так они с Фергусоном и оказались в одном классе — роди-

лись оба с зазором всего в три месяца, но в школе им были суждены слегка различные траектории, однако вмешалось сломанное бедро, и траектории их стали тождественны, начавшись с того первого года, когда оба они оказались соучениками по четвертому классу мисс Манчини, и продолжившись их два последних года в начальной школе Джефферсона, а затем еще три года в Мапльвудской средней — всегда в одном классе, вечно соперничают друг с дружкой, а поскольку их никогда не разлучали никакие романтические сложности с их неизбежными недоразумениями и оскорбленными чувствами, что идут рука об руку с влюбленностью, — всегда друзья.

На следующее утро после того, как отец Фергусона уехал в Калифорнию, в воскресенье, двадцать четвертого декабря, за день до праздника, который ни одно из их семейств не праздновало, Фергусон позвонил Эми в десять тридцать и спросил, нельзя ли ему к ней зайти. Он должен ей кое-что отдать, сказал он, и если она не слишком занята, то он бы ей это отдал прямо сейчас. Нет, ответила она, не занята, хожу тут в пижаме, читаю газету, стараюсь не думать про сочинение, что им задали писать на зимних каникулах. От его дома до ее идти было пятнадцать минут, пу-

тешествие это он в прошлом совершал пешком множество раз, но тем утром погода была жуткая, мелкая морось при температуре градусов тридцать один — тридцать два[31], погода снежная, но без снега, зато туманно, ветрено и влажно, поэтому Фергусон сказал, что попросит мать его к ней отвезти. В таком случае, сказала Эми, заходите оба на поздний завтрак, не? Джим минут десять назад отсеялся, он до сих пор в Нью-Йорке с друзьями, а еды накупили столько, что на десятерых голодных хватит, жалко будет выбрасывать. Минуточку, сказала она, отложила трубку и заорала родителям — спросила, не станут ли они возражать, если к ним заедут Арчи и миссис Фергусон и *разделят с нами харчи* (у Эми имелась слабость к причудливым оборотам), а через двадцать секунд снова взяла трубку сказала: Порядок. Заезжайте между полпервого и часом.

Вот так рукопись «Душевных шнурков» и оказалась наконец в руках у Эми, и пока Фергусон сидел в своей прежней комнате с девчонкой, которая ночи свои проводила на его прежней кровати, они беседовали, — взрослые меж тем готовили еду в кухне прямо под ними, — раз-

---

[31] Сноски: 31
— 0,5–0°C.

говаривали перво-наперво о своих текущих любовных драмах (Фергусон сох по девчонке по имени Линда Флагг, которая его отвергла, когда он пригласил ее в пятницу в кино, а Эми возлагала большие надежды на мальчика по имени Роджер Саслоу, которому еще только предстояло ей позвонить, но он уже намекал, что так и поступит, если, конечно, она правильно распознала намек), а потом про ее старшего брата Джима, первокурсника МТИ, одного из столпов баскетбольной команды средней школы Колумбии в двух старших своих классах, и как его расстраивали, сказала Эми, Джек Молинас и скандал с занижением очков колледжам, десятки матчей в последние несколько сезонов подстроены тем, что игрокам давали взятки в несколько сот дубов, а Молинас и его дружки-игроки огребали десятки тысяч в неделю. Все в этой стране подстроено, сказала Эми. Телевикторины, баскетбольные игры в колледжах, фондовый рынок, политические выборы, но Джим слишком чистая душа, чтобы такое понимать. Может, и так, сказал Фергусон, но Джим чист лишь постольку, поскольку видит в людях лучшее, а это хорошее свойство, как он считает, таким в брате Эми он сам восхищается больше всего, и едва Фергусон произнес слово

восхищается, как разговор их переключился на другую тему — сочинения, что им задали писать для общешкольного конкурса в январе. Тема была «Человек, которым я больше всего восхищаюсь», и участвовать в конкурсе должны были все, каждый семи-, восьми- и девятиклассник, а призы получат написавшие три лучших сочинения в каждой параллели. Фергусон спросил Эми, выбрала ли она уже кого-нибудь.

Конечно, выбрала. Время-то выходит, знаешь. Сдавать-то надо будет третьего января.

Не заставляй меня угадывать. Все равно промахнусь.

Эмма Гольдман.

Имя знакомое, но я про нее мало что знаю. Примерно ничего, по сути.

Я тоже не знала, а потом дядя Гил подарил мне ее автобиографию, и я теперь в нее влюбилась. Она одна из величайших женщин, что когда-либо жили. (*Краткая пауза.*) А у вас, мистер Фергусон? Есть уже какие-нибудь замыслы?

Джеки Робинзон.

А, сказала Эми, бейсболист. Но не просто же бейсболист, верно?

Человек, изменивший Америку.

Недурной выбор, Арчи. Валяй, пиши.

Мне нужно твое разрешение?

Разумеется, дурачок.

Оба они расхохотались, а затем Эми вскочила на ноги и сказала: Давай, пошли вниз. Помираю с голоду.

Во вторник Фергусон вышел за почтой и обнаружил в ящике доставленное вручную письмо — без марки, без адреса, только его имя на конверте. Послание было скупым:

Дорогой Арчи,
я тебя ненавижу.

Целую, Эми

P. S. Рукопись верну завтра. Мне нужно еще разок проехаться с Ханком и Франком, прежде чем я их от себя отпущу.

Отец вернулся в Мапльвуд пятого января. Фергусон рассчитывал, что он ему что-нибудь скажет о рассказе, хотя бы извинится за то, что его не прочел, но отец не сказал ничего — и когда продолжал ничего не говорить в последующие дни, Фергусон пришел к выводу, что он рассказ потерял. Поскольку Эми к тому времени уже вернула

ему оригинал, утрата копии не имела большого значения. Имело значение, насколько мало отца, казалось, заботит это дело невеликой важности, и, поскольку Фергусон принял решение никогда с отцом об этом не заговаривать, если тот сам не заговорит с ним об этом первым, дело это превратилось в дело великой важности, и чем дальше, тем со временем бóльшую важность оно набирало.

3.1

Была боль. Был страх. Было смятение. Двое девственников лишали друг дружку невинности, даже смутно не понимая, что же они замыслили, готовые лишь в том смысле, что Фергусону удалось раздобыть пачку презервативов, а Эми, предвидя кровь, какая неизбежно из нее вытечет, подложила под простыню у себя на кровати темно-коричневое банное полотенце — предосторожность, вдохновленная неувядаемой силой старых легенд и на самом деле оказавшаяся излишней. Для начала радость, экстатическое ощущение того, что они друг перед дружкой совершенно голые впервые с того дня их давно позабытых скачков на матрасе, когда они были маленькими, возможность трогать каждый квад-

ратный сантиметр тела другого, исступление голой кожи, которая прижимается к голой коже, но как только они полностью возбудились — трудность перехода к следующему шагу, тревога от проникновения в тело другого впервые, Эми в те начальные мгновения напряглась оттого, что стало так больно, Фергусон впал в уныние оттого, что эту боль причинил, а потому сбавил темп и в итоге извлекся совсем, вслед за чем наступил трехминутный тайм-аут, а затем Эми схватила Фергусона и велела ему начать заново, сказав: Давай и всё, Арчи, за меня не беспокойся, просто давай, и Фергусон поэтому дал, зная, что не может за нее не беспокоиться, но также зная, что черту эту следует переступить, что это мгновение им подарили, и, несмотря на внутренние ушибы, от которых ей, должно быть, казалось, будто ее рвут на части, Эми засмеялась, когда все закончилось, захохотала, как обычно, громко и сказала: *Я так счастлива, что, наверное, умру*.

Ну и странные же то были выходные: ни разу не вышли они из квартиры, сидели на диване и смотрели, как Джонсона подводят к присяге как нового президента, смотрели, как Освальда в окровавленной футболке отвозят в тюрьму, а он возмущается перед камерами, что он просто

козел отпущения, эти слова Фергусон будет вечно связывать с хрупким молодым человеком, который либо убил Кеннеди, либо не убивал его, смотрели краткую паузу в новостях, когда оркестр играл траурную музыку из «Героической» симфонии Бетховена, смотрели похоронную процессию по улицам Вашингтона в воскресенье, а у Эми перехватило горло при виде лошади без всадника, и смотрели, как Джек Руби проскальзывает в Далласский полицейский участок и стреляет Освальду в живот. *Призрачный Город*[32]. Строка из Элиота не переставала взрываться в мозгу у Фергусона все те три дня, пока они с Эми постепенно не съели все, что было в кухне: яйца, бараньи отбивные, ломтики индейки, упаковки сыра, банки тунца, коробки хлопьев и печенья, Эми курила больше, чем он замечал за нею раньше, и Фергусон впервые закурил с нею сам, впервые с тех пор, как они познакомились, оба сидели рядышком на диване и в унисон давили свои окурки «Лаки», а потом сгребали друг дружку в объятия и целовались, не в силах прекратить это святотатство — целоваться в такой мрачный миг, — не в силах каждые три-четыре

[32] Сноски: 32

Из части III, в переводах А. Сергеева («Бесплодная земля») и К. С. Фарая («Пустошь»).

часа оторваться от дивана, чтобы сходить в ванную, сбрасывая с себя одежду и вновь забираясь в постель, у обоих все уже болело, не только у Эми, но и у Фергусона, но они не могли остановиться, наслаждение всегда оказывалось сильнее боли, и как бы мрачно ни было в те угрюмые выходные, они были величайшими, самыми важными днями их юных жизней.

Жаль было, что в последующие два месяца таких возможностей им больше не выпадало. Фергусон продолжал каждую субботу ездить в Нью-Йорк, но квартира Эми никогда не оставалась пуста настолько, чтоб они могли вернуться в спальню. Всегда присутствовал кто-нибудь из ее родителей, часто оба, а идти им было некуда, единственное решение — пусть Шнейдерманы опять уедут из города, да только они не уезжали. Поэтому Фергусон в конце января и принял приглашение кузины покататься на лыжах в Вермонте. Не сказать, что его сильно интересовали лыжи, на которые он как-то раз попробовал встать и не ощущал необходимости пытаться снова, но когда Франси сказала ему, что на выходные им удалось снять только вот такой дом — огромное старое здание с пятью спальнями, Фергусон подумал, что какая-то надежда

тут теплится. Много места, сказала Франси, что объясняло, прочему она решила позвонить ему, и если он хочет прихватить с собой друга, этому человеку тоже комнаты хватит. А подруги считаются друзьями? — спросил Фергусон. Конечно, считаются! — сказала Франси, и судя по тому, как она ответила на его вопрос, из неожиданного воодушевления этого звенящего *Конечно* Фергусон, естественно, заключил, что она понимает: он ей сообщает, что они с Эми теперь пара и хотят спать в одной спальне, поскольку сама Франси выскочила замуж в восемнадцать, в конце-то концов, всего на год старше, чем Эми сейчас, и уж кто-кто понимает про подавляемую подростковую похоть, так это наверняка его двадцатисемилетняя двоюродная сестра, которая была его любимой кузиной с тех самых пор, как он еще носил подгузник. Эми как-то сомневалась насчет оптимистического прочтения Фергусоном этого *Конечно*, зная, насколько далеко убрели они вдвоем от принятых правил полового поведения, которые не только не позволяли совокупление между неженатыми подростками, но и считали таковое совершенно скандальным, и все же, сказала Эми, в Вермонте она никогда не была, никогда не стояла на лыжах, а что может быть

лучше *выходных в снегу с Арчи?* Что же касается остального, то они просто сами убедятся, кто здесь прав, а кто нет, и если окажется, что права она, это вовсе не значит, что не может быть никаких перебежек из комнаты в комнату поздно ночью, чтобы забраться в чью-нибудь постель. Уехали они холодным утром в пятницу: Эми и Фергусон втиснулись в переполненный синий универсал с Франси, ее мужем Гари и двоими детьми Голландеров, шестилетней Ро́сой и четырехлетним Давидом, и старшим еще повезло, что младшие почти все пять часов, которые им потребовались для того, чтобы добраться до Стоу, проспали.

Франси назвала свою дочь в честь матери Фергусона, хоть имена и не совпадали. Запрет на то, чтобы давать детям имена еще живых родителей, прародителей и родственников, — закон, которому следовали даже нерелигиозные евреи, а оттого и разница в одну букву между Розой и Росой, тонкое различие, измышленное юристом Гари, чтобы обойти с фланга традиционалистов у себя в семье, но тем не менее имя это — у всех на виду, Роса в честь Розы, и таким вот жестом Франси и Гари давали понять миру, что они повернулись спиной к Арнольду Фергусону, кто разбил семью преступлением, совершенным

против собственного брата — жертвы Станли и его жены Розы, которую Франси любила с того момента, как только увидела ее совсем маленькой девочкой. Франси было нелегко сделать такой шаг, отречься от отца, когда она еще оставалась близка со своими матерью, братом и сестрой, но презрение Гари к тестю было настолько сильно, его отвращение к нравственной слабости этого человека и его нечестности так полно, что у Франси не оставалось особого выбора — только пойти на поводу у мужа. Женаты они были уже два года, когда произошло ограбление, жили на северо-западе Массачусетса, пока Гари дописывал в Вильямсе свой диплом, одна из трех «детских пар» у него на курсе, а двадцатилетняя Франси была уже беременна первым ребенком, который родился через несколько месяцев после того, как соучастие ее отца в ограблении склада стало явным. Вся остальная семья переехала уже в Калифорнию, не только ее родители, но и кроткая юная Руфь тоже — она только что закончила среднюю школу и поступила в Л.-А. на секретарские курсы, — и даже Джек, кто ушел с последнего курса в Ратгерсе, чтобы к ним примкнуть: от этого решения Франси и Гари его отговаривали, а оттого Джек велел им обоим *отъебаться*, и к тому

времени, как родилась Роса, лишь мать Франси и ее сестра предприняли путешествие обратно на восток, чтобы подержать ребенка на руках. Джек сказал, что ему слишком некогда, а опозоренный Арнольд Фергусон приехать не смог, потому что обратно на восток хода ему не было.

Франси, стало быть, мучилась не больше и не меньше кого бы то ни было в семье, возможно, однако каждый там страдал по-своему, и насколько мог определить Фергусон, страдания Франси превратили ее в личность более тихую и менее бурливую, нежели она некогда была, в более скучную разновидность ее прежней. Впрочем, она уже становилась старше, уже перевалила за тот рубеж, какой Фергусону нравилось называть *полностью выросшей взрослой*, и хоть даже брак ее, казалось, сложился удачно, не было сомнений в том, что Гари по временам мог быть напыщенным и несносным, он все больше и больше бывал склонен к долгим, витиеватым монологам об упадке и крушении Западной цивилизации, особенно теперь, когда уже два года как поступил в отцовскую фирму и начал зарабатывать адвокатские деньги по-взрослому, что, должно быть, до определенной степени ее утомляло, не говоря уже о материнстве, которое утомляло всех, даже

такую заботливую и нежную мать, как Франси, жившую ради своих детей точно так же, как тетя Джоан некогда жила ради своих. Нет, сказал себе Фергусон, пока универсал ехал на север сквозь сгущавшуюся тьму, преувеличивать он не должен. Пусть даже от жизни ей досталось пинков, Франси — по-прежнему старушка Франси, все та же *волшебная кузина* его раннего детства, теперь, правда, немного колченогая, наверное, и без того отягощенная воспоминанием о предательстве своего отца, но до чего же счастливый был у нее голос, когда он принял ее приглашение на выходные, и как щедро с ее стороны принять Эми этим удивительным *Конечно!* — и вот теперь, когда все они сидели вместе в машине, Фергусон позади с двумя спящими детишками, а Франси впереди между Гари и Эми, в зеркальце заднего обзора ему было видно по-прежнему красивое лицо кузины — всякий раз, когда его освещали лучи фар проходящей машины, и в один такой раз, где-то посередине поездки, когда Франси подняла взгляд и заметила, что он на нее смотрит, она повернулась, протянула левую руку и взяла за руку его, а затем долго и крепко ее пожала. Все нормально? — спросила она. Ты там сзади как-то ужасно притих.

Он и правда за последний час почти ничего не сказал, но лишь потому, что ему не хотелось будить детей, а стало быть, ум его бродил, плавал по стародавним семейным делам, и он бросил слушать, о чем говорят впереди Эми и Гари, тело его убаюкивал рокот шин под ним, старое автомобильное ощущение размазни в голове, пока они ехали на скорости шестьдесят миль в час, но теперь, когда Франси пожала ему руку и он вновь обратил внимание, выяснилось, что тема у них — политика, превыше всего прочего — покушение, которое случилось всего двумя месяцами раньше и по-прежнему оставалось тем, о чем никто не мог перестать разговаривать, одержимые беседы о том, кто, и почему, и как, поскольку едва ли можно было поверить, что Освальд сделал это в одиночку, и уже начали ходить многочисленные альтернативные теории, Кастро, мафия, ЦРУ и даже сам Джонсон, носатый техасец, сменивший человека будущего, по-прежнему — неизвестная величина, с точки зрения Эми, а вот Гари, соображавший быстро, уже называл его *скользким типом*, старорежимным закулисным политиком, для кого должность эта слишком велика, а Эми, хоть и признавала, что он может оказаться прав, тем не менее парировала, припоминая

речь Джонсона чуть раньше в том же месяце, объявление войны нищете, что в ее жизни было лучшей президентской речью, сказала она, и Гари вынужден был признать, что никто не вставал и не произносил ничего подобного со времени Рузвельта, даже Кеннеди. Фергусон улыбнулся, когда услышал, как Гари ей уступает, а потом ум его отвлекся вновь, и он задумался об Эми, о замечательной Эми, которая имела такой огромный успех у Голландеров, кто завоевала их первым же своим рукопожатием, с первого приветствия так же, как завоевала его на том барбекю в честь Дня труда, и теперь, когда они уже подъезжали к границе Вермонта, ему оставалось лишь уповать, чтобы все получилось, как планировалось, чтобы они уже совсем скоро снова оказались голыми под одеялом в чужой комнате чужого дома где-то в глуши Новой Англии.

Дом оказался большим, как и обещалось, а «глушь» вершиной холма, отстоявшего от лыжного курорта на десять миль. Три этажа вместо привычных двух, их прибежище на выходные построили где-то в начале девятнадцатого века, и каждая половица в этой продуваемой сквозняками конструкции скрипела. Скрип мог представлять собой помеху, ибо выяснилось, что

Конечно Франси верно истолковала Эми, и Фергусону пришлось это признать, когда компания из шести человек обошла весь дом, понимая, что у их хозяев даже в мыслях не было позволить им ночевать в одной комнате, а значит, им придется прибегнуть к запасному плану, который Фергусон назвал *решением французского фарса*, — полуночным проказам с открыванием и закрыванием дверей на ржавых петлях, когда влюбленные крадутся по затемненным, незнакомым коридорам, тела заползают в те постели, где им быть не полагается, и стонущие половицы в их уловках им ничуть не помогут. К счастью, Гари и Франси предложили *большим детям* ночевать в двух спальнях на чердаке, чтобы *маленькие дети* могли провести ночь на одном этаже с родителями, которые будут рядом на случай дурных снов (Роса) или случайного обмачивания постели (Давид). Это нам на руку, заключил Фергусон. Скрипучие половицы будут прямо над остальными жильцами, конечно, станут резонировать через потолки внизу, но, опять-таки, люди посреди ночи иногда покидают свои постели, чтобы добрести до ванной, а в таком старом доме, как этот, кто сумеет предотвратить эти звуковые эффекты половиц из фильмов ужасов? Если повезет, им удастся

все провернуть. А если не повезет — что самого ужасного может с ними произойти? Ничего особенного, сказал себе Фергусон, а вероятно — и вообще ничего.

Поначалу все шло гладко. Они назначили свидание на половину двенадцатого, через целые полтора часа после того, как детей уложили, а утомленные родители пожелали всем спокойной ночи, и в назначенный час все в доме было тихо, лишь случайный порыв ветра врывался сквозь щели в стенах и громыхал флюгером над головой. Упершись босыми ногами в пол, Фергусон встал с железной койки и пустился в медленное путешествие к комнате Эми, осторожно проходя на цыпочках по гулявшим доскам, останавливаясь при любом и каждом скрипе, испускаемом деревом, затем считая до пяти, прежде чем осмеливаться на следующий шаг. Дверь он оставил приоткрытой, чтобы не пришлось поворачивать ручку, а это избавляло от риска создать внезапный, слишком громкий лязг замка, и хотя петли действительно немного заржавели, оказалось, что они не такие громкие, как ветер. Дальше — коридор и четырнадцать дополнительных шагов, каких потребовал тот отрезок путешествия, а затем — легкий толчок в дверь Эми, тоже остав-

ленную притворенной, — и вот он внутри.

Кровать оказалась неимоверно узка, но на той кровати была голая Эми, и, как только стащил с себя трусы и скользнул к ней, на той же кровати оказался и голый Фергусон, и все для него стало ощущаться так хорошо, в таком совершенном согласии с тем, как он это себе представлял, что в кои-то веки в жизни у него подлинное и воображаемое стали одним и тем же, совершенно и как никогда прежде одним и тем же, отчего тот миг должен был стать счастливейшим в его жизни доселе, полагал Фергусон, поскольку был не из тех, кто разделяет убеждение, будто желание исполненное есть желание разочарованное, по крайней мере — не в его случае, когда хотеть Эми теперь никуда не годилось без того, чтобы обладать Эми, никуда не годилось без того, чтобы Эми хотела его, и чудо заключалось в том, что она и впрямь его хотела, а стало быть, исполненное желание на самом деле и было исполненным желанием, возможностью провести несколько мгновений в мимолетном царстве земной благодати.

За те бурные выходные двумя месяцами ранее они столькому научились, поначалу — неуклюже из-за того, что почти ничего не знали почти ни о

чем, но постепенно достигли определенного уровня знаний о том, что пытались сделать, знаний не передовых, быть может, но хотя бы начатков того, как действует тело другого, ибо без такого знания не могло быть истинного наслаждения, особенно для Эми, которой пришлось учить невежественного Фергусона тому различному, в чем женщины не похожи на мужчин, и теперь, раз Фергусон уже начал это ухватывать, он стал спокойней и уверенней, чем в Нью-Йорке, а оттого на сей раз все и получилось лучше — настолько лучше, что через несколько минут в кромешной темноте той комнаты в Вермонте они и вовсе перестали думать о том, где находятся.

Кровать была старой и железной, с тонким матрасом, расстеленным по двум дюжинам свернутых пружин, и, как и деревянный пол, что ее поддерживал, скрипела. Скрипела она под весом одного тела, но когда на этом матрасе принялись вместе возиться два, она загромыхала. Шум этот напомнил Фергусону паровоз, несущийся на семидесяти милях в час, а вот Эми сочла его похожим на грохот печатного пресса, выдающего полмиллиона экземпляров утреннего издания бульварной газеты. Так или иначе, шум был слишком силен для тонкого французского фарса,

который они сочинили у себя в головах, и теперь, когда они слышали этот шум, в головах этих не осталось ничего, кроме этого шума, инфернального скрежета их неистового совокупления, но как же им прекратить, когда они на грани, на самом краешке исполненного желанья? Нет, не по силам такое, а потому продолжали оба, покуда оба же не рухнули с обрыва, и когда паровоз прекратил движение, и они расслышали кое-что другое, помимо этого шума: расслышали они, как с этажа ниже исходит другой шум, вой перепуганного, проснувшегося ребенка, без всяких сомнений — младшего, Давида, которого из сна вытряхнул бедлам, что они устроили наверху, и уже через мгновение они услыхали шаги, несомненно — Франси, матери Франси, которая шла успокоить своего детку, а отец Гари храпел себе дальше, и вот в этот миг Фергусон в ужасе и смятении выскочил из постели Эми и улизнул к себе в комнату, и так вот в этом их спектакле Больших Бульваров с грохотом опустился занавес.

В половине восьмого наутро Фергусон вошел в кухню и обнаружил, что Роса и Давид сидят за столом и колотят по нему ножами и вилками, а в унисон кричат: *Хотим блинов! Хотим блинов!* Гари сидел напротив них, спокойно пил

кофе и курил свой первый «Парламент» за день. Франси топталась у плиты и метнула на кузена раздраженный взгляд, после чего вернулась к приготовлению омлета. Эми нигде не было видно, что, вероятно означало, что она еще спит у себя в кроватке наверху.

Гари поставил кружку кофе и сказал: Мы им вчера обещали блины, но забыли взять то, из чего их делать. Как видишь, они не слишком-то довольны перспективой омлета.

Рыжая Роса и светловолосый Давид продолжали нападать на стол ножами и вилками, соразмеряя удары с ритмом их любимого клича: *Хо́ти́м бли́но́в!*

Здесь же где-то должен быть магазин, сказал Фергусон.

Под горой, потом налево три-четыре мили, ответил Гари, выдувая крупный клуб дыма, который, похоже, давал понять, что у него самого нет ни малейшего намерения туда ехать. Я съезжу, сказала Франси, перекладывая уже готовый омлет со сковородки в большую белую миску. Мы с Арчи вместе съездим, правда же, Арчи?

Как скажешь, ответил Фергусон, несколько испугавшись настоятельности, прозвучавшей в вопросе Франси, который и вопросом-то не пока-

зался — скорее, приказом. Она на него злилась. Сначала враждебный взгляд, когда он только вошел в кухню, а теперь такой воинственный тон — все это могло означать лишь одно: она по-прежнему думает про ночную суматоху на чердаке, о проклятой паровозной кровати, от которой на втором этаже проснулся малыш, непростительное преступление, о котором, надеялся он, кузина тактично сделает вид, что забыла, и хотя Фергусон знал, что ему следует извиниться перед ней прямо тут, не сходя с места, ему было слишком неловко и рот раскрыть. Поездка за блинной смесью и кленовым сиропом не имела никакого отношения к ублажению детей. То был для нее повод, а истинный мотив — ненадолго остаться с ним наедине, чтобы отчитать его, высказать ему все, что она о нем думает.

Дети меж тем хлопали и кричали, празднуя победу, слали воздушные поцелуи своей доблестной матери, собиравшейся ради них смело выйти на холод и в снег. Гари, казалось, был не в курсе того, что происходит, или, по крайней мере, к этому безразличен — он загасил сигарету и принялся за омлет. После первой вилки он зачерпнул еще омлета и протянул Давиду, который подался вперед и набил себе рот. Затем вилку для Росы, за кото-

рой последовала еще одна вилка себе. Неплохо же, сказал он, как считаешь? Ням-ням, ответила Роса. Вкусненько в пузике! — сказал Давид и сам расхохотался своей шутке, а потом вновь открыл рот для следующей загрузки. Наблюдая эту сцену, пока зашнуровывал ботинки и натягивал зимнюю куртку, Фергусон подумал о двух птенчиках на кормежке. Червячки или омлет, сказал себе он, голод всегда один и тот же, а открытые рты — всегда открытые рты, они распахиваются во всю возможную ширь. Блины — да, но сперва немножко чего-нибудь, чтобы утро заладилось.

Снаружи были настоящие птицы, крапчатый бурый воробей, оливково-зеленая самочка кардинала с тускло-алым хохолком, красноплечий трупиал — внезапные кляксы цвета носились взад-вперед по белесо-серому небу, несколько крох дыхания и жизни посреди сурового зимнего утра, — и пока Фергусон и его двоюродная сестра шли по заснеженному двору и забирались в синий универсал, он пожалел, что выходные будут испорчены бессмысленной ссорой. Они с Франси за все годы знакомства никогда не вздорили, ни единого недоброго слова между ними не пролетело, их взаимная преданность была тверда и несгибаема, единственная прочная дружба,

какую завел он с кем бы то ни было из родни с этой стороны семьи, раздробленного клана полоумных, разрушительных Фергусонов, лишь они одни с Франси среди всех двоюродных и родных братьев и сестер, тетей и дядей сумели избежать этой дурацкой вражды, и ему мучительно было думать о том, что сейчас она на него накинется.

Утро стояло холодное, но не слишком холодное для такого времени года, лишь четыре-пять делений ниже температуры замерзания, и двигатель завелся с первым же поворотом ключа. Пока они сидели и ждали, когда машина прогреется, Фергусон спросил, не хочет ли она, чтобы машину вел он. Права он получит только в семнадцать, это еще через пару месяцев или около того, но у него есть учебные права, а с учетом того, что она, полноправный водитель, сидит с ним рядом в кабине, им было совершенно законно поменяться местами. Фергусон добавил, что водит он хорошо, что уже не первый месяц родители доверяют ему руль, когда все они едут куда-нибудь вместе, либо с кем-то одним, либо с обоими, и ни мать, ни отец ни разу не пожаловались на результат. Франси скупо улыбнулась и ответила, что она не сомневается — он великолепно водит машину, вероятно — лучше ее самой, но она уже за рулем,

и они сейчас тронутся, а спускаться с горки — штука хитрая для того, кто раньше никогда не ездил по проселкам, поэтому поведет машину она сама, спасибо, а когда доедут до магазина и купят то, что им необходимо купить, может, тогда и поменяются местами на обратный путь домой.

Вышло так, что обратного пути домой не случилось. Из универсального магазина Миллера они не смогли вернуться, потому что доехать до него им не удалось, и в то утро, которое Фергусон всегда будет вспоминать как *всем утрам утро*, оба кузена заплатили свою цену за ту прерванную поездку в горах Вермонта, особенно Фергусон, который платил эту цену еще долго, и хотя никто не возлагал на него вины за аварию (как он мог быть виноват, если машину вел не он?), тем не менее он винил себя сам — за то, что вынудил Франси отвлечься от дороги, ибо если б она не бросила на него взгляд, то машина и не пошла бы юзом по корке льда, и не врезалась бы в дерево.

Все дело в том, что не следовало ему втягиваться в спор. У Франси были все права на него сердиться, и он решил, что лучшим образом действий для него будет говорить ей как можно меньше, кивать и соглашаться, какие бы резкие суждения о нем она ни высказывала, не поддаваться

соблазну как-то защищать себя. Пусть злится, думал он, но если только он сможет не дать этому ее гневу воспламенить его собственный гнев, вероятно, стычка у них окажется короткой и вскоре забудется.

Так Фергусон, по крайней мере, полагал. Ошибка его заключалась в допущении, что главным поводом будет шум, неприличность этого шума и эгоизм, им проявленный при навязывании этого шума окружающим, но шум оказался лишь частью — притом частью самой незначительной во всей неувязке, и как только он это осознал, атака оказалась гораздо масштабнее той, к какой он подготовился, его застали врасплох, и когда Франси на него накинулась, он накинулся на нее в ответ.

Ей удалось провести машину милю вниз по склону без всяких происшествий, но когда они доехали до подножия, она притормозила и свернула вправо, а не влево, а поскольку Гари сказал, что магазин располагался налево, Фергусон ей на это намекнул, но Франси просто побарабанила пальцами по баранке и сказала, чтоб он не волновался, Гари не способен ориентироваться на местности, он вечно все путает, и если сказал, что им нужно ехать налево, должно быть, это озна-

чает, что ехать им нужно направо. Забавно такое говорить, подумал Фергусон, но вышло вовсе не забавно, когда слова раздались из уст Франси, получилось оно озлобленно и слегка презрительно, как будто Франси из-за чего-то сердилась на Гари, или же сердилась еще на кого-то из-за чего-то, на своего брата Джека, к примеру, который теперь редко выходил с нею на связь, или на своего отца-занозу, который только что потерял еще одну работу и вновь сидел на пособии, а то и на всех троих одновременно, отчего Фергусон становился четвертым, на ком она вознамеривалась тем утром оттоптаться, и то, что она и впрямь свернула не туда и отъезжала все дальше и дальше от магазина, отнюдь не помогало смягчить ее настрой, когда она обнаружила ошибку, а это означало, что вторая половина прерванной поездки истратилась на череду извилистых проселков в поисках маршрута обратно на сельское шоссе, с которого они начали, и в усталости от скверного настроения и раздражения, охватившей обычно не воинственную кузину, Франси наконец приступила к тому, что изначально побудило их уехать из дому, и высказала ему все.

Как печально, сказала она, как это грустно и до чего разочаровывает, когда обнаруживаешь,

что ее дорогой мальчик превратился во вруна и жулика, что он стал еще одним ничтожеством в долгой череде ничтожеств, и как он смеет *использовать ее* так, как он это сделал, тащить свою подружку аж в Вермонт лишь для того, чтобы *с нею ебаться* у всех за спиной, это омерзительно, двое распаленных деток чаруют всех по пути сюда, а потом ночью украдкой забираются на чердак, ебутся над самыми головами у *двух маленьких детей*, и как же мог он так с нею поступить, она же любила его с того самого дня, как он родился, кто купала его и нянькалась с ним, и смотрела, как он растет, и что же она теперь должна будет сказать его матери, которая отпустила его в Вермонт, поскольку знала, что со своей двоюродной сестрой он будет в безопасности, все это строится на доверии, сказала она, и как же мог он нарушить это доверие под ее собственной крышей, неуправляемый подросток, который не способен даже на одну ночь держать ширинку застегнутой, и, говоря по всей правде, она его тут больше видеть не желает, она посадит его и его подружку-прошмандовку на автобус сегодня днем и отправит их обратно в Нью-Йорк, всего хорошего и скатертью дорожка им обоим…

То было только начало. Пять минут спустя она

еще продолжала говорить, и когда Фергусон наконец велел ей заткнуться и остановить машину, заорав, что с него хватит и теперь он вернется пешком в дом за своими вещами, Франси повернулась к нему сказала с чем-то вроде безумия во взгляде: Не смеши меня, Арчи, ты там околеешь до смерти, — и это его убедило, что с нею что-то не так, что ум у нее пошатнулся, что она вот-вот лишится его окончательно, а поскольку она продолжала на него смотреть так, будто уже не помнила, что говорила только что, он ей улыбнулся, а когда она улыбнулась ему в ответ, он осознал, что она больше не смотрит на дорогу, и мгновенье спустя машина врезалась в дерево.

Никаких ремней безопасности, это в 1964-м-то, а потому оба в аварии получили травмы, несмотря даже на то, что машина ехала с умеренной скоростью — где-то между тридцатью и тридцатью пятью милями в час. У Франси: сотрясение мозга, перелом левой ключицы, вызванный ударом, когда ее бросило вперед и она столкнулась с рулевой колонкой, а как только ее выписали из вермонтской больницы — перевели в нью-джерсейскую, лечиться от, как врачи сказали Гари, нервного срыва. Фергусон: без сознания и кровотечение из головы, обоих предплечий и

левой кисти, которая сначала пробила ветровое стекло, и хотя кости остались неповрежденными (невероятное везение, озадачившее врачей и вдохновившее некоторых медсестер на то, чтобы называть это *медицинским чудом*), два пальца на левой руке отрезало стеклом — оба сустава на большом и два верхних сустава на указательном, а поскольку пальцы эти зарылись в снег и их отыскали только весной, Фергусону было суждено весь остаток своей жизни проходить с восемью пальцами.

Воспринял он это скверно. Понимал, что радоваться нужно, раз не погиб, но выживание его уже было фактом, чем-то таким, что больше не ставилось под вопрос, а вопрос перед ним возник такой, что был не столько вопросом, сколько криком отчаяния: Что с ним теперь будет? Он изуродован, и когда с него сняли повязки и показали, как теперь выглядит его рука, как она теперь будет выглядеть всегда, его от увиденного охватило отвращение. Рука его больше не была его рукой. Она принадлежала кому-то другому, и пока он глядел на сшитые, заглаженные места, что некогда были его большим и указательным пальцами, ему стало тошно, и он отвернулся. Такое уродство, так отвратительно на это смотреть — *рука чудовища*.

Он теперь в бригаде про́клятых, сказал он себе, и отныне на него станут смотреть как на какого-нибудь увечного, искалеченного человека, кого больше нельзя считать полноправным членом рода человеческого. А затем, в дополнение к мукам этих коварных унижений, ему еще предстоит испытание — придется заново осваивать сотни умений, какими он овладел еще в раннем детстве, мириады манипуляций, какие личность с двумя большими пальцами производит неосознанно каждый день: как завязывать шнурки, как застегивать рубашку, как нарезать себе пищу, как печатать на машинке, — и покуда задачи эти снова не станут для него автоматическими, что может занять месяцы, а то и даже годы, ему все это постоянно будет напоминать, до чего низко он пал. Нет, Фергусон не умер, но к нему в дни, последовавшие за аварией, липли другие слова на букву *у*, словно стайка голодающих детишек, и он понял, что невозможно выпутаться из чар этих эмоций: он упал духом, был уныл, ударен по голове, умопомрачен, удручен, угнетен, утомлен, устал, ему было ужасно, у него ум за разум зашел, он укрывался, прятался в убежище.

Больше всего боялся он, что Эми теперь перестанет его любить. Не то чтоб ей этого хотелось и не

то чтоб она даже понимала собственные чувства, но как может нравиться кому-то, если ее трогают такой искалеченной и обезображенной рукой, да человека просто вывернет наизнанку, убьет всякое желание, и постепенно, понемногу отвращение будет нарастать, покуда она не начнет от него отпрядывать и со временем не отвернется от него совсем, а если он потеряет Эми, у него не только сердце окажется разбито, но и жизнь будет загублена навсегда, ибо какую женщину в здравом уме привлечет такой человек, как он, жалкое изуродованное существо, которое ходит с *клешней*, торчащей из его левой руки, а не с кистью? Нескончаемая печаль, нескончаемое одиночество, нескончаемое разочарование — вот каков его удел, и даже пока Эми сидела с ним все выходные в больнице, а затем прогуливала школу, чтоб быть с ним все понедельник, вторник и среду, гладя его по лицу и рассказывая, что все и дальше будет точно так же, как раньше, что потерять пару пальцев — это удар и штука паршивая, но едва ли конец света, миллионы людей живут с гораздо худшими травмами и мужественно справляются, даже не задумавшись, и Фергусон, пока слушал ее и наблюдал за ее лицом, когда она говорила, задавался вопросом, не на призрак

ли смотрит он, не на подменную ли Эми, которая копирует Эми настоящую, а если закрывал глаза на пару секунд, ему становилось интересно, не исчезнет ли она, прежде чем ему выпадет возможность снова открыть их.

Родители его уехали из Монклера, чтобы тоже быть с ним, и были с ним изумительно добры, как изумительно добра с ним была Эми, как изумительно добры с ним были врачи и медсестры, но откуда же знать кому-либо из них, что́ сам он чувствовал, как им понять, что, вопреки тому, что все они ему постоянно говорили, это и впрямь для него был *конец света*, по меньшей мере — той маленькой его части, какая принадлежала ему, и как он мог им открыться и признаться в опустошении, которое ощущал всякий раз, когда думал о бейсболе, *самой дурацкой игре, какую вообще изобрели*, по словам давно исчезнувшей Анн-Мари Дюмартен, но до чего же глубоко он по-прежнему любил эту игру и как же ждал начала тренировок для старшеклассников в закрытом зале, назначенных на середину февраля, а теперь бейсбольная часть мира тоже закончилась, поскольку он никогда больше не сможет взяться за биту без этих двух своих пальцев на левой руке, взяться как полагается — уж точно так, как

нужно держать ее, чтобы с силой замахиваться, и как сможет он тремя пальцами управлять перчаткой, разработанной для пяти пальцев, он же низвергнется в посредственность, если со своим увечьем вздумает теперь играть, а это для него неприемлемо, особенно теперь, когда он готовился к сезону всей своей жизни, к сезону всех ассоциаций всей страны и всех штатов, который создаст такую шумиху, что вербовщики профессиональных команд станут стекаться, чтобы посмотреть на *волшебника* на третьей базе с его средним уровнем баллов .400, а это приведет к неизбежному подписанию контракта с клубом высшей лиги, отчего он станет первым поэтом, играющим в бейсбол, в анналах американского спорта, лауреатом как Пулитцеровской премии, так и Приза самому ценному игроку, а поскольку он никогда не осмеливался никому признаться в этой своей фантастической грезе, то теперь-то начинать было уже слишком поздно, когда он оказывался на грани слез, как ни подумает о возвращении в Монклер и встрече с тренером, которому скажет, что больше не сможет играть в команде, и протянет ему свою жалкую левую руку, показать, отчего его карьере теперь конец, и тут скупой на слова, обычно невозмутимый Сал

Мартино кивнет, сочувствуя, и пробормочет что-нибудь краткое, из чего более-менее получится: *Невезуха, пацан. Нам будет тебя не хватать*.

Эми и его отец вместе уехали в четверг утром, а мать осталась с ним, пока его не выписали из больницы, ночевала в ближайшем мотеле, а ездила повсюду на маленькой прокатной машине. До каких же крайностей доходила она в своем к нему сострадании, для него это было почти чересчур, сочувственный материн взгляд не отрывался от него и говорил ему, насколько глубоко его страдание проросло в ее страдание, однако же из-за того, что она понимала, как ему не нравится, если она суетится и хлопочет над ним, он был ей благодарен за то, что она не задерживается на его увечьях, не предлагает никаких советов, не поощряет его *держаться*, не проливает над ним никаких слез. Он знал, до чего жутко теперь выглядит и до чего мучительно ей, должно быть, на него смотреть: не только заживавшие швы на его левой руке, которые до сих пор оставались красными, кровоточившими и распухшими, но еще и бинты, которыми обмотали ему предплечья, — они временно прикрывали шестьдесят четыре шва, какими соединили его разодранное мясо, — и зловещие лоскуты выбритых волос,

усеивавшие его череп, где тоже наложили швы на самые глубокие порезы и раны, однако все эти будущие шрамы ее, казалось, не тревожили: главным для нее было то, что из аварии он выбрался с неповрежденным лицом, что вновь и вновь называла она *благословением*, единственным счастливым поворотом во всем этом несчастливом деле, и хотя Фергусон пока что не был в настроении радоваться своей удаче, он ее понимал, ибо приходилось считаться с иерархией пагубы, а жить с погубленной рукой далеко не так ужасно, как жить с погубленным лицом.

Трудно было признаться самому себе, до чего ему хотелось, чтобы мать оставалась рядом. Стоило ей сесть на стул у его кровати, как все делалось чуточку лучше, нежели когда он был один, зачастую — и значительно лучше, и все же он пока сдерживался и не доверялся ей, как-то не мог себя заставить рассказать ей, до чего боится, если начинает думать о своем пресеченном, унылом будущем, о долгих годах покинутости любовью, какие перед ним маячили, обо всех детских страхах и жалости к себе, что прозвучали бы столь бессмысленно, произнеси он их вслух, и потому он продолжал почти ничего не говорить о себе, а мать не нажимала, чтобы он говорил

больше. По большому счету, вероятно, и не было бы разницы, говорит он или нет, поскольку с почти полной уверенностью можно было рассчитывать на то, что она и так знает, о чем он думает, она же всегда как-то это знала, еще с тех пор, как он был маленьким, знала она, есть ли разница теперь, когда он уже в средней школе? Тем не менее и кроме него самого им находилось о чем поговорить, превыше прочего — о Франси и тайне ее нервного срыва, который они продолжали обсуждать все их последние дни в Вермонте, и теперь, когда Франси из этой больницы выписали и перевели в другую, в Нью-Джерси, что же с нею станется? Мать толком этого не понимала. Ей было известно лишь то, что ей сказал Гари, а смысла в этом никакого разобрать не могла, все неясно — кроме того, что неприятности, очевидно, копились уже какое-то время. Беспокойство из-за ее отца — вероятно. Неурядицы в семье — вероятно. Сожаления о том, что вышла замуж так рано, — вероятно. Все из перечисленного — или ничего. Больше всего ставило в тупик то, что Франси всегда казалась такой здоровой и крепкой. Брильянт радостного возбуждения, свет всеобщих очей. А теперь вот такое.

Бедная Франси, говорила мать. Моя любимая

девочка болеет. Ее родня в трех тысячах миль отсюда, и никто о ней не позаботится. Значит, дело за мной, Арчи. Дома будем дня через два, а как только приедем, это станет моей новой задачей. Сделать все, чтобы Франси поправилась.

Фергусон спросил себя, способен ли кто-то еще, кроме его матери, выступить с таким возмутительным заявлением, намеренно пренебрегая возможностью того, что в выздоровлении Франси какую-то роль могут сыграть еще и психиатры, как будто любовь и настойчивость этой любви — единственное надежное средство от разбитого сердца. До чего безумно и невежественно говорить такое, что он не выдержал и рассмеялся, и как только смех вырвался у него из горла, он понял, что после аварии смеется впервые. Вот и молодец, подумал он. И мать тоже молодец, подумал он дальше, чье заявление заслуживало того, чтобы над ним посмеяться, хотя, смеясь над ним, он поступает неправильно, поскольку самое прекрасное в словах его матери — что она в них верит, верит каждой косточкой в своем теле, будто сил ей хватит, чтобы нести на своих плечах весь мир.

Худшее в возвращении домой: нужно опять идти в школу. Больница оказалась достаточ-

ной пыткой, но там он хотя бы чувствовал себя под защитой, был отгорожен от всех остальных убежищем палаты, а вот теперь ему предстояло войти в прежний свой мир, где все его увидят, а быть увиденным — последнее, чего ему хотелось.

Стоял февраль, и, готовя его к возвращению в Монклерскую среднюю школу, мать связала ему пару особых перчаток: одну обычную, а другую с тремя пальцами и одной третью, такой формы, чтобы подходила по очертаниям его свежеубывшей левой руке, и пара перчаток эта была очень удобной, из мягчайшей импортной козьей шерсти неброского светло-коричневого оттенка, мягкого, какой не бросался в глаза и не привлекал к себе внимания, как это делал бы цвет яркий, и перчатки поэтому были почти незаметны. Весь остаток месяца и половину следующего Фергусон не снимал левую перчатку в помещении в школе, утверждая, что делает это по распоряжению врача — оберегает руку, пока она заживает. Это немного помогало, как и вязаная шапочка, которую он носил, чтобы скрыть свою лоскутную голову, вынужденно, и в помещении, и на улице, по предписанию врача. Как только волосы у него отросли опять и проплешины скрылись, от ша-

почки он откажется, но на первых порах своего возвращения в мир она служила ему хорошо, как и рубашки с длинными рукавами и свитеры, которые он надевал в школу каждый день, для февраля — наряд типичный, но еще и способ прикрывать перекрещивающиеся шрамы на обеих руках, что по-прежнему оставались жуткого красного цвета, а поскольку ему дали освобождение от физкультуры до тех пор, пока врач не постановит, что он полностью выздоровел, ему не нужно раздеваться и принимать душ перед своими дружками по одиннадцатому классу, а значит, шрамы его никто не увидит, пока они не побелеют и не станут почти невидимы.

Таковы были некоторые уловки, на которые шел Фергусон, чтобы сделать это испытание хоть чуточку менее трудным для себя, но трудным оно оставалось все равно: трудно возвращаться *бракованным товаром* (как выразился один из его прежних товарищей по бейсбольной команде, когда Фергусон случайно услышал, как он говорит с кем-то у него за спиной), и хотя все друзья и учителя очень его жалели и старались не пялиться на его левую руку в перчатке, не все в школе были ему друзьями, и тех, кому он пылко не нравился, ничуть не смущало видеть,

что высокомерный, заносчивый Фергусон получил воздаяние. Он сам был виновен в том, что за последние несколько месяцев настроил против себя столько людей, поскольку сам более-менее наплевал на них, когда начал встречаться с Эми, отклонял все субботние приглашения, сбегал от всех по воскресеньям, и популярный мальчонка, чей двойной портрет по-прежнему красовался в витрине «Ателье Страны Роз», преобразился в изгоя. Примерно единственным, что еще привязывало его к школе, оставалась бейсбольная команда, а теперь бейсбол пропал, и он начинал ощущать, будто сам пропал вместе с ним. Он продолжал каждый день ходить в школу, но каждый день там находилось все меньше и меньше его.

Несмотря на его отстраненность, еще оставались какие-то друзья, какие-то люди по-прежнему были ему небезразличны, но, кроме тупицы Бобби Джорджа, его кореша по бейсболу и бывшего подельника по «Нэшнл Джиографику», никто не был ему небезразличен по-настоящему глубоко, а почему ему пока что не все равно насчет Бобби, было необъяснимо — до того вечера, когда он вернулся из Вермонта, и Бобби пришел к нему домой поздороваться, и когда юный Джордж увидел юного Фергусона без перчатки, без шапки, без

свитера, он начал было что-то говорить, а потом вдруг разрыдался, и пока Фергусон наблюдал, как его друг поддается этому непроизвольному выплеску детских слез, он осознал, что Бобби любит его больше, чем кто угодно другой во всем их городке Монклере. Все прочие друзья его жалели, а вот расплакался лишь один Бобби.

Ради Бобби он отправился на одну из тренировок в зале после уроков, посмотреть отработку взаимодействия подающего и принимающего. Трудно ему было стоять в гулком спортзале: мячи летали туда-сюда, ударяясь в перчатки, и отскакивали от твердых половиц, но Бобби в том сезоне начинал за пластиной и попросил Фергусона прийти посмотреть, не улучшился ли у него бросок за последний год, а если нет, то что он делает не так. В зале на тех двухчасовых тренировках разрешалось присутствовать только игрокам, но хоть Фергусон больше и не играл в команде, определенные привилегии у него все-таки сохранились — их ему даровал тренер Мартино, отозвавшийся на его увечья далеко не так сдержанно, как это воображал себе Фергусон: он не промолчал, как обычно, а громко выругал эту *проклятущую, долбанную фигню, которая стряслась с ним*, и сказал Фергусону, что тот

был у него одним из лучших игроков, кого он за всю жизнь тренировал, и что он от него ожидал великого в предвыпускном и выпускном классах. Затем, едва ль не сразу, принялся говорить о том, что превратит его в подающего. С такой рукой, как у него сейчас, он, возможно, это сумеет, сказал мистер Мартино, а тогда всем *хер положить* будет на его средний показатель бэттинга или на то, сколько круговых пробежек он выбьет. Если теперь начинать еще слишком рано, чего б не подумать об этом на следующий год? А меж тем в этом году он может остаться в команде чем-нибудь вроде неофициального помощника тренера, отрабатывать тренировочные удары по летящему мячу, проводить с игроками разминки и гимнастику, обсуждать с ним стратегию на скамье во время матчей. Но только если ему этого хочется, конечно, и хотя Фергусона подмывало поймать его на слове и принять это предложение, он знал, что не сможет, — знал, что его прикончит быть в команде и не быть в команде, эдаким раненым талисманом подбадривать других, и он поблагодарил мистера Мартино и вежливо отказался, объяснив, что он *попросту не готов*, и старый первый сержант Второй мировой войны, сражавшийся в Битве за Выступ и служивший

в той части, что освобождала Дахау, похлопал Фергусона по плечу и пожелал ему удачи. А затем, в заключение, напоследок протягивая Фергусону руку для рукопожатия, тренер Мартино сказал: Единственная постоянная на этом свете — говно, мальчик мой. Мы в нем по щиколотку каждый день, но иногда, если оно поднимается до колен или по пояс, нам просто нужно взять да и вытянуть себя из него — и двинуться дальше. Ты двигаешься дальше, Арчи, и я тебя за это уважаю, но если ты когда-нибудь вдруг решишь передумать, не забывай, что дверь тебе всегда открыта.

Слезы Бобби Джорджа и *всегда открыта* Сала Мартино. Две хорошие штуки в остальном мире штук исключительно плохих, и да, Фергусон теперь двигался дальше — он уже сдвинулся после того, как они с тренером попрощались в тот день, а двигался ли он куда надо или куда не надо, все равно лучшее в этой второй штуке — то, что, где бы ни оказался он в будущем, никогда не забудет красноречивых слов мистера Мартино о вездесущей, непреодолимой власти говна.

Весь конец зимы он в основном держался сам по себе, сразу после школы возвращался домой, иногда его подвозили старшеклассники, у которых уже были машины, порой все двадцатиминутное

путешествие проделывал пешком. Дом тогда почти всегда стоял пустой, а это означало, что в нем тихо, а после шести с половиной часов в школе тишины-то ему больше всего и хотелось, обширной, всеохватной тишины, какая позволяла ему прийти в себя после испытания, когда приходилось влачить свое тело в перчатках и шапке среди двух тысяч других тел, которые наполняли коридоры и классы те шесть с половиной часов, и лучше не придумаешь, чем снова уйти в себя и исчезнуть. Родители его возвращались домой обычно сразу после шести, и ему таким образом оставалось около двух с половиной часов — он мог расслабляться в своей пустой крепости, в основном наверху, у себя в комнате, за закрытой дверью, где можно приоткрыть окно и выкурить две материны запретные сигареты, наслаждаясь иронией того, как новый доклад главного врача страны об опасностях курения совпал с его собственным растущим интересом к радостям табака, и, пока Фергусон курил материны опасные для жизни «Честерфильды», — расхаживал по комнате, слушая пластинки, перемежая крупные хоралы («Реквием» Верди, «Торжественную мессу» Бетховена) с сольными произведениями Баха (Пабло Казальс, Гленн Гульд), или же ва-

лялся на кровати и читал книжки, постепенно осваивая последнюю пачку томиков в бумажных обложках, присланную тетей Мильдред, щедрым проводником в его литературном образовании, которая только что нанесла на карту его второе путешествие во Францию за последние девять месяцев, и потому Фергусон проводил те часы в конце дня, читая Жене («Дневник вора»), Жида («Фальшивомонетчики»), Саррот («Тропизмы»), Бретона («Надя») и Беккета («Моллой»), а если не слушал музыку и не читал, то как-то терялся, уж так противоречиво ему было с самим собой, что иногда он чувствовал, будто разрывается на части. Ему хотелось снова начать писать стихи, но он не мог сосредоточиться, и любой замысел, приходивший ему в голову, казался никчемным. Первый поэт-бейсболист в истории больше не мог играть в бейсбол — и вдруг поэт в нем тоже умирал. *Помоги мне*, написал он однажды. *Чего ради мне тебе помогать?* — продолжалось его послание самому себе. *Потому что мне нужна твоя помощь*, ответил первый голос. *Извини*, сказал второй. *Тебе нужно одно — перестать говорить, будто тебе нужна помощь. Подумай для разнообразия о том, что нужно мне.*

А ты кто?

Я — ты, конечно. А ты думал кто?

Единственной постоянной величиной у него в мире, которая не была говном, оказались его ежевечерние беседы с Эми по телефону. Первый ее вопрос, всегда: *Как ты, Арчи?* — и каждый вечер он давал ей один и тот же ответ: *Лучше. Немного лучше, чем вчера,* — что на самом деле было правдой, не только потому, что его физическое состояние со временем медленно улучшалось, но и оттого, что разговорами с Эми он всегда, похоже, возвращал себе свое прежнее «я», словно голос ее — щелкающие пальцы гипнотизера, который повелевает ему выйти из транса и проснуться. Ни у кого больше такой власти над ним не было, и недели шли, а Фергусон продолжал поправляться — и начал уже подозревать, что это как-то связано с тем, как Эми истолковала аварию — не так, как все остальные, ибо она отказалась считать ее трагедией, а значит, из всех, кто любил Фергусона, она его меньше всего жалела. В ее картине мира трагедиями считались смерти и разрушительные увечья: паралич, повреждение мозга, жуткое уродство, — а утрата двух пальцев делом было тривиальным, не больше, и, если учитывать, что машина, врезавшаяся в дерево, должна была привести либо к смерти, либо к

жуткому уродству, можно было лишь радоваться, что Фергусон выжил в этой аварии без всяких трагических последствий. Жаль, конечно, что с бейсболом так вышло, но это малая цена за привилегию остаться в живых всего с двумя потерянными пальцами, а если ему именно сейчас стало трудно писать стихи, так отложи пока поэзию в сторонку и перестань об этом беспокоиться, а если окажется, что ему не удастся написать больше ни одного стихотворения, так это лишь будет значить, что он с самого начала не был скроен сочинять поэзию.

Ты заговорила, как доктор Панглосс, сказал ей однажды вечером Фергусон. Все вечно происходит к лучшему — в этом лучшем из миров.

Нет, вовсе нет, сказала Эми. Панглосс — оптимистический идиот, а я разумный пессимист, что значит — пессимист, у которого порой случаются проблески оптимизма. Почти все происходит к худшему, но не всегда, видишь ли, ничего никогда не бывает *всегда*, но я *всегда* ожидаю худшего, а когда худшего не происходит, меня так это вдохновляет, что я становлюсь похожа на оптимиста. Я могла бы потерять тебя, Арчи, а потом взяла и не потеряла. И только об этом я теперь способна думать — о том, как я счастлива,

что не потеряла тебя.

В первые недели после возвращения домой из Вермонта он еще недостаточно окреп, чтобы ездить в Нью-Йорк по субботам. Ходить в школу и обратно с понедельника по пятницу и без того было едва посильно, а Манхаттан для его измученного, сошлопанного тела оказался бы совсем чересчур, для начала — тряский автобус, но еще и долгое восхождение по лестницам подземки, толпы людей, и все толкаются в пешеходных тоннелях, а затем — невозможность хоть сколько-то перемещаться пешком по холодным зимним улицам с Эми, поэтому весь февраль и половину марта они все делали наоборот: пять суббот подряд Эми навещала его в Монклере. В новых условиях ощутимых раздражителей было маловато, но имелось несколько преимуществ по сравнению с их прежним распорядком брожений по книжным магазинам и музеям, сидений в кафе или заходов в кино, театры и на вечеринки, и первое среди них — то, что родители Фергусона по субботам работали, а потому, что они работали, дом стоял пустой, а поскольку в доме бывало пусто, они с Эми могли подняться к нему в комнату, закрыть дверь и лечь на кровать, не боясь, что кто-нибудь обнаружит, чем это они занимаются.

Но страх все равно оставался, по крайней мере — у Фергусона, убедившего себя, что Эми больше не захочет его ни в какой мере, и в первый раз, когда они зашли к нему в комнату монклерского дома, страх этот оказался ничуть не слабее первого раза, когда они вошли в комнату Эми в нью-йоркской квартире, но едва устроились на кровати и с них стала спадать одежда, Эми удивила его тем, что завладела его израненной кистью и принялась ее целовать, медленно целовать двадцать или тридцать раз, а потом прильнула губами к его обмотанной бинтами левой руке и тоже раз десять ее поцеловала, после чего еще дюжина поцелуев досталась его перевязанной правой руке, а потом она притянула его к груди и взялась целовать мелкие повязки у него на голове, одну за другой, одну за другой, каждую по шесть раз, семь раз, восемь. Когда Фергусон спросил у нее, зачем она это делает, Эми ответила, что это те его части, которые она теперь больше всего любит. Как может она такое говорить? — спросил он, они же отвратительны, и как может кто-то любить то, что отвратительно? Потому что, ответила Эми, раны эти — память о том, что с ним случилось, а поскольку он жив, поскольку он сейчас с нею, то, что с ним случилось, — еще и то, что

с ним не случилось, а значит, отметины у него на теле — знаки жизни, а из-за этого они ей не отвратительны, они прекрасны. Фергусон рассмеялся. Ему хотелось сказать: *Снова Панглосс на выручку!* — но он ничего не сказал и, глядя Эми в глаза, тихонько не понимал, правду она говорит или нет. Возможно ли это — что она верит в то, что ему сказала минуту назад, или же попросту делает вид, будто верит, ради него? А если она в это не верит, как может верить ей он? Потому что вынужден ей верить, решил он, потому что верить ей — для него единственный выход, и правда, так называемая всемогущая истина не значила ничего, если он задумывался, что́ бы с ними стало, если б он ей не верил.

Секс пять суббот подряд, секс посреди дня, когда жидкий февральский свет обертывал собою края занавесок и просачивался в воздух, окружавший их тела, а затем — наслаждение видеть, как Эми вновь одевается, знать, что под одеждой этой — ее голое тело, а это неким манером продлевало близость секса, даже когда они сексом не занимались, тело, что он нес у себя в уме, когда они спускались вниз приготовить что-нибудь на обед, или слушали пластинки, или смотрели по телевизору какое-нибудь старое кино, или ненадолго

выходили пройтись по соседним кварталам, или он читал ей вслух из «Картин Брейгеля» Вильяма Карлоса Вильямса, своего свежепомазанного любимца, кто спихнул с трона Элиота после кровавой стычки с Воллесом Стивенсом.

Секс пять суббот подряд, но еще и возможность снова разговаривать лицом к лицу после междугородних бесед по телефону всю неделю школьных занятий, и в три из этих суббот Эми задерживалась настолько, что ее, придя с работы, заставали его родители, что привело к трем ужинам, когда они вчетвером сидели за столом на кухне, мать его — гораздо счастливее от того, что он теперь с Эми, а не той *пьяной бельгийской девчонкой*, а отец развлекался ее говорливостью и оригинальными высказываниями, как в тот раз, когда — если привести всего один пример из конца февраля, который стал месяцем покорения Америки «Битлами» и победой Кассиуса Клея над Сонни Листоном, то были две главные темы, которые все тогда обсуждали, — Эми высказала сумасбродное, но глубокое замечание, дескать, Джон Леннон и новый чемпион-тяжеловес на самом деле один и тот же человек, только разделенный на два разных тела, оба — молодые люди, кому чуть за двадцать, оба совершенно

одинаково завладели вниманием всего мира благодаря тому, что не относятся к себе серьезно, у обоих дар дерзко и нарочито театрально произносить самые нахальные вещи, которые смешат людей, *Я величайший*, *Мы популярнее Иисуса Христа*, и когда Эми повторила эти несуразные, но незабываемые заявления, отец Фергусона вдруг расхохотался — не только потому, что Эми точно сымитировала ливерпульский картавый выговор Леннона и кентуккскую растяжечку Клея, но и выражения на их лицах тоже изобразила, а как только отец Фергусона отсмеялся, он сказал: Тут ты это верно заметила, Эми. *Умники, у которых языки остры, а ум еще острее*. Мне такое нравится.

Фергусон понятия не имел, осознают ли его родители, как они с Эми проводят утра и дни суббот одни в доме. Он подозревал, что мать могла что-то заподозрить (во вторую субботу она, не предупредив, вернулась домой за свитером и застала их за разглаживанием покрывал на кровати), а это могло означать, что она обсудила это и с отцом, но даже если они знали, ни тот ни другая не заикнулись об этом ни словом, поскольку к тому времени уже стало совсем очевидно, что Эми Шнейдерман — положительная сила в

жизни их мальчика, экстренная бригада из одной девушки, которая единолично выхаживает его, пока он мучительно приспосабливается к своему миру после аварии, а стало быть, они поощряли их бывать вместе как можно чаще, и даже несмотря на то, что с деньгами тогда было как-то особенно туго, никогда не возражали против высокой стоимости междугородних телефонных звонков, которые увеличивали их ежемесячные счета за телефон в четыре с лишним раза. *Эта девочка — хорошей породы, Арчи*, однажды сказала ему мать, и точно так же, как наблюдала она за внучкой своего бывшего начальника, которая ухаживала за ее сыном, так и сама ухаживала за своей племянницей Франси — каждый день в четыре часа ездила к ней в больницу посидеть с нею часок, а там неуклонно претворяла в жизнь свою программу лечения сплошь-любовью-иничем-кроме-любви. Фергусон внимательно выслушивал все ее вечерние отчеты об успехах Франси, но все время тревожился, не сболтнула бы его кузина матери что-нибудь про *скрипучую кровать* и о том, как рассердилась на него она утром аварии, что могло бы привести к некоторым неприятным вопросам матери, отвечая на которые ему бы пришлось врать, чтобы скрыть

собственное смущение, но когда он наконец собрался с мужеством и сам поднял этот вопрос, спросив у матери, что Франси ей рассказывала об аварии, та заявила, что Франси о ней ни словом не обмолвилась. Правда ли это? — спрашивал он у себя. Могла ли Франси вытеснить аварию — или же мать просто разыгрывает дурочку по поводу их ссоры, не желая его расстраивать?

А про мою руку? — спросил Фергусон. Она о моей руке знает?

Да, ответила мать. Ей Гари рассказал.

Зачем же он так поступил? Как-то бессердечно, ты не считаешь?

Потому что ей следует знать. Вскоре она уже выпишется из больницы, и никому не хочется, чтобы ее потрясло, когда она снова с тобой увидится.

Выписали ее после трех недель отдыха и лечения, и хотя в последовавшие годы случались новые срывы и новые попадания в больницу, теперь она опять встала на ноги, левую руку пока еще носила на перевязи, потому что ключица срасталась медленно, но *вообще сияла*, как сообщила мать Фергусона, заехав к ней в больницу в последний раз, а когда еще через неделю повязку сняли и Франси пригласила Фергусона и его

родителей в воскресенье на обед к себе домой в Вест-Оранж, он и сам тоже счел ее сияющей: она полностью восстановилась, уже была не та затурканная, измотанная женщина, что поехала с ними на те катастрофические выходные в Вермонт. Для них обоих то был опасный миг — встретиться лицом к лицу впервые после аварии, и когда Франси посмотрела на его руку и увидела, что с нею в аварии стало, она расплакалась и обняла его, лепеча извинения, отчего Фергусон понял — впервые после аварии, — до чего сильно он втайне винил Франси в происшедшем с ним, что даже если она и не была во всем этом виновата, даже если ее последний взгляд на него в машине и был взглядом безумицы, человека, уже не властного над своими мыслями, именно она разбила машину о дерево, и он хоть и желал бы простить ее за все, но полностью все же не мог — так, чтоб до самых дальних глубин себя, и несмотря на то, что рот его произносил все нужные слова, уверяя ее в том, что он ничего не держит против нее, что все прощено, сам он знал, что лжет и всегда будет ей это предъявлять, что авария будет стоять меж ними весь остаток их жизней.

Семнадцать ему исполнилось третьего марта.

Через несколько дней после этого он сходил в местный ОТС[33] и сдал экзамен по вождению на права штата Нью-Джерси, показав свои умения за рулем: плавные повороты, ровное нажатие на педаль газа (*словно опускаешь ногу на сырое яйцо*, говорил ему отец), мастерство при торможении и заднем ходе, а самое последнее — его понимание маневров, необходимых для параллельной парковки — действия в узком пространстве, погубившего столько будущих водителей. Фергусон за годы выдержал множество экзаменов, но сдача этого была для него гораздо важнее всего, чего он добился в школе. Этот экзамен был настоящим, и, как только права окажутся у него в кармане, у него появится власть отпереть двери и выйти из клетки.

Он знал, что родителям его приходится непросто, что дела у обоих идут так себе, а ресурсы у семьи подорваны: трудные времена пока что, быть может, и не наступили, но неуклонно приближались от месяца к месяцу. Основные расходы по его пребыванию в вермонтской больнице покрыл «Голубой крест / Голубой щит», но там еще были и траты наличных, нестрахуемые

[33] Сноски: 33
Отдел транспортных средств.

минимумы и разнообразные междугородние телефонные счета вместе с теми деньгами, какие мать его истратила на номер в мотеле и прокат машины, что не могло не сказаться на них: так выходишь под дождь с драными зонтиками и без башмаков, — и потому, когда настало третье марта, а единственный подарок, что он получил от родителей, был игрушечной машинкой — миниатюрной копией белой «шеви-импалы» 1958 года, — Фергусон это истолковал как подарок шутейный, сразу и талисман на удачу в экзамене на права, который он собирался сдавать, и признание родителей, что они не могут себе позволить ничего лучше. Ну что ж, подумал он, вообще-то это довольно смешно, и, поскольку оба его родителя при вручении улыбались, он улыбнулся им в ответ и сказал спасибо — был слишком рассеян при этом, чтобы обратить внимание на то, что мать его произнесла следом: Не бойся, Арчи. Из маленьких желудей вырастают могучие дубы.

Шесть дней спустя дуб возник на подъездной дорожке в виде полноразмерного автомобиля, гигантской копии того желудя, что ныне стоял у Фергусона на письменном столе как пресс-папье универсального назначения, или почти точная копия, поскольку белая «шеви-импала», стояв-

шая во дворе, произведена была в 1960 году, а не в 1958-м, у нее были две дверцы, а не четыре, как у модели, и оба родителя Фергусона сидели в машине и вместе ждали на клаксон, всё бибикали и бибикали, покуда их сын не вышел из комнаты поглядеть, что там за шум.

Мать объяснила, что они собирались ему подарить ее третьего, но с машиной еще требовалось поработать, и ремонт занял немного дольше ожидаемого. Она надеется, что ему понравится, сказала она. Они поначалу думали дать ему выбрать самому, но тогда бы это не стало сюрпризом, а все удовольствие от дарения такого подарка — в том, что это сюрприз.

Фергусон ничего не сказал.

Отец нахмурился ему и спросил: Ну, Арчи, что скажешь? Нравится тебе или нет?

Да, ему нравилось. Конечно же, нравилось. Как могла она ему не нравиться? Машина ему понравилась так, что хотелось опуститься на колени и поцеловать ее.

Но как же вы насобирали денег? — наконец спросил он. Дорого же, должно быть.

Меньше, чем думаешь, ответил отец. Всего шесть-пятьдесят.

До или после ремонта?

До. После ровно восемьсот.

Это много, сказал Фергусон. Слишком много. Не нужно было.

Не говори глупостей, сказала мать. Я за последние полгода сняла сто портретов, а теперь, когда окончена эта книга, что, по-твоему, висит на стенках у моих знаменитых мужчин и женщин?

А, понимаю, сказал Фергусон. Там не только грант, но еще и премиальные. Сколько ты с них брала за удовольствие глядеть на самих себя?

Сто пятьдесят за раз, сказала его мать.

Фергусон слегка присвистнул, восхищенно кивнув.

Отличные пятнадцать тыщ, добавил отец — на тот случай, если Фергусону не далась бы арифметика.

Вот видишь? — сказала его мать. Мы не попадем в богадельню, Арчи, по крайней мере — сегодня, да и завтра, наверное, тоже. Поэтому закрой рот, садись в машину и отвези нас куда-нибудь, ага?

Так началось Время Машины. Впервые в жизни Фергусон сам был хозяином своих отъездов и приездов, суверенным правителем пространств, его окружавших, и безо всякого бога перед собой, кроме шестицилиндрового двигателя внутреннего сгорания, который не просил у него ничего,

кроме полного бака топлива и замены масла каждые три тысячи миль. Всю весну и первые дни лета он каждое утро ездил на машине в школу, чаще всего — с Бобби Джорджем рядом, на переднем сиденье, а иногда и с кем-нибудь третьим на заднем, а когда в четверть четвертого занятия заканчивались, он уже не шел прямо домой, чтобы запереться у себя в маленькой спальне, а снова забирался в машину и ехал, ездил по часу или два без всякой цели или точки назначения, ездил ради чистого удовлетворения езды, и часто, первые минуты или четверти часа таких поездок не зная, куда ему хочется, он ловил себя на том, что разными путями направляется к Резервации Южной горы, единственному участку дикой природы во всем округе Эссекс, ко многим акрам лесов и походных троп, к убежищу, где укрывались совы, колибри и ястребы, к месту с миллионом бабочек, и, доехав до вершины горы, вылезал из машины и озирал громадную долину под собой, городок за городком, сплошь дома и фабрики, школы, церкви и парки, взгляд его охватывал больше двадцати миллионов человек, одну десятую населения Соединенных Штатов, ибо достигал аж реки Гудзон и переметывался за нее, в город, а на самом дальнем крае того, что

Фергусон мог разглядеть с верхнего карниза горы, высились высокие здания Нью-Йорка, небоскребы Манхаттана торчали из линии горизонта, словно крохотные стебельки травы, и однажды, пока он вот так глядел на город Эми, ему на ум взбрело, что он должен поехать и увидеть саму Эми, — и вдруг он снова оказался в машине, порывисто гнал в Нью-Йорк через сгущавшиеся транспортные потоки часа пик, и когда через час и двадцать минут подошел к квартире Шнейдерманов, Эми, выполнявшая домашнее задание, так удивилась, его увидев, когда открыла дверь, что взвизгнула.

Арчи! — сказала она. Что ты тут делаешь?

Я здесь тебя поцеловать, ответил Фергусон. Всего один поцелуй, и я поеду.

Всего один? — переспросила она.

Всего один.

И Эми распахнула ему объятия и дала себя поцеловать, и как раз, когда они погрузились в свой единственный поцелуй, в дверях возникла мать Эми и сказала: Боже правый, Эми, что ты делаешь?

А на что это похоже, ма? — ответила Эми, отрывая губы от рта Фергусона и глядя на свою мать. Я целую самого клевого парня из всех двуногих.

Для Фергусона то был прекраснейший миг, самая вершина его юношеских устремлений, великолепный и дурацкий жест, о каком он так часто мечтал, но попробовать его самому никогда не доставало мужества, а поскольку он не желал его портить, нарушая данное слово, то поклонился Эми и ее матери и направился к лестнице. Уже на улице сказал себе: Без машины этого бы никогда не произошло. Машина чуть не убила его в январе, а теперь, всего через два месяца, машина возвращает ему жизнь.

В понедельник, двадцать третьего марта, он решил не надевать шапочку в школу, и, поскольку волосы у него к этому времени уже отросли, и голова выглядела более-менее так же, как выглядела всегда до вермонтского скальпирования, отсутствия шапочки никто не отметил, если не считать трех-четырех девчонок у него в классе французского, среди них — Маргарет О'Мара, некогда приславшая ему тайную любовную записку, когда они еще учились в шестом классе. В четверг утром стало так тепло для этого времени года, что он решил отказаться и от перчатки. И опять никто почти ничего не сказал, а из всех людей в его сокращавшемся кругу друзей только Бобби Джордж попросил позволения рассмотреть

поближе, что Фергусон ему неохотно и разрешил — вытянул левую руку полностью и дал Бобби ухватиться за кисть, которую тот принялся изучать в шести дюймах от своего лица, с увлеченным вниманием опытного хирурга или, быть может, юного, безмозглого ребенка — с Бобби никогда не разберешь, — поворачивая кисть туда и сюда и нежно поглаживая пальцами поврежденные участки, а когда наконец отпустил ее и Фергусон снова уронил руку, Бобби сказал: Очень хорошо она выглядит, Арчи. Вся зажила и снова обычного цвета.

Начиная с самой аварии кто-нибудь постоянно рассказывал ему истории о знаменитых людях, которые тоже теряли пальцы, а потом в жизни процветали, среди них — бейсбольный подающий Мордекай Браун, лучше всего известный как «Трехпалый Браун», кто выиграл 239 матчей за свою четырнадцатилетнюю карьеру, и его избрали в Зал славы, а также комик немого кино Гарольд Ллойд, потерявший большой и указательный пальцы на правой руке в результате взрыва пиротехнической бомбы, и ему все равно удавалось висеть на стрелках огромных часов и выполнять тысячу других невозможных трюков. Фергусон пытался вдохновляться этими ободря-

ющими повествованиями, считать себя гордым членом братства восьмипалых, но ура-байки этого племени оставляли его равнодушным, либо смущали его, либо внушали отвращение своим паточным оптимизмом, и все ж, несмотря ни на что, с направляющими примерами тех других людей или без них, он постепенно смирялся с измененной формой своей руки, *начинал к ней привыкать*, и, наконец сняв двадцать шестого марта перчатку, решил, что худшее для него уже позади. Однако не учел он вот чего: насколько утешала его перчатка, до чего он от нее зависел, как от щита против ползучих кошмаров робости, и теперь, когда рука опять оголилась, теперь, раз он пытался вести себя *как ни в чем не бывало*, у него развилась привычка на людях совать левую руку в карман, а в школе это значило — почти все время, и больше всего в этой новой привычке его обескураживало то, что он не осознавал этого действия, жест производился на чистом рефлексе, совершенно независимо от его воли, и лишь когда ему приходилось зачем-нибудь вынимать руку из кармана, он понимал, где находилась перед этим его рука. Никто вне школы этого его тика не замечал, ни Эми, ни его мать с отцом, ни прародители, поскольку нетрудно

же быть храбрым с теми, кто о тебе заботится, но в школе Фергусон превратился в труса и уже начинал себя за это презирать. Однако как же ему перестать делать такое, чего он даже не замечает за собой? Решения у этой задачи, казалось, нет — она служила еще одним примером старой неподатливой задачи ума-тела, в данном случае безмозглая часть тела вела себя так, словно располагала собственным умом, но затем, после месяца бесплодных поисков, ответ ему, в конце концов, явился, совершенно практический ответ, и он собрал одну за другой четыре пары брюк, которые носил в школу, отдал их матери и попросил зашить передний и задний левые карманы на каждой паре.

Одиннадцатого апреля Эми получила письмо, извещавшее ее о том, что она принята в Барнард. Никто из ее знакомых этому не удивился, а она несколько месяцев мучилась оттого, что в прошлом году ей дали 81 балл по Алгебре II/Тригонометрии, отчего общий средний балл у нее съехал с 95 до 93, и задавалась вопросом, не слишком ли низки ее результаты СОТ[34], 1375, а не 1450, к которым она стремилась на всех парах,

[34] Сноски: 34
Стандартный отборочный тест.

и когда бы Фергусон ни пытался успокоить ее в те тревожные месяцы ожидания, она отвечала ему, что в этой жизни ничего определенного не существует, что мироздание выдает разочарования так же споро и рьяно, как политик руки жмет, а из-за того, что не желает разочаровываться, она и готовится к тому, что разочаруется, а поэтому, когда наконец поступили счастливые известия, она не столько обрадовалась, сколько пережила облегчение. А вот Фергусон был счастлив — не только за Эми, но и за себя, превыше прочего за самого себя, поскольку в том случае, если ее не возьмут в Барнард, у нее было несколько запасных вариантов, и каждый из них — в городе, который не назывался Нью-Йорк, и Фергусон жил в ужасе: а ну как она окажется в каком-нибудь далеком месте, вроде Бостона, Чикаго или Мадисона, Висконсин, отчего все для него стало бы таким запутанным и одиноким, если придется видеться с ней лишь несколько раз в год, поспешные праздничные возвращения на Западную Пятьдесят седьмую улицу, а потом она снова пропадает, девять долгих месяцев без всякий связи или с редким общением, писать ей письма, на которые ей слишком некогда будет отвечать, и медленно и неизбежно их разведет

в разные стороны, ничто бы не помешало ей встретиться с кем-нибудь другим, студентики же вечно будут вокруг нее виться, и рано или поздно она непременно на какого-нибудь клюнет, на двадцати- или двадцатиоднолетнего историка и заодно активиста гражданских прав, кто заставит ее полностью забыть несчастного Фергусона, который до сих пор и среднюю школу-то не закончил, а потом пришло письмо из Барнарда, и ему больше не нужно было осмыслять мрачные подробности того, что могло бы случиться. Фергусон был еще молод, но достаточно взрослый и уже успел узнать, что худшие кошмары порой претворяются в жизнь — братья грабят братьев, президентов скашивают пули наемных убийц, машины врезаются в деревья, — и что иногда это с ними не происходит, как с кризисом двумя годами раньше, когда мир должен был закончиться, но не стал, или как с отъездом Эми в колледж, который забрал бы ее из Нью-Йорка, но не забрал, и теперь она следующие четыре года проведет в этом городе, Фергусон понимал, что, когда ему самому придет пора выбирать колледж, он так или иначе тоже отправится в Нью-Йорк.

К тому времени уже начался бейсбольный сезон, но Фергусон делал все от него зависящее,

чтобы о нем не думать. Он избегал ходить на матчи, и все, что ему становилось известно о команде, он получал из бесед с Бобби Джорджем, когда они по утрам ездили в школу. Энди Малоне, занявший место Фергусона на третьей базе, очевидно, с трудом приспосабливался к своей новой позиции и своими ошибками в конце иннинга стоил команде пары побед. Фергусону было жаль и его, и всех в команде, но не слишком жаль, не настолько, чтобы при этом еще и немного не радоваться, ибо как ни мучительно было ему это признавать, но имелось некоторое извращенное наслаждение в том, чтобы знать: без него команда уже не так хороша. Что же касается Бобби, тут волноваться не о чем, как обычно. Он всегда играл хорошо, но теперь был лучшим игроком во всей компании, принимающим с могучим ударом, и умел не только бить, но и играть на поле, и когда он в конце концов уговорил Фергусона сходить на игру на своем поле против команды средней школы Колумбии на второй неделе мая, Фергусона поразило, насколько Бобби развился как игрок. Одиночный, двойной и тройная круговая пробежка — вместе с двумя бегунами, которых вышвырнули за попытку украсть вторую базу. Сопливый малыш, дышавший ртом и сосавший

палец, превратился теперь в подростка шести футов и двух дюймов, мускулистого, быстроногого здоровяка весом больше двухсот фунтов, который на поле выглядел совершенно взрослым, а играл с такой смышленостью, какая Фергусона прямо-таки поражала, поскольку Бобби Джордж тупицей был во всем, что не касалось бейсбола, футбола и хохота над сальными шуточками, и единственной причиной, почему он не проваливал половину предметов по программе, была та, что родители его наняли ему репетитора из университета штата в Монклере, чтобы средние оценки у него не опускались ниже тройки — таков был академический минимум, потребный для того, чтобы участвовать в межшкольных спортивных состязаниях. Однако выведи его на поле — и он играл умно, и теперь, раз Фергусон увидел, насколько хорош стал Бобби, больше не было нужды мучить себя тем, чтобы идти смотреть той весной еще один какой-нибудь матч. Может, на следующий год, сказал он себе, а пока же еще слишком больно.

Приближалось лето, и теперь, когда заботы о колледже наконец сошли для нее на нет, Эми вновь заговорила о политике — в долгих беседах она вываливала на Фергусона свои мысли об

СКНД, КРР[35] и курсе движения, ее выводило из себя, что она слишком молода, чтобы отправиться на Юг и принять там участие в Миссисипском летнем проекте, который организовали за последние месяцы учебного года: трехсторонняя инициатива, учрежденная СКНД, куда входила вербовка небольшой армии студентов колледжей с Севера, привлечение тысячи дополнительных пар рук, чтобы помочь с (1) движением за регистрацию избирателей для обделенных негров штата, (2) работой Школ свободы, устроенных для негритянских детей в десятках поселков и городков, и (3) учреждением Миссисипской демократической партии свободы, которая изберет альтернативных делегатов по списку, и те отправятся в конце августа на съезд в Атлантик-Сити, дабы лишить мест целиком белую, расистскую делегацию обычных демократов. Эми отдала бы что угодно за то, чтобы ринуться в эту опасную зону насилия и предубеждений, встать в строй ради цели, но брали туда только с девятнадцати лет, и она даже податься не могла, что, с точки зрения Фергусона, было хорошо, ибо как бы ни верил он сам в эту благородную цель, провести

[35] Сноски: 35

Студенческий координационный комитет ненасильственных действий, Конгресс расового равенства.

лето без Эми было бы для него невыносимо.

За следующие месяцы же невыносимого произошло много, просто не с ними, не прямо с ними, и, несмотря на их летние работы продавцом в «Книжном магазине Восьмой улицы» (Эми) и в обслуживающем персонале «ТВ и радио Станли» (Фергусон), им удавалось видеться часто, не только по выходным, но и многими вечерами среди недели: Фергусон уезжал в город, едва у него заканчивалась работа, забирал Эми из книжного, и они катились есть гамбургеры к «Джо-младшему» и смотреть кино в театр на Бликер-стрит, или гулять по Вашингтон-сквер, или кувыркаться голышом на квартире у какой-нибудь подруги Эми, которой не было дома, благодаря машине Фергусона они были теперь вольны ехать куда угодно, — благодаря Машине Свободы в то Лето Свободы, по субботам и воскресеньям уезжали они в Джонс-Бич, или гнали на север в деревню, или катили вниз к побережью Джерси, лето больших замыслов, неистовой любви и огромной боли, что началось так ободряюще, когда Сенат девятнадцатого июня провел Закон о гражданских правах, а затем, сразу же после, лишь семьдесят два часа спустя, начали происходить вещи невыносимые. Двадцать второго июня

сообщили о пропаже трех молодых людей, участников Миссисипского летнего проекта. Эндрю Гудман, Микки Швернер и Джемс Чейни выехали из тренировочного центра проекта в Огайо раньше остальных, чтобы расследовать подрыв церкви, и со дня их отъезда о них ничего не было слышно. Не оставалось сомнений в том, что их угробили — отлупили, замучили и убили белые сегрегационисты в острастку вторгшейся орде янки-радикалов, замысливших уничтожить весь их образ жизни, но никто не знал, где их тела, и ни одному белому во всем штате Миссисипи, похоже, не было до этого никакого дела. Услышав новость, Эми разрыдалась. Шестнадцатого июля, в тот день, когда Барри Голдуотер выиграл в Сан-Франциско республиканскую номинацию на пост президента, в Гарлеме белый легавый застрелил черного подростка, и Эми плакала опять, когда на смерть Джемса Павелля в Гарлеме и Бедфорд-Стайвесанте ответили шестью ночами бунтов и мародерства подряд, а нью-йоркская полиция стреляла настоящими пулями поверх голов людей, стоявших на крышах и сбрасывавших на них сверху мусор, не пожарные брандспойты и собак применяли для разгона черных толп на Юге, а настоящие пули, и Эми плакала не только

потому, что наконец поняла: на Севере расизм так же силен, как и на Юге, так же силен в *ее собственном городе*, — но поскольку понимала она и то, что ее невинный идеализм умер, что ее мечта об Америке, не различающей цветов, в которой черные и белые выступали бы заодно, есть всего-навсего дурацкое выдавание желаемого за действительное, и даже Баярд Растин, человек, всего одиннадцатью месяцами раньше организовавший Марш на Вашингтон, не имеет уже ни малейшего влияния, и когда он встал перед толпой в Гарлеме и умолял их прекратить насилие, чтобы никого не ранило и не убило, толпа криками прогнала его и назвала Дядей Томом. Мирное сопротивление потеряло всякий смысл, Мартин Лютер Кинг был новостью вчерашнего дня, а Черная Власть стала верховным евангелием, и такова была его сила, что всего за несколько месяцев слово *негр* истерлось из американского лексикона. Четвертого августа в земляной насыпи под Филадельфией, штат Миссисипи, обнаружили тела Гудмана, Швернера и Чейни, и фотоснимки их полупогребенных трупов, валявшихся в грязи под насыпью, были настолько ужасны и так бередили своим видом, что Фергусон отвернулся и застонал. На следую-

щий день сообщили, что северовьетнамскими торпедными катерами атакованы два американских эсминца, патрулировавшие Тонкинский залив, ну или так утверждалось в официальном отчете правительства, и седьмого августа Конгресс принял Тонкинскую резолюцию, которая давала Джонсону власть «предпринимать все необходимые меры для отражения любых вооруженных нападений на силы Соединенных Штатов и предотвращения дальнейшей агрессии». Началась война, и Эми больше не плакала. Она уже все решила насчет Джонсона и теперь впала в ярость — гнев ее был до того возвышен, что Фергусона так и подмывало отпустить какую-нибудь шуточку, чтобы посмотреть, улыбнется ли она еще когда-нибудь.

Это будет по-крупному, Арчи, сказала она, крупнее, чем в Корее, крупнее, чем что-либо еще со времен Второй мировой войны, и просто радуйся, что тебе в этом не придется участвовать.

А это еще почему, доктор Панглосс? — спросил Фергусон.

Потому что мужчин с одним большим пальцем в армию не призывают. Слава богу.

3.2

3.3

Эми он больше не нравился, по крайней мере — так, как Фергусону хотелось ей нравиться, и после великолепных дней в конце весны и летом, когда поцелуйные кузены оставили позади свое кузенство ради захода на настоящую любовь, они опять вернулись к обычному двоюродному родству. Романтику отменила Эми, и Фергусон ничего не мог поделать для того, чтобы она передумала, ибо уж если Шнейдерманов ум что-то решал, поколебать его было невозможно. Ее основные жалобы на Фергусона сводились к тому, что он слишком уж занят собой, слишком навязчив с объятиями (настойчивые наскоки на ее груди, которые она в четырнадцать лет еще не готова была перед ним оголять), слишком вял во всем остальном, что не касалось ее грудей, чересчур незрел, ему слишком недостает общественной сознательности, чтобы с ним можно было разговаривать о чем-нибудь *значимом*. Дело не в том, что она к нему не испытывает огромной и прочной нежности, сказала она, или что ей претит наличие у нее в новой расширенной семье лодыря Фергусона,

сходящего с ума по кино и играющего в баскетбол, но как постоянный парень он безнадежен.

Роман их завершился за пару недель до конца лета (1961-го), и когда после Дня Труда школьные занятия возобновились, Фергусон был безутешен. Теперь не только уже не предстоят им с Эми совместные буйства с поцелуями, но и до-романное их товарищество тоже распалось. Больше никаких походов друг к дружке домой делать домашние задания, никаких серий «Сумеречной зоны» по телевизору, никаких игр в кункен, никакого слушания пластинок, никаких вылазок в кино, никаких прогулок по Риверсайд-парку. Он по-прежнему видел ее на семейных сборищах, которые все так же случались два-три раза в месяц, ужины и воскресные обеды в двух квартирах Шнейдерманов, походы в «Сычуаньский дворец» на Бродвее и «Сценическую закусочную» на Седьмой авеню, но теперь ему оказалось больно смотреть на нее, мучительно быть рядом после того, как она дала ему отставку, отвергла его, поскольку он не соответствовал ее меркам достойного, надежного человека, и вместо того, чтобы сидеть с нею рядом за этими трапезами, как обычно происходило в прошлом, он располагался теперь за другим концом стола и пытался

вести себя так, словно ее нет. В последнюю неделю сентября, посреди ужина у дяди Дана и тети Лиз, пока старый козел нес околесицу насчет ядовитого радия, который восточные немцы заложили в Берлинскую стену, Фергусон в отвращении встал, пробормотал отговорку, что ему, дескать, нужно в ванную, и вышел из-за стола. В ванную он действительно зашел, но лишь для того, чтобы спрятаться от всех остальных, поскольку для него все это стало слишком уж чересчур — обязательство поддерживать на себе маску учтивости перед Эми на этих семейных мероприятиях, все еще свежая рана открывалась заново всякий раз, когда он ее видел, Фергусон уже не знал, что сказать или как держать себя при ней, и потому он пустил воду и пару раз смыл, чтобы заставить прочих поверить, что пошел туда опорожнить кишечник, а не потворствовать жалкому наслаждению жалости к себе. Когда три или четыре минуты спустя он снова открыл дверь, в коридоре стояла Эми, уперев руки в бока, вызывающая, воинственная поза, какая, похоже, заявляла, что с Эми тоже хватит.

Что это за чертовщина? — спросила она. Ты на меня больше не смотришь. Ты со мной больше не разговариваешь. Только дуешься, и это действует

мне на нервы.

Фергусон опустил взгляд на ноги и сказал: У меня сердце разбито.

Ладно тебе, Арчи. Ты разочарован, только и всего. И я тоже разочарована. Но мы хотя бы можем попробовать остаться друзьями. Мы же всегда были друзьями, разве нет?

Фергусон по-прежнему не мог заставить себя посмотреть ей в глаза. Нет возврата, сказал он. Что сделано, то сделано.

Ты же шутишь, правда? В смысле — хреново, конечно, и все такое, но не сделано ничего. Ничего еще вообще не началось. Нам по четырнадцать лет, шмакодявка.

Да уж не маленькие, сердца уже могут разбиться.

Качни мышцу, Арчи. Ты к этому относишься, как жалкая детка, а я такого терпеть не могу. Я это просто ненавижу. Мы останемся кузенами еще очень и очень долго, и мне нужно, чтобы ты был мне другом, поэтому прошу тебя, не заставляй меня тебя ненавидеть.

Фергусон постарался качнуть мышцу. Как бы трудно ему ни было слушать Эми, когда она язвила его этими сварливыми замечаниями, он понимал, что спасовал перед своим размякшим

умом, своими порывами жалости к себе, и если он сам не положит этому конец, то превратится в Грегора Замзу и, *проснувшись однажды утром после беспокойного сна, обнаружит, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое*[36]. Он уже учился в девятом классе, первый предвыпускной год, и хотя его академическая успеваемость в Риверсайдской академии всегда оставалась достойной, оценки в седьмом и восьмом классах несколько поехали у него вниз, возможно, от скуки, возможно, от самонадеянности: он счел, что его естественных способностей хватит, чтобы почти не прилагать никаких усилий, но работать теперь приходилось прилежнее и невозможно было отвечать на вопросы контрольных о том, как спрягать неправильные французские глаголы в *passé simple*[37] или называть даты таких событий, как Пражские дефенестрации или Вормсский рейхстаг, если не уделять время изучению и запоминанию таких вот невразумительных подробностей. Фергусон исполнился решимости поднять свои оценки до высочайшего уровня, какой только

[36] Сноски: 36
Пер. С. Апта, парафраз.

[37] Сноски: 37
Простое прошедшее время (*фр.*).

мог себе вообразить: никак не меньше пятерок по английскому, французскому и истории, никак не меньше четверок с плюсом по биологии и математике, — план суровый, но выполнимый, поскольку стремиться к круглым пятеркам по двум последним предметам потребовало бы столько дополнительной работы, что из расписания пришлось бы выпихнуть баскетбол, а когда после перерыва на Благодарение начались отборочные соревнования, он поставил себе целью попасть в команду первокуров. Туда он и попал (начинающим форвардом), да и учебная работа его отвечала ожиданиям, хоть и не вполне так, как он это предсказывал, ибо пятерка по французскому обернулась разочаровывающей четверкой с плюсом, а четверка с плюсом по биологии преобразилась в чудесную пятерку с минусом. Но не суть. Фергусон попал в почетный список отличников за первый семестр, и если б Эми тоже училась в Риверсайдской академии, она бы узнала о его успехах. Но ее здесь не было, и потому ничего она не узнала, а поскольку ее сердитый, павший духом двоюродный брат был слишком горд, чтобы сообщить ей, что он *качнул мышцу*, она так никогда и не узнала, до чего крепко пристыдила его — аж так, что он попытался доказать

ей, до чего она была на его счет неправа.

Сказавши все это, не стоит и упоминать, что он ее по-прежнему хотел, что он бы сделал все возможное, лишь бы снова завоевать себе Эми, но если бы даже ему со временем и удалось заставить ее вновь захотеть его, на это бы понадобилось время, вероятно, долгое, а в промежутке между тем, что он ее больше не имел, и тем, что, быть может, он заполучит ее себе обратно, прикинул он, лучшая стратегия полного разворота событий — найти себе новую подружку. Это не только покажет ей, что он утратил к ней интерес и оставил их разрыв за спиной (что было крайне важно), это еще и отвлечет его, он перестанет о ней все время думать, а чем меньше он будет думать о ней, тем меньше станет кукситься, а чем меньше будет кукситься, тем более привлекательным станет ей казаться. Новая подружка сделает его более счастливым человеком, и, осмелев от своего новообретенного счастья, он наверняка станет относиться лучше к Эми на семейных сборищах, станет обаятельнее, лучше овладеет своими чувствами и, когда представится случай, сумеет поговорить с нею о *текущих событиях*. Такова была одна из ее главных досад на него — его равнодушие к политике, отсутствие в

нем тревоги о том, что творится в широком мире национальных и международных событий, — и чтобы исправить этот свой недостаток, Фергусон принял решение отныне внимательнее следить за новостями. Каждое утро в квартиру доставляли две газеты: «Таймс» и «Геральд Трибюн», — хотя Гил и его мать читали только «Таймс», а на «Геральд Трибюн» не обращали внимания, пусть Гил в этой газете и работал сам, поскольку в семье шутили, что «Геральд Трибюн» — издание слишком про-республиканское, чтобы обитатели Верхнего Вест-Сайда принимали его всерьез. Тем не менее рецензии и статьи Гила в этом органе уолл-стритских денег и американской власти с Парк-авеню появлялись чуть ли не через день, и задачей Фергусона по утрам было вырезать публикации с подписью Гила и складывать эти вырезки в коробку — для матери, которая собиралась однажды составить домашний альбом из работ Гила, а тот вечно говорил ему, чтоб не беспокоился и не собирал этот *мусор*, но Фергусон, понимавший, что такое внимание одновременно и смущает Гила, и втайне льстит ему, лишь пожимал плечами и отвечал: Извини, таково распоряжение Босса, — «Босс» стало еще одним именем для уже и без того дважды-поименованной Розы Адлер / Розы

Шнейдерман, — и Гил с притворным смирением кивал и отвечал: *Natürlich, mein Hauptmann*[38], незачем тебе огребать неприятности из-за неподчинения приказам. Поэтому утром ему на чтение доставались «Таймс» и «Геральд Трибюн», а когда накатывал день и он возвращался домой из школы, в квартиру также как-то проникал экземпляр «Нью-Йорк Пост», а помимо ежедневных изданий были еще «Ньюсвик», «Лайф» и «Лук» (где мать иногда публиковала свои снимки), «И. Ф. Стоунс Викли», «Нью Репаблик», «Нэшн» и разнообразные прочие журналы, и Фергусон прилежно теперь их все перекапывал, а не обращался непосредственно к рецензиям на фильмы и книги в конце — читал статьи о политике, чтобы сообразить, что творится *там*, а тем самым вычислить, как стоять на своем в беседе с Эми. Вот на какие жертвы он готов был пойти ради любви, потому что, даже превращаясь в более осведомленного гражданина, более бдительного наблюдателя за битвами между демократами и республиканцами, за взаимодействиями Америки с дружественными и недружественными ей иностранными державами, он все равно полити-

[38] Сноски: 38
Само собой, мой капитан (*нем.*).

ку продолжал считать тупейшим, унылейшим, скучнейшим предметом, какой только мог себе помыслить. Холодная война, Закон Тафта-Хартли, подземные испытания ядерного оружия, Кеннеди и Хрущев, Дин Раск и Роберт Макнамара — все это мало что для него значило, и, по его мнению, все политики были либо глупы, либо запятнаны, либо и то и другое сразу, и даже симпатяга Джон Кеннеди, вызывавший всеобщее восхищение новый президент, был всего-навсего еще одним глупым или запятнанным политиком для Фергусона, кто считал гораздо более питательным восхищаться такими людьми, как Билл Рассел или Пабло Казальс, нежели тратить чувства на всех этих надутых трепачей, гоняющихся за лишними голосами. В последние месяцы 1961 года и первые месяцы 1962-го лишь три вещи *оттуда* поистине привлекли все его внимание: процесс Эйхмана в Иерусалиме, кризис в Берлине — поскольку они так увлекали Гила и дядю Дона — и движение за гражданские права дома — поскольку люди были так отважны, а несправедливости, которые они разоблачили, так непристойны, что Америка из-за них выглядела одной из самых отсталых стран на планете.

Поиск замены Эми, впрочем, проходил не без

препятствий. Не то чтобы Фергусон рассчитывал найти кого-то, ее бы напоминавшего, поскольку Эми не относилась к тем девушкам, кого разрабатывают для массового производства, но не хотелось ему и удовольствоваться альтернативой не высшего качества — пускай и сравнить с Эми ее будет нельзя, допустим, но личность чтоб была искрометная, чтоб сумела его поразить так, что сердце у него забьется быстрее. К сожалению, самые многообещающие кандидатки уже отдали свои сердца другим, и среди них все более прекрасная Изабелла Крафт, Хеди Ламарр из младшего старшего класса, которая ходила на свидания с мальчиком из предвыпускного, как и ее привлекательная двоюродная сестра Алиса Абрамс, как и бывшая страсть Фергусона, медовоголосая Рашель Минетта. Таков был один из основных фактов жизни девятого класса: большинство девчонок оказывались более развитыми, нежели большинство мальчишек, а это означало, что самые броские девчонки чурались своих сверстников, предпочитая одноклассникам более развитых парней из следующего класса, если не из класса через один. Надеясь на быстрый результат, на успех самое позднее к середине октября, то есть через три недели после того, как

Эми велела Фергусону *качнуть мышцу*, он еще возился с поисками и в ноябре — не от недостатка усилий со своей стороны (четыре свидания в кино с четырьмя различными девчонками за четыре субботы подряд), а просто потому, что ни одна из девчонок, с которыми он выходил, не оказывалась нужной. Когда школу распустили на каникулы Благодарения, он уже начал задаваться вопросом, окажется ли хоть какая-нибудь девчонка в Риверсайдской академии подходящей.

Баскетбол помогал ему отвлекаться от разочарований любви, хотя бы на пять дней в неделю, а безлюбые выходные следовало претерпевать, выискивая, чем бы еще отвлечься от занятий вроде дворового баскетбола с друзьями, временами — субботние вечеринки, фильмы, если ему было с кем ходить в кино (часто с матерью), и концерты с Гилом или с Гилом и матерью вместе, но игра в баскетбол те одиннадцать недель подряд, что длился сезон, вне всяких сомнений, помогала ему не проваливаться то и дело в норы хандры, — начиная с недельных отборочных соревнований и могучего удовлетворения от того, что он их прошел, вслед за чем началась изнурительная неделя тренировок после уроков, когда команда сплачивалась под началом

тренера Нимма, которого часто звали тренером Нямом из-за его общего благодушия, а затем пошли девять недель собственно игр, всего восемнадцать матчей, один — днем во вторник, а другой — вечером в пятницу, половина игр — на их площадке, а половина — на площадках других частных школ, разбросанных по всему городу, игра старшеклассников вроде хроники или мультфильма перед тем, как подымется занавес и начнется гвоздь программы, игра уже студенческая, и вот посреди всего этого был Фергусон, чудак, попросивший себе футболку с номером 13, он выбегал на площадку вместе с остальными членами начинающей пятерки и занимал позицию для центрального прыжка.

Давнишние субботние утра в Риверсайд-парке с кузеном Джимом помогли преобразовать неотесанного двенадцатилетнего новичка в крепкого, хоть и ничем не выдающегося игрока — к тому времени, как он набрал семь очков в своей первой игре за «Риверсайдских бунтарей» в свои четырнадцать лет и девять месяцев. Фергусон знал, что таланты его не безграничны, что ему недостает исключительной скорости, потребной, чтобы достичь величия в баскетболе, а поскольку был он левой своей рукой не так проворен, как

правой, ему нипочем не стать кем-то, кроме игрока сомнительного, если на него нажмет быстрый и напористый противник. Ни блеска, ни фейерверка, ни обманных финтов один на один, таких, чтоб с них трусы послетали, но и в игре Фергусона имелись свои сильные стороны, какие не давали ему засиживаться на скамье и превратили его в незаменимого члена команды, а превыше прочего — упругость у него в ногах, что позволяла ему прыгать выше кого-либо другого, и если сочетать эту способность с безрассудным энтузиазмом его игры — безумной разновидностью нахрапа, заслужившей ему кличку «Главно-Коммандо», — то результатом стала необычайная сноровка, с которой он умело и мускулисто проводил чистые отскоки, когда метался по площадке против игроков выше себя. Он редко пропускал удары из-под щита, а дальние броски у него были хороши, потенциально могли стать и очень хороши, вот только точность, которую он показывал на тренировках, редко соответствовала качеству его игры в самих матчах, поскольку он имел обыкновение в пылу борьбы торопиться с бросками, а оттого в тот первый год в нападении играл очень неровно: был способен, к примеру, набрать своим броском десять или двенадцать очков, или одно,

или два очка, или вообще ничего не выиграть, если бросок отменялся. Отсюда и те семь очков, что он заработал в своей первой игре, что быстро стали его средним баллом за сезон, но поскольку матчи длились всего тридцать две минуты, а общее количество баллов для каждой команды колебалось где-то между тридцатью пятью и сорока пятью, семь за игру было вовсе не плохо. Не слишком возбуждало, быть может, но недурно.

Трам-бам-тарада! Бунтари! Бунтари! Да-да-да!

Впрочем, цифры мало что для него значили, и если только команда выигрывала, ему было все равно, сколько очков он заработал, но важнее выигрыша или проигрыша был сам факт его игры в команде. Он обожал надевать красно-желтую форму «Бунтарей» с номером 13, любил остальных девятерых мальчишек, с кем играл, ценил ободряющие речи тренера Нимма, которые тот без всякой бодрости, но с пользой для дела произносил в раздевалке в перерыве, нравилось кататься автобусом на выездные игры со своими товарищами по команде, десятью другими школьниками, шестью девчонками группы поддержки из старших классов и четырьмя из класса помладше, ему нравился хаос веселья и громких шуток в автобусе, а особенно когда шутника Йиг-

ги Гольдберга из класса помладше отстранили от участия в двух матчах за то, что стащил штаны и засветил в окно голую задницу на потеху проезжавшим машинам, а играть Фергусон любил так сильно, что уже не осознавал собственного тела на себе, уже не ощущал, кто он, любил доводить себя до пота работой на тренировках, а затем чувствовать, как горячие струи воды из душа лупят по коже и смывают с нее пот, ему нравилось, что команда разыгрывается не спеша, а по мере углубления в сезон играет все лучше, почти все матчи в первой половине проигрывает, а во второй половине уже едва ли не все выигрывает и заканчивает с почти ровным рекордным счетом 8 и 10, и еще ему очень понравилось, что одна из таких побед пришлась на игру с Гиллиардом на своей площадке, когда он заработал всего три очка, но повел команду в отскоках.

Хо-хо-крестики-нули! Бунтари! Бунтари! Жми-жми-жми!

Лучше всего тут было, что люди приходили посмотреть, что в маленьком спортзале Риверсайда всегда собиралась публика на две игры — не тысячи и даже не сотни людей, но достаточно, чтобы ощущалось зрелище, а Чаки Шовальтер колотил в бас-барабан, подхлестывая команду, и в то или

иное время приходили почти все родственники Фергусона — поболеть за Главно-Коммандо, чаще всех — дядя Дан, тот вообще не пропускал ни одной игры на своей площадке, а вдобавок — мать Фергусона, которой не удалось явиться всего раз, когда по работе пришлось уехать из города, а несколько раз являлся даже мистер Фу-Спорт, Гил, а разок пришел кузен Джим — приехал из Бостона на зимние каникулы, а однажды, на игру с Гиллиардом, — и сама мисс Эми Шнейдерман, увидевшая, как Фергусон жестко перекувырнулся, стараясь спасти мяч, вылетавший за линию, увидевшая, как он двинул плечом гиллиардского игрока и сшиб его на пол, когда они сражались за отклонившийся пас, увидевшая, как он блокировал одной рукой бросок, который не попал в корзину в четвертой четверти, и Риверсайд остался на три очка впереди, а после того, как игра завершилась, она ему сказала: Хорошо постарался, Арчи. Иногда немного страшно, но смотреть было здорово.

Страшно? — переспросил он. В каком это смысле?

Ну, не знаю. Может, напряженно. Сверхнапряженно. Я и не представляла раньше, что баскетбол — это контактный вид спорта.

Не всегда. Но под щитами нужно быть жестким.

Ты сейчас такой, Арчи, — жесткий?

А ты разве не помнишь?

Ты о чем это?

Качни мышцу. Правда не помнишь?

Эми улыбнулась и покачала головой. Фергусон в тот миг счел ее настолько невыносимо прекрасной, что ему захотелось сгрести ее в объятия и накинуться на ее рот с поцелуями, но не успел он сделать ничего настолько дурацкого и позорного, как к нему подошел дядя Дан и сказал: Обалденная работа, Арчи. Бросок в прыжке был, возможно, кривоват, но мне кажется, что это у тебя пока была вообще лучшая игра.

Потом баскетбольный сезон завершился, и все вернулось к бесподружечной пустоте — и без Эми, и без кого бы то ни было еще. Единственной девушкой, с кем он более-менее регулярно встречался, была прошлогодняя «Мисс Апрель» из номера «Плейбоя», который Джим ему отдал перед отъездом в колледж, но Ванда Паверс из Спокейна, Вашингтон, ухмыляющаяся двадцатидвухлетка с грудями-канталупами, неподвластными силе тяготения, и телом, которое, казалось, отлито по резиновой модели настоящей Ванды

Паверс, начала постепенно утрачивать свою власть над воображением Фергусона.

Дерганый и павший духом, еще более напряженный от того, что его положение в мире застряло и не менялось, отягощенный потускневшими надеждами и лихорадочными грезами, эти надежды подменившими, бесполезными и беспрестанными мысленными путешествиями в царства сладострастного счастья, где желанное сбывается, Фергусон решил предпринять последнюю попытку залатать свои отношения с Эми и начать их роман сызнова, но когда через пять дней после окончания сезона позвонил ей, чтобы пригласить на вечеринку команды, которую устроят в субботу вечером дома у Алекса Нордстрома, она ответила, что занята. Ну, спросил он, а как насчет следующего дня? Нет, ответила она, в воскресенье она тоже занята, и тут он понял, что она и дальше будет занята, столько, сколько *это* будет длиться, а *это* — это взаимная любовь, какая у них образовалась с личностью, которую она отказывалась называть, и на этом всё, сказал себе Фергусон, у Эми завелся дружок, Эми пропала, и зеленые поля надежды обратились в слякоть.

Вслед за этим приведшим в уныние телефонным звонком произошло некоторое количество и

других неприятных инцидентов. *Раз:* Впервые в своей жизни он напился, тем вечером с командой, когда они с Брайаном Мишевским взломали бар Нордстромов и стащили оттуда нераспечатанную бутылку «Катти Сарк», которую спрятали во внутреннем кармане зимней куртки Фергусона, а потом унесли домой к Брайану, когда празднование у Нордстромов закончилось. К счастью, родители Брайана уехали из города на выходные (что и объясняло, почему они выбрали его квартиру для водопоя), и, к счастью, Брайан не забыл напомнить Фергусону, чтоб тот позвонил родителям и отпросился у них на ночь, перед тем как они вскрыли бутылку и опорожнили ее содержимое на две трети, и две трети этих двух третей обожгли глотку Фергусону и провалилось ему в желудок, где, к несчастью, задержались ненадолго, поскольку Фергусон раньше в тот вечер выпил всего одну банку пива и два бокала вина, и у него не имелось опыта взаимодействия с опьяняющими силами восьмидесятишестиградусного дистиллированного скотча, и незадолго до того, как он отключился на диване в гостиной, все это пойло он выблевал на восточный ковер семьи Мишевских. *Два:* Всего через десять дней после того кутежа со слезливым, полусамоубий-

ственным пьянством он схватился с Биллом Натансоном, прежде известным как Билли, с той крупной жабой, что мучила Фергусона с его первого года в Риверсайдской академии, наконец-то накинулся со шквалом ударов в жирное пузо Натансона и его прыщавую харю, когда в столовой этот кретин обозвал его *глупым хером*, и хотя Фергусона наказали оставлением после уроков на три дня, вместе с резким предупреждением от Гила и матери *исправиться*, у него не было сожалений о том, что он вышел из себя, и, на его взгляд, удовлетворение от того, что он поколотил Натансона, стоило той цены, какую ему пришлось за это заплатить. *Три:*

Во вторник, в конце марта, меньше чем через месяц после его пятнадцатого дня рождения, он сбежал из школы сразу после обеда, прошел пешком от Вест-Энд-авеню до Бродвея и заглянул в кино. Это будет одноразовое исключение, сказал себе он, но правила в тот день следовало нарушить, потому что фильм, который ему хотелось посмотреть, на следующий день уже не покажут, да и ни в какой другой день в обозримом будущем тоже, а кузен Джим, уже посмотревший «Детей райка» в «Театре Браттль» в Кембридже, говорил Фергусону, что он обязательно должен

это увидеть, когда фильм в следующий раз станут показывать в Нью-Йорке, иначе он утратит право называться человеком. Сеанс был назначен на час дня, и Фергусон преодолел десять кварталов до Западной Девяносто пятой улицы и «Театра Талия» во весь опор, твердя себе, что, будь он чуть постарше, к прогулу бы прибегнуть не пришлось, поскольку фильм показывали еще и в восемь, но Гил и мать нипочем бы не разрешили ему идти в кино вечером среди учебной недели, особенно на фильм, длящийся больше трех часов. Придется еще изобрести для них какую-нибудь отговорку, предполагал он, но пока что на ум ничего не взбредало, а лучшая и самая простая: дескать, ему после обеда стало худо, и он отпросился домой прилечь, — в данном случае не возымела бы действия, поскольку Гил и мать наверняка были сейчас в квартире: Гил у себя в кабинете работал над книгой о Бетховене, а мать в лаборатории проявляла снимки, и если даже матери случайно дома не окажется, вероятность того, что дома Гил, равнялась девяноста девяти процентам. То, что у него нет оправдания, — незадача, но, как и с большинством незадач, какие Фергусон сам себе создавал, он скорее склонен был сперва прыгать, а о последствиях тревожиться уже потом,

поскольку был он молодым человеком, который хотел того, чего хотел, именно тогда, когда он этого хотел, и горе тому, кто встанет у него на пути. С другой стороны, рассуждал Фергусон, пока полушел, полу-рысил по людному тротуару в морозном мартовском воздухе, прогуливая послеобеденные вторничные уроки, он немного пропускает: физкультура и самоподготовка, а поскольку мистер Макналти и миссис Волерс редко удосуживались отмечать присутствующих, возможно, прогул и сойдет ему с рук. А если и нет и если ему не удастся придумать липовое объяснение к тому времени, как он снова увидит Гила и мать, просто скажет им правду. Он ходил в кино, а на этом свете мало что сравнится с походом в кино.

«Талия» была маленьким театром странной формы, приблизительно на две сотни кресел, с толстыми, загораживающими обзор колоннами и покатым полом, который прилипал к подметкам из-за бесчисленных газировок, пролитых на него за много лет. Тесный и захудалый, почти нелепый по количеству неудобств, с древними пружинами в сиденьях кресел, которые впивались в задницу, с запахом горелой воздушной кукурузы, щекотавшим ноздри, он к тому же

был лучшим местом в Верхнем Вест-Сайде, где можно посмотреть старое кино, которое «Талия» показывала в количестве двух в день, каждый день — разный спаренный сеанс: два французских фильма сегодня, два русских фильма завтра, два японских послезавтра, и это объясняло, почему в тот день в программе «Талии» были «Дети райка», которых не показывали больше нигде в городе, а то и больше нигде во всей стране. Фергусон к тому времени уже бывал в этом кинотеатре пару десятков раз, с Гилом и матерью, с Эми, с Джимом, с Джимом и Эми вместе, со школьными приятелями, но теперь, показывая свое удостоверение учащегося и платя сорок центов за билет с ученической скидкой, он сообразил, что никогда раньше не бывал тут один, а потом, найдя свое место посреди пятого ряда, осознал и кое-что еще: он вообще никогда раньше не ходил в кино один, не только в «Талию», но и куда бы то ни было еще, ни разу в жизни не сидел он один в кинозале, ибо кино всегда было не только самими фильмами, но и товариществом, и хотя он часто смотрел свои фильмы Лорела и Гарди в одиночестве, когда был маленьким, это случалось потому, что он сидел в комнате один, когда их смотрел, а теперь в зале с ними находились и другие люди, по меньшей

мере человек двадцать пять или тридцать, а он все равно был один. Фергусон не мог решить, хорошо ему от этого или плохо — или же просто по-новому.

Потом начался фильм, и уже перестало иметь значение, один он или нет. Джим на этот счет был прав, сказал себе Фергусон, и все три часа десять минут, какие перед ним на экране шли «Дети райка», он не переставал думать о том, насколько стоило рискнуть наказанием для того, чтобы посмотреть этот фильм, который как раз относился к числу тех, какие понравятся пятнадцатилеткам с Фергусоновым темпераментом, цветистая, напряженная романтическая любовная сага, прошитая выплесками юмора, насилия и коварной порочности, ансамблевая постановка, в которой каждый персонаж важен для сюжета, прекрасная, загадочная Гаранс (Арлетти) и четверо мужчин, которые ее любят: мима играет Жан-Луи Барро — это эмоциональный, бездеятельный мечтатель, которому суждено хромать по жизни, полной томленья и сожалений, бурливого, напыщенного, до крайности забавного актера — Пьер Брассёр, хладносердого, сверхгорделивого графа — Луи Салу, а лживое чудовище — Марсель Эрран, он в роли Ласенэра, поэта-убийцы, который закалыва-

ет графа до смерти, а когда фильм заканчивается на том, что Гаранс исчезает в густой парижской толпе, а сокрушенный сердцем мим за нею гонится, Фергусон отчетливо припомнил слова Джима (*Лучше этого фильма французы еще ничего не сняли, Арчи. Это «Унесенные ветром» Франции — только в десять раз лучше*), и хотя Фергусон на том рубеже своей жизни посмотрел всего ничего французских фильмов, он был согласен с тем, что *«Les Enfants du Paradis»* — гораздо лучше «Унесенных ветром», лучше настолько, что их бесполезно и ставить рядом.

Зажегся свет, и когда Фергусон встал и потянулся — заметил кого-то в трех креслах левее, высокого мальчишку с темными волосами, должно быть — на пару лет старше, по всей вероятности — такой же сачок-синефил, и когда он глянул своего собрата-отступника, тот ему улыбнулся.

Ну и кино, сказал незнакомец.

Ну и кино, согласился Фергусон. Мне очень понравилось.

Мальчик представился: Энди Коган, — и пока они с Фергусоном вместе выходили из кинотеатра, он сказал, что посмотрел «Детей райка» уже в третий раз, и спросил, известно ли Фергусону,

что преступник Ласенэр, мим Дюбюро и актер Лемэтр — все реальные люди из Франции 1820-х годов? Нет, признался Фергусон, этого он не знал. Как не знал он и того, что кино это снимали в Париже во время немецкой оккупации, и что Арлетти огребла себе на шею множество неприятностей в конце войны, потому что закрутила роман с немецким офицером, и что писатель Жак Превер и режиссер Марсель Карне в тридцатых и сороковых годах вместе работали над несколькими фильмами и были изобретателями того, что критики называли *поэтическим реализмом*. Этот Энди Коган точно хорошо информированный молодой человек, сказал себе Фергусон, и пусть он немного рисовался, стараясь произвести впечатление на отсталого новичка своим превосходным знанием истории кино, делал он это как-то дружелюбно, скорее от избытка энтузиазма, нежели из какой-то заносчивости или снисходительности.

Они уже вышли на улицу, брели на юг по Бродвею, и за четыре квартала Фергусон узнал, что Энди Когану восемнадцать лет, а не семнадцать, и что он не прогуливает никаких занятий ради кино, потому что учится на первом курсе в Городском колледже, и сегодня никаких занятий у него

нет. Отец у него умер (сердце схватило шесть лет назад), а Энди с матерью живет в квартире на углу Амстердам-авеню и 107-й улицы, и поскольку у него на остаток сегодняшнего дня никаких планов нет, то, может, они с Фергусоном зайдут в какую-нибудь кофейню и чего-нибудь перекусят? Нет, ответил Фергусон, ему к половине пятого нужно быть дома, а не то..., но, возможно, они смогут сходить как-нибудь в другой раз, в субботу днем, например, когда он точно будет знать, что свободен, и едва Фергусон произнес слово *суббота*, Энди сунул руку в карман куртки и вытащил программу «Талии» на март. «Броненосец “Потемкин”», сказал он. Идет в час дня.

В «Талии» в час в субботу, ответил Фергусон. Там и увидимся.

Он вытянул правую руку, пожал руку Энди Когану, и двое расстались: один продолжал двигаться на юг к Риверсайд-драйву между Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой улицами, а другой повернулся и направился на север к тому, что могло быть ему домом, а могло и не быть.

Как и ожидалось, когда Фергусон вошел в квартиру, Гил и мать были дома, но он не рассчитывал на то, что из школы уже позвонят и сообщат о его самовольной отлучке. У Гила и матери вид

был встревоженный — такой всегда огорчал Фергусона и заставлял сознавать, до чего, должно быть, неприятно им было чувствовать себя взрослыми и ответственными за заботу о таком, как он, поскольку звонок из школы означал, что его местонахождение было неизвестно с половины первого до половины пятого, а сознательным родителям этого времени более чем достаточно, чтобы начать беспокоиться за своего пропавшего подростка. Потому-то мать и ввела это правило насчет половины пятого: Будь к этому времени дома либо звони и сообщай, где ты. Для баскетбольного сезона граница отодвигалась до шести часов из-за тренировок после уроков, но теперь баскетбольный сезон уже закончился, и срок восстановился на половине пятого. Фергусон вошел в квартиру в четыре двадцать семь, что в любой другой день никаких подозрений бы на его счет не вызвало, но он не рассчитывал, что из школы позвонят так прытко, и об этой глупой промашке пожалел — не только из-за того, что напугал Гила и мать, а потому, что она заставила его почувствовать себя идиотом.

На следующую неделю ему срезали половину карманных денег, и три последних школьных дня той учебной недели его после уроков остав-

ляли мыть полы в столовой, драить кастрюли и отчищать большую плиту на восемь конфорок. Риверсайдская академия была просвещенным, передовым учебным заведением, но по-прежнему верила в карательные достоинства дежурств по кухне.

В субботу, день поблажек в комендантском часе и относительной свободы, Фергусон за завтраком объявил, что днем идет с другом в кино, и поскольку Гилу и матери обычно хорошо удавалось не ставить слишком много несущественных вопросов (как бы ни хотелось им знать ответы на них), Фергусон не назвал ни кино, ни друга и из дому вышел вовремя, чтобы оказаться у «Талии» без десяти час. Он вовсе не рассчитывал увидеть там Энди Когана: казалось маловероятным, что он вспомнит их торопливо запланированное свидание у дверей кинотеатра, но теперь, когда Фергусон открыл для себя удовольствие походов в кино в одиночестве, перспектива посмотреть этот фильм снова одному его не беспокоила. Энди Коган тем не менее не забыл, и они пожали друг другу руки и купили себе билеты за сорок центов, и студент уже пустился читать ему краткую лекцию об Эйзенштейне и принципах *монтажа*, техники, что вроде как произвела революцию

в искусстве кинематографа. Фергусону велели обратить особое внимание на сцену, происходящую на Одесской лестнице, — один из самых знаменитых эпизодов в истории кино, и Фергусон пообещал так и сделать, хотя слово *Одесса* подействовало на него как-то тревожаще — с учетом того, что в Одессе родилась его бабушка, а скончалась она в Нью-Йорке всего за семь месяцев до этого, и Фергусон жалел, что обращал на нее так мало внимания, когда она была еще жива, вне всяких сомнений полагая, что она бессмертна и будет еще много времени, чтобы познакомиться с нею получше когда-нибудь в будущем, чего, разумеется, так и не произошло, и вот мысли о бабушке заставили его подумать и о дедушке, по которому он все еще ужасно скучал, и когда Фергусон и Энди Коган устроились на своих местах в пятом ряду — они оба согласились с тем, что пятый — лучший ряд во всем зале, — выражение на лице Фергусона изменилось так радикально, что Энди спросил у него, что не так.

Думаю о деде с бабушкой, ответил он. И о своем отце, и обо всех мертвых, кого я знал. (*Показав себе на левый висок*.) Там иногда становится довольно темно.

Знаю, сказал Энди. Я об отце тоже никак не

могу перестать думать — а ведь он умер целых шесть лет назад.

От того, что и у Энди отец умер, как-то легче, подумал Фергусон, оба они — сыновья несуществующих мужчин и дни свои проводят в обществе призраков, по крайней мере — в скверные дни, в худшие, а поскольку сиянье мира в плохие дни ярче всего, быть может, это и объясняет, отчего они оба стремятся во тьму кинотеатров, почему счастливее всего чувствуют себя, только сидя в темноте.

Энди сказал что-то о сотнях монтажных склеек, которые потребовались для этой большой сцены, но не успел сообщить Фергусону, сколько именно их там было (число он наверняка помнил точно), как свет померк, заработал кинопроектор, и Фергусон устремил все свое внимание на экран: ему уже было любопытно выяснить, отчего вокруг этой картины столько шума.

Одесситы машут восставшим матросам с вершины лестницы. Богатая женщина раскрывает белую парасоль, безногий мальчишка стаскивает кепку, и тут — слова И ВДРУГ, и экран заполняет лицо насмерть перепуганной женщины. Толпа людей несется вниз по лестнице, среди них — безногий мальчишка, а белую парасольку

стремительно выносит на первый план. Быстрая музыка, беспорядочная, музыка, что несется быстрее самого быстрого бьющегося сердца. Безногий мальчишка — посреди толпы, которая обтекает его с обеих сторон. Обратный план: солдаты в белых гимнастерках сгоняют людей вниз по ступеням. Крупный план женщины, поднимающейся с земли. Подгибаются колени мужчины. Падает еще один человек. И еще один человек падает. Общий план бегущей толпы, а солдаты гонятся за ними вниз по лестнице. Крупнее — люди, прячущиеся в тенях. Солдаты прицеливаются из винтовок. Опять съежившиеся люди. Толпа — вид сбоку, виды спереди, и тут камера начинает перемещаться, бежит вперед рядом с толпой бегущих людей. Сверху палят винтовки. Мать бежит со своим маленьким мальчиком, покуда мальчик в белой рубашке не падает лицом вниз. Мать продолжает бежать, толпа тоже бежит дальше. Мальчик в белой рубашке плачет, кровь течет у него из головы, белая рубашка запятнана кровью. Толпа все еще бежит, но теперь мать уже понимает, что сына с нею нет, и останавливается. Мать поворачивается, ищет сынка. Крупный план ее измученного лица. Плачущий мальчик в окровавленной рубашке теряет сознание. Мать

в ужасе раскрывает рот и хватается за волосы. Крупным планом — мальчик без сознания, а мимо него несутся ноги и снова ноги. Продолжает громыхать музыка. Крупнее — лицо матери в ужасе. Нескончаемая толпа продолжает литься по ступеням. На откинутую руку мальчика опускается сапог. Чуть крупнее — толпа, льющаяся по ступеням. На мальчика опускается еще один сапог. Окровавленный мальчик переворачивается на спину. Очень крупный план глаз матери в ужасе. Она начинает двигаться вперед, рот открыт, руки — в волосах. Толпа хлещет вниз. Мать приближается к своему упавшему сыну. Нагибается поднять его. Общий план неистовой, несущейся вперед толпы. Обратный план: мать несет мальчика обратно, вверх по ступеням к солдатам. Рот у нее шевелится, она выкрикивает гневные слова. Общий план густой толпы. Более крупный план людей, притаившихся за каменной стенкой, среди них — Женщина в Пенсне…

Так все началось, и пока Фергусон наблюдал за развитием сцены, бойня показалась ему до того отвратительной, что глаза постепенно наполнились слезами. Невыносимо было смотреть, как мать расстреливают царские солдаты, невыносимо видеть, как убивают вторую мать, как жутко

по ступеням съезжает детская коляска, невыносимо видеть, как воет Женщина в Пенсне — с широко открытым ртом, одна линза пенсне раскололась, а из правого глаза у нее хлещет кровь, невыносимо видеть, как казаки выхватывают шашки, чтобы покрошить младенца в коляске в капусту, — незабываемые образы, а потому — такие, что и потом вызывали кошмары пятьдесят лет, — и все же, хоть Фергусон отпрядывал от того, что́ наблюдал, его оно будоражило, его изумляло, что нечто столь огромное и сложное, как этот эпизод, можно было вообще запечатлеть на пленке, сам размах энергии, выпущенной за те минуты съемок, едва не расколол его напополам, и когда фильм закончился, он был так разбит, так взвинчен, так запутался в мешанине скорби и приподнятости, что даже не понимал, сможет ли вообще какой-нибудь фильм когда-нибудь так на него подействовать.

В программе стоял и второй фильм Эйзенштейна, «Октябрь», по-английски известный как «Десять дней, которые потрясли мир», — но когда Энди спросил у Фергусона, хочет ли тот его смотреть, Фергусон покачал головой и сказал, что слишком вымотан и ему нужно на свежий воздух. Поэтому они вышли наружу, не очень

понимая, что им делать дальше. Энди предложил вернуться к нему в квартиру, чтоб дать Фергусону почитать «Форму кино и смысл кино» и, возможно, отыскать какой-нибудь еды заодно, и Фергусон, у кого на весь остаток дня не было никаких планов, подумал: *А чего б и нет?* Во время прогулки до угла Западной 107-й улицы и Амстердам-авеню таинственный Энди Коган поделился еще кое-какими фактами своей жизни, перво-наперво тем, что мать его — дипломированная медсестра в Больнице св. Луки и работает в тот день смену с двенадцати до восьми, и дома (слава богу) ее не будет, когда они туда придут, а также тем, что его приняли в Колумбию, но он решил пойти в Городской колледж, потому что обучение там бесплатное, а матери не по карману отправить его в Колумбию (однако до чего же это хороший пинок под зад — знать, что ему хватает соображения попасть в Лигу плюща), и тем, что, как ни любит он кино, книжки он все же любит больше, и если все пойдет по плану, он получит степень доктора философии и станет где-нибудь преподавать литературу, может, даже — ха! — в Колумбии. Пока Энди говорил, а Фергусон слушал, Фергусона поразило, до чего громадная пропасть разделяла их интеллектуально, словно

трехлетняя разница в возрасте представляла собой путешествие в несколько тысяч миль, в которое Фергусону только предстояло пуститься, и потому, что чувствовал он себя таким невежественным по сравнению с мозговитым студентом колледжа, шедшим рядом, Фергусон задал себе вопрос, чего ради Энди Коган, похоже, так старается с ним подружиться. Он что, из тех одиноких людей, кому не с кем поговорить, было интересно Фергусону, он человек, так изголодавшийся по обществу, что согласен на все, что перед ним окажется, даже если оно примет форму незнайки-старшеклассника? Если так, то смысла в этом маловато. У некоторых есть недостатки — характера, или физические, или умственные, — что отъединяют их от других, но у Энди таковых, судя по всему, не наблюдалось. Он был дружелюбен и сравнительно хорош собой, не лишен чувства юмора, и был щедр (напр., предложил дать Фергусону книгу почитать) — короче говоря, он явно попадал в ту же категорию людей, что и двоюродный брат Джим, который был всего на год старше Энди, и у него имелось множество друзей, всех и не перечтешь по пальцам двенадцати рук. Вообще-то, раз Фергусон об этом сейчас задумался, ощущение от того, что он с Энди, лишь немногим

отличалось от ощущений того, когда он бывал с Джимом: удобство того, что на него не посматривает свысока тот, кто старше него, того, что рядом по улице в одном темпе идут старший и младший. Но Джим был его двоюродным братом, и нормально, если к тебе так относится кто-нибудь из родни, а вот Энди Коган — по крайней мере, пока — мало чем отличался от совершенно постороннего человека.

Будущий профессор жил в маленькой трехкомнатной квартирке на третьем этаже обветшалого одиннадцатиэтажного здания — одной из множества жилых башен Верхнего Вест-Сайда, что пришли в запустение после окончания войны, некогда — скромное жилье для представителей середины среднего класса, а теперь его занимали разнообразные барахтавшиеся люди, говорившие за запертыми дверями своих квартир на нескольких разных языках. Показывая Фергусону скудно обставленные, опрятные комнаты, Энди объяснял, что они с матерью живут здесь с третьего и окончательного сердечного приступа отца, и Фергусон понял, что именно такое место сняли бы и они с матерью, если бы все бурные годы после гибели отца их не продержала на плаву отцова страховка. Теперь же, когда мать его

снова вышла замуж и зарабатывала пристойные деньги фотографией, а Гил зарабатывал пристойные деньги, сочиняя тексты о музыке, они были настолько зажиточнее Энди и его бедной матери-медсестры, что Фергусону стало стыдно своего везения, в которое он сам ничего не вложил, равно как Энди не вложил ничего в свое невезение. Не сказать, что Коганы были вообще-то бедны (холодильник хорошенько набит едой, в спальне у Энди полно книжек в бумажных обложках), но когда Фергусон сел в маленькой кухоньке съесть сандвич с салями из тех, что им приготовил Энди, он заметил, что в этом хозяйстве собирали «Зеленые марки» и вырезали скидочные купоны из «Джорнал-Американа» и «Дейли Ньюс». Гил и его мать доллары считали и старались не перерасходовать, но вот мать Энди считала пенни и тратила все, что у них было.

Перекусив в кухне, они вышли в гостиную и немного поговорили о «Мадам Бовари» (которую Фергусон не читал), «Семи самураях» (которых Фергусон не видел) и других фильмах из программы «Талии» на следующий месяц. Затем произошло нечто странное — или нечто интересное, или нечто странно интересное, что в любом случае было неожиданно, ну или, по край-

ней мере, таким сначала показалось, но, опять же, когда Фергусон об этом немного задумался, неожиданным оно вовсе не было, ибо как только Энди задал вопрос, Фергусон наконец-то понял, зачем он здесь.

Он сидел на диване напротив Энди, который устроился в кресле у окна, и после краткого затишья в беседе Энди подался в кресле вперед, задержал на Фергусоне долгий взгляд, а после этого спросил ни с того ни с сего: Ты когда-нибудь дрочишь, Арчи?

Фергусон, уже почти полтора года бывший преданным онанистом, ответил на вопрос быстро. Конечно, сказал он. А кто нет?

Может, не все, ответил Арчи, но почти все. Это же совершенно естественно, *n'est-ce pas?*[39]

Если слишком молод для настоящего секса, что тут еще поделаешь?

А о чем ты при этом думаешь, Арчи? То есть что проходит у тебя в голове, когда ты дрочишь?

Я думаю о голых женщинах и о том, как хорошо было бы оказаться голым с голой женщиной, а не спускать в унитаз.

Грустно.

---

[39] Сноски: 39
Не так ли? (*фр.*)

Да, грустновато. Но уж лучше, чем ничего.

А тебе кто-нибудь когда-нибудь дрочил? Кто-нибудь из твоих школьных подружек, может?

Нет, не могу сказать, что имел удовольствие.

А мне да — несколько раз.

Ну, ты же старше меня. Само собой, у тебя побольше опыта.

Опытов не побольше. Всего три на самом деле. Но могу тебе сказать, это гораздо лучше — когда тебе это делает кто-нибудь, а не ты сам.

Охотно верю. Особенно если девчонка знает, что делает.

Это не обязательно может быть девчонка, Арчи.

Это что должно значить? Ты утверждаешь, что тебе не нравятся девчонки?

Девчонки мне очень нравятся, а вот я им, похоже, не очень. Не знаю почему, но мне с ними что-то никогда не везло.

Так тебе дрочили мальчишки?

Всего один. Джордж, мой друг из Стайвесанта, кому тоже с девчонками никогда не везло. Поэтому в прошлом году мы решили поэкспериментировать — просто посмотреть, каково это.

И?

Было здорово. Мы сдрочили друг другу по три

раза, и оба решили, что совершенно не важно, кто тебе это делает. Девочка или мальчик — ощущение точно такое же, и какая разница, девчонки это рука или мальчишки держит тебя за хер?

Так я об этом никогда не думал.

Да, я тоже. Я бы это назвал *важным открытием*.

А почему тогда всего три раза? Если вам с Джорджем это так понравилось, чего вы прекратили?

Потому что Джордж теперь в Университете Чикаго и наконец обзавелся подружкой.

Не повезло тебе.

Наверное, только Джордж — не единственный человек на свете. Еще есть ты, Арчи, и если хочешь, чтобы я тебе так сделал, буду счастлив тебе сдрочить. Просто чтоб ты понял, о чем вообще речь.

А если я тебе не захочу? Может, Джорджу такое нравилось, а вот мне, по-моему, неинтересно. Ничего против тебя я не имею, Энди, но мне девчонки правда очень нравятся.

Я б никогда не стал тебя просить сделать что-либо, если тебе не хочется. Это было б неправильно, а я не верю в принуждение. Ты просто такой приятный мальчик, Арчи. Мне с тобой нравится, мне нравится на тебя смотреть, и мне бы очень

хотелось тебя потрогать.

Фергусон сказал ему, чтоб валял. Ему любопытно, объяснил он, и Энди может ему сдрочить, если хочет, но только в этот раз, добавил он, и только если они выключат свет и задернут шторы, поскольку такое нужно делать в темноте, поэтому Энди встал с кресла и одну за другой погасил лампы и задвинул шторы, а как только все это завершил — сел на диван рядом со встревоженным, слегка паникующим Арчи, расстегнул ширинку на брюках мальчишки и залез.

Было так хорошо, что Фергусон принялся постанывать, всего за несколько секунд его мягкий и нервный пенис начал твердеть и все больше удлиняться с каждым поглаживанием парня постарше, чья рука умела и крайне осведомлена, решил Фергусон, рука эта, похоже, в точности знает, что нужно херу и чего ему хочется в этом странствии от дремоты к возбужденью и за его пределы, изысканные перемещенья взад-вперед, в которых чередовались грубые и нежные манипуляции, так хорошо, сказал он, когда Энди у него спросил, каково ему, а потом Фергусон расстегнул на себе ремень и спустил брюки и трусы до колен, дав этой чудодейственной руке больше места для действий, как вдруг его коснулась и другая ру-

ка — принялась перебирать ему яички, а первая трудилась над теперь уже полной эрекцией, над пятнадцатилетним хуем Фергусона, достигшим уже своего предела, и вновь Энди спросил у него, каково ему, но теперь Фергусон сумел лишь выдавить хриплый бессловесный ответ: наслаждение растеклось у него по бедрам, влилось в мошонку, и странствие за грань завершилось.

Теперь знаешь, сказал Энди.

Да, теперь Фергусон знал.

Всего две с половиной минуты, сказал Энди.

Лучшие две с половиной минуты его жизни, подумал Фергусон, а потом опустил взгляд на свою рубашку, которую стало видно, когда глаза его привыкли к темноте, и разглядел, что она заляпана кляксами его эякуляции.

Черт, сказал он. Посмотри на мою рубашку.

Энди улыбнулся, потрепал Фергусона по голове, а потом склонился и прошептал ему на ухо: Д. Г. Лоренс метеорен, а Бальзак — самый смак.

Фергусон, никогда раньше не слыхавший этот старый студенческий стишок, испустил долгий взвизг изумленного хохота. Затем Энди продекламировал неприличный лимерик про молодого человека из Кента — еще одно классическое произведение, с которым Фергусон пока что не

был знаком, и невинный юнец, быстро терявший невинность, вновь расхохотался.

Когда спокойствие восстановилось, Фергусон подтянул брюки и встал с дивана. Что ж, сказал он, наверное, нужно замыть рубашку, и, когда он двинулся из гостиной на кухню, расстегивая пуговицы, Энди тоже встал и пошел за ним, а Фергусон пояснил, что рубашка новая, подарок матери и отчима ему на день рождения, и ему нужно смыть с нее пятна, иначе он окажется в неприятном положении, если ему начнут задавать вопросы, на которые он бы предпочел не отвечать. Нужно действовать быстро, сказал он, пока пятна не пропитают ткань, и *уничтожить улики*.

Пока они вдвоем стояли у мойки, Энди спросил у Фергусона, одноразовый ли он парень или ему хватит запала еще на раунд-другой. Фергусон, уже забывший про *только этот раз*, спросил у него, что он имеет в виду. Кое-что приятное, сказал Энди, не желая выдавать секрет, но заверил Фергусона, что это превзойдет наслаждения дивана в гостиной и ему станет еще лучше, чем было только что.

Все пятна были сосредоточены на подоле рубашки, от середины пол до области между второй

и третьей пуговицами, и Энди смыл их Фергусону довольно быстро, как выяснилось, тереть почти не потребовалось, и когда дело было сделано, Энди унес влажную рубашку к себе в спальню и развесил ее на плечиках, которые зацепил за дверную ручку чулана. Ну вот, пожалуйста, сказал он. Как новенькая.

Фергусона тронула любезность этой маленькой услуги: она показывала, насколько Энди вдумчив и заботлив, и Фергусону нравилось, что с ним так возятся, что о нем заботится кто-то настолько добрый, что постирал и повесил сушиться его рубашку, не говоря уж о главной любезности — сдрочил Фергусону, а дрочить себе в обмен не попросил. Какие бы тревоги или сомнения ни были у Фергусона вначале, теперь все они исчезли, и когда Энди предложил ему снять с себя все и лечь на кровать, Фергусон с удовольствием снял с себя все и лег на кровать, предвкушая следующую приятную штуку, которую ему сейчас сделают. Он понимал, что большинство людей косо посмотрело бы на то, чем он сейчас занимался, что он вступил на опасную территорию запретных, извращенных порывов, в страну Пидорию во всей ее растлевающей, похотливой славе, и что если кто-нибудь узнает, что он отправился в эту

порочную страну, над ним станут насмехаться, его будут ненавидеть и, возможно, даже побьют за это, но об этом не узнает никто, потому что никому никогда об этом не скажут, и хотя даже это останется в секрете, секрет этот не будет грязным, поскольку то, чем они занимались с Энди, грязным ему вовсе не казалось, а значение имело лишь то, что он чувствовал.

Хер его опять отвердел, пока Энди гладил ладонями голую кожу Фергусона, и когда Энди вложил этот отвердевший хер себе в рот и сделал Фергусону первый в его жизни минет, Фергусону было уже глубоко безразлично, девочка или мальчик ему отсасывает.

Он не очень понимал, что и думать. Спору нет, два оргазма, обуявшие его и из него исторгнувшиеся в квартире у Энди в тот день, были сильнейшими, самыми благодарными физическими наслаждениями, что он когда-либо испытывал, но в то же время средства для достижения этой цели были чисто механические, односторонняя операция, при которой Энди делал с ним такое, что он не имел ни малейшего желания делать с Энди. То, что сделали они, стало быть, не вполне было сексом в строжайшем смысле слова, по крайней мере — не сексом, как

его понимал Фергусон, поскольку для него секс всегда был делом скорее двоих, чем одного, физическим выражением крайнего эмоционального состояния, томленьем по другой личности, а в то мгновение никакого томленья не было, никакой эмоции, ничего, кроме желаний его хера, а это означало, что произошедшее у них с Энди было скорее уж не сексом, а высшей, более приятной разновидностью мастурбации.

Влекут ли его мальчики? До тех пор он даже не задавал себе подобного вопроса, но теперь, позволив Энди себе сдрочить и отсосать себе, дав ему гладить свое голое тело, он стал обращать больше внимания на мальчиков у себя в школе, особенно на тех мальчиков, кого он лучше всего знал и кто ему больше всех нравился, среди них — все из баскетбольной команды старшеклассников, все, кого он десятки раз видел голыми в душевой и раздевалках, но никогда об этом не задумывался, а вот теперь, когда начал задумываться, попытался вообразить, каково будет целовать элегантного Алекса Нордстрома в губы, настоящим поцелуем, когда во рты друг друга вторгаются языки, или дрочить мускулистому Брайану Мишевскому, пока тот не кончит себе на голый живот, но ни одна из этих сцен понарошку не вызвала у Фер-

гусона заметного отклика, не то чтобы они его отвращали или же его пугала мысль о настоящем сексе мальчика с мальчиком, ибо если б оказалось, что он пидорок, а до сих пор этого не знал сам, то ему хотелось знать это наверняка, чтобы не было ни сомнений, ни возможности ошибиться, но факт оставался фактом: мысль об объятиях с другими мальчишками его не возбуждала, от нее хер его не твердел, она не внушала ему никакой похоти, что била бы из скважин глубочайшего желания. А вот Эми его возбуждала, и даже теперь воспоминание об утраченной первой любви, которую-никогда-больше-не-тронуть-и-не-поцеловать, продолжало наполнять его глубочайшим желанием, и возбуждала его Изабелла Крафт, особенно после того, как он увидел ее в красном бикини двадцать восьмого числа минувшего июня в групповой вылазке в Фар-Рокавей на десять человек, и когда думал о голых телах своих друзей и сравнивал их с почти голым телом Изабеллы Крафт, он понимал, что девочки его возбуждают, а мальчики нет.

Но, возможно, он себя обманывает, думал он, может, неправ он, если считает, что эмоции — сущностно важная честь секса, вероятно, ему стоит рассмотреть разнообразные виды секса

без любви, что приносят физическое облегчение, но никаких эмоций, например — мастурбацию, или когда мужчины сношают шлюх, и каково б это было применительно к тому, как оно было у него с Энди, секс без поцелуев или чувств, секс с единственной целью достичь физического наслаждения, и, возможно, любовь тут вообще ни при чем, может, *любовь* — это просто вычурное слово, каким прикрывают темные, неуправляемые требования животной похоти, а если ты в темноте и не видишь того, кто тебя трогает, какая разница, как именно тебе удалось заставить течь свои соки?

Вопрос без ответа. Без ответа потому, что Фергусону все еще было пятнадцать лет, и преобразует ли его время в такого человека, кто ищет общества женщин, — или же в того, кто ищет общества мужчин, или в того, кто ищет общества и мужчин, и женщин, — знать, кто он такой или чего хочет в том, что касается секса, ему было еще слишком рано, поскольку на том рубеже его жизни, который, ко всему прочему, оказался еще и рубежом в истории, тем конкретным мгновением в том конкретном месте, Америке в первой половине 1962 года, ему запрещено было заниматься сексом с представителями того пола, какой он по-

лагал правильным, ибо даже если ему бы удалось снова завоевать чувства Эми Шнейдерман или же нежданно покорить Изабеллу Крафт, ни одна из этих девчонок не позволила бы себе сделать с ним то, что уже проделал Энди Коган, и теперь, раз его тело преобразилось в тело мужчины, он по-прежнему не выбрался из ловушки мальчишеского мира с его навязанной девственностью, хоть и достиг уже той точки, когда начал томиться по сексу с такой страстью, с какой ничто не могло сравниться ни в какое мгновение его жизни, а поскольку единственный секс, доступный ему в тот момент пресеченного желанья, был сексом с представителем неправильного пола, в следующую субботу он явился в театр «Талия» смотреть с Энди Коганом «Расёмон»: не из-за того, что у него возникла какая бы то ни было особая привязанность к студенту Городского колледжа, жившему со своей матерью на углу Амстердам-авеню и Западной 107-й улицы, а из-за того, как хорошо ему становилось благодаря тому, что этот мальчик с ним делал, настолько чрезмерно и необычайно хорошо, что чувство это было едва ли не непреодолимым.

Вторично они приступили к делу быстрее, отказавшись от увертюр на диване в гостиной и

сразу направившись в спальню к Энди, где оба тут же оказались без одежды, и пока Фергусон не мог заставить себя потрогать Энди там, где тому хотелось, чтобы его потрогали, сдрочить ему так же, как Энди дрочил ему, он смотрел, как Энди это делает сам себе, — и ничуть не возражал, когда молофья прилетела ему на грудь, что оказалось, в общем-то, вполне мило, теплая, внезапная, а затем рука Энди вяло задвигалась, втирая эякуляцию Фергусону в кожу. Теперь это уже было больше на двоих, а не только на одного — что-то уже ближе к тому, чтобы оставить позади то хорошее, что есть в приукрашенной дрочке, ради лучшего чего-то, больше похожего на настоящий секс, и три субботы подряд следом за их тем вторым разом вместе, по субботам «Голубого ангела», «Новых времен» и *«La Notte»*[40] Фергусон постепенно расслаблялся и растворялся во все более и более дерзких соблазнениях, какие устраивал Энди, уже не сдерживался, поддаваясь подначкам языка Энди, когда тот перемещался вверх и вниз по всему его телу, уже не боялся ни когда его целовали, ни целовать в ответ, больше не колебался, захватывая напряженный хуй

---

[40] Сноски: 40
«Ночь» (*ит.*).

Энди и засовывая его себе в рот, ибо основой всего была взаимность, осознал Фергусон, двое рождали удовлетворение бесконечно большее, чем один, и лишь соблазнив соблазнителя, он мог отблагодарить его за собственное наслаждение соблазнением.

Энди был мягче и дряблее Фергусона, худосочный и высокий, но без мускулатуры, человек никогда не занимался спортом и никак не разминался, и его завораживала твердость мышц Фергусона, тело баскетболиста, какое Фергусон создал себе, поднимая тяжести и делая каждый вечер по сотне отжиманий и сотне приседаний, и вновь и вновь Энди говорил Фергусону, какой тот красивый, поглаживая рукой тугой живот Фергусона и восхищаясь его плоскостью, повторяя, до чего у него прекрасное лицо, до чего прекрасная задница, до чего прекрасен у него хуй, до чего прекрасны ноги, столько *прекрасного*, что ко второй из трех их суббот вместе Фергусона оно уже начало гнести, как будто Энди говорил о нем так, как он (Фергусон) сам бы говорил о девчонке, что стало еще одной темой, насчет которой у Фергусона стали возникать некоторые сомнения, вопрос о девчонках, поскольку всякий раз, когда он упоминал замечательную внешность Иза-

беллы Крафт или говорил что-то о том, как он до сих пор любит Эми Шнейдерман, Энди скраивал гримаску, после чего отпускал какую-нибудь оскорбительную шуточку о девушках вообще, говоря, что мозги у них генетически уступают мозгам мужчин, к примеру, или что их пёзды — рассадники инфекций и болезней, некрасивые, нелепые замечания, казалось, намекавшие на то, что в марте Энди говорил неправду, заявляя, что девушки ему нравятся, ибо даже мать его не стала исключением для его озлобленных порицаний, и когда Фергусон услышал, как он называет ее *убогой, тупой коровой*, а в другой раз — *отвратительным корытом дерьма*, он парировал тем, что заявил: свою мать он любит больше кого бы то ни было на свете, на что Энди ответил: *Невозможно, пацан, это просто невозможно*.

Впоследствии Фергусон понял, насколько неверно толковал он ситуацию с самого начала. Он предполагал, что Энди — просто очередной перевозбужденный мальчишка, вроде него самого, кому не везет с девчонками, а потому он желает попробовать с мальчишкой, что двое мальчишек куролесят друг с другом ради удовольствия, устраивают поебки-потешки двух девственников, но ни разу не взбредало ему на

ум, что из этого может развиться что-либо серьезное. Затем, в последнюю субботу, что они провели вместе, всего за несколько минут до того, как Фергусону пришла пора уходить из квартиры, пока они вдвоем лежали рядышком на кровати, по-прежнему голые, все еще потные и запыхавшиеся, каждый опустошен усилиями последней четверти часа, Энди обнял Фергусона и сказал, что любит его, что Фергусон — любовь всей его жизни, и он никогда не перестанет его любить, даже после того, как умрет.

Фергусон ничего не ответил. Любое слово в этот миг было словом неверным, поэтому он придержал язык и не сказал ничего. Грустно, подумал он, как это грустно и как это обескураживает, что он заварил такую кашу, но ему не хотелось задевать чувства Энди, рассказывая ему о собственных чувствах, которые сводились к тому, что он в ответ его не любил и никогда не полюбит его в ответ, сколько сам жив будет, а это у них прощание, и жалко, что все вынуждено так закончиться, поскольку веселье было таким веселым, но черт бы его все побрал, ему не следовало этого говорить, и как же он мог оказаться таким глупым?

Он поцеловал Энди в щеку и улыбнулся. Пора идти, сказал он.

Фергусон спрыгнул с матраса и принялся подбирать с пола одежду.

Энди сказал: В то же время на следующей неделе?

Что показывают? — спросил Фергусон, влезая в джинсы и застегивая пряжку на ремне.

Два Бергмана. «Земляничная поляна» и «Седьмая печать».

Ой.

Ой? Что — ой?

Только что вспомнил. Мне в следующую субботу с родителями в Рейнбек ехать.

Но ты же еще ни одного Бергмана не смотрел. Это важнее, чем проводить день с мамашей и папашей, нет?

Наверное. Но мне нужно с ними поехать.

Тогда через неделю?

Фергусон, надевавший уже ботинки, еле слышно пробормотал: *У-гу*.

Ты же не придешь, правда?

Энди сел на кровати и повторил то же самое во весь голос: *Ты же не придешь, правда?*

Ты о чем это?

Сука! — завопил Энди. Я тебе всю душу выливаю, ты мне, блядь, ни слова в ответ!

Что ты хочешь от меня услышать?

Фергусон застегнул молнию на весенней куртке и направился к двери.

Иди ты нахуй, Арчи. Хоть бы ты с лестницы свалился и подох.

Фергусон вышел из квартиры и спустился по лестнице.

Не подох.

Вместо этого он дотопал до дома, зашел к себе в комнату и лег на кровать, где и провел последующие два часа, глядя в потолок.

3.4

В первую субботу 1962 года, через три дня после того, как Фергусон сдал свое сочинение о Джеки Робинзоне в девятьсот слов, он и еще шестеро игроков из баскетбольной команды AMX отправились с собственной базы в Вест-Оранже в спортзал в Ньюарке на утреннюю игру с командой AMX из Центрального района. На той площадке было назначено еще две игры сразу же после, и на трибунах — полно членов тех четырех команд вместе с их друзьями и родичами игроков тех команд, не говоря о той команде, против которой собирались выступать Фергусон и его друзья в первой части этого тройного чемпионата, а потому толпа составляла человек восемьдесят-девяносто.

Если не считать семерых белых мальчишек из АМИ[41] и их тренера, учителя математики в старших классах по имени Ленни Мильштейн, все в спортзале тем утром были черными. Ничего необычайного: мальчишки Вест-Оранжа часто играли против полностью черных команд у себя в Лиге АМИ округа Эссекс, а необычным тем утром в Ньюарке оказался сам размер толпы, около сотни вместо обычных десяти-двенадцати болельщиков. Поначалу никто, казалось, не обращал особого внимания на то, что происходит на площадке, но когда игра закончилась ничьей и пришлось назначать дополнительное время, люди, явившиеся смотреть две другие игры, повели себя беспокойно. Насколько мог понять Фергусон, толпе было безразлично, какая команда победит или проиграет — лишь бы эта игра завершилась и начались другие, — но затем пять минут дополнительного времени завершились еще одной ничьей, и настроение у толпы взбухло от беспокойства до возбуждения. Пускай эти клоуны валят с площадки, да, но если одной из тех двух команд суждено выиграть, зрители намеревались болеть за ньюаркских пацанов, а не

[41] Сноски: 41
Ассоциация молодых иудеев.

за мальчишек из предместья, за юных христиан, а не за юных иудеев, за черных мальчишек, а не за белых. Справедливо, сказал себе Фергусон, когда началось второе дополнительное время, само собой, люди станут болеть за свою команду, людям естественно кричать с трибун при игре на равных, естественно оскорблять приезжих игроков, но затем второе дополнительное время опять закончилось ничьей, и все вдруг как-то вспыхнуло: маленький обветшалый спортзал в центре Ньюарка охватило шумом, и пустяковая игра четырнадцатилетних мальчишек превратилась в символический кровавую схватку между *нами и ими*.

Обе команды играли скверно, обе команды промахивались в девяти десятых своих бросков и трети пасов, обе команды устали, их отвлекал шум толпы, обе команды изо всех сил старались победить, однако действовали так, словно хотели проиграть. Зрители были единодушны в своей поддержке одной команды, а не другой, топали и одобрительно ревели, стоило какому-нибудь ньюаркскому игроку вырвать у противника отскок или перехватить пас, презрительно улюлюкали всякий раз, когда игрок из Вест-Оранжа мазал броском в прыжке или попадал мячом себе

по ноге, выли в сиплом восторге, если Ньюарк зарабатывал очко попаданием в корзину, свистели долгими выплесками негодования и отвращения, когда Вест-Оранж выравнивал счет. Оставалось десять секунд, а Ньюарк вел с отрывом в одно очко. Ленни Мильштейн попросил тайм-аут, и когда игроки Вест-Оранжа собрались вокруг своего тренера, гам от трибун шел такой громкий, что ему пришлось кричать, чтобы его услышали, мудрому Ленни Мильштейну, который был не только отличным баскетболистом, но и превосходным человеком к тому же, он знал, как обращаться с четырнадцатилетними мальчиками, поскольку понимал: четырнадцать лет — худший возможный возраст на календаре человеческой жизни, а потому все четырнадцатилетки — существа сбитые с толку и надтреснутые, ни один из них уже не дитя и ни один из них не взрослый, все слегка не в себе, и в их недоделанных телах никому из них неуютно, и вот в топке этой клаустрофобной арены неистовых, ревущих бойцов проницательный мужчина с вьющимися светлыми волосами и шутливыми методами управления командой, где ни от кого вроде бы не требуется дисциплины, орал своим подопечным и напоминал им, как разбить жесткий прессинг по всей площадке, и

не успели мальчишки сложить стопкой правые ладони на правую ладонь Ленни для последнего *Вперед!*, тридцатичетырехлетний муж и отец двоих детей показал на дверь выхода в боковой стене спортзала и сказал мальчишкам: что бы ни произошло в эти последние десять секунд, выиграют они или проиграют, как только прозвонит последний звонок, им всем следует бежать к той двери и прыгать в его универсал, стоящий у обочины, потому что, как он выразился, *тут все уже как-то немного с приветом*, и ему не хочется, чтобы кого-нибудь убило или покалечило в свалке, которая наверняка последует. Затем пять рук и одна сошлись, Ленни рявкнул последнее *Вперед!*, и Фергусон вместе с остальными начинающими трусцой выбежал на площадку.

То были самые долгие десять секунд в жизни Фергусона, нелепый, скоростной балет, что, казалось, развертывался в замедленном движении, поскольку Фергусон был единственным игроком на площадке, кто не двигался, замер на своей позиции у вершины дальнего круга, чтобы принять длинный отчаянный пас, если не получится все остальное, последняя мера из нескольких крайних мер, и по этой вот причине оттуда, где стоял, он видел все, весь танец четко выгравиро-

вался в пространстве, наглядно и несмываемо, в последующие месяцы и годы он всплывал вновь и вновь, ни в какой миг его жизни не забывался, вброс Майка Надлера из-за боковой Митчу Гудману после обманного финта подпрыгнувшему, взмахнувшему руками защитнику Ньюарка, пас Гудмана с разворотом и без дриблинга Алану Шафферу на середине площадки, а затем слепой толчок Шаффера, пока часы тикали до трех секунд, двух секунд, одной секунды, и вслед за этим — изумление на пухлом лице Шаффера: мяч проделал невозможное путешествие по воздуху и влетел прямиком в корзину, не коснувшись обода, самый длинный бросок под самый занавес в истории Лиги АМИ округа Эссекс, завершение, побившее все прочие окончания матчей на все времена.

Он увидел, как Ленни несется скачками к боковой двери. Как игрок, стоявший от этой двери дальше всех, Фергусон побежал раньше всех остальных, побежал, как только увидел, что мяч влетает в корзину, не приостановился даже поздравить Шаффера или отпраздновать победу, поскольку Ленни был прав, когда предчувствовал неприятности, и теперь, раз у Ньюарка увели из-под носа победу, люди в зале впали в ярость.

Для начала — вой коллективного потрясения, им, восьмидесяти или девяноста, двинуло по мозгам зрелищем этой даровой, удачной корзины, и мгновенье спустя толпа ринулась на площадку, крича от ярости и неверия, целая армия тринадцати-, четырнадцати- и пятнадцатилетних пацанов, четыре дюжины черных мальчишек вознамерились разорвать в клочья полдюжины белых мальчишек — за несправедливость, что те против них совершили, и несколько мгновений, что Фергусон несся по площадке, он чувствовал настоящую угрозу, боялся, что толпа его нагонит и сшибет на пол, но ему удалось проскочить по кишащему лабиринту тел, лишь раз прилетело ему в правую руку случайным ударом, было больно и продолжало болеть еще два часа — и тут он выскочил за дверь и в холодном воздухе того угрюмого январского утра уже бежал к машине Ленни.

Так завершился расовый бунт в миниатюре, который почти случился, но не произошел. Всю поездку домой другие мальчишки в машине вопили в высокооктановом всплеске веселой одержимости, вновь и вновь переживая последние десять секунд игры, поздравляя себя с тем, что избежали гнева мстительной толпы, беря

шутейные интервью у по-прежнему не верившего своей удаче и беспрестанно улыбавшегося Шаффера, хохоча, хохоча, столько смеха, что сам воздух сгустился от веселья и торжества, но Фергусон во всем этом участия не принимал, не мог он никак во всем этом участвовать, поскольку желания хохотать у него не было, пусть даже бросок Шаффера в последнюю секунду и был одной из самых чудны́х, совершенно невероятных штук, какие ему доводилось видеть за всю жизнь, но вот сама игра была для него испорчена тем, что произошло после нее, и синяк на руке еще болел, но сильнее, чем сама боль в руке, болел повод для того удара.

В машине, кроме него, не смеялся только Ленни, лишь он один, казалось, понимал все мрачное значение того, что произошло в спортзале, и впервые за весь сезон он отчитал мальчишек за небрежную, неумелую игру, от пятидесятифутового броска Шаффера отмахнулся как от случайности и спросил, отчего они не раздолбали эту посредственную команду с перевесом в двадцать очков. Другие восприняли его слова как знак гнева, но Фергусон понял: тренер не сердится, он расстроен, или испуган, или обескуражен, или все сразу, и в свете уродства, что за

нею последовало, сама игра не значит ничего.

Тогда впервые Фергусон стал свидетелем того, как публика превращается в обезумевшую толпу, и, как ни трудно ему было это принять, неопровержимый урок, какой получил он тем утром, заключался в том, что толпа иногда способна выражать сокрытую истину, какую кто-то один в этой толпе нипочем не осмелится выразить самостоятельно, в данном случае — истину презрения и даже ненависти, которые многие черные люди питают к белым, что не менее сильны, нежели презрение и даже ненависть, какие многие белые люди питают к черным, и Фергусон, только что проведший последние дни рождественских каникул за сочинением о Джеки Робинзоне и необходимости всеобщей интеграции во всех аспектах американской жизни, не мог не расстраиваться, не бояться и не падать духом от того, что случилось тем утром в Ньюарке, через пятнадцать лет после того, как состоялась первая игра Джеки Робинзона за «Бруклинских хитрецов».

Через два понедельника после субботы в Ньюарке миссис Бальдвин встала перед всем девятым классом Фергусона на уроке английского и объявила, что он выиграл первый приз в конкурсе сочинений. Второй присудили Эми Шнейдерман

за ее *впечатляющий панегирик жизни Эммы Гольдман*, и как же она ими обоими гордится, сказала миссис Бальдвин, две лучшие работы — из одного класса, *ее класса*, а это один из тринадцати девятых классов в школе у нее по английскому, и ни разу за все свои годы преподавания в Мапльвудской средней школе не *выпадала ей честь иметь в ежегодном конкурсе сочинений двух победителей*.

Молодец миссис Бальдвин, подумал Фергусон, наблюдая, как его литературная немезида торжествует двойную победу у доски, словно это она сама написала эти сочинения, и как ни счастлив был Фергусон оказаться победителем среди трехсот пятидесяти учащихся в его параллели, он понимал, что победа не имела значения — не только из-за того, что считавшееся миссис Бальдвин хорошим непременно должно было оказаться плохим, а потому, что после того буйства в ньюаркском спортзале сам он восстал против собственного сочинения, зная: то, что написал он, слишком оптимистично и наивно, чтобы иметь какой-либо смысл в реальном мире, что, хотя Джеки Робинзон заслуживал всех похвал, какими его осыпал Фергусон, отмена сегрегации в бейсболе — всего лишь карликовый

шаг в гораздо более обширной борьбе, какой суждено было длиться еще далеко не один год, несомненно, гораздо больше лет, чем выпадет прожить самому Фергусону, вероятно — еще столетие или два, и что рядом с его порожним, идеалистическим изображением преображенной Америки сочинение Эми об Эмме Гольдман было гораздо лучше, не просто лучше написано и лучше продумано, но одновременно и тоньше, и страстнее, а единственная причина, почему ей не присудили первый приз, была в том, что школа не могла наградить синей лентой сочинение о *революционной анархистке*, какую по определению следовало считать совершенно неамериканской американкой, персоной настолько радикальной и опасной для американского образа жизни, что ее из собственной страны депортировали.

Миссис Бальдвин еще зудела перед классом, объясняя, что трем победителям из каждого класса выпадет читать свои сочинений на общешкольном собрании, назначенном на пятницу после обеда, и когда Фергусон бросил взгляд на Эми — та сидела впереди через один ряд от него и на две парты правее, — и его позабавило, что стоило лишь взгляду его упереться ей строго между лопаток, как она тут же развернулась и по-

смотрела на него, словно почувствовала, как его взгляд ее коснулся, а еще забавнее другое — как только взгляды их встретились, она вся сморщилась и показала ему язык, словно бы говоря: Тьху на тебя, Арчи Фергусон, победить должна была я, и ты это сам знаешь, а когда Фергусон ей улыбнулся и пожал плечами, словно говоря: Ты права, но что я могу с этим поделать? — гримаса Эми превратилась в улыбку, и миг спустя, не в силах сдерживать смех, собравшийся у нее в горле, она издала этот свой дикий фырчок, нежданно громкий звук, заставивший миссис Бальдвин прервать то, что она говорила, и спросить: Все в порядке, Эми?

Все прекрасно, миссис Бальдвин, сказала Эми. У меня отрыжка. Я знаю, что дамам это неприлично, но ничего не смогла с собой поделать. Извините.

Все вечно твердили Фергусону, что жизнь напоминает книгу, историю, которая начинается на странице 1 и гонит вперед, пока герой не умирает на странице 204 или 926, но теперь, раз будущее, какое он себе воображал, менялось, изменялось и его понимание времени. Время двигалось и вперед, и назад, понял он, а раз истории в книжках способны двигаться только вперед, в книжной

метафоре не оставалось никакого смысла. Уж если жизнь и похожа на что-нибудь, так на структуру бульварной газетки, с крупными событиями, вроде начала войны или бандитского убийства, на первой полосе, а менее важные известия — на страницах дальше, но и на самой последней полосе там заголовок, главная новость сегодняшнего дня из тривиального, но увлекательного мира спорта, а спортивные статьи почти всегда читались задом наперед, если листал страницы слева направо, а не справа налево, как поступал со статьями спереди, ты шел задним ходом, как будто пробирался через текст на иврите или японском, неуклонно приближаясь к середине газеты, и как только оказывался на ничьей земле частных объявлений, которые и читать-то не стоило, если не копаешь рынок в поисках уроков игры на тромбоне или подержанного велосипеда, через эти страницы ты перескакивал, пока не выходил на центральную территорию киноафиш, театральных рецензий, колонки советов Анн Ландерс и редакционных статей, а уже из этой точки, если начал читать сзади (как обычно это делал Фергусон, поклонник спорта), можно было дойти так до самого переда. Время двигалось в две стороны, потому что каждый шаг в будущее

нес с собой память о прошлом, и хотя Фергусону еще не исполнилось и пятнадцати, он накопил достаточно воспоминаний, чтобы знать: мир вокруг него постоянно лепится из миров внутри него, ровно так же, как переживание мира кем угодно лепится из его собственных воспоминаний, и пока всех людей связывает воедино общее пространство, какое они между собой делят, все их путешествия сквозь время различны, а это означает, что каждый человек живет в мире, слегка отличном от тех миров, что есть у других. Вопрос таков: Какой мир населяет Фергусон сейчас и как этот мир для него изменился?

Перво-наперво, он больше не собирался становиться врачом. Последние два года он обитал в отдаленном будущем благородного самопожертвования и безмерных добрых дел, человеком, совершенно не похожим на собственного отца, работая не ради денег и приобретательства лаймово-зеленых «кадиллаков», а во имя человечества, врачом, который будет обслуживать бедных и угнетенных — станет учреждать бесплатные клиники в худших городских трущобах, отправится в Африку работать в палатках во время эпидемий холеры и смертоубийственных гражданских войн, фигура героическая для мно-

гих тех, кто от него зависел, человек чести, святой сострадания и мужества, но затем явился ясноглазый Ной Маркс и снес бутафорию этих нелепых галлюцинаций, что были материалом слащавых голливудских фильмов о врачах и слабоумных, сентиментальных врачебных романов, присвоенным грезами о будущем призвании, которое Фергусон не отыскал в себе самом, а всегда разглядывал снаружи, словно наблюдал за актером в черно-белом фильме 1930-х годов, у которого сбоку кадра всегда маячит симпатичная медсестра-спутница-жена, а фоном играет трогательная музыка, никогда не настоящий Фергусон с его сложной и мучительной внутренней жизнью, а механический игрушечный герой, родившийся из желания выковать себе героическую судьбу, которая доказала бы, что он, один-единственный, лучше любого другого человека на этой земле, и теперь, раз Ной показал ему, насколько сильно он заблуждался, Фергусон устыдился самого себя: растранжирил столько энергии на эти детские мечты.

В то же время Ной был неправ, считая, будто у Фергусона имеется какой-то интерес к тому, чтобы стать писателем. Это правда — читать романы было одним из самых главных удовольствий,

какие могла ему предложить жизнь, как было правдой и то, что кто-то должен был эти романы сочинять и тем самым давать людям возможность пережить такое наслаждение, однако, с точки зрения Фергусона, ни чтение, ни сочинение нельзя было толковать как деятельность героическую, и вот на этом рубеже его путешествия ко взрослости единственным предметом желаний Фергусона на будущее было, как это выразил его автор номер один, стать *героем собственной жизни*. К тому времени Фергусон уже прочел второй в своей жизни роман Диккенса, все 814 страниц этого длинного, окольного трюханья по вымышленной судьбе любимого ребенка автора, заглотил его целиком за две недели рождественских каникул, а теперь, когда этот марафонский заплыв по чтению подошел к концу, Фергусон обнаружил, что спорит со своим призрачным спутником по прошлому году — с Холденом Колфилдом, который раскритиковал Диккенса замечанием насчет *прочей Давид-Копперфильдовой херни* на первой же странице «Ловца во ржи», ибо книги в голове у Фергусона уже начали разговаривать друг с дружкой, и сколь хорош бы ни был Дж. Д. Сэлинджер, он и в подметки не годился Чарльзу Диккенсу, тем паче если старый

мастер обут в пару башмаков по имени Ханк и Франк. Нет, тут никогда и сомнения быть никакого не могло: читать художественную литературу, конечно, очень приятно, но и писать ее — тоже очень приятно (наслаждение тут мешается с муками, борьбой и разочарованием, но все равно это приятно, поскольку удовольствие от сочинения хорошей фразы — особенно если та начинается как фраза скверная и медленно улучшается после того, как ее четыре раза перепишут, — ни с чем не сравнимо в анналах человеческих достижений), а все, что приносит такое наслаждение и вызывает столько удовольствия, не может по определению рассматриваться свысока как героическое. Ладно там жизнь врача-праведника, но ведь без счета и героических альтернатив, какие Фергусон мог вообразить для себя, среди них — карьера в юриспруденции, например, а если учесть, что грезы наяву были тем талантом, в каком он продолжал преуспевать превыше всего прочего, в особенности грезы о будущем, то следующие несколько недель он мысленно переносился в залы суда, где его красноречие спасало неправедно осужденных людей от электрического стула и вынуждало всех присяжных рыдать после каждого его заключительного слова.

Затем ему исполнилось пятнадцать, и на праздничном ужине, устроенном в его честь в «Вавердей-Инне» на Манхаттане, на праздновании, где собрались его родители, прародители, тетя Мильдред, дядя Дон и Ной, Фергусону вручили подарок — или подарки — от каждой семьи в его семье, чек на сотню долларов от матери и отца, другой чек на сотню долларов от бабушки и деда, и три отдельных свертка от личного состава Марксов, набор поздних струнных квартетов Бетховена в коробке от тети Мильдред, книгу в твердом переплете от Ноя под заглавием «Самые смешные анекдоты в мире» и четыре книжки в бумажных обложках от дяди Дона — русских писателей девятнадцатого века, произведения, известные Фергусону понаслышке, но прочесть их он так до сих пор и не удосужился: «Отцы и дети» Тургенева, «Мертвые души» Гоголя, «Три повести» Толстого («Хозяин и работник», «Крейцерова соната» и «Смерть Ивана Ильича»), а также «Преступление и наказание» Достоевского. Именно последняя из этих книг положила конец пошлым фантазиям Фергусона о том, чтобы стать следующим Кларенсом Даррроу, поскольку чтение «Преступления и наказания» изменило его, «Преступление и наказание» стало раскатом

грома, что грянул с небес и расколол его на сотню кусков, а когда Фергусон вновь собрал себя воедино, он уже не сомневался в будущем, ибо если книга может быть вот *этим*, если вот *это* с человеческим сердцем, умом и самыми глубокими чувствами к миру может сделать роман, то писать романы — уж точно лучшее, чем может заниматься в жизни человек, ибо Достоевский научил его, что выдуманные истории могут зайти гораздо дальше простого наслаждения и развлечения, они могут вывернуть тебя наизнанку и сорвать тебе макушку, они могут тебя ошпарить и заморозить, раздеть тебя донага и вышвырнуть на рвущие ветра Вселенной, и с того самого дня, после того как Фергусон все свое детство пробарахтался, потерявшись во все более сгущавшихся миазмах оторопи, он наконец понял, куда направляется, — или хотя бы осознал, куда хочет двинуться, и не раз за все последовавшие годы не пожалел он о своем решении, даже в самые тяжкие времена, когда казалось, будто он вот-вот свалится с самого края земли. Ему было всего пятнадцать лет, но он уже обручился с замыслом и, к добру ли, к худу ли, в богатстве и бедности, в болезни и здравии юный Фергусон намеревался хранить этому замыслу верность до скончания

дней, отпущенных ему с рождения.

Летний кинопроект у них отменился. Еще в ноябре умерла бабушка Ноя по матери, а теперь, раз у последней появилось немного денег, она решила истратить их часть на развитие образования сына. Не посоветовавшись с Ноем, она записала его на летнюю программу для иностранных старшеклассников в Монпелье, Франция, — восемь недель *глубокого погружения* во французский язык, в конце которых, если верить рекламному проспекту программы, он вернется в Нью-Йорк и заговорит с беглостью урожденного лягушатника, питающегося улитками. Через три дня после того, как Фергусон дочитал «Преступление и наказание», Ной позвонил и объявил о перемене в планах, ругая мать за то, что та *быстро его охомутала*, но что он тут может поделать, сказал он, слишком он молод, чтоб быть хозяином собственной жизни, а пока что музыку по-прежнему заказывает безумная королева. Фергусон скрыл свое разочарование, сказав, до чего ему повезло, будь он сам в его ботинках, он бы при такой возможности рванулне глядя, а если говорить об их собственной паре обуви, что ж, очень жаль, но факт остается фактом: у них по-прежнему нет своей камеры, и он даже еще

не начал набрасывать сценарий, поэтому ничего страшного не произошло, и только подумай о том, что ждет тебя во Франции — голландские девчонки, датские девчонки, итальянские, целый гарем красавиц-старшеклассниц, и весь — для него, поскольку в такие программы ездит мало мальчишек, а раз у него будет мало конкуренции, Фергусон уверен, что время он там проведет, как никогда в своей жизни.

Фергусону Ноя будет, конечно, не хватать, скучать он будет ужасно, поскольку лето — это всегда такое время года, когда они могут с ним быть вместе каждый день, каждый день восьми полных недель, а лето без его брюзгливого арфиста, друга-кузена вообще теперь едва станет ощущаться летом — будет всего лишь долгим промежутком времени, отмеченным жаркой погодой и новым сортом одиночества.

К счастью, чек на сто долларов был не единственным его подарком от родителей на пятнадцатилетие. Еще он получил право ездить в Нью-Йорк самостоятельно и этой новой свободой намеревался пользоваться как можно чаще, потому что красивый, но унылый городок Мапльвуд выстроили с единственной целью — чтобы людям хотелось из него сбежать, — а раз Фергусону

теперь вдруг открылся и другой мир, пошире, он той весной уезжал почти каждую субботу. Оттуда, где он жил, на Манхаттан было два пути: 107-м автобусом, что каждый час отходил от автостанции в Ирвингтоне и довозил до здания Портоуправления на углу Восьмой авеню и Сороковой улицы, или поездом из четырех вагонов, что подчинялся Железной дороге Эри-Лакаванна, отходил от станции в Мапльвуде и добирался до конечной в Гобокене, откуда путешествие в город можно было закончить двумя дальнейшими способами: понизу, гудзонской подземкой, или поверху, через воду гудзонским паромом. Фергусон предпочитал решение поезд-паром, не только потому, что до станции мог дойти всего минут за десять (в то время как добираться до автостанции в Ирвингтоне удавалось, только если его кто-нибудь туда подвозил), но и оттого, что он любил поезд — один из старейших, до сих пор ходивших где бы то ни было в Америке, с вагонами, изготовленными в 1908 году: темно-зеленые металлические громадины, наводившие на мысли о ранних днях промышленной революции, а внутри вагона — ветхие плетеные сиденья, у которых спинки откидывались и назад, и вперед; медлительный анти-экспресс, что дребезжал, дергался

и разражался гамом воплей, пока колеса скрежетали по заржавленным рельсам, такое счастье сидеть одному в таком вагоне, глядя в окно на отвратительный, загнивающий пейзаж северного Нью-Джерси, болота и речки, и железные разводные мосты на фоне обваливающихся кирпичных зданий, остатки старого капитализма, некоторые еще действуют, кое-какие в руинах, такое уродство, что Фергусон отыскивал в них вдохновение так же, как поэты девятнадцатого века обретали вдохновенье от развалин на греческих и римских холмах, а когда в окно на рухнувший мир вокруг не смотрел, он читал то, что в данный момент читал, — русские романы, написанные не Достоевским, Кафку впервые, Джойса впервые, Фицджеральда впервые, а потом стоял на палубе парома, если погода хоть на сколько-то приближалась к сносной, ветер в лицо, в подошвах дребезжит машина, сверху кружат чайки, такое обыденное путешествие, в конечном счете, эту поездку каждое утро с понедельника по пятницу совершают тысячи пассажиров, но сегодня суббота, и для пятнадцатилетнего Фергусона это чистая романтика — ехать вот так вот к нижнему Манхаттану, лучшее из всего хорошего, чем он бы мог заниматься, — не просто оставлять позади

дом, а ехать вот к этому, *ко всему этому*.

Видеть Ноя. Разговаривать с Ноем. Спорить с Ноем. Смеяться с Ноем. Ходить в кино с Ноем. По субботам на Перри-стрит — обед в квартире с тетей Джоан и дядей Доном, а потом — прочь вместе с Ноем, прочь туда, куда они решили отправиться, что часто оказывалось — никуда в особенности, они вдвоем просто бродили по улицам Вест-Виллидж и пялились на хорошеньких девчонок да обсуждали судьбу Вселенной. Все уже было решено. Фергусон намерен писать книги, Ной намеревался ставить фильмы, а поэтому они в основном говорили о книгах и фильмах, а также о множестве проектов, которые станут осуществлять вместе много лет в дальнейшем. Ной был не тем Ноем, какого Фергусон встретил маленьким мальчиком, но в нем по-прежнему оставалась эта докучливая черта, которую Фергусон считал чертой умника, братьев Маркс, его неугомонные выплески бурливого анархизма, что прорывались в бессмысленных диалогах с зеленщиками (*Эй, приятель, что это у вас с баклажанами — я тут не вижу никакого бака, одна лажа*), или официантками из кофеен (*Любезная, прежде чем дадите нам чек, будьте добры его порвать, чтобы нам не пришлось платить*), или

кассирами, стоявшими в стеклянных будках кинотеатров (*Скажите мне хоть что-нибудь хорошее про то, что у вас идет, иначе я не включу вас в завещание*), провокационная чепуха, какая лишний раз доказывала, каким же он умел быть занудой, но такова была цена, какую ты платил за то, что был другом Ноя, он развлекал тебя и смущал одновременно, как будто ходишь везде с шумным карапузом, а он вдруг ни с того ни с сего разворачивался к тебе лицом и принимался говорить о «Размышлениях о гильотине» Альбера Камю, а после того, как ему скажешь, что ты не читал у Камю ни слова, он тут же заскочит в книжный и сопрет тебе какой-нибудь его роман, который ты, разумеется, принять у него не можешь, а значит, оказываешься в неловком положении, когда нужно сказать ему, чтобы снова зашел в магазин и поставил книгу обратно на полку, отчего ты, конечно, ощущаешь себя уверенным в собственном нравственном превосходстве ханжой, но он же все равно тебе друг, лучший друг из всех, какие у тебя только были, и ты его любишь.

Но не всякая суббота бывала субботой на Перри-стрит. По тем выходным, какие Ной проводил с матерью в Верхнем Вест-Сайде, Фергусону не

всегда доводилось с ним видеться, поэтому на такие обесточенные субботы он строил другие планы, дважды ездил в Нью-Йорк со своим маплвудским другом по имени Боб Смит (да, человек с таким именем, как Боб Смит, действительно существовал), один раз — сам, навестить прародителей, а еще несколько раз — с Эми, она же Эми Руфь Шнейдерман, кому особенно хотелось смотреть живопись, а поскольку Фергусон недавно обнаружил, до чего ему самому нравится смотреть живопись, те субботы они проводили, бродя по музеям и галереям, не только по крупным, куда ходили все, «Мет», «Современного искусства», «Гуггенхейм», но и по тем, что поменьше, вроде «Фрика» (любимую у Фергусона) и заходили в центр фотографии в среднем Манхаттане: после визитов в любое такое заведение они потом разговаривали часами, Джотто, Микеланджело, Рембрандт, Вермеер, Шарден, Мане, Кандинский, Дюшен, столько всего нужно впитать и о стольком подумать, если почти все видишь *впервые*, вновь и вновь этот с ног сбивающий толчок *впервые*, но самое памятное переживание, какое они с Эми разделили, случилось отнюдь не в музее, а в более тесном пространстве галереи — в «Галерее Пьера Матисса» в здании «Фуллер» на Восточ-

ной Пятьдесят седьмой улице, где посмотрели выставку новых скульптур, картин и рисунков Альберто Джакометти, и так притянули их эти таинственные, осязаемые, одинокие работы, что они задержались там на два часа, а когда залы начали пустеть, сам Пьер Матисс (сын Анри Матисса!) заметил у себя в галерее двух молодых людей и вышел к ним, весь разулыбавшись, добродушный, счастливый, что в этот день появилось еще двое новообращенных, и, к вящему изумлению Фергусона, остался и разговаривал с ними еще пятнадцать минут, рассказывал истории про Джакометти и его студию в Париже, о своей собственной *трансплантации* в Америку в 1924 году и основании галереи в 1931-м, о трудных годах войны, когда столько европейских художников сильно нуждались, великие художники, вроде Миро и многих прочих, и как они бы не выжили без помощи своих друзей в Америке, а потом в порыве Пьер Матисс завел их в заднюю комнату галереи, в кабинет с письменными столами, печатными машинками и книжными шкафами, и из одного шкафа вытащил с десяток каталогов прошлых выставок Джакометти, Миро, Шагала, Бальтюса и Дюбюффе — и вручил их двум ошеломленным подросткам, сказав: Вы,

детишки, — будущее, может, это вам поможет в образовании.

Вышли они оттуда, лишившись дара речи, изумленные, унося дары сына Анри Матисса по Пятьдесят седьмой улице, шли быстро, потому что *они — будущее*, потому что тела их требовали идти быстро после такой встречи, после того как их благословили деяньем столь неожиданной доброты, и потому шли они по людной, солнечной улице так быстро, как могут идти два пешехода, не сбиваясь на бег, а через пару сотен ярдов Эми вдруг нарушила молчание и объявила, что хочет есть, *изголодалась* — вот какое слово она употребила, как частенько бывало, поскольку Эми никогда не просто голодна, как другие люди, она умирает от голода или же ей сводит кишки, она в силах слопать слона или стаю пингвинов, и теперь, когда она заговорила о том, чтобы набить себе брюхо *каким-нибудь вкусным хавчиком*, Фергусон осознал, что и ему самому поесть бы не помешало, а уж коли шли они по Пятьдесят седьмой улице, он предложил зайти в кафетерий-автомат «Горн-и-Гардарт» между Шестой и Седьмой авеню — не потому, что это близко, а потому, что в один из прежних его приездов в Нью-Йорк они с Эми постановили, что

«Горн-и-Гардарт» — самое великолепное место кормежки во всем Нью-Йорке.

Не то чтобы безвкусную, недорогую пищу, подаваемую там, можно было определить как *великолепную* — мисочки фасолевого супа янки, рубленые бифштексы «солсбери» с картофельным пюре, залитые подливой, толстые ломти пирога с черникой — нет, их манило к себе само это место, атмосфера парка развлечений на этом громадном рынке хрома и стекла, новизна *автоматизированного питания*, американская действенность двадцатого века в самом чокнутом, самом восхитительном своем воплощении, полезная, гигиеничная кухня для голодных масс, и до чего ж большим наслаждением было подходить к кассиру и нагружаться столбиками никелей, а потом бродить и разглядывать десятки предлагаемых блюд в застекленных вместилищах, окошки преграждали доступ к крошечным комнаткам еды, каждая — индивидуальная порция, *приготовленная специально для вас*, и как только ты выбирал свой сандвич с ветчиной и сыром или ломоть фунтового пирога — опускал должное количество никелей в прорезь, и окошко открывалось, и вот так вот просто сандвич оказывался твоим, ощутимый,

надежный, свежесделанный сандвич, но прежде чем отойти и поискать столик, имелось еще одно дополнительное удовольствие — смотреть, насколько быстро освободившееся хранилище заполняется следующим сандвичем, полностью идентичным тому, который ты только что купил себе, ибо там, позади, стояли люди, мужчины и женщины в белых одеяниях, следившие за никелями и наполнявшие опустевшие контейнеры новой едой, ну и работенка у них, должно быть, думал Фергусон, а затем — поиск незанятого столика, гуляешь со своей едой в тарелках или с закуской посреди разношерстной толпы нью-йоркцев, едящих и пьющих автоматизированное питание и напитки, многие — старики, что просиживают здесь целыми часами каждый день, употребляя чашку за чашкой медленно цедимого кофе, старики из исчезнувших левых, кто до сих пор и через сорок лет спорит о том, где именно революция свернула не туда, мертворожденная революция, что некогда казалась неотвратимой, а теперь — всего лишь воспоминание о том, чего никогда не было.

И вот Фергусон с Эми зашли в кафетерий-автомат «Горн-и-Гардарт» ближе к окончанию того великолепного дня — перекусить, полистать

тонкие, плотно иллюстрированные каталоги прошлых выставок в «Галерее Пьера Матисса» и обсудить день, который оба они сочли хорошим, в общем и целом — очень хорошим днем. Ему нужно побольше таких дней, как этот, сказал себе Фергусон, больше хороших дней, чтобы нейтрализовать воздействие стольких бурных дней в последние несколько месяцев, которые, с одной стороны, были днями без бейсбола — решение, которое поставило в такой тупик его друзей, что он даже перестал с ними по его поводу объясняться, поскольку держаться эксперимента по самоотречению оказалось гораздо трудней, чем он думал: отказываться от того, что он так преданно любил столько лет, от того, что стало уже столь громадной его частью, что тело иногда ныло — как же ему хотелось снова взять в руки биту, надеть перчатку и половить с кем-нибудь мяч, ощутить, как шипы вгрызаются в утрамбованную землю, когда бежит он к первой базе, но теперь он уже не мог отступить, ему придется держать данное слово — или же признаться самому себе, что смерть Арти ничего не значила, ничему его не научила, а это превратило бы его во что-то столь хлипкое и негероическое, что с таким же успехом можно было бы просить превратить

себя в собаку, в подлую, пресмыкающуюся дворнягу, что выпрашивает объедки и слизывает с пола собственную блевотину, и если б не его еженедельные побеги в большой город, что не подпускали его к стадионам, на которых каждую субботу играли его друзья, кто знает, не сдался ли он бы и не позволил бы себе превратиться в такого пса?

Хуже того, весна без бейсбола также стала и весной без любви. Фергусон думал, будто влюблен в Линду Флагг, но, проходив за нею все осень и зиму, вознамерившись добиться ответных чувств от самой манящей и загадочной сердцеедки Мапльвуда, которая поочередно поощряла его и давала ему от ворот поворот, то позволяла ему себя целовать, то не позволяла ему себя целовать, то давала ему надежду, то эту надежду у него отбирала, Фергусон пришел к заключению, что не только Линда Флагг его не любит, но и он не любит ее. Миг такого осознания настал в субботу, в начале апреля. После многонедельных попыток Фергусону наконец удалось ее убедить сопровождать его в поездке на Манхаттан. План был прост: пообедать в автомате, прогуляться через весь город до Третьей авеню, а потом — два часа в темноте, смотреть «Одиночество бегуна

на длинную дистанцию», фильм, который ему настоятельно рекомендовал посмотреть Джим Шнейдерман, а если по ходу фильма Фергусону удастся подержать Линду за руку, или поцеловать Линду в рот, или провести рукою вверх и вниз по ноге Линды — так оно даже и лучше. День же оказался мрачным, вогким от мороси и, время от времени, ливней, холодней, чем Фергусон того бы желал, темней, казалось, обычного в такое время года, но ничего в начале весны нормального и нет вообще, сказал Фергусон, когда они шли к станции под раскрытыми зонтиками и огибали лужи, скапливавшиеся на тротуаре, и что дождь идет, ему жаль, продолжал он, но он в этом на самом деле не виноват, поскольку на прошлой неделе он написал письмо Зевсу и попросил солнечной погоды, ну а откуда же было ему знать, что на горе Олимп у них как раз месячная забастовка почтовых работников? Линда рассмеялась в ответ на это бессмысленное замечание или же рассмеялась потому, что ей было не менее нервно, чем ему, и надеялась она не меньше, что, казалось, намекало на многообещающее начало между ними, но затем они сели в поезд «Эри-Лаканванны» до Гобокена, и Фергусон понял, что в тот день ничего правильно не будет. Поезд грязен

и неудобен, сказала Линда, вид из окна угнетает, слишком мокро ехать на пароме (хоть небо уже и начало расчищаться), в гудзонской подземке еще грязней и неудобней, чем в поезде, автомат — интересный, но жуткий, что тут столько бродяг шляется, шаркая, туда-сюда, вон там, за столиком, сидит совсем одна трехсотфунтовая черная женщина и сама с собой разговаривает о младенце Иисусе и конце света, полуслепой, небритый старик читает мятую газету трехдневной давности с увеличительным стеклом, древняя парочка совсем рядом с ними макает старые, спитые чайные пакетики в чашки с горячей водой, все, кто сюда заходит, либо бедны, либо сумасшедшие, и что это вообще за город такой, где полоумным можно свободно бродить по улицам, сказала она, а ты, Арчи, с чего это ты решил, будто Нью-Йорк гораздо лучше чего бы то ни было, когда он на самом деле такой отвратительный?

Она не виновата, сказал себе Фергусон. Она смышленая, симпатичная девчонка, которую вырастили под герметически запечатанным куполом удобств и добродетелей верхнего среднего класса, в бесцветном, рациональном мирке чистеньких газонов перед домом и комнат с кондиционированным воздухом, и от того, что

она оказалась вдруг бок о бок с убожеством и кавардаком жизни большого города, ее переполнило инстинктивным отвращением, таким физическим откликом, какой она не в силах была сдерживать, словно вдохнула какой-то вони и ее вдруг затошнило. Она ничего не может с эти поделать, повторил себе Фергусон, а потому и винить ее нельзя, но какое же это разочарование — обнаружить, насколько она неавантюрна, до чего брезглива, как ее выводит из себя все, что ей не знакомо. *Трудная*. Такое слово он частенько использовал, чтобы ее себе описать, и жарко-холодная Линда Флагг уж точно усложняла ему жизнь в последние полгода, хоть и была она личностью отнюдь не глупой или пустой — она просто боялась, вот и все, боялась нелогичности громадных, отталкивающих городов и, несомненно, боялась еще и мальчишек, хоть это ее хорошенькое личико и было приманкой, на которую очень немногие мальчишки не клевали. Но не пресная, не без остроумия и вдумчивости, ибо ум у нее был хорош, и она всегда разумно говорила о книжках, которые они читали для занятий по английскому, а теперь, когда Фергусон подхватил ее за локоть и вел на восток по Пятьдесят седьмой улице, ему было интересно, не

начнет ли улучшаться у нее душевный настрой, как только войдут они в кинотеатр и устроятся смотреть фильм. Театр располагался на другой стороне Парк-авеню, в одном из самых богатых, *наименее грязных* уголков Манхаттана, и кино обещало быть хорошим, а поскольку у Линды имелся вкус к хорошим книжкам и нюх на хорошее искусство, вероятно, и хорошее кино вызовет у нее хорошее настроение, и из паршивого дня, который у них покамест складывался, все-таки удастся спасти что-нибудь хорошее.

Кино определенно оказалось хорошим, таким хорошим и увлекательным, что Фергусон вскоре забыл о том, что нужно гладить Линду по ноге или пытаться поцеловать ее в рот, однако «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» было историей молодого человека, а не юной девушки, а это означало, что Фергусону оно пришлось по душе больше, чем Линде, и хоть она признала, что это *отличный фильм*, ее он не увлек так, как Фергусона, кто почувствовал, что это вообще один из лучших фильмов, которые когда-либо снимали, *шедевр*. Когда зажегся свет, они пошли в «Бикфордс» на Лексингтон-авеню и заказали себе кофе с пончиками у прилавка (кофе стало новым удовольствием в жизни Фергусона, и тот

пил его как мог чаще — не только из-за того, что ему нравился вкус, но и потому, что от питья его он чувствовал себя взрослее, будто каждый глоток этой горячей бурой жидкости уносил его все дальше и дальше от дома-тюрьмы его детства), и пока они сидели среди не таких толстых, не таких бедных, не таких чокнутых людей, какие частенько бывали в «Горне-и-Гардарте», продолжали обсуждать фильм, в особенности — последний эпизод его, забег на длинную дистанцию в борстале, который герой (его играл новый британский актер по имени Том Кортней) должен выиграть, чтобы его напыщенный директор школы (в исполнении Майкла Редгрейва) получил кубок, но он в последнюю минуту передумывает и останавливается, дав возможность победить богатенькому красавчику из шикарной школы (в исполнении Джемса Фокса). Для Фергусона решение проиграть *намеренно* было великолепным подвигом неподчинения, восхитительным жестом бунта против власти, и его холодное и сердитое сердце согрелось, когда он увидел дерзкое *Нахуй*, изображенное на экране, поскольку эдаким вот оскорблением директора школы герой сказал «нет» тому коррумпированному и траченному миру, какой директор этот

представлял, ветшающей британской системе порожних вознаграждений, произвольных наказаний и несправедливых классовых барьеров, и, поступив так, герой обрел свою честь, свою силу, свою *мужскую зрелость*. Линда закатила глаза. Чепуха, сказала она. По ее мнению, сдаться в гонке было поступком тупым, хуже герой и не мог ничего сделать, поскольку бег на длинную дистанцию — это путевка из адской дыры той исправительной школы, а теперь его снова затопчут на самое дно, и ему придется начинать все с самого начала, так в чем же тут смысл, спросила она, он одержал нравственную победу, но в то же время испортил себе жизнь, так как же можно такое считать *великолепным?*

Не то чтоб Линда неправа, сказал себе Фергусон, но она выступает за целесообразность превыше доблести, а он терпеть не мог такого рода доводов, *практичного отношения к жизни*, использования самой системы для того, чтобы эту систему победить, игры по набору нарушенных правил, потому что других правил у нас нет, а наличные следует все поломать и изобрести заново, а потому, что Линда верила в правила их мира, их крошечного предместного мирка, где нужно вырываться вперед и подниматься повы-

ше, устраиваться на хорошую работу и выходить за того, кто думает так же, как ты, и стричь газон, и ездить на новой машине, и платить налоги, и иметь 2,4 ребенка, и не верить ни во что, кроме силы денег, он понимал, до чего бесполезно было бы эту дискуссию продолжать. Она, конечно, права. Но и он прав — и ему вдруг ее больше не захотелось.

Линда тем самым была вычеркнута из списка возможностей, а поскольку иных на горизонте не наблюдалось, Фергусон закопался в мало что обещающий печальный и одинокий конец печального и одинокого года. Много лет спустя после того года, когда уже стал ощутимо взрослым, он оглядывался на тот период своей юности и думал: *Изгнание средь комнат дома*[42].

Мать за него тревожилась. Не просто от всевозраставшей враждебности Фергусона к отцу (с кем он теперь редко разговаривал, отказываясь сам завязывать беседы, а на вопросы Станли отвечая угрюмо, одним-двумя словами), не просто из-за того, что сын ее упорно ездил дважды в месяц ужинать с Федерманами (о которых по возвращении не рассказывал ничего, утверждая, что

[42] Сноски: 42

Из стихотворения Пола Остера «Aubade» (1976-1977), пер. Ш. Мартыновой.

просто очень уныло говорить об *этих раздавленных, скорбящих людях*), не только потому, что он резко и необъяснимо бросил бейсбол (утверждая, что теперь ему и баскетбола хватит, а бейсбол ему *наскучил*, что не могло быть правдой, чуяла Роза, — уж точно после того, как в апреле начался сезон, и она увидела, до чего внимательно Фергусон читает результаты игр в утренней газете, изучая цифры с той же жадностью, какую всегда выказывал в прошлом), и не только потому, что ее некогда популярный мальчик нынче, казалось, ходил без подружки и все меньше и меньше посещал вечеринки по выходным, — но из-за всего этого вместе, а в особенности потому, что во взгляде Фергусона теперь читалось что-то новое, какие-то самоуглубленность и отстраненность, которых там за все годы, что она его знала, никогда не было раньше, а поверх всех этих ее забот о состоянии эмоционального здоровья ее сына еще было некоторое известие, каким ей следовало с ним поделиться, скверная новость, и потому им двоим стало необходимо сесть рядом и поговорить.

Запланировала разговор она на четверг, когда у Анджи Блай был выходной, а отца Фергусона ждали домой с работы лишь в десять или по-

ловине одиннадцатого, времени им хватит и поужинать наедине, и пространно поговорить после. Опасаясь начать их послезастольный тет-а-тет с того, что настроит против себя Фергусона своими назойливыми вопросами о нем, от чего, вероятно, он замкнется и выскочит из-за стола, Роза удержала его на месте тем, что сперва огласила скверную новость — печальное известие о матери Эми, Лиз, которой только что диагностировали рак, особенно губительную форму рака, что сведет ее в могилу всего за несколько месяцев, а может, и за считаные недели, рак поджелудочной железы, надежды нет, нет от него средства, впереди у нее лишь боль и неминуемая смерть, и Фергусону поначалу трудно было впитать то, что говорила мать, поскольку Эми ни единым слогом не выдохнула ничего о состоянии своей матери, что вообще-то странно с учетом того, что Эми его близкий друг и поверяла ему все свои беспокойства, страхи и тревожные неуверенности, поэтому не успел еще Фергусон углубиться в постижение понятия *рак поджелудочной железы*, ему потребовалось выяснить, как эти сведения стали известны его матери, раз собственная дочь миссис Шнейдерман, судя по всему, об этом ничего не знает. *Мне Дан сказал*,

ответила мать, что лишь усугубило смятение ее сына, ибо чего ради человеку делиться таким известием со знакомой прежде, чем сообщать его собственному ребенку, но тут мать Фергусона пояснила, что Дан хотел сказать обоим своим детям одновременно, чувствуя, что Джиму и Эми вместе будет легче справиться с этим известием, нежели Джиму и Эми поодиночке, а потому он дожидался, пока Джим не приедет из Бостона завтра днем, чтобы поговорить с ними обоими сразу. Лиз в больнице уже несколько дней, добавила она, но обоим детям сказали, что она в Чикаго, навещает свою мать.

Бедная Эми, подумал Фергусон. Она уже много лет в контрах с матерью, а теперь мать ее умрет, и незавершенные вопросы между ними так и останутся неразрешенными. Как же трудно ей с этим будет, гораздо трудней, чем вынужденно справляться с безвременной кончиной кого-то, с кем всегда был в хороших отношениях, с кем-то, кого без стеснения обожал, ибо тогда можно, во всяком случае, хранить память об этом человеке с неистощимой нежностью, даже счастливо, с каким-то ужасным, мучительным счастьем, а вот Эми никогда не сможет думать о своей матери, не испытывая сожалений. Такая неоднозначная

женщина, миссис Шнейдерман, такое странное присутствие в жизни Фергусона с того первого дня, когда он познакомился с нею еще маленьким мальчиком, путаница противоречивых сильных и слабых сторон, что облекала собою добродетели крепкого рассудка, умелого управления хозяйством, глубоких мнений о политических вопросах (она писала диплом по истории в Пембруке) и несгибаемая преданность мужу и двоим детям, но в то же время было в миссис Шнейдерман и нечто нервное и раздраженное, ощущение того, что она упустила сделать нечто такое, что должна была совершить в жизни (какую-то карьеру, что ли, работу, какая была бы достаточно значима, чтобы превратить ее во *влиятельную личность*), и потому, что смирилась с менее возвышенным положением домохозяйки, она, казалось, полнилась решимостью доказать миру, что она умнее всех остальных, знает больше прочих — не просто о чем-то, а обо всем, и, как ни крути, она и впрямь знала поразительно много о громадном диапазоне предметов, вне всяких сомнений, была самым глубоко осведомленным существом, какое Фергусон когда-либо встречал среди людей, да только беда со всезнайкой нервной, раздраженной разновидности была в том,

что ей невозможно удержаться и не поправлять людей, когда они говорят такое, что, насколько тебе известно, неправильно, а это с миссис Шнейдерман случалось вновь и вновь, поскольку она оказывалась единственным человеком в комнате, кто знал, сколько миллиграммов витамина А содержится в сырой морковке средних размеров, она одна знала, сколько голосов выиграл Рузвельт в президентских выборах 1936 года, только ей была известна разница в мощности двигателей «шеви-импалы» 1960 года и «бьюика-скайларка» 1961-го, и хоть она неизменно оказывалась права, находиться с нею рядом сколько-нибудь длительное время — это ж с ума сойти можно, ведь одним из недостатков миссис Шнейдерман был тот, что она слишком много разговаривала, и Фергусону частенько становилось интересно, как ее муж и двое детей терпят жизнь под обстрелом стольких слов, этого беспрерывного трепа, в котором не удавалось различать важное и неважное, болтовни, которая могла произвести впечатление здравомыслием и проницательностью — или же утомить до полусмерти полной бессодержательностью, как это случилось, когда Фергусон и Эми сидели на заднем сиденье машины Шнейдерманов однажды вечером по дороге в кино, и миссис

Шнейдерман полчаса не умолкала, описывая мужу, как именно она переложила одежду в ящиках его комода в спальне, терпеливо проводя его по целой череде решений, которые приняла, чтобы прийти к своей новой системе: почему рубашкам с длинным рукавом полагается одно место, например, а рубашкам с коротким рукавом совсем другое, почему черные носки следует отделять от синих носков, которые, в свою очередь, надлежит держать отдельно от белых, какие он надевает, когда играет в теннис, почему его более многочисленные майки должны лежать на его футболках, а не под ними, почему боксерским трусам надлежит располагаться справа от трусов-плавок, а не слева, еще и еще, одна несущественная подробность громоздилась на другую несущественную подробность, — и когда они наконец доехали до кинотеатра, прожив в тех ящиках комода *полчаса*, половину одного из драгоценных двадцати четырех часов, составляющих сутки, Эми впилась пальцами в руку Фергусона — орать она не могла, а потому орала шифром, своими стиснутыми, впившимися пальцами. Не то чтоб мать ее была матерью ущербной или не заботливой, говорил себе Фергусон. Уж что-что, а заботилась она чересчур, и любила она чересчур, и чересчур

большие надежды возлагала на золотое будущее своей дочери, а любопытное действие этого *чересчур*, осознал Фергусон, заключалось в том, что оно могло вызывать собою то же неприятие, что и *недостаточно*, особенно когда *чересчур* бывало таким сильным, что размывало границы между родителем и ребенком и становилось предлогом к назойливому вмешательству, а поскольку превыше всего прочего Эми хотелось *передышки*, она жестко отпихивала мать, стоило ей лишь почувствовать, как ее удушает материна упорная вовлеченность в мельчайшие стороны ее жизни: от вопросов про то, что задали на дом, до нотаций на тему правильного метода чистки зубов, от назойливых допросов о флиртах ее школьных подружек до критики того, как она укладывает волосы, от предостережений об опасностях алкоголя до тихих, монотонных зудений о том, что нельзя соблазнять мальчиков избытком помады на губах. *Она меня прямиком в дурку гонит*, говорила, бывало, Эми Фергусону, или: *Она считает себя капитаном мозговой полиции и думает, что у нее есть право торчать у меня в голове*, — или: *Может, мне забеременеть, чтоб она волновалась из-за чего-нибудь настоящего*, — и Эми отбивалась тем, что обвиняла мать в маловерии, в том,

что та на нее точит зуб, хотя делает вид, будто за нее, и чего б матери не оставить ее в покое так же, как она не трогает Джима, и вновь и вновь они сталкивались, и если б не ее невозмутимый, дружелюбный отец — *ее гульливый отец,* — кто все время пытался примирить их между собой, накаленные вспышки между Эми и ее матерью обострились бы до постоянной войны по всем фронтам. Бедная миссис Шнейдерман. Она утратила любовь своей дочери, потому что любила ее неблагоразумно. Затем, проведя эту мысль на один шаг дальше, Фергусон сказал себе: Жаль нелюбимых родителей после того, как их закопают в землю, — и детей их жаль тоже.

И все равно — Фергусону трудно было понять, отчего его мать взялась рассказывать ему про болезнь миссис Шнейдерман, про эту смертельную болезнь, о которой даже Джим с Эми пока ничего не знают, и как только он произнес все, что обычно в такие минуты говорится, *какой ужас, как несправедливо, до чего жестоко, что жизнь у тебя так обрывается прямо посередине*, — тут же спросил у матери, зачем она его заблаговременно об этом предупреждает. Есть в этом что-то бесцеремонное и тихушное, сказал он, у него такое чувство, будто они шепчутся за спинами Шней-

дерманов, но нет, ответила его мать, вовсе не так, она ему это сообщает теперь, чтобы его бы не шокировало, когда ему это известие объявит Эми, он будет готов к удару и воспримет его спокойно, так легче окажется быть для Эми другом получше — ей теперь его дружба потребуется больше обычного, и не просто прямо сейчас, но, почти наверняка, и на долгое время дальше. В этом есть какой-то смысл, предположил Фергусон, но не слишком много, смысла тут и близко не хватит, а поскольку мать его обычно бывала разумна, говоря о каких-либо сложных ситуациях, вроде вот этой, он задался вопросом, не скрывает ли она что-нибудь от него, не утаивает ли изнанку истории, пока делится с ним другими ее частями, превыше всего прочего — достоверные сведения, какие объяснили бы ее слова *Мне Дан сказал*, ибо с какой стати Дану Шнейдерману взять и довериться ей, вообще рассказывать ей о раке своей жены? Они старые друзья, это да, знакомы уже больше двадцати лет, но друзья не близкие, насколько мог знать Фергусон, не близкие так, как сблизились они с Эми, однако отец Эми пришел к матери Фергусона в час величайшей своей беды и облегчил ей душу, что было таким деяньем, какое в первую очередь требовало глубокого

взаимного доверия, но не только — еще и некоей близости, что могла существовать лишь между ближайшими из ближайших друзей.

Еще несколько минут они проговорили о миссис Шнейдерман, не желая произносить о ней ничего недоброго, но оба согласны были в том, что ей так и не удалось отыскать правильного подхода к своей дочери, а величайшим недостатком ее было то, что она не знала, когда *сдать назад* (по словам Розы) или *отцепиться* (по словам Фергусона), и потом, едва ощутимо, бурные отношение между Эми и ее матерью обратились в обсуждение сложностей между Фергусоном и его отцом, и как только они подошли к этой теме, куда Роза тонко подталкивала беседу с самого начала, она поразила сына неожиданным вопросом в лоб: *Скажи мне, Арчи, почему ты так настроен против своего отца?* — это настолько его оглоушило, что он не сообразил проворно подумать, чтобы измыслить в ответ какую-нибудь фальшивку. Застанный врасплох и беззащитный, без всякой силы воли, чтобы и дальше избегать истины, он выпалил всю эту мелочную историю с пропавшим экземпляром «Душевных шнурков», и как же его бесит, что уже прошло почти полгода, а отец до сих пор не сказал ему о них ни слова.

Ему слишком неловко, сказала мать.

Неловко? Это что за оправдание такое? Он же мужчина, нет? Ему нужно только раскрыть рот и сказать мне, что произошло.

А чего ты сам у него не спросишь?

Не мое дело у него спрашивать. Это его дело — мне сказать.

Ты какой-то ужасно жесткий, а?

Это он жесткий, не я. Такой жесткий и до того занят собой, что всю эту семью превратил в кошмар.

Арчи…

Ладно, может, и не в кошмар. В зону бедствия. И этот дом — это как жить в одной из его проклятых морозилок.

Ты вот так это ощущаешь?

Холодно, ма, очень холодно — особенно между вами с ним, и мне до чертиков жалко, что ты дала ему себя уговорить и закрыла свое ателье. Тебе нужно снимать, а не тратить время на бридж.

Какие бы трудности ни были у нас с твоим отцом, они совершенно отдельны от того, что происходит между *тобой* с ним. Ты должен дать ему еще одну возможность, Арчи.

Это вряд ли.

Ну а я в этом уверена, и если ты со мной сейчас

поднимешься, я тебе покажу почему.

После такой таинственной просьбы Фергусон и мать встали из-за стола и вышли из столовой, а поскольку Фергусон понятия не имел, куда мать вознамерилась направиться, он поплелся за нею по лестнице на второй этаж, где они свернули налево и вошли в спальню его родителей — комнату, куда теперь он заходил уже редко, а затем он увидел, как мать открыла дверь в чулан, где отец держал свою одежду, скрылась в нем и через несколько мгновений появилась вновь с большой картонной коробкой в руках, которую вынесла на середину комнаты и поставила на кровать.

Открой, велела она.

Фергусон поднял клапаны, и, как только увидел, что́ лежит в коробке, его это сбило с толку так, что он даже не понял, следует ли ему расхохотаться — или же от стыда забраться под кровать.

Внутри лежали три аккуратно выровненные пачки брошюр, всего штук шестьдесят или семьдесят, брошюры на скрепках, каждая по сорок восемь страниц с простыми белыми обложками и следующими словами, жирными черными буквами напечатанными во всю ширь:

АРЧИ ФЕРГУСОН

ДУШЕВЫЕ ШТОРКИ

Когда Фергусон взял одну брошюру и принялся ее перелистывать, поражаясь видом слов его рассказа, которые глядели на него шрифтом одиннадцатого кегля, мать сказала: Он хотел тебя удивить, но потом типограф все испортил тем, что неправильно написал название, и твоему отцу от этого стало так скверно, он так глупо себя почувствовал — не проверил все заблаговременно, чтобы не случилось никаких накладок, — что так и не смог себя заставить тебе об этом рассказать.

Нужно было сказать, ответил Фергусон — так тихо, что мать его едва расслышала. Кому какое дело до названия?

Он так тобой гордится, Арчи, сказала мать. Он просто не знает, что сказать или как сказать это. Он ведь так и не научился разговаривать.

А не знал Фергусон в то время вот чего — оно продолжало оставаться для него неизвестным, пока мать сама не заговорила об этом семь лет спустя: у нее с Даном Шнейдерманом последние полтора года протекал тайный роман. Два-три вечера бриджа каждую неделю на самом деле были всего одним вечером, а вечера Дана с поке-

ром и вечера с боулингом больше не тратились на карты или кегли, и брак родителей Фергусона был уже не просто льдистым фарсом без всякой страсти, каким выглядел, он распался совсем, мертвее последнего мертвяка в окружном морге, и если они продолжали жить вместе в бессмысленном союзе, то лишь из-за того, что развод в той части света считался делом таким скандальным, что им нужно было оберечь своего мальчика от стигмы происхождения из *разбитой семьи*, что во многих смыслах хуже, чем быть сыном растратчика или разъездного продавца пылесосов. Развод существовал для кинозвезд и богатеев, живших в городских особняках Нью-Йорка, а лето проводивших на юге Франции, в предместьях же Нью-Джерси пятидесятых и начала шестидесятых годов несчастливым парам следовало выдерживать до конца, чем родители Фергусона и намеревались заниматься, покуда их чадо не закончит старшие классы и не уедет из Мапльвуда насовсем, и вот тогда-то они всё бросят и разойдутся по своим отдельным дорожкам, предпочтительно — разъедутся по двум разным городкам, каждый как можно дальше от Мапльвуда. Меж тем отец его начал проводить ночи в гостевой спальне, предположительно — из-за

того, что храпеть стал так громко, что матери Фергусона было трудно засыпать, и не раз Фергусон подозревал, что его родители, возможно, говорят ему неправду.

Отец Фергусона был единственным, кто знал о романе Розы с Даном Шнейдерманом, а мать Фергусона была единственной, кто знал о том, что Станли не так давно сошелся со вдовой из Ливингстона по имени Этель Блюменталь. Взрослые куролесили так же опрометчиво и безнаказанно, как и пятнадцатилетки, только занимались этим до того скрытно и осмотрительно, что никто в Мапльвуде или где бы то ни было еще ни малейшего понятия не имел, что это они такое делают. Ни Лиз Шнейдерман, ни Джим или Эми, ни прародители Фергусона, ни тетя Мильдред или дядя Дон, ни сам Фергусон — хотя материны слова в тот вечер после ужина, *Мне Дон сказал*, приоткрыли дверку на дюйм-другой, но все равно не хватило, чтобы он успел что-нибудь разглядеть в комнате за ней, поскольку там по-прежнему еще царил полумрак, а Фергусон не знал, где именно искать выключатель.

Родители его не были озлоблены, они не презирали друг дружку и не желали друг дружке зла. Они просто больше не хотели быть женаты и

покамест пытались выжать из своего положения все лучшее тем, что поддерживали приличия. Восемнадцать лет размололись в наперсток праха, пылевидный осадок не тяжелее пепла от единственной затушенной сигареты, и все же кое-что одно оставалось: нерушимая солидарность касательно благополучия их сына, и вот по этой самой причине Роза делала, что могла, чтобы залатать прореху, образовавшуюся между Станли и Арчи, ибо хоть Станли и был менее чем подобающим отцом, негодяем, каким его выставлял Арчи, он не был, и долго еще после того, как их маленькую семью развеяло, Станли оставался для Арчи отцом, и Фергусону без толку было и дальше идти по жизни, заточив против него зуб. К счастью, возникли эти бракованные брошюры. Столь жалкая попытка подольститься к сыну, конечно, о ком он почти ничего не понимал, и насколько бездеятелен оказался Станли, когда брошюры эти вышли испорченными (чего б не вернуться в типографию и не заказать их все по новой?), но они хотя бы стали чем-то, по меньшей мере они что-то доказывали, и Арчи приходилось их учитывать всякий раз, когда он задумывался об отце в грядущие месяцы и годы.

Судя по всему, Даниэль Шнейдерман влюбился

в Розу еще в 1941 году, в те дни, когда она начала работать в ателье его отца на Западной Двадцать седьмой улице, но Роза тогда была помолвлена с Давидом Раскином, а когда Раскина в следующем августе убили в Форт-Беннинге, Шнейдерман уже оказался помолвлен с Элизабет Майклс и сам собирался в армию. Как он признался Розе много лет спустя, он бы разорвал ту помолвку, если б думал, будто у него с нею есть хоть малейшая надежда, да только Роза тогда носила траур, она отгородилась от мира в темном чулане омертвелости и отчаяния, сомневалась, хочется ли ей жить дальше или лучше просто умереть, и у нее и в мыслях не имелось вновь вернуться в оборот, поскольку ей не интересно было ни видеться с другими мужчинами, ни влюбляться в кого-то, а меньше всего — в человека, который намеревался жениться на ком-то другом, и потому вот ничего и не произошло, иными словами — Дан женился на Лиз, Роза вышла за Станли и так и не узнала, что Дан втайне желал, чтобы она вышла за него.

Фергусону рассказали об этом романе, но не сообщили никаких подробностей о нем — с чего все началось, где они встречались по вечерам, которые проводили вместе, что планировали

или не планировали на будущее, — лишь то, что начался он через два дня после инаугурации Кеннеди и что мать погрузилась в него с чистой совестью, поскольку брак с его отцом уже к тому времени завершился, ко взаимному решению пришли полугодом раньше, и оно освободило обоих от обетов, данных друг дружке в 1944 году, нечего тут больше было обсуждать, кроме формальностей развода, что настал бы рано или поздно, да еще что сказать Арчи о переезде Стэнли на другую кровать. Дан же, однако, загнан был в более хитрый угол: у них с Лиз не случилось такого разговора с выкидыванием белого флага, и они по-прежнему были женаты, они навсегда останутся женаты, опасался он, поскольку ему недоставало мужества уйти от нее после двух десятков лет неровной, спорной, но не такой уж и убогой семейной жизни, и, в отличие от матери Фергусона, отец Джима и Эми мучился совестью из-за своих супружеских неверностей. Затем — снова муки совести, теперь вина за них обоих, разъедающая, сжирающая кишки вина из-за рака Лиз, ибо сколько же раз каждый из них думал о более счастливой жизни, какая могла бы начаться для них вместе, если б только Дан больше не был женат на Лиз, и вот теперь боги

намеревались вычеркнуть Лиз из сюжета, и то хорошее, о чем оба они грезили, но ни разу не осмеливались выразить вслух, обратилось в нечто чрезмерно скверное, хуже такого никто и представить себе не мог, ибо как же не чувствовать, что это их мысли сталкивают бессчастную, умирающую женщину в могилу?

Вот и все, что знал тогда пятнадцатилетний Фергусон, — что миссис Шнейдерман умрет, — и когда в воскресенье поздно вечером Эми позвонила ему, три дня спустя после того, как мать предупредила его о бедствии, что вот-вот обрушится на детей Шнейдерманов, он был готов к слезам Эми и способен издавать более-менее связные фразы в ответ на кошмарные нелепости, что она излагала ему по телефону, субботние и воскресные посещения больницы, где ее мать лежала в морфиевой кляксе панического распада связей, боли, а потом меньшей боли, а потом большей боли и медленного, бессознательного ухода в сон, лицо у нее теперь такое изможденное и серое, *как будто она уже сама не своя*, лежала совсем одна на кровати, а ее гниющие, выжженные внутренности неуклонно продолжали ее убивать, и почему только отец врал ей об этом, стонала она, почему скрывал от нее и Джима,

рассказывал эти тупости о поездке в Чикаго, чтобы побыть с бабушкой Лил, как это ужасно с его стороны — так поступить, и какой ужас, что она собиралась купить себе *черную помаду*, чтобы шокировать мать в тот самый миг, когда ту отвозили в больницу, ей сейчас от этого было так скверно, так плохо от многого, и Фергусон делал все, что в его силах, чтобы ее успокоить, говорил, что ее отец поступил правильно, дождавшись приезда Джима домой из колледжа, чтобы сообщить им это известие вместе, и не забывай, что он, Фергусон, всегда будет с нею рядом, и когда б ей ни понадобилось плечо, на какое можно опереться, ему бы хотелось, чтобы она в первую очередь думала о его плече.

Миссис Шнейдерман продержалась еще четыре недели, а в конце июня, как раз, когда заканчивался учебный год, Фергусон посетил вторые в своей жизни похороны за последние одиннадцать месяцев, мероприятие скромнее и тише, нежели пышное погребение Арти Федермана, на сей раз никаких безудержных всплесков воя и рыданий, а скорее тишь и потрясение, подавленное прощание с женщиной, скончавшейся утром своего сорок второго дня рождения, и пока Фергусон слушал, как ребе Принц тянул обычные

молитвы и произносил привычные слова, — озирался и видел, что слезы стояли на глазах лишь у очень немногих людей, из не близких родственников Шнейдерманов, среди них — у его матери: та проплакала всю службу, но даже Джим не плакал — просто сидел, держа Эми за руку и уставившись в пол, а после, в промежутке между службой и поездкой на кладбище, его тронуло увидеть, как его рыдающая мать заключила в объятия рыдающего Дана Шнейдермана и держалась за него долгим, крепким объятьем, мало понимая все значение этого объятья или почему они держались друг за дружку так долго, а потом уже и сам обнял рыдающую Эми с распухшими глазами, которая за последний месяц плакала у него на плече бессчетное число раз, и поскольку он ее так жалел, и поскольку так приятно было держать ее тело в объятиях, Фергусон решил, что он обязан, ему следует и он со всей должной скоростью возьмет и влюбится в нее. Положение у нее сейчас было таким шатким, что от него требовалось нечто побольше простой дружбы, что-то большее, нежели прежние номера Арчи-и-Эми, которые они за годы отточили до совершенства, но Фергусону так и не выпал случай рассказать ей о своей внезапной перемене в отношении, ибо

Эми после этого он не видел два месяца. После материных похорон отец разрешил ей пропустить последние четыре дня семестра и пятый день — тот, когда их класс выпустился из средней школы Мапльвуда, Шнейдерманы втроем отправились на все лето путешествовать по Англии, Франции и Италии, что мать Фергусона сочла блистательной задумкой, лучшим из возможных лекарств для семьи, перенесшей такие страдания, как выпало им.

Утром выпуска Фергусона его отцу нужно было на работу, поэтому мать пришла на церемонию одна. Потом они поехали в Саут-Оранж-Виллидж и зашли пообедать в «Грунинг», место стольких восхитительно вкусных гамбургеров в те годы, когда загородный клуб «Синяя долина» еще не уничтожил их прежний воскресный ритуал, и первые несколько минут после того, как отыскали свободный столик в глубине заведения, они обсуждали планы Фергусона на лето, куда входили работа в отцовом магазине в Ливингстоне (многозадачная должность с минимальной оплатой, на которой ему предстояло выполнять такие задачи, как мытье полов, брызганье «Виндексом» на экраны телевизоров в торговом зале, протирку холодильников и прочих устройств на витринах

и установку кондиционеров воздуха вместе с доставщиком Джо Бентли), две игры в баскетбол на свежем воздухе в неделю в любительской лиге Мапльвуда-Саут-Оранжа, и столько часов за письменным столом, сколько будет можно: у него возникли замыслы к паре новых рассказов, и он рассчитывал дописать их, пока занятия в школе не начнутся сызнова. Это не говоря о книгах, конечно, — о десятках книг, что он хотел прочесть, а еще за то время, что у него останется, он будет писать Эми письма, сколько сможет, и надеяться, что она еще не съедет с тех адресов, куда он их ей будет отправлять.

Мать слушала, мать кивала, мать улыбалась как-то рассеянно и задумчиво, и не успел Фергусон придумать, что ему сказать дальше, она перебила его и сказала: Мы с твоим отцом расходимся, Арчи.

Фергусону захотелось удостовериться, что он ее услышал верно, поэтому он повторил ее слово: Расходитесь. В смысле — *развод?*

Именно. В смысле — «Прощай, приятно было знаться»[43].

---

[43] Сноски: 43

«So Long, It's Been Good to Know Yuh» (она же — «Пыльная старая пыль», 1935) — песня американского фолк-музыканта Вуди Гатри (Вудро Уилсон Гатри, 1912–1967).

И когда вы это решили?

Сто лет назад. Мы собирались дождаться, когда ты уедешь в колледж, ну или что ты там собирался делать после окончания средней школы, но три года — это долгий срок, и чего ради ждать? Если ты одобряешь, конечно.

Я? А я-то тут при чем?

Пойдут разговоры. Люди будут показывать пальцами. Мне бы не хотелось, чтобы у тебя от этого были неудобства.

Да наплевать мне, что люди подумают. Их это не касается.

Ну и?

Валяйте. Валяйте. Что до меня, так это лучшая новость, какой я уже давно не слышал.

Ты серьезно?

Конечно, серьезно. Никаких врак больше, никакого притворства. Начинается эпоха правды!

Время шло, и вновь и вновь за те месяцы, что приходили следом, Фергусон приостанавливался, хорошенько оглядывал то, что его окружало, и говорил себе, что жизнь становится лучше. Он уже не только закончил среднюю школу, а это значит, что больше ничего из написанного им не будет судить миссис Бальдвин, но и распад брака его родителей, казалось, разламывает и множе-

ство чего-то другого, а раз старых, предсказуемых привычек больше не стало, делалось все труднее и труднее знать, что будет происходить изо дня в день. Фергусон наслаждался этим новым ощущеньем неустойчивости. Может, все и течет, а по временам граничит прямо-таки с неразберихой, но хотя бы не скучно.

Пока же они с матерью продолжали жить в большом доме в Мапльвуде. Отец его снял себе домик поменьше в Ливингстоне, неподалеку оттуда, где жила его пассия Этель Блюменталь, которую на том рубеже еще держали в секрете, а значит, Фергусону она известна не была, но стратегический план был таков: за определенное количество месяцев после того, как завершится процедура развода, продать большой дом, и оба его родителя переедут куда-нибудь еще. Фергусон, и говорить не о чем, и дальше останется жить с матерью. Он будет волен видеться с отцом, когда бы ни пожелал, но если окажется, что видеть отца он не хочет, то у его отца останется право ужинать с ним два раза в месяц. Это был минимум. Максимума не существовало. Уговор казался справедливым, и все они скрепили его рукопожатием.

Отец выписывал матери ежемесячный чек на

то, что определялось как *разнообразные и важные расходы на жизнь*, у каждого имелся свой адвокат, и дружественное расставание, которому следовало *завершиться всего за несколько недель*, тянулось не один месяц в далеко не дружественных спорах об алиментах, делении совместно нажитого имущества и сроках выставления дома на продажу. С точки зрения Фергусона, казалось, процессу препятствует его отец: именно в нем что-то бессознательно, но активно сопротивлялось разводу, и хоть он раздражался за мать (кому хотелось со всем покончить как можно скорее), в первые дни родительских борений Фергусона странно утешал отцов обструкционизм, поскольку он, казалось, предполагает, будто пророк прибылей способен, в конце концов, на какие-то нормальные человеческие чувства, какие много лет оставались для его сына неочевидными, и по-прежнему ли Станли Фергусон питал неизменную любовь к женщине, на которой женился почти двумя десятилетиями раньше (причина сентиментальная), бесчестье ли развода представляло собой неудачу и унижение в глазах других (причина общественная) или же попросту ему не хотелось, чтобы мать Фергусона оттяпала половину денег, полученных от продажи боль-

шого дома (причина финансовая), все это было не так важно, как то, что он *что-то* чувствовал, и хоть в конечном итоге отец сдался и подписал соглашение о разводе в декабре после того, как мать Фергусона сказала, что не против уступить свою долю дома, это вовсе не означало, что последнее слово осталось за деньгами, поскольку Фергусон ощущал: истинной причиной конфликта выступали сентиментальные и общественные причины, а держаться за деньги — это была всего лишь попытка сохранить лицо.

В то же время использование денег в виде рычага переговоров Фергусона поразило как поступок непростительный. Крупнейшим активом, которым его родители владели совместно, был дом, большой дом, который Фергусон терпеть не мог, выпендрежный особняк в тюдоровском стиле, куда ему с самого начала вообще не хотелось переезжать, и, лишая свою вскоре-уже-не-жену ее доли выручки за этот ценнейший актив, отец Фергусона тем самым, по сути, ввергал мать Фергусона в нищету, делая почти невозможной для нее покупку нового собственного дома, тем самым обрекая ее и *своего же сына* на житье в стесненных условиях в дешевой, тесной квартирке где-нибудь возле железной дороги. Он

наказывал ее за то, что она больше его не любит, и тот факт, что мать Фергусона согласилась на такое жесткое условие, лишь доказывал, насколько отчаянно хотелось ей освободиться от их брака, пусть даже это погубит ее финансово, и потому отец Фергусона упорно не отзывал своих жестоких требований и отступать не намеревался. Если и была какая-то надежда в формулировках окончательного соглашения, то лишь та, что дом не нужно будет выставлять на рынок, пока после окончательной процедуры развода не пройдет двух лет, каковой срок более-менее покрывал те три года, что Фергусон проведет в старших классах, но все равно, предоставив своему отцу кредит доверия еще со времен неувязки со Шнурками-Шторками, изо всех сил постаравшись относиться к отцу дружелюбно и учтиво все долгое, скучное лето работы в ливингстонском магазине, Фергусон теперь обратился против него с чем-то близким к ненависти и принял решение больше никогда в жизни, сколько бы та ни длилась, не принимать от отца ни единого пенни — ни на карманные расходы, ни на одежду, ни на подержанную машину, ни на образование в колледже, ни на что больше никогда, и даже после того, как Фергусон вырос и повзрослел, и ему

не удалось опубликовать ни одной своей книги, и жил он алкашом в захудалейшем квартале Бауэри, он отказывался разжимать кулак, когда его отец пытался втиснуть ему в руку монету в пятьдесят центов, и когда старик наконец отошел в мир иной и Фергусон унаследовал восемьдесят миллионов долларов и владение четырьмястами семьюдесятью тремя магазинами бытовых приборов, магазины эти он позакрывал, а деньги распределил поровну между бродягами, с которыми познакомился, когда жил забытым человеком на мостовых трущоб.

Но, как бы там ни было, жизнь становилась лучше, и как только отец второго июля съехал из дома, на Фергусона произвело большое впечатление, до чего быстро мать приспособилась к новым обстоятельствам. Все вдруг стало иным, и ограниченная сумма ежемесячного содержания вынудила ее отказаться от многих удобств и всех роскошей, что прилагались к ее браку с человеком состоятельным: от услуг Анджи Блай, во-первых (которые избавляли ее от утомительных домашних хлопот, вроде приготовления пищи или уборки в доме), членства в загородном клубе «Синяя долина», во-вторых (при сложившихся обстоятельствах теперь это больше не

было возможным, что внезапно положило конец и радостям гольфа), но самое главное — теперь не стало легких и бездумных трат на одежду и обувь, визитов к парикмахеру раз в две недели, педикюров и массажей, браслетов и ожерелий, приобретенных в порыве, а затем редко надеваемых, всех ловушек так называемой «жизни на широкую ногу», какую она вела последние десять лет и от которой теперь отказалась — или так мерещилось Фергусону — без малейшего сожаления. То лето предразводной разлуки с мужем она провела за работой в саду за домом, заботилась о хозяйстве и готовила в кухне — в кухне она готовила как оглашенная, а оттого у нее получались такие изобильные и восхитительные ужины для сына после того, как он возвращался с работы домой, что почти весь день в отцовом магазине он думал о том, чем его вечером дома накормит мать. В люди она выходила редко и редко беседовала с кем-нибудь по телефону, за исключением своей матери в Нью-Йорке, но тем летом их часто навещала ее подруга Ненси Соломон, верный товарищ ее самого раннего детства, которая теперь стала напоминать Фергусону одну из тех ближайших соседок из телевизионной комедии, забавную такую с виду домохозяйку, на кого всегда можно

рассчитывать, что она заглянет выпить чашечку кофе и хорошенечко поболтать, и после того, как Фергусон уходил к себе наверх читать, или трудиться над своим новым рассказом, или писать еще одно письмо Эми, ничто не вызывало у него больше счастливого удовольствия, как слушать, как в кухне внизу смеются женщины. Мать его снова смеялась. Темные круги у нее под глазами медленно стирались, и потихоньку, помаленьку она начала выглядеть собой-прежней — или, вероятно, собой-новой, поскольку она-старая исчезла так давно, что Фергусон и припомнить-то ее почти не мог.

Дан Шнейдерман с детьми вернулся из Европы в конце августа. За шестьдесят два дня после их отъезда Фергусон написал Эми четырнадцать писем, половине которых удалось застать ее в нужном месте в нужное время, а вторая половина продолжала томиться невостребованной в разнообразных конторах «Американ Экспресса» по всей Италии и Франции. Ни в одном из тех писем он не осмеливался говорить о любви, поскольку это бы выглядело самонадеянно и нечестно с его стороны — ставить ее в неловкое положение, задавать вопрос, на который она бы не смогла ответить ему в лицо, но в письмах этих полно было

нежных и порой весьма эмоциональных провозглашений неувядающей дружбы, и вновь и вновь говорил он ей, как по ней скучает, как ему хочется снова ее увидеть, а тот мирок, в каком он жил, невыносимо пуст, когда в нем нет ее. Со своей стороны Эми отправила пять писем и одиннадцать открыток, все они благополучно добрались до Нью-Джерси, и хотя открытки эти из Лондона, Парижа, Флоренции и Рима по необходимости были кратки (и усеяны восклицательными знаками!!), письма, напротив, были длинны, и говорилось в них по преимуществу о том, как она оправляется после смерти матери, что, казалось, менялось изо дня в день, а иногда и от часа к часу, какие-то моменты бывали сносны, какие-то мучительны, а бывали, как ни причудливо это звучало, и совершенно хорошие мгновения, когда она вообще об этом не думала, но вот когда все-таки о матери задумывалась, трудно было не чувствовать себя виноватой, писала она, это принять было сложнее всего — нескончаемую эту вину, поскольку что-то в Эми знало: ей лучше будет в жизни без матери, и поддаться этому чувству было *ужасным признанием ее собственной паршивости*. На это мрачное, исполненное ненависти к себе письмо Фергусон отвечал дальнейшими известиями о

разъезде своих родителей и их грядущем разводе, говоря ей, что он не только рад тому, что это происходит, но и в восторге от того, что знает: ему больше не придется провести ни единой ночи под одной крышей с отцом, и совершенно никаких мук совести он по этому поводу не испытывает. *Мы чувствуем то, что чувствуем*, писал он, *и за собственные чувства ответственности не несем. За действия наши — да, но не за то, что мы чувствуем. Ты никогда не делала ничего плохого своей матери. Иногда ты с нею спорила, но ты была хорошей дочерью и не должна мучить себя за то, что чувствуешь теперь. Ты невиновна, Эми, и у тебя нет права чувствовать себя виноватой в том, чего ты не совершала.*

Половина того, что он писал ей в то лето, потерялась, но как раз этим фразам случилось оказаться в одном из тех писем, что до нее добрались, — в Лондоне, всего лишь за день до отлета обратно в Нью-Йорк с отцом и братом.

На следующий день после их возвращения трое Шнейдерманов пришли к ним домой ужинать. То был первый из многих ужинов, какие мать Фергусона им готовила весь первый год старших классов, по два, по три, а порой и по четыре ужина в неделю, на которые по преимуществу прихо-

дили только Дан и Эми — после того как Джим снова уехал в колледж, — и поскольку Фергусон по-прежнему ни малейшего понятия не имел о том, что его мать и отец Эми друг для дружки нечто большее, чем просто хорошие знакомые эпохи *Мне Дан сказал* еще весной, приглашения эти он истолковывал как жесты доброты и благорасположения, как руку, сочувственно протянутую семейству в трауре, отец и дочь все еще слишком расстроены своим горем, чтобы заниматься делами: что-то покупать и готовить себе, весь дом у них теперь — хаос незаправленных постелей и невымытых тарелок, коли больше нет Лиз, которая бы поддерживала в доме порядок, но поверх такой щедрости были еще и личные мотивы, осознавал Фергусон, поскольку мать его теперь была одна, и одна она была с самого начала лета, жизнь ее зависла между мертвым прошлым и пустым, непостижимым будущим, и чего ж тогда ей не радоваться обществу приятного Дана Шнейдермана и его дочери Эми, которые приносили с собой к ним в дом слова, чувства и близость, и уж точно в тот переходный период послепохоронной меланхолии и грядущего развода эти ужины были целительны для них всех, в немалой степени — и для самого Фергусона,

кто считал такие посиделки за кухонным столом одним из крепчайших доводов, выдвинутых покамест в подтверждение его теории о том, что жизнь и впрямь становится лучше.

Лучше, разумеется, не означало совсем хорошо, возможно, даже близко к хорошему не подбиралось. Это просто означало, что все стало менее плохо, чем было раньше, что общее состояние его жизни укрепилось, но с учетом того, что случилось за первым ужином со Шнейдерманами в конце августа, все улучшилось далеко не настолько, как на это надеялся Фергусон. С Эми он не был больше двух месяцев, а потому, пока шло это время, черты ее лица становились все менее и менее знакомы ему, и когда он теперь рассматривал ее через стол, пока все они впятером уплетали материно тушеное мясо, он понял, что красота глаз Эми как-то соотносилась с ее веками, что складки ее век отличались от складок век у большинства других людей, и вот из-за этого глаза ее казались как трогательными, так и невинными, редкое сочетание, какого он никогда ни у кого больше не видел, юные глаза, что и дальше будут продолжать оставаться юными, даже после того, как сама она состарится, и вот потому-то он в нее и влюбился, подозревал

он, миг откровения случился, когда он увидел, как из глаз этих льются слезы на похоронах ее матери, его эти плачущие глаза так тронули, что он уже больше не мог о ней думать как о *просто друге*, внезапно то была любовь, *влюбленная* разновидность любви, что превосходит все иные виды любви, и ему хотелось, чтобы она полюбила его в ответ так же, как он теперь любил ее. После десерта он вывел ее на задний двор поговорить один на один, пока трое остальных продолжали сидеть за столом и беседовать. Стоял один из тех теплых и душных нью-джерсейских вечеров позднего лета, густой воздух усеян мигалками и пульсирующими вспышками сотни светлячков, тех же существ, каких они с Эми ловили летними ночами, когда были детьми, складывали их в прозрачные стеклянные банки и разгуливали с такими вот тлевшими алтарями света в руках, а теперь они прохаживались по тому же самому заднему двору и говорили о путешествии Эми в Европу, и о конце брака родителей Фергусона, и о тех письмах, что они писали друг дружке в июле и августе. Фергусон спросил, получила ли она последнее, то, что он отправил в Лондон десятью днями раньше, и когда она ответила «да», он спросил, понимает ли она, что́ он пытался там ей

сказать. Думаю, да, сказала Эми. Не уверена, помогло ли, но, может, в какой-то момент и начнет помогать, все это не-нести-ответственность-за-наши-чувства, мне правда нужно будет какое-то время хорошенько это обмозговать, Арчи, потому что я по-прежнему не могу не чувствовать ответственности за то, что чувствую.

И вот тогда Фергусон положил правую руку ей на плечо и сказал: Я люблю тебя, Эми. Ты же это знаешь, правда?

Да, Арчи, я это знаю. И я тебя тоже люблю.

Фергусон перестал шагать, повернулся к ней лицом, а потом обнял ее и левой рукой. И, притягивая ее тело к своему, сказал: Я говорю о настоящей любви, Шнейдерман, о тотальной, на-веки-вечные любви, о величайшей любви всех времен.

Эми улыбнулась. В следующий же миг она тоже обняла его, и когда ее длинные голые руки соприкоснулись с его голыми руками, ноги у Фергусона стали подкашиваться.

Я думала об этом много месяцев, сказала она. Стоит ли нам попытаться или нет. Должны ли мы влюбляться в друг дружку или нет. Соблазн силен, Арчи, но мне страшно. Если мы попробуем и у нас ничего не получится, мы, вероятно, не

сможем остаться друзьями, по крайней мере — так, как мы друзья сейчас, а это значит — лучшие друзья на свете, близкие, как близки могут быть братья и сестры, вот как я всегда о нас думала, что мы — брат и сестра, и всякий раз, когда я пытаюсь себе представить, как целую тебя, мне это кажется кровосмешением, чем-то не тем, чем-то таким, о чем, знаю, я пожалею, а мне совсем не хочется терять то, что у нас есть, меня просто прикончит, если я больше не буду твоей сестрой, и стоит ли оно того — потерять все хорошее, что у нас есть вместе, ради нескольких поцелуев в темноте?

Фергусона так раздавило то, что она сказала, что он выпутал свои руки из ее и отступил на два шага. Брат и сестра, сказал он, и в голосе его нарастала злость, какая чепуха!

Но чепухой оно не было, и когда отец Эми и мать Фергусона через одиннадцать месяцев и четыре дня после вечера с тем первым ужином поженились, двое друзей официально стали братом и сестрой, и хоть в определение вкралось словцо *сводные*, отныне они были членами одной семьи, и две спальни, в которых спали они до самого конца старших классов, размещались рядышком в том же коридоре второго этажа их нового семейного дома.

4.1

Жилищная политика, изложенная в «Справочнике студента колледжа Барнарда», постановляла, что всем иногородним абитуриентам полагается проживать в каком-нибудь общежитии студгородка, а абитуриентам из Нью-Йорка позволено выбирать, где им жить — в общежитии или дома с родителями. Независимая Эми, у которой не было желания ни оставаться с родителями, ни делить с кем-либо комнату в зарегулированном общежитии, перехитрила систему, заявив, что ее родители переехали с Западной Пятьдесят седьмой улицы в квартиру побольше на Западной 111-й, в квартиру гораздо больше — ее на самом деле занимали четверо студенток, которые абитуриентами уже не были: там жили второкурсница и преддипломница из Барнарда и преддипломница и дипломница из Колумбии, — и когда Эми въехала в это громадное жилье с длинными коридорами, антикварной сантехникой и дверными ручками из граненого стекла, она стала единственной обитательницей пятой спальни. Родители ее согласились на обман, поскольку Эми предъявила им цифры: оказалось, что платить одну пятую от суммы аренды

в двести семьдесят долларов — гораздо меньше, чем жить в общежитии, а еще потому — и особенно потому, — что они знали: их своенравной дочери уже пора покинуть родительское гнездо. Чуть меньше года прошло с пикника на заднем дворе Фергусонов, и теперь исполнилось самое пылкое желание дочери Шнейдерманов и сына Фергусонов: комната с замком на двери и возможность засыпать вместе в одной постели, когда только захотят.

Беда лишь с тем, что *когда захотят* оказалось понятием расплывчатым: скорее идеализированной возможностью, нежели чем-то выполнимым, — и коль скоро один из них по-прежнему торчал в Монклере, а другую захватил вихрь смятений и приспосабливания, какие настают с началом жизни в колледже, они в итоге делили эту постель гораздо реже, чем рассчитывали. Были, конечно, выходные, и они пользовались своими преимуществами, когда только могли, а таковыми оказались почти все выходные в сентябре, октябре и начале ноября, но свободы лета все равно оказались ограничены, и лишь раз за все это время Фергусону удалось среди недели метнуться вечером в Нью-Йорк. Они продолжали разговаривать о том, о чем говорили всегда, а

той осенью это включало в себя такие вопросы, как рапорт Комиссии Уоррена (правда или неправда?), Движение за свободу слова в Беркли (да здравствует Марио Савио!) и победа плохого Джонсона над бесконечно более скверным Голдуотером (не три ура, а два, а то и одно), но потом Эми пригласили на выходные в Коннектикут, и планы им пришлось отменить, а за этим последовала еще одна отмена на следующей неделе (немного загрипповала, сказала она, хотя, когда он позвонил в субботу вечером, а потом опять в воскресенье днем, дома ее не оказалось), и постепенно Фергусон стал ощущать, что она от него ускользает. Вернулись старые страхи, черные размышления последней зимы, когда он думал, что ей, возможно, придется уехать из Нью-Йорка, когда он сочинял себе других людей, с которыми она познакомится в этих воображаемых местах, других парней, другие любови, и с чего вдруг это должно быть как-то иначе в ее родном городе? Она теперь жила в новом мире, а он принадлежал миру старому, тому, что она оставила за спиной. Лишь тридцать шесть кварталов к северу — однако обычаи там были совершенно иными, и люди разговаривали на другом языке.

Не то чтобы ей с ним было скучно — вроде бы,

или что она его стала меньше любить, да и тело ее не каменело, когда он до нее дотрагивался, или не сказать, что она не была счастлива с ним в новой постели в новой квартире — просто теперь она казалась рассеянной, неспособной сосредоточиться на нем, как ей удавалось в прошлом. После тех двух пропущенных выходных он сумел устроить себе посещение пустой квартиры в субботу после Дня Благодарения (все ее соседки разъехались по домам на каникулы), и когда они сидели вместе на кухне, пили вино и курили сигареты, он заметил, что Эми смотрит в окно, а не на него, и не стал не обращать на это внимания и продолжать то, что говорил до этого, а прервался на полуслове и спросил у нее, все ли в порядке — и вот тогда-то все и случилось, тогда-то Эми повернула голову к нему, посмотрела ему в глаза и произнесла те пять коротких слов, что лепились у нее в уме уже почти месяц: *По-моему, мне нужна пауза, Арчи.*

Им всего по семнадцать лет, сказала она, а уже такое чувство, будто они женаты, будто нет у них никакого будущего, кроме того, которое на двоих, и если даже они и впрямь окажутся вместе на длинном пробеге, слишком рано еще им запираться в таком союзе, им там будет душно, это

капкан обещаний, которые, быть может, они не сумеют сдержать, и пройдет совсем немного времени — и они начнут друг дружку ненавидеть, так почему бы им не набрать в грудь побольше воздуху и просто ненадолго не *расслабиться?*

Фергусон знал, что ведет себя тупо, но тупое сердце его придумало задать лишь один вопрос: То есть ты говоришь, что больше меня не любишь?

Ты не слушал меня, Арчи, сказала Эми. Я говорю только, что нам комнату нужно проветрить. Я хочу, чтобы у нас были открыты двери и окна.

Это значит, что ты влюбилась в кого-то другого.

Это значит, что кто-то положил на меня глаз, и я с ним пару раз флиртовала. Но ничего серьезного, поверь мне. Вообще-то я даже не уверена, что он мне нравится. Но суть в том, что я не хочу мучиться совестью из-за этого, а совесть меня мучает, потому что я не хочу делать тебе больно, а потом я себя спрашиваю: Что с тобой такое, Эми? Ты же не замужем за Арчи. Ты еще и половину первого курса в колледже не отучилась, так зачем отказывать себе в возможности немного поисследовать, поцеловаться с другим мальчишкой, если хочется, может, даже в постель лечь с

другим мальчишкой, если так уж не терпится, поделать всякое, что людям полагается делать, когда они молоды?

Затем, что это меня прикончит, вот зачем.

Это не навсегда, Арчи. Я прошу только небольшого перерыва.

Говорили они больше часа, а потом Фергусон ушел из квартиры и поехал обратно в Монклер. Пройдет четыре с половиной месяца, прежде чем он вновь увидит Эми, четыре с половиной унылых месяца без всяких поцелуев, без прикосновений и без разговоров с единственным человеком, кого ему хотелось целовать и трогать, с кем ему хотелось разговаривать, но Фергусону удалось переждать это время и не расползтись по швам, поскольку он был убежден: они с Эми не подошли к концу, долгое и сложное странствие, в какое они пустились вдвоем, просто сделало свой первый крюк, их тропу завалило оползнем, и им пришлось свернуть в леса, где они тут же потеряли друг дружку из виду, но рано или поздно они вновь отыщут дорогу и продолжат путь. В этом он был убежден, потому что верил Эми на слово — та была единственным его знакомым человеком, кто не лгал, кто не мог лгать, кто всегда говорил правду, каковы б ни были обстоятельства, и когда

она сказала, что не бросает его и не отправляет в постоянную ссылку, что просит всего лишь перерыва, паузы, чтобы открыть окна и проветрить комнату, Фергусон ей поверил.

Сила веры этой помогла ему продержаться все те пустые месяцы без Эми, и он поднатужился и попробовал извлечь из них все лучшее — он отказывался поддаваться соблазнам жалости к себе, которая казалась ему такой привлекательной на ранних стадиях его юности (утрата Анн-Мари Дюмартен, травма руки), стремясь к более крепкому, решительному отношению к головоломкам боли (боль разочарования, боль жизни в *мире говна* мистера Мартино), потуже препоясываясь, чтобы впитывать удары, а не разваливаться от их силы, стоя на своем, а не убегая, вкапываясь в землю, ибо он теперь понимал, что осада в этой окопной войне ему предстоит долгая. С конца ноября 1964-го по середину апреля 1965-го: время без секса и без любви, время обращенности вглубь и бестелесного одиночества, когда пришлось заставить себя наконец-то повзрослеть, развязаться со всем, что еще удерживало его в детстве.

То был его последний год старших классов, последний год, который он проведет в Монклере, Нью-Джерси, последний год, когда он будет жить

под одной крышей с родителями, последний год первой части его жизни, и вот теперь, раз он снова один, Фергусон приглядывался к своему старому, знакомому миру, заново сосредоточиваясь и напрягая зрение, ибо, даже не сводя пристального взгляда с людей и мест, которые он знал последние четырнадцать лет, он ощущал, будто они уже начинают исчезать у него прямо перед глазами, медленно развеиваться, словно «полароидный» снимок давал задний ход, проявлялся, и очертания зданий затуманивались, черты лиц его друзей становились менее отчетливыми, а яркие краски тускнели до белесых прямоугольников пустоты. Он снова был среди своих одноклассников так, как не бывал с ними уже больше года, уже не удирал по выходным в Нью-Йорк, больше не был человеком с тайной жизнью, тень с одним большим пальцем снова вошла в среду тех семнадцати- и восемнадцатилетних, кого он знал с трех, четырех и пяти лет, и теперь, когда они принялись исчезать, он поймал себя на том, что смотрит на них с чем-то похожим на нежность, та же самая *скучная предместная публика*, от которой он так резко отвернулся после того, как Эми пошла за ним наверх с пикника на День Труда, снова стали его единственными

сотоварищами, и он изо всех сил старался относиться к ним терпимо и с уважением, даже к самым нелепым и пустоголовым, поскольку теперь он уже никого не судил, он отказался от пристрастия выискивать недостатки и слабости в окружающих, ибо уже понял, что сам так же слаб и несовершенен, как и они, и если желает вырасти и стать таким человеком, на какого рассчитывал, ему придется держать рот на замке, а глаза нараспашку, и сверху вниз больше ни на кого теперь не посматривать.

Стало быть, пока что — никакой Эми, без всякой Эми на отрезке времени, который грозил стать долгим и непереносимым, но иррациональная убежденность Фергусона в том, что им двоим в какой-то момент будущего суждено опять быть вместе, подвигала его строить планы на это будущее, и тут для него подошел миг отправлять документы в колледж. Вот в чем состояла одна из странностей последнего года средней школы: почти все свое время проводишь в раздумьях о следующем годе, зная, что часть тебя уже там, хотя сам ты еще тут, где сидишь, ты как будто живешь в двух местах одновременно — в тусклом настоящем и неопределенном будущем, — выпаривая свое существование до набора цифр, куда

входит твой средний балл по оценкам и результаты теста ПАС[44], прося тех учителей, которые больше нравятся, написать тебе рекомендательные письма, сочиняя нелепое, невозможное самовосхваление, в котором надеешься поразить комиссию неведомых чужих людей собственными качествами, что делают тебя достойным посещать их учебное заведение, после чего надеваешь костюм и галстук и едешь в это заведение, где с тобой проводит собеседование тот, от чьего отчета будет сильно зависеть, примут тебя или нет, — и вдруг Фергусон снова стал волноваться из-за своей руки, потому что впервые за много месяцев его начали тревожить недостающие пальцы, когда он сидел напротив того человека, кто поможет определить его будущее, спрашивая себя, рассматривает ли этот человек его как инвалида — или же просто как жертву несчастного случая, и тут, как раз когда он отвечал на вопросы этого человека, вспомнил последний раз, когда они с Эми разговаривали о его руке, еще летом, когда он отчего-то опустил на нее взгляд и сказал, насколько же его от нее тошнит, а у Эми это вызвало такое раздражение, что она на него

[44] Сноски: 44
Проверка академических способностей.

наорала, сказав, что, если он еще хоть раз когда-нибудь заикнется о своей руке, она возьмет тесак и отчекрыжит себе собственный левый большой палец и подарит его ему, и свирепость ее гнева была до того великолепна, что он дал ей слово никогда больше не затрагивать этот вопрос, и вот, продолжая разговаривать с тем, кто проводил с ним собеседование, он осознал, что не только не должен об этом больше заговаривать, но и думать о руке ему теперь нельзя, и постепенно, шажок за шажком, он вынудил себя вытолкнуть образ этой руки из мыслей и вновь встроился в собеседование с человеком, который преподавал в Колумбии музыку — она, что и говорить, была у Фергусона первым выбором, единственный колледж, в каком ему бы по-настоящему было интересно учиться, — и когда веселый, юморной, совершенно доброжелательный композитор двенадцатитоновых оперетт выяснил, что Фергусона интересует поэзия и он надеется однажды стать писателем, он подошел к книжной полке у себя в кабинете и стащил с нее четыре недавних номера «Колумбия Ревю» — студенческого литературного журнала — и вручил их нервному, робевшему соискателю с другого берега Гудзона. Возможно, вам захочется в них заглянуть, сказал преподава-

тель, и после этого они уже жали друг другу руки и прощались, и когда Фергусон вышел из здания и оказался посреди студгородка, который был уже ему знаком по полудюжине свиданий с леди Шнейдерман на выходных еще осенью, ему пришло в голову, не столкнется ли он с нею сегодня случайно (не столкнулся) или не следует ли ему сходить к ней домой на Западную 111-ю улицу и не позвонить ли в дверь ее квартиры (не сходил, не хотел, не смог), и потому, чем мучить себя мыслями о своей отсутствующей, недостижимой любви, он раскрыл номер «Колумбия Ревю» и сразу же наткнулся на стихотворение с весьма забавным и очень вульгарным рефреном, строкой настолько шокирующей своей прямотой, что Фергусон расхохотался вслух, читая ее: *Постоянно ебаться полезно*. Сам стишок-то, может, и не очень, но Фергусон не мог не согласиться со смыслом: в этих строках содержалась истина, какую настолько напрямик не выражало ни одно другое стихотворение — или, по крайней мере, таких он раньше не читал, — а поверх всего прочего, он счел хорошим знаком, что Колумбия явно была тем местом, где студентам разрешалось публиковать подобные мысли без страха подвернуться цензуре, а это означало, что студент там мог быть

свободен, ибо если бы кто-нибудь из учащихся написал такую строчку для литературного журнала Монклерской средней школы, его бы немедленно отчислили, а то и посадили бы в тюрьму.

Родители его держались индифферентно. Ни тот ни другая в колледже не учились, не понимали никакой разницы между одним колледжем и другим, а потому были бы счастливы, куда б их мальчик ни отправился, будь то университет штата в Нью-Брунсвике (Ратгерс) или Гарвардский университет в Кембридже, Массачусетс, поскольку были они слишком уж невежественны, чтобы превращаться в снобов по поводу престижности одной школы и непрестижности другой, и просто-напросто гордились Фергусоном: всю свою жизнь он учился так хорошо. А вот у тети Мильдред, которую недавно повысили до полного профессора в Беркли, было иное видение академического предназначения своего единственного племянника, и в длительном трансконтинентальном телефонном разговоре в начале декабря она попыталась наставить его на новый курс мышления. Колумбия — превосходный первый выбор, сказала она, никакой беды в этом нет, преддипломная программа там — одна из сильнейших в стране, но ей также хочется, что-

бы он рассмотрел и другие варианты, Амхерст и Оберлин, к примеру, небольшие, удаленные школы, где атмосфера будет поспокойнее и сможет не так отвлекать, как в Нью-Йорке, будет больше способствовать строгости сосредоточенных занятий, но уж если он все-таки нацелен на крупный университет, то чего б не подумать о Станфорде и Беркли, как бы хотелось ей, чтобы он приехал к ней в Калифорнию на следующие четыре года, и любое из этих мест в точности так же хорошо, как Колумбия, если не лучше, однако Фергусон сказал ей, что уже все решил — Нью-Йорк или ничего, и если в Колумбию его не примут, он пойдет в УНЙ[45], куда принимают чуть ли не всех, кто подает документы, а если же и там что-то пойдет не так, его аттестат о среднем образовании даст ему возможность поступить на курсы в Новой школе, которая вообще никому не отказывает, и вот таков у него план, сказал он, только три эти варианта, все они в Нью-Йорке, а когда тетя спросила у него, почему это обязательно должен быть Нью-Йорк, когда выбирать можно из стольких гораздо более привлекательных мест, Фергусон закопался в память и вытащил из нее те слова,

[45] Сноски: 45
Университет Нью-Йорка.

которые ему сказала Эми в первый же день, когда они только познакомились: потому что, ответил он, Нью-Йорк — самое *то*.

Состояние неопределенности, быть может, но в узком зазоре между не тут и не там убогого настоящего с Фергусоном что-то произошло, и оно изменило все его мышление о том, что произойдет дальше. В начале декабре он вышел на работу в «Монклер Таймс», хотя вернее будет сказать, что работа вышла на него, поскольку подвернулась неожиданно, никаких серьезных усилий сам он не прилагал, то был дар слепой случайности, но как только он взялся за нее — обнаружил, что не хочет бросать, ибо не только работа ему очень нравилась, но и воздействие этого наслаждения сужало безграничные просторы будущего где угодно до точного где-то, и с этим сужением множество чего угодно вдруг превращалось в единственное нечто. Иными словами, за три месяца до своего восемнадцатилетия Фергусон случайно наткнулся на жизненное призвание, на то, чем заниматься, по большому счету, и самым загадочным тут было то, что ему бы нипочем не пришло в голову сделать такое, если б с самого начала не пришлось.

Газета «Монклер Таймс» выходила еженедель-

но и освещала местные события с 1877 года, а поскольку Монклер был крупнее большинства прочих городков в окру́ге (население — 44 000), газета была весомее, вдумчивее, и в ней печаталось больше рекламы, чем в других еженедельниках округа Эссекс, хотя почти все статьи, публиковавшиеся в ней, более-менее походили на те, какие печатали другие листки: совещания Комитетов по вопросам образования, собрания Дамского садового клуба, рауты бойскаутов, автомобильные аварии, помолвки и свадьбы, ограбления, грабежи и акты подросткового вандализма согласно полицейскому журналу регистрации происшествий, рецензии выставок в Монклерском художественном музее, лекции в Монклерском пединституте и спорт во всех его местных проявлениях: бейсбол Малой лиги, футбол лиги Папаши Ворнера и подробнейшее освещение игр школьных команд старшеклассников, устрашающих «Монклерских конников», чье футбольное подразделение только что завершило самый успешный сезон в истории команды — с идеальным результатом 9:0, первенством в штате и номером три по всей стране, а это означало, что из всех тысяч школьных футбольных команд по всем Соединенным Штатам лишь две считались

лучше Монклера. Фергусон пропустил все их субботние игры до единой, но теперь, какие-то десять дней после его унылого, после-Благодаренческого разговора с Эми, мать сообщила ему о возможной вакансии в «Таймс» — ну, если ему интересно. Судя по всему, Рик Вогель, молодой человек, писавший в газету о школьном спорте, настолько впечатляюще запротоколировал достославный сезон футбольной команды, что его тут же переманила к себе «Ньюарк Ивнинг Ньюс», ежедневная газета с тиражом в двадцать раз больше, чем у монклерского еженедельника, и бюджетом достаточно крупным, чтобы платить в двадцать раз большее жалование, поэтому главный редактор «Таймс» попал, по словам матери Фергусона, *дьявольски впросак*: в следующий вторник начинался сезон школьного баскетбола, а об играх писать у них некому.

До тех пор мысль работать в газете ни разу не приходила на ум Фергусону. Себя он видел человеком литературы, тем, чье будущее окажется посвящено сочинению книг, а станет он романистом или драматургом или же наследует нью-джерсийцам Уолту Уитмену и Вильяму Карлосу Вильямсу, курс свой он нацелил на искусство, и сколь важны бы ни были газеты,

определенно, писать в них к искусству никакого отношения не имеет. Вместе с тем ему предоставлялась возможность, он неприкаян, беспокоен и не удовлетворен примерно всем, так, может, если поработает в «Таймс», глядишь, унылое настоящее и раскрасится в какие-то цвета, и отвлечет его от залипания на собственных жалких обстоятельствах. Более того, так появятся хоть какие-то деньги — номинальный гонорар в десять долларов за статью, — но еще больше, чем деньги, привлекало то, что «Таймс» — настоящая газета, а не посмешище, вроде «Скалолаза» Монклерской средней школы, и если Фергусону удастся заполучить себе там работу, он вступит в ряды взрослых, в их мир: перестанет быть почти восемнадцатилетним школьником, а превратится в молодого человека — или, что так же хорошо, если не лучше на его мальчишеский слух, в *вундеркинда*, что означает мальчика, который выполняет работу мужчины.

Не стоит забывать и того, что Уитмен начинал журналистом в «Бруклин Игл», Хемингуэй писал в «Канзас Сити Стар», а уроженец Ньюарка Стивен Крейн работал репортером в «Нью-Йорк Геральд», и потому, когда мать Фергусона спросила, интересно ли будет ему занять место стремительно

убывшего Вогеля, Фергусону потребовалось не больше полуминуты, чтобы ответить «да». Будет нелегко, добавила мать, но Эдвард Имхофф, жирный брюзга, редактировавший «Таймс», возможно, порядком отчаялся, раз рискнул нанять непроверенного пацана, хотя бы на одну игру, что даст ему немного времени, если Фергусон себя не оправдает, а поскольку она печатала свои фотографии у Имхоффа в газете уже больше двенадцати лет и включила его портрет в книгу знаменитостей Садового штата (деяние непрошеной щедрости, если уж на то пошло), трепач этот теперь ей должен, сказала она и, не тратя больше ни единой секунды, сняла трубку и позвонила ему. Так вот мать Фергусона вела себя обычно, если требовалось что-то сделать — ловила момент и делала, не боясь, неостановимая, и как же Фергусон упивался ее отчаянной дерзостью, слушая ее половину разговора с Имхоффом. Ни разу за те семь минут, что они беседовали, не походила она на мать, которая просит об услуге для своего сына. Она — умный искатель талантов, которая только что выручила старого друга, и Имхоффу следует пасть на колени и поблагодарить его за то, что спасла его шкуру.

По итогам той беседы Фергусону была дарова-

на аудиенция с капризным, раздражительным главным редактором, и хотя явился он с двумя образцами своих сочинений, чтобы доказать, что он не безграмотный тупица (сочинением по английском о «Короле Лире» и коротким шуточным стихотворением, заканчивавшимся строками *Если жизнь есть сон, / Что будет, когда я проснусь?*), пухлый плешивый Имхофф едва на них взглянул. Надо полагать, тебе кое-что известно о баскетболе, сказал он, и, надо полагать, ты способен написать связное предложение, но вот что касается газет — ты вообще когда-нибудь их читаешь? Конечно, читаю, ответил Фергусон, три газеты каждый день. «Стар-Леджер» ради местных новостей, «Нью-Йорк Таймс» ради международных и национальных и «Геральд Трибюн», потому что там лучшие журналисты.

Лучшие? — переспросил Имхофф. И кто же, по-твоему, лучшие?

Джимми Бреслин в политике, это раз. Ред Смит в спорте — это два. И музыкальный критик Гильберт Шнейдерман, который, так уж вышло, дядя моего близкого друга.

Вот и молодец. А сколько статей в газету ты сам написал, мистер Дока?

Мне кажется, вы и сами знаете ответ на этот

вопрос.

Фергусону было плевать. И на то, что о нем подумает Имхофф, и даже на то, что Имхофф может не дать ему работу. Дерзость матери придала ему смелости для абсолютного безразличия, а безразличие обладало силой, осознал Фергусон, и каким бы ни оказался результат собеседования, он не позволит, чтобы им помыкал этот желчный куль высокомерия и скверных манер.

Назови мне хотя бы одну причину, почему я должен тебя нанять, сказал Имхофф.

Вам нужно, чтобы кто-нибудь осветил игру во вторник вечером, а я готов это сделать. Если б вы не хотели, чтобы я это делал, зачем вам сейчас тратить свое драгоценное время на разговоры со мной?

Шестьсот слов, сказал Имхофф, хлопнув ладонями по столу. Проебешь — вылетишь. Оправдаешь себя — поживешь еще денек.

Сочинение статьи в газету отличалось от всего, что Фергусон писал раньше. Не просто от сочинения стихов и рассказов, которые так не походили на журналистику, что о них тут и говорить незачем, но и от прочих видов нехудожественной литературы, какими он занимался почти всю свою жизнь: личных писем (в которых иногда

сообщалось о подлинных событиях, но преимущественно они полнились его мнениями о себе и других: люблю тебя, ненавижу тебя, мне грустно, я счастлив, наш старый друг оказался презренным лжецом) и школьных сочинений, вроде его недавнего о «Короле Лире», которое, по сути, представляло собой группу слов, откликавшихся на другую группу слов, как это бывало почти со всеми школьными предприятиями: слова, откликавшиеся на слова. Газетная же статья, напротив, была группой слов, откликавшихся на мир, попытка облечь незаписанный мир в слова, и для того, чтобы рассказать историю события, произошедшего в реальном мире, как это ни парадоксально, следовало начинать с последнего случившегося, а не с первого, скорее со следствия, нежели с причины, не со *Вчера утром Джордж Мандель проснулся от того, что у него болел живот*, а со *Вчера вечером Джордж Мандель умер в возрасте семидесяти семи лет*, а про боли в животе упомянуть в двух или трех абзацах ниже. Превыше всего прочего — факты, а самый важный факт — прежде всех остальных, но лишь то, что тебе следовало держаться фактов, вовсе не значило, что ты обязан перестать думать либо тебе нельзя включать воображение, как чуть

раньше в тот же год сделал Ред Смит, сообщая о поражении Сонни Листона в бою за титул в тяжелом весе: «Кассиус Марселлус Клей с боем вырвался из орды, что роилась, подскакивала и орала на ринге, белкой взобрался на красные бархатные канаты и взмахнул рукой в еще не снятой перчатке. “Подавитесь своими словами, — взвыл он рядам присутствовавшей прессы. — Подавитесь своими словами”». Только из-за того, что тебя ограничивает настоящий мир, ты не станешь писателем хуже, если умеешь писать хорошо.

Фергусон знал, что, по большому счету, спорт никакого значения не имеет, но письменному слову он поддавался с большей готовностью, нежели какие-то другие предметы, поскольку в каждую игру была встроена своя повествовательная структура, состязание соперников, неизбежно оканчивающееся победой одной команды и поражением другой, и задача Фергусона — рассказать историю того, как победитель победил, а проигравший проиграл, на одно ли очко или на двадцать, и, явившись на ту первую игру сезона во вторник вечером в середине декабря, он уже прикинул, как станет лепить историю, поскольку центральной драмой у Монклерской баскетбольной команды в том году была мо-

лодость и неопытность игроков, ни один член стартового состава в прошлом сезоне в стартовом составе не играл, восемь старшеклассников в июне выпустились и, за единственным исключением, нынешнее подразделение состояло исключительно из предвыпускников и младших. Это и станет той нитью, что протянется сквозь его освещение команды от игры к игре, решил Фергусон: он будет фиксировать, сумеет ли сборище неотесанных новичков развиться до крепкой команды по ходу сезона — или же станет просто ковылять от одного поражения к другому, — и, хотя Имхофф пригрозил дать ему пинка под зад, если его первой статье не удастся *оправдать надежды*, Фергусон не планировал для себя неудачи, он совершенно точно не собирался проваливаться, а потому смотрел на первую статью как на начальную главу саги, которую будет писать, покуда сезон не закончится в середине февраля после восемнадцатой игры.

А не ожидал он вот чего: сколь неумеренно живым почувствует он себя, войдя в школьный спортзал и усевшись рядом с официальным счетчиком очков за столом, поставленным прямо на осевой линии. Все вдруг изменилось. Сколько бы матчей ни смотрел он в этом спортзале за много

лет, сколько бы уроков физкультуры ни посещал здесь с тех пор, как перешел в старшую школу, в скольких бы тренировках тут ни участвовал, пока играл в школьной бейсбольной команде, в тот вечер спортзал уже не был прежним. Он преобразился в арену потенциальных слов — слов, что он напишет об игре, которая только началась, а поскольку писать эти слова — его работа, ему придется наблюдать за тем, что происходит, гораздо внимательнее, чем он когда-либо на что-нибудь вообще смотрел, и сама внимательность и исключительность цели, каких требовало это наблюдение, казалось, приподнимали его и наполняли его вены сильными толчками электрического тока. Волосы на голове у него потрескивали, глаза были широко открыты, и он себя чувствовал более живым, чем ему было много предыдущих недель, живым и бдительным, полностью озаренным и пробужденным в моменте. У него с собой был карманного формата блокнот, и всю игру он записывал туда, что видел на площадке, бывали долгие отрезки времени, когда он ловил себя на том, что смотрит и пишет одновременно, тяга перевести незаписанный мир в написанные слова вытаскивала из него эти слова с поразительной быстротой, это совершен-

но не походило на долгие, угрюмые потуги, какие требовались, чтобы сочинить стихотворения, теперь все было скоростью, все было спешкой, и, почти не думая, он записывал такие слова, как *низенький рыжеволосый разыгрывающий игрок с проворством хомячка,* и *тощая отскакивающая машина с локтями, смертоносными, как заточенные карандаши,* и *свободный бросок, впорхнувший в корзину и выпорхнувший из нее, словно нерешительная колибри,* а потом, после того как Монклер пал перед Блумфильдом в *разгроме со счетом 54:51, за который еще пришлось побороться*, Фергусон завершил свой очерк: *Верные приспешники «Конников», не привычные к проигрышу после целой осени футбольного совершенства, в молчании побрели прочь из зала, шаркая ногами.*

Статью следовало сдать наутро, поэтому Фергусон в белой «импале» помчался домой и поднялся к себе в комнату, где следующие три часа писал и переписывал материал, обстругивая первый черновик в восемьсот слов до шестисот пятидесяти слов, а затем и до пятисот девяноста семи, что чуть-чуть не дотягивало до предела, установленного Имхоффом, и вот их он перепечатал окончательно без ошибок на своей портативной

машинке «Олимпия», превосходном аппарате немецкого производства, подаренном ему родителями на пятнадцать лет. Если предполагать, что Имхофф статью примет, она станет первым произведением Фергусона, опубликованным не в школьных журналах, и, стоя перед неотвратимой утратой своей авторской девственности, он никак не мог решить, какое имя взять, чтобы подписать свою работу. *Арчи* и *Арчибальд* всегда были для него спорны: *Арчи* — из-за этого проклятого идиота в комиксах, Арчи Андрюса, дружка Джагхеда и Муса, безмозглого подростка, который никак не мог решить, любит он блондинку Бетти больше темноволосой Вероники или же наоборот, а *Арчибальд* — потому, что это было затхлое, старомодное позорище, которое сейчас почти совсем вымерло, и единственным человеком литературы на свете, известным под именем Арчибальд, был самый нелюбимый американский поэт Фергусона Арчибальд Маклиш, который завоевывал все премии и считался *национальным достоянием*, а на самом деле был скучной, бесталанной подделкой. За исключением давно покойного двоюродного деда, которого Фергусон никогда не знал, единственным Арчи-Арчибальдом, с которым он ощущал хоть

какое-то сродство, был Кери Грант, родившийся в Англии с именем Арчибальд Лич, но едва этот балаганщик и акробат приехал в Америку, как переменил себе имя и превратился в голливудскую кинозвезду, чего нипочем не случилось бы, застрянь он с именем *Арчибальд*. Фергусону нравилось быть *Арчи* для друзей и родни, с *Арчи* все было в порядке, когда он слышал это имя в личных диалогах нежности и любви, но вот в публичном контексте *Арчи* звучало как-то ребячески и даже смехотворно, особенно применительно к писателю, а поскольку «Арчибальд Фергусон» не должно было рассматриваться ни при каких обстоятельствах, почти восемнадцатилетний начинающий газетчик решил зажать свое имя полностью и ограничиться инициалами, так же как Т. С. Элиот и Г. Л. Менкен поступили со своими именами, и так вот и началась карьера А. И. Фергусона. А. И. — некоторым под этой аббревиатурой была известна область знания, называемая «артифициальный интеллект», но в буквах этих таились и другие отсылки, среди них — *Анонимный Инсайдер*, и вот именно об этом смысле Фергусон предпочитал думать всякий раз, когда видел свое новое имя напечатанным.

Поскольку наутро ему следовало идти в школу,

мать согласилась сама заехать в редакцию к Имхоффу и передать ему статью, уж раз ее ателье располагалось всего в двух кварталах от здания «Таймс» в центре Монклера. Последовал день учащенного дыхания — пропустят ли Фергусона в дверь или запрут ее у него перед носом, попросят ли освещать игру в пятницу вечером или же его работа баскетбольного обозревателя завершится всего после одной игры? — ибо теперь, раз он взял и нырнул, безразличным оставаться он больше не мог, и делать вид, будто ему все равно, оказалось бы ложью. Шесть с половиной часов школьных занятий, затем поездка в «Ателье Страны Роз» за приговором, который его мать изложила с определенной дозой иронии, забавляясь:

Все в порядке, Арчи, сказала она, сразу же перейдя к самому важному факту, он печатает твою статью в завтрашней газете, и ты нанят на весь остальной баскетбольный сезон, а также и на бейсбольный, если сам хочешь, но боже правый, ну и фрукт же этот человек, фыркал и ворчал, пока я стояла и смотрела, как он читает твою статью, перво-наперво он набросился на твой псевдоним — который мне, кстати, очень понравился, — а вот он никак не мог пережить того, что счел его *претенциозностью*, А. И., А. И.,

А. И., он повторял это слова и снова, а потом добавил: Абдерит Интеллектуальный, Апломбистый Имбецил, Абсолютный Игнорамус, он никак не мог остановиться и перестать тебя оскорблять, поскольку сообразил, до чего хорошо то, что ты ему написал, Арчи, неожиданно хорошо, а такому человеку ни за что не хочется поощрять молодых людей, он желает их раздавить, потому и придрался к паре мест, только чтобы показать, насколько выше он всех остальных, к замечанию насчет *нерешительной колибри*, вот его он просто возненавидел и вычеркнул своим синим карандашом, и еще из-за пары других мест он фыркнул или выругался себе под нос, но суть вот в чем — ты теперь полноправный член местной прессы, или же, по словам Эда Имхоффа, когда я спросила у него, хочет он тебя или нет, *Мальчишка годится*. Мальчишка годится! Я расхохоталась, услышав это, а потом спросила у него: И больше тебе нечего сказать, Эд? — и на это он ответил: А этого что, мало? — Ну, может, стоило бы поблагодарить меня за то, что я нашла тебе нового репортера, сказала я. *Тебя* поблагодарить? — сказал он. Нет, дорогая моя Роза, это ты *мне* должна спасибо сказать.

Так или иначе, но Фергусона впустили за дверь,

и хорошо в такой договоренности было вот что: ему редко доводилось видеть Имхоффа или разговаривать с ним, поскольку приходилось сидеть в школе по утрам в среду и понедельник, когда нужно было сдавать репортажи о вечерних играх во вторник и пятницу — они публиковались вместе, когда газета выходила днем в четверг. Мать Фергусона, следовательно, продолжала собственноручно сдавать статьи Имхоффу, и хотя Фергусон дважды ходил на субботние планерки с Крупной Рыбой (в мелком пруду), где его отчитывали за грех *цветистости* (если цветистостью можно было счесть такие фразы, как *экзистенциальное отчаяние* и *балетное па, бросившее вызов Ньютоновой физике*), большинство его бесед с Имхоффом велись по телефону, к примеру, когда босс попросил его написать полноформатный очерк о баскетбольном тренере Джеке Макналти после того, как команда выиграла шесть игр подряд, подняв тем самым свой рекорд до 9 и 7, или когда распорядился, чтобы Фергусон начал носить на игры пиджак и галстук, потому что он — *представитель «Монклер Таймс», и ему при исполнении служебных обязанностей нужно выглядеть по-джентльменски*, как будто ношение пиджака и галстука имело какое-то отношение

к описанию баскетбольных матчей, но то были дни, когда старых и молодых начали разделять вопросы одежды и причесок, и, подобно многим мальчишкам у себя в школе, Фергусон в тот год отпустил себе волосы подлиннее, старые стрижки бобриком 1950-х годов отошли теперь в прошлое, да и у девчонок происходили перемены: все больше и больше их переставали взбивать себе волосы эдакой пышной сахарной ватой и ульями былых времен, а просто расчесывали их и свободно распускали по плечам, что Фергусон считал гораздо более привлекательным и сексапильным, и, изучая человеческий ландшафт в те первые недели 1965 года, он смекал, что все начали выглядеть лучше, в воздухе носилось нечто такое, что ему очень нравилось.

Седьмого февраля в нападении сил Вьетконга на военную базу Плейку восьмерых американских солдат убили, а 126 ранили — и начались бомбежки Северного Вьетнама. Две недели спустя, двадцать первого февраля, всего через несколько дней после окончания школьного баскетбольного сезона, наемные убийцы «Нации ислама» подстрелили Малькольма Икса, когда тот выступал с речью в бальном зале Одюбона в Вашингтон-Хайтс. Казалось, только эти две темы

теперь и остались, писал Фергусон своим тете и дяде в Калифорнию, расширяющееся кровопролитие во Вьетнаме и движение за гражданские права дома, белая Америка воюет с желтым народом Юго-Восточной Азии, белая Америка враждует с собственными черными гражданами, которые все больше и больше враждуют сами с собой, поскольку движение уже раскололось на фракции, которые раскалывались на фракции фракций, а то и на фракции фракций фракций, все враждуют со всеми остальными, границы очерчены так резко, что лишь немногие теперь осмеливаются за них заступать, и мир так разделился, что, когда Фергусон невинно пригласил Ронду Вильямс на свидание где-то в январе, он обнаружил: границы эти еще и затянуты колючей проволокой. То была та самая Ронда Вильямс, с кем он был знаком последние десять лет, стройная болтливая девчонка, учившаяся с ним в одном классе почти по всем обязательным предметам в программе, кому случилось быть не белой, а черной, как и многим другим ученикам средней школы Монклера, одной из самых расово интегрированных школ в регионе — той части Нью-Джерси, где почти все окружающие школы были почти целиком белыми или почти

целиком черными, и Ронда Вильямс, чье семейство было гораздо зажиточнее, чем у Фергусона, и кожа у нее, так уж вышло, была черна, хотя на самом деле оттенок был светло-коричневым, лишь на тон-другой темнее, чем у самого Фергусона, хохотушка Ронда Вильямс, дочка главврача по внутренним болезням госпиталя для ветеранов в близлежащем Оранже, чей младший брат играл защитником в запасном составе Монклерской баскетбольной команды, смышленая Ронда Вильямс, которой путь был открыт в колледж, которая всегда была другом Фергусона и разделяла с ним любовь к музыке, стало быть, оказалась первой, о ком он подумал, узнав, что через одну субботу в театре «Моск» в Ньюарке будет выступать с программой исключительно из произведений Шуберта Святослав Рихтер, и потому он спросил у Ронды, не хочет ли она сходить на этот концерт с ним, не только потому, что был уверен: концерт ей понравится, — а потому, что с Эми он не виделся уже два месяца и просто истомился по женскому обществу, ему очень хотелось побыть с кем-то, кто не играет в баскетбол, кто не Бобби Джордж и не одиозный Эдвард Имхофф, а из девчонок у него в школе Ронда нравилась ему больше всех. Перспекти-

ва раннего субботнего ужина в «Клермонтской едальне», а затем Шуберт в исполнении одного из величайших пианистов на свете — от такого сочетания, мыслил Фергусон, ни один любитель музыки не пожелает отказаться, но, как это ни невероятно, она ему отказала, а когда Фергусон спросил почему, Ронда ответила:

Просто не могу, Арчи.

Это значит, что у тебя есть парень, о котором я ничего не знаю?

Нет, никакого парня. Просто не могу.

Но почему? Если ты в этот вечер не занята, в чем загвоздка?

Я лучше не буду говорить.

Ладно тебе, Ронда, так нечестно. Это же я, ты не забыла? Твой старый друг Арчи.

Ты и сам достаточно умный, сообрази.

Нет, недостаточно. Я даже начать догадываться не могу, о чем ты это.

Потому что ты белый, вот почему. Потому что ты белый, а я черная.

И это причина?

Думаю, да.

Я ж не прошу тебя выходить за меня замуж. Я просто хочу сходить с тобой на концерт.

Я знаю, и я ценю, что ты меня приглашаешь,

но не могу.

Прошу тебя, скажи мне, что я тебе просто не нравлюсь. Такое я принять смогу.

Но ты мне нравишься, Арчи. Сам знаешь. Ты мне всегда нравился.

Ты соображаешь, что говоришь?

Конечно, соображаю.

Это конец света, Ронда.

Нет, не конец. Это начало — начало нового мира, и тебе просто придется с этим смириться.

Но был ли то конец света или начало мира, Фергусону так и не удалось заставить себя его принять, и он шел после того разговора и чувствовал, как будто ему дали под дых, злился, ему было противно, что такой разговор по-прежнему возможен — через сто лет после окончания Гражданской войны. Ему хотелось обсудить это все с кем-нибудь, излить тысячу причин того, почему он так расстроен случившимся, но единственной, кому он когда-либо вообще мог открыться о таких вещах, была Эми, а Эми — единственная, с кем сейчас он говорить не может, что же касается его школьных друзей, то никому не доверял он достаточно глубоко, чтобы открыть душу, и даже Бобби, который по-прежнему каждое утро ездил с ним в школу и продолжал считать себя зака-

дычнейшим дружбаном Фергусона, не смог бы внести серьезную лепту в подобное обсуждение, а кроме того, у Бобби сейчас как раз были свои неурядицы — любовные, самой опустошительной подростковой разновидности, безответная влюбленность в Маргарет О'Мару, которая в свою очередь была влюблена в Фергусона последние шесть лет, что нынче сообщало Фергусону нескончаемые хлопоты и ужас, ибо сразу же после его пост-Благодаренческого разговора с Эми он подумывал позвать Маргарет на свидание — не то чтоб его разбирало горячее желание связаться с Маргарет, скучной, дружелюбной девчонкой с необычайно привлекательным личиком, но после того, как Эми объявила о своем желании целоваться с другими парнями, Фергусон задавался вопросом, не ответить ли и ему тем же, не пойти ли искать других девчонок, чтобы с ними целоваться, и Маргарет О'Мара тут была первой кандидаткой, поскольку он был почти уверен, что ей хочется, чтобы он ее целовал, но, опять-таки, как раз когда он готовился ей позвонить, Бобби признался, насколько он влюблен в означенную Маргарет О'Мару, которая стала первой монументальной любовью всей его жизни, но, казалось, вовсе им не интересуется, она едва его слушала,

когда он с нею заговаривал, и не будет ли Фергусон любезен вступиться за него и объяснить Маргарет, что он за хороший и достойный парняга (оттенки «Сирано де Бержерака», фильма, который Фергусон и Маргарет видели вместе на занятиях по французскому в их десятом классе), и потому, когда Фергусон подошел к Маргарет и попытался замолвить за Бобби словцо (а не звать ее на свидание самому), она рассмеялась и назвала его *Сирано*. Смех и стал концом всему — результатом был двойной провал, неудача по обоим фронтам. Бобби все так же по ней сох, и хотя Маргарет схватилась бы за возможность пойти на свидание с Фергусоном, тот исполнился решимости не звать ее, поскольку не мог так поступить со своим другом. Что привело его к отсутствию всяческих свиданий с кем бы то ни было в последовавшие два месяца, а потом, когда он все-таки кого-то позвал, то — Ронду Вильямс, и та учтиво ответила ему пинком в лицо и научила его, что Америки, в которой ему хочется жить, не существует — и, вероятно, никогда не будет существовать.

В иных обстоятельствах он бы, может, пришел к матери и выложил бы ей свои борения, но теперь он чувствовал себя слишком старым

для подобных разговоров, и ему не хотелось вгонять ее в уныние долгим разгоряченным разглагольствованием о мрачном будущем, какое он видит у Республики. Будущее его родителей и без того уныло: доходы и от «Ателье Страны Роз», и от «ТВ и Радио Станли» сокращались, а дополнительные пятнадцать тысяч уже почти все исчерпались, и неотвратимы были коренные перемены, это лишь вопрос времени, когда семье придется переосмыслять, как ей дальше жить и работать — и, быть может, где ей дальше жить и где работать. Особенно жаль Фергусону было отца, чья маленькая розничная торговля уже не могла конкурировать с крупными скидочными магазинами, возникавшими в городках Ливингстон, Вест-Оранж и Шорт-Хиллс, например, да и кому надо покупать телевизор у отца Фергусона, если такой же приемник можно найти по цене на сорок процентов меньше в «Э. Дж. Корветте» всего в нескольких милях отсюда? Когда на второй неделе февраля уволили Майка Антонелли, Фергусон понял, что магазину скоро крышка, но отец его все равно упорствовал, поддерживая прежний распорядок жизни: каждое утро ровно в девять приходил и усаживался за свой верстак в задней комнате, где продолжал чинить сломан-

ные тостеры и плохо работающие пылесосы, все больше и больше напоминая Фергусону старого доктора Манетта из «Повести о двух городах», полубезумного узника Бастилии, который сидел на лавке у себя в камере и чинил обувь, год за годом чинил обувь, — он тоже год за годом чинил испорченные домашние приборы, и Фергусон все больше и больше начинал признавать неоспоримый факт, что его отец так никогда по-настоящему и не оправился от предательства Арнольда, что вера его в семью была уничтожена, а потом, среди обломков его рухнувших определенностей, единственная личность в семье, кого он по-прежнему любил, врезалась на своей машине в дерево и на всю жизнь изувечила его сына, и хоть о той аварии он никогда и не заговаривал, и Фергусон, и его мать знали, что он редко перестает о ней думать.

«Ателье Страны Роз» удача тоже изменяла — не так рьяно, как «ТВ и Радио Станли», быть может, но мать Фергусона знала: дни студийной фотографии почти что сочтены, и какое-то время она уже сокращала часы работы ателье — от пяти десятичасовых дней в неделю в 1953 году до пяти восьмичасовых в 1954-м, до четырех восьмичасовых в 1959-м, четырех шестичасовых в 1961-м, трех

шестичасовых в 1962-м и трех четырехчасовых в 1963-м, — а все больше энергии посвящала фотографированию для Имхоффа в «Монклер Таймс», где ее приняли в штат на зарплату как главного фотографа газеты, но потом, в феврале 1965 года, вышла ее книга о выдающихся людях Садового штата, всего за два месяца уже разлетелась по приемным большинства врачей, стоматологов, юристов и муниципальным конторам всего штата, и Роза Фергусон перестала быть невидимкой, превратилась в персону узнаваемую и на волне успеха с книгой решила обратиться к редактору «Ньюарк Стар-Леджер» (чей портрет в книге присутствовал) и попроситься к нему на работу штатным фотографом, ибо хотя матери Фергусона тогда исполнилось уже сорок три года (слишком стара, быть может?), для большинства людей она выглядела на шесть или восемь лет моложе такого возраста, и пока редактор просматривал содержимое ее внушительного портфолио и вспоминал свой лестный портрет, который она тогда сделала, — сейчас он висел у него в домашнем кабинете на стене, — вдруг потянулся к матери и пожал ей руку, поскольку, оказалось, вакансия у них действительно была, а квалификация у Розы Фергусон имелась не хуже, чем у кого угодно еще.

Зарплата невелика, более-менее столько же ей удавалось выручить совокупно за студийные портреты и работу с Имхоффом, и это ни вредило, ни как-то особенно помогало общему финансовому положению семьи, но тут отец Фергусона выдвинул блестящую мысль — закрыть лавку «ТВ и Радио Станли», которая последние три года работала в убыток, и негатив превратился в позитив, который стал слегка положительнее, когда Сэм Бронштейн уговорил его согласиться на работу в его магазине спортивных товаров в Ньюарке (или, как выразился отец Фергусона в одно из своих редких мгновений непосредственности, *обменять кондиционеры воздуха на ловцовские перчатки*), и вот так вот весной 1965 года и «Ателье Страна Роз», и «ТВ и Радио Станли» навсегда закрыли свои двери, а раз Фергусону осенью пришло время поступать в колледж, родители его сказали, что пора уже начать думать о продаже дома и съеме жилья поменьше, поближе к их новым работам, что высвободит более чем достаточно средств на покрытие расходов Фергусона на колледж, поскольку отец Фергусона по какой-то причине был настроен против того, чтобы Фергусон просил стипендию (глупая гордость или гордая глупость?) или же сокращал

бремя трат, участвуя в программе «работа-учеба», потому что, как объяснил отец, ему не хочется, чтобы его мальчик *трудился, пока учится, — лучше пусть трудится над учебой*, и когда Фергусон возмутился, что отец ведет себя нелепо, мать подошла к отцу, поцеловала его в щеку и сказала: Нет, Арчи, нелепо ведешь себя ты.

День рождения Фергусона выпал в том году на среду. Ему уже исполнилось восемнадцать, а оттого у него теперь появилось право пить алкоголь в любом баре или ресторане Нью-Йорка, жениться без согласия своих родителей, умереть за свою страну, подвергаться суду как взрослый — но не голосовать на муниципальных, штатных или федеральных выборах. На следующий день, четвертого марта, он вернулся домой из школы и нашел в почтовом ящике письмо от Эми. *Дорогой Арчи*, говорилось в нем, *большой поцелуй тебе в день твоего рождения. Скоро, миленький мой, все скорей, скорей и скорее — если тебе все еще интересно. Я, как могла, старалась о тебе не думать, но не удалось. Это была такая промозглая зима, жить в этой комнате с открытыми окнами. Я околела! Люблю, Эми*.

Не зная, что означает *скоро*, а уж тем паче — *скорей, скорей и скорее*, — Фергусон не вполне

разобрался, что это Эми такое ему написала, хотя тон ее письма казался ободряющим. Его подмывало ответить собственным пылким письмом, но затем он решил подождать, пока не решится у него вопрос с колледжем, а произойдет это лишь в середине следующего месяца. С другой стороны, если Эми за это время пришлет ему еще одно письмо, он ответит незамедлительно — но она больше не написала, и противостояние их продолжалось. Фергусон воображал, что он силен, но позднее, оглядываясь на свои действия с перспективы собственного будущего «я», он понял, что был попросту упрям. Упрямо горд, что, в итоге, просто другое название *глупца*.

Седьмого марта двести алабамских национальных гвардейцев напали в Сельме на 525 манифестантов за гражданские права, когда те готовились перейти мост Эдмунда Петтуса и начать марш на Монтгомери в знак протеста против дискриминации в избирательном праве. Всегда потом эту дату будут помнить как *Кровавое воскресенье*.

На следующее утро морская пехота США высадилась во Вьетнаме. Два батальона, отправленные защищать воздушную базу в Данангe, были первыми боевыми подразделениями, дислоци-

рованными в стране. Теперь контингент США во Вьетнаме достигал 23 000 человек. К концу июля число это возрастет до 125 000, и квоты на призыв удвоят.

Одиннадцатого марта в Сельме до смерти избили преподобного Джемса Дж. Риба из Бостона, штат Массачусетс. При нападении травмы получили еще два унитарианских священника.

Шесть дней спустя местный судья постановил, что маршу из Сельмы в Монтгомери можно продолжиться. Президент Джонсон передал национальную гвардию штата в федеральное подчинение, и, после того как он пригнал еще 2200 гвардейцев для защиты демонстрантов, двадцать первого марта поход двинулся дальше. В тот же вечер мать пятерых детей Виола Льюццо из Детройта, приехавшая в Алабаму принять участие в акции, была застрелена у себя в машине членами Ку-клукс-клана, потому что рядом с нею на переднем сиденье был черный человек.

В понедельник (двадцать второго марта) расстроенный, ошарашенный Фергусон начал снова работать в «Монклер Таймс». Прошел месяц после окончания баскетбольного сезона, и теперь настал черед бейсбола, вселявшего ужас, прекрасного бейсбола, что станет совершенно иным

предприятием, это тебе не баскетбол освещать, — настолько, что Фергусон поначалу думал, что у него ничего не выйдет, но не писать в газету оказалось трудно, ему не хватало репортажей об играх так же, как курильщика тянет к сигаретам, когда пачка уже пуста, и лишнее время, выпавшее ему для того, чтобы писать стихи, никаких стихов, достойных упоминания, не породило, лишь череду неудачных виршей, которые уж так его разочаровали, что он уже начал задаваться вопросом, а есть ли у него поэтический дар вообще, и вот теперь, когда после несчастного случая уже миновало четырнадцать месяцев и он на целый сезон отошел от какого бы то ни было взаимодействия с бейсболом, возможно, настал черед испытать себя и посмотреть, сможет ли он вернуться на стадион и не рассыпаться там в тоске бесполезных скорбей и сожалений. Там будет раж скоростного электрического письма, твердил он себе, весело посмотреть, как Бобби Джордж запускает мячи за ограду, и поговорить с вербовщиками крупных лиг, какие наверняка соберутся глянуть на Бобби, и если только Фергусон сможет вытерпеть и снова не вовлечься во все это, с ним останутся его прежние ощущения: нюхать подстриженную траву, смотреть, как

белые мячи носятся туда-сюда по голубым небесам, и слушать, как они сталкиваются с битами и кожаными перчатками, — вот такое было бы ему приятно, думал он, этому бы он радовался, поскольку такого ему ужас как не хватало, а поэтому, ни разу не поделившись с Имхоффом своими сомненьями, он соблюл условия сделки, которую они заключили в декабре, и двадцать второго марта отправился к Салу Мартино — брать у тренера интервью о грядущем сезоне: оно и стало первой из двадцати одной его статьи, что он написал той весной о бейсбольной команде старшеклассников Монклерской средней школы.

Оказалось, это не так тяжело, как он себе представлял, — вообще-то оказалось не трудно совсем, и когда сезон открылся игрой на выезде в средней школе Колумбии в начале апреля, Фергусон отправился туда, думая скорее не о самой игре, предстоявшей в тот день, а о словах, какие он подберет, чтобы ее описать. Себя он чувствовал бесконечно старше, чем год назад, гораздо старше кого угодно из сверстников, в особенности — мальчишек из команды, что была бы и его командой, если б не несчастный случай, и только для того, чтобы доказать, до чего кардинально

все для него изменилось, на следующей неделе Фергусон, оставив свою «импалу» на регулировку в гараже у Кролика и поехав на другую игру в Ист-Оранж в автобусе вместе с командой, сел впереди с Салом Мартино, а не со своими однокашниками на задних сиденьях, ибо бурные остроты и громкий хохот пацанов утратили для него всякую привлекательность, и вдруг еще одна штука из детства осталась позади, и странно ему было ощущать себя таким старым, сказал он самому себе, странно потому, что ему от этого было и грустно, и радостно в одно и то же время, — переживание, для него новое, нечто беспрецедентное во всей истории его эмоциональной жизни, грусть и радость сплавились в единую гору чувства, и как только в голову ему пришел этот образ, он поймал себя на том, что думает о девушке с «Белой скалы» на бутылке сельтерской и о разговоре с тетей Мильдред о Психее шесть лет назад, когда они обсуждали превращение гусениц в бабочек, ибо в таком превращении одного в другое больше всего ставило в тупик то, что гусеницы, вероятно, были вполне довольны тем, что они — гусеницы, ползали себе по земле, ни разу не задумавшись о том, чтобы стать кем-то еще, и как ни грустно им, наверное, переставать быть гусеницами, но

уж точно лучше и вообще поразительнее начать все сызнова бабочками, пусть даже жизнь бабочки гораздо опасней, а длится иногда всего один день.

В первых пяти играх сезона истомленный любовью Бобби Джордж провел четыре двойных, три круговые пробежки, и средний балл его составил .623 с пятью проходками и восемью забитыми пробежками. Что бы там Маргарет О'Мара ни натворила с сердцем бедного мальчишки, на его способности играть в бейсбол это не отразилось. *И подумать только*, сказал вербовщик из «Миннесотских Близнецов» Фергусону, глядя, как Бобби высылает бегуна на второй базе, *восемнадцать пацану только летом стукнет*.

Шестнадцатого апреля Фергусон наконец сел и написал короткое письмо Эми. *Я поступил*, начал он. *Колумбия приняла меня в класс 69-го — восхитительно двусмысленное число, похоже, намекающее на всевозможные воодушевляющие дела в будущем. В отличие от тебя, я не делал никаких сознательных попыток о тебе не думать, а последние четыре с половиной месяца держал тебя в уме постоянно и с любовью (а иногда и с унынием). Поэтому да, в ответ на твой риторический вопрос, мне по-прежнему интересно, и*

всегда будет интересно, и никогда не будет неинтересно, потому что я люблю тебя безумно и не могу даже помыслить о том, чтобы жить эту жизнь без тебя. Прошу, скажи мне, пожалуйста, когда мне будет возможно снова увидеть тебя. Твой Арчи.

Она не обеспокоилась писать на сей раз — а позвонила ему домой, всего через несколько часов после того, как получила его письмо, и первое, что его поразило, — насколько хорошо было опять слышать ее голос, ее нью-йоркский голос со смягченными *р*, что превращали его имя во что-то похожее на *Ахчи*, и уже мгновенье спустя она повторяла последнюю фразу его записки, говоря: *Когда мне будет возможно снова увидеть тебя?* — на что он ответил: *Вот именно, когда?* — и тут прилетел ответ, который, как он надеялся, она ему и даст: *Когда захочешь. В любое время, начиная с сейчас.*

И вот так вот ссыльный Фергусон вновь оказался в фаворе у своей своенравной королевы, а поскольку она рассудила, что в изгнании своем он вел себя благородно, умоляющих писем не писал, не звонил, не ныл, увещевая ее восстановить его былое положение при ее дворе, первые слова ему, когда он следующим вечером приехал в

Нью-Йорк с нею повидаться, были таковы: *Ты мой один-единственный, Арчи, мой один из миллиона единственный*, — и поскольку она расплакалась в тот же миг, когда он ее обнял, Фергусон заподозрил, что за прошедшие четыре с половиной месяца ее в жизни как-то покачало, что ей стыдно кое-чего сделанного, несомненно — касаемо секса, и по этой вот причине он решил не задавать никаких вопросов, ни тогда, ни когда бы то ни было — ему же не хотелось слышать о других людях, с кем она спала, и воображать ее нагое тело в постели с другим нагим телом, у которого здоровенная жирная эрекция, проникающая в пространство меж ее разведенных ног, никаких имен или описаний, пожалуйста, ни единой детали никакого сорта, а поскольку он у нее ни о чем не спрашивал, чего она от него, должно быть, и ожидала, она из-за этого льнула к нему еще теснее.

То была самая прекрасная весна в его жизни, весна вновь вместе с Эми, с Эми теперь снова можно было разговаривать, снова держать голую Эми в объятьях, слушать, как Эми костерит Джонсона и ЦРУ за то, что отправили двадцать тысяч солдат в Доминиканскую республику, чтобы не дать свободно избранному писателю и историку

Хуану Бошу вернуть себе президентское кресло, потому что он якобы находится под влиянием коммунистов, что было неправдой, и зачем вообще вмешиваться в дела этой маленькой страны, когда Америка и так уже причиняет много вреда в других частях света? Как же Фергусон восхищался ею за эту чистоту ее негодования, и до чего он был доволен тем, что опять проводит выходные с нею в Нью-Йорке — всего через несколько коротких месяцев он и сам будет здесь жить, — а помимо Эми весна была прекрасна потому, что все его волнения насчет будущего года наконец-то остались позади, и это означало, что теперь-то, впервые за все те годы, что провел в школе, он может дать себе поблажку — как и все остальные в его старшем классе расслаблялись те два месяца *dolce far poco*[46], что как-то пригасило древние распри и неприязнь и, казалось, притягивает всех друг к дружке поближе — подступал конец их общей на всех жизни, а потом, когда потеплело, у Фергусона с отцом установился новый ритуал: они вдвоем просыпались каждый день среди недели в шесть утра и к половине седьмого выходили из дому, чтобы полтора часа поиграть в

[46] Сноски: 46
Здесь: Сладости безделья (*ит.*).

теннис на пустых общественных кортах в городе, его пятидесятиоднолетний отец еще способен был разгромить его в каждом сете со счетом 6:2 и 6:3, но упражнение это возвращало Фергусона в форму, и после долгого периода, когда спорта у него со дня перелома вообще никакого не было, теннис удовлетворял в нем старую и по-прежнему сильную нужду, и он был рад видеть, как его отец выигрывает, радовался тому, насколько безболезненно удавалось старику свертывать собственную лавку, распродавая остатки телевизоров, радиоприемников и кондиционеров со скидками в треть стоимости, в половину стоимости, в две трети стоимости, борьба уже окончена, отцу его больше нет ни до чего дела, все его прежние честолюбивые замыслы развеялись как дым, а мать его — тоже в процессе свертывания своего дела, оба должны освободить помещения до тридцатого мая и в середине июня выйти на новые работы, что-то было в них головокружительное той весной, так может кружиться голова у маленьких, буйных детишек, когда кто-нибудь хватает их за лодыжки и переворачивает вверх тормашками, как, должно быть, и им с Эми было, когда они голыми скакали вместе по кровати в те уже обесточенные мгновения далекого про-

шлого, и как же это удачно, что, даже когда мать уведомила «Монклер Таймс» о своем будущем уходе, Имхофф из мести не уволил и его, поэтому Фергусон продолжал дважды в неделю освещать бейсбольные игры монклерских школ, а пока Бобби Джордж уверенно целил во всештатный сезон первой команды и, вероятнее всего, на контракт с клубом высшей лиги, на Фергусона производило впечатление, насколько хорошо тот справляется со своим новообретенным звездным статусом, который превратил его в предмет для разговоров всей школы, и хоть он по-прежнему учился с трудом и не мог устоять и не смеяться несмешным анекдотам про фермерских дочек и разъездных коммивояжеров, его нынче окружал новый ореол величия, который уже начал пропитывать самого Бобби и менять его представления о себе, и теперь, когда с ним начала разговаривать Маргарет О'Мара, Бобби редко можно было встретить без улыбки на лице — без все той же милой улыбки, какую Фергусон помнил с тех дней, что они проводили вместе четырех- и пятилетками.

А среди лучшего в той прекрасной весне было предвкушение лета, они с Эми строили планы на совместное путешествие во Францию, целый месяц, начиная с середины июля по середину

августа, единственный месяц, потому что дольше они себе позволить не могли, когда сложили все, что заработали летом в предыдущие годы, гонорары Фергусона за статьи в «Монклер Таймс», еще не истраченные на бензин для машины и гамбургеры для желудка, внушительный выпускной подарок Фергусоновых прародителей (пятьсот долларов), взнос поменьше от дедушки Эми и дополнительные суммы, выделенные обоими комплектами родителей, чего хватило бы на покрытие житья впроголодь четыре с половиной недели — после оплаты авиабилетов, поэтому они не стали втискивать большое турне по Европе в это ограниченное время, а предпочли держаться одной страны и погрузиться в нее как можно полнее. Франция была выбором неизбежным, поскольку оба учили французский и обоим хотелось свободнее разговаривать на этом языке, но еще и потому, что Франция была центром всего неамериканского: лучшие поэты, лучшие романисты, лучшие кинематографисты, лучшие философы, лучшие музеи и лучшая еда, — и без багажа, с одними рюкзачками за спинами, они покинули американскую почву из аэропорта Кеннеди в восемь вечера пятнадцатого июля, через день после ежегодного празднования Дня

Бастилии во Франции. То было их первое путешествие за границу. Для Фергусона это был также первый раз, когда он летел на самолете, что означало — он впервые утратил контакт с землей.

По большей части — Париж, Париж двадцать два из тридцати одного дня, которые они провели во Франции, с одной экскурсией на север поездом (Нормандия и Бретань, с посещением Омаха-Бич, Мон-Сен-Мишель и семейного замка Шатобриана в Сен-Мало) и одной поездкой на юг (Марсель, Арль, Авиньон и Ним). Клятва разговаривать друг с дружкой по-французски как можно чаще, избегать американских туристов, заводить беседы с местными жителями, чтобы практиковаться в языке, читать только французские книжки и газеты, смотреть только французские фильмы, слать домой открытки, написанные по-французски. Парижская гостиница, где они жили, была настолько неприметной, что у нее даже не имелось названия. Вывеска над входом гласила просто «ОТЕЛЬ», а простая комнатка, которую они делили на рю Клеман в шестом округе, выходившая непосредственно на рынок Сен-Жермен, маленькая, но достаточно большая *chambre dix-*

huit[47], где не было ни телефона, ни телевизора, ни радио, снабжена она была лишь раковиной под краном с холодной водой, но без туалета, стоила десять франков за ночь, что равнялось двум долларам, то есть по доллару с носа, да и какая разница, что туалет дальше по коридору не всегда бывал свободен, если туда хотелось, а душ представлял собой тесный железный ящик, вогнанный в стену на самой вершине лестницы, и тоже бывал занят, если нужно было туда пойти, главное, по сути, что комната чиста и светла, что кровать достаточно широка для двоих, чтобы на ней можно было удобно спать, а еще важнее было то, что хозяину отеля, крепкому усатому дядьке по имени Антуан, наплевать с высокой башни было на то, что Фергусон и Эми спят в этой постели вместе, хотя явно не женаты и молоды настолько, что могли бы быть его детьми.

Вот что в первую очередь и расположило их к Франции (благословенное безразличие к частной жизни других), но за этим вскоре последовало и прочее, вроде того труднопонимаемого факта, что в Париже все, похоже, пахло лучше, чем в Нью-Йорке, — не только булочные, рестораны

---

[47] Сноски: 47
Комната восемнадцать (*фр.*).

и кафе, но даже глубочайшие кишки метро, где к дезинфицирующим средствам, с которыми мыли полы, подмешивали нечто вроде духов, в то время как в подземке Нью-Йорка бывало затхло и порой невозможно дышать вообще, и постоянного движения неба, где над головой постоянно громоздились и разламывались облака, что создавало мерцающий, преображающий свет, такой, что одновременно был мягок и полон сюрпризов, а северная широта поддерживала в летнем небе свечение гораздо дольше, чем дома, по вечерам тут не темнело и до половины одиннадцатого или без четверти одиннадцать, и наслаждения от того, что просто бродишь по улицам или теряешься в них и все же никогда не теряешься совсем, как среди улиц Виллидж в Нью-Йорке, но тут весь город был, как Виллидж, в тех кварталах, куда они забредали, никакой сетки и лишь немного прямых углов, когда одна плавная, мощенная брусчаткой тропа извивалась и втекала в другую, ну и, разумеется, там была пища, *la cuisine françéaise*[48], в восторге заглатываемая на единственной ресторанной трапезе, которую они позволяли себе каждый

[48] Сноски: 48
Французская кухня (*фр.*).

вечер после завтрака, состоявшего из хлеба с маслом и кофе (*tartine beurré* и *café crème*), и обеда из самодельных сандвичей с ветчиной (*jambon de Paris*) или самодельных сандвичей с сыром (*gruyière, camembert, emmental*), на ежевечерних ужинах в хороших, но недорогих ресторанах, отмеченных в «Европе за пять долларов в день», и таких местах, как *«Le Restaurant des Beaux Arts»* и *«Wadja»* на Монпарнасе и *«La Crémerie Polidor»* (предположительно там, среди прочих мест, питался Джемс Джойс), они вгрызались в еду и блюда, каких никогда не встречали в Нью-Йорке или где бы то ни было, *poireaux vinaigrette, rillettes, escargots, céleri rémoulade, coq au vin, pot au feu, quenelles, bavette, cassoulet, fraises au crème chantilly*[49] и обворожительная сахарная бомба, известная под названием *baba au rhum*. Всего за неделю после того, как нога их ступила в Париж, они оба превратились в оголтелых франкофилов: Эми, вкопавшись в романы Флобера и Стендаля, вдруг объявила о своем желании специализироваться во французском, а Фергусон предпринял

[49] Сноски: 49

Салат с луком-пореем, свиной (или гусиный) паштет, улитки, тертый сельдерей с соусом провансаль, «петух в вине», тушеная говядина с овощами, фрикадельки, пашина, бобовое рагу, клубника со взбитыми сливками (*фр.*).

первые спотыкливые попытки переводить французскую поэзию — сидя в *chambre dix-huit* или заднем зале *«La Palette»* и впервые читая Аполлинера, Элюара, Десноса и других довоенных французских поэтов.

Что и говорить, случалось им ссориться и действовать друг дружке на нервы, ибо вместе они проводили каждую секунду в продолжение тридцати одного дня и ночи, а Эми время от времени бывала склонна к бурям и могла дуться и злопыхать, а у Фергусона имелась наклонность впадать в провалы угрюмой интроспекции и/или необъяснимые молчания, но ни одна из их размолвок не длилась дольше часа-двух, и большинство их, если не все, случались, когда они были в пути, в напряжении от путешествия и бессонных ночей в поездах. Также нечего и говорить, что всю поездку Америка не шла у них из ума, хоть они и радовались, что покамест от нее избавлены, и они подолгу разговаривали о двух внушавших надежды событиях, что произошли, пока их не было дома: тридцатого июля Джонсон подписал Законопроект о медицинском страховании, а затем, шестого августа, Закон об избирательных правах, — а также о бедствии, случившемся одиннадцатого августа, всего за пять дней до того,

как они вылетели домой: расовых беспорядках в Лос-Анджелесе, яростных бунтах черного населения в районе под названием Уоттс. После чего Эми сказала: Забудь про изучение французского. Мой первый порыв все-таки был верен. История и политология. На что Фергусон поднял воображаемый стакан и сказал: Не вопрошай, что твоя страна может для тебя сделать[50]. Попроси Эми Шнейдерман управлять твоей страной.

За день до назначенного отлета в Нью-Йорк они сделали два постыдных открытия: 1) они накупили слишком много книг, в кабину как ручную кладь столько не пронесешь; 2) деньги у них опасно истощились — несомненно потому, что в бюджете они не учли покупку книг. Оба они за время пребывания за границей сбросили вес (Фергусон семь фунтов, Эми пять), но чего иного можно было ожидать от людей, полных решимости полноценно есть лишь раз в день, и все же, несмотря на всю эту экономию в частых заходах в книжные магазины, они потратили слишком много: преимущественно в *«Librairie Gallimard»* напротив *l'Église Saint Germaine* и в магазин, которым управлял левый издатель

[50] Сноски: 50
Фраза из инаугурационной речи Дж. Ф. Кеннеди.

Франсуа Масперо, напротив *l'Église Saint-Séverin*, и в добавку к двадцати одному тому поэзии, которые приобрел Фергусон, и одиннадцати толстым романам, купленным Эми, они не смогли избежать соблазна и не приобрести сколько-то книг по политике — Франца Фанона (*«Les Damnés de la terre»*), Поля Низана (*«Aden Arabie»*) и Жана-Поля Сартра (*«Situations I, II, III»*)[51], отчего общее количество книг возросло до тридцати семи. Несколько часов их последнего дня в Париже, стало быть, промотались на то, чтобы упаковать книги в коробки, дотащить их до почтового отделения и отправить на адрес Эми на Западной 111-й улице (все к ней на квартиру, даже те, что принадлежали Фергусону, поскольку его родители в начале июня получили первый взнос за свой дом, и неясно было, живут они до сих пор в Монклере или уже куда-то переехали), и стоимость марок, требуемых для того, чтобы отправить эти коробки за океан медленным пароходом — с ожидаемой датой доставки где-то к Рождеству, — настолько истощила их наличные средства, что осталось у них всего четырнадцать долларов, из которых восемь ушло бы на автобус до аэропорта наут-

[51] Сноски: 51
«Проклятьем заклейменные», «Аден Аравия», «Ситуации» (*фр.*).

ро. Планы на обильную прощальную трапезу вечером в *«Restaurant des Beaux Arts»* тем самым рухнули, и им пришлось довольствоваться плоскими, иссохшими гамбургерами в «Вимпи» на бульваре Сен-Мишель. К счастью, оба они сочли это забавным, ибо скверное планирование в таких масштабах доказывало, что они и впрямь Самые Нелепые Люди на Земле.

И вот отощавшие, замурзанные восемнадцатилетки вернулись со своих галльских приключений, вывалились, хромая, в нью-йоркский аэровокзал с переполненными рюкзаками и в патлах, и, как только прошли паспортный контроль и таможню, их тут же с распростертыми объятиями приняли родители, и приветствовали их с таким восторгом и силою, какие обычно оставлялись на долю вернувшихся героев войны и открывателей новых континентов. Эми и Фергусон, уже договорившиеся встретиться снова через пару дней, поцеловались на прощание, а затем разошлись в разные стороны с соответствующими семьями, которые повезли их домой мыться, стричься и коротко принимать родню, прародителей, теть и дядьев.

Как Фергусон быстро понял, еще идя к машине, дом его больше не был зданием в Монклере, а

был квартирой в районе Ньюарка Виквоик. Никого из родителей, похоже, не расстраивало это отступление из предместий, этот явный урон их общественному положению — или экономическому статусу, или светскому, или любой другой мере того, что составляет в американской жизни успех или провал, — а это избавило его от обязательства расстраиваться за них, ибо, если уж совсем по правде, что так, что эдак — ему это было глубоко безразлично.

Мать смеялась. Мы не только вернулись в Ньюарк, сказала она, — мы опять живем в том же здании, где поселились, еще когда только поженились, Ван-Велсор-плейс, 25. Не в той же квартире, но на том же этаже, на третьем, прямо через коридор оттуда, где ты провел первые три года своей жизни. Довольно поразительно, скажи? Интересно, ты хоть что-нибудь с тех времен помнишь? Точно такая же квартира, Арчи. Не та же, но очень похожа.

Через час, когда Фергусон шагнул в трехкомнатную квартиру на третьем этаже дома 25 по Ван-Велсор-плейс, его изумило, до чего уютно и обжито здесь все ощущалось, хотя времени прошло совсем немного. Всего за три недели его родителям удалось здесь обустроиться, и по

сравнению с узостью и теснотой *chambre dix-huit* габариты квартиры поражали своей огромностью. Не сравнится с домом в Монклере, конечно, но достаточно просторно.

Ну, Арчи? — спросила мать, пока он бродил из комнаты в комнату, что-нибудь вспоминается?

Фергусону бы очень хотелось придумать какой-нибудь меткий ответ, отозвавшийся бы на ту надежду, что звучала в материном голосе, но он сумел лишь покачать головой и улыбнуться.

Он не помнил ничего.

4.2

4.3

Лето 1962 года началось с поездки в даль и закончилось второй поездкой в еще более далекую даль, четыре путешествия туда и назад по воздуху, что привели Фергусона в Калифорнию (самостоятельно) и в Париж (с матерью и Гилом), где он провел в общей сложности две с половиной недели — и не пришлось беспокоиться о том, что он рискует столкнуться с Энди Коганом. Между этими путешествиями он сидел дома, на Риверсайд-драйве, старался не показываться в «Талии», но ходил на как можно больше старых

и новых фильмов, участвовал в двух уличных баскетбольных лигах и по настоянию Гила впервые читал американскую литературу двадцатого века («Баббитт», «Манхаттан», «Свет в августе», «В наше время», «Великий Гэтсби»), но для пятнадцатилетнего Фергусона, кому Энди Коган ни разу не попался на глаза за все месяцы между его первым и вторым годами старших классов, самой памятной частью лета все равно стало полетать впервые самолетами, увидеть то, что он повидал, и заниматься тем, чем он занимался в Калифорнии и Париже. *Памятное*, конечно, не означало, что все его воспоминания были хороши, но даже худшее, то воспоминание, что продолжало причинять ему больше всего боли, вызвано было переживанием, оказавшимся для него поучительным, и теперь, когда Фергусон урок свой выучил, он надеялся, что больше никогда не совершит подобной ошибки.

Поездка в Калифорнию стала подарком тети Мильдред, некогда неуловимой и таинственной родственницы, что бойкотировала свадьбу собственной сестры в 1959-м и, казалось, не желала иметь ничего общего с остальной семьей, но после того гадкого, необъяснимого пренебрежения она возвращалась в Нью-Йорк дважды: один раз

на похороны отца в 1960-м, а потом опять, на похороны матери в 1961-м, и теперь вновь вернулась к своим, опять была в сносных отношениях со своей сестрой и в превосходных — со своим новым зятем, и все ее поведение настолько изменилось, что при втором визите она добровольно явилась на ужин в квартиру на Риверсайд-драйве, где одним из гостей оказался ее бывший супруг Пол Сандлер, бывший дядя Фергусона, так и оставшийся близким другом всего семейства Адлеров-Шнейдерманов, — Пол Сандлер в обществе не абы кого, а своей второй жены, прямолинейной, откровенной художницы по имени Джудит Богат, и на Фергусона произвело большое впечатление, насколько непринужденной и всем довольной казалась на том ужине его тетя: обменивалась любезностями со своим бывшим так, словно и не было у них никакой совместной истории, обсуждала с Гилом строительство еще не завершенного «Центра Линкольна», действительно соизволила сказать сестре комплимент по поводу каких-то ее недавних фоторабот и задавала Фергусону всевозможные дружелюбные, но непростые вопросы о фильмах, баскетболе и муках юности, что и привело ко внезапному, спонтанному приглашению навестить ее в Пало-

Альто — *за ее счет*, — и так вот они и условились, что племянник после окончания учебного года прилетит туда провести с нею неделю. Через два часа, когда последние гости растворились в ночи, Фергусон спросил у матери, почему тетя Мильдред теперь кажется такой другой, такой *счастливой*.

Думаю, она влюблена, ответила его мать. Не знаю никаких подробностей, но она пару раз упоминала кого-то по имени Сидней, и у меня такое чувство, что они, возможно сейчас живут вместе. С Мильдред нипочем не угадаешь, но, бесспорно, нынче она и впрямь в хорошем настроении.

Он рассчитывал, что тетя встретит его в аэропорту, но в тот день, когда он приземлился в Сан-Франциско, у выхода из терминала его дожидался кое-кто другой: женщина помоложе, лет, быть может, двадцати пяти — двадцати шести, она стояла у дверей, подняв в руке книжку Мильдред о Джордж Элиот, миниатюрная, на вид бойкая, почти хорошенькая девушка с короткими каштановыми волосами, одетая в подвернутые на щиколотках синие джинсы, красно-черную клетчатую рубашку, двуцветные сапожки из крокодиловой кожи с острыми носами, а на шее у нее была повязана желтая бандана, — первая

жительница Запада для Фергусона, настоящая гуртовщица!

Сидней, о котором ему сказала мать, в действительности оказался *Сидни*, девушкой Сидни по фамилии Мильбанкс, и пока она сопровождала усталого путешественника из терминала и вела его к машине на стоянке, эта молодая женщина пояснила, что Мильдред в этом квартале ведет летние занятия, а сейчас ее задержали в студгородке на совещании отделения, но через пару часов она освободится и придет к ним домой на ужин.

Фергусон сделал первый глоток калифорнийского воздуха и спросил: А вы кухарка?

Кухарка, экономка, массажистка и сопостельница, ответила Сидни. Надеюсь, тебя это не шокирует.

Правда заключалась в том, что Фергусона это все-таки слегка шокировало — ну, или, по крайней мере, удивило, а то и, быть может, сбило с толку, поскольку он впервые в жизни слышал, чтобы вместе жили люди одного пола, и никто никогда не говорил ему, даже малейшего намека не отпускал, что его тетя втайне предпочитает телам мужчин тела женщин. У развода с дядей Полом теперь возникло объяснение — или же

просто казалось, что оно объяснение, однако еще интересней было то, что гуртовщица Сидни не видела никакого смысла в том, чтобы скрывать от него правду, и в этой ее откровенности было что-то достойное восхищения, подумал он, — хорошо же не стыдиться того, что ты *другой*, — и потому Фергусон не стал признаваться, что немного шокирован или смущен таким нежданным откровением, а улыбнулся и ответил: Нет, вовсе нет. Я просто рад, что тетя Мильдред больше не одна.

Поездка из аэропорта Сан-Франциско до дома в Пало-Альто заняла минут сорок, и, мча по автотрассе в своем бледно-зеленом «саабе», Сидни рассказывала Фергусону о том, как она познакомилась с Мильдред несколько лет назад, когда опять искала, где жить, и сняла квартиру над гаражом, примыкавшим к ее дому. Иными словами, встреча была случайна, ее нипочем бы не произошло, не наткнись она на четыре строки мелким шрифтом в газете, но уже совсем немного погодя после того, как устроилась на новом месте, они подружились, а еще через пару месяцев влюбились друг в дружку. Ни та ни другая раньше не бывали с женщинами, но вот, будьте любезны, сказала Сидни, университетского препода и школьную училку третьего класса, женщину

за сорок и женщину, которой нет еще тридцати, еврейку из Нью-Йорка и методистку из Сандаски, Огайо, закружило в величайшем романе всей их жизни. Больше всего во всем этом ставит в тупик, продолжала Сидни, что в прошлом она никогда не думала о женщинах, она всегда была такой девчонкой, кто с ума сходит по мальчишкам, и даже теперь, когда уже почти три года как *сошлась* с женщиной, она по-прежнему не считает себя лесбиянкой, она просто человек, влюбленный в другого человека, а раз этот другой человек красив, чарующ и не похож больше ни на кого на свете, какая разница, кого она, Сидни, любит, мужчину или женщину?

Вероятно, ей не следовало так с ним разговаривать. Несомненно, было в этом что-то неуместное, а то и непристойное: взрослая женщина делится таким сокровенным с пятнадцатилетним мальчишкой, — но пятнадцатилетнего Фергусона ее откровенность привела в восторг, ни в какой момент его отрочества никакой взрослый не бывал с ним настолько честен по поводу хаоса и двусмысленностей эротической жизни, и, хоть он и познакомился с Сидни Мильбанкс только что, Фергусон тут же решил, что она ему нравится, она ему очень нравится, а поскольку сам он

последние несколько месяцев старался справиться с теми же самыми трудностями, изо всех сил пытался вычислить, где именно сам располагается в мальчико-девочковом спектре желания и принадлежит ли он к диапазону мальчиков и девочек, или мальчиков и мальчиков, или девочек и мальчиков взаимозаменяемо, он чуял, что эта калифорнийская гуртовщица, эта любительница как мужчин, так и женщин, эта личность, только что возникшая в его жизни и везшая его теперь домой к тете в Пало-Альто, может оказаться тем человеком, с кем можно будет поговорить без страха быть высмеянным, оскорбленным или неверно понятым.

Согласен, сказал Фергусон. Не имеет значения, мужчина это или женщина.

Немногие так считают, Арчи. Ты же сам это знаешь, правда?

Да, знаю, но я — не многий, я это я, а со мной самое дикое в том, что единственный секс, что у меня пока был, случился с другим мальчиком.

Это обычно для людей твоего возраста. Настолько обычно, что тебе даже не следует из-за этого беспокоиться — это на тот случай, если ты *беспокоился*. Что ж еще мальчишке делать, верно?

Фергусон рассмеялся.

Надеюсь, тебе хотя бы понравилось, сказала Сидни.

Само *оно* мне понравилось, но немного погодя мне перестал нравиться *он*, поэтому я положил этому конец.

И теперь ты не понимаешь, что же дальше?

Пока мне не выпадет возможность сделать это с девушкой, я ж и не пойму, что дальше.

Так себе веселье, когда тебе пятнадцать, да?

Есть в этом кое-что хорошее, наверное.

Правда? Что, например?

Фергусон прикрыл глаза, на долгий миг умолк, а потом повернулся к ней и ответил: Лучшее в том, что тебе пятнадцать, то, что пятнадцать тебе — не дольше года.

В Калифорнии не было ни мух, ни комаров, а воздух Пало-Альто пах, как бонбоньерка с леденцами от кашля, пряно-сладкими пастилками для горла с ароматом эвкалипта, поскольку эвкалипты, оказалось, растут здесь повсюду, испускают всепроникающий запах, который, похоже, прочищает тебе носовые пазухи всякий раз, когда вдыхаешь. «Викс ВапоРаб» бесплатно выпущен в атмосферу северной Калифорнии ради здоровья и счастья человеческого населения!

Сам же городок, напротив, Фергусону показался

причудливым — не реальным местом, а скорее представлением о месте, где живут люди, квазигородским-квазипредместным поселением, разработанным планировщиком, нетерпимым к грязи или несовершенству, отчего городок показался скучным и неестественным, эдаким старомодным маленьким Жутьвиллем, населенным людьми с аккуратными стрижками и ровными белыми зубами, все до единого одеты в симпатичную на вид, крайне современную повседневную одежду. К счастью, Фергусон много времени в самом городке не провел — один раз съездил с Сидни за провизией в крупнейший, опрятнейший, прекраснейший супермаркет, какой когда-либо видал, один раз на бензоколонку заправить ее допотопный «сааб» с двигателем от газонокосилки (семь частей бензина на одну часть масла, и то и другое заливается прямо в бензобак), и дважды в местный художественный кинотеатр, смотреть фильмы проходившего на той неделе «Фестиваля Кароль Ломбард» («Мой слуга Годфри», «Быть или не быть»), главным образом потому, что Сидни была убеждена: Мильдред очень сильно походила на Кароль Ломбард, что, как по некотором размышлении вынужден был признать Фергусон, более-менее так и есть,

но какими же великолепными комедиями были те фильмы, и теперь, когда Фергусон их посмотрел, у него появилась не только новая актриса для обожания, но и некое новое понимание тети Мильдред, хохотавшей на тех сеансах громче всех в зале, а поскольку мать Фергусона часто рассказывала ему, как ее старшая сестра в старину насмехалась над нею за то, что она так любит кино, ему стало интересно, не любовь ли както смягчила отношение его тети к тому, что та некогда называла *мусорной потехой для подонков общества*, или же она всегда была ханжой, помыкала сестренкой, утверждая безупречность своего вкуса и высший здравый смысл во всем, а сама меж тем втихую наслаждалась той же дрянью, что и все прочие.

Дважды они втроем выезжали из Пало-Альто и отправлялись на весь день на экскурсии в черном «пежо» тети Мильдред, сначала — к горе Тамальпаис в среду, а обратно — вдоль побережья, с двухчасовым заездом в Бодега-Бей, где они поужинали в ресторане с видом на воду, а в субботу совершили вылазку в Сан-Франциско, который вызвал у потрясенного Фергусона десятки туристских воплей, пока они ездили вверх-вниз по крутым холмам, а потом закатились пообе-

дать в китайский ресторан, где Фергусон впервые поел дим-сум (еда эта оказалась так хороша на вкус, что у него слезы из глаз брызнули, пока он набивал себе живот тремя разными сортами пельменей, — слезы благодарности, слезы радости, слезы острого соуса, нахлынувшие ему в ноздри), но по большей части Мильдред на той неделе была занята своими уроками и студенческими совещаниями, а это означало, что, пока она не возвращалась домой ужинать в шесть или половину седьмого, Фергусон оставался либо один, либо с Сидни, у которой в школе как раз были десятидневные каникулы, как и у него самого, и, поскольку Сидни признавалась в том, что *она самый ленивый человек на свете*, а титул этот, Фергусон всегда считал, принадлежит исключительно ему, почти все время они проводили, растянувшись на одеялах на дворе за домом, одноэтажным оштукатуренным коттеджем с терракотовой крышей, или же в самом доме, приятно заваленном книгами и пластинками, — это у Фергусона был первый дом, куда он попал, где не было телевизора, — и вот, пока дни шли, он узнавал Сидни получше, и его интриговало, что почти хорошенькая гуртовщица постепенно превращалась в хорошенькую гуртовщицу, а затем

и длинноватый нос, который он сначала счел за недостаток, стал поражать его своею привлекательностью и отчетливостью, а серо-голубые глаза, что некогда казались такими обычными, теперь выглядели живыми и полными чувства. Он знаком с нею всего несколько дней, но уже думал, что они друзья — совершенно так же, воображал он, как друзьями когда-то были они с двоюродной сестрой Франси, в том давнем мире до ньюаркского пожара.

Так оно продолжалось первые пять дней его визита, то есть три дня, что не ушли на поездки в машине Мильдред, спокойные деньки без особых событий, когда Фергусон и Сидни валялись на заднем дворе и болтали обо всем, что бы ни приходило им в головы — не только о том, кто с кем поебался и зачем, но еще и о детстве Сидни в Огайо и двойном детстве Фергусона в Нью-Джерси и Нью-Йорке, о том, как по-разному рассказываются истории в книгах и кино, и о наслаждениях и разочарованиях обучения детишек, о том, как Мильдред будоражит и нервирует то, что ее племянник гостит у нее в доме, будоражит по очевидным причинам, но нервирует потому, что она не уверена, следует ли знакомить сына своей сестры с тем, как она теперь живет,

что объясняло, почему она попросила Фергусона ночевать в квартире над гаражом, пока тот живет у них, *чтобы мальчика ничего не смущало*, как она выразилась, имея в виду собственное смущение, а когда Фергусон спросил у Сидни, почему та взяла и рассказала ему всю историю сразу же, как только подобрала его в аэропорту, хорошенькая гуртовщица ответила: Терпеть не могу лукавства, вот почему. Это означает, что ты не веришь в собственную жизнь или боишься собственной жизни, а я в свою жизнь верю, Арчи, и не хочу ее бояться.

Около четырех часов они брали себя в руки и забредали на кухню приниматься готовить ужин, продолжая разговаривать, пока резали лук и чистили картошку, между ними двенадцать лет разницы, что, как это ни парадоксально, гораздо больше тех пятнадцати лет, что разделяли Сидни и Мильдред, но, несмотря на все это, они с Сидни были ближе друг дружке по духу, чем Сидни с Мильдред, как это ощущал Фергусон, оба — дворняги рядом с чистокровкой из Станфордского университета, скорее тут вопрос темперамента, а не возраста, полагал он, но, когда Мильдред наконец возвращалась домой в шесть или полседьмого, Фергусон внимательно

присматривался к тому, как обе женщины взаимодействуют при нем между собой, сознавая, что Мильдред делает вид, будто не связана с Сидни так, как, Фергусон знал, она связана, а Сидни упрямо пренебрегала распоряжением притворяться, осыпая его тетю нежностями, которые, казалось, с каждым днем смущают Мильдред все больше и больше, всеми этими *дорогушами, ангелочками* и *пирожочками*, что, несомненно, той были бы приятны, если б за столом сейчас не сидел с ними он, и после пяти дней Фергусон ощутил, что они сцепились в безмолвной ссоре, вызванной его присутствием, и вечером шестого дня, предпоследнего дня его визита, все более встревоженная и расстроенная Мильдред выпила за ужином слишком много вина и, в итоге, утратила самообладание — утратила его, потому хотела утратить, и вино ей потребовалось, чтобы вытолкнуть себя за край, а самым удивительным в ее выплеске было то, что не на Сидни накинулась она, а на своего племянника, словно это он стал причиной ее неприятностей, и в тот же миг, когда началась атака, Фергусон понял, что Сидни разговаривала с ней у него за спиной, что гуртовщица его предала.

С каких это пор ты болгарин, Арчи? — спросила

Мильдред.

Болгарин? — переспросил Фергусон. Ты это о чем?

Ты же читал «Кандида», нет? Разве ты не помнишь болгар?

Что-то я тебя не очень понимаю.

Буглаки-болгары. Отсюда и пошло это слово, знаешь. Болгар, буг-лак. Буглачить.

И что это должно означать?

Мужчин, ебущих других мужчин в жопу.

Я по-прежнему не понимаю, о чем ты говоришь.

Мне птичка начирикала, что ты пежишь других мальчиков. Или, возможно, другие мальчики пежат тебя.

Птичка?

В этот миг в беседу вмешалась Сидни и сказала: Оставь его в покое, Мильдред. Ты напилась.

Нет, не напилась, ответила Мильдред. Я слегка опьянена, и это дает мне право говорить правду, а вся правда тут в том, возлюбленный мой Арчи, правда в том, что ты еще слишком молод, чтоб идти по этой дорожке, и если ты не возьмешься за ум, то превратишься в педика, даже сам еще толком не поняв, а потом возврата уже не будет. В этой семейке и без того педиков хватает, боюсь,

и еще один нужен нам в последнюю очередь.

Не произнеся ни слова, Фергусон встал из-за стола и пошел вон из комнаты.

Ты куда это? — спросила Мильдред.

Подальше от тебя, сказал Фергусон. У тебя нет ни малейшего понятия, о чем ты говоришь, и я не обязан сидеть тут и выслушивать эту белиберду.

Ох, Арчи, сказала Мильдред, вернись. Нам нужно поговорить.

Нет, не нужно. С меня хватит разговоров с тобой.

Фергусон выскочил за дверь, давя в себе слезы, собиравшиеся в глазах, и, когда дошел до коридора в передней части дома, свернул влево и пошел по выложенному плиткой вестибюлю, покуда не достиг гостевой спальни в дальнем его конце. Издалека слышал он, как Мильдред и Сидни спорят у него за спиной, но не прислушивался к тому, что они говорят, а когда вошел в комнату и закрыл за собой дверь, голоса их приглушились настолько, что слов было уже не разобрать.

Он сел на кровать, закрыл лицо руками и начал всхлипывать.

Никаких больше секретов никому, сказал он себе, никаких неосмотрительных исповедей, никакой больше веры людям, которым не сле-

дует доверять. Если он не может сказать чего-то всем на свете — станет держать рот на замке и не говорить такого никому.

Теперь он понимал, почему его мать всегда тянулась к своей старшей сестре — и почему та ее вечно разочаровывала. Там столько разума, говорил он себе, столько юмора, когда она бывала к нему расположена, столько щедрости, когда она бывала готова быть щедрой, но Мильдред умела становиться мерзкой, гаже любого другого человека на свете, и вот теперь Фергусона ошпарило этой ее мерзостью, он не хотел больше иметь с ней ничего общего и отныне вычеркивал ее из своего списка. Никакой больше тети Мильдред — и никакой Сидни Мильбанкс, которая была вроде бы таким многообещающим другом, — но как можно дружить с человеком, кто лишь кажется тебе другом, а на самом деле вовсе не он?

Мгновение спустя к нему в дверь уже стучалась Сидни. Он знал, что это Сидни, потому что та звала его по имени, спрашивала, все ли у него в порядке, спрашивала, можно ли ей зайти и с ним поговорить, но Фергусон ответил «нет», он не хочет ни видеть ее, ни с нею разговаривать, он хочет только, чтоб она оставила его в покое, но, к сожалению, в двери не было замка, и Сидни

все равно зашла, приоткрыв дверь так, что он разглядел ее лицо и слезы, струившиеся у нее по щекам, и затем она вошла в комнату полностью, извиняясь за то, что натворила, повторяя: прости, прости, прости.

Отъебись от меня, *птичка*, сказал Фергусон. Наплевать мне на твои извинения. Просто оставь меня в покое.

Я глупое трепло, сказала Сидни. Как только рот раскрываю, уже не знаю, когда остановиться. Я не хотела, Арчи, клянусь тебе, не хотела.

Хотела, конечно. Разбалтывать тайну само по себе плохо, а еще и врать при этом — еще хуже. Так что не начинай еще и врать, ладно?

Как же мне тебе помочь, Арчи?

Никак. Уходи, и все.

Прошу тебя, Арчи, дай мне что-нибудь для тебя сделать.

Помимо того, чтоб ты убралась из комнаты, я хочу лишь одного.

Скажи чего, и оно твое.

Бутылку скотча.

Ты это не всерьез.

Бутылку скотча, желательно — нераспечатанную, а если уже открыта, то чтоб как можно полнее.

Тебе будет плохо.

Слушай, Сидни, либо ты мне ее принесешь, либо я схожу и возьму сам. Но я бы предпочел сейчас не выходить, потому что в соседней комнате моя тетка, а я не желаю ее видеть.

Ладно, Арчи. Дай мне несколько минут.

Вот так Фергусон раздобыл себе скотч, полупустую бутылку «Джонни Вокера-красного», которую ему своими руками доставила Сидни Мильбанкс, полупустую бутылку, о которой Фергусон предпочитал думать как о наполовину полной, и как только Сидни вновь вышла из комнаты, он взялся пить скотч и продолжал его пить мелкими, медленными глоточками, пока в щели жалюзи не пролезли первые щепки зари, а бутылка не опустела, и вторично за тот год Фергусон выблевал свой запой на пол чужого дома и отключился.

В Париже было иначе. Париж весь был ощущением того, что ты в Париже, бродишь по улицам с матерью и Гилом, присутствуешь на открытии первой самостоятельной материной выставки в *«Galerie Vinteuil»* на рю Бонапарт, два вечера проводишь со старой подругой Гила по имени Вивиан Шрайбер, выясняешь, что, несмотря на четверки и четверки с плюсом в Риверсайдской

академии, французскому выучился достаточно, чтобы не теряться в разговоре, решаешь, что Париж — тот город, где со временем захочется жить. После целого лета, когда он смотрел старые и новые французские фильмы, невозможно было ходить по улицам Монмартра и не думать о том, что вот-вот столкнешься с Антуаном Дуанелем из «400 ударов», пройти по Елисейским Полям, не надеясь миновать роскошную Джин Сиберг, пока она расхаживает взад-вперед в белой футболке, торгуя экземплярами «Геральд Трибюн» — той же газетой, в которой работал его отчим! — или скользить меж берегов Сены, поглядывать на лотки *bouquinistes* и не вспоминать коротышку-книготорговца, ныряющего в воду спасти бродягу Мишеля Симона в «Будю, спасенном из воды». Париж был кинофильмом о Париже, совокупностью всех парижских кинолент, какие видел Фергусон, и до чего же вдохновляло его оказаться теперь в доподлинном месте, настоящем во всей его роскошной и дразнящей настоящести, и все же ходить везде, ощущая, что место это еще и воображаемо, оно как у него в голове, так и в воздухе, окружающем его тело, одновременно *тут* и *там*, черно-белое прошлое и цветное настоящее, и Фергусону доставляло удовольствие

перескакивать между тем и другим, мысли его временами скакали так быстро, что одно и другое сливались воедино.

Необычно было, что выставка открывалась в конце августа, когда половина обитателей Парижа еще не вернулась в город, но в расписании галереи то был единственный зазор — с двадцатого августа по двадцатое сентября, — и мать Фергусона с радостью согласилась, зная, что директор сделал все от него зависевшее, чтобы *впихнуть ее*. Всего сорок восемь изображений, где-то половина — из ранее опубликованных работ, а половина — из новой книги, которая выйдет на будущий год, «Безмолвный город». Фергусону уже сообщили, что он — герой одной фотографии, но все равно его как-то выводило из равновесия видеть себя, висящего на дальней стене, когда он входил в галерею, старую знакомую фотографию, которую его мать сделала семь лет назад, в дни еще до Гила, когда они жили вместе в квартире на Западной Центрального парка, общий план Фергусона сзади, он сидит на полу и смотрит по телевизору Лорела и Гарди, восьмилетний торс обтянут полосатой футболкой с коротким рукавом, а самое трогательное в том снимке, озаглавленном одним словом *Ар-*

чи, — изгиб его тощей спины, каждый позвонок торчит под футболкой, отчего создается впечатление детской беззащитности, портрет оголенного существа, маленького мальчика, замкнутого в полной сосредоточенности перед паяцами в котелках на экране, а стало быть — не ведающему ни о чем другом вокруг себя, и как же Фергусон гордился своей матерью за то, что та сделала такой хороший снимок, который мог бы оказаться всего-навсего обычной банальной фотокарточкой, но не оказался, как сорок семь остальных работ, выставленных в тот вечер, и пока Фергусон смотрел на себя, юного и безликого, сидящего на полу в квартире, где больше они не жили, он не мог не возвратиться к месяцам занятного междуцарствия и своему бедствию в школе Гиллиард и не вспомнить, как Бога в качестве верховного существа у него в уме заменила мать, человеческое воплощение божественного духа, несовершенное и смертное божество, подверженное капризам и беспокойным смятениям, какие донимают всех людей, но поклонялся он своей матери потому, что она была единственной, кто *ни в чем его не подводил*, и сколько б раз ни разочаровывал ее он сам, ни оказывался не тем, каким бы ему следовало быть, она никогда не переставала его

любить — и не перестанет его любить до самого конца жизни.

Хорошенькая и дерганая, сказал себе Фергусон, наблюдая за матерью: та улыбалась, кивала и здоровалась за руку с гостями, собиравшимися на *vernissage*, привлекший около сотни человек, несмотря на августовские отпуска, большую и шумную толпу, втиснувшуюся в маловатое выставочное пространство галереи, шумную потому, что восемь или девять десятков человек, сюда пришедших, очевидно, больше интересовало поговорить друг с дружкой, чем разглядывать картинки на стенах, но то было первое открытие чего бы то ни было, на каком присутствовал Фергусон, и он не был знаком с протоколом таких сборищ, с изощренным ханжеством предполагаемых любителей искусства, пришедших на художественную выставку для того, чтобы не обращать внимания на выставленные художественные работы, и если бы молодой бармен, подававший напитки на столе в углу зала, не был любезен настолько, что налил Фергусону бокал *vin blanc*, за которым через двадцать минут последовал и другой, Фергусон бы наверняка ушел оттуда в знак протеста, поскольку то было важное событие для его матери, и ему хотелось, чтобы все

тут не отрывали глаз от работ Розы Адлер, чтоб те их завораживали до такой степени, что каждый был бы оглушен ими до потери дара речи, и когда такого не произошло, Фергусон встал в углу, чувствуя себя обманутым и преданным, ему слишком уж недоставало опыта, чтобы понять: маленькие красные точки, приклеенные рядом с рамами на стенах, означали, что эти работы уже проданы, а у его матери тем вечером превосходное настроение, и ее ничуть не смущает болтовня и шум этих грубых, невежественных людей.

Где-то посреди своего второго *vin blanc*[52] Фергусон увидел, как толпу рассекает Гил, обхватив рукой за плечо какую-то женщину. Они вдвоем направлялись к нему, медленно продвигались к столу с выпивкой, невзирая на мешавшие им тела, и когда подошли ближе и Фергусон заметил, что они улыбаются, он сообразил, что женщина, должно быть, — старая подруга Гила Вивиан Шрайбер. Гил уже рассказывал ему что-то о ней, но Фергусон не слишком внимательно слушал и почти ничего из истории не удержал в голове, а та была довольно причудлива, насколько ему помнилось, что-то про войну и старшего брата

[52] Сноски: 52
Белое вино (*фр.*).

Вивиан Дугласа Ганта или Гранта, который служил в разведывательном подразделении Гила и был его ближайшим другом, и так или иначе, но Гил *подергал за ниточки*, что позволило Вивиан, гораздо более младшей сестре его гораздо более младшего армейского товарища, въехать во Францию в сентябре 1944 года, всего через месяц после освобождения Парижа и через три месяца после выпуска из колледжа в Соединенных Штатах. Зачем Вивиан понадобилось ехать во Францию, для Фергусона оставалось неясным, но вскоре после приезда сюда она вышла замуж за Жана-Пьера Шрайбера, французского гражданина, родившегося у немецко-еврейских родителей в 1903 году (из этого выходило, что он на двадцать лет старше Вивиан), которому удалось избежать ареста немцами и/или вишистской полицией потому, что всего за несколько дней до падения Франции он уехал в нейтральную Швейцарию, и, если верить тому, что Гил рассказал Фергусону, Шрайбер был богат, или до этого был богат, или вскоре вновь разбогател из-за возрожденного предприятия их семьи по экспорту вин, или выращивания вин, или бутилирования вин, или еще какого-то коммерческого предприятия, не имевшего никакого отношения к сбору или

продаже винограда. Детей нет, говорил Гил, но успешный брак их длился до конца 1958 года, когда подтянутый и моложавый Шрайбер неожиданно рухнул замертво, пока бежал, чтобы успеть на самолет в аэропорту Орли, отчего Вивиан стала молодой вдовой, и теперь, продав долю своего мужа в деле двум его племянникам, она стала зажиточной молодой вдовой и, добавил он, *самой очаровательной и образованной женщиной во всем Париже, моим замечательным другом*.

Все эти факты, или частичные факты, или антифакты болтались в голове у Фергусона, пока Гил и Вивиан Шрайбер приближались к тому месту, где стоял он. Его первым впечатлением о замечательном друге стало то, что она попадала в тройку или четверку самых красивых женщин, каких он видел в жизни. Затем, когда они подошли ближе и Фергусон сумел подробнее разглядеть черты ее лица, он осознал, что она не столько красива, сколько эффектна, тридцативосьмилетняя женщина, испускавшая лучистую ауру уверенности и непринужденности, чьи одежда, макияж и прическа были настолько изысканно и неброско обустроены, что, казалось, не требовали никаких усилий с ее стороны, чтобы достигать того воздействия, какое они оказывали, и она

не просто занимала пространство в помещении, где все стояли, а, казалось, господствовала над залой, владела ею, как, несомненно, повелевала всеми комнатами, куда ей случалось войти, где угодно на свете. Мгновение спустя Фергусон уже здоровался с нею за руку, смотрел в ее большие карие глаза и вдыхал приятные запахи ее духов, витавшие вокруг ее тела, а сам слушал необычайно грудной голос, каким она говорила, насколько большая честь для нее с ним познакомиться (честь!), и вдруг для Фергусона все засияло ярче, ибо Вивиан Шрайбер уж точно личностью была исключительной, чем-то вроде полноценной кинозвезды, и знакомство с ней просто обязано было что-то изменить в его прискорбно неисключительной пятнадцатилетней жизни.

Вивиан присутствовала на ужине, последовавшем за открытием, но за столом в ресторане сидело двенадцать человек, а Фергусон располагался слишком далеко от нее, и ему не выпало возможности с нею поговорить, поэтому он удовольствовался тем, что всю трапезу наблюдал за ней, отмечая, до чего старательно ее соседи слушают все, что она говорит, когда бы ни вставляла она что-нибудь в беседу, и разок-другой она смотрела на него и видела, что он на нее смот-

рит, и улыбалась, но помимо этого — и помимо известия, разошедшегося с его края стола, о том, что Вивиан купила шесть фоторабот его матери (включая «Арчи»), — никакого контакта между ними в тот вечер не было. Три вечера спустя, когда Фергусон, его мать и Гил встретились с Вивиан поужинать вместе в *«La Coupole»*, никаких препятствий к обмену разговорами и слушанием уже не возникло, но Фергусон отчего-то робел и в присутствии Вивиан чувствовал себя ошеломленным, сам говорил мало, предпочитая слушать общую беседу троих взрослых, которым было что сказать друг дружке, о чем угодно, включая материны фотографии, которые Вивиан превозносила как *безупречнейше человечные и до жути непосредственные*, и старшего брата Вивиан, Дугласа Ганта или Гранта, работавшего морским биологом в Ла-Джолле, Калифорния, и о том, насколько Гил продвинулся в своей книге, которую писал о струнных квартетах Бетховена, и о собственной работе Вивиан над книгой, какую писала она, — о художнике восемнадцатого века по имени Шарден (который все еще был неизвестен Фергусону на том рубеже, но ко времени отъезда Фергусона из Парижа четыре дня спустя он не почел за труд посмотреть в Лувре

всех Шарденов и впитал в себя тот таинственный факт, что глядеть на стакан воды или глиняный кувшин на раскрашенном холсте может быть увлекательнее и значительнее для души, чем разглядывать распятого сына Божьего на таком же раскрашенном прямоугольнике), но пусть даже Фергусон по преимуществу молчал за ужином, он был внимателен и счастлив, полностью погружен в то, о чем говорили остальные, и насколько же нравилось ему сидеть в *«La Coupole»*, в этой громадной пещере ресторана с белыми скатертями и деловитыми официантами в черно-белых униформах, а люди вокруг говорили все разом, столько людей разговаривали и посматривали друг на дружку одновременно, сильно нарумяненные женщины со своими собачками, и хмурые мужчины, курившие «Житан» одну от одной, и чрезмерно разряженные пары, что, казалось, проходят прослушивания к пьесе, в которой они играют главных героев, *монпарнасская сцена*, как ее назвала Вивиан, нескончаемая *jeu de regard*[53], а вот Джакометти, сказала она, а вон актер, сыгравший во всех пьесах Беккета, а там еще один артист, чья фамилия для Фергусона

[53] Сноски: 53
Игра взглядов (*фр.*).

ничего не значила, но он, должно быть, фигура, известная всем в Париже, а поскольку они в Париже, его мать и Гил позволили ему пить за ужином вино, это же такая роскошь — сидеть в таком месте, где никому нет дела до того, сколько тебе лет, и несколько раз за те два часа, что они провели за своим угловым столиком в ресторане, Фергусон откидывался на спинку и смотрел на мать и Гила и на сияющую Вивиан Шрайбер — и ловил себя на том, что ему хочется, чтобы они вчетвером сидели тут вечно.

После, когда Гил с матерью уже собирались посадить Вивиан в такси, молодая вдова взялась руками за лицо Фергусона, поцеловала его в каждую щеку и сказала: Возвращайся повидаться со мной, когда станешь чуть постарше, Арчи. Думаю, мы сделаемся большими друзьями.

Между путешествиями в Калифорнию и Париж было жаркое лето в Нью-Йорке, баскетбольные игры на свежем воздухе в Риверсайд-парке, четыре или пять вечеров в неделю — в кинотеатрах с кондиционированным воздухом, мелкие и крупные американские романы, которые Гил продолжал оставлять на тумбочке у его кровати, и скверное планирование, от которого он застрял в городе в то время, когда все его школьные дру-

зья куда-нибудь разъехались на июль и август, не говоря уже о девятнадцатилетнем Джиме, работавшем вожатым в лагере где-то в Массачусетсе, и сбивавшей с толку, вечно неуловимой Эми, кому удалось сплавить себя в Вермонт участвовать в двухмесячной программе погружения во французский язык, а именно это должен был сделать и он — и, несомненно, сделал бы, если бы ему хватило ума предложить такое своей матери и Гилу, а они почти наверняка бы могли себе позволить стоимость обучения, что не по карману было дяде Дану и тете Лиз, но тараторка Эми выманила необходимую наличку у своей бабушки в Чикаго и старого козла из Бронкса, и вот теперь слала ему шутливые, дразнящие открытки из лесов Новой Англии (Cher Cousin, *слово* «con» *по-французски значит не то, что я думала. Английский эквивалент будет «балбес» или «придурок» — а не сам-знаешь-что. В то же время* «queue»*, означающее «хвост», так же значит по-французски сам-знаешь-что. И кстати: как нынче поживает в Нью-Йорке мой любимый кон-бинатор? Достаточно ли тебе жарко, Арчи, или я наблюдаю притворный пот, стекающий у*

тебя со лба? Baisers à mon bien-aimé[54], *Эми*), меж тем как Фергусон протухал в знойных слюнях Манхаттана, не в силах выбраться из еще одного безлюбого прогона мастурбационных грез и мрачно неотступных поллюционных снов.

Самой крупной темой для обсуждений в доме тем летом был «Центр Линкольна» и долгий спор Гила с коллегами из-за нового Зала филармонии, который наконец открывался двадцать третьего сентября. *Гнойный ячмень* (как, бывало, называл его дедушка Фергусона) выступал частью пейзажа Западных шестидесятых столько, сколько Фергусон с матерью жили в Нью-Йорке, — гигантская, тридцатиакровая постройка, зачистившая собой трущобы на деньги Рокфеллера: были подчистую снесены сотни зданий, из квартир вышвырнули тысячи людей, чтобы освободить место для того, что называли *новым очагом культуры*. Горы грязи и кирпичей, паровые экскаваторы и копры, ямы в земле, шум, оглушавший прилегающий район все эти годы, — и вот теперь, когда первое здание шестнадцатиакрового «Центра Линкольна» почти завершили, полемика была готова взорваться одной из злей-

[54] Сноски: 54
Целую своего горячо любимого (*фр.*).

ших публичных перепалок в истории города. Габариты против акустического равновесия, надменность и самонадеянность против математики и разума — и Гил находился в самой гуще всего этого, поскольку вражду спровоцировала «Геральд Трибюн», в частности — двое людей, с которыми он в газете сотрудничал теснее всего, редактор отдела искусств Виктор Лаури и его собрат, музыкальный критик Бартон Кросетти: они повели агрессивную кампанию за увеличение количества посадочных мест в первоначальных планах нового зала, поскольку, упорствовали они, такая великая метрополия, как Нью-Йорк, заслуживает чего-то побольше и получше. Побольше — да, утверждал Гил, но не получше, поскольку акустический дизайн был откалиброван для зала в двадцать четыре сотни мест, а не в двадцать шесть сотен, и, хотя архитекторы и инженеры, отвечавшие за план, говорили, что качество звука станет *иным*, что другими словами значило — *худшим* или *неприемлемым*, город уступил требованиям «Геральд Трибюн» и увеличил размеры зала. Гил усматривал в такой капитуляции невосполнимые потери для будущей оркестровой музыки в Нью-Йорке, но теперь, когда увеличенную версию здания уже

почти достроили, что ему оставалось — лишь надеяться, что результат окажется не настолько бедственным, как он опасался? А если окажется настолько, то есть если результаты будут в точности такими скверными, как он от них и ожидал, то он запустит свою публичную кампанию, сказал он, и бросит все усилия на попытки спасти «Карнеги-Холл», который город уже намеревался сровнять с землей.

Семейная шутка тем летом: Как пишется слово *очаг?* Ответ: б-о-ч-а-г.

Гил мог об этом шутить, потому что иначе оставалось лишь злиться, а разгуливать, таская внутри злость, — скверный способ жить, говорил он Фергусону, это бессмысленно и саморазрушительно, жестоко по отношению к тем людям, кто полагается на то, что злиться ты *не* станешь, особенно если причина для твоего гнева в том, над чем у тебя нет никакой власти.

Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, Арчи? — спросил Гил.

Не уверен, ответил Фергусон. Думаю, да.

(*Не уверен* — тонкий намек на вулканическое извержение Гила, направленное против Маргарет еще на старой квартире на Западной Центрального парка. *Думаю, да* — признание

того, что он после того вечера ни разу не наблюдал, чтобы его отчим терял самообладание в таких масштабах. Объяснить перемену в Гиле могли всего две причины: (1) У него со временем улучшился характер, или (2) Женитьба на матери Фергусона превратила его в человека получше, поспокойнее, посчастливее. Фергусон предпочитал верить во вторую возможность — не только из-за того, что ему хотелось в нее верить, но и потому, что он знал: этот ответ — правильный.)

Не то чтоб этот вопрос был для меня не важен, продолжал Гил. Вся моя жизнь — музыка. Вся моя жизнь — это писать о музыке, исполняемой в этом городе, и если теперь эти исполнения станут хуже из-за дурацких решений, принятых заблуждающимися, пусть и благонамеренными людьми — некоторые из них мои друзья, как ни грустно это признавать, — то, разумеется, я буду злиться, так злиться, что даже подумывал уйти из газеты, лишь бы только дать им понять, насколько всерьез я все это дело воспринимаю. Но что хорошего мне это принесет — или тебе, или твоей матери, или кому бы то ни было еще? Полагаю, без моей зарплаты мы бы прожили, если бы пришлось, но штука тут в том, что мне нравится моя работа, и я не хочу с нее уходить.

И не надо уходить. Там могут возникать какие-то неурядицы, но уходить не нужно.

Все равно долго это не продлится. «Геральд Трибюн» финансово тонет, и сомневаюсь, что газета продержится дольше двух-трех лет. Так и я могу пойти на дно вместе с газетой с таким же успехом. Верный член экипажа до самого конца, буду стоять рядом с безумным капитаном, который завел нас в такие опасные воды.

Ты же шутишь, верно?

С каких это пор я для тебя стал шутником, Арчи?

Конец «Геральд Трибюн». Помню, ты впервые привел меня туда — и как мне там понравилось, как мне до сих пор там нравится всякий раз, когда мы заходим вместе в это здание. Трудно поверить, что больше этого не будет существовать. Я даже подумал… ну, в общем, ладно…

Что подумал?

Не знаю… что однажды… так идиотски сейчас звучит… что однажды я там тоже, в конце концов, работать буду.

Какая прекрасная мысль. Я тронут, Арчи, — глубоко тронут, — но чего ради мальчику с твоими талантами становиться газетчиком?

Не газетчиком — кинокритиком. Так же, как

ты пишешь о концертах, может, я смогу писать о фильмах.

Я всегда воображал, что ты сам станешь снимать свои фильмы.

Это вряд ли.

Но тебе же так нравится…

Я люблю их смотреть, но не уверен, что мне понравится их делать. Делать кино слишком долго, а в этот период у тебя не остается времени смотреть другое кино. Понимаешь, о чем я говорю? Если мне больше всего нравится смотреть кино, значит, лучшая работа для меня будет — смотреть как можно больше фильмов.

Занятия в школе шли уже почти месяц, когда новый зал открылся — гала-концертом оркестра Нью-Йоркской филармонии под управлением Леонарда Бернштейна, событие настолько значимое, что его транслировала «Сиби-эс», живьем на всю страну, в каждый дом Америки. В следующие дни проводили и другие концерты некоторых наиболее почитаемых симфонических оркестров в стране (Бостон, Филадельфия, Кливленд), и к концу недели как пресса, так и публика огласила свой вердикт акустическим свойствам флагманского зала «Центра Линкольна». «ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ФАТУИЗМ», — гласил один

заголовок.
«ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ФИГЛЯРСТВО», — кричал другой. «ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ФИАСКО», — утверждал третий. Этот двойной звук *ф*, очевидно, газетные редакторы сочли неотразимым, если учитывать, насколько аккуратно слетал он с языков равно негодующих любителей музыки, профессиональных спорщиков и барных трепачей. У некоторых, однако, имелось и другое мнение: они уверяли, что результаты не настолько уж и плохи, и вот так начался чемпионат воплей за и против, нецивилизованные дебаты, коими воздух Нью-Йорка будет полниться еще долгие месяцы и годы.

Фергусон следил за всеми этими событиями из верности Гилу, довольный, что отчим оказался на той стороне, которая выигрывала, какой бы урон ни причинил ущербный зал барабанным перепонкам поклонников классической музыки в этом городе, и однажды днем в воскресенье он даже постоял вместе с Гилом и матерью напротив «Карнеги-Холла», держа плакат, гласивший «СПАСИТЕ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА», но по большей части Фергусону все же было безразлично, и мысли его в основном сосредоточивались на требованиях школы и нескончаемого поиска любви,

даже когда все газеты Нью-Йорка закрылись при забастовке типографов, длившейся с начала декабря до последних дней марта, — что он щедро предпочел толковать как давно заслуженный отпуск для Гила.

Эми рассталась со своим прошлогодним парнем — тем, кого Фергусон ни разу не встречал и не знал, как зовут, — но за свое франкофонное лето в Вермонте нашла себе нового *ami intime*[55], который жил в Нью-Йорке, а следовательно, был *disponible pour les rencontres chaque weekend*[56], что вытолкнуло Фергусона из баллотирования еще раз, дисквалифицировало его даже для помыслов о новой атаке на твердыню сердца Эми. То же самое можно было сказать и о других привлекательных девчонках в Риверсайдской академии — все они были заперты и недоступны, точно так же, как и год назад, а это означало, что Изабелла Крафт по-прежнему оставалась не более чем призрачной сильфидой, бегавшей по лесам его воображения, — придуманная другая, что корчилась в свете его ночного стояка, — реальнее, нежели мисс Сентябрь, быть может, но

---

[55] Сноски: 55
Близкий друг (*фр.*).

[56] Сноски: 56
Свободен для встреч каждые выходные (*фр.*).

ненамного.

Если б только Энди Коган не сказал прошлой весной того, что сказал, иногда думал Фергусон, вот бы их простой договор не стал таким неопрятным и невозможным. Не то чтоб ему Энди Коган теперь даже нравился, но как оно все станцовывалось в его предвыпускном классе, те субботние дневные загулы на Западной 107-й улице теперь начинали снова обретать смысл, по крайней мере — если Фергусон задумывался, до чего лучше быть с кем-то, чем без кого-то. С другой стороны, муза Онана ни разу не являлась ему в облике мужского тела. Под одеяло к нему всегда проскальзывала женская личность, ибо если не Изабелла Крафт стаскивала с себя красное бикини и льнула к его коже, то там была Эми, или же — и он находил это донельзя причудливым — там присутствовала Сидни Мильбанкс, двуличная гуртовщица, вонзившая нож ему в спину, или Вивиан Шрайбер, адресовавшая ему примерно сорок семь слов и такая старая, что годилась ему в матери, но, однако, вот же они, две женщины из его странствий через континенты и океаны в июле и августе, и он ничего не мог поделать, чтобы по ночам не впускать ни ту, ни другую к себе в мысли.

Контраст виделся достаточно ясным — жесткая граница между тем, чего он хотел, и тем, что ему позволяли иметь обстоятельства, мягкая плоть женщин, которую по необходимости придется отсрочить еще на год-другой, и твердые херы мальчиков, которыми можно наслаждаться хоть сейчас, если снова представится такая возможность, невозможное, противопоставленное возможному, ночные фантазии против дневной действительности, любовь с одной стороны и подростковая похоть — с другой, все так аккуратно и недвусмысленно, но затем он обнаружил, что черта проведена далеко не так четко, как он предполагал, что любовь может существовать по любую сторону этой умственной границы и способна сделать с ним то, что, как говорила гуртовщица, она сделала с ней, и понять это про себя после того, как он оттолкнул непрошеную любовь Энди Когана, стало для Фергусона потрясением — и напугало его, напугало до того, что он вообще едва понимал уже, кто он такой.

В конце сентября он снова уехал из Нью-Йорка в далекое место — отправился в Кембридж, штат Массачусетс, провести выходные со своим двоюродным братом Джимом. Не по воздуху на сей раз, а пять с половиной часов по земле на двух

автобусах до Бостона с пересадкой в Спрингфильде, его первая поездка междугородним автобусом куда бы то ни было вообще, а затем две ночевки у Джима в комнате в общежитии МТИ, на кровати, какую обычно занимал сожитель Джима, который уехал из студгородка в пятницу утром и не вернется до вечера воскресенья. План был расплывчат. Полюбоваться видами, в спортзале утром в субботу сыграть в баскетбол один на один, посетить несколько лабораторий МТИ, поглядеть на студгородок Гарварда, побродить по Бак-Бей и Копли-сквер в Бостоне, пообедать и/или поужинать на Гарвард-сквер, сходить в кино в театр «Браттль» — нераспланированные выходные, когда все делается по сиюминутному желанию, сказал Джим, поскольку цель визита — *немного поваландаться и провести какое-то время вместе*, а что они делать при этом будут — не важно. Фергусон был в восторге. Нет, больше чем в восторге — он был сам не свой от предвкушения, и одна лишь мысль о том, что он проведет выходные с Джимом, раздвинула тучи, собиравшиеся снаружи над головой, и окрасила небо в яркий, яркий синий цвет. Никого нет лучше Джима, никого нет добрей или щедрей Джима, никто не достоин большего восхищения, чем Джим, и

всю автобусную поездку до Бостона Фергусон размышлял о том, как ему повезло очутиться в той же семье, что и его замечательный сводный кузен. Он любит его, говорил он себе, *он его любит до беспамятства*, — и знал, что Джим ответно любит и его, из-за всех тех субботних утр в Риверсайд-парке, когда тот учил двенадцатилетнего сопляка играть в мяч, хотя мог бы заниматься сотней других дел, он его любит, потому что пригласил в Кембридж больше нипочему, а только *немного поваландаться и провести какое-то время вместе*, и теперь, когда Фергусон отведал наслаждений близости мальчика с мальчиком, он бы что угодно сделал ради того, чтобы оказаться голым в объятьях Джима, чтобы Джим его целовал, чтобы Джим его ласкал, да, чтобы Джим его *буглачил*, а такого ни разу не случалось с мальчиком из Городского колледжа прошлой весной, ибо что бы Джим ни захотел, чтобы Фергусон сделал, он сделает, потому что это любовь, большая, жгучая любовь, какая будет гореть весь остаток его жизни, и если Джим окажется таким обоюдоострым мальчиком, в какого, похоже, теперь превращался сам Фергусон, что было, разумеется, совершенно маловероятно, то поцелуй Джима вознесет его до самих небесных врат, и

да, таковы были слова, какие Фергусон произнес самому себе, когда думал ту мысль посреди своего путешествия в Бостон: *врата небесные*.

То были счастливейшие выходные во всей его жизни — а также самые печальные. Счастливые потому, что с Джимом он чувствовал себя таким защищенным, ему было так надежно в утешительном ореоле спокойствия старшего парня, и во всякий миг он мог рассчитывать на то, что его слушают так же внимательно, как он слушал Джима, который никогда не вынуждал его ощущать себя мельче или ниже себя, не вычитал его из общения. Обильные завтраки в небольшой столовке на другой стороне Чарльза, разговоры о космической программе и математических головоломках, о громадных компьютерах, которые однажды станут такими маленькими, что будут помещаться на ладони, спаренный сеанс Богарта — «Касабланка» и «Иметь и не иметь» в театре «Браттль» в субботу вечером, за столько всего можно быть благодарным в те долгие часы, что они провели друг с другом между вечером пятницы и днем воскресенья, но сквозь все это — постоянная боль знания того, что поцелуй, которого он хотел, ему никогда не достанется, что иметь Джима — это еще и не иметь Джима,

что иметь и не иметь означает никогда не обнажать своих истинных чувств без риска сгинуть в пламени вечного унижения. Хуже всего: глядя на обнаженное тело своего кузена в раздевалке после баскетбола один на один, стоя рядом голым без единой возможности протянуть руку и коснуться пальцами сухощавого, мускулистого тела своей запретной любви, а затем, в воскресенье утром — бесстыдная уловка Фергусона попробовать воду, походив по общежитской комнате без одежды больше часа, соблазн спросить у Джима, не хочет ли тот себе массаж, но на это он так и не осмелился, соблазн сесть к нему на кровать и начать себе дрочить на глазах у Джима, но и на это не осмелился, надежда, что его нагота вызовет у его совершенно гетеросексуального кузена хоть какую-то реакцию, чего она, что уж там говорить, не смогла, ибо Джим тогда уже был влюблен кое в кого другого — в девушку из Маунт-Голиоки по имени Ненси Гаммерштейн, что приехала в воскресенье с ними пообедать, совершенно приличная и разумная девушка, которая в Джиме разглядела именно то, что в нем видел Фергусон, и потому даже в счастье своем Фергусон в те выходные страдал великою скорбью, томился по поцелую, который ему ни-

когда не уделят, и знал, насколько заблуждается, вообще его желая, и когда в воскресенье сидел в автобусе, уносившем его обратно в Нью-Йорк, он немного поплакал, затем, когда зашло солнце и автобус окутала тьма, расплакался сильнее. В эти дни он плачет все чаще и чаще, понял он… и кто он такой? — все время спрашивал себя Фергусон… и что он такое?…и затем вообще упорствует и так осложняет себе жизнь?

Придется выкинуть это из головы или умереть, а поскольку Фергусон не чувствовал себя готовым умирать в пятнадцать с половиной лет, он сделал все, что мог, чтобы выкинуть это из головы, с бессистемным пылом бросившись в вихрь противоречивших друг другу занятий. К тому времени, как начался и две недели спустя закончился кубинский ракетный кризис, когда не упало никаких бомб и не объявили никакую войну, никакой войны в поле зрения вообще не осталось, кроме неизменно Холодной и долгосрочной, Фергусон опубликовал свою первую кинорецензию, выкурил свою первую сигарету и потерял свою девственность с двадцатилетней проституткой в маленьком борделе на Западной Восемьдесят второй улице. На следующий месяц он вошел в команду старшеклассников Риверсайдской ака-

демии по баскетболу, но лишь как один из всего трех второкурсников из десяти участников, он сидел на скамье и редко участвовал более чем в минуте-другой действия каждой игры.

Опубликовал. Материал был не рецензией, а обзором, анализом равных, но контрастирующих достоинств двух фильмов, над которыми Фергусон размышлял последние несколько месяцев. Появился он в убогой, небрежно отпечатанной двухнедельной школьной газете под названием «Риверсайдский бунтарь», восьмистраничной публикации крупного формата, где печатались устаревшие новости о межшкольных спортивных мероприятиях, статьи о бессмысленных школьных противоречиях (ухудшающемся качестве еды в столовой, решении директора запретить включение транзисторных радиоприемников в коридорах на переменах), а также стихи, рассказы и, временами, рисунки учащихся, воображавших себя поэтами, прозаиками и художниками. Куратором-консультантом «Бунтаря» выступал мистер Дунбар, в тот год преподававший у Фергусона английский, и он поощрял оперявшегося синефила — пусть дает столько статей, сколько захочет, — утверждая, что газете отчаянно требуется *свежая кровь*, и

регулярные колонки о фильмах, книгах, живописи, музыке и театре станут *шагом в нужном направлении*. Заинтригованный и польщенный запросом мистера Дунбара, Фергусон взялся за сочинение текста о «400 ударах» и «На последнем дыхании», двух своих любимых французских фильмах последнего лета, а теперь, лично побывав во Франции, он считал само собой разумеющимся, что начнет карьеру кинокритика с того, что напишет о французской «новой волне». Помимо того, что оба фильма сняты черно-белыми и действие их происходит в современном Париже, общего между ними нет ничего. Две эти работы радикально отличаются друг от дружки по тону, чуткости и методике повествования, они настолько различны, что бессмысленно было бы их и сравнивать, а еще более бессмысленно тратить даже один-единственный миг на вопрос о том, какой из этих фильмов лучше. О Трюффо он написал: *душераздирающий реализм, нежный, однако решительный, глубоко человечный, педантично честный, лиричный*. О Годаре вот что: *иззубренный и подрывной, сексуальный, тревожаще насильственный, смешной и жестокий, постоянные внутренние шутки с отсылками к американским фильмам, революционный*. Нет,

писал Фергусон в последнем абзаце, он не займет сторону ни одного фильма, ни другого, потому что любит оба — так же, как любил и вестерны с Джимми Стюартом, и мюзиклы Бусби Беркли, как любил и комедии братьев Маркс, и гангстерские фильмы с Джемсом Кегни. Зачем выбирать? — спрашивал он. Иногда нам хочется вонзить зубы в славный жирный гамбургер, а в другие разы на вкус ничего не бывает лучше сваренного вкрутую яйца или сухой соленой галеты. *Искусство — пир*, завершал он, *и всякое блюдо на столе взывает к нам — просит, чтобы мы его съели и насладились им.*

Выкурил. В воскресенье утром, через неделю после поездки Фергусона в Кембридж, два семейства Шнейдерманов втиснули шесть своих тел во взятый напрокат универсал и поехали на север, в округ Датчесс, где остановились пообедать в Рейнбеке, в «Гербе Бикмана», а потом рассеялись в разные стороны по всему городку. Как обычно, мать Фергусона исчезла вместе со своим фотоаппаратом, и больше ее не видели, пока не настала пора возвращаться в Нью-Йорк. Тетя Лиз направилась к главной топталовке, рыться в антикварных лавках, а Гил и дядя Дан снова забрались в машину, сказав, что им хочется

поглядеть на осеннюю листву, хотя на самом деле они намеревались обсуждать, что им делать со своим престарелым отцом, которому теперь было далеко за восемьдесят, и ему вдруг потребовалась круглосуточная паллиативная забота. Ни Фергусона, ни Эми ни в малейшей степени не интересовало ни бродить по старым мебельным лавкам, ни разглядывать переменчивые оттенки умирающих листиков, поэтому, увидев, что мать Эми сворачивает влево, они свернули направо и шли себе дальше, пока не выбрались на окраину городка, где им попался холмик, все еще покрытый зеленой травой, приятный маленький клочок мягкой почвы, который, казалось, просто умоляет их на себя сесть, что оба они тут же и сделали, и несколько секунд спустя Эми сунула руку в карман, вытащила пачку «Камелов» без фильтра и предложила Фергусону сигарету. Он не стал медлить. Пора уже ему попробовать такую раковую палочку, сказал он себе, мистер Самец-Атлет-Который-Никогда-Не-Станет-Курить-Потому-Что-От-Этого-У-Него-Одышка, и, разумеется, он кашлял после каждой из трех первых затяжек, и, разумеется, какое-то время у него кружилась голова, и, разумеется, Эми смеялась, потому что смешно было видеть, как он

проделывает то же, что неизбежно делают все начинающие курильщики, но затем он успокоился и начал осваиваться, а совсем немного погодя они с Эми уже разговаривали — беседовали так, как им невозможно было разговаривать больше года, без шуточек, оскорблений или обвинений, вся затаенная злость и копившееся раздражение рассеялись как дым, вырывавшийся у них изо ртов и исчезавший в осеннем воздухе, а потом они оба умолкли и просто сидели на траве, улыбаясь друг дружке, счастливые от того, что они опять друзья и больше не в контрах, никогда больше не будут в контрах, и вот в этот миг Фергусон обхватил ее рукой, делая вид, будто захватил ее голову в замок, и тихонько прохрипел ей на ухо: Еще сигаретку, пожалуйста.

Потерял. В старшем классе у них был озорной и оттого волнующий мальчишка по имени Терри Миллс, блистательный обалдуй, знавший больше кого угодно в школе о том, о чем подросткам знать не полагается. Он поставлял скотч на вечеринки по выходным, добывал амфетаминовые пилюли для тех, кому хотелось летать быстро и не спать всю ночь, распространял марихуану среди тех, кто предпочитал смягченный подход к опьянению, и содействовал утрате девственно-

сти, отводя тебя в дом терпимости на Западной Восемьдесят второй улице. Один из самых богатых мальчиков во всей Риверсайдской академии, пухлый и саркастичный Терри Миллс жил вместе со своей разведенной и часто отсутствовавшей матерью в городском особняке между Колумбус-авеню и Западной Центрального парка, и хотя в поведении его было много такого, что Фергусон считал отвратительным, ему, как выяснилось, трудно было и относиться к нему плохо. По словам Терри, легионы мальчишек из Риверсайдской академии как прошлого, так и настоящего оставили за спиной свое детство в номерах борделя на Восемьдесят второй улице, это давняя традиция, сказал он, сам он к ней прикоснулся два года назад еще второкурсником, а теперь, когда Фергусон и сам возвысился до ранга второкурсника, не будет ли ему интересно нанести визит в это зачарованное царство чувственных наслаждений? Да, ответил Фергусон, конечно, будет, совершенно определенно будет, когда пойдем?

Разговор этот состоялся в понедельник днем за обедом — в тот понедельник, что настал после воскресенья, проведенного Фергусоном в Рейнбеке за курением сигарет с Эми, — и на следующее

утро Терри сообщил, что обо всем договорено на вторую половину дня пятницы, часа в четыре, что для Фергусона не представит никакой трудности, поскольку в том году комендантский час ему продлили до шести часов, и, к счастью, у него имелось двадцать пять долларов, что потребуются на *превращение его в мужчину*, хотя Терри все еще надеялся, что миссис М., директрису заведения, можно будет убедить предоставить Фергусону студенческую скидку. Не зная, чего ожидать, поскольку у него не было опыта в борделях, за исключением тех, какие он видел в безвкусных, техниколорных вестернах, Фергусон вошел в квартиру на Западной Восемьдесят второй улице без каких-либо образов в голове — ничего, кроме пустоты неуверенности, ничего плюс ноль минут ничто. Оказался он в одной из крупных квартир Верхнего Вест-Сайда с облупившейся штукатуркой и пожелтевшими стенами, место некогда элегантное, в котором, без всяких сомнений, проживал какой-нибудь выдающийся нью-йоркский бюргер и его многочисленное семейство, но кому придет в голову останавливаться и приглядываться к штукатурке и стенам, когда первая же комната, куда входил, была обширной гостиной с шестью молодыми женщинами в ней,

с полудюжиной профессиональных любовниц, сидевших в креслах и на диванах в различных стадиях оголенья, две из них вообще-то совершенно раздеты, что немедленно сделало из них двух первых голых женщин, которых Фергусон видел в своей жизни.

Ему следовало выбрать. В этом была загвоздка, потому что он понятия не имел, какая из шестерых станет лучшей любовницей для неопытного девственного с девочкой мальчика, чья половая история до сих пор сводилась лишь к одному мужскому партнеру, и выбирать ему надлежало быстро, поскольку сравнивать между собой тех женщин быстро стало неловко, как будто они упаковки мяса для ебли без мозгов или душ, и потому Фергусон сократил четверых частично одетых и свел выбор до двух совсем голых, прикидывая, что так, когда начнутся действия, никаких сюрпризов не предвидится, и вдруг все стало совсем не трудно, поскольку одна из тех двоих была коренастой, крупногрудой пуэрториканкой сильно за тридцать, а другая — симпатичной черной девушкой, которой вряд ли было намного больше лет, чем Фергусону, гибкой, мелкогрудой феечкой с короткими волосами и длинной шеей, а также, судя по виду, замечательно гладкой

кожей, кожей, что обещала на ощупь оказаться лучше любой другой кожи, какой он когда-либо касался.

Звали ее Джулией.

Он уже уплатил свои двадцать пять долларов округлой, непрерывно курившей миссис М. (никаких скидок для молоденьких новичков), и, поскольку Терри громко и грубо объявил, что *хрен Фергусона никогда не бывал внутри у киски*, не имело смысла делать вид, будто он уже ходил по этой дорожке, а дорожка в данном случае представляла собой узкий коридор, который вел в тесную комнатку без окон, с кроватью, раковиной и стулом, и пока Фергусон шел по тому коридору за милым, виляющим седалищем юной Джулии, выступ у него на штанах неуклонно рос — аж так, что, когда они вошли в комнатку и ему велели снять одежду, Джулия опустила взгляд на его хер и сказала: Ну и быстро ж ты твердеешь, а, пацан? — что невероятно понравилось Фергусону: знать, что ему хватает мужественности на стояки, какие возникают гораздо быстрее, чем у большинства ее взрослых клиентов, и вдруг он сделался счастлив, вовсе не нервничал и не боялся, хоть и не до конца понимал основные правила этой встречи, как, например, когда он

попробовал поцеловать ее в губы, и она отдернула голову, сказав: Мы так не делаем, милый, ты это прибереги для своей подружки, — но она отнюдь не возражала, когда он наложил руки на ее маленькие груди или поцеловал ее в плечо, и до чего хорошо ему было, когда она вымыла ему хер мылом и теплой водой над раковиной, и насколько лучше стало, когда он согласился на нечто под названием *половинка-на-половинку*, не зная, что это такое (минет + совокупление), и они легли вместе на кровать, и первая половина половинки-на-половинку оказалась такой приятной, что он опасался, что не дотерпит до второй половины, но ему это как-то удалось, и вот это стало лучшей частью всего его приключения, столь долгожданное, давно вымечтанное, долго откладываемое проникновение в тело другого человека, *акт совокупления*, и настолько могучи были его ощущения от того, что он у нее внутри, что Фергусон не мог больше сдерживаться и кончил почти мгновенно — так быстро, что пожалел о нехватке у себя самоконтроля, пожалел, что не сумел отложить оргазм даже на несколько секунд.

Мы еще разок можем так? — спросил он.

Джулия расхохоталась — громким утробным

вяком веселости, что заскакал по комнате, отзываясь эхом от стен. Потом произнесла: Ты пришел, ты отстрелялся, чудак-человек, — если только у тебя нет других двадцати пяти долларов.

У меня и двадцати пяти центов не наберется, сказал Фергусон.

Джулия снова рассмеялась. Ты мне нравишься, Арчи, сказала она. Милый ты мальчонка с хорошенькой писькой.

А я думаю, что вы самая прекрасная девушка во всем Нью-Йорке.

Самая худосочная, в смысле.

Нет, самая красивая.

Джулия села и поцеловала Фергусона в лоб. Приходи меня иногда повидать, сказала она. Адрес ты знаешь, а у того твоего друга-крикуна есть номер телефона. Сначала позвони назначить встречу. Тебе ж не захочется являться, когда меня тут нет, правда?

Нет, мэм. Ни за что в жизни.

Сидел. Попадание в школьную команду второкурсником отражало, насколько улучшилась у Фергусона игра за лето. Соперничество между дворовыми лигами было до крайности острым, расписания просто забиты черной детворой из гарлемской бедноты, которые к своему баскет-

болу относились всерьез, зная, что, если хорошо будешь играть, начнешь в команде средней школы, а это могло бы значить и игру за команду колледжа, и шанс навсегда вырваться из Гарлема, и потому Фергусон очень старался улучшить свои дворовые броски и обращение с мячом, долгие часы тратил на лишние тренировки с одним из рьяных пацанов с Ленокс-авеню по имени Дельберт Строган, своим собратом-нападающим из команды покруче, одной из двух, за которые он сам играл, и теперь, раз он подрос еще на два дюйма и высился сейчас на крепкие пять-и-девять, то продвинулся от обыкновенной сноровки в игре до чего-то, близкого к совершенству, с такой упругостью в ногах, что даже при своем росте мог закладывать мяч в корзину один раз из двух или трех попыток. Загвоздка с вхождением в команду второкурсника, однако, заключалась в том, что ты автоматически назначался в сменный состав, что обрекало тебя целый сезон собирать занозы ничтожным сидельцем на скамье. Фергусон сознавал всю важность иерархий и довольствовался бы своей подчиненной ролью, если б не чувствовал, что играет он лучше малого нападающего из первого состава, старшекурсника по имени Дункан Найлс, кого иногда называли Без-

данковым Найлсом — поскольку, так уж вышло, Фергусон не просто был немного лучше Найлса — он был намного лучше него. Если б Фергусон был единственным, кому так казалось, это б его так не мучило, но мнение это разделяли почти все игроки, и никто столь же громогласно, как другие пролетарские пентюхи, среди них — его старые друзья по прошлогодней команде первокурсников, Алекс Нордстром и Брайан Мишевский, кого положительно тошнило от решения тренера усадить Фергусона на скамью, и они все время напоминали ему, до чего несправедливо с ним обошлись, ибо доводы были налицо для всех: когда бы первый состав и второй ни встречались в тренировочных схватках, Фергусон неизменно закладывал, финтил и бил с отскока лучше, чем Безданковый Найлс.

Тренер был фигурой непонятной — полу-гений и полу-идиот, — и Фергусону так и не удалось разобраться, как он к нему относится. Бывшая звезда своей половины поля в бруклинском Колледже св. Франциска, одной из самых маленьких католических школ в метрополии, Гораций Финнеган по кличке «Довольный» игру знал досконально и хорошо ей учил, но во всех остальных отношениях мозг его, казалось, атрофировался

до липкой массы расплавленных мыслительных проводков и перегоревших ламп языка. *Спаривайтесь по трое*, говорил он мальчишкам на тренировке — или: *Встаньте в круг, мужики, на все триста шестьдесят пять градусов*, — а помимо нескончаемых малапропизмов еще были вопросы, которые мальчишки задавали ему исключительно ради удовольствия видеть, как он чешет в затылке, вроде: *Эй, трен, вы в школу ходите или носите себе обед?* — или: *Жарче в городе или летом?* — красоты бессмысленности, которым неизменно удавалось вызвать желаемое почесывание, желаемое пожатие плеч, желаемое *Ты меня поймал, пацан*. Вместе с тем, когда речь заходила о тонкостях баскетбола, Довольный Финнеган был перфекционистом, и Фергусона изумляло, как он весь кипел негодованием, если игрок пропускал свободный бросок (*единственная конфетка во всей чертовой игре*) или видел, как игрок роняет аккуратно поданный пас (*Разуй глаза, ебила, а не то я сдерну тебя с площадки*). Он требовал игры действенной и разумной, и, хотя все посмеивались над ним у него за спиной, команда выигрывала большинство своих встреч, последовательно превосходя свои скудные таланты. И все же Нордстром и Мишевский

не переставали подталкивать своего друга ко встрече с тренером один на один — не то чтобы она что-то обязательно изменила бы, говорили они, но им хочется знать, почему он так упорно ставит малым нападающим негодного человека. Да, команда побеждала в большинстве игр, но разве Финнегану не хочется, чтобы она выигрывала *все?*

Хороший вопрос, ответил тренер, когда Фергусон наконец постучался к нему в начале января. Очень хороший вопрос, и я рад, что ты мне его задал. Да, любому идиоту видно, что ты играешь лучше Найлса. Ты выдерживаешь каждый второй выход один на один, а от него не останется ничего, кроме пустого бандажа да лужицы пота на полу спортзала. Найлс — кусок мяса. А ты — мексиканец, Фергусон, чертов прыгучий боб в человеческом облике, и играешь ты не мягче прочих, кто у меня есть, но мне нужен кусок мяса на площадке. Химия, вот что это такое. Пять на пять, а не один на один — просекаешь? С теми четверыми парнями, что носятся туда-сюда, как наскипидаренные точки и тире, пятый должен быть мешком картошки, куском мяса в кедах, сплошным ничтожеством, которое будет просто заполнять собой место и думать о том, как

пищу в себе переварить. Понимаешь, о чем я, Фергусон? Ты слишком хорош. Если я тебя поставлю, все изменится. Темп станет слишком быстрым, слишком уж накрученным. Вас всех хватят инфаркты и эпилептические припадки, и мы начнем проигрывать. Мы станем командой получше, но сделаемся хуже. А твой день еще настанет, пацан. У меня на тебя есть планы — но только на будущий год. После того как все эти точки и тире разлетятся из курятника, химия поменяется, и вот тогда ты мне понадобишься. Терпение, Фергусон. Рви жопу на тренировках, молись по вечерам, руками пипиську не трогай — и все у тебя получится.

Его подмывало уйти из команды прямо тут же, поскольку Финнеган, казалось, не предлагал ему ни единой возможности поиграть, что бы ни происходило весь остаток сезона, — если только так называемая химия вдруг не испортится и команда не перестанет побеждать, но как, говоря по совести, он может болеть за то, чтобы команда проигрывала, и продолжать считать себя верным членом этой команды? И все-таки Финнеган, считай, пообещал ему место в основном составе на следующий год, и, памятуя об этом обещании, Фергусон неохотно проглотил микстуру и остал-

ся — и очень старался произвести на Финнегана впечатление тем, что *рвал жопу* каждый день на тренировках, хотя молитв по вечерам и не читал, а рук-таки от пиписьки оторвать не мог.

Но когда начался следующий сезон, он по-прежнему сидел на скамье, и, что самое ужасное, в этом никто не был виноват — даже Финнеган, особенно Финнеган. Откуда ни возьмись, появился новый мальчишка, второкурсник шести-футов-два, чья семья переехала на Манхаттан из Терре-Хота, Индиана, и этот феноменальный верзила Марти Вилкинсон был настолько, к чертям, хорош, играл настолько лучше Фергусона и кого угодно в команде, что у тренера не было выбора, только поставить его нападающим, и с другим нападающим еще с прошлого года, крепким и надежным Томом Лернером, которого единогласно выбрали капитаном команды, Фергусону в основном составе не досталось места. Финнеган приложил кое-какие усилия к тому, чтобы дать ему больше времени на игру, но пяти-шести минут за встречу все равно не хватало, и Фергусон прямо-таки ощущал, что чахнет на скамейке запасных. Его превратили в запоздалую мысль, сочетание головореза и нестроевика, чьи навыки постепенно, казалось, разъедаются, и всевозрас-

тающее недовольство, как он признался матери и отчиму однажды за ужином, *убивает в нем дух*, и потому вот, на четыре игры углубившись в сезон, что произошло через четыре недели после покушения на Кеннеди, через без двух дней один месяц после той безобразной пятницы, когда даже скептичный, необолваненный Фергусон проливал слезы вместе со всеми остальными, позволивши себе поддаться общему настроению всей страны, не понимая, что убийство президента оказалось воссозданием убийства его собственного отца девять лет назад, а полный ужас его личной скорби теперь разыгрывался в огромных публичных масштабах, 20 декабря 1963 года, через несколько минут после окончания четвертой игры Риверсайда, Фергусон зашел в кабинет тренера и объявил, что уходит из команды. Ничего личного, сказал он, но я просто больше не могу так. Финнеган ответил, что понимает, и это, вероятно, было правдой, и затем они пожали друг другу руки, и на том все кончилось.

Зато он оказался в лиге, которую поддерживала Вестсайдская AMX. Это по-прежнему был баскетбол, и ему он все еще нравился, но хоть его и признавали сильнейшим игроком команды, тут все было иначе, а так же, как раньше, быть и не

могло и уже никогда таким же не станет. Больше никаких красно-желтых форм. Никаких поездок на автобусе. Никаких болельщиков «Бунтарей», вопящих с трибун. И Чаки Шовальтер никогда уже не будет колотить в бас-барабан.

К началу 1964 года почти семнадцатилетний Фергусон опубликовал еще дюжину кинорецензий под водительством мистера Дунбара, часто — с помощью Гила, по вопросам стиля прозы, манеры выражения мыслей и неизменно сбивающей с толку трудности определения того, что именно он хочет сообщить, а затем — и предельно ясного сообщения. Материалы его имели тенденцию чередовать американские и зарубежные темы: исследование языка в комедиях В. К. Фильдса, к примеру, за которым следовало что-нибудь о «Семи самураях» или «Песни дороги», за «Прогулкой под солнцем» шла «Аталанта», после «Я сбежал с каторги» — *«La Dolce Vita»*[57], элементарная разновидность критики, которой не так интересно высказывать суждения о фильмах, как пытаться отразить опыт самого их просмотра. Постепенно работа его становилась лучше, дружба с отчимом постепенно углублялась, и

[57] Сноски: 57
«Сладкая жизнь» (*ит*).

чем больше ходил он в кино, тем больше хотел ходить в кино, ибо походы в кино были не столько голодом, сколько пристрастием, чем больше картин он потреблял, тем крепче аппетит к ним. Среди театров, куда ходил он чаще всего, были «Нью-Йоркер» на Бродвее (всего в двух кварталах от его квартиры), «Симфония», «Олимпия» и «Бикон» в Верхнем Вест-Сайде, «Элджин» в Челси, «Бликер-Стрит» и «Синема Виллидж» в центре, «Париж» рядом с отелем «Пласа», «Карнеги» по соседству с «Карнеги-Холлом», «Баронет», «Коронет» и «Синема I и II» на Восточных Шестидесятых, а затем, после перерыва в несколько месяцев, — снова «Талия», где ему после двенадцати визитов еще предстояло столкнуться с Энди Коганом. Помимо коммерческих кинотеатров был еще Музей современного искусства, необходимый источник классических фильмов, и теперь, когда Фергусон стал членом (подарок Гила и матери, когда ему исполнилось шестнадцать), он мог попадать на любой фильм — на все фильмы, лишь показав на входе карточку. Сколько же посмотрел он в промежутке между октябрем 1962-го и январем 1964-го? В среднем по два фильма каждую субботу и воскресенье и по одному в пятницу, что составило в общей сложности более трехсот —

добрых шестьсот часов сиденья в темноте или, в пересчете на тиканье часов, — двадцать пять суток подряд, а если вычесть минуты, потерянные на сон и различные пьяные забытья, — больше месяца его бодрствующего бытия за пятнадцать месяцев, что протикали и утекли.

Кроме того, он выкурил еще тысячу сигарет (как с Эми, так и без нее) и запивал свой любовный роман крепкими напитками, употребив триста стаканов чистейшего продукта Шотландии на вечеринках по выходным, закатываемых Терри Миллсом и его равно беспутными преемниками на следующий год, при этом уже не блевал на ковры, если переусердствовал, а тихонько и удовлетворенно отключался в углу комнаты, упорно стремясь к таким алкогольным беспамятствам, дабы изгнать из мыслей мертвых и проклятых, поскольку пришел к выводу, что неопосредованная жизнь слишком уж кошмарна, чтобы ее выносить, а принятие внутрь жидкостей, чтобы притупить чувства, способно принести покой обеспокоенному сердцу, однако тут важно соблюдать осторожность и не заходить слишком уж далеко, и вот поэтому запои его обычно оставлялись на выходные, да и то не на каждые, а примерно через одни, и он счел любопытным,

что к дряни этой его никогда не тянуло, если она не стояла прямо у него перед носом, да и тогда он, вообще говоря, мог с тягой бороться, но вот уже сделав первый глоток, остановиться больше не мог, покуда не перепивал.

На тех выходных загулах все доступнее становилась дурь, но Фергусон решил, что это не для него. После трех-четырех затяжек даже самое несмешное начинало казаться ему смешным, и он весь рассыпался в приступах хихиканья. Следом начинал себя чувствовать невесомым, а внутри — нелепым и глупым, что воздействовало на него неприятно — отбрасывало в некое ребяческое воплощение самого себя, ибо хоть Фергусон и старался тогда изо всех сил повзрослеть, падая с той же частотой, с какой ему удавалось удержаться на ногах, он уже вовсе не хотел думать о себе как о ребенке, а потому избегал травы и держался бухла, предпочитая нарезаться, а не обдалбываться, и тем самым чувствовал, что ведет себя по-взрослому.

И последнее, но не самое пустяковое, а вернее сказать — первое и наиважнейшее: за те пятнадцать месяцев он возвращался к миссис М. еще шесть раз. Ходил бы и чаще, но двадцать пять долларов — вот в чем загвоздка, поскольку на

карманные расходы ему выдавали всего пятнадцать долларов в неделю, а работы у него еще не было, как не было ни единой возможности ее себе раздобыть (родители желали, чтобы он сосредоточился на учебе), и как только он истратил первые двадцать пять в октябре (1962-го), банковский счет его почти совсем истощился — до шестнадцатого дня рождения в марте (1963-го), когда мать выписала ему чек на сотню долларов вдобавок к подарку — членской карточке музея, — чего хватило на покрытие четырех встреч с Джулией в квартире на Западной Восемьдесят второй улице, а вот два других визита туда уже оплачивались присвоением того, что ему не принадлежало, и преобразованием этого в наличные средства, — преступными деяниями, какие мучили Фергусона и разъедали его рушившуюся совесть, но секс был для него так важен, так значим для его благополучия, был настолько неоспоримо единственным из всего, что не позволяло ему распасться на части, что он не мог воспретить себе обменивать собственную душу на несколько мгновений в объятьях Джулии. Бог мертв уже много лет, а дьявол вернулся на Манхаттан и крепко шалил в северном секторе боро.

То неизменно оказывалась Джулия, поскольку

она бесспорно была самой хорошенькой и желанной девушкой, работавшей у миссис М., и теперь, когда она понимала, насколько юн Фергусон (поначалу, когда он только появился, она считала, что ему семнадцать, а не пятнадцать), ее отношение к нему смягчилось до некоего веселого товарищества: она наблюдала, как от встречи ко встрече продолжают расти у него конечности, — не то чтоб она к нему относилась с чем-то, что можно было бы считать нежностью или приязнью, но бывала достаточно дружелюбна, чтобы теперь немного нарушать правила, и позволяла ему иногда целовать себя в губы, если ему хотелось, иногда даже втягивать себе в рот его язык, и хорошо во встречах с Джулией было то, что она никогда не говорила о себе и не задавала ему никаких вопросов (помимо того, сколько ему лет), и если не считать, что каждый вторник и пятницу она работала у миссис М., Фергусон не знал о жизни Джулии ничего: нанимали ли ее проституткой другие дома терпимости в городе, к примеру, или помогают ли два дня у миссис М. финансировать ее образование в колледже — быть может, даже в Городском колледже, если уж на то пошло, где на семинаре по русской литературе она могла сидеть за одной партой с Энди

Коганом, есть ли у нее постоянный парень, или муж, или маленький ребенок, или двадцать три брата и сестры, не планирует ли она ограбить банк, или переехать в Калифорнию, или поесть на ужин пирог с курятиной. Лучше не знать, чувствовал Фергусон, лучше, если ничего, кроме секса, тут не будет, а секс он считал делом настолько глубоко благодарным, что дважды за эти пятнадцать месяцев он брался нарушать закон: заходил в книжные магазины Верхнего Вест-Сайда в шерстяном пальто поверх зимней куртки со многими карманами и набивал их все, и в куртке, и в пальто, книжками в бумажных обложках, которые затем метил — загибал множество уголков и подчеркивал строки, а потом продавал в лавку подержанных книг через дорогу от Колумбии за четверть объявленной на обложке цены, он крал и продавал десятки классических романов, только чтобы заполучить лишние деньги, которые были ему нужны на добавку секса с Джулией.

Он жалел, что вышло всего шесть раз, а не шестьдесят, но одного лишь знания, что всякий раз, когда его одолеет позыв, Джулия окажется на месте, хватало, чтобы умертвить в нем любой интерес к волоченью за девчонками в школе, за пятнадцати-шестнадцатилетками, кто бил

бы его по пытливым рукам, если он возьмется стаскивать с них свитеры, лифчики и трусики, ни одна из них нипочем не стала бы расхаживать перед ним голой, как это делала Джулия, ни одна б не позволила ему проникнуть в глубинное святилище своей драгоценной женственности, и даже допуская, что подобное чудо может произойти, сколько работы потребовалось бы для достижения того, чего он и так уже достиг с Джулией, а к тому же с Джулией никогда не может случиться никакого надрыва сердечного, что неизбежно состоится, если западешь на какую-нибудь из этих *приличных девочек*, и ни одну из них он все равно не любил, кроме своей обожаемой Эми, не ходившей в Риверсайдскую академию, а учившейся в средней школе Хантер в другом районе города, его утраченной и заново открытой лучшей возлюбленной поцелуйной кузины с ее сигаретами без фильтра и могучим хохотом, она одна была достойна любых усилий и риска, единственная девушка, секс с которой также означал бы любовь, ибо все изменилось за эти прошедшие пятнадцать месяцев, мир его желаний перевернулся с ног на голову, и одна за другой Изабелла Крафт, Сидни Мильбанкс и Вивиан Шрайбер исчезли у него из мыслей по

ночам, а по-прежнему приходили к нему теперь лишь двое, мальчик Шнейдерман и девочка Шнейдерман, яростно желанные Джим и Эми, каждую ночь если не один, то другая забирались к нему в постель, а бывали и такие ночи, когда сначала один, а потом другая, и в этом был смысл, казалось ему, смысл для человека, которого рассекло посередине, и он никак не мог разобраться, кто он, вскорости-семнадцатилетний Арчибальд Исаак Фергусон, разнообразно известный как половой маньяк-блядун и мелкий преступник, бывший игрок школьной баскетбольной команды и порой кинокритик, дважды-отвергнутый любовник своих сводных кузена и кузины и преданный сын и пасынок Розы и Гила — оба, кстати, рухнули бы замертво, узнай они, чем это он занимается.

Когда старик Шнейдерман в конце февраля отдал богу душу, в квартире на Риверсайд-драйве собрались на поминки, народу немного, поскольку овдовевший отец Гила в последние двадцать лет не заводил себе новых друзей, а большинство старых уже обрели места своего последнего упокоения где-то еще, собралась, быть может, пара дюжин человек, включая дочерей Гила Маргарет и Эллу — они впервые возникли в кругу семьи

после осени 1959 года, в сопровождении своих новоприобретенных толстых, лысеющих супругов, от одного из которых Маргарет уже забеременела, и, несмотря на свое к ним предубеждение, Фергусон вынужден был признать, что его сводные сестры не проявляли ни малейшего признака враждебности по отношению к его матери, в чем им и повезло, поскольку ничего бы не принесло Фергусону большего счастья, чем устроить сцену и вышвырнуть их из дому пинком под зад, каковой насильственный порыв в сложившихся обстоятельствах совершенно не требовался, однако, простояв почти час на февральском морозе, пока семейство укладывало старого козла на вечный отдых, Фергусон чувствовал в себе возбуждение, был *на взводе*, как выразился бы Довольный Финнеган, — вероятно, потому, что думал он о вспыльчивости своего не-дедушки и его неприкрытой сварливости, а то и, как знать, поскольку при каждой кончине вынужден был думать о смерти собственного отца, поэтому к тому времени, как собрание скорбящих вернулось в квартиру, Фергусону было достаточно уныло, чтобы заглотить по-быстрому два виски на голодный желудок, что, в свою очередь, могло повлиять на последовавшие события, ибо как

только начались поминки, оказалось, что он шалит настолько дерзко и возмутительно неприлично, что для него самого осталось неясным, лишился ли он рассудка или случайно наткнулся на разгадку тайны мироздания.

Вот что произошло. *Первое:* Все присутствовавшие либо стояли, либо сидели в гостиной, поедалась еда, выпивались напитки, между парами и группами людей туда-сюда витали разговоры. Фергусон увидел Джима — тот стоял в углу у переднего окна и беседовал с отцом, — сам протиснулся в тот угол и спросил у Джима, нельзя ли перекинуться с ним словом наедине. Джим ответил «да», и они вдвоем прошли по коридору в спальню Фергусона, где без лишних слов или какой бы то ни было преамбулы Фергусон заключил Джима в объятия и сказал, что любит его, любит больше всех на свете, любит так сильно, что готов за него умереть, и не успел Джим ничего ему ответить, теперь шестифутового роста Фергусон покрыл лицо Джима, чей рост был шесть футов один дюйм, многочисленными поцелуями. Доброго Джима это не шокировало и не разозлило. Он предположил, что Фергусон либо пьян, либо очень расстроен чем-то, поэтому он обнял своего младшего кузена, прижал к себе в долгом,

пылком объятии и сказал: Я тебя тоже люблю, Арчи. Мы друзья на всю жизнь. *Второе:* Полчаса спустя все присутствовавшие по-прежнему либо стояли, либо сидели в гостиной, еда все так же поедалась, напитки выпивались, между парами и группами людей по-прежнему витали туда-сюда разговоры. Фергусон увидел Эми — та стояла в углу у переднего окна и разговаривала со своей двоюродной сестрой Эллой, — сам протиснулся в тот угол и спросил у Эми, нельзя ли перекинуться с нею словом наедине. Эми ответила «да», и они вдвоем прошли по коридору в спальню Фергусона, где без лишних слов или какой бы то ни было преамбулы Фергусон заключил Эми в объятия и сказал, что любит ее, любит больше всех на свете, любит ее так сильно, что готов за нее умереть, и не успела Эми ничего ему ответить, как Фергусон поцеловал ее в губы, и Эми, уже знакомая со ртом Фергусона после множества поцелуев, какими он одарил ее в былые дни их половозрелого увлеченья, приоткрыла собственный рот и позволила Фергусону углубиться туда языком, а совсем немного погодя обвила кузена руками, и они вдвоем повалились на кровать, где Фергусон залез Эми под юбку и принялся водить рукой по ее ноге в чулке, а Эми проникла Фергусону в

брюки и ухватилась за его окрепший пенис, и после того, как оба они друг дружке кончили, Эми улыбнулась Фергусону и сказала: Это хорошо, Арчи. Нам такое давно было нужно.

После этого все стало лучше. Вопиющие, неприемлемые нарушения общественных приличий, очевидно, были не всегда вопиющими и неприемлемыми, ибо Фергусону не только удалось излить душу и объявить о своей любви двоим Шнейдерманам, но и дружба его с Джимом из-за этого окрепла, а они с Эми вновь стали парой. Через неделю после похорон мать и Гил подарили ему на день рождения двести долларов, но деньги на Джулию ему больше не требовались, он мог истратить их на Эми и купить ей красивое кружевное белье для тех вечеров, когда Гил и его мать куда-нибудь уходили и квартира оставалась в их полном распоряжении, или тех вечеров, когда куда-нибудь уходили родители Эми, или тех вечеров, когда чьи-нибудь еще родители куда-нибудь уходили, и кто-нибудь из их друзей предоставлял им комнату, куда можно было закатиться на несколько часов, и до чего же лучше все между ними теперь стало, когда он писал свои статьи о кино, а Эми видела, что он не такой пентюх, каким она считала его раньше, она его

вдруг зауважала, внезапно больше не имело значения, увлекается он политикой или нет: он был кино-мальчиком, мальчиком искусства, *чутким мальчиком*, и этого ей вполне хватало, и до чего приятной встряской оказалось, когда оба они открыли, что ни тот ни другая — не девственники, что никто из них не боится, что оба они уже постигли достаточно всякого, чтобы знать, как удовлетворять друг дружку, уж точно от этого все стало по-другому — быть счастливыми в постели с тем, кого любишь и кто любит тебя в ответ, и какое-то короткое время Фергусон разгуливал с мыслью: да, это правда — обняв Джима и Эми, он *разгадал тайну мироздания*.

Долго длиться это, разумеется, не могло, большую любовь следовало отставить в сторону и, быть может, вообще забыть, поскольку в школе Эми опережала его на год и осенью будет поступать в Университет Висконсина — не в ближайший Барнард, как планировалось первоначально, а в дальнюю американскую тундру, потому что Эми решила, *после долгих недель мучительных самокопаний*, что ей нужно убраться как можно дальше от матери. Фергусон умолял ее не ехать туда, буквально встал перед нею на колени и умолял, но Эми, всхлипывая, ответила,

что выбора у нее нет, потому что в Нью-Йорке мать будет *давить и удушать* ее своими неотвратимыми вмешательствами, и как сильно ни любила бы она своего дорогого Арчи, у нее такое чувство, что она *сражается за собственную жизнь* и вынуждена ехать, просто обязана ехать и не позволит, чтобы ее от этого решения отговаривали. Та беседа стала началом конца, первым шагом в медленном распаде совершенного мира, какой они себе создали, а поскольку следующий день был первым в тех выходных, когда Эми должна была совершить свою давно запланированную поездку в Кембридж навестить брата, Фергусон тем вечером пятницы в апреле оказался в Нью-Йорке один, и он, не выпивший ни капли спиртного с самых похорон старика, не посетил ни одной сомнительной вечеринки ни у кого из своих друзей, отправился на одну такую сомнительную вечеринку и допился там до такого оцепенения, что на следующее утро проспал и не пошел в школу сдавать экзамен на ПАС, который был назначен ровно на девять.

Осенью выпадет еще одна возможность сдать этот тест, но мать и Гил на него рассердились за то, что он такой *безответственный*, и хотя винить их за то, что они досадуют на его неявку

на экзамен, он не мог, их гнев тем не менее жег, обжигал его гораздо сильнее, чем следовало, и впервые в жизни Фергусон начал сознавать, до чего он хрупок, как же трудно ему продираться даже сквозь малейшие размолвки, в особенности те, что вызваны его собственными недостатками и глупостями, ибо суть заключалась в том, что ему необходимо было, чтобы его любили, любили больше, чем быть любимыми требовалось большинству людей, любили целиком и непрерывно, каждую минуту бодрствования в жизни, любили, даже когда он делал такое, за что любить его бывало невозможно, особенно если рассудок требовал, чтоб его не любили, и, в отличие от Эми, отталкивавшей от себя мать, Фергусон свою отпустить вовсе не мог — свою неудушливую мать, чья любовь была для него источником всей его жизни, и просто видеть, как она хмурится, глядя на него, с этой своей печалью в глазах, было опустошительно, пулей ему в сердце.

Конец настал в начале лета. Не осенью, когда Эми нужно было уезжать в Висконсин, а в начале июля, когда она отправилась в двухмесячный рюкзачный поход по Европе с одной своей подругой, такой же умницей из Хантера по имени Молли Девайн. Позднее на той же неделе Фергу-

сон уехал в Вермонт. Мать и отчим исполнили его желание последовать примеру Эми и поучаствовать в программе погружения во французский язык в колледже Гамптон. То была прекрасная программа, и французский у Фергусона за те недели, что он там пробыл, улучшился неимоверно, но то было лето без секса, наполненное ужасом перед тем, что его ждет, когда он вернется в Нью-Йорк: последний поцелуй с Эми — а затем прощай, несомненно окончательное прощание.

И вот — Фергусон после того, как Эми улетела в Мадисон, Висконсин, старшеклассник в средней школе, *у которого вся жизнь впереди*, как его ставили в известность учителя, родственники и каждый взрослый, с кем у него пересекались тропинки, но он только что потерял любовь всей своей жизни, и слово *будущее* вымарано из всех словарей на свете до единого. Почти неизбежно мысли его снова обратились к Джулии. То была, конечно, не любовь, но хотя бы секс, а секс без любви лучше, чем вообще никакого секса, в особенности если нельзя украсть никаких книжек, чтобы за него расплатиться. Почти все деньрожденные деньги его к тому времени уже истощились. Он истратил их на белье, духи и ужины с лингвини для Эми весной, но тридцать

восемь долларов пока оставалось, а этого более чем достаточно для еще одной катавасии в квартире на Западной Восемьдесят второй улице. Таковы противоречия жизни взрослого мужчины, обнаружил Фергусон. Сердце у тебя, может, и разбито, а вот железы по-прежнему твердят, чтобы о сердце ты не думал.

Он позвонил миссис М., надеясь назначить себе встречу с Джулией в пятницу после обеда, и хотя миссис М. с трудом припомнила, кто он такой (прошло уже несколько месяцев после его последнего визита к ним), он ей напомнил, что он — тот пацан, что сидел у них в гостиной и разговаривал с девушками, когда за своим еженедельным конвертом зашел легавый и прогнал его оттуда. Ага, ага, ответила миссис М. Теперь я тебя вспомнила. Школьник Чарли. Так мы тебя называли, бывало.

А как там Джулия? — спросил Фергусон. Можно повидаться с нею в пятницу?

Джулии тут больше нет, ответила миссис М.

А где она?

Не знаю. Говорят, подсела на свежак, милый. Сомневаюсь, что мы ее снова тут увидим.

Какой ужас.

Ну, ужасно, но что ж тут поделать? Здесь теперь

другая черная девушка. Гораздо симпатичнее Джулии. На костях у нее мяса побольше, больше индивидуальности. Звать Синтия. Вписать тебя на нее?

Черная девушка? А это тут при чем?

Я думала, ты на черных девушек западаешь.

Я на всяких девушек западаю. Джулия мне просто нравилась.

Ну, если тебе любые сгодятся, беды никакой, а? Нынче конюшня у нас полна.

Давайте я об этом подумаю, сказала Фергусон. Я вам перезвоню.

Он повесил трубку и за следующие тридцать или сорок секунд повторил себе слово *ужас* раз тридцать или сорок, стараясь не воображать вялое тело Джулии в откидоне где-нибудь в удолбанном мареве, надеясь, что сведения у миссис М. неверны, и Джулия там больше не работает просто потому, что закончила Городской колледж с отличием по философии и готовится в докторантуру в Гарварде, а потом глаза у него на миг наполнились слезами, когда в уме вылепился образ: Джулия лежит мертвая на голом матрасе, голая и уже застывшая, в захудалой комнатенке кабака «Святой Ад».

Неделю спустя он уже был готов попробовать с

Синтией или кем угодно в заведении у миссис М., лишь бы у этого кого угодно имелись две руки, две ноги и нечто напоминающее женское тело. К сожалению, остаток своих подарочных денег он спустил на пластинки в «Сэме Гуди», и теперь пришлось прибегнуть к менее чем порядочному способу добычи средств, поэтому теплым днем в пятницу в начале октября, за день до переназначенного ему экзамена по ПАС, он напялил свой воровской прикид: шерстяное пальто и зимнюю куртку со множеством карманов, — и вошел в книжный магазин через дорогу от студгородка Колумбии под названием «Книжный мир», которое звучало до того похоже на сгоревшее предприятие, некогда бывшее «Домашним миром», что он поначалу колебался, заходить ему туда или нет, но, невзирая на колебанья, все-таки зашел и, стоя у раздела художественной литературы в бумажных обложках у южной стены магазина, рассовывая по карманам романы Диккенса и Достоевского, ощутил, как на плечо ему сзади обрушилась чья-то рука, а затем в ухо ему взревел голос: *Попался, ебалá, — не двигайся!* — и вот так вот операция Фергусона по краже книг подошла к своему жалкому, идиотскому концу, ибо какой человек в своем уме станет надевать

шерстяное пальто в такой день, когда снаружи температура — шестьдесят два градуса?[58]

Прихлопнули его жестко, предъявили на полную катушку. Эпидемия краж, распространившаяся по городу, многих книготорговцев доводила чуть ли не до краха, и закону требовалось сделать из кого-нибудь козла отпущения, а поскольку владельцу «Книжного мира» до смерти это надоело и он был ярости от того, что происходило с его делом, он вызвал легавых и сообщил им, что желает предъявлять обвинение. Мало ли, что у Фергусона в карманах оказались лишь две нетолстые книжки — «Оливер Твист» и «Записки из подполья», — мальчишка — вор, и его следует наказать. Следовательно, ошеломленного и окаменевшего от ужаса Фергусона заковали в наручники, арестовали и на патрульной машине отвезли в местный участок, где его оформили, взяли у него отпечатки пальцев и сфотографировали с трех сторон, пока он держал перед собой доску с написанным на ней своим именем. Затем его посадили в обезьянник с сутенером, торговцем наркотиками и человеком, зарезавшим свою жену, и вот последующие три

[58] Сноски: 58
≈ 17°C.

часа Фергусон сидел там и ждал, когда вернется кто-нибудь из легавых и отведет его туда, где он предстанет перед судьей. У того судьи, Самуэля Дж. Вассермана, имелись полномочия отклонить обвинение и отправить Фергусона домой, но он делать этого не стал, поскольку и ему тоже казалось, что из кого-то следует сделать пример другим, а какой кандидат тут лучше Фергусона, богатенького сопляка из так называемой прогрессивной частной школы, кто нарушил закон нипочему больше, кроме чистого азарта? Молоток обрушился. Процесс назначили на вторую неделю ноября, и Фергусона отпустили без залога — при условии, что он останется под надзором своих родителей.

Родители. Их вызвали, и оба они стояли в зале, когда Вассерман назначил дату суда. Мать плакала, не издавая ни звука, и медленно покачивала головой туда и сюда, словно бы до сих пор не в силах постичь, что он натворил. Гил не плакал, но тоже качал головой, и по глазам его Фергусон сообразил, что отчиму хочется ему хорошенько двинуть.

Книги, сказал Гил, когда они втроем стояли на обочине, поджидая такси, ты вообще о чем это думал, а? Я даю тебе книги, разве нет? Я даю тебе

любые книги, каких ты только можешь пожелать. За каким чертом тебе понадобилось еще и красть их?

Фергусон не мог объяснить ему про миссис М. и квартиру на Западной Восемьдесят второй улице, не мог рассказать о деньгах, которые надеялся добыть потому, что ему хочется поебаться с блядью, не мог доложить о тех семи разах, когда он ебался с пропавшей блядью-наркоманкой по имени Джулия, или о других книгах, какие он уже крал в прошлом, поэтому он соврал и сказал: Тут все дело в этой штуке, которая у нас с некоторыми друзьями, — красть книги как проверка на храбрость. Что-то вроде соревнования.

Ну и друзья же у тебя, произнес Гил. Ну и соревнование.

Все они забрались на заднее сиденье такси, как вдруг Фергусон ощутил, что у него внутри все обмякло, как будто под кожей больше не осталось никаких костей. Он уткнулся головой в материно плечо и заплакал.

Мне нужно, чтоб ты меня любила, ма, сказал он. Даже не знаю, что я стану делать, если ты не будешь меня любить.

Я тебя люблю, Арчи, ответила его мать. Я всегда буду тебя любить. Я просто больше тебя не

понимаю.

Во всей этой неразберихе он начисто забыл о ПАСе, который должен был сдавать утром, — мать и Гил тоже об экзамене забыли. Не то чтоб это имеет какое-то значение, говорил он себе, пока шли дни, ибо правда тут заключалась в том, что мысль о колледже перестала уже быть для него привлекательной, а с учетом того, насколько ему никогда не нравилась школа, перспективу не ходить больше в нее после этого года следовало тщательно обдумать.

На следующей неделе, когда распространилась весть о стычке Фергусона с властями, Риверсайдская академия почла своим долгом отстранить его на месяц от занятий — такое действие позволялось статьями устава, управлявшими поведением учащихся. В этот период он был обязан выполнять домашние задания — или же рискует быть отчисленным по возвращении, сказал директор, а кроме того, ему следовало найти себе работу. Какую работу? — спросил Фергусон. Упаковка бакалеи в «Гристедесе» на Колумбус-авеню, ответил директор. Почему именно там? — спросил Фергусон. Потому что его хозяин — один из наших родителей, и он готов разрешить тебе там работать, пока ты отстранен от занятий. А они

мне будут платить? — спросил Фергусон. Да, платить тебе будут, ответил директор, но деньги ты оставить себе не сможешь. Все они пойдут на благотворительность. Мы считаем, «Американская ассоциация книжных торговцев» может стать достойным получателем. Как тебе это нравится?

Я целиком и полностью за, мистер Бриггс. По-моему, это превосходная мысль.

Председательствующий судья на ноябрьском процессе Руфус П. Нолан признал Фергусона виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к полугоду в исправительном учреждении для малолетних правонарушителей. Суровость вердикта провисела в воздухе три или четыре секунды (секунды долгие, как часы, как годы), после чего судья прибавил: *Наказание условное*.

Поверенный Фергусона, молодой адвокат по уголовным делам по имени Десмонд Кац, попросил не вносить приговор в дело своего клиента, однако Нолан отказал. Он и так проявил примечательную мягкость, объявив условный приговор, сказал он, и хорошему адвокату следует воздержаться и не испытывать судьбу. Совершенный проступок вызвал у него отвращение. Как сын привилегированных родителей, Фергу-

сон, похоже, считает себя выше закона, а кражу книг — всего лишь *проказой*, в то время как его распутное неуважение к частной собственности и жестокое безразличие к правам других людей служат показателем черствости его духа, с которой следует разобраться по всей строгости, дабы обеспечить пресечение его преступных наклонностей *в зародыше*. Как человек, совершивший преступление впервые, он заслуживает еще одного шанса. Но также заслуживает он и этого пятна в своих документах — чтобы задумался дважды перед тем, как даже помыслить о том, чтобы еще раз выкинуть подобный фортель.

Через две недели Эми написала ему и сообщила, что влюбилась в другого — в некоего старшеклассника по имени Рик — и что на рождественские каникулы она в Нью-Йорк не вернется, поскольку Рик пригласил ее навестить его семейный дом в Милуоки. Она сказала, что ей жаль сообщать ему настолько скверное известие таким способом, но рано или поздно такому суждено было случиться, и как же хорошо им было в те прекрасные недели весной, и насколько она по-прежнему его любит, и как она рада, что они навсегда останутся *лучшими кузенами-друзьями на земле*.

Еще она добавила приписку, что, дескать, ей полегчало оттого, что он не сядет в тюрьму. Такая глупость, сказала она. *Все крадут книги, а попасться нужно было именно тебе.*

Фергусон распадался на части.

Он знал, что ему нужно собраться — либо руки и ноги у него начнут отваливаться, и весь остаток года он проведет, корчась на земле, как червяк.

В субботу, после того как разорвал письмо от Эми и сжег его в кухонной раковине, он высидел четыре фильма в трех разных кинотеатрах между полуднем и десятью часами вечера — спаренный сеанс в «Талии» и по фильму в «Нью-Йоркере» и «Элджине». В воскресенье высидел еще четыре. Восемь кинокартин так перемешались у него в голове, что, когда в воскресенье вечером засыпал, он уже не помнил, какая из них что. Решил, что отныне будет заносить одностраничное описание каждого фильма, который посмотрит, на бумагу и держать эти листки в особом скоросшивателе у себя на столе. Пусть будет вот такой способ удержать в руках собственную жизнь, а не утратить ее. Низвержение во тьму, да, но — со свечкой в руке и коробком спичек в кармане.

В декабре он опубликовал в газете мистера Дунбара еще две статьи: длинную — о трех

не-вестернах Джона Форда («Молодой мистер Линкольн», «Как зелена моя долина», «Гроздья гнева») и короткую — о «Некоторые любят погорячее», где сюжету внимания почти не уделялось, а речь шла преимущественно о мужчинах, переодетых в женское платье, и полуголом теле Мерилин Монро, что вырывалось из ее просвечивающего платья.

Парадокс заключался в том, что отстранение от школьных занятий отнюдь не превратило его в изгоя. Совсем напротив: казалось, среди друзей мужского пола его статус только повысился — они теперь смотрели на него как на дерзкого бунтаря, *крутого омбре*, и даже девчонки, похоже, сейчас, когда он официально преобразовался в личность опасную, находили его более привлекательным. Его интерес к этим девчонкам иссяк, когда ему было пятнадцать лет, но теперь он пригласил парочку на свидания — просто посмотреть, смогут ли они отвлечь его от мыслей об Эми. Не смогли. Даже когда он обнял Изабеллу Крафт и поцеловал ее — а это предполагало, что на это уйдет время, долгое время, прежде чем он вновь окажется готов дышать.

Никакого колледжа. Таково было его окончательное решение, и когда он сообщил матери и

Гилу, что не станет регистрироваться на сдачу ПАС в начале января, не станет посылать заявления ни в Амхерст, ни в Корнелл, ни в Принстон, ни в какой другой колледж из тех, что они обсуждали весь последний год, родители посмотрели на него так, будто он только объявил, что намерен покончить с собой.

Ты сам не понимаешь, что говоришь, сказал Гил. Нельзя тебе бросать образование.

Я не собираюсь его бросать, ответил Фергусон. Я лишь буду самообразовываться иначе.

Но где же, Арчи? — спросила мать. Ты ж не планируешь сидеть в этой квартире весь остаток своей жизни?

Фергусон рассмеялся. Вот так мысль, сказал он. Нет, здесь я не останусь. Конечно, я не останусь здесь. Мне бы хотелось поехать в Париж — при условии, что я закончу среднюю школу, и при условии, что вы согласить сделать мне выпускной подарок, который покроет стоимость дешевого авиабилета в одну сторону.

Ты забываешь о войне, сказал Гил. Как только ты выпустишься из школы, тебя загребут в армию и отправят во Вьетнам.

Нет, не загребут, ответил Фергусон. Не посмеют.

В кои-то веки Фергусон оказался прав. Через полтора месяца после того, как он с грехом пополам окончил среднюю школу, примирился с Эми, благословил Джима в его помолвке с Ненси Гаммерштейн, пережил неожиданно теплый и утешительный весенний роман со своим добрым другом Брайаном Мишевским, кто убедил теперь уже восемнадцатилетнего Фергусона в том, что он и впрямь случай особый, человек, предназначенный любить как мужчин, так и женщин, и жизнь у него из-за этой двойственности будет гораздо сложней большинства других жизней, но, вероятно, и богаче, а еще будет больше бодрить, писал каждую вторую неделю по новой статье для газеты мистера Дунбара до самого окончания последнего семестра, к своему скоросшивателю добавил почти сотню новых страниц, поработал вместе с Гилом над подготовкой исчерпывающего списка чтения к своему первому студенческому году без привязки к какому бы то ни было колледжу или университету, вернулся в «Гристедес» на Колумбус-авеню пожать руки своим бывшим товарищам по работе, вернулся в «Книжный мир» извиниться перед владельцем Джорджем Тайлером за то, что крал у него книги, понял, насколько повезло ему в том, что

его поймали, а наказали не строго, поклялся, что никогда больше не будет ничего ни у кого красть, Фергусон получил письмо с *Приветствием* от правительства Соединенных Штатов, и ему было велено явиться в призывную комиссию на Вайт-холл-стрит на армейское освидетельствование, каковое, что уж там уговорить, он с успехом выдержал, поскольку был здоровым молодым человеком без каких-либо физических недостатков или аномалий, но из-за того, что у него имелась судимость, и потому, что он открыто признался штатному психиатру, что его привлекают как мужчины, так и женщины, позднее тем же летом ему выписали новую призывную повестку, где спереди была впечатана его новая классификация: 4-Ф.

Фигляр — фетюк — фуфло — и фартовый.

4.4

За свои три года старшеклассником в предместьях Нью-Джерси шестнадцати-, семнадцати- и восемнадцатилетний Фергусон начал писать двадцать семь рассказов, закончил девятнадцать из них и ежедневно проводил не менее часа со своими, как он их называл, *рабочими тетрадями*, которые заполнял разнообразными упражнени-

ями по письму, какие изобретал себе для того, чтобы *быть начеку, докапываться до сути и лучше справляться* (как он однажды изложил это Эми): там копились описания физических предметов, пейзажей, утреннего неба, человеческих лиц, животных, игры света на снегу, звука дождя по стеклу, запаха горящего дерева, ощущения ходьбы в тумане или слушания ветра в ветвях деревьев; монологи голосами других людей, чтобы становиться этими другими людьми или хотя бы постараться лучше их понять (отца, матери, отчима, Эми, Ноя, учителей, друзей в школе, мистера и миссис Федерман), но еще и незнакомых и более далеких людей — И. С. Баха, Франца Кафки, кассирши из местного супермаркета, контролера на железной дороге Эри-Лакаванна и бородатого попрошайки, который выпросил у него доллар на вокзале «Гранд-Централ»; подражания требовательным, неподражаемым писателям прошлого, какими Фергусон восхищался (взять абзац из Готорна, к примеру, и сочинить что-нибудь на основе его синтаксической модели, используя глагол там, где и тот брал бы глагол, или прилагательное там, где у того прилагательное, — чтобы ощутить его ритм своими костями, почувствовать, как создается музыка); причудливая череда

виньеток, основанных на игре слов, омонимах и заменах одной буквы в словах: эль/ель, похоть/погодь, душа/руша, родись/годись; и стремительные выбросы автоматического письма, чтобы *очистить себе мозги* всякий раз, когда его заедало, как, например, случилось с четырьмя страницами каракуль, вдохновленных словом *бедуин*, что начинались так: *Нет, я беду не жду, я не безумен. Я даже не сердит, но дайте мне возможность сбить вас с панталыку, и я дочиста обчищу вам карманы.* Еще он написал одноактную пьесу, которую в отвращении сжег через неделю после завершения, и двадцать три стишка, отвратнее и паршивее которых не порождал ни единый обитатель Нового Света, — их он разорвал, дав себе слово никогда больше не писать никаких стихотворений. В основном он терпеть не мог того, что делал. В основном он считал себя глупым и бездарным, никогда и ничего он не добьется, но все равно упорствовал, ежедневно заставляя себя продолжать вопреки часто разочаровывающим результатам, он понимал, что не будет для него никакой надежды, если не продолжить заниматься этим и дальше: на то, чтобы стать тем писателем, каким он хотел стать, обязательно уйдут годы, больше лет, чем потребуется его

телу для того, чтобы окончательно вырасти, — и стоило ему написать что-нибудь такое, что казалось слегка менее скверным, чем написанное прежде, он ощущал хоть какой-то успех, пусть даже следующая писанина оказывалась уродством, ибо правда заключалась в том, что выбора у него не было, ему суждено заниматься этим или умереть, поскольку каковы б ни были боренья его и неудовлетворенность мертвечиной, что часто возникала из него, сам акт ее творенья делал его живее, нежели все остальное, чем он когда-либо занимался, и когда слова начинали петь у него в ушах, и он садился за стол и брал ручку или опускал пальцы на клавиши своей машинки — ощущал себя голым, голым и разоблаченным перед большим миром, что налетал на него, и лучше этого не бывало ничего, ничто не могло сравниться с тем чувством — исчезать из себя и проникать в большой мир, гудевший в тех словах, какие гудели у него в голове.

Упрямый. Вот каким словом лучше всего можно было описать его в те годы — и с каждым годом все упрямее, все замкнутее в себе самом, он все менее был склонен подаваться, если кто-то или что-то в него толкалось. Фергусон отвердел — стал тверд в своем презрении к собственному

отцу, тверд в отречениях, что продолжал налагать на себя и через много лет после смерти Арти Федермана, тверд в противлении предместному обществу, которое держало его в плену с самого начала его сознательной жизни. В нестерпимого сварливца, от какого люди разбегались, стоит ему войти в комнату, Фергусон не превратился лишь потому, что не искал стычек и, в общем и целом, держал мысли свои при себе. Большинство его соучеников видели в нем парня нормального — временами он бывал угрюм, немного *себе на уме*, но уж точно зуб ни на кого не точил и уж явно не зануда, поскольку Фергусон был против не всех людей, а лишь некоторых, и те, против кого он не был, ему скорее нравились, а к тем, кто ему нравился, он относился со сдержанным, но заботливым расположением, тех же, кого любил, любил он так, как любит собака, всеми до единой частями себя, никогда не судил их, никогда не осуждал, не думал о них ни единой дурной мысли, просто им поклонялся и внутренне ликовал в их присутствии, поскольку знал, что совершенно зависит от маленькой компании людей, которые его любят и кого ответно любит он, а без них он бы заблудился и потерялся, стал бы еще одним Ханком или Франком, кувыркающимся вниз

по колодцу всепожирающего мусоросжигателя, чешуйкой пепла, плывущей по ночному небу.

Он уже не был тем мальчиком, кто некогда написал «Душевные шнурки», четырнадцатилетним никчемным недоумком, но по-прежнему таскал этого мальчика в себе — и ощущал, что они вдвоем дальше будут идти вместе еще очень долго. Сочетать странное со знакомым — вот к чему честолюбиво стремился Фергусон, наблюдать мир столь же внимательно, как это делает самый преданный реалист, однако при этом вырабатывать способ видеть мир через иную, слегка искаженную линзу, потому что чтение книг, посвященных исключительно знакомому, неизбежно учит тебя тому, что ты и так уже знаешь, а чтение книг, посвященных исключительно чужеродному, учит тебя тому, что тебе и не нужно знать, Фергусон же больше всего прочего хотел писать такие истории, где находилось бы место не только зримому миру, мыслящим существам и неодушевленным предметам, но и обширным и таинственным силам, какие прятались внутри зримого. Ему хотелось бередить и баламутить, чтобы люди ревели от хохота и тряслись до самых поджилок, хотелось разбивать сердца и рушить умы, и танцевать чокнутую джигу дуралеев,

когда те берутся за свой доппельгангер-дуэт. Да, Толстой неизменно очень трогал — и да, Флобер писал лучшие фразы во всем мироздании, но как бы ни нравилось Фергусону следить за драматичными, все более крутыми поворотами судеб Анны К. и Эммы Б., на том рубеже его жизни наиболее напористо с ним беседовали персонажи вроде К. Кафки, Гулливера Свифта, Пима По, Просперо Шекспира, Бартльби Мельвиля, Ковалева Гоголя и чудовища М. Шелли.

Первые попытки его второго курса: рассказ о человеке, который просыпается однажды утром и обнаруживает, что у него другое лицо; рассказ о человеке, потерявшем бумажник и паспорт в чужом городе за границей и продающем свою кровь, чтобы поесть; рассказ о маленькой девочке, которая меняет себе имя первого числа каждого месяца; рассказ о двух друзьях, перестающих быть друзьями из-за спора, в котором доводы и того и другого ошибочны; рассказ о человеке, который случайно убивает свою жену, а затем решает выкрасить все дома у себя в районе в яркий оттенок красного; рассказ о женщине, утратившей дар речи и ловящей себя на том, что с годами становится все счастливее; рассказ о подростке, который сбегает из дому, а потом,

когда решает вернуться, обнаруживает, что его родители исчезли; рассказ о молодом человеке, пишущем рассказ о молодом человеке, пишущем рассказ о молодом человеке, пишущем рассказ о молодом человеке…

Хемингуэй научил его смотреть на свои фразы тщательнее, показал, как соразмерять весомость каждого слова и слога, что идут на постройку абзаца, но какого восхищения ни было б достойно письмо Хемингуэя, когда тот работал на пике мастерства, его произведения мало что говорили Фергусону, все это мужское позерство и стоицизм с плотно сжатыми губами казались ему слегка нелепыми, поэтому он оставил Хемингуэя ради более глубокого, более требовательного Джойса, а потом, когда ему исполнилось шестнадцать, дядя Дон подарил ему еще одну стопку книжек в мягких обложках, и среди них — книги доселе ему не известного Исаака Бабеля, который быстро стал для Фергусона автором рассказов номер один в целом свете, и Генриха фон Клейста (главного героя первой биографии Дона), который быстро стал для Фергусона автором рассказов номер два, но еще ценнее для него, если не сказать *драгоценнее* и *неизменно фундаментальнее*, было сорокапятицентовое издание «Сигнита» «Уолден

и Гражданское неповиновение», что оказалось втиснуло между художественной прозой и поэзией, ибо хоть Торо и не сочинял ни романов, ни рассказов, писателем он был высочайшей ясности и точности, создавал такие безупречно сконструированные фразы, что Фергусон ощущал их красоту подобно удару кулаком в подбородок или лихорадке в мозгу. Совершенство. Каждое слово казалось стоящим идеально на своем месте, а каждая фраза представлялась сама по себе маленьким произведением искусства, независимой единицей дыхания и мысли, и восторг от чтения такой прозы заключался в том, что ты никогда не знал, насколько далеко Торо прыгнет от одной фразы к следующей — иногда всего лишь на несколько дюймов, иногда на футы и ярды, а иногда и на целые немеренные мили, — и ошарашивающее воздействие этих неравных расстояний научило Фергусона думать по-новому и о собственных попытках, поскольку Торо делал вот что: в каждом своем написанном абзаце он сочетал два противоположных и взаимоисключающих порыва — их Фергусон начал называть порывом *повелевать* и порывом *рисковать*. Вот в чем заключается секрет, чувствовал он. Сплошная власть приводит к безвоздушному,

удушающему результату. Сплошной риск ведет к хаосу и невнятице. Но сложить то и то вместе — и тогда, возможно, на что-нибудь наткнешься, тогда, быть может, слова, поющие у тебя в голове, запоют и на странице, и полетят бомбы, и рухнут дома, и мир начнет выглядеть иным миром.

Но в Торо был не только стиль. Была в нем и яростная нужда быть собой и никем, кроме себя, даже ценой оскорбления соседей, упрямство души, что так притягивало Фергусона, *юношу* Фергусона, кто видел в Торо мужчину, которому удалось оставаться юношей всю свою жизнь, иначе говоря — человека, так и не отрекшегося от своих принципов, так и не превратившегося в коррумпированного, продажного взрослого, человека, оставшегося храбрым мальчуганом до самого конца, в точности каким Фергусону и хотелось воображать собственное будущее. Но помимо духовного императива преобразовать себя в дерзкое, уверенное в своих силах существо, у Торо было еще и критическое изучение основной американской предпосылки, что деньги правят всем, отвержение американского правительства и готовность садиться в тюрьму в знак протеста против действий этого правительства, а затем еще, конечно, — мысль, изменившая весь мир,

мысль, помогшая Индии стать независимой страной всего через пять месяцев после рождения Фергусона, та же самая мысль, что распространялась сейчас по Американскому Югу и, вероятно, поможет измениться и Америке, — *гражданское неповиновение*, ненасильственное сопротивление насилию несправедливых законов, и до чего же мало что поменялось за сто двенадцать лет после «Уолдена», говорил себе Фергусон, Мексикано-американская война превратилась теперь во Вьетнамскую войну, рабство черных теперь стало гнетом Джима Вороны и штатами, управляемыми Кланом, и точно так же, как Торо писал свою книгу в годы, предшествовавшие Гражданской войне, Фергусон ощущал, что и он пишет в тот миг, когда мир снова должен разлететься на части, и три раза в те недели, что предшествовали бракосочетанию его матери с отцом Джима и Эми и следовали за ним, пока Фергусон рассматривал передававшиеся по телевидению и печатавшиеся в газетах изображения буддистских монахов, *сжигавших себя до смерти* в протесте против политики поддерживаемого Америкой режима Зьема, он понимал, что спокойные дни его отрочества миновали, что ужас тех самосожжений доказывает: если люди готовы умирать за мир, то

неуклонно расширяющаяся война у них в стране рано или поздно станет такой огромной, что затмит собою все и в итоге всех ослепит.

Новый дом располагался в Саут-Оранже, а не в Мапльвуде, но поскольку обоими городками управлял единый отдел просвещения, Фергусон и Эми остались учащимися средней школы Колумбия — единственной бесплатной средней школы в районе. Они уже доучились на своем втором старшем году, когда 2 августа 1963 года их родители поженились, и унылый разговор, состоявшийся на заднем дворе старого дома Фергусона одиннадцать месяцев назад, был уже почти забыт. Эми нашла себе парня, Фергусон нашел себе девушку, и их братско-сестринская дружба продолжалась ровно так, как на это и надеялась Эми, хотя теперь, когда они стали действительно братом и сестрой, быть может, старая метафора превратилась в чуточку избыточную.

Отец Фергусона забирал все деньги от продажи старого дома, но хозяином старого старого дома по-прежнему оставался Дан Шнейдерман, — первого мапльвудского дома, из которого юному Фергусону никогда не хотелось уезжать, и, продав тот дом за двадцать девять тысяч долларов, он смог купить дом в Саут-Оранже, несколько крупнее,

за тридцать шесть тысяч долларов, поскольку, хоть мать Фергусона и осталась практически без единого пенни, потому что ежемесячные чеки от отца перестали приходить после того, как она вышла замуж за Дана, сам Дан больше не был банкротом, ибо в самом начале своей семейной жизни они с Лиз выправили себе страховки на сто пятьдесят тысяч долларов, и теперь, когда он получил эту сумму после отвратительной, преждевременной кончины Лиз, новообразованное семейство Адлеров, Фергусонов и Шнейдерманов оказалось на некоторое время уютно платежеспособно. Трудно было не думать о том, откуда взялись эти деньги, о мрачном переводе смертельного рака в доллары, но Лиз умерла, а жизнь длилась дальше, и что всем им оставалось делать, если не двигаться с нею вровень?

Все они очень полюбили новый дом. Даже Фергусон, крепко противившийся жизни в маленьком городке, готовый почти что угодно отдать, лишь бы только переехать в Нью-Йорк или любой другой крупный город где угодно в мире, признавал, что это прекрасный выбор и что этот двухэтажный, белый, обшитый досками дом, выстроенный в 1903 году и располагавшийся в неприметном тупичке под названием

Вудхолл-кресент, был местом куда более подходящим, чтоб кинуть кости, нежели промозглый Замок Молчания, в котором он вынужден был жить последние семь лет. Вероятно, им бы не помешала еще одна спальня помимо тех четырех, что уже были, поскольку ту комнату, что предназначалась бы Джиму, переоборудовали в студию для Дана, но трудностью это никто не считал, а меньше всех — сам флегматичный Джим, приезжавший в гости лишь очень редко и, похоже, вполне довольный тем, что ночует в гостиной на диване, а если он сам не против, то чего ради против должен быть кто-то еще? Самое важное — то, что жили они в нем все вместе, а поскольку Фергусон одобрял Дана, Эми и Джим одобряли мать Фергусона, Дан одобрял Фергусона, а мать Фергусона одобряла Эми и Джима, все они мирно расположились вместе и не обращали внимания на сплетников двух городков, которые чувствовали, что со всеми вывертами и перипетиями последнего года — смертью, разводом, повторным браком, новым домом и двумя распаленными сексом подростками, жившими бок о бок на одном этаже в доме, — там, по адресу Вудхолл-кресент, 7, наверняка должно происходить что-нибудь *странное*, или *неестественное*, или

не вполне правильное. Мужчина — всего-навсего *пробивающийся художник*, елки-палки, а это означало — неопрятный остряк-*люфтменш* (если верить евреям), либо патлатый нонконформист с подозрительными политическими склонностями (если верить неевреям), и как только может жена Станли Фергусона бросить семейную жизнь и все деньги, что к ней прилагаются, чтобы объединиться с эдаким вот типом?

Самая крупная перемена для Фергусона не имела ничего общего с материным замужеством за Даном Шнейдерманом. Она и раньше была замужем, в конце-то концов, и в этом смысле Дан был для нее лучшим, более совместимым супругом, чем отец, а потому Фергусон их союз одобрял и думал о нем не слишком усердно, поскольку делать этого было незачем. Думал же он, однако, вот о чем, и это представляло собой гораздо более значимый переворот в основных условиях всей его жизни: он теперь уже не единственный ребенок. Маленьким мальчиком он молился, чтобы у него завелись братишка или сестренка, вновь и вновь умолял свою мать сделать ему ребеночка, чтобы он больше не был один, но потом она сказала ему, что ничего не получится, что в ней ребеночков больше нет, а это означает, что до скончания вре-

мен он так и останется ее одним-единственным Арчи, и постепенно Фергусон смирился со своею одинокой судьбой, развился в задумчивого, мечтательного парнишку, которому теперь хотелось провести всю свою взрослую жизнь, запершись в комнате, за сочинением книжек, отказываясь от суматошных радостей и бодрого товарищества, какие переживает большинство детей со своими братишками или сестренками, но вдобавок избегая стычек и ненавистей, какие способны превратить детство в адскую, нескончаемую потасовку, что завершается пожизненной озлобленностью и/или непреходящим психозом, и вот теперь, в шестнадцать своих лет, избегнув как хорошего, так и плохого, что есть в полном уединении на всю жизнь, Фергусон понял, что детское желание его исполнилось в виде шестнадцатилетней сестры и двадцатилетнего брата — но слишком поздно, чересчур оно запоздало, чтобы принести ему теперь какую бы то ни было пользу, и хотя Джима по большей части рядом не бывало, а Эми снова стала его ближайшим другом (после долгого периода презрения к ней за то, что она его отвергла предыдущим летом), случались такие дни, когда он не мог не тосковать по своей прежней жизни единственного ребенка, пусть

даже та жизнь и была гораздо хуже нынешней.

Все было б иначе, люби его Эми так, как он постепенно полюбил ее, воспользуйся они своими новыми обстоятельствами, чтобы предаваться разнообразным плотским шалостям, импровизированным сессиям по распусканию рук, когда родители отворачивались, тайным проказам похоти и полуночным свиданиям в той или другой из их соседних спален, чтобы все это достигло пика во взаимном жертвоприношении обеих девственностей ради дела любви и укрепленного умственного здоровья, но Эми это не интересовало, она в самом деле и поистине хотела лишь быть ему сестрой, и свихнувшемуся на сексе Фергусону, чьей первостепенной целью в жизни было сунуть свой пенис в тело голой девочки и девственность свою навеки оставить позади, приходилось с этим смиряться — или же разрываться от непрерывного буйства потребности в том, что ему нипочем не достанется, поскольку подавляемое желание — яд, что пропитывает тебе все твои части, и как только вены твои и внутренние органы полностью насыщаются этой дрянью, она начинает проникать тебе в мозг и прорываться наружу прямо через макушку.

Первые недели в новом доме оказались для

него самыми трудными. Он не только вынужден был давить в себе порыв схватить Эми и измазать ей лицо своими поцелуями всякий раз, когда они оставались наедине, и ему не только приходилось умерять свои ночные эректильные грезы о том, как он проскальзывает к ней в постель в комнате за стенкой, но следовало производить и многочисленные практические подстройки, которые в основном вращались вокруг вопроса, как не нарушать личного пространства друг дружки, и покуда не установили они набор неукоснительных правил того, как им сосуществовать в тех пространствах, какие они занимали вместе (сперва стучаться, прибирать в ванной перед уходом оттуда, мыть за собой посуду, не списывать друг у дружки домашку, если ответ тебе не выдается просто так, и никакого шпионства в комнатах друг дружки, а это значило, что Фергусону нельзя заглядывать в дневник Эми, а Эми нельзя заглядывать в рабочие тетради и рассказы Фергусона), случилось несколько неловких моментов и парочка прямо-таки неловкостей, когда, например, Эми открыла дверь в ванную и увидела, как Фергусон, только что из душа, сидит голый на стульчаке и дрочит — *Я этого не видела!* — вякнула она, захлопывая дверь, — или когда Фергусон

выскочил из комнаты в тот самый миг, когда Эми шла по коридору, стараясь подтянуть полотенце, в которое завернулась, и тут полотенце вдруг упало, явив белизну ее голой кожи пораженному Фергусону, который впервые смотрел на груди своей сводной сестры с их маленькими сосками и на курчавые каштановые волосы у нее в паху, Эми издала громкое *Блядь!* — на что Фергусон тут же отозвался почти остроумно: *Я всегда подозревал, что у тебя есть тело*, — сказал он. *Теперь я в этом убедился*, — и Эми расхохоталась, а потом воздела вверх руки, пародируя снимок с голой красоткой, и сказала: *Теперь мы квиты, мистер Дик*, чем намекала не только на смешного персонажа в их любимом «Давиде Копперфильде», но и на то, что сама видела в ванной несколькими днями раньше.

Что правда, то правда — у Фергусона имелась подружка, но такой же правдой было и то, что он бросил бы ее в мгновение ока, если б *Баркис* Эми того пожелал, но тот не желал, и теперь, раз Фергусон увидел тело, которое ему никогда не достанется, ему уже можно было не мучить себя стараниями вообразить, как оно выглядит, и таков оказался маленький шаг вперед, чувствовал он, способ начать излечиваться от нездоровой

одержимости, которая ни к чему его не приведет, если не считать Бездонного Колодца Вечной Печали, и, чтобы как-то себя вознаградить, он попробовал сосредоточить мысли на теле своей подружки, которое видел голым пока только от талии и выше, но исследования их теперь, когда они воссоединились в начале своего младшего курса, уже становились все смелее и безрассуднее, а это значило, что есть основания для надежды, и после тяжкого лета, когда он не знал, в каких они отношениях с Эми или как ему с ней себя вести, Фергусон решил сдаться, сжечь весь свой арсенал и подписать умственный пакт о безоговорочной капитуляции, и вот с того момента он и начал привыкать к своей новой работе — вести себя по-братски с сестрой Эми, зная, что таков единственный способ любить ее и дальше и при этом оставаться любимым в ответ.

Иногда они ссорились, иногда Эми орала и хлопала дверями, обзывала его, иногда Фергусон прятался у себя в комнате и отказывался с нею разговаривать целыми вечерами, целыми глыбами по десять или двенадцать непрерывных часов, но в основном они прилагали кое-какие усилия к тому, чтобы ладить между собой, и в основном они между собой ладили. По сути, дружба их вер-

нулась к тому, чем была до того, как Фергусону взбрело на ум, что они должны стать больше, чем *просто друзьями*, но теперь к дружбе их добавилась новая мощность, раз они со своими только что поженившимися родителями жили теперь в доме на Вудхолл-кресенте, стали возникать более задушевные беседы, длились они иногда по три или четыре часа и в какой-то миг непременно сворачивали на кончину матери Эми и смерть Арти Федермана, больше времени оставалось на совместную учебу и подготовку к контрольным (отчего оценки Фергусона пошли вверх до четверок с плюсом и, временами, пятерок с минусом, на фоне уровня Эми со сплошными пятерками и пятерками с минусом), больше выкуривалось вместе сигарет, больше пилось вместе спиртного (почти сплошь пиво, дешевое «Роллинг Рок» в длинных зеленых бутылках или еще более дешевое «Олд Милуоки» в пузатых коричневых), вместе смотрелось больше старого кино по телевизору, больше слушалось вместе пластинок, больше вместе игралось в кункен, больше совместно ездилось в Нью-Йорк, больше шутилось, больше дразнилось, больше спорилось о политике, больше смеялось — и никаких больше запретов на то, чтобы ковырять в носу или

пукать в обществе друг дружки.

В школе училось больше двадцати одной сотни человек, на параллель — чуть больше семисот, и на этом заводском конвейере народного образования, обслуживавшем городки Мапльвуд и Саут-Оранж, крутилась смесь протестантов, католиков и евреев, преимущественно — население среднего класса с долей «синих воротничков» из трудящегося класса и еще одной долей из верхних слоев беловоротничкового благосостояния, мальчики и девочки, чьи семьи приехали в Америку из Англии, Шотландии, Италии, Ирландии, Польши, России, Германии, Чехословакии, Греции и Венгрии, но ни одной азиатской семьи и всего двадцать четыре цветных учащихся во всей школе, отчего та была одной из множества одноцветных средних школ в округе Эссекс, и даже настолько поздно — девятнадцать и двадцать лет после освобождения лагерей смерти в конце Второй мировой войны, — в двух городках еще оставались следы антисемитизма, в основном в виде шепотков, молчаний и неписаных исключений из таких мест, как «Клуб лаун-тенниса в Оранже», но иногда бывало и хуже, и ни Фергусон, ни Эми так и не забыли креста, сожженного на газоне перед домом одного их еврейского друга

из Мапльвуда в тот год, когда им исполнилось по десять.

Более двух третей из семи с лишним сотен учащихся их параллели намеревалось поступать в колледж, некоторые — в лучшие частные заведения страны, некоторые — в посредственные частные колледжи на восточном побережье, кое-кто — в колледжи штата Нью-Джерси, а мальчикам, не пошедшим в колледж, светили армия и Вьетнам, а после — если там было какое-то «после» — работа механиками и служителями бензоколонок в гаражах и на заправках, карьеры пекарей и водителей-дальнобойщиков, урывочный или постоянный найм сантехниками, электриками и плотниками, двадцатилетние сроки службы в полиции, пожарной охране и канализации — или же джекпоты в высокорисковых ремеслах, вроде азартных игр, вымогательства и вооруженных ограблений. Девчонкам, не поступавшим в колледж, светили замужество и материнство, школа секретарш, школа медсестер, школа косметологов, школа зубных техников, работа в конторах, ресторанах и бюро путешествий — и возможность провести весь остаток своей жизни, не отъезжая и на десять миль от городка, в котором родились.

Были, конечно, и некоторые исключения из правил, кое-какие девушки не шли в колледж и не соглашались сидеть на месте, кое у кого из них прошлое и будущее совершенно отличались от таковых у доморощенных нью-джерсейских девчонок, которых Фергусон изучал всю свою жизнь, и вот в первый день его первого года в старших классах одна такая фигура вдруг возникла у него на занятиях по английскому, темноволосая, темнокожая девушка, которая оказалась ни хороша собой, ни дурна, а как-то особо поразила взгляд Фергусона: она была вся туго свернута, словно бесстрашный зверек в клетке зоопарка спокойно наблюдает через прутья решетки за теми, кто наблюдает за ним, не очень понимая, кто из них окажется смелым и покормит его, и когда миссис Монро начала занятие, тыча пальцем в каждого ученика и прося его или ее представиться другим ученикам в классе, Фергусон услышал, что темноволосая девушка говорит с тем, что он принял за британский акцент, и, даже не помедлив, чтобы задуматься над этим, Фергусон тут же решил за нею ухлестнуть — не только из-за того, что девушка откуда-то еще была автоматически желаннее любой местной девушки из предместий Джерси, но потому, что прошло ровно семь дней

после того, как Эми дала ему от ворот поворот на заднем дворе, и он был свободен, до омерзения свободен ухлестывать за любой девчонкой, какая попалась бы ему на пути. К счастью, Эми в тот год не сидела с ним в классе на уроках английского, а это означало, что ее глаза не будут на него смотреть, пока он смотрит на темноволосую девчонку и замышляет подкат к ней, ее завлечение и победу над ней, а раз рядом нет Эми и никто не шпионит за его пассами, он эти свои пассы мог делать сколь угодно прозрачными.

Дана Розенблюм. Не британка — южноафриканка. Вторая из четырех дочерей у Мориса и Гледис Розенблюмов из Йоханнесбурга, ныне проживающих с Соединенных Штатах, поскольку отец Даны, преуспевающий фабрикант, был не только капиталистом-предпринимателем, но еще и социалистом, человеком, настроенным настолько против режима апартеида, правившего страной с 1948 года, что он активно против него работал и, занимаясь подрывной деятельностью, оскорбил южноафриканские правоохранительные органы до такой степени, что они его хотели посадить в тюрьму — в такое место, какое не было бы полезно для здоровья Мориса Розенблюма или морального состояния его семьи, поэтому

они вшестером сбежали, сделали ноги из Южной Африки в Лондон, бросив свою фабрику, свой дом в Йоханнесбурге, свои машины, своих кошек, свою лошадь, свою дачу, свою яхту и бóльшую часть своих денег. От всего к почти ничему, а шестидесятидвухлетний отец Даны уже был слишком немощен для работы, ее гораздо более молодая мать, которой, по прикидкам Фергусона, было где-то за сорок, взяла на себя заботу о семье в Лондоне — задачу эту она выполнила, за три года поднявшись до весьма влиятельного положения в универсальном магазине «Гарродс», а поднявшись в «Гарродсе» насколько было возможно, согласилась занять еще более важное положение с удвоенной зарплатой в «Саксе Пятой Авеню» в Нью-Йорке. Так вот Розенблюмы и высадились на американскую почву весной 1962 года, и так вот оказались они в большом скрипучем доме на Майгью-драйве в Саут-Оранже, Нью-Джерси, и вот так Дана Розенблюм расположилась в двух партах от Фергусона в десятом классе миссис Монро средней школы Колумбия.

Белая южноафриканка со смуглым цветом кожи североафриканки, восточноевропейские корни сплелись в ней слоями один над другим, более глубокие залегали в пустынях Ближнего

Востока, экзотическая еврейка из германской и скандинавской литературы, цыганская девушка из опер девятнадцатого века и фильмов в «Технниколоре», Эсмеральда, Вирсавия и Дездемона в одном лице, черное пламя курчавых, непокорных волос пылало у нее на голове, как корона, тонкие руки и узкие бедра, легкая сутулость плеч и загривка, когда она кропала в классе конспекты, томные движения, она никогда не суетилась и не маялась, спокойная, мягкая и спокойная, вовсе не левантийская соблазнительница, какой выглядела, а крепкая девчонка с радушными, нежными замашками, во многих смыслах — самая обыкновенная из всех, к кому когда-либо влекло Фергусона, не красивая так, как была красивой Линда Флагг, не блистательная, как блистательна была Эми, но постарше и поспокойнее их обеих — из-за того, что пришлось испытать ей и ее семье, старше самого Фергусона, неизмученная сенсуалистка, кому хватило опыта и дерзости воспринять его первые подкаты, и уже совсем немного погодя он понял, что она от него без ума и ни за что не расчекрыжит его на куски, как это иногда проделывала Эми, вечная спорщица Шнейдерман, которая расхохоталась, когда еще до того, как их родители поженились, в Год Мно-

гих Ужинов, Фергусон однажды вечером после трапезы вынул трубку и прикурил ее, трубку, что он купил, дабы курить, пока пишет, поскольку считал, будто всем писателям полагается курить трубки, когда они сидят у себя за столами и пишут, и до чего же основательно высмеяла она его за это, назвав *претенциозным балбесом* и *самым глупым мальчишкой из когда-либо живших на свете*, таких слов Дана Розенблюм ни за что бы не сказала ни ему, ни кому бы то ни было еще, и поэтому он стал ухаживать за темноглазой новенькой из Йоханнесбурга и Лондона и завоевал ее — не потому что знал, что творить в деле соблазнения, а потому что она в него влюбилась и хотела, чтобы ее соблазнили.

Он не был в нее влюблен, он никогда в нее не влюбится, с самого начала он понимал, что Дане нипочем не стать той великой страстью, какой он искал, но телу его требовалось, чтобы его трогали, он томился по близости с кем-нибудь, и Дана его трогала и целовала славно, до того славно и настолько часто, что физические наслаждения, обретаемые благодаря ее ласкам, на том рубеже в его жизни почти нацело отменили нужду в великой страсти. Чуточку страсти и побольше касаний и поцелуев — этого пока хватит,

и когда они зимой своего первого года в старших классах прорвались за барьер голой кожи и секса напролом, для удовлетворения ему этого более чем хватало.

Бессловесный животный секс с девочкой-цыганкой, которая его любила, общение взглядами, жестами и касанием, самая малость обменов словами о чем бы то ни было, кроме самых обыденных вещей, не союз умов, как у них с Эми или будущей девушкой его мечты, а слияние тел, понимание между телами, отсутствие запретов, которое было для Фергусона таким новым, что иногда он дрожал от мысли о том, что они друг с дружкой делали в пустых комнатах, где им удавалось остаться наедине, вся кожа просто горела от счастья, пот тек из пор, покуда они умащивали друг дружку поцелуями, и до чего добра была она к нему, как спускала ему все его угрюмства и отчаяния, в которых он себе потакал, как мало заботило ее, что он любит ее меньше, чем она любит его, но оба они знали, что связь их — дело не более чем временное, что Америка — место для него, а не для нее, и покамест она лишь выжидает до окончания школы и своего восемнадцатилетия, а после отправится в Израиль жить в киббуце между Галилейским

морем и Голанскими высотами, только этого ей и хотелось, никакого колледжа, никаких книг, никаких больших идей, лишь уместить свое тело куда-то вместе с другими телами и делать то, что нужно для того, чтобы принадлежать стране, которая никогда ее не выгонит.

Неизбежно случалось, что ему становилось с нею скучно, отчужденно, поскольку ее так мало заботило то, что было для него самым важным, и все годы, которые они провели вместе в школе, он колебался и отплывал прочь, присматривался к другим девчонкам, сходился с другими девчонками летом, когда Дана навещала родню в Тель-Авиве, но не мог порвать с нею окончательно, ее сладость вновь приманивала его, сладость ее доброго сердца была неотразима, а секс — обязателен, единственное, что затмевало все остальное на те минуты и часы, пока он длился, и Фергусон тогда, казалось, неизбежно понимал, для чего родился и что значит принадлежать миру, начало эротической жизни, начало настоящей жизни, а ничего этого не стало бы возможным ни с какой другой девушкой в школе, все эти Линды Флагг, Норы Макгинти или Дебби Клейнман были воинственными девственницами, профессиональными девами, запертыми в железные

пояса верности, а значит, пусть даже чувства его время от времени и мерцали, он знал, до чего ему повезло, что он нашел Дану Розенблюм, и нипочем ее не отпустит, покуда не придется, ибо помимо того, что Дана отдала ему себя, она подарила ему еще и свою семью, и Фергусон эту семью полюбил, полюбил саму мысль о том, что такая семья может существовать, и всякий раз, когда он входил к ним в дом и его окутывала аура Розенблюмов, он становился так счастлив, что ему не хотелось оттуда уходить.

То, чем аура эта была, казалось, бежит точных определений, хотя Фергусон за годы и производил многочисленные попытки понять, отчего же она такая особенная, почему так не похоже это ни на чей дом, где ему приходилось бывать раньше. Смесь шикарного и будничного, иногда думал он, но такая, где шик никогда не марается о будничность, а на будничность никогда не воздействует шик. Элегантные, прекрасно вышколенные британские манеры родителей благоденствовали бок о бок с анархическими склонностями детей, однако ни один из лагерей, казалось, не презирает другой, и в доме, судя по всему, постоянно царили мир и покой, даже если две младшие дочери орали друг на дружку

в гостиной. Моментальный снимок: высокая, стройная, аристократичная миссис Розенблюм в костюме от Шанель и Диора, одном из тех, какие носила на работе, у себя в конторе «Сакса Пятой Авеню», терпеливо беседует о контроле рождаемости со своей старшей дочерью Беллой, которая по приезде в Америку стала битницей, а теперь терпеливо слушает мать, поправляя на себе черный свитер под горло и подводя черным себе глаза, медленно превращаясь в енота. Другой снимок: мелковатый, несколько изможденный мистер Розенблюм в шелковом аскотском галстуке и с седой эспаньолкой выступает на тему добродетелей хорошего почерка перед своей младшей дочерью Лесли, тощей девятилеткой с болячками на коленях и ручным хомяком по кличке Родольфо, который спит в кармане ее платья. Такова и была розенблюмовская аура в одном-двух своих преходящих воплощениях, и когда Фергусон задумывался о перипетиях, какие пришлось вместе пережить этим людям, когда думал он о том, каково это — терять все и начинать все заново в другой части света, а затем начинать все сызнова вторично еще в третьей части света, он задавался вопросом, встречал ли когда-либо семейство храбрее, крепче этого. В этом тоже бы-

ла аура: Мы живы и отныне девиз наш — живи и дай жить другим, и пусть боги отвернутся от нас и больше никогда не лезут в наши дела.

У мистера Розенблюма многому можно поучиться, решил для себя Фергусон, и, поскольку шестидесятишестилетний отец Даны больше не работал и почти все дни проводил дома за чтением книг и курением сигарет, Фергусон начал время от времени навещать его, чаще всего — сразу же после школы, когда вечерняя заря уже втекала в гостиную и отбрасывала сложные, пересекающиеся тени на пол и мебель, и вот там-то и сидели они, молодой человек и старый, в той полутемной, полусветлой комнате, говорили ни о чем в особенности, трепались в окрестностях политики и странностей американской жизни, время от времени обсуждали какую-нибудь книгу, или фильм, или картину, но главным образом мистер Розенблюм рассказывал о прошлом, легкомысленные, чарующие анекдоты о штормовых плаваниях в Европу на пароходах, об остротах, что он отпускал еще юношей, о потрясении восторга, каким пробило его, когда он сделал свой первый в жизни глоток мартини, упоминались *граммофонные пластинки, беспроводные приемники* и скатанные шелковые чулки, сползающие

с женских ножек, ничего особо значимого, ничего слишком глубокого, но слушать завораживало, и до чего же редко упоминал он о неприятностях в Южной Африке, отметил Фергусон, а когда наконец что-то об этом все-таки говорил, в голосе его не звучало никакой досады, никакого гнева или негодования, каких можно было бы ожидать от человека в изгнании, и вот потому-то Фергусона так тянуло к мистеру Розенблюму, от всего этого он так и наслаждался его обществом — не потому, что перед ним сидел человек страдавший, а потому, что это был человек страдавший, но еще способный острить.

Мистер Розенблюм не прочел ни одного рассказа Фергусона, не бросил даже взгляда ни на единое слово, написанное Фергусоном, но из всех людей именно он предложил решение задачи, которая уже много месяцев не давала Фергусону покоя и, несомненно, мучила бы его и дальше многие годы.

Арчи, сказал как-то днем старик. Славное имя на каждый день, но не очень хорошее для романиста, а?

Нет, ответил Фергусон. Оно трагически неуместно.

Да и *Арчибальд* ничем не лучше, а?

Нет, оно вообще не лучше. Хуже.

Так что ты будешь делать, когда начнешь публиковать свои произведения?

Если я когда-либо вообще начну публиковаться, хотите сказать.

Ну, допустим, начнешь. У тебя есть в голове еще какие-нибудь варианты?

Да нет, вообще-то.

Нет вообще-то или вообще нет?

Вообще нет.

Хм-м-м, произнес мистер Розенблюм, прикуривая сигарету и глядя куда-то в тени. После долгой паузы он спросил: А как насчет среднего имени? Оно у тебя есть?

Исаак.

Мистер Розенблюм выдохнул большой плюмаж дыма и повторил три слога, которые только что услышал: *Исаак*.

Так звали моего деда.

Исаак Фергусон.

Исаак Фергусон. Как у Исаака Бабеля и Исаака Башевиса Зингера.

Прекрасное еврейское имя, не думаешь?

Не сколько *Фергусон*, но *Исаак* — определенно.

Исаак Фергусон, романист.

Арчи Фергусон — человек, Исаак Фергусон —

писатель.

Неплохо, я бы решил. Что скажешь?

Совсем неплохо.

Два человека в одном.

Или один человек в двух. И так и эдак хорошо. И так и эдак этим именем я и стану подписывать свои работы: Исаак Фергусон. Если мне когда-нибудь удастся напечататься, конечно.

Не будь таким скромником. *Когда* тебе удастся напечататься.

Через полгода после того разговора, когда они вдвоем сидели в доме и обсуждали различия между предвечерним светом Южной Африки и предвечерним светом Нью-Джерси, мистер Розенблюм встал с кресла, сходил в дальний угол комнаты и вернулся с книгой в руке.

Может, тебе стоит это прочесть, сказал он и мягко выронил книгу в руки Фергусона.

То была «Плачь, любимая страна: история утешения в отчаянии» Алана Патона. Издательство «Джонатан Кейп», Бедфорд-сквер, тридцать, Лондон.

Фергусон сказал спасибо мистеру Розенблюму и пообещал вернуть книгу дня через три-четыре.

Возвращать необязательно, ответил мистер Розенблюм, вновь усаживаясь в кресло. Это тебе,

Арчи. Мне она больше не нужна.

Фергусон раскрыл книгу и увидел надпись на первой странице, которая гласила: *23 сентября 1948 года. Многих счастливых дней рождения, Морис, — Тилли и Бен*. Под двумя подписями жирными печатными буквами были приписаны еще два слова: держись крепче.

Если он не собирается брать деньги у отца, то и речи быть не могло о том, чтобы провести еще одно лето, работая в отцовском магазине. В то же время, если Фергусон не намерен брать деньги у отца, ему придется начать зарабатывать самостоятельно, однако работу на два летних месяца в этой части света найти было сложно, и он не знал, где ее искать. Теперь, когда ему исполнилось шестнадцать, он полагал, что может вернуться в лагерь «Парадиз» и поработать там официантом, но не заработает он там ничего, кроме чаевых, которые родители воспитанников раздают в конце лета, что составит какие-то жалкие двести долларов или около того, а вдобавок Фергусон с лагерем покончил, и ему ни за что не хотелось возвращаться туда, одной мысли о том, что придется ступить на ту землю, где он видел, как погиб Арти Федерман, было довольно, чтобы он снова увидел смерть, видел ее вновь

и вновь, пока уже сам Фергусон не испускал то тихое *Ох*, что вырвалось у Арти изо рта, пока уже сам Фергусон не падал на траву, сам Фергусон был мертв, и ему просто невозможно туда вернуться, даже если б зарплата у лагерных официантов составляла четыреста долларов за трапезу.

Весной его второго курса, когда на начало августа уже назначили бракосочетание его матери, а решение все не приходило, Джим свел Фергусона с одним своим старым школьным другом, двухсоттридцатифунтовым бывшим футбольным блокировщиком по имени Арни Фрейзер, который еще на первом курсе вылетел из Ратгерса и теперь заправлял перевозками мебели в Маплвуде и Саут-Оранже. Его предприятие состояло из одного белого фургона «шеви», и все дела велись закулисно, строго за наличные, без страховки, без штатных сотрудников, без формальной структуры бизнеса и без уплаты налогов, поскольку не заявлялся никакой доход. Хотя водительских прав у Фергусона и не будет еще до следующего марта, Фрейзер нанял его помощником взамен своего последнего, которого забрали в армию, и в конце июня он отправлялся в Форт-Дикс. Друг Джима предпочел бы работника на полной ставке и круглый год, но Джим был другом Фрей-

зера, поскольку некогда спас сестру-близняшку Фрейзера из щекотливой ситуации на вечеринке старшеклассников (завалил пьяного игрока в лакросс, который ее лапал в углу), и Фрейзер считал, что должен Джиму, и отказать ему не мог. Так вот Фергусон туда и пролез, и начал свою карьеру перевозчика, которая длилась все три его лета в старших классах с 1963-го по 1965-й, поскольку услуги его снова потребовались на следующий год, когда из-за грыжи межпозвоночного диска в низу спины пришлось уйти еще одному грузчику, и еще через год, когда гараж расширился до двух фургонов и Фрейзеру очень понадобился новый водитель. Временами работа изматывала, и каждый год, когда Фергусон начинал ее сызнова, половина мышц у него в теле первые шесть-семь дней мучительно болела, но он обнаружил, что физический труд — хороший противовес умственной работе, письму, ибо он не только поддерживал его в хорошей форме и служил обоснованной цели (перевозке пожитков других людей с одного места в другое), но и позволял ему думать о своем, а не уступать своих мыслей кому-то еще, что случалось сплошь и рядом в любом нефизическом труде, когда помогаешь кому-то зарабатывать деньги своими

мозгами, а взамен получаешь меньше мыслимого, и пусть даже зарплата у Фергусона была невелика, каждый выезд завершался пяти-, десяти-, а порой и двадцатидолларовыми купюрами, которые совали ему в руку, и поскольку в те годы работы такой было в изобилии — перед тем как миллионы, сожженные во Вьетнаме, погубили национальную экономику, — он в итоге каждую неделю зарабатывал почти двести не облагаемых налогами долларов. Поэтому Фергусон и провел те три лета за перетаскиванием кроватей и диванов вверх и вниз по узким лестницам, доставкой антикварных зеркал и секретеров Людовика XV дизайнерам помещений в Нью-Йорк, перевозкой пожитков для студентов колледжей в общежития студгородков Пенсильвании, Коннектикута и Массачусетса и из них, сбагриванием старых холодильников и сломанных кондиционеров на городскую свалку, а в процессе знакомился со множеством людей, которые ни за что бы не соприкоснулись с его жизнью, сиди он где-нибудь в конторе или набивай вафельные рожки мороженым для шумных детей в «Грунингсе». Мало того, Арни к нему хорошо относился и, казалось, уважал его, и хотя — что правда, то правда — его двадцатиоднолетний начальник

в выборах 64-го голосовал за Голдуотера и хотел сбросить атомные бомбы на Ханой, правда и то, что, когда купили второй фургон, тот же самый Арни Фрейзер нанял двух черных, и команда их расширилась до четырех человек, а последнее лето, когда Фергусон на него работал, принесло с собой неоценимый подарок — каждый день он выезжал на вызовы с одним из тех черных, Ричардом Бринкерстаффом, широким, толстопузым великаном, кто выглядывал в ветровое стекло фургона, который вел к их следующему пункту назначения Фергусон, тщательно впитывая в себя проплывавшие мимо пейзажи пустых предместных дорог, изрытых выбоинами городских улиц и запруженных промышленных трасс, и вновь и вновь одним и тем же тоном, безразлично, говорил ли он о том, что его восхищало, или печалило, или вызывало у него отвращение, показывая пальцем на маленькую девочку, играющую с колли на газоне перед своим домом, или на неопрятного алкаша, что, шатаясь, переходил перекресток в Бауэри, произносил: *Как это славно, Арчи. Как же это славно*.

Фергусон знал: отец его понятия не имеет, что он сейчас собой представляет. Не просто из-за того, что отцу невдомек было, чего ради

кому-то браться за занятие столь сомнительного рода — за сочинение книжек, что ему казалось недальновидной дурью, почти гарантированным паденьем в нищету, неудачу и сокрушительное для ума разочарование, но еще и потому, что его прилично воспитанный сын, кому выпало познакомиться с преимуществами традиционного американского предпринимательства, самостоятельно пробивающего себе дорогу, буквально со дня своего рождения, теперь избегал возможностей, выпавших ему для продвижения и успеха в жизни, разбазаривает летние месяцы, работая простым грузчиком, трудится под началом у идиота, бросившего колледж, который обманывает ВНС[59]. С деньгами-то, что он зарабатывает, все в порядке, беда здесь была в том, что их никогда не станет больше, поскольку низовая работа такого сорта всегда будет держать его внизу, и когда его сын заводил разговоры о том, чтобы в будущем зарабатывать самостоятельно заводским рабочим или моряком торгового флота, отец его кривился от мысли о том, что же с ним станется. Что произошло с тем маленьким мальчиком, который хотел стать врачом? Почему все пошло

[59] Сноски: 59
Внутренняя налоговая служба США.

настолько не так?

Так, Фергусон воображал, должно быть, думает о нем отец, если тот вообще когда-нибудь о нем задумывался, и в двух-трехстраничных монологах, какие писал от лица своего отца, он мучительно пытался постичь отцовский образ мыслей, вкапывался и старался выкопать то немногое, что знал о начале жизни Станли Фергусона, о трудных, безденежных годах, когда убили его деда, а кланом стала заправлять орущая, чуть ли не истеричная бабушка Фергусона, а затем — о таинственном отъезде двух старших братьев его отца в Калифорнию, который никто ему толком так и не объяснил, а он так никогда толком и не понял, и после этого — о порыве стать богатейшим человеком на свете, великим пророком прибылей, который верил в деньги так, как другие люди верили в бога, или секс, или добрые дела, в деньги как спасение и претворение, в деньги как окончательную меру всех вещей, и все, кто сопротивлялся этой его вере, оказывались либо дураками, либо трусами, как, например, дураками и трусами оказались его бывшая жена и сын, мозги у них набиты романтической белибердой, почерпнутой из романов и дешевых голливудских фильмов, и за то, что

случилось, вина лежит в первую очередь на его бывшей жене, его некогда возлюбленной Розе, кто заморочила мальчишке голову и отвратила его от отца и избаловала его всей этой безмозглой чепухой насчет открытия его *истинного «я»* и выковывания его собственной *уникальной судьбы*, а теперь уже слишком поздно исправлять ущерб, мальчик для него потерян.

Но все равно ничто из этого не объясняло, почему отец его и дальше продолжал задремывать перед экраном в кино или перед телевизором, или почему, пусть и росло состояние, он делался все прижимистей и скупее и водил сына лишь в паршивые, недорогие рестораны на их ужины два раза в месяц, или почему передумал продавать дом в Мапльвуде и после того, как оттуда съехали Фергусон с матерью, вновь поселился в нем сам, или почему, озаботившись напечатать «Душевные шнурки», он больше ни разу не попросил почитать никакие новые рассказы Фергусона, не поинтересовался, как у него обстоят дела с новым отчимом и сводными братом и сестрой в доме на Вудхолл-кресент, никогда не спрашивал, в какой колледж сын хочет поступать, не говорил ни слова о покушении на Кеннеди, да и вообще, казалось, ему плевать, что президента застрели-

ли, и чем больше Фергусон пытался углубиться в душу отца, выискивая в этом тоннеле хоть что-то такое, что не было бы мертво или отрезано от других людей, тем меньше мог там найти. Даже сложный мистер Розенблюм, кто, несомненно, прятал от мира бóльшую часть своей внутренней жизни, если не всю ее, был понятнее Фергусону, чем его собственный отец. Да и различия между ними нельзя было свести к тому, что отец работал, а мистер Розенблюм нет. Дан Шнейдерман тоже работал. Не по двенадцать-четырнадцать часов в день, как выкладывался его отец, а стабильные семь-восемь, пять-шесть дней в неделю, и пусть даже не был он самым блистательным художником на свете, пределы своего таланта он знал и наслаждался собственной работой, которую выполнял достаточно неплохо, чтобы как-то зарабатывать на хлеб, будучи *свободным ремесленником кисти*, как он порой выражался, — не большой доход, какой огребал Станли Фергусон, конечно, и все же, несмотря на это, сердце у него было щедрей, что подтверждалось новой машиной, которую купил он своей новой жене, что сделало Фергусона и Эми совладельцами ее старого «понтиака», когда они сдали на права, подтверждалось изобретательными мобилями

и кружащимися маленькими механическими скульптурами, какие он мастерил в подарок всем на дни рожденья, сюрпризами в виде походов в рестораны, на концерты и в кино, карманными деньгами, которые вместе с теми, какие давал своей дочери, он навязал и Фергусону — раскошеливался для них обоих еженедельно, потому что хотел, чтобы их летние заработки складывались в банк, а не расходовались, пока они еще учатся в старших классах, — но главное, это подтверждалось щедростью самой его личности, его бодрым настроением и любящей заботой, его ребячеством, его причудами, его страстью к покеру и любым азартным играм, его несколько безрассудным наплевательством на завтрашний день в пользу дня сегодняшнего, из чего состоял весь этот человек, настолько отличный от отца Фергусона, что сын/пасынок с трудом увязывал того и другого как представителей одного биологического вида. А был еще старший брат Дана Гильберт Шнейдерман, новый, впечатляюще умный дядя Фергусона, работавший не меньше кого угодно: он преподавал на полной ставке историю музыки в Джулиарде и сочинял одну за другой статьи о классических композиторах для музыкальной энциклопедии, что вскоре должна

была выйти, — да и дядя Дон работал, усердный, иногда вспыльчивый отец его лучшего друга Ноя ни на миг не переставал трудиться: он усиленно писал биографию Монтеня и выдавал на-гора две, а порой и три книжные рецензии в месяц, — и даже Арни Фрейзер работал, этот неудавшийся студент со статьей 4-Ф, этот бывший футболист, облапошивающий ВНС, пахал, аж задница в мыле, как это хорошо было известно Фергусону, но работа не мешала ему каждый вечер выпивать шестерик «Лёвенбрау» и поддерживать амурные отношения одновременно с тремя различными девушками из трех разных городков.

Фергусон старался не сердиться, когда оказывался с отцом, хоть и ужасался тому, насколько царь бытовых приборов был не против того, чтобы Дан Шнейдерман давал ему деньги на карманные расходы, которые по закону и совести давать ему должен был отец, однако Фергусон подозревал, что и отец его злится — не столько на него самого, сколько на его мать, которая не просто настояла на разводе, но и вскоре после него повторно вышла замуж, и, сложив с себя обязанности по отношению к сыну, отец Фергусона тем самым скупердяйски вознаградил себя тем, что ему не пришлось расставаться с деньгами,

когда ему этого не хотелось (а так теперь было всегда), вместе с дополнительным удовлетворением показать фигу новому мужу своей бывшей жены. Потеха в блошином цирке мелкой вражды, сказал себе Фергусон, а сердце у него в груди меж тем сжалось еще крепче, но, быть может, оно и к лучшему, что отец отрекся от своей обязанности давать сыну на карманные расходы, поскольку Фергусон от этих денег все равно бы отказался, если бы их и предложили, а ему не хотелось лишний раз вступать в конфронтацию с отцом, сообщая ему о своем решении не принимать у него денег, что выглядело бы актом враждебности, чем-то сродни объявлению войны, Фергусон же вовсе не рвался вступать с отцом в драку, он лишь желал претерпевать их встречи как можно спокойнее и не провоцировать ничего такого, что могло бы причинить боль кому-то из них.

От отца, значит, никаких денег — и никакого бейсбола, поскольку призрак Арти Федермана по-прежнему ходил за ним неотступно, и Фергусон не намеревался отступаться от данного им слова. Другие виды спорта позволялись, но ни один никогда не считался так, как бейсбол, и, поиграв форвардом в баскетбольной команде двухгодичного университета на своем первом

году старших классов, Фергусон решил на будущий год в команду не идти, что положило резкий и бесповоротный конец его участию в организованном спорте. Тот некогда значил для него все, но так было до того, как он прочел «Преступление и наказание», до того, как открыл для себя секс с Даной Розенблюм, пока еще не выкурил свою первую сигарету и не опустошил свой первый стакан выпивки, еще до того, как он стал будущим писателем, который все вечера проводит один у себя в комнате, наполняя словами драгоценные тетрадки, и хотя спорт он любил по-прежнему и иначе нипочем бы не подумал его бросать, тот нынче переместился в категорию праздных развлечений — контактный футбол, уличный баскетбол, пинг-понг в подвале нового дома, а временами, воскресным утром, теннис с Даном, матерью и Эми, по большей части — парные встречи: либо дети против родителей, либо отец-дочь против матери-сына. Рекреационные развлечения в отличие от битв не на жизнь, а на смерть, как в детстве. Жестко поиграешь, вспотеешь, победи или продуй, а потом идешь домой принять душ и покурить. Но для него это все равно было прекрасно, особенно тот спорт, что был ему больше всего небезразличен, запрет-

ный бейсбол, в который он никогда больше не сыграет, и он продолжал болеть за его свежеизобретенную команду из Флашинга, пусть даже судьба западного мира больше и не зависела от того, что Чу-Чу Кольман выходил на дом отбивающего с двумя аутами и двумя человеками на дне девятого. Его отчим и сводный брат стонали, когда вызывали неизбежный третий удар, Фергусон же просто кивал или качал головой, а затем вставал и просто выключал телевизор. Чу-Чу Кольманы этого мира родились для того, чтобы выбивать ауты, и «Меты» не были б «Метами», если б он этого не делал.

Два ужина каждый месяц с отцом и один ужин в месяц с Федерманами в Нью-Рошели — ритуал, какого Фергусон придерживался неукоснительно, несмотря на все свои опасения, поскольку ему никогда не бывало ясно, почему родители Арти все время приглашают его к себе опять и опять, а гораздо более непонятно — почему он всякий раз ловит себя на желании совершить этот долгий поход, чтобы с ними повидаться, когда на самом деле он этого вовсе не желает, когда в действительности каждый такой ужин с ними наполнял его ужасом. *Мрак*. Мотивы их были ему неясны, ибо ни он, ни Федерманы не понимали, что это

они делают или почему упорствуют в том, что делают это, однако же порыв там имелся с самого начала: после похорон миссис Федерман сгребла его в объятия и сказала, что он всегда будет членом их семьи; Фергусон два часа сидел рядом с двенадцатилетней Селией в гостиной, изо всех сил стараясь подобрать слова, чтобы сказать ей, что теперь он ей брат и будет всегда заботиться о ней. Зачем они сказали такое и подумали такое — и что все это значило?

Они с Арти были друзьями всего один месяц. Этого хватило, чтобы они стали близнецами А. Ф., хватило, чтобы почувствовали себя в начале того, что станет долгой и тесной дружбой, но не хватило, чтобы кто-либо из них стал *членом семьи другого*. Когда погиб его друг, Фергусон еще и в глаза не видел Ральфа и Ширли Федерманов. Он даже имен их не знал, а вот они про него знали из писем, которые их сын писал из лагеря «Парадиз». Те письма были решающими. Робкий, неразговорчивый Арти открылся им и рассказал о своем новом чудесном друге, а потому его родители уже были убеждены, что Фергусон чудесен, даже не успев с ним познакомиться. Потом Арти погиб, и три дня спустя его чудесный друг объявился на похоронах — не вылитый их сын, а мальчик,

очень на него похожий, высокий и крепкий, с тем же телом юного спортсмена, тем же еврейским происхождением, теми же хорошими оценками в школе, и вот то, что такой мальчик вошел к ним в жизнь в тот самый миг, когда они потеряли собственного сына, тот самый мальчик, которого сын их называл своим *братом*, должно быть, мощно на них подействовало, рассуждал Фергусон, подействовало жутко, словно их исчезнувший мальчик перехитрил богов и послал им другого мальчика, чтобы тот его заменил, сына-подменыша из мира живущих вместо того, кто умер, и, поддерживая общение с Фергусоном, они могли видеть, что происходило бы с их собственным мальчиком, пока бы тот медленно рос и превращался в мужчину, те постепенные перемены, что отличают пятнадцатилетнего от четырнадцатилетнего, шестнадцатилетнего от пятнадцатилетнего, семнадцатилетнего от шестнадцатилетнего и восемнадцатилетнего от семнадцатилетнего. Это некий спектакль, осознал Фергусон, и всякий раз, когда он ехал в Нью-Рошель еще на один воскресный ужин, ему приходилось брать на себя труд притворяться собой тем, что был собой, изображать самого себя как можно полнее и правдивее, ибо все они по-

нимали, что играют, пусть даже и не сознавали, что понимают это, и Арчи бы никогда не стал Арти — не потому, что ему этого не хотелось, а потому, что живые никогда бы не смогли заменить собою мертвых.

Хорошими они были людьми, добрыми, неприметельными людьми и жили в белом домике на обсаженной деревьями улочке рядом с другими белыми домиками, которыми владели другие трудолюбивые семьи среднего класса с двумя-тремя детьми каждая и машиной или двумя в белом деревянном гараже. Ральф Федерман был высоким худым человеком под пятьдесят, который выучился на фармацевта и заправлял самой маленькой из трех аптек на главной улице торгового района Нью-Рошели. Ширли Федерман, тоже высокая, но не худая, на несколько лет моложе мужа. Выпускница колледжа Хантер, она работала на неполной ставке в местной библиотеке, при национальных и штатских выборах агитировала за демократов и имела склонность к бродвейским опереттам. Оба они относились к Фергусону с неким тихим почтением, быть может — несколько потрясенно, а также благодарно за то, что он из верности их сыну продолжал принимать их приглашения, и потому, что им

не хотелось его терять, они за ужинами сидели, как правило, молча, а разговаривал почти всегда один Фергусон. Что же касается Селии, она вообще редко открывала рот, но его слушала — слушала внимательнее, чем оба ее родителя, и пока Фергусон наблюдал, как она развивается из скромного, скорбящего ребенка в сдержанную шестнадцатилетнюю девушку, ему пришло в голову, что она и есть та причина, почему он продолжает сюда возвращаться, ибо ему всегда было очевидно, насколько она смышлена, но вот теперь она становилась еще и хорошенькой, с гибкой, лебединой, длиннорукой и длинноногой красотой, и хоть и была еще слишком для него молода, через годик-другой такой она больше не будет, и где-то в глубоком, недоступном уголке мозга у Фергусона поселилась еще не вылепленная мысль о том, что ему суждено жениться на Селии Федерман, что повествование его жизни требует, чтобы он на ней женился ради того, чтобы отменить несправедливость преждевременной гибели ее брата.

Важно было, чтобы он говорил, не просто сидел и учтиво беседовал ни о чем, а разговаривал по-настоящему, рассказывал все, что мог, о себе, чтобы они начали понимать, кто он, и все боль-

ше и больше после первых нескольких визитов именно так он и делал — разговаривал с ними о себе и о том, что с ним происходило, потому что об Арти к тому времени сказать получалось все меньше и меньше, слишком ужасно было вновь и вновь ходить по той же самой почве, и Фергусон своими глазами мог видеть, как за девять месяцев волосы у мистера Федермана из темно-каштановых стали смесью каштановых и седых, а потом преимущественно седыми и после этого побелели совсем, как отец Арти за какое-то время сделался гораздо худее, а его мать все время набирала вес, еще десять фунтов к октябрю 1961 года, еще пятнадцать к марту 1962-го, двадцать фунтов к сентябрю, тела их рассказывали Фергусону, что творится с их душами, пока они живут со смертью Арти, и больше не было никакой нужды обсуждать подвиги их сына, десятилетнего игрока малой лиги, не стоило уже упоминать его пятерки с плюсом по естественным наукам и математике, и так вот Фергусон постепенно и разработал новую стратегию того, как ему высиживать эти ужины: нужно просто вытолкнуть Арти из комнаты и заставить их думать о чем-нибудь другом.

Никогда ни слова о том, что он бросил бейсбол

из-за их сына, ни слова о его похотливых мыслях об Эми Шнейдерман, ни слова о сексе с Даной Розенблюм, ни слова о том вечере, когда он перепил с дружком Эми Майком Лоубом и в итоге облевал себе все штаны и ботинки, но, помимо сокрытия этих секретов и опрометчивых поступков, Фергусон подчеркнуто не подвергал себя цензуре — задача трудная для такого скрытного человека, как он, но Фергусон выдрессировал себя быть с ними честным, *выступать перед ними*, и на двух дюжинах ужинов в Нью-Рошели, где он побывал за четыре года между смертью Арти и его собственным окончанием средней школы, говорил он о многом, включая различные пертурбации, происходившие у него в семье (развод его родителей, повторное замужество матери, ледяные отношения с отцом), и примечательный опыт обзаведения новым комплектом родни, не только отчимом и сводными братом и сестрой, но и братом Дана Гилом, эрудитом и человеком участливым, который интересовался писательскими устремлениями своего сводного племянника (*Тебе придется научиться всему, чему сможешь*, Арчи, однажды сказал ему он, *а потом обо всем этом забыть, и вот то, чего ты забыть не сможешь, и создаст основу для*

твоей работы), и суровой женой Гила Анной, и его пухлыми, ухмыльчивыми дочерями Маргарет и Эллой вместе со своенравным старым отцом Дана, жившим в палате на третьем этаже дома престарелых в Вашингтон-Хайтс, и либо полоумным, либо на ранних стадиях деменции, но все равно он время от времени выступал кое с какими незабываемыми замечаниями, высказываемыми с этим его акцентом Зига Румана: *А ну мы фсе саткнулис, мне поссать нато!* Один из лучших результатов материна замужества, рассказывал им Фергусон, — неким таинственным мановеньем руки, какое нанизало воедино столько разных семей и перекрывающихся генеалогий, его самый дорогой друг и сводный двоюродный брат Ной Маркс теперь стал еще и родичем его новой сводной сестры и сводного брата, они теперь троюродные или четвероюродные сводные родичи (никто не был толком уверен, какие именно), и от этого факта, когда б Фергусон ни задумывался об этом, голова у него кружилась — Ной и Эми теперь связаны с ним в том же перемешанном племени! — и до чего ж приятнее теперь смотреть, как хорошо Дан Шнейдерман сошелся с Дональдом Марксом, совсем не так, как было с его отцом, который не

любил дядю Дона и один раз назвал его *напыщенным шмаком*, и так лучше, сказал Фергусон, пусть даже отношения матери с ее сестрой и не улучшились и не улучшатся никогда, но теперь хотя бы стало возможно садиться и ужинать с Марксами и при этом не хотелось заорать или выхватить пистолет и кого-нибудь пристрелить.

Им он мог рассказывать такое, чего не рассказывал больше никому другому, а это, когда он бывал с ними, превращало его в другого человека, он делался откровеннее и забавнее, чем дома или в школе, *такой человек способен смешить других*, и, вероятно, еще и поэтому он все время к ним возвращался — поскольку знал, что им захочется слушать истории, какие он рассказывает, потешные анекдоты о Ное, к примеру, которого он никогда не уставал упоминать в разговорах, — о своем верном попутчике в странствии по чащобам жизни, которому выписали полную стипендию в школе Фильдстон в Ривердейле, одной из лучших частных школ в городе, о Ное подросшем и со снятыми с зубов скобками, которому удалось найти себе подружку, и он теперь ставил в Фильдстоне пьесы, современные, вроде «Стульев» или «Лысой певицы» Ионеско, и постарше, вроде «Белого дьявола» Джона Веб-

стера (ну и кровавая баня!), и снимал маленькие фильмы своей восьмимиллиметровой камерой «Белл-и-Гавелл». По-прежнему один из хитрейших саботажников на свете, он заявился вместе с Фергусоном на вторую из полумесячных встреч с его отцом в мае 1964-го — не в дешевый ресторан на сей раз, а в ужасающий загородный клуб «Синяя долина», приглашение куда Фергусон опрометчиво принял, настояв, чтобы в компанию можно было включить и Ноя, — такое предложение, предполагал он, отец отвергнет, но тот его удивил, согласившись на его требование, и вот так вот царь бытовых приборов и двое мальчишек однажды воскресным днем отправились обедать в клуб, а поскольку Ной знал все про боренья Фергусона с его отцом и был в курсе, насколько его друг терпеть не может этот клуб, над тем местом и над всем, что оно собою означало, он поиздевался, надев по такому торжественному случаю клетчатый берет с белым помпоном, столь нелепый, громоздкий головной убор, что Фергусон с отцом, увидев это, расхохотались, вероятно, то был единственный раз, когда они смеялись вместе, — за более чем десять лет, однако Ной держал лицо и не раскололся улыбкой, отчего смешное стало еще смешнее, конечно, и

сказал, что это его первый визит в гольф-клуб, и ему хотелось *выглядеть подобающе*, поскольку гольф — игра шотландская, а значит, всем гольфистам надлежит (он действительно произнес слово *надлежит*) украшать себя шотландскими уборами, покуда перемещаются по своему полю. Правда, когда они прибыли в клуб, Ной несколько увлекся — пожалуй, потому что стало неловко тереться плечами с теми, кого он называл *непристойно богатыми*, а может, и из-за того, что ему хотелось проявить солидарность с Фергусоном, произнося вслух то, что сам Фергусон нипочем бы не осмелился сказать, как, например, когда мимо проковылял тучный человек, показал на его берет и выкрикнул: *Славная шляпка!* — на что Ной ответил (с широченной ухмылкой, залепившей ему всю физиономию): *Спасибо, толстячок*, — но отец Фергусона шел в десяти-двенадцати шагах впереди и не услышал оскорбления, тем самым избавив мальчишек от выговора, какой им бы непременно достался, услышь он это, и в кои-то веки Фергусону удалось пережить день в загородном клубе «Синяя долина», не желая при этом оказаться где-нибудь в другом месте.

То была одна сторона Ноя, рассказывал он Федерманам, потешный *agent provocateur* и

проказливый паяц, но в глубине он личность глубокомысленная и серьезная, и ничто не доказывало этого больше, чем его поведение в те выходные, когда застрелили Кеннеди. По чистой случайности Ноя пригласили тогда в Нью-Джерси провести пару дней с ночевкой с Фергусоном и Эми в их новом доме на Вудхолл-кресент. План заключался в том, чтобы на его восьмимиллиметровую камеру снять маленькое кино, немую экранизацию рассказа Фергусона «Что случилось?» — про мальчика, который сбежал из дому, а когда вернулся, его родители исчезли: с Ноем в роли мальчика и с Фергусоном и Эми, игравшими родителей. Затем, в пятницу двадцать второго ноября, всего за несколько часов до того, как Ной должен был выехать из Нью-Йорка с автобусной станции Портоуправления, в Далласе стреляли в Кеннеди и убили его. Имело бы смысл отменить визит, однако Ною делать этого не хотелось, и он им позвонил и сказал, чтобы встречали его на автостанции в Ирвингтоне, как и планировалось. Все выходные они смотрели телевизор, Фергусон с отчимом сидели вместе на одном краю длинного дивана в гостиной, Эми и ее мачеха свернулись калачиками на другом конце, Роза — прижав к себе Эми, а Эми — положив голову Розе на плечо,

Ною же хватило ума вытащить камеру и снимать их, всех четверых почти все два дня, переводя объектив с одного лица на другое и на черно-белые изображения на телевизионном экране, лицо Вальтера Кронкайта, Джонсон и Джеки Кеннеди в самолете, когда вице-президент давал президентскую присягу, Джек Руби стреляет в Освальда в коридоре далласского полицейского участка, лошадь без всадника и салют Джон-Джона в день похоронной процессии, все эти общественные события чередовались с четырьмя людьми на диване, мрачным Даном Шнейдерманом, его отупевшим, вымотанным пасынком и двумя женщинами с мокрыми глазами, которые наблюдали за событиями на экране, все в молчании, конечно, поскольку камера не умела записывать звук, масса отснятого материала, должно быть, составлявшая десять или двенадцать часов, невыносимая длительность, которую никому не под силу было б высидеть с начала до конца, но потом Ной отвез катушки с пленкой обратно в Нью-Йорк, нашел себе в помощь профессионального монтажера и урезал эти часы до двадцати семи минут, и результат оказался ошеломляющим, сказал Фергусон, национальная катастрофа, написанная на лицах тех четверых людей и в

телевизионном приемнике перед ними, настоящий фильм шестнадцатилетнего мальчишки, что стал не просто историческим документом, но и произведением искусства, или, как выразился Фергусон, использовав слово, каким всегда пользовался, описывая то, что любит, — *шедевр*.

О Ное рассказывалось множество историй, но еще и об Эми и Джиме, о его матери и прародителях, об Арни Фрейзере и их почти-аварии на платной магистрали Нью-Джерси, о Дане Розенблюм и ее семействе, о беседах с мистером Розенблюмом и о дружбе с Майком Лоубом, парнем Эми, затем бывшим парнем, затем снова парнем, который не только знал, кто такая Эмма Гольдман, и читал ее автобиографию «Живу своей жизнью», но и был единственным в школе, кто также прочел «Тюремные воспоминания анархиста» Александра Беркмана. Мясистый Майк Лоуб, антисоветский радикал-марксист в зародыше, который верил в движение, в организацию, в массовые действия и, стало быть, косо посматривал на интерес Фергусона к Торо, который сплошь был про индивидуальное, про сознательного одиночку, кто действует из нравственных принципов, но не располагает никакой теоретической базой для нападения на систему,

для перестройки общества как снизу доверху, так и сверху донизу, отличный писатель, это да, но до чего ж зажатый и ханжеский он был парень и так боялся женщин, что, вероятно, и в могилу сошел девственником (Селия, в то время четырнадцатилетняя, хихикнула, когда Фергусон повторил эти слова), и пусть даже его мысль о гражданском неповиновении подхватили Ганди, Кинг и другие участники движения за гражданские права, пассивного сопротивления недостаточно, рано или поздно дело дойдет до вооруженной борьбы, и вот поэтому-то Майк М. Л. Кингу предпочитает Малькольма Икса и на стену своей спальни приклеил плакат с Мао.

Нет, ответил Фергусон, когда родители Арти спросили, согласен ли он с этим мальчиком, но как раз поэтому их разговоры с ним так поучительны, сказал он, ибо всякий раз, когда Майк бросает ему вызов, приходится крепче задумываться над тем, во что же верит он сам, а как можно чему-то научиться, если разговариваешь только с теми, кто думает точно так же, как ты?

А еще была миссис Монро, самая любимая его тема, единственный человек, из-за которого вся его жизнь в старших классах средней школы была сносной, и какая же это огромная удача, что

она ведет у них английский и на втором, и на первом году старших классов, молодая и энергичная Эвелина Монро, всего двадцать восемь лет ей было, когда Фергусон впервые попал к ней в класс, бодрое противоядие от убогой, реакционной, анти-модернистской миссис Бальдвин, Монро, урожденная Ферранте, крутая итальянская девушка из Бронкса, уехавшая в Вассар на полную стипендию, прежде замужем за джазовым саксофонистом Бобби Монро, завсегдатай сборищ в Виллидж, подруга музыкантов, художников, артистов и поэтов, хиповейшая училка из всех, что когда-либо украшали собой коридоры средней школы Колумбия, а от всех прочих учителей, что когда-либо у Фергусона бывали, отличало ее то, что на своих учеников она смотрела как на полностью сформировавшихся, независимых существ, как на юных взрослых, а не на крупных детей, и это воздействовало на них так, что они, сидя у нее на занятиях, ощущали себя уверенно, слушая, как говорит она о книгах, заданных им читать, о мистере Джойсе, мистере Шекспире, мистере Мельвиле, мисс Дикинсон, мистере Элиоте, мисс Элиот, мисс Вортон, мистере Фицджеральде, мисс Кэзер и всех прочих, и ни единого ученика ни в одном из двух ее классов, какие

посещал Фергусон, не было, кто не обожал бы миссис Монро, но никто и не обожал ее так, как сам Фергусон — показывал ей все до единого свои рассказы, какие писал в старших классах, и даже в последний год, когда она у него больше ничего не вела, не то чтоб она была им лучшим судьей, нежели дядя Дон или тетя Мильдред, полагал он, но, по его ощущению, она держалась с ним честнее их, критика ее бывала подробнее и в то же время больше поощряла его, как будто уже было предрешено, что он для такого родился и для него невозможен никакой другой выбор.

Над доской она держала пришпиленный плакат — фразу из американского поэта Кеннета Рексрота, которую переписала такими большими буквами, чтобы прочесть ее могли все, даже с заднего ряда, а поскольку Фергусон частенько ловил себя на том, что на занятиях смотрит на этот плакат, позднее он сообразил, что за годы обучения у нее прочел эту надпись, должно быть, несколько тысяч раз: ОТ ГИБЕЛИ МИРА ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНО СРЕДСТВО — АКТ ТВОРЧЕСТВА.

Миссис Федерман сказала: Каждому молодому человеку нужна такая миссис Монро, Арчи, но не каждому молодому человеку такая достается.

Ужас какой, ответил Фергусон. Даже не знаю,

что бы я делал без нее.

Нью-Йорк не переставал его к себе тянуть, и в свободные субботы Фергусон продолжал туда ездить как можно чаще, иногда один, порой с Даной Розенблюм, порой с Эми, временами с Эми и Майком Лоубом, иногда только с Майком Лоубом, а бывало, со всеми троими, и там с ним (и ими) по выходным встречался Ной, когда юный Брюзга ночевал у отца и Мильдред в Виллидж или только у отца, если дяде Дону и тете Мильдред случалось снова жить порознь. *Плотность, громадность, сложность*, как некогда выразился Фергусон, будучи спрошенным, почему он предпочитает город предместьям, каковой сантимент разделяли все пятеро членов его маленькой банды, и за исключением Даны, которая уже точно знала, куда ей хочется уехать после школы, остальные четверо решили, что им всем следует остаться в Нью-Йорке и поступать в колледж. Это означало Колумбию для троих мальчишек и Барнард для Эми, при условии, что их туда примут, а это казалось вероятным или с не слишком большой натяжкой, учитывая их хорошую успеваемость, но, хотя поступить удалось троим из них, лишь один в итоге переехал в следующем сентябре на Морнингсайд-Хайтс. Ной, отверженный со-

искатель, навлек на себя поражение тем, что у него летом после первого старшего класса развилась новая привычка — и до того полюбил он курить дурь, что временно утратил интерес к образованию, отчего оценки его и результаты экзаменов в первом семестре старшего класса рухнули, и Колумбия, альма-матер его отца, место, где, как все в его семье надеялись, он проведет следующие четыре года, его отвергла. Ной над этим лишь посмеялся. Он вместо нее пойдет в УНЙ, что позволит ему остаться в Нью-Йорке, как он и собирался, и хотя тот все признавали колледжем хуже Колумбии, с посредственной преддипломной программой для вялых, безалаберных студентов, УНЙ даст ему возможность изучать кинодело, а этот предмет студентам Колумбии не предлагался, ну и, кроме того, сказал Ной, жить ему придется в отпаднейшей части города, а не в этих засранных трущобах, втиснутых между Гарлемом и рекой Гудзон.

Ной на Вашингтон-сквер, Майк — в жилые кварталы по Западной 116-й улице между Бродвеем и Амстердам-авеню, а Фергусон и его сводная сестра — в колледжи за пределами города. Решение Эми целиком и полностью имело отношение к Майку. Они уже расставались прежде разок,

когда посреди их младшего курса он изменил ей с девушкой по имени Мойра Оппенгейм, но после затяжной разлуки, которая закончилась раболепными жестами покаяния со стороны Майка, Эми дала ему еще один шанс, и вот теперь, всего четыре месяца спустя, он пошел и опять проштрафился — предал ее с той же самой Мойрой Оппенгейм, не кем иным, *крыской-потаскухой, которая не понимает слова «нет»*, и Эми решила, что с нее хватит, она была в ярости и решила навсегда покончить с Майком. Письма из колледжей, куда она посылала документы, посыпались в почтовый ящик на Вудхолл-кресент на следующей неделе. «Да» из Барнарда и «да» из Брандейса, ее первого и второго вариантов, а поскольку ей не хотелось нигде и близко быть с Майком Лоубом или даже хоть раз увидеть его жирную рожу и раздутую тушу, она ответила отказом Нью-Йорку и согласием Валтему, Массачусетс, убежденная, что тот будет не хуже этого, и облегченно вздохнула, что у нее не возникло сомнений в своем выборе. Эта свинья ее унизила и разбила ей сердце, и Фергусон был с нею согласен в том, что лучше бы ей поехать куда-то еще, и, чтобы только доказать, до чего он за нее, он предложил отдать ей «понтиак», которым они

владели вместе, когда она осенью отправится в Массачусетс, а свою дружбу с Майком Лоубом прекратит сейчас же, *сию же минуту*.

У Фергусона положение было сложнее, чем у нее. Его приняли в Колумбию, и он желал в Колумбию, и хотя ему пришлось бы обитать в одной комнате общежития с Майком Лоубом, он все равно хотел в Колумбию, но встал вопрос денег, и о них приходилось думать, — вопрос без ответа: кто за это будет платить? Он мог бы отступить и обратиться к отцу, кто, несомненно, сделал бы для него необходимое, пусть и с какой угодно неохотой, понимая, что, как ни крути, раскошелиться на образование сына — его долг, но Фергусон отказывался даже рассматривать такой вариант. Его мать и Дан знали, как он к этому относится, знали это всегда с самого начала, и хоть они и считали его позицию *упрямством и пораженчеством*, Фергусона они за нее уважали и не пытались переубедить, поскольку мать из битвы самоустранилась, дни борьбы за то, чтобы как-то залатать отношения между Фергусоном и его отцом, отошли в прошлое, и после того мелочного фокуса, который устроил ей его отец с продажей старого дома, Роза поняла, что решение ее мальчика не брать у Станли никаких денег

было способом защитить ее — очень горячим и неразумным, быть может, но еще и жестом любви.

Фергусон сел с матерью и отчимом обсудить все это в ноябре выпускного года в школе. Подходило время отправки документов в колледж, и хотя Дан говорил, что не стоит волноваться, деньги для него отыщутся, сколько бы это ни стоило, у Фергусона не утихали сомнения. Он прикидывал, что год в колледже обойдется ему тысяч в пять-шесть долларов (плата за обучение, жилье и стол, учебники, одежда, материалы, деньги на дорогу и небольшое месячное содержание карманных средств), что достигнет общей суммы от двадцати до двадцати пяти тысяч долларов к тому времени, когда он завершит все четыре года образования. То же самое относилось к Эми — от двадцати до двадцати пяти тысяч на следующие четыре года. Джим выпустится из МТИ, как раз когда Эми и Фергусон закончат среднюю школу, что сделает ненужной плату за третье образование, но Джим подавался в магистратуру по физике, и хотя неизбежно попал бы туда, где ему дадут должность вместе со стипендией на жизнь, стипендии этой не хватит, чтобы покрыть все, а потому Дану придется и дальше выкладывать

тысячу или пятнадцать сотен долларов в год на Джима, что доведет общие расходы наличных на поддержку двух Шнейдерманов и одного Фергусона в высших учебных заведениях, по грубым оценкам, до одиннадцати, двенадцати или тринадцати тысяч долларов в год. Дан же в среднем ежегодно зарабатывал тридцать две тысячи долларов — что и объясняло, отчего у Фергусона имелись сомнения.

Дополнительные деньги были от страхового полиса Лиз, но сто пятьдесят тысяч долларов, выплаченные Дану летом 1962 года, сократились до семидесяти восьми тысяч к концу ноября 1964-го. Двадцать тысяч из уже потраченных семидесяти двух ушли на оплату двойного залога за старый старый дом, за чем последовала продажа того дома и на вырученные средства покупка нового, что поставило его мать и отчима в хорошее положение: они сразу стали владельцами дома номер 7 по Вудхолл-кресент, и никакой банк не сопел им в затылки, выплачивать больше ничего не требовалось, кроме налога на недвижимость и счетов за воду. Еще десять тысяч из уже потраченных семидесяти двух тысяч тоже пошли на дом — покраску, ремонт и усовершенствования, от которых ценность дома только повысится,

если они когда-нибудь решат его продать. А вот оставшиеся сорок восемь тысяч долларов ушли уже после женитьбы — на машины, ужины в ресторанах, отпуска и рисунки Джакометти, Миро и Филипа Гастона. Как бы Фергусон ни ненавидел прижимистость своего отца с деньгами, его также несколько тревожило то, насколько легко их транжирит его отчим: если доход Дана был слишком мал для того, чтобы покрывать всем учебу, то семьдесят восемь тысяч, оставшиеся от страховки, окажутся их единственным спасением, и, согласно подсчетам Фергусона, к тому времени, как они с Эми закончат колледж, сумма эта сократится до плюс-минус тридцати тысяч долларов — и гораздо меньшей суммы, если Дан с матерью и дальше будут тратить так же, как последние два года. По этой вот причине Фергусону и хотелось брать у них как можно меньше — а если можно, то и вовсе ничего. Не то чтоб он опасался, будто кто-то станет голодать, но его пугала мысль, что в не очень отдаленном будущем настанет такой день, когда мать будет уже не так молода и, возможно, с не таким уж хорошим здоровьем — после целой-то жизни курения своей ежедневной пачки «Честерфильдов», и они с Даном рискуют остаться на бобах.

За свои два лета работы на Арни Фрейзера он накопил двадцать шесть сотен долларов. Если прижмется и перестанет покупать книги и пластинки, то к концу лета, вероятно, сумеет добавить к ним себе на банковский счет еще четырнадцать сотен, и это поднимет общую сумму до ровных четырех тысяч долларов. Его дед уже признался его матери, что он собирается на выпуск из школы подарить ему две тысячи долларов, и если его деньги и деньги деда пустить на оплату колледжа, то доля Дана сократится до нуля. С первым годом разобрались, но как быть со следующими тремя? Летом он, конечно, и дальше будет работать, но что именно делать и сколько именно зарабатывать на том рубеже, были не более чем вопросами, и хоть его дед, вероятно, согласится поучаствовать какой-то суммой, неправильно будет на такое рассчитывать, особенно теперь, когда бабушка слегла с сердцем и медицинские счета у них растут. Один год Нью-Йорка, если ему повезет попасть в Колумбию, — а после этого как еще может поступить человек в здравом уме, если только не полететь в Лас-Вегас и не поставить все, что у него есть, на число тринадцать?

Было у него одно притянутое за уши решение:

бросить кости так, чтобы это решило все их денежные задачи, если выпадет выигрышная комбинация, но если Фергусон выиграет, он также потеряет то, чего желал больше всего, ибо тогда Нью-Йорк и Колумбия сметутся со стола навсегда. Хуже того, это будет означать, что он еще четыре года проведет в Нью-Джерси, в последнем месте на земле, где ему хотелось быть, и не просто в Нью-Джерси, а в городишке Нью-Джерси, что был не больше того, в каком Фергусон жил сейчас, отчего он окажется в той же ситуации, от которой пытался освободиться почти всю свою жизнь. И все же если решение ему себя представит (а были все основания полагать, что такого не произойдет), он с радостью его примет и поцелует кости, что ему его принесут.

В том году Принстон начинал нечто новенькое — Программу стипендий Уолта Уитмена, которую финансировал выпускник 1936 года по имени Гордон Девитт, выросший в Ист-Резерфорде и ходивший там в бесплатные школы, и деньги Девитта сейчас ежегодно поступали на полные стипендии четверым выпускникам бесплатных средних школ из Нью-Джерси. Одним из требований была финансовая необходимость — вместе с высокой академической успеваемостью и кре-

постью характера, и раз Фергусон был сыном зажиточного предпринимателя, можно было бы счесть, что у него нет права подаваться на эту стипендию, но дело обстояло не так, поскольку помимо отказа от обязанности выплачивать содержание сыну Станли Фергусон нарушил разводное соглашение, подписанное им с бывшей женой, в котором оговаривалось, что он вносит половину денег, необходимых на содержание мальчика, иными словами — возмещать матери Фергусона половину всего, что она и ее новый муж тратят на еду, которую потребляет Фергусон, и одежду, которую он носит, равно как и половину его медицинских и стоматологических счетов, но через шесть месяцев после заключения второго брака, когда никаких денег от ее бывшего мужа не поступило, мать Фергусона проконсультировалась с юристом, юрист написал письмо, в котором грозил привлечь отца Фергусона к суду, чтобы Станли уплатил то, что должен, и когда отец Фергусона ответил предложением компромисса: никаких денег за его половину содержания мальчика, но отныне он перестает заявлять сына иждивенцем в своей налоговой декларации и передает эту честь Дану Шнейдерману, — вопрос был улажен. Сам Фергусон ничего

не знал об этих разногласиях, но когда рассказал матери и отчиму о стипендиях Уолта Уитмена в Принстоне, объяснив, что хочет подать заявку, но не уверен, что отвечает требованиям, они его заверили, что отвечает, ибо, хоть Дан и располагал приличным доходом, бремя содержания троих детей в университетах одновременно практически квалифицировало случай Фергусона как финансовую необходимость. С точки зрения закона связь между отцом и сыном пресеклась. Фергусон был несовершеннолетним, а поскольку единственная финансовая поддержка поступала от его матери и отчима, с точки зрения Принстона и всех остальных дело обстояло так, будто отец его перестал существовать. Это было хорошее известие. Плохое же заключалось в том, что Фергусон наконец узнал правду об отце, и его так расстроил поступок этого человека, он так на него разозлился за его скаредность и подлость по отношению к женщине, на которой некогда был женат, что Фергусона теперь могло удовлетворить лишь одно: заехать своему отцу в харю. Сукин сын от него отказался, и теперь ему в ответ хотелось отказаться от отца.

Я знаю, что обещал дважды в месяц с ним ужинать, сказал Фергусон, но, по-моему, я больше

не хочу его видеть, совсем. Он нарушил данное тебе слово. Почему я не могу нарушить свое обещание ему?

Тебе уже почти восемнадцать, ответила его мать, и ты можешь делать все, что захочешь. Твоя жизнь принадлежит тебе.

Ну его нахуй.

Полегче, Арчи.

Нет, я серьезно. *Нахуй*.

Он прикидывал, что соискателей будут тысячи: отличники со всего штата, чемпионы всех округов по футболу и баскетболу, старосты классов и ораторы дискуссионных клубов, научные вундеркинды с двойными 800 в ПАСах, такие блистательные кандидаты, в общем, что у него не останется ни малейшего шанса пройти первый тур отбора, но он все равно отправил документы на конкурс вместе с двумя своими рассказами и списком людей, предложивших написать ему рекомендательные письма: миссис Монро, его учитель французского мистер Болдьё и его нынешний преподаватель английского мистер Макдональд. Ему хотелось быть львом, но если окажется, что судьбой ему назначено стать тигром, он приложит все силы к тому, чтобы носить свои полоски с гордостью. Черные и оранжевые,

а не лазорево-голубые и белые. Ф. Скотт Фицджеральд вместо Джона Берримана и Джека Керуака. Имеет ли все это значение на самом деле? Принстон, возможно, и не Нью-Йорк, но до него всего полчаса на поезде, а преимуществом Принстона перед Колумбией — в том, что Джим подался туда в магистратуру по физике. Его наверняка возьмут, что вовсе не факт для Фергусона, но мечтать-то все равно не вредно, и до чего приятно было воображать, как следующие четыре года они проведут вместе — в этом лесистом мире книг и дружбы, где среди деревьев мелькает призрак Альберта Эйнштейна.

Поговорив с матерью и Даном в конце ноября, Фергусон написал длинное письмо отцу, в котором объяснил, почему хочет прервать их совместные ужины два раза в месяц. Он не вполне изложил всю правду и не сказал, что больше никогда не хочет его видеть, поскольку Фергусону до сих пор было не совсем ясно, такова его позиция на самом деле или нет, хоть он и подозревал, что она такова, но ему же всего семнадцать лет и плоховато с мужеством и уверенностью в себе на объявление ультиматумов о будущем, способных изменить всю жизнь, которая, как он надеялся, будет долгой, и кто знает, какие повороты в от-

ношениях с отцом он выберет в грядущие годы? А вот упомянул он, однако, — и это составляло самую сердцевину письма, — о том, насколько расстроило его узнать, что отец вычеркнул его как иждивенца из своей налоговой декларации. Такое ощущение, что его стерли, писал он, как будто отец его пытается забыть последние двадцать лет своей жизни и сделать вид, будто их никогда не случалось, — не только его брака с матерью Фергусона, но и того факта, что у него есть сын, которого он теперь вверил исключительно заботам Дана Шнейдермана. Но, отставив все это в сторону, продолжал Фергусон, посвятив этой теме полные две страницы, совместные ужины, которые они устраивали, теперь стали для него бесконечно унылы, и зачем продолжать эту убогую комедию безжизненного светского трепа друг с другом, когда правда в том, что ни тому, ни другому уже нечего друг другу сказать, и до чего грустно сидеть вместе в этих неопрятных местах, поглядывая на часы, и считать минуты до окончания пытки, так не лучше ли будет взять пока паузу и поразмыслить над тем, захочется им в какой-то будущей точке начинать сызнова или нет?

Отец написал ему в ответ через три дня. Не та-

кого отклика хотел Фергусон, но это, по крайней мере, было хоть что-то. *Ладно, Арчи, пока отложим. Надеюсь, у тебя дела идут хорошо. Папа.*

Фергусон не намеревался больше к нему тянуться. Уж это-то он решил, и если отец не желал за ним бегать и пытаться завоевать его обратно, значит, на этом и всё.

Он отправил заявки в Колумбию, Принстон и Ратгерс в начале января. В середине февраля, отпросился с занятий на день и поехал в Нью-Йорк на собеседование в Колумбии. Со студгородком он был уже знаком — тот всегда напоминал ему фальшивый римский город: две громады библиотек друг напротив дружки прямо посреди небольшого участка, Батлер и Лоу, каждая — громоздкая гранитная конструкция в классическом стиле, слоны, господствующие над менее объемистыми кирпичными зданиями вокруг, — и как только отыскал путь в Гамильтон-Холл, он сразу поднялся на четвертый этаж и постучал. Собеседование с ним проводил преподаватель экономики по имени Джек Шелтон, и до чего ж веселым был этот человек, всю беседу отпускал шуточки и даже высмеивал *напыщенную склеротичку Колумбию*, а когда узнал о честолюбивом замысле Фергусона стать писателем, разговор

завершил тем, что вручил будущему выпускнику средней школы Колумбия несколько номеров литературного журнала колледжа Колумбия. Листая их полчаса спустя, пока ехал в центр города экспрессом МСП, Фергусон наткнулся на поэтическую строчку, которая очень его повеселила: *Постоянно ебаться полезно*. Прочтя ее, он расхохотался вслух, с удовольствием поняв, что не так уж Колумбия, должно быть, и напыщенна, поскольку строчка не только была смешна — она была еще и правдива.

На следующей неделе он нанес свой первый визит в Принстон, где студенты вряд ли, сомневался он, публиковали стихи со словом *ебаться* в них, зато студенческий городок был намного больше и привлекательнее Колумбийского, его буколическим великолепием восполнялось то, что размещался он не в Нью-Йорке, а в нью-джерсейском городишке, готическая архитектура в отличие от классической, впечатляюще тонкое, почти совершенное озеленение со множеством тщательно ухоженных кустов и высоких, благоденствующих деревьев, однако было там нечто антисептическое, словно бы обширный участок земли, на котором стоял Принстон, преобразовали в гигантский террариум, где пахло деньгами

так же, как и в загородном клубе «Синяя долина», некое голливудское представление об идеальном американском университете, *самой северной южной школе*, как ему некогда кто-то сказал, но Фергусону ли на что-то жаловаться, да и чего ради жаловаться, если ему как стипендиату Уолта Уитмена достанется бесплатный пропуск для прогулок по этим землям?

Должно быть, они знают, что Уитмен — тот мужчина, кто не интересовался женщинами, сказал Фергусон себе, завершая экскурсию по студгородку, человек этот верил в любовь между мужчиной и мужчиной, но старина Уолт последние девятнадцать лет своей жизни провел чуть дальше по дороге в Камдене, что и превратило Уитмена, собственно, в национальный памятник Нью-Джерси, и пусть даже произведения его были и поразительно хороши, и поразительно плохи, лучшие из них были лучшей поэзией, когда-либо сочиненной в этой части света, и браво Гордону Девитту за то, что своей стипендии для нью-джерсейских мальчишек присвоил имя Уолта, а не какого-нибудь мертвого политика или бонзы с Уолл-стрит, каковым сам Девитт и был последние двадцать лет.

На сей раз собеседование проводили три че-

ловека, а не один, и хотя Фергусон одет был сообразно случаю (белая рубашка, пиджак и галстук) и неохотно поддался, когда его мать и Эми в один голос умолили его подстричься перед тем, как он туда поедет, ему было нервно и как-то не по себе перед этими людьми, которые были с ним не менее дружелюбны, чем преподаватель из Колумбии, и задавали ему как раз те вопросы, каких он ожидал, но когда часовой допрос наконец завершился, он вышел из комнаты, ощущая, что провалился, ругая себя за то, что, во-первых, перепутал названия книг Вильяма Джемса и его брата Генри, а во-вторых, что гораздо хуже, запутался в имени Санчо Пансы и ляпнул его как «Пончо Санса», и, несмотря на то, что исправился он тут же, как только слова эти вылетели у него изо рта, то были ляпсусы истинного и совершенного идиота, как ему казалось, и не только был убежден, что окажется насмерть последним среди всех кандидатов на стипендию, но и ему было противно от себя за то, что так плохо выдержал напряжение. По какой-то причине — или по нескольким, или вообще без всякой причины, какую мог бы постичь кто-либо, кроме тех троих, что с ним беседовали, — комиссия не разделяла его мнения, и когда его пригласили на второе собеседование

третьего марта, Фергусон был озадачен — но и, впервые, начал задаваться вопросом, нет ли у него каких-либо оснований для надежды.

Занимательно было отметить свой восемнадцатый день рождения: снова вырядиться в пиджак и галстук и поехать в Принстон на беседу один на один с Робертом Нэглом, преподавателем классики, публиковавшим свои переводы пьес Софокла и Еврипида, а также полноценную книгу-монографию о досократиках, с человеком чуть за сорок, с длинным печальным лицом и бдительным, серьезным взглядом, с лучшим литературным умом всего Принстона, по словам Фергусонова учителя английского в старших классах мистера Макдональда, который сам учился в Принстоне и очень болел за то, чтобы стипендия Фергусону досталась. Нэгл был не из тех людей, кто расходует порох на болтовню о незначимых вещах. Первое собеседование полнилось вопросами об академических достижениях Фергусона (хороши, но не блистательны), его работе грузчиком на перевозке мебели летом, почему он перестал заниматься состязательным спортом, о его чувствах по поводу развода родителей и повторного замужества матери, а также о том, чего он рассчитывал добиться, обучаясь в

Принстоне, а не где-либо еще, а вот Нэгл все эти темы совершенно проигнорировал и, казалось, заинтересовался лишь двумя рассказами, что Фергусон приложил к пакету документов, да тем, каких писателей Фергусон читал, кого не читал и кто ему нравится больше прочих.

Первый рассказ — «Одиннадцать мгновений из жизни Грегора Фламма» — самое длинное произведение, какое Фергусон написал за три последних года, двадцать четыре отпечатанных страницы, сочиненные между началом сентября и серединой ноября, два с половиной месяца упорного труда, на которые он отложил в сторону свои тетради и вспомогательные проекты, чтобы сосредоточиться на той задаче, какую себе поставил, а именно — рассказать историю чьей-нибудь жизни, не излагая ее как историю непрерывную, а просто перескакивая в различные, не связанные друг с другом моменты, чтобы присмотреться к какому-то действию, мысли или порыву, а затем перепрыгнуть к следующему, и, несмотря на провалы и молчания, оставленные между этими обособленными частями, Фергусон воображал, что читатель сошьет их вместе у себя в уме так, чтобы накопившиеся сцены сложились в нечто, напоминающее историю, или

нечто большее, чем просто история, — в длинный роман в миниатюре. Шестилетний в первом эпизоде, Грегор смотрится в зеркало, разглядывая собственное лицо, и приходит к выводу, что он не сумеет узнать себя, если увидит, как сам идет по улице, затем семилетний Грегор — на «Стадионе Янки» со своим дедушкой, стоит вместе со всей толпой, аплодирует двойному Ханка Бауэра и чувствует, как ему на голое правое предплечье приземляется что-то влажное и скользкое: харчок человечьей слюны, толстая плюха мокроты, которая заставляет его подумать о сырой устрице, ползущей у него по руке, несомненно, это плюнул кто-то из сидевших на верхних ярусах трибун, и помимо отвращения, охватившего Грегора, когда он стирал плевок носовым платком, а потом выкидывал этот платок, есть еще и загадка — попытаться понять, плюнул ли тот человек в него намеренно или же нет, метил ли он в руку Грегора и попал в цель или же слюну туда, куда она попала, принес случай, это важное различие для Грегора, поскольку намеренное попадание постулировало бы собою такой мир, в котором правящие силы — подлость и зло, такой мир, где незримые люди нападают на маленьких мальчиков безо всякой причины, лишь бы полу-

чить удовольствие от вреда другим, в то время как попадание случайное утверждало бы мир, где происходят всякие неудачи, но винить в них некого, а дальше были двенадцатилетний Грегор, обнаруживший, что у него на теле выросли волосы в паху, четырнадцатилетний Грегор, прямо на глазах у которого замертво падает его лучший друг, убитый чем-то под названием «аневризма сосудов головного мозга», шестнадцатилетний Грегор, лежащий голым в постели с девочкой, которая помогла ему расстаться с девственностью, а затем, в финальном эпизоде, семнадцатилетний Грегор сидит один на вершине холма, рассматривает облака, проплывающие над головой, и спрашивает себя, настоящий ли этот мир или же всего лишь проекция его собственного ума, и если мир — настоящий, как же ум его тогда способен его охватить? Рассказ завершается так: *И потом он спускается с горки, думая о том, что у него болит живот, и если пообедать, лучше ему станет или хуже. Час дня. С севера дует ветер, а воробья, сидевшего на телефонном проводе, больше нет.*

Другой рассказ, «Направо, налево или прямо?», был написан в декабре и состоял из трех различных эпизодов, каждый длиной страниц в семь. Человек по имени Ласло Флют прогуливается

где-то в сельской местности. Он выходит к перекрестку и должен выбрать одну возможность из трех, куда ему пойти дальше: налево, направо или прямо. В первой главе он идет дальше прямо и влипает в неприятности: на него нападает пара громил. Избитый и ограбленный, брошенный умирать на обочине дороги, он постепенно приходит в себя, подымается на ноги и ковыляет еще милю или около того, пока не добирается до дома, стучится в дверь, и внутрь его впускает старик, который ни с того ни с сего извиняется перед Флютом и просит у него прощения. Он подводит Флюта к кухонной раковине и помогает ему смыть с лица кровь, не умолкая насчет того, как ему жаль и какую ужасную вещь он совершил, но иногда, говорит он, *воображение сбегает от меня, и я просто ничего не могу с собой поделать*. Он заводит Флюта в другую комнату, маленький кабинет в глубине дома, и показывает на стопку исписанной бумаги на столе. Поглядите, если хотите, говорит он, когда наш избитый герой берет рукопись — видит, что это описание того, что с ним только что произошло. *Такие злобные мерзавцы*, говорит старик, *даже не знаю, откуда они взялись*.

Во второй части Флют сворачивает вправо, а не

идет прямо. Он не помнит о том, что с ним было в первой главе, и поскольку новый эпизод начинается с чистого листа, свежее начало, похоже, обещает надежду, что на сей раз с ним случится что-нибудь менее ужасное, и впрямь — пройдя полторы мили по дороге, он набредает на женщину, стоящую у поломавшейся машины, ну или просто похоже, что машина поломалась, иначе зачем ей стоять посреди сельской местности, если машина исправна, но по мере того, как Флют приближается к ней, он видит, что ни одно колесо не спущено, капот не поднят, а радиатор не изрыгает в воздух клубы пара. И все же что-то должно быть не так, не одно, так другое, и пока неженатый Флют подходит к женщине поближе — видит, что она исключительно хороша собой, ну или, по крайней мере на его взгляд, привлекательна, а потому он хватается за возможность ей пособить, не только потому, что хочет ей помочь, а поскольку ему выпал такой случай и он хочет им воспользоваться по максимуму. Когда он спрашивает у женщины, в чем беда, та отвечает, что ей кажется — аккумулятор сел. Флют открывает капот и видит, что там один контакт отошел, поэтому он подсоединяет его обратно и говорит женщине, чтобы опять села в машину и попробо-

вала, что она и делает, и когда машина заводится с первым поворотом ключа, красивая женщина широко улыбается Флюту, посылает ему воздушный поцелуй и тут же уезжает прочь, так быстро, что он даже не успевает записать номер ее машины. Ни имени, ни адреса, ни номера — и никак больше не встретиться с этим чарующим призраком, что всего на несколько минут ворвался в его жизнь и умчался из нее. Флют идет дальше, ему противно от собственной недальновидности, он не понимает, почему все возможности у него в жизни всегда, похоже, утекают сквозь пальцы, соблазняя его обещанием чего-то лучшего и все же вечно разочаровывая его в конце. Двумя милями дальше вновь появляются двое громил из первой главы. Они выскакивают из-за живой изгороди и пытаются повалить Флюта наземь, но он на сей раз отбивается — одному засаживает коленом в пах, а другого тычет в глаз, и ему удается сбежать от них, он мчит по дороге, а солнце меж тем садится, и начинает опускаться ночь, и вот когда ему уже становится трудно различать что-либо вокруг, он выбирается на поворот дороги и снова видит машину этой женщины, та стоит теперь под деревом, но женщины в ней нет, и когда он зовет ее и спрашивает где она, никто ему не отве-

чает. Флют убегает в ночь.

В третьей части он сворачивает влево. Стоит роскошный день в конце весны, и поля по обеим сторонам от него все в диких цветах, в хрустальном воздухе поет две сотни птиц, и, размышляя о том, как по-разному жизнь бывала с ним и добра, и жестока, он приходит к осознанию, что большинство его незадач вызваны им же самим, что именно он ответствен за то, что сделал свою жизнь такой тусклой и неинтересной, и если он намерен жить ее сполна, ему следует больше времени проводить с другими людьми и перестать так часто ходить на одинокие прогулки.

Почему вы даете своим персонажам такие причудливые имена? — спросил Нэгл.

Не знаю, ответил Фергусон. Вероятно, потому, что такие имена сообщают читателю, что перед ним — персонажи рассказа, а не люди из реального мира. Мне нравятся такие истории, которые признают, что они истории, и не притворяются правдой, всей правдой и ничем, кроме правды, и да поможет мне бог.

Грегор. Отсылка к Кафке, я полагаю.

Или Грегору Менделю.

Краткая улыбка порхнула по длинной, печальной физиономии. Нэгл сказал: Но вы читали

Кафку, не так ли?

«Процесс», «Превращение» и десять-двенадцать других рассказов. Я пытаюсь впитывать его медленно, потому что мне он очень нравится. Если б я сел и проглотил всего Кафку целиком, то, что еще у него не читал, у меня б больше не было нового Кафки и нечего было бы ждать, и мне было бы грустно.

Ко́пите удовольствия.

Именно. Вам выдали всего одну бутылку, и если вы ее выпьете сразу, у вас не останется возможности вновь отпить из нее.

В своем заявлении вы написали, что хотите стать писателем. Что вы думаете о тех произведениях, которые пока написали?

Бо́льшая часть — плохо, отвратительно плохо. Кое-что чуть получше, но это не значит, что там все хорошо.

А каково ваше мнение о тех двух рассказах, что вы прислали нам?

Так себе.

Зачем же тогда вы их прислали?

Потому что они самые недавние, а еще потому, что самые длинные из всего, что я пока написал.

Не задумываясь, назовите мне имена пятерых писателей, кого не зовут Кафка, кто оказал на вас

наибольшее воздействие.

Достоевский. Торо. Свифт. Клейст. Бабель.

Клейст. Не многие старшеклассники его читают в наши дни.

Сестра моей матери замужем за человеком, который написал биографию Клейста. Он и дал мне его рассказы почитать.

Дональд Маркс.

Вы его знаете.

Я знаю о нем.

Пять — это слишком мало. У меня такое чувство, что самые важные имена я упустил.

Я в этом уверен. К примеру, Диккенс, верно? И По, определенно По, а еще, быть может, Гоголь, не говоря уже о модернистах. Джойс, Фолкнер, Пруст. Вероятно, вы их всех читали.

Пруста — нет. Остальных — да, но до «Улисса» еще не добрался. Собираюсь читать его этим летом.

А Беккета?

«В ожидании Годо», но пока больше ничего.

А Борхеса?

Ни слова.

Сколько прекрасного вас ожидает, Фергусон.

Пока что я едва добрался до начала. Помимо нескольких пьес у Шекспира, я до сих пор еще не

читал ничего до восемнадцатого века.

Вы упомянули Свифта. А как насчет Фильдинга, Стерна, Остен?

Нет, пока что нет.

И что же вас так привлекает в Клейсте?

Скорость его фраз, поступательный напор. Он рассказывает и рассказывает, но почти ничего не показывает, а все говорят, что так нельзя, но мне нравится, как его истории рвутся вперед. Все это весьма причудливо, но в то же время такое ощущение, будто читаешь волшебную сказку.

Вам известно, как он умер, верно?

Застрелился в рот, когда ему исполнилось тридцать четыре. После того как убил свою подругу, договорившись с ней о двойном самоубийстве.

Скажите мне, Фергусон, что произойдет, если вас примут в Принстон, но не дадут стипендию? Вы все равно сюда поступите?

Все зависит от того, что мне ответят в Колумбии.

Это был ваш первый выбор.

Да.

Могу спросить, почему?

Потому что это в Нью-Йорке.

А, ну конечно. Но вы поступите к нам, если мы дадим вам стипендию.

Абсолютно. Все упирается в деньги, понимаете, и если я даже поступлю в Колумбию, не уверен, что моей семьей будет по карману меня туда отправить.

Ну, я не знаю, что решит комиссия, а просто хочу вам сказать, что мне очень понравилось читать ваши рассказы, и мне кажется, что они намного лучше, чем *так себе*. Мистер Флют по-прежнему ищет себе другую вторую дорогу, полагаю, а вот «Грегор Фламм» — очень милый сюрприз, превосходная работа для человека вашего возраста, и с небольшой правкой в третьей и пятой частях вам, я уверен, удастся где-нибудь его опубликовать. Но не стоит. Вот это я вам и хотел сказать, мой вам совет. Погодите печататься пока, не спешите с этим, продолжайте работать, продолжайте расти, и уже совсем скоро вы будете готовы.

Спасибо. Нет, не спасибо — но да, в смысле *да, вы правы*, пусть даже, возможно, и ошибаетесь насчет того, что это не так себе, то есть, но это для меня столько значит… Господи, я уже совсем не понимаю, что несу.

Ничего не говорите, Фергусон. Просто встаньте с этого стула, пожмите мне руку и поезжайте домой. Познакомиться с вами было для меня

честью.

Последовали полтора месяца неопределенности. Весь март и половину апреля слова Роберта Нэгла пылали у Фергусона в мозгу, *превосходная работа* и *познакомиться было честью* грели его в промозглые дни окончания зимы и ранней весны, поскольку он осознавал, что Нэгл — первый чужой человек, первая невовлеченная личность, первый совершенно безразличный посторонний, кто вообще когда-либо прочел его произведение, и теперь, раз лучший *литературный ум во всем Принстоне* рассудил, что его работы достойны, молодого автора так и подмывало забросить школу и по десять часов в день просиживать у себя в комнате с новой работой, что уже зрела у него в голове, многочастный эпос под названием «Путешествия Муллигана», который, как он был уверен, станет лучшей из всех его работ, наконец-то огромным скачком вперед.

Однажды утром посреди долгого периода ожидания, когда Фергусон сидел на кухне, мрачно размышляя о львах и тиграх, а также о шансах в итоге оказаться муравьем на громадной муравьиной фабрике, известной под названием Ратгерс, расположенной в известной на весь мир метрополии Нью-Брунсвика, туда вошла его мать

со «Стар-Леджером» за тот день, шлепнула газету на столик перед ним и сказала: *Ты погляди-ка вот на это, Арчи.* Фергусон поглядел, и то, что он увидел, оказалось настолько неожиданным, до того за пределами всего, что мнилось возможным, до того вопиюще неправильным и нелепым, что ему пришлось поглядеть на это еще три раза, прежде чем он сумел впитать известие. Его отец женился повторно. Пророк прибылей сочетался браком с сорокаоднолетней Этель Блюменталь, вдовой покойного Эдгара Блюменталя и матерью двоих детей, шестнадцатилетнего Аллена и двенадцатилетней Стефании, и пока Фергусон смотрел на снимок своего улыбающегося отца и отнюдь не невзрачной второй миссис Фергусон, он заметил, что та имеет некоторое сходство с его матерью, особенно ростом, силуэтом и темнотой волос, как будто отец пошел искать новую версию первоначальной модели, только замена оказалась лишь вполовину симпатичной, и взгляд у нее был настороженный, что-то в нем отчужденное и, быть может, холодноватое, а вот у матери Фергусона глаза были укромной гаванью для всех, кто к ней приближался.

Он подумал было, что ему следует негодовать — отец так и не познакомил его с этой женщиной,

которая, говоря технически, теперь стала его мачехой, — и глубоко оскорбиться тем, что его не пригласили на свадьбу, но Фергусон не ощущал ни того, ни другого. Ему полегчало. История закончилась, и сын Станли Фергусона, кому больше не нужно было делать вид, будто он испытывает какие-либо сыновние чувства к человеку, который его породил, посмотрел на свою мать и закричал: *Adios, papa — vaya con Dios!*[60]

Через три недели после этого, в тот же день, в трех разных местах страны — городе Нью-Йорке, Кембридже, Массачусетс, и маленьком городке в Нью-Джерси — самые младшие члены смешанного, перепутавшегося племени открыли свои почтовые ящики и нашли в них письма, которых ждали. За исключением одного отказа для Ноя, то была полная победа, состоявшая из сплошных «да», для них всех, беспрецедентный триумф, поставивший квартет Шнейдерманов-Фергусонов-Марксов в завидное положение, при котором они могли выбирать, куда хотят отправиться на следующие четыре года своей жизни. Помимо УНЙ, Ной мог пойти в Городской колледж или Американскую академию театральных искусств.

---

[60] Сноски: 60
Прощай, папа, — ступай с богом (*исп.*).

Джим мог уехать на запад, в Калтех, на юг, в Принстон, или остаться там же, где и был, в МТИ. Помимо Барнарда и Брандейса, варианты Эми включали в себя Смит, Пембрук и Ратгерс. Что же касается Фергусона, муравьи пришли за ним, как и ожидалось, но вместе с ними — и два зверя из джунглей, на что он не рассчитывал, и когда он посмотрел на возбужденную Эми, швырявшую письма по всей кухне и хохотавшую до упаду, он встал и произнес ей, изо всех сил подражая акценту ее дедушки: Ми сейтшас танцен фальс фместе, *ja liebchen?* И подошел к ней, заключил в объятия и чмокнул прямо в губы.

Стипендиат Уолта Уитмена.

Несмотря на воодушевляющее письмо из Колумбии, Нью-Йорку придется подождать. Деньги настоятельно требовали, чтобы он поехал в Принстон, но, помимо денег, присутствовала еще и честь того, что он выиграл стипендию, а это, несомненно, было самым крупным событием, с ним случившимся, *гигантским пером ему в шляпу*, как выразился Дан, и даже для очерствевшего, не любившего проявлять чувства Фергусона, который обычно так робел от своих достижений, что скорее бы вышел из комнаты, чем открыл рот и сам принялся о них похваляться, стипендия

Принстона от такого отличалась — она была настолько крупным событием, что ее приятно было носить с собой повсюду, пусть и другие это видят, и когда в школе у него разнеслась весть о том, что он — один из четверки помазанников, Фергусон впитывал комплименты, не ощущая неловкости и не отпуская своих обычных самоуничижительных замечаний, он алкал лести, наслаждался тем, что оказался в центре мира, который вдруг стал вращаться вокруг него, им восхищались, ему завидовали и о нем говорили все, и хоть Фергусон и хотел переехать в Нью-Йорк в сентябре, мысли о том, что он стал стипендиатом Уолта Уитмена в Принстоне, более чем хватало, чтобы покамест жить дальше.

Прошло два месяца, и на следующий день после выпуска из средней школы Фергусон получил письмо от отца. Помимо краткой записки, в которой тот поздравлял его с получением стипендии (о чем было объявлено в «Стар-Леджере»), конверт содержал в себе чек на тысячу долларов. Первым порывом Фергусона было порвать его и отправить клочки обратно отцу, но затем он передумал и решил депонировать чек на свой банковский счет. Как только его одобрят, он выпишет два новых чека, каждый на пятьсот дол-

ларов: один — КРЯПу (Национальному комитету за разумную ядерную политику), а другой — СКНД (Студенческому координационному комитету ненасильственных действий). Не было смысла рвать деньги, если их можно пустить на что-нибудь полезное, чего ж тогда не отдать их тем, кто сражается с недоумствами и несправедливостями испоганенного мира, в котором мы живем?

В тот же самый вечер Фергусон заперся у себя в комнате и заплакал — впервые с тех пор, как перебрался из старого-старого дома. В тот день Дана Розенблюм уехала в Израиль, а поскольку ее родители перемещались назад, в Лондон, еще раз начинать все сызнова, маловероятно, что он когда-нибудь вновь увидит ее. Фергусон умолял ее не уезжать, объясняя, что во многом был неправ, и ему нужен еще один шанс, чтобы перед нею оправдаться, а после того, как она ему ответила, что уже все решила и теперь ничто ее не остановит, он в порыве попросил ее выйти за него замуж, и поскольку Дана понимала, что это не шутка, что Фергусон имеет в виду каждое слово, которое произносит, она сказала ему, что он — любовь всей ее жизни, единственный мужчина, кто ей когда-либо будет небезразличен от всего сердца, и затем поцеловала его в последний

раз и ушла прочь.

Наутро он опять начал работать у Арни Фрейзера. Мистер Колледж вернулся в перевозку мебели, и, сидя в фургоне и слушая, как Ричард Бринкерстафф рассказывает о своем детстве в Техасе и о публичном доме в его крошечном городке, где мадам была настолько скаредна, что вновь пускала в оборот использованные презервативы, ополоснув их теплой водой и натянув затем на рукоятку метлы для просушки на солнышке, Фергусон понял, что мир состоит из историй, из стольких различных историй, что, если собрать их вместе и вставить в книгу, у книги этой окажется девятьсот миллионов страниц. Началось лето Уоттса и американского вторжения во Вьетнам, и ни бабушка Фергусона, ни дедушка Эми не доживут до его конца.

5.1

Его поселили в комнату на десятом этаже Карман-Холла, самого нового общежития в студгородке, но Фергусон, как только распаковал сумки и убрал свои вещи, перешел в соседнее общежитие в нескольких ярдах к северу, Фурнальд-Холл, и поднялся на лифте на шестой этаж, где несколько мгновений постоял перед дверью

Комнаты 617, а затем снова спустился, прошел на восток по вымощенной кирпичом дорожке, что бежала обок библиотеки Батлера, и направился к третьему зданию общежития, Джон-Джей-Холлу, где поднялся на лифте на двенадцатый этаж и несколько мгновений постоял перед дверью Комнаты 1231. В этих двух комнатах жил Федерико Гарсия Лорка в те месяцы, что он провел в Колумбии в 1929 и 1930 годах. Фурнальд, шестьсемнадцать, и Джон-Джей, 1231, были рабочими местами, где он написал «Стихи об одиночестве в Колумбийском университете», «Возвращение в город»[61], «Оду Уолту Уитмену» (*О топкий Нью-Йорк, // телеграфный и гиблый Нью-Йорк*[62]) и большинство других стихотворений, собранных в книгу «Поэт в Нью-Йорке», которую в итоге напечатали в 1940-м, через четыре года после того, как Лорку избили, убили и швырнули в братскую могилу люди Франко. Священная земля.

Два часа спустя Фергусон отправился на угол Бродвея и Западной 116-й улицы и встретился с Эми в «Битком орехов», доме *божественного кофе*, который, говорили, так хорош, что даже за деньги

---

[61] Сноски: 61
Рус. пер. С. Гончаренко, А. Гелескула, И. Тыняновой.

[62] Сноски: 62
Пер. Е. Кассировой.

Рокфеллера нельзя было приобрести лучшей марки (если верить рекламе по телевизору). «Битком орехов» была той же самой компанией, где вице-президентом и директором по кадрам работал друг губернатора Рокфеллера Джеки Робинзон, и после того, как Эми и Фергусон поразмышляли пару минут над этими причудливыми, перепутавшимися фактами — вездесущий Нельсон Рокфеллер, чье семейство владело кофейными плантациями в Южной Америке, и отошедший от бейсбола Джеки Робинзон, волосы у которого поседели, хоть он еще и был сравнительно молод, и сеть из восьмидесяти нью-йоркских кофеен, где работали преимущественно черные, — Эми обняла Фергусона за плечо, притянула к себе и спросила, каково ему сейчас быть в колледже, наконец-то он свободный человек. *Чертовски неплохо, любовь моя, положительно тащит*, ответил он, целуя Эми в шею, ухо и бровь, — вот только если не учитывать одной маленькой детали, из-за которой ему чуть было не заехали по физиономии всего через час после того, как он прибыл в студгородок. Он имел в виду колумбийскую традицию заставлять абитуриентов носить на Неделе ориентации лазорево-голубые шапочки (с годом выпуска, пришитым спереди, в его

случае — смехотворным 69-м), что, по мнению, Фергусона, было отвратительным обычаем, который бы следовало отменить много десятилетий назад, откатом к унизительным посвящениям в студенческую жизнь богатеньких мальчиков в девятнадцатом веке, и вот теперь он, сказал Фергусон, спокойно занимается своим делом, трюхает по университетскому двору отсюда туда, к груди его приколота бирка с именем, определяющая его как абитуриента, и тут к нему пристают два старшекурсника, так называемые старосты, в чьи обязанности входит помогать щеглам-первокурам не заблудиться в студгородке, но этим коротко стриженным бугаям в твидовых пиджаках и при галстуках, должно быть — линейным нападающим в университетской футбольной команде, — интересно было не помочь Фергусону не заблудиться, а скорее остановить его и осведомиться, почему он не в шапочке, и тон у них при этом был скорее как у нелюбезных легавых, чем как у любезных студентов, и Фергусон прямо им ответил, что шапочка у него наверху в комнате и у него нет ни малейшего намерения надевать ее ни сегодня, ни в какой другой день недели, после чего один из легавых обозвал его *тошнотом* и приказал вернуться в комнату и

принести шапочку. Извините, ответил Фергусон, если она вам так нужна, вам придется вынести ее самостоятельно, и ответ этот до того досадил старосте, что Фергусон на миг подумал, что тот сейчас подпрыгнет и расплющит его, но другой легавый велел своему другу успокоиться, и конфронтация не затянулась, а Фергусон спокойно пошел себе дальше.

Твой первый урок по антропологии братских групп студентов мужских колледжей, сказала Эми. Теперь мир, к которому ты принадлежишь, расколот на три племени. Братки и качки, составляющие треть населения, зубрилы, составляющие другую треть, и тошноты, из которых состоит третья. Ты, дорогой Арчи, рада заметить, тошнот. Хоть раньше и был качком.

Может, и так, ответил Фергусон. Но качок с душой тошнота. А также, возможно, — хоть тут я и не уверен, — *с умом зубрилы*.

Перед ними на стойку водрузили небесный кофе, и когда Фергусон уже вознамерился сделать первый глоток, к ним подошел молодой человек и улыбнулся Эми — юноша средних габаритов, с длинными спутанными волосами, который, несомненно, относился к числу тошнотов, собрат по племени, к которому сейчас, похоже,

принадлежал и Фергусон, поскольку длина волос (по словам Эми) была одним из факторов, отличавших тошнотов от качков и зубрил, самым малозначащим фактором из списка, куда входили левые политические наклонности (против войны, за гражданские права), вера в искусство и литературу и подозрение ко всем формам ведомственной власти.

Хорошо, сказала Эми. Это Лес. Я знала, что он придет.

Лес был младшекурсником с полным именем Лес Готтесман, случайным знакомым Эми, не более чем смутным, вообще-то, но все по обе стороны Бродвея знали, кто такая Эми Шнейдерман, и Лес согласился возникнуть в тот день в «Битком орехов» в виде *подарка по случаю* Эми Фергусону в его первый день колледжа, поскольку именно он, Лес Готтесман, и был автором той строчки, что так развлекла и воодушевила Фергусона, когда он навещал студгородок полугодом раньше: *Постоянно ебаться полезно*.

Ах, *то*, сказал Лес, когда Фергусон соскочил с табурета и затряс поэту руку. Наверное, в то время действительно казалось потешным.

Это и до сих пор смешно, сказал Фергусон. А также вульгарно и оскорбительно — по крайней

мере, для некоторых, а то и для большинства, но к тому же и бесспорная констатация факта.

Лес скромно улыбнулся, перевел пару раз взгляд с Эми на Фергусона и сказал: Эми мне говорила, ты пишешь стихи. Может, захочешь показать что-нибудь в «Колумбия Ревю». Заходи как-нибудь, постучись к нам. Феррис-Бут-Холл, третий этаж. Это кабинет, где все постоянно орут.

Шестнадцатого октября Фергусон и Эми приняли участие в своей первой антивоенной демонстрации — в марше, организованном Комитетом Вьетнамского мирного парада по Пятой авеню, который привлек десятки тысяч человек: от активных студентов-маоистов до ортодоксальных иудейских раввинов, самая крупная толпа, в какой им когда-либо довелось побывать — за исключением бейсбольного или футбольного стадиона, и тем ясной субботой в начале осени, под идеальными голубыми небесами идеального нью-йоркского дня, когда демонстранты шагали по Пятой авеню, а затем свернули на восток, к Пласе ООН, кое-кто из них пел, кто-то скандировал, но большинство шло молча, как предпочли поступить и Фергусон с Эми, держась за руки и безмолвно шагая бок о бок, а толпы не-демонстрантов сидели на низком парапете по

периметру Центрального парка и аплодировали или поощрительно что-нибудь выкрикивали, другая же фракция, та, что была за войну, те, кого Фергусон постепенно начал считать анти-антивоенной публикой, кричали оскорбления и бранились, а в нескольких случаях швыряли в демонстрантов яйца или вбегали в толпу и били их кулаками или обливали красной краской.

Две недели спустя силы «за» и «анти-анти» устроили в Нью-Йорке свой собственный марш — в день, который они назвали Днем в поддержку усилий Америки во Вьетнаме, и двадцать пять тысяч человек прошли мимо контингента избранных чиновников, которые приветствовали их со зрительских трибун на помостах. На том рубеже лишь немногие американцы были склонны признавать ошибки своего правительства в войне, но с боевым контингентом в сто восемьдесят тысяч солдат, теперь отправленным во Вьетнам, и с кампанией бомбардировок, получившей название «Операция Раскатистый Гром», длившейся уже восьмой месяц, американские войска наступали, и летели похоронки после боев за Чу-Лай и Я-Дранг, а быстрая и неминуемая победа, какую Джонсон, Макнамара и Вестморленд практически обещали американской публике,

казалась все менее и менее определенной. В конце августа Конгресс принял закон, по которому определялось наказание в пять лет тюремного заключения и штраф до десяти тысяч долларов для любого, осужденного за уничтожение документов Воинской Повинности. Тем не менее молодые люди продолжали сжигать свои призывные повестки в публичных акциях протеста, а движение «Сопротивляйся призыву» охватило всю страну. За день до того, как Фергусон и Эми прошли вместе с демонстрацией по Пятой авеню, триста человек собрались перед зданием Призывной комиссии вооруженных сил на Вайтхолл-стрит, посмотреть, как двадцатидвухлетний Давид Миллер подносит спичку к своей повестке в первом открытом противостоянии новому федеральному закону. Еще четыре молодых человека попробовали совершить то же самое на Фоли-сквер двадцать восьмого октября, и их смела толпа крикунов и полиции. На следующей неделе, когда еще пятеро попробовали сжечь свои повестки во время демонстрации на Юнион-сквер, из толпы выскочил молодой анти-анти и облил их из огнетушителя, а как только пятерым промокшим парням все же удалось эти мокрые карточки поджечь, сотни людей, стоявших за

полицейскими кордонами, завопили: «Не ной, бомби Ханой!»

Еще они кричали: «Жгите себя, а не повестки!» — мерзкий намек на антивоенного квакера-пацифиста, который четырьмя днями ранее сжег себя до смерти на территории Пентагона. Прочтя рассказ французского католического священника, видевшего, как его вьетнамские прихожане *горят, облитые напалмом*, тридцатиоднолетний Норман Моррисон, отец троих маленьких детей, выехал из своего дома в Балтиморе в Вашингтон, округ Колумбия, уселся почти в пятидесяти ярдах от окна кабинета Роберта Макнамары, облил все тело керосином и сжег себя в безмолвном протесте против войны. Свидетели утверждали, что языки пламени взметнулись вверх на десять футов — такой выплеск огня по силе был равен тому, что вызывается напалмом, если сбрасывать его с самолета.

Жгите себя, а не повестки.

Эми была права. Маленькое, почти незримое беспокойство под названием «Вьетнам» переросло в конфликт *крупнее Кореи, крупнее чего угодно после Второй мировой войны*, и день ото дня тот продолжал расти, каждый час все больше войск отправлялось на ту далекую, обнищавшую

территорию на другом краю света сражаться с угрозой коммунизма, не давая Северу покорить Юг, двести тысяч, четыреста тысяч, пятьсот тысяч парней поколения Фергусона ссылалось в джунгли и деревни, о которых никто никогда раньше и не слыхал и не мог отыскать на карте, и в отличие от Кореи и Второй мировой, когда воевали в тысячах миль от американской земли, эта война велась как во Вьетнаме, так и дома. Доводы против военного вмешательства были Фергусону настолько ясны, до того убедительны своей логикой, до того самоочевидны по тщательном рассмотрении фактов, что ему трудно было понять, как это кто-то может поддерживать войну, однако миллионы ее поддерживали, в тот момент — гораздо больше миллионов, чем тех миллионов, что были против нее, и в глазах сил «за» и «анти-анти» любой, кто возражал против политики его правительства, был вражеским агентом, американцем, отказавшимся от права зваться американцем. Всякий раз, когда видели, как еще какой-нибудь несогласный рискует получить пять лет тюрьмы за то, что сжег свою призывную повестку, они орали *предатель* и *коммунячья мразь*, а вот Фергусон смотрел на таких парней с уважением и считал храбрейши-

ми, самыми принципиальными американцами в стране. Он был целиком и полностью за них и ходил бы на демонстрации против войны до тех пор, пока последний солдат не вернется домой, но одним из тех смельчаков сделаться бы никогда не смог, никогда не встал бы рядом с ними из-за недостающего большого пальца у себя на левой руке, который уже спас его от угрозы, маячившей перед его соучениками, как только они закончат колледж и их вызовут на медкомиссию. Бросать вызов призыву — не для увечного или инвалида, а для годных к строевой, для тех, кого можно будет считать хорошим солдатским материалом, так зачем рисковать тюремным заключением из-за бессмысленного жеста? Это очень одинокий для него угол, часто казалось Фергусону, как будто он изгой, которого изгнали даже из ссылки, а значит, к тому, кем он был, прилипало ощущение стыда, но нравится это или нет, автомобильная катастрофа сделала его исключением из грядущей битвы — сопротивляться или сбегать, — и ему одному из всех его знакомых не нужно было жить в страхе перед будущим шагом, и это наверняка помогло ему удержаться на ногах в то время, когда многие другие теряли равновесие и падали, ибо страна к сентябрю и октябрю 1965 года

уже раскололась надвое, и с того рубежа и далее невозможно было произнести слово *Америка*, не думая при этом и о слове *безумие*.

Нам нужно было уничтожить деревню, чтобы спасти ее.

Затем, девятого ноября, через неделю после самоубийства Нормана Моррисона на территории Пентагона, когда миновало примерно полтора месяца первого семестра Фергусона в Колумбии, когда сам он еще только нащупывал свой путь вперед и отнюдь не был уверен, что колледж именно таков, каким его преподносили, в Нью-Йорке погас свет. Время 5:27 вечера, и за тринадцать минут область северо-восточных Соединенных Штатов площадью восемьдесят тысяч квадратных миль потеряла электроэнергию, оставив более тридцати миллионов человек в темноте, среди них — восемьсот тысяч пассажиров нью-йоркской подземки на пути с работы домой. Невезучий Фергусон, кто, казалось, к тому времени довел собственное мастерство оказываться не там и не тогда, был один в лифте, ехал вверх, к десятому этажу Карман-Холла. Он вернулся в общежитие оставить там кое-какие книги и переодеться в куртку потеплее, но в комнате планировал провести не более минуты, поскольку

ку они с Эми в шесть должны были варить себе на ужин спагетти у нее в квартире, после чего он намеревался читать доклад по истории, который она в тот день дописала, пятнадцать страниц о бунте на Геймаркет-сквер в Чикаго в 1866 году: он оказывал ей такие редакторские услуги всякий раз, когда она писала какую-нибудь работу, поскольку ей от этого *становилось лучше*, утверждала она, если он проглядывал ее работу перед тем, как она ее сдавала. Затем они собирались устроиться вместе на диване в гостиной пару часов и наверстывать домашние задания к завтрашним занятиям (у Фергусона — Фукидид, у Эми — Джон Стюарт Милль) и после этого, если будут в настроении, пройдутся по Бродвею до бара «Вест-Энд», где выпьют пиво-другое, может, поговорят с кем-нибудь из друзей, если кто-то там окажется, а как только насидятся в баре — вернутся в квартиру, провести очередную ночь в маленькой, но восхитительно удобной постели Эми.

Он так и не был вполне уверен, что произошло первым — лифт ли внезапно остановился или в нем свет погас, или же оба события случились одновременно: краткое миганье лампочек дневного света над головой и свирепый рывок кабины

лифта вокруг него, шипенье, за которым последовал удар, удар, за которым раздалось шипенье, или удар и шипенье сразу вместе, но как бы ни случилось оно, случилось оно быстро, и за две секунды свет погас, а лифт перестал двигаться. Фергусон застрял где-то между шестым и седьмым этажами, и там он и останется на следующие тринадцать с половиной часов, один в темноте, и заняться больше нечем, только изучать мысли у себя в голове и надеяться, что свет дадут до того, как его подведет мочевой пузырь.

С самого начала он понимал, что не с ним одним беда, это беда всеобщая. Люди по всему зданию кричали: *Авария! Авария!* — и, насколько Фергусон мог определить, паники в их голосах не звучало, тон был, если уж на то пошло, возбужденный и радостный, по лифтовому колодцу взметался выплеск дикого хохота и эхом отзывался от стен кабины, нудный старый порядок утратил свой смысл, с неба свалилось нечто новое и неожиданное, по городу неслась черная комета, так давайте же устроим вечеринку и отпразднуем! Это хорошо, подумал Фергусон, и чем дольше длилось веселье, тем сильнее оно помогало ему не паниковать самому, поскольку если больше никто не боится, с чего тогда бояться ему? — хоть

он и оказался в капкане металлической коробки и видит вокруг не больше наислепейшего слепца беззвездной зимней ночью на Северном полюсе, пусть даже у него такое ощущение, будто он заперт в гробу и может умереть от голода, так и не успев выкарабкаться наружу.

Минуты через две-три кое-кто из студентов посознательней принялся колотить в двери лифтов и спрашивать, нет ли кого внутри. *Есть!* — ответило несколько голосов, и Фергусон обнаружил, что он не один такой неудачник, кто завис в воздухе, что заняты вообще-то оба лифта, только другой ящик набит полудюжиной людей, а Фергусон в своем один, не просто в заключении, как и остальные, а в одиночном заключении, и когда он заорал свое имя и номер комнаты (1014Б), ему отозвался голос: Арчи! Бедный лох! На что Фергусон ответил: Тим! Сколько это еще продлится? Ответ Тима прозвучал не сильно обнадеживающе: Да черт его знает!

Делать было нечего. Придется сидеть там и пережидать, неуклюжий мистер Проруха, направлявшийся на квартиру к своей подруге, когда его вдруг превратили в Эксперимент Номер 001, и теперь он заключен в камеру сенсорной депривации, подвешенную в шести с половиной

этажах над землей, Гарри Гудини Лиги плюща, Робинзон Крузо города Нью-Йорка и окрестной большой метрополии, и не будь так ужасно сидеть запечатанным в этой камере, где тьма такая, что хоть глаз выколи, он бы смеялся над собой и раскланивался, уж коли оказался комическим остолопом номер один на всем белом свете, *космическим* остолопом номер один.

Писать придется в штаны, решил он. Если и когда станет необходимо опустошить мочевой пузырь, ему придется вернуться к практикам самоорошения собственного раннего младенчества, а не затоплять пол, чтобы не оказаться — на следующие сколько бы там ни было часов — сидящим в луже холодной, разбрызганной мочи.

Сигарет нет и спичек нет тоже. Курение помогло бы скоротать время, а спички бы позволили ему время от времени что-нибудь видеть, не говоря уже о тлеющих кончиках сигарет всякий раз, когда делал затяжку, вот только чуть раньше тем же днем и сигареты, и спички у него закончились, и он собирался купить новую пачку по пути на ужин в Дом Спагетти Шнейдерман на Западной 111-й улице. *Мечтать не вредно, чудак-человек.*

Никак не знать, работают ли еще телефоны, но на всякий случай он снова позвал Тима, желая

попросить своего сожителя связаться с Эми и рассказать ей о том, что с ним произошло, чтобы она не беспокоилась, когда он не появится в шесть, но Тима уже не было, и когда Фергусон позвал его на сей раз, ему никто не ответил. Улюлюканье и хохот за последние несколько минут стихли, толпы в коридорах почти все разошлись, и Тим, несомненно, поднялся курить дурь со своими друзьями-торчками на десятом этаже.

Так темно было, так оторвано от всего, настолько за пределами мира или того, что Фергусон миром всегда воображал, что ему постепенно получалось задаться вопросом, по-прежнему ли он находится в собственном теле.

Он подумал о наручных часах, которые родители ему подарили на шесть лет, о маленьких детских часах с гибким металлическим ремешком и цифрами на циферблате, что тлели в темноте. До чего уютнее ему было от этих зеленых светящихся цифр, когда лежал он в постели, пока сон не смежал ему веки и не утаскивал с собой в глубину, маленькие фосфоресцирующие компаньоны, что пропадали наутро, когда вставало солнце, друзьями они бывали ночью, а днем превращались просто в нарисованные числа, и теперь, когда часов он больше не носил, ему было

интересно, что сталось с тем давним подарком на день рождения, и куда тот мог подеваться. Видеть больше нечего — да и никакого больше ощущения времени, никак не узнать, двадцать или тридцать минут провел он в лифте, или сорок, или час.

«Голуазы». Эти сигареты он собирался купить по пути вдоль по Бродвею, марка, какую они с Эми начали курить во время своей поездки во Францию летом, чрезмерно крепкие, буротабачные толстяки в голубых упаковках, не обернутых в целлофан, самые дешевые из всех французских сигарет, и просто закурить сейчас «Голуаз» в Америке — значит вернуться во дни и ночи, что они провели в том, ином мире, запахи грубого, сигароподобного дыма так отличались от светлотабачных запахов «Камелов», «Лаки» и «Честерфильдов», что одного клуба дыма, одного выдоха хватало на то, чтобы отправить их назад в *chambre dix-huit* их гостинички через дорогу от рынка, и вдруг мысли их снова пускались в путь по парижским улицам, а сами они вновь переживали счастье, какое тогда ощущали вместе, сигареты — как знак того счастья, новой и большей любви, что охватила их в тот месяц, проведенный за границей, и теперь могла выразить

себя такими деяньями, как устройство встреч-сюрпризов с непристойными студенческими поэтами в подарок новейшему бойцу Батальона тошнотов Морнингсайт-Хайтс — благословенная Эми и ее талант к непредсказуемым жестам, ее молниеносные импровизации, ее изобретательное, щедрое сердце.

Фергусона подмывало поймать Леса на слове и принести какие-то свои работы в «Колумбия Ревю», но с тех пор прошло полтора месяца, а он по-прежнему не явился туда и не постучал. Не то чтоб он бы дал Лесу какие-то из своих недавних стихотворений, которые его сплошь разочаровали и не заслуживали публикации, а вот переводы, которые он начал делать в Париже к тому времени, стали уже более серьезным предприятием, и, вложив средства в несколько словарей, что помогли ему улучшить его менее чем совершенный французский *(«Le Petit Robert», «Le Petit Larousse Illustré»* и незаменимый франко-английский «Гаррапс»), он больше не делал ошибок в прочтении строк и не допускал идиотских оплошностей, и постепенно его версии Аполлинера и Десноса начинали звучать как английские стихи, а не французские, пропущенные через лингвистическую мясорубку и изложенные

по-франглийски, но и те еще были не совсем готовы, над ними следовало еще поработать, чтоб они зазвучали правильно, и ему не хотелось стучаться в двери, пока не будет уверен в каждом слове каждой строки тех лирических великолепий, которыми сам восхищался слишком глубоко, чтобы не отдать им все, что в нем было, вновь и вновь все, что было у него. Непонятно было, захочет ли журнал печатать переводы, но стоило попробовать и приложить старания к тому, чтобы это выяснить, поскольку к «Ревю» тянулись некоторые из самых интересных первокурсников, с кем он пока что познакомился, и, став его частью, Фергусон тем самым сможет объединить силы с такими поэтами и прозаиками, как Давид Циммер, Даниэль Квинн, Джим Фриман, Адам Волькер и Питер Аарон, — все они ходили с ним на разные занятия, и он за последние полтора месяца достаточно встречался не с одним, так с другим, чтобы понимать, насколько они разумны и начитанны, начинающие писатели, кому, казалось, хватит пороху продолжить то, чем они занимаются, и стать однажды настоящими поэтами и романистами, и не только были они сообразительными, яростно одаренными тошнотами-первокурами, но и каждый из них пережил

Неделю ориентации абитуриентов, ни разу не напялив на себя шапочку.

Никаких стихов больше для Фергусона, по крайней мере — пока, и даже если приключение опять когда-нибудь в будущем начнется, покамест у него не было другого выбора, только считать себя *поэтом в ремиссии*. Болезнь, которую он подцепил в ранней юности, привела к двухлетней лихорадке, произведшей на свет почти сотню стихотворений, но затем Франси разбила в Вермонте машину, и стихи вдруг перестали приходить — по причинам, каких он по-прежнему не мог постичь, он с тех пор стал каким-то опасливым и боязливым, и новые стихи, что ему удавалось сочинять, были нехороши или недостаточно хороши, ни с какой стороны не были они хороши достаточно. Из тупика его вытаскивала проза журналистики, но какой-то части его по-прежнему не хватало медлительности поэтического труда, ощущения, как закапываешься в почву и чуешь вкус земли во рту, а потому он последовал совету Паунда юным поэтам и попробовал себя в переводе. Поначалу он считал это занятие чем-то не больше упражнения, лишь бы занять руки, такого рода деятельностью, что подарит ему радости сочинения поэзии, но без ее разочарований, а те-

перь, уже немного позанимавшись переводами, он понимал, что в них — намного больше, чем казалось. Если любишь стихотворение, которое переводишь, то разбирать его на части и потом складывать их снова вместе на своем языке — это акт преданности, способ служения мастеру, подарившему тебе нечто прекрасное, какое держишь в руках, и великий мастер Аполлинер и маленький мастер Деснос написали такие стихи, какие Фергусон считал прекрасными, дерзкими и поразительно изобретательными, каждое пропитано духом меланхолии и жизнелюбия одновременно, а это редкое сочетание, что иногда объединяло противоречивые порывы, воевавшие друг с другом у Фергусона в восемнадцатилетней душе, и потому он продолжал этим заниматься во всякий свободный миг, что мог для себя выкроить, переделывал, переобдумывал и переоттачивал свои переводы, пока не станут они для него настолько крепки, чтобы Фергусон отправился стучаться в ту дверь.

А той дверью была дверь Комнаты 303 Феррис-Бут-Холла, центра студенческих занятий, расположенного аккурат напротив его корпуса общежития на юго-западном краю студенческого городка, того самого здания, в котором он

сейчас сидел в ловушке, и, допустим, он не утратит рассудок в темноте, придется написать об этом переживании, если ему когда-либо удастся отсюда выбраться, сочинить какую-нибудь остроумную и провокационную статью от первого лица, которую у себя опубликует «Колумбия Дейли Спектатор», поскольку он теперь там штатный сотрудник, один из сорока студентов, работавших в студенческой газете, в которую не вмешивались ни университетская администрация, ни цензоры из преподавательского состава, ибо он хоть пока и не нащупал в себе смелости постучаться в двери Комнаты 303, но вошел в более просторный кабинет в другом конце коридора на второй день Недели ориентации абитуриентов, в Комнату 318, и сказал главному в ней, что ему хочется к ним. Только и всего. Никакого испытательного срока, никаких тестовых статей, никакой нужды показывать то, что он писал для «Монклер Таймс», — просто иди и делай, и если будешь соблюдать сроки сдачи и докажешь, что ты компетентный репортер, ты принят. *Auf wiedersehen, Herr Imhoff!*[63]

Возможными темами для первокурсников бы-

---

[63] Сноски: 63
Прощайте, г-н Имхофф! (*нем.*)

ли Академическая Успеваемость, Студенческая Деятельность, Спорт и освещение окружающего сообщества, и когда Фергусон сказал: *Пожалуйста, без спорта, что угодно, только не спорт*, — ему поручили Студенческую Деятельность, куда включалась сдача в среднем двух статей в неделю, большинство из них — короткие заметки, едва ли вполовину тех, что он писал о баскетбольных и бейсбольных играх старшеклассников в прошлом году. Сданное им пока что касалось некоторого количества политических вопросов, дел как левых, так и правых, плана Комитета 2 мая организовать в студенческом городке антипризывной союз, чтобы сражаться против того, что они называли «несправедливой репрессивной войной», но также была и статья о компашке студентов-республиканцев, решивших поддержать выдвижение кандидатуры Вильяма Ф. Бакли в мэры, поскольку нынешний градоначальник, Джон Линдсей, «отошел от принципов Республиканской партии». Другие статьи, которые Фергусон называл *легковесной чепухой и банальной шелухой*, втягивали его в некоторые местнические университетские дела, вроде тринадцати первокурсников, которым все еще не досталось комнат в общежитии даже через

три недели после начала семестра, или конкурса на название нового «кафе» в Джон-Джей-Холле, которое теперь предлагало «деликатесы из торговых автоматов в кафетерии, оборудованном в стиле “Горна-и-Гардарта”», конкурс этот поддерживался Службой питания университета, которая намеревалась наградить победителя бесплатной трапезой-двумя в любом ресторане Нью-Йорка. Нынче же, в дни перед самым затемнением, Фергусон как раз писал статью о первокурснице Барнарда, которой грозило отстранение от занятий за то, что у нее в комнате в неположенный час обнаружили гостя мужского пола: текущая политика дозволяла посещения мужчин только по воскресеньям, с двух до пяти часов дня, а гость обвиняемой был у нее в час ночи. Девушка, чье имя не разглашалось, и в статье упоминать его было нельзя, ощущала, что такое наказание несправедливо, «потому что все остальные тоже так делают, а попалась она». Неудивительно, что Эми пришлось врать и выкручиваться, лишь бы ее не поселили в одной из этих общежитских тюрем, где она обитала на первом курсе. Журналист А. И. Фергусон изложил эту историю как бесстрастную новость, что от него и требовалось, но вот собрат-первокурсник

Арчи Фергусон жалел, что не может защитить девушку, процитировав рефрен из стихотворения Леса Готтесмана в первой же строке своего материала.

Пусть факты говорят сами за себя.

Газетная работа была и вовлечением в мир, и отходом от мира. Если Фергусон намеревался выполнять эту работу как следует, ему придется принять оба элемента этого парадокса и научиться жить в состоянии раздвоенности: необходимость нырять в самую гущу всего, однако при этом оставаться за боковой линией нейтральным наблюдателем. Нырок неизменно его будоражил — хоть скоростное погружение, когда приходилось писать о баскетбольном матче, хоть медленные, более глубокие раскопки, нужные для расследования устаревших внутриуниверситетских правил женского колледжа, — однако сдерживаться, ощущал он, может оказаться труднее — или стать тем, к чему еще только предстоит приспособиться за грядущие месяцы и годы, поскольку взятие на себя журналистского обета беспристрастности и объективности не сильно отличалось от вступления в ряды монахов и проведения всего остатка собственной жизни в стеклянном монастыре — вдали от мира

человеческих дел, хоть тот и продолжал вихриться вокруг со всех сторон. Быть журналистом означало, что ты никогда не сможешь стать тем, кто первым швырнет кирпич в окно и начнет революцию. Можно смотреть, как кто-то швыряет кирпич, можно попробовать понять, зачем он этот кирпич швырнул, можно объяснить другим, какое значение имел кирпич для начала революции, но сам ты никогда не сможешь швырнуть этот кирпич — или даже постоять в толпе, что подстрекает человека это сделать. По своему темпераменту Фергусон и не был тем, кто склонен швырять кирпичи. Фергусон надеялся, что он человек более-менее рассудительный, но лихорадочность времен была такова, что причины не швырять кирпичи начинали выглядеть все менее и менее разумными, и когда наконец настанет миг швырнуть первый, симпатии Фергусона будут на стороне кирпича, а не окна.

Ум его на какое-то время отвлекся, погрузившись в преисподнюю бесконечной тьмы вокруг, а когда он вынырнул из ментального забытья, поймал себя на том, что думает о последних строках своего перевода короткого стихотворения Десноса:

Где-то в мире,

У подножья бруствера,

Дезертир пытается уломать часовых, не

Понимающих его язык[64].

Затем, после четырех часов в заточении черного ящика, мочевой пузырь его наконец не выдержал, и он обмочил себе брюки точно так же, как делал это безвинным, улыбчивым крохотным парнишкой в подгузнике. Как это отвратительно, сказал он себе, пока теплая жидкость текла через нижнее белье и вельветовые брюки, — но также, в то же время, до чего лучше быть пустым, нежели полным.

Он вспомнил, как однажды днем пи́сал с Бобби Джорджем на заднем дворе Джорджей, когда им обоим было по пять лет, и Бобби повернулся к нему и спросил: Арчи, куда это все девается? Миллионы людей и миллионы животных писают миллионы лет, так почему океаны и реки сделаны не из пи-пи, а из воды?

На этот вопрос Фергусон так никогда и не сумел ответить.

Его старый школьный друг заключил договор

---

[64] Сноски: 64
Из стихотворения «1936», пер. Н. Сухачева.

с «Балтиморскими Иволгами» в тот же день, как закончил среднюю школу, и в последней статье, которую Фергусон вообще когда-либо написал для «Монклер Таймс», он сообщал о премии в сорок тысяч долларов, что прилагалась к контракту и немедленному отъезду Бобби в Абердин, Мэриленд, где он начет играть принимающим в команде уровня А на короткий сезон «Иволг» в лиге Нью-Йорк-Пенн. Парнишке удалось в то лето огрести себе двадцать семь игр (и выбить .291), а потом призывная комиссия выдернула его на медосмотр, и никакая студенческая отсрочка не уберегла его от службы своей стране сейчас, а не через четыре года после сейчас, его загребли в Армию Соединенных Штатов в середине сентября, и он теперь завершал основную воинскую подготовку в Форт-Диксе. Фергусон молился, чтобы Бобби отправили на какую-нибудь непыльную службу в Западной Германии, где его обрядят в бейсбольную форму и разрешат играть в мяч следующие два года в виде выполнения его патриотического долга, поскольку мысль о том, как малыш Бобби Джордж топает по джунглям Вьетнама с винтовкой за спиной, была Фергусону до того отвратительной, что он почти что не мог ее думать.

Сколько же продлится эта война?

Лорка, убитый фашистской расстрельной командой в тридцать восемь. Аполлинер, в том же возрасте убитый испанкой за сорок восемь часов до окончания Первой мировой войны. Деснос, убитый в сорок четыре тифом в Терезиенштадте всего через несколько дней после того, как лагерь освободили.

Фергусон уснул, и снилось ему, будто ему снится, что он умер.

Когда в семь часов следующего утра электричество вернулось, он ввалился к себе в комнату на десятом этаже, стащил с себя отсыревшую одежду и стоял под душем пятнадцать минут.

Накануне двадцатидвухлетний Роджер Аллен Лапорт облил свою одежду бензином и поджег себя перед библиотекой Дага Хаммаршёльда в ООН. С ожогами второй и третьей степени, покрывшими больше девяноста пяти процентов тела, «неотложка» отвезла его в больницу Бельвю, по-прежнему в сознании и способного говорить. Последними его словами стали: Я католический рабочий. Я против войны, всех войн. Я совершил это как религиозный акт.

Умер он вскоре после того, как затемнение окончилось.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ПЕРВЫЙ КУРС (ОБЯЗАТЕЛЬНО): Осенний Семестр: Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Геродот, Фукидид, Платон («Пир»), Аристотель («Эстетика»), Вергилий, Овидий. Весенний Семестр: Разные книги из Ветхого и Нового Заветов, Августин («Исповедь»), Данте, Рабле, Монтень, Сервантес, Шекспир, Мильтон, Спиноза («Этика»), Мольер, Свифт, Достоевский.

СЦ (Современная Цивилизация — обязательно), первый курс. Осенний Семестр: Платон («Республика»), Аристотель («Никомахова этика», «Политика»), Августин («О граде Божьем»), Макиавелли, Декарт, Гоббс, Локк. Весенний Семестр: Юм, Руссо, Адам Смит, Кант, Гегель, Милль, Маркс, Дарвин, Фурье, Ницше, Фрейд.

Литературоведение. Осенний Семестр (вместо обязательного Курса письма для первого курса, поскольку Ф. набрал хороший балл на экзамене П. Т.[65]): семинар, посвященный изучению одной книги — «Тристрама Шенди».

Современный Роман. Весенний Семестр: Двуязычный семинар по книгам, читаемым попеременно на английском и французском, — Диккенс,

---

[65] Сноски: 65
Повышенной трудности.

Стендаль, Джордж Элиот, Флобер, Генри Джемс, Пруст, Джойс.

Французская Поэзия. Осенний Семестр — Девятнадцатый Век: Ламартин, Виньи, Гюго, Нерваль, Мюссе, Готье, Бодлер, Малларме, Верлен, Курбье, Лотреамон, Рембо, Лафорг. Весенний Семестр — Двадцатый Век: Пеги, Клодель, Валери, Аполлинер, Жакоб, Фарг, Ларбо, Сандрар, Перс, Реверди, Бретон, Арагон, Деснос, Понж, Мишо.

Понимание, что́ лучшее в Колумбии, не заставило себя долго ждать — это курсы, преподаватели и собратья-студенты. Списки чтения были великолепны, классы — маленькие, и вела их штатная профессура, которой было особо интересно и приятно обучать студентов, а однокашники его оказались умны, хорошо подготовлены и не боялись открывать рот на занятиях. Фергусон говорил мало, но впитывал все, что обсуждалось на тех одно- и двухчасовых семинарах, ощущая, что приземлился в некоем интеллектуальном раю, а поскольку он быстро понял, что, несмотря на множество книг, которые прочел за последние десять-двенадцать лет, он по-прежнему не знает почти ничего, то прилежно читал все задаваемые тексты, сотни страниц в неделю, иногда больше тысячи, время от времени спотыкаясь,

но хотя бы пролистывая те книги и стихи, что ему не поддавались («Миддльмарч», «Град Божий» и унылую помпу Пеги, Клоделя и Перса), а временами выполнял даже больше, чем от него требовалось (перепахал всего «Дона Кихота», когда задали читать избранное, составлявшее лишь половину всей книги, — но как мог он не хотеть прочесть *целиком* эту лучшую и самую могучую из всех книг?). Через две недели после начала осеннего семестра из Ньюарка приехали его родители и взяли их с Эми ужинать в «Зеленое дерево», недорогой венгерский ресторан на Амстердам-авеню, который Фергусон так полюбил, что прозвал его «Город Ням», и когда он там заговорил о том, до чего ему нравятся курсы и как поразительно то, что теперь основная работа у него в жизни — читать и писать о книгах (!), мать рассказала ему историю о ее собственном *великом приключении* в месяцы перед тем, как он родился, а она вынуждена была все время проводить в постели, и делать ей было совершенно нечего, только читать все подряд великолепные книги, какие ей рекомендовала Мильдред, десятки произведений, которые Станли брал для нее в библиотеке и о которых она думает до сих пор, так много их после стольких лет свежи в ее па-

мяти, а поскольку Фергусон не мог припомнить, что вообще когда-либо видел, как она читает что бы то ни было помимо немногих триллеров и кое-каких книг по искусству и фотографии, его тронул образ его молодой, беременной матери, лежащей весь день в одиночестве в их первой ньюаркской квартире, и романы пристроены вокруг ее все время растущего живота, бугра под кожей, что был не чем иным, как еще не рожденным им самим, и да, сказала его мать, тепло улыбнувшись при мысли о тех давно прошедших днях: Как ты мог не любить книги — после всех книг, что я прочла, пока была тобой беременна?

Фергусон рассмеялся.

Не смейся, Арчи, сказал его отец. Биологи называют это *осмосом*.

Или метемпсихозом, добавила Эми.

Мать Фергусона смешалась. Психоз? — спросила она. О чем мы говорим?

Переселение душ, пояснил Фергусон.

Ну так конечно же, сказала мать. Именно это я и пытаюсь тебе сказать. Моя душа — твоя душа, Арчи. И всегда ею будет, даже после того, как исчезнет мое тело.

Даже не думай об этом, сказал Фергусон. Я уже потолковал с парнями наверху и договорился,

они мне дали слово, что ты будешь жить вечно.

Хорошие занятия, хорошие учителя, хорошие соученики, но не все аспекты переживания Колумбии были радостны, и среди того, что Фергусону нравилось меньше всего, были ее косные претензии Лиги плюща, ее отсталые правила и строгие протоколы поведения, ее недостаток интереса к благосостоянию студентов. Вся власть находилась в руках администрации, и тебя могли бы вышибить в любой миг — без должного процесса или независимой следственной комиссии, которые могли бы следить за вопросами дисциплины, и им не пришлось бы даже объясняться. Не то что Фергусон планировать попадать в какие-то неприятности, но время доказывало, что в них попадают другие, и когда большое число их решило весной 1968-го устроить бучу, все учебное заведение осатанело.

Но подробнее об этом позже.

Фергусон был доволен тем, что он в Нью-Йорке, доволен, что он с Эми в ее, Эми, Нью-Йорке, наконец-то — полноправный житель столицы двадцатого века, но хоть он даже и был знаком с районом, окружающим Колумбию, — или отчасти с ним знаком, теперь, когда тут жил, он наконец разглядел в Морнингсайт-Хайтс то, чем

этот район был на самом деле: израненная, распадающаяся территория нищеты и отчаяния, квартал за кварталом обветшавших зданий, где в большинстве квартир обитали мыши, крысы и тараканы — рядом с теми людьми, что населяли эти квартиры. Грязные улицы частенько бывали завалены неубранным мусором, и половина пешеходов на этих улицах полоумна, или вот-вот утратит рассудок, или приходила в себя после нервного срыва. Район этот — нулевой километр для потерянных душ Нью-Йорка, и каждый день Фергусон миновал дюжину мужчин и женщин, накрепко погруженных в глубокие, непостижимые диалоги с незримыми другими, с людьми, которых не существовало. Однорукий бродяга с битком набитым пакетом из магазина, сгорбленное тело его свернулось само в себя, пялился в тротуар и бормотал свои отченаши тихим, скрежещущим голосом. Бородатый карлик, устраивавшийся у дверных проемов чьих-то домов на боковых улочках, отходивших от Амстердам-авеню, читал ежемесячные выпуски «Дейли Форвард» через зазубренный осколок сломанного увеличительного стекла. Толстая женщина, слонявшаяся по округе в пижаме. На островках безопасности посреди Бродвея пьяные,

старые и безумные сбивались в кучки на лавках над решетками подземки, сидели плечом к плечу, и каждый молча вперялся в пространство. *Топкий Нью-Йорк. Телеграфный и гиблый Нью-Йорк*. А потом был еще человек, кого все называли Ямки, престарелый псих, каждый день стоявший на углу перед «Битком орехов» и монотонно тянувший слова *явхе ямпки*, краснобай старой школы, кого поочередно называли Доктором Ямки и Эмшем, самозваный сын Наполеона, самозваный мессия, а уж американский патриот такой, что клейма ставить не на чем, который никогда нигде не появлялся без собственного американского флага, которым в холодные дни закутывал себе плечи, как шалью. И еще лысый мужчина-мальчик Бобби с пулевидной головой, тот целыми днями работал на побегушках у хозяев «Лавки пишущих машинок Ральфа» на углу Бродвея и 113-й улицы, носился по тротуарам, расставив руки, изображая самолет, вилял в людской толпе, ревя двигателем «Б-52» на полном газу. И безволосый Сэм Штейнберг, вездесущий Сэм Ш., каждое утро приезжавший из Бронкса с двумя пересадками в подземке, чтобы торговать шоколадными батончиками на Бродвее или перед Гамильтон-Холлом, а еще он продавал по доллару свои незатейливые

рисунки воображаемых животных «Волшебным маркером», маленькие работы, выполненные на картонках из прачечной, которые вкладывали в отглаженные рубашки, и призывал всех, кто готов был его слушать: *Эй, миста, тут новые картины, тут прикарасные новые картины, самые прикарасные новые картины в целом савете*. И громадная загадка отеля «Гармония», обветшавшей гостиницы для опустившихся мужчин, стоявшей на перекрестке Бродвея и 110-й улицы, самого высокого здания на много кварталов окрест, а на кирпичной стене там выведен огромными буквами, разборчивыми и за четверть мили, девиз гостиницы, который наверняка можно было расценивать как самый ошеломляющий оксюморон на планете: «ОТЕЛЬ ГАРМОНИЯ — ГДЕ ЖИТЬ ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ».

То был расколотый мир в этом верхнем Верхнем Вест-Сайде, и к нему следовало привыкнуть прежде, чем Фергусон сумел ожесточить сердце к убожеству и нищете своих новых угодий, но на Хайтс не все было таким унылым: по улицам также бродили молодые люди, в пейзаже частенько присутствовали хорошенькие девушки из Барнарда и Джулиарда — порхали мимо него, словно оптические иллюзии или ду́хи из снов, на Бродвее

между 114-й и 116-й улицами имелись книжные магазины, где можно шарить по полкам, была даже подвальная лавка с иностранными книжками за углом и вниз по лестнице на 115-й улице, где Фергусон мог проводить с полчасика то и дело, роясь в разделе французской поэзии, в «Талии» и «Нью-Йоркере» крутили лучшие старые и новые фильмы всего в двадцати пяти кварталах к югу, Эдит Пиаф пела в музыкальном автомате столовки с сальными ложками под названием «Коллежская таверна», где можно было набивать себе утробу дешевыми завтраками и болтать с грубоватой официанткой с обесцвеченными волосами, кто звала его *милок*, в «Битком орехов» — десятиминутные перерывы на кофе, в «Прексис» — поддерживающие в теле жизнь гамбургеры (*Гамбургер с Высшим Образованием*), *гора vieja*[66] и эспрессо в «Идеале» (Ии-дей-аль), кубино-китайском заведении на Бродвее между 108-й и 109-й улицами, гуляш и пампушки в «Городе Ням», ресторане, куда они с Эми ходили ужинать так часто, что пухлые хозяева, муж и жена, начали предлагать им бесплатные десерты, но главным прибежищем в этой расколотой

[66] Сноски: 66
Жаркое из вареного мяса (*исп.*).

округе был бар и гриль «Вест-Энд», расположенный на Бродвее между 113-й и 114-й улицами, с его неохватной овальной барной стойкой из гладко отполированного дуба, кабинками на четверых или шестерых вдоль северной и восточной стен и большими стульями на колесиках и столами в задней комнате. Годом ранее Эми уже познакомила его с «Вест-Эндом», но теперь, когда Фергусон и сам стал здесь постоянным жителем, этот древний, тускло освещенный водопой вскоре превратился в его основной приют, днем — комната для занятий, вечером — место встреч, его второй дом.

Интересовали его не пиво и не бурбон, а разговоры, случай потолковать с друзьями из «Спектатора» и «Колумбия Ревю», побеседовать с политическими знакомыми Эми и различными завсегдатаями «Вест-Энда», а напитки служили всего лишь жидким реквизитом, которые он потягивал только для того, чтобы и дальше сидеть в кабинке, ибо у Фергусона в жизни впервые было так, что его окружали люди, с кем хотелось бы поговорить, уже не просто одна Эми, кто последние два года была его единственным собеседником, единственным человеком на свете, с кем стоит вообще разговаривать, теперь

таких было несколько, теперь их стало много, и разговоры, ведшиеся в «Вест-Энде» были ему так же ценны, как и все говорившееся на занятиях в Гамильтон-Холле.

Парни из «Спектатора» были публикой серьезной, работящей, скорее зубрилы, нежели тошноты, когда дело доходило до того, как они одевались или стриглись, но зубрилами они были с душами тошнотов, и собратья-новички Фергусона из класса 69-го были уже матерыми газетчиками, только что после средней школы, но вкопавшиеся в свою работу и преданные ей так, будто занимались этим уже много лет. Штатные работники «Спектатора» из тех, что постарше, хаживали в другой бар, в паре кварталов ниже по Бродвею, «Золотой поручень» — он был предпочтительным салуном для братков и качков, но приятели Фергусона выбирали более тусклую, не такую буйную атмосферу «Вест-Энда», и из той троицы, что иногда ходила с ним выпить и поговорить в какой-нибудь боковой кабинке, там бывали спокойный и вдумчивый Роберт Фридман, паренек с Лонг-Айленда, освещавший Академическую Успеваемость и в своем нелепом возрасте восемнадцати лет уже умевший писать так же мастерски и професси-

онально, как любой репортер из «Таймс» или «Геральд Трибюн», балабон Грег Мальхаус из Чикаго (Спорт) и настойчивый, пытливый, кисло саркастичный Аллен Бранч из Сан-Франциско (Дела Сообщества), и все они были согласны с тем, что правление газеты слишком консервативно, слишком робко реагирует на скверную политику университета относительно войны (допускает в студгородок военных вербовщиков, не разрывает связей с УКОЗ[67] — произносится *у коз*, — программой подготовки флотских резервистов), равно как и на тактику владельцев трущоб при выселении бедных жильцов из многоквартирных домов, принадлежащих университету, чтоб и дальше расширять Колумбию на соседние районы, и когда настанет их черед управлять «Спектатором» весной их младшего курса, они выберут главным редактором Фридмана и быстро примутся за дело, *изменят всё*. Планы на этот путч лишь подтверждали то, что Фергусон и без того уже сообразил насчет первого курса того года. Они отличались от классов постарше — были агрессивнее, нетерпеливее, больше готовы подняться на драку с глупостью,

[67] Сноски: 67
Учебный корпус офицеров запаса.

самодовольством и несправедливостью. Послевоенные дети, родившиеся в 1947-м, имели мало общего с детьми войны, родившимися всего на два-три года раньше, за этот короткий срок успел произойти поколенческий разлом, и хотя большинство старшекурсников по-прежнему клевали на удочку тех уроков, какие выучили в 1950-х, Фергусон и его друзья понимали, что живут они в иррациональном мире, в стране, которая убивает своих президентов, принимает законы против собственных граждан и отправляет свою молодежь умирать в бессмысленных войнах, а это означало, что они более сонастроены с реальностью настоящего, нежели их старшие. Маленький пример, тривиальный случай, но тем не менее уместный: битвы из-за шапочек Недели ориентации абитуриентов. Фергусон инстинктивно отказался носить свою, но так же поступили и парни из «Колумбия Ревю» и «Спектатора», и десятки других, и в дни перед началом занятий в параллели из шестисот девяноста трех студентов больше трети не отводили глаза и сталкивались плечами со старостами-футболистами. Ничего не организовывалось. Каждый мальчишка, кто был против шапочек, действовал так по собственной воле, его отвращала мысль о том, что ему

придется расхаживать по всему студгородку как новобранцу из бригады Траляля и Труляля, и так вот зараза сопротивления расползалась, пока не превратилась фактически в массовое движение, во всеобщий бойкот, в борьбу между традицией и здравым смыслом. Результат? Администрация объявила, что отныне для всех поступивших абитуриентов ношение шапочек вводиться не будет. Победа микроскопическая, да, но, возможно, признак грядущего. Сегодня шапочки, а завтра — кто знает?

К концу недели Благодарения Фергусон набрал стопку из полудюжины переводов, которые казались ему более-менее завершенными, и когда они прошли крайне важный Тест Эми, он наконец сгреб их все вместе, сложил в манильский конверт и подал в «Ревю». Вопреки тому, чего он ожидал в ответ, редакторы вовсе не были против принципа публикации переводов в журнале — *только если они не слишком длинные*, как сказал один, — и так вот вышло, что английское переложения Фергусоном стихотворения Десноса о дезертире и часовых, «Где-то в мире», оказалось принято к публикации в весеннем номере. Хоть он и не был больше полноправным поэтом, но по-прежнему мог участвовать а созда-

нии поэзии — тем, что переводил стихотворения, которые были гораздо лучше тех, какие сам он сумел когда-либо сочинить, и молодые поэты, связанные с «Ревю», чьи амбиции касательно самих себя намного превосходили его собственные касательно самого себя, кто, садясь писать, рисковал всем, а он не рисковал почти ничем, когда садился переводить, признали его ценность для группы как человека, который способен был судить о достоинствах одного произведения и недостатках другого, кто сообщал их беседам о поэзии взгляд более широкий, более всеобъемлющий, но эти ребята никогда не включали его в свой внутренний круг, что было совершенно оправданно и справедливо, считал Фергусон, поскольку он, в итоге, не был по-настоящему одним из них, однако в том, что касалось тусования в «Вест-Энде», все они были его добрыми друзьями, и Фергусон любил с ними разговаривать, особенно — с Давидом Циммером, который производил на него впечатление самого блистательного и не по годам развитого из всей компашки, вместе с корешем Циммера по Чикаго не-писателем Марко Фоггом, эксцентричным, взъерошенным мальчишкой, разгуливавшим в ирландском твидовом костюме и настолько глубоко сведущим

в литературе, что мог отпускать шуточки на латыни и смешить тебя, пусть латыни ты и не понимал.

Журналисты и поэты были теми, к кому Фергусона тянуло, поскольку их он считал самыми живыми: именно они уже начали прикидывать, кто они и что в отношении к миру, но в классе 69-го были и другие, кто по-прежнему ни шиша не понимал ни про себя, ни про что-либо другое, подростки-хлюпики, набравшие себе хороших отметок в школе и способные добиться сногсшибательных баллов в стандартизованных тестах, но умы у них все еще были детские, орда неопытных эфебов и девственных дрочил, выросшая в маленьких провинциальных городках и типовых домах предместий, — они липли к студенческому городку и своим комнатам в общаге, потому что Нью-Йорк был чересчур велик для них, слишком груб, слишком быстр, и все это место угрожало им и сбивало их с толку. Одним таким невинным был сожитель Фергусона, общительный парнягa из Дейтона, Огайо, по имени Тим Маккарти, который поступил в колледж совершенно не готовым к тому, чтобы усвоить свободу впервые жить где-то не дома, но, в отличие от множества других в том же положении, Тим не ушел в себя

и не спрятался от города, а ринулся прямо ему навстречу, намереваясь целиком и полностью раствориться в двойном наслаждении монументального пития пива и постоянного потребления марихуаны — с парой кислотных приходов для ровного счета. Фергусон не знал, что делать. Большинство ночей он проводил с Эми в квартире на 111-й улице, и его комната в Карман-Холле служила ему скорее конторой, тем местом, где он держал книги, пишущую машинку и одежду, и когда б он в ней ни бывал, то, как правило, сидел у себя за столом перед машинкой и писал заметки для «Спектатора», сочинял различные длинные и короткие доклады, какие требовалось сдавать на его курсах, либо возился с очередным вариантом какого-нибудь своего перевода. С Тимом виделся нечасто и не сумел наладить с ним связи, отношения у них были дружескими, но *глубоко поверхностными*, как он однажды услышал у какой-то женщины, говорившей с другой женщиной в 104-м автобусе, и, ощущая, что парень этот движется полным ходом к тому, что могло оказаться серьезными неприятностями, он не очень хотел влезать в личные дела Тима. Повидал он уже довольно для того, чтобы самому не интересоваться экспериментами с той глупо-

стью, какой была дурь, или тем сумасшествием, каким было ЛСД, но по какому праву стал бы он указывать Тиму Маккарти воздерживаться от употребления этих веществ? Впрочем, однажды днем в середине декабря, когда Тим ввалился в комнату, визжа и хихикая, с последнего сеанса дури с бандой дальше по коридору, Фергусон наконец не выдержал и сказал: Тебе это может казаться смешным, Тим, но больше никто не смеется.

Дейтонский мальчишка рухнул на свою кровать и улыбнулся: Не будь таким брюзгой, Арчи. А то уже заговорил, как мой отец.

Мне наплевать, сколько наркотиков ты употребляешь, но тебе будет не очень славно, если тебя отсюда вышибут, а?

Чепуху порешь, мистер Нью-Джерси. У меня в этом семестре сплошь пятерки и четверки, и пятерок больше, чем четверок, и если мне на экзаменах через месяц удастся все, что должно, я, вероятно, попаду в список декана. Вот уж папаша гордиться будет.

Ну и молодец. Но если собираешься и дальше каждый день удалбываться, то сколько еще так протянешь?

Протяну? Да я всегда не только тяну, я всегда на

стреме и вперед, и чем выше улетаю, тем больше вперед. Тебе самому надо как-нибудь попробовать, Арчи. Крепчайшие стояки по эту сторону от Гибралтарский скалы.

Фергусон кратко фыркнул — почти как фыркала Эми, — но в данном случае то было признанием поражения, а не настоящим смехом. Он завел спор, который ему суждено было проиграть.

Мы никогда не будем моложе, чем сейчас, сказал Тим, а после того, как ты молод, все довольно быстро катится под уклон. Скучная взрослость. Фу из фу-ты-ну-ты. Работа, жена, пара детишек, и вот уже шаркаешь ногами в тапочках, ждешь, когда тебя свезут на фабрику клея — без зубов, без ничего. Так чего же не пожить и не повеселиться, пока можешь?

Все зависит от того, что ты зовешь весельем.

Отпускание всего, например.

Согласен. Но как ты себе представляешь отпускание?

Хорошенько заправляться и из кожи вон выпрыгивать.

У тебя такое, может, и получится, но это не для всех.

А ты б разве не выбрал летать, а не ползать по земле? Это ж так просто, Арчи. Просто руки

разводишь — и взлетаешь.

Некоторым из нас этого не хочется. И даже думай мы, будто хотим, у нас не получится.

Это еще почему?

Потому что мы не можем, вот и все. Мы просто не можем.

Дело было не в том, что Фергусон не умел летать, или отпускать, или выпрыгивать вон из кожи, но для всего этого ему требовалась Эми, и теперь, когда они пережили свой первый разрыв, свое первое примирение и свое первое переживание того-что-спят-они-вместе-каждую-ночь во Франции, ему уже не удавалось отделить представление о том, кто он есть, от необходимости быть с нею. Нью-Йорк стал следующим шагом вперед, повседневной жизнью с возможностью ежедневно видеть друг дружку, быть вместе почти постоянно, если хотелось, но Фергусон понимал, что не может ни одну из этих возможностей принимать как данность, поскольку разрыв научил его: Эми — такая личность, кому нужно больше места, чем большинству людей, что ее удушающая мать вызвала у нее аллергию на любое и всякое эмоциональное давление, и если он потребует от нее больше, чем она согласна давать, рано или поздно она снова от него отпрянет. Ино-

гда он задавался вопросом, не чересчур ли он ее любит — или не научился ли он еще, как любить ее правильно, поскольку истина заключалась в том, что Фергусон был бы счастлив жениться на ней хоть завтра, даже восемнадцатилетним студентом в первые свои месяцы колледжа он был готов идти дальше по всей своей оставшейся жизни с нею и никогда больше даже взгляда не бросить на какую-нибудь другую женщину. Он знал, до чего чрезмерны такие его мысли, но не мог прекратить их думать. Эми целиком сплелась с ним в нем самом. Он был тем, кем был, потому что теперь с ним внутри была она, и чего ради делать вид, будто он вообще может стать кем-то даже отдаленно человекообразным без нее?

Обо всем этом он не произносил ни слова. Смыл был не в том, чтобы отпугнуть ее, а в том, чтобы ее любить, и Фергусон старался как мог бдительно относиться к настроениям Эми и откликаться на тонкие, не высказанные вслух намеки, что подсказывали ему, хорошо ли сегодня ночью спать у нее в постели, к примеру, или она предпочтет подождать завтрашней ночи, или подчеркнуто спросить, желает ли она с ним сегодня вечером поужинать — или же лучше им встретиться попозже в «Вест-Энде», или обоим посидеть дома,

потому что обоим нужно писать доклады, или же бросить все и сходить в «Талию» посмотреть кино. Он позволял ей принимать все эти решения, зная, что ей свободнее и счастливее, если решает это она, а поверх всего прочего та Эми, которой хотелось ему, была неистовой, нежной, остроумной девчонкой, что спасла ему жизнь после аварии, бестрепетным собратом-заговорщиком, кто проехала с ним через всю Францию, а не угрюмой царствующей персоной, изгнавшей его из своего двора прошлой осенью на четыре месяца одинокого прозябания в ссылке нью-джерсейского захолустья.

В большинстве случаев дело заканчивалось тем, что он проводил с нею ночь, в среднем — четыре или пять раз в неделю, часто целых шесть, а одну, две или порой три ночи — в одиночестве на односпальной койке на десятом этаже Карман-Холла. Такой порядок всех устраивает, ощущал Фергусон, хоть и желал он, чтобы цифры превратились в устойчивые семь и ноль, но самым важным тут было вот что: после двух лет тела их по-прежнему загорались огнем, когда они вместе заползали в постель, и редкой бывала та ночь, когда Фергусон спал с Эми и они не занимались любовью, прежде чем заснуть. Если вывернуть

наизнанку утверждение Готтесмана, постоянный секс не только был для них полезен, но полезный секс делал их самих постояннее и крепче: двое переплетались в одно, а не одно и одно стояли порознь. Физическая близость, развившаяся между ними, была теперь такой насыщенной, что иногда Фергусон чувствовал: тело Эми известно ему лучше, чем его собственное. Но не всегда, и потому очень важно было, чтобы он ее слушал и следовал за ней в вопросах физических, чтобы он *обращал пристальное внимание на то, что она ему говорит глазами*, ибо то и дело он неверно толковал сигналы и поступал как-то не так, например, хватал ее и целовал, когда ей от него этого не хотелось, и хоть она его никогда не отталкивала (что лишь усиливало его смятение), он мог определить, что душа ее к такому не лежала, что как раз в тот миг о сексе она вовсе не думала так, как он о нем думал, а он о нем думал постоянно, но она все равно разрешала ему заниматься с собою любовью, поскольку ей не хотелось его разочаровывать, поддавалась его желаньям, вовлекаясь в них пассивно, *механический секс*, что было хуже, чем вообще никакого секса, и впервые, когда такое случилось, Фергусону стало так стыдно, что он поклялся никогда больше этого не

допускать, но оно произошло опять, еще дважды за следующие несколько месяцев, отчего он понял наконец, что мужчины и женщины — это не одно и то же, и если он намерен поступать со свой женщиной правильно, ему придется обращать еще более пристальное внимание и учиться думать и чувствовать, как она, ибо у него в уме не было сомнений, что Эми в точности известно, о чем думает и что чувствует он, а это объясняло, почему она терпела его ляпсусы похоти и ослепленные любовью жесты недоумия.

Еще одна иногда совершаемая им ошибка — переоценивать самоуверенность Эми. Великий рев бытия, который испускала душа Шнейдерман, казалось, препятствует любым провалам в сомнение или неопределенность, но и у нее бывали скверные мгновения, как и у всех прочих, мгновения печали и слабости и мрачной задумчивости, а поскольку случались они так редко, то всегда казалось, будто они застают Фергусона врасплох. Превыше всего остального — интеллектуальные сомнения о том, здравы у нее политические воззрения или нет, будет ли для кого-либо ценно то, что она сделала, сказала или подумала, стоит ли сражаться с *системой*, если система никогда не изменится, не ухудшит ли чего-нибудь борьба за

то, чтобы что-то улучшить, — из-за тех, кто поднимется против тех, кто сражается за то, чтобы сделать что-то лучше, — но еще и сомнения о себе самой, маленькие *девчачьи штучки*, что вдруг начинали ее терзать безо всякой видимой причины: губы у нее слишком тонкие, глаза слишком маленькие, чересчур большие зубы, на ногах слишком много родинок — тех самых светло-коричневых точек, которые так страстно любил Фергусон, но нет, говорила она, они уродские, и она нипочем больше не наденет шорты, а теперь она еще и разжирела, а теперь слишком уж всхудла, и почему у нее такие маленькие груди, и черт бы забрал этот ее здоровенный еврейский нос, и какого хера делать ей с этими ее чокнутыми волосами торчком, это невозможно, невозможно с ними ничего сделать, и как вообще можно до сих пор хотеть красить губы, когда косметические компании промывают женщинам мозги, чтобы все они стремились к какому-то извращенному, искусственному видению женскости, дабы питать великую капиталистическую машину по выколачиванию прибыли, какая работает на том, что заставляет людей хотеть того, что им не нужно? Все это — от энергичной, привлекательной девушки в расцвете юной ее взрослости, и если

такой человек, как Эми Шнейдерман, способна была эдак ставить под сомнение тело, которое ей принадлежало, что уж говорить о толстушках, простушках, девушках-калеках, которым и ловить-то было нечего? Не только мужчины и женщины не похожи друг на дружку, заключил Фергусон, но и женщиной быть труднее, чем мужчиной, и если он когда-либо об этом забудет, сказал он себе, богам следует спуститься со своей горы и выколупать глаза у него из головы.

Весной 1966 года в Колумбии образовалось отделение СДО. «Студенты за демократическое общество» уже стали национальной организацией, и одна за другой большинство левых студенческих групп в студгородке проголосовали за слияние с СДО или распустили свои ряды и растворились в ней. Среди них были Комитет за насмешку над обществом, который в прошлом году расхаживал по Дорожке Колледжа, держа пустые плакаты в знак общего протеста против всего (Фергусон страшно жалел, что не видел этого сам), Движение 2 мая, которое поддерживала Прогрессивная рабочая партия, сами члены Прогрессивной рабочей партии (маоистской, гнувшей жесткую линию), и группа, к которой со своего первого курса принадлежала Эми, НКВ (Не-

зависимый комитет по Вьетнаму), сражавшийся с полицией в прошлом мае, когда двадцать пять его членов прервали церемонию награждения УКОЗ ВМФ на пласе Библиотеки Лоу. Лозунгом СДО был *Пусть решает народ!*, и Фергусон поддерживал позицию группы с таким же энтузиазмом, что и Эми (против войны, против расизма, против империализма, против нищеты — и за демократический мир, в котором все граждане могли бы жить друг с другом как равные), но Эми вступила в организацию, а Фергусон нет. Причины были очевидны им обоим, и они не стали тратить время на обсуждение этого дела — да и вообще никакого времени на попытки убедить другого принять иное решение, поскольку Фергусон вообще-то подталкивал ее к тому, чтобы она туда вступила, а она понимала, почему он никогда никуда не вступит, поскольку Эми была из тех, кто мог вообразить, как сам швыряет кирпичи, а вот Фергусон — из тех, кто не мог и не стал бы, и даже сожги он свою карточку прессы и подай в отставку из «Спектатора» — все равно бы не присоединился ни при каких обстоятельствах. Двадцать шестого марта он снова шел с нею вместе по Пятой авеню в другой антивоенной демонстрации, но это было примерно все, на что

он был готов со своей лептой в общее дело. В конце концов, в дне часов всего столько-то, и после того, как он заканчивал домашнюю и газетную работы, перспектива провести какое-то время со своими французскими поэтами была для него гораздо привлекательней, чем посещение громких дискуссионных политических сходок, где планировалась следующая акция, какую группа будет устраивать по следующему вопросу повестки дня.

Когда в начале июня закончился второй семестр, Фергусон пожал руку Тиму Маккарти, попрощался с Карман-Холлом и перебрался в более просторное жилье вне студгородка. Только первокурам требовалось жить в общежитии, а теперь, раз первый курс у него остался позади, он был волен отправляться, куда пожелает. Вместе с тем желал он съехаться с Эми, но из гордости (и, быть может, как испытание любви) Фергусон удержался от того, чтобы спрашивать у нее, нельзя ли ему арендовать одну из двух спален, что, вероятно, освободятся у нее в квартире (обе их занимали старшекурсницы), и ждал, что она задаст этот вопрос сама, что она и сделала в конце апреля, всего через несколько часов после того, как сама узнала, что две ее соседки-выпускницы

уедут из Нью-Йорка в тот же день, как получат дипломы, и насколько же приятнее было жить там по ее приглашению, чем пригласиться туда самому, — знать, что она его хотела так же, как он хотел ее.

Они быстро заняли две освободившиеся комнаты, обе — просторнее и светлее, чем тесная дыра Эми в глубине квартиры, две комнаты располагались рядышком в главном коридоре, в обеих — двуспальные кровати, письменные столы, бюро и книжные шкафы, которые они купили от съезжавших жилиц за общую сумму в сорок пять долларов каждый, и челночное существование Фергусона весь последний год подошло к концу, не будет больше ежедневных походов вверх и вниз по Бродвею между его комнатой в общаге и квартирой Эми, теперь они жили вместе, они теперь вместе спали в одной постели семь ночей из каждых семи, и все то лето 1966 года девятнадцатилетний Фергусон расхаживал с жутковатым ощущением того, что он вступил в мир, где уже необязательно просить у мироздания чего-то больше того, что ему и так уже дали.

Беспрецедентный миг равновесия и внутреннего претворения. И рыбку съел, и косточкой не подавился. Никто, попросту больше никто на

свете не мог быть счастливее. Иногда Фергусон задавался вопросом, не облапошил ли он автора «Книги земной жизни», который в тот год слишком быстро листал страницы и отчего-то оставил ту, что была предназначены для этих месяцев, пустой.

Лето в жарком Нью-Йорке, где невозможно дышать, один день за другим при девяноста градусах[68], жаркий асфальт плавится на солнце, а бетонные блоки мостовой прожигают подошвы обуви, воздух так густ от влажности, что даже кирпичи с фасадов зданий, кажется, сочатся по́том, и повсюду вонь мусора, гниющего на тротуарах. Американские бомбы падали на Ханой и Хайфон, чемпион в тяжелом весе разговаривал с прессой о Вьетнаме (Ни один вьетконговец ни разу не обзывал меня негритосом, сказал он, тем самым объединив две американские войны в одну), поэта Франка О'Хару на Огненном острове сбил дюноход, и он умер в сорок лет, а Фергусону и Эми не удавалось выбраться из ловушки скучных летних работ, у него — продавец в книжном, у нее — машинопись и делопроизводство, низкооплачиваемые работы,

[68] Сноски: 68
≈ 32°C.

вынуждавшие их нормировать «Голуазы», зато Бобби Джордж играл в Германии в бейсбол, в баре «Вест-Энд» работал кондиционер воздуха, и как только они возвращались в свою жаркую, безвоздушную квартиру, Фергусон мог водить прохладной мягкой мочалкой по голому телу Эми и грезить о том, что они вернулись во Францию. То было лето политики и кино, ужинов в квартире Шнейдерманов на Западной Семьдесят пятой улице и в квартире Адлеров на Западной Пятьдесят восьмой, празднования перехода Гила Шнейдермана в «Нью-Йорк Таймс» после того, как «Геральд Трибюн» остановила свои печатные станки и исчезла со сцены, хождения на концерты в «Карнеги-Холл» с Гилом и братом Эми Джимом, поездок на 104-м автобусе по Бродвею в «Талию» и «Нью-Йоркер», чтобы сбежать от жары на просмотр фильмов, которые, решили они, все должны быть комедиями, поскольку мрачность момента требовала, чтобы они смеялись всегда, при любой возможности, а кому по силам рассмешить их лучше всех, если не братьям Маркс и В. К. Фильдсу или глупым чудачествам с Грантом и Павелль, Хепберн, Данн и Ломбард в главных ролях, они никак не могли на них насмотреться, прыгали в автобус в ту же минуту, когда узнава-

ли, что идет еще один спаренный сеанс комедий, и что за облегчение — забыть про войну и вонючий мусор на несколько часов, пока сидишь в темноте с кондиционированным воздухом, но когда ни в районе, ни где-то еще не показывали никаких комедий, они возвращались к своему летнему проекту — продраться через то, что называли *литературой несогласия*: читали Маркса и Ленина, потому что их надо было читать, а также Троцкого и Розу Люксембург, Эмму Гольдман и Александра Беркмана, Сартра и Камю, Малькольма Икса и Франца Фанона, Сореля и Бакунина, Маркузе и Адорно, ища ответы, которые помогли бы им объяснить, что произошло с их страной: та, похоже, рушилась под бременем собственных противоречий, — но в то время, как Эми ловила себя на том, что приближается к марксистской трактовке событий (неизбежное свержение капитализма), у Фергусона имелись сомнения — не просто из-за того, что Гегелева диалектика, поставленная с ног на голову, поражала его как механический и упрощенческий взгляд на мир, но и потому, что среди американских рабочих не было *классового сознания*, нигде в культуре никаких симпатий к социалистической мысли, а потому — ни единого шанса на тот великий

переворот, какой предсказывала Эми. Иными словами, они расходились во мнениях, хотя, по сути, и были на одной стороне, но никакие подобные разногласия, казалось, не играли никакой роли, поскольку ни тот ни другая на том рубеже не ощущали полной уверенности ни в чем, и каждый понимал, что прав может быть другой или что оба они могут оказаться неправы, и потому лучше высказывать свои сомнения свободно и открыто, а не шагать в ногу, сцепившись руками, пока оба не свалятся с края утеса.

Самое главное, то было лето, когда он смотрел на Эми, наблюдал, как она наносит помаду и расчесывает свои невозможные волосы, изучал ее руки, пока она втирала в ладони лосьон для тела, а затем оглаживала этими ладонями себе ноги, руки и груди, мыл ей голову, а она закрывала глаза и глубже погружалась в теплую воду ванны — древней ванны с лапами вместо ножек и пятнами ржавчины, впитавшимися в треснувший фаянс, лежал по утрам в постели и смотрел, как она одевается в углу комнаты, а лучи льются в окно и окружают ее собой, как она ему улыбается, натягивая трусики, лифчик и юбку из хлопка, маленькие домашние детали жизни на ее женской орбите, тампоны, противозачаточные таблетки,

таблетки от того, когда ей сводило живот во время мучительных месячных, работа по хозяйству, которую они делали вместе, — покупали продукты, мыли посуду, и то, как она прикусывала иногда нижнюю губу, когда они стояли вместе на кухне, резали и крошили лук и помидоры, готовя чили в кастрюльке, что кормила бы их ужинами все выходные, сосредоточенность у нее во взгляде всякий раз, когда она красила себе ногти на руках или ногах, *чтобы произвести хорошее впечатление на работе*, смотрел, как она бреет ноги и подмышки, пока тихонько сидит в ванне, а потом залезал к ней туда и намыливал ей скользкую белую кожу, неземная гладкость ее кожи под его руками, и секс, и секс, и секс, потный летний секс без всяких покрывал сверху, а они катались по всей кровати у нее в комнате, и старый скрипучий вентилятор немного перемешивал воздух и ничего не остужал, содроганья и вздохи, взвизги и стоны, в ней, на ней сверху, под ней, рядом с ней, глубокий хохот, застревавший у нее в горле, внезапные нападения со щекоткой, неожиданные обрывки старых популярных песенок из их детства, колыбельных, неприличных лимериков, стишков Матушки Гусыни, и сварливая Эми сощуривалась в еще

одном каком-нибудь своем капризе, счастливая Эми заглатывала воду со льдом и холодное пиво, ела быстро, пихая в себя еду, *как оголодавший портовый грузчик*, фырчки смеха, когда она смотрела Фильдса и братьев М.: *Нет никакой санной кляузы, Арчи!* — и великолепное *Ах*, которое она выдохнула однажды вечером, когда он вручил ей свой перевод раннего стихотворения Рене Шара, такого короткого, что состояло оно всего из трех слов, краткой вспышки, озаглавленной «Рука Ласенэра», что отсылало к поэту-преступнику девятнадцатого века, который потом вынырнул персонажем в «Детях райка»:

Миры красноречия утрачены.

Оно не могло кончиться, никогда. Солнце прилипло к небу, из книги пропала страница, и лето будет вечно, если только они не станут слишком тяжко дышать или не попросят слишком многого, всегда лето, когда им по девятнадцать лет, и они наконец-то, почти наконец-то, вероятно, наконец на самой кромке того, чтобы распрощаться с тем мгновеньем, когда у них все еще впереди.

5.2

5.3

7 ноября 1965 года Фергусон приступил к шестнадцатой книге «Одиссеи» Гомера. Он сидел за письменным столом в маленькой комнате горничной на шестом этаже жилого здания в седьмом округе Парижа, которая была ему домом последние три недели, и вот теперь, когда Одиссей наконец-то снова добрался до Итаки после своего нескончаемого путешествия из Трои, сероглазая Афина замаскировала его в одеяния и тело усохшего старого бродяги, и вот, пока многоумный сидит со свинопасом Эвмеем в горной хижине на окраине города, туда входит Телемах, Одиссеев сын, кто был всего-навсего младенцем, когда отец его отправился в Трою двадцать лет назад, и до сих пор ничего не знает о возвращении отца, поскольку сам только что вернулся из долгого и опасного путешествия, и когда Эвмей выходит из хижины и отправляется во дворец сообщить Пенелопе, матери этого молодого человека, что Телемах вернулся на Итаку в целости и сохранности, отец и сын остаются впервые наедине, и отец полностью осознает, что смотрит на собственного сына, а вот сын по-прежнему ни о чем не догадывается.

Затем появляется Афина, переодетая высокой и красивой женщиной с Итаки, видит ее только Одиссей, а сын его, значит, не видит, она манит отца выйти наружу на минутку и говорит ему, что время обманов кончилось и он теперь должен явить себя Телемаху. «Кончив (как было сказано в недавно опубликованном переводе Фицджеральда, что лежал на столе у Фергусона), Афина его золотым своим жезлом коснулась. / Тотчас же чистый хитон, новый плащ его плечи покрыли; / Сам выше ростом он стал, крепче станом, моложе годами, / И красивее лицом, загорелей, полнее щеками. / Волос стал черный густой, бородой подбородок покрылся»[69].

Бога нет, твердил себе Фергусон. Никогда не было и никогда не будет единого Бога, но есть боги, множество богов из многих и разных частей света, среди них — боги греческие, жившие на горе Олимп, Афина, Зевс, Аполлон и всякие другие, резвившиеся первые двести девяносто пять страниц «Одиссеи», а больше всего на свете богам нравилось вмешиваться в дела людей. Они просто не могли с собой ничего поделать — именно для этого они и родились. Точно так же бобры не

---

[69] Сноски: 69
Здесь и далее пер. А. Сальникова.

могут удержаться от постройки запруд, предполагал Фергусон, — или кошки от мучения мышей. Существа бессмертные, да, но у них слишком много свободного времени, а это значит, что их ничего не удержит от измышления смачных, часто жутких развлечений.

Когда Одиссей вновь входит в хижину, Телемаха как громом поражает преображение старика в то, что, по его мысли, должно быть богом. Но Одиссей, едва справляясь с душащими его рыданиями, едва способен вытолкнуть слова изо рта и тихо отвечает: «Нет, я не бог. Зря меня ты бессмертным богам уподобил. / Я твой отец. За меня тяжких стонов имел ты немало, / Много обид претерпел, наглецам уступая невольно».

То был первый укол, кончик лезвия пронзил кожу Фергусона где-то в бескостной, незащищенной области между грудной клеткой и пахом, ибо прочитанные им слова Одиссеева краткого ответа произвели на него то же самое воздействие, какое бы возникло, гласи эти строки: *Сегодня будет холодно, Арчи. Не забудь надеть в школу шарф*.

А затем лезвие вошло до упора: «Телемах, обливаясь слезами, / Стал обнимать тут отца благородного с трепетом в сердце. / Тут у обоих в

сердцах разгорелось желание плакать. / Громко рыдали они, даже громче, чем хищная птица, / Коршун или же орел кривокогтый, из гнезд у которых / Взяли крестьяне птенцов, не успевших еще опериться. / Так же стонали они, громко плача и слезы роняя. / И до захода бы так светоносного солнца рыдали…»

То был первый раз, когда Фергусон плакал над книгой. Во тьме как пустых, так и битком набитых кинозалов он проливал много слез, порой — над самой придурковатой сентиментальной чепухой, далеко не раз глотал слезы, слушая с Гилом «Страсти по Матфею», особенно в том месте на первой стороне третьей пластинки, когда голос тенора вдруг вздрагивает от чувства, но вот книги никогда так на него не действовали, даже самые грустные, самые трогательные книги, однако же теперь, в тусклом ноябрьском свете Парижа, слезы капали на страницу 296 издания «Одиссеи» в бумажной обложке за доллар и сорок пять центов, и когда он отвернулся от поэмы и попробовал глянуть в окно своей комнатушки, все в ней оказалось как-то размыто.

«Одиссея» была второй книгой из списка Гила на чтение. «Илиада» в нем шла первой, и, пробравшись сквозь две эпические поэмы аноним-

ного сказителя или сказителей, которым было дано имя Хомерос, Фергусон пообещал прочесть за следующие два года еще девяносто восемь книг, включая греческие трагедии и комедии, Вергилия и Овидия, кусками Ветхий Завет (версию короля Иакова), «Исповедь» Августина, «Ад» Данте, примерно половину «Опытов» Монтеня, не менее четырех трагедий и трех комедий Шекспира, «Потерянный рай» Мильтона, выдержки из Платона, Аристотеля, Декарта, Юма и Канта, «Оксфордскую книгу английской поэзии», «Нортоновскую антологию американской поэзии», а также британские, американские, французские и русские романы таких писателей, как Фильдинг-Стерн-Остен, Готорн-Мельвиль-Твен, Бальзак-Стендаль-Флобер и Гоголь-Толстой-Достоевский. Гил и мать Фергусона оба надеялись, что их сын, носитель статьи 4-Ф и бывший книжный вор, через год-два изменит свои взгляды на поступление в колледж, но, по крайней мере, если Фергусон продолжит упорствовать в своем избегании достоинств формального образования, сотня названий даст ему какое-то знание о некоторых книгах, которые должен прочесть каждый образованный человек.

Фергусон собирался сдержать слово, потому

что хотел прочесть те книги и имел стойкое намерение освоить их все до единой. Ему не хотелось идти по жизни необразованным, недисциплинированным незнайкой, он просто не желал поступать в колледж, и хоть был готов просиживать по пять двухчасовых занятий в неделю в *«Alliance Française»*, поскольку одним из его честолюбивых замыслов на жизнь стало досконально овладение французским языком, у него не имелось ни малейшего желания высиживать занятия где бы то ни было еще, а меньше прочего — в колледже, что ничем не лучше любого другого заведения строгого режима, в каких его запирали с пяти лет — а несомненно, даже хуже. Единственная причина отказаться от идеалов и согласиться на какой-нибудь из этих четырехлетних сроков — это получить студенческую отсрочку от службы в армии, что снимет дилемму шагать во Вьетнам или распрощаться с Вьетнамом, что, в свою очередь, снимет следующую дилемму — федеральная тюрьма или постоянный отъезд из Соединенных Штатов, все это откладывается на этот твой четырехлетний срок, но Фергусон уже решил задачку другими средствами, и теперь, раз армия его отвергла, он мог отвергнуть колледж, и с этими дилеммами

ему даже не придется больше сталкиваться.

Он знал, до чего ему повезло. Он не только оказался избавлен от войны и всех до единого мерзейших решений, какие война порождала, от ужасных «да» и «нет», с какими приходилось иметь дело каждому американскому мужчине после средней школы и после колледжа ровно столько, сколько будет длиться эта нечестивая война, но и его родители не ополчились на него, это было существенно, ничего не было важнее для перспектив его выживания на длинном пробеге, чем то, что Гил и мать простили Фергусона за грехи его старшего класса, и хоть и продолжали *за него беспокоиться* и сомневаться в его умственной и эмоциональной устойчивости, они вовсе не вынуждали его обращаться к врачу насчет психотерапии, которая, как предлагал Гил, может принести ему *громадную кучу пользы*, ибо Фергусон настоял на том, что это необязательно, что он уже совершил свою долю *тупых подростковых ошибок*, но теперь с ним, по сути, все хорошо, и разбазаривание родительских денег на подобное туманное предприятие только усилит муки его совести. Они сдались. Они всегда уступали, если он разговаривал с ними зрелым и разумным голосом, потому что всякий раз,

когда Фергусон бывал в лучшей своей форме, а не худшей, что происходило примерно в половине случаев, лишь очень немного людей на свете могло сравниться с ним — таким милым он был, таким любящим, глаза его излучали такую сладость и прозрачную любовь, что мало кто мог ему противостоять, а меньше всех — мать и отчим, которые прекрасно отдавали себе отчет в том, что Фергусон может быть и другим, не только таким милым, но все равно ловили себя на том, что бессильны ему противодействовать.

Две удачи, а за ними — и третья, случившаяся с Фергусоном в последнюю минуту, возможность пожить какое-то время в Париже, а то и долго, что сперва казалось невозможным, уж точно если мать изводилась из-за громадного расстояния, что между ними проляжет, а Гил бухтел насчет всего устройства этого предприятия и десятков практических трудностей, какие оно представит, но затем, через пару месяцев после того, как присвоенная Фергусону категория 4-Ф упала к ним в семейный почтовый ящик, Гил написал в Париж Вивиан Шрайбер и попросил у нее совета, и тот удивительный ответ, что она дала ему в своем письме, положил конец бухтенью Гила и значительно уменьшил тревогу

матери Фергусона. «Шлите Арчи ко мне, — писала Вивиан. — *Chambre de bonne* на шестом этаже, которая принадлежит моей квартире, сейчас стоит пустая, поскольку сын моего брата Эдвард вернулся в Америку доучиваться на последнем курсе в Беркли, а я не озаботилась подыскать в нее нового жильца, и это означает, что Арчи может в ней поселиться, если его не смущает жить на минимальной площади. Никакой платы, конечно, не нужно. А теперь, когда моя книга о Шардене вышла в Лондоне и Нью-Йорке, все свое время я трачу на то, чтобы перевести ее на французский для моего парижского издателя, работа это нудная, но, к счастью, она почти завершена, и, поскольку на непосредственном горизонте не маячит никаких новых проектов, я буду счастлива взять на себя заботу о наставлении Арчи, пока он будет изучать замечательные книги из твоего списка, что, разумеется, потребует от меня, чтобы я и сама их прочла, а должна признаться, что мысль о том, что мне предстоит снова погрузиться по все это великолепие, необычайно мне приятна. Школьные статьи о фильмах, которые ты приложил к своему письму, показывают, что Арчи — способный и разумный молодой человек. Если он не одобрит моих преподавательских ме-

тодов, сможет поискать себе кого-нибудь другого. Но я готова попробовать сама».

Фергусон ошалел от восторга. Не просто Париж, но Париж под одной крышей с Вивиан Шрайбер, Париж с благожелательной заботой самого достославного воплощения женственности, Париж на рю де л'Юниверситэ в седьмом округе, Париж Левобережья со всеми удобствами богатых и безмятежных кварталов, лишь короткая прогулка до кафе Сен-Жермена, лишь короткая прогулка за реку до «Синематеки» в «Палэ-де-Шайо», а самое важное — впервые для него *самостоятельная жизнь*.

Мучительно было прощаться с матерью и Гилом, особенно с матерью, которая в конце их совместного домашнего ужина дождливым октябрьским вечером даже всплакнула, отчего ему самому чуть было тоже не захотелось расплакаться, но он отвратил это потенциальное смущение тем, что рассказал им, какую книгу начал писать за те дни, что прошли после его армейской медкомиссии, когда он еще не был уверен в том, что с ним случится, и чувствовал себя совершенно потерянным, маленькую книжку, у которой вместе с тем уже имелось название, навеки высеченное в камне: «Как Лорел и Гарди спасли мне

жизнь», — книгу, по сути, о его матери, сказал он, и о тех нелегких годах, что они пережили с нею между ночью ньюаркского пожара и днем, когда она вышла замуж за Гила, книгу, которая будет делиться на три части: «Славные забвения» — первая, рассказ обо всех фильмах, какие они посмотрели с ней вместе во время Занятного Междуцарствия и те месяцы, что были потом, о важности тех фильмов для них, о спасительной силе нелепых студийных постановок, какие они смотрели вместе с балконов кинотеатров Вест-Сайда, а мать безостановочно пыхала своими «Честерфильдами», и Фергусон грезил, будто он у фильмов внутри, играет на двумерных экранах, что висели перед ним, а вторая часть будет называться «Стан и Олли», история его одержимости этими двумя балбесами, и до чего он их любит до сих пор, а за ними — последняя часть, она еще полностью не продумана, что-нибудь с каким-то названием вроде «Искусство и дрянь» или «Это против того», где он проведет исследование разницы между голливудским кинохламом и шедеврами из других стран и предложит веские доводы в пользу мусора, пусть даже станет защищать эти шедевры, и, возможно, ему будет полезно уехать именно в такую даль, сказал он,

прочь от матери, такой, какая она сейчас, — для того, чтобы написать о ней такой, какой она была тогда, чтобы смочь пожить немного в обширных, густонаселенных областях памяти, и чтоб настоящее ему в этом не мешало, ничего не отвлекало бы от жизни в прошлом — столько, сколько ему понадобится там пробыть.

Мать улыбнулась ему сквозь слезы. Загасив недокуренную сигарету левой рукой, она потянулась к Фергусону правой, прижала сына к себе и поцеловала его в лоб. Гил встал из-за стола, подошел к тому месту, где сидел Фергусон, и тоже его поцеловал. Фергусон поцеловал обоих, а потом Гил поцеловал мать, и все они пожелали друг дружке спокойной ночи. К вечеру следующего дня пожелание спокойной ночи превратилось в пожелание доброго пути, а минуту спустя Фергусон уже садился в самолет — и был таков.

Она несколько постарела с тех пор, как он видел ее в последний раз, или же выглядела несколько старше того человека, кого он носил у себя в сердце последние три года, но теперь ей исполнился сорок один год, почти что сорок два, а это всего на два года моложе его матери, его по-прежнему прекрасной матери, которая за последние три года тоже несколько состарилась, а сама Вивиан

Шрайбер несомненно была все так же красива, лишь стала немного старше, только и всего, и хоть была она объективно не так прекрасна, как его мать, в ней по-прежнему еще виделось это сияние, этот соблазнительный тленье-блеск силы и уверенности, какого не было у его матери, у его работящей матери-художницы, которая заботилась о том, чтобы самой выглядеть лучше, только когда выходила в свет, а вот Вивиан Шрайбер писала книги о художниках и всегда была на свету, вдова при деньгах и без потомства, со *множеством друзей*, по словам Гила, она постоянно тусовалась и общалась с художниками, писателями, журналистами, издателями, галеристами и директорами музеев, а вот более приглушенная его мать постоянно горбилась над своей работой, и, за исключением мужа и сына, никого близкого у нее не было.

На заднем сиденье такси по пути в город из аэропорта Вивиан (не миссис или мадам Шрайбер, как она велела ему еще в терминале, а Вивиан или Вив) задала Фергусону сто вопросов о нем и его планах, и чего он надеется добиться, живя в Париже, на что он отвечал, рассказывая о книге, которую начал писать еще летом, о решимости улучшить свой французский до такой

степени, что сможет говорить на нем так же хорошо, как говорит на английском, о желании занырнуть в список чтения Гила и впитать все слова до единого во всей сотне этих книг, о том, чтобы посмотреть как можно больше фильмов и записать все свои наблюдения в папку-скоросшиватель на трех кольцах, об устремлении писать статьи о кино и обнародовать их в британских, американских или публикуемых во Франции, но выходящих на английском журналах, если их примет какой-нибудь редактор, о том, что хочет где-нибудь играть в баскетбол и вступить в лигу, если в Париже существуют такие штуки, как любительские баскетбольные лиги, о возможности натаскивать французских детей в английском, чтобы как-то прибавить к тому содержанию, что его родители будут присылать ему каждый месяц, наниматься неофициально, раз по закону работать ему во Франции нельзя, все это говорил и говорил еще не оправившийся после перелета Фергусон, отвечая на вопросы Вивиан Шрайбер, уже не робея так, как пугался в ее присутствии он, пятнадцатилетний, теперь способный соображать достаточно смело, чтобы смотреть на нее не как на дополнительного родителя, а как на взрослую знакомую и возможного друга, посколь-

ку у него не было причин допускать, будто она предложила ему свободную комнату у себя в доме из какого-то спящего материнского инстинкта (бездетная женщина стремится проявить заботу о ребенке, какого могла бы родить, когда ей было чуть за двадцать), нет, вопрос о материнстве по доверенности здесь не стоял, была другая причина, покуда еще непознаваемая причина, что не давала ему покоя, и потому, закончив отвечать на множество ее вопросов, он задал ей всего один — тот же самый вопрос, который задавал себе сам еще с тех пор, как Гил получил ее письмо: Зачем она это делает? Не то чтоб он был неблагодарен, сказал Фергусон, не то чтоб был не в восторге вновь оказаться в Париже, но они же едва друг с дружкой знакомы, так с чего б ей так стараться из-за человека, которого она едва знает?

Хороший вопрос, ответила она. Вот бы я могла на него ответить.

Вы не знаете?

Вообще-то нет.

Это имеет какое-то отношение к Гилу? Отблагодарить его за то, что он для вас сделал во время войны, может?

Может. Но не только это. Скорее — оттого, что я толком даже не знаю, что делать, наверное. У

меня заняло пятнадцать лет написать эту книгу о Шардене, и теперь, когда дело сделано, то, что было книгой у меня в жизни, превратилось в пустоту.

Пятнадцать лет. Уму непостижимо — *пятнадцать лет*.

Вивиан улыбнулась, как бы при этом нахмурившись, отметил Фергусон, но тем не менее улыбнулась. Она сказала: Я медленная, милый.

Все равно не понимаю. Какое отношение пустота имеет ко мне?

Наверное, из-за фотографии.

Какой фотографии?

Того снимка с тобой, что сделала твоя мать, когда ты был маленьким. Я его купила, помнишь? И последние три года он висит на стене в той комнате, где я заканчивала «Шардена». Я тысячи раз смотрела на это фото. Маленький мальчик спиной к камере, костлявый позвоночник выпирает, а полосатая футболка обтягивает позвонки, худенькая правая ручка вытянута, ладошкой упирается в ковер, а вдали на экране Лорел и Гарди — на том же расстоянии от тебя, что и камера от твоей спины. Пропорции просто совершенны — изумительны. И вот ты, совсем один на полу, застрял меж двух этих расстояний.

Воплощенное детство. Одиночество детства. Одиночество *твоего* детства. И что тут говорить, как ни погляжу на эту фотографию — я думаю о тебе, о мальчике, с которым познакомилась в Париже три года назад, о том же мальчике, кто некогда был малышом с той картинки, и вот, раз я так часто думаю о тебе, мне трудно не считать нас с тобой друзьями. Поэтому, когда Гил написал мне и сообщил, что ты хочешь сюда приехать, я сказала себе: Хорошо, теперь мы можем стать настоящими друзьями. Знаю, кажется несколько сумасбродным, но вот так уж есть. Думаю, мы с тобой интересно проведем время, Арчи.

Квартира на втором этаже была огромна, *chambre de bonne* на шестом — отнюдь. Внизу семь громадных комнат, наверху — одна маленькая, и каждая из тех семи была заставлена мебелью, торшерами, застелена персидскими коврами, увешана картинами, рисунками, фотографиями — и книги, книги повсюду в хозяйской спальне и кабинете, и вдоль одной стены в гостиной, просторная квартира с высокими потолками, где все ощущалось простым и незагроможденным — комнаты были достаточно обширны, чтобы в них растворялись предметы, там содержавшиеся, и не мешали перемещениям людей, приятное ощу-

щение *в самый раз* и никогда не *слишком мало* или *слишком много*, и до чего же поразили Фергусона исполинская, целиком белая, старомодная кухня с черно-белой плиткой под ногами, и зеркальные двойные двери, разделявшие гостиную и столовую, с тонкими французскими ручками, что так отличались от ручек-пеньков, к каким все привыкли в Америке, и массивные двойные окна в гостиной, окутанные тонкими, почти прозрачными муслиновыми шторами, что позволяли свету просачиваться внутрь все часы утра и дня, а зачастую и до самых сумерек. Буржуазные небеса в квартире внизу, а вот наверху, в комнате горничной на шестом этаже, который, говоря технически, был седьмым этажом здания — поскольку французы считали цокольный этаж не первым, а *rez-de-chaussée*, — не было ничего, кроме четырех голых стен, скошенного потолка и едва-едва места на кровать, узенькую книжную этажерку на пять полок, крохотный письменный столик со скрипучим деревянно-плетеным креслом, встроенным ящиком для вещей под кроватью и раковиной с холодной водой. Общий туалет в конце коридора; ни душа, ни ванны. До этажа этого можно было добраться, доехав на лифте до пятого и поднявшись по лестнице еще на

этаж выше, где вдоль северной стены здания тянулся длинный коридор с шестью одинаковыми коричневыми дверями в ряд, одна подле другой, каждая комната — собственность владельцев квартир на этажах с нулевого до пятого, дверь Фергусона из них вторая, а комнаты за другими дверями занимали испанские и португальские горничные, работавшие у хозяев квартир внизу. То была мрачная монашеская келья, осознал Фергусон, едва шагнув в нее с Вивиан в утро своего первого дня в Париже, вовсе не этого он ожидал, самое крохотное место, в каким ему доводилось обитать с самого начала своей жизни, *chambre*, к которой, несомненно, следовало привыкнуть прежде, чем он начнет в ней жить, не чувствуя, что сейчас задохнется, но окна в ней были — или одно окно, разделенное надвое, высокое двойное окно в северной стене с лилипутским балкончиком, окруженным металлическими поручнями с трех сторон и местом, какого едва хватало для размещения его ног размером одиннадцать с половиной, а с того балкончика или через двойное окно он мог смотреть на север и любоваться видом на набережную Орсэ, Сену, Большой дворец на другом берегу реки, а выше и дальше на Правобережье — пейзажем аж до самого Сакре-Кёр

на Монмартре, если же повернет голову влево и перегнется через перильца — увидит Марсово поле и Эйфелеву башню. Недурно. Вовсе недурно, в конце концов, оттого, что у него даже вопроса не возникало о том, что он станет проводить в этой комнате все свое время, оно должно было служить ему для письма, учебы и сна, а вот место для еды, мытья и разговоров было внизу, в квартире Вивиан, где кухарка Селестина давала ему есть, когда бы он ни попросил, восхитительные лоханки кофе и *tartines beurrées* на завтрак поутру, горячие обеды, если он не питался сандвичами в маленьких кафе на бульваре Сен-Жермен или вокруг него, и ужины дома с Вивиан или без, или же он ужинал с Вивиан в ресторанах, или с Вивиан и кем-нибудь еще в ресторанах, или бывал на званых ужинах в квартире Вивиан или на квартирах других людей, и по мере того, как Вивиан медленно знакомила его со сложным парижским миром, к какому принадлежала сама, Фергусон медленно начал в него вживаться.

Первые пять месяцев ежедневный ритм у него был таков: каждое утро с девяти до двенадцати работа над книгой, с полудня до часу обед, чтение книг по списку Гила с часу до четырех, за исключением вторников и четвергов, когда он

читал с часу до половины третьего, а следующие полтора часа проводил в кабинете у Вивиан, где разговаривал с ней о книгах, часовая прогулка по различным районам Левобережья (главным образом — Сен-Жермен, Латинский квартал и Монпарнас), а затем — на бульвар Распай, заниматься в *«Alliance Française»* с понедельника по пятницу. Пока он не дописал книгу (что произошло через несколько дней после его девятнадцатого дня рождения в марте) и пока не почувствовал, что французский у него достаточно окреп, чтобы занятия больше не требовались (также в марте), он неукоснительно придерживался распорядка из трех этих видов деятельности — письма, чтения и учебы, в ущерб всему остальному, а это означало, что покамест на кино времени у него не оставалось, если не считать суббот и воскресений да случайного вечера среди недели, не было времени на баскетбол — и не было времени для того, чтобы начать подготовку французских детей по английскому. Никогда прежде Фергусон не проявлял столько упорства и целеустремленности, такой пылкой преданности задачам, какие сам себе поставил, но вместе с тем никогда и не бывал он так спокоен и уверен, когда поутру ему в окно вливался свет, так рад быть там, где

был, — даже в те утра, когда мучился похмельем или чувствовал себя не в лучшей форме.

Книга стала для него всем. Книга составляла всю разницу между тем, чтоб быть живым и не быть живым, и хотя Фергусон оказался еще юн, несомненно — до крайности юн, — чтобы браться за такой проект, преимущество того, чтобы начать книгу в восемнадцать лет, заключалось в том, что он недалеко ушел из детства и хорошо его помнил, а благодаря мистеру Дунбару и «Риверсайдскому бунтарю» уже писал несколько лет и, говоря строго, новичком не был. В газете мистера Дунбара он напечатал двадцать семь статей различного объема (от одной короткой, в две с половиной машинописной страницы, до одной длинной, в одиннадцать страниц), и после того, как начал записывать свои впечатления о фильмах на листках и подбирать их в скоросшиватель, у него развилась привычка писать почти каждый день, поскольку теперь в папке уже накопилось больше ста шестидесяти страниц, и рывок от *почти каждый день* до *каждый день во что бы то ни стало* был не столько прыжком, сколько следующим естественным шагом. Помимо его собственных усилий в последние три года были еще и долгие разговоры с Гилом, уроки,

усвоенные от Гила: как достичь лаконичности, изящества и ясности в каждой написанной фразе, как соединять одну фразу с другой, чтобы выстроить абзац, в котором бы чувствовалась какая-то мускулатура, и как начать следующий абзац таким предложением, какое бы либо продолжало утверждения, высказанные в предыдущем абзаце, либо оспаривало их (в зависимости от твоих доводов или твоей цели), и Фергусон хорошенько выслушивал отчима и впитывал эти уроки, а это означало, что, хоть и едва закончил среднюю школу, когда начал писать книгу, он уже принес присягу знамени Написанного Слова.

Мысль пришла к нему после унижений на армейской медкомиссии второго августа. Его не только вынудили предъявить черную метку на своем имени, обозначенную словами *имеется судимость*, но врач еще и заставил его разговаривать о подробностях — не просто о том, как его поймали за кражу книг в тот день, когда рука Джорджа Тайлера рухнула ему на плечо, но и о том, сколько еще раз он воровал книги, а его не ловили, и поскольку Фергусону было напряженно и боязно сидеть в правительственном здании на Вайтхолл-стрит и беседовать с врачом Армии США, то он сообщил этому человеку правду,

сказал: *несколько раз*, — в ответ на вопрос, но, помимо унижения от того, что ему приходится вдаваться в детали своей преступной деятельности в старшем классе, еще имелось унижение покрупнее: требовалось признаться в своих *неестественных сексуальных желаниях*, в его тяге не только к девочкам, но и к мальчикам, а затем человек этот, кого звали доктором Марком Л. Вортингтоном, попросил Фергусона предоставить ему подробности, касающиеся и этого дела, и, хотя Фергусон понимал, что сказать правду — это гарантировать себе то, что ему никогда не придется служить в армии или проводить от двух до пяти лет в федеральной тюрьме за отказ от армейской службы, говорить правду оказалось трудно — из-за того отвращения, какое он заметил в глазах доктора Вортингтона, антипатии, выраженной тем, как сжались у него губы и стиснулась челюсть, но человек желал знать детали, и у Фергусона не было выбора — только предоставить их, поэтому он, один за другим, перечислил эротические деяния, которые совершил во время своего любовного романа с красивым Брайаном Мишевским с ранней весны до того дня, когда в начале лета Брайан уехал из Нью-Йорка, и: Да, сэр, сказал Фергусон, они вместе много раз

ложились в постель безо всякой одежды, то есть оба они были совершенно наги, и Да, сэр, сказал Фергусон, они целовали друг друга открытыми ртами и вталкивали языки друг другу в эти самые открытые рты, и Да, сэр, они вкладывали свои отвердевшие пенисы во рты друг другу, и Да, сэр, они эякулировали во рты друг друга, и Да, сэр, они вставляли свои отвердевшие пенисы друг другу в попы и эякулировали в эти попы или на ягодицы, эти попы, окружавшие с двух сторон, либо на лица друг друга или животы, и чем больше Фергусон говорил, тем больше омерзения проступало на лице врача, и к тому времени, когда собеседование их завершилось, у Фергусона, которому-никогда-уже-не-быть-призванным, дрожали по всей длине все его конечности, и его тошнило от слов, что вываливались у него изо рта, не потому, что ему было стыдно за содеянное, а потому, что его осудил взгляд врача — тот смотрел на него как на нравственного дегенерата и угрозу стабильности американского образа жизни, что Фергусон ощущал так, будто правительство Соединенных Штатов оплевало его собственную жизнь, а ведь это, в конце концов, его страна, нравится она ему или нет, и в отместку он, выходя из здания в жаркое лето Нью-Йорка,

сказал себе, что напишет небольшую книгу о темных годах после ньюаркского пожара, книгу настолько мощную и до того блистательную, и так пропитанную правдой того, как это — быть живым, что ни одному американцу больше никогда не захочется в него плевать.

Мне было семь лет, когда мой отец сгорел в пожаре, устроенном поджигателем. Обугленные останки сложили в деревянный ящик, и после того, как мы с моей матерью опустили этот ящик в землю, почва, по которой мы ступали, начала крошиться у нас под ногами. Я был всего-навсего ребенком. Мой отец был моим единственным отцом, а моя мать была его единственной женой. Теперь она стала ничьей женой, а я — мальчиком без отца, сыном женщины, но больше не сыном мужчины.

Мы жили в маленьком джерсейском городке под самым Нью-Йорком, но через шесть недель после ночи огня мы с матерью покинули тот городок и переехали в город, где на время забились в квартиру родителей моей матери на Западной Пятьдесят восьмой улице. Мой дед называл это «занятным междуцарствием». Под этим выражением он имел в виду время без постоянного адреса и без всякой школы, и за последовавшие

месяцы, месяцы холодной зимы конца декабря 1954-го и начала 1955 года, когда мы с матерью бродили по улицам Манхаттана в поисках нового места для жилья и новой школы, куда мог бы ходить я, мы часто находили прибежище в темноте кинотеатров…

Первый черновик первой части книги был завершен еще до того, как Фергусон в середине октября уехал из Нью-Йорка. Семьдесят две машинописные страницы, написанные за два с половиной месяца между воинской медкомиссией и перелетом через Атлантику, примерно по одной странице в день, что и было целью, какую себе поставил Фергусон, одна приличная страница в день, а все, что сверх нее, считалось чудом. Ему не хватило мужества показать эту неотредактированную часть книги Гилу или матери, он хотел представить им завершенное произведение, лишь когда оно полностью и поистине завершено, но на этих страницах говорилось о большинстве фильмов, что он посмотрел с матерью во время Занятного Междуцарствия, а заодно и о само́м Занятном Междуцарствии, а потом и о начале его карьеры в Гиллиарде, о войне с Богом и саморазрушительной программе намеренных фиаско, о бессчетных вылазках на

балконы кинотеатров, в период Славных Забвений, — посмотреть с матерью еще голливудских фильмов, вслед за чем мать вышла на новый старт, фотографом, и его некогда светлая игровая комната преобразилась в темную, где мать проявляла снимки, одиннадцать с половиной месяцев его ранней жизни, которые начались утром 3 ноября 1954 года, когда мать сообщила ему, что отец сгорел в ньюаркском пожаре, и закончились днем 17 октября 1955 года, когда Фергусон включил телевизор у них в квартире на третьем этаже и наткнулся на заглавную песню «Кукушек», а титры объявили о первом в его жизни фильме Лорела и Гарди.

У него заняло пару недель приспособиться к своему новому окружению и примириться с теснотой своей комнаты, но к первому ноября он уже вновь погрузился в книгу, уже подготовленным к части «Стан и Олли» — полный список их фильмов он составил еще в Нью-Йорке, а затем, с помощью отчима, договорился с Клементом Ноулсом, главой отдела кино в Музее современного искусства, о том, чтобы посмотреть все фильмы Лорела и Гарди, какие только имелись у них в коллекции, часто в одиночестве на монтажном столе, а иногда их ему проецировали на экраны

побольше, и, поскольку Фергусон при просмотре всё подробно записывал, когда он начал писать о них в Париже, каждый фильм был вновь свеж у него в уме. Что довольно примечательно, о Лореле и Гарди на английском была написана всего одна книга, 240-страничная спаренная биография Джона Маккейба, опубликованная в 1961 году, но помимо нее — ничего, ни одной книги на английском, насколько Фергусон знал. Олли умер в 1957-м, а отнюдь не до ужаса старый Стан (семьдесят четыре) — в феврале 1965-го, даже шести месяцев не прошло, как Фергусон замыслил писать о том, как эти двое спасли ему жизнь десятью годами раньше, и как только он принялся за эту часть книги — не мог не думать о возможности, какую упустил, ибо ничто б не могло принести ему счастья больше, чем послать Стану рукопись своей книги, когда он завершит окончательный вариант. Как и в статьях, что он писал, учась в Нью-Йорке, подход Фергусона сводился к тому, чтобы рассматривать сами фильмы, кино, что он смотрел восьми- и девятилетним мальчишкой, без всяких биографических справок о своих друзьях в котелках, без каких-либо исторических данных о том, как в 1926 году сложилась их команда по руководством режиссера Лео Маккари

в студии Гала Роача, и ничего о трех женитьбах Олли и шести женитьбах Стана (три из них — на одной и той же женщине!). Помимо сочинения книги и в полной мере столь же важно, как сочинение книги, в мыслях Фергусона весьма настойчиво господствовал секс, и, однако же, даже сейчас, в солидном возрасте восемнадцати лет, он полагал почти невозможным представить себе, как Стан Лорел вообще занимается сексом с кем-нибудь, не говоря уже о шести его женах, три из которых были одним и тем же человеком.

Он упорствовал весь ноябрь, декабрь и половину февраля, завершив вторую часть книги воспоминанием о неожиданном декабрьском визите его прародителей в квартиру на Западной Центрального парка в декабре, груженных громоздкими подарками: портативным киноэкраном, шестнадцатимиллиметровым кинопроектором и десятью яуфами короткометражек Лорела и Гарди, и эта часть по некоей непостижимой причине оказалась именно такой же длины, что и первая, семьдесят две страницы, а последний абзац читался так: *Подумаешь, что проектор купили уже пользованный — он же работал. Подумаешь, что копии были исцарапанными, а звук порой, казалось, доносился как со дна ванны — эти*

фильмы можно было смотреть. И с фильмами этими у него появился целый новый набор слов, какими следовало овладеть: «обтюратор», к примеру, думать про который оказалось гораздо лучше, чем о слове «обугленный».

Потом Фергусон потерялся. Третья часть книги, которой прошедшие месяцы дали новое название, «Мусорки и гении», должна была исследовать различия между авторскими фильмами и коммерческими, в основном — разницу между Голливудом и всем остальным миром, — и Фергусон много думал о кинематографистах, выбранных им для описания, о трех голливудских *мусорщиках*, которые многого добились в создании хорошего коммерческого продукта в широком диапазоне жанров и стилей (Мервин Лерой, Джон Форд, Говард Гокс), и трех гениях из-за границы (Эйзенштейн, Жан Ренуар и Сатьяджит Рай), но, потратив две с половиной беспокойных недели на попытки занести свои мысли на бумагу, Фергусон понял, что тема, какую он освещает, не имеет ничего общего со всей остальной книгой, что пишет он другую книгу или другой очерк, и в его книге о мертвых отцах, упорных вдовах и сокрушенных маленьких мальчиках нет места для таких рассуждений.

Его потрясло от осознания, до чего скверно он продумал свой проект, но теперь, благодаря силе этого поворота не туда, он ощущал, что знает, как устранить ущерб. Отложил в сторонку первые двадцать страниц «Мусорок и гениев» и вернулся к первой части, которую теперь разделил надвое: «Занятное междуцарствие», где охватывались дни после пожара и до Гиллиарда в Нью-Йорке, а заканчивалось все словами, какие его мать произнесла женщине, продававшей билеты в кинотеатре Верхнего Вест-Сайда: *Не суйте нос, дама. Отдайте мне сдачу, и все*, — и «Славные забвения», где все начиналось теперь с другой точки, когда Фергусон вошел в Гиллиард в свой первый школьный день, но заканчивалось по-прежнему телевидением и его первым фильмом Лорела и Гарди. К третьей же части он добавил несколько абзацев об отклике его матери на двух придурков и чуть более тщательно разобрал шутку с *ежедневными обязанностями*, но глава по-прежнему заканчивалась словом *обугленный*. Затем он добавил четвертый раздел, «Ужин на балконе», который, как он теперь понимал, служил логичным завершением книги, эмоциональной сердцевиной, и как же мог он быть так слеп и так туп, чтобы не обратить внимания на ту

сцену с его матерью в гостиной, думал поначалу не включать ее в книгу, когда на самом деле все в книге подводило к тому мгновению, и вот, за три утра в середине февраля, за три утра опустошения и до предела сосредоточенной работы, ощущая себя в словах, которые писал сейчас, живее, чем с любым другим пассажем своей книги, Фергусон накатал десять страниц, которые ему нужно было написать, — о том, как сломался и признался своей матери, о потопе слез, что вылился из них обоих, пока они сидели на ковре в гостиной, о мешанине безмолвного-Бога-отсутствия-Бога-анти-Бога и причине его скверных оценок в школе, и потом, после того как они вытерли слезы и вновь взяли себя в руки, конечно же! — они отправились в кино на угол Пятьдесят девятой улицы и Бродвея, где поели на балконе «горячих собак» и запили их *выдохшейся, водянистой «колой»*, а мать его закурила еще один «Честерфильд», и они стали смотреть, как Дорис Дей поет одну из самых дурацких сочиненных песен на свете, *«Que Sera, Sera»*, в Хичкоковой техниколорной версии «Человека, который слишком много знал».

От того, что Фергусон писал о себе больше полугода, какой потребовался на завершение его короткой 157-страничной книги, он вынужденно

вступил с собой в новые отношения. Он ощущал более тесную связь с собственными чувствами — и в то же время был дальше от них, почти отъединен, безразличен, как будто во время сочинения книги парадоксально стал личностью и теплее, и холоднее одновременно: теплее из-за того, что раскрыл собственное нутро и выставил его напоказ всему миру, холоднее — оттого, что теперь мог смотреть на это нутро так, словно оно принадлежало кому-то другому, чужаку, безымянному кому угодно, и хорошо ли для него было это новое взаимодействие с пишущим собой или плохо, лучше для него или хуже, сказать он не мог. Знал он только, что писание книги его измотало, и он вовсе не был уверен, достанет ли ему когда-либо мужества писать о себе еще. О кино — да, быть может, о чем-нибудь другом тоже когда-нибудь, но автобиография слишком утомляет, необходимость быть одновременно и теплым, и холодным — слишком трудна, и вот теперь, когда он вновь открыл собственную мать такой, какой она была *еще тогда*, он вдруг поймал себя на том, что скучает по ней такой, какая она *сейчас*, скучает и по ней, и по Гилу, и раз «Геральд Трибюн» теперь на грани краха, он надеялся, что скоро они приедут навестить его в

Париж, поскольку, хоть Фергусон теперь и почти мужчина, многое в нем по-прежнему оставалось детским, а из-за того, что он прожил внутри своего детства последние полгода, выбраться оттуда ему оказалось нелегко.

В тот день он спустился на свою четверговую образовательную сессию с Вивиан, неся нескрепленные страницы «Как Лорел и Гарди спасли мне жизнь», а не свой экземпляр «Гамлета». «Гамлету» придется подождать, решил Фергусон. Гамлету, кто только и делал, что ждал, придется подождать еще немного, потому что теперь, когда книга окончена, Фергусону отчаянно хотелось, чтобы ее кто-нибудь прочел, поскольку сам он неспособен был судить о том, что написал, и понятия не имел, получилась у него настоящая книга или неудачная, сад, полный фиалок и роз, или же грузовик навоза. Гил остался по другую сторону океана, а потому Вивиан — наилучший вариант, неизбежный выбор, и Фергусон знал, что может ей доверять — она прочтет его работу честно и беспристрастно, поскольку уже доказала, что отлично все воспринимает, всегда скрупулезно подготовлена к их семинарам дважды в неделю и невероятно проницательна, ей есть сказать тысячу разных вещей о трудах, что они изучали

вместе (пристальное чтение, метод *explication de texte*[70] для некоторых ключевых пассажей, как это показала глава о шраме Одиссея в «Мимесисе» Ауэрбаха), но также и вокруг этих произведений, и за ними — общественные и политические условия в древнем Риме, например, ссылка Овидия, изгнание Данте или откровение о том, что Августин был родом из Северной Африки, а стало быть — черный или смуглый, постоянный приток справочников, учебников по истории и критических работ, взятых из ближайшей Американской библиотеки и Библиотеки Британского консульства, что чуть подальше, и Фергусона и впечатляло, и развлекало, что в высшей степени *mondaine*[71] и зачастую легкомысленная мадам Шрайбер (как же смеялась она на вечеринках, как ревела хохотом от непристойных шуточек) в то же время была упорным исследователем и интеллектуалом, выпускницей Свартмора с отличием, доктором философии по истории искусства — степень, полученная ею в том, что она насмешливо звала Сорной Бонной в Париже (диссертация по Шардену — ее первый подход к

[70] Сноски: 70
Толкование текста (*фр.*).

[71] Сноски: 71
Светская (*фр.*)

материалу, который со временем станет ее книгой), — и ясным и гладким стилистом (Фергусон читал отрывки ее книги), а помимо наставления его в том, как читать литературные произведения из списка Гила и думать о них, она взяла на себя обязанность еще и обучать Фергусона, как смотреть на произведения искусства и думать о них, когда ходила с Фергусоном по субботам в Лувр, *«Musée de l'Art Moderne»*, *«Jeu de Paume»* или *«Galerie Maeght»*, и хотя Фергусон по-прежнему терялся в догадках, с чего она охотно тратит столько времени на его образование, он понимал, что ум его неуклонно крепнет благодаря ей, но почему, спрашивал, бывало, он, почему вы все это для меня делаете, и загадочная Вив всегда улыбалась и отвечала: Потому что мне увлекательно, Арчи. Потому что я столькому учусь.

К тому времени, как Фергусон спустился в тот день в середине февраля с рукописью, он прожил в Париже уже четыре месяца, и они с Вивиан Шрайбер стали друзьями, добрыми друзьями и, быть может (иногда думал Фергусон), даже чуточку влюбленными друг в дружку, ну или, по крайней мере, он был влюблен в нее, а она всякий раз выказывала ему исключительно теплейшую, самую что ни есть заговорщицкую нежность, и

когда он постучался в дверь ее кабинета перед их встречей в половине третьего, не стал дожидаться, когда она пригласит его войти, поскольку теперь им это больше незачем, — нужно было лишь постучать в дверь, чтобы дать ей понять, что он пришел, а затем войти, и вот он вошел и увидел, что она сидит на своем обычном месте в черном кожаном кресле, надев очки для чтения, а между вторым и третьим пальцами ее левой руки зажата горящая «Мальборо» (прожив во Франции двадцать один год, она все так же курила американские сигареты), а в правой руке — экземпляр «Гамлета» в бумажной обложке, текст раскрыт где-то на середине книги, и, как обычно, портрет его самого на стене сразу же за ее затылком, «Арчи», фотография, сделанная его матерью больше десяти лет назад, которая, как он внезапно понял, должна быть на обложке его книги, если кто-либо когда-нибудь пожелает ее напечатать (удачи!), и когда Вивиан оторвалась от книги и улыбнулась Фергусону, тот прошел к ней по комнате, не произнося ни слова, и возложил рукопись к ее ногам.

Все готово? — спросила она.

Все готово, ответил он.

Вот и молодец, Арчи. Браво. И пусть этот день

отметит много *merdes*.

Я хотел спросить, не могли б мы пропустить сегодня «Гамлета», а вы бы заглянули туда. Она короткая. Вряд ли у вас на это уйдет больше двух-трех часов.

Нет, Арчи, мне понадобится гораздо больше времени. Полагаю, тебе же нужен настоящий ответ, да?

Конечно. А если вам что-то бросится в глаза, не стесняйтесь, отмечайте такое. Книга еще не окончательна, просто пока закончена. Поэтому читайте с карандашом в руках. Предлагайте изменения, улучшения, сокращения, все, что вам придет в голову. Меня уже от нее так тошнит, что не могу на нее больше смотреть.

Поступим вот как, сказала Вивиан. Я посижу тут, а ты сходи погуляй, поужинай, кино посмотри, что хочешь, то и делай, а когда вернешься домой — ступай сразу же к себе в комнату.

Выгоняете меня, а?

Я не хочу, чтоб ты был рядом, пока я читаю твою книгу. Слишком много умственных помех. *Tu comprends?* (Ты понимаешь?)

Oui, bien sûr. (Да, конечно.)

Увидимся на кухне завтра утром в половине девятого. Тогда у меня будет для этого весь остаток

дня, весь вечер и ночь, если потребуется.

А как же ваш ужин с Жаком и Кристин? Вы же с ними в восемь должны встречаться.

Отменю. Твоя книга важнее.

Только если окажется хорошей. А если плохая, вы меня проклянете за то, что ужин пропустили.

Я не предвижу, что она плохая, Арчи. Но даже если так, все равно твоя книга важнее ужина.

Как можно такое говорить?

Потому что это твоя книга, *твоя первая книга*, и сколько бы книг ты ни написал в будущем, свою первую книгу ты никогда больше не напишешь.

Иными словами, я лишился девственности.

Именно. Ты лишился девственности. И хорошо ли ты при этом поебался или плохо, девственником ты уже никогда не будешь.

Наутро Фергусон вошел в кухню за несколько минут до восьми часов, надеясь подкрепить силы лоханкой-другой *café au lait* Селестины перед тем, как явится Вивиан, произнесет свой приговор его жалкой потуге на книгу и отправит ее на помойку истории, еще одно выброшенное людское творенье, чтоб гнило среди миллионов других. Несмотря на все его расчеты, однако, Вивиан его опередила — когда Фергусон вошел, она уже сидела за белым эмалированным столом в белой

кухне, одетая в свой белый утренний халат, а черно-белые страницы рукописи лежали стопкой рядом с ее белой лоханкой кофе с молоком.

Bonjour, Monsieur Archie, сказала Селестина. *Vous vous levez tôt ce matin* (Раненько же вы сегодня поднялись), обратившись к Арчи с формальным *vous* прислуги, а не *tu* близко знакомой ровни, причуда языка, что всегда резала его американский слух.

Селестина была деловитой маленькой женщиной лет пятидесяти, сдержанной, ненавязчивой, но исключительно доброй, как это всегда ощущал Фергусон, и хоть она упорно его называла *vous*, ему нравилось, как она произносит его имя по-французски, смягчая жесткое *ч* до не такого жесткого *ш*, что превращало его в Ар-ши, что, в свою очередь, неизменно наводило его на мысли о французском слове, обозначавшем *архив*, аршив. Хоть он был и молод, но уже стал архивом, а это означало, что его следует хранить веками — и пусть его книге место на помойке истории.

Parce que j'ai bien dormi, сказал ей Фергусон (Потому что я выспался), что было заведомой неправдой, поскольку одного взгляда на его взъерошенные волосы и запавшие глаза хватило бы, чтобы кто угодно понял: вчера вечером он

выпил целую бутылку красного вина и почти совсем не спал.

Вивиан встала и поцеловала его по разу в каждую щеку, их обычное утреннее приветствие, но затем, отойдя от каждодневного ритуала, обхватила его руками и снова расцеловала в обе щеки, на сей раз — двумя звучными чмоками, такими громкими, что разнеслись на всю кухню, выложенную плиткой, после чего резко оттолкнула его от себя на вытянутую руку и спросила: Что с тобой? Ты ужасно выглядишь.

Я волнуюсь.

Не волнуйся, Арчи.

Да я в штаны наложить готов.

Этого тоже не надо.

А если я ничего не могу с собой поделать?

Сядь, глупый, и выслушай меня.

Фергусон сел. Мгновение спустя Вивиан тоже села. Подалась вперед, посмотрела Фергусону в глаза и сказала: Не беспокойся, старина. *Tu piges?* (Понимаешь?) *Tu me suis bien?* (Следишь за моей мыслью?) Это прекрасная, душераздирающая книга, и я просто обалдела от того, что кто-то в твоем возрасте сумел написать что-то настолько хорошее. Если ты в ней не изменишь больше ни слова, ей хватит силы, чтобы ее печатали как

есть. Вместе с тем она по-прежнему еще не совершенна, а поскольку ты мне сам велел отмечать в ней все, что захочу, если захочу, то я и отметила. Шесть-семь страниц можно сократить, я бы решила, а также пятьдесят или шестьдесят предложений, над которыми еще нужно поработать. *По моему мнению*. Ты не обязан прислушиваться к моему мнению, конечно, но вот рукопись (*подтолкнув ее Фергусону по столу*), и пока ты не решишь, что захочешь делать с ней дальше, я больше не скажу ни слова. Это лишь рекомендации, не забывай, но *по моему мнению*, я думаю, исправления книгу улучшат.

Как мне вас благодарить?

Не благодари меня, Арчи. Благодари свою необычайную маму.

Позднее тем же утром Фергусон снова влез в рукопись и принялся разбираться с комментариями Вивиан, которые в большинстве своем били в цель, ощущал он, — добрых восемьдесят-девяносто процентов их, во всяком случае, а это большая доля, столько мелких, но точных поправок, фраза там, прилагательное тут, тонкая, но безжалостная заточка для того, чтобы усилить энергию прозы, а потом еще неловкие фразы, таких оказалось слишком уж много, как ни стыдно

было ему в этом признаться, слепые места, которые он умудрился не отловить после десятков прочтений, и следующие десять дней Фергусон накидывался на все эти стилистические ляпсусы и раздражающие повторы по очереди, временами меняя и что-то такое, чего Вивиан не отмечала, временами отменяя эту правку и возвращаясь в тому, что там было вначале, но самым главным было то, что Вивиан оставила нетронутой саму структуру книги, карандаш ее не менял местами абзацы или главы, не требовалось серьезных переделок и не было вычеркнутых пассажей, и как только Фергусон внес всю правку в свою теперь всю исчерканную, едва читаемую машинопись — перепечатал книгу заново, на сей раз в трех экземплярах (две копии под копирку), что из-за его склонности промахиваться мимо нужных клавиш работой оказалось просто адской, но когда третьего марта подступил его девятнадцатый день рождения, он почти все закончил, а через шесть дней и вовсе с этим делом развязался.

Меж тем Вивиан звонила, интересовалась у своих британских друзей о возможных издателях книги Фергусона, предпочитая Лондон Нью-Йорку потому, что у нее там связи были лучше, и Фергусон, совершенно ничего не знавший ни о

чем касаемо книгоиздания, что в Англии, что в Соединенных Штатах, оставил все это Вивиан и упорно колотил по клавишам дальше, уже начиная подумывать о своем недописанном очерке «Мусорки и гении», который мог оказаться зачатком второй книги, а мог и не оказаться, и о том, чтобы перечитать кое-какие из своих школьных статей, что были покрупнее, с замыслом переработать их (если окажутся стоящими хлопот) и попробовать пристроить их в журналы, но даже после того, как Вивиан сократила британские возможности до двух маленьких издательств, мелких, но нахраписты заведений, посвященных изданию того, что она называла *новыми талантами*, у Фергусона не осталось никакой надежды, что либо то, либо другое примет его книгу.

Сам решай, куда хочешь отправлять ее первым делом, сказала ему Вивиан, когда они сидели на кухне утром его девятнадцатилетия, и когда она сообщила ему, что издательства называются «Книги Ио» и «Гром-дорога, Лимитед», Фергусон инстинктивно назвал «Ио» — не потому, что у него было отчетливое представление о том, кто такая Ио, а потому, что слово *гром* показалось ему неблагоприятным для книги, у которой в

названии фигурируют имена *Лорел* и *Гарди*.

Они работают уже около четырех лет, сказала Вивиан, это нечто вроде хобби для состоятельного молодого человека лет тридцати по имени Обри Гулль, в основном публикуют поэтов, как мне говорили, кое-что из художественной литературы и публицистики, славно оформляют свои книги и печатают их, хорошая бумага, но они издают всего от двенадцати до пятнадцати книг в год, а вот «Гром-дорога» делает под двадцать пять. Все равно хочешь попробовать с «Ио»?

А чего нет? Все равно они ее отклонят. И тогда пошлем к этим людям из «Грома», и они от нее тоже откажутся.

Ладно, мистер Отрицатель, один последний вопрос. Титульный лист. Книга где-то на следующей неделе уже куда-нибудь полетит, а какое имя ты себе хочешь взять?

Какое имя? Мое, конечно.

Я имею в виду Арчибальд, или Арчи, или А., или А. с инициалом твоего среднего имени.

По свидетельству о рождении и паспорту я Арчибальд, но только меня так никто никогда не называл. Арчибальд Исаак. Я никогда не был Арчибальдом и никогда не был Исааком. Я Арчи. Я всегда был Арчи и всегда буду Арчи до самого кон-

ца. Это мое имя, Арчи Фергусон, и этим именем я буду подписывать свою работу. Не то чтоб сейчас это имело какое-то значение, разумеется, потому что ни один издатель в здравом уме нипочем не захочет издавать такую странненькую книженцию, но об этом приятно подумать на будущее.

Так оно и продолжалось в дневные часы первых месяцев Фергусона в Париже: удовлетворенность напряженных занятий и прилежной работы над книгой, постоянное улучшение французского после летней программы в Вермонте, занятия в *«Alliance Française»*, ужины, где говорили исключительно по-французски, с парижскими друзьями Вивиан, ежедневные беседы с Селестиной, не говоря уже о многочисленных встречах с посторонними людьми, у барных стоек, поглощая сандвичи с ветчиной в кафе, где он обедал, что превратило его в двуязычного американца во Франции с соотношением почти что пятьдесят на пятьдесят, и до того погрузился он в свой второй язык, что, если б не его занятия по английскому, если б не писал он по-английски и не взаимодействовал с Вивиан только на этом языке, английский у него, быть может, и начал бы отсыхать. Теперь ему часто снились на французском сны (однажды, как это ни комично, с

английскими субтитрами, бежавшими по низу действия), а голова его постоянно бурлила причудливыми, часто непристойными двуязыкими каламбурами, вроде преобразования обычного французского выражения *vous m'en demandez trop* (спросите что-нибудь полегче) в английский омоним ошеломительной вульгарности: вы в манде-манде трое.

Манды, однако, не шли у него из головы, равно как и херы, вместе с воображаемыми и припоминаемыми телами голых женщин и мужчин как из настоящего, так и из прошлого, ибо как только вечером садилось солнце и город темнел, бодрящее уединение его дневного режима зачастую рушилось в некое ночное одиночество, от какого перехватывало дух. Первые месяцы оказались для него труднее всего, начальный период, когда его знакомили со многими людьми, но никто ему особенно не нравился, никто не нравился даже на одну миллионную долю того, как ему нравилась Вивиан, и он потрошил те пустые, поздние, ночные часы в своей маленькой удушливой комнатке, занимаясь чем-то, что его отвлекало от одиночества: читал (почти невозможно), слушал классическую музыку из своего карманного транзисторного приемника (несколько возможнее, но

никогда не дольше двадцати или тридцати минут за раз), принимался за вторую смену работы над своей книгой (трудно, порой продуктивно, порой бесполезно), ходил на десятичасовые сеансы в кинотеатры за бульваром Сен-Мишель и вокруг него (преимущественно приятно, даже если фильмы были не очень хороши, но затем в половине первого он возвращался к себе в комнату, а там его вновь поджидало одиночество), бродил по улицам Ле-Аль в поисках проститутки, если проблема манды-и-хера с ревом вырывалась из-под контроля (ажиотаж в паху, пока шел мимо бесчисленных шлюх на тротуаре, временное облегчение, но секс был отрывист и уныл, безликие поебки, не имеющие никакой ценности, что неизбежно наполняли его мучительными воспоминаниями о Джулии, когда он издалека возвращался в темноте домой, а с его содержанием всего лишь в восемьдесят долларов в неделю от матери и Гила, такие десяти- и двадцатидолларовые загулы приходилось сводить к минимуму). Последним решением был алкоголь, который мог входить в состав и других решений, — пить и читать, пить и слушать музыку, пить, вернувшись из кино или от очередной грустноглазой бляди, — единственное решение, решавшее

всё, когда бы одиночество ни становилось для него чрезмерной обузой. Поклявшись больше не притрагиваться к скотчу после очередной из слишком многих отключек в Нью-Йорке, Фергусон перешел на красное вино — предпочитаемое лекарство, и с литром *vin ordinaire*, продававшимся за какой-нибудь жалкий франк в какой-нибудь *épicerie* по соседству, близко от мест его обеденной кормежки (двадцать центов за голую бутылку без этикетки в бакалеях, разбросанных по всему шестому округу), у Фергусона в комнате всегда бывало припасено одна-две таких бутылки, и когда б ни выходил он на улицу или оставался в тот или иной вечер дома, красное вино за один франк становилось действенным бальзамом, чтобы нагнать на него дремоту и следующий за нею нырок в сон, хотя те мерзкие, безымянные марки и могли дурно воздействовать на его организм, и он, проснувшись поутру, частенько оказывался в бореньях с поносом или с ватной, раскалывающейся головой.

В среднем ужинал он наедине с Вивиан в квартире раз или два в неделю, традиционным харчем для холодов, вроде *pot au feu*, *cassoulet* и *boeuf bourguignon*, приготовленные и подаваемые Селестиной, у которой в Париже не было ни мужа,

ни родни, и она всегда могла лишний раз выйти на работу, если требовалось, настолько вкусные трапезы, что вечно голодный Фергусон редко мог устоять от добавки главного блюда или даже двух, и вот именно во время тех спокойных ужинов один на один они с Вивиан подружились или же укрепили дружбу, что существовала между ними с самого начала, оба делились историями из своей жизни, и многое из того, что он теперь узнал, оказалось совершенно неожиданным: родилась и выросла она в бруклинском районе Флетбуш, к примеру, в той же части города, где жил первоначальный Арчи, еврейка, несмотря на то, что происходила из семейства по фамилии Грант (что подвигло Фергусона рассказать ей историю о том, как в одночасье его дедушка из Резникова стал Рокфеллером, а затем и Фергусоном), дочь врача и учительницы пятого класса, на четыре года младше своего блестящего брата-ученого Дугласа, доброго друга Гила на войне, а затем, еще не успела она закончить и среднюю школу, — поездка во Францию в 1939-м в пятнадцать лет, навестить дальних родственников в Лионе, где она и познакомилась с Жаном-Пьером Шрайбером, еще более дальним родственником, быть может, четверо- или пятиюродным братом, и хоть тот

и отпраздновал совсем недавно свое тридцатипятилетие, то есть оказался на добрых двадцать лет ее старше, *что-то случилось*, сказала Вивиан, *между ними вспыхнула искра*, и *она отдалась Жану-Пьеру*, он — вдовец, заправляющий важной французской экспортной компанией, а она — всего лишь ученица предвыпускного класса средней школы Эразмуса в Бруклине, связь, что, несомненно, поражала посторонних своей *легкой извращенностью*, но такой она никогда не казалась самой Вивиан, она расценивала себя как взрослую, несмотря на молодость, и потом, когда немцы вторглись в Польшу в сентябре, у них уже не было ни малейшей возможности снова увидеться, пока не кончилась война, но Жан-Пьер был в безопасности в Лозанне, и за те пять дет, какие потребовались Вивиан, чтобы закончить среднюю школу и выпуститься из колледжа, они с Жаном-Пьером обменялись *двумястами сорока четырьмя письмами* и уже дали обет жениться друг на дружке к тому времени, как Гилу удалось подергать за нужные ниточки, что позволили ей проникнуть во Францию сразу после того, как в августе 1944-го Париж освободили.

Приятно было слушать истории Вивиан, поскольку ей, казалось, так нравится их рассказы-

вать, пусть даже, вероятно, это и *было* некоторым извращением — чтобы тридцатипятилетний мужчина влюбился в пятнадцатилетнюю девочку, но Фергусон не мог не отметить, что и ему было всего пятнадцать, когда он впервые съездил во Францию, где посредством таких же семейных связей познакомился с Вивиан Шрайбер, женщиной, которая была его старше не на двадцать лет, а на все двадцать три, однако к чему считать годы, если уже установлено, что один человек более чем вдвое младше другого, и те одинокие первые месяцы в Париже Фергусон активно вожделел Вивиан и надеялся, что они рано или поздно окажутся вместе в постели, ибо поскольку ее любовная жизнь и брак не ограничивались соображениями возраста, можно было вволю задаваться вопросом, не пожелает ли она поэкспериментировать в противоположном направлении — с ним: быть на сей раз старшей, а он бы занял ее предыдущее место молодого участника того, что неизбежно окажется пьянящей авантюрой эротического извращения. Как ни крути, он считал ее красивой, по сравнению с ним она стара, но не чрезмерно — в общем раскладе, эта женщина по-прежнему мерцала чувственностью и манила, и в уме у него не было

никаких сомнений в том, что и она считала его привлекательным, потому что часто замечала, какой он красавец, как потрясающе выглядит, когда они выходят из квартиры и отправляются куда-нибудь ужинать, и вдруг это и стало истинной и тайной причиной, почему она позвала его с собою жить — потому что грезила о его теле и ей хотелось ласткться к его юной плоти. Это объяснило бы ее иначе непонятную к нему щедрость, отсутствие квартплаты и бесплатный стол, бесплатные учебные семинары, одежду, какую она ему купила в их первом торговом налете на *«Le Bon Marché»* в ноябре, все эти дорогие рубашки, ботинки и свитеры, на какие она раскошелилась в тот день, три пары вельветовых брюк с защипами, спортивный пиджак с двумя разрезами сзади, зимнюю куртку и красный шерстяной шарф, французскую одежду высшей марки, модную, какую носил он с таким наслаждением, и вот с чего бы ей все это для него делать, если она его не вожделеет точно так же лихорадочно, как он вожделеет ее? Секс-игрушка. Вот как это называется, и да, он бы с удовольствием стал ее секс-игрушкой, если это она для него задумала, но даже пусть она часто поглядывала на него так, будто именно это и задумала (глубокомысленные

взгляды, направленные ему на лицо, глаза тщательно всматривались в его малейшие жесты), не ему полагалось действовать — как младший, он не имел права совершить первый ход, это Вивиан следовало первой к нему потянуться, но сколько б ни желал он, чтоб она привлекла его в объятья и поцеловала в губы или даже протянула руку и дотронулась до его лица кончиками пальцев, этого она так никогда и не проделала.

Видел он ее почти каждый день, но подробности ее частной жизни оставались для него тайной за семью печатями. Есть ли у нее любовник, спрашивал себя Фергусон, или несколько любовников, или череда любовников, или вообще никакого нет? Служат ли ее внезапные уходы в десять часов с их ужинов наедине доказательством того, что она отправляется на свидание в постель какого-нибудь мужчины где-то в городе или же просто уходит где-нибудь выпить на сон грядущий с друзьями? А что насчет ее отлучек по выходным время от времени, в среднем — раз-другой в месяц, главным образом — в Амстердам, говорила она, где, казалось, вполне возможно, что ее может дожидаться какой-нибудь мужчина, но, опять-таки, теперь, раз ее книга о Шардене вышла, вероятно, она ищет, о чем бы еще ей напи-

сать, и выбрала Рембрандта, или Вермеера, или еще какого-нибудь голландского живописца, чьи работы можно отыскать лишь в Голландии. Вопросы без ответов, а поскольку Вивиан свободно говорила с ним о своем прошлом, а о настоящем даже не заикалась, по крайней мере — о своих личных делах настоящего, единственная душа, с которой Фергусон ощущал хоть какую-то связь во всем Париже, единственный человек, кого он любил, была ему еще и совершенно незнакомой.

Один-два уединенных ужина в неделю в квартире, два-три ужина в неделю в ресторанах, почти всегда — с кем-то еще, с друзьями Вивиан, с ее ордой давних парижских друзей из различных, но зачастую пересекающихся миров искусства и литературы, с художниками и скульпторами, преподавателями истории искусства, поэтами, писавшими об искусстве, галеристами и их женами, все они успешно сделали свои карьеры, а это означало, что Фергусон всегда оказывался самым младшим за столом, и многие подозревали, что он — секс-игрушка Вивиан, осознал он, пусть подозрения их и были неверны, и хотя Вивиан постоянно представляла его как пасынка *одного из ее ближайших американских друзей*, значительное количество людей на тех ужинах в

ресторанах на четверых, шестерых и восьмерых попросту не обращало на него внимания (никому не под силу быть холоднее или грубее, нежели французам, как обнаружил Фергусон), зато другие подавались к нему поближе и желали вызнать про него всё (никому не под силу быть теплее или демократичнее, чем французам, также выяснил он), но даже по вечерам, когда его игнорировали, было в радость сидеть в ресторане, принимать участие в хорошей жизни, которую, похоже, эти места собой олицетворяли, — не только великий спектакль *«La Coupole»*, какой он созерцал тремя годами раньше и тот по-прежнему служил для Фергусона воплощением всего, что отличало Париж от Нью-Йорка, но и другие брассерии вроде *«Bofinger»*, *«Fouquet's»* и *«Balzar»*, дворцов и мини-дворцов девятнадцатого столетия, где обшитые деревом стены и зеркальные колонны, где все гудит от лязга тарелок и приглушенного гула пятидесяти или двухсот пятидесяти человеческих голосов, но и местечки позамызганней в пятом округе, где он впервые попробовал кускус и мергез в подземных тунисских и марокканских едальнях и где его посвятили в кориандровые прелести вьетнамской кухни, пищу заклятого врага Америки, а дважды или трижды той осе-

нью, когда такие трапезы оказывались особенно оживленными и все засиживались глубоко за полночь, вся компания из четырех, пяти, шести или семи человек топала в Ле-Аль есть луковый суп в *«Pied de Cochon»*, ресторан, забитый едоками и в час, и в два, и в три часа ночи, художественные интеллектуалы и полночные гуляки сидели за столиками, а соседские шлюхи стояли у стойки бара, пили *ballons de rouge*[72] рядом с коренастыми мясниками в заляпанных кровью халатах и фартуках, мешанина такого острого разъединения и маловероятного согласия, что Фергусон задавался вопросом, может ли подобное существовать где-либо еще на свете.

Множество ужинов, но никакого секса, никакого секса, за какой он бы сам не заплатил и о каком в итоге бы не пожалел, а помимо тех сожалений — никакого физического контакта ни с кем, если не считать его утренних поцелуев Вивиан в щеку. Девятнадцатого декабря де Голля переизбрали президентом республики, в Швейцарии от болезни сердца под названием «перикардит» умирал Джакометти (болезнь его прикончила одиннадцатого января), и всякий

[72] Сноски: 72
Бутыли красного (*фр.*).

раз, когда Фергусон ночью шагал домой с очередного своего рысканья по улицам после ужина, его останавливала полиция и просила предъявить документы. Двенадцатого января он ринулся в плохо продуманную третью часть своей книги, с которой ему было очень трудно, и потратил впустую множество часов труда, пока, в итоге, все не выбросил и не придумал новое, более уместное окончание. Двадцатого января, еще не развязавшись со своими книжными мученьями, он получило письмо от Брайана Мишевского, учившегося на первом курсе в Корнелле, и когда Фергусон закончил изучать четыре коротких абзаца письма своего друга — почувствовал, будто на него сверху обрушилось здание. Не только родители Брайана отступились от своего обещания оплатить сыну поездку в Париж весной, а этого визита Фергусон ждал с лихорадочным предвкушеньем, но и сам Брайан считал, что, вероятно, это к лучшему, поскольку теперь у него есть подружка, как бы весело ни было ему *корешиться* с Фергусоном в прошлом году, то, чем они занимались, — просто-напросто *детский сад* вообще-то, и Брайан это перерос, оказавшись в *колледже*, навсегда оставил такое позади, и хоть Фергусон по-прежнему для него *друг номер один*

всех времен, дружба их *отныне будет просто нормальной дружбой*.

Нормальной. Что означает *нормальная*, спросил сам себя Фергусон, и почему ему не *нормально* чувствовать то, что он чувствует, если он хочет целоваться и заниматься любовью с другими мальчиками, секс однополого пола так же нормален и естествен, как секс двуполого пола, может, даже нормальнее и естественнее, поскольку хер лучше понимают мальчики, а не девочки, а потому гораздо легче знать, чего хочет другой человек и не нужно ни о чем гадать, не нужно играть в ухаживание и соблазнение, от каковых игр секс двуполого пола так сбивал с толку, и почему же человеку обязательно надо выбирать одно или другое, зачем отвергать одну половину человечества во имя *нормального* или *естественного*, когда правда в том, что все — Оба, а люди и общество, законы и религии людей в различных обществах просто слишком боятся это признавать. Как ему три с половиной года назад сказала калифорнийская гуртовщица: *Я верю в свою жизнь, Арчи, и не хочу ее бояться*. Брайан боялся. Большинство людей боится, но бояться — так жить ведь глупо, ощущал Фергусон, так жить нечестно и это обескураживает, тупиковая это

жизнь, мертвая.

Следующие несколько дней он разгуливал с чувством, что своим прощальным письмом Брайан надругался над ним — из Итаки, Нью-Йорк, не откуда-нибудь (Итака!), — а ночи своим одиночеством были почти невыносимы. Потребление красного вина у Фергусона удвоилось, и как-то раз две ночи подряд он блевал в раковину. Вивиан, обладавшая острым зрением помимо острого, наблюдательного ума, внимательно посмотрела на него во время первого их ужина один на один после прибытия письма от Брайана, пару мгновений поколебалась, а потом спросила, что не так. Фергусон, уверенный в том, что она его никогда не предаст, как это сделала Сидни Мильбанкс в его катастрофической поездке в Пало-Альто, решил рассказать ей всю правду, поскольку ему все равно нужно с кем-нибудь поговорить, а здесь никого не было, кроме самой Вивиан.

Я разочаровался, сказал он.

Это я вижу, ответила Вивиан.

Да, на меня на днях тут обрушилась тонна боли, и я все еще пытаюсь ее преодолеть.

Что за боль?

Любовная. В виде письма от человека, который мне очень небезразличен.

Это трудно.

Очень. Меня не только бросили, но мне еще и сказали, что я не *нормален*.

А что значит нормален?

В моем случае — общий интерес ко всяким людям.

Понятно.

Правда понятно?

Предполагаю, ты говоришь о девочковых людях и мальчиковых людях, нет?

Да, о них.

Я о тебе это всегда знала, Арчи. С того самого раза, когда мы только встретились на открытии у твоей матери.

Как вы определили?

По тому, как ты смотрел на того молодого человека, что разносил напитки. И еще по тому, как смотрел на меня — как ты до сих пор на меня смотришь.

Это так очевидно?

Не совсем. Но у меня на такое хорошее чутье — из долгого опыта.

Вы, значит, двусторонних носом чуете?

Я за таким была замужем.

Ой. Я не знал.

Ты так похож на Жана-Пьера, Арчи. Может,

поэтому мне и захотелось, чтоб ты сюда приехал и пожил со мной. Потому что ты мне его так напоминаешь… очень сильно.

Вам его не хватает.

До ужаса.

Но у вас, должно быть, из-за этого брак складывался нелегко. То есть, если я и дальше так буду, как сейчас, то, наверное, никогда ни на ком не женюсь.

Если это не другой двусторонний человек.

А. Про это я никогда не думал.

Да, порой бывает непросто, но оно того стоит.

Вы мне говорите, что вы и я — одинаковы?

Именно. Но и разные, само собой, в том смысле, что я, хоть и не сама так придумала, — женщина, а ты, дорогой мой мальчик, — мужчина.

Фергусон рассмеялся.

Затем и Вивиан рассмеялась ему в ответ, а это подстегнуло Фергусона засмеяться снова, и как только Фергусон засмеялся, Вивиан снова рассмеялась ему в ответ, и уже совсем вскоре оба они хохотали разом.

В следующую субботу, двадцать девятого января, в квартиру на ужин явились двое, оба американцы, оба старые друзья Вивиан, мужчина лет пятидесяти по имени Эндрю Флеминг, кото-

рый преподавал в колледже у Вивиан историю, а теперь работал в Колумбии, и молодая женщина лет тридцати по имени Лиса Бергман, переселенка из Ла-Джоллы, Калифорния, которая недавно переехала в Париж работать в американской юридической фирме, а ее старшая двоюродная сестра была замужем за братом Вивиан. После беседы Фергусона с Вивиан несколькими днями раньше на той неделе, которая привела к поразительному взаимному признанию их равных, но разнонаправленных двусторонних склонностей, Фергусону было интересно, не окажется ли Лиса Бергман текущей пассией Вивиан, а если так, то ее присутствие за столом в этот вечер не есть ли знак того, что Вивиан чуть приотворила дверь и позволяет ему одним глазком заглянуть в ее частную жизнь. Что же до Флеминга, кто приехал в Париж в семестровый творческий отпуск, чтобы завершить черновик своей книги о тех, кого он называл американскими *старыми дружбанами* во Франции (Франклине, Адамсе, Джефферсоне), то он столь очевидно не был тем мужчиной, кто скроен для женщин, столь очевидно интересовали его только мужчины, что уже через двадцать или тридцать минут в уме у Фергусона сверкнуло, что он участвует в своем первом полностью

педовом ужине с того кошмарного вечера в Пало-Альто. Только на сей раз ему было весело.

Хорошо было вновь оказаться с американцами, так удобно и ненатужно, так приятно сидеть с людьми, понимавшими одни и те же намеки, смеявшимися над одинаковыми шутками, все четверо — такие не похожие друг на дружку, однако болтали они так, словно приятельствовали между собой уже очень много лет, и чем больше Фергусон присматривался к тому, как Вивиан поглядывает на Лису, и чем больше смотрел он, как Лиса глядит на Вив, тем больше убеждался, что его догадка была верна, что между этими двумя действительно *что-то есть*, а от этого Фергусон был счастлив за Вивиан, ибо хотел, чтобы ей доставалось что угодно, все, чего б ни пожелало ее сердце, а эта Лиса Бергман, как Ингрид и Ингмар, Бергман шведская, в отличие от немецких или еврейских Бергманов, была уж точно личностью чарующей — живая и яркая ровня заслуживающей всего лучшего Вив.

Крупная. Вот что первым делом в ней замечалось, величина ее тела, пять футов десять и крупная кость, девушка дородная, но без капли лишнего жира, крепкая и широкоплечая, толстые, могучие руки, большие груди и чрезвы-

чайно светлые волосы, южнокалифорнийская блондинка с круглым, смазливым лицом и бледными, почти невидимыми ресницами, такая женщина, воображал Фергусон, могла бы завоевывать медали толканием ядра или метанием дисков на летних олимпиадах, шведско-американская амазонка, похоже, ступившая со страниц журнала для нудистов, опрятная, следящая за своим здоровьем натуристка, чемпионка в поднятии тяжестей среди всех нудистских колоний по всему цивилизованному миру, да еще и смешливая в придачу, бесовски потешная и неудержимая, она смеялась после каждой второй фразы, что произносила, — восхитительные американские фразы, напичканные словечками, по которым Фергусон вынужден был признать, насколько он по ним скучал, не слыша их после отъезда из Нью-Йорка, одно-двухсложные подспорья в речи вроде «убого», «дурь», «фуфло», «шик», «клево», «отпад», «отстой», «туфта», «дрянский», «убой» и «блеск» в значении *чудесный* или *изумительный*, а какой-такой юриспруденцией в Париже Лиса занималась, она не обмолвилась ни единым словом.

Напротив, немолодой Флеминг был невелик и приземист, от силы пять-шесть, ходил эдак

вразвалочку, а пуловер у него под пиджаком растягивался значительным брюшком, маленькие пухлые руки, обвислое лицо без подбородка, на носу сидели необычайные совиные очки в роговой оправе. Молодой профессор, который вдруг и бесповоротно стал уже не молод. Академический ветеран с легким заиканьем, а на голове все меньше и меньше редеющих седых волос, но он еще бодр и живо реагировал на остальную троицу за столом, человек, много чего читавший и много чего знавший, но он тоже не говорил ни о себе, ни о своей работе, вот в какую игру они играли в тот вечер — юрист Лиса не говорит о законе, художественный критик Вивиан не говорит об искусстве, мемуарист Фергусон не говорит о своих мемуарах, историк Флеминг не говорит о старых американских дружбанах в Париже, — и, несмотря на провалы в заиканье время от времени, Флеминг изъяснялся четкими, гладко составленными фразами, активно участвовал в общей беседе обо всем на свете и ни о чем, к примеру — о политике, *bien sûr*, войне во Вьетнаме и антивоенном движении дома (Фергусон дважды в месяц получал о нем отчеты от своей кузины Эми из Мадисона), о де Голле и французских выборах, о недавнем самоубийстве человека по имени

Жорж Фигон сразу перед тем, как его должны были арестовать за похищение Махди бен Барки, марокканского политика, чье местонахождение не выяснено до сих пор, но также и отвлечения на всякие пустяки, вроде попыток вспомнить, как звали актрису в том фильме, чье название тоже никто не мог вспомнить, или же — и Лиса тут была на высоте — декламацию текстов забытых популярных песенок 1950-х годов.

Ужин продвигался медленно и приятно, томные три часа еды и разговоров, и вина в большом количестве, а потом переключились на коньяк, и когда Фергусон и Флеминг подняли бокалы, адресуя друг другу тост, Вивиан что-то сказала Лисе, мол, хочет показать ей что-то где-то в квартире (Фергусон к тому времени уже перестал слушать, но надеялся, что они собираются обжиматься в кабинете или в спальне у Вивиан), и вот так вот обе женщины взяли и ушли, отчего Фергусон остался за столом наедине с Флемингом, и после неловкого мгновения, когда ни один из них ничего не произносил, потому что никто не знал, что сказать, Флеминг предложил подняться и посмотреть комнату Фергусона, которую раньше тем же вечером Фергусон описывал как *самую маленькую комнату на свете*, и хотя Фергусон

хохотнул и туповато возразил, что смотреть там особо не на что, кроме беспорядка на письменном столе и незаправленной постели, Флеминг ответил, что это не имеет значения, ему просто любопытно посмотреть, как выглядит самая маленькая комната на свете.

Будь на месте Флеминга кто-нибудь другой, Фергусон бы наверняка ответил «нет», но за вечер ему преподаватель начал постепенно нравиться, и его к нему тянуло, потому что в его взгляде он заметил доброту, что-то нежное, сострадательное и печальное, какую-то муку, вызванную тем, что, как Фергусон мог себе вообразить, должно быть постоянным внутренним напряжением необходимости прятать от мира, кто́ он, человек из поколения чуланных мужчин, которые последние тридцать лет своей жизни таились по затененным углам и увертывались от подозрительных взглядов коллег и студентов, а те наверняка и постоянно шпыняли его за то, какой он слабак, но если он вел себя прилично и не распускал руки с невинными или ни о чем не подозревающими, они неохотно позволят ему и дальше ухаживать за травкой в их загородном клубе Лиги плюща, и на протяжении всего ужина, пока Фергусон сидел и размышлял о мрачности

подобной жизни, он начал даже как-то сочувствовать Флемингу, а то, быть может, и жалеть его, и вот поэтому-то согласился на путешествие наверх, а не отказался от него, пусть даже у него и начало возникать прежнее ощущение Энди Когана — когда ты с человеком, который говорит одно, а в виду имеет нечто совершенно другое, но какого черта, подумал Фергусон, он уже большой мальчик, и ему вовсе не нужно идти ни у кого на поводу, если ему этого не хочется, и уж меньше всего — у милого стареющего человека, к которому он не испытывает совершенно никакого физического влечения.

Ох, батюшки, произнес Флеминг, когда открыл дверь и зажег в комнате свет. Она и впрямь очень, очень маленькая, Арчи.

Фергусон поспешно натянул одеяло на голую нижнюю простыню и жестом пригласил Флеминга сесть, а сам развернул стул у стола и тоже сел, лицом к лицу с Флемингом, так близко от него в тесной комнатке, что их колени едва не соприкасались. Фергусон предложил Флемингу «Голуаз», но преподаватель покачал головой и отказался — он вдруг занервничал и стал рассеян, растерял всю уверенность в себе, как будто хотел что-то сказать, но не очень понимал, как это сделать.

Фергусон закурил сам и спросил: Все в порядке?

Я просто хотел спросить… спросить, сколько… тебе хотелось бы.

Хотелось бы? Не понимаю. Чего хотелось?

Сколько… денег.

Денег? Вы это о чем?

Вивиан мне сказала, что ты… она мне говорила, что тебе не хватает налички, ты жив… живешь на скудные средства.

Все равно не понимаю. Вы утверждаете, что хотите дать мне денег?

Да. Если тебе будет угодно… ну… хорошо ко мне отнестись.

Хорошо?

Я одинокий человек, Арчи. Мне нужно, чтобы меня трогали.

Теперь Фергусон понял. Флеминг пошел наверх без всякого плана или каких-либо ожиданий соблазнить его, но готов был платить за секс, если Фергусон окажется не против, платить за него, потому что знал, что ни одному молодому человеку нипочем не захочется его трогать без оплаты, и за наслаждение тем, чтобы его трогал желанный молодой человек, Флеминг был не прочь превратить этого молодого человека в блядь, в Джулию мужского пола, чтоб выеб его в

жопу, хотя, возможно, в таких грубых понятиях он про это и не думал, поскольку это будет не анонимный секс шлюхи и клиента, а секс между двумя людьми, уже знакомыми друг с другом, и оттого транзакция их превратится в жест благотворительности, человек постарше дает человеку помоложе деньги, которые тому очень нужны, а за них человеку постарше отплатят благотворительностью иного сорта, и пока мысли Фергусона кружились у него в голове, споря между собой о том, что его небольшое содержание нельзя считать стесненными условиями, поскольку кров и стол ему ничего не стоят, а одежда досталась ему бесплатно, потому что живет он под опекой своей состоятельной благотворительницы, и все же, с учетом всего, жить на сумму, равную десяти долларам в день на все остальное, нелегко, ведь ему хотелось купить столько книг о кино, а те ему не по карману, да и проигрыватель ему грезился, и коллекция пластинок, чтобы слушать ночью их, а не передачи этой скучной «Франс Мюзик», да, побольше денег его бы выручило, побольше денег сделало бы его жизнь лучше десятками разных способов, но вот желал ли он сделать то, чего от него хотел Флеминг, чтобы заполучить эти деньги, и каково ему будет заниматься сексом

с тем, кто ему физически неприятен, *каково это будет*, и едва Фергусон задал себе этот вопрос, как вообразил, каким богатым может он стать, занимаясь этим дополнительно, — спать с одинокими американскими туристами средних лет, стать молодым наемным жеребцом для мужчин, чарующим юным жиголо для женщин, и хотя в этом было что-то нравственно неправильное, полагал он, что-то *убойное*, если воспользоваться Лисиным словцом, которое она произнесла несколько раз за тот вечер, тут все сводится к сексу, а тот никогда не бывает неправильным, когда им хотят заняться два человека, а помимо денег там будет и дополнительное вознаграждение — отрабатывая эти деньги, пережить множество оргазмов, что почти комично, если остановиться на миг и вдуматься, поскольку оргазм — единственное бесспорно хорошее на свете, чего не купишь за деньги.

Фергусон подался вперед и спросил: А почему Вивиан вам сказала, что мне денег не хватает?

Не знаю, ответил Флеминг. Она просто разговаривала со мной о тебе и… и… упомянула, что ты живешь… как это говорят?…перебиваясь… *перебиваясь с хлеба на воду*.

А с чего вы взяли, что мне будет интересно

хорошо к вам отнестись?

Ни с чего. Просто понадеялся, только и всего. Такое… чувство.

Вы что за деньги имели в виду?

Не знаю. Пятьсот франков? Тысячу франков? Ты мне скажи, Арчи.

Как насчет пятнадцати сотен?

Я по… полагаю, что можно. Дай-ка взгляну.

На глазах у Фергусона Флеминг сунул руку во внутренний нагрудный карман пиджака и вытащил бумажник, и Фергусон осознал, что и впрямь на это готов, что за те же деньги, какие он каждый месяц получает от родителей, он сейчас снимет с себя одежду перед этим толстым, лысеющим мужчиной и займется с ним сексом, и пока Флеминг пересчитывал купюры в бумажнике, Фергусон понял, что ему страшно, *до смерти страшно*, страшно так же, как было, когда он украл из «Книжного мира» в Нью-Йорке книги, какой-то жар под кожей, вызванный тем, что он как-то раз описал сам себе как *сушь страха*, ожог, расползающийся по всему телу уже так быстро, что грохот в голове граничил с возбуждением, да, вот оно, страх и возбуждение от того, что переступает через край дозволенного, и хоть Фергусона признали виновным, и он бы мог за это проси-

деть полгода в тюрьме, что, как теоретически предполагалось, научит его никогда больше к краю и близко не подходить, но он по-прежнему дразнил не-Божеского Бога-самозванца из своего детства — пускай спустится и покарает его, если осмелится, и вот теперь, когда Флеминг извлек из бумажника двенадцать стофранковых купюр и шесть пятидесятифранковых и снова сунул бумажник в карман, Фергусон так разозлился на себя, так отвратительно стало ему от своей слабости, что его потрясла жестокость в его собственном голосе, когда он сказал Флемингу:

Положите деньги на стол, Эндрю, и погасите свет.

Спасибо, Арчи. Я… даже не знаю, как тебя за это благодарить.

Ему не хотелось смотреть на Флеминга. Ему даже не хотелось его видеть, и, не глядя и не видя, он надеялся притвориться, будто Флеминга здесь нет, что здесь кто-то другой — вошел с ним в комнату, а самого Флеминга даже не было в тот вечер на ужине, и Фергусон с ним никогда не знакомился, даже не знал, что такой человек, как Эндрю Флеминг, где-то на земле существует.

Операцию следовало провести в темноте или не проводить вообще — потому и команда пога-

сить свет, — но теперь, когда Фергусон встал со стула и начал снимать с себя одежду, свет зажегся в коридоре, *minuterie* (свет на минутку), который вновь и вновь включался весь день разными людьми, а поскольку между дверной рамой и краями плохо подогнанной двери были зазоры, свет вдруг полился внутрь, как раз достаточно для того, чтобы перестало быть темно, как раз когда глаза его привыкли к темноте, довольно света, чтобы он различил бугристые контуры теперь голого тела Флеминга, а следовательно, Фергусон перевел взгляд вниз, на пол, взбираясь на высокий деревянный помост кровати с глубоким встроенным ящиком под матрасом, а затем, когда оказался уже на кровати, обратил взгляд кверху и посмотрел на стену, когда Флеминг принялся целовать его нагую грудь и скользнул рукой на его медленно твердеющий хуй, который после некоторого рьяного оглаживания постепенно вошел в рот Флеминга. Далее, когда не сопротивлявшийся Фергусон оказался на спине и уже не мог смотреть в стену, он обратил глаза к окну, думая, что вид снаружи способен помочь ему забыть, что он внутри, в ловушке своей слишком маленькой комнаты, но тут свет в коридоре зажегся вновь, и окно превратилось в зеркало, отражавшее только

то, что внутри, а внутри были они с Флемингом на кровати, вернее — Флеминг был на нем на кровати, плоская вялая задница старика вздымалась, и как только Фергусон увидел эту картинку в окне, которое было зеркалом, — зажмурился.

Он всегда занимался любовью с открытыми глазами, глаза его всегда бывали открыты широко, потому что ему нравилось смотреть на того, с кем он, а за исключением Энди Когана и некоторых гулящих с Ле-Аль, он никогда и не бывал ни с кем, к кому не ощущал могучей тяги, поскольку наслаждение касаться человека, который ему не безразличен, и принимать его касания усиливалось тем, что на этого человека можно было еще и смотреть, глаза так же участвовали в наслаждении, как и любая другая часть тела, даже кожа, но вот теперь впервые с тех пор, как Фергусон вообще помнил, как с кем-нибудь бывал, он делал это вслепую, что отсекало его от комнаты и текущего мгновения, и даже когда Флеминг попросил его взяться за его хуй и поплевать на него, Фергусона целиком там не было, ум его вырабатывал образы, не имевшие никакого отношения к тому, что творилось на кровати в его комнатке на верхнем этаже на рю де л'Юниверситэ, в объятьях друг друга рыдали Одиссей и Телемах, Фергусон

гладил рукой круглые, мускулистые полулуны прелестного зада Брайана Мишевского, который он никогда больше не увидит и не коснется его, а бедняжка Джулия, чьей фамилии он так и не узнал, мертвая лежала на голом матрасе у себя в номере *«Hôtel des Morts»*.

Теперь Флеминг просил Фергусона войти ему вовнутрь, пожалуйста, говорил он, да, если тебе будет угодно, спасибо, поглубже, до упора, и когда по-прежнему слепой Фергусон вставил свой стояк в просторное дупло невидимого мужчины, преподаватель хрюкнул, потом застонал, потом не переставал стонать, пока хуй Фергусона двигался у него внутри, волна мучительных звуков агонии, которую никак было не изолировать, потому что к ней Фергусон не был готов, в отличие от зримых образов, к каким готов он был, и их удалось стереть, но если б даже он заткнул себе уши, звуки эти все равно было бы слышно, их ничто не могло остановить, а потом все вдруг завершилось, эрекция у Фергусона размягчалась и съеживалась, уже невозможно было ее поддерживать, ни эрекцию, ни то, чем он занимался, — все уже прекратилось, он выскальзывал наружу, он закончил, не кончив, но все равно покончил со всем этим, покончил навсегда.

Простите, сказал он, я больше так не могу.

Фергусон сел на кровати спиною к Флемингу, и как-то вдруг сразу легкие его наполнил громадный приток воздуха, заполнил его так, что чуть горло не перехватило, а потом воздух из него рванулся единым продолжительным всхлипом, спазмом тошноты, громким, как громкий кашель, громким, как собачий лай, обрубленный вой, пролетевший сквозь дыхательное горло, вырвался в окружающее пространство, а он остался ловить воздух ртом.

Никакого чувства хуже вот этого. Нет позора ужаснее.

Пока Фергусон тихо плакал в руки, Флеминг трогал его плечо и говорил, что ему жаль, не следовало ему подниматься в комнату и просить его этим заняться, это было неправильно, он не знал, как такое могло произойти, но прошу тебя, сказал он, пусть это тебя не расстраивает, это не имеет никакого значения, они просто слишком много выпили и слегка лишились рассудка, все это ошибка, и вот тебе еще тысяча франков, сказал он, вот еще пятнадцать сотен франков, и прошу тебя, Арчи, сходи и потрать их на что-нибудь приятное для себя, на что-нибудь, отчего ты будешь счастлив.

Фергусон слез с кровати и сгреб деньги со стола. Не хочу я ваших вонючих денег, сказал он, сминаная купюры в кулаке. Ни одного чертова франка.

И затем, все еще голый, подошел к северному краю комнаты, открыл обе половинки длинного двойного окна, шагнул на балкончик и швырнул ком банкнот в холодную январскую ночь.

5.4

Ему было восемнадцать, а ей шестнадцать. Он начинал учиться в колледже, а она — в младшем классе старшей школы, но прежде чем он потратил еще времени на раздумья о ней, прежде чем уделил еще одну секунду на то, чтобы вообразить возможное будущее, какое им суждено или не суждено однажды разделить, он решил, что настал момент, чтобы подвергнуть ее испытанию. Испытание это три года назад не выдержала Линда Флагг, а вот Эми Шнейдерман и Дана Розенблюм выдержали обе. Те две были единственными девчонками, кого он когда-либо любил, и хотя любил он обеих по-прежнему, но по-разному, Эми теперь была его сводной сестрой и никогда не любила его так, как ее любил он, а Дана, пусть и любила его больше, чем он когда-либо заслуживал чьей бы то ни было люб-

ви, — Даны больше не было, она жила в другой стране, навсегда исчезла из его жизни.

Он знал, что во всем этом есть какое-то безумие, шаткая логика четырех утра в этой мысли — что он может развеять проклятье смерти Арти тем, что влюбится в сестру своего мертвого друга, но там не только это, твердил он себе: было еще и подлинное влечение ко все более прелестной Селии, которая вся пошла в своего тощего отца и не имела никакого генетического сходства с крепкой, тучной матерью, но сколь красивой бы Селия ни становилась и сколь бы ни бесспорно остер был у нее ум, Фергусон ни разу не оставался с нею наедине — ни единого разу с самого дня похорон не разговаривал он с ней, при этом не беседуя с ее родителями, и по-прежнему оставалось непонятным, из какого теста она слеплена: была ли она рассудительной и послушной девочкой среднего класса, кто тихонько сидела за столом на ужине, когда в Нью-Рошель приезжал Фергусон, или же личностью, обладавшей духом, в ком было такое, что заставило бы его хотеть начать за нею ухлестывать, когда придет время.

Испытание он называл «Экзаменом посвящения Горна-и-Гардарта».

Если первое посещение автомата заворожит

ее так же, как и его, поскольку все его школьные любови были примерно ее возраста, то дверь останется открыта, и он и дальше будет думать о Селии и ждать, пока она подрастет.

Если ж нет, дверь захлопнется, и он бросит эту глупую фантазию о попытках исправить несправедливости мира и никогда больше не задумается о том, чтобы дверь эту открыть.

Он позвонил ей домой в Нью-Рошель в четверг после Дня Труда. В Принстон ему не нужно было ехать еще две недели, но бесплатные школы уже работали, и он надеялся, что Селия в субботу будет свободна, чтобы отправиться с ним на дневное свидание, а если не в эту субботу, так в следующую.

Когда Селия сняла трубку и услышала его голос, она решила, что он хочет поговорить с ее матерью, условиться насчет следующего ужина у них дома. Она едва не отошла от аппарата прежде, чем он успел выпалить, нет, ему хотелось поговорить именно с ней, и, спросив, каково ей опять вернуться в школу (так себе) и какие предметы в этом году она выбрала — биологию, физику или химию (физику), он спросил, не захочет ли она встретиться с ним в Манхаттане в эту субботу или в следующую — пообедать и сходить в кино

или в музей, или еще чего-нибудь сделать, что ей захочется.

Ты, конечно, шутишь, сказала она.

С чего бы мне шутить?

Ну, просто… ладно, проехали, неважно.

Так и?

Да, я свободна. И днем в эту субботу, и днем в следующую.

Давай тогда в эту.

Хорошо, Арчи, в эту субботу.

Он встретил ее на вокзале «Гранд-Централ», и, поскольку не видел ее последние два с половиной месяца, его приободрило, до чего хорошенькой она сейчас выглядела: гладкая, как кленовый сироп, кожа чуть потемнела после солнечного лета в Нью-Рошели, где она работала младшей вожатой и инструктором по плаванию в дневном лагере для маленьких детей, отчего зубы у нее и белки глаз сияли с еще большей ясностью, а простая белая блузка и текучая лазоревая юбка, которые она надела в тот день, были ей к лицу, решил он, равно как и розовато-красная помада, какой она накрасилась, что прибавляло еще один мазок цвета к общей картине белого, синего и коричневого, а поскольку день стоял теплый, она подобрала темные волосы до плеч и заколола

узлом танцовщицы, от чего ее длинная, изящная шея оголилась сзади, и общая картина так поразила Фергусона, пока Селия шла к нему и пожимала ему руку, что пришлось себе напомнить, что она по-прежнему для него слишком юна, это у них всего-навсего дружеская встреча и не более того, и помимо этого начального рукопожатия и того, которым они обменяются в конце дня, он не должен, ни при каких обстоятельствах, даже думать о том, чтобы распустить руки.

Я вот, сказала она. А теперь скажи мне, зачем я здесь.

Пока они шли по городу к северу, от Восточной Сорок второй улицы к кварталу между Шестой и Седьмой авеню по Западной Пятьдесят седьмой, Фергусон пытался объяснить, что подвигло его ей позвонить *ни с того ни с сего*, но Селия оставалась скептична, ее не убеждали истории, что он ей рассказывал о том, почему ему захотелось ее увидеть, качала головой, когда он выдавал брехню вроде: я скоро уеду в колледж, и у нас не будет особых возможностей видеться с тобой этой осенью, на что она отвечала: С каких это пор видеться со мной для тебя важно? — вроде: Мы же друзья, нет, так разве этого не достаточно? — на что она отвечала: А мы друзья? Вы друзья с моими

родителями, может, ну, вроде друзей, но ты за последние четыре года сказал мне в общей сложности сотню слов, так с чего бы тебе болтаться с человеком, про которого ты хорошо если знаешь, жив он или нет?

В девчонке есть дух, сказал себе Фергусон, уж это-то ясно, так что с этим разобрались. Из нее получилась гордая, проницательная девушка, которая не боялась высказывать, что у нее на уме, но вместе с этой новообретенной уверенностью в себе она также обзавелась талантом задавать вопросы, на которые не существует ответов, по крайней мере — таких, какие он мог бы ей дать, не опасаясь выглядеть полоумным. Как бы дело ни обернулось, ему придется избегать упоминания Арти в их дискуссии, но теперь, раз она бросила вызов его мотивам, он понимал, что ему придется сочинять что-нибудь получше тех неуклюжестей, какие он ей до сих пор скармливал, правдивые ответы, всю правду обо всем до единого, кроме ее брата, и потому он начал сызнова — сказал, что позвонил ей тем вечером потому, что ему честно хотелось ее увидеть, что на самом деле так и было, и причина, почему ему хотелось ее увидеть наедине, — в том, что у него такое чувство, что им пора установить их собственную дружбу

один на один, вне зависимости от ее родителей и дома в Нью-Рошели. По-прежнему неохотно воспринимая любые его утверждения как хотя бы отдаленную или возможную правду, Селия спросила, к чему ему так напрягаться, с чего б ему хотелось провести даже миг своего времени с ней, обычной старшеклассницей, когда он уже на пути в Принстон, и вновь Фергусон дал ей простой, правдивый ответ: Потому что теперь она взрослый человек, сказал он, и все стало иначе, и дальше отныне будет все так же иначе. Она впала в ошибочную привычку глядеть на него снизу вверх как на человека намного ее старше, но календарь показывает, что между ними всего два года разницы, а совсем скоро эти два года перестанут считаться, и они превратятся в сверстников. Для примера Фергусон заговорил о своем сводном брате Джиме, который старше него на полных четыре года, однако один из самых близких его друзей, считает его абсолютной ровней себе, и вот теперь, когда Джим провалил свою военную медкомиссию из-за неверно диагностированных шумов в сердце и выбрал заниматься научной работой в Принстоне, отчего они окажутся одновременно в одном студгородке — с этим очень повезло, — и планируют видеться как можно

чаще и даже на весну или начало лета взялись прикидывать совместный поход: отправиться из Принстона в Кейп-Код пешком, всю дорогу до самого северного кончика мыса, ни разу не сев ни в машину, ни в поезд, ни в автобус и уж ни в коем случае не сев на велосипед.

Селия начала сдаваться, но все равно сказала: Джим — твой брат. Тут все по-другому.

Сводный брат, ответил Фергусон. И лишь последние два года.

Ладно, Арчи, я тебе верю. Но если теперь ты хочешь быть моим другом, тебе нужно перестать вести себя, как мой старший брат, мой старший брат понарошку. Понимаешь?

Конечно, понимаю.

Никакой больше братской туфты, никакой туфты про Арти, потому что так мне не нравится — и никогда не нравилось. Это тошнотина, и глупо, и ничего хорошего ни мне, ни тебе не принесет.

Согласен, сказал Фергусон. Хватит об этом. Заметано.

Они только что свернули на запад с Мадисон-авеню и пошли вниз по Пятьдесят седьмой улице. Через пятнадцать кварталов сомнений, смущения и боевитых споров объявили перемирие, и теперь Селия улыбалась, Селия выслушивала во-

просы Фергусона и говорила ему, что, разумеется, ей известно, что такое автомат, и, само собой, она слышала о «Горне-и-Гардарте», но нет, признала она, насколько ей помнится, нога ее в это место ни разу не ступала, даже маленькой девочкой. Затем она спросила: А как там внутри и зачем мы туда идем?

Увидишь, сказал Фергусон.

Он желал предоставить ей теперь полный кредит доверия, поскольку хотел, чтобы она выдержала испытание — вплоть до того, чтобы немножко нарушить правила и засчитывать безразличие наравне с необузданным, страстным восторгом. Ее дисквалифицируют лишь антипатия или презрение, сказал он себе, нечто эквивалентное тому отвращению, какое он увидело в глазах Линды Флагг, когда та огляделась и увидела трехсотфунтовую черную женщину, которая бормотала себе под нос о мертвом младенце Иисусе, но тут, не успел он довести эту мысль до какого-то предела, они уже подошли к автомату и вступали в эту чокнутую блестящую коробку из хрома и стекла, и первые же слова, что вырвались у Селии из уст, положили конец всем его треволненьям, не успели они с нею даже превратить свои доллары в никели. Ексель-мок-

сель, сказала она. Что за дикое и четкое место.

Они уселись, взяв сандвичи, и стали разговаривать, главным образом — о лете, которое в случае Фергусона ушло на перевозку мебели с Ричардом Бринкерстаффом, поездки на кладбища хоронить свою бабушку и деда Джима и Эми и сочинение его собственной маленькой саги «Путешествия Муллигана», в которой задумывалось всего двадцать четыре части, сказал он, каждая длиной в пять-шесть страниц, каждая — отчет о путешествии в другую воображаемую страну, антропологические отчеты Муллигана Американскому обществу перемещенных душ, и теперь, когда двенадцать эпизодов уже написаны, он надеялся, что учеба в колледже не окажется для него чересчур утомительна, и после того, как переедет в Принстон, ему удастся продолжить. Что же касается Селии, то она не только плескалась с детворой в бассейнах целыми днями, но еще и училась в вечерней школе Колледжа Нью-Рошели — тригонометрия и французский, а теперь, раз получила эти дополнительные баллы, ей удастся закончить среднюю школу после своего младшего класса, взяв по дополнительному курсу в семестр, а значит, сможет поступить в колледж следующей осенью, и когда Фергусон

у нее спросил, *К чему такая спешка?* — она ему ответила, что ее уже тошнит от жизни в этом *убогом предместье*, и ей хочется выбраться оттуда и переехать в Нью-Йорк, поступить либо в Барнард, либо в УНЙ, ей все равно куда, и пока Фергусон слушал, как она перечисляет мотивы собственного *раннего побега*, у него вдруг возникло внезапное, головокружительное чувство, что он слушает самого себя, поскольку то, что она говорила и думала о собственной жизни, звучало почти точь-в-точь как то, что он сам говорил и думал уже много лет.

Но вместо того, чтобы сказать ей комплимент — она самая умная и честолюбивая ученица на свете, — что, несомненно, привело бы к какому-нибудь разговору о хороших оценках Арти и о том, что хорошая успеваемость, похоже, передается у них в семье по наследству, он спросил у нее, чем ей хочется заняться после обеда. В тот день показывали несколько фильмов, сказал он, и среди них — новую штуку с «Битлами» («На помощь!») и последнее кино Годара, «Альфавилль», которое Джим уже посмотрел и говорил о нем без умолку, однако Селия сочла, что больше удовольствия они получат от посещения музея или галереи, где можно и дальше разговаривать друг с дружкой,

а не вынужденно сидеть два часа в темноте, слушая, как разговаривают другие люди. Фергусон кивнул и сказал: Хорошо подмечено. Они могут перейти на Пятую авеню, направиться прочь от центра во «Фрик» и весь день провести там, глядя на Вермееров, Рембрандтов и Шарденов. Ладно? Да, это было более чем ладно. Но сперва, добавил он, еще по чашке кофе перед тем, как отправятся в путь, и мгновенье спустя он сорвался со стула и исчез вместе с двумя их чашками.

Не было его всего минуту, но за это время Селия успела заметить человека, сидевшего за соседним столиком, — маленького старичка, которого раньше от ее взгляда закрывало плечо Фергусона, и когда тот вернулся с их добавками кофе и двумя контейнерами сливок — заметил, что она смотрит на старичка, смотрит на него с таким беспокойством во взгляде, что Фергусон спросил у нее, все ли в порядке.

Мне так его жалко, сказала она. Могу поспорить, он не ел весь день. Просто сидит, смотрит в свой кофе, словно боится его пить, потому что, как только кофе закончится, у него не останется денег купить себе еще одну чашку и ему придется уйти.

Фергусон, заметивший старичка, пока возвра-

щался к столу, ощущал, что это будет невежливо — поворачиваться и снова на него смотреть, но да, человек этот привлек и его внимание: одинокий и опустившийся, тертый жизнью, неряшливый алкаш с грязными ногтями и лицом печального лепрекона, и Селия, возможно, права — он только что истратил свой последний никель.

Думаю, нам нужно ему что-нибудь дать, сказала она.

Нужно, ответил Фергусон, только следует помнить, что он этого у нас не просил, и если мы просто подойдем и дадим ему денег, потому что нам его жалко, он может обидеться, и тогда от всех наших добрых намерений ему станет еще хуже, чем есть сейчас.

Возможно, ты прав, сказала Селия, поднимая чашку к губам, но, с другой стороны, возможно, и нет.

Они оба допили и встали со стульев. Селия открыла сумочку и, когда они двинулись в сторону старичка, сидевшего за соседним столиком, сунула в нее руку, вытащила доллар и положила перед ним.

Пожалуйста, сэр, сказала она, сходите купите себе что-нибудь поесть, и старик, схватив доллар

и суя его к себе в карман, поднял на нее взгляд и ответил: Спасибо, мисс. Боженька вас благослови.

Потом будет потом, несомненно — самое удовлетворительное и познавательное потом, потом новых дней и, вероятно, даже ночей с замечательной, по-прежнему-слишком-юной-для-него Селией, а сейчас — это сейчас, и пока что мир сдвинулся к клюквенным болотам и влажным низинам центрального Нью-Джерси, поскольку сейчас весь мир сводился к тому, чтоб быть одним из восьми сотен только что поступивших абитуриентов и попытаться приспособиться к новым обстоятельствам. Он уже понимал себя достаточно хорошо, чтобы знать: как свой он сюда, вероятно, не впишется, в этом месте окажется что-то такое, что ему не понравится, — но в то же время его переполняла решимость как можно больше получить для себя из того, что ему понравится, и вот для этого он еще перед отъездом в Принстон положил себе пять личных заповедей, пять законов, которых намеревался придерживаться все время, какое там проведет:

1) Выходные в Нью-Йорке всякий раз и как можно чаще. После внезапной и бедственной кончины его бабушки в июле (застойная сердеч-

ная недостаточность) его теперь овдовевший дед дал ему ключи от квартиры на Западной Пятьдесят восьмой улице вместе с неограниченным правом пользования свободной спальней, а это означало, что ему всегда будет где переночевать. Обещание этой комнаты представляло собой особенный миг соединения желаний и возможностей, поскольку почти каждую пятницу Фергусон мог днем покидать студгородок и садиться в одновагонный поезд-челнок из Принстона до Принстон-Джанкшн (известного под названием Убожество, как в *убогом предместье*), а затем пересаживаться в поезд подлиннее и побыстрее, что летел с севера в средний Манхаттан, на новый и уродский Пенсильванский вокзал, если сравнивать со старым и красивым, который снесли в 1963 году, но да пусть их, архитектурные ляпсусы, — это все равно Нью-Йорк, а причин ездить в Нью-Йорк имелось множество. Отрицательная причина: это позволяло ему сбежать из удушливости Принстона, чтобы изредка вдохнуть свежего воздуха (даже если воздух Нью-Йорка не был свеж), отчего удушливость для него в то время, что он проводил в студенческом городке, становилась более сносной и, быть может, даже приятной (по-своему, по-удушливому). Поло-

жительная причина — прежняя, из прошлого: *плотность, огромность, сложность*. Еще одной положительной причиной служила выпадавшая ему возможность навестить деда и поддержать дружбу с Ноем, которая была для него жизненно важна. Фергусон надеялся, что заведет себе друзей в колледже, ему хотелось с кем-нибудь дружить, он рассчитывал на дружбу, но станет ли кто-нибудь из таких друзей когда-нибудь столь же важен для него, как Ной?

2) Никаких занятий по творческому письму. Решение трудное, но Фергусон намеревался держаться его до упора. Трудное — потому что университетская программа Принстона была в числе старейших в стране, а это значило, что Фергусону удавалось бы зарабатывать себе академические баллы за то, что и без того делает, то есть его бы награждали за привилегию труда над книгой, следовательно, в свою очередь, каждый семестр его учебная нагрузка, по сути, облегчалась бы на один курс, что оставляло бы ему больше времени не только писать, но и читать, смотреть фильмы, слушать музыку, пить, ухлестывать за девушками и ездить в Нью-Йорк, но Фергусон был против преподавания творческого письма в принципе: был убежден, что

сочинение художественной литературы — не тот предмет, какому можно научить, что каждый будущий писатель обязан учиться тому, как это делать, самостоятельно, и тем более, судя по тому, что́ ему стало известно о ведении этих так называемых мастерских (само слово неизбежно наталкивало его на мысли о комнатах, набитых молодыми подмастерьями, что пилят деревянные доски и вбивают гвозди в брусья), студентов поощряли высказываться о произведениях друг дружки, что мнилось ему нелепостью (слепые ведут слепых!), и чего ради ему когда-либо позволять, чтобы его произведение разбирал на части какой-нибудь студент-недоумок, его, Фергусона, исключительно причудливую и не поддающуюся определениям работу, на которую наверняка будут хмуриться и отмахнутся от нее как от *экспериментальной чепухи*. Не то чтоб он противился показывать свои рассказы кому-то постарше и поопытней, против критики и обсуждения их с глазу на глаз, — ужасала его сама идея группы, и из-за высокомерия ли тот ужас или от страха (перед грозным пинком), было не так важно, чем то, что он, в конечном счете, и понюшки табаку бы не дал ни за чью работу, кроме своей, так к чему делать вид, что ему это небезразлично, раз это не

так? Он по-прежнему поддерживал связь с миссис Монро (которая прочла первые двенадцать частей «Путешествий Муллигана», что привело не к двенадцати пинкам, а к двенадцати поцелуям вместе с кое-какими уместными, полезными для ума замечаниями), а если и когда ее под рукой не оказывалось, другими доверенными читателями выступали дядя Дон, тетя Мильдред, Ной и Эми, и если он когда-либо попадал впросак и не мог отыскать никого из тех, кому доверял, он шел в кабинет профессора Роберта Нэгла, *лучшего литературного ума во всем Принстоне*, и смиренно просил его о помощи.

3) Никакого обеденного клуба. Три четверти его соучеников так или иначе в такой какой-нибудь вступали, но Фергусону это было неинтересно. Похоже на студенческие землячества, но не вполне такие, где слово *перебранка* заменяло собой, что в иных местах называлось *потасовкой*, от них ощутимо пованивало всем освященным веками, отсталым в Принстоне, что никак лично его не грело, и, держась подальше от клубов и оставаясь «независимым», он сумеет избежать одного из самых чопорных аспектов этого чопорного места, а потому окажется здесь счастливее.

4) Запрет на бейсбол не снимается, и это прави-

ло распространяется также на любые вариации игры: софтбол, виффлбол, стикбол и перебрасывание мячом с кем угодно в любое время, даже теннисным мячиком, или *сполдином* из розовой резины, или свернутой парой носков. То, что он закончил среднюю школу, поможет оставить эти боренья в прошлом, считал он, поскольку ему больше уже не общаться со своими старыми друзьями по бейсболу, которые помнили, каким хорошим игроком он был и какие надежды подавал, а поскольку их поставило в тупик его решение перестать играть, и они никак не могли понять ложных отговорок, которые он предлагал как причины того, что забросил игру, они и дальше, все старшие классы, продолжали его об этом допрашивать. К счастью, вопросы эти теперь закончатся. Впрочем, теперь, сбежав из коридоров и классов средней школы Колумбия, он намерен поступить в один из самых одержимых спортом колледжей страны, в школу, что разгромила Раттерс в первом же межуниверситетском футбольном матче, сыгранном в 1869 году, в школу, что всего лишь полугодом ранее вышла в Финал четырех и оказалась третьей в

баскетбольном турнире НССА[73] — а это вообще сильнейший результат для любой команды Лиги плюща, — когда вся страна увлеченно следила за битвами Билла Брадли с Каззи Расселом из Мичигана, попавшими в заголовки, вслед за чем Брадли беспрецедентно набрал пятьдесят восемь очков при победе в утешительной игре за Принстон, и, несомненно, все в студенческом городке, когда туда приедет Фергусон, по-прежнему продолжать мусолить те подвиги. Повсюду будут спортсмены, и Фергусону, само собой, неизбежно захочется прыгнуть в самую гущу и поучаствовать в различных играх, только те игры придется ограничивать чем-нибудь вроде баскетбола на половине площадки и тачбола, и, чтобы защищаться от любых грядущих соблазнов участия в спорте, которого Фергусон поклялся себе избегать в память о мертвом брате Селии, в конце августа он раздал всю свою бейсбольную амуницию — как бы между прочим вручил две биты, пару шиповок и перчатку «Ролингс» модели «Луис Апарисио», что лежала у него в комнате на полке последние четыре года, Чарли Бассингеру, щуплому девятилетнему пареньку, жившему с ним по

[73] Сноски: 73
Национальная студенческая спортивная ассоциация.

соседству на Вудхолл-кресенте. Бери, сказал тогда Фергусон Чарли, мне все это больше не нужно, и юный Бассингер, который не вполне был уверен, о чем с ним толкует этот сильно обожаемый его сосед, почти студент колледжа, посмотрел снизу вверх на Фергусона и переспросил: В смысле, насовсем, Арчи? Вот именно, ответил Фергусон. Насовсем.

5) Никаких подкатов к отцу. Если подкат к нему совершит отец, он тщательно подумает о том, как ему следует или не следует на него откликаться, но подкатов он и не ожидал. Их последним общением была короткая записка, какую Фергусон написал, чтобы поблагодарить отца за выпускной подарок в июне, а поскольку он был особенно огорчен и доведен до отчаяния в тот день, когда прибыл чек (чуть раньше в тот же день в Израиль уехала Дана), то он и сообщил отцу, что половину этих денег он намерен отдать СКНД, а другую половину КРЯПу. Маловероятно, что отец его остался доволен.

Тревоги и предчувствия, нервы и опять нервы, и если б не утешительное присутствие его матери и Джима, сидевших в фургоне с Фергусоном в то утро, когда он отправился к трясинам и болотам ЖИЗНИ В КОЛЛЕДЖЕ, он, вероятно, исторг бы

из себя весь завтрак и вывалился на росистые газоны Принстона с половиной завтрака на собственной рубашке.

Для всей семьи день был напряженный. Дан и Эми ехали другой машиной — на север, в Брандейс, Фергусон и компания — на юг, в одном из белых фургонов «шеви» Арни Фрейзера, который Арни любезно предоставил им бесплатно, и вот они мчат по Платной трассе Нью-Джерси морозливым, изморозным утром, Джим за рулем, Фергусон с матерью втиснуты с ним рядом на переднем сиденье, а все остальное пространство позади набито до потолка имуществом и пожитками двух сводных братьев, знакомой мешаниной постелей и подушек, полотенец и одежды, книгами и пластинками, проигрывателями, радиоприемниками и пишущими машинками, и вот теперь, когда Фергусон только закончил перечислять им три из своих пяти заповедей, Джим качал головой и улыбался своей загадочной шнейдермановской улыбкой, которая скорее была улыбкой задумчивости и осмысления, а не улыбкой, граничившей со смехом или даже предполагавшей смех.

Расслабься, Арчи, сказал он. Ты это слишком всерьез воспринимаешь.

Да, Арчи, поддакнула его мать. Что это с тобой сегодня? Мы туда еще даже не доехали, а ты уже думаешь о том, как бы сбежать.

Мне страшно, только и всего, ответил Фергусон. Страшно, что я сгину в какой-нибудь реакционной, антисемитской темнице и не выберусь оттуда живым.

Тут его сводный брат рассмеялся.

Вспомни Эйнштейна, сказал Джим. Вспомни Ричарда Фейнмана. В Принстоне не убивают евреев, Арчи, их просто заставляют везде ходить с желтыми звездами на рукавах.

Тут рассмеялся и Фергусон.

Джим, сказала его мать, незачем так шутить, вот правда незачем, — но мгновенье спустя смеялась и она.

Около десяти процентов, сказал Джим. Мне так говорили. Это гораздо больше, чем национальная доля… чего? Два процента, три процента?

В Колумбии где-то процентов двадцать или двадцать пять, сказал Фергусон.

Может, и так, ответил Джим, но Колумбия не дает тебе стипендии.

Браун-Холл и блок с двумя спальнями на третьем этаже, для четверых первокурсников достаточно просторный, с общей комнатой и ван-

ной посередине. Браун-Холл и сосед по общаге по имени Мелк, Говард Мелк, крепкий, коренастый парняга, ростом где-то пять-одиннадцать, с ясным взглядом, излучавший безмятежную самоуверенность, личность, с удобством расположившаяся на собственном клочке земли — в собственной коже. Твердое, но не слишком твердое, рукопожатие, от какого кости трещат, когда они впервые пожали друг другу руки, — и мгновение спустя Говард уже подавался вперед и вглядывался в лицо Фергусону, что довольно странно вообще, решил Фергусон, но затем Говард задал ему вопрос, который странное превратил в отнюдь не странное.

А ты в средней школе Колумбия случайно не учился? — спросил Говард.

Учился, ответил Фергусон. Случайно учился.

А. И пока был в Колумбии, тебе не случалось играть в баскетбольной команде?

Играл. Но только на своем втором году.

Так и знал, что я тебя раньше где-то видел. Ты форвардом же играл, верно?

Левым. Левым форвардом. Но ты прав. Не то чтоб я знал, почему ты прав, но ты прав.

Я запасным сидел за Вест-Оранж в команде того года.

И это значит… как интересно… что наши дорожки уже пересекались дважды.

Дважды, и мы об этом даже не знали. Один раз в игре дома, а один раз на выезде. И, как и ты, я бросил играть после того единственного сезона. Но я был бесталанный балбес, играл поистине ужасно и неумело. А вот ты был совсем неплох, насколько мне помнится, может, даже очень хорош.

Неплох. Но штука тут вот в чем: Хотелось ли мне и дальше думать только о бандажах — или же обратить все свое внимание на трусики и лифчики?

Оба улыбнулись.

Стало быть, выбор нетрудный.

Нет, вполне безболезненный.

Говард подошел к окну и обвел рукой студгородок. Погляди только на это место, сказал он. Напоминает мне сельскую усадьбу герцога Графского или какую-нибудь психиатрическую лечебницу для безумно богатых. ПУ великолепен, спасибо за то, что впустил меня сюда, и спасибо за эти роскошные угодья. Но объясни мне, пожалуйста, одну штуку. Почему там скачет столько черных белок? По моему опыту, белки всегда были серыми, а тут, в Принстоне, они черные.

Потому что они часть убранства, ответил Фергусон. Ты же помнишь цвета Принстона, верно?

Оранжевый и… черный.

Именно, оранжевый и черный. Как только приметим оранжевых белок — поймем, зачем здесь черные.

От слегка потешной, слегка дурацкой шуточки Фергусона Говард расхохотался, а поскольку он рассмеялся, узел нервов в животе у Фергусона начал немного распускаться: пусть даже ПУ окажется местом враждебным и разочаровывающим, у него здесь будет друг — ну, или так показалось, когда он услышал, как его сожитель смеется, и до чего же это удачно, что в первые же минуты первого часа в первый же день он с этим другом встретился.

Пока они занимались распаковкой узлов, коробок и сумок, Фергусону сообщили, что Говард начал свою жизнь в Верхнем Вест-Сайде Манхаттана, а в одиннадцать лет превратился в мальчика мостов и тоннелей, когда его отца назначили заведующим отделом студентов в Монклерском университете штата, и до чего любопытно было узнать, что последние семь лет они жили всего в нескольких милях друг от друга, а вот сталкивались лишь по касательной — те

два раза, на деревянных полах спортзалов их соответствующих школ. Проверяя друг друга так, как склонны это делать чужие люди, если их произвольно сводит в одной камере, они быстро выяснили, что нравится и не нравится им много общего, но не все и даже не бóльшая часть: оба предпочитали «Метов» «Янкам», к примеру, но вот два года назад Говард стал убежденным вегетарианцем (он был нравственно против убийства животных), а Фергусон оставался бездумным, до мозга костей мясоедом, и хотя Говард время от времени прикладывался к сигарете, Фергусон регулярно потреблял от десяти до двадцати «Камелов» в день. Книги и писатели расходились (Говард читал мало современной американской поэзии или европейской прозы; Фергусон все больше и больше погружался и в то, и в другое), зато их вкусы к фильмам оказались зловеще созвучны, и когда оба они постановили, что любимая комедия 1950-х у них «Некоторые любят погорячее», а любимый триллер — «Третий человек», Говард выпалил со внезапным всплеском энтузиазма: *Джек Леммон и Гарри Лайм!* — и миг спустя уже сидел за столом, схватив ручку, и набрасывал карикатурный теннисный матч между лимоном и лаймом. Фергусон изумленно

наблюдал, как его одаренный сосед по комнате чиркает набросок: бугристый, вытянутый лимон с ручками и ножками, в правой руке ракетка, играет против лайма поменьше и покруглее с такими же ручками, ножками и ракеткой, у обоих лица, напоминающие оригиналы Леммона и Лайма (Джека Л. и Орсона У.), а затем Говард прибавил сетку, мячик, летящий по воздуху, — и карикатура была готова. Фергусон посмотрел на часы. Три минуты от первого штриха до последнего. Не более трех минут, а то и две.

Боже правый, сказал Фергусон. А рисовать ты умеешь, а?

Леммон против Лайма, произнес Говард, не обращая внимания на комплимент. Довольно потешно, что скажешь?

Не просто довольно потешно. Очень смешно.

У нас тут в этом что-то может быть.

Не сомневаюсь, сказал Фергусон, постукивая пальцем по руке Говарда, и добавил: *Вильям Ручка*, — а затем ткнул пальцем в рисунок и сказал: *против Патти Страницы*[74].

Ах, ну конечно же! Этому ж конца-краю не видать, точно?

---

[74] Сноски: 74
Имеются в виду Уильям Пенн и Патти Пейдж.

Этим они продолжали заниматься следующие несколько часов — пока разбирали пожитки и устраивались, весь обед в столовой, весь остаток дня, пока бродили вместе по студгородку, и до самого ужина, и к тому времени придумали уже сорок или пятьдесят таких пар. С начала до конца ни на миг не прекращали они смеяться и временами хохотали так, а периодически — и так подолгу, что Фергусон спросил себя, смеялся ли он когда-либо так сильно с самого своего появления на свет. Смех до слез. Смех до удушья. И до чего это прекрасное занятие, чтобы преодолеть страхи и мандраж юного путешественника, который только что уехал из дому и оказался на переходе через границу между писаным прошлым и неписаным будущим.

Вспомним части тела, сказал Говард, и мгновение-другое спустя Фергусон ответил: Ноги Даймонд против Ученой Руки. Чуть погодя Говард выпалил в ответ: Эдит Голова против Майкла Ступни[75].

Вспомним о жидких телах, сказал Фергусон, аш-два-о в любом из своих разнообразных состояний, и Говард ответил: Джон Брод против Ларри

---

[75] Сноски: 75

Имеются в виду Легз Даймонд, Билингз Лёрнид Хэнд, Эдит Хед и Майкл Фут.

Речки, Клод Дожди против Мутных Вод. Несколько мгновений сосредоточенных раздумий — и Фергусон ответил на это двумя своими: Беннетт Прибой против Тутса Берега, Вероника Озеро против Дика Нырка[76].

А вымышленные персонажи считаются? — спросил Говард.

Почему ж нет? Если только мы знаем, кто это такие, они так же реальны, как реальные люди. Да и вообще когда это Гарри Лайм перестал быть вымышленным персонажем?

Ой, про старину Гарри я и забыл. В таком случае позволь представить тебе Ч. П. Снега против Урии Сугроба[77].

Или еще двух английских джентльменов: Кристофер Крапивник против Кристофера Малиновки[78].

Потрясно. А теперь — короли и королевы, сказал Говард, и после долгой паузы Фергусон ответил: Вильгельм Апельсинный против Роберта

---

[76] Сноски: 76

Имеются в виду Джон Форд, Лэрри Риверз, Клод Рейнз, Мадди Уотерз, Беннетт Серф, Тутс Шор, Вероника Лейк и Дик Дайвер.

[77] Сноски: 77

Чарлз Перси Сноу и Юрайя Хип.

[78] Сноски: 78

Кристофер Рен и Кристофер Робин.

Очистка[79]. Почти сразу же Говард парировал Владом-Колосажетелем против Карла Толстого.

Теперь американцы, сказал Фергусон, и за следующие полтора часа они произвели на свет:

Хлопок Мэзер[80] против Босса Твида.

Натан Сильный против Оливера Крепкого[81].

Стан Лавр против Джуди Гирлянды[82].

В. К. Поля против Одри Луга[83].

Лоретта Юная против Виктора Зрелого[84].

Воллес Пивной[85] против Рекса Стаута.

Гал Таракан[86] против Жучка Морана.

Чарльз Борода против Сонни Клочка[87].

Майлс Стоящий[88] против Сидящего Быка.

Так оно и шло, и они шли вместе с ним, но когда наконец вернулись к себе в комнату после ужина и уселись составлять список таких пар, оказа-

---

[79] Сноски: 79
Вильгельм Оранский и Роберт Пил.

[80] Сноски: 80
Имеется в виду Коттон Мэзер.

[81] Сноски: 81
Нейтан Хейл и Оливер Харди.

[82] Сноски: 82
Стэн Лорел и Джуди Гарленд.

[83] Сноски: 83
У. К. Филдз и Одри Медоуз.

[84] Сноски: 84
Лоретта Янг и Виктор Мэтьюр.

[85] Сноски: 85
Имеется в виду Уоллес Бири.

[86] Сноски: 86
Имеется в виду Хэл Роуч.

[87] Сноски: 87
Чарлз Биэрд и Сынок Тафтс.

[88] Сноски: 88
Имеется в виду Майлз Стэндиш.

лось, что половину придуманного уже вымыло у них из голов.

Надо будет тщательней записывать, сказал Говард. Уж что-что, а мы поняли: мозговые штурмы разражаются от очень горючих материалов, и если мы не станем везде и всегда ходить с ручками или карандашами, то неизбежно будем забывать бóльшую часть того, что придумаем.

На всякую забытую штуку, сказал Фергусон, мы всегда сможем изобрести новую. Подумай, к примеру, о ракообразных, закинь невод ненадолго — и вдруг тебе попадутся Бастер Крабб против Джин Креветон[89].

Мило.

Или звуки. Сладкий писк в лесу, громкий рев в джунглях — и вот тебе Лайонел Трелинг против Сола Рёва[90].

Или борцы с преступностью — и секретарши да подружки, к чьим именам добавлены адреса.

Тут не понял.

Прикинь: Перри Мейсон против Супермана, а в итоге у тебя получится Делла Улица против Лоис

---

[89] Сноски: 89
Негодник Крэбб и Джин Шримптон.

[90] Сноски: 90
Лайонел Триллинг и Сол Беллоу.

Проезд[91].

Здорово. Ужасно здорово. А потом прогуляешься по берегу — и оглянуться не успеешь, а уже смотришь на Жорж Песок… против Лорны Дюны[92].

Весело будет это рисовать. Песочные часы играют в теннис с печенюшкой.

Да, но как насчет Вероники Озеро против Дика Ныркa? Подумай, какие перспективы открываются.

Восхитительно. До того сексуально, что чуть ли не непристойно.

Нэгл был его научным консультантом. Нэгл преподавал у него «Классическую литературу в переводе» — курс, сделавший для развития Фергусонова ума больше любого другого курса, на который он записался. И почти наверняка был тем из преподавателей, кто упорнее всех отстаивал стипендию для него, и хотя Нэгл нипочем бы не обмолвился о том, что сделал, Фергусон чуял, что у Нэгла на него какие-то виды и он особо интересуется его успехами, а для внутреннего

---

[91] Сноски: 91
Делла Стрит и Лоис Лейн.

[92] Сноски: 92
Жорж Санд и Лорна Дун. «Лорна Дун» — также марка печенья.

равновесия Фергусона в переходный период и пору возможного разброда и шатаний это было очень важно, ибо надежды Нэгла и составляли разницу между ощущением отчуждения и чувством, что, быть может, здесь ему самое место, и когда он сдал свою первую семестровую работу, пять страниц о сцене встречи Одиссея и Телемаха из шестнадцатой книги «Одиссеи», Нэгл вернул с загадочной припиской, накорябанной внизу последней страницы: *Неплохо, Фергусон, — так держать*, которую Фергусон расценил как способ преподавателя лаконично сообщить ему, что он хорошо поработал — не совсем, быть может, превосходно, но все равно неплохо.

Весь первый семестр каждую вторую среду Нэгл и жена его Сюзан устраивали у себя в маленьком доме на Александр-стрит дневное чаепитие для шестерых подопечных Нэгла. Миссис Нэгл была невысокой округлой брюнеткой, она преподавала историю в Ратгерсе и была на голову ниже своего тощего длиннолицего супруга. Пока она разливала чай, Нэгл подавал сандвичи, или пока Нэгл разливал чай, она подавала сандвичи, и пока Нэгл сидел в кресле, курил сигареты и разговаривал с некоторыми своими подопечными или слушал их, миссис Нэгл сидела на диване

и разговаривала с другими его подопечными и слушала их, и до того общительны и вместе с тем сдержанно учтивы были друг с дружкой супруги Нэглы, что Фергусону иногда становилось интересно, не общаются ли они между собой на древнегреческом, если не хотят, чтобы их восьмилетняя дочь Барбара знала, о чем они говорят. Само понятие чопорного чаепития неизменно поражало Фергусона как наискучнейшее из всех вообразимых светских мероприятий (доныне он на таких никогда не бывал), хотя на самом деле ему нравились эти полуторачасовые вечеринки у Нэгла, и он старался их не пропускать, поскольку они предлагали дополнительную возможность увидеть его преподавателя в действии, а сообщали ему то, что Нэгл — гораздо больше того, каким выглядел в классе или у себя в кабинете, где он никогда не разговаривал о политике, войне или текущем положении дел, но вот здесь, у себя дома, каждую вторую среду днем он привечал шестерых своих подопечных первокуров, среди которых, так уж вышло, было два студента-еврея, два иностранных студента и два черных студента, а если учитывать, что на всем потоке из восьмисот учащихся числилось всего двенадцать черных (всего двенадцать!), не более пяти или

шести десятков евреев и, возможно, половина или треть от этого количества — иностранцев, то Фергусону казалось ясным, что Нэгл исподтишка взял на себя пригляд за изгоями и удостоверялся, чтобы те не потонули в этом недружелюбном, чуждом месте, а мотивировали его политические убеждения, или же любовь к Принстону, или же простая человеческая доброта — но Роберт Нэгл делал все, что было в его силах, чтобы всякие маргиналы чувствовали себя здесь как дома.

Нэгл, Говард и Джим — в первый месяц новой жизни Фергусона как оторопелого юного стипендиата, мальчика, который прежде считал себя мужчиной, а теперь его отбросило обратно к тревожным неуверенностям детства, — благодаря им он держал себя в руках. Говард был не просто дьяволом карикатуры и остроумцем с турбонаддувом, он мыслил вообще крепко и учился сознательно, намеревался защищаться по философии, а поскольку был заботлив, преимущественно сдержан и не требовал лишнего внимания от Фергусона, тому удавалось делить с Говардом комнату и не ощущать, будто кто-то вторгается в его личное пространство. Это было для Фергусона одним из худших страхов — жить в не очень-то просторной комнате с кем-то еще,

что до сих пор случалось с ним только в лагере «Парадиз», где он размещался в хижинах с двумя вожатыми и семерыми другими мальчишками, а вот дома он всегда мог удалиться под защиту четырех стен своего убежища на одного, даже в новом доме на Вудхолл-кресент, когда Эми в соседней комнате хлопала дверями и ревела громкой музыкой, а беспокойство его состояло в том, что он не сможет читать, писать или даже думать, если на кровати рядом будет лежать другой человек — или сидеть за столом всего в шести-семи шагах от него. Как выяснилось, Говарда тревожила ровно та же самая беда скученности, потому что, пока он рос, у него всегда была своя комната, и в откровенной беседе на третий день Фергусоновой Недели ориентировки, в которой оба признались в своих страхах перед отсутствием уединения и избытка воздуха, что будет переходить из одной пары легких в другую, они разработали, как сами надеялись, приемлемый *modus operandi*. Соседями по блоку у них были медик-подготовишка из Вермонта по имении Вилл Нойс и гений математики на 800 баллов из Айовы по имени Дудли Кранценбергер, и Фергусон с Говардом договорились, что, когда общая комната будет свободна, иными словами — когда

Нойс и Кранценбергер у себя в спальне или их нет в здании, — один из них (Фергусон или Говард) будет читать-писать-думать-учиться-рисовать в спальне, а другой — в общей комнате, а когда либо Нойс, либо Кранценбергер, либо оба находятся в общей комнате, Фергусон и Говард по очереди ходили бы в библиотеку, пока второй остается в спальне. Они скрепили этот договор рукопожатием, но потом семестр начался всерьез, и через две недели им стало так удобно друг с другом, что превентивные правила перестали действовать. Они приходили и уходили, как и когда кому вздумается, и если оба решали одновременно посидеть дома, то обнаружили, что находиться вместе в комнате могут и подолгу — безмолвно работать, не прерывая мыслей друг друга и не портя воздух, которым оба дышали. Возможные неурядицы иногда превращались в неурядицы настоящие, а иногда нет. Эта не превратилась. К первому октября два жильца комнаты на третьем этаже Браун-Холла изобрели еще восемьдесят один теннисный матч.

Что же касается Джима, он тоже приспосабливался к новому набору обстоятельств, нащупывая свой путь последипломника-первогодки на сурово конкурентном факультете физики, привыкая

к жизни с соседом в квартире вне студгородка, и тоже нервничал не меньше своего сводного брата в тот его ранний период в раю для черных белок, но они по-прежнему умудрялись вместе ужинать каждый вторник — либо спагетти в квартире с сожителем Джима, выпускником МТИ Лестером Пателом из Нью-Дели, либо гамбургеры в переполненном маленьком заведении на Нассау-стрит, которое называлось «У Бада», а также каждые дней десять или около того ухитрялись играть в баскетбол один на один в спортзале «Диллон», и Фергусон неизменно проигрывал Шнейдерману, который был чуть выше ростом и чуть более талантлив, но не с таким унизительным счетом, чтобы все это не стоило труда. Однажды вечером, примерно через две недели после начала занятий, Джим заглянул в Браун-Холл с внеплановым визитом к Фергусону и Говарду, и когда Говард извлек список теннисных матчей, какие они успели придумать, и показал Джиму рисунки, их сопровождавшие (Клод Рейнс по одну сторону сетки в виде скопления отдельных капель, Мадди Вотерс по другую, по пояс в какой-то жиже), Джим хохотал так же сильно, как Фергусон и Говард хохотали в то первое утро, когда высосали из пальца эту игру, и в том, как

он корчится эдак от хохота и держится за бока, можно было усмотреть нечто хорошее в характере Джима, думалось Фергусону, точно так же, как при выдержанном испытании Экзаменом посвящения в «Горне-и-Гардарте» — так получалось усмотреть что-то хорошее в характере Селии, поскольку и в том, и в другом случае их отклик доказывал, что испытуемая персона — родственный дух, тот, кто ценит те же эксцентричные противопоставления и непредсказуемые сопряжения похожего и непохожего, что и Фергусон, ибо бессчастная истина заключалась в том, что не все питали нежные чувства к «Горну-и-Гардарту» или поэтичному величию автоматизированной кухни за никель-в-щель, и далеко не все смеялись или даже улыбались теннисным поединкам, как Фергусон с Говардом наблюдали в случае Нойса и Кранценбергера, которые смотрели на их пары, одну за другой, с постными лицами, не понимая, что те должны смешить, не способные ухватить потешную двойственность, имеющую место, когда слово, обозначающее вещь, также выступает словом, обозначающим имя, а сведение вместе этих слов, обозначающих вещи, способно зашвырнуть тебя в царство нежданного веселья, нет, все это предприятие сдулось для

их серьезных, буквально мыслящих соседей по общежитию, Джим же весь заходился от необузданной веселости, держался за бока и говорил им, что *уже много лет так не смеялся*, и Фергусон снова поймал себя на том, что рассматривает прежнюю дилемму «лупят-голубят», что казалась такой неподатливой, поскольку *нечто* себя защищать могло, лишь оставаясь самим собой, а следовательно, всегда оказывалось на милости того или иного *некто*, и с учетом того, что всегда есть всего одно *нечто* и много всяких *некто*, последнее слово — всегда за этими *некто*, пусть даже они и неправы в своих суждениях, не только о чем-нибудь крупном и важном вроде книг и оформления восьмидесятиэтажных зданий, но и в мелочах — вроде случайного списка безобидных, дурацких шуток.

Курсы, которые не преподавал Нэгл, были не так увлекательны, как «Классическая литература в переводе», но вполне годились, и между работой по привыканию к своей новой среде и работой по этим курсам, куда входили обязательные для первого года стиховедение и композиция вместе со «Введением во французскую литературу» у Лафарга, «Европейский роман с 1857 по 1922 год» у Бейкера и «История Америки I» у Макдауэлла,

в первый месяц у Фергусона оставалось мало времени на размышления о бедном Муллигане, а то время, что оставалось, он тратил на поездки в Нью-Йорк.

Дед его отправился на осень и зиму во Флориду, отчего Фергусон теперь имел ничем не ограниченный доступ ко всей квартире, когда б ни пожелал, а вместе с квартирой у него появилась роскошь оставаться совершенно и бодряще одному. Комнаты на Западной Пятьдесят восьмой улице также предоставляли ему дополнительное удовольствие — он мог бесплатно звонить по телефону, поскольку дед недвусмысленно сказал ему, что он волен снимать трубку, *когда б у него язык ни зачесался поговорить*, а о стоимости пусть не беспокоится. В предложении этом подразумевалась, конечно, определенная степень умеренности, понимание того, что Фергусон не утратит выдержки и не вывалит на деда чрезмерные расходы на междугородние звонки, а оттого возможность звонить Дане в Израиль исключалась, к примеру (он бы сделал это в любом случае, знай он ее номер), но ему и как есть удавалось поддерживать связь с разными прочими людьми на внутреннем фронте, все они — женщины, те женщины, кого он любил сейчас, или любил

раньше, или же мог начать любить позже, или скоро, или сейчас.

Сводная сестра Эми в Брандейсе с головой бросилась в антивоенное движение, которое привлекало к себе *всех самых интересных людей в студгородке*, сказала она, и среди них — старшекурсника по имени Майкл Моррис, который был в прошлом году одним из добровольцев Лета свободы на Миссисипи, и Фергусону оставалось лишь надеяться, что он для нее окажется лучше того мудака, кому она отдала свое сердце в старших классах, того двуличного Лоуба с его множественными коварствами и нарушенными обещаниями. Была ли то невинная ошибка со стороны Эми, задавался вопросом он, или же после того, как она отвергла своего будущего сводного брата ночью светлячков на заднем дворе старого дома, ей стало суждено вновь и вновь западать не на тех мужиков? Будь осторожней, сказал ей он. Этот Моррис вроде бы кажется парнягой неплохим, но не рви к нему очертя голову, пока не удостоверишься, какой он на самом деле. Фергусон в своей самозваной роли новой Подруги Скорбящих делится житейской мудростью в том, о чем ничего не знает сам. Тонкая разновидность подсознательной мести, быть может, ибо сколь-

ко б ни была ему Эми небезразлична, ожог того ее отлупа до сих пор иногда саднил, а он так и не сумел сказать ей, какую боль она ему тогда причинила.

Мать его нашла себе работу в компании «Карты Гаммонда» в Мапльвуде — долгосрочное задание снимать что-то для серии нью-джерсейских календарей и ежедневников, которые те собирались начать выпускать в 1967-м, то есть еще через год после нынешней осени 1966-го, «Известные люди Нью-Джерси», «Пейзажи Нью-Джерси», «Исторические места Нью-Джерси» и два издания «Архитектуры Нью-Джерси» (одно — общественные здания, другое — частные дома), каковое задание досталось ей посредством вмешательства одного из коммерческих клиентов Дана, и Фергусон ощущал, что это превосходная новость сразу по нескольким причинам, перво-наперво — из-за дополнительных денег, какие поступят в хозяйство (источник постоянного беспокойства), но самое главное — потому что он хотел, чтобы его мать вновь хоть чем-то была занята после того, как отец опрометчиво отрубил ей ателье, а поскольку за детьми дома теперь присматривать не требовалось, так чего б ей не заняться этим: наверняка оно окажется для нее работой удовле-

творительной и оживит ее дни, сколь нелепой бы ни была сама мысль печатать нью-джерсейские календари и еженедельники.

Тот человек, кого он раньше звал «миссис Монро», а теперь обращался к ней «Эви», сокращенно от «Эвелины», под каким именем она была известна своим друзьям, теперь вернулась в США — делала свое дело на нескольких занятиях по английскому и взращивала новую поросль редакторов школьного литературного журнала, но в начале сентября все у нее в жизни свернуло на ухабистую дорогу, когда ее парень последних трех лет, политический журналист из «Стар-Леджера» по имени Эд Саутгейт, вдруг объявил о том, что между ними все кончено, и вернулся к своей жене, Эви поэтому приуныла, и страдала она по-прежнему слишком сильно — себе же во вред: поздние часы выходных проводила со стаканом скотча в руке, слушая исцарапанные блюзовые пластинки Бесси Смит и Лайтнин Гопкинса, и вот же черт, не переставал думать Фергусон, пока деревья меняли свой цвет и листва начала опадать наземь, как же способна болеть большая душа этой женщины. Всякий раз, когда ей звонил, он делал все, что мог, чтобы как-то вытащить ее из хандры и отвлечь от мыслей об ушедшем Эде, по-

скольку больше не было смысла смотреть назад, чувствовал он, ничего не остается — только вырывать ее из этой дыры пьянства, насмехаясь над Эдовитостью, ядовитостью и безысходностью, говорить ей, чтоб не волновалась, потому что на выручку идет он, Фергусон, ее бывший ученик, а если ей не хочется, чтоб ее спасали, то пусть запрет у себя дома все двери или уезжает прочь из города, потому что он явится, нравится ей это или же нет, и они тут же, не сходя с места, примутся хохотать, и туча рассеется ровно настолько, чтобы она начала говорить о чем-нибудь другом, а не только о том, как сидит одна в своей нижней гостиной с бутылкой скотча, безлюбыми ночами на своей половине дома на две семьи, где жила, в квартале Ист-Оранжа, обсаженном высокими, качкими, тенистыми деревьями, в том полудоме, который Фергусон навещал восемь или десять раз в то лето и уже достаточно хорошо знал его, чтобы понимать: это одно из немногих мест на свете, где он себя чувствует совершенно самим собой и только собой, и всякий раз, когда он ей звонил — думал о тех своих летних визитах и той единственной ночи, когда они оба слегка перепили и уже подошли к самой кромке того, чтобы улечься вместе в постель, но тут позвони-

ли в дверь: соседский мальчонка из дома через дорогу спросил, не может ли его мать одолжиться чашкой сахара.

Потом еще была Селия: звонок каждый вечер пятницы или в субботу днем его новой подруге, больше ни по какой причине, кроме того, чтобы доказать, насколько всерьез он относится к делу дружбы с ней, — и Фергусон продолжал ей звонить, поскольку она, казалось, всегда была счастлива его слышать. Поначалу их беседы имели склонность блуждать по нескольким или множеству не связанных друг с дружкой тем, но редко провисали, и Фергусону нравилось слушать ее искренний, разумный голос, пока они петляли от социологии клик в старших классах до войны во Вьетнаме, от встревоженных жалоб на ее *тупых, обессиленных родителей* до томительных размышлений о возможности существования оранжевых белок, однако довольно скоро она уже все больше и больше рассказывала о своей подготовке к ПАСу, что покамест не позволит ей куда-либо выходить по субботам, а затем в конце сентября объявила, что начала встречаться с мальчиком по имени Брюс, который, очевидно, вот-вот превратится в нечто, напоминающее ухажера, что встряхнуло Фергусона, когда она

ему об этом рассказала, и продолжало его встряхивать еще день или два после, но как только он успокоился — рассудил, что, возможно, все это и к лучшему, потому что она произвела на него слишком уж сильное впечатление в тот день, который они провели вместе в Нью-Йорке, а поскольку никаких других девушек на горизонте именно тогда не наблюдалось, возможно, он просто порывисто ринулся к ней в следующий раз, когда они встретились, сделал что-то такое, о чем бы пожалел потом, такое, что испортило бы им шансы в грядущем, и уж лучше между ними теперь будет стоять этой самый Брюс, потому что романы в старших классах редко затягиваются дольше окончания средней школы, а на следующий год она уже окажется в колледже, если все пойдет по плану, как оно, безо всяких сомнений, и пойдет, и вот дальше общий расклад опять станет другим.

Между тем в городских кварталах вокруг Вашингтон-сквер Ной вонзал зубы в мясистые радости своей новообретенной независимой жизни, в освобождение из клаустрофобного узилища материной квартиры на Вест-Энд-авеню и от циклов мира-и-ссор слабоумного брака его отца с его неврастеничной мачехой. Как он изложил

однажды Фергусону, пока водил его по своему общежитию, комнатка два-на-четыре была для него лучшим после походов в монтанскую глушь. *Я больше не заперт, Арч*, сказал он, *я себя чувствую освобожденным рабом, рванувшим на просторы*, и хотя Фергусона тревожило, что он курит слишком много дури и слишком много сигарет (почти две пачки в день), глаза у него были ясны, и он, в общем и целом, казался в хорошей форме, хоть и маялся из-за утраты своей подружки Кароль, которая его бросила, а потом уехала жить под собственными высокими небесами в Йеллоу-Спрингс, Огайо.

Через две недели первого семестра Ной сообщил, что УНЙ не так много требует, как Фильдстон, и он теперь способен свою ежедневную порцию работы выполнять примерно за то же время, какое уходит *на потребление ужина из пяти блюд*. Фергусону стало интересно, когда это в последний раз Ной садился за ужин из пяти блюд, но суть он уловил — и не мог не восхититься своим двоюродным братом: он вовсе не напрягается из-за колледжа, который в Фергусоне едва не спровоцировал нервный срыв. Вот перед нами мистер Маркс, новый человек в своей прежней среде, топочет по брусчатым проулкам

своей прежней территории, Вест-Виллидж, ходит в джазовые клубы и кино в «Кинотеатр Бликер-стрит», записывает замыслы киносценариев, сидя в «Кафе Реджио», за шестой чашкой эспрессо в день, вот он заводит дружбу с молодыми поэтами и художниками из Нижнего Ист-Сайда, и когда Ной начал знакомить Фергусона кое с кем из тех людей, мир последнего расширился так, что весь пейзаж его жизни неизбежно перекроился, поскольку те ранние знакомства стали первым шагом к открытию того, какая жизнь оказалась бы для него возможна в будущем, и снова, как обычно, за то, что указал ему нужный курс, следовало благодарить Ноя. Как ни противился бы Фергусон мастерским Принстона, он понимал, что от бесед с другими писателями и художниками ему может быть много пользы, и поскольку большинство городских птенцов, с кем он знакомился через Ноя, были на три, четыре и пять лет старше него, они уже печатали свои произведения в маленьких журналах и устраивали групповые выставки на обветшалых чердаках и в витринах лавок, а это означало, что они на много миль опередили его на этом рубеже, и следовательно, Фергусон внимательно слушал, что́ они говорят. Большинство, в итоге, его чему-то

учили, даже те, кто лично ему не очень нравился, но самыми умными, по его мнению, оказывались те, кто ему больше всех нравился: поэт по имени Рон Пирсон, приехавший в Нью-Йорк из Талсы, Оклахома, четырьмя годами ранее, в июне он закончил Колумбию, и однажды вечером у Рона в тесной квартирке-купе на Ривингтон-стрит, пока Фергусон, Ной и двое-трое других сидели на полу с Роном и его женой Пег (он уже был женат!), беседа кружила от дада к анархизму, от двенадцатитоновой музыки до порнокомиксов про Ненси и Слагго, от традиционных форм в поэзии и живописи до роли случая в искусстве, как вдруг всплыло имя Джона Кейджа — имя это Фергусон лишь смутно признал, и когда Рон понял, что их новый друг из джерсейских трясин никогда не читал ни слова, написанного Кейджем, он тут же вскочил на ноги, подошел к книжному шкафу и вытащил экземпляр «Тишины» в твердом переплете. Ты должен это прочесть, Арчи, сказал он, иначе никогда не научишься ничему, кроме того, что другие люди хотят, чтоб ты думал.

Фергусон его поблагодарил и пообещал вернуть книгу как можно скорее, но Рон отмахнулся от него и сказал: Оставь себе. У меня еще два экземпляра есть, поэтому этот теперь твой.

Фергусон открыл книгу, пару мгновений листал ее, а затем наткнулся на фразу на странице 96: «Мир переполнен: все может случиться»[93].

Стояла пятница, 15 октября 1965 года, и Фергусон пробыл студентом в Принстоне один месяц, один из самых трудных и изматывающих месяцев на его памяти, но теперь он себя из этого вытаскивал, как сам ощущал, что-то начало в нем опять смещаться, и часы, проведенные с Ноем, Роном и остальными, помогли ему оттолкнуться от того, что было в нем слабым, сердитым и скованным, а теперь у него еще и книга была, «Тишина» Джона Кейджа в твердом переплете, и когда их маленькая вечеринка завершилась и компания разошлась, он сказал Ною, что устал и ему хочется пойти к деду в город, что было, вообще-то, не совсем правдой, он не устал ничуть, просто ему хотелось побыть одному.

Прежде уже дважды книга выворачивала его наизнанку и меняла то, каким он был, и разносила в клочья все его допущения о мире, и выталкивала его на новую почву, где все на свете казалось иным — и пребудет иным на всю оставшуюся жизнь, столько, сколько сам он бу-

[93] Сноски: 93

Из текста «2 страницы, 122 слова о музыке и танце» (1957), пер. Е. Миллер.

дет дальше жить во времени и занимать место на свете. Книга Достоевского была про страсти и противоречия человеческой души, книга Торо — инструкция, как жить, а теперь Фергусон обнаружил книгу, которую Рон верно назвал *книгой о том, как думать*, и когда он уселся в дедовой квартире читать «2 страницы, 122 слова о музыке и танце», «Лекцию о ничто», «Лекцию о нечто», «45' для чтеца» и «Неопределенность», у него возникло такое чувство, словно мозг ему продувает яростным, очистительным ветром и выметает оттуда мусор, в нем скопившийся, словно Фергусон стоит перед человеком, который не боится задавать первые вопросы, начинать все с самого начала и идти по тропе, какой никто до него раньше не ходил, и когда в половине четвертого утра Фергусон наконец отложил книгу, внутри он был так взбудоражен и разгорячен прочитанным, что понимал: о сне теперь не может быть и речи, не удастся ему закрыть глаза весь остаток ночи.

Мир переполнен: все может случиться.

У него были планы назавтра в полдень встретиться с Ноем и пройти по Пятой авеню в первой для них антивоенной демонстрации, первом крупномасштабном протесте Нью-Йорка про-

тив наращивания численности американских войск во Вьетнаме, в событии, что наверняка привлечет к себе десятки тысяч людей, если не сотню тысяч или две сотни тысяч, и ничто не могло бы остановить Фергусона и не дать ему в нем поучаствовать, пусть он даже с ног падал от недосыпа и влачился бы по Пятой авеню сомнамбулой, но до полудня оставалось еще много часов, и впервые после того, как вступил в Браун-Холл в прошлом месяце, он чувствовал себя готовым вновь начать писать, и ничто бы не остановило его и в этом намерении.

Первые двенадцать путешествий Муллигана приводили его в страны, жившие в состоянии непрекращавшейся войны, в страны с яростной религиозной суровостью, что наказывали своих граждан за то, что те думали нечистые мысли, в страны, чьи культуры были посвящены погоне за половым наслаждением, в страны, чьи народы мало о чем думали, кроме еды, в страны, где правили женщины, а мужчины служили низкооплачиваемыми лакеями, в страны, преданные созданию искусства и музыки, в страны, где правили расистские законы, похожие на нацистские, и в другие страны, где люди не умели различать оттенки цвета кожи, в страны, где

торговцы и предприниматели надували публику из соображений гражданского долга, в страны, организованные вокруг нескончаемых спортивных соревнований, в страны, истерзанные землетрясениями, извержениями вулканов и непрерывной плохой погодой, в тропические страны, где люди не носили одежды, в морозные страны, где люди были одержимы мехом, в первобытные страны и технически развитые страны, в страны, похоже, принадлежавшие прошлому, и другие, что, казалось, принадлежат настоящему или далекому будущему. Прежде, чем начать этот проект, Фергусон грубо набросал карту двадцати четырех путешествий, но осознал, что лучше всего пускаться в новую главу вслепую, записывать все, что бурлит в голове, пока он катит от одной фразы к другой, а затем, когда первый черновик будет окончен, он вернется и начнет постепенно укрощать его: обычно он проходил через пять или шесть черновиков, прежде чем текст обретал свою положенную и определенную форму, таинственное сочетание легкости и тяжести, к какому он стремился, тот трагикомический тон, необходимый для того, чтобы добиваться подобной нелепости повествований, *достоверной невероятности* того, что он называл *бессмыс-*

лицей в движении. Свою маленькую книжку он рассматривал как эксперимент, упражнение, которое позволит ему поиграть кое-какими *новыми писательскими мышцами*, и, когда допишет последнюю главу, он намеревался сжечь рукопись — или если не сжечь, то захоронить книжку в таком месте, где ее никто никогда не найдет.

Той ночью в свободной спальне дедовой квартиры, в комнате, которую его мать когда-то делила со своей сестрой Мильдред, заряженный ощущением свободы, какое подарила ему книга Кейджа, с дьявольским упорством, ликуя, наслаждаясь мыслью, что его месячное молчание подошло к концу, он написал первый и второй черновики того, что, без сомнения, стало его покамест самой чокнутой попыткой.

Друны

Друны счастливее всего, когда жалуются на состояние своих земель. Обитатели гор завидуют тем, кто живет в долинах, а жители долин мечтают переселиться в горы. Фермеры недовольны урожайностью своих полей, рыбаки ворчат насчет ежедневного улова, однако ни один рыбак или фермер никогда не выступал

вперед и не брал на себя ответственность за неудачу. Они предпочитают винить во всем землю и море, а не признавать, что они попросту не очень хорошие фермеры и рыбаки, что старое знание постепенно утратилось и они теперь не умелее необученных новичков.

Впервые за все свои путешествия я наткнулся на людей, которых назвал бы лентяями.

Женщины утратили надежду на будущее, и им больше неинтересно вынашивать детей. Самые зажиточные целыми днями валяются голыми на гладких скальных плитах, дремлют на теплом солнышке. Мужчинам, которые, похоже, предпочитают бродить меж зазубренных скальных выступов и по территориям крайне отвесных склонов, не нравится безразличие женщин к ним, но они мало что делают, дабы это исправить, и у них нет ясного плана, как изменить ситуацию. То и дело они наскакивают на женщин с вялыми атаками и швыряют камни в простертые тела, но камни обычно не долетают до цели.

Уже некоторое время каждого новорожденного ребенка топят при появлении на свет.

Когда я прибыл во дворец, меня приветствовала Принцесса Костей и ее свита. Она увела меня к себе в сад, подальше от последней атаки, где подала мне чашу с яблоками и заговорила о страстях своего народа. Что за новый вызов готовятся бросить они хранителям добродетели? – спросила она. Хотя говорила принцесса о вещах серьезных, ее, казалось, это отнюдь не озадачивает и не тревожит попусту. Она часто смеялась – словно бы какой-то шутке, известной только ей, – и все время при нашей с ней беседе обмахивалась бамбуковым веером, который ей подарил еще в девичестве, сказала она, посол Китая. Наутро она снабдила меня провиантом в дорогу.

Там много деревень, все они окружают башню восемью концентрическими кругами. С берега постоянно видны айсберги.

Говорят, башня – старейшая постройка на острове, ее возвели в незапамятные

времена. В ней больше никто не живет, но, по легенде, она некогда служила местом поклонения, и пророчества, изрекаемые там предсказателем Ботаной, правили друнами весь их золотой век.

Я сел на лошадь и решил направиться в глухомань суши. После трех дней и трех ночей я прибыл в деревню Флом, где, как мне сказали, воображение людей заразил новый культ – и грозил им уничтожением. Если верить моему источнику (писцу из дворца), среди жителей Флома распространяется зараза ненависти к себе – и уже достигла таких масштабов, что они обратились против собственных тел и стремятся уменьшить их или изуродовать так, чтобы те стали бесполезными: писец назвал это оргией расчленения.

Оргией назвать это нельзя. Оргия предполагает восторг и экстатическое наслаждение, но у жителей Флома никакого наслаждения нет. Они занимаются своим делом с напряженным спокойствием религиозных фанатиков.

Раз в день на главной площади деревни выполняется церемония под названием

Претерпевание. Участники туго заворачиваются в марлю с головы до пят, оставляя лишь небольшое отверстие для ноздрей, чтобы не задохнуться, а затем четверке слуг этих фигур-мумий приказывается тянуть своих хозяев или хозяек за конечности, тянуть как можно энергичнее как можно дольше. Проверка состоит в том, чтобы выдержать пытку. В том случае, если в процессе конечность отрывается, от толпы исходит рев экзальтации. Претерпевание ныне переродилось в нечто под названием Превосхождение. Отъятые члены сохраняются в стеклянной витрине, стоящей в Ратуше, и им поклоняются как святыням. Самих же ампутантов наделяют королевскими привилегиями.

Новые законы, принятые муниципальным правительством, отражают принципы Превосхождения. Услуги обществу вознаграждаются безболезненными ампутациями, а вот осужденные преступники вынуждены подвергаться длительной операции, при которой к их плоти пришиваются дополнительные ча-

сти тела. За первое преступление закона к области живота обычно приделывается рука. А вот для рецидивистов предусмотрены более унизительные наказания. Я однажды видел человека, к спине которого была приделана голова девочки. У другого из ладоней росли младенческие ножки. Есть даже такие, кто, похоже, носит на себе чужое тело целиком.

В своем каждодневном бытии население Флома старается развеять страхи, какие можно связать с их шатким существованием. К забывчивости они не склонны – их мука не утихает, даже если невооруженным глазом не видать никакого ее признака. Они, стало быть, предпочли выступить против нее и тем самым преодолеть те препятствия, какие не давали им познать самих себя. Они никак не оправдываются за то, что преобразовали собственный солипсизм в фетиш.

Не только свои тела они желают превозмочь, но и собственное ощущение отдельности один от другого. Один человек выразился при мне вот так: «Похоже,

мы никак не можем отыскать себе общую почву. Каждый из нас носит на себе собственный мир, а он редко совпадает с миром кого бы то ни было другого. Сокращая размеры наших тел, мы надеемся уменьшить пространства, пролегающие меж нами. Довольно примечательно: доказано, что ампутанты более склонны принимать участие в жизнях других людей, нежели большинство фломианцев, у кого имеются все четыре конечности. Кое-кто даже сумел сочетаться браком. Быть может, если мы усохнем до почти ничего, мы наконец-то сможем найти друг друга. Жизнь, в конечном счете, очень трудна. Большинство из нас умирает тут просто потому, что мы забываем дышать».

С учетом времени, что он потратил на хождение по комнате между абзацами, вместе с минутами, потерянными на приготовление чашки растворимого кофе и извлечение из дорожного несессера свежей пачки «Камелов», сочинение предварительного черновика заняло у Фергусона чуть меньше двух часов. Закончив его писать, он отложил карандаш и тщательно перечитал

сделанное, откинулся на спинку стула, немного помедлил, чтобы покурить, почесаться и подумать, а потом опять взял карандаш и принялся писать эту главу заново. Через шесть вариантов и девять дней из первоначального черновика у него осталось лишь четыре фразы.

В среду перед Благодарением Фергусон впервые больше чем за два месяца отправился домой — вместе с Джимом поехал в дом на Вудхолл-кресент, а Эми совершила похожее путешествие из Бостона, и вот они там снова, все пятеро вместе на долгих выходных, но, если не считать ежегодного пиршества с индюшкой днем в четверг, Фергусон в самом доме провел мало времени. Дан и его мать были уже так глубоко женаты, что начали походить друг на дружку, решил он, а вот Эми обрушилась на них в мерзком и сварливом настроении, и когда Фергусон попытался взбодрить ее за праздничным ужином, отбарабанив с десяток новейших теннисных матчей, какие они измыслили с Говардом (Артур Горлица против Вальтера Голубя, Джон Замок против Франсиса Скотта Ключа, Чарльз Барашек против Жоржа Цыпленка, Роберт Птица против Джона Клет-

ки[94]), все остальные смеялись, и даже Джим, слыхавший бóльшую их часть дважды, но Эми испустила продолжительный стон, а затем накинулась на него: он-де впустую тратит время на то, что она назвала *банальным, дурацким, школярским юмором*. Неужели ему неизвестно, что Америка ведет незаконную и безнравственную войну? Неужели он не знает, что по всей стране отстреливают и убивают черных людей? И что дает ему право, мистер Избалованный Принстонский Всезнайка, не обращать внимания на все эти несправедливости и разбазаривать свое образование на занятия *тупыми общежитскими шуточками*?

Фергусон сообразил, что роман Эми с героем Лета Свободы Майклом Моррисом развивается не очень хорошо или, быть может, не происходит совсем, но сдержался и не спросил у нее о ее любовной жизни, а просто ответил: Да, Эми, я с тобой согласен. Мир — выгребная яма с дерьмом, болью и ужасом, но если ты мне этим самым говоришь, что желаешь основать такую страну, где смеяться незаконно, то мне кажется, я лучше поживу в каком-нибудь другом месте.

---

[94] Сноски: 94

Имеются в виду Артур Дав, Уолтер Пиджен, Джон Лок, Фрэнсис Скотт Ки, Чарлз Лэм, Жорж Пуле, Роберт Бёрд и Джон Кейдж.

Ты меня не слушаешь, сказала Эми. Разумеется, нам необходимо смеяться. Если б мы не смеялись, мы бы все, вероятно, сдохли за год. Дело просто в том, что твои теннисные матчи не смешны — и меня они не смешат.

Дан велел дочери *успокоиться и не брать в голову*. Джим сказал своей сестре, чтоб она приняла *противовздорную пилюлю*, какую Фергусон быстро дополнил *противопилюльной пилюлей*, а мать Фергусона спросила у Эми, не *беспокоит ли ее что-нибудь*, — на этот вопрос Эми ответила тем, что опустила взгляд на свою салфетку и принялась жевать нижнюю губу, и вот с того момента до самого окончания трапезы Фергусон не сказал уже никому почти ни слова. После тыквенного пирога все они ушли в кухню вместе мыть посуду, драить кастрюли и сковородки, а затем Дан и Джим отправились в гостиную смотреть по телевизору новости и результаты футбольных матчей на Благодарение, а Эми и мать Фергусона сели вместе за кухонным столом, как предполагал Фергусон, чтобы *серьезно поговорить по душам* о том, что же именно беспокоит Эми (несомненно — Майкл Моррис). Было самое начало седьмого. Фергусон поднялся позвонить по телефону в главной спальне — то был един-

ственный аппарат в доме, который предоставил бы ему возможность разговаривать так, чтобы его никто не слышал. В прошлые выходные Эви ему сказала, что Благодарение будет отмечать с Капланами — парой, жившей с нею по соседству, они были ее лучшими друзьями во всем квартале, но на тот маловероятный случай, что вечеринка у них закончится раньше, он сперва позвонил ей домой. Никто не ответил. Это значило, что нужно звонить Капланам, что, в свою очередь, вынудит его долго беседовать с каким-нибудь членом семьи Капланов, которому случится снять трубку, либо с Джорджем, либо с Ненси, либо с кем-нибудь из их детей студенческого возраста, Бобом или Эллен, все они были друзьями Фергусона, со всеми он бывал только рад поговорить, но в тот конкретный вечер ему хотелось слышать лишь Эви.

Некоторые лучшие его воспоминания о взрослении были связаны с домом Капланов, где на сборищах по вечерам в пятницу и субботу за все свои годы в старших классах он бывал не раз — в той двухэтажной, проседающей деревянной конструкции, набитой тысячами лишних книг из букинистического магазина Джорджа, частенько вместе с Даной, также часто с Майком

Лоубом и Эми, и на большинстве таких вечеров там присутствовала небольшая толпа человек из двенадцати или шестнадцати, необычайная смесь взрослых и подростков, еще более необычная смесь белых и черных подростков, но та часть Ист-Оранжа к тому времени была более-менее пополам черной и белой, а поскольку Капланы и Эви Монро были леваками против-бомбы-за-интеграцию, без денег и безо всякого намерения сбежать, а также потому, что все приходившие к ним были достаточно проворны умом, чтобы шутить про имя Джорджа и называть его Человеком, Которого Не Существует (отсылка к фальшивому имени, которое дали Кери Гранту в «В север через северо-запад» — ДЖОРДЖ КАПЛАН), Фергусон иногда думал, что дом этот — последний оплот здравомыслия во всей Америке вообще.

Трубку из всех снял Боб — для Фергусона это хорошо, поскольку Боб был самым немногословным из всех Капланов и его обычно занимало по четыре вещи одновременно, поэтому после краткой беседы о плюсах и минусах колледжа и *проклятого ебаного бардака во Вьетнаме* (по словам Боба) трубку передали Эви.

Что случилось, Арчи? — спросила она.

Ничего. Я просто хочу вас увидеть.

Где-то через десять минут подадут десерт. Запрыгивай в машину да приезжай.

Только вас. Наедине.

Что-то не так?

Да нет. Внезапная тяга к воздуху. На Эми опять напал очередной ее великий каприз, парни беседуют о футболе, а я жажду вас увидеть.

Это мило, *жажду*.

По-моему, этим словом я раньше никогда в жизни не пользовался.

У Ненси болит голова, а Джорджа, похоже, валит с ног грипп, поэтому сомневаюсь, что это мероприятие тут сильно затянется. Где-то через час я должна быть дома.

Вы не против?

Нет, конечно. Мне бы очень хотелось с тобой повидаться.

Хорошо. Тогда буду у вас через час.

Не было секретом, что они друг дружке нравились, что восемнадцатилетний Фергусон и тридцатиоднолетняя Эви Монро уже давно перешли границу формальностей между учителем и учеником, какие приняты в классе. Теперь они были друзья, добрые друзья, вероятно — лучшие друзья, но вместе с их дружбой с обеих сторон имелось еще и возраставшее физиче-

ское влечение, что оставалось секретом от всех, поначалу — даже от них самих, непрошеные похотливые мысли, которые ни он, ни она не готовы были претворять в жизнь из страха или робости, но затем растормаживающе подействовал один лишний скотч в четверг вечером, в середине августа, и от одного мгновения до следующего пригашенное было пламя их взаимной тяги друг к дружке вспыхнуло яростным приступом объятий на диване в нижней гостиной, любовной игрой, — которую в разгар милования прервал звонок в дверь, — событие примечательное не только из-за его пылкости, но и потому, что произошло оно посреди периода Эда, хоть и ближе к концу периода Эда, а теперь, когда Эда больше нет, и Даны Розенблюм больше нет, и Селия Федерман — всего лишь вымысел на дальнем горизонте, а ни Фергусон, ни Эви не трогали никого другого дольше, чем им обоим хотелось бы вспоминать, похоже, стало неизбежным, что тем зябким вечером Благодарения им захочется снова потрогать друг дружку. На сей раз алкоголь не требовался. Неожиданное употребление Фергусоном слова *жажду* втолкнуло обоих назад в воспоминание о вечере в августовский четверг, когда то, что они оба начали, осталось

незаконченным, и потому вот, когда Фергусон приехал к Эвиной половине двухсемейного дома на Варрингтон-плейс, они поднялись в спальню, постепенно сняли с себя всю одежду и устроили долгую, счастливую ночь, наконец-то закончив то, что начали раньше.

Это было всерьез. Не разовый каприз, который можно забыть поутру, — начало чего-то, первый шаг из многих, что последуют за ним. Фергусону было безразлично, что она старше, ему было все равно, знает ли про них кто-нибудь, ему было плевать на то, что люди скажут. Как бы *неприлично* ни было тридцатиоднолетней женщине якшаться с восемнадцатилетним мальчишкой, закон по этому поводу не мог поделать ничего, поскольку Фергусон уже перевалил за возраст согласия, и они действовали легитимно и были совершенно неприкосновенны. Если общество считало то, чем они занимались, неправильным, общество пусть бы и дальше на них смотрело и помалкивало в тряпочку.

Дело было не только в сексе, хотя секс составлял бóльшую часть — столько же для все еще нестарой Эви, сколько и для лишенного секса Фергусона, который расхаживал с постоянным стояком, свойственным всем молодым людям,

и ему все было мало, они вдвоем оказались в ловушке необходимости обертываться друг в дружку и сплетаться руками и ногами в неистовых натисках плотского забвения, цветистый, несдержанный секс, что опустошал их дочиста, и они ловили ртами воздух, — или же долгие, медленные возбуждения соприкасающейся кожи, как можно более мягко и бережно, ожидание мига, когда уже нельзя больше ждать, щедрость всего этого, чередующиеся сладость и насилие этого, а поскольку эротическая история Фергусона ограничивалась покамест всего одной постельной партнершей, стройной, легкокостной Даной с маленькими грудями и узкими бедрами, Эви, кто была покрупнее и посущественней, представляла собой для него новую разновидность женственности, которая поначалу и возбуждала, и была странной, а затем — странной сызнова, поскольку странным в сексе было все. Это — в первую очередь, но этим дело никоим образом не ограничивалось. Сцепка тел. Тела вздымающиеся на дыбы и вялые, теплые тела и жаркие, тела ягодиц, влажные тела, тела с хуями и пёздами, тела шей и тела плеч, тела пальцев и тела пальпирующие, тела рук и губ, лижущиеся тела и — всегда и вечно — тела лиц, двух их лиц,

глядящих друг на дружку и в постели, и вне ее, лицо Эви не было красивым, нет, его нельзя было даже отдаленно расценивать как хорошенькое ни по каким стандартам, насильно введенным в том году, — слишком много носа, рубленая итальянская физиономия, в которой чересчур углов, но какими же глазами она на него смотрела, жгучими карими глазами, что впивались прямо в него, никогда не прятались, не притворялись, что за ними есть какое-то чувство, если его там не было, и очарование ее двух передних, слегка кривоватых зубов, отчего на лице у нее читался легчайший намек на неправильный прикус и рот у нее становился самым что ни есть сексуальным во всей Америке, а лучше всего то, что Фергусону выпало провести с нею ночь, что было б невозможно при Дане больше двух-трех раз, а теперь так бывало каждый раз, и надежда проснуться наутро рядом с Эви помогала ему засыпать глубочайшим, блаженнейшим сном, какой он когда-либо знал.

Они виделись по выходным — каждые выходные в Нью-Йорке, покуда его дед в начале апреля не вернулся из Флориды, и жизнь Фергусона, и без того расколотая, теперь уходила на скачки через все более расширявшуюся пустоту между

студгородком и городом, пять ночей в неделю в одном месте, две ночи в неделю в другом, домашняя работа и занятия с утра понедельника по утро пятницы, а на Муллигана времени не оставалось, поскольку Фергусон был стипендиатом Уолта Уитмена, и облажаться ему не разрешалось никак, а потому крайне насущным было выполнить все обязательства перед Принстоном прежде, чем в полдень пятницы уезжать в город (задания по чтению, доклады, подготовка к контрольным, обсуждение Зенона и Гераклита с Говардом), и только после он возвращался к другой половине своей двойной жизни в Нью-Йорке, что означало Эви с того мига, когда та в пятницу звонила в дверь между шестью и семью, Муллиган — в те пятничные часы перед тем, как она появится, Муллиган на четыре часа утром в субботу и воскресенье, пока Эви проверяла тетради, читала книги и готовилась к занятиям следующей недели, затем обед и — вместе в город, а потом — субботние вечера с его друзьями или ее друзьями, или просто они вдвоем в кино, в театре, на концерте или же в квартире катаются по кровати, и вторая половина их усеченных воскресений, когда они возвращались в тишину спальни после позднего завтрака, разговарива-

ли или не разговаривали до четырех, пяти или шести, когда наконец принуждали себя одеться, и Эви везла его на вокзал Пенн. То всегда была худшая часть — прощание, а после него вечером в воскресенье поездом обратно в Принстон. Сколько бы раз ни проделывал это путешествие, он к нему так никогда и не привык.

Она была единственным человеком, кто читал все его рассказы, сочиненные за последние три года. Она была единственной, перед кем он открылся насчет мучительных ограничений, какие наложил на себя после смерти Арти Федермана. Она была единственной, кто понимала всю глубину горечи, какую испытывал он по отношению к собственному отцу. Она была единственной, кто полностью понимал всю природу хаоса, кипевшего в нем, противоречивую мешанину жестких, безжалостных суждений и неистового презрения к американской алчности до большого доллара в сочетании с общей мягкостью его духа, с его безмерной любовью к небезразличным ему людям, с его правильностью хорошего мальчика и сбивающейся с шага неуклюжестью во всем, что касалось дел его собственного сердца. Эви знала его лучше, чем кто угодно. Знала она, до чего исключительно странен он был, однако насколько

захватывало дух от того, каким нормальным он казался, как будто был пришельцем, только что приземлившемся в своем летающем блюдце, сказала она ему однажды ночью еще в июле (еще до случая с дверным звонком, они тогда еще не подозревали, что в итоге окажутся вместе в постели), человеком из открытого космоса, одетым так же, как любой землянин двадцатого века, *самым опасным шпионом во вселенной*, и эту исключительно странную личность странным образом утешали ее слова, поскольку именно так он и желал о себе думать, и ему доставляло удовольствие считать, что она единственная это знает.

Однако они не были так храбры, как он от них ожидал. Полностью публичный подход к тому, чем они занимались — да-кому-какое-дело, — не действовал без определенных исключений, ибо стало быстро очевидно, что кое-кого придется держать в неведении ради них же самих — и ради Фергусона, и Эви, конечно, тоже. В случае Фергусона это означало его мать, а раз его мать — значит, это означало и Дана, Эми и Джима. В случае Эви это означало ее мать в Бронксе, ее брата с его женой в Квинсе и ее сестру с ее мужем в Манхаттане. Все ее родственники будут *скандализованы*, сказала Эви, и хотя Фергусон не считал,

что его мать отреагирует так уж сильно, наверняка же она расстроится, или встревожится, или не поймет, и объясняться с нею будет бесполезно, поскольку от всех его оправданий она, вероятно, лишь сильнее расстроится, лишь сильнее встревожится и лишь сильнее не поймет. А вот с друзьями Эви в Манхаттане, напротив, никаких помех полному разоблачению не имелось. Они были художниками, джазовыми музыкантами и журналистами и все достаточно изощренны, чтоб им до этого не было никакого дела. То же оказалось применимо и к собранию нью-йоркских знакомых Фергусона — их было меньше (с чего бы из-за такого переживать Рону Пирсону?), а вот Ной оказывался возможным камнем преткновения — в том смысле, что он был не просто другом, но и сводным двоюродным братом Фергусона, и хотя маловероятным казалось, что у Ноя когда-либо возникнет какая-нибудь причина распространяться перед своим отцом о любовной жизни кузена, всегда имелась возможность того, что это как-то ненароком вылетит у него изо рта, а Мильдред случайно подслушает из соседней комнаты, но этим ему придется рискнуть, решил Фергусон, поскольку дружба Ноя была для него слишком важна, и он достаточно доверял Ною,

чтобы рассчитывать на его молчание, если он попросит его молчать, что Ной и исполнил, согласился без колебаний, как только его об этом попросили, и вот когда юный Маркс поднял правую руку и торжественно пообещал *держать хлебало на замке* — тут же поздравил Фергусона с тем, что тот вызвал ответные чувства у женщины старше. Когда Фергусон их только познакомил, Ной пожал Эви руку и сказал: Наконец-то знаменитая миссис Монро. Арчи о вас рассказывал много лет, и теперь я вижу почему. Некоторые мужчины западают на Мэрилин, хоть она уже и не с нами, а для Арчи всегда была только Эвелина, и кто ж его упрекнет за то, что он запал на вас?

А кто упрекнет меня, что я запала на Арчи? — сказала Эви. Все вполне красиво вышло, разве нет?

Через две недели после того вечера Эви раскрыла двери своей души и впустила в нее Фергусона.

Стояла еще одна суббота, еще одна хорошая суббота посреди их еще одних хороших выходных в Нью-Йорке, и они только что вернулись в квартиру на Западной Пятьдесят восьмой улице со скромного ужина с кое-какими друзьями-музыкантами Эви. Обычно после своих субботних вылазок они тут же уходили в спальню, но теперь

Эви взяла Фергусона за руку и ввела его в гостиную, сказал, что ей с ним сперва кое о чем хочется поговорить, и потому они сели вместе на тахту, Фергусон закурил «Камел», передал сигарету Эви, которая сделала одну затяжку и вернула Фергусону, а потом сказала: Со мною кое-что случилось только что, Арчи.

Кое-что важное. Месячные у меня должны были начаться в понедельник, но не начались. Почти все время у меня все по графику, но иногда бывают сбои на день или полдня, поэтому я не придала большого значения, предполагая, что начнутся во вторник, но и во вторник ничего не случилось. Исключительно. Почти беспрецедентно. Глубоко занимательно. В прошлом это был бы миг, когда б я запаниковала, не понимая, беременна я или нет, стала бы проигрывать в голове всякие мрачные возможности, поскольку беременеть мне не хотелось — ну, или я, по крайней мере, считала, что мне не хочется, и, думается, два аборта это подтверждают: один на моем втором курсе в Вассаре, один где-то через год после того, как мы с Бобби поженились. Но теперь, и под «теперь» я имею в виду вторник, четыре дня назад, когда месячные задержались на два дня, впервые в жизни я не тревожилась. Что,

если я беременна? — спросила я саму себя. Это будет иметь значение? Нет, ответила я себе, значения это иметь не будет. Это будет до чертиков великолепно. Никогда в жизни, Арчи, никогда раньше не было у меня такой мысли и ни разу не говорила я себе таких слов. Среда. По-прежнему никакой крови. Я не только больше не тревожилась, я себя чувствовала на вершине мира.

И? — спросил Фергусон.

И в четверг все закончилось. Из меня вылился весь мир, и до сих пор кровь хлещет так, будто меня в живот ножом пырнули. В смысле, ты же сам это знаешь. Ты со мной вчера спал.

Да, крови было много. Больше обычного. Не то чтоб меня это волновало, конечно.

Да и меня. Но самое важное вот что, Арчи: со мною что-то произошло. Я теперь другая.

Ты уверена?

Да, совершенно. Я хочу ребенка.

Не сразу Фергусон понял, о чем она говорит, всю эту гору необъясненных частностей и дразнящих вопросов, вроде того, кто будет отцом этого ребенка и как она предполагает стать матерью, не выходя замуж, а если она не замужем и не живет с кем-либо, как она и дальше будет преподавать и быть матерью одновременно, если у нее не

окажется денег платить няне или приходящей сиделке?

Эви отмела все эти вопросы, устроив ему короткую экскурсию по своей внутренней жизни, с сильным упором на любовную и сексуальную часть этой жизни, на мальчиков и мужчин, по которым сохла в годы между девичеством и сейчас, на хорошие и плохие решения, какие принимала, на эфемерные приключения и долгие союзы, что в итоге ни к чему не привели, когда худшей ошибкой было ее невозможно раннее замужество с Бобби Монро, что продлилось аж два с половиной года, и самым удивительным во всех этих страстях, надеждах и разочарованиях, сказала Эви, было то, что никто никогда не делал ее счастливее, чем он, ее мальчик-мужчина Арчи, ее незаменимый Арчи, и впервые в своей жизни она сейчас с тем, кому, как она чувствует, можно доверять, с тем, кого она может любить, одновременно не страшась, что ей надают по рукам за то, что любит слишком сильно или слишком много. Нет, Арчи, сказала она, ты не похож на всех прочих. Ты первый мужчина, кто меня не боится. Это, вообще-то говоря, замечательная штука, и я пытаюсь проживать ее как можно полнее, потому что глубоко внутри ты знаешь и

я знаю, что долго это не продлится.

Не продлится? — спросил Фергусон. Как ты можешь такое говорить?

Потому что не может. Потому что не продлится. Потому что ты еще слишком молод, и рано или поздно мы уже не будем годиться друг для дружки.

Вот в чем вся суть, сообразил Фергусон, — предчувствие того времени, когда они больше не будут вместе, того будущего времени, когда все, что происходит сейчас, исчезнет, и они превратятся в призраков памяти, живущих только в умах друг у друга, в бестелесных существ без кожи, или костей, или сердец, и вот именно поэтому она думает теперь о младенцах и хочет себе такого же — из-за него, из-за того, что желает, чтобы отцом его стал он, тем призрачным отцом, кто завещает свое тело ее ребенку и будет продолжать с нею жить вечно.

Смысл в этом был. И опять-таки, вообще никакого смысла в этом не было.

Ничего срочного, сказала она, и ей бы не хотелось, чтобы он об этом думал чересчур часто, просто теперь возникла такая возможность, и ее имеет смысл запрятать куда-нибудь в глубину их голов и продолжать жить, как раньше, и

нет, она вовсе не просит его брать на себя какую-либо ответственность, ему даже не придется подписывать свидетельство о рождении, если не захочет, это будет ее забота, а не его, и слава богу, что женщинам не нужно быть замужем, чтобы рожать детей, сказала она, а потом засмеялась, выпустила напряжение громким хохотом человека, который все для себя уже решил и больше ничего не боится.

Они продолжали, как прежде. Единственную разницу теперь составляло то, что Эви свою диафрагму оставляла дома, а Фергусон перестал покупать презервативы.

Его не беспокоила мысль о том, чтобы стать отцом, так же, как не беспокоила его мысль о том, чтобы стать мужем, когда он делал предложение Дане. Беспокоила его мысль о том, что он может потерять Эви. Теперь, когда она сделала это пессимистическое заявление о неизбежном конце их как пары, он исполнился решимости доказать, что она неправа. Однако если время докажет, что она все-таки была права, то он последует ее примеру и попробует как можно больше взять от того времени, что они проводят вместе, тем, чтобы *жить как можно полнее*.

Вероятно, он уже и мыслил-то нечетко, только

Фергусону так не казалось. Глаза его открылись, и мир вокруг был переполнен.

Шли месяцы.

Он написал двадцать четвертую главу «Путешествий Муллигана» — отчет об изнурительном странствии Муллигана домой из страны, охваченной трехсторонней гражданской войной. Книга Фергусона была окончена, все ее сто тридцать одна страница, напечатанные через два интервала, но он не стал сжигать рукопись, как намеревался первоначально, а залез в свои сбережения и раскошелился на несусветную сумму в сто пятьдесят долларов — нанять профессиональную машинистку, чтобы та отпечатала ему три экземпляра (оригинал и две копии), которые он затем подарил Эви, Говарду и Ною. Все они заверили его, что им понравилось. Это Фергусона успокоило, но к этому времени его уже тошнило от Муллигана, и он грезил о своем следующем проекте, рискованном предприятии под названием «Алая тетрадь».

Селию Федерман приняли в Барнард и УНЙ, и осенью она собиралась начать учебу в Барнарде с намерением специализироваться по биологии. Фергусон послал ей букет белых роз. Они по-прежнему время от времени беседовали по телефону,

но после того, как у них в жизнях возникли Брюс и Эви, суббот в Нью-Йорке больше вместе они не проводили.

Говард и Фергусон решили и дальше жить вместе до окончания колледжа. На следующий год они уже будут питаться в Клубе Вудро Вильсона — то был не обеденный, а скорее анти-обеденный клуб для студентов, которым не хотелось вступать ни в какой клуб. Там питались некоторые самые умные студенты. В уютной столовой располагалось столиков двадцать, маленьких, каждый на четверых человек, а потому заведение представляло собой нечто вроде кафетерия-анти-кафетерия, и хорошего в нем, среди прочего, было то, что туда часто приходили преподаватели, проводить после десерта неформальные беседы. Говард и Фергусон планировали пригласить туда Нэгла — обсудить один из самых своих любимых фрагментов из Гераклита: *Без надежды не найдешь того, на что не надеешься, так как оно станет недостижимым и недоступным*[95].

Ной поставил его в известность, что намерен лето провести, работая над своим давно откладывавшимся замыслом экранизировать «Душевные

---

[95] Сноски: 95
Пер. Ф. Кессиди.

шнурки» в виде черно-белой короткометражки. Когда Фергусон ему сказал, чтобы тот не тратил время на эту детскую ахинею, Ной ответил: Поздняк, Арчибальд, я уже написал сценарий, а шестнадцатимиллиметровая камера уже взята напрокат за сумму в ноль центов.

Джим сомневался в своем будущем на Факультете физики Принстона и после многих месяцев *колебаний и внутренних борений* более-менее решился все бросить после магистратуры и уйти преподавать естественные науки в школу. Я не такой дока, каким считал себя раньше, сказал он, и не желаю тратить жизнь второсортным ассистентом, работая в чьей-нибудь лаборатории. Кроме того, они с его подругой Ненси хотели пожениться, а это означало, что ему придется найти себе настоящую работу с настоящей заработной платой и стать полноправным членом реального мира. Фергусон и Джим отложили свои планы дойти пешком до Кейп-Кода, но когда в апреле настали пасхальные каникулы, они совершили пеший переход из Принстона на Вудхолл-кресент, миль тридцать пять по прямой на карте, но если по шагомеру Джима — то и больше сорока. Просто убедиться, что им это по силам. Разумеется, в тот день шел дождь, и, само собой, они вымок-

ли до нитки к тому времени, как поднялись на крыльцо дома и позвонили в дверь.

Эми вступила в СДО и нашла себе нового дружочка — своего погодка из Брандейса, который, как выяснилось, родом был из Ньюарка и также оказался черным. Лютер Бонд. Какое хорошее имя, подумал Фергусон, когда Эми сообщила его ему по телефону, а как же твой отец, спросил он, отец уже об этом что-нибудь знает? Нет, конечно, ответила Эми, ты смеешься? Не беспокойся, сказал Фергусон, Дан совсем не такой, ему будет все равно. Эми хмыкнула. Не ставь на это, сказал она. И когда же я с ним познакомлюсь? — спросил Фергусон. Когда захочешь, сказала Эми, где угодно, только не на Вудхолл-кресент.

Его дед вернулся из Флориды сильно загоревшим, набрав в районе талии еще с десяток фунтов, и с безумным блеском в глазах, отчего Фергусон поневоле задумался, что за непотребства творил там старик вместе с лотофагами Солнечного штата. Слушать об этом ему вовсе не хотелось, это уж точно, а поскольку дед входил в список родни, которую следовало держать в потемках относительно его романа с Эви, едва Бенджи Адлер вернулся к себе в нью-йоркскую квартиру, их нью-йоркская идиллия завершилась. Западная

Пятьдесят восьмая улица теперь была недосягаема, а поскольку квартиры на замену нигде в городе у них не было, единственным решением было махнуть рукой на Нью-Йорк и проводить те дни и ночи в полудоме Эви в Ист-Оранже. Привыкнуть к такому было трудно. Никаких больше пьес, или кино, или ужинов с друзьями, лишь они вдвоем пятьдесят непрерывных часов каждые выходные, но какой еще выбор у них был? Они поговаривали о том, чтобы снять маленькую квартирку-студию где-нибудь в центре города, недорогое местечко, которое вернуло бы им город и можно было бы не зависеть от беспутных дедушек или кого бы то ни было еще, но даже дешевых они себе позволить не могли.

Задержка месячных в декабре, а за ней — кровотечения как по часам, в январе, феврале, марте и апреле. Эви сказала Фергусону, чтоб он не думал об этом *чересчур часто*, но он подозревал, что сама она думает об этом гораздо чаще, чем чересчур — раз по пятьдесят-шестьдесят на дню, и после четырех месяцев без предохранения, когда ни один сперматозоид не прицепился к яйцеклетке, когда в теле у Эви не пустила корни никакая зигота, бластула или зародыш, она уже начала проявлять признаки раздражения. Фер-

гусон велел ей не беспокоиться, такое частенько происходит не сразу, и, чтобы подчеркнуть свою мысль, упомянул о двух долгих годах, какие потребовались его матери на то, чтобы забеременеть им. Он просто пытался помочь, но мысль об этих *двух годах* оказалась для Эви непереносима, и она заорала на него в ответ: Ты совсем ума лишился, Арчи? С чего ты взял, что у нас есть эти *два года*? Да у нас, может, и двух месяцев нет!

Четыре дня спустя она отправилась к своему гинекологу на тщательное обследование органов размножения и сдать анализ крови, который что-то сообщил бы ей и о других частях тела. Когда в четверг пришли результаты, она позвонила Фергусону в Принстон и объявила: Я здорова, как восемнадцатилетняя девчонка.

А потому напрашивался вопрос: Здоров ли девятнадцатилетний Фергусон, как восемнадцатилетний мальчишка?

Не может быть, что дело во мне, сказал он. Это просто невозможно.

Тем не менее Эви убедила его сходить к врачу — просто *на всякий случай*.

Фергусон перепугался. Мысль о попытках зачать ребенка у Эви в теле, возможно, дурацкая, признал он перед самим собой, деяние безрассуд-

ной любви и превратно понимаемой мужской гордости, что может привести к каким угодно никудышным последствиям в конечном счете, но удастся им с Эви или же не удастся завести вместе ребенка — не это теперь его беспокоило. На кону стояла его собственная жизнь — его собственная жизнь и его собственное будущее. С тех самых пор, как был он маленьким мальчиком, с того самого мига, когда его юное мальчишеское «я» постигло таинственный факт, что он — существо переходное, какому суждено вырасти и стать мужчиной, он предполагал, что однажды станет и отцом, что рано или поздно произведет на свет маленьких Фергусонов, которые вырастут и сами станут мужчинами и женщинами, такую грезу он всегда принимал как должное — это будущая реальность, поскольку так мир и устроен: из маленьких людей развиваются большие люди, а те, в свою очередь, приводят в мир еще маленьких людей, и едва настолько взрослеешь, чтобы смочь это делать, — это и делаешь. Даже теперь, усталым от жизни девятнадцатилетним философом и рыцарем неизвестных книг, он продолжал ждать этого с огромным удовольствием.

Никогда дрочка не приносила так мало наслаждения, как в тот день, когда он пришел в

кабинет к доктору Бройлеру на окраине Принстона. Пролить семя в дезинфицированную чашечку, а потом скрестить пальцы, чтобы в этой слизи затанцевали вальс миллионы потенциальных младенцев. Сколько пьяных матросов станцует на острие булавки? Сколько булавок нужно, чтобы самому не развалиться на куски?

Медсестра назначила ему повторный визит на следующую неделю.

Когда он явился в назначенный день, доктор Бройлер сказал: Давайте попробуем еще разок, чтоб уже наверняка убедиться, что мы знаем, на что смотрим.

На следующей неделе, когда Фергусон пришел к нему в кабинет уже в третий раз, доктор Бройлер сказал, что такое состояние поражает лишь семь процентов мужского населения, но численность сперматозоидов ниже нормальной может серьезно повредить мужской способности зачать ребенка, иными словами — меньше пятнадцати миллионов сперматозоидов на миллилитр спермы или общим числом менее тридцати девяти миллионов на эякуляцию, а у Фергусона показатели значительно ниже даже этих.

Можно что-нибудь с этим сделать? — спросил Фергусон.

Нет, боюсь, что нет, ответил доктор Бройлер.

Иными словами, я стерилен.

В смысле того, что не сможете произвести на свет детей, — да.

Фергусону пора было уйти, но показалось, что тело его вдруг так отяжелело, и он понимал: со стула ему встать не удастся. Он поднял взгляд и изнуренно улыбнулся доктору Бройлеру, словно бы извиняясь за то, что неспособен сдвинуться с места.

Не беспокойтесь, сказал врач. Во всех прочих отношениях вы в безупречной форме.

Его жизнь едва началась, сказал себе Фергусон, его жизнь еще даже не началась, а самая существенная часть в нем уже мертва.

Падение дома Фергусон.

Никто, ни один другой за ним никогда не последует, никто ни теперь, ни когда бы то ни было еще, до самого скончания времен.

Паденье до ранга примечания в «Книге земной жизни», человек, отныне навеки известный как *Последний из Фергусонов*.

6.1

Позднее, вернее сказать — год, и два, и три спустя, когда бы Фергусон ни оглядывался и ни думал

о том, что произошло между осенью 1966-го и выпуском Эми в начале июня 1968-го, в воспоминаниях его главенствовали несколько событий, отчетливо выделялись, несмотря на прошедшее время, а вот множество других, если не большинство, стерлось до теней: ментальная живопись, составленная из нескольких областей, омытых сильным, проясняющим светом, а другие области скрыты матовостью, бесформенные фигуры, стоящие в мрачных бурых углах холста, а там и сям — кляксы чернейшего ничто, зачерненная тьма черного общежитского лифта.

Трое других, деливших с ними блок, — к примеру, их соученики Мелани, Фред и Стю в первый год, Алиса, Алекс и Фред во второй, — в истории не играли никакой роли. Они приходили и уходили, читали свои учебники и готовили себе еду, спали у себя в постелях и здоровались, когда выскакивали поутру из ванной, но Фергусон едва их замечал и с трудом изо дня в день припоминал их лица. Или наводившая ужас двухлетняя программа по естественным наукам, которую он наконец взял себе на втором году обучения — записался на курс, издевательски называемый «Физика для поэтов», и пропускал почти все занятия, а потом в безумной спешке одних выходных написал ли-

повую лабораторную с помощью одной подруги Эми, математички из Барнарда, — совершенно не важное предприятие. Даже его решение не входить в правление «Спектатора» имело не слишком много веса в повествовании. Вопрос стоял о потраченном времени, не более того, отсутствие интереса тут ни при чем, но Фридман, Мальхаус, Бранч и прочие тратили на газету по пятьдесят-шестьдесят часов в неделю, а это больше, чем желал тратить на нее Фергусон. Ни у одного члена правления не было подруги — на любовь не хватало времени. Ни один из них не писал и не переводил стихов — нет времени на литературу. Никто из них с успехом не справлялся с учебными заданиями — на учебу нет времени. Фергусон уже решил не бросать журналистику после выпуска из колледжа, но теперь ему нужны были Эми, его поэты и его семинары по Монтеню и Мильтону, поэтому он пошел на компромисс — остался в газете репортером и ассоциированным членом правления, все эти годы много писал в газету и раз в неделю служил ночным выпускающим редактором: для этого нужно было приходить в редакцию в Феррис-Бут-Холле и сочинять заголовки к статьям, которые напечатают в завтрашнем утреннем выпуске, готовые

статьи относить на четвертый этаж наборщику Анджело, забирать готовые столбцы, выклеивать макет номера, а затем около двух часов ночи гнать на такси в Бруклин, чтобы отдать макет в типографию, которая печатала двадцать тысяч экземпляров, а те в разгар утра доставят в студенческий городок Колумбии. Участвовать в этом процессе Фергусону нравилось, но ни это, ни его решение не входить в правление, по большому счету, ничего не значили.

А считалось же вот что: в те годы умерли оба его прародителя, дедушка — в декабре 1966-го (сердечный приступ), а бабушка — в декабре 1967-го (инсульт).

Также считалась Шестидневная война (июнь 1967-го), но она началась и закончилась слишком быстро, чтобы уж как-то сильно считаться, зато расовые беспорядки, разразившиеся в Ньюарке на следующий месяц и продлившиеся дольше войны на Ближнем Востоке, изменили все навсегда. Вот его родители празднуют победу крохотных, доблестных евреев над своими циклопическими врагами, а через минуту магазин Сэма Бронштейна на Спрингфильд-авеню уже громят и грабят, а родители Фергусона складывают палатку и сбегают в пустыню — уезжают

не просто из Ньюарка, не просто оставляют за спиной Нью-Джерси, а к концу года оказываются аж в южной Флориде.

Еще одно пятно света на холсте: апрель 1968-го и взрыв в Колумбии, революция в Колумбии, *восемь дней, которые потрясли мир*.

Весь остальной свет на картине омывал только Эми. Тьма над ней и под ней, тьма за ней, тьма по обеим сторонам от нее, но вот сама Эми окутана светом, светом до того сильным, что она в нем почти невидима.

Осень 1966-го. Сходив на полдюжины собраний СДО, приняв участие в трехдневной голодовке на ступенях Библиотеки Лоу в начале ноября в знак протеста против убийств во Вьетнаме, попытавшись донести свои доводы во множестве бесед с соратниками в Вест-Энде, «Венгерской кондитерской» и «Колледж-Инне», Эми постепенно начинала разочаровываться. Они меня не слушают, сказала она Фергусону, когда они вдвоем однажды ночью чистили зубы перед тем, как отправиться спать. Я встаю выступить, а они все смотрят в пол — или перебивают и не дают мне договорить, или дают закончить, а после ничего сами не говорят, а потом, минут через пятнадцать, какой-нибудь парень встает и произ-

носит почти в точности то же самое, что я только что сказала, иногда теми же словами даже, и все аплодируют. Они хамье, Арчи.

Все?

Нет, не все. Мои друзья из НКВ нормальные, хотя жалко, что они меня не поддерживают сильнее, а вот те, кто из фракции ПР, — несносны. Особенно Майк Лоуб, вожак этой стаи. Постоянно обрывает меня, перебивает криками, оскорбляет. Он считает, что женщины в движении должны готовить мужчинам кофе или раздавать листовки дождливыми днями, а во всех прочих случаях нам следует держать рот на замке.

Майк Лоуб. Он ходил на пару занятий со мной. Еще один парнишка из предместий Джерси, как ни жаль мне это признавать. Из тех самозваных гениев, у кого есть ответ на все. Мистер Точняк в клетчатой рубашке лесоруба. Зануда.

Самое смешное, что он ходил в ту же среднюю школу, что и Марк Рудд. А теперь они снова вместе в СДО и еле-еле друг с другом разговаривают.

Потому что Марк идеалист, а Майк — фанатик.

Он считает, что революция случится в следующие пять дет.

Это вряд ли.

Беда в том, что мужчин больше, чем женщин,

раз в двенадцать. Нас слишком мало, и нас легко скидывать со счетов.

Так а чего не отколоться и не образовать свою группу?

В смысле — бросить СДО?

Не надо ничего бросать. Просто перестань ходить на собрания.

И?

И сделаешься первым президентом Женщин Барнарда за мир и справедливость.

Ну и мысль.

Тебе не нравится?

Мы окажемся маргинализованы. Большие вопросы — это сплошь вопросы университетской жизни, национальные вопросы, мировые, и двадцать девчонок без лифчиков, которые станут ходить на демонстрации с антивоенными плакатами, на их решение сильно не повлияют.

А если вас будет сотня?

Столько у нас нет. Нам просто не хватает людей, чтоб нас заметили. Хорошо это или плохо, но, мне кажется, я в тупике.

Декабрь 1966-го. Деда Фергусона сердечный приступ не только прикончил неожиданно (его кардиограммы были стабильны много лет, кровяное давление нормальное), но сама манера его

кончины стала позором для всех в семье, стыдобища. Не то чтоб жена его или дочери, зятья или внук не знали о его тяге гоняться за юбками, о его давней зачарованности внебрачными острыми ощущениями, но никто из них и не подозревал, что семидесятитрехлетний Бенджи Адлер зайдет так далеко, чтобы снять квартиру для женщины в два с лишним раза младше и содержать ее как свою постоянную любовницу на полной ставке. Диди Бриант было всего тридцать четыре. В 1962 году ее наняли секретаршей в «Герш, Адлер и Померанц», и после того, как она проработала в компании восемь месяцев, дед Фергусона решил, что любит ее, решил, что, сколько бы это ни стоило, он должен ею владеть, и когда милая, изгибистая уроженка Небраски Диди Бриант сообщила ему, что готова отдаться в обладание, в стоимость вошли ежемесячная арендная плата за двухкомнатную квартиру на Восточной Шестьдесят третьей улице между Лексингтон и Парк, шестнадцать пар туфель, двадцать семь платьев, шесть пальто, один браслет с брильянтами, один золотой браслет, одно жемчужное ожерелье, восемь пар сережек и один норковый палантин. Роман длился около трех лет (вполне счастливо, по словам Диди Бриант), а затем, морозным днем

в начале декабря, в тот час, когда дед Фергусона предположительно работал у себя в конторе на Западной Пятьдесят седьмой улице, он дошел до жилища Диди на Восточной Шестьдесят третьей, забрался к ней в постель, и тут-то его и сразил обширный инфаркт миокарда — прикончил его, как раз когда он извергал семя в последний раз за свою полную событий, неряшливо организованную, преимущественно приятную жизнь. *La petite mort* и *la grande mort* с интервалом в десять секунд — кончить и скончаться всего за три коротких вздоха.

То была уж точно неловкость, дело непростое. Окаменевшая от ужаса Диди, придавленная весом своего корпулентного любовника, уткнулась взглядом в его лысую макушку и несколько прядей волос, остававшиеся на висках, выкрашенные в коричневый (О, тщеславье стариков), выкарабкалась из-под трупа, а затем вызвала «скорую», которая перевезла ее и окутанное саваном тело деда Фергусона в больницу Ленокс-Хилл, где в 3:52 пополудни Бенджамин Адлер был объявлен скончавшимся по прибытии, а затем бедной, потрясенной Диди пришлось звонить бабушке Фергусона, которая ни сном ни духом не ведала о существовании молодой женщины,

и говорить ей, чтобы тут же ехала в больницу, потому что произошел *несчастный случай*.

Похороны ограничили непосредственной родней. Ни Гершей, ни Померанцев не приглашали, никаких друзей, никаких деловых партнеров, даже Фергусоновых двоюродных бабку с дедом из Калифорнии (старшего брата его деда Сола и его жену-шотландку Марджори). Скандал следовало замять, а крупное публичное мероприятие оказалось бы чересчур для его бабушки, поэтому хоронить деда на кладбище в Вудбридже, Нью-Джерси, поехали всего восемь человек: Фергусон и его родители, Эми, двоюродная бабушка Перл, тетя Мильдред и дядя Генри (прилетевшие из Беркли накануне), а также бабушка Фергусона. Послушали, как раввин читает каддиш, швырнули земли на сосновый ящик в яме, а потом вернулись в квартиру на Западной Пятьдесят восьмой улице обедать, после чего переместились в гостиную и рассредоточились там тремя отдельными группами, тремя раздельными беседами, затянувшимися сильно затемно: Эми на диване с тетей Мильдред и дядей Генри, отец Фергусона и двоюродная бабушка Перл в креслах напротив дивана, а сам Фергусон — за столиком в алькове у передних окон, вместе с матерью и

бабушкой. В кои-то веки говорила преимущественно бабушка. После стольких лет, что она просидела молча, пока ее муж не умолкал со своими нескончаемыми шутками и сбивчивыми анекдотами, она, похоже, воспользовалась своим правом говорить за себя, и то, что она говорила в тот день, изумило Фергусона — не только из-за того, что изумляли сами ее слова, но потому, что изумительно было узнавать, насколько сильно он ее все эти годы недооценивал.

Первым поразительным откровением было то, что она вовсе никак не злилась на Диди Бриант, которую описывала словами *эта хорошенькая девушка в слезах*. И до чего храбро было с ее стороны, говорила его бабушка, не сбежать *как тать в нощи*, как на ее месте поступило бы большинство людей, нет, эта девушка другая, она осталась в больничном вестибюле, пока не появилась ЖЕНА, и ей ничуть не стыдно было говорить о своем романе с Бенджи, или о том, как он ей нравился, или о том, до чего грустно, грустно то, что случилось только что. Бабушка Фергусона не стала винить Диди в смерти Бенджи, а пожалела ее и назвала *хорошим человеком*, а чуть погодя, когда Диди не выдержала и расплакалась (и это было второе поразительное), она ей сказала: *Не*

плачь, милая. Я уверена, он был с тобой счастлив, а мой Бенджи — человек, который нуждался в счастье.

Что-то героическое прозвучало в этом ответе, как показалось Фергусону, какая-то такая глубина человеческого понимания, что опрокидывала все остальное, чего б ни думал он о своей бабушке до того мига, и когда она чуть поерзала в кресле и посмотрела прямо на его мать, глаза ее впервые за весь тот день подернулись слезами, и мгновение спустя она уже заговорила о том, о чем никто из ее поколения никогда не заговаривал, просто и прямо утверждая, что она подвела своего мужа, была ему плохой женой, потому что физическая часть их брака ее никогда не интересовала, половое сношение она считала болезненным и неприятным, и после рождения девочек она сказала Бенджи, что больше так не может, ну разве что время от времени оказать ему услугу, и чего же тут можно было ожидать, спросила она у матери Фергусона, конечно же, Бенджи гонялся за юбками, у этого человека были *неутолимые аппетиты*, и как она могла его в этом упрекать, раз сама подвела его и так скверно справлялась в постельном отделе? Во всех остальных отношениях она его любила, сорок семь лет он был

единственным мужчиной в ее жизни, *и уж поверь мне, Роза, ни единой минуты не чувствовала я, что он не любит меня в ответ*.

Июнь 1967-го. Все свелось к деньгам. Когда в конце января мать сообщила Фергусону, что его отец платит за обучение в Колумбии, за квартиру и еду, за книги и еще дает на карманные расходы — каждые полгода обналичивает порции своего полиса страхования жизни, Фергусон понял, что ему настала пора начать вкладывать что-нибудь побольше тех крошек минимального оклада, который он получал прошлым летом, работая продавцом в книжном, что он обязан перед своими родителями подсобить им всеми мыслимыми дополнительными суммами, какие только способен заработать, — в виде жеста доброй воли, в знак благодарности.

У Эми работа на лето уже маячила. На том поминальном обеде в квартире прародителей она несколько часов проговорила с тетей Мильдред и дядей Генри. Генри был историком, а Эми историю изучала, а потому спелись они на удивление хорошо, и когда дядя Фергусона рассказал ей о проекте, который намеревался начать в июне (изучение американского рабочего движения), Эми завалила его таким количеством *интерес-*

ных вопросов (по словам самого Генри), что вдруг оказалось, что ей предлагают летнюю работу научного ассистента. Работа была в Беркли, конечно, и вот теперь, раз Эми поедет туда в конце весеннего семестра, естественно следовало, что Фергусон отправится с нею. Все зиму и раннюю весну они разговаривали об этом как о своем следующем большом *заграничном приключении* — еще одной Франции, только на сей раз путешествовать они будут по собственной стране. Поездом, самолетом или автобусом, рискуя не доехать в старенькой «импале», на попутках, или подрядившись на какой-нибудь перегон, когда нужно доставить чужую машину в какой-нибудь другой город, — такие им представлялись варианты, и вся штука была в том, чтобы выбрать тот, какой стоил бы меньше всего. И все же было очень важно, чтобы он нашел себе в Беркли работу прежде, чем они туда поедут, весь этот замысел зависел от того, чтобы у него была работа, ибо он не мог себе позволить зря тратить время на поиски чего-нибудь, когда они туда уже прибудут. Тетя Мильдред обещала помочь, она заверяла его, что работы повсюду навалом и никакой загвоздки с этим не будет, но когда в конце марта он ей написал, а потом написал еще раз в середине апреля,

ответы ее были настолько туманны, настолько лишены каких бы то ни было подробностей, что он был почти уверен в том, что она попросту забыла что-нибудь ему подыскать, или еще не начала, или у нее и намерения не было ничего искать, покуда он не выедет в Калифорнию. А потом ему представилась возможность в Нью-Йорке — хорошая возможность, и, несмотря на разочарование, какое она в нем вызвала, он ощущал, что не может от нее отказаться, не рискуя остаться вообще без летней работы. Как ни странно, работа была почти идентичной той, какая выпала Эми, отчего ситуация неким образом еще больше ухудшилась, как будто его превратили в козла отпущения для чьей-то извращенной манеры травить скверные анекдоты. Фергусонову преподавателю по истории современной цивилизации в весеннем семестре заказали летопись Колумбии с момента основания университета до празднования его двухсотлетней годовщины (с 1754-го по 1954-й), и он искал себе научного ассистента, чтобы тот помог ему *оторвать книгу от земли*. Фергусону даже не пришлось подавать заявление на работу. Эндрю Флеминг ему сам ее предложил, поскольку на него произвело большое впечатление то, как его двадцатилетний

студент работает на занятиях и насколько хорошо он способен писать — не только академические работы, но и газетные статьи, и переводы поэзии. Фергусону польстили эти щедрые замечания, но дело решила зарплата — двести долларов в неделю (из университетского гранта), а это значило, что к началу осеннего семестра он сумеет накопить больше двух тысяч долларов, и вот так вот запросто в Калифорнию он уже не ехал. Почти не имело значения, что пятидесятидвухлетний Флеминг всю свою жизнь был закоренелым холостяком и проявлял сильный интерес к молодым людям. Фергусон никогда не сомневался, что преподаватель в него влюблен, — но был уверен, что справится с этим, и ничто не препятствовало согласиться на эту работу.

Он написал тете Мильдред в последний раз в начале мая, надеясь, что в Беркли что-то наконец подвернулось, и это позволит ему отступиться от устного соглашения с Флемингом, скрепленного рукопожатием, перед тем, как он начнет работать на него, но две недели прошли без ответа, и когда он наконец высадил кучу денег на междугородний звонок в Калифорнию, тетя заявила, что никакого письма она не получила. Фергусон подозревал, что она *лжет*, но подозрений своих

высказать не мог без доказательств, да и какая в любом случае разница? Мильдред не сознательно саботировала его план, она просто была ленива, вот и все, дело она пустила на самотек, а теперь было уже слишком поздно что-то исправлять, и его тетка, некогда так голубившая своего одного-единственного Арчи, подвела его по-крупному.

Эми страдала. Фергусон был в отчаянии. Мысль о том, что им придется разлучиться друг с дружкой на два с половиной месяца, была ужасна настолько, что даже заговаривать об этом никак не удавалось, однако ни один из них не видел выхода из создавшегося положения. Эми сказала, что восхищается им — он *ведет себя как взрослый* (пусть даже он и ощущал, что она немного на него сердится), и хоть Фергусона и подмывало попросить ее отменить поездку и остаться в Нью-Йорке, он знал, что с его стороны сделать это будет самонадеянно и неправильно, поэтому так и не попросил. Пятого июня разразилась Шестидневная война, а через день после того, как она закончилась, Эми в одиночку снялась на Беркли. Родители дали ей денег на авиабилет, и Фергусон в то утро ее отъезда отправился с ними в аэропорт. Неловкое, несчастливое прощание. Никаких слез или шикарных жестов, но долгие,

мрачные объятия, сопровождаемые заверениями писать друг дружке как можно чаще. Вернувшись к себе в комнату на Западной 111-й улице, Фергусон уселся на кровать и уставился в стену перед собой. В соседней квартире плакал ребенок, он услышал, как какой-то мужчина кричит кому-то *Блядь* на тротуаре пятью этажами ниже, и тут вдруг Фергусон осознал, что совершил худшую ошибку всей своей жизни. Есть ли работа, нет ли работы — нужно было поехать с нею и сыграть тем, что ему сдадут. Так ведь и полагается жить, такой прыгучей жизни он же себе и хотел, *жизни танцующей*, а вот теперь предпочел долг приключению, ответственность перед родителями — любви к Эми, и он ненавидел себя за собственную осторожность, за свое сердце трудяги, ковыряющегося в грязи. Деньги. Вечно эти деньги. Вечно этих денег не хватает. Впервые в жизни ему стало интересно, каково это — родиться непристойно богатым.

Еще одно лето в жарком Нью-Йорке с полоумными и радиоприемниками, слушать, как храпит и пердит временный жилец в комнате Эми по соседству, пока сам будет лежать ночью в постели, потеть, рубашки и носки пропотевают насквозь еще до полудня, и ходить по улицам,

сжав кулаки, что ни час, то у них в районе теперь ограбления под угрозой ножа, четверых женщин изнасиловали в лифтах их зданий, будь наготове, глаза держи нараспашку и старайся не дышать, когда проходишь мимо мусорного бака. Долгие дни в копии Парфенона на миллион книг, называемой Библиотекой Батлера, делаешь выписки о дореволюционной Колумбии, которая тогда называлась Кингс-колледжем, и условиях жизни в Нью-Йорке середины восемнадцатого века (по улицам носятся свиньи, повсюду конский навоз), о первом колледже штата, пятом колледже где бы то ни было в стране вообще, Джон Джей, Александр Гамильтон, Гувернер Моррис, Роберт Ливингстон, первый главный судья Верховного суда, первый секретарь Казначейства, автор последнего варианта Конституции США, член комитета пяти, сочинившего первый черновик Декларации независимости, Отцы-основатели в молодости, в детстве, во младенчестве, бегают по улицам вместе со свиньями и лошадьми, а затем, после пяти или шести часов в затхлом Батлере — перепечатать эти выписки для Флеминга, с которым Фергусон встречался дважды в неделю в «Вест-Энде» с кондиционированным воздухом, всегда там и никогда не в кабинете у Флеминга

и не в его квартире, ибо хоть добрый, учтивый, глубоко интеллигентный историк и пальцем Фергусона ни разу не коснулся, глаза его не отлипали от Фергусона, взгляд вечно выискивал поощрения или какой-нибудь ответной истомы, и этого довольно, ощущал Фергусон, поскольку Флеминг ему нравился, и он не мог того не жалеть.

Меж тем Эми находилась в стране хиппи в трех тысячах миль к западу, Эми была в Райском саду, Эми бродила по Телеграф-авеню в Беркли Летом любви, и Фергусон читал и перечитывал ее письма при любом удобном случае, чтобы и дальше в ушах у него звучал ее голос, носил их с собой в библиотеку каждое утро и принимал как пилюли против скуки всякий раз, когда работа грозила ввергнуть его в кому, и письма, что он писал ей в ответ, были легки, быстры и смешны, насколько у него это получалось, без всяких рассуждений о войне, или тухлой вони на улицах, или женщинах, изнасилованных в лифтах, или том мраке, что обволок собою его сердце. *Похоже, ты там проводишь лучшее время в своей жизни*, писал он в одном из сорока двух писем, что отправил ей тем летом. *А тут, в Нью-Йорке, я провожу жизнь своего времени.*

Июль 1967-го. По мнению Фергусона, самым

прискорбным в этих прискорбных ньюаркских беспорядках было то, что их ничто не могло предотвратить. В отличие от большинства крупных событий, происходивших в мире, которые тоже могли бы не произойти, если бы люди яснее мыслили (Вьетнам, к примеру), Ньюарк был неизбежен. Не до масштабов убитых двадцати шести человек, быть может, или семи сотен раненых, или пятнадцати сотен арестованных, или девяти сотен разгромленных заведений, или испорченной собственности на десять миллионов долларов, но Ньюарк был тем местом, где все шло не так много лет, и шесть дней насилия, начавшиеся двенадцатого июля, стали логичным выходом из ситуации, справиться с которой можно было лишь насилием, не тем, так иным. То, что черного таксиста по имени Джон Смит арестовали за то, что он незаконно обогнал полицейскую машину, а потом избили дубинками двое белых легавых, стало не столько причиной, сколько следствием. Если б то был не Смит, на его месте оказался бы какой-нибудь Джонс. А если б не Джонс, то был бы Браун, или Вайт, или Грей. Случилось же так, что им оказался Смит, и когда произведшие арест офицеры Джон Десимон и Вито Понтрелли уволокли его в четвертый участок, среди жителей

крупного многоквартирного дома через дорогу быстро разнесся слух, что Смита убили. Неправда, как впоследствии выяснилось, но более глубокая правда состояла в том, что население Ньюарка больше чем на пятьдесят процентов было теперь черным, и большинство этих двухсот двадцати тысяч человек были бедны. В Ньюарке — самый высокий процент низкокачественного жилья в стране, второе место по уровню преступности, второе место по уровню детской смертности, а уровень безработицы — вдвое выше, чем в среднем по стране. Все муниципальное правительство было белым, департамент полиции состоял из белых на девяносто процентов, и почти все контракты на строительство доставались подрядчикам, контролируемым мафией, которые благодарили городских чиновников, им помогавшим, щедрыми откатами и отказывались нанимать черных рабочих, поскольку те не входили в полностью белые профсоюзы. Система настолько прогнила, что Городскую ратушу частенько называли Слямзаводом.

Некогда Ньюарк был городком, где люди что-то делали, городком фабрик и «синих воротничков», и в нем производилось все на свете — от наручных часов до пылесосов и свинцовых труб, от

бутылок до бутылочных ершиков и пуговиц, от расфасованного хлеба до кексиков и итальянской салями в фут длиной. Теперь же дома из веток разваливались, фабрики позакрывались, а белый средний класс переезжал в предместья. Родители Фергусона проделали это еще в 1950-м и, насколько он мог судить, были единственными, кто потом вернулся, но Виквоик был все ж не вполне Ньюарком, то был еврейский поселок на юго-западном краю воображаемого Ньюарка, и там-то все было безмятежно от начала времен. Семьдесят тысяч евреев в одном месте, великолепный парк в триста одиннадцать акров, устроенный Олмстедом, и средняя школа, из которой вышло больше докторов философии, нежели из любой другой средней школы в стране.

Вечером двенадцатого Фергусон пил пиво в «Вест-Энде», а когда вернулся в квартиру в самом начале второго, у него звонил телефон. Он снял трубку и услышал, как на том конце провода орет его отец: Ты где, к черту, шляешься, Арчи? Ньюарк горит! Они побили витрины и грабят магазины! Легавые палят из пушек, а твоя мать на Спрингфильд-авеню делает снимки для своей чертовой газеты! Улицу перекрыли, сам я не могу туда пройти! Приезжай домой, Арчи! Ты

мне здесь нужен — и не забудь прихватить свою пресс-карту!

О том, чтобы отправиться в центр и поймать там автобус от терминала Портоуправления, и думать-то было поздно, поэтому Фергусон тормознул на Бродвее такси и велел водителю гнать — эту фразу он десятки раз слышал в кино, но ни разу не произносил сам, и хотя поездка обошлась ему в без двух тридцать четыре доллара, что были у него в бумажнике, до жилого дома на Ван-Велсор-плейс он добрался меньше чем за час. К счастью, на соседних улицах было спокойно. Беспорядки начались в Центральном районе, а позднее распространились на другие районы центра, но Южный оставался по-прежнему не затронут. Еще больше успокаивало то, что мать только что вернулась домой, и взвинченный, чуть не слетевший с катушек отец уже начинал снова нащупывать эти самые катушки.

Никогда ничего подобного не видела, сказала мать. «Коктейли Молотова», выпотрошенные магазины, легавые с пистолетами наготове, пожары, повсюду люди в неистовстве носятся — чистый хаос.

Магазина Сэма больше нет, сказал его отец. Он час назад звонил и сказал, что ничего не осталось.

Обезумевшие, дикие звери, вот кто они такие. Вообрази — сжигать собственный район. Глупее этого я не слышал ничего.

Я ложусь спать, объявила его мать. Я вымоталась, а утром спозаранку мне нужно быть в «Леджере».

Больше не надо, Роза, сказал отец.

Чего больше не надо, Станли?

Больше никакой фронтовой фотографии.

Это моя работа. Я должна ее выполнять. Один человек в этой семье уже без работы из-за сегодняшней ночи, и никуда я не денусь — буду работать.

Тебя могут убить.

Не убьют. Мне кажется, все уже почти закончилось. Все разбредались по домам, когда я уходила. Вечеринка свернулась.

Ну, или так она думала, и так считали многие другие, даже мэр Гью Аддоницио, кто просто отмахнулся от беспорядков, мол, всего-навсего *несколько бутылок разбили*, но когда волнения на следующий вечер начались сызнова, мать Фергусона вновь вышла с фотоаппаратом на улицы, и на сей раз Фергусон был с нею — прихватив свои корреспондентские удостоверения как «Монклер Таймс», так и «Колумбия Спектатор» на тот

случай, если его остановит полиция и попросит предъявить документы. Отец провел весь день с Сэмом Бронштейном в его разгромленном магазине спортивных товаров — оценивал ущерб, забивал то, что некогда было витринами, листами фанеры, выискивая то немногое, что пока оставалось, и он все еще не вернулся от Сэма, когда Фергусон с матерью после заката направились к Спрингфильд-авеню. Отец мыслил, что Фергусон здесь для того, чтобы защищать свою мать, но, по мысли Фергусона, он был здесь потому, что хотел быть здесь, поскольку мать его не нуждалась в защите, пока делала свою работу — снимала, а выполняла она ее с примечательным спокойствием и дисциплинированно, казалось ему, так собранно и сосредоточенно на своих действиях, что совсем немного погодя Фергусон осознал, что это она его защищает. В тот вечер в Центральном районе собрался большой отряд журналистов и фотографов, люди из ньюаркских газет, нью-йоркских газет, из журнала «Лайф», из «Тайма» и «Ньюсвика», из «А. П. Рейтерс», из подпольной прессы, черной прессы, бригады радио и телевидения, и все они по большинству держались одной кучей, наблюдая, как вдоль Спрингфильд-авеню катится вал суматохи. Наблюдать такое

было тревожно, и Фергусон открыто признался себе, что нервничает, временами ему даже страшно, но он также был взбудоражен и изумлен, совершенно не готов к взрывной энергии, какая вскипала вдоль улицы, к этой смеси накаленной эмоции и безрассудного движения, что, казалось, сплавляют злость и радость в такое чувство, какого он нигде и никогда раньше не встречал, новое чувство, которому еще предстояло дать имя, и не только не было оно чокнутым, каким назвал его отец, оно и глупым не было, поскольку черная толпа систематически набрасывалась на те заведения, которыми владели белые люди, многие из них — белые евреи, и в то же время щадила те, какими владели черные, витрины, на которых были написаны слова «братан по духу», и вот тем самым они сообщали белому человеку, что на него смотрят как на вражеского захватчика и ему пора валить из их страны. Не то чтоб Фергусон это считал хорошей мыслью, но такое хотя бы имело какой-то смысл.

И вновь бунт постепенно сошел на нет, и вновь все разбрелись по домам, и на сей раз казалось, что все закончилось насовсем, вторая ночь двухсуточного загула разрушения и анархического высвобождения, но вот чего не знал никто в

расходившейся толпе — что в двадцать минут третьего мэр Аддоницио позвонил губернатору Ричарду Гьюсу и попросил его прислать Национальную гвардию и полицию штата Нью-Джерси. К рассвету через город покатились танки гвардейцев, пять тысяч тяжело вооруженных солдат занимали позиции на улицах Центрального района, и на последующие три дня в Ньюарк вошла Вьетнамская война, поскольку хоть ни один вьетконговец и не называл Мохаммеда Али негритосом, черное население Ньюарка теперь превратили во вьетконговцев.

Губернатор Гьюс: «Это преступное восстание людей, утверждающих, что они ненавидят белого человека, хотя на самом деле ненавидят они Америку».

КПП с колючей проволокой. В десять вечера — комендантский час для машин, к одиннадцати чтоб никого на улицах уже не было. Мародерство прекратилось, и возбуждение первых двух ночей переросло в городскую войну, натуральные боевые действия, где оружием служили винтовки, автоматы и пламя. Белого капитана пожарной охраны по имени Майкл Моран, тридцати восьми лет, отца шестерых детей, застрелили, когда он стоял на лестнице, расследуя сигнал пожарной

тревоги на Централ-авеню, и с того момента Гвардия и полиция штата исходили из допущения, что весь город кишит черными снайперами, засевшими на крышах и целящими в любого белого, кто попадался им на глаза. То, что двадцать четыре из двадцати шести людей, убитых в те дни, оказались черными, похоже, опровергало такое допущение, но оно позволило Гвардии и полиции расстрелять тринадцать тысяч патронов, паля прямо в окна квартиры на втором этаже, где проживала женщина по имени Ребекка Браун, к примеру, и убить ее, как это описывал «Стар-Леджер», «шквалом пуль», или всадить еще двадцать три пули в тело Джимми Рутледжа, или подстрелить двадцатичетырехлетнего Билли Фурра за преступление, состоявшее в том, что он взял холодную газировку из уже разграбленного гастронома и отдал ее хотевшему пить фотографу из журнала «Лайф».

При этом мать Фергусона делала все возможное, чтобы и дальше снимать, но ей приходилось работать и днем — фотографировать танки, солдат и теперь уже разгромленные предприятия черных по всему Центральному району, сотни снимков, документировавших все аспекты столкновения, какие она считала значимыми, а поскольку отец

Фергусона вогнал себя в панику насчет безопасности Розы, он теперь настаивал на том, чтобы всюду ее сопровождать, куда б та ни отправилась, и все те три дня из такого решения следовало то, что он сидел с нею на заднем сиденье старой «импалы», а Фергусон катал родителей по всему городу, а затем, с приближением комендантского часа, завозил катушки непроявленной пленки в здание редакции «Стар-Леджера», после чего возвращался в квартиру на спокойной Ван-Велсор-плейс. Сквозь ужас тех дней восхищение Фергусона матерью продолжало расти. Чтобы сорокапятилетняя женщина, которая всю жизнь была портретисткой в ателье, а в журналистике начала работать, снимая приемы в садах предместий, могла отправиться делать то, что она делала сейчас, поражало его как одно из самых невероятных человеческих преображений, какие он когда-либо наблюдал. Вот что служило ему единственным утешением, поскольку от всего остального в тот период его тошнило, душе его было тошно, его выворачивало наизнанку, тошнило от мира, в котором он жил, и легче не становилось оттого, что его отец каждый вечер бесился из-за *них*, проклятых *шварцес*, и того, как ненавидят они *нас*, евреев, и это конец всему,

объявлял он, он будет ненавидеть их в ответ веки вечные, с этого мига и дальше, ненавидеть их яростно каждую минуту, покуда не настанет тот день, когда он умрет, и вот во время одной такой тирады Фергусону стало до того противно, что он вышел из себя и велел отцу заткнуться, чего прежде никогда в жизни себе не позволял.

Войска вывели семнадцатого, и к тому времени, как последний танк покинул город, война завершилась.

Все остальное тоже закончилось, по крайней мере — для евреев Виквоика, которые, казалось, разделяли воззрения отца Фергусона на то, что произошло, и за шесть последовавших месяцев почти ни одной семьи в районе больше не осталось, некоторые переехали в ближайший Элизабет, другие направились в предместья округов Эссекс и Моррис, и в районе, бывшем некогда целиком еврейским, не стало ни одного еврея. До чего странно, что большинство родителей и прародителей черных, живших в Ньюарке, приехали сюда с Юга во времена Великой миграции между войнами, а вот теперь, поскольку фотоснимки беспорядков, которые сделала его мать, оставили определенный след в мире, и ей предложили новую работу в «Майами Геральде», его родители

менялись местами с их черными соседями и сами направлялись на юг.

Ужасно было смотреть им вслед.

Осень 1967-го. Что-то в солнечном свете, или свете звезд, или лучах луны в Калифорнии высветлило волосы Эми и затемнило цвет ее кожи, и она вернулась в Нью-Йорк с бровями и ресницами бледнее, светлее, а щеки ее, руки и ноги излучали более смуглое сияние, золотисто-бурое, цвета только что испеченного кекса или ломтя теплого, намасленного тоста. Фергусону хотелось ее съесть. После двух с половиной месяцев мук целибата ему вечно было мало ее, а поскольку и она целое лето голодала, играя роль, как она выразилась, *монашки без поблажек*, то пребывала в необычайно легковозбудимом состоянии, готова была давать ему столько же, сколько он был готов давать ей, и Фергусон, понимавший теперь, что унаследовал большую часть, если не все *неутолимые аппетиты* своего деда, готов был отдавать ей все, что в нем было, чем и занимался, и Эми занималась тем же, так же, и три дня подряд после того, как она вернулась в квартиру на Западной 111-й улице, она разбила лагерь на двуспальной кровати у нее в комнате и заново знакомились с той неведомой силой, что удерживала их вместе.

Тем не менее кое-что поменялось, и не все это Фергусону пришлось по вкусу. Для начала, Эми влюбилась в Калифорнию или, по крайней мере, в ту часть Калифорнии, что была Районом Залива, и девушка, которой раньше совершенно не по силам было покинуть Нью-Йорк, теперь деятельно раздумывала, не подать ли ей документы в юридический институт в Беркли на следующий год. Дело не в юриспруденции. Фергусон был целиком и полностью за то, чтоб она стала юристом, это они много раз уже обсуждали в прошлом, адвокатом бедняков, юристом-активистом, такая профессия позволит ей принести миру больше пользы, чем организацией антивоенных демонстраций или забастовок квартиросъемщиков против алчных, безответственных хозяев жилья, поскольку война неизбежно однажды закончится (надеялась она), и гораздо больше удовлетворения в том, чтобы засадить алчных домохозяев в тюрьму, нежели умолять их включить отопление, или извести крыс, или содрать свинцовую краску. Само собой, стать юристом — но Калифорния, о чем это она? Разве она не помнит, что на следующий год он еще будет в Нью-Йорке? Разлука на все лето и без того паршива, но целый год в разлуке — он от этого с ума сойдет. И с

чего она взяла, что ему захочется ехать за нею в Калифорнию после того, как он закончит учебу? Неужели она не может пойти в разумный юридический институт, типа Колумбии, или УНЙ, или Фордама, и остаться с ним в квартире? Зачем все так, блядь, усложнять?

Арчи, Арчи, не увлекайся. Это пока что умозрительное рассуждение.

Меня поражает, что ты о таком вообще задумалась.

Ты не знаешь, каково оно там. После двух недель я перестала думать о Нью-Йорке и была рада не думать о нем. Такое чувство, что я там дома.

Раньше ты не так говорила. Нью-Йорк — *самое то*, помнишь?

Мне было шестнадцать, когда я так сказала, и я еще не побывала в Беркли или Сан-Франциско. А теперь, пожилой двадцатилетней женщиной, я передумала. Нью-Йорк — вонючая дыра.

Согласен. Но не целиком. Мы всегда сможем переехать в другой район.

Северная Калифорния — самое прекрасное место в Америке. Там красиво, как во Франции, Арчи. Не верь мне на слово, если не хочешь. Сам посмотри.

Я сейчас как бы занят.

Рождественские праздники. Можем туда съездить на зимних каникулах.

Прекрасно. Но даже если я пойму, что это лучшее место на свете, проблемы это все равно не решит.

Какой проблемы?

Проблемы годовой разлуки.

Переживем. Будет не так трудно.

Я вытерпел самое одинокое, самое убогое лето в своей жизни. Было трудно, Эми, очень трудно, так трудно, что я едва сумел выдержать. Целый год меня, вероятно, уничтожит.

Ладно, трудно. Но я также считаю, что нам это полезно. Быть одному, спать одному, скучать друг по дружке и писать письма — мне кажется, это укрепило нас как пару.

Ха.

Я же правда тебя люблю, Арчи.

Я знаю, что любишь. Но иногда мне кажется, что свое будущее ты любишь больше мысли быть со мной.

Декабрь 1967-го. Той зимой они так и не добрались до Калифорнии, потому что умерла бабушка Фергусона — умерла от чего-то вроде такого же внезапного внутреннего взрыва, какой прикон-

чил его деда годом раньше, и поездку пришлось отменить ради посещения еще одной похоронной церемонии в Вудбридже, Нью-Джерси. Затем последовала лихорадочная неделя, когда множество рук приняло участие в распоряжении бабушкиным имуществом и очистке ее квартиры, что следовало завершить в рекордное время, потому что родители Фергусона уже были на самой грани переезда во Флориду, поэтому все поднатужились и вложили силы, чтобы помочь, Фергусон — само собой, но также Эми, кому в итоге выпало больше всех трудов, и Ненси Соломон с мужем Максом, и Бобби Джордж, которого уволили из армии, и он вернулся в Монклер и приводил себя в форму перед весенними тренировками, и даже Диди Бриант, завязавшая дружбу с бабушкой Фергусона после дедовой смерти, — она по ней плакала так же сильно, как и некогда по нему (ну кто в здравом уме вообще когда-либо станет утверждать, что в жизни есть какой-то смысл?), а матери Фергусона требовалась любая помощь, потому что она была так расстроена, проливала на той неделе больше слез, чем общая сумма ею пролитого при Фергусоне с его детства по нынешнее время, да и сам Фергусон ощущал, как его обуревает могучая печаль, не просто потому, что

он потерял бабушку, что само по себе было горем, но еще из-за того, что ему страшно не нравилось видеть, что происходит с квартирой, — медленная разборка комнат, где один предмет за другим заворачивался в газеты и складывался в картонные коробки, все, что было частью его жизни еще с тех пор, как он и не помнил себя живым, захудалые мелкие безделушки, с какими он играл, ползая ребенком на четвереньках, бабушкины слоники из слоновой кости и бегемот из зеленого стекла, пожелтевшая кружевная салфетка под телефоном в прихожей, дедушкины трубки и пустые хумидоры, куда он любил совать нос, чтобы поглубже вдохнуть едкие табачные ароматы, оставшиеся после давно исчезнувших сигар, все теперь ушло, все навеки пропало, а худшее — то, что бабушка намеревалась ехать вместе с его родителями во Флориду и вселяться с ними в новую квартиру в Майами-Бич, и пусть она даже утверждала, будто с нетерпением этого ждет (*Приедешь меня навестить, Арчи, и мы сходим позавтракаем в «Вулфис» на Коллинз-авеню, возьмем там по омлету с копченой лососиной и луком*), он подозревал, что мысль покинуть эту квартиру после стольких лет приводила ее в ужас, и, быть может, она сама навлекла на себя

инсульт, потому что просто не могла с этой мыслью свыкнуться.

Именно тогда деньги были последним, о чем Фергусон задумывался, он, кто редко прекращал думать о деньгах и беспокоиться из-за них в повседневном течении собственной жизни, упустил подумать над вопросами наследства и финансовых итогов, вытекающих из чьей-либо кончины, но дед его за свои долгие годы в компании «Герш, Адлер и Померанц» зарабатывал значительные куски денег, и пусть даже крупные порции этих кусков были растрачены на Диди Бриант и ее предшественниц, бабушке Фергусона в наследство после смерти мужа досталось более полумиллиона долларов, и вот теперь, когда сама она скончалась, деньги эти перешли к двум ее дочерям, Мильдред и Розе, каждой — по половине согласно условиям завещания, и как только были выплачены налоги на наследство, тетя и мать Фергусона обе стали на двести тысяч долларов богаче, нежели были прежде, до смертельного удара, поразившего их мать. Двести тысяч долларов! То была настолько несообразная сумма, что Фергусон расхохотался, когда мать в конце января позвонила ему с этим известием из Флориды, а потом захохотал еще сильней, когда она объяви-

ла, что половина ее половины отойдет ему.

Мы с твоим отцом все это прикинули очень тщательно, сказала она, и считаем, что так будет справедливо, если и ты теперь что-нибудь получишь. Цифра, на которой мы остановились, — двадцать тысяч. Остальные восемьдесят мы от твоего имени вложим, поэтому, если и когда ты окажешься в таком положении, что тебе могут понадобиться какие-то из этих средств, восемьдесят уже превратятся в больше, чем восемьдесят. Ты уже взрослый мальчик, Арчи, и мы прикинули, что двадцати тебе как раз хватит завершить три последние семестра колледжа, и еще останется славный запас для начала твоей так называемой настоящей жизни, подушка в шесть или восемь тысяч долларов, которая даст тебе возможность устраиваться на такую работу, какую ты по-настоящему захочешь, а не на ту, которую, как тебе покажется, ты обязан выбрать, потому что тебе отчаянно нужны деньги. Кроме этого, так будет легче и нам, старикам в Майами-Бич. Твоему отцу не придется больше посылать тебе ежемесячно чеки на квартиру и карманные расходы, ему не нужно будет больше думать о плате за обучение, все станет проще для всех нас, и отныне ты сам себе будешь хозяин.

Что я сделал, чтобы такое заслужить? — спросил Фергусон.

Ничего. А что я сделала, чтобы самой заслужить этих денег? Ничего. Так оно просто все устроено, Арчи. Люди умирают, а мир продолжает жить, и что мы в силах сделать, чтобы выручать друг друга, ну, то и делаем, верно же?

Январь 1968-го. Поскольку Эми была таким человеком, кто, решившись, никогда не отступался, она твердо стояла на своем — и отправила заявление в Юридический Беркли, а поскольку Фергусон знал, что она туда неизбежно попадет и решит ехать, как только ее примут, пусть даже примут ее и в Колумбию, и в Гарвард, он попытался утешаться тем, что думал о деньгах, которые позволят ему ездить в Калифорнию и недолго навещать ее там, а иногда задерживаться и подольше, если она предпочтет не возвращаться в Нью-Йорк на Рождество и/или весенние каникулы, и вот так, быть может, удастся пережить этот год и не чувствовать себя раздавленным ее отсутствием. Маловероятно, подумал он, но деньги хотя бы дадут ему теперь эту возможность, а вот прежде, до денег, совершенно никакой надежды у него не было.

Помимо этого, интересно в деньгах было вот

еще что: насколько мало они воздействовали на внешние обстоятельства его жизни. Он немного меньше теперь колебался, покупая те книги и пластинки, какие ему хотелось купить, скорее менял изношенную одежду и обувь с чуть большей готовностью, чем в прошлом, и когда б ему только ни хотелось сделать Эми сюрприз или подарок (преимущественно цветы, но еще и книги, пластинки и сережки), он мог поддаваться порыву, не задумываясь. А помимо этого изменилось немногое. Он продолжал ходить на занятия и писать статьи для «Спектатора», переводить французские стихи и часто заглядывать в свои обычные недорогие места — «Вест-Энд», «Зеленое дерево», «Битком орехов», — но внутри, где-то в глубине подтопленной умственной камеры, в которой Фергусон жил один в безмолвной связи с собственным сознанием, кое-что одно теперь сильно поменялось. На счету в Первом национальном городском банке, на углу Западной 110-й улицы и Бродвея, у него лежали тысячи долларов, и просто знать, что они там есть, даже если его не одолевает желание их потратить, освобождало от обязанности думать о деньгах по семьсот сорок шесть раз на дню, что, в итоге, было так же скверно, если не хуже, чем иметь недостаточно

денег, поскольку мысли те были мучительны и даже убийственны, и не думать их больше — благословение. Вот в чем состояло подлинное преимущество имения денег перед неимением денег, решил он, — не то, что можешь купить на них больше вещей, а то, что тебе больше не нужно таскаться с этим адским мысленным пузырем над головой.

Начало 1968-го. Фергусон рассматривал ситуацию как череду концентрических кругов. Внешний круг — война и все, что к ней прилагалось: американские солдаты во Вьетнаме, противостоящие им противники с Севера и Юга (Вьетконг), Хо Ши Мин, правительство в Сайгоне, Линдон Джонсон и его кабинет, международная политика США со времени окончания Второй мировой войны, подсчет потерь, напалм, горящие деревни, сердца и умы, эскалация, усмирение, почетный мир. Второй круг представлял собой Америку, двести миллионов на внутреннем фронте: пресса (газеты, журналы, радио, телевидение), антивоенное движение, провоенное движение, движение «Черная власть», контркультурное движение (хиппи и йиппи, дурь и ЛСД, рок-н-ролл, подпольная пресса, «Комиксы Зап», «Веселые проказники», «Ебилы»), Каски

и публика Люби-или-Вали, пустой воздух, занятый так называемой пропастью поколений между родителями среднего класса и их детьми, и огромная толчея безымянных граждан, которая станет в итоге известна как Молчаливое Большинство. Третий круг — Нью-Йорк, что был почти идентичен второму кругу, но прилегал к Фергусону непосредственнее, нагляднее: лаборатория, наполненная образцами вышеупомянутых общественных течений, какие Фергусон мог воспринимать непосредственно собственными глазами, а не через фильтр написанных слов или опубликованных изображений, все это время учитывая нюансы и частности самого Нью-Йорка, который отличался от всех прочих городов в Соединенных Штатах, в особенности — из-за громадной пропасти между богатыми и бедными. Четвертый круг — Колумбия, временное обиталище Фергусона, ближайший подручный мирок, окружавший его и его однокашников, охватывающий их участок заведения, больше не отгороженного от мира снаружи, ибо стены рухнули, и то, что снаружи, стало теперь неотличимо от того, что внутри. Пятый круг — индивид, каждая отдельная личность в любом из четырех других кругов, но в случае Фергусона больше все-

го считались те индивиды, кого он знал лично, превыше прочих — все друзья, с которыми он делил жизнь в Колумбии, а превыше всех этих прочих, конечно, индивид индивидов, точка в центре малейшего из пяти кругов, та личность, которой был он сам.

Пять царств, пять отдельных реальностей, но каждая связана с остальными, а это означало, что, когда что-то происходило во внешнем круге (война), воздействие этого ощущалось по всей Америке, в Нью-Йорке, в Колумбии и во всех до последней точках во внутреннем круге частных, индивидуальных жизней. Например, когда весной 1967-го военные действия обострились, пятнадцатого апреля по улицам Нью-Йорка прошло полмиллиона человек — в знак осуждения войны и с призывом к немедленному выводу американских войск из Вьетнама. Через пять дней после этого в студгородке Колумбии к северу от центра у Джон-Джей-Холла собрались триста членов СДО, чтобы «задать несколько вопросов» вербовщикам из морской пехоты, установившим свои столики в вестибюле, и на собравшихся накинулась банда качков и пацанов — флотских резервистов, что привело к кровавой потасовке с мордобоем и сломанными носами, которую

пришлось разгонять силами полиции. На следующий день во дворе Ван-Ама между Джон-Джеем и Гамильтон-Холлом состоялась крупнейшая за последние тридцать лет демонстрация в Колумбии: восемьсот членов и сторонников СДО протестовали против вербовщиков морской пехоты в студгородке, а пятьсот про-морпеховски настроенных качков-крикунов швыряли в них яйца из-за ограды Южного поля, устроив там собственную контрдемонстрацию. И Фергусон, и Эми оба участвовали в этом хаосе, она — как действующее лицо, а он — как свидетель-репортер, и когда он тем же вечером в «Вест-Энде» изложил ей свою теорию концентрических кругов, она ему улыбнулась и сказала: Но, разумеется, мой дорогой Холмс, как это умно.

Штука состояла в том, что ни одна сторона не была довольна. Сторонники войны все больше и больше раздражались на неспособность Джонсона ее выиграть, а противники все больше и больше раздражались на свою неспособность вынудить Джонсона ее завершить. Война же меж тем продолжала расти, пять сотен тысяч солдат, пятьсот пятьдесят тысяч, и чем больше она становилась, тем больше внешний круг давил на другие круги, притискивая их друг к другу все

туже, и уже совсем скоро пространства между ними сжались до узких зазоров воздуха, отчего одиночкам, застрявшим в центре, становилось трудно дышать, а когда человеку трудно дышать, он начинает паниковать, а паника — она сродни безумию, ощущению того, что ты утратил рассудок и сейчас умрешь, и к началу 1968 года Фергусон уже начал думать, что с ума сошли все, стали безумцами, как те психи, что громко разговаривают сами с собой на Бродвее, и сам он постепенно стал таким же безумным, как все остальные.

Потом, в те первые месяцы нового года, все пошло вразнос. Штурмовые атаки вьетконговских коммандос-подрывников на более чем сотню южновьетнамских городов и поселков при Тетском наступлении тридцатого января подтвердили, что Америке никогда не выиграть эту войну, пусть даже американские войска отбивались и одолевали противника в каждом бою этого наступления, пусть даже они убили тридцать семь тысяч вьетконговцев в сравнении с потерями США в две тысячи человек, а десятки тысяч других вьетконговских бойцов было ранено либо захвачено в плен, и полмиллиона мирных южновьетнамцев оказались бездомны-

ми беженцами. Послание американской публике состояло в том, что северовьетнамцы не сдадутся никогда, они будут продолжать борьбу, пока не погибнет последний человек в их стране, а сколько еще американских солдат понадобится для того, чтобы эту страну уничтожить, придется ли увеличить те пятьсот тысяч, что уж там, до миллиона, до двух миллионов, до трех миллионов, и если да, то не будет ли уничтожение Северного Вьетнама также означать уничтожение Америки? Через два месяца Джонсон выступил по телевидению и объявил, что осенью не станет выдвигаться на переизбрание. То было признание неудачи, свидетельство того, что общественная поддержка войны размылась до такой степени, что его политическим решениям давали от ворот поворот, и Фергусон, восхищавшийся хорошим Джонсоном и его Войной с нищетой, Законом о гражданских правах и Законом об избирательных правах и презиравший плохого Джонсона и его Вьетнам, оказался в незавидном положении: ему стало жаль президента Соединенных Штатов, по крайней мере — на минуту или две, какие потребовались на то, чтобы попробовать влезть в голову Линдона Джонсона и пережить муку, которую, должно быть, тот ощущал, решая

отказаться от престола, а потом Фергусон обрадовался: ему стало и радостно, и легко от того, что ЛБД скоро уберется.

Через пять дней после этого в Мемфисе совершили покушение на Мартина Лютера Кинга. Еще одна пуля, выпущенная американским ничтожеством, еще один удар по коллективной нервной системе, а затем сотни тысяч людей выбежали на улицы и принялись бить стекла и поджигать здания.

Сто двадцать восемь Ньюарков.

Пять концентрических кругов слились в один черный диск.

Теперь он был пластинкой, и песня, что он продолжал играть, — старый блюзовый номер под названием «Так больше не могу, моя сладкая, потому что сердце очень болит».

Весна 1968-го (I). Эми теперь редко бывала рядом. В Барнарде у нее настал последний семестр, а поскольку она уже выполнила все академические требования и ей почти хватало баллов для выпуска, учебная нагрузка по курсам у нее была той весной исключительно легка, что позволяло ей почти все свое тратить на политическую работу в СДО. До этого самой серьезной заботой у Фергусона оставался ее юридический в Беркли

(куда ее приняли в начале апреля, всего через несколько дней после убийства Кинга в Мемфисе), но теперь он боялся, что потеряет ее еще до начала лета. За те безумные месяцы начала шестьдесят восьмого ее позиции ожесточились, она все глубже погружалась в радикальную воинственность и антикапиталистический угар и уже не могла посмеиваться над их мелкими расхождениями во мнениях, она больше не понимала, почему он с нею не во всем соглашается.

Если ты принимаешь мой анализ, сказала она ему однажды, то неизбежно вынужден будешь принять и мои заключения.

Нет, не буду, ответил Фергусон. Лишь то, что беда в капитализме, не означает, что СДО заставит капитализм исчезнуть. Я пытаюсь жить в реальном мире, Эми, а ты мечтаешь о том, чего никогда не произойдет.

Вот один пример: Теперь, когда Джонсон отступил, на президентскую номинацию от Демократической партии выдвинулись и Юджин Маккарти, и Роберт Кеннеди. Фергусона это отчетливо не увлекало, и он не поддерживал ни того, ни другого, но внимательно следил за кампаниями обоих — особенно Кеннеди, поскольку ему было ясно, что у Маккарти нет ни шанса, — пусть

Фергусон и относился к нью-йоркскому сенатору с прохладцей, но чувствовал, что РФК — выбор получше, нежели дискредитированный Гамфри, и любой демократ предпочтительнее Никсона или, что тревожило гораздо сильнее, — Рональда Рейгана, губернатора будущего штата Эми, который был еще правее Голдуотера. Не то чтоб Фергусон пребывал в каком-то особом восторге от демократов, но важно отличать одно от другого, говорил он себе, важно признавать, что в этом несовершенном мире существует не только плохое, но и гораздо худшее, и когда дело доходит до голосования на выборах, лучше уж выступать за плохое, чем за худшее. Эми теперь уже отказывалась проводить такие разграничения. С ее точки зрения, все демократы одинаковы, каждый из них — *продавшийся либерал*, и она не желала иметь с ними ничего общего, это они несут ответственность за Вьетнам и прочие ужасы, какие Америка навязала остальному миру, чуму на них и на все, что они собою олицетворяют, и если республиканцам выпадет победить, что ж, может, оно будет и к лучшему для страны на долгом пробеге, потому что тогда Америка превратится в фашистское полицейское государство, и люди со временем против него восстанут, как будто люди

эти не предпочтут жить в фашистском полицейском государстве, если оно запрет в каталажку таких антиамериканских радикалов, как она.

Девушка, плакавшая из-за убийства Джона Кеннеди в 1963-м, теперь рассматривала его брата Роберта как орудие капиталистического угнетения. Фергусон был вполне готов отмахнуться от подобных заявлений как от избытка идеологического энтузиазма, но к началу апреля и он сам стал подвергаться нападкам, и политическое вдруг превратилось в личное, слишком личное, чересчур много в этом было про них самих, а не про идеи, что они обсуждали. Фергусон задавался вопросом, не заигрывает ли Эми втайне с кем-нибудь из своих собратьев по СДО, или не исследует ли она со своей подружкой по Барнарду Патси Даган таинства сапфической любви (о Патси в те дни говорила она много), или же не раздражена ли она им по-прежнему за то, что он отказался ехать с нею в Калифорнию прошлым летом. Нет, это невозможно, осознал он, ни одна из этих возможностей даже отдаленно не возможна, ибо не в характере Эми было делать что-либо за его спиной, а если она в кого-то другого и влюбилась, то рассказала бы ему об этом, если же она на него по-прежнему злится за прошлое лето,

то злость эта вряд ли сознательная, поскольку с тем делом уже много месяцев как покончено и все забыто, а за месяцы, что прошли с тех пор, у них без счета было хороших разов вместе, не говоря уже о том, до чего великолепна была она в те печальные дни после того, как умерла его бабушка, подставляла плечо его почти совершенно обездвиженной матери и устроила очистку квартиры со скоростью и точностью фастбола Санди Куфакса. С тех пор, однако, что-то произошло, и если не вызвала такое ни одна из обычных причин, также казалось невозможным, что оно вызвано дурацким расхождением взглядов на политику. Они с Эми постоянно не соглашались друг с дружкой. Одним из удовольствий жизни с нею было то, насколько они друг с дружкой не соглашались и все же продолжали любить друг дружку, несмотря ни на что. Бои они всегда вели за идеи, и никогда — из-за самих себя, а вот теперь Эми начала на него накидываться потому, что его идеи не сцеплялись с ее, потому, что он не рвался прыгать следом за ней в революционный вулкан и, следовательно, превратился в отсталого реакционного либерала, пессимиста, насмешника, в жагало сраму (что означало, как он предполагал, что ему чересчур нравился Джойс и всякая

литературщина[96]), в зеваку, дилетанта, ветхого ретрограда и плюху дерьма.

С точки зрения Фергусона, все это сводилось к единственному различию по сути: Эми — верующая, он — агностик.

Однажды вечером, когда она допоздна засиделась с друзьями — несомненно, спорила с Майком Лоубом в кабинке «Вест-Энда» или замышляла вместе с Патси Даган, как им увеличить женское членство в СДО, Фергусон забрался в постель у Эми в комнате, в ту же самую постель, где он спал почти все два последних года, и поскольку в тот вечер очень устал, заснул еще до того, как Эми вернулась. Когда наутро он проснулся, Эми в постели с ним рядом не было, а когда он обследовал примятость ее подушки, то пришел к заключению, что домой Эми не возвращалась, а провела ночь где-то в другом месте. Другое место оказалось постелью Фергусона в комнате по соседству, и когда он туда зашел за чистой парой носков и свежим бельем, скрип паркета ее разбудил.

Что ты тут делаешь? — спросил Фергусон.

Мне захотелось поспать одной, ответила она.

Вот как?

---

[96] Сноски: 96

Фраза, употребленная Джеймзом Джойсом в первом эпизоде романа «Улисс», пер. С. Хоружего.

Хорошо было для разнообразия спать одной.

Неужели?

Да, очень хорошо. Думаю, какое-то время нам стоит так и поступать, Арчи. Ты у себя в постели, а я у себя. Можно считать, что нам нужно остыть.

Если желаешь. Хотя в последнее время, пока мы спали вместе в одной постели, слишком тепло как-то не было.

Спасибо, Арчи.

На здоровье, Эми.

Этим начался так называемый период остывания. Следующие шесть ночей Фергусон и Эми спали порознь в собственных постелях, в собственных комнатах, и ни один из них не был уверен, подошли они к концу или же просто делают паузу, а наутро седьмого дня, двадцать третьего апреля, всего за несколько часов до того, как они выбрались из своих раздельных постелей и раздельно вышли из квартиры, началась революция.

Весна 1968-го (II). Четырнадцатого марта Фергусон и его товарищи по «Спектатору» выбрали Роберта Фридмана своим новым главным редактором, того же четырнадцатого марта Эми и ее товарищи по СДО проголосовали за Марка Рудда как своего нового председателя, и обе

организации изменились мгновенно. Газета продолжала сообщать новости, как это делала всегда, но редакционные статьи в ней стали жестче и откровеннее, и Фергусону нравилось, что теперь в них открыто освещались Вьетнам, черно-белые отношения и роль Колумбии в затягивании войны — часто затрагивались даже драчливо, как вопрос политики и убеждений. У «Студентов за демократическое общество» сдвиг в тактике произошел еще более поразительный. Национальное руководство призвало перейти от «протеста к сопротивлению», и в Колумбии контингент так называемого «Расчетливого расчета» сменился на более воинственную «Фракцию акций». В прошлом году целью были образование и осведомленность, они совершили робкий жест — подошли к морпеховским вербовщикам «задать несколько вопросов», — а вот теперь целью стало провоцировать, мешать, раскачивать все как можно чаще.

Через неделю после того, как Рудд занял председательское место, директор нью-йоркской штаб-квартиры Службы выборочной воинской повинности полковник Пол Б. Акст заявился в студгородок Колумбии сделать доклад о недавних изменениях в призывном законодательстве. Со-

бралось сто пятьдесят человек, и как только Акст вышел начать беседу (приземистый человек, массивный, в полном военном облачении), в глубине зала поднялась суматоха. Несколько студентов, одетых в солдатское хаки, заиграли на дудках и барабанах «Янки-Дудл-Денди», а прочие стали размахивать игрушечным оружием. Словно бы рефлекторно выскочила банда качков — усмирять, отвращать и изгонять тошнотов, — и пока всеобщее внимание отвлекала возня на задах, кто-то встал в первых рядах и швырнул в лицо полковнику Аксту лимонную меренгу. Как и во всех хороших балаганных фильмах, попадание было прямое. К тому времени, когда публика вновь повернулась к сцене, таинственно открылась боковая дверь, и меренгометатель с сообщником скрылись.

Тем вечером Эми сообщила Фергусону, что кондитерским коммандо был член СДО, импортированный из Беркли, а его сообщником — не кто иной, как Марк Рудд. Фергусона это очень повеселило. Полковника только жалко, подумал он, но ему не нанесли никакого ущерба, особенно в свете того огромного вреда, какой причиняет война, и какая же это умелая получилась проказа. «Расчетливому расчету» и во сне бы не примстилось

отмачивать подобную шутку (слишком уж легкомысленно), а вот «Фракция акций», очевидно, была не прочь воспользоваться легкомыслием как инструментом подкрепления политических доводов. Администрация, конечно, пришла в ярость, пообещав наказать проказника «на полную катушку», если выяснится, что он не студент Колумбии, и отчислить его, если окажется, что студент, но неделю спустя университет оказался перед лицом гораздо более серьезной угрозы, нежели лимонные меренги, и виновника так никогда и не поймали.

На той ранней стадии драмы СДО сосредоточивали усилия на двух принципиальных вопросах: Институте оборонной аналитики и запрете демонстраций и/или пикетирования внутри университетских зданий — новой политике, введенной президентом Грайсоном Кирком еще осенью. ИОА был организован Пентагоном в 1956 году как средство привлечения помощи университетских ученых правительству в разработке оружия, но никто не осознавал связи Колумбии с этой программой до 1967 года, когда на библиотечных полках два члена СДО обнаружили документы, относящиеся к членству Колумбии в ИОА: там состояло всего двенадцать универси-

тетов, и теперь, когда комитеты преподавателей в Принстоне и Чикаго рекомендовали главам своих школ выйти из программы, студенты и преподаватели Колумбии тоже начали просить свой университет сделать то же самое, хотя Кирк и был членом правления последние девять лет, но как же не испытывать отвращения от того, что исследования ИОА привели к разработке таких химических гербицидов, как агент «Оранж», который использовался для дефолиации джунглей Вьетнама, или того, что кровавая тактика «ковровых бомбардировок» стала результатом работы ИОА в разработке мер по подавлению восстаний? Иными словами, Колумбия принимала участие в войне, университет *замарал себе руки* (как часто выражалась Эми), и единственным разумным действием тут было заставить его прекратить. Не то чтоб на этом прекратилась война, но убедить Колумбию отозвать свое членство в этой организации составило бы маленькую победу после стольких крупных и мелких поражений. Что же до запрета внутренних демонстраций, то студенты утверждали, что, согласно Первой поправке, это нарушение прав, неконституционный акт против принципов свободы слова, а потому постановление Кирка недействительно.

Последние несколько недель СДО распространяли в студгородке петицию, требующую выхода Колумбии из ИОА, и теперь, когда уже пятнадцать сотен преподавателей и студентов подписали ее (среди них — Фергусон и Эми), СДО решили разобраться с обоими вопросами единой акцией двадцать седьмого марта, неделю спустя после уже забытой проказы с броском пирожного. Группа из сотни студентов вошла в Библиотеку Лоу, здание под белым куполом, выстроенным по образцу римского Пантеона, служившее университетским административным центром, и нарушила запрет на внутреннее пикетирование и демонстрации, неся с собой плакаты со словами «ИОА ДОЛЖЕН УЙТИ!» на них. Среди протестующих была Эми, Фергусон присутствовал как свидетель-репортер, и где-то с полчаса студенты бродили по коридорам, скандируя лозунги (один — через мегафон), после чего все поднялись на второй этаж и поднесли петицию высокопоставленному университетскому чиновнику, кто заверил их, что передаст ее президенту Кирку. После чего группа покинула здание, а на следующий день шестеро из них были подвергнуты мерам дисциплинарного взыскания: список возглавлял Рудд вместе с четырьмя другими членами прав-

ления СДО, всего шестеро из сотни участников, потому что, как пояснил один декан, только их сумели опознать. Последующие две недели «шестерка ИОА» отказывалась встречаться с деканом, каковая встреча входила в стандартный протокол дисциплинарных взысканий (за частной беседой следовало то, что предполагалось справедливым наказанием, — как почти во всех «кенгуровых судах»), и вместо этого настаивала, чтобы их судили на открытом слушании. Декан отреагировал сообщением, что их всех исключат, если они не явятся к нему в кабинет. Двадцать второго апреля они наконец пришли на встречу с ним, но отказались обсуждать свое участие в демонстрации против ИОА. После выхода из кабинета их всех подвергли дисциплинарной пробации.

Между тем убили Мартина Лютера Кинга. Гарлем совершил то же, что годом раньше сделал Ньюарк, но Линдсей был не Аддоницио и не стал вызывать Национальную гвардию или полицию штата, чтобы те стреляли в демонстрантов, и пока Гарлем, ниже по склону от Колумбии, горел, безумие в и без того обезумевшем воздухе на Морнингсайд-Хайтс накалилось до такого предела, что Фергусон теперь ощущал: все пре-

вратилось в полноформатный лихорадочный бред. Девятого апреля университет на день закрылся, чтобы почтить память Кинга. Назначили только одно мероприятие — мемориальную службу в Часовне св. Павла недалеко от самого центра студенческого городка, которая привлекла толпу в одиннадцать сотен человек, — и как раз когда вице-президент университета Давид Труман уже собрался было произносить от имени администрации поминальное слово, со своего места в одном из передних рядов встал студент в костюме и при галстуке и медленно пошел к кафедре. Марк Рудд — опять. Микрофон тут же выключили.

Без бумажки, без звукоусиления, не зная, сколько человек способны его услышать, Рудд обратился к собравшимся приглушенно. «Доктор Труман и президент Кирк совершают нравственное надругательство над памятью доктора Кинга, — сказал он. — Как может руководство университета поминать человека, который погиб, стараясь объединить в союз мусорщиков, когда сами эти руководители много лет противились объединению в союз собственных черных и пуэрториканских работников университета? Как эти люди могут восхвалять того, кто сражал-

ся за человеческое достоинство, в то время как сами крадут землю у людей Гарлема? И как эти администраторы могут превозносить человека, проповедовавшего ненасильственное гражданское неповиновение, если сами они подвергают собственных студентов дисциплинарным взысканиям за мирный протест?» На миг он умолк, а затем повторил то же, с чего начал: «Доктор Труман и президент Кирк совершают нравственное надругательство над памятью доктора Кинга. Следовательно, мы будем протестовать против такой непристойности». И после этого, вместе с тридцатью или сорока собратьями-демонстрантами (как черными, так и белыми, как студентами, так и не-студентами), Рудд вышел из часовни. Фергусон, сидевший в одном из средних рядов, безмолвно аплодировал тому, что произошло только что. Отлично, Марк, говорил он себе, и браво за то, что тебе достало мужества встать и сказать все это.

До покушения на Мартина Лютера Кинга имелась одна организация (СДО) и два вопроса (ИОА и дисциплина), которые двигали в студгородке политическую деятельность левого крыла. Теперь появилась вторая группа (САО) и возник третий вопрос (спортзал), и — за две недели до помино-

вения Кинга — крупное событие, которого никто не ждал, которое даже вообразить себе никто не мог, начало происходить так неожиданно и невообразимо, как обычно и случаются крупные события.

На одном участке земли в Гарлеме, в краже которого Рудд обвинил Колумбию, должен был строиться спортзал Колумбии, также известный под альтернативным наименованием «Жим Кроу»: в данном случае то был участок общественной земли, опасный, пришедший в запустение Морнингсайд-парк, куда белые никогда не ходили, крутой каменистый обрыв с засыхающими деревьями, начинавшийся сверху от Колумбиявилля и заканчивавшийся внизу, в Гарлемвилле. Спору не было — вуз нуждался в новом спортзале. Баскетбольная команда Колумбии только что выиграла чемпионат Лиги плюща, она вступила в турнир НССА четвертой в стране, а нынешнему спортзалу уже исполнилось больше шестидесяти лет, он был слишком мал, слишком изношен, больше не годился, однако договор, который администрации удалось заключить с городскими властями в конце пятидесятых и начале шестидесятых, был беспрецедентен. Два акра парка отдавались в аренду университету

за номинальную сумму в три тысячи долларов в год, и Колумбия тем самым становилась первым частным учебным заведением в истории Нью-Йорка, которое городило бы себе что-то на общественной земле для собственного частного использования. Внизу, на гарлемском краю парка, будет устроен задний вход для местной общины, ведущий в отдельный спортзал внутри спортзала, который будет занимать двенадцать с половиной процентов общего пространства. После давления со стороны местных активистов Колумбия согласилась надбавить гарлемскую порцию до пятнадцати процентов — с плавательным бассейном и раздевалками в придачу. Когда в декабре 1967 года в Нью-Йорк на встречу с местной общественностью приехал председатель СКНД Г. Рап Браун и сказал: «Если построят первый этаж — взорвите его. Если украдкой явятся ночью и построят три этажа — сожгите их. А если возведут девять — он ваш. Занимайте его, и, может, мы станем их сюда пускать на выходных». 19 февраля 1968 года Колумбия начала работы — расчистила площадку для стройки. На следующий день в Морнингсайд-парк пришли двадцать человек и своими телами загородили путь бульдозерам и самосвалам, чтобы работы на

стройплощадке прекратились. Арестовали шестерых студентов Колумбии и шестерых местных жителей, а неделю спустя, когда протестовать против строительства спортзала собралась толпа в сто пятьдесят человек, арестовали еще двенадцать студентов Колумбии. Никто из них не входил в СДО. До этого времени спортзал не стоял на повестке дня СДО, а теперь, раз администрация отказывалась пересматривать свои планы или даже обсуждать вопрос об их пересмотре, он быстро в этой повестке оказался — и не только у СДО, но и у черных в студгородке.

В САО (Студенческом афро-обществе) состояло более сотни членов, но до покушения на Кинга оно не принимало участия ни в каких открытых политических акциях, а сосредоточивалось на том, как повысить зачисление черных в колледж, и разговаривало с деканами и заведующими отделений о добавлении курсов по черной истории и культуре в студенческую программу. Как и в любом другом элитарном колледже Америки в то время, черное население Колумбии было минимальным, таким редким, что у Фергусона было лишь двое черных знакомых среди всех его соучеников, двое этих знакомых не были ему близкими друзьями, что можно было сказать и о

большинстве его белых знакомцев, у кого тоже не было близких черных друзей. Черные студенты были изолированы из-за своей численности и вдвойне изолированы потому, что держались наособицу, несомненно — отчасти потерянные и обиженные в этом белом анклаве традиции и власти, на них чаще смотрели как на чужаков, чем нет, даже черные охранники студгородка, которые их останавливали и просили предъявить документы, поскольку молодые люди с черными лицами не могли быть студентами Колумбии, а значит, нечего им тут делать. После смерти Кинга САО выбрало новое правление из радикальных вожаков, кое-кто — блистательные, кое-кто — сердитые, некоторые и блистательные и сердитые, но все такие же дерзкие, как Рудд, то есть им хватало уверенности в себе, чтобы встать и обратиться к тысяче людей с такой же легкостью, как если б они разговаривали с кем-то одним, и вот для них самым большим вопросом были отношения Колумбии с Гарлемом, а это значило, что ИОА и дисциплиной могут заниматься белые студенты, а вот спортзал — это уже их дело.

Через два дня после поминальной службы по Кингу Грайсон Кирк отправился в Университет

Виргинии произносить речь по случаю двухсот двадцать пятой годовщины со дня рождения Томаса Джефферсона (какими бурными бы ни были те дни, нелепиц тогда хватало выше крыши), и там бывший политолог, сидевший в правлениях нескольких корпораций и финансовых институций, среди них — «Мобиль Ойля», «Ай-би-эм» и «Кон-Эдисона», — президент Университета Колумбия, сменивший Дуайта Д. Эйзенхауэра после того, как генерал покинул Колумбию, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, вот там-то Грайсон Кирк впервые выступил против войны во Вьетнаме — не потому, что война — это плохо или менее чем благородно, сказал он, но из-за того урона, какой она наносит дома, а затем произнес фразы, которые вскорости донесутся до студгородка Колумбии и подбавят еще толику бензина в пламя, что уже начало там пылать: «Наша молодежь в тревожных количествах, похоже, отрицает все виды авторитета, из какого бы источника те ни исходили, и прячется за бурным зачаточным нигилизмом, чьей единственной целью является разрушение. Я не знаю другого такого времени в нашей истории, когда пропасть между поколениями была бы шире или потенциально опаснее».

Двадцать второго апреля, в тот день, когда «шестерка ИОА» подверглась условному наказанию, СДО опубликовали спецвыпуск газеты на четырех полосах под заголовком «К стенке!» — перед митингом, назначенным на полдень следующего дня, который должен был завершиться еще одной демонстрацией под крышей в Библиотеке Лоу, куда собирались десятки или сотни людей, чтобы выразить свою поддержку «шестерке ИОА», нарушив то же правило, что вызвало неприятности для самой шестерки. Одну статью в нем написал Рудд — письмо в восемьсот пятьдесят слов, обращенное к Грайсону Кирку в ответ на его заявления, сделанные в Университете Виргинии. Заканчивалось оно вот этими тремя короткими абзацами:

Грайсон, сомневаюсь, что вы поймете что-либо из написанного здесь, поскольку ваши фантазии отключили вам мышление от мира в том виде, в каком он существует на самом деле. Вице-президент Труман утверждает, что общество в целом здорово; вы говорите, будто война во Вьетнаме — благонамеренная случайность. Мы, молодежь, которую вы так правомочно боитесь, говорим, что общество больно, а болезнь его — вы и ваш капитализм.

Вы призываете к порядку и уважению к авторитету; мы призываем к справедливости, свободе и социализму.

Осталось сказать только одно. Возможно, вам это покажется нигилистичным, поскольку это — первый выстрел в войне за освобождение. Воспользуюсь словами Лероя Джонса, кто, я уверен, вам не шибко-то и нравится: «К стенке, ебила, это налет!»

Фергусон пришел в ужас. После красноречивых слов, какие Рудд произнес на поминовении Кинга, в этом скверном тактическом промахе не было никакого смысла. Нельзя было сказать, что по сути своей текст был лишен достоинств, но тон его был наглый, и если СДО пытались нарастить себе поддержку среди студентов, такое новеньких только оттолкнет. Статья послужила примером того, как СДО разговаривают сами с собой, а не тянутся к другим, Фергусону же хотелось, чтобы СДО победили, ибо, вопреки определенным оговоркам о возможном и невозможном, Фергусон по преимуществу стоял за эту группу и верил в ее цели, но цель благородная требовала и благородного поведения своих сторонников, чего-то потоньше и более сдержанного, нежели заурядные оскорбления и дешевые, мальчишеские выпады.

Особенно жалко это было оттого, что Фергусону Марк Рудд нравился. Они приятельствовали с их первого курса (земляки-нью-джерсейцы с почти одинаковым детством), и Марк пока что производил хорошее впечатление как председатель, производил такое впечатление, что Фергусон даже опрометчиво стал думать, будто никаких ошибок он и совершить-то не может, и вот теперь, когда он оступился с этими своими *Дорогими Грайсонами* и *ебилами*, Фергусон ощущал, что его подвели, что он застрял в неловком положении против тех, кто был против, а это весьма одинокая позиция для человека, который также против тех, кто за.

Как это ни примечательно, Эми с ним не спорила. Они по-прежнему еще оставались посреди своего двухпостельного периода остывания и последние несколько дней виделись нечасто, но когда Эми вернулась домой с собрания СДО вечером двадцать второго, у нее тоже было ощущение, что ее подвели, — не просто из-за статьи, которая, как она признала, была *и грубой, и ребяческой*, но потому, что в Фаервезер-Холл на последнее собрание в этом учебном году пришло всего человек пятьдесят-шестьдесят, в то время как большинство их встреч в последние месяцы соби-

рали человек по двести или больше, и она теперь опасалась, что СДО теряют почву под ногами, что почти все пяди земли, отвоеванные с таким трудом, теперь утрачены, и завтра произойдет бедствие, сказала она, жалкий последний бой, который закончится неудачей, и СДО в Колумбии закроются навсегда.

Она ошибалась.

Весна 1968-го (III). Никогда прежде в анналах не. Никогда раньше даже мысли не. Расширяющийся вихрь, и все вдруг закружились в нем. Ничейпапа[97] скрючился от болей в животе, у него понос. Горячая Шпора подскакивает, очерк со львиным телом и человечьей головой, орда. Как кто, кто что, и все вдруг у него спрашивают: Зачем твой сумрачный закон, язык твой темный, полный гнева? Центр не мог, все не могло, орда не могла не не не могла сделать иначе, чем сделала, но анархию не спустили с цепи, это мир раскрепостили, хотя бы на время, и так вот начался крупнейший, самый длительный студенческий протест в американской истории.

Около тысячи утром того. Две трети против,

---

[97] Сноски: 97

Из стихотворения Уильяма Блейка «To Nobodaddy». Здесь и далее пер. В. Потаповой.

собравшихся вокруг Солнечных часов в центре студгородка, одна треть анти-против стояла на ступенях Лоу, якобы — защитить здание от штурма, но также — бить и ломать, если до этого дойдет. Уже обнародовали предупреждения, и угроза мордобоя вывела взвод молодой профессуры, готовый разгонять, если станет необходимо. Для начала — речи, одна за другой — обычное дело, программа СДО, но САО там тоже было, первый объединенный политический митинг в Колумбии за всю историю, и когда на Солнечные часы влез новоизбранный президент САО Цицерон Вильсон, чтобы обратиться к толпе, начал он с того, что заговорил о Гарлеме и спортзале, но мгновение спустя (Фергусона потрясло) он уже нападал на белых студентов. «Если желаете знать, о чем они говорят, — сказал он, имея в виду расистов, — сходите поглядите на себя в зеркало — потому что о черных людях вы не знаете ничего».

Эми, стоявшая впереди, перебила его и выкрикнула: «А с чего ты взял, что на вашей стороне нет белых? С чего ты взял, что мы во всем этом не вместе? Мы твои братья и сестры, дружок, и будем до чертиков сильней, если вы встанете с нами, когда мы с вами стоим».

Скверное начало. Снять шляпу перед Эми за то, что выступила, но начало бурное, и сумятица не стихала еще какое-то время. Лоу была неприступна. Двери заперли, и никто не желал ломать их или начинать потасовку с охранниками. И вновь к Солнечным часам, украшенным надписью «HORAM EXPECTA VENIET» (Жди часа — он настанет), но настал ли этот час в самом деле или же двадцать третье апреля рассыпалось в еще одну неиспользованную возможность? Еще один раунд речей, но все буксовало, и энергия толпы испарилась. И вот когда уже казалось, будто митинг допыхтел до своего завершения, кто-то, однако, выкрикнул: ПОШЛИ К СПОРТЗАЛУ! Слова ударили с силой пощечины, и вдруг триста студентов побежали на восток по Тропе колледжа к парку Морнингсайд.

Эми недооценила масштабы недовольства, эпидемии несчастья, распространившейся по рядам не входившего в СДО большинства в студгородке: почти всем им, казалось, грозит нервный срыв по мере того, как громыхала война, в которой невозможно победить, а Ничьипапы в Белом доме и Библиотеке Лоу продолжали изрекать свои темные слова и издавать невнятные законы, и пока Фергусон бежал вместе с толпой, стремившейся

к парку, он понимал, что студенты одержимы, что душами их завладел тот же сплав злости и радости, какой он наблюдал на улицах Ньюарка прошлым летом, и если только не выпускать по ним никакие пули, толпу эту обуздать невозможно. В парке были полицейские, но недостаточно, чтобы остановить банду студентов, и та повалила сорок футов сетчатой ограды, окружавшей строительную площадку, а другие студенты схватились с немногочисленной охраной, и среди них был Давид Циммер, отметил Фергусон, и был там друг Циммера Марко Фогг, мягкий Циммер и еще более нежный Фогг были в той банде, что валила забор, и на какой-то миг Фергусон им позавидовал, ему тоже захотелось участвовать в том, что они делали, но затем чувство это миновало, и он удержался.

Почти битва, но не вполне. Наскоки, вспышки, толчки, легавые против студентов, студенты против легавых, студенты наскакивают на легавых, студенты пинают легавых и толкают их в грязь, одного мальчишку из Колумбии посреди всего этого оттащили прочь (белого, не члена СДО), обвинили в нападении с преступным умыслом, преступно причиненном вреде и сопротивлении аресту, и когда в парк стало спускаться больше

легавых с дубинками на изготовку, студенты ушли со стройплощадки и направились обратно в студгородок. Между тем к парку шагала другая толпа студентов — задержавшихся позади. Наступающая группа и отступающая группа встретились посреди Морнингсайд-драйва, и когда отступавшие сообщили наступавшим, что все дела в парке уже поделали, обе группы двинулись обратно к студгородку и вновь собрались у Солнечных часов. На этом рубеже людей там было уже около пяти сотен, и никто не знал толком, что произойдет дальше. Полтора часа назад был план, но события этот план перевернули, и дальше следовало импровизировать. Насколько мог определить Фергусон, ясно было только одно: толпа по-прежнему была одержима — и готова на все, что угодно.

Через несколько минут большинство уже направлялось к Гамильтон-Холлу, где сотни влились в вестибюль цокольного этажа, масса тел набилась в это тесное пространство, а качки пихались, и тошноты отбивались от них, и вливалось все больше тел, все возбуждены и в смятении, в таком смятении, что первое действие бунта в студгородке стало заблуждением, обреченной на провал ошибкой — декана по студенческим

делам заперли в его же кабинете и превратили в заложника (ошибку эту на следующий день исправили, когда Генри Кольмана освободили), но все равно студентам, участвовавшим в захвате здания, хватило мозгов образовать руководящий комитет, состоявший из трех членов СДО, троих из САО, двоих из Совета граждан колледжа и одного ни с кем не связанного сочувствующего, и составить список требований, в котором излагались цели протеста:

1. Все меры дисциплинарного воздействия отныне прекращаются, и условные наказания, наложенные на шестерых студентов, немедленно отменяются; студентам, участвующим в настоящей демонстрации, объявляется общая амнистия.

2. Запрет президента Кирка на демонстрации в помещениях зданий Университета отменяется.

3. Строительство спортзала Колумбии в Морнингсайд-парке прекращается немедленно.

4. Все будущие меры дисциплинарного воздействия, принимаемые по отношению к студентам Университета, будут проходить открытое слушание в присутствии студентов и преподавателей, каковое будет следовать установленным процедурам.

4. Университет Колумбия отсоединяется — на деле, а не только на бумаге — от Института оборонной аналитики; президент Кирк и попечитель Вильям А. М. Бурден подают в отставку со своих позиций в Совете попечителей и Исполнительном правлении ИОА.

6. Университет Колумбия прикладывает все возможные посреднические услуги для снятия обвинений, предъявляемых ныне участникам демонстраций на строительной площадке спортзала в парке.

Двери здания оставались открытыми. Стоял ранний день среди обычной недели занятий, и как впоследствии Рудд говорил Фергусону, контингент СДО понимал, что они себе не могут позволить отчуждение не участвующих в акции студентов, преграждая им путь на занятия, которые по-прежнему проводились на верхних этажах. Им хотелось привлечь таких студентов на свою сторону, и не было бы смысла в каких бы то ни было действиях, способных обратить большинство против них. Здание в тот момент еще не было «оккупировано», стало быть, внутри него происходила сидячая забастовка, и по мере того, как день клонился к вечеру и распространялись вести о том, что происходит в Гамильтон-Холле,

там начали появляться десятки людей, не связанных с университетом, СДО-шники из других колледжей, члены СКНД и КРР, представители различных организаций «Мир немедленно», и все эти люди приходили поддержать, приносили пищу, одеяла и прочее необходимое и полезное для тех, кто проведет в здании ночь. Среди этих людей была Эми, а вот Фергусон оказался слишком занят — записывал все, пока не забыл, и времени разговаривать с нею у него не нашлось. Вместо этого он послал ей воздушный поцелуй. Она улыбнулась и помахала в ответ (одна из тех редких улыбок, что она ему выделила за последние несколько недель), а потом он умелся в редакцию «Спектатора» в Феррис-Бут-Холле, писать свою статью.

Той ночью хрупкий, коротко поживший союз СДО и САО развалился. Черные студенты хотели забаррикадировать двери и не впускать никого в Гамильтон, пока их шесть требований не удовлетворят. Они готовы были стоять до победного конца, заявили они, и коль скоро по коридорам бродили слухи, что в здание пронесли оружие, подразумевалось, что победный конец, о котором они говорили, может оказаться насильственным. Тогда уже настало пять часов утра, многие часы

обсуждения завели в тупик, спор об открытых дверях — закрытых дверях разрешить не удавалось, и теперь САО учтиво предлагало СДО покинуть это здание и занять себе какое-нибудь другое. Фергусон вполне разделял позицию САО, но в то же время этот раскол ввергал его в уныние и деморализовал, и он понимал, почему СДО так обиден этот развод. То Ронда Вильямс вновь и вновь говорила «нет». То был его отец, произносивший все то отвратительное, что он говорил после беспорядков в Ньюарке. Вот к чему пришел весь мир.

Парадокс заключался в том, что без изгнания СДО тем утром восстание в Колумбии никогда бы не вышло за пределы Гамильтон-Холла, и история последующих шести недель стала бы иной историей, историей гораздо мельче, а то крупное, что со временем случилось, было б не таким крупным, чтобы его кто-нибудь заметил.

За несколько минут до рассвета двадцать четвертого апреля изгнанные СДО-шники ворвались в Библиотеку Лоу и забаррикадировались в кабинетах конторы президента Кирка. Шестнадцать часов спустя сотня студентов Архитектурного факультета захватила контроль над Авери-Холлом. Еще через четыре часа, в два часа ночи двадцать

пятого, двести аспирантов заперлись в Фаервезер-Холле. В час ночи двадцать шестого группа, отъединившаяся от Библиотеки Лоу, захватила Корпус математики, и всего за несколько часов двести радикально настроенных студентов и не-студентов уже владели пятым корпусом. В ту же ночь Колумбия объявила, что университет соглашается на просьбу мэра Линдсея приостановить строительство спортзала.

Университет закрылся, и в студгородке не происходило никакой деятельности, которая не была бы деятельностью политической. Библиотека Лоу, Авери-Холл, Фаервезер-Холл и Корпус математики больше не были библиотекой и тремя корпусами, а стали четырьмя коммунами. Гамильтон-Холл переименовали в Университет Малькольма Икса.

Дети Ничейпапы говорили «нет», и все равно никто не понимал, что произойдет дальше.

Фергусон барахтался. Пятидневная газета стала газетой семидневной, нужно было писать статьи, куда-то ходить, с кем-то беседовать, посещать собрания, и все это — почти без или вовсе без сна, едва ли два-три часа за ночь, и почти без или вовсе без еды, не считая булочек, сандвичей с салями и кофе, кофе и тысяча сигарет, но эдак

барахтаться было ему полезно, осознал он, быть таким занятым и таким вымотанным оказывало на него двойное воздействие — одновременно не давало уснуть и оглушало, а ему следовало не спать, чтобы видеть все, что вокруг него происходило, и писать об этих событиях с быстротой и точностью, какой те требовали, и ему необходимо было оставаться оглушенным, чтобы не думать об Эми, которая теперь для него была, считай, потеряна, почти совсем пропала, и хоть продолжал убеждать себя, что будет сражаться, чтобы вновь ее завоевать, что сделает все возможное, лишь бы не позволить немыслимому случиться, Фергусон знал: чем бы ни были они друг дружке в прошлом, не этим они стали сейчас.

Она оставалась с группой в Лоу, среди упертых. Днем двадцать шестого, когда Фергусон несся через студгородок в Корпус математики, он заметил, что она стоит на карнизе второго этажа, сразу за окном кабинета Кирка. Справа от нее стоял Лес Готтесман, кто учился уже не в колледже, а в аспирантуре Факультета английского, а слева от нее располагался Гильтон Обензингер, добрый друг Леса, который был другом Фергусону, одним из столпов «Колумбия Ревю», и вот между Лесом и Гильтоном стояла Эми, и солнце сияло на нее,

солнце такое сильное, что ее невозможные волосы, казалось, пылали в этом послеполуденном свете, и выглядела она счастливой, решил Фергусон, настолько до чертиков счастливой, что ему захотелось разрыдаться.

Весна 1968-го (IV). Наблюдает он за революцией в миниатюре, решил для себя Фергусон, революцией в кукольном домике. Цель СДО — вызвать Колумбию на решающий поединок, в котором раскроется, что администрация — именно то, что о ней утверждала группа (бескомпромиссная, оторванная от реальности, мелкий фрагмент общей американской картины расизма и империализма), и как только СДО докажут это всем остальным студентам в студгородке, те, что в середке, перейдут на их сторону. В этом и был смысл: искоренить середину, создать такую ситуацию, что разведет всех по совершенно разным лагерям — тех, кто за, и тех, кто против, а между ними не останется места на треп или умеренность. *Радикализовать*, вот каким понятием пользовались СДО, и, чтобы достичь этой цели, им приходилось вести себя с тем же упрямством, что и администрации, и не уступать ни пяди. Непреклонность, стало быть, проявлялась с обеих сторон, но поскольку студенты в Колумбии

были безвластны, непреклонность СДО смотрелась могуществом, а вот бескомпромиссность администрации, в чьих руках была вся власть, выглядела слабостью. СДО провоцировали Кирка на применение силы, чтобы очистить здания, чего все остальные как раз хотели избежать, но зрелище сотен полицейских, штурмующих студгородок, было и тем единственным, что неизбежно вызвало бы ужас и отвращение у всех, кто еще оставался посередке, и привлекло бы их на сторону студентов, и тупая администрация (которая оказалась еще тупее, чем предполагал Фергусон, — такой же тупой, как русский царь, такой же тупой, как французский король) попала прямиком в ловушку.

Администрация гнула свою жесткую линию, поскольку Кирк рассматривал Колумбию как модель для прочих университетов в стране, и, уступи он возмутительным требованиям студентов, что произошло бы в других местах? То была теория домино в миниатюре, тот же самый принцип, что привел полмиллиона американских солдат во Вьетнам, но, как обнаружил Фергусон в свои первые дни проживания в Нью-Йорке, домино — такая игра, в какую пуэрториканцы играют на ящиках из-под молока и складных столиках

на тротуарах Испанского Гарлема, и она не имеет ничего общего с политикой или с управлением университетами.

СДО, напротив, импровизировали по ходу событий. Каждый день был набит под завязку неожиданными поворотами, каждый час ощущался длинным, как день, и чтобы делать то, что следовало сделать, требовалась совершенная сосредоточенность, равно как и открытость духа, какую можно было отыскать лишь у лучших джазовых музыкантов. Как глава СДО Марк Рудд и стал таким джазистом, и чем дольше затягивалась оккупация зданий, тем большее впечатление производило на Фергусона то, насколько гибко Рудд приспосабливался к каждым новым обстоятельствам, насколько быстро мог думать прямо на ходу, насколько готов был обсуждать альтернативные подходы к каждому кризису по мере их возникновения. Кирк был несгибаем, а Рудд — неукротим и зачастую игрив, Кирк управлял военным духовым оркестром и дирижировал произведениями Джона Филипа Сусы, а Рудд на сцене лудил бибоп с Чарли Паркером, и Фергусон сомневался, что кто-либо еще из СДО лучше бы справился с должностью рупора группы. К ночи двадцать третьего апреля Фергусон уже простил

Марка за проеб с *Дорогим Грайсоном-ебилой*, что, кстати сказать, отнюдь не оскорбило людей так, как он думал, — студентов, то есть кто был за СДО и против администрации, — а это, в свою очередь, подвело Фергусона к вопросу самому себе: что ему вообще известно о таких вещах, ибо не только слова эти не оскорбили людей, но и стали одним из лозунгов движения. Не то чтоб Фергусон был счастлив, когда слышал, как студенческие массы скандируют фразу *К стенке, ебила!*, но ему было ясно, что у Марка получше ощущение того, что происходит, нежели у него, это, кстати, и объясняло, почему Марк руководит революцией, а Фергусон всего-навсего наблюдает за ней и пишет о ней.

Рои людей в студгородке в любые часы, даже посреди ночи, круглосуточные рои всю неделю, затем — промежуточные рои последующий месяц, и когда б Фергусон потом ни задумался о том времени, хаос, начавшийся двадцать третьего апреля и длившийся до дня вручения дипломов четвертого июня, рои эти всегда первыми приходили ему на ум. Рои студентов и профессуры с нарукавными повязками разных цветов, белые — у преподов (которые пытались поддерживать порядок), красные — у радикалов, зеленые — у

сторонников радикалов и шести требований, а синие — у качков и правых, назвавших себя Коалицией большинства и проводивших злые, шумные демонстрации, обличавшие другие демонстрации, они однажды ночью напали на Фаервезер-Холл, чтобы изгнать оттуда захвативших его (после многих толчков и пинков их атаку отбили), а в последний день сидячей забастовки они устроили успешную блокаду Лоу, чтобы в здание библиотеки не пронесли еду, что привело к новым толчкам и ударам, а также к нескольким разбитым головам. Как и можно было ожидать от университета размеров Колумбии (17 500 студентов, считая все аспирантские и студенческие подразделения), преподавательский состав раскололся на многочисленные фракции в диапазоне от полной поддержки администрации до полной поддержки студентов. Выдвигались различные предложения, образовывались разные комитеты: нового подхода к мерам дисциплинарного взыскания, например, трехсторонняя комиссия, выступавшая за объединенное рассмотрение споров равным количеством представителей администрации, преподавательского состава и студенчества, и двусторонняя комиссия, выступавшая за совет

только из представителей преподавателей и студентов, а администрация бы в этом не участвовала, — но самой активной комиссией была та, что называла себя Временной преподавательской группой, куда по преимуществу входила профессура помоложе: последующие несколько дней они проводили долгие лихорадочные совещания, нащупывая мирное решение, которое предоставило бы студентам бóльшую часть того, чего они хотели, и вывело бы их из зданий без необходимости вызывать полицию. Все их усилия пропали втуне. Не то чтобы они не высказали никаких здравых мыслей, да только все мысли эти тут же блокировала администрация, которая отказывалась идти на компромисс или уступать по какому бы то ни было требованию касаемо дисциплины, и тем самым преподавательский состав уяснил себе, что они так же бессильны, как и студенты, что Колумбия — это диктатура, по большинству — благосклонная до сей поры, но все ближе склоняется к абсолютизму, а реформироваться во что-либо, напоминающее демократию, ей совершенно неинтересно. Студенты приходят и уходят, в конце концов, преподаватели приходят и уходят, а вот администрация и совет попечителей — вечны.

Колумбия не задумалась бы вызвать легавых, чтобы выволочь белых студентов из зданий, если необходимо, а вот черные студенты в Гамильтоне представляли собой более тонкую и потенциально более опасную трудность. Если бы полиция стала их атаковать или грубо с ними обращаться при аресте, зрелище жестокости белых по отношению к черным могло бы распалить людей их Гарлема и пригнать их в студгородок в отместку, и тогда Колумбия окажется в состоянии войны со мстительной черной толпой, намеренной разорвать университет в клочья и сжечь Библиотеку Лоу дотла. С учетом ярости в Гарлеме после убийства Мартина Лютера Кинга, насилие и разрушение в таких массовых масштабах — не просто иррациональный страх, это отчетливая вероятность. Полицейские меры по зачистке нарушителей в пяти зданиях были назначена на ночь с двадцать пятого на двадцать шестое (той же ночью захватили Корпус математики), но когда агенты в штатском начали стучать дубинками по головам профессуры в белых повязках, собравшейся перед Лоу, чтобы защищать демонстрантов внутри, Колумбия отступила и отменила операцию. Если тактические патрульные силы способны так поступать с белыми,

что же они готовы тогда творить с черными? Администрации требовалось больше времени на переговоры с руководством САО в Гамильтоне, чтобы ее эмиссары-преподаватели смогли выработать условия сепаратного мира и университет не постигло бы гарлемское вторжение.

Что же касается белых студентов, общее ощущение в редакции «Спектатора» было таково, что СДО уже одержали верх по двум самым важным вопросам, которые и запустили протест, поскольку уже с почти полной уверенностью можно было сказать, что университет выйдет из ИОА, а спортзал никогда не построят. Студенты на этом рубеже могли бы без вреда для себя выйти из занятых ими корпусов и объявить, что они победили, но четыре другие их требования по-прежнему стояли на повестке дня, и СДО отказывались уступать, пока не выполнят их все. Самым противоречивым пунктом было требование амнистии (*студентам, участвующим в настоящей демонстрации, объявляется общая амнистия*), которое для большинства людей в студгородке оказалось несколько загадочным, включая и тех, кто работал в «Спектаторе», — они почти единодушно сочувствовали занявшим здания, ибо если, как утверждали СДО, университет

обладает незаконной властью и не имеет права их наказывать, как они могут рассчитывать, что та же самая незаконная власть реабилитирует протестующих за то, что они сделали? Как шутливо однажды днем заметил Фергусону со этой своей нарочитой ковбойской гнусавинкой Мальхаус: Тут уж без дураков в затылке почешешь, нет, Арчи? В ответ Фергусон почесал в затылке и улыбнулся. Будь я проклят, если ты не прав, сказал он, и, если не ошибаюсь, именно такого они и хотят. Их доводы нелепы, но стоять на своем по тому поводу, где, как они знают, им не выиграть, они вынуждают администрацию.

Вынуждают сделать что? — спросил Мальхаус.

Вызвать легавых.

Да ты шутишь. Не бывает таких циников.

Это не цинизм, Грег. Это стратегия.

Прав был Фергусон или нет, легавых в итоге вызвали под конец седьмого дня захвата, и в половине третьего утра тридцатого апреля — в час, как отметил кто-то, когда Гарлем спал, — начался винт. Тысяча бойцов в шлемах из нью-йоркского подразделения по борьбе с беспорядками распределилась по студгородку, а тысяча зевак стояла на холоде и в слякоти той самой зловещей из черных ночей, пока другие роились, выли и

скандировали полиции *Нет насилию!*, а синеповязочники криками подзуживали легавых, и белоповязочные с зеленоповязочными пытались не дать силам полиции проникнуть в здания, и первым делом Фергусон заметил враждебность, существовавшую между полицией и студентами, взаимное презрение, никак не связанное с черно-белыми противоречиями, которых все боялись, а произрастало из классовой ненависти белых к белым, привилегированных студентов — и легавых с самых нижних ступеней, которые считали парней и девчонок из Колумбии богатыми, избалованными, антиамерикански настроенными хипарями, да и профессура, что их поддерживала, ничем не лучше, напыщенные антивоенные интеллектуалы-радикалы, красные, прогорклые отравители юных умов, поэтому сперва они занялись очисткой Гамильтона и вывели оттуда черных, как могли, без осложнений, а поскольку гордые, хорошо организованные студенты Университета Малькольма Икса не оказывали им сопротивления, они проголосовали за то, чтобы не сопротивляться, и спокойно позволили полиции вывести себя через тоннели под зданием в «воронки́», запаркованные снаружи, им не досталось ни единого удара, ни одна дубинка

не разбила ни одного из черепа, и Колумбия, не приложив к тому совершенно никаких усилий, сумела избежать гнева Гарлема. К тому времени перекрыли подачу воды к прочим корпусам, и один за другим силы полиции и их агенты под прикрытием приступили к освобождению Авери, Лоу, Фаервезера и математики, где занимавшие их студенты срочно укрепляли баррикады, возведенные ими за дверями, но перед каждым зданием имелись свои батальоны белых повязок и зеленых повязок, и вот им-то больше всех и досталось — это их били дубинками и кулаками, их пинали, пока легавые пробирались через их скопления с ломиками, чтобы взламывать двери, а потом врывались внутрь, разметывали баррикады и арестовывали студентов внутри. Нет, это не Ньюарк, продолжал твердить себе Фергусон, глядя, как полиция занимается своим делом, тут не стреляют, а потому никого не убьют, но именно то, что здесь все было не так плохо, как в Ньюарке, вовсе не означало, что это не было нелепо, поскольку вот Александра Платта, помощника декана колледжа, легавый бьет в грудь, а вон философа Сиднея Моргенбессера, который вечно ходит в белых теннисках и распускающихся свитерах и звонко онтологически острит, лупят

по голове дубинкой, пока он охраняет черный вход в Фаервезер-Холл, а тут молодой репортер из «Нью-Йорк Таймс» Роберт МкГ. Томас-мл. показывает журналистское удостоверение, поднимаясь по лестнице Авери-Холла, и ему приказывают очистить здание — и тут же легавый бьет его по голове парой наручников, как латунным кастетом, а затем сталкивает его со ступеней, и пока он катится кувырком вниз, ему достается от десятка дубинок, а вон Стив Шапиро, фотограф журнала «Лайф», — ему дает в глаз один легавый, а другой разбивает ему фотоаппарат, а вон врача из добровольной бригады «скорой помощи», одетого в белый докторский халат, сбивают наземь, пинают и отволакивают в воронок, и тут еще на десятки студентов и студенток наскакивают агенты в штатском, прятавшиеся в кустах, и колотят им по головам и лицам дубинками, палками и рукоятками пистолетов, там и сям ковыляют десятки студентов, а из их черепов и разбитых лбов и бровей льется кровь, и потом, после того как всех демонстрантов из зданий выволокли и увезли прочь, фаланга сил полиции пошла систематически прочесывать взад-вперед Южное поле, чтобы очистить студгородок от тех сотен, что остались, они врывались в толпы безоруж-

ных студентов и сбивали их наземь, а по Бродвею во весь опор мчала конная полиция, гналась за теми счастливцами, кому удалось избежать полицейских дубинок при штурме студгородка, и вот уже Фергусона, кто пытается выполнить свое репортерское задание скромной студенческой газетенки, бьют в затылок дубинкой, которой размахивает еще один агент в штатском, переодетый под студента, бьют по той же самой голове, которую в одиннадцати местах зашивали четыре с половиной года назад, и когда Фергусон упал наземь от силы этого удара, кто-то другой наступил ему на левую руку каблуком сапога или ботинка, на ту же самую руку, где уже и так не хватало большого и двух третей указательного пальцев, и когда нога опустилась на него, Фергусон почувствовал, что рука, должно быть, сломалась, что оказалось неправдой, но как же она болела и до чего быстро потом распухла и как же сильно с того момента впредь он стал презирать легавых.

Арестовали семьсот двадцать человек. Сообщалось о ста пятидесяти травмах, равно как было невесть сколько таких травм, о которых не сообщали, среди них и удары, что пришлись на голову и руку Фергусона.

Редакционная страница «Спектатора» в тот

день не имела слов — лишь шапка, за которой шли два пустых столбца, окаймленные черным.

Весна 1968-го (V). В субботу, четвертого мая, Фергусон и Эми наконец-то сели и поговорили. На этом настоял Фергусон — и он же ясно дал ей понять, что не желает, чтобы их беседа касалась его травм или ареста Эми вместе с ее соратниками, оккупировавшими Лоу, да и обсуждать всеобщую забастовку против Колумбии, которую вечером тридцатого апреля объявила коалиция красноповязочников, зелеповязочников и умеренных (стратегия СДО сработала), они не станут и ни на единый миг не задержатся на тех крупных событиях, что начали происходить в их любимом, яростно вспоминаемом Париже, нет, сказал он, на один-единственный вечер они забудут о политике и будут разговаривать о себе, и Эми неохотно на это согласилась, хотя теперь мало о чем могла вообще думать, кроме движения, она это называла *эйфорией борьбы* и *электрическим пробуждением*, что преобразили ее после шести суток коммунального житья в Лоу.

Во избежание возможного ора в квартире Фергусон предложил отправиться на нейтральную территорию, в общественное место, где присутствие посторонних людей не даст им выйти

из себя, а поскольку в «Зеленом дереве» они не были уже больше двух месяцев, то и решили вернуться в «Город Ням», как предполагал Фергусон, на последнюю их совместную трапезу всей их оставшейся жизни. Как же счастливы были мистер и миссис Молнар видеть их любимую молодую пару, когда та вошла в двери ресторана, и до чего услужливы были они, когда Фергусон попросил столик в дальнем углу в заднем зале — помещении поменьше переднего, на небольшом возвышении, где стояло меньше столиков, и настолько добры они были, что предложили им бесплатную бутылку бордо к ужину, и до чего уныло чувствовал себя Фергусон, когда они с Эми сели за свой последний ужин всех времен, отмечая, насколько уместно Эми инстинктивно предпочла сесть на стул, развернутый спинкой к стене, а это означало, что она может смотреть наружу и видеть других людей в ресторане, Фергусон же не менее инстинктивно сел на тот стул, что стоял спинкой к этим самым другим людям, и это означало, что единственным человеком, кого он мог видеть, была Эми, Эми и стена за нею, поскольку именно так они и держались, сказал он себе, такими и были они последние четыре года и восемь месяцев: Эми смотрела на других, а

он смотрел только на Эми.

Провели там они полтора часа, быть может — час и три четверти, он так толком и не понял, сколько это длилось, и пока обычно прожорливая Эми ковыряла еду, а Фергусон один за другим осушал бокалы красного вина, в одиночку опустошив ту первую бутылку и заказав другую, они говорили и умолкали, снова говорили и умолкали, а потом все говорили, говорили и говорили, и уже довольно скоро Фергусону сообщили, что между ними все кончено, что они переросли друг дружку и теперь движутся в разные стороны, а потому им следует перестать жить вместе, и нет, сказала Эми, в этом никто не виноват, уж меньше всех виноват Фергусон, он же любил ее так сильно и так хорошо с самого их первого поцелуя на скамейке в том скверике Монклера, нет, дело просто в том, что она больше не может выносить удушающих пределов их парной жизни, ей нужно быть свободной, чтобы ломиться дальше по жизни одной, уехать в Калифорнию без привязок и без бремени кого бы то ни было и чего бы то ни было, и дальше работать на движение, такова теперь ее жизнь, и Фергусону больше нет в ней места, ее чудесному Арчи с его большой душой и добрым сердцем придется дальше обходиться без

нее, и ей жаль, так жаль, так невообразимо жаль, но так уж оно теперь все, и ничего, ни единой штуке на всем белом свете нипочем не удастся этого изменить.

Эми уже плакала, два ручейка слез скатывались у нее по лицу, покуда она нежно распинала сына Розы и Станли Фергусонов, но сам Фергусон, у кого было гораздо больше поводов плакать, чем у нее, был слишком пьян для того, чтобы плакать, не чересчур пьян, но довольно пьян, чтобы не чувствовать позыва откручивать краны с соленой водой, что было только к счастью, как ему казалось, поскольку не хотелось, чтобы ее последнее впечатление о нем было как о человеке раздавленном, кто рыдает перед ней кишками наружу, и потому он призвал на помощь все силы, что в нем еще оставались, и произнес:

О, моя наивозлюбленнейшая Эми, моя необычайная Эми с неукротимыми волосами и сияющими глазами, моя дорогая возлюбленная о тысяче трансцендентных нагих ночей, моя блистательная девочка, чьи рот и тело много лет творили чудеса с моими ртом и телом, единственная девушка, кто когда-либо спала со мной, единственная девушка, с кем мне когда-либо хотелось спать, всю мою оставшуюся жизнь мне

не только будет не хватать твоего тела, но особо мне будет не хватать тех частей твоего тела, что принадлежат только мне, что принадлежат моим глазам и моим рукам, и даже тебе самой неизвестны, тех твоих частей, каких ты и не видела никогда, тех задних частей, что невидимы тебе так же, как мои невидимы мне, как незримы они для всякого человека, обладающего или обладающей своим собственным телом, начиная с твоей попы, разумеется, твоей восхитительно круглой и изящной попы, и задних сторон твоих ног с маленькими бурыми крапинками на них, перед которыми я преклонялся так долго, и тех морщинок, что награвировались на твоей коже под самыми твоими коленками, в том месте, где нога сгибается, как восхищался я красотой двух этих линий, а еще сокрытая часть твоей шеи и бугорки на твоем позвоночнике, когда нагибаешься ты, и прелестный изгиб твоей поясницы, который принадлежал мне и только мне все эти годы, и бóльшая часть твоих лопаток, дорогая моя Эми, как две лопатки твои выпирают — это мне всегда напоминало лебединые крылья, или же крылышки, торчащие их спины сельтерской девушки с «Белой скалы», кто была первой девушкой, кого я когда-либо полюбил.

Прошу тебя, Арчи, сказала Эми. Прекрати, пожалуйста.

Но я еще не закончил.

Нет, Арчи, я тебя прошу. Я так больше не могу.

Фергусон собрался было заговорить снова, но не успел выдвинуть язык на соответствующую позицию, как Эми встала со стула, вытерла слезы салфеткой и вышла из ресторана.

Май-июнь 1968-го. Наутро Эми собрала свои вещи, оставила их у родителей на Западной семьдесят пятой улице, после чего провела свой последний месяц студенткой Барнарда, ночуя на диване в гостиной у Патси Даган дома, на Клермон-авеню.

Фергусон был теперь более чем измотан, более чем оглушен, он вернулся в черный общежитский лифт затемнения 1965 года, которое было уже не отличить от затемнения 1946-47 года, когда он еще находился в утробе своей матери. Ему исполнился двадцать один год, и если он намерен располагать хоть какой-то жизнью в будущем, ему придется родиться заново — стать вопящим новорожденным, которого выволакивают из тьмы, чтобы дать еще один шанс отыскать свой путь в сиянии и мерцании мира.

Тринадцатого мая один миллион человек про-

шел с демонстрацией по улицам Парижа. Вся страна Франция восстала, а куда же, во имя всего святого, девался Де Голль? Один плакат гласил: «КОЛУМБИЯ-ПАРИЖ».

Двадцать первого Гамильтон-Холл заняли вторично, арестовали сто тридцать восемь человек. Той ночью битва в студгородке Колумбии между легавыми и студентами была шире, кровавее и ожесточеннее той, что случилась ночью винта семисот человек.

После номера от двадцать второго мая «Спектатор» перестал выходить — вплоть до последнего номера в том семестре, третьего июня. В тот же день Фергусон уехал из Нью-Йорка, провести месяц со своими родителями во Флориде.

Пока он направлялся по воздуху на юг, стреляли в Энди Уорхола — и чуть не убили его, женщина по имени Валери Соланас, написавшая манифест под заголовком «ШЛАК» (Общества по усекновению мужчин) и пьесу под названием «Засунь себе в жопу».

Через два дня после этого в Лос-Анджелесе человек по имени Сирхан Сирхан стрелял в Роберта Кеннеди и убил его, в сорок два года.

Каждый вечер в сумерках Фергусон гулял по пляжу, почти каждое утро играл с отцом в теннис,

ел копченую лососину с яичницей в «Вулфис» в память о бабушке и почти все время проводил в квартире под кондиционером воздуха, работая над своими переводами французских стихов. Шестнадцатого июня, уже не зная, где именно сейчас Эми, он запечатал одно такое стихотворение в конверт и отправил ей на адрес ее родителей в Нью-Йорке. Писать ей письмо он не мог — и не желал он ей писать письмо, а вот стихотворению как-то удалось сказать почти все то, что сам он уже не мог ей сказать.

Гийом Аполлинер

Рыжекудрая[98]

Вот я весь на виду человек преисполненный здравого смысла

Понимающий в жизни и в смерти в пределах доступного людям

Испытавший и муки и радость любви

Заставлявший порою других признавать свое мненье

Говорящий на нескольких языках

---

[98] Сноски: 98
Перевод Г. Русакова.

Побродивший по свету

Повидавший войну в артиллерии и в пехоте

Раненный в голову трепанированный под хлороформом

Потерявший ближайших друзей в небывалой резне

Зная все что дано человеку о нынешнем и о минувшем

И на миг отвлекаясь от этой войны

Между нами друзья и за нас

Я пытаюсь понять эту давнюю тяжбу привычного с новым

и Порядка с Дерзаньем

Вы чей рот сотворен по господню подобью

Как олицетворенье порядка

Не судите нас строго когда захотите сравнить

Нас и тех кто прослыл воплощеньем порядка

Потому что влекомые тягой к дерзанью

Мы ведь вам не враги

Мы хотим вам открыть неоглядные странные дали

Где любой кто захочет срывает расцветшую тайну

Где пылает огнянность доныне не виданных красок

Сонмы непостижимых видений

Ждущих часа чтоб довоплотиться

Нам бы только постичь доброту эту даль где молчит тишина

Это время что мы то пришпорим то вспять повернем

Будьте к нам милосердны грехи и просчеты простите сполна

Нынче снова неистовство лета в природе

Умерла моя юность я прежней весны не найду

Полыхающий Разум сегодня землей верховодит

И я жду

Собираясь вдогонку за образом нежным

и чудным

Что волнует и властностью страсти томит

Я железо а он мой упорный магнит

Как прельстителен мне ее вид

Вид красавицы рыжекудрой

Застывшей молнией над ней

Взметнулось золото кудрей

Как пламя что лишь манит

И в чайных розах вянет

Ну так смейтесь же надо мной

Смейтесь люди повсюду особенно здесь по соседству

Я ведь столько всего вам сказать не решаюсь

Столько что вы и сами сказать мне б не дали

Ну так смилуйтесь же надо мной

(перевел А. И. Фергусон)

6.2

6.3

Через тридцать девять дней после того, как выбросил деньги Флеминга в окно, Фергусон перепечатал последние страницы окончательного варианта своей книги. Он предполагал, что в этот миг начнет чувствовать в себе всякое хорошее, но после краткого нахлыва ликования, пока выкручивал из машинки последние пять листков бумаги и копирки, чувства эти вскоре рассосались — даже предположительно вечное приятное ощущение от доказательства себе, что он способен написать книгу, что он — человек, который завершил то, что начал, а не один из тех слабовольных самозванцев, кто грезит покрупному, а выполнить обещанное им никогда не удается: таково человеческое свойство, относящееся далеко не только к сочинению книжек, и все же час или около того спустя Фергусон уже не слишком что-либо чувствовал, кроме чего-то вроде изнуренной печали, и к тому времени, как он спустился выпить перед ужином с Вивиан и Лисой в половине седьмого, все нутро у него онемело.

Пусто. Вот каким словом это называется, сказал он себе, садясь на диван и делая первый глоток

вина, та же самая *пустота*, о какой говорила Вивиан, описывая, как было ей, когда она завершила свою собственную книгу. Не пусто в том смысле, когда стоишь один в комнате, где нет мебели — а пусто в тот смысле, что чувствуешь себя выдолбленным изнутри. Да, вот оно — ты опустошен так же, как опустошена только что родившая женщина. Но в данном случае ребенок — мертворожденный, это дитя никогда не изменится, не вырастет, не научится ходить, ибо книги живут у тебя внутри столько, сколько ты их пишешь, а как только они из тебя выходят — становятся напрочь исчерпанными и мертвыми.

Сколько длится чувство? — спросил он у Вивиан, не очень понимая, временен ли этот кризис или же он — начало нырка в полномасштабную меланхолию, но не успела Вивиан ему ответить, как Лиса, вечно высоковольтная, вмешалась и сказала: Недолго, Арчи. Всего где-нибудь лет сто. Верно, Вив?

Есть одно быстрое решение, сказала Вивиан, улыбаясь от мысли об этом столетии. Начни писать другую книгу.

Другую книгу? — переспросил Фергусон. Я сейчас весь настолько выжжен, что не уверен, смогу ли когда-нибудь даже *прочесть* другую книгу.

Тем не менее Вивиан и Лиса подняли тост за Фергусона, породившего ребенка, который для него самого, может, и не жив, сказали они, но вот для них — жив, и весьма притом, а поэтому, добавила Лиса (не прочитавшая ни единой страницы его книги), она будет вполне готова бросить свою юридическую работу, если Фергусон согласится нанять ее нянькой. Такое у Лисы уж было чувство юмора — с бессмыслинкой, но обычно бывало смешно, потому что сама она была забавной, и Фергусон рассмеялся. Затем представил себе, как Лиса гуляет по Парижу с мертвым младенцем в коляске, и рассмеялся еще раз.

Наутро Фергусон и Вивиан дошли до почтовой конторы на бульваре Распай, их местного отделения государственной *PTT* (*Postes, Télégraphes et Téléphones*), которая по-французски была известна как «Пей-Тей-Тей», тройным инициалом, который спархивал с языка столь благозвучно, что Фергусону никогда не надоедало повторять эти буквы, и едва только вступили они в эту мощную цитадель услуг связи, предоставляемых гражданам Французской республики и всем прочим, либо находящимся здесь проездом, либо проживающим во Франции, тут же отправили копию Фергусоновой рукописи в Лондон авиа-

почтой. Конверт адресован был не Обри Гуллю из «Издательства Ио», а женщине по имени Норма Стайлс, работавшей старшим редактором в британском издательском доме, напечатавшем книгу Вивиан («Темза-и-Гудзон»), которая случайно была другом своего младшего коллеги по «Т-и-Г» Джеффри Бурнама, кто в свою очередь был близким другом Гулля. Таким вот манером Вивиан предпочла подать рукопись — при содействии своего подруги, которая заверила ее, что займется рукописью *немедленно*, а потом передаст ее Бурнаму, а тот затем передаст ее Гуллю. А это не слишком ли сложно? — спросил Фергусон у Вивиан, когда та предложила ему такой замысел. Не быстрее и проще ли будет просто отправить ее прямо Гуллю?

Быстрее — да, сказала тогда Вивиан, да и проще, но шансы на то, что ее примут к рассмотрению, будут равны нулю, поскольку *незатребованные* поступления, в общем и целом, оказываются в груде *самотека* (и то и другое стало новыми понятиями для непосвященного Фергусона) — и от них почти неизменно отказываются, не удостоив даже должного прочтения. Нет, Арчи, в данном случае долгий кружный путь — способ получше, единственный способ.

Иными словами, сказал тогда Фергусон, надо, чтобы книга понравилась двум людям, прежде чем она попадет к тому единственному человеку, чье мнение имеет вес.

Боюсь, что так. К счастью, два эти человека — не тупицы. Мы можем на них рассчитывать. Загадка тут — Гулль. Но, по крайней мере, у нас вероятность в девяносто восемь процентов, что он ее прочтет.

И вот утром 10 марта 1966 года они стояли в очереди на местной почте «Пей-Тей-Тей» в седьмом округе Парижа, и когда настал их черед, Фергусон изумился, до чего быстро и действенно человечек за прилавком взвесил пакет на серых металлических весах, как рьяно шлепнул на большой бурый конверт марки, а затем принялся наколачивать красные и зеленые прямоугольники резиновым штампом, гася множественные лица Марианны что было сил, — и Фергусон вдруг вспомнил эту дикую сцену в «Мартышкиных проделках», когда Арфо сходит с ума и штампует все, до чего дотянется, даже лысые головы таможенных чиновников, и его тут же затопила любовь ко всему французскому, даже к самым дурацким, самым нелепым вещам, и впервые за несколько последних недель он сказал себе, до чего хорошо

жить в Париже и до чего много из того, что в этом хорошего, случилось потому, что он знаком с Вивиан и она — его друг.

Стоимость авиадоставки оказалась чрезмерна — больше девяноста франков, когда к ней добавили страховку и извещение о получении (около двадцати долларов, или четверть его еженедельного содержания), но когда Вивиан полезла в сумочку за деньгами, чтобы заплатить служащему, Фергусон перехватил ее запястье и велел прекратить.

Не в этот раз, сказал он. Там, внутри, мой мертвый ребенок, и платить за него буду я.

Но, Арчи, это же так дорого…

Я заплачу, Вив. В «Пей-Тей-Тей» расход больше ничей.

Хорошо, мистер Фергусон, как пожелаете. Но теперь, раз твоя книга вот-вот улетит в Лондон, пообещай мне, что прекратишь о ней думать. Хотя бы пока не возникнет причина возобновить думы о ней. Хорошо?

Постараюсь, но ничего обещать не могу.

Началась вторая фаза его жизни в Париже. Ни над какой книгой работать больше не требовалось — и не было нужды продолжать ходить на занятия по языку в *«Alliance Française»*, Фергусона

больше не связывало жесткое дневное расписание последних пяти месяцев. Если не считать занятий с Вивиан, он теперь был волен делать все, что пожелает, а это, превыше всего прочего, означало, что у него появилось время ходить в кино днем среди недели, писать длиннее и чаще письма тем, кто больше всех для него значил (матери и Гилу, Эми и Джиму), искать закрытую или открытую площадку где-нибудь, чтобы вновь начать играть в баскетбол, и делать запросы, чтобы собрать себе возможных учеников для частных уроков английского. Вопрос о баскетболе решился лишь в начале мая, а учеников ему найти так и не удалось, но вот письма улетали от него неистощимым потоком, и он посмотрел ошеломляющее количество фильмов, ибо как бы хорош ни был Нью-Йорк как место для просмотра кино, Париж оказался еще лучше, и за последующие два месяца к своей папке с несшитыми листами он прибавил сто тридцать заметок — столько, что первоначальный скоросшиватель из Нью-Йорка теперь обзавелся парижским братцем.

Только это он и писал всю первую половину весны — письма, аэрограммы и открытки в Америку, — да еще неуклонно росла стопка одно- и двухстраничных изложений фильмов

и скорописных рассуждений о них. Трудясь над последними редактурами своей книги, он также думал об очерках и статьях, которые ему хотелось написать потом, а вот теперь осознал, что мысли эти подпитывались топливом адреналина, гнавшего его поскорее закончить книгу, и как только дело оказалось сделано, адреналин куда-то пропал, и мозгам его настал капут. Требовалась небольшая пауза, прежде чем он заведется снова, и, следовательно, все первые недели весны он довольствовался тем, что заносил свои мысли в записную книжку карманного формата, которую носил с собой на все прогулки, набрасывал возможные доводы и контраргументы на различные темы, пока сидел за столом у себя в комнате, и придумывал все больше примеров для материала, какой хотел написать о детях в кино, об изображении детства в кино — от обжигающих ударов розги, какие Базиль Ратбон наносил по крупу Фредди Бартоломью в «Давиде Копперфильде», до Пегги Анн Гарнер, входящей в цирюльню забрать бритвенную кружку своего покойного отца в «Растет в Бруклине дерево», от жесткого шлепка по голове Жана-Пьера Лео в «400 ударах» до Апу и его сестры, которые сперва сидят на поле тростника и смотрят, как

мимо проносится поезд, а затем устраиваются в дупле дерева, покуда на них хлещет дождь, в «Песни дороги», единственный прекраснейший и сокрушительный образ детей, какой Фергусону когда-либо попадался в кино, образ до того наглядный и плотный от смыслов, что ему приходилось сдерживаться, чтобы не плакать всякий раз при мысли о нем, но тот очерк, да и все прочие, покамест никуда не двигался: Фергусон был настолько вымотан работой над своей ничтожной книжонкой, что ему едва хватало энергии не терять ход мысли двадцать или тридцать секунд подряд, не забывая первую мысль до того времени, как к нему приходила третья.

Несмотря на собственную шутку о том, что не уверен, сможет ли когда-нибудь прочесть еще хоть одну книжку, Фергусон той весной прочел много книг — больше, чем читал прежде в любой период своей жизни, и его занятия с Вивиан продвигались ходко, он чувствовал, что все больше и больше вовлекается в то, что они делают вместе, все больше погружается в это, поскольку сама Вивиан казалась более уверенной, в своей роли учителя ей становилось уютнее. Поэтому одну за другой они бодро освоили еще шесть пьес Шекспира — вместе с пьесами Расина, Мольера

и Кальдерона де ла Барки, затем принялись за очерки Монтеня, а Вивиан познакомила его со словом *паратаксис*, они обсуждали мощь и скорость прозы, исследовали ум человека, который открыл, проявил или изобрел то, что Вивиан называла *современным разумом*, а затем настали три сплошных недели с Рыцарем Печального Образа, который с Фергусоном в девятнадцать лет сделал то же самое, что Лорел и Гарди — с ним в детстве, то есть завоевал его сердце всеобъемлющей любовью к воображаемому существу, этот кулема-провидец-безумец начала семнадцатого века, кто, как и киношные клоуны, о ком Фергусон написал у себя в книжке, *никогда не сдавался*: «…и уже много дней, как я, спотыкаясь и падая, то срываясь, то вновь подымаясь, помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю покровительство замужним, сирым и малолетним, то есть занимаюсь тем, чем свойственно и сродно заниматься странствующему рыцарю, и замысел свой я уже более чем наполовину претворил в жизнь»[99].

Книги из списка Гила — но и книги про кино, история и антологии как на английском, так и на французском, очерки и полемические статьи

[99] Сноски: 99

Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, т. II, гл. XVI, пер. Н. Любимова.

Андре Базена, Лотты Айснер, а также режиссеров «новой волны», пока они не начали снимать свое кино, первые статьи о Годаре, Трюффо и Шаброле, он перечитывал две книги Эйзенштейна, рассуждения Паркера Тайлера, Манни Фарбера и Джемса Эйджи, исследования и рассуждения старых мэтров — Зигфрида Кракауэра, Рудольфа Аргейма и Белы Балаша, все номера *«Cahiers du Cinéma»* от корки до корки, сидел в Библиотеке Британского совета, читая «Сайт-энд-Саунд», дожидался своих подписных экземпляров «Филм Калчер» и «Филм Коммент» из Нью-Йорка, а затем, после утреннего чтения с половины девятого до двенадцати, — дневные походы в «Синематеку» прямо за рекой, всего франк на билет по его старому студенческому билету из Риверсайдской академии, на который контролер даже взгляда не бросал, чтобы убедиться, действителен ли он, в первый, крупнейший и лучший киноархив где бы то ним было в мире, основанный толстым маньяком, похожим на Дон-Кихота, Анри Ланглуа, киношником всех киношников, и до чего ж любопытно было смотреть редкие британские фильмы со шведскими субтитрами или немое кино безо всякого музыкального аккомпанемента, но таков был закон Ланглуа — без музыки, и хотя

Фергусону потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к полностью безмолвному экрану и залу без всяких звуков в нем, кроме кашля и чиханья публики да время от времени потрескивания кинопроектора, он постепенно начал ценить силу этого безмолвия, ибо часто случалось так, что он *слышал* что-то, смотря эти фильмы, как хлопает дверца машины, или на стол ставят стакан воды, или на поле боя взрывается бомба, немота немого кино, казалось, вызывала лихорадку слуховых галлюцинаций, а это что-то говорило о человеческом восприятии, предполагал он, и о том, как люди переживают всякое, если они эмоционально втянуты в это переживание, а когда не ходил в «Синематеку» — отправлялся в *«La Pagode»*, *«Le Champollion»* или какой-нибудь кинотеатр на рю Месье-ле-Пранс или на бульвар Сен-Мишель, или за него, возле рю дез Эколь, а еще самым полезным для углубления его образования оказалось нечаянное открытие *«Action Lafayette»*, *«Action République»* и *«Action Christine»*, троицы кинотеатров «Аксьон», где показывали только старые голливудские фильмы, черно-белую студийную продукцию былой Америки, которую лишь немногие американцы теперь сами помнили, комедии, полицейские детективы,

драмы эпохи Великой депрессии, картины про бокс и про войну тридцатых годов, сороковых и начала пятидесятых, которые тогда выпускали тысячами, и настолько богаты были возможности, какие ему предлагались, что знание Фергусоном американского кино после переезда в Париж значительно расширилось — точно так же, как в театре «Талия» и Музее современного искусства в Нью-Йорке родилась его любовь к французским фильмам.

Меж тем его преследовал Флеминг — Флемингу отчаянно хотелось извиниться, Флеминг из кожи вон лез, чтобы как-то загладить тот вечер с деньгами и слезами, и много дней после того вечера он звонил на квартиру Вивиан по крайней мере раз в день, чтобы поговорить с Фергусоном, но когда Селестина подсовывала записки под дверь Фергусоновой комнаты, тот их рвал и не перезванивал. Две недели сплошь не отвеченных звонков — и затем звонки прекратились, начались письма и записки. Прошу тебя, Арчи, позволь мне тебе доказать, что я не такой, как ты обо мне думаешь. Прошу тебя, Арчи, позволь мне быть твоим другом. Пожалуйста, Арчи, я познакомился с таким количеством интересных студентов здесь, в Париже, и мне бы очень

хотелось тебе их представить, чтобы ты начал заводить друзей среди своих ровесников. Три недели подряд, когда в неделю приходило два или три письма, все оставались неотвеченными, все порваны и выброшены, а потом наконец прекратились и письма. Фергусон молился, чтобы на этом все и закончилось, но всегда оставалась возможность того, что он встретится с Флемингом еще на каком-нибудь ужине или случайно столкнется с ним на улице, а потому история официально не завершится, покуда Флеминг не уедет обратно в Америку в августе, до которого оставалось еще несколько месяцев.

Ночи продолжали быть тяжкими: никакого постельного партнера, даже поцеловать некого, никакого секса, чтобы этот кто-то вытащил Фергусона из этой его изоляции, но уж лучше оставаться одному, и никто не будет его трогать, чем его будет трогать кто-нибудь вроде Флеминга, говорил он себе, даже если это не Флеминг виноват в том, кто он, а после этого Фергусон выключал свет, опускал голову на подушку и лежал в темноте и вспоминал.

Прилежная и действенная *PTT*, выполнявшая во Франции ту же работу, какая в Америке делилась между тремя службами (Почтовой службой

США, «Вестерн Юнион» и «Ма Белл»), следила за тем, чтобы почта доставлялась дважды в день, один раз — утром, а другой раз — днем, и, поскольку адрес Фергусона совпадал с адресом Вивиан, его письма и бандероли первоначально приземлялись в квартире внизу. Как только их доставляли, добрая Селестина относила их наверх, письма подсовывала под дверь Фергусоновой комнаты или стучалась к нему и вручала то, что в эту узкую щель не проходило: его американские журналы о кино, к примеру, или те книги, что время от времени ему слали Гил и Эми. В десять минут десятого утром одиннадцатого апреля, когда Фергусон сидел у себя и читал «Жизнь есть сон» (*La Vida es Sueño*) Кальдерона де ла Барки, он услышал знакомую легкую поступь Селестины по лестнице, затем скрип половиц в коридоре, когда она подходила к его комнате, и миг спустя на полу всего в нескольких дюймах от его ног лежал узкий белый конверт. Британская марка. Деловой конверт с отпечатанным обратным адресом в верхнем правом углу, гласивший: «Книги Ио». Полностью ожидая скверных новостей, Фергусон нагнулся, подобрал с пола письмо, а затем медлил распечатывать конверт шесть или семь минут — достаточно долго, чтобы уже начать

себя спрашивать, с чего ему так бояться того, в неважности чего сам себя уже давно убедил.

Еще тридцать или сорок секунд понадобилось ему, чтобы понять: скверные новости, каких он ожидал, на самом деле — новости хорошие, за аванс от авторского гонорара в размере четырехсот фунтов «Ио» *с воодушевлением намерено* опубликовать «Как Лорел и Гарди спасли мне жизнь» где-то в марте или апреле будущего года, — но даже утвердительный ответ Обри Гулля не мог убедить его, что кто-либо действительно захочет принять его книгу, поэтому Фергусон измыслил историю, какая могла бы объяснить это письмо, безмолвно обвинив Вивиан в том, что она раскошелилась на эту публикацию сама, несомненно, это она подкупила Гулля в одной из зловещих закулисных сделок, что включали в себя выписывание еще одного чека на много тысяч фунтов, чтобы заплатить за новые книги «Ио» в будущем. Ни разу с тех пор, как приехал в Париж, не сердился он на Вивиан, ни разу не говорил ей ни единого жесткого слова или не подозревал ее ни в чем таком, что выдавало бы в ней кого-нибудь, кроме женщины честной и доброй, но тут доброта ее зашла слишком уж далеко, сказал он себе, это — превращение доброты

в некий извод унижения, а поверх всего прочего это глубоко и отвратительно бесчестно.

К половине десятого он уже был внизу, в квартире Вивиан, совал ей письмо Гулля и требовал, чтобы она призналась в том, что натворила. Вивиан никогда не видела Фергусона в таком паршивом расположении духа. Молодой человек был вне себя, он весь кипел от возмутительных, параноидных видений коварных интриг и порочных обманов, и, как Вивиан потом ему сказала, лишь два возможных отклика на это пришли ей в голову, пока она стояла и смотрела, как он идет вразнос: либо отвесить ему пощечину, либо расхохотаться. Она предпочла расхохотаться. Смех был более медленным средством из двух решений, но через десять минут ей удалось убедить гордого, чрезмерно чувствительного, патологически не уверенного в себе Фергусона, что она не играла никакой роли в принятии его книги издательством и не посылала Гуллю ни фартинга, ни су, ни единого медяка.

Поверь в себя, Арчи, сказала она. Прояви чуточку самоуверенности. И бога ради, никогда ни в чем подобном меня больше не обвиняй.

Фергусон пообещал, что не будет. Ему так стыдно за самого себя, сказал он, он в таком ужасе от

своей *непростительной истерики*, а хуже всего то, что он и понятия не имеет, какая это муха его укусила. Сумасшествие — вот что это такое, чистое безумие, и если такое произойдет снова, ей больше не стоит смеяться, а нужно просто надавать ему по мордасам.

Вивиан приняла его извинение. Они помирились. Буря миновала, и совсем вскоре они уже вместе пошли на кухню отпраздновать добрую весть вторым завтраком из «мимоз» и маленьких крекеров, увенчанных икрой, но как бы хорошо ни начал себя чувствовать Фергусон из-за доброй вести в письме Гулля, его безумный выплеск не переставал его тревожить, и он задавался вопросом, уж не сигнал ли эта сцена, которую он закатил Вивиан, того, что они вскоре рассорятся.

Впервые в жизни он начинал как-то побаиваться сам себя.

Пятнадцатого числа пришло второе письмо от Гулля, где объявлялось, что во вторник, девятнадцатого, он приезжает в Париж. Человек из «Ио» извинялся за то, что у него *все так ужасно в последнюю минуту насчет поездки*, но если Фергусон случайно окажется в этот день не занят, он с радостью воспользуется случаем с ним познакомиться. Он предлагал обед в половине

первого в «Фуке», где они смогут обсудить планы на книгу, а если беседу придется продлить за пределы обеда, его отель — сразу за углом от Елисейских Полей, и они смогут заскочить туда и там продолжить. Так или иначе, Фергусон мог принять приглашение или отказаться от него, оставив записку у консьержа в «Георге V». С наилучшими пожеланиями и т. д.

На основе того, что Вивиан удалось выяснить у своей подруги Нормы, чье знание опиралось на то, что она узнала от своего сослуживца Джеффри Бурнама, известное Фергусону об Обри Гулле ограничивалось такими вот фактами: ему тридцать лет, женат на женщине по имени Фиона и отец двоих маленьких детей (четыре года и один), выпускник оксфордского колледжа Баллиол (где они и познакомились с Бурнамом), сын зажиточного производителя шоколада и печенья, квазипаршивая овца (приболевшая?), ему нравилось вращаться в художественных кругах, и у него хороший нюх на литературу, издатель серьезный, но также известный своей *компанейскостью* и несколько *эксцентрик*.

Смутность такого портрета привела Фергусона к тому, что он стал воображать Гулля одним из тех напыщенных британских джентльменов,

каких часто показывают в американском кино, ехидным и заносчивым парнягой с румяным лицом и склонностью высмеивать всех себе под нос, что призвано было развлекать окружающих, но никогда не развлекало. Наверное, Фергусон насмотрелся фильмов, а то и, может статься, это инстинктивный страх неведомого научил его от всех новых ситуаций ожидать худшего, но истина заключалась в том, что у Обри Гулля не только не было румяного лица или надменности — он вообще оказался одним из самых душевных и приятных людей, с кем Фергусон когда-либо сталкивался в перипетиях собственной жизни.

Такой маленький, такой миниатюрный человечек, всего пять футов три, и все до единой его черты пропорционально тоже миниатюризованы: мелкое личико, маленькие кисти, маленький рот, маленькие руки и ноги. Ярко-голубые глаза. Сливочно-белый цвет лица, как у человека, живущего в бессолнечной, промоченной дождем стране, а сверху — копна курчавых волос цвета где-то между рыжим и светлым по спектру, такой оттенок, слышал как-то раз Фергусон, называли *имбирным*. Не зная, что сказать, когда они пожали друг другу руки и уселись за обед в «Фуке» днем девятнадцатого, Фергусон вынудил

себя завести беседу тем, что безмозгло сообщил Гуллю, что тот — первый человек с именем Обри, какой попадался Фергусону. Гулль улыбнулся и спросил, известно ли Фергусону, что означает это имя. Нет, ответил Фергусон, понятия не имею. *Владыка эльфов*, сказал Гулль, и ответ его оказался настолько комичным и неожиданным, что Фергусону с трудом удалось подавить смешок, какой уже собирался у него в легких, смешок, который легко можно было неверно истолковать как оскорбление, осознал он, а к чему рисковать и оскорблять человека, который одобрил его книгу за первые же две минуты после их встречи? Но все же — как это уместно, как совершенно подобающе, что этот человечек — владыка эльфов! Словно бы боги зашли в дом к Обри ночью накануне его рождения и повелели родителям именно так назвать своего ребенка, и вот теперь, когда голова у Фергусона заполнялась образами эльфов и богов, он глядел в маленькое, миловидное лицо своего издателя и задавался вопросом, не сидит ли он в присутствии существа мифического.

До того дня Фергусон ничего не знал о том, как работают издательства или что они делают для того, чтобы пропагандировать свои книги. Помимо оформления и печатания их, предполагал он,

главная работа состоит в том, чтобы на них писало рецензий как можно больше газет и журналов. Если рецензии хороши, книга получилась ударная. Если рецензии плохи, книга провалилась. Теперь же Обри рассказывал ему, что рецензенты — лишь один элемент процесса, и пока владыка эльфов подробно объяснял, каковы некоторые другие элементы, Фергусону становилось все интереснее и интереснее, его все больше и больше поражало то, что с ним будет происходить, когда его книгу напечатают. Перво-наперво — поездка в Лондон. Интервью ежедневной и еженедельной прессе, интервью репортерам из Би-би-си, возможно даже — появление в *телике*. Вечернее мероприятие в небольшом театре, где Фергусон будет читать публике отрывки из книги, а затем усядется беседовать о ней с сочувствующим ему журналистом или собратом-писателем. И — над этим еще нужно будет поработать — вечер Лорела и Гарди в НКТ[100] или каком-нибудь другом кинотеатре, и Фергусон со сцены будет представлять их фильмы.

Фергусон в лучах софитов. Фергусон и его портрет в газете. Фергусон и его голос по радио.

---

[100] Сноски: 100
Национальный кинотеатр.

Фергусон на сцене читает притихшей толпе преданных поклонников.

Как можно всего этого не захотеть?

Штука в том, говорил Обри, что ваша книга настолько дьявольски хороша, что заслуживает обхождения с ней по всей клятой программе. Никому не полагается писать книги в девятнадцать лет. Это просто неслыханно, и я готов спорить, что людей она просто, нафиг, с ног сшибет, как меня сшибла, как Фиону, как примерно всех у меня в штате.

Будем надеяться, сказал Фергусон, стараясь затолкать свое возбуждение под крышку, чтобы слова Обри не занесли его слишком высоко и он бы не выставил себя дураком. Но до чего ж хорошо ему теперь становилось. Двери открывались. Одну за другой Обри распахивал перед ним створки, и один за другим ему представали новые чертоги, куда можно было войти, а мысль о том, что отыщет он в этих чертогах, наполняла его счастьем — бóльшим счастьем, чем он ощущал уже много месяцев.

Не хочу преувеличивать, сказал Обри (вероятно, имея в виду, что это он и делает), но если б вы завтра пали замертво, «Как Лорел и Гарди спасли мне жизнь» осталась бы жить в веках.

Какая странная фраза, ответил Фергусон. Возможно, страннее я не слышал ничего в жизни.

Да, это довольно причудливо, не так ли?

Сначала я падаю замертво, затем спасаю себе жизнь, а потом живу вечно, хоть и вроде бы мертвый.

И впрямь очень чудно́. Но сказано от всего сердца и предложено как искренний комплимент.

Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Что-то начинало подниматься к поверхности, нечто настолько сильное, что Фергусон заподозрил, будто Обри его клеит, что этот добродушный имбирновласый сотрапезник — такое же двустороннее существо, как он сам, и по этой дорожке проходил уже не раз. Ему стало интересно, такой же маленький у Обри хер, как и весь остальной он, а затем, задумавшись о собственном хере, задал себе вопрос, выпадет ли ему когда-нибудь возможность это выяснить.

Видите ли, Арчи, продолжал Обри, я пришел к заключению, что вы — человек, не похожий на всех остальных, вы личность особая. Я это ощутил, когда прочел вашу рукопись, но теперь, когда встретился с вами лицом к лицу, я в этом убежден. Вы сам себе голова, и поэтому ваше общество как человека — чистый восторг, но еще

и поэтому вы никогда никуда не впишетесь, что хорошо, на мой взгляд, поскольку вы сможете и дальше быть самому себе хозяином, а тот, кто сам себе хозяин, — человек лучше большинства других людей, даже если он никуда не вписывается.

Вообще-то, сказал Фергусон, выдавая лучшую и широчайшую улыбку и ныряя в игру соблазнения, которую, похоже, начал Обри, я пытаюсь вписаться куда только могу… к кому только могу.

Обри ухмыльнулся ему в ответ после этого непристойного замечания, приободрившись от того, что Фергусон ухватывает все нюансы ситуации. Это я и имею в виду, сказал он. Вы открыты любым переживаниям.

Да, ответил Фергусон, очень открыт. Всем и каждому.

Все и каждый в данном случае означали того единственного, кто сидел напротив него в шикарном и приятно гомонящем «Фуке», совершенно обворожительного Обри Гулля, человека, свалившегося откуда ни возьмись и готового делать все, что в его власти, чтобы преобразовать жизнь Фергусона тем, что сделает его книгу успешной, чарующего и игривого Обри Гулля, самого желанного и пьянящего человека, чей хорошенький

ротик Фергусону так настоятельно хотелось поцеловать, а затем, когда Обри осушил еще один или два бокала вина, предположительный эксцентрик принялся звать Фергусона хорошеньким мальчиком и милым парнем, хорошим парнем, прекрасным парнем, что было не столько эксцентрично, сколько ласково и возбуждало, и к тому времени, как они дообедали, все вышло наружу, никаких больше тайн не требовалось разгадывать, никаких вопросов задавать.

Фергусон сел на кровать в номере на пятом этаже отеля «Георг V» и смотрел, как Обри снимает пиджак и галстук. Он так долго не был ни с кем, кто был бы ему небезразличен, так много времени прошло с тех пор, как его кто-либо трогал или хотел потрогать, не заговорив сперва о деньгах, что, когда владыка эльфов подошел к кровати, сел ему на колени и обнял полностью одетый торс Фергусона, Фергусон задрожал. А потом он уже целовал прелестный ротик и содрогался по всей длине своего тела, и когда языки их встретились, а объятия стали туже, Фергусон вспомнил слова, какие сказал себе много лет назад, пока ехал автобусом в Бостон повидаться со своим возлюбленным Джимом: *врата небесные*. Да, вот как это сейчас ему чувствовалось, и после

тех чертогов, какие он посетил в уме за обедом, покои, в которые он вошел, пока Обри стоял и одну за другой открывал перед ним двери, вот открывалась еще одна, и они с Обри входили в эти покои вместе. Земные мужчины. Постель в парижской гостинице, названной именем английского короля. Англичанин и американец на этой постели, в чем мать родила, сплошь земная плоть. *Au-delà*. Французское слово, обозначающее потустороннее. Следующий мир дышал в них здесь и сейчас, в мире нынешнем.

Хер был так же мал, как он себе его воображал, но, как и со всем остальным в Обри, он был уместно пропорционален всему остальному его миниатюрному телу и не менее прелестен, чем его прелестный ротик или любая другая его часть. Самым важным оказалось то, что Обри знал, как ему обращаться со всем, что он имел. В свои тридцать лет он был гораздо опытнее в постели и делах телесных, чем те мальчишки, с кем Фергусон спал в прошлом, а поскольку любовник он был общительный, и никаких причудливых или неприятных наклонностей у него не имелось, да и совестью он не мучился из-за своей страсти ебаться с мальчишками и быть ими ебомым, он оказался одновременно и нежнее, и агрессивнее,

чем были Энди Коган и Брайан Мишевский, сразу и более уверенным в себе, и более щедрым, милый человек, кому нравилось это делать так же, как нравилось ему, когда это делали с ним, и те часы, что он провел с Фергусоном в тот день и вечер, были уж точно лучшими и самыми удовлетворительными часами жизни Фергусона в Париже из всех, прожитых до сих пор. Неделей раньше Фергусон боялся, что движется к умственному надлому. Теперь же мозг его бурлил тысячей новых замыслов, а тело его успокоилось.

Через десять дней после путешествия в мир иной в объятьях своего английского издателя Фергусон прижал к себе мать и попросил у нее прощения. Они с Гилом только что приземлились в Париже. «Нью-Йорк Геральд Трибюн» закрылась и умерла двадцать четвертого апреля, и раз Гил оказался временно безработным до осени, когда начнет новую карьеру преподавателя в Маннисском колледже музыки, мать и отчим Фергусона решили отправиться в медовый месяц, который до сих пор себе не устроили — и после шести с половиной лет брака. Для начала — неделя в Париже. Затем Амстердам, Флоренция, Рим и Западный Берлин, который Гил последний раз видел через полгода после окончания войны в

конце 1945-го. Время они собирались проводить, глядя на голландскую и итальянскую живопись, а затем Гил покажет матери Фергусона места, где жил еще мальчиком.

Фергусон закончил печатать три экземпляра своей книги девятого марта. Один экземпляр теперь лежал на верхней полке книжного шкафа у него в комнате в Париже, другой — на рабочем столе Обри в Лондоне, а третий был отправлен на адрес квартиры его родителей на Риверсайд-драйве в Нью-Йорке. Через две недели после того, как рукопись переправилась через океан, Фергусон получил письмо от Гила. Это было нормально, поскольку мать Фергусона не слишком-то любила писать письма, и на девять десятых всей корреспонденции, какую он отправлял им совместно, отвечал единолично Гил, иногда — с короткой припиской от матери в конце (*Я так по тебе соскучилась, Арчи!* или: *Тысяча поцелуев от твоей Ма!*), а иногда и такого не было. Первые абзацы Гилова письма были полны положительных замечаний о книге и той *выдающейся работе*, какую он проделал для уравновешивания *эмоционального содержания сюжета с физическими и феноменологическими данными*, и насколько большое впечатление произвел на него *быстрый*

рост Фергусона и *усовершенствование его как писателя*. Однако к четвертому абзацу тон письма начал меняться. *Но, дорогой Арчи*, написал ему тогда Гил, *ты должен отдавать себе отчет в том, насколько глубоко эта книга расстроила твою мать и до чего трудно ей было ее читать. Разумеется, переживать такие трудные дни прошлого нелегко будет кому угодно, и я не виню тебя за то, что ты довел ее до слез (я и сам пролил не одну слезинку), но там было несколько мест, где ты, возможно, бывал немного чересчур откровенен, я боюсь, и ее ошеломила сокровенность некоторых деталей, которые ты о ней огласил. Просматривая рукопись снова, я бы сказал, что самый оскорбительный пассаж выпадает на стр. 46-47, посреди той части, где рассказывается о мрачном лете, которое вы вдвоем проводили на джерсейском побережье, запершись в том домике вместе, смотрели телевизор с раннего утра до позднего вечера и едва ли вообще ступали на пляж. Просто чтобы освежить тебе память: «Моя мать курила всегда, но теперь она курила беспрерывно, потребляя четыре-пять пачек "Честерфильдов" в день, уже редко озабочивалась чиркать спичками или зажигалкой, потому что проще и действенней было прикуривать*

следующую сигарету от еще горящего кончика предыдущей. Насколько мне было известно, она в прошлом редко пила алкоголь, но теперь каждый вечер выпивала шесть-семь рюмок неразбавленной водки, и к тому времени, как укладывала меня ночью в постель, голос ее слипался, а веки бывали полузакрыты так, словно она больше не имела сил глядеть на мир. Мой отец был к тому времени мертв уже восемь месяцев, и каждый вечер того лета я забирался под теплую и смятую верхнюю простыню своей постели и молился, чтобы мать моя наутро оказалась жива». Это жестко, Арчи. Быть может, тебе следует подумать и вырезать этот кусок из окончательной версии — или хотя бы до некоторой степени сгладить его, чтобы пощадить чувства твоей матери и не причинять ей боль тем, что такой мучительный эпизод ее жизни вытащен на публику. Остановись и задумайся на минутку — и ты поймешь, почему я прошу тебя это сделать… Затем настал последний абзац: *Хорошая новость в том, что «Триб» того и гляди загнется, и у меня скоро не окажется работы. Как только это произойдет, мы с твоей матерью отправимся в Европу — скорее всего, к концу апреля. Тогда и сможем об этом поговорить.*

Но Фергусону вовсе не хотелось ждать того времени. Вопрос был слишком уж тревожным, чтобы откладывать его решение до конца апреля, поскольку теперь, раз уже Гил вычленил эти фразы из книги и выделил их из окружающего материала, Фергусон понял, что он и впрямь слишком жёсток и заслуживал того выговора, который сделал ему отчим. Не то чтоб пассаж этот был неправдой, по крайней мере — с точки зрения его, восьмилетнего, насколько он припоминал себя, став постарше, пока писал книгу. Его мать действительно очень много курила тем летом, она и вправду пила рюмками неразбавленную водку и не занималась домом, и его тогда беспокоили вялость и пассивность, ею овладевшие, временами его даже пугала ее онемелая отстраненность от него, пока он сидел и строил замки из песка на пляже, а она смотрела на волны. Фразы, которые Гил привел в письме, рисовали мать Фергусона в ее надире, на самом дне ее нисхождения в скорбь и смятение, но весь смысл был в том, чтобы противопоставить то потерянное лето с тем, что с нею произошло после того, как они вернулись в Нью-Йорк, что отметило ее возврат к фотографии и начало новой жизни, изобретение Розы Адлер. Похоже, однако, Фергусон несколько

перестарался с контрастом, пропитал страхами маленького мальчика и опасениями за взрослое поведение ситуацию, какая была отнюдь не настолько суровой, как он себе воображал (водка присутствовала, конечно, как его мать рассказала потом Гилу, но лишь две бутылки за все сорок шесть дней, что они провели в Бельмаре), и потому Фергусон, дочитав письмо, сел и сочинил покаянные одностраничные ответы и матери, и отчиму, извиняясь за любое расстройство, какое он мог им причинить, и обещая, что вычеркнет из книги оскорбительный пассаж.

И вот он утром двадцать девятого апреля стоит в вестибюле отеля «Пон-Руайяль», обняв мать, еще не оправившуюся после перелета, и просит у нее прощения. Снаружи улицы лупил дождь, и когда Фергусон опустил подбородок на материно плечо, он глянул в переднее окно гостиницы и увидел, как из руки какой-то женщины вырывается зонтик.

Нет, Арчи, сказала мать, мне не нужно тебя ни за что прощать. Это тебе нужно меня простить.

Гил уже стоял у стойки портье, дожидаясь своей очереди вручить паспорта, расписаться в учетной книге постояльцев и заселиться в гостиницу, и пока он занимался всеми этими скучными

делами, Фергусон подвел мать к скамье в углу вестибюля. После перелета она выглядела измотанной, и если ей хотелось и дальше с ним разговаривать, чего, как он полагал, ей и хотелось, было бы легче делать это сидя. Измучена, добавил про себя Фергусон, но не больше любого другого, кто путешествовал бы двенадцать или тринадцать часов без перерыва, и выглядит прекрасно, подумал он, почти ни йоты разницы с тем, какой он видел ее в последний раз шесть с половиной месяцев назад. Его красивая мать. Его прекрасная, несколько измотанная мать, и до чего же хорошо было вновь смотреть ей в лицо.

Я очень по тебе скучала, Арчи, сказала она. Я знаю, ты уже большой, и у тебя есть все права на то, чтобы жить, где б тебе ни захотелось, но так надолго мы ни разу не расставались, и к этому еще необходимо привыкнуть.

Я знаю, сказал Фергусон. Мне было так же.

Но ты же здесь счастлив, правда?

Да, по большей части. По крайней мере, мне так кажется. Жизнь, знаешь ли, несовершенна. Даже в Париже.

Это ты хорошо сказал. Даже в Париже. Даже в Нью-Йорке, к тому ж, если уж на то пошло.

Скажи мне, ма. Почему ты сказала то, что ска-

зала пару мгновений назад, — перед тем, как мы подошли сюда и сели?

Потому что это правда, вот почему. Потому что неправильно было с моей стороны поднимать такой шум.

Не согласен. То, что я написал, было жестоко и несправедливо.

Необязательно. Вовсе нет, если смотреть с того места, где ты сидел восьмилетним мальчиком. Мне удавалось держаться, пока ты ходил в школу, а потом настало время отпуска, и я просто больше не знала, что с собой делать. Бардак, Арчи, вот во что я превратилась, нечестивый бардак, и тебе, наверное, было страшновато оставаться в то время со мной.

Дело не в этом.

Нет, ты не прав. Именно в этом. Ты же помнишь «Еврейскую свадьбу», верно?

Конечно, помню. Мерзкая старая кузина Шарлотта и ее лысый, близорукий муженек, как-его-там.

Натан Бирнбаум, стоматолог.

Лет десять где-то прошло, нет?

Почти одиннадцать. И я по-прежнему с ними не разговариваю, все это время. Ты же понимаешь почему, правда? (*Фергусон покачал головой.*)

Потому что со мной они сделали то же, что я чуть не сделала с тобой.

Не улавливаю.

Я сделала их снимки, которые им не понравились. Довольно неплохие снимки, думала я. Не самые лестные на свете, но снимки хорошие, интересные, и когда они не дали мне их опубликовать, я позволила Шарлотте и Натану исчезнуть из моей жизни, поскольку сочла их парочкой дураков.

Какое отношение это имеет к «Лорелу и Гарди»?

Неужели не сообразил? Ты сделал мой снимок в своей книге. Множество снимков вообще-то, не один десяток, и большинство их очень лестны, кое-какие — настолько лестны, что мне даже как-то стыдно было читать про себя такое, но вместе с этими лестными картинками были и такие, что показывали меня в ином свете, в свете нелестном, и когда я читала те части книги, меня они задели и рассердили, так задели и так рассердили, что я поговорила об этом с Гилом, чего мне вовсе не следовало делать, и после этого он написал тебе письмо, от которого тебе стало так скверно — скверно потому, что я знаю: последнее, чего бы тебе захотелось, — это причинять

мне боль, и когда ты прислал нам эти коротенькие письма, я ощутила, что обошлась с тобою нехорошо. Твоя книга — честная книга, Арчи. Ты рассказал правду в каждом ее предложении, и я не хочу, чтобы ты в ней что-то редактировал или стирал что-нибудь из-за меня. Ты меня слушаешь, Арчи? *Не меняй в ней ни слова.*

Неделя пролетела быстро. На время визита Вивиан приостановила их учебные занятия, и хотя Фергусон продолжал читать по нескольку часов утром, каждый день он встречался с Гилом и матерью на обед, а потом оставался с ними, пока не приходила пора возвращаться домой и ложиться спать. За эти месяцы после того, как он уехал из Нью-Йорка, многое изменилось, однако все, по сути, осталось прежним. После семи лет работы Гил дописал книгу о Бетховене, и теперь у него, казалось, нет сожалений о том, что он отказался от бремени рецензирования и журналистики ради более спокойной жизни преподавателя истории музыки в Маннисе. Мать Фергусона продолжала снимать портреты известных людей для журналов и медленно собирала новую книгу об антивоенном движении дома (она была яростно за «против»). Куда бы ни ходили они вместе в те дни, она прихватывала с собой

маленькую «Лейку» и несколько катушек пленки, щелкала раз за разом, снимая протестные плакаты, что появились по всему Парижу («США ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА», «ЯНКИ ВАЛИТЕ ДОМОЙ», «À BAS LES AMERLOQUES», «LE VIETNAM POUR LES VIETNAMIENS»[101]), вместе с многочисленными снимками парижских уличных сцен, и пара катушек была посвящена лишь Фергусону и Гилу, и поодиночке, и вместе. Они втроем смотрели на картины в Лувре и *«Jeu de Paume»*, ходили в *«Salle Pleyel»* на исполнение «Мессы времен войны» Гайдна (Фергусон с матерью оба решили, что это *необыкновенно*, а Гил откликнулся на их восторги вымученной улыбкой, которая означала, что для него исполнение не было на должном уровне), и однажды вечером после ужина Фергусон заманил их доехать до *«Action Lafayette»* на десятичасовой сеанс показа «Случайного урожая» Мервина Лероя, фильма, где, как все они согласились, навоза хватало бы на четыре конюшни, но, как отметила мать Фергусона, до чего приятно было смотреть, как Грир Гарсон и Рональд Кольман притворяются, будто влюблены.

Незачем и говорить, Фергусон сообщил им о

---

[101] Сноски: 101
«Долой американцев!», «Вьетнам — вьетнамцам!» (*фр.*)

письме из «Книг Ио». Незачем и говорить, его мать сказала, что будет только счастлива отдать негатив «Арчи» для обложки. Незачем и говорить, Фергусон отвел их наверх и показал свою комнату на шестом этаже. Незачем и говорить, его мать и Гил отозвались на то, что увидели, по-разному. Мать ахнула и спросила: Ох, Арчи, неужели так можно? Гил же, напротив, хлопнул его по плечу и сказал: Кто бы ни сумел попробовать в таких условиях, заслуживает моего полного и стойкого уважения.

Однако другие дела не были для Фергусона настолько просты или приятны, и не раз за ту неделю он оказывался в неловком положении, когда приходилось что-то от них утаивать или лгать им. Когда мать спросила, познакомился ли он тут с какими-нибудь *хорошими девушками*, к примеру, он сочинил историю о кратком флирте с итальянской студенткой по имени Джованна, которая ходила с ним на занятия по языку в *«Alliance Française»*. Правдой было то, что в его классе действительно была Джованна, но, помимо двух получасовых разговоров с нею в кафе за углом от школы, между ними ничего не происходило. Ничего не было и между ними с Беатрисой, *крайне разумной* французской девушкой, работавшей

ассистенткой в *«Galerie Maeght»*, — это с ней он предположительно ходил на свидания *месяц-другой*. Да, Беатриса работала в галерее, и они сидели рядышком на *вернисажном* ужине *«Maeght»* еще в декабре, флиртовали друг с дружкой как-то мягко и расплывчато, но когда Фергусон позволил себе позвать ее на свидание, она его отвергла под предлогом того, что помолвлена и собирается замуж, — за ужином она об этом заикнуться пренебрегла. Нет, он не мог разговаривать с матерью о девушках, потому что никаких девушек не было, если не считать пяти грузных и щуплых шлюх, которых он отыскивал на улочках Ле-Аля, а о них с нею говорить он не собирался, да и не намеревался разбивать ей сердце рассказами об Обри и о том, в каком он был восторге, когда владыка эльфов втолкнул свой напрягшийся хуй ему в задницу. Ей нипочем нельзя было знать о нем ничего такого. В его жизни имелись такие области, какие следовало отгородить от нее и охранять с исключительным тщанием, и вот из-за этого они никогда уже больше не могли быть так близки, как некогда, какими он по-прежнему хотел, чтоб они были. Нельзя сказать, что он не врал ей в прошлом, но теперь стал старше, да и обстоятельства были иными, и все же, пока он

гулял с нею по Парижу и радовался от того, насколько она, судя по виду, счастлива, радовался тому, как она продолжала стоять за него горой, те дни были окрашены еще и печалью, ощущением того, что какая-то существенная его часть вот-вот растает и исчезнет из его жизни навсегда.

На той неделе состоялись три ужина с Вивиан — два в ресторанах и один в квартире на рю де л'Юниверситэ, скромный ужин всего на них четверых и больше никаких гостей, даже Лисы, которая обычно ходила на все вечеринки к Вивиан. Фергусон несколько удивился, когда ему сказали, что Лиса к ним не присоединится, но затем подумал об этом пару минут и понял, что Вивиан так защищает себя, а именно так поступил бы и он сам, окажись на ее месте. Как и у него, у нее был грязный секрет, который следовало таить от мира, и, хотя Гил и был старым другом, он, очевидно, ничего не знал о сложном браке, какой она выстроила с Жаном-Пьером, и вообще ничего не ведал о том, чем она занималась после смерти Жана-Пьера, а потому ему нельзя было представлять это зрелище — ужин с новой сопостельницей Вивиан. Своего рода тетя Мильдред и ее гуртовщица в Пало-Альто четыре года назад, сказал себе Фергусон, но с одной важной

разницей: его самого еще в пятнадцать лет это не удивляло и не шокировало, но вот если бы пятидесятидвухлетний Гил вдруг подумал, что Фергусона такое не удивляет, это Гила бы почти наверняка шокировало.

В тот вечер, пока они вчетвером сидели вокруг обеденного стола, Фергусона утешало видеть, до чего Вивиан с матерью хорошо ладят между собой, насколько быстро они подружились всего после нескольких встреч, но двух женщин теперь связывали Гил и их восхищение друг дружкой (сколько раз Вивиан заговаривала об *исключительных фотографиях* его матери?), а также теперь и он сам, перемещенный сын своей матери, живущий ныне под крышей у Вивиан, и вновь и вновь по приезде в Париж мать говорила, насколько она благодарна Вивиан за то, что та о нем заботится, учится вместе с ним и *столько* ему отдает, и за ужином в тот вечер она все это высказала непосредственно самой Вивиан, благодаря ее за то, что присматривает за ее *негодяйским мальчишкой*, и да, ответила Вивиан, *Этот ваш проказник иногда бывает чересчур*, они вдвоем подначивали его, поскольку обе знали, что он способен такое вытерпеть и не будет против, ибо он не только не был против, но и ему вообще-то

нравилось, как они его подначивают, и вот посреди этого беспечного марафона насмешек над Арчи ему пришло в голову, что Вивиан теперь гораздо четче понимает, кто он такой, нежели его собственная мать. Не просто она трудилась вместе с ним над рукописью его книги, не просто они вместе продирались сквозь сотню самых важных книг западной литературы, но она еще и знала все о его расколотом надвое внутреннем «я» и была, несомненно, самой доверенной его наперсницей из всех, какие ему перепадали. Вторая мать? Нет, не так. Уже слишком поздно, никаких матерей больше не нужно. Но что тогда? Больше, чем друг, меньше, чем мать. Его женский близнец, быть может. Та личность, какой стал бы сам, родись он девочкой.

В последний день он зашел в отель «Пон-Руайяль» проводить их. Город тем утром красовался в своем лучшем виде, был прекраснее некуда, над головою — ярко-синее небо, воздух теплый и ясный, из соседских *буланжерий* плывут добрые запахи, на улицах хорошенькие девушки, гудят машины, пердят мопеды, весь этот славный Гершвинов блеск Весны в Париже, в Париже сотни слезливых песенок и техниколорных фильмов, но факт оставался фактом: он поистине был сла-

вен и вдохновлял, он действительно был лучшим местом на земле, и все же, пока Фергусон шел пешком от жилого дома на рю де л'Юниверситэ до отеля на рю Монталембер, даже подмечая небо, запахи и девушек, он боролся с громадным бременем, какое свалилось на него тем утром, с тупым и детским ужасом того, что ему придется прощаться с матерью. Он не хотел, чтобы она уезжала. Недели не хватило, пусть даже какая-то часть в нем знала, что ему станет лучше, когда она уедет, что с нею он вновь постепенно превращался в младенца, но вот теперь обычная печаль очередного прощания преобразовалась в предчувствие того, что он ее никогда больше не увидит, что с нею что-то должно произойти, прежде чем им выпадет еще одна возможность быть вместе, и это прощание станет для них последним. Нелепая мысль, сказал он себе, вот из чего состоят слабоумные романтические фантазии, это всплеск подростковой экзистенциальной тревоги в самой своей постыдной форме, но мысль теперь в нем поселилась, и он не знал, как от нее избавиться.

Придя в гостиницу, мать он застал в вихре суеты и возбуждения, она слишком увлеклась сиюминутным, и разговаривать с ней о мрач-

ных предчувствиях неизлечимых болезней и смертоубийственных несчастных случаев времени не было, поскольку тем конкретным утром она отправлялась на «Гар-дю-Нор», она ехала в Амстердам, она уезжала из Парижа в другой город, другую страну, у нее начиналось другое приключение, а тут в багажник такси нужно грузить саквояжи и чемоданы, в последний миг заглядывать в сумочку, чтобы удостовериться, не забыла ли она таблетки Гила от желудка, нужно раздавать чаевые швейцарам и коридорным, благодарить их и с ними прощаться, и она, быстро и бурно обняв на прощанье сына, повернулась и направилась к такси, но ровно когда Гил открыл перед ней дверцу и она уже готова была забраться на заднее сиденье, — повернулась и с улыбкой послала Фергусону большой воздушный поцелуй. Будь хорошим мальчиком, Арчи, сказала она, и внезапно то скверное чувство, что он носил с собой с самого раннего утра, пропало.

Провожая взглядом скрывавшееся за углом такси, Фергусон решил, что пренебрежет пожеланиями матери и все-таки вырежет из книги этот пассаж.

Скверное ощущение исчезло, но, как это доказали события десять месяцев спустя, предчувствия

Фергусона не были безосновательны. Прощальные объятия, какими он обменялся с матерью шестого мая, и впрямь оказались тем последним разом, когда они притрагивались друг к дружке, и, когда она забралась на заднее сиденье такси и Гил захлопнул за нею дверцу, Фергусон больше ее никогда не видел. Они разговаривали по телефону: один звонок вечером его двадцатого дня рождения в марте 1967-го, — но после того, как Фергусон повесил трубку, он и голоса ее больше не слышал никогда. Его предчувствие не обмануло — но и точным оно не оказалось. Ни смертельный несчастный случай, ни болезнь, какие Фергусон навоображал себе, ее не поразили, их не случилось — в отличие от него: его постиг несчастный случай на дороге, когда он приехал в Лондон праздновать выход своей книги, и это значило, что, когда он попрощался с матерью в Париже 6 мая 1966 года, жить ему оставалось триста четыре дня.

К счастью, он не ведал о жестоком промысле, какой для него припасли боги. К счастью, он не знал, что ему суждено иметь о себе такую короткую статью в «Книге земной жизни», а потому продолжал жить так, будто впереди у него еще тысячи завтрашних дней, а не всего триста че-

тыре.

Через два дня после отъезда матери и Гила в Амстердам Фергусон отказался идти с Вивиан и Лисой на какую-то вечеринку, когда узнал, что туда же пригласили и Флеминга. С вечера денег и слез прошло больше трех месяцев, и он давно уже простил Флемингу любую его вину в том недоразумении. Его по-прежнему неотступно преследовала память о том, чтó он себе позволил с Флемингом, убеждение, что во всем этом виноват он сам, во всем виноват лишь он один, а поскольку Флеминг не принуждал его делать ничего такого, чего он сам открыто не был бы готов сделать, как же можно винить Флеминга в том, что тогда между ними произошло? Не Флеминг, а он сам, это его собственный позор, память о его же алчности и падении вынуждали его рвать письма Флеминга и не отвечать на его звонки, но пусть он даже и не держал теперь больше никакой обиды на Флеминга, с чего бы ему желать их повторной встречи?

За завтраком в кухне на следующее утро Вивиан рассказала ему, что кое с кем познакомилась на вечеринке, которую устроили в дворовом садике Рейд-Холла, аванпоста Университета Колумбия в Париже: с молодым человеком лет

двадцати пяти или двадцати шести, который произвел на нее сильнейшее впечатление, сказала она, и она тогда подумала, что Фергусону он может понравиться точно так же, как понравился ей самой. Канадец из Монреаля, мать у него — белая из Квебека, отец — черный американец, родом из Нового Орлеана, человека этого звать Альбер Дюфрен (на французский манер), он закончил Университет Говарда в Вашингтоне, где играл в *баскетбольной команде* (Вивиан предполагала, что это заинтересует Фергусона, и оно заинтересовало), а в Париж переехал после смерти отца и теперь работает здесь над *своим первым романом* (еще одна подробность, как сочла Вивиан, которая Фергусона заинтересует, и она заинтересовала), и вот теперь, когда всем этим она привлекла его внимание, он попросил ее рассказать побольше.

Что, например?

Например, какой он?

Пылкий. Разумный. Увлеченный — в смысле, *engagé*. С чувством юмора не очень, как ни жаль мне об этом сообщать. Но очень живой. Завораживает. Один из тех кипучих молодых людей, которым хочется перевернуть весь мир с ног на голову и заново его изобрести.

В отличие от меня, к примеру.

Ты не хочешь заново изобретать мир, Арчи, ты хочешь мир понять, чтобы можно было найти способ в нем жить.

А с чего вы взяли, что я с этим человеком сойдусь?

Собрат-бумагомаратель, собрат-баскетболист, собрат-североамериканец, собрат — единственный ребенок, и, пусть даже отец его умер всего пару лет назад, собрат безотцовщина, поскольку отец его сбежал, когда Альберу исполнилось шесть лет, и вернулся снова жить в Новом Орлеане.

А чем занимался его отец?

Джазовый трубач и, по словам его сына, сильно пивший, пожизненный сукин сын, такой, что и клейма ставить не на чем.

А мать?

Учительница в пятом классе. Совсем как моя мать.

Должно быть, вам с ним было о чем поговорить.

Кроме того, следует заметить, мистер Дюфрен представляет собой прекрасную фигуру, фигуру весьма необычайную.

Это как?

Высокий. Где-то шесть-один, шесть-два. Поджарый и мускулистый, я бы решила, хотя там он стоял в одежде, конечно, поэтому точнее описать его я не могу. Но, похоже, он бывший спортсмен, которому удалось держать себя в форме. Говорит, по-прежнему кидает по *корзинам*, когда может.

Это хорошо. Но мне по-прежнему непонятно, что во всем этом необычайного.

Его лицо, я думаю, поразительные качества его лица. Отец его не только черным был, но там к тому же и кровь чокто примешалась, как он мне сказал, а когда мешаешь такое с генами белой матери, получается светлокожий черный человек с несколько азиатскими чертами, с евразийскими чертами. Примечательный это оттенок кожи, как я обнаружила, в нем есть некий сияющий медный отлив, кожа эта — ни черная и ни бледная, *в самый раз*, как у Златовласки, если ты меня понимаешь, такая прелестная кожа, что, пока мы разговаривали, мне все время хотелось потрогать его за лицо.

Красавец?

Нет, настолько далеко в своих утверждениях я б не зашла. Но приятный с виду. На такое лицо хочется смотреть.

А как его… его глубинные склонности?

Точно сказать не могу. Обычно мне удается ухватить такое сразу, но этот Альбер — прямо загадка. Мужчина для других мужчин, полагаю, но мужественный такой мужчина, кто не желает афишировать свое притяжение к другим мужчинам.

Педик-мачо.

Быть может. Несколько раз он упоминал Джемса Бальдвина, если это что-то значит. Бальдвина он любит больше всех остальных американских писателей. Потому-то и приехал в Париж, сказал он, — хотел *пройти по стопам Джимми*.

Я тоже Бальдвина люблю и согласен с тем, что он лучший американский писатель, но лишь то, что он, так уж вышло, склоняется к мужчинам, вовсе ничего не говорит о тех мужчинах, кому нравятся его книги.

Вот именно. Как бы там ни было, я немного рассказала ему о тебе, а на Альбера, похоже, произвело могучее впечатление, когда я ему сказала о твоей книге, может, он даже слегка позавидовал. Девятнадцать, то и дело повторял он. Девятнадцать лет — и его уже публикуют, а он сам, далеко за двадцать, еще точит первую половину своего первого романа.

Надеюсь, вы ему сказали, что это короткая

книжка.

Сказала. Очень короткая книга. И еще я упомянула, что ты просто помираешь как хочешь поиграть в баскетбол. Веришь или нет, но он живет на рю Декарт в пятом, и прямо напротив его дома — открытая баскетбольная площадка. Калитка там всегда заперта, говорит он, но через ограду легко перелезть, и за то, что он туда ходит играть, его никто никогда не бранил.

Я проходил мимо той площадки десятки раз, но у французов все так строго с замками, ключами и правилами, и я побоялся, что меня депортируют, если туда полезть.

Он сказал, что хотел бы с тобой познакомиться. Тебе интересно?

Конечно, интересно. Давайте с ним сегодня поужинаем. Тот марокканский ресторанчик, который вам так нравится, совсем рядом с Пляс де ла Контрэскарп, *«La Casbah»*, а рю Декарт оттуда прямо наверх идет. Если у него нет других планов, может, он присоединится к нам ради тарелочки *couscous royale*.

Ужин в «Касбе» в тот вечер с Вивиан, Лисой и чужаком, который опоздал на пятнадцать минут, но выглядел при этом ровно так же, каким Вивиан его и описала, с этой его примечательной

кожей и напористыми, уверенными повадками. Нет, такой человек не склонен к светскому трепу или отпусканию шуточек, но улыбаться он умел — и даже смеялся, если ощущал, что тут есть над чем посмеяться, что бы жесткое и твердое ни было заперто у него внутри, оно смягчалось нежностью его голоса и любопытством в глазах. Фергусон сидел строго напротив него. Лицо его он видел прямо перед собой фас, и хотя Вивиан, вероятно, была права, называя его не самым привлекательным, Фергусон счел его прекрасным. Нет, спасибо, сказал Альбер, когда официант попробовал подлить ему в бокал еще вина, а потом глянул на Фергусона и пояснил: он *пока что с этого слез*, — это, казалось, давало понять, что раньше он его пил, несомненно — больше, чем следовало бы, признание слабости, быть может, а поскольку произносила это такая сдержанная, владеющая собой личность, как Альбер Дюфрен, Фергусон принял это за знак того, что человек этот вполне, в конце концов, человечен. Опять же, мягкий, ровно модулированный голос, напомнивший Фергусону, как ему нравилось слушать отцов голос, когда был маленьким, и с двуязычным Альбером, который разговаривал с небольшим призвуком канадского акцента,

когда говорил по-французски, и с небольшим призвуком французского акцента, когда говорил на идиоматичном североамериканском английском, Фергусон поймал себя на том, что переживает сходное, если не совершенно такое же наслаждение.

Извилистая беседа, которая длилась два часа: Лиса вела себя тише, чем Фергусон когда-либо за нею подмечал, вставила всего пару смешных замечаний, а не сотню, как будто пребывала под чарами чужака и понимала, что ее обычные фокусы в его присутствии прозвучали бы фальшиво, но до чего же расслабленным казался Альбер с Вивиан, которая производила такое действие на большинство людей, разумеется, только в этом случае воздействие могло усилиться, поскольку было в ней что-то такое, в чем эхом отзывалось некое свойство его, Альбера, матери, того человека, с кем он был *очень близок*, сказал он, белой матери этого черного человека с его презираемым подонком-отцом, черным и мертвым, насколько сложно же все это было, наверное, осознал Фергусон, и сколько же тяжелого багажа скорее всего таскал с собой Альбер, и тут они перешли на Нью-Йорк и те полтора года, что он провел в Гарлеме после выпуска из колледжа, вслед за чем

было принято решение перебраться во Францию, потому что Америка была *братской могилой* для любого черного человека, который там жил, особенно для такого черного человека, как он сам (в смысле — такого мужчины-про-мужчин, как он, задался вопросом Фергусон, или же он имеет в виду нечто иное?), и затем все они заговорили о долгой истории черных американских писателей и художников, которые переезжали жить в Париж, *нагую и непостижимую* Жозефину Бейкер, как выразился о ней Альбер, и Ричарда Райта, Честера Гаймса, Каунти Куллен и Майлса Девиса в объятьях Жюльетты Греко, Ненси Кунард в объятиях Генри Краудера и Альберова героического Джимми, кого так грубо оскорбили тем, что не пригласили выступить на Марше на Вашингтон три года назад, сказал он, но поскольку в списке выступавших у них уже был Баярд Рустин, может, *они прикинули, что одного черного педика им хватит* (улики накапливались), и тут встрял Фергусон и заговорил о «Комнате Джованни», которая, по его *скромному, чистосердечному мнению,* была одной из храбрейших, самых изысканно написанных книг, какие он когда-либо читал (замечание, удостоившееся одобрительного кивка Альбера), и мгновение спустя, как

это часто бывает с беседами за трапезой, все уже переключились на другую тему, и они вдвоем пустились разговаривать о баскетболе, «Бостонских Кельтах», Билле Расселе, что подвело Фергусона к тому, чтобы задать Альберу тот же самый вопрос, какой он много лет назад задал Джиму: Почему Рассел — лучший, когда он даже не хорош? — на что Альбер ответил: Но он хорош, Арчи. Рассел мог бы заработать двадцать пять очков в игре, если бы пожелал. Дело просто в том, что Ауэрбах этого от него не хочет. Он хочет, чтобы Рассел был дирижером всей команды, а как все мы знаем, дирижер сам не играет ни на каком инструменте. Он стоит со своей палочкой и управляет оркестром, и пусть даже это выглядит просто, не будь у оркестра режиссера, который бы эту работу выполнял, музыканты сбились бы с тона и стали бы мазать мимо нот.

Вечер завершился приглашением. Если Фергусон не занят назавтра днем, он может зайти к Альберу где-нибудь в половине пятого, и они сыграют дружеский матч в баскетбол один на один на его «личной площадке» через дорогу от его дома на рю Декарт. Фергусон ответил Альберу, что не играл уже много месяцев и наверняка у него все заржавело, но да, сказал он, с удовольствием.

Так в жизнь Фергусона вошел Альбер Дюфрен. Так человек, ставший впоследствии известным поочередно как Аль Бер или Мистер Медведь, вступил в полк товарищем Фергусона по оружию для следующей битвы в непрекращающейся Дурской Войне против Мук Человеческого Существования, ибо, в отличие от двустороннего Обри Гулля, удовлетворенно женатого на своей односторонней Фионе и отца, обожавшего двух своих юных отпрысков, одинокий, односторонний Аль Бер, чьи глубинные наклонности тяготели скорее ко всяким Обри этого мира, а не к Фионам, был доступен для боевой службы полный рабочий день, а поскольку жил он в том же городе, что и Фергусон, полный рабочий день означал почти каждый день, по крайней мере — покуда шла битва.

Неожиданные события их первого дня вместе, начиная с грубой, задиристой игры один на один, в которой давно отвыкший от нагрузок бывший Главно-Коммандо агрессивно подбирал мячи против проворного бывшего нападающего Мистера Медведя, тела их сталкивались между собой, пока они боролись за мяч и пытались блокировать удары, три игры на равных с двадцатью или тридцатью фолами в каждой и смехотворным по-

воротом, когда белый мальчонка Фергусон сумел прыгнуть выше черного мальчонки Дюфрена, и хотя в итоге Фергусон проиграл все три схватки, поскольку дальний бросок у него мазал чудовищно, ясно было, что они более или менее равны друг другу, и как только Фергусон снова войдет в форму, Альберу, чтобы не отстать, придется стараться в игре изо всех сил.

После перебрались через сетчатую загородку, оба вымотанные, тяжело дыша, все в соленом, липком поту, а затем — через дорогу, поднялись в квартиру Альбера на третьем этаже. Порядок и чистота в его двух комнатах, стена из четырех сотен книг в той, что побольше, с кроватью и гардеробом, письменный стол и пишущая машинка «Ремингтон» в маленькой, со страницами романа Альбера в работе — аккуратной стопкой, свет из окон чистенькой кухни-столовой с деревянным столом и четырьмя деревянными стульями, и снова свет сквозь окна ванной с белым кафелем. Не такие души, какие принимают в Америке, а ручные души Франции, стоя или сидя в ванне и поливая себя из, как называл их Фергусон, *телефонных леек*, а поскольку Фергусон был гостем, Альбер любезно предложил ему помыться первым, потому и зашел Фергусон в ванную, где

скинул с себя кеды, снял влажные и вонючие носки, трусы и майку, включил воду и шагнул в глубокую, слегка квадратную ванну. Полный полив себя из телефонной лейки, которую он держал в правой руке, и вода хлестала ему на голову, а в ушах шум воды, и глаза закрыты, чтобы в них не попадали горячие жидкие дротики, — он не слышал, как Альбер постучался, и не видел, как мгновение спустя тот вошел в ванную.

Рука прикасалась к его загривку. Фергусон уронил руку, выпустил душевую лейку и открыл глаза.

Альбер был еще в трусах, но все остальное с себя снял.

Полагаю, тебе так нормально, сказал он Фергусону, пока рука его скользнула вниз по спине Фергусона и остановилась у него на заднице.

Более чем, ответил Фергусон. Если бы этого не произошло, я бы вышел отсюда печальным и разочарованным клиентом.

Альбер обхватил другой рукой Фергусона за талию и притянул его тело к себе. Ты такой изумительный мальчик, Арчи, сказал он, и мне уж точно бы не хотелось, чтобы ты ушел отсюда разочарованным. На самом деле нам обоим гораздо лучше было бы, если б ты остался, не считаешь?

День перетек в вечер, вечер превратился в ночь, ночь перешла в утро, а утро стало еще одним днем. С точки зрения Фергусона, это было самое то — та любовь, которая раз в жизни, большой трах, и следующие двести пятьдесят шесть дней он прожил в другой стране, в том месте, что не было ни Францией, ни Америкой, ни чем-либо другим где бы то ни было еще, в новой стране, у которой не было названия, границ и городов или поселков, в стране с населением в два человека.

Это не означало, что с Мистером Медведем легко было ладить как с человеком или что у Фергусона не случалось никаких грубых встрясок в те восемь с лишним месяцев секса, мужской дружбы и стычек, поскольку багаж, какой таскал с собой его новый друг, был и впрямь для него тяжким бременем, и сколь бы молодым, блистательным или уверенным в себе Альбер ни казался, когда сделал свой первый шаг в мир, душа его была стара и устала, а старые и усталые души временами могут быть огорченными, временами — и озлобленными, особенно — на души тех, кто не испытывает таких же огорчения и злости. Каким бы любящим почти всегда ни был Альбер, зачастую — с нежностью и теплотой, которые Фергусона ошеломляли и заставляли

думать, что лучше на свете и нет человека, нежели тот теплый и нежный мужчина, что лежал с ним рядом в постели, Альбер бывал и заносчив, и склонен к соперничеству, тяготел к высказыванию суровых нравственных суждений о других, и вовсе не легче было, что книгу того, кто помоложе, собирались печатать, а тот, кто постарше, до сих пор трудился над своей, и совсем ничего хорошего не было в том, что мальчишеское чувство юмора Фергусона часто вступало в противоречие с кислой праведностью Альбера, головокружительные выплески сумасбродных замыслов, что хлестали из Фергусона в мгновения послесовокупительного счастья, вроде предложения им обоим сбрить со своих тел все волосы и купить парики и женскую одежду, а затем пойти в ресторан или на вечеринку и посмотреть, удастся ли им отмочить эту шутку и сойти за настоящих женщин. *Ар-ши*, сказал Фергусон, подражая тому, как его имя произносила Селестина, *и разве не интересно будет, если я и впрямь на один вечер стану «она»?* Раздраженный ответ Альбера: *Не говори глупостей*, сказал он. *Ты мужчина. Гордись тем, что ты мужчина, и забудь про всю эту чепуху с переодеваниями в баб. Если хочешь изменить то, кто ты есть, попробуй денек-другой побыть*

черным и посмотри, что тогда с тобой станет. Или же, после особенно плодотворной сессии в постели — предложение Фергусона, чтобы они вместе занялись прибыльным позированием голыми для гомосексуальных порнографических журналов — полноцветные фотоочерки на разворот, как они вдвоем целуются и делают друг другу минеты, ебут друг друга в жопы с крупными планами того, как сперма брызжет у них из хуев, это же обалденно будет, сказал Фергусон, и только подумай, сколько денег можно заработать.

Где твое достоинство? — выпалил ему в ответ Альбер, в очередной раз не осознав, что Фергусон шутит. И к чему все эти разговоры о деньгах? Возможно, ты от своих родителей и немного получаешь, но Вивиан заботится о тебе до чертиков неплохо, как мне кажется, так зачем говорить о том, чтобы унижаться за пригоршню лишних франков?

В этом-то все и дело, сказал Фергусон, отбрасывая свою причудливую фантазию, чтобы обратиться к чему-то насущному, к тому, что не давало ему покоя последнюю пару месяцев. Вивиан так хорошо обо мне заботится, что я себя начинаю чувствовать трутнем, а мне это ощущение не нравится — по крайней мере, уже не

нравится. Что-то неправильное в том, что я так много у нее беру, но мне в этой стране работать нельзя, как тебе хорошо известно, поэтому что же мне остается делать?

Всегда можешь торговать своей задницей в барах для педиков, сказал Альбер. Тогда-то и распробуешь, каково жить в грязи.

Я уже об этом думал, ответил Фергусон, вспоминая вечер денег и слез. Меня это не интересует.

Как тот в паре, кто моложе на семь лет, Фергусон был младшим партнером в их романе, малышом, который во всем следует за старшим, и эту роль играть ему было сподручнее, ибо ничего не ощущалось для него лучше, чем жить под защитой Альбера, не быть вынужденно ответственным или тем, кто должен все прикидывать, и, в общем и целом, Альбер действительно его оберегал, и, в общем и целом, действительно заботился о нем исключительно хорошо. Альбер стал первым человеком из всех знакомых Фергусона, кто разделял с ним его двойственную, однако же объединенную страсть к умственному и физическому: физическое было прежде всего сексом — примат секса над всеми остальными родами человеческой деятельности, — но также баскетбол, тренировки и бег, бег в *«Jardin des*

Plantes», отжимания, приседания, жомы сидя и прыжки на месте на площадке или в квартире, а также яростные схватки один на один, после которых оставались синяки, — они бросали вызов и приносили удовлетворение сами по себе, но еще служили некой изощренной разновидностью эротической разминки, поскольку теперь, когда он настолько хорошо узнал тело Альбера, трудно уже было не думать о голом теле, спрятанном под спортивными трусами и майкой, когда Альбер перемещался по площадке, о великолепных и глубоко любимых частностях физического «я» Мистера Медведя, а умственное — не только функции и познавательные усилия мозга, но и изучение книг, фильмов и произведений искусства, необходимость писать, сущностно важная задача попыток понять или заново изобрести мир, обязанность думать о себе в отношении к остальным и отвергать соблазны жить только для себя, и когда Фергусон обнаружил, что Альберу фильмы небезразличны так же, как и книги, то есть он их любил так же, как теперь любил книги сам Фергусон, они выработали привычку почти ежевечерне посещать вместе кино, смотреть всякие фильмы из-за эклектичных вкусов Фергусона и готовности Альбера идти за ним в

любой кинотеатр, какой бы он ни выбрал, но из всего множества фильмов, что они посмотрели, ни один не стал для них важнее, чем *Au Hasard Balthazar* Брессона[102], чья премьера состоялась в Париже двадцать пятого мая, на котором они просидели вместе подряд четыре вечера, и тот с ревом ворвался к ним в сердца и головы с яростью божественного откровения, «Идиот» Достоевского, преображенный в сказку про ослика в сельской Франции, про Бальтазара, угнетенного и сносящего жестокое обращение, символ человеческого страдания и святого долготерпения, и Фергусон с Альбером никак не могли на него наглядеться, потому что каждый из них в истории Бальтазара видел историю своей собственной жизни, каждый из них, пока смотрел фильм на экране, чувствовал, что Бальтазар — это он, и потому после первого просмотра они еще трижды возвращались в кинотеатр, и к концу последнего сеанса Фергусон научился воспроизводить пронзительные, режущие звуки, что вырывались изо рта ослика в важные мгновения фильма, астматический плач существа-жертвы, борющейся за следующий вдох, кошмарный звук,

---

[102] Сноски: 102
В русском прокате — «Наудачу, Бальтазар».

звук душераздирающий, и с того мига отныне всякий раз, когда Фергусону хотелось сообщить Альберу, что он хандрит или ему мучительно из-за какой-нибудь несправедливости, какую он заметил в мире, он отбрасывал слова и обходился имитацией атонального двойного взвизга Бальтазара на вдохе и выдохе, *ржаньем из-за грани*, как это называл Альбер, а поскольку сам Альбер оказался неспособен отпускать поводья до такой степени и, следовательно, не мог к нему присоединиться, каждый раз, когда Фергусон становился страдающим ослом, он чувствовал, что делает это за них обоих.

Похожие вкусы в большинстве вещей, похожие отклики на книги, фильмы и людей (Альбер обожал Вивиан), но вот в том, что касалось их писательства, они оказались в тупике, потому что никто из них не мог отыскать в себе мужества показать свою работу другому. Фергусон желал бы, чтоб Альбер прочел его книгу, но ему очень не хотелось навязывать ее, а поскольку сам Альбер никогда не просил ее посмотреть, Фергусон держался и ничего не говорил, да и не делился с ним никакими известиями об отредактированной рукописи, которую Обри прислал ему из Лондона, о решении поместить на обложку фотографию его

матери или о выборе кадров из десяти фильмов Лорела и Гарди и еще десяти кадров — из фильмов, выпущенных на экраны в конце 1954-го и в 1955-м (среди них Мэрилин Монро в «Лучший бизнес — шоу-бизнес», Дин Мартин и Джерри Льюис в «Художниках и натурщицах», Ким Новак и Вильям Гольден в «Пикнике», Марлон Брандо и Джин Симмонс в «Парнях и куколках» и Джин Тирни и Гамфри Богарт в «Левой руке бога»). Также ни слова не говорил он о первом оттиске гранок, о втором оттиске гранок или о переплетенных гранках после того, как те появлялись у него в начале июля, конце июля и начале сентября, и ни разу не упоминал о письме, которое получил от Обри, где говорилось, что Пол Сандлер в издательстве «Рэндом-Хаус» в Нью-Йорке (бывший дядя Фергусона Пол) будет соиздателем книги в Америке — через месяц после того, как ее выпустят в Англии.

Когда Фергусон спросил у Альбера, можно ли ему взглянуть на первую половину его романа в работе (чуть больше двухсот страниц, очевидно), Альбер ответил ему, что текст еще *слишком непричесанный*, и он не может его никому показывать, пока не закончит. Фергусон сказал, что понимает, и действительно так и было, поскольку

ку сам он не показывал свою книгу никому, пока тоже ее не закончил, но хотя бы, может, Альбер сказал бы ему, как роман называется? Тот покачал головой, утверждая, что названия у книги пока нет, вернее сказать — он примеряет на нее три разных варианта и пока еще не решил, какое название предпочитает, — ответ, который мог быть и правдой, и вежливым обманным маневром. Когда Фергусон впервые зашел в кабинет Альбера, рукопись лежала на столе возле пишущей машинки «Ремингтон», но после того дня стопка бумаги исчезла, несомненно — в один из ящиков большого деревянного письменного стола. Несколько раз за те месяцы, что они провели вместе, Фергусон оказывался один в квартире, пока Альбер уходил куда-нибудь по соседству по делам, а это означало, что он мог бы зайти в кабинет и вытащить рукопись из того ящика, где автор ее прятал, но Фергусон так никогда не поступал, потому что не хотел оказаться тем человеком, кто на такое способен, кто предает доверие других, и нарушает данное слово, и как-то закулисно себя ведет, когда никто не смотрит, ибо глянуть украдкой на рукопись Альбера было бы так же скверно, как украсть ее или сжечь, деяние такой отвратительной неверности, что оно было

бы совершенно непростительно.

Альбер держал свою книгу в секрете, однако в других отношениях совершенно ни в чем не таился, временами даже рьяно стремился поговорить о себе, и в их первые недели, проведенные вместе, Фергусон узнал много всякого о его прошлом. Отец их бросил, когда ему было шесть, как он и рассказал Вивиан в тот вечер их знакомства в Рейд-Холле, но затем, после семнадцати лет или около того без всякой связи, отец его вставил в свое завещание — вставил под звон шестидесяти тысяч долларов, денег столько, что на них можно было жить в Париже пять лет или больше и ни о чем не заботиться, кроме его романа. Его близость с матерью, которую изгнали из ее строгой римско-католической семьи после того, как она вышла замуж за черного, и даже когда этот черный ушел и семья готова была все простить и забыть, его сильная, крепкая духом мать осталась изгнанной намеренно, поскольку сама ни прощать, ни забывать готова не была. Монреаль — город, не лишенный черных и людей смешанной крови, город, в котором Альбер молокососом процветал, был лучшим в спорте, лучшим был в школе, но к середине его отрочества — растущее знание того, что он *отличается* от большинства мальчишек,

черных ли, белых или смешанных, и страх того, что его мать об этом узнает, что, как ощущал Альбер, ее бы просто уничтожило, и потому в семнадцать лет он уехал из Монреаля в Америку учиться в колледже, в полностью черном Говарде в преимущественно черном Вашингтоне, школа прекрасная, но паршивое место для житья, и вот постепенно за свой первый год там он распоясался. Сперва бухло, затем кокаин, затем героин, огромный пролом в безвольное смятение и разъяренную уверенность, а это смертоносная смесь, что пригнала его, охромевшего, обратно в Монреаль и в материнские объятья, но уж лучше сын-наркоман, чем сын-пидорас, рассудил он, и затем она уволокла его в Лаврентийские горы на лето и заперла в амбаре, чтобы излечить, как она это назвала, Средством Майлса Девиса: четыре дня подряд сплошного блева, дрища и воплей, нелепейших тряски и воя жесткой просушки, лютая конфронтация с его собственным жалким ничтожеством и тем хиленьким божком, который отказывался за ним приглядывать, после чего мать вывела его из амбара и следующие два месяца спокойно сидела с ним, пока он заново учился есть, думать и переставал себя жалеть. Осенью — назад в Говард, и с того для — ни капли

вина, пива или другого бухла, ни понюшки травы, ни фырчка кокса, последние восемь лет он чист, но по-прежнему до мозга костей боится, что не устоит и сдохнет от передозы, и вот когда Альбер рассказал Фергусону эту историю на третий день их жизни вместе, Фергусон дал слово больше не пить при Альбере — и это он-то, кто так наслаждался алкоголем, кому пить вино нравилось почти так же сильно, как заниматься сексом, он больше не станет пить с дорогим своим Мистером Медведем, и нет никакого удовольствия в этом, совсем никакого удовольствия, но такова была необходимость.

Через десять дней после того третьего дня Фергусон снова начал писать. Первоначально у него был план вернуться на цыпочках к работе — просмотрев кое-какие старые свои школьные статьи, нельзя ли из них что-нибудь спасти, но после пристального изучения текста о не-вестернах Джона Форда, который он некогда считал своим лучшим очерком из всех, когда-либо им написанных, он счел его неотесанным и несовершенным, думать о нем больше не стоило. С тех пор он так далеко уже ушел, зачем же возвращаться, когда все в нем кричит и требует двигаться вперед? У него накопилось достаточно хороших примеров,

чтобы начать писать статью об изображении детства в кино, и вечно развивающимся «Мусоркам и гениям» было дано другое название, проще и непосредственней: «Кино и фильмы», — такое разграничение давало ему возможность рассматривать часто размытую границу между искусством и развлечением, но посреди всех своих размышлений о том, какой текст ему писать первым, возникло кое-что новое, что-то настолько крупное, что охватило собой оба этих замысла, и Фергусон оказался готов приступить.

Из Амстердама Гил прислал письмо вместе с коробкой книг, брошюр и открыток из Дома Анны Франк на Принсенграхт, 263, где они с матерью Фергусона побывали в свой последний день в этом городе. Теперь там музей, писал Гил, и публика может взобраться по лестнице в «Убежище» и постоять в комнате, где юная Анна Франк писала свой дневник, а поскольку он помнил, как увлекла Фергусона эта книга, когда тот прочел ее вместе со своим восьмым классом в Риверсайдской академии, *захватила тебя до такой степени, что ты признался, что «гигантски втрескался» в Анну Франк и однажды даже сказанул, что ты аж «до безумия в нее влюблен», мне показалось, что прилагаемый материал тебя*

заинтересует. Я знаю, есть что-то нездоровое в фетишизации этой несчастной девочки, продолжал Гил. *После книги-бестселлера, а затем пьесы и фильма Анну Франк превратили в китчевую представительницу холокоста для нееврейского населения Америки и где угодно, но в этом саму Анну Франк винить нельзя, Анна Франк умерла, а книга, которую она написала, — прекрасное произведение, работа начинающего писателя с истинным талантом, и я должен сказать, что нас обоих с твоей матерью тронул наш визит в этот дом. После того как ты рассказал нам об очерке, который намереваешься писать о детях в кино, я не мог не подумать о тебе, когда смотрел на картинки, что Анна приклеила к стенке в «Убежище», вырезки из газет и журналов с голливудскими звездами на них — Джинджер Роджерс, Греты Гарбо, Рея Милленда, сестер Лейн, — что и подвигло меня купить тебе книгу ее сочинений, не связанных с дневником, «Рассказы из убежища». Присмотрись к рассказу «Кинозвезда»*[103], *это фантазия об исполнении желаний: семнадцатилетняя девочка из Европы по имени Анна Франклин (Анна Франк не дожила до семнадца-*

---

[103] Сноски: 103
Пер. Д. Сильвестрова.

ти лет) пишет в Голливуд Присцилле Лейн, и ее через некоторое время приглашают провести летние каникулы с семейством Лейн. Долгое путешествие по воздуху через океан, затем — через весь Американский континент, и как только она оказывается в Калифорнии, Присцилла берет ее с собой в студию «Братьев Варнер», где девочку снимают и испытывают — и она в итоге обзаводится работой, рекламирует костюмы для тенниса. Ну и бредовая же греза! И не забывай к тому же, Арчи, фотографию, которую Анна Ф. вклеила в свой дневник с подписью: «Это снимок меня такой, какой я хочу выглядеть все время. Тогда мне, вероятно, выпадет возможность попасть в Голливуд». Бойня миллионов, конец цивилизации, а маленькая голландская девчушка, которой суждено погибнуть в лагере, грезит о Голливуде. Возможно, тебе захочется об этом продумать.

Это и стало следующим проектом Фергусона — очерк еще не определенной длины под заголовком «Анна Франк в Голливуде». Не только будет он писать о детях *в* фильмах, он будет писать еще и о том, как фильмы *действуют* на детей, особенно — голливудские фильмы, и не только на американских детей, но и на детей

со всего мира, поскольку он помнил, что где-то читал о юном Сатьяджите Рае в Индии, как он писал восторженное письмо звезде-ребенку Дине Дурбин в Калифорнию, и, взяв Рая и Анну Франк своими основными примерами, он также сумеет исследовать водораздел искусства-развлечения, о котором думал с тех самых пор, как вообще начал размышлять о кино. Заманчивость проникновения в параллельный мир блеска и свободы, желание встать рядом с чужими историями, что крупнее реальных и лучше настоящих, самость выпархивает из себя и оставляет землю позади. Отнюдь не пустяковая это тема, а в случае Анны Франк — вообще вопрос жизни и смерти. Кино и фильмы. Его некогда возлюбленная Анна, его по-прежнему любимая Анна, в капкане «Убежища» — и ее тянет в Голливуд, погибла в пятнадцать, убита в Берген-Бельзене в пятнадцать лет, а потом Голливуд снял фильм про последние годы ее жизни и все-таки превратил ее в звезду.

Ты не представляешь себе, насколько эти вещи для меня драгоценны, написал Фергусон отчиму, благодаря его за письмо и присланные книги. *Они кристаллизовали мои мысли и открыли мне новый путь в то, что я хочу писать дальше.*

Серьезно. Из-за тебя толчок приподнял всю эту штуку на новый уровень серьезности, и остается лишь надеяться, что меня хватит на то, чтобы достойно с нею справиться. Теннисные костюмы. Деревни за колючей проволокой, охраняемые пулеметами. Впервые смеется Грета Гарбо. Куролесим на пляжах Калифорнии, а в столице Грязи разражается эпидемия тифа. Всем пора пить коктейли. Настала пора для ям с известью, мои изголодавшиеся маленькие умирающие детки. Как же можно теперь нам любить друг друга? Как можно думать наши самовлюбленные мысли? Ты был там, Гил, ты сам это видел и вдыхал эти запахи, однако жизнь свою вложил в музыку. Невозможно выразить, как восхищаюсь я тобой и люблю тебя.

Быть с Альбером означало не быть с Альбером значительную порцию дневных часов. Альбер на рю Декарт прибавлял слова к своему роману, Фергусон в своей *chambre de bonne* читал книги из списка Гила и работал над своим очерком, а затем, часов в пять, Фергусон откладывал ручку и шел к Альберу, где они иногда играли в баскетбол, а иногда не играли, и, в зависимости от того, играли или нет, после они шли на шумный рынок на рю Муфтар и покупали провизию на

ужин, или же не покупали ужин, а шли позже в ресторан, и поскольку Фергусону было не по карману есть в ресторанах, его долю чека обычно оплачивал Альбер (он был неизменно щедр в том, что касалось денег, и вновь и вновь говорил Фергусону, чтоб тот *ел и не думал про это*), а потом, сходив или не сходив в кино (обычно — сходив), они возвращались в квартиру на третьем этаже здания через дорогу от баскетбольной площадки и вместе забирались в постель, кроме тех вечеров, когда Альбер приходил ужинать в квартиру Вивиан и ночевать оставался в маленькой комнате Фергусона на шестом этаже.

Фергусон воображал, что так будет длиться вечно, а если и не вечно, то достаточно долгое время, еще многое множество месяцев и лет времени, но после двухсот пятидесяти шести дней жизни по такому чарующему распорядку, то, что привело его в ужас в отношении его матери тем утром, когда он попрощался с нею в мае, зловеще и неожиданно произошло с матерью Альбера. Телеграмма в семь утра двадцать первого января, когда они вдвоем еще спали в постели Альбера на рю Декарт, консьержка громко забарабанила в дверь и сказала: *Monsieur Dufresne, un télégramme urgent pour vous*, и вот вдруг они слезают с кро-

вати и запрыгивают в одежду, а потом Альбер читал телеграмму — голубой бланк с черным известием о том, что его мать споткнулась, упала в лестничный пролет ее жилого дома в Монреале и скончалась — в свои шестьдесят. Альбер ничего не сказал. Он отдал телеграмму Фергусону и продолжал ничего не говорить, и к тому времени, как Фергусон дочитал телеграмму, что заканчивалась словами «ПРИЕЗЖАЙ ДОМОЙ НЕМЕДЛЕННО», Альбер завыл.

Он улетел в Канаду в час того же самого дня, и поскольку, пока он был там, ему предстояло заниматься множеством запутанных семейных дел и финансовых вопросов, и потому, что, похоронив мать, он решил съездить в Новый Орлеан *побольше разузнать о жизни отца*, как сообщил он в письме Фергусону, то он задержится на той стороне мира на два месяца, а поскольку Фергусону в день отъезда Альбера из Парижа оставалось жить всего сорок три дня, они больше никогда не видели друг друга.

Фергусон был спокоен. Он знал, что Альбер рано или поздно вернется, а сам он тем временем будет продолжать работу, воспользуется отсутствием Альбера и возобновит свою старую привычку пить за ужином вино, бокал за бокалом

вина до полного опьянения, если необходимо, ибо пусть он и был спокоен, за Альбера он все равно тревожился — телеграмма обрушилась на него как гром среди ясного неба, и, когда они обнимались на прощание в аэропорту, Альбер казался наполовину обезумевшим, а ну как ему не удастся выстоять и он вновь станет употреблять? Спокойствие, сказал себе Фергусон, выпей еще вина, спокойствие — и ломись дальше. В его очерке об Анне Франк уже было написано больше ста страниц и он превращался в книгу, еще одну книгу, которая займет по меньшей мере еще год в написании, но, опять-таки, январь уже закончился, наступил февраль, и с публикацией «Лорела и Гарди» меньше чем через месяц он ловил себя на том, что ему трудно сосредоточиться.

После своего краткого визита Обри больше в Париж не возвращался, но они с Фергусоном за последние десять месяцев обменялись парой дюжин писем. Столько крупных и мелких деталей нужно обсудить по поводу выхода книги, но также — шутливые и нежные отсылки к тем часам, что они провели вместе в номере на пятом этаже гостиницы «Георг V», и пусть даже Фергусон писал, что он более или менее *сошелся* в Париже кое с кем, владыка эльфов оставался неколебим

и был полностью готов к повторному спектаклю, один раз или несколько, пока его автор в Лондоне. Казалось, так оно все и устроено в мире без женщин, где Фергусон сейчас странствовал. Как ему однажды объяснил Альбер, правила верности, применимые для мужчин и женщин, не действовали применительно к мужчинам и мужчинам, и, вероятно, единственное преимущество в том, чтоб быть изгоем-пидором, а не законопослушным женатым гражданином, — свобода трахаться по желанию с кем захочешь и когда б ни пожелал, если только не ранишь этим чувства своего номера первого. Но что же это вообще означает? Не рассказывать своему номеру первому, что ты был с кем-то еще, предполагал Фергусон, и если Альбер трахается с кем-то или с несколькими кем-то, пока мотыляется по Северной Америке, Фергусон не желал бы этого знать — и не станет сообщать Альберу, если в итоге трахнется с Обри в Лондоне. Нет, не *если*, сказал он себе, а *когда*, когда и где, и сколько раз за те дни и ночи, что он проведет в Англии, поскольку пусть он и любил Альбера, Обри он считал неотразимым.

План заключался в том, чтобы выпустить книгу шестого марта, в понедельник. Фергусон отпразд-

нует свой двадцатый день рождения в Париже третьего, затем отправится поездом-паромом с «Гар-дю-Нор» вечером четвертого и прибудет на вокзал «Виктория» утром пятого. В своих последних сообщениях Обри подтвердил, что все интервью и мероприятия выстроились по плану, включая вечер Лорела и Гарди в Национальном кинотеатре — программа короткометражек, в которой будут представлены двадцатиминутные «Крупные дела», двадцатиодноминутные «Два моряка», двадцатишестиминутная «Вдрабадан» и тридцатиминутная потеха века «Ящик с музыкой», и как только ему передали решение НКТ, Фергусон целую неделю потратил на сочинение одностраничных вступлений к каждому из четырех фильмов, паникуя от мысли, что онемеет перед публикой, если попробует выйти на сцену без записей, а поскольку он хотел, чтобы его маленькие тексты были чарующи и остроумны, а не только предоставляли информацию, у него ушло много часов на их сочинение и переписку, прежде чем он хотя бы как-то отдаленно остался удовлетворен результатом. Но каким же наслаждением станет этот вечер — и какую чуткую и щедрую штуку Обри ему устроил, — и затем, всего через двадцать четыре часа после того, как

он дописал эти вступления, дневной почтой в среду, пятнадцатого февраля, ему пришли два сигнальных экземпляра его книги, и впервые в пределах опыта, полученного Фергусоном о мире, прошлое, настоящее и будущее слились воедино. Он написал книгу, а затем он ждал книгу, и вот книга у него в руках.

Один экземпляр он отдал Вивиан, и когда она попросила его ей подписать, Фергусон рассмеялся и сказал: Я такого никогда раньше не делал, знаете. Где ее нужно подписывать и что нужно писать?

Традиционное место — титульный лист, ответила Вивиан. А сказать можешь все, что хочешь. Если не можешь ничего придумать, просто напиши свое имя.

Нет, так не годится. Я должен что-то сказать. Можно я минутку подумаю, ничего?

Они были в гостиной. Вивиан сидела на диване с книгой на коленях, а Фергусон садиться с нею рядом не стал — вместо этого принялся расхаживать взад-вперед перед нею, и после пары таких взадов и впередов вышел из зоны дивана и дошел до дальней стены комнаты, повернул направо и дошел до следующей стены, затем свернул вправо опять и дошел до той стены, что следовала за

предыдущей, после чего вернулся к дивану, где наконец уселся рядом с Вивиан.

Ладно, сказал он, я готов. Дайте мне книгу, и я ее вам подпишу.

Вивиан сказала: Я думаю, ты самый странный и забавный человек из всех моих знакомых за всю жизнь, Арчи.

Да, я таков. Обхохочешься. Мистер Ха-Ха в пурпурном клоунском костюме. Давайте книжку.

Вивиан протянула ему книгу.

Фергусон раскрыл ее на титульном листе и полез в карман за ручкой, но едва собрался писать — помедлил, повернулся к Вивиан и сказал: Только получится коротко. Надеюсь, вы не возражаете.

Нет, Арчи, я не возражаю. Ни в малейшей степени.

Фергусон написал: *Это Вивиан, Любимому другу и спасителю — Арчи.*

Земля повернулась еще шестнадцать раз, и вечером третьего марта они отпраздновали его двадцатый день рождения скромным ужином в квартире. Вивиан предложила позвать столько гостей, сколько он пожелает, но Фергусон сказал — никаких других не надо, спасибо, ему хочется *отметить посемейному*, а это означало:

только они вдвоем и Лиса, да еще отсутствующий Альбер, который сейчас скитался по Югу, пытаясь выследить членов отцовой семьи, и хоть Фергусон знал, что это нелепо, он попросил Вивиан оставить Альберу место за столом, в том же духе, в каком на Песах оставляется место Илии, и Вивиан, отнюдь не считавшая, что это нелепо, попросила Селестину накрыть стол на четверых. Мгновение спустя она решила увеличить число до шести, чтобы включить мать и отчима Фергусона.

Жить ему оставалось два дня, и то был последний раз, когда он с ними разговаривал, но о телефонном звонке договорились заранее, и вечером третьего за час до того, как он сел за ужин с Вивиан и Лисой, мать и Гил позвонили из Нью-Йорка пожелать ему счастливого дня рождения и удачи в лондонской поездке. Фергусон сказал Гилу, что возьмет с собой «Нашего общего друга» (девяносто первую книгу из списка), которая составит ему компанию в двух долгих переездах через Канал (каждый по одиннадцать часов), но сомневался, что в Лондоне у него останется время на чтение, поскольку расписание у него там стало ужас каким плотным. Как бы то ни было, после этой ему останется прочесть всего

девять книг, и они с Вивиан планируют со всеми ними покончить к концу мая, но какое же это удовольствие — жить в *изобильном мозге* этого англичанина, заметил он, а после того, как они с профессором Вивиан прикончат сотую книгу, ему хочется наверстать со всеми остальными романами Диккенса, которых еще не прочел.

Затем трубку взяла мать и заговорила с ним о погоде. Англия — место сырое, сказала она, и ему следует всегда помнить о зонтике и надевать плащ, а то и купить пару калош, чтобы защищать ноги и обувь. В любой другой день Фергусон от такого бы впал в раздражение. Она разговаривает с ним, как с семилетним ребенком, и по привычке он бы от нее отмахнулся, простонав, или высмеял бы каким-нибудь потешным и едким замечанием, но именно в тот день никакого раздражения он не ощутил — напротив, его это позабавило, и согрела, и повеселила его эта нескончаемая материнскость, что продолжала в ней гореть. Конечно, нет, ма, сказал он. Я никуда не буду выходить без зонтика. Честное слово.

Так случилось, что как раз зонтик свой Фергусон забыл в поезде, прибыв в Лондон утром пятого. Он не намеревался его терять, но в суете сборов пожитков и выскакивания на перрон в поисках

Обри зонтик оказался позабыт. И да, дождь лил в то утро на город, как его мать и предсказывала, поскольку Англия и впрямь была сырым местом, и первое же, что поразило Фергусона в ней, были запахи, натиск новых запахов, что вторглись в его тело в тот же миг, когда он покинул воздух своего купе и оказался на воздухе вокзала, запахи, что совершенно не походили на запахи Парижа и Нью-Йорка, атмосфера ершистее, колючее, заряженная смешанными истеченьями влажных шерстяных пиджаков и горящего угля, и влажных каменных стен, и дыма сигарет «Плейерс» с их чересчур сладким виргинским табаком в отличие от прямоты «Голуазов» и чуть пригоревших ароматов «Лаки» и «Камелов». Иной мир. Все до крайности другое, а поскольку еще стояло начало марта и весна пока не наступила — озноб новой разновидности, пробиравший до костей.

И вот уже Обри улыбался ему и обхватывал ручонками тело Фергусона, объявляя, что красивенький мальчик наконец-то прибыл и что за славная неделя ждет их обоих. Затем — наружу, на стоянку такси, где они нахохлились рядышком под куполом черного зонтика Обри, ожидая своей очереди, сперва говорили о том, насколько счастливы снова видеть друг друга, но

несколько мгновений спустя издатель Обри уже рассказывал автору Фергусону, что за последние несколько дней начали поступать первые отклики на книгу, и все они хороши, за исключением одного, прекрасная рецензия в «Нью Стейтсмене», восторженная в «Обсервере», но ничего ниже хороших оценок во всех остальных, если не считать стервозной чепухи в «Панче». Как мило, сказал Фергусон, понимая, сколько эти отзывы значат для Обри, однако сам он ощущал себя любопытно отстраненным от всего этого, словно бы рецензии писали о чьей-то еще книге, о другом человеке с таким же именем, как у него, быть может, но не о том, кто сейчас садится впервые в лондонское такси — один из тех легендарных черных слонов, какие он видел во множестве фильмов за столько лет, а они оказались даже еще больше, чем он себе воображал, вот еще одна британская штука, отличная от американских и французских, и какое же удовольствие было сидеть в огромном пространстве позади и слушать, как Обри тараторит, сыплет именами редакторов журналов и рецензентов, о которых сам Фергусон ничего не знал, все они были для него не более реальны, чем массовка в пьесе восемнадцатого века. Потом такси тронулось и направилось к гостинице — и

вдруг все перестало быть удовольствием, а стало обескураживать и даже немного пугать. Руль у машины располагался не на той стороне, а водитель ехал по неправильной стороне улицы! Фергусон прекрасно знал, что у англичан так принято, но никогда не переживал этого сам, и в силу давней привычки, выработанной за всю жизнь встроенных рефлекторных реакций, его первая поездка по лондонским улицам заставляла его ежиться всякий раз, когда таксист поворачивал или какая-нибудь машина приближалась к ним не с той стороны, и он вновь и вновь вынужден был закрывать глаза, боясь, что они сейчас разобьются.

Безопасно пришвартовались у гостиницы «Даррентс» на Джордж-стрит, 26 (Даблью-1), неподалеку от «Коллекции Уоллеса» и Римско-католической церкви св. Иакова. «Даррентс» читается как «парень», и Обри сказал, что выбрал Фергусону именно этот отель, потому что он уж такой, по сути, британский и респектабельный — не Лондон модов, а пример того, что он назвал Лондоном шмудов, с баром в цокольном этаже, облицованным деревянными панелями, который был до того скучен и зрелищно таинствен, что здесь до сих пор завсегдатаем был Ч. Обри Смит,

хоть он и скончался двадцать лет назад.

А кроме того, продолжал владыка эльфов, кровати здесь *удобнее некуда*.

Ты со своим грязным умом, сказал Фергусон. Неудивительно, что мы так хорошо ладим.

Рыбак рыбака, мой юный друг-янки. С дудлами у нас в штанах, как у настоящих денди, да с хорошенькой парочкой пони, чтоб довезла нас до города.

Обри помог Фергусону зарегистрироваться, но потом ему нужно было убегать домой. Стояло воскресенье, у детской няньки выходной, а он пообещал побыть с Фионой и детьми до чая, после же он вернется в гостиницу покататься на пони, а затем поведет Фергусона ужинать.

Фиона ждет не дождется встречи с тобой, сказал он, но это произойдет только завтра.

Что же касается меня, я жду не дождусь, когда ты вернешься во второй половине дня. Когда, кстати, время чая?

В нашем случае — в любое время между четырьмя и шестью. До этого времени можешь пока отдохнуть. Эти переезды через Канал могут жестоко действовать на организм, и ты, должно быть, весь изжарен. Ну, или, по крайней мере, протушен.

Веришь или нет, но мне в поезде удалось поспать, поэтому все хорошо. Я неприготовлен, так сказать. Сыр и свеж, бью копытом.

Разложив вещи, он спустился в цоколь и зашел в столовую позавтракать — в десять часов завтрак все еще подавали, и это стало его первой пробой английской кухни: тарелка, на которой были одно поджаренное яйцо-глазунья (жирное, но вкусное), две недожаренных полоски бекона (слегка отвратительные, но вкусные), две свиные сосиски, тщательно пропеченный печеный помидор и два толстых ломтя домашнего белого хлеба, намазанного девонширским маслом, которое было лучше любого сливочного масла, какое он когда-либо пробовал. Кофе пить было невозможно, поэтому он перешел на чайник чаю, несомненно — крепчайшего во всем христианском мире, его пришлось разбавлять горячей водой, прежде чем Фергусон сумел влить эту жидкость себе в горло, а затем сказал спасибо официанту, встал со стула и рысцой двинулся к мужской комнате на долгое, несчастное заседание со своими бурчащими кишками.

Ему хотелось выйти прогуляться, но мягкий дождик, ливший раньше, теперь превратился в ливень, и Фергусон, вместо того чтобы идти

наверх и запираться у себя в номере, решил навестить знаменитый бар с деревянными панелями и поискать там призрак Ч. Обри Смита.

Бар в тот час был пуст, но никто, похоже, не возражал, когда он спросил, нельзя ли ему здесь немного посидеть, пока погода не прояснится (днем прогнозировали появление солнца), а поскольку коридорный был так любезен, когда Фергусон задал этот вопрос, он решил, что англичане ему нравятся, и он их считает благородными, щедрыми людьми, не такими чопорными, какими иногда могут быть французы, не такими сердитыми, какими могут оказываться американцы, а добродушными и спокойными, публика, в общем, терпимая, которая принимает слабости своих собратьев и не встревает и не осуждает тебя, если говоришь не с тем акцентом.

Поэтому Фергусон уселся в пустом баре, облицованном деревянными панелями, и какое-то время думал об англичанах, в частности — о Ч. Обри Смите и милом, но малозначительном факте, что он, самый английский из всех английских джентльменов, само воплощение Англии для американской публики в бесчисленных голливудских фильмах, был еще одним владыкой эльфов, в данном случае — эльфов Страны кино,

а совсем немного погодя Фергусон достал из кармана записную книжечку, которую всегда носил с собой в кармане пиджака, и стал выписывать имена британских актеров, работавших в Калифорнии и до той степени, какой Фергусон никогда прежде не рассматривал до того утра, помогших создать то, что мир нынче считал *американским кино*. Столько имен — и столько фильмов с этими именами в титрах, и пока Фергусон записывал первые пришедшие ему в голову, хотя вернее — выдернутые из памяти по мере того, как он их припоминал, он включал в список и названия фильмов, где, как он видел, эти люди играли, и его поражало, до чего же их много, лавина фильмов — и еще больше фильмов, все больше и больше фильмов, слишком много фильмов, наконец, ужасающее число фильмов, и, несомненно, еще и множество других, о которых он забыл.

Начиная с первого имени у него в списке, с неизбежного Стана, партнера Олли, родившегося с именем Артур Станли Джефферсон в городке Альверстон в 1890 году, а затем, в 1910-м, увезенного в Америку с «Труппой Фреда Карно» как дублера Чарли Чаплина, больше восьмидесяти фильмов посмотрено со Станом Лорелом, в них снявшимся, больше пятидесяти с Чаплином и, по

крайней мере, двадцать с Ч. Обри Смитом (включая «Королеву Кристину», «Алую императрицу», «Жизни бенгальского улана», «Китайские моря», Маленький лорд Фаунтлерой», «Узник Зенды») и еще сотни с Рональдом Кольманом, Базилем Ратбоном, Фредди Бартольмью, Грир Гарсон, Кери Грантом, Джемсом Мейсоном, Борисом Карлоффом, Реем Миллендом, Давидом Ниве-ном, Лоренсом Оливье, Ральфом Ричардсоном, Вивьен Ли, Деборой Керр, Эдмундом Гвенном, Джорджем Сондерсом, Лоренсом Гарви, Майклом Редгрейвом, Ванессой Редгрейв, Линн Редгрейв, Робертом Донатом, Лео Г. Кэрроллом, Роландом Янгом, Найджелом Брюсом, Гледис Купер, Клодом Рейнсом, Дональдом Криспом, Робертом Мор-леем, Эдной Мей Оливер, Альбертом Финнеем, Джулией Кристи, Аланом Бейтсом, Робертом Шоу, Томом Кортнеем, Питером Селлерсом, Гер-бертом Маршаллом, Родди Макдавеллом, Эльзой Ланчестер, Чарльзом Лотоном, Вильфридом Гайд-Вайтом, Аланом Мобреем, Эриком Блором, Генри Стивенсоном, Питером Устиновом, Генри Траверсом, Финлеем Карри, Генри Даниэльсом, Венди Гиллер, Анджелой Лансбери, Лайонелом Атвиллом, Питером Финчем, Ричардом Бэртоном, Теренсом Стампом, Рексом Гаррисоном, Джулией

Андрюс, Джорджем Арлиссом, Леслеем Говардом, Тревором Говардом, Седриком Гардвиком, Джоном Гилгудом, Джоном Миллсом, Гейли Миллс, Алеком Гиннессом, Реджинальдом Овеном, Стюартом Гренджером, Джин Симмонс, Майклом Кейном, Шоном Коннери и Элизабет Тейлор.

Дождь прекратился в два, но солнце не вышло. Вместо этого облачное небо затянуло новыми тучами, такими густыми и обильными, что они начали проседать, медленно опускаясь со своего привычного места в небесах, пока не коснулись земли, и когда Фергусон наконец вышел из гостиницы, чтобы немного пройтись по кварталу, улицы превратились в лабиринт тумана. Никогда раньше не давали ему так мало видеть в то время суток, что предположительно было еще днем, и он недоумевал, как это англичане могут заниматься своими делами в таких вогких, парообразных хмарях, но, опять же, сказал он себе, англичане, вероятно, запанибрата с облаками, поскольку уж что-что он выучил по Диккенсу — так то, что облака в небе над Лондоном спускаются и часто навещают людей, и вот в такой день, как этот, похоже было, что они прихватили с собой еще и зубные щетки и намеревались провести здесь ночь.

Было самое начало четвертого. Фергусон решил, что ему пора уже двигать обратно в гостиницу и готовиться к возвращению Обри, которое могло произойти уже и в четыре, но не позднее шести, однако хотелось быть готовым к четырем — в надежде, что Обри удастся удрать от семьи скорее раньше, чем позже. Сначала ванна или душ, а затем он наденет свои подарки на день рождения, которые Вивиан купила ему на прошлой неделе в Париже, — новые брюки и новую рубашку, и новый пиджак, в которых он выглядел *на миллион дубов*, как она сказала, и для Обри ему хотелось выглядеть на миллион дубов в новой одежде, а затем одежда снимется, и они заберутся в постель заниматься тем, чем занимались в гостинице «Георг V», и нет, он себя не станет чувствовать по этому поводу виноватым, сказал он себе, он будет наслаждаться, а в том, что касается Альбера, он утешит себя тем, что станет воображать, как Мистер Медведь проделывает то же самое с кем-нибудь еще и наслаждается этим точно так же, как и он сам, и вот, пока Фергусон шел и размышлял об Обри и Альбере, и о разнице между ними, не только о физических различиях между светлым и темным, крупным и мелким, но и о различиях умственных и культурных, о различи-

ях в их взглядах на жизнь, о мрачных глубинах Альберова сердца, противопоставленных чудаческому добродушию Обри, он неуклонно двигался по направлению к гостинице, и вдруг мысли его сдвинулись к интервью, которое он будет давать завтра в десять утра кому-то из «Телеграфа», к первому интервью в своей жизни, и пусть даже Обри велел ему не беспокоиться и *просто расслабиться и быть собой*, он не мог не чувствовать легкой тревоги, да и вообще что это значит — быть собой, задался он вопросом, у него внутри живут несколько «я», даже много «я», сильное «я» и слабое «я», заботливое «я» и порывистое «я», щедрое «я» и «я» эгоистичное, так много разных «я», что в конце концов он оказывался огромен, как все сразу, или мелок, как никто вообще, и если для него это правда, то правдой это должно быть и для всех остальных, а это означает, что все — все и никто в то же самое время, и вот с этой мыслью, подскакивающей у него в голове, он подошел к перекрестку Марилебон-Хай-стрит и Бландфорд-стрит, к тому месту, где Марилебон превращается в Таер прямо за углом от гостиницы на Джордже, и хотя туман наваливался на него и облекал его собой целиком, Фергусон различал мигающий красный огонек светофора,

маячивший в хмари, мигающий красный свет, что был эквивалентом знака «стоп», поэтому Фергусон остановился и стал ждать, когда проедет машина, а поскольку он совсем затерялся в собственных мыслях обо всех и ни о ком, он повернул голову, посмотрел налево, то есть сделал то, что делал всегда, переходя через дороги всю свою жизнь, рефлекторный, бездумный взгляд налево, убедиться, что не едет никакая машина, забывая, что он в Лондоне и что в английских городах и поселках полагается смотреть направо, а не налево, и потому-то он не увидел, как из-за поворота на Бландфорде вылетел свекольного цвета британский «форд», поэтому Фергусон соступил с поребрика и принялся переходить улицу, не понимая, что у машины, которую он не увидел, — право проезда, и когда машина врезалась в тело Фергусона, его ударило так сильно, что он подлетел в воздух, словно был крылатой человеческой ракетой, запущенной в космос, молодым человеком, устремившимся к луне и звездам за нею, а потом он достиг верхней точки траектории и принялся опускаться, и, когда коснулся самого дна, голова его попала на край поребрика, и он проломил себе череп, и вот с того мига и впредь любые будущие мысль, слово и

чувство, что могли бы родиться у него внутри этого самого черепа, оказались стерты.

Боги глянули вниз со своей горы и пожали плечами.

6.4

Лукавый, безответственный Ной Маркс, давший слово не показывать рукопись «Путешествий Муллигана» никому, кроме своего отца и мачехи, нарушил это самое слово, одолжив рукопись двадцатичетырехлетнему Билли Блеску, прозаику, отсеявшемуся из Колумбии, кто зарабатывал себе на жизнь домоуправом в четырехэтажном жилом доме без лифта на Восточной Восемьдесят девятой улице между Первой и Второй авеню, в том подразделении Йорквилля для рабочего класса, что было известно как район Рейнлендер. Двумя годами ранее Билли учредил маленькое мимеографическое издательство под названием «Штуковина» — некоммерческое, антикоммерческое заведение, выпустившее пока около дюжины произведений, среди которых — томики поэзии Анн Векслер, Льюиса Тарковского и уроженца Талсы Рона Пирсона, который еще в октябре снабдил автора «Путешествий Муллигана» экземпляром «Тишины» Джона Кейджа. В

те дни, до наступления эпохи дешевой офсетной печати, мимеограф был единственной формой производства книг и журналов, доступной молодым безденежным писателям в Нью-Йорке, и если твое произведение печатали таким самиздатом в издательстве вроде «Штуковины», это отнюдь не служило признаком неизвестности и не было улицей с односторонним движением к тупиковому забвению, напротив — это было почетным знаком отличия. Тиражи в среднем доходили до двухсот экземпляров. Заголовки и иллюстрации на картонных обложках рисовали друзья Билли, художники из центра города (чаще всего — Серж Гриман или Бо Джейнард, подвижные и изобретательные рисовальщики, чьи обложки помогали задать тональность оформительскому стилю середины шестидесятых, актуальному зрительному выражению, дерзкому и неприукрашенному, которое и не пыталось воспринимать себя слишком уж всерьез), и пусть даже было нечто грубое и импровизированное в книжках, напечатанных на бумаге для пишущих машинок формата восемь с половиной на одиннадцать дюймов, содержание их было несмазанным и легко читалось, так же отчетливо, как книги, напечатанные офсетом или высокой печатью. Жена

Билли Джоанна готовила трафареты на своем большом «Ремингтоне» конторских размеров, крупным шрифтом цицеро через один интервал, не выровненные по правому краю, даже прозу, а потом эти трафареты подавали в мимеограф, стоявший в мастерской Билли, и печатали как нечетную, так и четную сторону каждой страницы, затем их брошюровала компания друзей и добровольцев и сшивала внакидку (сажала на скрепку). Большинство экземпляров раздавались бесплатно, то есть рассылались или вручались собратьям-писателям и художникам, а оставшиеся пятьдесят штук или около того распространялись среди горстки манхаттанских книготорговцев, веривших в следующее поколение американской новизны, и для юноши, зашедшего в «Книжный рынок Готама» или «Книжную лавку Восьмой улицы», увидеть свою мимеографированную книжку среди свежих поступлений поэзии и художественной прозы означало понять, что он начал существовать как писатель.

Фергусону следовало бы разозлиться на своего кузена за то, что тот действовал у него за спиной и без разрешения показал книгу кому-то, но он не злился. Ной столкнулся с Билли Блеском в Нижнем Ист-Сайде, на сборище в середине мая,

через месяц после того, как Фергусон завершил рукопись, и через неделю после своего третьего и последнего визита к доктору Бройлеру. Ной заговорил с Билли о произведении своего двоюродного брата, Билли проявил интерес к тому, чтобы на него взглянуть, и к последней неделе мая Ной уже звонил Фергусону по телефону, доставая шило из мешка. Извини, извини, сказал он, ему известно, что не следовало везде размахивать рукописью, но он все равно ее показал, и теперь, раз Билли просто *обалдел* от «Путешествий Муллигана» и хочет их опубликовать, Фергусон же не станет себя вести как тупица и мешать этому, правда? Нет, ответил Фергусон, он целиком и полностью за, а потом поблагодарил Ноя за содействие, и с этого началась их беседа, которая длилась примерно полчаса, а после того, как Фергусон повесил трубку, он понял, что разницы никакой нет, считает ли он, что книгу следует сжечь и забыть о ней или нет, книга ему нужна сейчас, потому что жизнь его окончена, и издать ее, вероятно, будет сродни тому, чтобы обмануть себя, заставить себя думать, будто у него все еще есть будущее, хотя больше никаких Фергусонов частью этого будущего и не станет, и до чего же уместно, что он предпочел опубликовать

свою работу под именем убитого человека, его деда по отцу Исаака, сваленного двумя пулями на складе кожаных изделий в Чикаго в 1923 году, человека, который должен был стать Рокфеллером, а оказался в итоге Фергусоном, отца отца, который исчез из жизни сына, и дедушки внука, который нипочем не доживет до того, чтобы самому стать отцом.

Билли Блеск стал добрым другом и преданным издателем первых книжек Фергусона, а вот Ной Маркс остался самым блестящим его свидетелем, какой только есть, и когда бы Фергусон ни пытался вообразить, кем бы он сам без него стал, ум его отключался и отказывался сообщать ответ.

Проворная Джоанна смогла превратить сто тридцать одну страницу рукописи, напечатанную через два интервала, в пятьдесят девять страниц, напечатанных через один, убрав пустые спуски, предварявшие каждую главу с одним из двадцати четырех путешествий Муллигана, и начиная новые путешествия на той же странице, где заканчивалось старое, в подбор, а это свело бóльшую часть годовой работы к тридцати листкам бумаги — книжка получилась настолько тонкой, что ее без труда можно было посадить на скрепку. Вместо Бо Джейнарда или Сержа

Гримана для оформления обложки Фергусон попросил Билли дать попробовать Говарду Мелку, а поскольку Говард сделал такой хороший рисунок (Муллиган сидит за письменным столом и пишет очередной отчет в комнате, набитой артефактами и сувенирами из своих приключений), он тоже вошел в семью «Штуковины» и продолжал делать обложки и иллюстрации, пока в 1970 году издательство не прекратило работу. Пятьдесят девять страниц на тридцати листах бумаги — это означало, что последняя страница книжки осталась пустой. Билли спросил Фергусона, не хочется ли тому написать о себе биографическую заметку, чтобы эту пустоту заполнить, и, поразмыслив над этим почти неделю, Фергусон сдал два предложения:

Девятнадцатилетнего Исаака Фергусона можно часто найти бродящим по улицам Нью-Йорка. Живет он в другом месте.

Никакой больше Эви. Никаких посещений полудома в Ист-Оранже после его последнего визита к доктору Бройлеру в Принстоне. Фергусон больше не мог заставить себя с нею встречаться лицом к лицу. Он подвел ее и разрушил ей надежды, и ему не доставало смелости посмотреть ей в глаза и сказать, что он никогда не станет призрач-

ным отцом иллюзорного ребенка, которого она измыслила, чтобы удержать их вместе в некоем будущем мире, когда обстоятельства наконец-то их разлучат. Ну и кутерьма все это. Как же глубоко они оба себя обманывали, и теперь, когда слова врача положили конец их ошибочным надеждам, Фергусон снял телефонную трубку и объявил об этом конце так, как это бы сделал любой другой трус на его месте, даже не осмеливаясь сесть в ее присутствии и обо всем поговорить, а то и прийти, быть может, к заключению, что это — далеко не худшая трагедия на свете и они могут жить себе вместе и дальше, невзирая на нее. Эви потрясла его черствость. Очень жаль и все такое, сказала она, и мне тебя на самом деле очень жалко, Арчи, но мы-то здесь при чем?

При всем, произнес он.

Нет, ты не прав, ответила она, никакой разницы, и если ты не понимаешь того, что я тебе сейчас говорю, то ты — не тот человек, кем я тебя считала раньше.

Фергусон глотал слезы на другом конце провода.

Мы не собирались оставаться вместе надолго, продолжала Эви, и, возможно, я была дурой, что втянула тебя в эти разговоры о беременности, но,

черт побери, Арчи, я отдала тебе все, что у меня есть, и ты уж, по крайней мере, обязан как порядочный человек попрощаться со мной лично.

Не могу, сказал Фергусон. Если я приеду повидаться с тобой, я сломаюсь и разревусь, а я не хочу, чтобы ты видела, как я плачу.

Это будет настолько ужасно?

Для меня — да. Хуже всего на свете.

Будь взрослей, Арчи. Попробуй вести себя, как мужчина.

Я стараюсь.

Недостаточно.

Я постараюсь сильней, честно. Самое важное — я никогда не перестану тебя любить.

Ты уже перестал. Мы вместе так надоели тебе, что ты даже не хочешь больше на меня смотреть.

Это неправда.

Хватит, пожалуйста, лгать. И пока ты еще не повесил трубку, Арчи, прошу тебя от всей свой своей души — иди ты на хуй.

В среду, двадцать пятого мая, через две недели после этого адского разговора с Эви, позвонил Ной, с известием, что Билли Блеск хочет публиковать «Путешествия Муллигана». Двадцать пятого Фергусон и Билли побеседовали и догово-

рились встретиться в субботу, двадцать восьмого, и Фергусон, следовательно, не остался в Принстоне на те выходные готовиться к экзаменам с Говардом, как собирался, а в пятницу отправился в Нью-Йорк, как обычно, однако деду своему он уже сказал, что на выходных не приедет, а потом забыл сообщить ему, что на самом деле приедет, и застал деда врасплох, и сюрприз, какой он ему этим устроил, был всего одной сотой того сюрприза, который он устроил самому себе.

Насколько ему было известно, только у него имелся ключ от квартиры. Теперь, когда они с Эви расстались, Фергусон дважды приезжал пожить здесь на выходных один в свободной дедовой спальне, и в те обе пятницы он сам входил в тихую квартиру — и обнаруживал, что дед сидит себе на диване в гостиной, читает спортивную страницу «Поста», — а на сей раз, после того как он сунул в замок ключ и открыл дверь, услышал голоса из гостиной, возможно, два или три голоса, — он не сумел определить, сколько их было, но ни один не принадлежал его деду, а как только он вошел в квартиру, первым делом до него отчетливо донесся мужской голос, который произносил: *Вот так, Эл, теперь сунь в нее свой хуй,* — а следом другой мужской голос сказал: *И*

вот когда он это сделает, Джорджия, не забудь ухватить Эда за стояк и возьми себе за щеку.

Между входной дверью и входом в гостиную лежал небольшой коридор, и пока Фергусон крался на цыпочках мимо закрытой двери в свободную спальню справа от себя, а затем — мимо узкой кухоньки-камбуза, которая тоже располагалась от него справа, — дошел до конца стены и встал на краю гостиной, и вот что он в ней увидел: его дед сидел рядом с мужчиной, державшим шестнадцатимиллиметровую кинокамеру, вокруг ярко горели три стойки с софитами, каждый, должно быть, в тысячу ватт, другой мужчина стоял посреди комнаты с планшетом для бумаг подмышкой, а на диване трое голых людей, женщина и двое мужчин, женщина с мертвыми глазами, лет тридцати, с обесцвеченными волосами, крупными грудями и вялым, выпирающим животом, и двое почти неотличимых друг от друга мужчин (быть может, близнецов), мясистые, волосатые звери с торчащими хуями и шерстяными ягодицами, выполняли указания режиссера и оператора.

Дед Фергусона улыбался. Вот что больше всего раздражало в этой отвратительной картине — улыбка на лице его деда, пока старик наблюдал, как женщина и двое мужчин сосутся и ебутся

на диване.

Первым его заметил режиссер — мелкий молодой паршивец, которому на глаз и тридцати еще не было, в джинсах и серой толстовке, тот, который все это время руководил действием, поскольку звук они не записывали, что, несомненно, будет добавлено позже как череда театральных стонов и мычания, при компоновке этого дешевейшего из дешевых кинематографических предприятий, и вот когда молодой режиссер заметил, что в коридоре у самого входа в гостиную стоит Фергусон, он произнес: Ты кто, к черту, такой?

Нет, ответил Фергусон, это, к черту, кто *вы* такие и чем, по-вашему, вы тут занимаетесь?

Арчи! — возопил его дед, а улыбка пропала с его лица и сменилась выражением страха. Ты же мне говорил, что на этих выходных не приедешь!

Ну, у меня поменялись планы, сказал Фергусон, и я теперь думаю, что этим людям следует вынести свои жопы из квартиры.

Успокойся, дружочек, произнес режиссер. Мистер Адлер — наш продюсер. Это он нас сюда пригласил, и никуда мы не пойдем, пока не закончим съемки фильма.

Извините, сказал Фергусон, подходя к голым

людям на диване, но на сегодня веселью конец. Одевайтесь и выметайтесь.

Едва он потянулся к руке женщины, чтобы поднять ее и отправить вон, режиссер кинулся на Фергусона сзади и обхватил его корпус руками, прижав ему руки к бокам. После чего один из голых близнецов вскочил с дивана и двинул кулаком Фергусону в живот, болезненным коротким ударом, от которого разбушевавшийся Фергусон пришел в такую ярость, что вырвался из хватки мелкого режиссера и швырнул его на пол. Женщина сказала: Да ексель-моксель, засранцы. Хватит уже этой херни, поехали дальше.

Прежде чем развязалась настоящая потасовка, вмешался дедушка Фергусона и сказал режиссеру: Очень жаль, Адам, но мне кажется, на сегодня хватит. Этот мальчишка — мой внук, и мне нужно с ним поговорить. Позвони мне завтра, и мы прикинем наш следующий шаг.

Не прошло и десяти минут, как режиссер, оператор и троица актеров покинули квартиру. Фергусон с дедом уже сидели на кухне, друг напротив друга за столом, и едва Фергусон услышал, как хлопнула входная дверь, сказал: Глупый ты старик. Ты мне до того противен, что никогда больше и видеть тебя не хочу.

Дедушка вытер платком глаза и уставился в стол. Девочки ничего не должны знать, сказал он, имея в виду двух своих дочерей. Если они об этом узнают, это их прикончит.

В смысле — тебя прикончит, сказал его внук.

Ни слова, Арчи. Пообещай мне.

Фергусон, которому и в голову-то не приходило, что он когда-либо сможет рассказать об увиденном в тот день матери или тете Мильдред, отказался давать какие бы то ни было обещания, хотя и знал, что никогда об этом никому не расскажет.

Я так одинок, сказал его дед. Мне просто хотелось немного развлечься.

Вот так развлечение. Спускать деньги на третьесортную порнуху. Да что с тобой вообще такое?

Она безобидная. Больно никому не делают. Все хорошо проводят время. Что в этом плохого?

Если тебе обязательно задавать такой вопрос, ты безнадежен.

Ты такой суровый, Арчи. Когда ты вообще стал таким суровым?

Не суровый. Я просто в шоке — и еще меня немного тошнит.

Они вообще не должны ничего знать. Если

только ты дашь мне слово ни о чем им не рассказывать, я сделаю все, что ты захочешь.

Просто прекрати, вот и все. Прихлопни этот фильм и больше никогда такого не делай.

Послушай, Арчи, а если я дам тебе денег? Так проще будет? Я знаю, ты не захочешь тут больше со мной оставаться, но если у тебя будут деньги, ты сможешь пойти и найти себе другую квартиру в Нью-Йорке. Тебе же этого хочется, разве нет?

Ты пытаешься меня подкупить?

Называй как хочешь. Но если я тебе дам пять… шесть… нет, скажем… десять тысяч долларов… это же здорово тебя выручит, правда? Сможешь снять себе собственную квартирку где-нибудь и все лето писать, а не пахать на той работе, о какой ты мне рассказывал. Что ты там собирался делать?

Мусор вывозить.

Мусор вывозить. Что за пустая трата времени и сил.

Но я не желаю твоих денег.

Желаешь, конечно. Все желают денег. Деньги всем нужны. Считай их подарком.

Взяткой, ты хочешь сказать.

Нет, подарком.

Фергусон взял деньги. Принял дедово предло-

жение с чистой совестью, потому что, говоря по правде, то была не взятка, но подарок, поскольку он бы все равно не обмолвился об этом ни словом ни матери, ни тете Мильдред, а если дед так богат, что ему по карману выписать чек на десять тысяч долларов, уж лучше, если деньги отойдут его внуку, нежели профинансируют еще одну убогую киноеблю. Но каким же потрясением было вторгнуться в ту ненормальную сцену, и до чего чокнутым и извращенным становился его дед в старости — овдовевший и одинокий, его больше ничто не сдерживало, он был волен впадать в любые растленные капризы, какие б ни привлекали его фантазию, и какое еще позорище устроит он завтра? Фергусон по-прежнему любил деда, но теперь утратил к нему всякое уважение, быть может, даже начал его презирать — этого хватало, чтобы навсегда расхотеть находиться в его квартире, — однако презирать не так сильно, как презирал он своего отца, который уже совершенно исчез из его жизни, пропал по причинам, в основном имевшим отношение к деньгам, и вот он сам уже с радостью берет деньги у деда и трясет ему руку, благодаря за них. Еще одно запутанное дело, еще одна обескураживающая развилка на пути, и ровно так же, как это выяснил Ласло Флют

в «Направо, налево или прямо?», какой бы выбор Фергусон ни сделал, он непременно оказывался неправильным.

Тем не менее десять тысяч долларов в 1966 году суммой были грандиозной — совершенно непредставимая куча денег. Маленькие квартиры в захудалых районах Нью-Йорка сдавались меньше чем за сотню в месяц, иногда — всего за пятьдесят или шестьдесят долларов, и Фергусон смог бы подобрать себе что-нибудь для побегов из Принстона, и ему по-прежнему хватит на жизнь летом, а работать не придется. Не то чтоб его приводила в ужас перспектива перетаскивать мусор в промежутке между первым и вторым курсами. По своим летним каникулам в старших классах, проведенным с Арни Фрейзером и Ричардом Бринкерстаффом, он знал, что тяжелая работа способна принести разнообразное удовлетворение, и в процессе можно научиться чему-нибудь ценному о жизни, но перед ним лежало еще очень много лет подобного труда, и возможность передохнуть от таскания тяжестей, пока учится в колледже, была нежданной удачей. А все потому, что вдруг явился и застал деда врасплох. Открытие мерзкое, это да, но как же вместе с тем не смеяться над ним? И теперь вот он, чьи

уста останутся на замке, покуда из легких его не вырвется прощальный вздох, валяется на куче денег, полученных за молчание. Если над таким вот не смеяться, с тобой что-то не так, что-то не то у тебя с головой.

Фергусон отправился с Ноем в Виллидж ужинать пиццей и пивом, затем провел ночь на полу комнаты своего двоюродного брата в общежитии УНЙ, а на следующий день, когда поехал через весь город на север встречаться с Билли Блеском, с ним и дальше происходили вещи поразительные. Билли был до того расслаблен и общителен и уж так рассыпался в похвалах книге Фергусона, которую называл *причудливейшей, блядь, сранью,* какой ему давно уже не доводилось читать, что юный автор вновь безмолвно возблагодарил своего кузена за то, что тот его свел с этой личностью, которая не походила ни на одного другого знакомого ему человека. Билли был одновременно и мужланом из рабочего класса, и изощренным писателем-авангардистом, он родился и вырос в том же квартале, где жил по-прежнему, был домоуправом своего здания, потому что работа эта досталась ему по наследству от отца, по-уличному смышленым уроженцем здешних мест, который присматривал за округой, как шериф

в голливудском вестерне, но к тому же был автором сложного, галлюцинаторного романа в работе, чье действие происходило во время войн с французами и индейцами, под заглавием «Сокрушенные головы» (Фергусон обожал это название), и, слушая мелодичный нью-йоркский ирландо-американский тенорок своего издателя, Фергусон ощущал, будто сами кирпичи зданий по Восточной Восемьдесят девятой улице дребезжат словами. Поверх всего прочего, беременная жена Билли Джоанна говорила точно таким же голосом, как и он, была девушкой очень земной и радушной, днем работала юридическим секретарем, а по вечерам — машинисткой-наборщицей-трафаретчицей издательства «Штуковина», это она будет заниматься книгой Фергусона, пока внутри у нее растет их ребенок, она произведет Фергусонова младенца на свет, пусть ребенок этот — всего лишь книжка, а сам он никогда не будет иметь ни малейшего отношения к производству настоящих детей, и вот когда Джоанна и Билли пригласили его остаться на ужин вечером в ту первую субботу их новой дружбы, Фергусон упомянул, что в ближайшие дни будет подыскивать себе квартиру, как только одобрят чек, который лежит у него в бумажнике, а поскольку

Билли и Джоанна знали все, что происходило у них в маленьком квартале, они присоветовали ему квартиру в шести домах от их дома, однокомнатную студию, которую выставили на рынок всего через несколько дней после их первой совместной трапезы, и вот так-то Фергусон в итоге стал арендатором своего жилья на третьем этаже по Восточной Восемьдесят девятой улице за семьдесят семь долларов и пятьдесят центов в месяц.

Его первый год в Принстоне подходил к концу. Говард уезжал на лето работать на молочной ферме своих тети и дяди на юге Вермонта, и хотя Фергусона тоже позвали участвовать в этом буколическом предприятии, наполовину уничтоженный бывший любовник Эви Монро, кто одновременно стал наполовину возродившимся автором готовившихся к печати «Путешествий Муллигана», уже отказался от уборки мусора и планировал все лето потратить на свой следующий писательский проект, «Алую тетрадь». На эти месяцы в город еще приедет и Эми (работать помощницей редактора в профильном журнале «Медсестринский дайджест»), а также — ее новый парень Лютер Бонд, который нашел себе временное место в отделе грядущих событий «Виллидж Войса». Селия Федерман, напротив, бу-

дет далеко — пожинать плоды награды, которую ей дали родители за досрочное окончание средней школы: ей предстояла двухмесячная поездка по Европе со своей двадцатилетней двоюродной сестрой Эмилией. Как и предсказывалось, дружок-Брюс, он же Человек-Буферная-Зона, ушел в прошлое. Селия пообещала написать Фергусону ровно двадцать четыре письма, которые велела хранить в особой коробке с этикеткой «Путешествия Федерман».

Ноя тоже здесь не будет — не будет неожиданно и в последнюю минуту, уедет на север Массачусетса участвовать в Вильямстаунском театральном фестивале, куда он в порыве записался, ухлестывая за девушкой, которая хотела туда попасть, но ей отказали даже без повторного прослушивания, а вот Ною — нет, и теперь он все лето будет играть в двух разных пьесах («Все мои сыновья» и «В ожидании Годо»), и план снимать экранизацию «Душевных шнурков» вновь лег на полку. Фергусон вздохнул с облегчением. Мало того, он был счастлив за Ноя, который всегда был лучшим сценическим актером, когда бы Фергусон ни видел его игру, а видел он Ноя на сцене за эти годы раз семь-восемь, должно быть, и как сильно бы ни хотел тот стать кинематографи-

стом, Фергусон был убежден: в нем хватит того, что вывело бы его в ведущие актеры, и не только в комедиях, где он и так уже был превосходен, но и в драмах тоже, хоть, быть может, и не в трагедиях, по крайней мере — не в той классике весом пятьдесят тонн, где мужчины вырывали себе глаза, женщины варили живьем своих детей, а Фортинбрас выходил под занавес, медленно опускающийся на кучу окровавленных трупов. Еще Фергусон чуял, что от Ноя публика будет писаться в штаны, если он решит когда-либо выступать с сольными комическими номерами, но всякий раз, когда он ему это предлагал, Ной хмурился и говорил: *Это не по мне*. Но он неправ, думал Фергусон, намертво неправ в том, что отказывается, и однажды вечером даже не почел себе за труд сесть и написать для Ноя несколько шуток, просто чтоб завести того с толкача, но сочинять шутки оказалось трудно, так трудно, что почти совсем невозможно, и, если не считать нескольких теннисных матчей, которые они раньше придумали с Говардом, таланта к сочинению шуток у него, похоже, нет. Писать смешные фразы в рассказе — это одно, а вот придумывать незабываемые звонкие остроты, что могли бы служить солью анекдота, — для такого требо-

вался совершенно иной мозг, нежели тот, какой разместили в черепе у Фергусона.

Эми не расставалась с Лютером Бондом с начала мая. Теперь стоял июнь, и, согласно самым недавним телефонным разговорам Фергусона с ней, его нахрапистая боевитая сводная сестра по-прежнему не отыскала в себе мужества сообщить отцу или мачехе о новом мужчине в своей жизни. Фергусона это разочаровывало — он-то всегда восхищался Эми за то, что у нее кишка не тонка, пусть ему и хотелось иногда ее также и придушить, и единственная причина, какую он был способен подвести под ее колебания, заключалась не в том, что ее приятель, так уж вышло, был черным, но то, что был он черным воинственно: человек «Черной власти», стоявший гораздо левее Эми, угрожающая фигура в черной кожаной куртке с черным беретом поверх афро — именно такой человек способен напугать кроткого отца Эми, живущего и дающего жить другим, и вызвать у него приступ паники длиной в месяц.

Затем пара приехала из Бостона и вселилась в свое подснятое летнее жилище на Морнингсайд-Хайтс. В тот же вечер они встретились с Фергусоном выпить в баре «Вест-Энд», и когда Фергусон

впервые пожал руку Лютеру Бонду, тот шарж, что он нарисовал у себя в голове, взорвался и разлетелся на тысячу никчемных кусочков. Да, Лютер Бонд был черным, и да, руку он жал крепко, как физически сильный человек, и да, в глазах у него читалась некая упрямая решимость, но когда те глаза заглянули в глаза Фергусону, тот понял, что смотрят они не на врага, а на возможного друга, на того, кто, как он искренне надеялся, ему понравится, и если Лютер отнюдь не был тем неистовым, исполненным ненависти террористом с карикатуры, то что же тогда не так с Эми и почему, во имя всего святого, она ничего не рассказала о нем отцу?

Надо будет поговорить об этом с нею наедине и сделать все, что будет в его силах, чтобы вколотить в нее чуток здравого смысла, теперь же ему нужно сосредоточиться на самом мистере Бонде, чтобы вычислить, что он за человек такой. Некрупный, уж это-то было ясно, среднего роста, где-то пять-девять или около того, в высоту — примерно с Эми, и если прическа может служить каким-то указанием на политические убеждения своего носителя, то скромная афро Лютера предполагала, что он левый, но не крайне левый, в отличие от крупных афро тех, кто выступал за

«Черное — это красиво», что же касается лица, ну, оно до ужаса привлекательно, решил Фергусон, такое пригожее, что граничит с *хорошеньким*, если подобное прилагательное можно применить к мужчинам, и пока Фергусон внимательно рассматривал это лицо — понял, почему Эми так потянуло к Лютеру и тянуло к нему до сих пор после шести недель разговоров и постоянного секса, но, отодвинув на миг в сторону эти поверхностные детали, все это внешнее, вроде маленького или большого роста, длины волос, коэффициента милоты, самое важное, что Фергусон открывал в Лютере, — его острое чувство юмора, а это Фергусон в людях ценил, потому что сам был начисто лишен вербального остроумия, и потому-то его тянуло к таким людям, как Ной Маркс, Говард Мелк и Ричард Бринкерстафф: все они могли вить вокруг него словесные петли, и когда Лютер сказал Фергусону, что его соседом по комнате в Брандейсе был такой же первокурсник, как он сам, по имени Тимоти Сойер, иными словами — *Тим Сойер*, Фергусон расхохотался, а потом спросил Лютера, напоминал ли чем-нибудь Тим Тома, но Лютер ответил, что нет, тот ему больше напоминает того другого персонажа из книги Мрака Тайна — Гика Фена.

Это было смешно. Мрак Тайн и Гик Фен были действительно потешны, те же самые два в одном, какие мог выпаливать Говард, когда на него сходило вдохновение, и оттого, что Эми рассмеялась, шутка стала еще смешнее, несомненно — гораздо смешнее, поскольку громкость ее хохота означала, что ее поймали врасплох, а это доказывало, что раньше она никогда от Лютера такого не слышала, что, в свою очередь, подтверждало: Лютер раньше такого и не говорил, не искажал имена Марка Твена и Гека Финна, ни в прошлом месяце, ни в прошлом году, и не ходил и не повторял эту шутку своим друзьям, нет, он это изобрел, не сходя с места, прямо тут, в баре «Вест-Энд», и Фергусон отдал должное уму, настолько проворному и настолько сообразительному, чтобы выдать парочку таких восхитительных острот — или, как ему хотелось сказать, но он не сказал, таких *пикантных приколов*. Вместо этого он расхохотался вместе со своей фыркавшей сводной сестрой, а потом спросил мистера Бонда, не взять ли ему еще пива.

Фергусону уже передали кое-какие сведения о прошлом Лютера и о причудливой дорожке, по которой он прошел от Центрального района Ньюарка до Университета Брандейс в Новой Ан-

глии, то, о чем Эми заикалась по телефону, вроде тех семи лет, которые Лютер провел в Ньюаркской академии, одной из лучших частных школ в регионе, за что платили не отец его, таксист, и не мать-домработница, а наниматели его матери, Сид и Эдна Ваксманы, зажиточная пара из Саут-Оранжа, чьего единственного сына убили в Битве за Выступ, необычный дуэт скорбящих душ, они влюбились в Лютера, когда он был еще маленьким мальчиком, а теперь, когда Лютер выиграл стипендию в Брандейсе, Ваксманы делали то же самое для его младшего брата Септимуса (Сеппи), и как тебе такие пироги, сказала тогда Эми Фергусону по телефону, богатая еврейская семья и черная семья в бедственном положении объединились навсегда в Разъединенных Штатах Америки — Ха!

Следовательно, Фергусон был осведомлен о том, что парень Эми ходил в Ньюаркскую академию, когда они втроем устроились выпивать в «Вест-Энде», и совсем вскоре разговор перешел на сам Ньюарк, затем — на *Ньюарк* и *баскетбол*, спорт, которым и Лютер, и Фергусон занимались в старших классах оба, а поскольку слова «Ньюарк» и «баскетбол» неожиданно случились в одной фразе, Фергусон заговорил о ньюаркском спортзале,

где играл тройное дополнительное время, когда ему было четырнадцать лет, и едва он произнес *тройное дополнительное время*, Лютер подался вперед, издал глубиной горла некий бессловесный, с трудом поддающийся расшифровке шум и сказал: Я там был.

Так, значит, ты помнишь, что случилось, произнес Фергусон.

Никогда этого не забуду.

Ты играл в той игре?

Нет, сидел на трибуне, ждал, когда ваша игра закончится, чтобы началась наша.

Ты видел бросок с центральной линии.

Самая длинная чистюля в истории. По звонку.

А после?

Да, и это тоже. Как вчера.

Пацаны повалили с трибун, и меня стукнули, сильно стукнули, когда я выбегал из спортзала, двинули так сильно, что потом не один час болело.

Это, наверное, я.

Ты?

Я кому-то двинул, только не знаю кому. Все белые выглядят одинаково, верно?

Я был единственным в нашей команде, кого ударили. Так что наверняка меня. А если меня,

то ты.

Эми сказала: Некогда незыблемая земля качается и сходит с орбиты. По Семи Морям несутся приливные волны, вулканы сносят города. Или я это себе воображаю?

Фергусон кратко улыбнулся Эми, а затем снова повернулся к Лютеру. Зачем ты это сделал? — спросил он.

Не знаю. Я и тогда не знал, и теперь не могу объяснить.

Меня это потрясло, сказал Фергусон. Не сам удар, а его причина. Безумие в спортзале, ненависть.

Она росла медленно, но к третьей ничьей там стало совсем некрасиво. А потом — это чистое попадание, и все не выдержали.

До того утра я был средним американским тупицей. Обычным мальчишкой, кто верил в прогресс и *поиск лучшего завтра*. Мы же вылечили полиомиелит, верно? За ним должен был уйти расизм. Движение за гражданские права было волшебной пилюлей, что превратит Америку в общество дальтоников. После того удара, после *твоего* удара, я вдруг сильно поумнел насчет многого. Я теперь такой умный, что не могу думать о будущем, чтобы меня при этом не тошнило. Ты

изменил всю мою жизнь, Лютер.

Если уж на то пошло, сказал Лютер, тот удар и меня изменил. Тем утром меня захватили чувства толпы, и злость толпы стала моей злостью. Я больше своей головой не думал, я позволил толпе думать за себя, поэтому перестал владеть собой, когда из себя вышла толпа, и побежал вниз на площадку — и совершил эту глупость. Больше никогда, поклялся я себе. Отныне я сам буду собой руководить. Господи боже мой. Белые люди отправили меня учиться, ну? Что у меня против белых?

Погоди-погоди, сказала Эми. Пока что тебе везло.

Я знаю, ответил Лютер. План А: Работать, чтобы стать юристом, как Тэргуд Маршалл, работать, чтобы стать первым черным мэром Ньюарка, работать, чтобы стать первым черным сенатором от Нью-Джерси. А если не получится, всегда есть План Б: Купить себе автомат и слушаться слов Малькольма. *Любыми необходимыми средствами*. Никогда ведь не поздно, верно?

Будем надеяться, что нет, сказал Фергусон, поднимая стакан и кивая в знак согласия.

Лютер рассмеялся. Мне нравится этот твой сводный брат, сказал он Эми. Он меня смешит —

и умеет держать удар. У него плечо, должно быть, в тот день сильно болело, а у меня рука что, нет? Я думал, все костяшки себе переломал.

С «Алой тетрадью» будет непросто — несравнимо более трудная работа, чем любая предыдущая, и у Фергусона имелись серьезные сомнения, сумеет ли он с нею справиться. Книга о книге, книга, которую можно читать, а также писать в ней, книга, куда можно войти, словно она — трехмерное физическое пространство, книга, которая одновременно — мир, но все же существует в уме, головоломка, пейзаж, нагруженный и переполненный красавицами и опасностями, и помаленьку, потихоньку в ней начнет развиваться сюжет, который подтолкнет вымышленного автора — Ф. — к столкновению с самыми темными стихиями его самого. Книга-греза. Книга о непосредственном настоящем перед самым носом у Ф. Невозможная книга, какую нельзя написать, она неизбежно скатится к хаосу случайных, не связанных друг с другом осколков, в кучу бессмыслицы. Зачем вообще браться за такое? Почему просто не измыслить еще одну историю и не рассказать ее, как ее бы рассказал любой другой писатель? Потому что Фергусону хотелось сделать что-то другое. Потому что Фер-

гусона больше не интересовало рассказывать просто истории. Потому что Фергусон хотел испытать себя неведомым и посмотреть, удастся ли ему выжить в этом противостоянии.

Первая запись. В алой тетради — все слова, какие еще только предстоит произнести, и все годы моей жизни перед тем, как я купил алую тетрадь.

Вторая запись. Алая тетрадь — не воображаема. Это настоящая тетрадь, не менее настоящая, нежели ручка у меня в руке или рубашка на мне, и она лежит передо мной на письменном столе. Я купил ее три дня назад в магазине канцелярских товаров на Лексингтон-авеню в Нью-Йорке. В магазине продавалось и много других тетрадей — синих тетрадей, зеленых, желтых, коричневых, — но когда я заметил красную — просто услышал, как она зовет меня, зовет по имени. Красная была до того красной, что, по сути, алой, ибо горела так же ярко, как А на платье у Гестер Принн. Страницы в алой тетради, конечно, белые, и их в ней много, страниц там больше, чем возможно сосчитать за часы между рассветом и сумерками долгого дня в середине лета.

Четвертая запись. Когда я открываю алую

тетрадь — вижу окно, в которое гляжу у себя в уме. С той стороны окна я вижу большой город. Вижу, как старуха выгуливает собаку, и слышу, как по радио в квартире по соседству передают бейсбольный матч. Два мяча, два удара, двое вылетели. Вот подача.

Седьмая запись. Когда я переворачиваю страницы алой тетради — часто вижу то, что, как сам считал, я забыл, и вдруг вновь оказываюсь в прошлом. Вспоминаю старые телефонные номера исчезнувших друзей. Вспоминаю платье, которое надела моя мать в тот день, когда я закончил начальную школу. Вспоминаю дату подписания «Великой хартии вольностей». Я даже вспоминаю первую алую тетрадь, которую вообще в жизни купил. Это случилось в Мапльвуде, Нью-Джерси, много лет назад.

Девятая запись. В алой тетради есть кардиналы, краснокрылые скворцы и малиновки. Там есть «Бостонские Красные Носки» и «Цинциннатские Красные Чулки». В ней есть розы, тюльпаны и маки. Есть фотография Сидящего Быка. Есть политические брошюры левых, вареная свекла и шматы сырого стейка. Есть огонь. Есть кровь. Также включены «Красное и черное», «Красная

угроза» и «Маска красной смерти». Это лишь частичный список.

Двенадцатая запись. Бывают дни, когда человек, владеющий алой тетрадью, обязан не делать ничего — только читать ее. В иные дни ему необходимо в ней писать. С этим могут возникать сложности, и бывают такие утра, когда я сажусь работать и не уверен, какой именно деятельностью мне будет правильно заняться. Похоже, все зависит от того, до какой страницы в данный миг дошел, но, поскольку страницы не пронумерованы, такое трудно знать заранее. Это и объясняет, почему я потратил столько бесплодных часов, глядя на чистые страницы. У меня такое чувство, будто я должен отыскать там образ, но когда после всех усилий ничего не материализуется, меня часто охватывает паника. Один случай настолько меня деморализовал, что я испугался, не лишусь ли рассудка. Я позвонил своему другу У., тоже владельцу алой тетради, и рассказал ему, в каком я отчаянии. «Таков риск владения алой тетрадью, — ответил он. — Ты либо сдаешься своему отчаянию и ждешь, когда оно пройдет, либо сжигаешь свою алую тетрадь и забываешь, что она когда-либо вообще у тебя была». У., возможно, в этом прав, но так я никогда не смог поступить.

Сколько боли бы она ни причиняла мне, каким бы потерянным я себя иногда ни ощущал, я б не смог жить без своей алой тетради.

Четырнадцатая запись. На страницах алой тетради справа в различные моменты в течение дня загорается успокаивающее сумеречное свечение — свет, похожий на тот, что падает на поля пшеницы и ячменя перед закатом в конце лета, но он отчего-то сияет ярче, он более невесом, от него больше отдыхают глаза, а вот страницы слева испускают свет, наводящий на мысли о холодном дне среди зимы.

Семнадцатая запись. Поразительное открытие на прошлой неделе: в алую тетрадь удается входить — вернее, тетрадь служит инструментом для входа в воображаемые пространства, до того наглядные и ощутимые, что они принимают вид реальности. Это не просто собрание страниц для чтения и писания слов, стало быть, это *locus solus*[104], микроскопическая прорезь во Вселенной, которая способна расширяться и пропускать через себя человека, если он прижмет алую тетрадь к лицу и вдохнет ароматы бумаги,

---

[104] Сноски: 104
Особенное место (*лат.*).

не открывая глаз. Мой друг У. предупредил меня, насколько может быть опасно отправляться на такие импровизированные экскурсии, но теперь, раз я сделал это свое открытие, как противиться мне позыву то и дело проскальзывать в эти иные пространства? Я беру с собой легкий обед, закидываю кое-что по мелочи в небольшую сумку (свитер, складной зонтик, компас), а потом звоню У. и сообщаю, что готов к отправлению. Боюсь, он постоянно обо мне беспокоится, но У. гораздо старше меня (в его последний день рождения ему исполнилось семьдесят), и, быть может, он уже утратил тягу к приключениям. Удачи, говорит он мне, болван, и после этого я смеюсь в телефон и кладу трубку. Покамест я отправлялся туда не более чем на два или три часа за раз.

Двадцатая запись. В алой тетради, счастлив сообщить, есть по неистовому проклятью всем и каждому, кто когда-либо плохо со мной поступал.

Двадцать третья запись. Не всё в алой тетради — то, чем кажется. Нью-Йорк, обитающий в ней, к примеру, не всегда соответствует Нью-Йорку моей жизни наяву. Со мной случилось так, что, идя по Восточной Восемьдесят девятой улице и

свернув за угол на, как я рассчитывал, Вторую авеню, я оказался на Южной Центрального парка возле Колумбус-Серкла. Быть может, это потому, что мне эти улицы известны ближе, чем какие-либо другие в этом городе: я только что поселился в квартире на Восточной Восемьдесят девятой улице в начале лета, а на Южную Центрального парка ходил сотни раз с самого начала своей жизни — навещать прародителей, чье жилое здание на Западной Пятьдесят восьмой улице также имеет вход с Южной Центрального парка. Этот географический синапс навел бы на предположение, что алая тетрадь — в высшей степени личный инструмент для каждого человека, такой тетрадью владеющего, и не существует двух похожих друг на дружку алых тетрадей, пусть даже все их обложки выглядят одинаково. Воспоминания не непрерывны. Они скачут с одного места в другое и перепрыгивают через широкие прогалины времени со множеством провалов посередке, и из-за того, что мой сводный брат называет эдаким квантовым эффектом, в алой тетради можно найти многочисленные и часто противоречащие друг дружке истории, которые не образуют связного повествования. Они скорее развертываются, как сны — иными словами,

согласно логике, что не всегда с ходу очевидна.

Двадцать пятая запись. На каждой странице алой тетради есть мой письменный стол и все остальное в комнате, где я сейчас сижу. Хотя меня частенько подмывает взять с собой алую тетрадь на какую-нибудь прогулку по городу, я пока не отыскал в себе мужества забрать ее со стола. Вместе с тем, когда я ухожу в саму алую тетрадь, алая тетрадь, похоже, всегда остается при мне.

Так начался второй заплыв Фергусона через озеро, по его пруду Уолден одинокой словесной работы, от семи до десяти часов сидения за столом каждый день. Плескаться ему предстояло долго и сумбурно, часто погружаться с головой, у него все больше и больше будут уставать руки и ноги, но у Фергусона имелся врожденный талант — прыгать в глубокие и опасные воды, когда вокруг нет никаких спасателей, и, учитывая, что до Фергусона подобную книгу никто никогда не писал и даже помыслить себе ее никто не мог, ему пришлось самому учиться, как делать то, что он делал, в процессе делания. Как, похоже, со всем, что он теперь писал, выбрасывалось больше материала, чем оставлялось, и 365 записей, которые он сочинил между началом июня и серединой

сентября 1966 года, обстрогались до 174, каковые и заполнили сто одиннадцать страниц, напечатанных через два интервала, в окончательном черновике, отчего его вторая книга длиной в повесть оказалась слегка короче первой, и когда она еще больше упарилась в восковках издательства «Штуковина», набранных через один интервал, текст свелся к пятидесяти четырем страницам, к четному их числу, которое избавило Фергусона от обременительной обязанности сочинять о себе еще одну автобиографическую заметку.

Ему нравилось жить в своей квартирке на взятку за молчание, и все свое первое лето в 1966 году, пока Джоанна трудилась над перепечаткой «Путешествий Муллигана», а Фергусон с пóтом выдавливал из себя страницы «Алой тетради», он продолжал думать о десяти тысячах долларов и о том, как лукаво и уклончиво его дед объяснил «подарок» своей дочери Розе: позвонил ей домой на следующий же день — в тот же день, когда Фергусон впервые повстречал Билли и Джоанну Блесков, — и сказал ей, что учредил собственный неофициальный эквивалент Фонда Рокфеллера, т. е. Фонд Адлера по Пропаганде Искусств, и только что присудил награду в десять тысяч долларов своему внуку, дабы поощрить

его развитие как писателя. Какая колоссальная куча херни, подумал Фергусон, и все-таки до чего интересно, что человек, до слез пристыженный и выписавший чек, чтобы как-то замазать свою вину, на следующий же день изловчился повернуться и начать похваляться тем, что сделал. Чокнутый, глупый старик, но когда Фергусон в следующий понедельник поговорил из Принстона с матерью, ему пришлось сдерживаться, чтоб не расхохотаться, когда она передала слова отца, невероятная туфта всего этого, показуха самовосхвалений его несравненной щедрости, и когда мать сказала: Только подумай, Арчи, — сначала Стипендия Уолта Уитмена, а теперь этот поразительный подарок от дедушки, — Фергусон ответил: Я знаю, знаю, я самый везучий человек на земле, сознательно повторив слова, которые на «Стадионе Янки» произнес Лу Гериг после того, как выяснилось, что он умирает от болезни, которую впоследствии назовут его именем. Ловко устроился, сказала мать Фергусона. Да, вот именно, ловко устроился, до чего шикарен и прекрасен этот мир, если не остановишься и слишком пристально не вглядишься в него.

Матрас на полу, письменный стол и стул, найденные на ближайшем тротуаре и втащенные в

комнату с помощью Билли, какие-то кастрюльки и сковородки, купленные за никели и даймы в местной лавке «Миссии доброй воли», простыни, полотенца и постель, пожертвованные матерью и Даном как *подарки на новоселье*, и вторая пишущая машинка, подержанная, купленная в лавке пишущих машинок Ознера на Амстердам-авеню, чтобы не таскать машинку из Принстона в Нью-Йорк, а потом обратно в Принстон каждые пятницу и воскресенье, «Олимпию», изготовленную в Западной Германии году в 1960-м, ход у нее был еще глаже и точнее, чем у его надежной, глубоко любимой «Смит-Короны». Частые ужины с Блесками, частые ужины с Эми и Лютером, время от времени — встречи с Роном Пирсоном и его женой Пег, а также сольные экспедиции с ранними ужинами в «Стойке идеальных обедов» на Восточной Восемьдесят шестой улице, в едальне с вывеской над дверью, гласившей «ПОДАЕМ НЕМЕЦКУЮ ЕДУ С 1932 ГОДА» (значимая дата, устанавливавшая отсутствие *какой бы то ни было связи* с тем, что произошло в Германии на следующий год), и как же любил Фергусон уминать эти плотные блюда, от которых ком

в желудке, *Königsberger Klopse*[105] и венские шницели, и слушать, как крупная, мускулистая официантка за стойкой орет в кухню со своим густым акцентом: *Атин шнитцел!* — что неизменно вызывало в его памяти покойного отца Дана и Гила, того другого чокнутого деда в их племени, вздорного, сбрендившего *Ону* Джима и Эми. Самому везучему человеку на земле также в то лето посчастливилось познакомиться с Мэри Доногью, двадцатиоднолетней младшей сестрой Джоанны, которая те месяцы проводила с Блесками и работала в конторе, после чего намеревалась вернуться в Анн-Арбор и последний год доучиваться там, а поскольку пухлая, общительная, повернутая на сексе Мэри прониклась к Фергусону чувствами, то часто и приходила к нему в квартиру по ночам и забиралась в его постель, что помогало уменьшить томление, которое он до сих пор испытывал по Эви, и отвлечься от мыслей о том, какую пакость он с нею сотворил, прекратив общение и даже не попрощавшись как следует. Мягкая и изобильная плоть Мэри — в ней хорошо утонуть и забыть себя, сбросить бремя бытия собой — и секс были хороши, потому

[105] Сноски: 105
Кёнигсбергские битки (*нем.*).

что оказались простыми и преходящими, секс без привязок, без заблуждений, без надежды на что-то более длительное, чем было на самом деле.

Первоначальный план Фергусона заключался в том, чтобы вломиться и решить задачу Эми-Лютера самостоятельно, у них за спинами — так, как Ной поступил с его рукописью, — позвонить матери, рассказать ей, что происходит, и спросить у нее, как, по ее мнению, на это известие откликнется Дан. Затем он пересмотрел свой подход и пришел к заключению, что у него нет права обманывать свою сводную сестру или действовать без ее согласия, поэтому однажды вечером в середине июня, когда Фергусон, Бонд и Шнейдерман сидели в «Вест-Энде», вдыхая и всасывая еще по кругу сигарет и пива, сын Розы спросил у падчерицы Розы, позволит ли она ему поговорить с его матерью от ее имени, чтобы *покончить с этой чепухой*. Не успела Эми ответить, Лютер подался вперед и сказал: Спасибо, Арчи, — а мгновение спустя Эми произнесла более-менее то же самое: Спасибо, Арч.

Фергусон позвонил матери на следующее утро, и когда сообщил ей, зачем звонит, мать рассмеялась.

Мы об этом уже знаем, ответила она.

Знаете? Как такое может быть?

От Ваксманов. А также от Джима.

От Джима?

Да, от Джима.

А как Джим к этому относится?

Ему все равно. Вернее, не все равно, поскольку Лютер ему очень нравится.

А что же Дан?

Сперва был немного шокирован, я бы сказала. Но, думаю, сейчас уже оправился. То есть Эми и Лютер же не собираются жениться, правда?

Понятия не имею.

С женитьбой может выйти туго. Туго для них обоих, это трудный, трудный путь, если они когда-либо решат на него вступить, но еще и трудно для родителей Лютера, которые для начала отнюдь не в восторге от этого маленького романа.

Ты разговаривала с Бондами?

Нет, но Эдна Ваксман говорит, что Бондов их сын тревожит. Они считают, что он слишком много якшается с белыми, что он утратил ощущение собственной черноты. Сначала Ньюаркская академия, теперь вот Брандейс, и вечно он чей-нибудь любимчик, любимчик у белых. Слишком мягкий и уступчивый, говорят, *марку не держит*, и все-таки в то же самое время они им так гордят-

ся и так благодарны Ваксманам за то, что те их выручают. Сложный это мир, правда, Арчи?

А ты сама ко всему этому как относишься?

Я-то по-прежнему непредвзята. Не узнаю, что́ обо всем этом думаю, пока мне не выпадет случая познакомиться с Лютером. Передай Эми, чтобы мне позвонила, ладно?

Передам. И не беспокойся. Лютер — хороший парень, и скажи Эдне Ваксман, чтобы передала Бондам, чтоб те тоже не волновались. Их сын марку все-таки держит. Просто некрупную, только и всего. Правильного размера у него марка, я бы сказал, она ему идет.

Один месяц и одну неделю спустя Фергусон, Мэри Доногью, Эми и Лютер ехали на север в старом «понтиаке» — направлялись на ферму в южном Вермонте, где лето проводил Говард Мелк, и в ту же самую пятницу в другой машине мать Фергусона и отец Эми вместе с тетей и сводным дядей Фергусона направлялись к Вильямстауну, Массачусетс, где на следующий вечер к ним присоединятся пятеро студентов, чтобы посмотреть, как Ной выступает в роли Лаки в спектакле «В ожидании Годо». Свиньи, коровы и куры, вонь навоза в сарае, ветер шелестит по зеленым холмам и вихрится по долине внизу, а

широкоплечий Говард топал рядом с четверкой из Нью-Йорка, пока все ходили и осматривали шестидесятиакровые просторы его тети и дяди на окраине Ньюфейна. Как же счастлив был Фергусон снова видеть своего дружка по колледжу, и до чего хорошо было, что у тети и дяди не оказалось ханжеских представлений о совместной студенческой ночевке (Говард настоял на своем и вынудил их согласиться — а не то…), и вот теперь, когда дело между Эми и ее отцом касательно Лютера благополучно разрешилось, до чего расслаблены все были в те выходные, вдали от жаркого цемента и клубящихся испарений Нью-Йорка, Эми скакала по лугу на гнедом жеребце, памятный образ, которым Фергусон будет дорожить потом еще много лет, но ничего не было памятнее спектакля в субботу вечером в Вильямстауне, всего в пятидесяти милях от фермы, той пьесы, что Фергусон прочел еще в старших классах, но никогда не видел поставленной на сцене, перечитал раньше на той неделе, чтобы подготовиться к постановке, но ничто, как выяснилось, не могло его подготовить к тому, что он увидел в тот вечер: Ной в парике длинных белых волос, свисавших из-под котелка, и с веревкой на шее, третируемый раб и переносчик тяжестей,

паяц, немой клоун, который падает, шатается и спотыкается, до чего тонкая хореография у всех его шагов, шаркающие, сонные, внезапные рывки вперед и назад, на ходу засыпает, внезапный пинок в ногу Эстрагону, нежданные слезы, что текут у него по лицу, изломанный, жалкий танец, что исполняет он, когда ему приказывают танцевать, кнут и сумки поднять — сумки опустить вновь и вновь, табурет Поццо снова и снова складывается и раскладывается, казалось, это невероятно, что Ной на все это способен, и затем, в первом действии — знаменитая речь, речь про Штампа и Ватмана[106], речь про какакака, долгая диатриба псевдоученой чепухи без пунктуации, и Ной влетел в нее, как в трансе, что за невероятная демонстрация контроля дыхания и сложного речевого ритма, и господи-Иисусе, сказал себе Фергусон, господи-блядь-Иисусе, пока слова вылетали изо рта его двоюродного брата, а затем трое других на сцене скакнули на него, измолотили его и помяли ему шляпу, а Поццо опять взмахнул кнутом и вновь там сплошь это: *Встать! Свинья!* — и они удалились, сошли со сцены, а Лаки рухнул за кулисами.

---

[106] Сноски: 106

Здесь и далее отсылки к пьесе в пер. А. Михаиляна.

После поклонов и аплодисментов Фергусон вцепился в Ноя и обнял так крепко, что чуть не сломал ему ребра. Как только Ной снова смог дышать — сказал: Я рад, что тебе понравилось, Арчи, но мне кажется, что в большинстве других представлений я играл получше. Знать, что в зале сидишь ты, и мой отец, и Мильдред, и Эми, и твоя мать — ну, в общем, ты понял. Давит, дядя. В натуре давит.

Нью-йоркский квартет отправился обратно в город вечером в воскресенье, а наутро, двадцать пятого июля, на пляже Огненного острова дюноход сбил поэта Франка О'Хару, и он умер в возрасте сорока лет. Когда весть о несчастье разнеслась среди писателей, художников и музыкантов Нью-Йорка, горестные стенания поднялись по всему городу, и один за другим молодые городские поэты, поклонявшиеся О'Харе, не могли сладить с собой и принимались рыдать. Рыдал Рон Пирсон. Рыдала Анн Векслер. Рыдал Льюис Тарковский. А на севере, в спальных районах Восточной Восемьдесят девятой улицы, Билли Блеск двинул кулаком в стену так сильно, что пробил гипсокартон насквозь. Фергусон никогда не встречался с О'Харой, но знал его произведения и восхищался ими за их громокипенье и свободу, и хотя сам

он рыдать не стал и кулаком в стену не бил, весь следующий день провел за перечитыванием тех двух книжек О'Хары, что у него были, — «Обеденных стихов» и «Размышлений в крайности».

Я самый нетрудный из людей, написал О'Хара в 1954 году. *Мне нужна лишь бескрайняя любовь*.

Держа данное слово, за те два месяца, что путешествовала за рубежом, Селия отправила Фергусону ровно двадцать четыре письма. Хорошие письма, чувствовал он, хорошо написаны, в них много точных замечаний о том, что она переживала в Дублине, Корке, Лондоне, Париже, Ницце, Флоренции и Риме, поскольку, совсем как ее брат Арти, она умела смотреть на все тщательно, с бóльшим терпением и любопытством, нежели многие люди, как это было ясно из ее фразы об ирландском пейзаже в одном из первых писем, которая задала тон всему, что последовало за ней: *Зеленая безлесная земля, усеянная серыми камнями и черными грачами, летающими над головой, тишь в сердцевине всего, даже когда сердце бьется и задувает ветер*. Неплохо для будущего биолога, решил Фергусон, но сколь дружелюбны бы ни были ее письма, в них не содержалось ничего задушевного или откровенного, и когда Селия вернулась в Нью-Йорк

двадцать третьего августа, через день после того, как Мэри Доногью поцеловала его на прощанье и уехала к себе в Анн-Арбор, Фергусон понятия не имел, какие у него с нею отношения. Он, однако, намеревался это выяснить как можно скорее, поскольку теперь, раз Селии исполнилось семнадцать с половиной, запрет на физический контакт был снят. Любовь — контактный спорт, в конце концов, а Фергусон теперь искал любви, он был *готов любить*, говоря словами старой песенки из «Поем под дождем», и по всем старым причинам, а также по всем новым он наделся отыскать эту любовь в объятиях Селии Федерман. Если она его примет.

Ее ошеломила нагота его квартиры, когда она зашла в гости двадцать седьмого. Письменный стол — нормально, матрас — нормально, но как же можно держать одежду в картонной коробке в чулане, а мешка или корзины для грязного белья у него нет, и он просто швыряет носки и трусы на пол ванной? И почему не обзавестись книжным шкафом, а не просто складывать книги у стены? И почему нет ни картин, ни фотографий? И зачем есть за письменным столом, когда в углу имеется место для небольшого кухонного столика? Потому что ему хочется как можно меньше вещей,

ответил Фергусон, и еще потому, что ему все равно. Да, да, сказала Селия, она ведет себя как женщина средних лет из предместий, а он живет под открытым небом, как богемный ренегат в джунглях Манхаттана, все это она понимает и это ее ничуть не касается, но разве не хочется ему сделать тут все хоть чуточку поприятнее?

Они стояли посреди комнаты, и на них лился солнечный свет, лился из окон и на лицо Селии, озаренное лицо девушки семнадцати с половиной лет, такой красивой, что Фергусона вид ее оглушил, вверг в молчание, благоговение и трепетную неуверенность, и пока он не отрывал от нее взгляда, все смотрел и смотрел на нее, поскольку не мог смотреть ни на что больше, Селия улыбнулась и сказала: Что не так, Арчи? Ты чего на меня так уставился?

Извини, ответил он. Ничего не могу с собой сделать. Ты просто такая красивая, Селия, такая потрясающе прекрасная, что я уже не понимаю, настоящая ты или нет.

Селия рассмеялась. Не говори глупостей, сказала она. Я даже не хорошенькая. Просто обычная заурядная девчонка.

Тебе кто такую чепуху нарассказывал? Ты богиня, царица всей земли и каждого града небес-

ного.

Ну, мило, если ты так считаешь, но, может, тебе пора зрение проверять, Арчи, очки себе заказывать.

В небе сместилось солнце, а то и его закрыло тучкой, или же Фергусону стало стыдно такого бурного заявления, но через четыре секунды после того, как Селия произнесла эти слова, тема ее внешности больше не стояла на повестке дня — повестка дня опять вернулась к столу, которого у Фергусона не было, книжному шкафу, которого у него не было, комоду, которого у него не было, и если это так много для нее значит, сказал он, возможно, им следует одолжить у Билли ручную тележку и отправиться искать мебель на улицах, это же старый испытанный метод меблировки квартир в Манхаттане: поскольку богатые люди Верхнего Вест-Сайда каждый день выбрасывают что-нибудь хорошее, им всего-то и нужно, что пройти несколько кварталов на юг и несколько кварталов на запад, и они неизбежно отыщут там на тротуаре что-нибудь такое, что заслужит их одобрение.

Я не прочь, если ты не прочь, сказала Селия.

Фергусон был не прочь, но перед уходом ему хотелось показать ей еще кое-что, и он под-

вел Селию к письменному столу, где показал небольшую деревянную шкатулку со словами «Путешествия Федерман», написанными на ней, и как только она осознала всю важность этой шкатулки и верности их дружбе, которую та являла, Фергусон выдвинул правый нижний ящик стола, вытащил экземпляр «Путешествий Муллигана», изданный «Штуковиной», и вручил Селии.

Твоя книжка! — сказала она. Ее напечатали!

Она оглядела обложку Говарда, бережно провела рукой по рисунку с Муллиганом, быстро пролистала мимеографированные страницы, а затем необъяснимо выронила книжку на пол.

Ты зачем это сделала? — спросил Фергусон.

Потому что я хочу тебя поцеловать, сказала она.

Миг спустя она обняла его и прижалась губами к его рту, и тут же его руки обвили ее, а языки их проникли во рты друг дружки.

То был их первый поцелуй.

И он был настоящим, что немало обрадовало сердце Фергусона, ибо поцелуй этот не только сулил новые поцелуи в грядущие дни — он доказывал, что Селия действительно настоящая.

С отцом он не связывался уже больше года. Теперь Фергусон редко о нем думал, а всякий

раз, когда вспоминал — замечал, что ярость, какую он некогда испытывал к нему, утихла до тупого безразличия или, быть может, вообще до ничего — до пробела в голове. У него не было отца. Мужчина, некогда женатый на его матери, слился с тенями альтернативного мира, который больше не пересекался с тем миром, в котором жил его сын, и если по документам человек этот еще и не умер, пропал он очень давно, и его никогда не найдут в будущем.

Однако за три дня до того, как Фергусон уехал в Принстон начать свой второй курс, пока сидел в гостиной дома на Вудхолл-кресент и смотрел игру «Метов» вместе со сводным братом Джимом и невестой Джима Ненси, пророк прибылей неожиданно выскочил на телеэкран в рекламе между иннингами. Щеголяя густыми бакенбардами, слегка тронутыми сединой, облаченный в изящный модный костюм (цвет неизвестен, поскольку телевизор был черно-белым), он объявлял об открытии нового магазина Фергусона во Флорам-парке и тараторил о *низких ценах*, о *низких, низких ценах, какие вам по карману*, поэтому приходите смотреть новые цветные телевизоры «Ар-си-эй», а в следующие выходные, как только магазин откроется, у нас ошеломительные скид-

ки. До чего умело и уверенно он толкает свою речь, сказал себе Фергусон, заверяя аудиторию, насколько улучшатся их томительные, монотонные жизни после покупки у Фергусона, и для человека, кто *так и не научился разговаривать*, по давнишнему выражению матери, он говорил сейчас чертовски здорово и до чего расслабленно и уютно смотрелся перед камерой, насколько был доволен собой, как совершенно владел моментом, и вот он взмахнул рукой и улыбнулся, призывая незримые массы *заходить и экономить по-крупному*, а квартет сопрано и теноров без аккомпанемента бодро заголосил свои трели на заднем плане: *Не бывает ниже цен / Не бывает лучше настроенья / Чем у Фергусона, Фергусона, Фер-гу-со-на-а!*

После окончания этой рекламы в уме Фергусона возникли две мысли — одна вылепилась так быстро следом за другой, что показались они чуть ли не одновременными:

1) Что ему следует уже перестать смотреть бейсбол по телевизору, и 2) Что его отец по-прежнему мерцает на краях его жизни, вычеркнут пока не полностью, а до сих пор где-то присутствует, несмотря на любые расстояния между ними, и, вероятно, стоит написать еще одну главу, прежде

чем книгу окончательно можно будет закрыть.

Если только он не пройдет ускоренный курс древнегреческого и не выучит язык за один академический год, никаких больше занятий у Нэгла ему далее не светит. Но Нэгл по-прежнему оставался его научным консультантом, и по причинам, имевшим полное и непосредственное касательство к его собственному отцу, а быть может — и никакого к нему касательства, — Фергусон продолжал искать у Нэгла подтверждения и поддержки, желая произвести впечатление на мужчину, годившемуся ему в отцы, своей отличной работой по всем предметам, что тот преподавал, предоставляя доказательства крепости характера, требуемой от стипендиатов Уолта Уитмена, но главным образом — снискать содействие профессора для той литературы, какую он писал, знак того, что воплощает потенциал, который Нэгл разглядел в нем, прочтя «Одиннадцать мгновений из жизни Грегора Фламма». На первой их личной беседе в осеннем семестре Фергусон вручил Нэглу экземпляр «Путешествий Муллигана» в исполнении «Штуковины», при этом колебался и тревожился, что прыгнул в издание своей работы слишком поспешно, опасался, что Нэгл сочтет этот самиздат чересчур амбициоз-

ным поступком юного писателя, который еще не готов к публикации, вдвойне беспокоился, что Нэгл прочтет книжку и посчитает ее ужасной, а тем самым нанесет еще один удар из тех, каких Фергусон боялся так же, как желал поцелуев от тех, кем восхищался, однако Нэгл принял книгу в тот первый день с дружелюбным кивком и в нескольких словах поздравил Фергусона, еще ничего не зная о ее содержимом, конечно, зато хотя бы не осуждая Фергусона за то, что поспешил с преждевременной публикацией, а тем самым — к неизбежному сожалению и позору, что последуют за столь непродуманным проявлением самомнения, и вот пока Нэгл держал книжку в руках и рассматривал черно-белую иллюстрацию на обложке — сам обмолвился, до чего ему нравится этот рисунок. Кто этот Г. М.? — спросил он, показывая на инициалы подписи в правом нижнем углу, и когда Фергусон ответил, что это Говард Мелк, его сосед по комнате в общежитии Принстона, обычно кислая мина Нэгла расплылась в непривычной улыбке. Прилежный Говард Мелк, сказал он. До чего хороший студент, но я и не подозревал, что он так прекрасно рисует. Вы, ребята, два сапога пара, верно же?

При их следующей встрече в кабинете про-

фессора три дня спустя, когда им предстояло решать, какие курсы Фергусон возьмет себе в этом семестре, Нэгл начал с того, что огласил свой приговор «Путешествиям Муллигана». Не имело значения, что Билли, Рон и Ной уже отнеслись к книге тепло, да и не важно было, что с восторженными поцелуями на нее отозвались Эми, Лютер и Селия (в случае Селии — поцелуями подлинными и физическими), да и не стоит о том, что дядя Дон и тетя Мильдред не почли за труд позвонить по телефону и осыпáть его лестными замечаниями почти битый час, или о том, что Дан и его мать, а также ушедшая в прошлое Эви Монро и ушедшая в прошлое Мэри Доногью — все ему говорили, до чего хорошей они ее считают, больше всего значило мнение Нэгла, потому что он был единственным объективным наблюдателем, единственный, не связанный с Фергусоном дружбой, любовью или семейными узами, и отрицательный отзыв от него подрубит, а то и, быть может, даже уничтожит все накопившиеся положительные отзывы других.

Неплохо, сказал он, употребив слово, к которому обычно прибегал, когда что-то ему вполне нравилось — но с определенными оговорками. Шаг вперед по сравнению с вашей предыдущей

работой, продолжал он, написано туго, во фразах звучит тонкая и изящная музыка, читать увлекательно — и все же чистое, неистовое безумие, само собой, изобретательность, граничащая с территорией нервного срыва, и все же, несмотря на все это, тексты эти смешны, когда вы хотите, чтобы они были смешными, драматичны, когда вы имеете в виду драму, и вы явно уже прочли Борхеса и более-менее научились у него, как ходить по самой границе того, что я бы назвал художественной и спекулятивной прозой. Кое-какие глупенькие, студенческие мысли, боюсь, но вы он и есть, Фергусон, студент второго курса, поэтому не станем задерживаться на слабостях книги. Во всяком случае, вы убедили меня, что развиваетесь, а это предполагает, что вы и будете продолжать постепенно развиваться.

Спасибо, сказал Фергусон. Я едва понимаю, что вообще сказать.

Вот только в молчанку со мной играть не нужно, Фергусон. Нам еще предстоит обсудить ваши планы на семестр. Что подводит меня к вопросу, который я намеревался вам задать. Вы не изменили своего мнения о записи в какую-нибудь мастерскую творческого письма?

Да нет, вообще-то.

Знаете, это ведь хорошая программа. Одна из лучших где бы то ни было.

Я уверен, что вы правы. Мне просто кажется, что я буду счастливее, продираясь самостоятельно.

Понимаю ваши сомнения, но в то же время считаю, что она вам поможет. И еще — дело тут в Принстоне, в том, чтоб быть частью принстонского сообщества. Почему, к примеру, вы не подали никаких своих работ в «Нассауское литературное обозрение»?

Не знаю. Не пришло в голову.

У вас что-нибудь против Принстона?

Нет, вовсе нет. Мне тут очень нравится.

Значит, не передумали?

Совершенно нет. Я на седьмом небе.

Пока он и дальше беседовал с Нэглом и они намечали учебную программу Фергусона на осень, Говард у них в комнате общежития читал «Алую тетрадь», которую Фергусон неделей ранее провозгласил Д. М.[107], *еще одним трупом, вышвырнутым из моего засранного мозга*, как он сказал Говарду, вручая ему рукопись, однако Говард уже привык к Фергусоновым терзаниям и неверию в себя и не обращал на них внимания,

---

[107] Сноски: 107
Доставлен мертвым.

уверенный в силе собственного разума, способного приходить к независимым выводам, и к тому времени, как Фергусон вошел в комнату после консультации с Нэглом, Говард книгу дочитал.

Арчи, сказал он. Ты когда-нибудь читал Витгенштейна?

Нет пока. Он один из многих у меня в списке *нет-пока*.

Хорошо. Хотя вернее — заполучи-ка, *mein Herr*.

Говард взял голубую книжку с фамилией Витгенштейна на обложке, раскрыл ее на той странице, какую искал, и прочел Фергусону вслух: *А также имеет смысл говорить о «жизни в страницах книги»*.

Как точно, как точно, сказал Фергусон. А затем, встав по стойке «смирно» и отдав строго по-военному честь, добавил: Спасибо, Людвиг!

Ты же понимаешь, к чему я клоню, правда?

Да не очень.

«Алая тетрадь». Я только что ее дочитал, минут десять назад.

«Как я провел летние каникулы». Помнишь ту фигню, что мы писали в детстве? Ну и вот, так я и провел свои летние каникулы. Жил в страницах этого чудовища… этой книжки-выкидыша.

Ты же знаешь, как мне понравился «Муллиган»,

верно? Эта — глубже, лучше и оригинальнее. Прорыв. Я очень надеюсь, что ты дашь мне сделать к ней обложку.

А с чего ты взял, что Билли захочет ее печатать?

Не будь идиотом. Разумеется, он захочет ее печатать. Билли тебя открыл и считает тебя гением, своим ясноглазым младенцем-гением, и куда бы ты ни подался, туда он и сам захочет двигаться.

Это ты мне говоришь, сказал Фергусон, начиная улыбаться. Мне только что всю подноготную о «Муллигане» выдал Нэгл. Хорошо и нехорошо. По-студенчески, но задорно. Написано безумцем, которого следует упаковать в смирительную рубашку. Шаг вперед, но все равно еще предстоит долгий путь. Я, так уж вышло, с ним согласен.

Тебе не надо слушать Нэгла, Арчи. Он блистательный преподаватель — греческого. Мы оба его любим, но он не вправе судить твою работу. Он застрял *там и тогда*, а ты — то, что случится *дальше*. Может, не завтра, но послезавтра уж точно.

Так начался второй год Фергусона в раю для черных белок — вдохновляющей беседой с сожителем Говардом Мелком, кто стал для него теперь таким же важным другом, какими бы-

ли Ной и Джим, необходимой частью того, что поддерживало в нем жизнь, и сколь преувеличенными бы ни были замечания Говарда о его работе, он справедливо допускал, что Билли захочет публиковать его новую книжку, а поскольку Джоанна была на седьмом с половиной месяце беременности и до родов оставалось слишком мало времени, чтобы она могла печатать восковки, Билли проделал эту работу сам, поэтому за неделю до того, как девятого ноября на свет народилась малютка Молли Блеск, вторая маленькая книжка Фергусона уже печаталась.

То был год получше первого, меньше тревог и внутренних преткновений, больше крепкого ощущения принадлежности к тому месту, где фортуна пожелала ему быть, год англосаксонской поэзии, Чосера и роскошных, аллитеративных стихов сэра Томаса Ваетта (*…а я за ней вослед / и задыхаюсь…*)[108], год протестов против Вьетнамской войны участием в демонстрациях против «Доу Кемикл» в Инженерном дворе с Говардом и прочими друзьями из Клуба Вудро Вильсона, обвинявших производителя напалма, год обустройства в своей уже более меблированной

[108] Сноски: 108
Пер. В. Рогова.

нью-йоркской квартире на выходные и укрепления дружб с Билли, Джоанной, Роном и Бо Джейнардом, съемок статистом в первом фильме Рона, семиминутной короткометражке под названием «Манхаттан по секрету», где Фергусона можно было различить за столиком в глубине низкопробного бара, он читал Спинозу на французском, и год возни с «Душами неодушевленных предметов», последовательностью из тринадцати размышлений о вещах в его квартире, — эту работу он завершил в конце мая. Также то был год, когда его дед умер странной и постыдной смертью, о которой никому в семье не хотелось говорить, в кульминации недельного игорного кутежа в Лас-Вегасе, когда он проиграл больше девяноста тысяч долларов в рулетку, после чего его настиг сердечный приступ, когда он занимался любовью (или пытался заниматься любовью) с двумя двадцатилетними шлюхами у себя в номере. За семнадцать месяцев после кончины его жены Бенджи Адлер спустил на ветер больше трехсот пятидесяти тысяч долларов, и в могилу его положило бедняком Еврейское похоронное общество, которое управлялось Рабочим кружком, организацией, куда он вступил в 1936 году, в те далекие дни, когда читал романы Джека

Лондона и все еще считал себя социалистом.

И еще была Селия, прежде всего прочего — Селия, ибо то был год, когда Фергусон влюбился, и больше всего озадачивало, что никто, кроме его матери, не видел в ней того, что видел он. Роза считала ее *великолепной девушкой*, а вот все остальные как-то не понимали. Ной называл ее *неотесанной дылдой* из Вестчестера, женским вариантом ее призрачного братишки, только смуглее и симпатичнее на лицо, ботаном из Барнарда, которая всю свою жизнь проведет в белом лабораторном халате за изучением крыс. Джим полагал ее смазливой, но слишком юной для Фергусона, пока недоразвитой. Говард восхищался ее умом, но она казалась ему чересчур заурядной для Фергусона, буржуазной ходячей добродетелью, которой никогда не понять, насколько мало Фергусону дела до всего того, до чего есть дело всем остальным. Эми выразилась кратко: Зачем? Лютер назвал ее неоконченной работой, а Билли сказал: Арчи, что ты делаешь?

Понимал ли он, что делает? Он считал, что да. Он думал так, когда Селия положила долларовую бумажку перед стариком в «Горне-и-Гардарте». Думал так, когда она настаивала покончить с *братской туфтой*, пока они шли от вокзала

«Гранд-Централ» к закусочной-автомату. И он так думал, когда она выронила его книжку на пол и объявила, что хочет его поцеловать.

Сколько в дальнейшие месяцы последовало поцелуев за тем первым? Сотни. Тысячи. И неожиданное открытие вечером двадцать второго октября, когда они оба опустились на матрас в комнате у Фергусона и впервые занялись любовью, что Селия уже не девственница. Весной ее последнего года в средней школе был вышеупомянутый Брюс, а также два американских путешественника в ее поездке по Европе с двоюродной сестрой Эмилией, огайосец в Корке и калифорнийский мальчик в Париже, но знание, что он у нее не первый, отнюдь не разочаровало Фергусона — скорее, его приободрило то, что она авантюрна, открыта, а ее плотский аппетит достаточно силен, чтобы подтолкнуть ее к риску.

Он любил ее тело. Ее нагое тело он счел таким прекрасным, что едва не лишился дара речи, когда она впервые сняла с себя одежду и легла с ним рядом. Невозможная гладкость и тепло ее кожи, ее стройные руки и ноги, изгибы ягодиц, круглая попа, которую так чудесно сжимать, ее маленькие груди торчком и темные заостренные соски, он никогда не знал никого прекраснее нее,

и вот чего не могли понять остальные — как же счастлив он был с нею, когда можно гладить тело того, кого он любил теперь больше всех, кого любил прежде. Если другие не могли этого понять, что ж, очень жаль, но Фергусон и не намеревался просить мальчиков-менестрелей распаковать скрипочки и намазать соплями в сахаре. Одной скрипки вполне хватало, и коль скоро Фергусон мог слышать музыку, какую та играла, он и дальше будет ее слушать сам по себе.

Гораздо важнее других или того, что другие думают, был нехитрый факт: они теперь вдвоем, и теперь, коль скоро они перешли к следующей фазе, возникла еще более насущная необходимость доподлинно понимать, что именно происходит. По-прежнему ли связана его расцветавшая любовь к Селии со смертью Арти, спрашивал он самого себя, или же брат ее наконец вычеркнут из уравнения? В конце концов, именно с этого все и началось, еще во дни ужинов в Нью-Рошели, когда мир раскололся напополам, а арифметика богов снабдила его таким рецептом, по которому можно было бы склеить его заново: влюбиться в сестру своего покойного друга, и поэтому земля и дальше будет вращаться вокруг солнца. Безумные расчеты перегретого подросткового

ума, сердитого, скорбящего рассудка, но сколь ни иррациональны были числа, он надеялся, что со временем и она на него западет, и вот теперь, когда случилось и то, и другое, он больше не хотел, чтобы Арти в этом участвовал, поскольку то, что произошло, главным образом случилось само по себе, начиная с того дня в Нью-Йорке, когда он увидел, как сердобольная девушка вынула из своей сумочки доллар и отдала его сломленному старику, а потом та же девушка год спустя стояла в свете его квартиры и ошеломляла его силой своей красоты, а двадцать четыре письма из зарубежных стран были сложены в деревянной шкатулке, и возбужденная эта девушка уронила его книжку на пол и захотела поцеловать его, все это не имело никакого отношения к Арти, и все же теперь, когда они с Селией запали друг на дружку, Фергусон вынужден был признать, что ощущалось это *хорошо и правильно* — именно с ней он был и ни с кем другим, пускай даже что-то в нем ежилось от мысли об этом хорошем и правильном, потому что теперь, раз любил он Селию — понимал, до чего нездоро́во было вообще желать ее: смотреть на живое, дышащее существо и превращать ее в символ собственной кампании по исправлению несправедливостей

мира, о чем он вообще думал тогда, во имя всего святого, и насколько было б лучше, если бы Арти устранился из всего этого навсегда. Никаких больше призраков, сказал себе Фергусон. Мертвый мальчишка свел его с Селией, но теперь, когда он выполнил эту работу, ему пора уйти.

Ни единого слова ей обо всем этом, и когда 1966-й превратился в 1967-й, примечательно было, до чего мало они разговаривали о ее брате, с каким упорством избегали оба этой темы и до чего решительно продолжали оставаться лишь вдвоем, чтобы незримый третий не стоял меж ними или не парил у них над головами, и по мере того, как катились месяцы и связь их крепла и друзья Фергусона постепенно опомнились и стали принимать ее как постоянную черту пейзажа, он осознал, что перед ним все еще лежит один необходимый поступок, прежде чем чары можно будет развеять. К тому моменту уже настала весна, и, когда они отпраздновали свой двойной день рождения в марте, третьего и шестого числа, им теперь сравнялось двадцать и восемнадцать, и вот однажды субботним днем в середине мая, через неделю после того, как Фергусон дописал последний абзац «Душ неодушевленных предметов», он проехал через весь город к Мор-

нингсайд-Хайтс, где Селия томилась в комнате своего общежития в Брукс-Холле, трудясь над двумя курсовыми работами, что означало, что выходные эти будут отличаться от большинства прочих и не будут включать в себя их обычных прогулок и разговоров, а также ночных исследований в постели у Фергусона, но он позвонил Селии в десять часов того утра и спросил, может ли он «ее позаимствовать» минут на тридцать-сорок позднее в этот день, и нет, сказал он, не для *этого*, хоть и от всей души желал, чтобы было и *это*, а скорее для того, чтобы она для него сделала кое-что простое и необременительное, однако, в то же самое время, оно будет до крайности важно для их совместного счастья в будущем. Когда же она спросила у него, что это такое, он ответил, что расскажет ей потом.

Почему такая таинственность, Арчи?

Потому что, ответил он. Просто потому что. Вот почему.

Двигаясь вдоль края Центрального парка на автобусе, шедшем через весь город, он сунул правую руку в карман весенней куртки, и пальцы обхватили розовый резиновый мячик, который он тем же утром купил в кондитерской и сигаретной лавке на Первой авеню, заурядненший розовый

резиновый мячик, производимый компанией «Сполдинг», такие в Нью-Йорке повсеместно называли *сполдинами*. То была миссия Фергусона тем ясным днем в середине мая: войти с Селией в Риверсайд-парк и поиграть с нею в мяч, отказаться тем самым от обета, который он принял в безмолвных глубинах своего горя шесть лет назад, и наконец-то покончить со своей одержимостью.

Селия улыбнулась, когда он сказал, в чем состоит дело чрезвычайной важности, поглядев на него так, словно бы намекая, что она знает — он играет с нею шутку или же таит в рукаве что-то еще и по-прежнему от нее это скрывает, но она счастлива освободиться от заточения в комнате, сказала она, а лучшего времяпрепровождения, чем игра в парке в мяч, можно ли придумать? Селия тем более за такое занятие, обеими руками, поскольку девушкой была спортивной, отлично плавала, прилично играла в теннис и неплохо попадала мячом в корзину, и, пару раз понаблюдав за нею на теннисном корте, Фергусон знал, что мяч ловить она может, а сама бросает его не как это обычно делают девчонки, согнув руку в локте, но более-менее как это делают мальчишки, толчком от плеча и полностью вытянутой рукой.

Он прижался губами к ее лицу и поблагодарил за то, что согласилась. Как бы ни хотелось ему, наверное, он нипочем бы не смог сказать, зачем они это делают.

Пока они шли к парку, из пор Фергусона таинственными толчками заструился пот, в животе запульсировало, и стало все труднее и труднее наполнять легкие воздухом. Закружилась голова. Закружилась так, что он ухватился за руку Селии, чтобы не потерять равновесия, когда они шагали по резкому уклону Западной 116-й улицы и шаркали к Риверсайд-драйву. Тошно и страшно. Он дал себе слово, когда еще был маленьким, и с тех пор обет этот был одной из пылающих сил в его жизни, проверкой воли и внутренней крепости, и жертвы во имя святой цели, солидарности над пропастью, разделяющей живых и мертвых, почтения к мертвым тем, что он отказывается от чего-то прекрасного из этого мира, и вот нарушать это обещание сейчас давалось ему непросто, трудно это было, трудней чего угодно, о чем ни подумай, но это следовало сделать, это нужно было сделать сейчас же, ибо сколь благородна бы его жертва ни была, она была и чокнутой, а он больше не хотел оставаться чокнутым.

Они перешли Риверсайд-драйв, и, как только

ноги их коснулись травы в парке, Фергусон вынул мяч из кармана.

Отойди чуть назад, Селия, сказал он ей, и после того, как улыбающаяся Селия отскочила назад, пока они не оказались шагах в двенадцати друг от дружки, Фергусон поднял руку и кинул ей мяч.

Лето обещало всем в его круге всякое замечательное. Или так оно выглядело, когда лето только началось, и к чему вспоминать бедствия июля и августа, когда хронология призывает к тому, чтоб большие надежды июня при подсчете шли первыми? Для Фергусона и его друзей то было время, когда все, казалось, мчатся в одном и том же направлении, когда все того и гляди сотворят нечто неслыханное, нечто необычайное, чего никто из них раньше и вообразить-то себе не мог. В далекой Калифорнии лето 1967 года объявили Летом Любви. А дома, на Восточном побережье, оно началось как Лето Экзальтаций.

Ной возвращался в Вильямстаун на еще один сезон актерской игры (Чехов, Пинтер) и увлеченно работал над сценарием своего второго небольшого фильма, который станет менее небольшим, чем его первый небольшой фильм, — шестнадцатиминутная звуковая кинопостановка с рабочим названием «Пощекочи мне пятки». Помимо этого,

он нашел себе новую подружку в лице курчавоголовой, грудастой Вики Тремейн, своей соученицы по УНЙ, выпуск 69-го, которая выучила наизусть больше сотни стихотворений Эмилии Дикинсон, дурь курила так же неотвязно, как другие курят сигареты, и имела стремление стать первой женщиной, прошедшей двадцать шесть кварталов между Вашингтон-сквер и «Эмпайр-Стейт-Билдингом» на руках. Ну или так она утверждала. Кроме того, она утверждала, что за последние четыре года ее не раз насиловал Линдон Джонсон, а Мерилин Монро не стала б себя убивать, если б вышла замуж за Генри Миллера, а не за Артура Миллера. Вики была молодой женщиной с богатым чувством юмора и острым пониманием нелепиц жизни, и Ной настолько перед нею преклонялся, что стоило ей пройти мимо, как у него подкашивались ноги.

Эми и Лютер в Нью-Йорк больше не собирались. Они нашли себе квартиру в Сомервилле, и пока Лютер проходил дополнительные курсы в Гарварде, Эми следующие два с половиной месяца намеревалась провести укладчицей на конвейере фабрики «Некко» в Кембридже. Фергусон помнил вафли «Некко» еще по своему детству, а в особенности — битвы в ненастные дни, когда

он сражался ими в лагере «Парадиз»: все мальчишки забились в хижину и швыряются этими жесткими маленькими кондитерскими дисками друг в друга, а дождь хлещет по крыше, но вот Розенбергу одним досталось под самый глаз, и войны вафлями «Некко» им запретили. Интересный выбор, сказал по телефону Фергусон Эми, но почему работа на фабрике и в чем тут все дело? В политике, ответила она. Членов СДО попросили найти себе в то лето какую-нибудь фабричную работу, чтобы помочь в распространении антивоенного движения на рабочий класс, который к тому моменту все еще был преимущественно за войну. Фергусон спросил, считает ли она, будто это принесет какую-то пользу. Она понятия не имеет, ответила Эми, но даже если стать внутренним агитатором не прокатит, для нее это станет хорошим опытом, возможностью что-то понять об американских условиях труда и о тех людях, которые действительно трудятся. Она прочла на эту тему сотню книг, но лето на фабрике «Некко» неизбежно научит ее гораздо большему. Полное погружение. Непосредственное, практическое знание. Закатать рукава и нырнуть. Верно?

Верно, сказал Фергусон, только пообещай мне одно.

Что?

Не перебарщивай с вафлями «Некко».

О как? И почему это?

От них зубы портятся. И не швыряйся ими в Лютера. Если хорошенько прицелиться, они превращаются в смертельное оружие, а здоровье Лютера мне очень важно, поскольку этим летом я хочу сходить с ним на баскетбол.

Ладно, Арчи. Есть я их не буду и не стану ими кидаться. Я их просто буду делать.

Джим завершил магистерскую по физике в Принстоне и в начале июня собирался жениться на Ненси Гаммерштейн. Они уже подписали договор аренды на трехкомнатную квартиру в Саут-Оранже, квартиру на третьем этаже в здании, стоявшем на углу Саут-Оранж-авеню и Риджвуд-роуд, в одном из редких многоквартирных зданий в городке, преимущественно состоявшем из домов на одну семью, и переезжать они будут после того, как вернутся из своего медового похода в Беркширах. Джиму предложили работу — преподавать физику в средней школе Вест-Оранжа, а Ненси станет вести историю в Монклерской средней, но жить они предпочли в Саут-Оранже, поскольку у Джима там еще оставалось много друзей, а из-за того, что на не таком уж далеком

горизонте у них маячили дети, имело смысл поселиться в том же городке, где жили и будущие прародители этих детей. Вот так картинка, сказал себе Фергусон: сам он — дядя, Эми — тетя, а его мать и ее отец подбрасывают на коленках парочку внуков.

Говард возвращался на ферму в Вермонте — не доить коров и ремонтировать ограды из колючей проволоки, как в прошлом, а хорошенько воспользоваться четырьмя семестрами изучения древнегреческого и перевести на английский письменные фрагменты и записанные высказывания Демокрита и Гераклита — двух философов-досократиков, которых обычно именовали Смеющимся Философом и Плачущим Философом. В раннем тексте Джона Донна Говард обнаружил забавный пассаж, который намеревался вставить эпиграфом в этот свой проект: *А вот из мудрецов наших, не сомневаюсь, окажется, что многие станут смеяться над Гераклитом плачущим, и никто не станет плакать над Демокритом смеющимся*. Но даже продираясь через свои варианты Д. (*Деяние начинается с дерзости — концом правит случайность*) и Г. (*Путь вверх и путь вниз суть одно и то же*), Говард не оставлял и своего проекта Т. М. — иллюстрирования ше-

стидесяти лучших теннисных матчей, которые они с Фергусоном придумали за последние два года, поскольку Говард был из тех счастливчиков, кто как дома ощущал себя и в словах, и в образах, а счастливее всего становился, если жил в обоих царствах одновременно, и помимо тех своих работ — перевода и рисования — главной задачей в то лето постановил себе проводить как можно больше часов с Моной Велтри, своей подругой детства из Браттльборо, она за последние месяцы повысилась до положения его девушки, возлюбленной, интеллектуального соратника и, возможно, будущей жены. Прежде чем попрощаться друг с другом в Принстоне назавтра вслед за последним днем заключительных экзаменов, Говард выжал из Фергусона обещание приехать этим летом в Вермонт на два долгих визита, а то и на три.

Билли заканчивал дописывать свой длинный четырехсотстраничный роман и собирался выпустить «Души неодушевленных предметов» к середине августа. Рон и Пег Пирсон ждали первого ребенка, и Рон, Анн и Льюис, обсуждавшие эту мысль уже больше года, нашли в лице бывшей жены первого мужа матери Анн богатого спонсора, кто мог бы помочь им учредить «Сума-

тоху» — новое маленькое издательство, которое станет выпускать шесть или семь книг в год, в твердых обложках стандартного формата, с шитым переплетом и традиционной типографикой, а печатать их будут те же прессы, что выдают на-гора литературу для других нью-йоркских издателей. Самиздат отнюдь не умер, но постепенно становились возможны альтернативы ему, поскольку некоторые писатели с нижнего Манхаттана без гроша в кармане вычислили, где именно им искать гроши.

Что же касается Селии, она тоже лето свое проводить будет в Массачусетсе вместе с Ноем, Эми и Лютером — не с ними в буквальном смысле, но собиралась она в деревню Вудс-Хол на кончике западного полуострова Кейп-Кода, работать стажером в Лаборатории морской биологии. Не крысы, как это еще осенью предрекал Ной, а моллюски и планктон, и хотя Селия, говоря строго, была слишком молода для такой должности, на ее преподавателя биологии в Барнарде Александра Местровича ее разумность и врожденное понимание микронюансов клеточной жизни произвели такое впечатление, что он уговорил Селию ехать с ним в Массачусетс — вместе участвовать в исследовательском проекте по генетике,

в надежде, что наблюдения за тем, как профессура и аспиранты занимаются своим делом, акклиматизируют ее к тяготам лабораторной работы, что, в свою очередь, поможет ей подготовиться к будущему в науке. Селия ехать не очень рвалась. Ей хотелось найти работу в городе и все лето жить с Фергусоном, в точности этого желал и он сам, но нет, сказал он, она не может отказать Местровичу, его приглашение — это честь таких масштабов, что она будет жалеть, если не поедет, всю свою оставшуюся жизнь, и не бойся, добавил Фергусон, где найти машину, он знает, и в грядущие месяцы намерен проводить много времени в Вермонте и Массачусетсе, навещая Говарда, Ноя, Эми и Лютера в Ньюфейне, Вильямстауне и Сомервилле, а Вудс-Хол будет первейшей точкой назначения во всех его выездах на север, он будет кататься к ней настолько часто, насколько она будет способна его вытерпеть, и пожалуйста, сказал он ей, не глупи, ты обязана принять это приглашение, и вот потому-то она его приняла, и однажды утром прямо посреди Шестидневной войны она поцеловала Фергусона на прощание — и была такова.

Сомнений в том, что ему будет одиноко, не возникало почти никаких, но одиночество не будет

невыносимым, чувствовал он, уж по крайней мере — с возможностью видеться с нею пару раз каждый месяц, с протяженными визитами к Говарду на ферму, и теперь, раз последняя книжка у него уже позади, лист его опять чист. Больше восьми месяцев ушло на то, чтобы вымечтать эти причудливые размышления о бытовых вещах и те воображаемые жизни, какие вели они до тех пор, пока он не подобрал их с улицы, дурацкий экскурс в существование сломанного тостера: можно ли сломанный тостер по-прежнему считать тостером, если он больше не способен функционировать как тостер, или же ему следует придать другое имя, — рассуждения о лампах, зеркалах, ковриках и пепельницах вместе с историями о воображаемых людях, ими владевших и пользовавшихся ими, пока вещи эти не оказались у него в квартире, предприятие, для него такое пугающее, если не бесцельное, и вот теперь Билли предстояло напечатать двести экземпляров еще одной маленькой книжки и раздать их друзьям. Последняя глава Периода «Штуковины», как Фергусон впоследствии стал думать о том времени, три маленьких произведения сомнительных достоинств, несомненно — ущербные и чахлые, но никогда не тусклые и не предсказу-

емые, а временами даже лучезарные, поэтому, быть может, и не совсем уж неудачи, какими он часто их считал, а поскольку Билли и прочие поддерживали то, что он делает, вероятно — и достаточно неплохие для того, чтобы доказать, что у него имеется некоторое возможное будущее, потенциал для возможного будущего, как бы там ни было, и, потратив последние два с лишним года на сочинение этой троицы лихорадочных упражнений по разогреву, Фергусон понимал, что первая фаза его ученичества подходит к концу. Ему нужно теперь перейти к чему-то другому. Превыше прочего, сказал он себе, он должен замедлиться и снова начать рассказывать истории, снова нащупать в работе путь к миру, населенному умами, отличными от его ума.

Первые три недели летних каникул он не писал ничего. В Бруклине десятого июня сыграли свадьбу Джима и Ненси, с шестнадцатого по восемнадцатое были прекрасные дни с Селией в Вудс-Холе, но главным образом он бродил по городу и убивал время, старательно не отводя взгляда от того, что было у него перед глазами, а в кармане лежало до сих пор не отвеченное письмо от Даны Розенблюм. Нью-Йорк рассыпался. Здания, тротуары, скамьи, ливнестоки, фонарные

столбы, уличные таблички — все было треснувшим или сломанным, все разваливалось, сотни тысяч молодых людей сражались во Вьетнаме, мальчишек Фергусонова поколения отправляли куда-то, чтобы их там убили во имя того, что никто не мог полностью или хотя бы сообразно оправдать, старики у власти разжали хватку, и истина выскользнула у них из рук, общепринятой валютой американского политического дискурса теперь стала ложь, и всякая засиженная тараканами, нищая кофейня по всей длине Манхаттана нынче выставляла в витрине неоновую вывеску, гласившую: «ЛУЧШАЯ ЧАШКА КОФЕ НА СВЕТЕ».

Дана вышла замуж, была уже на шестом месяце и одновременно *и счастлива, и довольна,* если верить ее письму. Фергусон порадовался за нее. Зная то, что он теперь знал о себе самом, он отчетливо видел, что она хорошо поступила, избежав брака с человеком, не способным зачать детей, но как бы ни хотел он написать ей в ответ и поздравить ее, другие части ее письма его обеспокоили, и он до сих пор нащупывал способ ей ответить. Приподнятый тон ее замечаний о войне, о самодовольной уверенности в военном покорении, о племенной приверженности иудейских воинов, побеждающих мириады своих врагов. Западный

берег, Синай, Восточный Иерусалим теперь все под контролем израильтян, и да, то была великая и удивительная победа, и, разумеется, они горды собой, но ничего хорошего из этого не выйдет, если Израиль станет упорствовать в своей оккупации этих территорий, ощущал Фергусон, это лишь приведет к бóльшим неприятностям в дальнейшем, вот только Дана этого не видела, и, вероятно, никто в Израиле не был способен взглянуть на ситуацию снаружи, все они так долго просидели в ловушке страха, а теперь танцевали в свежезавоеванном могуществе, и поскольку Фергусон не желал расстраивать Дану своими мнениями, которые могли оказаться, насколько он понимал, и неверными, он все откладывал и откладывал письмо, которое хотел написать.

Через шесть дней после того, как вернулся из Вудс-Хола, он отправился в свою очередную бесцельную прогулку по городу, и вот, когда проходил мимо пустыря, заваленного выброшенными холодильниками, безголовыми куклами и разбитыми детскими стульчиками, в уме у него всплыла вдруг непрошеная фраза, два слова, явившиеся ему словно бы из ниоткуда и продолжавшие повторяться, пока он шагал дальше, *столица развалин*, и чем больше он думал о тех

словах, тем более убежденным становился, что они — заголовок его следующей работы, на сей раз романа, его первой попытки написать роман, суровую и безжалостную книгу о разломанной стране, в которой он жил, спуск в гораздо более темную область, нежели все, что было прежде, и даже пока шел он по тротуару в тот день, она начинала вылепливаться у него внутри — история о враче по имени Генри Нойз, чью фамилию он украл у медика-приготовишки Вильяма Нойса, соседа Фергусона по общежитской квартире в Браун-Холле, но фамилия, произносившаяся так, словно была английским словом *шум*, однако раскладывалась в написании на *нет* и *да*, если отделить друг от дружки вторую и третью буквы, была неизбежным выбором, единственным из возможных, что отвечал нуждам истории. «Столица развалин». На этот роман в двести сорок шесть страниц у Фергусона уйдет два года, но за день до того, как отправиться на ферму к Говарду в Вермонт, 30 июня 1967 года, он сел и написал первый вариант первого абзаца того, что он со временем начнет считать своей первой настоящей книгой.

Он помнил первую вспышку тридцать пять лет назад, поветрие необъяснимых самоубийств,

поразившее город Р. зимой и весной 1931 года, тот ужасный отрезок месяцев, когда почти две дюжины молодых людей между пятнадцатью и двадцатью свели счеты с собственными жизнями. Тогда он и сам был юн, всего четырнадцать лет, только-только перешел в старшие классы, и он никогда не забудет, как услышал известие о том, что умер Билли Нолан, никогда не забудет слез, что полились из него, когда ему сказали, что красивая Алиса Морган повесилась на чердаке своего дома. Большинство их тридцать пять лет назад повесилось, не оставив ни записки, ни объяснения, а теперь все начиналось сызнова, четыре смерти только в марте, но на сей раз молодые люди кончали с собой удушением, травили себя до смерти газом, сидя в машинах, стоявших в закрытых гаражах с двигателями, работавшими вхолостую. Он знал, что будут и новые смерти, что еще больше молодых людей сгинет, пока эпидемия не закончится, и все эти бедствия воспринимал лично, поскольку сейчас был врачом, терапевтом общей практики Генри Дж. Нойсом, и трое из четверых недавно усопших детей были его пациентами: Эдди Брикман, Линда Райан и Руфь Мариано, и всех троих он принял в этот мир собственными руками.

Все они должны были собраться на ферме у Говарда между пятью и шестью часами в субботу, первого июля. Селия приедет из Вудс-Хола в подержанном «шеви-импале», который родители купили ей в мае, Шнейдерман и Бонд — из Сомервилля в «скайларке» 1961 года, который Ваксманы подарили Лютеру на прощанье, когда он уезжал на первый курс в колледж, а Фергусон — из дома на Вудхолл-кресент, куда ему пришлось ехать тем утром спозаранку за старым «понтиаком». План заключался в том, чтобы провести субботнюю ночь на ферме, позавтракать там на следующее утро, а затем ехать в Вильямстаун, смотреть, как Ной будет расхаживать по театральным подмосткам в роли Константина в дневном представлении «Чайки». После этого Селия вернется в Вудс-Хол, Эми и Лютер вернутся в Сомервилль, а Фергусон, Говард и Мона Велтри поедут обратно на ферму. У Фергусона было открытое приглашение оставаться там столько, сколько пожелает. Он воображал, что задержится недели на две, но ничего определенного, и, возможно, он там разобьет лагерь на весь остаток месяца — с поездками в Вудс-Хол на выходных.

Все добрались до Вермонта к назначенному часу, а поскольку тетя и дядя Говарда в тот вечер

навещали друзей в Бэрлингтоне, и потому что ни у кого не было настроения готовить, три пары решили отправиться ужинать в заведение под названием «Бар и гриль Тома», задрипанную едальню на Трассе 30 где-то в трех четвертях мили от центра Браттльборо. Вшестером они втиснулись в универсал Говарда после пары кругов пива на ферме, маленького запоя на кухне, поскольку в Вермонте возраст начала потребления спиртных напитков составлял двадцать один год, и у Тома никакого пива им бы не дали, а из-за того, что одного круга не хватило, они выехали только около девяти, к девяти же часам вечера в субботу заведение Тома, в общем и целом, уже приближалось к состоянию хаоса: из музыкального автомата бухала громкая кантри-музыка, а питухи у стойки бара хорошенько промокали от -надцатого круга жидкого освежающего.

То была грубая рабочая и фермерская публика, несомненно — преимущественно правая толпа, выступавшая за войну, и когда Фергусон вошел туда со своей небольшой компанией левых друзей-студентов, он тут же понял, что пришли они не в то место. Что-то было такое в мужчинах и женщинах, сидевших у стойки, почувствовал он, что-то в них напрашивалось на неприятности,

и жалко, что ему с друзьями пришлось сидеть так, что эта стойка была видна, поскольку в задней комнате свободных столов не оказалось. В чем же дело, все время спрашивал он себя, пока дружелюбная официантка принимала у них заказы (Привет, детвора. Что будете?), не понимая, чем вызваны кислые взгляды, направленные в их сторону, — длинноватой ли его прической или еще более длинными волосами Говарда, скромным ли афро Лютера или самим Лютером, поскольку он был единственным черным вокруг, куда ни кинешь взгляд, или же элегантной, фасонистой прелестью трех девушек, хоть Эми и работала тем летом на фабрике, а родители Моны могли оказаться там в тот вечер за любым столиком в другой комнате, и затем, пока Фергусон внимательнее присматривался к людям у стойки — некоторые сидели к нему спиной — и понял, что большинство таких взглядов исходит от двух парней у конца бара, сидевших вдоль правого борта трехсторонней стойки, это им открывался ничем не загораживаемый вид на их стол, двух парней лет под тридцать, которые могли бы оказаться дровосеками, автомеханиками или профессорами философии, насколько Фергусон мог определить, то есть определить он не мог

почти ничего, за исключением очевидного факта, что выглядели они недовольными, и когда Эми сделала такое, что за последний год она проделывала раз, наверное, несколько сот, — прижалась к Лютеру и поцеловала его в щеку — как вдруг Фергусон понял, отчего философы злятся: не от того, что в их полностью белые владения вступил черный, а от того, что молодая белая женщина трогает молодого черного мужчину на людях, *ластится к нему и целует его*, и если учесть все прочие отягчающие обстоятельства, какие им в тот вечер достались, — студентов из колледжа с длинными волосами, свежелицых студенток с их длинными ногами и красивыми зубами, сжигателей флагов и призывных повесток, всю эту бригаду антивоенной сопливой хипни, — и прибавить к ним количество пива, которое они уже употребили за те часы, что здесь просидели, не менее шести на брата, а то и все десять, нисколько не странно и даже отдаленно не удивительно было, когда профессор философии покрупнее приподнял себя с барного табурета, подошел к их столу и сказал сводной сестре Фергусона:

Кончай с этим, девочка. Такое тут не разрешается.

Не успела Эми собраться с мыслями и ответить

ему, Лютер произнес: Отвяньте, мистер. Скройтесь с глаз.

Я не с тобой разговариваю, Чарли, ответил философ. Я разговариваю с *ней*.

Чтобы подчеркнуть смысл сказанного, он показал пальцем на Эми.

Чарли! — воскликнул Лютер с громким, театральным хмычком. Эк сказанул. Это вы Чарли, мистер, а не я. *Мистер Чарли* собственной персоной.

Фергусон, чей стул располагался ближе всех к стоявшему философу, решил встать и преподать ему урок географии.

Мне кажется, вы немного перепутали, сказал он. Мы не в Миссисипи, мы в Вермонте.

Мы в *Америке*, парировал философ, обратив теперь на Фергусона внимание. В земле свободных и доме храбрых!

Свобода тут для вас, а не для них, так что ли? — спросил Фергусон.

Именно, Чарли, ответил философ. Не для них, если они и дальше так будут вести себя на людях.

Так — это как? — сказал Фергусон с сарказмом в голосе, отчего слово *так* прозвучало, как что-то похожее на *пшёл нахуй*.

А вот так, засранец, произнес философ.

И двинул Фергусона в лицо кулаком, и началась драка.

Все это вышло так по-дурацки. Кабацкая потасовка с пьяным расистом, которому не терпелось подраться, но после того, как прилетел первый удар, что еще мог сделать Фергусон, как не ответить тем же? К счастью, друг философа не бросился на подмогу, и пока Говард и Лютер вдвоем пытались их растащить, им достаточно быстро сделать это не удалось, и Том успел вызвать легавых — и впервые в жизни Фергусона арестовали, надели на него наручники и отвезли в полицейский участок, где оформили задержание, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали с трех разных сторон. Ночной судья назначил залог в тысячу долларов (сто долларов наличкой), который Фергусон и внес при помощи Говарда, Селии, Лютера и Эми.

Ссадины над обоими глазами, внешний край правой брови содран начисто, болит челюсть, по щекам стекает кровь, но ничего не сломано, зато человек, напавший на него, тридцатидвухлетний сантехник по имени Чет Джонсон, из битвы вышел со сломанным носом и провел ночь в Мемориальной больнице Браттльборо. На слу-

шании утром в понедельник и его, и Фергусона обвинили в словесном оскорблении, нарушении общественного порядка и разрушении частной собственности (при потасовке разбили несколько стаканов и сломали стул), и суд назначили на вторник, двадцать пятое июля.

Перед предъявлением обвинения в понедельник — мрачное воскресенье на ферме, пьеса Ноя забыта, и все сидят в гостиной, обсуждая то, что произошло накануне вечером. Говард винил во всем себя. Нипочем не стоило ему тащить их всех к Тому, говорил он, и Мона его поддерживала, заявляя о собственной вине в этом деле: Надо было соображать, а не пускать вас в эту шизарню с вахлаками. Селия протяженно говорила о том, что называла *невероятной храбростью* Фергусона, — но еще и о том, как она испугалась, когда началась драка, о жуткой свирепости того первого удара. Эми какое-то время неистовствовала, проклиная себя за то, что не выступила против этого *урода, этого хама-фанатика*, ее раздражала паника, какую она ощутила, когда тот поднял руку и ткнул в нее пальцем, а затем, в отличие от той Эми, какую Фергусон знал столько лет, закрыла лицо руками и расплакалась. Лютер злился больше всех, его эта стычка распаляла сильнее

прочих, и он корил себя за то, что позволил Арчи принять весь удар на себя, а не оттолкнул его и собственным черным кулаком не двинул этой сволочи в зубы. Тетя и дядя Говарда уже думали о следующем шаге и говорили о поисках хорошего адвоката, который бы занялся делом Фергусона. К середине дня Дерзкая Эми обрела достаточно ясности ума, чтобы позвонить в дом на Вудхолл-кресент и сообщить своему отцу о той *заварухе*, в которую влип Арчи. Она передала трубку Фергусону, и когда на том конце раздался встревоженный голос его переполошившейся матери, он сказал, чтоб она не волновалась, ситуация под контролем и им вовсе не нужно мчаться сломя голову в Вермонт. Но как он может быть уверен в чем бы то ни было, спросил он себя, произнося эти слова, и что же с ним вообще будет?

Шли дни. Защищать его будет предположительно хороший молодой адвокат из Браттльборо по имени Деннис Макбрайд. Селия будет возвращаться на ферму каждые выходные, поскольку Фергусону не разрешили покидать территорию штата Вермонт, пока не состоится суд, предполагая, что дело не закончится тем, что суд посадит его в тюрьму на месяц, три месяца или год, когда на него обрушится молоток правосудия.

Чтобы такого не произошло, нужно выложить всевозможные деньги, больше долларов из сокращавшейся кучки в десять тысяч, которые его ныне уже покойный дед дал ему годом раньше, но у него по крайней мере деньги эти были, и хотя бы не нужно было просить о помощи мать и Дана. Затем настало двенадцатое июля, и, слушая, как мать рассказывает ему по телефону новости, он поймал себя на том, что ему трудно представить то, о чем она говорит. Посреди всех его личных неурядиц по улицам Ньюарка расползался большой общественный кошмар, и город, в котором он провел первые годы своей жизни, сгорал дотла.

Расовая война. Не расовые беспорядки, как всем об этом рассказывали газеты, а настоящая война между расами. Национальная гвардия и полиция штата Нью-Джерси стреляли на поражение, в те дни разора и кровопролития погибло двадцать шесть человек, двадцать четыре одного цвета и двое другого, не говоря уже о сотнях, если не тысячах избитых и покалеченных, среди них — поэт и драматург Лерой Джонс, гражданин Ньюарка и бывший близкий друг покойного Франка О'Хары, его выволокли из машины, когда он ехал осматривать разрушения в Центральном районе,

затащили в местный околоток, заперли там в камере, и белый легавый избил его так сильно, что Джонс решил, что не выживет. С легавым, избивавшим его, они когда-то дружили, учась вместе в средней школе.

По словам Эми, никого в семье Бондов не тронули. Лютер пересидел войну в Сомервилле, шестнадцатилетний Сеппи ездил по Европе с Ваксманами, а мистеру и миссис Бондам удалось избежать пуль, дубинок и кулаков. Одна аллилуйя среди тысячи стонов скорби, ужаса и отвращения. Родной город Фергусона стал столицей развалин, но все четверо Бондов уцелели.

Переживая все это, он готовился защищаться в суде. За восемь дней до его процесса война в Ньюарке закончилась, вторая шестидневная война, сопровождавшая Шестидневную войну в Израиле Даны, и понимали это сражавшиеся стороны или же нет, но обе стороны в обеих войнах проиграли, и пока Фергусон ежедневно катался в Браттльборо на консультации со своим адвокатом, чтобы подготовить защиту, он задавался вопросом, не грозит ли и ему потерять всё, он спрашивал себя и тревожился до того, что у него, казалось, кишки внутри начинали разматываться и рано или поздно вырвутся из живота и

заляпают собой всю Главную улицу Браттльборо, а к ним подскочит какая-нибудь голодная собака и все сожрет, а затем возблагодарит всемогущего собачьего бога за необыкновенную щедрость его благодати.

Макбрайд был ровен и спокоен, а также держался с *осторожным оптимизмом*, зная, что его клиент не был нападавшей стороной в рассматриваемый вечер, и с пятью свидетелями, способными подтвердить его вариант развития событий, пятью *надежными свидетелями*, все они учились в крупных университетах и колледжах, их показания неизбежно перевесят возможные ложные показания пьяного друга Чета Джонсона — Роберта Аллена Гардинера.

Фергусону сообщили, что судья, которому предстоит рассматривать его дело, — выпускник Принстона 1936 года, а это означало, что Вильям Т. Бурдок — однокашник, а то и друг стипендиального благодетеля Фергусона, Гордона Девитта. Невозможно было понять, хорошо это или плохо. С учетом того, что приговор вынесут в отсутствие присяжных и решение судья Бурдок будет принимать единолично, Фергусон надеялся, что это скорее хорошо.

Вечером двадцать второго, за три дня до той

даты, когда должен был начаться процесс, на ферму позвонил Лютер и попросил к телефону *Арчи*. Тетя Говарда передала трубку Фергусону, и новая волна страха зарокотала у него в кишках. Что еще? — спросил он сам себя. Лютер звонит ему сообщить, что не сможет присутствовать во вторник на суде?

Ничего подобного, ответил Лютер. Разумеется, я буду давать показания. Я твой звездный свидетель, разве нет?

Фергусон выдохнул в трубку. Я на тебя рассчитываю, сказал он.

На другом конце провода Лютер на миг умолк. Затем пауза неловко затянулась — гораздо дольше, чем рассчитывал Фергусон. В проводах шуршала статика, как будто молчание Лютера было не тишиной, а гомоном мыслей, что бились у него в уме. Наконец он произнес: Ты помнишь План А и План Б?

Да, помню. План А: Подыгрывать. План Б: Не подыгрывать.

Именно — в двух словах. А теперь я придумал План В.

Ты утверждаешь, что есть другая альтернатива?

Боюсь, что да. Вариант прощай-и-удачи-в-де-

лах.

Что это значит?

Я тебе звоню из квартиры моих родителей в Ньюарке. Ты имеешь представление о том, как в эти дни выглядит Ньюарк?

Видел снимки. Уничтожены целые кварталы. Сожженные, выпотрошенные здания. Конец одной части света.

Они пытаются нас убить, Арчи. Не просто хотят нас выгнать — они хотят, чтобы мы умерли.

Не все, Лютер. Только худшие случаи.

Те, что у власти. Мэры, губернаторы и генералы. Они желают стереть нас с лица земли.

Какое отношение это имеет к Плану В?

До сего момента я был готов подыгрывать, но после того, что произошло на той неделе, мне кажется, я уже так больше не могу. Потом гляжу на План Б — и чуть не задохнулся. «Пантеры» сейчас — сила, и делают они в точности то, что, я думал, сам буду делать, если План А провалится. Скупают оружие для самозащиты, принимают меры. Они теперь выглядят сильными, но на самом деле не сильны. Белая Америка не потерпит того, что они делают, и одного за другим их будут скашивать и убивать. Это глупый способ умереть, Арчи, — ни за что. Поэтому наплюй на План Б.

А План В?

Я убираюсь отсюда. Выдергиваю колышки, как раньше выражались в старом кино про ковбоев. Во вторник к тебе на процесс приеду, но когда суд закончится, я не вернусь в Массачусетс, я проеду дальше на север, в Канаду.

В Канаду. Почему в Канаду?

Во-первых, потому что она — не Соединенные Штаты. Во-вторых, потому что у меня в Монреале куча родни. В-третьих, потому что колледж я могу закончить в Макгилле. Меня туда приняли после старших классов, знаешь. Уверен, не откажутся взять меня обратно.

Я в этом тоже уверен, но на такой перевод нужно время, а если ты бросишь школу в осеннем семестре, тебя загребут в армию.

Может, и так, но какая разница, если я больше сюда не вернусь?

Никогда?

Никогда.

А как же Эми?

Я попросил ее поехать со мной, но она отказалась.

Ты же сам понимаешь почему, правда? К тебе это отношения не имеет.

Возможно, и нет. Но лишь то, что она здесь

остается, вовсе не значит, что она не может приезжать туда ко мне в гости. Это не конец света, в общем.

Нет, это, вероятно, означает конец вам с Эми.

Может, оно и неплохо. Мы бы все равно на долгом пробеге не выдержали. На коротком, я думаю, мы пытались что-то доказать. Если не самим себе, то всем остальным. А потом этот мудак как-то раз вечером подошел к нашему столу и нам пригрозил. Мы свое доказали, но кому охота жить в мире, вынуждающем тебя играть в гляделки с теми, кто тебя ненавидит и всю жизнь на тебя пялится, не отводя глаз? Жизнь и так трудная, а я вымотался, Арчи, за самый кончик веревки держусь.

У того, что случилось потом, имелось две части — хорошая первая часть и вовсе не хорошая вторая. Первой частью был суд, прошедший более-менее так же, как предсказывал Макбрайд. Не то чтоб Фергусон не боялся почти все слушания насквозь, не то чтоб внутренности его вновь не угрожали расплестись за те два с половиной часа, что он провел в зале суда, но, к счастью, вместе с Ноем, тетей Мильдред и дядей Доном в зале сидели мать и отчим, а друзья его были такими точными, красноречивыми свидетелями — спер-

ва Говард, за ним Мона, за ней Селия, потом Лютер и, наконец, Эми, которая предоставила живой и яркий отчет, до чего испугали ее угрожающие слова и жесты Джонсона еще до того, как прилетел первый удар, — на руку Фергусону сыграло и то, что, когда показания начал давать Джонсон, он открыто признался, что вечером первого июля был пьян и не помнит того, что делал или чего не делал. Тем не менее Фергусон почувствовал, что Макбрайд допустил тактическую ошибку, позволив ему при даче показаний столько говорить о колледже, — не только спрашивал, чем он зарабатывает на жизнь (студент), но и где учится (в Принстоне) и при каких условиях (Стипендиат Уолта Уитмена) и каков его средний балл успеваемости (три и семь десятых), поскольку если ответы его и произвели заметное впечатление на судью Бурдока, они не относились к сути дела и могли бы расцениваться как оказание несправедливого давления на суд. В итоге Бурдок признал Джонсона виновным в провоцировании драки и приговорил к уплате крупного штрафа в тысячу долларов, а вот Фергусона, ранее не судимого, оправдали, сняли с него обвинение в нападении и приказали уплатить пятьдесят долларов Томасу Грисвольду, владельцу «Бара и

гриля Тома», в счет покрытия ущерба, за новый стул и шесть пивных стаканов. То был лучший итог из всех возможных, бремя, что он таскал на спине, свалилось с него полностью и навсегда, и когда друзья и родственники Фергусона сгрудились вокруг него, чтобы отпраздновать победу, он поблагодарил Макбрайда за хорошую работу. Возможно, человек этот и впрямь знал, что делает, в конце концов. Принстонское братство. Если этот миф — правда, то каждый принстонец связан со всеми остальными принстонцами через поколения, не только в жизни, но и после смерти, а если Фергусон и впрямь принстонец, кем он уже вроде бы по праву должен считаться, кто же станет спорить с тем, что Тигр спас ему шкуру?

Вскоре после того, как они вышли из здания суда, пока все одиннадцать человек бродили по стоянке в поисках своих машин, к Фергусону сзади подошел Лютер, положил ему руку на плечо и сказал: Береги тут себя, Арчи. Я поехал.

Не успел Фергусон ему ответить, как Лютер резко развернулся и направился в противоположную сторону, быстро дошел до своего зеленого «бьюика», стоявшего у выезда в передней части стоянки. Фергусон сказал себе: Так вот как это делаешь. Без слез, без шикарных жестов, без неж-

ных прощальных объятий. Просто усаживаешь свою задницу в машину и уезжаешь, надеясь на лучшую жизнь в следующей стране. Достойно восхищения. Но, опять-таки, как можно попрощаться со страной, которой для тебя больше не существует? Это как пытаться жать руку покойнику.

Пока Фергусон наблюдал за тем, как взрослая версия четырнадцатилетнего драчуна садится в машину, через поле его зрения внезапно проскочила Эми. Двигатель завелся, и в последнюю секунду, как раз когда Лютер переключал передачу «скайларка», она дернула на себя пассажирскую дверцу и вскочила к нему внутрь.

Уехали они вместе.

Это не означало, что она намерена оставаться с ним в Канаде. Это лишь значило, что отпускать трудно, пока что — чересчур.

Вторая часть того, что произошло дальше, полностью имела отношение к Гордону Девитту и мифу о принстонском братстве.

Каждый год на первой неделе осеннего семестра у них устраивался обед Стипендиатов Уолта Уитмена, и Фергусон пока что посетил два таких мероприятия, один раз — на первом курсе и один раз — второкурсником. Встать и поклониться как

представителю из исходной четверки в первый год, встать и поклониться еще раз, когда их ряды увеличились до восьмерых на второй год, затем обед из трех блюд с курицей в столовой преподавательского состава, перебиваемый краткими обращениями президента университета Роберта Ф. Гохина и других чиновников Принстона, исполненными надежд, идеалистическими замечаниями об американской молодежи и будущем страны, именно то, что и ожидаешь услышать на подобных сборищах, однако на Фергусона произвело впечатление кое-что из того, о чем Девитт говорил на первом таком мероприятии, — ну или хотя бы та неловкость и искренность, с какими он это сказал тогда: не только о том, как он верит в то, что *каждый мальчик заслуживает возможности, сколь бы скромным ни было его происхождение*, но и о собственных воспоминаниях, как он приехал в Принстон выпускником бесплатной средней школы, из бедной семьи, и до чего *не в своей тарелке* он чувствовал себя поначалу, что отозвалось в душе Фергусона, который по-прежнему еще ощущал себя не в своей тарелке, — в то время, когда услышал эти слова, он провел в студенческом городке всего три дня. На следующий год Девитт встал и произнес все то

же самое почти слово в слово — но с одним фундаментальным дополнением. Он упомянул войну во Вьетнаме, подчеркнув обязанность всех американцев собраться и приложить усилия к тому, чтобы *остановить приливную волну коммунизма*, и жестко накинувшись на всевозрастающее количество молодых людей и *обманутых антиамериканских леваков*, кто настроен против войны. Девитт был на стороне ястребов, но чего еще можно было ожидать от снайпера Уолл-стрита, который заставил миллионы людей служить в окопах американского капитализма? Помимо всего этого, он был выпускником того же университета, где учились Джон Фостер Даллес и брат его Аллен, два человека, придумавшие Холодную войну, будучи государственным секретарем и директором ЦРУ при Эйзенхауэре, и если б не все, что эта парочка натворила в пятидесятых, Америка не сражалась бы с Северным Вьетнамом в шестидесятых.

И все же, все же Фергусон был счастлив принять деньги Девитта, и, несмотря на все их политические разногласия, сам человек этот ему все-таки скорее нравился. Низенький и плотный, с густыми бровями, ясными карими глазами и квадратным подбородком, он энергично пожал

Фергусону руку, когда они впервые встретились, пожелал ему *всяческой удачи в мире*, раз он пускается в свое *университетское приключение*, а во второй раз, когда успеваемость Фергусона на первом курсе стала документально подтвержденным фактом, Девитт назвал его по имени. *Продолжайте усердно трудиться, Арчи*, сказал тогда он, я вами очень горжусь. Фергусон теперь стал одним из его мальчиков, а Девитт проявлял живой интерес к своим мальчикам и пристально следил за их успехами.

Наутро после суда Фергусон попрощался со своими друзьями в Вермонте и поехал назад в Нью-Йорк. Треволнения последних трех недель измотали его и заставили о многом подумать. Жестокая сцена в баре, насилие в Ньюарке, сильная телесная память о наручниках, стиснувших ему запястья, боль в желудке во время процесса, внезапное, но пылкое решение Лютера начать новую жизнь в Монреале, и Эми, бедная, измученная Эми неистово несется к машине. К тому же следовало думать о его книге — о той, которую, надеялся Фергусон, он сумеет написать, и постепенно, помаленьку он вновь успокоился и начал получать удовольствие от своей комнаты и своего письменного стола, от долгих телефонных

разговоров с Селией по ночам. Одиннадцатого августа позвонила мать — сообщить, что в тот день в почтовый ящик упало письмо от Программы стипендий Уолта Уитмена. Хочет ли он, чтобы она ему его прочла по телефону или лучше переслать на Восточную Восемьдесят девятую улицу? Предполагая, что в нем не содержится ничего важного, скорее всего — записка от миссис Томмазини, секретаря Программы, извещающая о дате и времени грядущего сентябрьского обеда, Фергусон сказал матери, чтоб не тратила силы и отправила его ему в следующий раз, когда будет проходить мимо почты. Прошла целая неделя, прежде чем письмо добралось до Нью-Йорка, но наутро того дня, когда оно пришло, в пятницу, восемнадцатого августа, Фергусон уехал в Вудс-Хол автобусом «Трейлвейс» («понтиак» был в мастерской, в мелком ремонте), и, стало быть, Фергусон распечатал конверт, только когда вернулся от Селии в понедельник двадцать первого, — и получил второй удар в лицо за то лето.

Письмо было не от миссис Томмазини, а от Гордона Девитта, один абзац от самого учредителя Программы стипендий Уолта Уитмена, в котором Фергусону сообщалось, что до его внимания (Девиттова, то есть, внимания) не так давно до-

шло некоторое количество тревожащих фактов, сообщенных его бывшим товарищем по учебе в Принстоне судьей Вильямом Т. Бурдоком из Браттльборо, Вермонт, касательно потасовки в баре, в ходе которой он (Фергусон) понес ответственность за перелом носа другого человека, и хотя закон установил, что он действовал в пределах самообороны, нравственно он поступил самым предосудительным манером, поскольку нет оправдания тому, что он вообще пришел в настолько неблагонадежное заведение, а одно то, что он там оказался, порождает настораживающие сомнения в его способности отличать правильное от неправильного. Как Фергусону хорошо известно, все участники Программы стипендий Уолта Уитмена должны подписать личную присягу, в которой они дают слово вести себя как джентльмены в любых и всяческих обстоятельствах, они берут на себя обязательство служить образцами хорошего поведения и гражданской добродетели, а поскольку Фергусону это свое обещание сдержать не удалось, теперь его печальная обязанность (печальная обязанность Девитта то есть) состоит в том, чтобы поставить его в известность, что его стипендия отозвана. Фергусон может оставаться в Принстоне как

студент, не имеющий академических задолженностей, если он того пожелает, но стоимость его обучения, проживания и стола более не будет покрываться из средств Программы. С сожалением, искренне ваш…

Фергусон снял трубку и набрал номер уолл-стритской конторы Девитта. Извините, ответила секретарша, мистер Девитт в командировке по Азии и вернется только десятого сентября.

Нэглу звонить бесполезно. Нэгл с женой в Греции.

По силам ли ему покрыть такие расходы самостоятельно? Нет, не по силам. Он выписал Макбрайду чек на пять тысяч долларов, и на счету у него теперь осталось чуть больше двух. Не хватит.

Попросить мать и Дана за это заплатить? Нет, ему духу не хватит так поступить. Материн проект с календарем и ежедневником уже завершился, а Фила Костанцу, соавтора Дана по «Медведю Томми» последние шестнадцать лет, хватил удар, и работать он, вероятно, никогда больше не сможет. Не лучший миг просить об одолжении.

Вложить оставшиеся две тысячи и попросить их довнести остальное? Возможно. Но что же

тогда с будущим годом, когда этих двух тысяч больше не будет?

Вложить эти две тысячи — значит отказаться от квартиры. Жуткая мысль: больше никакого Нью-Йорка.

И все же, если не вернется в Принстон — потеряет свою студенческую отсрочку. Это будет означать призыв, а поскольку служить в армии он откажется, если и когда его призовут, то призыв будет означать тюрьму.

Другой колледж? Не такой дорогой? Но какой — и как, во имя всего на свете, ему организовать перевод, если у него осталось так мало времени?

Он понятия не имел, что ему делать.

Определенно было только одно: его больше не желали. Они решили, что он никуда не годится, и дали ему пинка.

7.1

Вернувшись из Флориды, он сложил свои вещи и переехал на четыре квартала южнее в квартиру на Западной 107-й улице между Бродвеем и Амстердам-авеню. Две комнаты плюс кухня за чрезмерную, но вполне доступную сумму в сто тридцать долларов в месяц (есть свои преимущества в том, чтобы иметь деньги в банке),

но хоть и предпочитал он жить без соседей в квартире и радовался, что населенные призраками интерьеры Западной 111-й улицы остались позади (необходимый поступок), спать одному было трудно. Верхняя подушка оказывалась либо слишком тверда, либо слишком мягка, нижняя — либо слишком плоска, либо слишком комковата, и каждую ночь простыни царапали ему руки или закручивались вокруг ног, а поскольку рядом с ним больше не было Эми, чтобы убаюкать его до дремы безмятежными волнами своего дыхания, мышцы никак не расслаблялись, легкие отказывались притихать, и не удавалось притормозить ум, чтобы тот не несся со скоростью, производящей пятьдесят две мысли в минуту, по одной на каждую карту в колоде. Сколько сигарет выкурено в половине третьего утра? Сколько стаканов красного вина выпито за полночь, чтобы утишить тряску и вынудить веки смежиться? Почти каждое утро болела шея. Днем колики в животе. Вечером одышка. И утром, и днем, и вечером — сердце, бившееся слишком часто.

Дело уже было не в Эми. Лето он провел, примиряя себя с фактом их разлуки, с неизбежностью того, что расстались они насовсем, и больше не винил в этом ее — и даже себя не винил. Они

двигались в разные стороны почти год, и рано или поздно связка, что держала их вместе, просто обязана была порваться. Она и порвалась, да таким громким и могучим был щелчок, что звук разнесся по всей стране. Калифорния. Бедствие дальней Калифорнии, и с начала мая — ни единого слова от нее или о ней: ноль обширный, как дыра в небесах.

В те мгновения, когда Фергусон бывал крепче всего, ему удавалось рассказывать себе, что все к лучшему, что тот человек, каким стала Эми, уже не был тем, с кем он мог бы или хотел бы жить, а потому незачем ни о чем сожалеть. В те же, когда бывал слаб, он скучал по ней, скучал так же, как ему не хватало своих двух отсеченных пальцев после аварии, и теперь, когда Эми больше не было рядом, часто возникало ощущение, будто у него украли какую-то другую часть тела. Когда же он стоял посередине между собственными крепостью и слабостью, он молился, чтобы пришел кто-нибудь, занял соседнюю половину его кровати и вылечил его от бессонницы.

Новое жилье, мечта о новой любви, долгое лето работы над переводами, что затянулась на все осень, зиму и весну, соматические расстройства, вызванные утратой его старой любви и/

или нынешним состоянием ума, которые в итоге привели его в отделение неотложной помощи Больницы св. Луки с двадцатью семью ножами в животе (не разрыв аппендикса, как он считал, а приступ гастрита), продолжающаяся вакханалия во Вьетнаме в совокупности со множеством других потрясений, случившихся за всю последнюю половину 1968-го и первую половину 1969-го, — все они были частью истории Фергусона, — но пока что внимание следует обратить на войну, что он вел с символической фигурой Ничей-папы, персонажем, измысленным Вильямом Блейком, который в уме у Фергусона воплощал иррациональных мужчин, которых назначили управлять миром. К середине сентября, когда вернулся в Колумбию доучиваться последний год в колледже, он почти по любому поводу ощущал себя разочарованным и обозленным, и среди поводов этих — то, что он обнаружил касаемо манипуляций американской прессой, и вот теперь он снова задумался, стоит ли ему вступать в ряды этого братства после того, как закончит колледж, стоит ли по-прежнему принимать решение стать профессиональным журналистом, о чем он задумывался еще в старших классах, — в свете продажности и нечестности, каким он стал

непосредственным свидетелем в дни бунта в Колумбии прошлой весной. «Нью-Йорк Таймс» лгала. Так называемая «газета фактов», якобы оплот этичного, неискаженного репортажа, подделала свое сообщение о полицейском вмешательстве тридцатого апреля и опубликовала отчет о событиях, написанный *до того, как те события произошли*. Э. М. Розенталь, заместитель заведующего редакцией «Таймс», получил наводку от кого-то из администрации Колумбии о неизбежном рейде за несколько часов до того, как в этот район вошли силы полиции, и, со знанием, что вызовут контингент в тысячу человек, передовая статья раннеутреннего издания газеты тридцатого апреля объявляла, что эта одна тысяча человек освободила занятые здания от протестующих студентов и арестовала семьсот из них по обвинению в преступном посягательстве (число это вставили в последний момент, уже после того, как статья была написана), но в ней не было ни слова о том, что произошло на самом деле, ни единого словечка о кровопролитии и насилии, ни слова о том, как полиция применяла наручники и дубинки в избиении одного из собственных репортеров «Таймс» в Авери-Холле. На следующее утро в газете передовая статья

вновь не упоминала полицейский произвол, имевший место в студенческом городке во время рейда, хотя они напечатали скромную заметку о якобы случаях полицейской жестокости — ее спрятали на странице 35: «ЛИНДСЕЙ ТРЕБУЕТ ОТЧЕТА ОТ ПОЛИЦИИ». В третьем абзаце заметки утверждалось, что «полицейский произвол в такой ситуации трудно определить, как предполагают замечания десятков студентов Колумбии. Для опытного антивоенного демонстранта или защитника гражданских прав действия полиции вчера утром в студгородке Колумбии были, в большинстве своем, относительно мягкими». Садистское избиение репортера «Таймс» Роберта МкГ. Томаса-мл. упоминалось лишь в одиннадцатом абзаце.

Десятки студентов. Но что это за студенты, хотелось знать Фергусону, и как их зовут? И кто те опытные ветераны антивоенного движения и движения за гражданские права, который полиция потрепала на предыдущих демонстрациях? Ни одному студенту, работающему в «Колумбия Дейли Спектатор», не разрешили бы опубликовать такой материал — без прямых цитат вместе с именами студентов, сделавших те или иные замечания, если они и впрямь были сделаны.

Это новость, спрашивал у себя Фергусон, или редакционный комментарий, рядящийся в новость? И каково, я вас умоляю, определение слова «мягкий»?

Еще одну статью на первой полосе от первого мая написал сам Розенталь — примечательно бессвязную, путаную мешанину скорбей, впечатлений и сердитого неверия. «Половина пятого утра, — начинался первый абзац, — и президент университета опирался о стену. Раньше это был его кабинет. Он провел рукой по лицу. “Боже мой, — произнес он, — как же могли люди такое совершить?”…Он бродил по комнате. Мебели в ней почти не осталось. Столы и стулья разбиты вдребезги, сломаны и рассованы по соседним комнатам занимавшими здание студентами…»

На странице 36 того же утреннего издания «Таймс» еще одна статья рассказывала об ущербе, нанесенном различным помещениям и кабинетам теми, кто занимал Корпус математики. Разбитые окна, опрокинутый шкаф с карточками библиотечного каталога, расчлененные парты и стулья, сигаретные ожоги на коврах, перевернутые конторские шкафчики, выломанные двери. «Секретарша, впервые вошедшая в здание после того, как оно было захвачено в четверг

ночью, озиралась с отвращением. “Они просто свиньи”, — сказала она».

Свиньями, однако, были не студенты, занимавшие здание, а полиция, вломившаяся в него при рейде. Это они разбивали парты и стулья, они плескали чернила стекающими черными струями на стены, это они разорвали пяти- и десятифунтовые мешки риса и сахара и разбросали их содержимое по кабинетам и классам и опустошили разбитые банки томатной пасты на полы, парты и конторские шкафы, это они выбили окна своими дубинками. Если они ставили себе цель дискредитировать студентов, то стратегия сработала, поскольку всего через несколько часов после того, второго полицейского неистовства по стране уже начали циркулировать десятки фотографий, подтверждавших урон (особенно популярны были заляпанные чернилами стены), и молодых бунтарей превратили в нецивилизованную стаю хулиганья и громил, в банду варваров, чьей единственной задачей было уничтожить святейшие институции американской жизни.

Фергусон знал настоящую историю, поскольку сам был одним из репортеров «Спектатора», кому поручили расследовать обвинения в вандализме, выдвинутые против занявших здания студен-

тов, и вот что они с собратьями-репортерами обнаружили — из показаний преподавателей, данных под присягой: когда профессура осматривала пустой Корпус математики в семь утра тридцатого апреля, никаких чернил на стенах не было. После того как они ушли, вход в здание был открыт только для полиции и фотографов прессы, а когда преподаватели позднее в тот же день вернулись, они обнаружили, что стены испачканы чернилами. То же с партами, стульями, конторскими шкафами, окнами и пакетами еды. В хорошем состоянии в семь утра, разгромлено и уничтожено к полудню.

Не помогло и то, что издатель «Нью-Йорк Таймс» Артур Окс Сульцбергер был членом совета попечителей Колумбии. Как и то, что в совете этом заседали также Вильям С. Пейли, возглавлявший телевизионную сеть «Си-би-эс», и Франк Гоган, окружной прокурор Манхаттана. В отличие от многих его друзей, у Фергусона не было привычки искать заговоры, которые объясняли бы действия приспешников Ничейпапы под покровом тьмы, но как же тут не удивляться тому, что самая влиятельная газета Америки намеренно исказила освещение событий в Колумбии, а самая влиятельная телевизионная сеть при-

гласила президента Колумбии Грайсона Кирка выступить в программе «Лицом к нации», но так и не позвала ни одного из студенческих вожаков представить другую сторону этого сюжета. Что же до вопроса обеспечения правопорядка, Фергусон и все его собратья-студенты в Морнингсайд-Хайтс отлично сознавали, что именно делала полиция и во время, и после рейда, только никого это особо вроде бы не интересовало.

Дело закрыто.

В том сентябре Фергусон пришел в студгородок Колумбии, ощущая себя сокрушенным и обескураженным. Истощение и выдохшаяся решимость — в нем продолжали эхом отзываться августовские акты произвола, советские танки вкатились в Чехословакию, чтобы сокрушить Пражскую весну, на съезде Демократической партии в Чикаго Дейли обозвал Рибикоффа «ебаным грязным жидом», а двадцать три тысячи местных, штатных и федеральных лягашей травили газом и избивали молодых демонстрантов и журналистов в парке Гранта, и толпа кричала в унисон *Весь мир смотрит!*, — и затем Фергусон начал свой старший курс в разгар другого кризиса Нью-Йорка, сумасшедшего зрелища учителей бесплатных школ, устроивших заба-

стовку, чтобы оспорить общественный контроль Школьного совета в Оушен-Хилле — Браунсвилле, еще одной стычки между черными и белыми, расовой ненависти в самом уродливом, наиболее самоубийственном своем виде, черные против евреев, евреи против черных, все больше яда выпускалось в воздух, а мир обращал взоры на Олимпийские игры, что должны были вот-вот начаться в Мехико, где полиция сражалась с ордой из тридцати тысяч протестующих студентов и рабочих, убила двадцать три их и арестовала тысячи, а потом, в начале ноября, двадцатиоднолетний Фергусон впервые проголосовал, и Америка избрала Ричарда Никсона своим новым президентом.

Все первые шесть месяцев того последнего года в школе он чувствовал, будто оказался в ловушке чужого тела, и уже не мог узнавать себя, когда смотрел на свое лицо в зеркале, то же касалось и мыслей, какие Фергусон думал, стоило ему заглянуть себе в голову, поскольку они тоже были преимущественно мыслями чужака: циничные мысли, раздраженные, мысли отвращения, которые не имели ничего общего с тем человеком, каким он был когда-то. Со временем с севера явится человек и поможет ему излечиться от этой

горечи, но произойдет это лишь в первый день весны, а осень и зима для Фергусона оказались трудны, так трудны, что тело его поломалось, и он оказался в приемном покое неотложки.

Если он больше не собирался становиться журналистом, не имело и смысла дальше работать в «Спектаторе». Впервые за много лет ему удастся выползти из своего стеклянного монастыря и вновь оказаться в самой гуще мира — не хроникером действий других людей, но героем собственной жизни, какой бы неблагополучной или запутанной жизнь эта ни была. Больше никаких репортажей, но ничего настолько радикального, как полный отказ, поскольку людей, с кем там работал, он любил (если он теперь и уважал кого-то из Журналистов в Америке, то лишь Фридмана и остальных ребят из «Спектатора»), поэтому, чем обрывать все связи с газетой, он уступил свое место ассоциированного члена правления и стал время от времени лишь писать рецензии на книги и фильмы, а это означало, что каждый месяц он сдавал примерно по одному длинному материалу — рассуждения на самые разные темы, от посмертных стихов Кристофера Смарта до новейшего фильма Годара «Уикенд», который, как доказывал Фергусон, стал первым

задокументированным случаем того, что он назвал *публичным сюрреализмом* — в отличие от *приватного сюрреализма* Бретона и его последователей, — поскольку два с половиной дня со второй половины пятницы по ночь воскресенья, которые широко известны как *уикенд*, в таких индустриальных и постиндустриальных обществах, как Франция и Америка, составляют примерно треть недели ровно так же, как семь или восемь часов, которые человек каждую ночь проводит в постели, составляет примерно треть всей жизни этого человека, время грез отдельных мужчин и женщин в параллели ко времени грез общества, где они живут, и анархичный, заляпанный кровью фильм Годара о разбитых вдребезги машинах и людоедском сексе был не чем иным, как исследованием массового кошмара — как раз того, что сейчас имело для Фергусона самое глубокое значение.

Новыми главными редакторами «Колумбия Ревю» назначили Гильтона Обензингера и Дана Квинна, Давид Циммер и Джим Фриман стали новыми ассоциированными редакторами, а Фергусон — одним из девяти членов редколлегии. Два номера в год, как и в прошлом, только теперь собирали деньги на нечто под названием

«Издательство “Колумбия Ревю”», которое будет позволять им помимо двух номеров печатать еще и четыре небольших книжки. Когда в середине сентября тринадцать человек собрались на первое заседание в Феррис-Бут-Холле, о первых трех титулах в списке почти не спорили. Стихи Циммера, стихи Квинна и сборник рассказов Билли Блеска, бывшего студента Колумбии, который ушел из университета пятью годами раньше, но с различными людьми, работавшими в «Ревю», связи не порывал. А вот четвертая книжка — вопрос. Как Джим, так и Гильтон отказался, сказав, что им не хватит крепких произведений, чтобы заполнить шестьдесят четыре страницы, да и на сорок восемь страниц, возможно, не наберется, но тут в дискуссии случилась пауза, и Гильтон развернул фунтовую упаковку говяжьего фарша, смял ее в руках, встал со стула и с огромной силой швырнул ее в стену, выкрикнув слово *Мясо!*, когда она шмякнулась о поверхность и ненадолго прилипла к ней, а потом сползла на пол. Таков был доблестный дадаистский дух Гильтона и таков был дух того года вообще, когда лучшие умы студгородка поняли, что на самые важные вопросы можно ответить лишь *взятыми с потолка* нелогичными заключениями, в отличие от

тактик *постановки к стенке* предыдущей весны, и не успели все похлопать Гильтону за преподанный им урок тонкостей логики, Джим Фриман взглянул на Фергусона и сказал: Что насчет твоих переводов, Арчи? У тебя их хватит на книжку?

Не совсем, ответил Фергусон, но летом я много работал. Мы можем подождать до весны?

Единогласно было решено, что четвертой и последней книжкой, опубликованной в том году, станет небольшая антология французской поэзии двадцатого века, составленная Фергусоном. Когда же тот им напомнил, что публиковать переводы, не покупая прав на оригиналы, незаконно, никому, похоже, дела до этого не было. Квинн заметил, что издание выйдет ограниченны тиражом в пятьсот экземпляров, большинство которых будет роздано бесплатно, а если французский издатель случайно заедет в Нью-Йорк и наткнется на книжку Фергусона на полке в «Книжном рынке Готама», что он сможет сделать? Книжки тогда уже будут распроданы, разлетятся по всей стране и, несомненно, по другим странам тоже, да и с чего бы кому-то за ними гоняться ради пары сотен долларов?

Я за Дана, сказал Циммер. Деньги нахуй.

Впервые за много недель, должно быть, если не

месяцев, Фергусон рассмеялся.

Затем они проголосовали еще раз, чтобы все было совсем официально, и один за другим все тринадцать членов редколлегии «Колумбия Ревю» повторили слова Циммера: *Деньги нахуй*.

Джим и Гильтон установили срок подачи законченной рукописи — первое апреля, тогда им хватит времени, чтобы напечатать книжку прежде, чем они в июне выпустятся, и по мере того, как неуклонно шли месяцы, Фергусон часто недоумевал, что бы сталось с ним, если бы Джим Фримен не задал ему этого вопроса, поскольку с каждым проходящим месяцем ему делалось все яснее и яснее: срок сдачи спасает ему жизнь.

Те стихи служили ему убежищем, единственным островком здравомыслия, на котором он не ощущал себя отчужденным от самого себя или в контрах со Всем Сущим, и пусть даже завершил он гораздо больше переводов, чем признался на заседании, пока что — не меньше сотни страниц, может, сто двадцать, он и дальше трудился над своими версиями Аполлинера, Десноса, Сандрара, Элюара, Реверди, Тцары и прочих, желая набрать богатый материал, с которым можно будет работать, когда настанет время отбирать произведения на пятьдесят или шестьдесят

страниц, которые по карману будет напечатать издательству, для диссонансной книжки, что будет метаться от душераздирающих воплей «Рыжекудрой» до безумной, музыкальной акробатики «Приблизительного человека» Тцары, от рассудочных ритмов «Пасхи в Нью-Йорке» Сандрара до лирического изящества Поля Элюара:

Придем ли мы к морю
С карманами звона, а море
Себе пусть ревет – или же принесем
Ему еще чище вод и безмолвней?

Вода, потирая руки, точит
Ножи. Воины в волнах оружье нашли
И сражаются им, грохоча, как те скалы,
Что разбивают суда среди ночи.

Сплошь гром и шторм. Отчего не молчанье
Потопа, всем же нам снится
Великая тишь, и мы дышим с земли
Ветром над бурными водами, ветром,

Что переползает все горизонты вдали.

И вот Фергусон факультативно трудился — переводил и редактировал, то и это для него поочередно, а то и одновременно — борьба и наслаждение, наслаждение борьбы за то, чтобы все правильно передать, раздражение от того, что передает неправильно чаще, чем следовало бы, стихотворения, побеждавшие его тем, что и после двух дюжин подходов к ним их невозможно было передать на приемлемом английском, провал его очерка о воздействии слушания различных видов музыки, исполняемых разными видами женских голосов (Джанет Бейкер, Билли Холидей, Арета Франклин), поскольку, в итоге, невозможно было писать о музыке, решил он, по меньшей мере, для него невозможно, но все равно удавалось производить какие-то статьи, что были не напрочь ужасны и их можно было сдавать и публиковать, а кипа переводов все росла и росла, и посреди всего этого шли занятия, которые он также посещал, в основном на том рубеже — семинары по английской и французской литературе, поскольку он выполнил все академические требования, кроме одного — естественных наук, гнусного двухлетнего курса естественных наук, что был совершеннейшей тратой времени и сил, по его мнению, но он обна-

ружил, что существует и курс, предназначенный специально для таких тупиц, как он сам, «Введение в астрономию», который, очевидно, никто никогда не проваливал, поскольку преподаватель не желал валить студентов-гуманитариев по естественным наукам, и даже если ты не показывался ни на одном занятии, нужно было лишь сдать программированный экзамен в конце года, написать контрольную, которую невозможно было не написать, даже если тебе не удавалось угадать правильный ответ из предложенных и ты набирал всего десять процентов, поэтому Фергусон записался на курс по небесной математике для тупиц, но поскольку обитал он в чуждом теле и уже не знал, кто он такой, а еще потому, что не чувствовал ничего, кроме презрения, к правителям Колумбии и бессмысленным предметам, какие они заставляли его изучать против воли, он в начале первого семестра зашел в книжную лавку колледжа и спер там учебник по астрономии — он, кто никогда в жизни ничего не крал, кто работал в «Книжном мире» летом после своего первого курса и поймал шестерых или семерых студентов за кражей книг и вышвырнул их из магазина, — теперь он сам стал книжным вором, сунул десятифунтовый том в твердом переплете

себе под пиджак и спокойно пошел к выходу и на солнышко бабьего лета, теперь он делал такое, чего никогда бы не совершил в прошлом, вел себя так, как будто *он больше не он*, но, опять-таки, возможно, таков и был тот человек, каким он сейчас стал, поскольку, по правде, за кражу книги виноватым он себя не ощущал — он вообще ничего по этому поводу не чувствовал.

Слишком много вечеров в «Вест-Энде», слишком много ночей, когда он надирался с Циммером и Фоггом, но Фергусон тянулся к обществу и разговорам, и теми вечерами, когда ходил в бар один, всегда имелась малая вероятность того, что он столкнется с такой девушкой, которая была бы так же одинока, как он сам. Вероятность малая, а не большая, потому что он был до ужаса неопытен, когда дело доходило до такого, ибо почти пять лет своей юности и начинавшейся зрелости провел всего с одной девушкой, с навеки исчезнувшей Эми Шнейдерман, которая полюбила его, а потом разлюбила и отшвырнула в сторону, и вот теперь он начинает сызнова с самого дна, новичок в искусстве любовных побед, почти ничего не зная о том, как к кому-то подкатывать и завязывать беседу, однако Фергусон под хмельком был более чарующим, чем

трезвый Фергусон, и трижды за его первые три месяца по возвращении в Колумбию, когда он заливал внутрь достаточно, чтобы преодолеть в себе робость, но не слишком увлекался, чтоб не утратить власть над собственными мыслями, он оказывался в постели с женщиной, один раз — на час, один — на несколько часов и еще один — на всю ночь. Все эти женщины были старше него, и в двух из тех трех случаев подкатывали к нему, а не наоборот.

Первый случай обернулся катастрофой. Он записался на семинар по французскому роману — единственный студент в группе из двух выпускников и шести выпускниц, и когда одна из тех женщин объявилась в «Вест-Энде» на третьей неделе сентября, он подошел к ней и поздоровался. Алисе Дотсон было двадцать четыре года или двадцать пять, не сказать, что непривлекательная или нерасположенная, но пухлая и неуклюжая, вероятно, не привыкшая к протоколам случайного секса, быть может, она робела еще больше, чем он, и когда он позднее тем же вечером оказался в ее объятиях, тело ее так отличалось на вид и на ощупь от тела Эми, что чужестранность эта сбила Фергусона с толку, а потом, углубляя его смятение, она еще и казалась

в постели гораздо бездеятельнее, нежели пылкая и рьяная Эми, и пока Фергусон трудился над тем, чтобы с нею совокупиться, ум его продолжал отвлекаться от стоявшей перед ним задачи, и хотя Алиса, казалось, происходящим наслаждалась как-то мягко, мечтательно, он не сумел закончить начатого, а такого никогда не случалось за все годы, проведенные им с Эми, и приятный перепихон, на который он рассчитывал, превратился в жалкий час бессилия и позора. Да и не позволили ему никогда забыть об этом ударе по его мужской гордости, поскольку группа их собиралась на два часа каждые понедельник и четверг, и дважды в неделю весь оставшийся год Алиса Дотсон сидела за столом вместе с остальными слушателями и старательно делала вид, будто его не замечает.

От второго случая шрамов не осталось, но он преподал Фергусону ценный урок. В «Вест-Энд» однажды вечером вошла тридцатиоднолетняя секретарша приятной, но непримечательной наружности с ярко выраженной целью найти себе студента. Она представилась как Зоя (фамилию так и не назвала) и, устремив взор на одинокого Фергусона, подсела у нему у стойки, заказала себе «Манхаттан» и заговорила о Чемпионате США и как раз проходившей игре между «Кардиналами»

и «Тиграми» (она болела за Сент-Луис, потому что выросла в Джоплине, Миссури). После трех или четырех глотков из бокала она первой проверила воду, положив руку на бедро Фергусону, а поскольку тот был восприимчив к подобного рода провокациям, в ответ он поцеловал ее в загривок. Зоя допила залпом остаток «Манхаттана», Фергусон закинулся остатком пива, и после этого они залезли в такси и отправились к ее жилищу на Западной Восемьдесят четвертой улице, обменявшись за всю поездку лишь шестью или семью словами, пока лапали друг дружку и целовались на заднем сиденье. Все вышло довольно-таки безлично, решил он, но ее податливое тело двигалось так, что возбуждало Фергусона, и после того, как они достигли ее квартиры, тот жалкий орган, что так жестоко подвел его с Алисой Дотсон, без всяких хлопот довершил начатое с Зоей Бесфамильной. То была его первая случайная связь на одну ночь. Или почти на ночь, поскольку за первым кругом последовал второй, но после второго раунда, который завершился в два часа ночи, Зоя попросила Фергусона уйти, заверив его, что им обоим будет приятнее, если остаток ночи они проведут не вдвоем. Он не знал, что и думать. Здорово, пока длится, сказал он себе, но

секс без чувства решительно обладает собственными недостатками, и пока шел обратно к своей квартире в ветреной осенней ночи — осознал, что оно того не стоило.

Третий случай оказался памятен — единственное хорошее, что с ним случилось за те долгие, пустые месяцы. Хотя бар «Вест-Энд» — преимущественно студенческий водопой, появлялось там несколько завсегдатаев, которые уже перестали быть студентами или никогда студентами не были, чудаки-мечтатели и пьянчуги, в одиночестве сидевшие в кабинках и замышлявшие свержения воображаемых правительств, или выпивавшие по последней, прежде чем еще разок попробуют вписаться в А. А.[109], или вспоминавшие прежние дни, когда у стойки имел обыкновение сидеть Дилан Томас и читать свои стихи. Среди таких завсегдатаев имелась молодая женщина, которую Фергусон впервые повстречал еще в самом начале своего первого курса, стройная, длинноногая красотка из Лаббока, Техас, по имени Нора Ковач — к ней его всегда тянуло, но из-за Эми он с нею даже не флиртовал ни разу: весьма примечательная девушка, прие-

[109] Сноски: 109
«Анонимные алкоголики».

хала на север учиться в Барнарде в 1961-м, ушла посреди своего первого же семестра, а из района этого так и не уехала с тех пор, сквернословка, похабница, Нора-пошел-нахуй, она откочевала в профессию, где нужно снимать с себя одежду перед посторонними, стала артисткой стриптиза и гастролировала по удаленным оплотам американской промышленности в целях улучшения условий жизни мужчин без женщин, трудившихся на нефтеразработках, верфях и заводах, была хорошо оплачиваемой исполнительницей, пропадала из Нью-Йорка, бывало, на пару месяцев, чтобы прогарцевать по Аляске или техасскому побережью Залива, но неизменно возвращалась и занимала свое место у стойки «Вест-Энда», куда ходила почти каждый вечер болтать со всеми, кому выпало сидеть рядом с нею, рассказывала о своих приключениях на гастролях и чморила тупоумных Ничейпап, что губят Вселенную. Фергусон знал ее не очень хорошо, но за годы у них случилось пять или шесть долгих бесед, а поскольку Фергусон как-то раз помог ей в одном деле немалой важности, между ними образовалась особенная связь, пусть даже они и не стали близкими друзьями. Случилось это вечером еще на его первом курсе, когда он пришел в «Вест-

Энд» без Эми и четыре часа проговорил с Норой один на один в боковой кабинке. Она собиралась отправиться на свои первые стриптиз-гастроли, сообщила ему она, и ей нужно придумать себе сценическое имя, поскольку она уж точно не намерена торговать своим товаром как Нора Луанна Ковач. Во внезапной вспышке вдохновения Фергусон тогда выпалил: *Звезда Ударр*. Ч-черт, произнесла ему в ответ Нора, черт бы взял тебя, Арчи, ты гений, и он, возможно, в тот самый миг и был гением, поскольку *Звезда Ударр* — имя, какое лучилось блеском, свободой и половой силой, а таковы сущностно важные качества, какие нужны любой стриптизерше, чтобы подняться до самого верха, и всякий раз, когда в последующие годы он сталкивался с Норой, она благодарила его за то, что превратил ее в — как она игриво выражалась — *Королеву захолустья*.

Фергусону Нора нравилась потому, что его к ней тянуло, или же его к ней тянуло, потому что она ему нравилась, но он также понимал, что Нора в раздрае, она слишком много пьет и принимает слишком много наркотиков, что она превратилась в то, что хранители добродетели назвали бы «потаскухой» или «шлюхой», молодая женщина, которая мчится по скоростной

трассе к катастрофе и погибели, чересчур языкастая, до добра ее это не доведет, слишком уж уверенная в роскошном теле, какое выделил ей Господь с единственной целью — испытывать на прочность нравственность слабых мужчин и колеблющихся грешников, женщина, которая ебется с тем, кто ей нравится, и открыто говорит о своей пизде, своем клиторе и наслаждениях вроде твердого хуя, вгоняемого ей в задницу, но в то же время Фергусон считал ее одним из самых разумных членов публики «Вест-Энда», девушкой с радушным сердцем и добрыми порывами, и даже пусть Фергусон и подозревал, что она не переживет тридцати или тридцати пяти лет, к ней он все равно не испытывал ничего, кроме расположенности.

Не видел он ее несколько месяцев, а то и, быть может, полгода, но вот однажды вечером в начале ноября она оказалась на своем обычном месте, всего через пару дней после того, как Никсон разгромил Гамфри, что еще больше омрачило и без того мрачное настроение, охватившее Фергусона той осенью, и когда он подсел к ней у стойки, Нора хохотнула громко, как она это обычно и делала, и чмокнула его в левую щеку.

Проговорили они около часа, охватив в беседе

некоторое количество жизненно важных тем, вроде ареста бывшего дружка Норы за торговлю наркотиками, решительного выхода Эми из жизни Фергусона, разочаровавшего (Фергусона) объявления о том, что наутро Нора уезжает в Аризону, и того примечательного факта, что пока Нора *крутила сиськами в Номе* (эту фразу он поклялся не забывать никогда), ей удавалось *держать руку на пульсе* (так она пошутила) того, что происходило минувшей весной в Колумбии, — она читала номера «Спектатора», которые ей каждый день посылали из Нью-Йорка ее друзья Молли и Джек. Как следствие, она читала все статьи Фергусона о захвате зданий, полицейском рейде, забастовке и всем остальном.

Новости, возможно, доходили до Аляски и медленно, однако его статьи были *чертовски хороши*, сказала ему она, *заебись обалденные, Арчи*, и после того, как Фергусон сказал ей спасибо за комплимент, — сообщил, что отошел от журналистики. Вероятно, навсегда, сказал он, вероятно, на время, он пока что не уверен, а уверен он в одном — он уже не знает, что ему и думать, мозг его иссох, и вот это говно (спасибо, Сал Мартино) теперь повсюду.

Нора сказала, что никогда не видела его таким

в воду опущенным.

Я в воду не просто опущенный, ответил Фергусон. Я только что достиг девяносто третьего уровня подвала, а лифт продолжает опускаться.

Есть только одно решение, сказала Нора.

Решение? Выкладывай — пожалуйста — немедленно.

Ванна.

Ванна?

Приятная теплая ванна, и мы в ней с тобой вместе.

Никогда прежде ему такого не предлагали с подобной любезностью, и никогда Фергусон не был так счастлив такое предложение принять.

Двадцать пять минут спустя, когда Нора повернула краны над ванной у себя в квартире на Клермон-авеню, Фергусон сообщил ей, что Господь и впрямь наделил ее достославным телом, но, что гораздо важнее, еще Он ей дал чувство юмора, и пусть она даже наутро уезжает в Аризону, Фергусон жалеет, что не может на ней жениться, не сходя с места, и пусть она даже знает, что жениться на ней он не сможет ни теперь, ни когда бы то ни было в будущем, он желал бы провести следующие одиннадцать часов до последней минуты с нею, быть с нею

каждую секунду до того мига, когда она войдет в самолет, и теперь, раз она с ним так любезна, он хочет, чтобы она узнала, что он ее любит и будет любить всю свою оставшуюся жизнь, пускай даже никогда ее больше не увидит.

Давай, Арчи, сказала Нора. Скидывай шмотки в угол и залезай. Ванна уже полная, а мы же не хотим, чтобы вода остыла, правда?

Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль.

Он еще учился в колледже но с колледжем уже покончил, хромал себе до конца, а меж тем соображал, что с собой делать после того, как ему присвоят степень. Перво-наперво встанет вопрос о том, чтобы дать Ничейпапе заглянуть к нему в анус и ощупать яички, выкашлять полагающийся кашелек и сдать письменную контрольную, которая докажет, достаточно ли он умен, чтобы сдохнуть за свою страну. Где-то в июне или июле его вызовет на медосмотр призывная комиссия, но из-за своих двух отсутствующих пальцев он по этому поводу не беспокоился, и теперь, раз на троне сидел этот про-военный квакер с тайным планом покончить с войной и говорил о *сокращении численности воинского контингента*, Фергусон сомневался, что вояки впали в такое отчаяние, что станут пополнять полки такими

солдатами, у кого остался только один большой палец. Нет, загвоздка была не в армии, загвоздка была в том, что делать после того, как армия его отклонит, и среди десятков вещей, которыми он уже решил не заниматься, была аспирантура. Он задумался о ней на три или четыре минуты на рождественских каникулах, которые проводил с родителями во Флориде, но лишь произнесение этого слова вслух заставило его понять, насколько глубоко противна ему мысль провести даже один-единственный день в университете, и теперь, когда февраль вот-вот станет мартом, крайний срок подачи документов уже истек. Другой вариант — пойти преподавать в школе. Сейчас прилагались усилия к тому, чтобы завербовать недавних выпускников колледжа в школы бедных районов по всему городу, черных и латиноамериканских трущоб в верхнем и нижнем Манхаттане, в задрипанных районах самых далеких боро, и по крайней мере в том, чтобы этим заниматься пару лет, было бы что-то почетное, твердил он себе, — стараться дать хоть какое-то образование детворе из этих распадающихся баррио, а в процессе, несомненно, научиться у них столькому же, сколькому они могут научиться у него, мистера Белого Мальчон-

ки, кто вносит свою небольшую лепту в то, чтобы все стало хоть чуточку лучше, а не хуже, но затем он возвращался на землю и думал о своей неспособности открывать рот перед посторонними людьми, когда в комнате больше пяти или шести чужаков, о парализующей его робости, которая превращала в пытку необходимость встать и выступить публично, и как же ему тогда справиться с классом из тридцати или тридцати пяти десятилеток, если изо рта у него не выдавится ни слова? Он не сможет этим заниматься. Как бы ни хотелось, ему это будет не по плечу.

Журналистику он уже отбросил, но где-то на второй или третьей неделе февраля стал задаваться вопросом, не слишком ли поспешил: даже если больше не стоит думать о крупной прессе истэблишмента, можно же рассматривать и другие ветви этого ремесла. Анти-истэблишментская пресса, иначе называемая альтернативной или подпольной, за последний год окрепла, и с цветущими «Ист Виллидж Адер», Службой новостей освобождения и «Рэт», не говоря уже о нескольких десятках независимых еженедельников, издававшихся в городах за пределами Нью-Йорка, листках настолько необузданных и нешаблонных, что рядом с ними «Виллидж

Войс» смотрелся таким же нудным, как и старая «Геральд Трибюн», быть может, и стоило бы рассмотреть возможность поработать в каком-нибудь таком месте. Там хотя бы были против того же, против чего был Фергусон, и за многое из того, за что был он, но тут следовало рассмотреть и некоторое количество недостатков, включая беду низкой оплаты (ему же хотелось самостоятельно кормить себя своей работой и не слишком глубоко залезать в бабушкин фонд), а также еще более существенный вопрос: писать исключительно для людей на левом фланге (он-то всегда надеялся на то, чтобы менять точки зрения людей, а не только подтверждать то, о чем они и так думают), что едва ли поместит его в Панглоссову позицию жить в лучшем из всех возможных миров, зато он останется в том мире, где *лучшее* и *возможное* редко возникают рядом в одной и той же фразе, — допустимая работа, с которой он мог бы жить и не ощущать, что ею замаран, уж точно лучше, чем никакой работы вообще.

А. И. Фергусон, ас-репортер «Еженедельного взрыва», американской библии недовольных оппозиционеров и развращенных фаустианцев, газеты фактов для немногих избранных.

Уж что-что, а эту тему следовало обдумать

тщательнее.

И Фергусон продолжал думать о ней следующие пятнадцать или двадцать дней, а затем настала Ночь кинжалов, что выпала на 10 марта 1969 года, сразу после полуночи, через неделю после его двадцать второго дня рождения и через четыре дня после того, как он пришел домой к Джиму Фриману на Западную 108-ю улицу и отдал ему рукопись «Рыжекудрой и других стихов из Франции», слишком обширной выборки, которую он велел Джиму резать, как тот сочтет нужным, и пока Фергусон мерял шагами комнаты собственной квартиры ночью десятого, сочиняя в голове длинное, интроспективное письмо Норе Ковач, он ощутил резкую боль в нижней части живота — одну из многих резей, что не давали ему покоя последние месяцы, только на сей раз она не утихла после десяти-двенадцати секунд, как обычно бывало раньше, а за первым приступом последовал второй, еще более сильный, отчего все у него заболело так, что это уже нельзя было считать приступом, то была подлинная мука, а еще через мгновение после этого второго укола началась атака — кинжалы в нутре, двадцать семь копий, от которых он корчился на кровати почти два часа, и чем дольше длилась боль, тем

более вероятным казалось ему, что у него в теле прорывается аппендикс или еще какой-нибудь орган, что напугало его так, что он заставил себя встать, надеть куртку и доковылять до приемного покоя неотложной помощи Больницы св. Луки в семи с половиной кварталах, Фергусон держался за живот и громко кряхтел, шатко ковыляя в ночи, то и дело останавливаясь и привалива-ясь к столбу, если ощущал опасность падения наземь, но, несмотря на все это, никто на всей Амстердам-авеню, похоже, не замечал, что он здесь, никто не обеспокоился подойти к нему и спросить, не нужно ли ему помочь, ни единого из восьми миллионов человек в Нью-Йорке ничуть не интересовало, выживет он или умрет, а потом он полтора часа прождал, пока его не вызвали в кабинет, где молодой врач пятнадцать минут задавал ему вопросы и тыкал в живот, после чего Фергусону велели вернуться в приемную, где он сидел еще два часа, а когда стало ясно, что аппендикс его этой ночью не взорвется, врач осмотрел его снова и прописал таблетки, велел воздерживаться от острой пищи, избегать виски и прочих крепких напитков, не прикасаться к грейпфрутам, блюсти как можно более пресную диету следующие две-три недели, а если за это

время случится еще один приступ, ему лучше будет, чтобы кто-нибудь проводил его в больницу, и Фергусон, кивая в ответ на здравые и полезные рекомендации врача, спрашивал себя: Но кто он, этот «кто-нибудь», и кто на всем белом свете поможет ему в следующий раз, когда ему покажется, что он сейчас умрет?

Четыре дня он пролежал в постели, пил жиденький чай и грыз крекеры и ломтики сухого тоста, а через семь дней после того, как окреп достаточно, чтобы снова выйти наружу, с севера штата Нью-Йорк приехал человек по имени Карл Макманус — поговорить с уходящими членами редакции «Спектатора». Редколлегия в составе Фридмана, Бранча, Мальхауса и прочих уже завершила свой годовой срок от марта до марта и передавала газету другой редколлегии, и Фергусон, свободный критик от случая к случаю, уже написал свою последнюю статью, которую когда-либо напечатает в «Спектаторе», сумрачную восхищенную рецензию на последний сборник стихов Джорджа Оппена «О бытии многочисленным», который вышел седьмого марта, за три дня до Ночи кинжалов. Парадокс заключалась в том, что Фергусон был единственным из старшекурсников, кто до сих пор раздумывал, не податься

ли ему в журналистику. Утомленный от избытка работы, с раскоряченным мозгом, Фридман намеревался впасть в спячку на учительской работе в какой-нибудь бесплатной школе, которая отпугнула Фергусона, Бранч собирался поступать в медицинский институт Гарварда, Мальхаус оставался в Колумбии, в аспирантуре по истории, но все они пришли на встречу, потому что Макманус еще весной написал письмо Фридману, где хвалил работу коллектива «Спектатора» во время «Беспорядков», а похвалы Карла Макмануса для них кое-что значили. Исполнительный редактор газеты «Рочестер Таймс-Юнион» был главным редактором «Спектатора» в 1934 году, и за тридцать с лишним лет, прошедших с тех пор, побывал в Испании, где освещал Гражданскую войну, ездил в Азию освещать Тихоокеанский фронт во время Второй мировой и сидел дома, писал о Красной угрозе в конце сороковых и о движении за гражданские права в пятидесятых и начале шестидесятых. Затем долгий период редакторской работы в «Вашингтон Пост», и вот теперь уже полтора года он возглавлял «Таймс-Юнион», где нашел себе первую работу после выпуска из Колумбии в тридцатых. Не вполне легенда (он так и не опубликовал ни одной книги

и редко возникал на радио или телевидении), но человек вполне известный, репутация у него была достаточно велика, чтобы поднять дух утомленному экипажу «Спектатора», когда в начале мая пришло его письмо.

Бруклинский выговор, широкое ирландское лицо с торчащими ушами, тело, какое могло принадлежать бывшему полузащитнику или портовому грузчику, внимательные голубые глаза и копна седеющих рыжеватых волос, таких длинных, что намекали на интерес к движению в ногу со временем, — либо то была прическа человека, забывшего сходить в парикмахерскую подстричься. Держался по-свойски. С самим собой ему было гораздо непринужденнее, чем большинству мужчин, — и он хорошо и звучно захохотал, когда Мальхаус предложил всем спуститься в «Львиное логово» на первом этаже, студенческую закусочную, где подавали, по словам Мальхауса, обыгравшего всем хорошо знакомую нью-йоркскую фразу, *худшую чашку кофе на свете*.

За бурым столом из формайки сидели семь человек — шестеро студентов, кому исполнилось чуть больше двадцати, и пятидесятишестилетний мужчина из Рочестера, который сразу же перешел к делу и сказал им, что вернулся в Ко-

лумбию искать себе новобранцев. У него в газете открывается несколько вакансий, и ему хотелось заполнить их, как он это назвал, *свежей кровью, голодными ребятишками, кто жопу рвать за него будет* и превратит приличное издание в хорошее, в издание получше, а поскольку он уже знаком с их работой и знает, на что они способны, он желает нанять троих из них не сходя с места. То есть, добавил он, если кто-нибудь сошел с ума настолько, что захочет переехать в Рочестер, штат Нью-Йорк, где ветры, налетающие зимой порывами с озера Онтарио, способны *заморозить сопли у вас в носу, а ноги превратить в леденцовые сосульки*.

Майк Аронзон спросил у него, почему он разговаривает с ними, а не с кем-нибудь с Факультета журналистики — или к ним он тоже зайти собирается?

Потому, ответил Макманус, что опыт, набранный за ваши четыре года работы в «Спектаторе», ценнее, чем целый год в аспирантуре. Тот сюжет, что вы освещали прошлой весной, был крупным и сложным событием, это один из самых масштабных университетских сюжетов за много лет, и все вы, сидящие сейчас за этим столом, поработали хорошо, а в некоторых случаях — и

замечательно. Вы прошли сквозь огонь, все выдержали проверку, и я знаю, что получу, если кто-то из вас согласится ко мне прийти.

Тогда Бранч поднял гораздо более важный вопрос — о «Нью-Йорк Таймс». Как Макманус относится к тому, как они освещали прошлой весной Колумбию, и чего ради кто-то из них захочет работать на официальную прессу, если та публикует сплошную ложь?

Они нарушили правила, ответил Макманус, и я по этому поводу так же сердит, как и вы, мистер Бранч. То, что сделали они, граничит с чудовищным, с непростительным.

Гораздо позже, когда Фергусону выпал случай поразмыслить над тем, что произошло в тот день, подумать, почему он поступил так, как поступил, и спросить себя, каковы были бы или не были бы последствия того, что он бы так не поступил, он понял, что все повернулось на слове *чудовищно*. Человек мельче, осмотрительней назвал бы это *безответственным*, или *небрежным*, или *прискорбным*, и все эти слова не возымели бы ни малейшего действия на Фергусона, только *чудовищное* несло в себе всю силу негодования, с которым внутри он ходил последние месяцы, негодования, которое, очевидно, разделял и

Макманус, а если они вдвоем ощущали по этому конкретному поводу одно и то же, то должны воспринимать одинаково и какие-то другие вещи, и если Фергусона по-прежнему интересует работа в ежедневном издании или ему все еще хочется выяснить, станет ли журналистика для него решением или же нет, то, быть может, не такая уж это скверная мысль — бросить вызов ветрам стылого севера и принять предложение Макмануса. Это же всего-навсего работа, в конце-то концов. Если не выгорит, он всегда сможет двинуться дальше и попытать счастья в чем-нибудь еще.

Можете рассчитывать на меня, сказал Фергусон. Мне кажется, я готов попробовать.

Больше желающих не нашлось. Один за другим друзья Фергусона учтиво отказывались, один за другим жали Макманусу руку и прощались, а потом их осталось двое, Фергусон и его будущий начальник, а поскольку самолет Макмануса вылетал по расписанию только в семь часов, Фергусон решил прогулять занятие по английской романтической поэзии и предложил перейти через дорогу в «Вест-Энд», где они смогут продолжить беседу в обстановке поприятнее.

Места они нашли в одной из передних кабинок, заказали две бутылки «Гиннесса» и после

нескольких кратких замечаний о Колумбии *тогда* и Колумбии *нынче* Макманус принялся знакомить его с географией того места, куда ему предстояло отправиться: с освежающей прямотой рассказывал об умирающем мире северо-западного Нью-Йорка, единственной части страны, где население сокращается, сказал он, и нигде так радикально, как в Буффало, потерявшем за последние десять лет почти сто тысяч человек, *некогда славное Буффало*, как он выразился, не без насмешливой лести в голосе, жемчужина старой культуры канала и пароходства, а теперь — почти безлюдная пустошь разрушенных и брошенных фабрик, обветшавших домов, заколоченных, просевших конструкций, разбомбленный город, на который не упала ни одна бомба, не тронутый войной, а затем от унылого Буффало он двинулся дальше и взял с собой Фергусона на краткую экскурсию по некоторым другим городам региона, тщательно подбирая эпитеты, когда говорил о бестолковых Сиракузах, анемичной Эльмире, уродливой Утике, бессчастном Бингемптоне и драном Риме, который никогда не был столицей никакой империи.

С ваших слов оно все так… так завлекательно, сказал Фергусон. А что же Рочестер?

Рочестер несколько отличается, сказал Макманус, там упадок классом повыше, это место рушится медленнее прочих, а потому оно по-прежнему более-менее крепко, по крайней мере — пока. Город с населением в триста тысяч в городской агломерации примерно в одну целую и две десятых миллиона человек, что требует тиража «Таймс-Юнион» в двести пятьдесят тысяч экземпляров в день. Городок низшей лиги, конечно, но не из дешевых городков низшей лиги, там «Красные Крылья» с тремя А накормили «Балтиморских Иволг» высокобелковой диетой из Буга Павелля, Джима Пальмерса и Пола Брайерса, там родина «Истман-Кодака», «Боша-и-Лома», «Ксерокса» и незаменимой горчицы Френча, спутника всех американских хот-догов начиная с 1904 года, отчего Рочестер стал городом, где у большинства людей есть работа на таких предприятиях, что не пойдут ко дну или не утекут за границу. С другой стороны, невзирая на парусные яхты и загородные клубы, на великолепный киноархив и приличный филармонический оркестр, на хороший университет и музыкальную школу еще лучше — она вообще одна из лучших в мире, — там процветают азартная игра, проституция и вымогательство, контролируемые Франком

Валенти и мафией, а также есть обширные зоны нищеты и преступности, опасные черные трущобы, где проживает от пятнадцати до двадцати процентов населения, и многие из этих людей — в бедственном положении или без работы или употребляют наркотики, и если Фергусон вдруг забыл (Фергусон не забывал), то летом 1964 года три дня там бушевали бунты, через неделю после волнений в Гарлеме, трое погибли, разграблено и повреждено две сотни магазинов, произведена тысяча арестов, а затем Рокфеллер вызвал Национальную гвардию, чтобы положила этому конец, впервые в задокументированной истории Гвардия штурмом взяла стены северного города.

В этом месте Фергусон упомянул Ньюарк, Ньюарк летом 1967-го, и каково ему было стоять рядом со своей матерью на Спрингфильд-авеню ночью битого стекла.

Значит, вы понимаете, о чем я, сказал Макманус.

Боюсь, что да, ответил Фергусон.

Зябкие весны, продолжал Макманус, прелестные лета, сносные осени, жестокие зимы. Куда ни повернетесь, везде увидите имя Джорджа Истмана, но не забывайте, что в Рочестере жили и Фредерик Дугласс, и Сюзан Б. Энтони, и даже

Эмма Гольдман провела там какое-то время, организуя рабочих потогонных мастерских в конце прошлого века. К тому же — и это очень важно, — когда б ни возникло у вас скверное настроение и вам бы не захотелось покончить с собой, сходите прогуляться на Гору Надежды. Это одно из крупнейших и старейших общественных кладбищ в Америке и по-прежнему одно из самых красивых мест в городе. Я сам туда часто хожу, особенно если меня тянет о чем-нибудь крепко подумать и покурить длинные, толстые сигары. Неизменно проясняет голову, а то и просветляет сознание. Место последнего упокоения трехсот тысяч отошедших душ.

В Рочестере триста тысяч человек над землей, сказал Фергусон, и триста тысяч под ней. Это наш добрый друг назвал бы *соразмерным образом*[110].

Или браком небес и преисподней.

Так началась первая беседа между Фергусоном и Карлом Макманусом, разогрев перед двумя часами, что они провели вместе в «Вест-Энде», обсуждая материалы, какие он станет писать для газеты, его пробный период инициации, когда

---

[110] Сноски: 110

Из стихотворения «The Tyger» Уильяма Блейка (1794), пер. С. Маршака.

ему предстоит освещать местные новости, что со временем подведет его к событиям национальным и мировым, если ему все удастся, в чем Макманус, к счастью, похоже, не сомневался и принимал как дело решенное, жалованье, которое ему начислят для начала (невеликое, но не такое, чтобы нужно было сурово бороться с душераздирающей нуждой), подробную информацию о персонале газеты и ее управлении, и чем больше говорили они, тем довольнее Фергусон становился принятым решением, своим инстинктивным *рассчитывайте на меня* в ответ на слово *чудовищное*, и теперь, когда Фергусон понемножку узнавал Макмануса, он понимал, что многому научится, работая на этого человека, что маловероятный Рочестер на самом деле — ход хороший и похожий на правду, и когда он протянул левую руку и показал ее Макманусу (который стал первым посторонним человеком, кто вообще у него поинтересовался, как он потерял свои пальцы), то сказал: Надеюсь, из-за этого призывная комиссия от меня отстанет и я смогу выйти к вам на работу.

Не беспокойтесь о призывной комиссии, ответил Макманус. Вы уже записались ко мне, а никому не служить двум армиям одновременно.

Потихоньку той весной сердце угомонилось, а кинжалы убрались у него из живота. Он купил себе пару новых пуховых подушек, продолжал чураться грейпфрутов и еще три раза выкупался в ванне с Норой. Вычитал гранки своей книжки. Заказал трехмесячную подписку на «Таймс-Юнион» и принялся следить за повседневной жизнью в Рочестере. Попросился в новообразованную, причудливо названную «Стих-команду Колумбии» и съездил в Сару Лоренс и Йель с Обензингером, Квинном, Фриманом и Циммером — они совместно читали стихи студентам (выступать публично было по-прежнему невозможно, а вот читать напечатанные на листочках переводы — отнюдь) — то были весьма энергичные мероприятия, за которыми следовали значительные возлияния и много смеха, а также (в Саре Лоренс) полуторачасовая беседа с потрясной студенткой по имени Делия Бернс, которую ему отчаянно хотелось поцеловать, но он так и не поцеловал. Написал последние работы к семинарам по литературе, и ему удалось не проспать экзамен по астрономии. В нем было сто вопросов с пятью вариантами ответа на каждый, а поскольку Фергусон был лишь на одной лекции и ни разу не открыл учебник, он обвел кружочками буквы

от *А* до *Д* в случайном порядке и воодушевился, когда выяснилось, что он набрал восемнадцать процентов, чего хватало, чтобы ему поставили проходной балл 2+. Затем, в довершение своего маленького подвига почти невидимого бунта, вернулся в университетский книжный магазин и продал им учебник, тем самым натянув их дважды. Ему за книгу дали шесть долларов и пятьдесят центов. Десять минут спустя, пока он шел по Бродвею к своей квартире на Западной 107-й улице, к нему приблизился попрошайка и поклянчил дайм. Вместо того чтобы дать ему прошенные десять центов, Фергусон сунул в дядькину раскрытую ладонь все шесть долларов и пятьдесят центов и сказал: Пожалуйста, сэр. В дар от попечителей Университета Колумбия. С моим почтением.

Книжку его опубликовали двенадцатого мая в славной мягкой обложке — семьдесят две страницы, смотреть на которые и держать их в руках доставило ему много удовольствия в те часы, когда тираж доставали из коробок в редакции «Ревю», а через неделю он раздал все, кроме пяти из двадцати положенных ему авторских экземпляров, друзьям и родственникам. Обложка иллюстрировалась репродукцией известной

фотографии Аполлинера с Первой мировой войны — той, на которой голова Вильгельма Аполлинариса де Костровицкого забинтована после операции по извлечению шрапнели у него из виска: поэт как мученик, современная эпоха родилась в грязи окопов, Франция в 1916 году, Америка в 1969-м, обе они не в силах выбраться из нескончаемых войн, которые пожирают их молодежь. Три экземпляра отданы в реализацию «Книжному рынку Готама», еще три — «Книжной лавке Восьмой улицы», а шесть — в каморку книжек в бумажных обложках в студгородке. Бесценный Циммер, ближайший, самый восхитительный друг Фергусона из всех людей у него в классе, написал рецензию на книжку для «Спектатора» и не сказал в ней ничего, кроме добрых слов, чрезмерно добрых. «На произведения в этом ассамбляже стихотворений из Франции не следует смотреть как на простые переводы — их нужно считать английскими стихами по их собственному праву, ценным вкладом в нашу литературу. Мистер Фергусон обладает слухом и сердцем истинного поэта, и с течением лет лично я буду возвращаться к этим великолепным произведениям вновь и вновь».

Чрезмерно добрые слова. Но уж таков был

молодой Давид Циммер, перед которым вскоре встанет большой вопрос, какой возникнет и перед ними всеми, как только покинут они Морнингсайд-Хайтс. В случае Циммера дилемма эта выражалась рифмой. Учить урок или тянуть срок. Четыре года исследовательской стипендии по литературе в Йеле — или от двух до пяти, если в итоге его загребут в армию. Урок или срок. Вот так песенка — и вот так мир сотворил Ничейпапа.

Попрощаться с Колумбией было нетрудно — весной 1969 года она переживала очередной виток протестов и демонстраций, события, которые Фергусон желал бы проигнорировать чисто из самосохранения, но он будет скучать по друзьям и некоторым преподавателям, ему будет не хватать возможности упрочить свое образование, которое он получил от Норы в те несколько ночей, что они провели вместе, и ему будет не хватать того мальчика, исполненного надежд, кто пришел сюда осенью 1965 года, мальчика, который за минувшие четыре года постепенно исчез, и его уж больше не отыскать.

В то же утро в середине июня, когда Фергусон кашлянул кашельком и сдал письменный экзамен в здании призывной комиссии на Вайтхолл-стрит, Бобби Джордж и Маргарет О’Мара

соединились священными узами брака в Католической церкви св. Фомы Аквинского в Далласе, Техас, где Бобби был стартовым принимающим в балтиморском клубе двойной А, и в тот же день, так уж вышло (если верить письму, которое Фергусон получил от своей тети Мильдред), Эми, от которой по-прежнему было ни слуху ни духу, и она по-прежнему пребывала в бегах, посетила национальный съезд СДО в Чикаго, буйное собрание, переросшее в злобную стычку из-за тактики и идеологии между фракцией ПР и группой, впоследствии ставшей известной под именем «Метеорологи», что привело к расколу и внезапной, всех потрясшей кончине СДО как политической организации. Дядя Генри и тетя Мильдред время от времени поддерживали контакт с Эми, пока она первый год училась на юридическом факультете, и Мильдред написала ее бывшему и единственному, чтобы сообщить, что Эми решила *отвернуться от заблуждений революционного активизма и посвятить себя более реалистической цели прав женщин*. Миг истины случился, когда человек по имени Чака Веллс, заместитель министра информации чикагских «Черных пантер», встал и набросился на ПР — и безо всяких видимых причин заговорил

о женщинах в СДО, употребив понятие «власть пизды» и сказав, что «Супермен — фуфло, потому что ни разу не попытался выебать Лоис Лейн», а через несколько минут высказывание это подкрепил другой член «Черных пантер» Джевел Кук, объявивший, что сам он за «власть пизды», а равно и то, что «брат всего-навсего пытался сказать вам, сестры, что у вас — стратегическая позиция в революции — навзничь». К тому времени это уже была старая и заезженная шутка, Эми слышала ее десятки раз за последние годы, но в тот день в Чикаго ей наконец хватило, и она, вместо того чтобы объединить силы с «Метеорологами», отколовшейся фракцией, куда вошли бывшие студенты Колумбии Майк Лоуб, Тед Гольд, Марк Рудд и прочие, которых всех до единого исключили из университета в конце весеннего семестра в прошлом году, встала и вышла из конференц-зала. Как выразилась в конце письма тетя Мильдред, вновь опустившись до того покровительственного тона, к какому часто прибегала, говоря о других людях: *Думаю, ты должен об этом знать, Арчи, пусть даже вы вдвоем больше и не пара. Мне кажется, что наша Эми наконец начала взрослеть*.

Бобби Джордж произносит *Согласен*. Фергусон

вытягивает левую руку и показывает ее врачу Армии США. Эми выходит из чикагского «Колизея» и навсегда бросает движение. Возможно ли, чтобы три этих события произошли в один и тот же миг? Фергусону бы хотелось так думать.

Еще интереснее: к тому времени, как Фергусон в начале июля переехал в Рочестер, Бобби уже повысили до «Красных Крыльев» Тройной А в Международной лиге. В городе, где Фергусон не знал абсолютно никого, насколько это невероятно, чтобы с ним там же оказался его старейший друг — ненадолго, быть может, но хотя бы до конца лета и закрытия бейсбольного сезона, первые месяцы приспособления и обустройства, Бобби и его невеста Маргарет, те двое, кого он знал всегда, хорошенькая Мэгги О'Мара в коротеньких цветастых платьицах и спущенных носочках показывает язык неотесанному сопуну Бобби Джорджу в группе детского сада у миссис Каноббио в Монклере, — а вот по-прежнему хорошенькая, но успевшая набраться ума-разума двадцатидвухлетняя Маргарет, у которой уже есть обо всем собственное мнение и степень по деловому управлению из Ратгерса, и неизменно дружелюбный Бобби, могучего сложения, взбирающийся по лестницам к высшим лигам,

маловероятный союз, считал Фергусон, такого он точно предсказать бы не смог, но одно то, что Бобби убедил Маргарет выйти за него замуж, должно быть, означало, что после двух лет в армии и полутора лет в профессиональном спорте он наконец уже тоже начал взрослеть.

Что же до Эми, то теперь все это было не его делом, а значит, ему должно быть наплевать, что она там делает или не делает с собой, но Фергусону это все ж было не безразлично, он так и не смог заставить себя полностью на нее наплевать, и шли месяцы, а он ощущал все больше и больше облегчения от того, что она решила на вступать в «Метеорологи» в Чикаго. Их старые друзья из Колумбии обезумели. Непокорная власть великого Рассеянного отвратила их идеалистические порывы и раздавила их способность рационально мыслить, и посредством долгой череды неверных допущений, неправильных выводов и скверных решений, основанных на неверных допущениях и неправильных выводах, они загнали себя в угол, где им не осталось никакого выбора — лишь верить, будто армия из сотни-двух бывших студентов из среднего класса, без всяких последователей и без какой бы то ни было поддержки где бы то ни было в стране, способна возглавить

революцию, которая свергнет американское правительство. Правительство это уничтожало свою молодежь тем, что отправляло самых бедных и меньше всего образованных сражаться в войне, которую якобы заканчивало, хотя на самом деле нет, а привилегированная молодежь уничтожала себя сама. Через восемь с половиной месяцев после того, как Эми вышла с чикагского съезда, ее старый друг по СДО Колумбии Тед Гольд вместе со своими собратьями-«метеорологами» Дианой Отон и Терри Роббинсом подорвался и погиб в городском особняке на Западной Одиннадцатой улице в Нью-Йорке, когда кто-то из них подсоединил не тот проводок к самодельной бомбе, которую они конструировали в полуподвале. Тело Отон разорвало так, что опознать ее сумели только по рисунку капилляров на оторванном пальце, найденном в развалинах. От Роббинса не осталось ничего. Его кожа и кости дематериализовались при пожаре, вызванном детонацией газопровода, и смерть его подтвердили лишь после того, как «Метеорологи» сообщили, что он был там вместе с остальными.

Фергусон поехал в Рочестер в старой «импале» первого июля, но работа его в «Таймс-Юнион» начиналась только четвертого августа. Пять

недель на акклиматизацию в новых условиях, найти квартиру и перевести деньги в местный банк, потусоваться с Бобби и Маргарет, дождаться новой классификации от призывной комиссии, посмотреть, как выполняется обещание Кеннеди, глядя на то, как пара американских астронавтов ходит по поверхности Луны, продолжить проект, начатый в Нью-Йорке, — перевод стихотворений Франсуа Вийона — и вычистить Нью-Йорк из организма. Самая просторная квартира из самых недорогих, что он сумел найти, располагалась в задрипанном районе под названием Саут-Ведж, скоплении жилых кварталов на восточной стороне города неподалеку от реки Дженеси. Любимая Гора Надежды Макмануса находилась всего лишь в нескольких шагах оттуда, как и Университет Рочестера, и обширная, поросшая травой местность, называемая Гайленд-парком, где каждую весну проводился ежегодный фестиваль сирени. В той части света цены были низки, и за восемьдесят семь долларов в месяц он завладел всем верхним этажом трехэтажного деревянного здания на Крофорд-стрит. Сам дом был — смотреть не на что, потолки в трещинах и шаткая лестница, забитые ливнестоки и облупленная желтая краска на фасаде, но Фергусону

достались три меблированные комнаты и кухня, все ему одному, а свет, лившийся в окна днем, был гораздо лучше для его умственного здоровья, нежели тьма Западной 107-й улицы, и он был готов закрывать глаза на недостатки здания. Хозяева жили в квартире в цокольном этаже, и хотя слабость мистера и миссис Краули к водке часто вызывала дрязги по ночам, с Фергусоном они себя вели исключительно сердечно, что также относилось и к неженатому младшему брату миссис Краули Чарли Винсенту, ветерану Второй мировой, занимавшему среднюю квартиру и жившему на ежемесячные выплаты по инвалидности, приятному субъекту, который, казалось, не занимался почти ничем, а только курил, кашлял и смотрел телевизор, а также временами переживал скверную ночь, когда во сне кричал *Стюарт! Стюарт!* во весь голос, так громко и с такой паникой, что Фергусон слышал его сверху через перекрытия, но кто упрекнет Чарли за то, что он вновь время от времени переживает свое прошлое, когда не стоит на стреме, да и как не жалеть подростка, двадцать шесть лет назад отправленного воевать на Тихий океан, а домой в Рочестер он вернулся с головой, набитой кошмарами?

Как выяснилось, Бобби и Маргарет нужно было уезжать из города, не успели они толком ничего вместе и поделать. Фергусон один раз с ними поужинал, ему удалось посмотреть одну игру с участием Бобби за «Красные Крылья», но когда он первого июля прибыл в город, команда была на выезде, а через четыре дня после того, как Бобби десятого вернулся в Рочестер, принимающий «Иволг» сломал себе кисть в столкновении с «Нью-йоркским Янки» на домашней базе. После того, как Бобби выбил .327 в свои первые три недели Тройного А, его призвали в первый состав Балтимора, и если ему удастся выстоять против подач Американской лиги, маловероятно, что он когда-либо вновь поработает в командах малой лиги. Невозможно за него не радоваться, невозможно не праздновать его повышение — и все же, как бы трудно ни было Фергусону признаться в этом самому себе, невозможно не радоваться тому, что они уезжают.

Дело тут было вовсе не в Бобби. Тот был попрежнему тем же самым Бобби, только постарше, поопытней, позадумчивей, но все еще тем великодушным мальчишкой, кто не способен думать ни о ком плохо, самым верным и любящим другом Фергусона, тем, кто любил его больше, чем

когда-либо любил его кто угодно, включая Эми, особенно включая Эми, и каким же Бобби был живым вечером того их единственного ужина в Рочестере, в гостинице «Пляж полумесяца», каждые четырнадцать секунд обнимал Маргарет и говорил о прежних временах в Монклере, о славных деньках их второго года учебы, когда рука Фергусона еще была цела и они вместе играли в команде, самые молодые стартовые игроки в той команде-победителе конференции 16-и-2, в команде, что выиграла *ту самую игру*. Конечно, Бобби не мог не говорить об *игре*, потому что говорить о ней он никогда не уставал, и когда Фергусон попросил его еще раз рассказать эту историю для Маргарет, Бобби улыбнулся, поцеловал жену в щечку и пустился излагать события того майского дня шестилетней давности. Вот как все было, сказал он. В игре с Блумфильдом дошли до счета один-ноль в последнем иннинге. Один вылетел, двоих ввели, Арчи на третьей, а Калеб на второй, Калеб Вильямс, старший брат Ронды, и тут возникает Фортунато, и тренер Мартино сигналит удар с блокировкой битой, два раза пристукнул по козырьку кепки, а затем снимает кепку и чешет голову, такой был сигнал, единственный раз, когда он его подал, — не просто

удар с блокировкой ради самоубийственного отжима, чтоб одну пробежку вызвать, а ради *двойного* самоубийственного отжима, чтобы вызвать две. Никто в истории никогда не додумывался о такой игре, а Сал Мартино ее изобрел, потому что он гений бейсбола. Провести такую игру трудно, поскольку тебе на второй нужен быстрый бегун, но Калеб бегал быстрее некуда, самым быстрым бегуном был в команде, и вот прилетает подача, и Фортунато закладывает хороший удар с блокировкой, медленно так ведет его помаленьку направо от горки. К тому времени, как подающий до него добегает, Арчи уже пересекает пластину сравнять счет. Прикинув, что делать больше нечего, подающий бросает на первую, и Фортунато вылетает на три или четыре шага. Но подающий не понимает вот чего — что Калеб уже побежал в то же самое время, что и Арчи, как раз пока он размахивался, и к тому времени, как первый базовый ловит мяч, Калеб уже на три четверти как на пути домой. Все в Блумфильде орут первому базовому *Кидай мяч! Кидай мяч!* — поэтому он кидает мяч на домашнюю, но бросок его запаздывает, жесткий бросок прямо в перчатку принимающего, но оно на пару секунд позже, чем нужно, и Калеб про-

скальзывает с триумфальной пробежкой. Туча пыли, и Калеб вскакивает на ноги, вскинув руки вверх. Победа из поражения, крупный выигрыш из корявенького пустячка — крохотного ударчика с блокировочкой. Никогда ничего подобного не видел. С тех пор я играл в сотнях игр, но та была лучшим и самым волнующим из всего, что я видал на бейсбольном поле, мой момент номер один из всех моментов. Две пробежки, мальчики и девочки, а мяч и тридцати шагов не пролетел.

Нет, загвоздка — не в Бобби, который к тому времени пребывал в полном расцвете своей неподражаемой Боббовости, беда была с Маргарет, той самой Маргарет, которая втюрилась в Фергусона, когда ей исполнилось семь лет, которая сочинила ему неподписанное любовное письмо, когда ей исполнилось двенадцать, которая строила ему глазки все старшие классы и активно радовалась возвращению Анн-Мари Дюмартен в Бельгию, которая была единственной девчонкой, кто соблазняла его в его четырех-с-половиной-месячной разлуке с Эми в последнем классе, которая была той единственной, в чей рот влез бы его язык, если б не одержимость ею Бобби, которая дразнила его Сирано, когда Фергусон попробовал вмешаться ради Бобби,

в скучной, но умной и мучительно привлекательной Маргарет, кто по причинам, которых он был не в силах постичь, теперь стала женой его старейшего друга, поскольку Фергусона сравнительно сильно ошарашило то, насколько мало обращала она внимания на монолог Бобби о двойном самоубийственном отжиме, то, как она не отрывала от Фергусона взгляда через весь стол, а на своего мужа, пока тот говорил, и вовсе не смотрела, *прямо-таки пожирала его взглядом*, как будто говорила ему, да, я уже месяц замужем за этим добрым, безмозглым пентюхом, но до сих пор мечтаю о тебе, Арчи, и как же ты вообще мог отвергать меня все эти годы, когда на самом деле мы всегда были созданы друг для дружки, и теперь вот она я, бери меня, и к черту последствия, поскольку все это время я желала одного лишь тебя. Ну или это Фергусон понял по тому, как она на него смотрела в ресторане гостиницы «Пляж полумесяца», и правда заключалась в том, что она его возбуждала, его, одинокого, безбрачного, нелюбимого холостяка, чужаком ищущего любви в новом городе, как же могли не возбуждать взгляды, какими она его забрасывала, и кто знает, не капитулировал бы он перед нею тем летом, не удались они с Бобби в Балтимор, поскольку

видеться друг с дружкой наедине возможностей у них было без счета, все ночи, когда Бобби играл бы на выезде в каких-нибудь далеких Луисвиллях, Колумбусах и Ричмондах, и сколько раз он принимал бы ее приглашения на ужин к ним в квартиру, сколько бутылок вина они б выпили вместе, уж наверняка сопротивление его ослабло бы на каком-то рубеже, да, вот что ее глаза сообщали ему, пока они сидели друг напротив дружки в гостиничном ресторане, *сдайся, пожалуйста, сдайся, Арчи*, а поскольку Фергусон понимал, что он может оказаться недостаточно крепок, чтоб не полезть к ней, если она останется, то он и был более чем счастлив от того, что она уехала.

За последний год концентрические круги сплавились в единый черный диск, долгоиграющую пластинку с одной-единственной блюзовой песней, занимающей всю Сторону А. Теперь же пластинку перевернули, и песней на второй стороне оказалась траурная, под названием «Господи, имя Тебе Смерть». Мелодия засела в голове у Фергусона всего через несколько дней после того, как начал работать в «Таймс-Юнион», и первый такт приплыл из Калифорнии девятого августа со словами *Чарльз Мэнсон* и *убийства Тейт-Лабьянки*, а совсем немного погодя он пе-

решел в другую тональность — в самоубийство в ночь Всех святых молодого Маршалла Блума, одного из основателей «Службы Новостей Освобождение», куда Фергусон серьезно подумывал устроиться сразу после колледжа, — что плавно перетекло к середине осени в куплет о лейтенанте Вильяме Келли и бойне в Милай в Южном Вьетнаме, а затем, когда последний год 1960-х вступил в последний месяц, чикагская полиция выпустила долгое стаккато рефрена, расстреляв и убив «черную пантеру» Фреда Гамптона, пока тот спал у себя в постели, и еще через два дня после этого, когда «Роллинг Стоунс» взошли на сцену в Альтамонте, чтоб допеть песню до конца, «Ангелы ада» навалились на молодого черного, который размахивал в толпе пистолетом, и закололи его до смерти.

Вудсток II. Дети цветов и тяжеловесы. И узри, как быстро день истаял в ночь.

Бобби Сил, привязанный к стулу с кляпом во рту по распоряжению судьи Юлиуса Гоффмана, когда первоначальная Восьмерка превращалась в Семерку.

«Метеорологи» запускают атаку камикадзэ против двух тысяч чикагских легавых во время Дней ярости в октябре, старые школьные кореша

Фергусона, облаченные в футбольные шлемы и защитные очки, бандажи и чашки выпирают из штанов, изготовились к битве с цепями, трубами и дубинками. Шестерых из них застрелили, сотни увезли в воронка́х. Для чего? «Привести войну в дом», — кричали они. Но с каких это пор войны в доме не было?

Еще через четыре дня после этого: День моратория Вьетнама. Миллионы американцев сказали «да», и на двадцать четыре часа почти всё в Америке остановилось.

Ровно через месяц после Дня, день в день: семьсот пятьдесят тысяч человек двинулись маршем на Вашингтон, чтобы покончить с войной, самая крупная политическая демонстрация, какую только видел Новый Свет. Никсон в тот день смотрел по телевизору футбол и сообщил стране, что это ни на что не повлияет.

В том же декабре на собрании «Метеорологов» во Флинте, Мичиган, Бернардина Дорн вознесла хвалы Чарльзу Мэнсону за то, что убил «тех свиней», имея в виду беременную Шарон Тейт и прочих, погибших с нею вместе в доме. Один из старых корешей Фергусона по Колумбии встал и сказал: «Мы против всего, что “хорошо и прилично” в беломазой Америке. Мы будем жечь,

грабить и уничтожать. Мы — порождение кошмара вашей матери».

После чего они пустились в бега и больше на публике не возникали.

И тут такой Фергусон, снова в роли самомалейшей точки в центре самого маленького кружка, уже не окружен больше Колумбией и Нью-Йорком, теперь вокруг него «Таймс-Юнион» и Рочестер. Насколько он мог сказать, произошел сравнительно равный обмен, и теперь, раз над ним больше ничего не висело (уведомление о присвоении ему категории 4-Ф прибыло за три дня до того, как он вышел на работу), работа принадлежала ему, если только он в силах доказать, что заслужил ее.

В Рочестере издавались две ежедневные газеты. Обеими владела «Издательская компания Ганнетт», но у каждой имелась отличная от другой цель, своя редакционная политика и различные взгляды на жизнь. Несмотря на название, утренняя «Демократ-энд-Кроникл» была крепко республиканской и про-предпринимательской, а вот дневная «Таймс-Юнион» скорее располагалась в либеральном лагере, особенно теперь, когда ею заправлял Макманус. Либеральное, конечно, лучше консервативного, пусть даже

в итоге это всего-навсего другое название для *центризма*, на позициях которого Фергусон вряд ли стоял в отношении любого политического вопроса текущего момента, но пока что он был доволен тем, где оказался, — писать корреспонденции Макманусу, а не для «Ист Виллидж Адер», «Рэт» или СНЛ, которая пережила такой свирепый раскол, что развалилась на две отдельные организации — упертых марксистов в Нью-Йорке и контркультурных мечтателей на ферме в западном Массачусетсе, где и покончил с собой Маршалл Блум, всего двадцать пять ему было — и вот умер от отравления угарным газом, и с этой смертью Фергусон и начал утрачивать веру в отъединенный мирок крайне левой журналистики, которая, как ему казалось временами, спятила точно так же, как группки, отколовшиеся от ныне распущенных СДО, и теперь, когда «Лос-Анджелес Фри Пресс» публиковала регулярную колонку, которую им писал Чарльз Мэнсон, Фергусону больше не хотелось никак участвовать в этом мире. Он ненавидел правых, он ненавидел правительство, но теперь он уже ненавидел и фальшивую революцию крайних левых, и если это означало, что приходится работать на центристскую газету, вроде «Рочестер

Таймс-Юнион», значит, пусть так. Ему нужно было с чего-то начинать, а Макманус пообещал ему предоставить настоящую возможность — если и когда он себя проявит.

Инициация была жесткой. Его поставили на городскую жизнь — самым молодым репортером из нескольких, работавшим под руководством человека по имени Джо Дунлап, который справедливо или несправедливо считал Фергусона любимчиком Макмануса, его протеже-выскочкой из Лиги плюща, избранным среди новичков в штате, а потому этот Дунлап подчеркнуто третировал Фергусона, редкая статья, какую Фергусон ему сдавал, не бывала коренным образом переписана: не только подводки и подача сюжетов, но часто и сами фразировки, неизменно — во вред материалу в целом, ощущал Фергусон, отчего его статьи становились только хуже, а не лучше, словно редакторский топор Дунлапа был инструментом скорее не подрезки, а рубки деревьев. Макманус его об этом предупредил в первой беседе в баре «Вест-Энд» и наказал никогда не жаловаться. Дунлап — сержант учебной части, его задача — сломить дух Фергусона, и тот как необстрелянный рядовой должен делать то, что ему велели, держать рот на замке и не позволять

своему духу ломаться, сколько бы раз ни подмывало его дать Дунлапу по роже.

С другими людьми работать было не так трудно: вообще-то некоторые были прямо-таки приятны, те, кого помаленьку он начал считать своим друзьями, среди них — Том Джанелли, коренастый лысеющий фотограф из Бронкса, который часто выезжал с Фергусоном на задания и умел почти безупречно подражать голосам двух дюжин голливудских актеров и актрис (его Бетти Давис была божественна), а также Ненси Спероне, недавняя выпускница Университета Рочестера, которая отвоевала себе место на «Женской полосе» и училась в аспирантуре по флирту-после-работы, что помогло Фергусону пережить адаптационный период без необходимости спать каждую ночь в одиночестве, и Вик Гаусер из отдела спорта, который следил за успехами Бобби в «Иволгах» и обрадовался не меньше Фергусона, когда Бобби пошел на два вместо четырех в одном своем начале Чемпионата США против «Метов», а помимо людей, с которыми он постепенно знакомился и кто начинал ему нравиться в газете, была еще и сама газета, большое здание и сотни сотрудников, работавших там каждый день, — редакторы и кинокритики, секретарши и телефонистки,

сочинители некрологов и обозреватели рыбной ловли, репортеры, печатавшие заметки у себя за столами, рассыльные, сновавшие с этажа на этаж, а внизу — свой громадный печатный пресс, каждое утро выдающий новую газету, чтобы к полудню она уже попала на улицы, и, несмотря на сварливого живодера Дунлапа, возникшего, будто второе пришествие Эдварда Имхоффа, Фергусону очень нравилось быть частью этого сложного роя непосед, и он никогда не жалел о принятом решении.

Никаких сожалений, но даже хотя Ненси Сперроне была ничем не отягощенной незамужней женщиной, в отличие от соблазнительной, однако недоступной Маргарет О'Мары Джордж, Фергусон с самого начала знал, что она — не ответ. Тем не менее продолжал ходить с нею на свидания и спать с ней первые девять месяцев в Рочестере, — впервые в жизни, когда он вступил в менее чем страстные, прерывистые отношения с женщиной, которая ему, в общем, нравилась, но полюбить ее он никак не мог себя заставить. Уроженка этих мест, Ненси показала ему город, познакомила с одной из рочестерских знаменитых «Пятничных рыбных жарех», затащила его в заведение под названием «Горячие блюда

Ника Тахоу», чтобы Фергусон вкусил другого рочестерского блюда, известного под названием «Мусорная тарелка» (опыт, который, Фергусон поклялся, не станет повторять никогда, сколько жив будет), и высидела с ним несколько старых фильмов в архиве «Дома Истмана», среди них — «Приговоренный к смерти бежал» Брессона и слезовыжималка Казана 1945 года «Растет в Бруклине дерево», которая заставила их обоих пролить требуемые океаны шумных бессмысленных слез. Ненси была сообразительной и компанейской, прилежно читала книги, была талантливой журналисткой, которая пришла в «Таймс-Юнион» в составе еще одной *новой волны детишек* Макмануса, темноглазая брюнетка с короткой стрижкой и крупным, круглым лицом (личико Маленькой Лулу, как называла его Ненси), слегка, быть может, тяжеловата, но довольно сексапильна, чтобы Фергусона тянуло к ее телу всякий раз, когда они разлучались дольше чем на неделю или десять дней. Ненси не была виновата в том, что он не мог ее любить, но и Фергусон не был виновен в том, что Ненси искала себе мужа, а его не интересовали поиски жены. В середине декабря, когда отправился во Флориду кратко навестить родителей на выходных, он понял, что

они с Ненси ни к чему не придут, но продолжал с нею видеться еще четыре месяца после своего возвращения, бултыхаясь в этих отношениях, как и прежде, покуда Ненси не нашла себе нового мужчину, который хотел на ней жениться, что было хорошо, решил Фергусон, поскольку все те месяцы, что он был неспособен полюбить Ненси Спероне, его не покидало все более ясное ощущение, что после одного полного года и большей части следующего, когда на глаза ему не попадалась Шнейдерман, он все равно еще не оправился от утраты Эми. Он по-прежнему носил траур по ее отсутствию — как будто держался после развода, а то и, быть может, кончины, и ничего с этим нельзя было поделать, только продолжать держаться, пока не перестанет чувствовать этого совсем.

Почти год миновал с тех пор, как он был в последний раз вместе со своими родителями, и теперь, когда они полностью устроились в чужом мире южной Флориды, превратились в существ солнца, загорелых и на вид здоровых бывших северян, живущих и работающих в Земле Без Снега, сторонников долгих прогулок по покрытым песком участкам земли (мать) и тенниса на свежем воздухе каждое утро с января по декабрь

(отец) — и да, Фергусон рад был снова их увидеть, но оба они изменились за тот промежуток времени между его визитами, и перемены эти стали первым, что он заметил, когда ранним вечером в пятницу они встретили его в аэропорту. Не столько его мать, быть может, — та по-прежнему металась со своей фотографической работой в «Геральде», и хлебом ее не корми дай поговорить с сыном о газетных делах, но последние шесть месяцев она пыталась бросить курить и набрала вес, фунтов десять или двенадцать, отчего стала выглядеть как-то иначе, и старше, и моложе одновременно, если такое вообще возможно, а вот отец, приближавшийся к пятидесяти шести и все такой же крепкий благодаря тому, что каждый день играл в теннис, и тем не менее он поразил Фергусона: как-то слегка ссохся, волосы поседели и поредели, а еще он чуть прихрамывал, если требовалось пройти пешком больше пятидесяти или сотни ярдов (потянутая мышца — или же постоянно болевшие ноги), уже не тот онемевший и безмолвный доктор Манетт, что трудился за своим верстаком, а служащий в отделе частных рекламных объявлений «Геральда», работа, которая, как он сам утверждал, ему нравилась, и он ее даже вроде как любил, но она его превратила в

непритязательного Боба Крэтчита, и Фергусон не мог не думать о том, до чего долгим, медленным было падение от «Домашнего мира 3 братьев» до вот такого.

Лучшим днем его визита с пятницы по воскресенье был последний, когда они отправились на обильный, неспешный поздний завтрак в «Вулфис» на Коллинз-авеню, добрые запахи свежих луковых булочек и копченой рыбы заполняли зал, пока они втроем ели лососину с яичницей в память о бабушке Фергусона, о которой продолжительно разговаривали, а также о деде Фергусона и ныне исчезнувшей Диди Бриант, но главным образом его мать задавала вопросы о Рочестере и «Таймс-Юнион», желала знать *все про все*, и Фергусон рассказал им почти все, что мог, не упомянув, однако, о своей связи с Ненси Спероне, поскольку это, скорее всего, пришлось бы не по нраву его отцу — сама мысль, что его мальчик расхаживает с итальянской католичкой, несомненно бы его расстроила, что привело бы к каким-нибудь озлобленным замечаниям о *нас-против-них*, о *шварце* и *шиксах* (слова, которые Фергусон ненавидел, самые уродские во всем лексиконе идиша), и потому он вымарал Ненси из разговора и вместо нее говорил о Макманусе

и Дунлапе, о том, как Бобби Джордж выбил свою первую круговую пробежку в большой лиге в Бостоне минувшим июлем, и теперь всего через четыре месяца станет отцом, говорил о кое-каких статьях, которые написал, и о дешевой, запущенной квартире, в которой живет, что подвело его мать к вопросу, какой задают своим детям все матери, будь те дети мелкими зассыхами или двадцатидвухлетними выпускниками колледжа:

У тебя все в порядке, Арчи?

Иногда я не понимаю, что я там делаю, сказал Фергусон, но мне кажется, что да, у меня все в порядке, пока что еще нащупываю собственный путь, все более-менее нормально, я более-менее доволен работой, но ясно одно, в одном можно быть совершенно уверенным: Я не намерен проводить всю оставшуюся жизнь в Рочестере, Нью-Йорк.

Пожары третьей категории. Двадцатая годовщина нераскрытого убийства. Антивоенная деятельность в местных колледжах и университетах. Разоблачение банды похитителей собак. Автоавария на Парк-авеню со смертельным исходом. Учреждение новой ассоциации квартиросъемщиков в черных кварталах на западной окраине города. Пять месяцев Фергусон тру-

дился скромным начинающим репортером под недоверчивым приглядом Джо Дунлапа, а затем Макманус снял его с городской жизни и вручил кое-что покрупнее. Очевидно, экзамен Фергусон выдержал. Не то чтоб он когда-либо постигал точную природу этого экзамена или то, по каким меркам Макманус его оценивал, но что бы там ни произошло, вывод можно было сделать только один: начальство сочло, что он успешно перешел на следующий уровень.

Утром после Рождества Макманус вызвал Фергусона к себе в кабинет и сообщил, что у него в последнее время ворочается в голове одна мысль. С шестидесятыми у нас почти все, сказал он, осталось меньше недели до того, как рухнет большой шар, и что Фергусон думает о том, чтоб написать серию очерков о прошедших десяти годах и о том, как они повлияли на жизнь Америки? Подход не хронологический, не конспект основных событий по календарной линейке, а что-нибудь посущественней, серия материалов по двадцать пять сотен слов каждый на разнообразные уместные темы — война во Вьетнаме, движение за гражданские права, расцвет контркультуры, развитие искусства, музыки, литературы и кино, космическая программа, контрастирующие тональности

администраций Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона и Никсона, кошмар покушений на выдающихся общественных деятелей, расовый конфликт и горящие гетто американских городов, спорт, мода, телевидение, взлет и падение «новых левых», взлет и падение правого республиканизма и дуболомного гнева, эволюция движения «Черная власть» и революция Пилюли, всё — от политики до рок-н-ролла и перемен в речи американцев, портрет десятилетия, настолько богатого на бури, что оно подарило стране и Малькольма Икса, и Джорджа Воллеса, «Звуки музыки» и Джими Хендрикса, братьев Берриган и Рональда Рейгана. Нет, это будут не обычные новостные заметки, продолжал Макманус, это будет взгляд назад, способ напомнить читателям «Таймс-Юнион» о том, что происходило десять лет назад и где они оказались сейчас. Таково одно из преимуществ работы в дневной газете. Больше простора для маневра, больше времени покопаться и поисследовать, больше возможностей публиковать очерки. Но это не должен быть сухой конспект известных фактов. Ему не академическая история нужна, а такие статьи, чтоб кусались, и на каждую книгу или старый номер журнала, какие Фергусон прочтет в своих исследованиях, Макманус хотел,

чтобы он поговорил с пятью разными людьми. Если не удастся поймать Мохаммеда Али, он должен выследить его тренера и секунданта Анджело Дунди, а если не сумеет пробиться к Энди Уорхолу, пускай звонит Рою Лихтенштейну или Лео Кастелли. Только первоисточники. Только те, кто что-то действительно делал или стоял поблизости, когда что-то происходило. Он ясно излагает?

Да, излагал он ясно.

И что об этом думает Фергусон?

Я целиком и полностью за, ответил Фергусон. Но сколько материалов вы хотите и сколько у меня времени на их написание?

Восемь-десять, я бы решил. И, грубо говоря, на каждый — недели две, плюс-минус. Этого хватит?

Если я на некоторое время брошу спать, то, наверное, да. Сдавать мистеру Дунлапу?

Нет, с Дунлапом у тебя все. Над этим ты будешь работать непосредственно со мной.

А когда и как мне начинать?

Иди к себе за стол и набросай пятнадцать-двадцать мыслей. Темы, заголовки, размышления, все, что тебе кажется самым настоятельным, а следом мы прикинем общий план.

Не передать, сколько это для меня значит.

Это работа для человека молодого, Арчи, а ты самый молодой, кто у меня есть. Поглядим, что получится.

Фергусон вложил в эти статьи все, что в нем было, поскольку от них целиком зависело его будущее в газете. Он писал и переписывал, он прошутдировал больше сотни книг и почти тысячу номеров журналов и газет и побеседовал по телефону не только с Анджело Дунди, Роем Лихтенштейном и Лео Кастелли, но и с десятками других людей, собрав хор голосов, сопровождавший тексты, которые он писал о старых-добрых-старых-злых деньках недавно исчезнувшего минувшего, восемь очерков в двадцать пять сотен слов каждый, которые охватывали политику, президентов и гвалт общественного несогласия, вместе с экскурсами в музыку «Песен грез» Джона Берримана, бойню в замедленной съемке в конце «Бонни и Клайда» и зрелище полумиллиона американских детишек, танцующих в грязи однажды на выходных где-то на ферме в штате Нью-Йорк, всего в двухстах пятидесяти милях южнее Рочестера. В общем и целом Макманус остался доволен результатами и редактировал его работу лишь слегка, что стало для Фергусона

самой приятной частью упражнения, но начальство также было удовлетворено тем, что очерки привлекли десятки писем от читателей, главным образом — положительные отклики с такими замечаниями, как «Большое спасибо А. И. Фергусону за то, что провел нас по тропкам памяти», — но было сравнительно много и отрицательных, нападок на «розовые взгляды Фергусона на нашу великую страну», которые несколько уязвляли, вынужден он был признаться самому себе, хоть он ожидал и худшего. Не ждал он другого — того, сколько враждебности он ощутит со стороны некоторых молодых репортеров в штате газеты, но так уже теперь все устроено, предполагал он, каждый за себя в схватке за мяч, и, как отмечала Ненси всякий раз, когда выходила его очередная статья, их недовольство лишь подтверждало, до чего славно он делает свою работу.

В серии намечалось десять очерков, но Фергусону пришлось остановиться, как раз когда он готовился взяться за девятый (о длинных волосах, мини-юбках, бисере любви и сапогах из белой кожи — новинках моды середины и конца шестидесятых), когда из-за пределов прилетел еще один удар молота. В последние месяцы антивоенное движение относительно притихло.

Постепенный вывод американских войск, так называемая «вьетнамизация» войны и новая система призывной лотереи — все это внесло свою лепту в затишье, но затем, в последние дни апреля 1970-го, Никсон и Киссинджер внезапно расширили войну, вторгнувшись в Камбоджу. Американское мнение по-прежнему делилось пополам, грубо говоря, половина за и половина против, а это означало, что половина страны поддерживала это действие, а вот другая половина, те, кто последние пять лет выходил на демонстрации против войны, видели в этом *стратегическом посягательстве* конец всякой надежды. Сотнями тысяч вышли они на улицы, в студгородках колледжей организовали массовые демонстрации, и вот в одном из таких студенческих городков в Огайо нервные, плохо обученные молодые национальные гвардейцы открыли по студентам огонь на поражение боевыми патронами, трехсекундная стрельба, в которой убито было четверо, а ранено девять человек, и в такой ужас большинство американцев пришло от того, что случилось в Кентском университете, что они, не договариваясь, открыли рты и издали такой коллективный вой, что разнесся он по всей земле. На следующее утро, пятого мая, Макманус

спозаранку отправил Фергусона и его напарника-фотографа Тома Джанелли в Университет Буффало освещать тамошние демонстрации — и так вот Фергусон вдруг больше не исследовал недавнее прошлое, а опять жил в Настоящем.

В конце февраля и начале марта этот вуз пережил несколько недель беспокойных конфликтов, но даже самый мягкий выплеск чувств после Кента был гораздо необузданней, чем все, что Фергусон наблюдал в Колумбии, особенно на второй день по его приезде, ветреный Буффало в середине весны, на земле снег, и с озера Эри дуют ледяные ветры. Никаких зданий там не занимали, но атмосфера была более напряженной и потенциально более опасной, потому что на почти две тысячи студентов и преподавателей бросилась полиция по подавлению беспорядков — в шлемах, с оружием, дубинками и слезоточивым газом. Бросали камни, швыряли кирпичи, били стекла полицейских машин и университетских корпусов, лупили по головам и телам, и Фергусон вновь оказался в самой середке, между двумя воюющими толпами, только на сей раз было страшнее, поскольку студенты Буффало больше желали драться, нежели студенты Колумбии, некоторые так распалились и настолько

закусили удила, что Фергусон чувствовал — они и умереть вполне готовы. Хоть журналист, хоть нет, но он был так же беззащитен, как и они, и так же, как двумя годами раньше, его во все это втянуло, и он получил удары по голове и руке, теперь его травили слезоточивым газом вместе со всеми остальными, и когда он прижал к горящим глазам мокрый носовой платок и выблевал на мостовую обед, Джанелли ухватил его за руку и уволок прочь, искать такое место, где воздухом можно было бы дышать, и через пару минут, когда они добрались до угла Главной улицы и Миннесота-авеню сразу за студгородком, Фергусон отнял от лица мокрый платок, открыл глаза и увидел, как молодой человек швыряет кирпич в окно банка.

За день-другой три четверти колледжей и университетов в Америке объявили забастовку. В протест влилось больше четырех миллионов студентов, и один за другим все до единого колледжи и университеты в Рочестере позакрывались до самого окончания учебного года.

Через день после того, как Фергусон сдал свой репортаж из Буффало, они кратко побеседовали с Макманусом у парадного входа в редакцию «Таймс-Юнион». Не отводя взглядов от улично-

го движения, пока курили свои сигареты, оба с неохотой признали, что нет смысла печатать новые очерки о шестидесятых. Восьми вполне достаточно, а девятый и десятый уже не нужны.

После того как в первые дни студенческой забастовки Ненси Спероне нашла себе нового мужчину, Фергусон последующие шесть месяцев разбазарил на то, что ухлестывал за двумя разными женщинами, ухлестывать за которыми не стоило усилий, и они останутся безымянными, поскольку их не стоит усилий именовать. Фергусону уже не сиделось на месте — он ощущал, что, быть может, после полутора лет Рочестера с него уже довольно, хватит этого города малой лиги, не стоит ли ему попытать счастья где-нибудь еще, в другой газете, а то и вообще бросить журналистику и попробовать зарабатывать на жизнь переводами, ибо как бы ни нравился ему угар скоростного сочинительства, бороться с французским пятнадцатого века у Вийона, в итоге, приносило удовлетворения бесконечно больше, и хотя времени было мало, он отполировал недурную первую версию «Малого завещания» и наполовину сделал черновик «Большого завещания», не то чтоб можно было кормиться переводами поэзии, конечно, но толстая книга

прозы время от времени сумела бы поддержать ему штаны, а уж что-что, даже если б он еще на сколько-нибудь задержался в Рочестере, разве не имело бы смысла съехать с убогой, кишевшей тараканами помойки на Крофорд-стрит в какое-нибудь местечко получше?

Стоял январь 1971-го, февраль 1971-го, самые темные, самые холодные дни года в этой мрачной, зимней глуши, то время, когда ожидать можно только чего-то мрачного, время фантазий о смерти и грез о жизни в тропиках, но стоило только Фергусону задуматься о том, не стоит ли ему похоронить себя под горой одеял и не покидать постели следующие три месяца, как его работа в «Таймс-Юнион» снова стала интересной. В город вернулся цирк. Ревели львы и тигры, в огромном шапито собиралась толпа, и Фергусон поспешно натянул костюм канатоходца и полез карабкаться по лестнице, чтобы занять свое место на площадке.

После стрельбы в Кенте его перевели в отдел общенациональной жизни, и он теперь работал под человеком по имени Алекс Питтман — молодым редактором с хорошим чутьем и более терпимым отношением, чем у Дунлапа. За долгие недели между маем и февралем Фергусон сдавал ему де-

сятки материалов, но ничего настолько захватывающего, как два больших сюжета, вломившиеся в первую половину нового года, которые, как это ни причудливо, оказались двумя версиями одного и того же сюжета: увязки висящих концов пятидесятых и шестидесятых, потому что кому-то хватило смелости украсть тайные документы правительства и обнародовать их, а это означало, что пусть шестидесятые хронологически и завершились, они не закончились, а фактически только начинались — сызнова. Восьмого марта неизвестная группа невидимых активистов, называвшая себя «Гражданской комиссией по расследованию деятельности ФБР», проникла в маленькую государственную контору, состоявшую из двух человек, в пенсильванском городке со странным названием Медия и сперла больше тысячи секретных документов. К следующему дню документы эти были отправлены в разнообразные средства массовой информации по всей стране, разоблачая тайную шпионскую операцию ФБР КОРАЗПРО («Контрразведывательную программу»), которую в 1956 году начал Дж. Эдгар Гувер, чтобы затравить четырнадцать или двадцать шесть коммунистов, еще остававшихся в Америке, а затем она расширилась и стала

включать членов организаций, борющихся за гражданские права черных, выступающих против войны во Вьетнаме, организаций «Черной власти», феминистских и свыше двух сотен организаций «новых левых», среди них — СДО и «Метеорологи». За ними не просто шпионили, чтобы мешать их деятельности и дискредитировать, в их ряды проникали информаторы и *agents provocateurs*, и вот так страхи всяких психов перед активистами шестидесятых оказывались правдой, Большой Брат действительно следил, а за всем этим стоял самый чокнутый, самый верный солдат Ничьепапы, приземистый маленький Дж. Эдгар Гувер, который за свои сорок семь лет в должности прибрал к рукам такую власть, что президенты тряслись, когда он стучался к ним в двери. Документы разоблачали сотни преступлений и сотни подлых ударов, порочивших имена невинных людей, но ничто не было ниже, чем то, что он сделал с Виолой Льюццо, бывшей героиней одного материала Фергусона, детройтской домохозяйкой с пятерыми детьми, которая поехала в Алабаму на марш Сельма-Монтгомери, и за простой поступок — она открыла дверцу своей машины и подвезла черного человека — ее убила группа клановцев, причем одним из убийц был

Гари Томас Роу, «признанный информатором ФБР», а затем Гуверу хватило опрометчивости написать письмо Джонсону, в котором он ему сообщал, что миссис Льюццо состояла в Коммунистической партии и бросила своих детей ради того, чтобы заниматься сексом с черными мужчинами из движения за гражданские права, липовое обвинение, намекавшее на то, что она враг народа, а значит — заслуживает смерти.

Через три месяца после скандала с КОРАЗПРО в «Нью-Йорк Таймс» опубликовали «Бумаги Пентагона», и Фергусон работал над этой темой тоже, включая сюжет, стоявший за сюжетом о том, как Даниэль Эллсберг украдкой выносил бумаги из здания и передавал их репортеру «Таймс» Нилу Шигену — это некогда ненавидимая «Нью-Йорк Таймс», видать, каялась за ту ложь, какую печатала в шестьдесят восьмом, пойдя на риск публикации засекреченных документов, яркий миг в истории американской журналистики, как сходились во мнении и Питтман, и Макманус, и Фергусон, — и вдруг вся ложь американского правительства обнажилась перед целым миром, то, о чем никогда ни в какой печати не сообщалось, тайные бомбардировки Камбоджи и Лаоса, береговые налеты на Северный Вьетнам, но мало того

и прежде этого — тысячи страниц, описывающих постепенный процесс, в котором то, что некогда, казалось, имело смысл, развалилось до полной бессмыслицы.

Затем цирк опять уехал из города, и Фергусон рухнул в объятия Галли Дойль, двадцатиоднолетней студентки из Маунт-Голиок, устроившейся на лето работать в газету, первой женщины, которую он встретил после переезда на север, кому, быть может, хватило бы сил разрушить наконец чары Эми, личности глубоко разумной и проницательной, воспитанной в лоне римской католической церкви, но вышедшей из него, поскольку не верила в то, что девственницы могут становиться матерями, а мертвые — выбираться из своих могил, однако жила она со внутренней уверенностью в том, что землю унаследуют кроткие, что добродетель — сама себе награда и что не поступать с другими так, как ты не хочешь, чтобы другие поступали с тобой, — более разумный способ вести собственную жизнь, нежели мучительно пытаться следовать заповедям золотого правила, которое вынуждает людей превращаться в святых и не приводит ни к чему, кроме мук совести и нескончаемого отчаяния.

Здравая личность — быть может, даже мудрая.

Человек маленький, но не мелкий, пять-четыре или пять-пять ростом, с поджарым, шустрым телом, бабушкиными очками, нацепленными на нос, и пронзительно желтыми волосами, такая блондинка, что создавалось впечатление, будто это полностью повзрослевшая Златовласка, но, как бы ни привлекали Фергусона ее золотые волосы, тайна заключалась в лице Галли, которое одновременно было и простым, и хорошеньким, поочередно тусклым и искрящимся, лицо это менялось с каждым поворотом или наклоном ее головы: вот златовласая мышка, а вот потрясающая девчонка «Белой скалы», вот невыразительная и почти без черт, а вот сияющая и захватывающая внимание, неприметная ирландская мордашка, которая могла — в мгновение ока — преобразоваться в потрясающий лик, какой только и можно было увидеть по эту сторону киноэкрана. Как же ему разобраться в этой загадке? Никак, решил Фергусон, вообще никак, поскольку единственный ответ — и дальше смотреть на нее, чтобы ощущать в себе все более и более приятную утрату равновесия.

Выросла она в Рочестере и вернулась в город на лето продавать свой отчий дом на Ист-авеню, который стал излишним после того, как в начале

года ее родители, писатели-фантасты, переехали в Сан-Франциско. Работа в «Таймс-Юнион» досталась ей при посредничестве старого друга семьи и не служила ни для чего, кроме убийства времени с большей эффективностью, недели при безделье, — ну и была возможностью в придачу заработать немного лишней налички.

Временная помощница в отделе новостей на лето, но в реальной жизни — студентка, специализирующаяся по английскому и биологии, которая осенью пойдет на старший курс. Начинающий поэт с далеко идущим планом поступить в медицинский институт, затем двинуть дальше и стать психиатром и наконец подготовиться на психоаналитика — все это само по себе впечатляло, но еще большее впечатление на Фергусона произвело то, как она проводила два лета до нынешнего: жила в Нью-Йорке и отвечала на телефонные звонки горячей линии для самоубийц на углу Восточной Четвертой улицы и Авеню А.

Иными словами, сказал он себе, пока сам он слушал, как пластинка выкручивает из себя зловещие, деморализующие куплеты «Господи, имя Тебе Смерть», Галли работала и спасала жизни. Не все сразу, во что верили Эми и такое множество прочих, а одну за другой, одну за другой.

Поговорить по телефону с человеком и постепенно убедить его не жать на спусковой крючок пистолета, который он направил себе в голову. На следующую ночь поговорить с женщиной и медленно убедить ее не глотать целый пузырек пилюль, зажатый у нее в кулаке. Никакого порыва заново изобретать мир снизу доверху, никаких актов революционного неповиновения, а преданность делу добра в сломанном мире, к которому принадлежала, план всю жизнь свою посвятить помощи другим, а это деяние не столько политическое, сколько религиозное — религия без религии или догмы, вера в ценность одиночки, одиночки и одиночки, по отдельности, странствие, что начнется с медицинского института, а затем продлится столько, сколько займет завершение ее психоаналитической подготовки, и пока Эми и орда прочих будут доказывать, что люди больны потому, что больно общество, а если помогать им к этому приспособиться, то им станет только хуже, Галли бы ответила: Вперед, валяйте, улучшайте общество, если сумеете, а люди между тем страдают, и у меня много работы.

Фергусон не только встретил свою *следующую*, но по мере того, как шло лето, он задавался вопросом, не *Единственная* ли она, кто затмит всех

остальных на весь остаток его дней на этой жалкой, прекрасной земле.

Она переехала к нему в крысиную нору на Крофорд-стрит в начале июля, а поскольку лето в тот год было особенно жарким, они задвинули жалюзи на окнах и, когда сидели дома, превращались в нудистов. Снаружи, по вечерам среди недели, днем и вечером по выходным, они сходили вместе на двенадцать фильмов, посетили шесть игр «Красных Крыльев», четыре раза сыграли в теннис (ультраспортивная Галли неизменно громила его в пропорции два сета к одному), гуляли по кладбищу «Гора Надежды», читая друг дружке стихи и переводы, покуда Галли не расплакалась однажды воскресным днем и не объявила, что ее работа никуда не годится (нет, она не не годится, сказал ей Фергусон, она *еще развивается*, хотя, казалось, было мало сомнений в том, что у нее более многообещающее будущее в медицине, нежели в литературе), сходили на четыре концерта классической музыки в Истманову школу музыки, Бах, Моцарт, Бах и Веберн, и поглотили многочисленные ужины во всевозможных ресторанах, как приличных, так и похабных, но ни один ужин не стал таким запоминающимся, как тот, что они устроили себе у «Антонио» на Лейк-аве-

ню, где трапеза сопровождалась неумолкаемой музыкой, исполнявшейся человеком по имени Лу Бландизи, который в афишах называл себя «Старомодным аккордеонистом из Маленькой Италии» и, похоже, знал все песни, сочиненные на белом свете, от стандартов американской поп-музыки до ирландских джиг и клезмера из-за Черты оседлости.

Ближе к теме: к первым дням августа они оба произнесли решительную фразу их трех слов несколько десятков раз каждый, те три слова, что скрепляют сделку и объявляют, что обратной дороги нет, и к концу месяца они оба уже начали прикидывать далеко идущие планы, думать постоянные мысли о будущем. Затем случилось неизбежное прощание, и пока любовь Фергусона уезжала учиться свой последний год в колледже в Саут-Гадлей, Массачусетс, он не понимал, как ему теперь без нее выживать.

Восьмое сентября. Лето закончилось, с ним теперь всё. Под окном его спальни рано поутру снова орала детвора, а воздух Рочестера за ночь обрел яркое ощущение начала года — свежеотточенных карандашей и жестких новых ботинок, запах детства, впитавшихся в сами кости воспоминаний о тех прежних днях, когда.

Печальный месье Солитёр, сохший по своей отсутствующей Галли каждый час последние десять дней, вернулся в тот день к себе в крысиную нору в половине пятого, и через минуту после своего прибытия, не успел он еще разгрузить коричневый бумажный пакет с ингредиентами своего сегодняшнего ужина, зазвонил телефон. Из редакции «Таймс-Юнион» ему звонил Питтман. Питтман со срочностью в голосе. Питтман, говорящий ему, что «в Аттике что-то затевается» — это тюрьма штата в пятидесяти милях юго-западнее Рочестера, — поэтому он поручает Фергусону и Джанелли отправиться туда завтра с утра пораньше и побеседовать с Винсентом Манкузи, суперинтендантом тюрьмы, и «выяснить, что происходит». Интервью уже назначено на девять часов, Джанелли подберет его в семь, и хотя там пока что какая-то неразбериха, тема может оказаться крупной, поэтому «навостри глаза и уши, Арчи, и не попадай в неприятности».

За прошедший год в нью-йоркских тюрьмах произошло два крупных беспорядка, один — в Оберне на севере штата, а другой — в «Могилах» в Манхаттане, свирепые физические противостояния между заключенными и охраной, которые привели к десяткам предъявленных обвинений и

дополнительных кар. Вожаков обоих бунтов — в большинстве своем черных, все отбывали срок за ту или иную форму революционной политики, — перевели в Аттику, чтобы «искоренить зачинщиков», и теперь, когда в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин якобы при попытке к бегству застрелили «черную пантеру» Джорджа Джексона — *у него пистолет был запрятан в парике афро, который он на себя надел* (и некоторые действительно в это верили), заключенные в переполненных нью-йоркских тюрьмах снова подняли шум. Шестьдесят процентов из 2250 заключенных Аттики были черными, сто процентов охраны — белыми, и Фергусон не только не предвкушал визит в это исправительное заведение строгого режима, он ждал его с ужасом. Фергусон радовался, что с ним едет Джанелли — часовая поездка будет достаточно приятна, Том станет с ним разговаривать голосами Кери Гранта и Джин Харлоу, болтать о чемпионате Национальной лиги, но, как только они туда доберутся и войдут в тюрьму, вступят они в ад.

Фергусону этого больше не хотелось. Он выгорел и уже готов был сдаться, сказав себе, что с этим пора кончать, с полдюжины раз за последние восемь или девять месяцев, а потом все-таки

ничего с этим не сделав, на сей раз он уже не отступится. Он дошел до края того, что мог бы выдержать. Хватит с него Рочестера, хватит газеты, хватит жить, не отводя взгляда от темного мира бессмысленных войн, лгущих правительств, шпионящих тайных агентов под прикрытием и злых, отчаявшихся людей, оказавшихся в капканах темниц, выстроенных штатом Нью-Йорк. Это больше ничему его не учит. Вновь и вновь он зубрил один и тот же урок и теперь уже знал эту историю наизусть, не успев даже присесть, чтобы ее написать. *Rien ne va plus*[111], как говорили игрокам в Монте-Карло, когда колесо рулетки готово было завертеться вновь. Никаких больше ставок. Он поставил деньги на зеро и проиграл, и теперь пора выходить из игры.

Утром он отправится в тюрьму вместе с Джанелли, проведет интервью с начальником, который, вероятно, расскажет ему, что *все под контролем*, а если он попросит пустить их все осмотреть и, быть может, побеседовать с одним-двумя заключенными, ему, вероятнее всего, откажут *по причинам безопасности*. Тогда он напишет материал, какой будет способен написать, и сдаст его

---

[111] Сноски: 111
Ставок больше нет (*перен.*). Ничто не ладится (*фр.*).

Питтману. Но материал этот станет последним. Он скажет Питтману, что на этом всё, и пожмет ему руку на прощанье. После этого зайдет в кабинет Макмануса и поблагодарит Карла за то, что тот предоставил ему возможность у него поработать, пожмет ему руку и поблагодарит за честь быть с ним знакомым, но больше он не скроен для такой работы, скажет он, работа его теперь убивает и он весь вымотан, а потом еще раз скажет спасибо своему начальнику за то, что тот такой хороший человек, и в последний раз выйдет из здания редакции.

Пять часов. Он снял трубку и набрал номер Галли в Массачусетсе, но после четырнадцати звонков никто не ответил, даже соседка Галли не сказала ему, что та ушла на весь вечер и вернется только в одиннадцать или двенадцать.

Голубые глаза Галли смотрели на него, пока он смотрел, как она подползает к нему по кровати. Яростное маленькое белое тело Галли прижималось к нему. Расскажи мне, что тебе больше всего нравится, попросила она его как-то раз, и он ей ответил глупенькой шуткой: *Сивучи в Центральном парке, сияние на потолке вокзала «Гранд-Централ» и сибаритство удобных самозаклеивающихся конвертов. Sí, sí, sí*, ответила она.

Хотя, возможно, она говорила: *Зри, зри, зри*.

Временами она смеялась так, что у нее краснело лицо.

Если он не собирается больше жить в Рочестере, куда ему хочется отправиться? Для начала — в Массачусетс. В Саут-Гадлей, Массачусетс, обсудить все с нею и выработать хоть какой-то план. Возможно, снять квартиру где-нибудь по соседству и трудиться над Вийоном, пока она ходит в вуз. Или, быть может, позаниматься этим какое-то время, пока кессонная болезнь не пройдет и он не научится снова быть человеком, а потом на рождественских каникулах улететь с нею в Париж. Или же побродить по Европе самостоятельно и увидеть столько, сколько сумеет посмотреть за месяц, или два месяца, или четыре. Нет, не четыре. Это будет слишком долго, столько он просто не выдержит. Квартирка в Амхерсте или каком-нибудь другом городке. Это может оказаться неплохим решением на первое время, а затем — в Европу вместе на пару месяцев после того, как она в июне выпустится. Возможно все, что угодно. Если запускать руку в бабушкин фонд всякий раз, когда на него находит стих, в этом году возможным станет все.

Шесть часов. Омлет, ветчина и два ломтя тоста

с маслом на ужин — вместе с четырьмя стаканами красного вина.

Luy qui buvoit du meilleur et plus chier
Et ne deust il avoir vaillant ung pigne[112]

Семь часов. Он сидел за своим письменным столом и смотрел на эти две строки Вийона. Если буквально: Ему, кто пил лучшие и дорогие вина, / Не хватало на расческу. Или: И даже гребень был не по карману. Или: На расческу не хватало медяков. Или: Капусты не доставало причесаться. Или: И был так нищ, что не купить расческу. Или: Такой голяк в карманах, что без гребня.

Девять часов. Он снова позвонил в Массачусетс. Теперь двадцать звонков, но снова никто не отвечает.

Это не просто была новая любовь, но какая-то новая разновидность любви, новый способ быть собой, способ лучше из-за того, кто, и что, и как она была с ним, к такому он всегда стремился,

---

[112] Сноски: 112
Франсуа Вийон, «Баллада и молитва». В версии Ю. Кожевникова все четверостишие звучит так:

Из вашего он вышел вертограда
И душу лучшим заливал вином,
Так неужель и выпивохе надо
Еще с игольным мучиться ушком!

но в прошлом ему никогда не удавалось этого достичь. Никаких приступов мрачной задумчивости больше, никаких путешествий в трясины угрюмых мучительных самокопаний, никаких больше нападок на самого себя — это же слабость, что всегда делала его меньше, чем ему следовало быть. «ГИННЕСС ДАЕТ ТЕБЕ СИЛУ», — гласили плакаты на стенах баров. Ему силу давала Галли. «ГИННЕСС ТЕБЕ ПОЛЕЗЕН», гласили плакаты на стенах баров. Не было сомнений, что ему полезна была Галли Дойль.

Без четверти одиннадцать. Фергусон зашел в спальню, завел часы и поставил будильник на шесть утра. Затем вернулся в гостиную, снял трубку и снова набрал номер Галли.

Никто не ответил.

В квартире непосредственно под Фергусоном Чарли Винсент выключил телевизор, потянулся и встал с тахты. Жилец сверху ложился спать, симпатичный мальчонка, который все лето спал с хорошенькой блондинкой, такие славные, дружелюбные они детки, всегда приятное слово на лестнице найдется или перед почтовыми ящиками, а вот теперь девочка уехала, и мальчик опять спит один, что в каком-то смысле очень жаль, потому что ему нравилось слушать, как наверху

сотрясается кровать, а мальчик кряхтит, и девочка взвизгивает и стонет, уж такие это хорошие звуки, так удовлетворительны для уха и любой другой части его тела, вечно он жалеет, что сам не наверху в постели с ними, не такой, какой он теперь, а в старом своем теле, какое у него было раньше, когда он сам был молодым и пригожим, года, годы, сколько долгих лет назад это было, и даже если теперь не подняться ему, чтоб быть с ними или наблюдать за ними, сидя на стуле в углу их комнаты, слушать их и представлять их себе было почти так же хорошо, и вот теперь, раз мальчик снова остался один, в этом тоже было что-то хорошее, такой прелестный мальчик с широкими плечами и сочувственными глазами, чего б ни отдал он только, лишь бы подержать этого голого мальчика в своих объятиях и осыпать все его тело своими поцелуями, и потому вот Чарли Винсент выключил телевизор и, шаркая, побрел из гостиной в спальню, чтобы послушать, как скрипит кровать, когда мальчик ворочается на матрасе и устраивается поудобнее на ночь. В комнате сейчас было темно. Чарли Винсент разделся, лег на кровать и подумал о мальчике, а сам баловался с собой, пока дыхание его не сделалось отрывистым, по всему нему не разлилась

теплота и дело не оказалось сделано. Затем, в пятьдесят третий раз с того утра, он закурил одну длинную сигарету «Пэлл-Мэлл» без фильтра и запыхтел ею…

7.2

7.3

7.4

Тетя Мильдред спасла его от худшего. Подергав за ниточки, надавив авторитетом заведующей отделением английского, распотрошив клубок за клубком волокиты, пригрозив подать в отставку в знак протеста, если председатель приемной комиссии не уступит ей, обосновав свои требования на двухчасовом совещании с только что назначенным президентом Франсисом Ф. Килкойном, настроенным антивоенно, — человеком, известным своим состраданием и высокими нравственными принципами, — профессор Адлер выбила-таки место для Фергусона как полноправного студента Бруклинского колледжа ровно за неделю до начала первого семестра его младшего курса.

Когда Фергусон спросил у нее, как ей удалось

провернуть такой невероятный трюк, Мильдред ответила: Я сказала им правду, Арчи.

А правда заключалась в том, что он встал на защиту черного друга под угрозой белого фанатика и был за свои действия оправдан судом, а это предполагало, что его стипендия Уолта Уитмена в Принстоне отозвана несправедливо, и он заслуживал места в Бруклине — не только из-за того, что по среднему баллу попадал в верхние десять процентов своего класса, но и потому, что потеря стипендии не давала бы ему продолжать образование в Принстоне по недостатку средств, а если он не переведется в другой колледж к началу осеннего семестра — потеряет и свою студенческую отсрочку, а не только стипендию, и окажется подлежащим военному призыву. Как противник войны во Вьетнаме, он откажется идти в армию, если его призовут, а это с хорошей вероятностью приведет его к тюремному сроку за неподчинение законам об ограниченной воинской повинности, а разве обязанность Бруклинского колледжа не состоит в том, чтобы спасать перспективных молодых людей от подобного мрачного и бессмысленного исхода?

Ему никогда не приходило в голову, что его тетя способна занять такую твердую позицию

по какому-либо поводу — и меньше всего в том, что касается его лично или кого бы то ни было из родственников, но двадцать первого августа, и часа не прошло после того, как он позвонил в контору Девитта, где ему сообщили, что сам великий человек путешествует за границей, он в отчаянии обратился к тете Мильдред — не потому, что ожидал, что она для него что-то сделает, а потому что нуждался в совете, а коль скоро Нэгл на средиземноморском острове рылся в осколках эллинской керамики, она была единственной, кто мог этот совет дать. В тот день дядя Дон снял трубку после четвертого звонка. Мильдред по каким-то делам ушла, сказал он, вернется только через час или около того, но Фергусон не мог ждать еще час, все внутренности ему свело от ужаса и оторопи, пока он продолжал заглатывать слова из письма Девитта, поэтому он выплеснул все это на Дона, которого это шокировало, он вознегодовал и пришел в достаточную ярость для того, чтобы сказать Фергусону, что Девитта следует выпотрошить и четвертовать за его поступок, но даже в те первые мгновения кризиса, когда Фергусон был еще не в состоянии мыслить, Дон уже нащупывал решение, размышляя о том, как в обход просунуть Фергусона в другой

колледж, пока не истекло время, а это значило, что в самом начале это была *его мысль*, но как только Мильдред вернулась домой и поговорила с Доном, мысль быстро стала также и ее, и, через сорок пять минут перезвонив Фергусону, она велела ему не беспокоиться, потому что она сама *всем займется*.

От того, что она встала на его сторону, все для него изменилось. Жаркая и холодная тетя Мильдред, добрая и жестокая тетя Мильдред, изменчивая, не очень дружелюбная сестра своей сестры Розы, несколько ободряющая, но по преимуществу рассеянная мачеха сына Дона Ноя, доброжелательная, но, по сути, незаинтересованная тетка своего единственного племянника теперь, похоже, говорила сыну своей сестры, что тот ей небезразличен гораздо больше, чем он когда бы то ни было подозревал. Она рассказала Фергусону, как ей удалось пропихнуть его в Бруклинский колледж, но когда он у нее спросил, почему она вообще обеспокоилась пойти на такие хлопоты ради него, пыл ее ответа его поразил: Я неимоверно в тебя верю, Арчи. Я верю в твое будущее и только через мой труп позволю кому-то отнять это будущее у тебя. Пусть Гордон Девитт подавится. Мы — люди Книги, а людям

Книги нужно держаться вместе.

Царица Эсфирь. Мамаша Кураж. Матушка Джонс. Сестра Кенни. Тетя Мильдред.

Первое и самое важное, что следовало сказать о поступлении в Бруклинский колледж, — обучение в нем было бесплатным. Проявив редкую политическую мудрость, отцы города Нью-Йорка постановили, что мальчики и девочки пяти боро имеют право получать образование с ежегодной стоимостью нисколько долларов, что не только помогло упрочению принципов демократии и подтвердило, как можно служить доброму делу, если муниципальные налоговые поступления попадают в правильные руки, и десяткам тысяч, сотням тысяч, а за много лет и миллионам нью-йоркских мальчиков и девочек дали возможность получить образование, какое иначе большинству из них было бы не по карману, и Фергусон, кто больше не мог себе позволить высокой стоимости обучения в Принстоне, благодарил тех давно покойных отцов города всякий раз, когда поднимался по бетонным ступеням станции подземки на Флетбуш-авеню и входил в Мидвудский студенческий городок. Мало того, это был хороший колледж, отличный колледж. Для поступления требовался минимальный сред-

ний школьный балл 87, равно как и сдача очень строгого вступительного экзамена, а это означало, что ни в одном из его классов не было ни единого человека, кто бы не учился меньше, чем на четверку с плюсом, и поскольку у большинства из них балл между 92 и 96, Фергусона окружали крайне разумные люди, большинство — умны вплоть до блистательности. В Принстоне тоже имелась своя доля блестящих студентов, но также и определенный процент мальчишек из наследного балласта, а вот Бруклин состоял как из мальчиков, так и из девочек (к счастью), и балласта в нем никакого. Все городские, конечно, говоря округленно — вдвое больше, чем учащихся в Принстоне, где студенческое население поступало со всех краев страны, но Фергусон теперь сделался уже упертым нью-йоркцем и стоял крепко за город, и ровно так же, как наслаждался обществом своих нью-йоркских друзей в лагере «Парадиз», когда был совсем мальчишкой, теперь он получал удовольствие от того, что попал в среду своих легко возбудимых, склонных поспорить собратьев-нью-йоркцев в БК, где студенчество, может, и не так географически разнообразно, как в Принстоне, но уж гораздо разнообразнее по-человечески — в своей бурной

мешанине национальностей и культур: орды католиков и евреев, освежающее число черных и азиатских лиц, а поскольку большинство их — внуки иммигрантов с острова Эллис, вероятность того, что они стали первыми в своих семьях, кто вообще попал в колледж, была крепче, нежели пятьдесят на пятьдесят. Помимо всего прочего, студенческий городок был образцом здравого архитектурного решения, вовсе не похож на то, чего ожидал Фергусон, уютные двадцать шесть акров по сравнению с пятьюстами акрами Принстона, но столь же привлекательные, на его взгляд: пейзаж наполняли элегантные георгианские здания, а не импозантные готические башни, поросшие травой дворы засажены вязами, а еще на переменах между занятиями можно ходить к пруду с лилиями и в сад, общежитий не было, не было обеденных клубов и никакого футбольного безумия. Совершенно иной способ ходить в колледж, антивоенная политика заменяла в студгородке спорт как главную одержимость, требования академической работы вытесняли большинство внеклассных занятий, а лучшее — возможность возвращаться к себе домой, в квартиру на Восточную Восемьдесят девятую улицу, когда вся дневная работа заканчивалась.

Поездки подземкой из Йорквилля в Манхаттане до Мидвуда в Бруклине, а затем обратно с понедельника по четверг были такими долгими, что Фергусону удавалось читать к занятиям почти все, сидя в поезде. Он не стал записываться в класс по викторианскому роману к тете Мильдред, поскольку считал, что его присутствие на занятиях может оказаться для нее непосильным бременем, но когда весной в колледж вернулся приглашенным лектором дядя Дон — раз в два года вести семестровый курс по искусству биографии, Фергусон к нему записался. В начале каждого занятия Дон с пулеметной скоростью читал плотную мини-лекцию, а затем начиналось общее обсуждение, — Фергусон считал его несколько неуклюжим, бессистемным преподавателем, но дядя Дон никогда не бывал скучен или напыщен, всегда принимал вызов думать на ходу, бывал и весел, и серьезен, как и во всех иных обстоятельствах где бы то ни было, а уж какой ассортимент книг он им задавал читать той весной — Плутарх, Светоний, Августин, Вазари, Монтень, Руссо и этот причудливый, плотски возбужденный дружок доктора Джонсона, Джемс Босвелл, который в дневниках своих признавался, что способен прерывать свою писанину на полуфразе, чтобы

выйти на лондонские улицы и побарахтаться аж с тремя различными шлюхами за одну ночь, но самой завораживающей частью этих занятий для Фергусона наконец стало чтение Монтеня — впервые, и теперь, когда он ознакомился со своенравными, молниеносными фразами этого француза, он обрел нового учителя, который стал ему спутником в его собственных странствиях по Стране чернил.

Так вот оно и вышло, что плохое превратилось в хорошее. Нокаут от Гордона Девитта, который теоретически должен бы его расплющить, — но как раз когда Фергусон уже начал падать, на ринг выскочил десяток людей, и они подхватили его на руки, не успело его тело коснуться пола, тетя Мильдред — первая и, что самое важное, сильнейшая из ловцов тел, но еще и сообразительный дядя Дон, а потом, один за другим, и все остальные, кто собрался вокруг него, когда им рассказали об этом ударе, Селия, его мать и Дан, Ной, Джим и Ненси, Билли и Джоанна, Рон и Пег, а еще Говард, поговоривший с Нэглом наутро после того, как бывший научный консультант Фергусона вернулся в Принстон, и наконец сам Нэгл — тот написал Фергусону необычайно теплое письмо после того, как Говард сообщил ему

тревожащие известия о стипендии, предлагая помочь всем, что будет в его силах, и предполагая, что, быть может, Сюзан сумеет ему что-нибудь спроворить в Ратгерсе, и сколько же всего это письмо значило для Фергусона: сам Нэгл протянул ему руку, как друг, и встал на его сторону, а не на сторону Девитта, и еще долгий телефонный разговор с Эми и Лютером в Монреале в сочетании с тем тревожным поворотом событий, что привел к расколу Говарда с Моной Велтри, злобная словесная перепалка о том, кто из них несет бóльшую ответственность за то, что привел тогда компанию в «Бар и гриль Тома», всяк винил в этом другого, пока они оба не утратили самообладания, и большая их любовь увяла так же быстро, как с первым заморозком умирает хиленький цветок, а затем, всего через несколько дней после этого, Лютер резко положил всему конец с Эми, вытолкал ее за дверь и потребовал, чтобы возвращалась в Америку, и вот ошеломленная и скорбящая сводная сестра Фергусона уже рассказывает ему, что Лютер сделал это *ради ее же собственного блага*, и: Прошу тебя, Арчи, сказала она, мой дорогой, чокнутый братишка, не делай никаких глупостей, типа сбежать в Канаду, просто стой на своем, затаи дыхание и молись —

и что-нибудь хорошее непременно подвернется, и так оно действительно и случилось из-за Мамаши Кураж Мильдред, и, несмотря на сумятицу, какую он пережил в те дни неуверенности, Фергусон ощущал, что его так глубоко любят люди, кого любил он сам, что получение стипендии Уолта Уитмена, как оказалось, для бодрости его духа сделало гораздо меньше, нежели ее утрата.

Мир ворочался. Все повсюду текло. В крови у него кипела война, Ньюарк стал мертвым городом на другом берегу реки, влюбленные горели синим пламенем, и теперь, когда Фергусону выдали его отсрочку, он вновь вернулся в книгу о докторе Нойсе и мертвых детках города Р. По два часа, начиная с шести каждое утро с понедельника по четверг, а затем столько, сколько получится, с пятницы до воскресенья, невзирая на все время растущий объем домашней работы, сквозь которую ему приходилось прилежно пробираться, чтобы отплатить свой долг Мильдред, которая разочаровалась бы в нем, если б он начал волынить и сбавил в успеваемости. Монтень; Лейбниц; Леопарди; и доктор Нойс. Мир распадался на части, и единственным способом не распасться на части вместе с ним было не отвлекать ум от работы — выкатываться из постели

каждое утро и приступать к делу, а выйдет в тот день солнце или предпочтет не выходить — не важно.

Бесплатное образование было благодатью, но все равно перед Фергусоном стояло несколько денежных вопросов, и первые недели осеннего семестра Фергусон мучительно пытался выработать план, который не будет подразумевать финансовой помощи от матери и отчима. Стипендия покрывала не только обучение, но и его кров и стол, а потому он имел возможность трижды в день пять дней в неделю наедаться от пуза бесплатно, а пять дней могли стать и семью, если б он так упорно не проводил эти два дня в Нью-Йорке, но теперь, раз он в самом городе и только в нем, ему за все свои трапезы и продукты приходилось платить самому, а этого он больше позволить себе не мог — уж точно после того, как отслюнил пять тысяч долларов юристу из Браттльборо, и в банке у него осталось лишь немногим больше двух тысяч. Он прикидывал, что сумеет перебиваться где-то на четыре тысячи в год, что предоставит ему достаточно крошек, чтобы вести скромное существование церковной мыши, но две тысячи — не четыре, и у него все равно лишь половина того, что потребуется. Вер-

ный себе Дан предложил разницу покрывать за счет ежемесячного содержания, на что Фергусон с неохотой согласился, потому что в итоге у него не было другого выхода: он знал, что единственной альтернативой тут было устроиться куда-нибудь работать на неполный день (допустим, он такое место себе найдет), но тогда невозможно будет продолжать работу над книгой. Он сказал «да», потому что вынужден был сказать «да», но лишь из-за благодарности Дану за двести долларов в месяц быть довольным таким устройством дел Фергусон не был обязан.

В начале ноября подмога пришла, откуда не ждали, — источник ее можно было прямо или косвенно проследить до его собственного прошлого, но в то же время тот не имел к нему никакого отношения. За дачу ему тех денег, что ему требовались, ответственность несли другие люди, денег этих он не зарабатывал, но тем не менее отрабатывал их, не имея ни малейшего намерения зарабатывать деньги, поскольку так же, как писатель не способен знать, отлупят его или приголубят, он не мог знать и того, приведут к чему-нибудь те часы, что он просиживает за своим письменным столом, или не приведут. Всю дорогу Фергусон не делал по этому поводу никаких допу-

щений, а потому и никогда не произносил слова *писать* и *деньги* в одной фразе, считая, что, работая, о деньгах грезят лишь продажные писаки с Граб-стрит, — считая, что деньги всегда откуда-нибудь возьмутся, чтобы поддержать его тягу заполнять белые прямоугольники сбегающими вниз рядами черных значков, одним за другим, но в несообразно незрелом возрасте двадцати лет Фергусон понял, что *всегда* не означает *всегда*, а просто *почти все время*, и в те редкие разы, когда мрачные ожидания того, что *всегда*, оказывались несостоятельны, единственным соответствующим откликом на такое было благодарить богов за их случайный жест благосклонности, а затем возвращаться к мрачным ожиданиям *всегда*, пусть даже от твоей первой встречи с принципом *почти все время* у тебя по-прежнему кости сотрясаются с силой святого благословения.

Издательство «Суматоха», настоящее, не самиздат, запущенное Роном, Льюисом и Анн весной, опубликовало свою первую партию изданий четвертого ноября: два сборника стихов (один Льюиса, другой Анн), переводы Рона из Пьера Реверди и 327-страничный эпос Билли «Сокрушенные головы». Ангел всего предприятия, бывшая жена первого мужа матери Анн, необуз-

данная женщина за сорок по имени Трикси Давенпорт, закатила шикарную вечеринку у себя в дуплексе на Лексингтон-авеню, чтобы это событие отпраздновать, и Фергусона, вместе с почти всеми, кого он знал, на эту пьянку в субботу вечером тоже пригласили. В толпах ему никогда не бывало уютно, от толчеи стольких тел, набивающихся вместе в замкнутые пространства, у него начинала кружиться голова и он онемевал, но в тот вечер все почему-то было иначе — быть может, оттого, что он так радовался за Билли после стольких лет, сколько он вложил в сочинение этой книги, а то и потому, что его развлекало видеть неопрятных, обнищавших городских поэтов и художников, которые тусуются с шишками Ист-Сайда, но будь то одна какая-то причина или обе, он был счастлив там в тот вечер оказаться, стоять рядом с прекрасной, чуточку робеющей Селией, которая сама в толпе себя чувствовала не в своей тарелке, и вот когда Фергусон повернулся и обозрел эту битком набитую и шумную комнату, он увидел, как Джон Эшбери в одиночестве пыхтит в углу сигаретой «Житан», Алекс Кац попивает из бокала белое вино, Гарри Мэтьюс пожимает руку высокой рыжеволосой женщине в синем платье, Норман Блюм смеется, притворно заломив кому-

то руку за спину, а вот щеголеватый, курчавый Ной стоит с пышной курчавой Вики Тремэйн, а вот Говард беседует не с кем-то, а с Эми Шнейдерман, приехавшей на выходные в Нью-Йорк, и через десять минут после прихода Фергусона к нему уже локтями проталкивался Рон Пирсон, а мгновение спустя Рон уже обхватил его за плечи и выводил из комнаты, потому что *ему хотелось кое о чем с ним поговорить*.

Они поднялись на верхний этаж квартиры, прошли по коридору, свернули влево по другому коридору и проскользнули в пустую комнату, где располагалась пара тысяч книг и на одной стене висело шесть или семь картин. *Кое-что* оказалось деловым предложением — если крошечное, неизбежно неприбыльное издательство «Суматоха» можно было назвать делом. Как это объяснил Рон, троица, заправляющая издательством, проголосовала за то, чтобы включить Фергусона в издательский план на следующий год — собрать три его титула, вышедшие в «Штуковине», и опубликовать их под одной обложкой. Согласно их расчетам, объем книги составит 250 или 275 страниц, и подготовить они ее могут за следующие восемь или двенадцать месяцев. Что он на это скажет?

Даже не знаю, ответил Фергусон. Ты считаешь, эти книжки годятся?

Мы бы не делали тебе предложение, если бы считали их негодными, сказал Рон. Конечно же, они годятся.

А что Билли? От него разве одобрение не требуется?

Он уже одобрил. Билли все это и придумал. Он теперь с нами и хочет, чтоб ты тоже был с нами.

Ну и парень. *Я гроблю своих грутов и подбиваю лизоблюдов и знахарей из моего верного тромблона*. Никто еще не написал фразы круче этой.

Я также должен упомянуть о деньгах.

Каких деньгах?

Мы пытаемся работать как настоящие издатели, Арчи.

Не понимаю.

Договор, аванс, авторские отчисления. Ты же наверняка о таком слышал.

Смутно. В каком-то ином мире, где мне не выпало проживать.

Три книги в одной, тираж издания — три тысячи экземпляров. Мы прикинули, что аванс в две тысячи долларов будет звучать мило асимметрично.

Не шути так, Рон. Две тысячи меня бы спасли.

Больше не надо будет побираться на перекрестках, никаких подачек от людей, которым не по карману давать деньги, в пот среди ночи больше бросать не будет. Прошу тебя, скажи, что ты меня не разыгрываешь.

Рон улыбнулся тонко, минимально, как он это делал обычно, и уселся в кресло. Обычная процедура — получаешь половину по подписании договора, продолжал он, а вторую половину — когда книга выйдет, но если тебе нужна вся сумма сразу, я уверен, так можно будет устроить.

Как ты можешь быть в этом уверен?

Потому что, сказал Рон, показывая на Мондриана на противоположной стене, Трикси может делать все, чего захочет.

Да, ответил Фергусон, поворачиваясь и тоже глядя на холст, наверное, может.

Обсудить нужно только еще одно, последнее. Название, общее название для всех трех книжек. Спешки нет, но Анн на редколлегии уже придумала одно, и мы все сочли, что оно довольно потешное. Смешно потому, что ты еще настолько шокирующе молод и нов в этом мире, что мы иногда задаемся вопросом, не носишь ли ты подгузники.

Только по ночам, а днем они уже мне больше

не нужны.

Мистер Замаранные Штанишки теперь ходит в чистеньких трусах.

Почти все время, во всяком случае. И что же Анн предложила?

«Собрание сочинений».

А. Да, это и впрямь довольно смешно, но еще… как это слово, вылетело из головы?…немного *похоронно*. Как будто меня набальзамировали и сейчас отправят путешествовать в прошедшее время без обратного билета. Мне кажется, я бы предпочел что-нибудь пободрее.

Твоя книга. Тебе и решать.

Как насчет «Прелюдий»?

Как у раннего Мильтона?

Именно. «Литературная композиция предварительной или подготовительной природы».

Нам известно значение этого слова, но поймут ли его другие?

Если не поймут, могут в словаре посмотреть.

Рон снял очки, протер стекла носовым платком, а затем снова их надел. После небольшой паузы пожал плечами и произнес: Я за тебя, Арчи. Пусть ищут.

Фергусон вернулся на вечеринку оглушенный и невесомый, как будто голова у него больше не

крепилась к телу. Когда попробовал рассказать эту хорошую новость Селии, гам голосов вокруг них был так силен, что та не расслышала, что он говорит. Ничего, сказал Фергусон, сжимая ее руку и целуя в шею, я тебе позже скажу. Потом оглядел толчею вертикальных людей, набившихся в комнату, и увидел, что Говард и Эми по-прежнему беседуют, только стоят теперь гораздо теснее, и оба подаются ближе друг к дружке, полностью поглощенные беседой, и пока он наблюдал, как его сводная сестра и бывший сосед по комнате друг на дружку смотрят, Фергусона осенило, что они у него прямо на глазах, возможно, превращаются в пару, раз рядом больше нет ни Моны, ни Лютера — и, несомненно, для них обоих те никогда больше и не возникнут, — Говарду и Эми имеет смысл поисследовать возможности, и до чего это будет любопытно, если Говард в итоге проникнет в это запутанное, перемешанное племя из наложившихся друг на друга кланов и родословных, чтобы стать почетным членом разъездной водевильной труппы Шнейдерман-Адлер-Фергусон-Маркс, которая превратит его друга в неофициального зятя, и что за честь это будет, сказал себе Фергусон, — приветствовать Говарда во внутреннем круге и советовать ему,

как пригибаться, когда Эми начнет швыряться ему в голову вафлями «Некко», эта необычайная Эми Шнейдерман, девушка, которую он так отчаянно хотел, что до сих пор мучительно было думать о том, что могло бы произойти, но так и не случилось.

Ему теперь хватало денег на то, чтобы жить год, и впервые за последние пять месяцев Фергусону удалось не раскрошиться, держась за свой план. Сейчас для него имели значение только четыре вещи: писать свою книгу, любить Селию, любить своих друзей и ездить в Бруклинский колледж и обратно. Он не то чтобы перестал обращать внимание на мир, но мир больше не просто разваливался на части — мир запылал, и вопрос уже стоял так: Что делать или чего не делать, когда мир горит, а у тебя даже нет огнетушителя, когда пламя не только вокруг тебя, но и в тебе, и что бы ты ни делал или чего не делал, действия твои ничего не изменят? Держись плана — пиши книгу. То был единственный ответ, какой мог придумать Фергусон. Пиши книгу, заменяя настоящее пламя воображаемым огнем, и надейся, что усилия твои сложатся во что-то большее, чем ничего. Что же касается Тетского наступления в Южном Вьетнаме, отречения Линдона Джонсона,

что касается убийства Мартина Лютера Кинга — следи за ними как можно тщательней, впитывай их в себя как можешь глубоко, но помимо этого — ничего. Он не намеревался сражаться на баррикадах, но будет подбадривать тех, кто на них выйдет, а затем вернется к себе в комнату и станет писать свою книгу.

Он понимал, насколько шатка такая позиция. Ее надменность, ее себялюбие, порок его мышления, дескать, *искусство превыше прочего*, но если не держаться за этот довод покрепче (который, вероятно, вообще не столько довод, сколько инстинктивный рефлекс), он поддастся на контрдовод, который постулирует мир, где уже необязательны книги, а какая точка во времени может быть важнее для сочинения книг, нежели год, когда мир пылает — и ты в огне вместе с ним?

Затем прилетел первый из двух больших ударов, что обрушились на него той весной.

В девять часов вечера шестого апреля, через два дня после убийства Мартина Лютера Кинга, когда в половине крупных городов Америки пылали настоящие пожары, в квартире Фергусона на Восточной Восемьдесят девятой улице зазвонил телефон. Некто по имени Аллен Блюменталь же-

лал побеседовать с Арчи Фергусоном, и не сам ли Арчи Фергусон сейчас снял трубку? Да, ответил Фергусон, пытаясь вспомнить, где он уже слышал имя Аллена Блюменталя, которое смутно ему что-то напоминало в дальнем уголке его памяти… Блюменталь… Блюменталь… и тут наконец его дернуло узнаванием: Аллен Блюменталь, сын Этель Блюменталь, женщины, на которой последние три года женат его отец, неведомый сводный брат Фергусона, во время свадьбы ему исполнилось шестнадцать, а теперь, стало быть, девятнадцать, всего на два года моложе Фергусона — ровесник Селии.

Вам же известно, кто я, правда? — спросил Блюменталь.

Если вы — тот Аллен Блюменталь, о ком я думаю, ответил Фергусон, то вы мой сводный брат. (*Пауза, чтобы размах этого слова дошел.*) Привет, братишка.

Блюменталь не рассмеялся в ответ на мягкую, но дружелюбную шуточку Фергусона и не стал зря тратить время, а сразу приступил к делу. В семь часов того утра, играя перед работой в теннис на закрытом корте в «Теннисном центре Южной Горы» со своим другом детства Сэмом Бронштейном, отец Фергусона рухнул и скончал-

ся от сердечного приступа. Похороны послезавтра в храме «Б'най Авраам» в Ньюарке, и Блюменталь сейчас звонит по поручению своей матери, чтобы пригласить Фергусона на службу, проводить которую будет ребе Принц, а затем в поездку вместе с членами семьи на кладбище в Вудбридже на похороны, после которых (если Фергусон будет к этому склонен) он может присоединиться к ним у них в доме в Мапльвуде. Что Блюменталь должен передать своей матери? Да или нет?

Да, ответил Фергусон. Конечно, я приеду.

Станли был такой чудесный парень, сказал неведомый сводный брат, и голос его, дрожа, сместился в другой регистр. Уму непостижимо, что это произошло.

Фергусон услышал, как в горле у Блюменталя перехватило, — и вдруг мальчик зарыдал…

А вот у Фергусона слез, однако, не возникло. Еще долго после того, как повесил трубку, не мог он почувствовать ничего, кроме огромной тяжести, давившей ему на голову, десятитонного камня, который обездвижил его до самых лодыжек и подошв, а затем, помаленьку, вес этот сместился внутрь и сменился ужасом, ужас пополз через все его тело наверх и загудел в венах, а после ужаса — вторжение тьмы, тьмы у него внутри и

вокруг него, и голос у него в голове говорил ему, что мир больше не реален.

Пятьдесят четыре. И ни единым глазком на него не взглянул после той нелепой телевизионной рекламы полтора года назад. Не бывает ниже цен, не бывает лучше настроенья. Представить только: рухнуть замертво в пятьдесят четыре.

Ни разу за все годы их борений и молчаний Фергусон такого не желал — и не представлял себе, что это может случиться. Его некурящий, непьющий, вечно подтянутый и спортивный отец должен был дожить до глубокой старости, и так или иначе, на каком-то рубеже в грядущих десятилетиях они с Фергусоном нашли бы способ очиститься от гнили, что между ними наросла, но такое допущение основывалось на уверенности в том, что им предстоит еще много лет впереди, а вот теперь никаких лет больше не осталось, даже дня, или часа, или малейшей доли секунды.

Три года нерушимого молчания. Вот что было хуже всего, те три года и больше никакой возможности это молчание нарушить, никаких прощаний на смертном одре, никакой предваряющей затяжной болезни, какая могла бы подготовить Фергусона к этому удару, и до чего же странно, что с тех пор, как Фергусон подписал

договор на свою книгу, он вновь все больше и больше думал об отце (из-за денег, подозревал он, доказательства того, что в мире есть люди, готовые давать ему денег за неподотчетную работу по сочинению вымышленных историй), и за последний месяц или около того Фергусон даже размышлял над возможностью послать отцу экземпляр «Прелюдий», когда книга выйдет, чтоб только показать ему, что он справляется, обходится без него *на своих собственных условиях*, а также (быть может) — в виде жеста начального раунда, который, может, и привел бы к какому-то будущему примирению между ними, задаваясь вопросом, отреагирует на него отец или нет, выбросит книжку сразу или сядет и напишет ему письмо, а если он действительно откликнется, надо будет ответить и ему — и договориться о встрече где-нибудь, чтобы раз и навсегда наконец все друг другу выложить, честно и откровенно впервые в жизни, несомненно — матерясь и оря друг на друга почти весь разговор, и стоило только Фергусону проиграть эту сцену у себя в голове, она, в общем и целом, перерастала в потасовку до крови, они вдвоем мутузили друг друга, пока окончательно не выбивались из сил и больше рук поднять не могли. Также было возможно,

что в итоге он бы книгу ему посылать не стал, но хотя бы думал об этом, и это же наверняка что-то значило, уж точно это могло служить знаком надежды, ибо даже кулачные удары лучше пустой отстраненности последних трех лет.

Ехать в синагогу. Ехать на кладбище. Ехать в дом в Мапльвуде. Ничтожность и тщетность всего этого: впервые встретиться с Этель и ее детьми — и обнаружить, что они настоящие люди с ногами и руками, лицами и пальцами, потерявшая от горя рассудок вдова изо всех сил старается выдержать это испытание с прямой спиной, не холодная личность со свадебной фотографии в «Стар-Леджере», а заботливая, скромная женщина, которая влюбилась в его отца и вышла за него замуж, почти наверняка терпеливая, щедрая жена, быть может, в каком-то смысле и жена получше для его отца, чем была стремительная, независимая Роза, и, получив поцелуй в щеку от их матери, поздоровавшись за руки с Алленом и Стефанией, которые явно любили Станли больше, чем когда-либо его собственный биологический сын, — Аллен теперь заканчивал первый курс в Ратгерсе и намеревался специализироваться в экономике, что, должно быть, очень понравилось бы его отцу, разумный мальчик, в облаках не

витает, в отличие от разочаровавшего его настоящего сына, который обитает по большей части где-то на Луне, и помимо второй семьи своего отца Фергусон оказался и среди членов своей первой семьи, теть и дядьев из Калифорнии, Джоан и Милли, Арнольда и Лью, кого Фергусон не видел с самого раннего своего детства, и больше всего в этой давно утраченной родне Фергусона поразил тот причудливый факт, что хотя братья были и не слишком-то похожи друг на друга, каждый из них по-своему сильно напоминал его отца.

Фергусон отчего-то задержался в доме дольше, чем следовало бы, — в старом Замке молчанья, где его держали узником семь лет и где он написал рассказ про ботинки, — по большей части он в одиночестве стоял в углу гостиной и почти не разговаривал с теми несколькими десятками чужих людей, что там собрались, сам не желая там быть, но не желая и уходить, принимая соболезнования от различных мужчин и женщин после того, как их поставили в известность, что он сын Станли, благодарно кивая им, пожимая руки, но все равно — слишком ошеломленный для чего угодно, способный лишь соглашаться с ними в том, насколько потрясены они и ошарашены внезапной, шокирующей кончиной его

отца. Его тети и дяди ушли пораньше, рыдающий, донельзя расстроенный Сэм Бронштейн и его жена Пегги направились к дверям, но даже после того, как большинство гостей к концу дня потянулось к выходу, Фергусон все равно не был готов позвонить Дану и попросить его забрать (он собирался провести ночь в доме на Вудхолл-кресент), поскольку причину, почему так задержался, он теперь понял — чтобы выпала возможность поговорить с Этель наедине, и когда она пару минут спустя подошла к нему и спросила, не могут ли они отойти куда-нибудь и побеседовать там в одиночестве, его успокоило то, что и сама она думала о том же.

То был печальный разговор, один из самых грустных во всей состоявшейся истории его жизни — сидеть с неведомой мачехой в уголке для телевизора в недавно переоборудованном цоколе и делиться тем, что им было известно о загадке, которой был Станли Фергусон, человек, как в том призналась сама Этель, кто был для нее *почти недосягаем*, и до чего жалел Фергусон эту женщину, наблюдая, как она содрогается в слезах, затем на некоторое время берет себя в руки, потом снова не выдерживает, какое потрясение, все время повторяла она, какой это шок — пятидесятичеты-

рехлетний человек на полной скорости врезается в кирпичную стену смерти, второй муж, которого она похоронила за последние девять лет, Этель Блумберг, Этель Блюменталь, Этель Фергусон, два десятка лет уже — учительница шестого класса в бесплатных средних школах Ливингстона, мать Аллена и Стефании, и да, сказала она, совершенно объяснимо, что они обожали Станли, поскольку Станли чрезвычайно хорошо к ним относился, ибо после многих изысканий по теме Станли Фергусона она вывела заключение, что он был щедр и добр с чужими, но закрыт и непроницаем для тех, с кем ему следовало быть ближе всех остальных, для его жены и детей, в данном случае — его единственного ребенка, Арчи, поскольку Аллен и Стефания для него были не более чем дальними посторонними, парой детей, сравнимых с сыном и дочерью четвероюродного брата или человека, который моет ему машину, отчего он запросто был с ними добр и щедр, а у тебя как же, Арчи, спросила Этель, и почему столько негодования друг на друга накопилось у вас с ним за годы, столько горечи, что Станли отказывался разрешать мне встречаться с тобой и не допустил тебя на нашу свадьбу, хоть и повторял все время, что *против тебя ничего не имеет* и — говоря его

словами — *согласен выждать*.

Фергусону хотелось объяснить ей это, но он знал, до чего трудно будет нырнуть в тысячу нюансов частностей *долгой сумеречной борьбы*, что длилась почти всю его жизнь, поэтому все это он выпарил до одного простого и внятного заявления:

Я ждал, чтобы он на меня вышел, он ждал, чтобы я вышел на него, а не успел кто-либо из нас уступить, как время истекло.

Два упрямых дурака, сказала Этель.

Вот именно. Два дурака, залипших в своем упрямстве.

Нам не изменить того, что произошло, Арчи. Сейчас все закончилось и прошло, и я могу сказать только, что надеюсь, ты не станешь себя этим изводить сильнее, чем уже извел. Твой отец был человек странный, но не жестокий и не мстительный, и хоть тебе и пришлось с ним туго, я убеждена, что он был за тебя.

Откуда вы это знаете?

Потому что он не вычеркнул тебя из своего завещания. С моей точки зрения, сумме следовало быть намного больше, но, если верить тому, что мне говорил твой отец, тебе неинтересно стать совладельцем сети из нескольких магазинов

бытовой техники. Правильно?

Вообще никакого.

Я все равно уверена, что ему следовало оставить тебе гораздо больше, но и сто тысяч долларов неплохо, верно?

Фергусон не знал, что ей ответить, поэтому и дальше сидел в кресле и ничего не говорил, отвечая на вопрос Этель покачиванием головы, что означало нет, сто тысяч долларов вовсе не плохо, хоть в тот миг он и не был уверен, хочет он эти деньги принимать или нет, и теперь, раз им сказать друг дружке больше было нечего, Этель и Фергусон вернулись наверх, откуда он позвонил отчиму и сказал, что готов, пусть забирает его отсюда. Когда через пятнадцать минут перед домом возникла машина Дана, Фергусон пожал руки Аллену и Стефании и попрощался с ними, а когда Этель провожала его до дверей — сказала сыну своего покойного мужа, что ему в ближайшую неделю-другую следует ждать звонка от адвоката Каминского по поводу его наследства, и после этого Фергусон и Этель обнялись на прощание, жесткое, пылкое объятие солидарности и нежности, и пообещали отныне не терять связи друг с дружкой, пусть и знали оба, что никогда этому не бывать.

В машине Фергусон закурил свой четырнадцатый за день «Камел», приоткрыл окно и повернулся к Дану. *Как мать?* Вот было первое, что он спросил, пока они двигались к Вудхолл-кресент, странноватый, но необходимый вопрос о состоянии рассудка его матери после того, как она узнала, что ее бывший муж и супруг восемнадцати лет и отец ее сына внезапно и резко покинул этот мир, поскольку, несмотря на их злой развод и непрерывное молчание, повисшее между ними после, ее это известие должно было все-таки встряхнуть.

Слово *встряска* все и описывает, ответил Дан. Что объясняет и слезы, я думаю, и изумление, и скорбь. Но то было два дня назад, а теперь она более-менее как-то с этим всем сладила. Сам же знаешь, как оно, Арчи. Как только кто-то умирает, начинаешь чувствовать про этого человека всякое, какие бы неприятности ни происходили между вами в прошлом.

Значит, говоришь, с нею все в порядке.

Не волнуйся. Перед моим отъездом она попросила меня узнать у тебя, известно ли тебе что-то о завещании твоего отца. Мозги у нее опять варят, а это показывает, что слез больше не будет. (*На миг отрываясь от дороги, чтобы взглянуть на*

Фергусона.) Ее больше беспокоишь ты, чем она сама. Как и меня, кстати сказать.

Чем говорить об омертвелости и смятении в собственном мозгу, Фергусон рассказал Дану о сотне тысяч долларов. Он предполагал, что шестизначная цифра произведет на того впечатление, но обычно невозмутимый и бесшабашный Дан Шнейдерман остался отчетливо равнодушен. Для человека с таким состоянием, как у Станли Фергусона, сказал он, сто тысяч долларов — еле-еле минимум, любая сумма ниже этой была бы *оскорбительна*.

И все же, возразил Фергусон, это чертова куча денег.

Да, согласился Дан, нешуточная гора.

Затем Фергусон объяснил, что еще не решил, как ему хочется с этим поступить — принять ли деньги для себя или раздать, — а пока он это обдумывает, ему бы хотелось, чтобы Дан и мать подержали их у себя, и если они пожелают их часть на что-нибудь пустить, пока он еще не решит, то они могут вольно ими распоряжаться, с его благословением.

Не будь ослом, сказал Дан. Деньги — твои, Арчи. Положи их себе на счет и трать на себя — как тебе заблагорассудится. Твоя война с отцом уже завер-

шилась, тебе не нужно больше с ним сражаться, раз он уже умер.

Может, ты и прав. Но мне нужно принять это решение самому, а я его еще не принял. Между тем деньги отойдут вам с матерью на хранение.

Ладно, давай нам эти деньги. И когда мы их получим, первым же делом я выпишу тебе чек на пять тысяч долларов.

Почему пять тысяч?

Потому что столько тебе нужно, чтобы прожить на них лето и свой последний год в колледже. Раньше было четыре тысячи, а теперь будет пять. Ты же об инфляции слышал, правда? Война убивает не только людей, теперь она к тому же начинает убивать экономику.

Но если я решу, что не хочу оставлять себе эти деньги, тогда там уже больше не будет ста тысяч — там останется девяносто пять.

Через год — не останется. В наши дни процент на накопления — шесть. К тому времени, как ты выпустишься из колледжа, девяносто пять тысяч опять превратятся в сто. Вот что мы зовем *невидимыми деньгами*.

Я и не знал, что ты такой прохиндей.

Я и не прохиндей. Прохиндей — ты, Арчи, но если не прохиндействовать мне самому, я за

тобой не угонюсь.

Следующим большим ударом в ту весну стала потеря Селии.

Первая причина: К тому времени как тетя Мильдред выволокла Фергусона из горящего дома и нашла ему новое прибежище в Бруклинском колледже, уже прошел год с тех пор, как они с Селией заключили друг дружку в объятия и осмелились на первый поцелуй. От того поцелуя последовала любовь, большая любовь, что ныне затмила собой все прочие любови из прошлого, но в тот год он также понял, насколько непросто бывает любить Селию. Когда они с ней оставались наедине, Фергусон чувствовал, что они, по большей части, — в гармонии, преимущественно способны преодолеть раздоры, какие иногда между ними вспыхивали, тем, что сбрасывали с себя одежду и забирались в постель, и связь обильных, похотливых совокуплений держала их в единстве, даже если они расходились во мнениях о том, как им жить или ради чего, по их представлениям, они живут. И у Фергусона, и у Селии имелись твердые мнения о том, что затрагивало их больше всего, но это затрагивающее чаще всего касалось того, что Фергусон готовился к будущему в искусстве, а Селия — к будущему в науке, и хотя оба они

открыто восхищались занятиями друг дружки (Фергусон не сомневался, что Селия радуется его работе, у Селии не было сомнений в том, что Фергусона вводит в трепет ее *колоссальный академический ум*), быть друг для дружки всем на свете все время у них не получалось.

Возражение: Зазор меж ними, но не такая уж широкая пропасть, чтобы отвратить попытки перебросить через нее мост. Селия читала книги, слушала музыку и весело трусила с Фергусоном в кино и на спектакли, а сам Фергусон изучал в тот год биологию — ему требовался еще один курс естественных наук, чтобы соответствовать требованиям успеваемости, а биологию он выбрал как раз из-за нее — чтобы овладеть начатками языка, на котором она говорила, и, как он объяснил Селии, чтобы глубже погрузиться в свою книгу, которая, как понимали они оба, может быть написана, только если проникнуть в Нойсово царство физических тел, в ткани и кости недужных и здоровых организмов, которые его персонаж лечил больше двадцати лет, будучи врачом. Помимо помощи ему с заданиями к занятиям по биологии, Селия также взяла на себя задачу устраивать ему беседы со студентами-медиками из Барнарда и Колумбии, с молодыми стажера-

ми в Св. Луке, Ленокс-Хилле и Колумбийской пресвитерианской больницах, а также — бесценную четырехчасовую встречу с их собственным семейным врачом, который лечил ее с детства, Гордоном Эдельманом из Нью-Рошели, небольшим и плотно сбитым, круглогрудым человеком, который спокойно провел Фергусона по истории и каждодневным практикам своей профессии, познакомил с драмами, с какими ему приходилось сталкиваться за годы, и даже немного рассказал о преждевременной кончине брата Селии, объяснив, что Арти *раньше не являл* симптомов аневризмы, а следовательно, его не подвергли опасной процедуре ангиографии — в 1961 году единственного метода осмотра живого мозга, в отличие от более надежной процедуры разборки мозга мертвого, производимой при вскрытии. *Раньше не являл*. Иными словами, тогда никто ничего не мог сделать, а потом настал день, когда сосудик лопнул, и слова врача перемешались и стали другими словами, несшими совершенно другое значение: *Больше не является*.

Из-за своего романа Фергусон также совершал унылое, однако необходимое путешествие по литературе самоубийства, и, чтобы от него не отставать, Селия тоже прочла некоторые

книги, начиная с философских, социологических и психологических очерков и трудов Юма, Шопенгауэра, Дюркгейма и Меннингера, затем — многочисленные отчеты из далекого прошлого и недавнего настоящего, Эмпедокл и его мифический прыжок в пламя Этны, Сократ (цикута), Марк Антоний (меч), массовое самоубийство еврейских мятежников в Масаде, описание Плутархом самоубийства Катона в «Сравнительных жизнеописаниях» (выпустил себе кишки на глазах у своего сына, врача и слуг), опозоренный юный гений Томас Чаттертон (мышьяк), русский поэт Марина Цветаева (повесилась), Гарт Крейн (спрыгнул с борта судна в Мексиканский залив), Джордж Истман (выстрел в сердце), Герман Геринг (цианистый калий) и, самое значимое из всех, — первые фразы «Мифа о Сизифе»: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии»[113].

Ф: Как считаешь, Селия? Прав Камю или нет?

С: Вероятно, прав. Но, с другой стороны…

---

[113] Сноски: 113
Пер. А. Руткевича.

Ф: Я с тобой согласен. Вероятно, прав, но необязательно.

Не всё — и не все время, но больше, чем достаточно, чтобы попытка вышла пристойной — быть может, великолепной и долгосрочной, но, когда начался учебный год, им по-прежнему было всего-навсего восемнадцать и двадцать, и хорошо между ними было их общее убеждение, что делу время, потехе — час и что никто из них не наделен никакими склонностями к домашней жизни. Даже если квартира Фергусона на Восточной Восемьдесят девятой улице была достаточно просторна для двоих, а не для одного, они бы ни за что не задумались о том, чтобы жить вместе — не потому, что были слишком молоды для тягот постоянного совместного проживания, а потому, что оба они были, по сути, одиночками, и им требовались долгие промежутки времени в одиночестве, чтобы заниматься каждому своей работой. Для Селии это означало ее занятия в Барнарде, где она успевала не только по естественным наукам и математике, но и по всем своим предметам, что прочно помещало ее в лагерь зубрежки, одержимой, круглосуточной зубрежки совместно с четырьмя другими девушками-зубрилами из Барнарда на их втором году

обучения, и жила она в большой унылой помойке на Западной 111-й улице, в квартире, которую издевательски называла Монастырем неумолчной тишины. Для Фергусона требования работы были не менее строги: утомительный двойной труд — стараться как можно лучше учиться в Бруклинском колледже и в то же время пытаться писать роман, который из-за этого продвигался медленно, но вот еще что хорошего было в одержимой Селии — она была глубоко сонастроена с его одержимостями, и несколько раз за тот год, по пятницам, субботам и воскресеньям, когда они строили планы увидеться друг с дружкой, а оказывалось, что у Фергусона вдруг катит работа с книгой, она не обижалась, если он в последнюю минуту звонил ей и отменял свидание, и говорила ему, чтоб *ломил дальше* и *писал сколько душе угодно*, и чтоб *не беспокоился*. Вот в чем все дело, сообразил он, — в духе товарищества, что отличал ее от всех остальных, кого он знал, поскольку никогда не было никаких сомнений, что эти звонки в последнюю минуту ее огорчали, но у нее кишка (сила характера) была не тонка, чтобы делать вид, будто не огорчают.

Вторая причина: По большей части гармоничная встреча умов и тел, когда они оставались

наедине, но стоило им только выйти в мир и смешаться с другими людьми, жизнь становилась заковыристой. Помимо четырех девушек, с которыми она делила квартиру, у Селии было немного близких подруг, быть может — почти совсем никаких близких друзей, а потому основой их нечастной светской жизни служило вплывание в мир Фергусона и выплывание из него, а для Селии то был мир преимущественно чужой, мир, который она пыталась понять, но не могла. У нее не бывало сложностей со старшим поколением, и мать и отчим Фергусона относились к ней тепло, она это чувствовала, ей понравилось на тех двух ужинах, куда их позвали тетя Мильдред и дядя Дон, а вот от Ноя и Говарда она топорщилась: от Ноя потому, что она считала невыносимыми его саркастические, непрекращающиеся шуточки, а от Говарда — потому что ее ранило его учтивое к ней безразличие. Она довольно неплохо сошлась с Эми и женой Джима Ненси, но вечно расширяющийся круг поэтов и художников, друзей Фергусона, ей наскучивал и отвращал ее в равной мере, и Фергусона печалило видеть, до чего несчастной выглядела она всякий раз, когда им выпадало провести вечер с Билли и Джоанной, которые ему были уже близки, как кровные

родственники, печаль эта обращалась и в муки совести, и в раздражение, когда он наблюдал, как она терпеливо высиживает очередной долгий, извилистый разговор о поэтах и писателях с Роном, Льюисом или Анн, а еще меньше постигала она, с чего это ее благородный Арчи, глубокий мыслитель, получает такое удовольствие, ходя смотреть дрянное кино с Джоан Крофорд вместе с Бо Джейнардом и его дружком Джеком Эллерби, этими щуплыми мальчиками не от мира сего, которые иногда целовались во тьме балкона и никогда не переставали хихикать, они все вообще слишком много смеются, сказала она, ни один человек в этой публике никогда не относится ни к чему всерьез, они неряхи, обалдуи, не-пришей-кобыле-хвост заморыши безо всякой цели в жизни, кроме как рыскать по закраинам жизни и творить искусство, на которое никому не хочется смотреть и которое никто не желает покупать, и да, признавал Фергусон, быть может, это правда, так оно и есть, но они — его мальчишки и девчонки, его доблестные, неозлобленные собратья-изгои, и поскольку никто из них толком не вписывается в этот мир, взрыв хохота время от времени лишь показывает, что в сложившихся обстоятельствах они стараются как могут.

Возражение: К началу нового года (1968-го) Фергусон осознал, что он больше не может подвергать Селию общению со своими постыдными товарищами, кое-кто из них — неприкрытые гомосексуалисты, кое-кто — наркоманы и пьяницы, некоторые — эмоционально нестабильные калеки под психиатрическим наблюдением, и даже если некоторые — удовлетворенно женатые друг на дружке родители маленьких детей, как ни старался бы он ввести ее в это маленькое общество треснутых по башке мономанов, она всегда будет этому противиться, и чем и дальше наказывать ее за грех желания сопровождать его, когда он ищет общества других, он лучше освободит ее от обязательства быть с кем-то другим, когда этот кто-то ей не по нраву. Он знал, что это шаг не в ту сторону, что, если отрезать ее от этой части своей жизни, меж ними разверзнется постоянный провал, но он не желал рисковать тем, чтобы потерять Селию, а как еще ее удержать, если не освободить от таких вот несчастных вечеров с его друзьями?

В следующий раз, когда она осталась у него ночевать, он уцепился за ее слова, а потом изо всех сил деликатно развил тему. Они лежали в постели, курили один «Камел» на двоих после бо-

гато удовлетворительного часа под простынями и пуховым одеялом и на них, говорили о чем-то неважном, а может, и не разговаривали совсем (этого он не помнил), возможно, просто смотрели друг на дружку, как они склонны были делать в такие мгновения, каждый наполнен другим и все же длит этот миг, гладя обнаженную кожу другого, туда и сюда, никаких слов, кроме того, что Фергусон рассказывает ей, до чего она прекрасна — если он и впрямь столько говорил, — но он помнил, что глаза Селии были закрыты, и она мурлыкала что-то себе под нос, тихий и мягкий немелодичный звук, напоминавший урчание, томная, длинноногая и длиннорукая женщина-пантера Селия нежилась на боку и шептала ему хрипло: Обожаю, когда мы так, Арчи. Мы вдвоем, вместе на нашем острове, а снаружи плещутся волны города.

Я тоже, сказал Фергусон. Потому я и предлагаю мораторий, запрет на любые контакты с внешним миром.

Ты хочешь сказать, что нам следует запереться в этой комнате и никогда не выходить наружу?

Нет, выходить можно. Но лишь вдвоем. А больше не бегать с другими людьми.

Меня устраивает. Какое мне дело до других

людей?

Есть только одна неувязка. (*Пауза, чтобы пыхнуть сигаретой и обдумать то, как это сказать так, чтобы ее не расстроить.*) Нам придется начать видеться немного реже.

Это еще почему?

Потому что те люди, до кого тебе нет дела, — не те, до кого дела нет мне.

И о каких это людях мы говорим?

О тех, кого я тебе навязываю. Билли Блеск, Говард Мелк, Ной Маркс, Бо Джейнард — вся эта банда неприемлемых.

Я не против них, Арчи.

Может, и нет, но ты и не за них, и я не понимаю, чего ради тебе с ними и дальше мириться.

Ты это говоришь для меня или для себя?

Для нас обоих. Меня просто убивает видеть, как ты впадаешь в эти свои уныния.

Я знаю, ты пытаешься быть милым, но считаешь меня мудлом, правда? Зажатой, буржуазной тупицей.

Именно. Девушка со сплошными пятерками и приглашением вернуться в Вудс-Хол на лето непременно должна быть мудлом и тупицей.

Но они же твои друзья. Я не хочу тебя подводить.

Они мои друзья, но нигде не сказано, что они должны быть и твоими друзьями.

Как-то грустно это, нет?

Да не очень. Это просто новый расклад, вот и все.

Я говорю про *реже*, о том, что нам придется меньше видеться друг с дружкой.

Если качество этого «меньше» — больше, чем то «больше», что у нас с тобой сейчас, тогда это «меньше» будет компенсировать те унылые часы, что я потратил, наблюдая, как ты страдаешь с теми людьми, и «меньше» в итоге побьет «больше», «меньше» фактически и *будет* «больше».

Они привыкли к новому ритму: только выходные, два конца дня, вечера и ночи в выходные, либо пятница и суббота, либо пятница и воскресенье, либо суббота и воскресенье, кроме тех редких пятниц, суббот или воскресений, когда Фергусон звонил, чтобы отменить свидание в последнюю минуту, что оставляло ему свободу взаимодействовать с одним или более неприемлемых — тем вечером на выходных, который он не делил с Селией, не говоря уже о будних вечерах, если его не заваливало домашней работой для вуза, примерно один вечер из четырех, когда он ужинал с Билли и Джоанной у них дома дальше по улице и

они беседовали о писателях, политике, фильмах, художниках и спорте, а сами по очереди держали на руках годовалую Молли и играли с ней, старший брат Билли Блеск, кто верил в Фергусона прежде всех прочих и был его единственным другом-прозаиком в садке поэтов, где он нынче плавал, лишь ему одному удавалось догонять доводы Фергусона о том, почему Фланнери О'Коннор и Грейс Пейли — стилисты более дерзкие и изобретательные, нежели Беллоу, Апдайк или любой другой американец, за исключением разве что Бальдвина, и вот таким вот манером Фергусону удалось не потерять связи с Блесками, Ноем, Говардом, троицей «Суматохи» или с любым из других необходимых, кто держал его в этом мире на якоре. Да, было как-то грустно, как выразилась Селия, но через месяц, а затем и через другой месяц нового расклада он почувствовал, что им это начинает удаваться лучше, дыхание уже стало не таким прерывистым, поскольку уже не нужно было мириться со множеством отвлечений и раздражений, и все же Фергусон понимал, что впереди им предстоит еще очень много труда, что мелкая закавыка, которую он разрешил, — пустяк по сравнению с большим преткновением: он слишком много себя от нее прячет, и если он

не найдет сил открыться Селии и рассказать ей все, что ей нужно рассказать о себе, то рано или поздно уничтожит их будущее и в итоге окажется у разбитого корыта.

Третья причина: Можно поспорить, что все их отношения строились на ложной предпосылке. Не то чтоб Фергусон врал Селии, но он упорствовал, скрывая от нее правду о приоритете смерти Арти в формуле любовь-равна-божественной-справедливости, и хоть он ощущал, будто прошлой весной в значительной степени преодолел эту трудность игрой в мяч в Риверсайд-парке, которая вылилась в игры с Селией в виффлбол на все лето, и в Вудс-Холе, и на ферме в Вермонте, особенно в те мрачные недели перед его процессом, когда праздничные, смешливые игры на время отвлекали его от мыслей о часе расплаты в суде, но все равно ни слова не сказал ей об этом. Безумная шестилетняя одержимость подошла к концу, но если он теперь и излечился или же хотя бы частично вернул себе душевное здоровье, то почему же не собрался с духом и не сказал Селии о самоотречении, какому подверг себя в дань своему мертвому близнецу А. Ф.? Потому что ему было страшно. Потому что он боялся, что она его сочтет психом и не захочет больше иметь с ним

ничего общего.

Хуже того, еще присутствовала неспособность рассказать ей о его *состоянии*, открыть секрет его аномального рождения — потомства осла и кобылы, ревущего ишака, который как-то ночью летом 1946 года покрыл симпатичную кобылку в нью-джерсейском овине и зачал мула, Говорящего Мула Фергусона, кто стал существом, не способным произвести никакого потомства, а из-за этого попадал в категорию генетических пустышек, и настолько сокрушительна была для Фергусона эта правда, до того вредила она фаллическим определенностям его мужского «я», что он так и не смог заставить себя поделиться этим с Селией, а это означало, что он ей позволял проходить через необязательные процедуры по принятию предосторожностей контроля рождаемости всякий раз, когда они ложились вместе в постель, и ни разу не сообщил ей, что нет смысла вставлять диафрагму, потому что от занятий любовью с ним ей гарантированно не нужно беспокоиться о беременности.

Непростительная промашка. Трусость в таких крупных масштабах, что она превратила его в то, чем он поклялся никогда не становиться: в бесчестного.

Возражение: Такового не имелось. В уме у Фергусона, однако, возможность того, что диагноз доктора Бройлера ошибочен, продолжала питать его надеждой. Пока и если только он не проконсультируется с другим врачом, непростительное и дальше будет оставаться непростительным, поскольку всегда существовала самомалейшая вероятность, что противозачаточные средства необходимы, а он не хотел, чтобы Селия знала постыдную правду о его состоянии, пока сам он не будет на все сто процентов в этом уверен. Ему всего-то и нужно было, что сходить к другому врачу и вновь провериться, — но идти он слишком боялся, слишком боялся все узнать и потому все время откладывал.

Заключение: Через две с половиной недели после смерти отца, когда пожар текущего момента распространил свое пламя и на студгородок Колумбии, Селия надела на руку зеленую повязку и отправилась помогать общему делу — готовила сандвичи для студентов, захвативших здания, стала одной из нескольких десятков добровольцев в Жуй-Бригаде Феррис-Бут-Холла. Не красную повязку активистов, а зеленую повязку сочувствующих и поддерживающих, это разумное положение для того, кто не принимает участия

в политике студгородка, а всю свою энергию пускает на подготовку к занятиям, но у Селии имелись свои политические мнения, и пусть даже она не была скроена для действий на линии фронта — для строительства баррикад и взятия университетских корпусов, — воззрения эти были достаточно крепки, чтобы поместить ее на сторону студентов, выступивших против администрации, какие бы сомнения ни бередили ей душу насчет студенческой тактики и сколько б ни передергивало ее, когда она слышала, как сотня или пять сотен голосов скандируют *К стенке, ебила!* С точки зрения Фергусона, Селия действовала согласно фундаментальному принципу Билля о правах Федермана, тому самому порыву, что подвиг ее положить доллар перед стариком в закусочной-автомате, когда ей было шестнадцать, и теперь, когда ей исполнилось девятнадцать, ничего не поменялось. Вечером двадцать третьего она позвонила Фергусону домой, и тот, пока слушал, как она описывает, что произошло в тот день в Колумбии — полуденный митинг у Солнечных часов посреди студгородка, нападение на стройку спортзала в Морнингсайд-парке, а затем захват Гамильтон-Холла коалицией СДО и САО, белые студенты и черные студенты работали бок

о бок и в согласии ради закрытия университета, — начал смеяться, отчасти от неожиданности, как он себе воображал, но главным образом — от счастья. Когда он повесил трубку — понял, что это первый хороший смех, который он исторг из себя со времен до того вечера, когда снял ту же самую телефонную трубку и поговорил с Алленом Блюменталем.

В час пополудни в пятницу (двадцать шестого) он решил вплоть до конца того дня прекратить работу над романом и направился через весь город посмотреть, что же происходит в Колумбии. Селии звонить было слишком поздно — она, вне всяких сомнений, сейчас вместе со своими собратьями готовит сандвичи в Жуй-Комнате в Феррис-Бут-Холле, но найти там ее окажется нетрудно, и когда ему удастся оторвать ее от тарелок ветчины, болонской колбасы и упаковок уже нарезанного хлеба, они смогут вместе погулять по студгородку и посмотреть, что происходит. Пока городской автобус ехал по Мадисон-авеню, Фергусон увлекся все тем же разговором, что, похоже, затевал с самим собой всякий раз, когда ехал на Морнингсайд-Хайтс: А что было бы, поступи он в Колумбию, а не в Принстон? И если б он пошел туда, как бы отличалась его жизнь от той,

какую он ведет сейчас? Во-первых — никакого Бруклинского колледжа. Во-вторых — никакой Восточной Восемьдесят девятой улицы. В-каких-нибудь еще — не застал бы он деда за съемкой порнографического фильма. Никаких десяти тысяч долларов, никакого Нэгла и никакого Говарда Мелка — а это бы означало, что и никакой драки в вермонтском баре, никакого суда, никакого чудесного спасения тетей Мильдред, никаких воображаемых теннисных матчей — и никакого романа между Говардом и Эми, который превратился в пылкую связь, не являвшую никаких признаков остывания ни в каком обозримом будущем. Однако — те же самые три книжки в издательстве «Штуковина», хотя вторая и третья были бы слегка иными. И те же самые роли для Мэри Доногью, Эви Монро и Селии. Но если бы он поступил в Колумбию, сидел бы он сейчас в одном из занятых корпусов вместе с другими протестующими студентами — или жизнь посадила бы его в тот же городской автобус, что ехал сейчас вдоль северного края Центрального парка по пути в Морнингсайд-Хайтс?

После двадцать третьего ситуация изменилась. Черно-белый альянс развалился, но студенты заняли еще четыре здания, и председатель

СДО, признанный вожак восстания, оказался одним из старых школьных друзей Фергусона, Марком Руддом. Да, и Майк Лоуб в этом тоже участвовал — бывший мучитель Эми, следовательно — бывший друг Фергусона, — но если верить тому, что слышала Селия, Лоуб был просто одним из СДОшников, кто участвовал в собраниях в Корпусе математики, а вот Рудд был заводилой, главным представителем СДО и верховным зачинщиком, а они с Фергусоном всегда ладили, сидели вместе на множестве занятий по английскому, французскому и истории, ходили на спаренные свидания со своими почти идентично названными подругами, Даной и Дианой, и вместе прогуляли однажды занятия, подорвавшись в Нью-Йорк, где посетили Биржу на Уолл-стрит, чтобы посмотреть *капитализм в действии*, и до чего уместно и странновато смешно было, что Марк, научивший его водить машину со стандартной передачей весной их младшего года, что позволило Фергусону рулить фургоном «шеви» Арни Фрейзера и еще одно лето провести перевозчиком крупных, тяжелых предметов, сейчас возглавлял студенческий бунт, и его портреты каждый день печатались в прессе.

Вышло так, что до Колумбии Фергусон в тот

день не вполне добрался. Городской автобус номер 4 шел с Ист-Сайда в Вест-Сайд по 110-й улице, иначе известной как Кафедрал-парквей в кварталах между Западной Центрального парка и Риверсайд-драйвом, и когда автобус добрался до перекрестка Бродвея и 110-й, Фергусон соскочил и двинулся пешком на север к студгородку на 116-й улице, но чтобы добраться туда, куда он шел, ему сперва требовалось пройти тот квартал, где жила Селия, на Западной 111-й между Бродвеем и Амстердам, и, как это ни странно, проходя 111-ю и трюхая к следующему перекрестку, он вдруг заметил саму Селию, Селию в разлетающейся синей юбке и розовой блузке, где-то в полуквартале впереди и тоже топавшей на север, несомненно — по пути к Жуй-Комнате в Феррис-Бут-Холле. То, что Селия не одна, его не встревожило, пусть даже с нею рядом шла не какая-то из ее соседок по квартире из Барнарда, а шел мужчина, в данном случае двадцатидвухлетний парень по имени Ричард Смолен, в ком Фергусон признал одного из студентов-медиков из Колумбии, с кем он разговаривал еще в октябре, когда Селия устраивала ему собеседования, чтобы помочь в написании его романа, а поскольку Смолен был из Нью-Рошели и играл в бейсбол и баскетбол в одних

командах с Арти в детстве, Селия знала его всю свою жизнь, так с чего бы Фергусону ощущать даже малейшую зависть или опаску при обнаружении того, что Селия идет по городу к северу со старым знакомым? Он ускорил шаги, чтобы нагнать их, но не успел приблизиться на дистанцию окрика, как Селия и Ричард Смолен остановились посреди тротуара, обнялись и стали целоваться. То был страстный поцелуй, поцелуй длительный, похотливый поцелуй чистого и необузданного желания, и насколько Фергусон, стоявший на тротуаре всего в каких-то двадцати шагах от того места, где они обнимались, мог судить, то был поцелуй любви.

Если это была любовь, допустить можно было лишь одно: они только что вышли из квартиры Селии, где проводили последние невесть сколько часов, катаясь по кровати Селии, и теперь, когда вновь надели всю одежду и двигались обратно на север в Колумбию, чтобы готовить сандвичи для студентов в занятых ими корпусах, остаточное свечение их запоя похоти горело еще так ярко, что они не могли держать при себе руки, лапали друг дружку, им хотелось еще и еще.

Фергусон развернулся и пошел на юг.

Эпилог: Он не стал звонить, и она позвонила

ему только в понедельник — рассказать ему о Смолене (что для него уже было не новостью) и сообщить, что между ними все кончено. Безмолвные выходные, за которые он пришел к заключению, что в этом бедствии виновен исключительно он сам, а Смолен — не столько причина его неприятностей, сколько их симптом, и потому, что он с нею был нечестен с самого начала, то и заслуживал того, чтобы его бросили. Селия-прекрасная. Селия и множественный бред о том, чтобы коснуться Селии и сложить ее тело в свое. Но секса тут было недостаточно. Казалось невообразимым прийти к этой мысли, но секса мало, да и почти все остальное у них было не так. Он пожелал полюбить ее, но то была не любовь, а некая разновидность мерзкой и непростительной глупости, поэтому пусть уходит со своим смазливым мальчиком-медиком, сказал он себе, пусть валит со своим будущим специалистом по сердечным заболеваниям и нынешним другом сердечным обратно в вихрь Колумбии, поскольку пламя там все еще ширилось, а Фергусону настала пора отпустить ее вихрь от себя, и пускай без него идет из его жизни в свое следующее место.

В следующие месяцы больше ни один из главных героев «Истории Фергусона» не падал

замертво ни на теннисных кортах, ни где бы то ни было еще, и никаких любовей больше не находилось, не терялось и даже не рассматривалось. Медленное, унылое лето с его романом — он начал писать вторую из двух частей, почти на весь день запираясь у себя в квартире-студии, а вечером ни с кем не виделся, кроме Билли и Джоанны дальше по кварталу да Ноя, который сейчас был в городе, работал актером в своем первом профессиональном фильме, однако Ной был и занят, и вымотан, и ему на Фергусона почти не хватало времени, разве что на выходных. Все остальные разъехались — либо жили на природе в семейных бунгало, либо снимали хижины на севере штата Нью-Йорк и в Новой Англии, либо прокладывали низкобюджетную тропу по различным городам и местностям в Западной Европе. Как обычно, Говард жил на ферме у своих тети и дяди в Вермонте, только на сей раз с ним была Эми, и они вдвоем уже обсуждали планы на жизнь после колледжа, которая начнется всего через год, и, предполагая, что Говарду удастся избежать призыва, оба они подумывали об аспирантуре: Говард по философии, а Эми по истории Америки, идеальным выбором была бы Колумбия, где они бы могли поселиться вместе

в квартире в Морнингсайд-Хайтс и стать гражданами Нью-Йорка. Вновь и вновь Говард и Эми просили Фергусона приехать к ним в Вермонт, и вновь и вновь Фергусон изобретал предлог, чтобы в это путешествие не пускаться. Вермонт для него населен призраками, говорил Фергусон, и он по-прежнему не знает, готов туда вернуться или нет, или же слишком погрузился в свой роман, чтобы помыслить о том, чтобы уехать из Нью-Йорка, или же его свалила летняя простуда и он не в состоянии никуда ехать, но даже произнося все это (что было отчасти правдой), он понимал: бóльшая правда теперь заключается в том, что теперь, раз он потерял Селию, в мыслях у него снова была Эми, вечно потерянная и возлюбленная Эми, которая его никогда не хотела и никогда не захочет, а подставляться под зрелище ее счастья с его неофициальным зятем — это гораздо больше того, с чем он мог бы теперь справиться. Не то чтоб он прекратил тем летом думать о Селии, но та забиралась к нему в голову гораздо реже, чем он предполагал, и когда первый жаркий месяц перетек во второй жаркий месяц, Фергусон уже испытывал чуть ли не радость от того, что они больше не вместе, словно бы чары разрушились и он опять вернулся к себе самому, а не к некому

измышленному или ошибочному видению себя, несмотря на то что в летней жаре с ним опять был Арти, смерть Арти и смерть его отца — вот те воспоминания, на которых он больше всего задерживался, пока сидел в жаркой комнатушке, кровоточа словами своей книги на бумагу, а как только вопрос о его наследовании в конце апреля полностью уладился (не обычное наследство, как выяснилось, а средства от полиса страхования жизни, что отменяло необходимость платить какие бы то ни было налоги на наследство), он взял у Дана пять тысяч долларов и теперь с нездоровым изумлением наблюдал, как из месяца в месяц девяносто пять тысяч долларов медленно ползут обратно к первоначальным ста тысячам. Невидимые деньги, говорил тогда Дан. Фергусон их называл *призрачными деньгами*.

Он писал книгу о смерти, и бывали дни, когда он чувствовал, будто книга пытается его убить. Каждая фраза давалась с боем, каждое слово в каждом предложении могло быть иным, и, как и со всем прочим, что написал за последние три года, он выкидывал примерно четыре страницы на каждую, которую оставлял. И все же, невзирая ни на что, у него к началу лета накопились сто двадцать две завершенные страницы, и поло-

вина истории уже была рассказана. Эпидемия самоубийств, что уже не утихает три полных месяца, за которые город Р. похоронил двадцать одного своего ребенка, тревожащее число для провинциального городка с населением девяносто четыре тысячи жителей, и доктор Нойс — в самой гуще ее, с самого начала, работает с двумя дюжинами коллег-врачей, десятком психиатров и почти тридцатью католическими и протестантскими священниками, чтобы отвратить следующее самоубийство, но, несмотря на их напряженные коллективные усилия, которые требуют долгих бесед и консультаций со всеми молодыми людьми в городе, что бы ни делали все они, это ничуть не помогает, и теперь уже врач начинает сомневаться, не продляют ли это бедствие все те бессчетные часы, что они потратили на работу, вместо того чтобы с ним покончить, не питает ли эту беду вместо того, чтобы устранить ее, то, что беда эта из месяца в месяц очерчивается все точнее и предъявляется на всеобщее обозрение, тем самым соблазняя нестойких уходить от собственных бед тем способом, о каком раньше они могли и не задумываться сами по себе, и потому дети города Р. и дальше будут убивать себя, как прежде, и помаленьку,

постепенно стойкий доктор Нойс доходит до ручки. Вот на этом месте Фергусон прервался на сдачу экзаменов и в июне написал семестровую курсовую работу, а в первые недели лета, нащупывая дорогу обратно в историю, уже знал, чем она закончится, но как бы полезно ни было это понимать, знать — не делать, и добраться до конца мало бы что значило, если ему не удастся сделать этого правильно. Трудности, стоящие перед молодыми людьми в городе Нойса, — одновременно вечные и сиюминутные, сочетание биологической судьбы и непредвиденных исторических фактов. Подростковые бури первых любовей и разрушенные любови, каждодневный страх того, что стадо тебя исключит из своего числа, боязнь беременности, травма подлинной беременности и преждевременного материнства, восторги излишеств (слишком быстро ездить, чересчур много пить), внутренняя опустошенность, презрение к родителям, ко взрослым, ко всякому авторитету, меланхолия, одиночество и боль мира (*Weltschmerz*), давящая на сердце, хоть снаружи они и могут быть залиты солнечным светом, — старые, никогда не кончающиеся муки молодости, но для тех, кто больше всех рискует, для семнадцати- и восемнадцатилет-

них мальчишек еще маячит и угроза Вьетнама, как только они закончат школу, неоспоримая реальность американского сегодняшнего дня, поскольку очень немногие выпускники средних школ пойдут в колледж из города Р., где живут преимущественно «синие воротнички», где окончание средней школы означает начало взрослой жизни, и теперь, когда домой прислали шестьдесят четыре гроба, содержащих останки мертвых солдат США, которые похоронили на местных кладбищах за последние три года, теперь, когда старшие братья тех мальчишек, лишившиеся конечностей и глаз, оказались в палатах ближайшего госпиталя для ветеранов в У., патриотический пыл, охвативший Р. летом 1965-го, к весне 1968-го превратился в отвращение и ужас, а война, которую вело американское правительство на другом краю света, перестала быть войной, в которой кто бы то ни было из этих мальчишек желал бы сражаться. Умирать ни за что, как это случилось с их братьями, с их кузенами, с братьями их друзей, — казалось, это насмешка над принципами самой жизни, и зачем они родились на свет, спрашивают они себя, и что они делают на этой земле, если призваны лишь отдать свою жизнь ни за что, не успеют

еще толком начать жить? Некоторые калечат себя, отстреливая себе пальцы на руках и ногах, чтобы не пройти армейский медосмотр, другие же предпочитают менее кровавое решение — отравить себя газом в машинах с двигателем, работающим вхолостую, в запертых гаражах своих родителей, и гораздо чаще, чем нет, если у мальчика оказывается подружка, девочка и мальчик усядутся в такую машину вместе, обнявшись, а пары́ медленно сделают свое дело. По первости у Нойса вызывают отвращение эти бессмысленные смерти, и он делает все возможное, чтобы их прекратить, но со временем мысли у него начинают двигаться в другом направлении, и к четвертому или пятому месяцу его самого заражает эта инфекция. Фергусон вот что предполагал сделать с историей дальше — проследовать за различными шагами Нойса, которые в конце книги приведут его к тому, что он покончит с собственной жизнью: огромное сочувствие, что разовьется у него к подопечным молодым людям, беседы с более чем двумястами пятьюдесятью мальчиками и девочками, которые убедят его в том, что весь город переживает не медицинский кризис, а духовный, что вопрос тут — не смерть или тяга к смерти, а утрата надежды на будущее,

и как только Нойс поймет, что все они живут в мире без надежды, Фергусон планировал свести его с одной из тех молодых личностей, кого Нойс консультировал в последние месяцы, — с семнадцатилетней девушкой по имени Лили Макнамара, чей брат-близнец Гарольд уже покончил с собой, и более не женатый и бездетный доктор Нойс возьмет Лили к себе пожить неделю или месяц, или полгода, и попробует отговорить простую, упрямую, косноязычную девушку от мыслей о смерти. Таков будет его последний рубеж обороны, последнее усилие оттолкнуть собственное желание покориться, и когда ему не удается обратить ее назад к жизни, он последует за нею в гараж, закроет двери и окна, а затем сядет с Лили в машину и повернет ключ в замке зажигания…

Семьдесят четыре медленно написанных и переписанных страницы между серединой июня и серединой сентября, а через две недели после того, как он снова начал ездить взад-вперед в Бруклин и обратно, издательство «Суматоха» выпустило его собрание сочинений. После такого трудного лета «Прелюдии» выскочили из земли так же неожиданно, как первый крокус ранней весной. Вспышка пурпура, вырвавшаяся из гря-

зи и почерневшего снега на промерзлой земле, прекрасное копье цвета в иначе бесцветном мире, поскольку обложка «Прелюдий» и впрямь была пурпурной, того оттенка пурпура, что называется розовато-лиловым, того цвета, какой Фергусон и Рон выбрали из многочисленных оттенков, какие были им доступны, типографская обложка строгого дизайна с его именем и названием, набранным черным, в тонком белом прямоугольнике, мимолетный кивок в сторону обложек «Галлимара» во Франции, элегантных, таких изысканных, считал Фергусон, и, впервые взяв экземпляр книги в руки, он пережил нечто такое, к чему не был готов: бурю воодушевления. Не вполне отличного от того, какое он почувствовал, выиграв стипендию Уолта Уитмена, осознал он, но вот с какой разницей: стипендию у него отняли, а вот книга навсегда будет его, даже если прочтут ее человек семнадцать.

Были рецензии. Впервые в его жизни Фергусона голубили и лупили прилюдно, тринадцать раз за последние четыре месяца, по его прикидкам, — длинные, средние и короткие отклики в газетах, журналах и литературных ежеквартальниках, пять удовлетворительных поцелуев взасос, дружеский хлопок по спине, три удара в морду, один

раз коленом по яйцам, одна казнь расстрельной командой и двое пожали плечами. Фергусон был и гением, и идиотом, был как вундеркиндом, так и надменным остолопом, как лучшим, что произошло в этом году, так и худшим, что произошло в этом году, как бурлящим талантами, так и полностью их лишенным. Ничего не изменилось после катавасии Ханка и Франка с миссис Бальдвин и противоречившими ей мнениями тети Мильдред и дяди Дона полвека назад, тяготение и отталкивание положительного и отрицательного, нескончаемое противостояние в судах суждения, но как бы ни пытался он не обращать внимания ни на хорошее, ни на плохое, что говорилось о нем, Фергусону приходилось признавать, что укусы все равно жалят дольше, чем держатся, не снашиваясь, поцелуи, что труднее забывать нападки на него как на «неистового, распоясавшегося хиппи, который не верит в литературу и желает ее уничтожить», чем помнить, что его хвалят как «смышленого новичка в районе». Нахуй, сказал он себе, запихивая рецензии в нижний ящик письменного стола. Если и когда вообще он решит публиковать еще одну книгу, уши себе он запечатает свечным воском, на глаза наденет повязку, тело привяжет к мачте корабля

и только после этого выйдет в море в шторм, чтобы сирены уже не могли до него докричаться.

Вскоре после того, как книга вышла, вернулась Мэри Доногью. Селии к тому времени уже не было пять месяцев, и одинокий, изголодавшийся по сексу Фергусон был более чем заинтересован услышать от Джоанны, что ее сестра недавно порвала со своим ухажером последних полутора лет, и если у Фергусона есть какое-либо желание снова увидеться с Мэри, Джоанна будет более чем счастлива пригласить их обоих на ужин как-нибудь вечером в следующие дни или недели. С Мэри уже хватило Мичигана, и она вернулась в Нью-Йорк изучать право в УНЙ, на пятнадцать или двадцать фунтов похудела, по словам Джоанны, и та теперь спрашивает у него, потому что Мэри спросила у нее, поэтому если Фергусон не прочь, то, похоже, и Мэри тоже не прочь, поэтому так оно и вышло, что Фергусон и Мэри вновь начали встречаться, то есть снова стали вместе спать, как в старину, летом 1966 года, и нет, то не была любовь, любовью это никогда не будет, но в каких-то смыслах это было даже лучше любви, дружба, дружба чистая и простая, с огромнейшими количествами восхищения с обеих сторон, и ко второму месяцу их второго романа Фергусон

настолько глубоко начал доверять Мэри, что именно на нее выбрал вывалить бремя, тяготившее его с Селией, впервые исповедался по поводу Арти, бейсбола и постыдной суеты с диафрагмами, рассказав ей то, что никогда не осмеливался рассказать кому бы то ни было другому, и когда дошел до конца этой жалкой истории молчания и обмана, отвернулся от Мэри, уставился в стену и сказал: Что со мной не так?

То, что ты молод, ответила Мэри. Это единственное, что с тобой вообще не так. Ты был молод и думал мысли неразвитого молодого человека с большим сердцем и чрезмерно развитым юношеским идеализмом. Теперь ты уже не настолько молод и перестал так думать.

И всё?

Всё. Кроме еще одного, что не имеет никакого отношения к молодости. Нужно было ей сказать, Арчи. А то, что ты сделал, было… как бы мне выразиться, чтобы не задеть твоих чувств?..

Достойно порицания.

Да, именно так называется. Достойно порицания.

Я хотел на ней жениться, понимаешь, или, по крайней мере, думал, будто хочу на ней жениться, и если бы я ей сказал, что у нас бы никогда не мог-

ло быть детей, она бы, вероятно, меня отвергла.

И все же. Неправильно было ничего ей об этом не говорить.

Ну вот тебе я же сказал, правда?

Со мной все иначе.

Вот как? И почему это?

Потому что ты не хочешь на мне жениться.

Кто знает, хочу я или нет? Кто знает, хочешь этого ты или нет? Кто вообще хоть что-то знает?

Мэри рассмеялась.

По меньшей мере, ты можешь больше не сидеть на Пилюле, продолжал Фергусон.

Ты не единственный мужчина в Нью-Йорке, знаешь ли. Допустим, я выйду на улицу как-нибудь вечером, наткнусь на Сеньора Манифико и он сведет меня с ума?

Просто не рассказывай мне об этом, больше ни о чем не прошу.

А меж тем, Арчи, тебе нужно сходить к другому врачу — чтоб уж наверняка.

Я знаю, ответил Фергусон, знаю, что надо, и я схожу, как-нибудь на днях, конечно, схожу, как-нибудь на днях, честно.

Тысяча девятьсот шестьдесят девятый был годом семи загадок, восьми бомб, четырнадцати отказов, двух сломанных костей, номера двести

шестьдесят три и одной шутки, изменившей всю жизнь.

1) Через четыре дня после того, как Ричарда Никсона поставили тридцать седьмым президентом Соединенных Штатов, Фергусон написал последнюю фразу «Столицы развалин». Черновик был закончен, первый вариант, на который ушло столько труда, переживший к тому времени столько исправлений, что его можно было считать, наверное, девятым или десятым вариантом, но Фергусон по-прежнему был недоволен рукописью, не полностью удовлетворен, во всяком случае, ощущая, что предстоит еще много работы, прежде чем текст можно будет объявить законченным, поэтому он не выпускал книгу из рук еще четыре месяца, что-то подвинчивая и полируя, вырезая и добавляя, заменяя слова и оттачивая фразы, и когда в начале июня сел перепечатывать последнюю, окончательную версию, в Бруклинском колледже у него наступила самая середина выпускных экзаменов, и он был почти готов его окончить.

Фергусон знал только одного издателя — всего лишь одного, у которого хотел публиковаться, и теперь, когда он завершил роман, до чего приятно было вручить рукопись друзьям в издательстве

«Суматоха», которые вновь и вновь говорили ему, что будут и дальше — *вечно* — печатать его произведения. Но за последние несколько месяцев кое-что поменялось, и все еще развивавшаяся молодая компания, что с момента своего рождения летом 1967 года выпустила двенадцать книг, оказалась на грани вымирания. Дважды побывавшая замужем Трикси Давенпорт, единственный спонсор маленького, но отнюдь не невидимого издательства, в апреле вышла замуж в третий раз, а ее новый муж Виктор Кранц, у кого, похоже, не наблюдалось никакого рода занятий, кроме управления капиталовложениями Трикси, искусство не любил (если не считать того, которое производилось покойными художниками, вроде Мондриана и Кандинского), и он посоветовал ангелу «Суматохи» прекратить разбрасывать деньги на такие «бесполезные предприятия», как издательство «Суматоха». Так вот штепсель из розетки и выдернули. Все договоры на будущие книги аннулировали, тиражи, еще не отправленные в книжные магазины и на склады оптовикам, должны были списаться в остатки, а те, что не списывались, — сданы в макулатуру. За девять месяцев с даты выхода «Прелюдии» продались в количестве 806 экземпляров. Быть

может, это и немного, но по меркам «Суматохи» — показатель приличный, четвертый по списку бестселлер после книги эротических стихов Анн (1486), «Сокрушенных голов» Билли (1141) и пикантных дневников Бо о жизни пидоров в центре города после наступления темноты (966). В конце мая Фергусон купил сотню собственных книжек по два доллара за штуку, сложил коробки в цоколе дома на Вудхолл-кресент, а затем вернулся тем же самым вечером в Нью-Йорк на людную вечеринку у Билли, где все, кто работал в издательстве «Суматоха» или печатался у них, вместе со своими женами, мужьями, подругами и дружками собрались проклинать имя Виктора Кранца и надираться. Еще печальнее было то, что раз Джоанна снова забеременела, а Билли работал перевозчиком мебели, чтобы принести в дом больше денег, настал тот неизбежный миг, когда Билли забрался на стул посреди вечеринки и объявил конец издательству «Штуковина», но хотя бы, добавил Билли, пьяно вопя так, что на шее у него напряглись вены, по крайней мере, я собираюсь продолжать, пока не напечатаю все книги и брошюры, какие обещал, потому что *Я Человек, Выполняющий Свои Обещания!* — язвительная отсылка к штепселю, выдернутому из

«Суматохи», — и все захлопали ему и стали хвалить Билли как *человека своего слова*, а Джоанна стояла с ним рядом, и слезы катились у нее по щекам, а Мэри стояла рядом с Джоанной, обхватив сестру за плечи, и затем Мэри вынула носовой платок и принялась вытирать Джоанне слезы, и Фергусон, стоявший поблизости и внимательно наблюдавший за происходившим, любил Мэри за это.

По совету Билли Фергусон нашел себе литературного агента, чтобы тот занялся поисками нового издателя. Агента звали Линн Эберхардт, и стоит ли говорить — она была и агентом самого Билли (не потому, что Билли дописал новую книгу, а потому, что она надеялась пристроить «Сокрушенные головы» в массовое издательство, печатающее книги в бумажных обложках, раз «Суматоха» теперь была на последнем издыхании), и Фергусона воодушевила ее реакция на «Столицу развалин», которую она в письме, где сообщала, что берет его к себе в клиенты, назвала блестящим антивоенным романом, а затем, два дня спустя, по телефону описала роман как *фильм Бергмана, перенесенный в Америку и переданный словами*. Фергусон питал смешанные чувства к фильмам Бергмана (некоторые ему нравились, а

некоторые нет), но понял, что Линн считает это высочайшим комплиментом, и поблагодарил ее за щедрое замечание. Линн была молода и ревностна — маленькая хорошенькая женщина со светлыми волосами и ярко-накрашенными губами, которая почти годом ранее отправилась в свободное плавание, и теперь, молодым, независимым агентом без всяких бывший клиентов в портфеле она ставила перед собой задачу отыскать лучших из новых молодых писателей, а в двадцать два года и три месяца Фергусон был уж кем-кем, а молодым-то бесспорно. Затем она принялась рассылать рукопись нью-йоркским издателям по своему списку, и один за другим начали приходить отказы. Не то чтобы кто-то из этих издателей считал книгу Фергусона плохой или недостойной или что она не являла признаков того, что один из них назвал «замечательным талантом», но единогласное мнение заключалось в том, что «Столица развалин» — книга настолько отъявленно *некоммерческая*, что даже заплати они ему аванс в пятьдесят долларов или не заплати никакого, им было бы трудно отбить стоимость печати книги. К концу года, пропутешествовав по отделам обработки корреспонденции и кабинетам четырнадцати

издательских компаний, рукопись получила четырнадцать отказных писем.

Четырнадцать прямых ударов — и больно ему было от каждого.

Не волнуйся, сказала Линн, я что-нибудь придумаю.

2) Четверо самых молодых членов перепутанного клана выпустились из своих соответствующих колледжей в начале июня, Эми — из Брандейса, Говард — из Принстона, Ной — из УНЙ, а Фергусон — из своего сельского прибежища возле станции подземки Флетбуш в Мидвуде, — и теперь, когда завершились церемонии вручения дипломов, все вчетвером начали свои путешествия в будущее.

Проведя почти все отрочество и всю юность в подготовке к жизни в кино, Ной ошарашил Фергусона и остальных тем, что сменил курс и объявил о своем намерении отныне держаться театра. Актерская работа в кино — работа для дураков, сказал он, механизированное старт-стопное надувательство, какому нипочем не сравниться с надувательством настоящим — игрой перед живой публикой без дублей или ножниц монтажера, которые спасут твою шкуру. Он сам поставил три маленьких фильма и сыграл еще в трех, но сейчас

прощался с целлулоидом и направлялся изучать трехмерную игру и постановку в Йельскую школу драмы. Зачем учиться еще? — спросил у него Фергусон. Потому что мне нужно больше подготовки, сказал Ной, но если выяснится, что не нужно, брошу программу, вернусь в Нью-Йорк и подселюсь к тебе. У меня до ужаса маленькая квартирка, сказал Фергусон. Это я знаю, ответил Ной, но ты же не откажешься поспать на полу, а?

Для Ноя — опять на учебу, чего не ожидали, и опять учеба для Эми и Говарда, как уже было обещано и планировалось. У обоих — Колумбия, вместе с великолепием внебрачной супружеской жизни, пока Эми трудилась над получением степени по американской истории, а вот Говард отступился от философии и станет учиться на факультете классики, где еще глубже нырнет в гномические высказывания досократиков, и ему не придется тратить время на придурков англо-американских аналитиков, которые нынче были в моде. Витгенштейн — да, а вот от Квайна у него болела голова, сказал он, и читать Стросона — это как жевать стекло. Фергусон понимал, насколько Говард обожал своих старых греков (влияние Нэгла было глубоко, оно гораздо крепче отразилось на Говарде, чем на нем), но Фергусон

не мог не ощущать легкого разочарования от решения своего друга, поскольку ему казалось, что Говард гораздо лучше приспособлен к искусству, нежели к науке, и ему хотелось, чтобы тот опасно упорствовал и дальше со своими ручками и карандашами и попробовал чего-то добиться рисунками, зарабатывая на жизнь рукой, уже более умелой, чем профессиональная рука отца Эми, и после обложек, какие он сделал для Билли, и карикатур, опубликованных «Принстонским тигром», после уморительных теннисных матчей и десятков других чудес, что он начиркал за годы, Фергусон наконец задал Говарду вопрос впрямую: почему учеба, а не искусство? Потому, ответил его старый сосед по комнате, что искусство для меня — это слишком легко, и я никогда не стану в нем лучше, чем умею сейчас. Я ищу такого, что меня испытает, дисциплину, какая вытолкнула бы меня за пределы того, до чего, мне кажется, я могу дойти. Улавливаешь суть, Арчи? Да, суть тут была, возможно — и много сути, но Фергусона это все равно разочаровывало.

Что ж до самого Фергусона, то вопрос о продолжении образования у него и не стоял никогда. Хорошего понемножку, объявил он другим членам клана и где-то поздней весной нашел себе

работу, которая была именно тем сортом работы, какую не одобрил бы его отец, работа, что несомненно заставила бы сейчас того вертеться в гробу, но у Фрица Мангини, самого умного и надежного из друзей Фергусона по Бруклинскому колледжу, был отец, управлявший подрядной компанией, и одной из услуг, какие его фирма оказывала, была покраска квартир, и вот когда Фриц сказал Фергусону, что его отец ищет еще одного маляра себе в бригаду на лето, Фергусон встретился с мистером Мангини у него в конторе на Десброссез-стрит в нижнем Манхаттане, и его наняли. То не была регулярная работа пять дней в неделю, как большинство работ, а от заказа к заказу с паузами между, что отлично отвечало его целям, прикинул он, — работать неделю-другую, а потом не работать неделю-другую, и те периоды, когда он занят, принесут ему достаточно денег на еду и квартиру в те периоды, когда он занят не будет. Теперь, когда Фергусон закончил колледж, он стал и писателем, и маляром, но поскольку он только что дописал свой первый роман и пока не был готов начинать что-то еще (мозг был изможден, и у Фергусона истощились замыслы), он был преимущественно маляром.

Эми продвигалась вперед без всяких пре-

пятствий перед собой, однако планы троих остальных зависели от того, что произойдет с ними во время и после их военной медкомиссии, которая была назначена на то лето: у Говарда — в середине июля, у Ноя — в начале августа, а у Фергусона — в конце. В том случае, если их призовут, Говард и Ной оба решили последовать примеру Лютера Бонда и двинуть на север, в Канаду, но Фергусон, который был упрямей и горячее этих двоих, решил, что рискнет и сядет в тюрьму. У фракции за войну для таких людей, как они, имелись прозвища — *уклонисты, трусы, предатели своей страны*, — но трое друзей были б не против сражаться за Америку в той войне, которую сами бы считали справедливой, поскольку никто из них не был пацифистом, не верил в сопротивление всем войнам, они были против только этой войны, и для них она была нравственно неоправданна, не просто политическая ошибка, но акт преступного безумия, их патриотический долг призывал их противиться участию в ней. Отец Говарда, отец Ноя и отчим Фергусона все были солдатами во Второй мировой, и их сыновья и пасынок восхищались ими за то, что они сражались с фашизмом, ту войну они считали справедливой, а вот Вьетнам — это нечто иное,

и до чего же утешительно было для всех в их обширном, запутанном племени знать, что три ветерана той, прежней войны стояли за своих сыновей и пасынка, отвергавших эту.

Сражение за высоту «Гамбургер», операция «Снег апачей» в долине А-Шау и битва за Бин-Ба в провинции Фуок-Туй. Таковы были несколько мест и названий, донесшихся из Вьетнама за недели до и после того, как они втроем выпустились из колледжа, и пока они готовились к визитам в призывную комиссию в Ньюарке (Говард) и ту, что располагалась на Вайтхолл-стрит в Манхаттане (Ной и Фергусон), и Говард и Ной консультировались с врачами насчет воображаемых заболеваний, которые, как они надеялись, принесут им категорию либо 4-Ф (полностью негоден для военной службы), либо 1-Уай (годен к военной службе, но лишь в случаях крайней необходимости) и избавят от переезда в Канаду. Говард страдал аллергиями на пыль, траву, амброзию, золотарник и прочую пыльцу, переносимую по воздуху весной и летом (сенная лихорадка), но его сочувствующий врач, кто был тоже против войны, написал письмо, где объявлялось, что еще Говард болеет астмой, хроническим заболеванием, которое могло принести освобождение от

военной службы по медицинским показаниям, а могло и не принести. Ной тоже вооружился письмом — заявлением от антивоенно настроенного психоаналитика, которого последние полгода посещал дважды в неделю, в котором свидетельствовалось, что у его пациента — невротический страх открытых пространств (агорафобия), в состоянии чрезвычайного напряжения он перерастает в полномасштабную паранойю, а та в совокупности с его латентными гомосексуальными наклонностями делает невозможным полноценное функционирование в нацело мужской среде. Ной вытащил это письмо, показал его Фергусону, а сам покачал головой и расхохотался. Ты погляди на меня, Арчи, сказал он. Я — угроза обществу. Отъявленный псих.

Ты считаешь, врач поверит всей этой ерунде? — спросил Фергусон.

Поди знай, ответил Ной. Затем, кратко помолчав, хохотнул еще разок и сказал: Вероятно.

В собственных лучших интересах, полагал Фергусон, ему тоже стоит сходить к врачу и проделать что-нибудь похожее на то, что удалось Говарду и Ною, но, как читатель уже обратил внимание, Фергусон не всегда действовал в своих лучших интересах. Утром в понедельник, два-

дцать пятого августа, он появился в призывном центре на Вайтхолл-стрит безо всякого письма, какое можно было показать армейскому медицинскому персоналу, касательно каких бы то ни было реальных или воображаемых жалоб на физическое или умственное самочувствие. Правда, он и сам в детстве мучился от сенной лихорадки, но, похоже, перерос ее в последние годы, а единственное заболевание, что у него действительно было — это оно обрекло его на положение говорящего мула, — было несущественно для рассматриваемого дела.

В белых трусах он побродил по зданию в сопровождении толпы других молодых людей, бродящих в белых трусах. Белые молодые люди, смуглые молодые люди, черные молодые люди и желтые молодые люди — все они в одной лодке. Сдал письменный экзамен, его тело измерили, взвесили и дотошно рассмотрели, а после этого он отправился домой, задаваясь вопросом, что с ним будет дальше.

3) Второго сентября в семьдесят девять лет умер Хо Ши Мин. Фергусон, выполнявший четвертый заказ для мистера Мангини с начала лета, услышал эту новость по радио, стоя на стремянке и крася потолок в кухне четырехкомнатной квар-

тиры на Западной Центрального парка между Восемьдесят третьей и Восемьдесят четвертой улицами. Дядюшка Хо умер, но от этого ничего не изменится, и война будет продолжаться, пока Север не возьмет верх над Югом и американцам не дадут под зад коленом. Уж это совершенно точно, сказал себе он, макая кисть в банку, чтобы провести ею еще раз по потолку, а вот многое другое — отнюдь. Почему письмо, объявляющее дату его медкомиссии, ему прислали только через целый месяц после того, как Говард и Ной уже получили свои, к примеру, или почему Говарду призывная комиссия в Ньюарке уже присвоила его новую категорию (1-Уай), но после сопоставимого промежутка времени Ной от комиссии в Манхаттане еще ничего не услышал. Все это так произвольно — казалось, система, что функционировала двумя не зависящими друг от дружки руками, и каждая не ведала, что творит другая, пока обе они выполняли свои отдельные задачи, и вот теперь, когда медкомиссия у Фергусона уже позади, неясно было, сколько еще ему придется ждать.

Он готовил себя к худшему и все лето и добрую часть осени беспрестанно думал о тюрьме, о том, как его запрут против его воли, и ему

придется подчиняться прихотям — правилам и командам — тюремщиков, о том, что ему будет грозить изнасилование кем-нибудь из — а то и не одним — собратьев-заключенных, о том, как он будет делить камеру с буйным зэком, у кого при себе заточка, и он отбывает семилетний срок за вооруженное ограбление или сто лет за убийство. Затем ум его отплывал от настоящего, и Фергусон принимался думать о «Графе Монте-Кристо», книге, которую прочел двенадцатилетним пацаном, — облыжно обвиненного Эдмона Дантеса держат в заключении четырнадцать лет в замке Иф, — или о «Слепящей тьме», романе, который он прочел в восьмом классе, где два заключенных в соседних камерах перестукиваются друг с другом через стену кодированными сообщениями, или же о чрезмерном количестве фильмов о тюрьмах, которые он за много лет посмотрел, среди них — «Великая иллюзия», «Один сбежал», «Я сбежал с каторги», Дрейфус на острове Дьявола в «Жизни Эмиля Золя», «Бунт в блоке 11», «Большой дом», «20 000 лет в Синг-Синге» и «Человек в железной маске», еще одна история Дюма, в которой злой брат-близнец до смерти удушается собственной бородой.

В двойном инкубаторе неопределенности и все-

возраставшей паники у Фергусона зарождались суетливые, мятущиеся мысли.

Лето для него всегда было временем напряженной работы, но тем летом Фергусон совершил мало — всего лишь прочел четыре первых отказных письма, пришедших на «Столицу развалин». Через месяц после смерти Хо Ши Мина их число доросло до семи.

4) Все лето и осень того года, пока Фергусон по многу часов работал на мистера Мангини и размышлял о неясном будущем, какое перед ним лежало, по всему городу Нью-Йорку некий человек закладывал бомбы. Сэм Мельвиль, сиречь Самуэль Мельвиль, родился Самуилем Гроссманом в 1934 году, но фамилию себе сменил в честь того, кто написал «Моби-Дик», — или же в честь французского кинорежиссера Жана-Пьера Мельвилля, который и сам родился Жаном-Пьером Грумбахом, — или же ни в чью не честь и вообще безо всякой причины, кроме, быть может, желания размежеваться со своим отцом и отцовой фамилией. Независимый марксист, связанный с «Метеорологами» и «Черными пантерами», но, в сущности, действовавший сам по себе (иногда с сообщником-другим, хотя чаще — нет) Мельвиль заложил свою первую бомбу двадцать седьмого

июля: она повредила конструкцию пирса «Грейс» в порту Нью-Йорка, которым владела компания «Юнайтед Фрут», вековой эксплуататор угнетенных крестьян в Центральной и Южной Америках. Двенадцатого августа он совершил атаку на здание «Марин Мидленд Банка»; девятнадцатого сентября — на контору Министерства торговли и Главного инспектора Вооруженных сил в Федеральном здании на нижнем Бродвее. Следующие его цели включали в себя контору «Стандард Ойль» в здании «Ар-си-эй», штаб-квартиру банка «Чейз Манхаттан» и одиннадцатого ноября — здание «Дженерал Моторс» на Пятой авеню, но на следующий день, когда Мельвиль отправился подрывать здание Уголовного суда на Сентр-стрит, где проходил процесс 21 «пантеры», он совершил ошибку — выбрал себе в сообщники информатора ФБР, и его свинтили на месте преступления. В апреле 1970-го он оказался в «Могилах», где организовал забастовку заключенных, что привела его к переводу в Синг-Синг в июле, где он устроил еще одну тюремную забастовку, которая привела его к еще одному переводу в сентябре в одно из мест заключения строгого режима на севере штата Нью-Йорк, в Аттике.

По общим отзывам, росший радикализм Мель-

виля подстегнули события в Колумбии весной 1968 года. Ночью тридцатого апреля, когда там происходил рейд, тридцатичетырехлетний бывший инженер-водопроводчик объявился в студгородке, чтобы поддержать студентов, и в неразберихе тысячи кишащих полицейских филеров и семисот арестованных студентов, среди бессчетных нападений на зеленые и белые повязки, Мельвиль подстрекал студентов отбиваться и драться с полицией. Вместе с небольшой бандой протестующих он принялся затаскивать пятидесятигаллонные мусорные баки из закаленной науглероженной стали на крышу Библиотеки Лоу, чтобы потом швырять их оттуда на легавых внизу. Студенты помоложе, вовсе не готовые принимать участие в таких опрометчивых действиях, испугались и разбежались в ночи. Вскоре Мельвиля обнаружила полиция, и его втащили в другое здание, где избили дубинками и бросили привязанным к стулу. Через несколько дней после этого он присоединился к местному Комитету общинных действий (КОД), группе, противостоявшей политике Колумбии выселять жильцов из зданий, которыми владел университет, и на одной демонстрации КОД перед баром «Герб св. Марка» на Западной 112-й улице его

вместе с несколькими другими членами группы арестовали.

Колумбия разожгла в нем пламя, и к следующему году он уже начал свою общегородскую подрывную кампанию. Первые атаки провернул так умело, что еще три с половиной месяца оставался на свободе, незасеченный и невыслеженный. Таблоиды прозвали его «Безумным бомбистом».

Фергусон ни разу не встречался с Сэмом Мельвилем и понятия не имел, кто это, до его ареста двенадцатого ноября, но истории их пересеклись с четвертым и самым разрушительным из восьми подрывов, пересеклись так, что все направление жизни Фергусона изменилось, ибо было наверняка и определенно, что годный и здоровый выпускник колледжа получил бы от своей призывной комиссии классификацию 1-А, а она бы проложила ему дорожку к процессу в федеральном суде и сроку в федеральной тюрьме, но когда в начале октября Мельвиль подорвал Призывной центр вооруженных сил на Вайтхолл-стрит, Фергусон еще не получил никаких известий о своей категории, и когда весь остаток того месяца ему не приходило никаких известий, да и весь ноябрь ни слова, Фергусон осторожно

выдвинул гипотезу, что его армейские записи уничтожило бомбой Мельвиля, что он, как ему нравилось говорить самому себе, *вне бухгалтерских книг*.

Иными словами, если Фергусон и впрямь оказался вне учета, значит, жизнь ему спас Сэм Мельвиль. Так называемый Безумный бомбист спас ему жизнь — вместе с жизнями сотен, если не тысяч других, а затем Мельвиль пожертвовал собственной жизнью — пошел *за них* в тюрьму.

5) Или так Фергусон себе представлял, или так надеялся, или молился, чтобы это оказалось правдой, но остался он вне книг или нет, у него все равно еще имелся один мост, который следовало перейти, прежде чем дело уладится. Никсон изменил закон. Ограниченная воинская повинность зависеть будет уже не от всего ресурса американских мужчин в возрасте между восемнадцатью и двадцатью шестью, который пополняет ряды вооруженных сил, а лишь от некоторых из них, от тех, кому присвоят самые нижние номера в новой призывной лотерее, которую проведут в понедельник, первого декабря. Триста шестьдесят шесть возможных номеров, по одному на каждый день года, включая високосный, по одному на дату рождения каждого молодого человека в

Соединенных Штатах, слепой жребий цифр, который сообщит тебе, свободен ты или не свободен, пойдешь сражаться или останешься дома, сядешь в тюрьму или не сядешь в тюрьму, все очертания твой будущей жизни вылепятся руками генерала Чистая Тупая Удача, главнокомандующего урн, гробов и всех общенациональных кладбищ.

Бред.

Страна превратилась в казино, а тебе даже не разрешалось бросать за себя кости. Тебе их будет катать правительство. Все ниже восьмидесяти или ста — в опасности. Все выше означает: *Спасибо, масса*.

Номер для третьего марта был 263.

На сей раз никакого возбуждения, никакого удара грома или электрического тока у него в венах, никакой пурпурный крокус не выпер сквозь почернелый снег — но внезапное ощущение спокойствия, быть может, даже смирения, а то и печали. Он был готов совершить ту дерзость, какую совершить пообещал, а теперь ему вовсе не нужно ее совершать. Больше не нужно даже думать об этом. Встань и дыши, выпрямись и двигайся, вставай и впитывай в себя мир, и вот когда Фергусон встал и задышал, и задвигался, и принял мир, он понял, что последние пять меся-

цев жил в состоянии паралича.

Отец, сказал он себе, мой странный, покойный отец, твой мальчик не проведет жизнь за решеткой. Твой мальчик свободен ехать, куда пожелает. Помолись за своего мальчика, отец, так же, как он молится за тебя.

Фергусон снова уселся за письменный стол и просмотрел газету, ища шестнадцатое июня, день рождения Ноя.

Номер 274.

Потом — Говарда, это двадцать второе января.

Номер 337.

Под конец следующего дня Ной на попутках приехал из Нью-Гавена, и в семь часов Фергусон и Говард встретились с ним в «Вест-Энде», чтобы начать вечер кругом выпивки, а затем отправиться на праздничный китайский ужин в «Храм Луны» всего двумя кварталами южнее по Бродвею. Однако ощутив, до чего им уютно в передней угловой кабинке «Вест-Энда», там они и задержались и до ресторана так и не дошли, а отужинали в своем любимом баре отвратительным тушеным мясом с лапшой, и после этого засиделись до половины третьего утра, выхлебывая огромные количества алкоголя в нескольких его лучших известных видах, для Фергусона — преимущественно скотч,

посредственной марки, что повез его по ухабам к нижайшим недрам опьянения, но покуда он не растекся в вязком, бухом, двоящемся ступоре и два его шатких компаньона не отволокли его назад в квартиру Говарда и Эми на Западной 113-й улице, где все часы раннего утра он провел в отключке на тахте, он помнил, что в какой-то миг Говард и Ной ополчились на него и критиковали по целому списку пунктов, из которого кое-что он еще помнил, кое-чего вспомнить не мог, но из того, что запомнилось, там было следующее:

• Он дурак, что не стал трогать те деньги, оставленные ему отцом.

• С помощью этих денег, которых он еще не тронул, он бы мог распрощаться с Америкой, пересечь Атлантику и провести минимум один год в Европе. Ему еще только предстоит куда-либо отправиться в его жалкой маленькой жизни, а потому нужно начинать путешествовать *сейчас же*.

• Забудь про то, что Мэри Доногью нашла своего Сеньора Манифико и говорит о замужестве, поскольку хотя Мэри и замечательная женщина, и опекала Фергусона кое в какие трудные времена, вместе у них будущего нет, потому что он — не то, чего она хочет или что ей нужно, и ему ей нечего

предложить.

• Двенадцать отказов от нью-йоркских издателей — не тот повод, чтобы из-за него не спать ночами, и даже если от книги откажутся еще двенадцать издателей, ее со временем непременно выпустит кто-нибудь другой, а самое важное сейчас — это начать думать о следующей книге…

Насколько Фергусон припоминал, он согласился с ними по всем статьям.

6) Поскольку он был работником сознательным, и из-за того, что ему не хотелось подводить своих товарищей по бригаде, опаздывая на работу, на следующее утро Фергусон пришел ровно в девять. На тахте у Говарда и Эми он проспал четыре с половиной часа и, выпив три чашки черного кофе в «Ресторане Тома» на углу Бродвея и 112-й улицы, дошел пешком до места работы на Риверсайд-драйве между Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой улицами, в гигантскую пятикомнатную квартиру, которую начал красить несколько дней назад совместно с Хуаном, Феликсом и Гарри. В то утро подмораживало, а у Фергусона было жуткое похмелье, налитые кровью глаза, раскалывалась голова и мутило в животе, он ковылял по городу, укутав лицо в шарф, который уже начинал вонять бухлом от его

дыхания. Хуан спросил: Что с тобой было, дядя? Феликс сказал: Похоже, ты в хлам, пацан. Гарри сказал: Шел бы ты домой да проспался, а? Но Фергусону не хотелось идти домой просыпаться, с ним все было в полном порядке, и он явился на работу, но час спустя, стоя на высокой раздвижной стремянке и крася очередной кухонный потолок, он потерял равновесие и упал на пол, поломал себе левую лодыжку и левое запястье. Гарри вызвал «скорую», и после того, как врач в больнице Рузвельта вправил ему кости и наложил гипсы на запястье и лодыжку, оглядел дело рук своих и заметил: Хорошенько вы приложились, молодой человек. Вам еще повезло, что не на голову упали.

7) Следующие шесть недель Фергусон провел в доме на Вудхолл-кресент, до отвала наедаясь материной стряпней, пока срастались кости, по вечерам после ужина играл в кункен с Даном, сидел в гостиной с двумя Шнейдерманами мужского пола теми вечерами, когда по телевизору передавали игры «Ников», а его мать и беременная Ненси на кухне беседовали наедине о таинствах женского, домашняя жизнь, удобства и удовольствия недолгого домашнего бытия, пока он делал *необходимую передышку* (слова Дана)

или просто *подводил итоги* (слова его матери) и думал о том, чем заняться дальше.

Мэри больше не было, она собиралась вскоре выйти замуж за неглупого сеньора по имени Боб Стантон, тридцатиоднолетнего помощника районного прокурора из Квинса, человека гораздо более солидного, нежели тот, кем мог когда-либо стать Фергусон, решение вполне мудрое, чувствовал он, но тем не менее эта боль потребует больше времени, чтобы утихнуть, нежели понадобится его сломанным костям, чтобы срастись, а раз Мэри больше не было, в Нью-Йорке его теперь ничего и не держало, ничто уже не вынуждало его и дальше работать маляром на мистера Мангини, потому что Говард и Ной наконец-то поставили ему на место мозги той ночью их совместного запоя, и он сменил курс своих размышлений об отцовских деньгах, неохотно согласившись с друзьями, что не принимать деньги эти будет оскорблением. Отец его умер, а мертвые больше не могут защитить себя. Какие бы ярости ни накопились меж ними за годы, отец включил его в свое завещание, а это означало, что он хотел, чтобы Фергусон взял эти сто тысяч долларов и распорядился ими по своему усмотрению, понимая, что усмотрение в данном случае означает

жить на эти деньги, чтобы продолжать писать, наверняка же его отец это понимал, рассуждал Фергусон, а правда заключалась в том, что теперь в нем осталось мало гнева, и чем дольше отец его оставался мертвым, тем меньше злости он чувствовал, и сейчас, через полтора года, ее уже осталось в нем так мало, что она почти совсем исчезла, и то место, какое раньше занимала злость, теперь заполнилось печалью и смятением, печалью, смятением и сожалением.

Это было много денег, таких денег хватит, чтобы жить на них много лет, если он будет аккуратно их тратить, и Говард с Ноем хорошенько подчеркнули важность этих денег, мудро советуя проявить побольше терпения по поводу отвергнутого романа (которому Линн Эберхардт наконец нашла пристанище в начале февраля, пристроив его в «Колумбус», маленькое, бестрепетное сан-францисское издательство, шедшее поперек общего потока, — оно работало с начала 1950-х годов), но больше всего — понимание того, что деньги позволят Фергусону сделать шаг, который принесет ему в нынешних обстоятельствах больше всего пользы, и покуда томился в доме на Вудхолл-кресент и всматривался в тот мазок возможностей, какие ему предлагали эти деньги,

он постепенно сместился на точку зрения своих друзей: настал миг ему выбраться из Америки и посмотреть мир, оставить огонь позади и съездить куда-нибудь еще — куда угодно.

Еще две недели Фергусон колебался и обдумывал, одно за другим сокращая многообразие этих куда-нибудь с пяти до трех, а потом и до одного. Последнее слово оставалось бы за языком, но хоть по-английски говорили в Англии, по-английски говорили в Ирландии, он сомневался, что будет счастлив жить в каком-нибудь из этих промозглых мест с влажным климатом. В Париже, конечно, тоже, бывает, идут дожди, но французский — единственный другой язык, на котором он умел разговаривать и читать со сносной беглостью, и поскольку ни разу ни от кого не слышал ни единого скверного слова о Париже, он решил рискнуть там. Для разминки съездит в Монреаль, ненадолго навестит Лютера Бонда, который был жив и здоров в своей новой стране, убедил администрацию принять себя в Макгилл примерно в то же время, когда Фергусон поступил в Бруклинский колледж, и теперь, закончив его, работал учеником репортера в «Монреаль Газетт» и жил с новой подружкой по имени Клер, Клер Симпсон или Сампсон (почерк Лютера часто

бывало трудно разобрать), и Фергусону аж не терпелось съездить на север, не терпелось съездить на восток, не терпелось исчезнуть отсюда.

Он прикинул, что сможет снова свободно ступать на лодыжку к концу января, а это даст ему массу времени на то, чтобы освободить квартиру на Восточной Восемьдесят девятой улице и подготовиться к большому переезду.

А потом, первого января, когда Фергусон уже собрался в первый раз позавтракать в новом десятилетии, мать рассказала ему шутку.

То был бородатый анекдот, очевидно, он болтался по еврейским гостиным много лет, однако по какой-то необъяснимой причине Фергусону он раньше не попадался, как-то так вышло, что он никогда не бывал ни в одной из этих гостиных, когда кто-нибудь его рассказывал, но в то новогоднее утро 1970 года мать наконец-то поделилась с ним в кухне этим анекдотом, классической историей о молодом русском еврее с длинной непроизносимой фамилией, который прибывает на остров Эллис и там заводит беседу с *ланцманом* постарше и поопытней, и когда молодой сообщает старику свою фамилию, тот хмурится и говорит, что такая длинная и непроизносимая фамилия никак не поможет

ему обустроить новую жизнь в Америке, ему нужно сменить ее на что-нибудь покороче, что-нибудь звучащее славно, по-американски. Что вы предлагаете? — спрашивает молодой. Скажи им, что ты Рокфеллер, отвечает старик, с такой фамилией не промахнешься. Проходят два часа, и когда молодой русский садится на собеседование с иммиграционным чиновником, он уже не может выудить из памяти ту фамилию, какую ему посоветовал назвать старик. Ваша фамилия? — спрашивает чиновник. Хлопнув себя по голове в расстройстве, молодой человек выпаливает на идише: *Ikh hob fargessen (Я забыл)!* И вот чиновник с острова Эллис отвинчивает колпачок на своей авторучке и исполнительно записывает в свою книгу: Ихабод Фергусон.

Фергусону анекдот понравился, и он громко расхохотался, услышав его от матери за завтраком в кухне, но когда потом дохромал наверх до своей спальни, поймал себя на том, что не может перестать о нем думать, а поскольку ничего его от мыслей не отвлекало, он и дальше думал о бедном иммигранте весь остаток утра и полдня, и вот на том рубеже история высвободилась из царства шуток и стала притчей о человеческой судьбе и нескончаемо расходящихся путях, на которых че-

ловек вынужден оказываться, пока движется по жизни. Молодой человек внезапно расщепляется на трех молодых людей, все тождественны между собой, но у каждого — своя фамилия: Рокфеллер, Фергусон и длинная, непроизносимая Х, которая приехала с ним на остров Эллис из России. По анекдоту он в итоге оказывается Фергусоном, поскольку иммиграционный чиновник не понимает языка, на котором приезжий говорит. Это само по себе довольно интересно — получить фамилию, навязанную тебе из-за чьей-то бюрократической ошибки, а потом и дальше носить ее всю оставшуюся жизнь. Интересно — в смысле, *странно, забавно* или *трагично*. Русский еврей преобразовался в шотландского пресвитерианина пятнадцатью штрихами чьей-то авторучки. И если еврея принимают за протестанта в белой, протестантской Америке, если каждый человек, с кем он встречается, машинально считает, что он — кто-то другой, а не тот, кто есть, как это подействует на его будущую жизнь в Америке? В точности сказать как, невозможно, но можно допустить, что какая-то разница будет, что жизнь, которую он будет вести как Фергусон, не будет той же, какую бы он вел, будучи молодым иудеем Х. С другой стороны, молодой Х был не прочь стать

Рокфеллером. Он принял совет своего соотечественника постарше касательно необходимости выбрать себе другое имя, а что, если б он вспомнил его, а не позволил выскользнуть из памяти? Стал бы Рокфеллером, и с того дня впредь люди бы предполагали, что он — член богатейшей семьи в Америке. Его идишский акцент никого бы не обманул, но с чего бы людям не допускать, что он относится к другой ветви семьи, к какой-нибудь из второстепенных иностранных ветвей, которая может возвести свои кровные линии непосредственно к Джону Д. и его наследникам? А если бы молодому Х хватило соображалки назваться Рокфеллером, как бы это повлияло на его будущую жизнь в Америке? Была бы у него такая же жизнь или какая-нибудь другая? Несомненно — иная, сказал себе Фергусон, но в чем именно, никак не узнать.

Фергусону, которого звали не Фергусоном, занимательно было воображать, что родился он действительно Фергусоном или Рокфеллером, кем-то с другой фамилией, а не Х, которую ему дали, когда вытащили из утробы матери 3 марта 1947 года. На самом-то деле отцу его отца не давали другой фамилии, когда он 1 января 1900 года приехал на остров Эллис, — но если б дали?

Из этого вопроса и родилась следующая книга Фергусона.

Не один человек с тремя фамилиями, сказал он себе в тот день, которому выпало быть 1 января 1970 года, семидесятой годовщиной прибытия его деда в Америку (если верить семейной легенде), того самого человека, кто не стал ни Фергусоном, ни Рокфеллером, и его в 1923 году застрелили на чикагском складе кожаных изделий, но ради самой истории Фергусон начнет с деда и анекдота, а как только анекдот в первом абзаце расскажут, дед его перестанет быть молодым человеком с тремя возможными фамилиями, а останется с одной, не Х и не Рокфеллер, а Фергусон, и потом, уже рассказав историю о том, как познакомились его родители, как они поженились, как родился он сам (все это на основе анекдотических случаев, которые он услышал от матери за все эти годы), Фергусон поставил это допущение на голову, и вместо того, чтобы развивать замысел об одном человеке с тремя разными фамилиями, он измыслит три других варианта самого себя и расскажет их истории вместе со свой собственной (более или менее своей собственной историей, поскольку он тогда тоже станет вымышленным вариантом самого себя), и напишет книгу о четы-

рех идентичных, но разных людях с одной и той же фамилией — Фергусон.

Имя родилось из шуточки про имена. Соль анекдота о евреях из Польши и России, которые садились на корабли и приплывали в Америку. Несомненно, еврейский анекдот об Америке — и о той громадной статуе, что стояла в гавани Нью-Йорка.

Мать изгоев.

Отец раздора.

Даритель незаконнорожденных имен.

Он по-прежнему путешествовал по тем двум дорогам, которые вообразил четырнадцатилетним мальчиком, по-прежнему шел по трем дорогам с Ласло Флютом, и все это время, с начала сознательной жизни, его не покидало неотступное чувство, что по развилкам и параллелям путей выбранных и невыбранных сплошь странствуют одни и те же люди в одно и то же время, люди видимые и люди-тени, а мир, какой он есть, никогда не мог бы стать чем-то более, чем долей мира, поскольку реальное также состоит из того, что могло бы случиться, но не случилось, что одна дорога ничем не лучше и не хуже какой-нибудь другой дороги, но мука жить в одном-единственном теле состоит в том, что в любой данный миг

ты вынужден стоять лишь на одной дороге, хоть мог бы оказаться и на другой и двигаться в совершенно иное место.

Тождественные, но различные, а значит — четыре мальчика с одними и теми же родителями, одинаковыми телами и одним и тем же генетическим материалом, но каждый живет в другом доме в другом городке со своим собственным набором обстоятельств. Закрученные туда и сюда этими обстоятельствами, мальчики начнут расходиться по мере продвижения повествования в книге, ползать, или ходить, или скакать, пока идет их детство, отрочество и ранняя юность, как все более и более отличные друг от друга персонажи, каждый — по своей собственной отдельной тропе, и все же все они — один и тот же человек, три воображаемых варианта себя, а потом сам он вбросится Номером Четыре для ровного счета, автор книги, только подробности книги на том рубеже были еще ему самому неведомы, он поймет, что́ пытается сделать, только после того, как примется за дело, но самое главное — любить тех других мальчишек так, будто они реальны, любить их так же сильно, как он любил самого себя, так, как любил он того мальчика, который упал замертво у него на глазах жарким летним

днем в 1961 году, и теперь, когда умер и его отец, эта книга, которую ему нужно было написать, — ради них.

Бога нигде нет, сказал он себе, а жизнь — она везде, и смерть повсюду, и живые и мертвые соединены.

Только одно было определенным. Один за другим воображаемые Фергусоны будут умирать, как умер Арти Федерман, но только после того, как он научится их любить так, как если б они были настоящими, только после того, как мысль о том, чтобы видеть, как они умирают, станет для него невыносима, — и вот тогда он снова останется наедине с самим собой, последний уцелевший.

Отсюда и название книги: «4 3 2 1».

Так заканчивается книга — Фергусоном, который уезжает книгу писать. Третьего февраля, нагрузившись двумя тяжелыми чемоданами и рюкзаком, он покинул Нью-Йорк и автобусом отправился в Монреаль, где провел одну неделю с Лютером Бондом, а затем сел в самолет и направился через океан в Париж. Следующие пять с половиной лет он жил в двухкомнатной квартире на рю Декарт в пятом округе, непрестанно трудился над романом о четырех Фергусонах, который вырос в гораздо более объемистую книгу,

чем он себе воображал, и когда 25 августа 1975 года он дописал в ней последнее слово, рукопись насчитывала одну тысячу сто тридцать три страницы, отпечатанных через два интервала.

Самыми трудными эпизодами для него стали те, где он вынужден был описывать смерти своих любимых мальчиков. До чего же трудно оказалось измыслить бурю, что прикончила тринадцатилетнего подростка с сияющей физиономией, и как же мучился он, когда записывал подробности дорожной аварии, оборвавшей жизнь двадцатилетнего Фергусона-3, и после тех двух неизбежных, но ужасных уничтожений ничто не причинило ему больше боли, чем необходимость рассказать о смерти Фергусона-1 ночью 8 сентября 1971 года, сочинение этого эпизода он откладывал до последних страниц книги, рассказ о пожаре, охватившем дом в Рочестере, штат Нью-Йорк, когда сосед Фергусона-1 снизу Чарли Винсент заснул, куря в постели очередной «Пэлл-Мэлл», поджег себя вместе с простынями и одеялами, укрывавшими его, и когда пламя заметалось по комнате, языки его через некоторое время поднялись и коснулись потолка, а поскольку дерево в том старом доме было сухим и трухлявым, огонь прорвался через потолок и

поджег пол спальни наверху, и до того быстро полыхание приблизилось к спавшему двадцатичетырехлетнему журналисту, переводчику и возлюбленному Галли Дойль, что вся комната запылала, не успел он соскочить с кровати и выползти наружу через окно.

Фергусон сделал паузу. Встал от письменного стола, вытащил из кармана рубашки сигарету и походил взад и вперед из комнаты в комнату маленькой квартиры, а как только почувствовал, что ум его достаточно прояснился, чтобы начать снова, вернулся к столу, сел на стул и написал последний абзац книги:

Если б Фергусон-1 пережил ту ночь, его бы наутро разбудили, и он бы поехал с Джанелли в Аттику и следующие пять дней писал бы статьи о восстании в тюрьме, о массовом захвате ее тысячей с лишним людей, которые закрыли все заведение, забастовщики взяли в заложники тридцать девять охранников, чтобы выставить свои требования реформ. Почти не было сомнений, что Фергусона-1 солидарность заключенных весьма бы обнадежила. Почти все в расово разделенной тюрьме встали как один и поддержали требования, и впервые, насколько кто угодно мог припомнить, черные заключенные, белые

заключенные и заключенные-латиноамериканцы оказались разом на одной стороне. Другая сторона немного уступила, но недостаточно для того, чтобы появилась хоть какая-то надежда. Они отвергли требование амнистии, отвергли требование сменить суперинтенданта тюрьмы и отвергли якобы невозможное требование предоставить бунтовщикам безопасный выезд из страны даже после того, как алжирское правительство пообещало их всех принять. Четыре дня буксовавших, безуспешных переговоров между заключенными и уполномоченным Управления исправительных служб Расселом Освальдом, и четыре дня подряд губернатор Рокфеллер отказывался приезжать в тюрьму, чтобы помочь двум сторонам достигнуть соглашения. Затем, тринадцатого сентября — озадачивающее распоряжение Рокфеллера брать тюрьму силой. В 9.46 утра батальон офицеров исправительной службы и национальные гвардейцы штата Нью-Йорк, разместившиеся на гребне наружной стены тюрьмы, открыли огонь по людям внизу во дворе, убили десять заложников и двадцать девять заключенных, среди них — Сэма Мельвиля, которого выследили и казнили в упор всего через несколько минут после того, как шквал оружей-

ного огня прекратился. Помимо тех тридцати девяти смертей, трое заложников и восемьдесят пять заключенных были ранены. Весь двор залило кровью.

Сразу же после этой атаки распространилось известие, что заключенные перерезали глотки десяти убитым жертвам, но на следующий день в Рочестере, когда судебно-медицинский эксперт округа Монро осмотрел тела десяти мертвых охранников — подтвердил, что ни один из них не был убит ножевыми ранениями. Их всех застрелили их собратья-офицеры. В материале «Нью-Йорк Таймс», написанном пятнадцатого Джозефом Леливельдом, родственник одного убитого охранника Карла Валоне осмотрел тело, а после сказал: «Никто никого не резал. Карла даже не трогали. Его убило пулей, на которой написана фамилия Рокфеллера».

Нельсон Рокфеллер представлял либеральное крыло Республиканской партии и до бойни в Аттике всегда считался человеком умеренным и здравомыслящим, однако в мае 1973 года он вновь озадачил мир, когда через законодательство штата Нью-Йорк протолкнул пакет законов, предписывающих минимальное наказание сроком от пятнадцати лет до пожизненного за-

ключения за продажу двух унций или больше героина, морфия, опия, кокаина или каннабиса либо за владение четырьмя унциями или больше этих же самых веществ. Так называемые Наркотические законы Рокфеллера были самыми карательными из всех, какие когда-либо налагал какой бы то ни было штат в стране.

Быть может, он по-прежнему грезил стать президентом и желал показать, до чего сам крут, крутому лагерю американской общественности, выступавшему за закон-и-порядок, но как бы ни хотелось ему стать вождем Свободного Мира, Рокфеллеру не удалось выиграть номинацию собственной партии после баллотирования в президенты в 1960, 1964 и 1968 годах, когда он проиграл Никсону, Голдуотеру и опять Никсону, но когда опозоренный Никсон в 1974 году подал в отставку со своего поста, новым президентом стал его вице-президент Джеральд Форд, которого самого назначили после отставки опозоренного Спиро Агню, и назначил Нельсона Рокфеллера своим вице-президентом, и тем самым эти двое стали единственными людьми в американской истории, кто занял свои должности, не будучи выбранными на них американским народом, и вот так вот и вышло, что 19 декабря 1974 года

после голосования 287-против-128 в Палате представителей и голосования 90-против-7 в Сенате Нельсон Рокфеллер принял присягу как сорок первый вице-президент Соединенных Штатов.

Он был женат на женщине по кличке «Счастливая».